



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

# ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

XVIII  
ВЕКА

ИСТОРИЯ  
ЗАРУБЕЖНОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

ХРЕСТОМАТИЯ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ

АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ДЕФО СВИФТ СМОЛЛЕТ  
РИЧАРДСОН  
БЁРНС ШЕРИДАН ГОЛДСМИТ  
ФИЛДИНГ  
ГРЕЙСТЕРН  
ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ЛЕСАЖ МОНТЕСЬЕ  
ПРЕВО  
ВОЛЬТЕР ДИДРО  
РУССО  
ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
БЕККАРИА АЛЬФЬЕРИ  
ГОЦЦИ  
ГОЛЬДОНИ ВИКО  
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
ФРАНКЛИН ДЖЕФФ  
ФРЕНО СОН  
НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРА  
КЛОПШТОК ВИЛ  
ЛЕССИНГ  
КЛИНГЕР  
БЮРГЕР ГЁТЕ  
ШИЛЛЕР КАНТ

Коллектив авторов

**Зарубежная литература  
XVIII века. Хрестоматия  
научных текстов**

«Санкт-Петербургский государственный университет»

2017

УДК 82.091"17":801.82(075.8+082.24)  
ББК 83.3(3)-93

### **Коллектив авторов**

Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия научных текстов  
/ Коллектив авторов — «Санкт-Петербургский государственный  
университет», 2017

ISBN 978-5-288-05770-0

Издание представляет собой вторую часть практикума, подготовленного в рамках учебно-методического комплекса «Зарубежная литература XVIII века», разработанного сотрудниками кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ. В него вошли фрагменты работ ведущих специалистов по западноевропейской и американской литературам XVIII в., снабженные контрольными заданиями. Материалы хрестоматии могут служить дополнительным источником информации о творчестве английских, французских, итальянских, американских и немецких писателей XVIII в. и предназначены как для самостоятельной подготовки студентов и аспирантов, так и для использования во время практических занятий под руководством преподавателя. Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям «Филология» и «Лингвистика».

УДК 82.091"17":801.82(075.8+082.24)

ББК 83.3(3)-93

ISBN 978-5-288-05770-0

© Коллектив авторов, 2017

© Санкт-Петербургский  
государственный университет, 2017

## Содержание

I		7
	Даниэль Дефо (ок. 1660–1731)	7
	Д. П. Мирский	7
	М. В. Урнов, Д. М. Урнов	8
	Д. М. Урнов	9
	Джонатан Свифт (1667–1745)	12
	М. Ю. Левидов	12
	Д. М. Урнов	17
	Сэмюэль Ричардсон (1689–1761)	19
	А. А. Елистратова	19
	Генри Филдинг (1707–1754)	31
	М. Г. Соколянский	31
	Тобайас Смоллет (1721–1771)	38
	А. А. Елистратова	38
	Томас Грей (1716–1771)	49
	В. Э. Вацуро	49
	Оливер Голдсмит (1728–1774)	54
	А. Г. Ингер	54
	Ричард Бринсли Шеридан (1751–1816)	62
	Ю. И. Кагарлицкий	62
	Т. Н. Потницева	65
	Роберт Бёрнс (1759–1796)	70
	А. А. Елистратова	70
	Лоренс Стерн (1713–1768)	76
	К. Н. Атарова	76
II		82
	Ален-Рене Лесаж (1668–1747)	82
	Е. Г. Эткинд	82
	Шарль-Луи де Монтескьё (1689–1755)	85
	Ж. Старобински	85
	Антуан-Франсуа Прево (1697–1763)	87
	Е. А. Гунст	87
	Вольтер (1694–1778)	92
	А. Д. Михайлов	92
	Г. Н. Ермоленко	100
	Дени Дидро (1713–1784)	105
	И. В. Лукьянец	105
	Жан-Жак Руссо (1712–1778)	118
	Д. Д. Обломиевский	118
	Т. В. Артемьева	122
	Пьер-Амбруаз-Франсуа Шодерло де Лакло (1741–1803)	126
	Ю. Б. Виппер	126
	Пьер-Огюстен Карон де Бомарше (1732–1799)	132
	Ф. Грандель	132
III		144
	Джамбаттиста Вико (1668–1744)	144

	И. Н. Голенищев-Кутузов	144
	Карло Гольдони (1707–1793)	146
	М. Л. Андреев	146
	Карло Гоцци (1720–1806)	149
	М. Л. Андреев	149
	Витторио Альфьери (1749–1803)	153
	Е. Ю. Сапрыкина	153
IV		158
	Бенджамин Франклин (1706–1790)	158
	М. М. Коренева	158
	Война памфлетов	166
	Дж. Х. Пауэлл	166
	Томас Джефферсон (1743–1826)	171
	Е. А. Стеценко	171
	Филип Френо (1752–1832)	181
	А. М. Зверев	181
V		189
	Общая характеристика	189
	И. В. Гёте	189
	Кристоф Мартин Виланд (1733–1813)	198
	Р. Ю. Данилевский	198
	Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781)	205
	Г. В. Стадников	205
	Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803)	210
	Н. А. Жирмунская	210
	Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805)	216
	А. Г. Аствацатуров	216
	Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832)	223
	А. А. Аникст	223
	А. В. Михайлов	230
	А. В. Михайлов	235
	Библиографический список	241

**И. И. Буровой, Л. В. Сидорченко**  
**Зарубежная литература XVIII века.**  
**Хрестоматия научных текстов**

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2017

# I

## Английская литература

### Даниэль Дефо (ок. 1660–1731)

#### Предтекстовое задание

Ознакомьтесь с фрагментами работ<sup>1</sup> Д. П. Мирского и М. В. Урнова и сопоставьте характеристики образа Робинзона, предложенные исследователями.

#### *Д. П. Мирский* «Робинзон Крузо»

<...>

Одна из самых интересных сторон «Робинзона» – полное отсутствие идеализации в характере героя. Правда, он «добродетельный» человек. Но его добродетели – такие, которыми действительно отличалась плебейская буржуазия того времени: расчетливость, умеренность, благочестие. Он не герой. Дефо не стесняется говорить о его трусости, о его страхах при появлении дикарей или во время бури. Робинзон – рядовой человек, и это появление рядового человека в качестве героя произведения – важный момент в истории буржуазной литературы. До Робинзона в феодальной и классово компромиссной литературе классицизма рядовой человек мог быть только комическим героем. Дефо сделал его «серьезным» героем, и это огромной важности этап на пути к оформлению буржуазной идеологии равенства и прав человека. Обыкновенность, негероичность Робинзона – одно из главных условий его огромного успеха. Каждый читатель, ставя себя на его место, мог думать: «И я в тех же условиях оказался бы таким же молодцом».

Но Робинзону еще далеко до «естественного человека» Руссо. У него нет никаких переживаний, кроме чисто практических, вызываемых требованиями его положения. Он живет чисто практической жизнью и еще не создал себе «внутреннего» мира. В этом проявляется его наивность, наивность класса, еще не вполне достигшего самосознания. Она находит яркое выражение в идеологических противоречиях книги. По существу «Робинзон» – это гимн предприимчивости, смелости и цепкости буржуа-колонизатора и предпринимателя. Однако мысль эта не только не высказывается, но сознательно даже не подразумевается. Вопреки ей, сам Робинзон еще очень не свободен от старой гильдейско-мещанской морали. Отец осуждает его любовь к путешествиям, и «в минуту жизни трудную» сам Робинзон начинает чувствовать, что его несчастья посланы в наказание за то, что он ослушался родительской воли и предпочел приключения добродетельному прозябанию дома.

Наивная противоречивость Робинзона особенно сказывается в его отношении к религии. Это отношение – смесь традиционного преклонения перед авторитетом с практицизмом. С одной стороны, неизвестно еще, не карает ли бог за грехи, с другой – он очень может пригодиться как утешение в несчастье, а с третьей – когда везет, очень возможно, что это бог помогает, и его надо за это благодарить. В одном месте Робинзон обращается к богу в момент

---

<sup>1</sup> Здесь и далее изменения в текстах источников при подготовке к печати: 1) библиографические ссылки, данные авторами, оформлены по действующим на настоящий момент правилам, в ряде случаев уточнены; 2) приведенные примечания авторов перенумерованы с учетом изменения их числа и помещены после текста; 3) опечатки, орфографические и грамматические ошибки источников исправлены без оговорок, но в случаях, требующих пояснений, даны подстрочные ссылки. (Примеч. ред.)

величайшей опасности, воспринимаемой как божье наказание, с воплями раскаянья и мольбой о пощаде. В другом – он говорит, что «к молитве больше располагает мирное настроение духа, когда мы чувствуем признательность, любовь и умиление»; что «подавленный страхом человек так же мало расположен к подлинно молитвенному настроению, как к раскаянию на смертном одре». Он колеблется между средневековой религией страха и новой буржуазной религией утешения. На своем острове он научается рассчитывать только на самого себя, а бога благодарит, только когда услуга оказана.

<...>

(*Мирский Д. П.* «Робинзон Крузо» // Мирский Д. П. Статьи о литературе. М.: Художественная литература, 1987. С. 95–96)

### **Вопросы и задания**

1. В чем заключается принципиальное новаторство Дефо как создателя образа Робинзона Крузо?
2. Объясните, как характеризуют героя его религиозные устремления.
3. Почему автор статьи поднимает вопрос о соответствии Робинзона идеалу «естественного человека»?
4. Согласны ли вы с мнением автора о том, что Робинзону «далеко до „естественного человека“»? Приведите аргументы в пользу вашей точки зрения.

## ***М. В. Урнов, Д. М. Урнов*** **Даниэль Дефо**

<...>

Есть нечто в характере Робинзона, что позволило ему по-робинзоновски выдержать испытание одиночеством на необитаемом острове и не утратить тягу к людям, потребность социального общения. Робинзон – производное демократической среды, в его характере отражен опыт трудового люда и концепция человека, свойственная демократической мысли эпохи Просвещения. «Как ни тягостны были мои размышления, рассудок мой начинал мало-помалу брать верх над отчаянием». Уже здесь видна существенная устремленность Робинзона духа и его точка опоры: чувство действительности, трезвая оценка обстоятельств, сознание того, что если человек, пережив катастрофу, уцелел, то жить ему нужно и надо искать достойный выход из любого тягостного положения. Ход жизнеутверждающих размышлений принимает у Робинзона своеобразную форму. Он ведет счет горестному и отрадному в своей жизни, злу и добру, «словно должник и кредитор». «Я заброшен судьбой на мрачный, необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление», – записывает он в графе «зло» и сразу противопоставляет ему «добро»: «Но я жив, я не утонул, подобно всем моим товарищам». Можно по-разному относиться к «нравственной бухгалтерии» Робинзона, к логике его мысли, нельзя не отметить ее сухой, расчетливой трезвости, холодного спокойствия, с каким упомянуты погибшие товарищи. Можно увидеть в этом отпечаток жестокой практики буржуазных отношений, но все же трудно отрицать, что в сути своей размышления Робинзона, оказавшегося в чрезвычайных обстоятельствах, не повинного в совершившемся зле, – это здравые размышления нормального человека, преодолевающего приступы отчаяния.

«Горький опыт человека, изведавшего худшее несчастье на земле, показывает, что у нас всегда найдется какое-нибудь утешение, которое в счете наших бед и благ следует записать в графу прихода». Взятый отвлеченно вывод рассудительных размышлений Робинзона может побудить человека мириться с любым несчастьем и злом, хотя и в самом деле «во всяком зле можно найти добро», как говорит тот же Робинзон, и пословица «Нет худа без добра» выражает народную мудрость и сложность применения к жизни однозначных нравственных оценок.



Практическая рассудительность Робинзона соединяется с религиозно-философской мыслью о благом провидении, божьем промысле, в ней он ищет разъяснения контрастам жизни, трагическим судьбам, опору нравственности, повод для религиозно-нравственных назиданий. Робинзон не может обойтись без этих назиданий, свидетельствуя о своей принадлежности к английской пуританской среде и XVII веку. Он действует как истый сын своей страны, своего времени и своей среды, когда с потонувшего корабля наряду с практически необходимыми предметами берет в качестве основной духовной пищи, «лекарства для души», Библию в трех экземплярах и в любую минуту из деловитого ремесленника готов превратиться в ремесленного проповедника. Вместе с тем он способен не только соединить выводы здравого смысла со Священным писанием, но столь же легко и свободно разъединить их «по здравом размышлении» и в практических целях.

Когда Робинзон увидел на «безотрадном острове» стебельки ячменя и риса, он приписал это божественному чуду, воспарил душой, стал думать о благом провидении, однако религиозное умиление и слезы ни на секунду не застигли его способности мыслить практически, учитывая живой опыт. «Я не только подумал, – записывает в своем дневнике Робинзон, – что этот рис и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь». Сколь откровенен и значителен в этой записи противительный союз «но», как много он поясняет в душевном состоянии Робинзона, в логике его мысли и, так сказать, в структуре его сознания! Потребность разглагольствовать на библейские темы и заниматься проповедью возрастает у Робинзона по мере того, как он осваивается в непривычной обстановке, самоутверждая себя на диком острове. Проповедь его чурается всего, что колеблет наивную веру, обходит острые углы, она прагматична, предпочитает не рассматривать, говоря словами Горацио, друга Гамлета, «слишком пристально» сомнительные положения отвлеченной мудрости, дабы не подрывать основ воспринятого убеждения. С наибольшей наглядностью эта особенность веры обнаруживает себя в душевспасительных беседах Робинзона с Пятницей, когда проповедник встает в тупик перед разумным сомнением своего ученика. Он спешит уклониться от продолжения беседы, «придумывая» подходящий предлог... <...>

(Урнов М. В. Даниэль Дефо / написано совм. с Д. М. Урновым // Урнов М. В. Вехи традиции в английской литературе. М.: Художественная литература, 1986. С. 77–79)

### **Вопросы и задания**

1. Каким образом исследователи объясняют оптимизм Робинзона Крузо?
2. О чем свидетельствует «нравственная бухгалтерия» Робинзона?
3. Что в романе указывает на принадлежность героя к пуританской среде?
4. Объясните, почему исследователи называют Робинзона «ремесленным проповедником».

### **Предтекстовое задание**

Ознакомьтесь с фрагментом работы Д. М. Урнова «Робинзон и Гулливер», посвященным художественному своеобразием прозы Д. Дефо.

## **Д. М. Урнов Робинзон и Гулливер**

### **СУДЬБА ДВУХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ**

<...>

<...> Основное впечатление от прозы Дефо – правдоподобие, и главный признак этой правдивости – простота. Робинзон ведет свой дневник: «Сегодня шел дождь, взбодривший меня и освеживший землю. Однако сопровождался он чудовищным громом и молнией, и это до ужаса напугало меня, и я встревожился за свой порох». Если бы в самом деле бесхитростно было сообщено «шел дождь», в книжке его не чувствовалось бы ни капли, дождь тогда бы казался ни к чему – неинтересен, как надоедает всякое описание, перегруженное излишними подробностями. Нет, не только дождь, но и порох. Вовсе не просто, а обязательно с зацепкой, психологической зацепкой – заинтересованностью самого Робинзона в происходящем.

Так автор вызывает и наш интерес на каждом шагу, звено за звеном нанизывая цепь, приводящую в движение весь повествовательный механизм. Вещи невероятные – через обыкновенные подробности. «Ночь я провел на дереве, опасаясь диких зверей. Все же спал я крепко, хотя всю ночь лил дождь». Едва ли сам Дефо ведал, каково это – бояться диких зверей и как спят на дереве. Но что значит попасть под ливень, известно каждому. Робинзон, однако, не проснулся, хотя лил дождь, к тому же спал он на суку, да еще опасался быть съеденным... Так убедительность одной точной подробности распространяется на весь рассказ.

Дефо дотошен, ничего не забывает и не упускает из виду, все у него подсчитывается и указывается точно: долготы, широты, течение, названия птиц, животных, деревьев. А если что-то ему неизвестно, он признается открыто: «Не знаю». Однако критики сразу же разглядели, что достоверность и дотошность «Робинзона Крузо» – фикция. У Дефо одна только видимость достоверности, но иллюзия до того убедительна, что читатели и не желали в ней разувериться, хотя бы автор и противоречил у них на глазах самому себе. Робинзон, например, повествует, по своему обыкновению со всей основательностью, как он уже на острове, увидев затонувший корабль, решил побывать на нем; совершенно разделся и пустился в плавание. С такой же тщательностью перечисляет он все полезные для себя вещи, найденные на корабле, которые он поставился доставить на берег, и в частности говорит, что сухарями он... набил карманы. Почему такие погрешности не нарушают общей иллюзии правдоподобия?

Несуразностей, неточностей у Дефо обнаруживается не много, меньше, скажем, чем у Шекспира. В «Приключениях Робинзона» их и перечислить нетрудно. В начале книги Робинзон, кажется, путает двух мавританских мальчиков, а во второй части – двух русских князей. Говорит, что в турецком плену не встретил соотечественников, и тут же оказывается какой-то «английский плотник». Он ошибается в испанских словах. Если бы у Робинзона в самом деле был редактор, он указал бы ему на мелкие расхождения между дневником и предшествующим рассказом о тех же событиях. <...> Не исключено, что у Дефо некоторые ошибки допущены сознательно, не без оглядки на Сервантеса, который, делая ошибки, говорил: «Это неважно, главное – не отступить от истины».

Вообще, исторические и географические факты Дефо старался не путать <...>.

Во всем, где требовалась достоверность, он пользовался книгами, и очень основательно: Сибирь в «Робинзоне» описана на уровне новейших сведений того времени <...>. Но иногда фактическая достоверность ему не важна или даже была помехой, и вот тогда Дефо «лгал достовернее правды». Дефо действовал быстро, просто, рискованно, однако результативно. Он отвлекал читателя разными подробностями, идущими и не идущими к делу. <...> И мы доверяемся ему во всем, что только он ни скажет. <...>

<...>

Дефо точно чувствует меру читательского доверия. Молль Флендерс плывет через океан и рассказывает вместо бури про белье. И это естественно по характеру Молль Флендерс. Но когда Робинзон, отправляясь в третьей части живым на тот свет, отказывается сообщить местоположение ада и рая, говоря: «Не мое дело», – уловка не удастся Дефо, и все по той же причине: не таков Робинзон, чтобы не определить, хотя бы приблизительно, долготы и широты, даже если речь идет о преисподней. Робинзон на том свете потому и не получился у Дефо,

что это был не Робинзон. Если в первой части Робинзон чего-то не знал или не мог, это была умелая игра автора в неумение героя.

Замечено: легко и просто, в двух словах, удастся Робинзону все, чего не умел Дефо. Напротив, в чем Дефо хорошо разбирался, тому Робинзону пришлось учиться: Дефо мог это хорошо показать. Долго не получалась у Робинзона глиняная посуда: Дефо затевал в молодости черепичную фабрику и знал глиняный обжиг как специалист. <...>

<...>

Следует указать и на предел правдоподобия, который Дефо не преодолевает. Ясно, что лишь на расстоянии в целый океан мог Дефо сделать интересным каждый шаг Робинзона. А чтобы заинтересовать персоной Молль Флендерс или проходивцем Джеком, их надо опустить на «дно» людского моря. Дистанция оказывается необходимой. <...>

<...>

<...> Ко всем достижениям Дефо надо прибавить еще и создание читателя. Автор «Робинзона» не только создал книгу, он, заставив читать небывалое до тех пор число людей, создал читающую публику. Причем читали «Робинзона» буквально все, и весьма разные люди: те, кто в «Робинзона» верил буквально, и те, кто прекрасно понимал, что с ними ведется умелая литературная игра. Стало быть, роль соавтора не только новейшими «сознательными мастерами» возлагается на читателя.

От эпохи к эпохе искусство повествования менялось, предлагая читателям новый опыт, новые роли, но то были роли, которые, как истинные роли, всегда только разные маски, умело надеваемые автором (и только автором!) на одно и то же лицо – читателя. В сущности, автор и читатель оставались на своих прежних местах. Автор был автором, читатель – читателем, хотя последнему и предлагалось играть то доверчивого, то скептика и т. д. Можно предложить читателю и роль соавтора, но при условии, что и эта роль создана самим автором в границах повествовательной иллюзии, тех же границах творческой условности, в которые укладывается «подлинность» Робинзона.

<...>

(Урнов Д. М. Робинзон и Гулливер: Судьба двух литературных героев. М.: Наука, 1973. С. 46–50, 88)

### **Вопросы и задания**

1. Какие элементы стиля Дефо придают правдоподобие его повествованию?
2. В чем проявляется простота повествования в романе «Удивительные приключения Робинзона Крузо»?
3. Почему простота повествования является главным признаком правдоподобия?
4. Как вы понимаете выражение «создание читателя»? Что дает автору основание считать Дефо «создателем читателя»?

## Джонатан Свифт (1667–1745)

### Предтекстовое задание

Ознакомьтесь с фрагментом книги М. Ю. Левидова о творчестве Свифта, обращая особое внимание на изложенную в ней концепцию соотношения «автор – образ – читатель».

*М. Ю. Левидов*

### **Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом война в нескольких сражениях**

<...>

Весьма многочисленна литература об источниках «Гулливера». Бесспорно, источники эти нужно искать в трех руслах: рассказы о подлинных путешествиях, заполнявшие в то время книжный рынок, фантастические путешествия и утопии. И античные авторы, как Лукиан<sup>1</sup>, и современники или предшественники – Харрингтон<sup>2</sup>, Рабле, Сирано де Бержерак<sup>3</sup>, Веррас Д. Алле<sup>4</sup>, Дампьер<sup>5</sup>, Габриель Фолиньи<sup>6</sup> и многие другие – Свифт читал или мог читать все эти книги, «Путешествие на луну» Бержерака было в его библиотеке, – несомненно, оказали влияние на «Гулливера» – литературоведы могут указать десятки не только совпадений, но и заимствований у данных авторов...

Но все это весьма маловажно.

Комментаторы разметили все места в «Гулливере», источником коих явилась, так сказать, сама жизнь: установлено, например, что приключения Гулливера у двора лилипутов воспроизводят историю Болинброка<sup>7</sup>, некоторые сцены в Лапуте – процесс Эттербери<sup>8</sup>, образ Флимнапа, царедворца лилипутов, списан с Роберта Уолпола, премьер-министра (поэтому и считают, что относящиеся к Флимнапу главы первой части написаны по окончании книги, весной 1726 года, после беседы Свифта с Уолполом). В комментариях можно найти точные указания, что такая-то и такая-то фраза написана под влиянием такого-то события...

И это все хотя и интересно, но маловажно.

Установлено, наконец, что уже в 1714 году, на заседаниях «Клуба Мартина Скриблурса»<sup>9</sup>, Свифту было поручено написать пародию на фантастические путешествия, что был набросан соответствующий конспект – он появился в свет как одна из глав «Мемуаров Мартина» – и что он-то и явился зерном «Гулливера».

Наблюдение это как бы весьма ценно, но и оно в конечном счете маловажно. Маловажно по сравнению с основным и главным фактом, относящимся к «тайне» «Гулливера».

Очень прост, даже элементарен факт.

Гулливер – это Свифт; путешествия Гулливера – это «путешествия» Свифта; читать «Гулливера» нужно не с первой страницы книги, а с ранней страницы в жизни Свифта, точнее с той страницы, где начинается его самостоятельный жизненный путь после смерти Уильяма Темпла, с 1699 года.

Основной багаж Гулливера в его путешествиях, как видно из книги, это его здравый смысл. А багаж Свифта? Тот же здравый смысл, воплощенный в рукописи, с которой он не расстанется пять лет, – в рукописи «Сказки бочки».

Вот он – основной и важнейший литературный источник «Гулливера»! И недаром на обложке первого издания «Сказки» значатся под заголовком: «Труды того же автора, они будут изданы в самом непродолжительном времени» – такие «труды»: «Панегирик челове-

скому роду», «Описание королевства нелепостей», «Путешествие в Англию высокопоставленной особы из Терра Аустралиа Инкогнита, переведенное с подлинника»... Вот где зерно «Гулливера».

Знаменитая девятая глава «Сказки бочки» любезно сообщает читателю: автор этой книги – сумасшедший, бежавший из Бедлама. Издеваясь и мистифицируя, Свифт подсовывает читателю приятную для него формулу. Но за издевкой и мистификацией скрывается отказ Свифта примириться с современной ему культурой, ибо она порождение безумия, лжи, насилия.

– Следовательно, – говорит себе Свифт, – ненормален-то мир, а я нормален; нормальны мое суждение, мой критический взгляд и диагноз, болезни... А если я прослышу ненормальным – и это нормально, ибо всегда обитатели Бедлама называют сумасшедшими своих врачей...

Так начинает здоровый человек свое путешествие в больном мире. Это – путешествие врача. Автор политических памфлетов, подметальщик Бедлама, Бикерстаф, «опекун» мини-стров, «Исследователь», «Суконщик» – все это маски и облики врача, стремящегося хоть в чем-то, хоть как-то лечить человеческий род. Попытки различны, но результат одинаков: человеческий род не только не может, но и не хочет быть излеченным. Тогда врач понимает, что от долгого участия в забавах безумных и ему угрожает безумие.

И Свифт решает: должен быть оплачен накопившийся счет.

Нужно возвратиться к началу пути и еще раз поставить проблему – мир и я! Но в ином свете, с привлечением новых материалов, чтоб убедительнее был анализ и полнее диагноз.

Так возникает «Гулливер», воспроизводящий в новом, углубленном и опосредованном качестве «Сказку бочки». То, что там постулируется, – здесь художественно, образно доказывается, что там лишь высказано – здесь показано, там чертеж – здесь картина, там рельеф – здесь объем, там формула мира – здесь видение мира...

Но та же цель, что там: совершенствовать человеческий род.

А потому – тот же результат, что там. Книга становится исповедью. Не хирург Лемюэль Гулливер, а доктор Джонатан Свифт рассказывает о своих путешествиях: скитаниях нормального человека в ненормальном мире.

Итак, «тайна» «Гулливера» разрешена?

Нет, она только осложнена.

Гулливер – Свифт? Но какой Гулливер? Ведь он не один, их четверо – Гулливеров!

Вот первый Гулливер, в стране лилипутов. Тут он в ореоле симпатий читателя, к нему направлено горячее сочувствие, читатель волнуется за его судьбу. Связанный по рукам и ногам злобными и трусливыми пигмеями, он велик, прекрасен, он герой, больше того – он живой человек!

Этот ли Гулливер – Свифт?

Затем второй Гулливер. Жалкая фигурка; герой комических положений, как будто и существует он специально затем, чтоб выслушивать снисходительные поучения короля Броддингнега...

И этот Гулливер – Свифт?

Третий. Равнодушный и спокойный наблюдатель безумств королевства Лапуты, академии Лагадо, нищеты Бальнибарби, извращений, уродств, идиотизмов; холодно смотрит, аккуратно записывает, бездушно отмечает, бесстрастным голосом рассказывает...

Этот Гулливер – он, наверное, Свифт?

Наконец, четвертый: в стране гуингнмов и еху. О, какой, однако, новый Гулливер! Трагический, одинокий, презревший и проклявший свой род и племя подобных себе, ненавистный себе до такой степени, что пугается, увидев свое отражение в ручье; ненавистный себе потому, что он человек, а человек – это еху; возвращающийся в свой родной дом, как в место вечного изгнания...

Какой же из них Свифт? Все четверо – или ни один?

Самое удивительное во всех четырех обликах героя «Путешествий» отсутствие у него удивления перед тем, что он видит. Ничему не удивляется он в мире, в который попал, и, следовательно, не сомневается в нормальности и разумности этого мира, в первую очередь страны лилипутов. Сильная и глубокая мысль тут у Свифта. Гениальным художественным чутьем он понял: удивись Гулливер хоть на миг, откажись он признать реальность и разумность мира лилипутов – все кончено, превращается Лилипутия в бессмысленную сказку. Протест же против разумности Лилипутии исходит не от Гулливера, а от читателя, философский (а не только элементарно житейский) конфликт между Гулливером и Лилипутией ощущает не Гулливер, а читатель. Оттого лишь усиливается симпатия читателя к герою, но тут не конец. Свифт метит глубже.

Ведь и человек ничему не удивляется в окружающем его мире, считает это первым признаком нормальности и разумности существующего.

Однако оказывается, что «неудивление» ничего еще не доказывает. Гулливер не удивляется, а мир вокруг него ненормален и неразумен. А читатель сочувствует Гулливеру, то есть ставит себя на его место. Но, став хоть на миг Гулливером, не может он не подумать: не лилипуты ли вокруг меня; и этот привычный мир вокруг меня, разумен ли он, нормален ли он?

Тогда и напрашивается аналогия между Англией и Лилипутией. Читатель знает, что существуют в Англии виги и тори; католики и протестанты; существуют англичане и французы. У него нет и тени сомнения в нормальности и разумности этих подразделений. Так вот, оказывается, и для Гулливера ничего странного нет, что существуют «высококаблучники» и «низкокаблучники» (политические партии в Лилипутии), что отличие между лилипутами и соседними блефусканцами в том, что первые разбивают яйцо с тупого конца, а вторые – с острого; Гулливер считает все это нормальным и разумным, ибо таков факт!

Но для нас-то он комичен, лишен смысла и разума! Это мир безумия и нелепости! Гулливер не видит, ибо он в плену у факта, а мы – со стороны – мы видим...

Но если теперь мы со стороны взглянем на наш мир – что мы увидим? Каким он покажется нам?

– Я взглянул, – говорит Свифт и ведет нас в страну великанов, в королевство Бробдингнег. Ибо незаметно произошла тут подстановка: король Бробдингнега – он и есть Гулливер первой части, а нынешний Гулливер – он лилипут первой части. Король Бробдингнега ведет и чувствует себя в отношении Гулливера так, как мы себя вели бы и чувствовали в отношении лилипута, попавшего к нам и рассказавшего о своем мире. И мы подписываемся под словами короля Бробдингнега, обращенными к Гулливеру: ты пришел к нам из мира безумия и нелепости... Но ведь мир Гулливера и есть наш мир!

Так развивается внутренняя диалектика книги, диалектика Свифта. И читатель видит: в первой части Гулливер – Свифт, во второй части Гулливер – он сам, читатель.

Точно так же и в третьей части читатель ставит себя на место Гулливера. Он на его месте, но не на его стороне. Ибо Гулливер третьей части – не сторона, а лишь холодный наблюдатель, фотографический аппарат, фиксирующий картину нелепости и безумия.

«Но Лапута, Бальнибарби, Глаббдобдриб – это не наш мир», – с облегчением думает читатель...

– Не наш, – соглашается Свифт и молчит, предоставляя остальное читателю.

Молчит и читатель, охваченный внезапным подозрением. Не наш – и, однако, разве не понимает он, что все, что увидел Гулливер в Лапуте и Бальнибарби, все это имеется в таких-то намеках, элементах, зародышах и в его, читателя, повседневном мире! Все – начиная от печального политического и экономического положения Бальнибарби (Ирландия) и кончая самыми нелепыми проектами академии Лагадо. Но если неповоротлива и труслива мысль читателя и нуждается он в подсказке, так вот рассказывает Гулливер все так же спокойно и бесстрастно профессорам из академии Лагадо, занимающимся наукой разоблачения политических загово-

ров, что «в королевстве Трибния, называемом туземцами Лангден, где я пробыл некоторое время в одно из моих путешествий, большая часть населения состоит из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и помощниками, находящимися на жаловании у министров и депутатов. Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются махинацией людей, желающих укрепить свою репутацию тонких политиков...»

Как бы труслива и неповоротлива ни была мысль читателя, он расшифрует прозрачные анаграммы – Трибния и Лангден.

Достаточно? Но Гулливер может поделиться еще одним очень спокойным рассказом: о том, как в королевстве Глаббдобдриб, где все жители обладают искусством вызывать мертвецов, предался и он этому занятию, но вызывал не глаббдобдрибских, а человеческих, «знакомых» мертвецов. И эти мертвецы помогли Гулливеру внести «поправки» не в лапутянскую, глаббдобдрибскую, а в человеческую историю – античную и современную, благодаря которым «какое невысокое мнение составилось у меня о человеческой мудрости и честности...». А если читатель хочет дальнейших уточнений – «Я любопытствовал получить точные сведения, каким способом добываются знатные титулы и огромные богатства. Я ограничил свои исследования самой недавней эпохой, не касаясь, впрочем, настоящего времени, из страха причинить обиду хотя бы иноземцам (ибо, я надеюсь, читателю нет надобности говорить, что все сказанное мной по этому поводу не имеет ни малейшего касательства к моей родине). По моей просьбе было вызвано множество титулованных лиц и богачей, и после самых поверхностных расспросов предо мной раскрылась такая картина бесчестия, что я не могу спокойно вспоминать об этом. Вероломство, угнетение, подкуп, обман, сводничество и тому подобные мерзости были еще самыми простительными средствами из упомянутых ими, и потому, как требовало тогда благоразумие, я отнесся к ним весьма снисходительно». Но все же в итоге Гулливеру пришлось «несколько умерить чувство глубокого почтения, которым я от природы проникнут к высокопоставленным особам, как и подобает маленькому человеку...». И хотя с издевательской иронией подчеркивает «маленький человек», Гулливер, что все это «не имеет ни малейшего касательства к моей родине», не может он скрыть от читателя, что «больше всего я наслаждался лицемерием людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восстанавливавших свободу и поправленные права угнетенных народов», – естественно, не в мире Лапуты и Глаббдобдриба, а тут, на земле, в мире, привычном читателю.

Интересно было читателю отождествить себя с Гулливером первой части; соблазнительным было отождествление с Гулливером второй части (подлинным Гулливером, то есть королем Бробдингега); и опасным – отождествление в третьей части. Но не отождествлять себя невозможно. И, значит, невозможно не прийти к заключению: не нужно странствовать, подобно Гулливеру, чтоб увидеть вокруг себя мир безумия, нелепости, насилия и лжи...

Что делать дальше с этим заключением?

Читатель обращается к четвертой части.

Но тут ситуация значительно изменяется.

В первых трех частях Свифт – Гулливер – читатель одно лицо. Но не в четвертой. Тут Свифт просит читателя отойти в сторонку и с предельной откровенностью отождествляет себя с Гулливером. Ибо Гулливер в этой части максимально активен.

Действительно, в первой части Гулливер действует, но не по своей воле, а по необходимости; во второй части он слушает (поучения короля Бробдингега); в третьей наблюдает. А в четвертой, действуя, слушая и наблюдая, он, кроме того, и это всего важнее, активно высказывается и принимает жизненно важное решение о своей жизни. Но только свифтовское решение; Свифт не навязывает его читателю, проводя тем самым грань между ним и собой.

«Когда я думал о моей семье, моих друзьях и моих соотечественниках, или о человеческом роде вообще, то видел в людях, в их внешности и душевном складе то, чем они были на

самом деле, – еху, быть может несколько более цивилизованных и наделенных даром слова, но употребляющих свой разум только на развитие и умножение пороков, которые присущи их братьям из этой страны лишь в той степени, в какой их наделила ими природа», – говорит Гулливер. И он решает остаться в стране гуингнмов, где хотя также есть еху, но где они не цари природы, а рабы.

Но Гулливера изгоняют из страны гуингнмов, он должен возвратиться на родину. Как возникает такой финал? Ведь Свифт мог спокойно оставить Гулливера в его счастливой стране, а отчет о его путешествиях мог бы, опущенный в бутылку согласно канонам морских романов, спокойно приплыть к английским берегам...

Да, Гулливера мог прекрасно устроить такой финал, но не Свифта. Ибо для Свифта не существовало страны гуингнмов, а писал-то Свифт всю книгу, а особенно эту четвертую ее часть – не о Гулливере, а о себе, да и для себя... И потому Гулливер принужден вернуться на родину – в страну изгнания, страну людей, как принужден в ней находиться Свифт. Гулливер осужден продолжать свою жизнь – одинокий, страдающий, но понимающий: я, Свифт, наделенный горьким счастьем понимания, брошен в этот мир безумия и нелепости, лжи и насилия, я знаю, что выхода отсюда нет, я рассказал о том, что со мной произошло, – это и есть рассказ о путешествиях Гулливера... <...>

(Левидов М. Ю. Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях. М.: Книга, 1986. С. 240–245)

#### **Примечания составителя**

<sup>1</sup> Лукиан из Самосаты (120–180 н. э.) – автор фантастических романов «Икароменипп, или Заоблачный полет» и «Правдивая история», в которых рассказывается о путешествии на Луну и межпланетной войне между жителями Луны и Венеры.

<sup>2</sup> Вероятно, Джеймс Харрингтон, автор сочинения о республиканской форме правления «Республика Оссиана» (1656).

<sup>3</sup> Эркюль Савиньен Сирано де Бержерак – французский драматург и автор опубликованной посмертно дилогии «Иной свет», состоящей из романов «Государства и империи Луны» (1657) и «Государства и империи Солнца» (1662).

<sup>4</sup> Дени Веррас д’Алле – французский писатель, автор утопической «Историисеварамбов» (1677).

<sup>5</sup> Уильям Дэмпис, прославленный английский пират, автор книг «Новое путешествие вокруг света» (1697), «Путешествия и описания» (1699) и др. Во время второго из трех совершённых им кругосветных плаваний забрал Селкирка с острова Хуан-Фернандес.

<sup>6</sup> Габриэль Фолиньи – правильно: де Фуаньи (Gabriel de Foigny, псевдоним Жак Садёр) – автор утопии «Южная земля» (1676; «Новое путешествие по Южной земле», 1693), имеется в виду Австралия.

<sup>7</sup> Генри Сент-Джон, виконт Болин(г)брок – английский государственный деятель, философ и писатель. Занимал видное положение при дворе королевы Анны. После ее смерти выступил против нового короля Георга I, основателя Ганноверской династии. В 1715 г. принял участие в восстании якобитов, требовавших возвращения на престол изгнанного в 1789 г. короля Якова II, представителя династии Стюартов. После поражения восстания был приговорен к смертной казни, бежал во Францию, но в 1723 г., получив помилование, вернулся на родину.

<sup>8</sup> Фрэнсис Этебери, епископ Рочестерский, друг Джонатана Свифта и Александра Поупа, в 1722 г. принял участие в якобитском заговоре, вошедшем в историю как «Заговор



Эттербери». Заговор был раскрыт, Эттербери подвергся аресту, был отрешен от сана и отправлен в изгнание.

<sup>9</sup> Литературный клуб, куда входили такие знаменитости, как Дж. Арбетнот, Дж. Гей, А. Поуп и Дж. Свифт.

### **Вопросы и задания**

1. Что можно сказать о возможных литературных источниках, вдохновивших Свифта на создание «Путешествий Гулливера»?

2. В каких частях романа прослеживается влияние жанра утопии?

3. Как меняется образ Гулливера в заключительной части романа? Чем можно было бы объяснить такое изменение?

4. Какую параллель между Свифтом и героем его романа Гулливером устанавливает исследователь?

### **Предтекстовое задание**

Ознакомьтесь с фрагментом работы Д. М. Урнова, обращая внимание на параллели и различия, которые автор проводит между образами Робинзона Крузо и Лэмюэля Гулливера.

## ***Д. М. Урнов*** **Робинзон и Гулливер**

### **СУДЬБА ДВУХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ**

<...>

<...> Цельность традиции устанавливается в масштабах истории. Современникам, даже выдающимся, такой мерой пользоваться трудно, и они, оказываясь рядом в веках, при жизни часто сталкиваются, как это было между Дефо и Свифтом. <...>

<...> [Свифт] презирал Дефо даже за его популярность. Но «Путешествия Гулливера» прочли все, кто тогда мог и имел привычку читать. То был решительный шаг Свифта к сближению с Дефо, не в личных отношениях, конечно, но в принципе, в истории, в перспективе литературного развития: по одному пути пошли моряк из Йорка Робинзон Крузо и корабельный врач Лемюэль Гулливер.

Свифт хотел смести с лица земли все эти рассказы о «приключениях», в том числе Робинзоновых. Прекрасно понимая, как это делается, он взялся писать «Путешествия Гулливера» с той же, так сказать, «достоверностью». «Все произведение, несомненно, дышит правдой», – обещает на первой странице «Гулливера» фиктивное лицо, вымышленный издатель. Под его пером все тот же повествовательный способ начал действовать как бы сам собой, и в Гулливера поверили, как верили и в Робинзона.

Припомните для примера шляпу Гулливера. Ведь Свифт взялся играть мнимой достоверностью мелочей, чтобы разоблачить такую достоверность. Простодушно-доверчивых он терзает видом подробностей вовсе излишних. Но, говорит Гулливер, поступить иначе он не может, коль скоро им взята на себя роль правдивого рассказчика. Лилипуты доказаны, через множество последовательных мелких ощущений и замечаний выстроен лилипутский мир и в нем – Гулливер, пропорционально, материально-достоверно. Уже составлена лилипутами опись всех предметов по карманам Гулливера, и завершилась эта процедура особенно убедительно опять-таки «обратным ходом»: лилипуты осмотрели все досконально, за исключением, правда, одного заднего кармана Гулливеровых брюк, куда не сочли возможным их пустить, там

лежали очки и еще некоторые предметы, существенные для надобностей обычного человека и не представлявшие вместе с тем никакого интереса для лилипутов. Чего же еще? Какой еще убедительности нужно? Мы уже готовы, веря всему, всмотреться пристальнее в лилипутскую жизнь, обретшую в наших глазах объем, цвет, движение, словом, жизнь, как вдруг: найден черный округлый предмет неподалеку от того места, где незадолго перед тем нашли лилипуты спящим самого Гулливера. «Я сразу понял, о чем идет речь... Моя шляпа».

Конечно, Робинзон и Гулливер – люди разные, хотя одна и та же эпоха, поставив на них свою печать, сделала их похожими. Гулливер на протяжении всей книги не меняется, он лишь постепенно, от плавания к плаванию, показывает, что он за человек – отважный, спокойный, пристальный наблюдатель. Иное дело Робинзон, который, как и все герои Дефо, пройдя жизненный искус, делается другим или, по крайней мере, хочет стать другим. Оба повествуют о своих злоключениях довольно невозмутимо, только у Гулливера позиция заведомо прочная с самого начала. Себе самому Гулливер ничего не доказывает, он лишь сверяет путевые впечатления со своим ясным, глубоким взглядом на вещи, изначально дарованные ему судьбой, общественным положением. Сын состоятельного джентльмена, прошедший выучку на нескольких европейски прославленных факультетах, Гулливер отправляется путешествовать, понимая свою участь, осознавая судьбу. Совершив несколько плаваний и обзаведясь капиталом, Гулливер покупает в Лондоне дом и женится на дочери состоятельного торговца трикотажем – в точности такого, как Дефо <...>. О, для Дефо Гулливер был бы желанным зятем! Дефо был счастлив, когда любимую дочь ему удалось выдать за книготорговца, образованного и даровитого молодого человека: ступень в достижении жизненной цели Дефо. Он мечется, ищет, добивается, утверждает себя, и тем же намерением утвердить себя, доказать всему свету, каков ты, движимы герои Дефо. А Гулливер таких людей рассматривает спокойно, вроде как лилипутов, лапутян или, еще хуже, йеху. Человек-пигмей перед ним или великан, образованный тупица или дикарь, Гулливер прежде всего зажимает нос и принимает прочие меры предосторожности, чтобы не оказаться к этому существу в чрезмерной близости.

Но мизантропия Гулливера не односторонняя, она имеет своим источником необычайно требовательную меру во взгляде на человеческий материал. Просмотрев панораму истории, Гулливер выбрал ровным счетом шесть истинно достойных фигур – ядро разума, чести, доблести, немногочисленную, но отборную фалангу героев, начинаемую республиканцем Брутом и завершенную (ко времени Свифта) Томасом Мором, автором «Утопии», который, поднимаясь за свои убеждения на эшафот, подбадривал палача.

Та же требовательность является и подоплекой поступков Гулливера и создает двойственность впечатлений от них: легкость, ненапряженность, с какой делает все Гулливер – берет ли в плен целый флот или рассуждает, – и в то же время его постоянная несвобода.

<...>

(Урнов Д. М. Робинзон и Гулливер: Судьба двух литературных героев. М.: Наука, 1973. С. 58–60)

### **Вопросы и задания**

1. В чем, по мнению автора, заключается сходство между Гулливером и Робинзоном?
2. В чем состоит различие между этими персонажами?
3. Прокомментируйте способ повествования, избранный в романе Свифтом, и сопоставьте его со способом повествования, использованным ранее Дефо в «Робинзоне Крузо».
4. Какие черты «Путешествий Гулливера» позволяют говорить о том, что роман Свифта был создан под влиянием Дефо и в полемике с ним?

## Сэмюэль Ричардсон (1689–1761)

### Предтекстовое задание

Познакомьтесь с отрывком из книги А. А. Елистратовой, обратив особое внимание на характеристику, которую автор работы дает художественной системе Ричардсона, излюбленной им эпистолярной форме, центральному конфликту и проблематике его романа.

### А. А. Елистратова Ричардсон

<...>

<...> Реализм Ричардсона исходит из признания противоречивости требований, предъявляемых человеку отвлеченной моралью, с одной стороны, и существующим строем жизни, – с другой. С этим связана драматическая глубина «Клариссы». Дочерний долг повелевает героине отречься от Ловласа и выйти замуж за ненавистного ей, но избранного ей в женихи родными богача Сомса; чтобы защитить свою нравственную свободу от семейственного насилия, она вынуждена отдаться под покровительство Ловласа, который жестоко зло употребляет ее доверием. Обиходная буржуазная мораль предписывает ей отныне два пути: судиться с Ловласом или освятить его насилие законным браком, на чем настаивает и он сам, и его знатная родня, и ее близкие. Но внутренний нравственный долг заставляет ее отказаться от обоих этих компромиссных решений. Кларисса умирает, разорвав все родственные и социальные связи; и эта смерть оказывается триумфом ее личности. Такова сложная этическая диалектика «Клариссы» <...>.

Диалектика эта носит иной, более интроспективный, замкнутый характер, чем нравственная диалектика Фильдинга, основанная на критической проверке реальным общественным опытом категорических принципов рационалистической буржуазной морали. «И Фильдинг, и Ричардсон, – пишет Мак Киллоп, – исходят из социальных и этических идей и намереваются испытать их в столкновениях действительной жизни, чтобы увидеть, покрывают ли они возникающие ситуации. У Фильдинга принцип должен стать гибким, чтобы прийти в соответствие с фактами; концепция „естественной доброты“, например, должна быть пересмотрена, чтобы охватить смешение чувственности и великодушия в Томе Джонсе. У Ричардсона принцип остается жестким и нелегко приспособляется к индивидуальным случаям. Но с инстинктом казуиста он избирает крайний случай, в котором личность, стойко обороняющая свои права и принципы, вступает в смертельный конфликт со всей системой. Начальное развитие сюжета достигает наивысшей точки в замечательной сцене, где Кларисса противостоит своей семье и своему ничтожному жениху; здесь дидактические доводы за и против, буржуазные дурные манеры, страсти и принципы вполне сливаются в драматическое единство. Разум, воля и предубеждение приводят действующих лиц в совершенный тупик»<sup>1</sup>. «Героика» Ричардсона неразрывно связана с его нравственным ригоризмом, отмечаемым Мак Киллопом. В его этических воззрениях просветительское доверие к «человеческой природе» сливается воедино с пережитками пуританизма, нетерпимого к греху и требовательного к добродетели. По характерной формулировке Ричардсона «истинный героизм» неотделим от «человечности», с одной стороны, и от «благочестия» – с другой (IV, 71)<sup>2</sup>.

Сам Ричардсон, вероятно, чувствовал себя очень далеким от неистовых «круглоголовых» кромвелевской Англии, обретавших в Библии оружие для борьбы с земными царями. Революционная пуританская публицистика Мильтона, судя по письмам романиста <...>, претила ему, по-видимому, не меньше, чем аристократическое вольнодумство Болингброка. Сын сво-

его времени, он сторонился фанатического «энтузиазма», цитировал наряду с Библией трактаты Локка и даже признавался в частных письмах, что он – не особенный охотник до посещения церковной службы. И все же бунтарский дух пуританства живет в лучших произведениях Ричардсона – в «Памеле» и особенно в «Клариссе».

<...> Идеи пуританства и самый строй мышления, воплощенный в образах литературы, им порожденной, имели большое влияние и на содержание и на художественную форму ричардсоновского творчества.

<...>

Пуританское недоверие к чувственным проявлениям человеческой природы и напряженное внимание к внутреннему душевному миру человека – не промелькнет ли украдкой змейка первородного греха? не блеснет ли спасительная искра божественной благодати? – придают творчеству Ричардсона замкнутый, интроспективный характер. Еще Кольридж сравнивал романы Ричардсона с душной, жарко натопленной комнатой больного, а романы Фильдинга – с лужайкой, где веет свежий весенний ветер.

<...>

Религиозно-политические проблемы свободы и долга, греха и благодати, волновавшие пуританскую Англию за сто лет до Ричардсона, переводятся им на язык частной жизни. Памела и Кларисса – протестантки в собственном смысле слова. Борьба за внутреннюю независимость и свободу воли играет решающую роль в жизни ричардсоновских героинь. Анна Гоу считает «тираническим» самое слово «авторитет» (VI, 67); Кларисса «ненавидит тиранию и надменность в любых формах» (VI, 117). Чрезвычайно характерны мотивы, по которым Кларисса отказывается стать женой Сомса – богача, навязываемого ей в мужья родными. «Пусть не отдают меня так жестоко человеку, который отвратителен самой душе моей. Позвольте мне повторить, что я не могу *честно* принадлежать ему. Будь я исполнена меньшего уважения к долгу супруги, может быть, я и могла бы. Но я должна выносить эту муку, и притом на всю *жизнь*; мое *сердце* не столько затронуто в этом вопросе, как моя *душа*; мое *земное* благополучие – не столько, как благополучие *грядущее*; так почему же меня лишают свободы *отказа*? Эта свобода – все, чего я требую» (VI, 33). Просветительское понятие естественного права человека на счастье подкрепляется здесь доводами пуританской морали; сопротивление насилию над ее душой и волей оказывается для Клариссы не только правом, но и священным долгом.

Это чувство ответственности за свою душу вдохновляет Памелу и в особенности Клариссу в их жизненной борьбе. Оно же обуславливает и то ощущение серьезности и значительности их частных судеб, которым определяется в конечном счете общая возвышенно-патетическая тональность романов Ричардсона, резко отличающая их от комических эпопей Фильдинга и сатирико-бытовых романов Смоллета. События и характеры, им изображаемые, будучи порождены каждодневной прозой, вместе с тем возвышаются над нею; они поражают не комической гротескностью, но исключительным драматизмом. Слово «герой» употребляется Ричардсоном в применении к его персонажам серьезно, без той лукаво-пародийной усмешки, которая так часто сопровождает его у других английских реалистов-просветителей его времени.

<...>

Особенностями пуритански окрашенного мировоззрения Ричардсона объясняются некоторые существенные черты его реализма: это, во-первых, присущий ему метод интроспективного, зачастую казуистически изощренного психологического самоанализа, посредством которого раскрывается в его романах внутренний мир героев, и, во-вторых, тесно связанное с этим моральным ригоризмом стремление этически осмыслить и взвесить все, казалось бы, заурядные факты частной жизни.

О быте и нравах среднего англичанина XVIII в. и до Ричардсона писали немало: Поп в своих сатирах и «Похищении локона», Аддисон и Стиль в очерках «Зрителя» и «Болтуна»

и, конечно, Дефо. Все они – каждый по-своему – многое сделали для того, чтобы облегчить Ричардсону его задачу. Но никто из них не мог придать изображению самых, казалось бы, обычных явлений частного существования того драматического пафоса, которым полны романы Ричардсона.

Частная жизнь захватывает писателя своим многообразием и своей скрытой значительностью. Автор словно боится упустить хотя бы малейшую черточку жизни своих героев. Он не хочет пожертвовать ни одним словом, ни одним жестом, ни одной промелькнувшей мыслью. В своем первом письме к Анне Гоу Кларисса предупреждает, что считает своим долгом описывать передаваемые ею разговоры во всех подробностях, ибо «в выражении лица и манере нередко высказывается больше, чем в сопутствующих словах» (X, 8). Если его романы разрастаются до таких грандиозных размеров (семь томов «Грандисона», восемь – «Клариссы», самого длинного романа во всей английской литературе), если в них нередки повторения и длинноты, то причина этого – прежде всего жадный интерес их создателя к людям и жизни, ко всему, что касается «человеческой природы».

Он сам мотивирует нарочитую доскональность своего повествования требованиями реалистической эстетики: «нередко, – пишет он в «Клариссе», – нужна была чрезвычайная обстоятельность и детальность, чтобы сохранить и поддержать ту видимость правдоподобия, которая необходима в произведении, призванном изобразить реальную жизнь» (XIII, 432).

В своей восторженной «Похвале Ричардсону» Дидро прекрасно охарактеризовал новаторство Ричардсона в изображении частной жизни: «Вы обвиняете Ричардсона в растянутости?.. Думайте об этих подробностях, что угодно; но для меня они будут интересны, если они правдивы, если они выводят страсти, если они показывают характеры. Вы говорите, что они обыденны; это видишь каждый день! Вы ошибаетесь; это то, что каждый день происходит перед вашими глазами, и чего вы никогда не видите»<sup>3</sup>.

Мелкие и мельчайшие бытовые детали возбуждают в Ричардсоне уже не только трезво-практическое, деловое внимание, как у Дефо, но и глубокий эмоциональный интерес. Это новое отношение к миру сказывается в самом переходе Ричардсона от мемуарных романов-«записок» Дефо к форме романа в письмах. Автор «Клариссы», как и автор «Робинзона Крузо», еще старается придать повествованию документальный, подлинно достоверный вид; он еще скрывается под маской издателя, не вступая в открытую, непринужденную беседу с читателем, как это сделает Фильдинг, и даже не называет свои книги романами, предлагая их публике как собрания подлинных писем действительно существовавших лиц. Но к уменью наблюдать и описывать он прибавляет новую, по сравнению с Дефо, способность *переживать* наблюдаемое. Его интересуют уже не только поступки людей, но и бесчисленные, едва уловимые движения мысли и чувства, лишь косвенно проявляющиеся в действии.

В соответствии с этой психологической углубленностью реализма Ричардсона, эпистолярная форма приобретает для него особое значение. О ее принципиальных преимуществах по сравнению с другими формами литературного повествования он не раз говорит в своих романах. Друг Ловласа Бельфорд, исправившийся повеса, восхищен тем, что Кларисса избрала его своим душеприкащиком: «Какое меланхолическое удовольствие доставит мне чтение и приведение в порядок ее бумаг!.. она пишет в самом разгаре своих треволнений! Душа ее терзается муками неизвестности (будущие события еще скрыты в лоне судьбы); насколько живее и трогательнее должен быть поэтому ее слог, чем сухой повествовательный бесстрастный слог людей, рассказывающих о преодоленных трудностях и опасностях. Если рассказчик совершенно спокоен и его история не волнует его самого, можно ли ожидать, что она глубоко растрогает читателя?» (XI, 121–122).

Та же мысль высказана Ричардсоном уже от собственного лица в предисловии к «Истории сэра Чарльза Грандисона». «Природа частных писем, написанных, так сказать, под влиянием *момента*, когда сердце взволновано надеждами и страхами в связи с еще нерешенными собы-

тиями, должна служить извинением обширного размера такого рода собрания. Простое изображение фактов и характеров потребовало бы меньшего пространства: но представило ли бы оно такой же интерес?» (XIII, X). По мнению Ричардсона, преимущества эпистолярной формы не исчерпываются большей эмоциональной убедительностью. Она открывает широкий простор психологическому самоанализу героев (характерно, например, резюме XXIV письма 4-го тома «Клариссы»: она «опасается, по тщательном самоисследовании, вынужденном ее бедствиями, что даже в лучших поступках своей прошлой жизни была не совершенно свободна от тайной гордости и пр.» (VIII, XI – оглавление).

Любит или не любит Кларисса Ловласа? Любит ли он Клариссу? Каждый из них пытается снова и снова ответить на этот вопрос и самому себе, и тому, кому поверяет свои чувства и мысли. Они стараются осмыслить то, что уже свершилось, и предугадать то, что будет. Вместе с тем они пишут, по выражению Ловласа, «до последнего мгновенья» (to the minute) и их письма лет за полтораста предвосхищают тот «внутренний монолог», который считался открытием европейского романа на рубеже XIX–XX вв.

И наконец, что было очень важно для Ричардсона, эпистолярная форма исполняется у него острым драматизмом, служа раскрытию конфликтов противоборствующих интересов, мировоззрений и страстей. В «Клариссе», где эпистолярная форма доведена до совершенства, одни и те же события, одни и те же дилеммы освещаются в письмах различных корреспондентов с разных, иногда даже прямо противоположных точек зрения. О Ловласе читатель узнает сперва из письма Анны Гоу, которым открывается роман: она не знает, что думать по поводу светских сплетен, утверждающих, будто бы мисс Кларисса Гарлоу отбила жениха у старшей сестры. Следует ответ Клариссы, в котором излагается ее версия неудачного сватовства Ловласа к ее сестре Арабелле и последующего внимания к ней самой, начала их переписки, его дуэли с ее братом, заносчивым и грубым Джеймсом Гарлоу, которому Ловлас великодушно дарует жизнь, и его разрыва с семейством Гарлоу. Сам Ловлас впервые появляется во весь рост только в XXXI письме 1-го тома, хотя Кларисса и ранее цитировала отрывки из его писем к ней. Открывающаяся этим письмом переписка его с Бельфордом – параллельная, по охвату событий, переписке Клариссы с Анной Гоу – позволяет Ричардсону представить все действие романа в двойном свете, убеждая читателей этой взаимопроверкой в трагической тщетности надежд Клариссы на благородство и великодушие Ловласа, так же, как и в неизбежном крушении самолюбивых планов Ловласа, не подозревающего, как чиста и непреклонна Кларисса. Ричардсон индивидуализирует письма своих героев: чувствительность Клариссы, остроумие и горячность Ловласа, юмор мисс Гоу, чопорность ее жениха, м-ра Гикмена, лакейское раболепство «честного» Джозефа Лемана, торгашеская черствость Антони Гарлоу, самодовольное педантство молодого священника Бранда – сказываются в эпистолярной манере каждого из них.

<...>

Эпистолярная форма ричардсоновских романов отличалась известной условностью и искусственностью. Вальтер Скотт отмечает этот недостаток в своей статье о Ричардсоне: «герои часто принуждены писать в такое время, когда им естественнее было бы действовать, принуждены нередко писать о том, о чем писать вообще неестественно, и принуждены постоянно писать гораздо чаще и гораздо больше, чем позволяют, с нашей современной точки зрения, сроки человеческой жизни»<sup>4</sup>. <...>

При всей условности эпистолярной формы у Ричардсона, созданный им роман в письмах был большим завоеванием реалистической литературы времен Просвещения. В его творчестве, особенно в «Клариссе», жанр эпистолярного романа обнаруживает большую разносторонность. Он включает в себя и письмо-описание, и письмо-документ, и письмо-диалог (некоторые письма Ловласа строятся как небольшие комедийные сценки с ремарками рассказчика<sup><...></sup>), и письмо полемическое, и прежде всего лирическое письмо-исповедь.

Роль субъективного эмоционального начала в эпистолярных романах Ричардсона так велика, что это давало повод относить его к числу сентименталистов. <...>

Ричардсон, однако, может быть признан отцом европейского сентиментализма лишь с существенными оговорками. Правда, сентименталисты, включая и Стерна, и Руссо, и молодого Гёте, многим обязаны автору «Памелы» и «Клариссы» и в тематике, и в выборе художественных средств. Именно в его литературном наследии были почерпнуты сентименталистами их важнейшие принципы свободы личности и свободы чувства. Недаром Юнг именно Ричардсону адресовал свой знаменитый трактат о самобытном творчестве – евангелие европейского сентиментализма. Ричардсон впервые придал высокую патетическую значительность скромным явлениям частной жизни; он впервые сделал роман средством могущественного эмоционального воздействия на читателя. И именно к нему был обращен знаменитый в истории сентиментализма вопрос одной из читательниц «Памелы» и «Клариссы»: что же именно значит это новое модное словечко «сентиментальный», которое теперь у всех на языке?

Но сам Ричардсон далек от сентиментализма даже в той зачастую непоследовательной и неразвитой форме, в какой проявлялось на английской почве это течение в годы его творчества. Ему чужда не только необузданность Руссо и молодого Гёте, но и меланхолическая рефлексия Юнга и добродушное донкихотство Гольдсмита. Известно, как возмущался он Стерном, утешаясь только тем, что писания Йорика «слишком грубы, чтобы воспламенить»<sup>5</sup> читателей. Сохранилось два разноречивых сообщения о знакомстве Ричардсона незадолго до смерти с «Новой Элоизой»; обе версии сходятся в основном пункте: Ричардсон отнесся к роману Руссо с крайним неодобрением<sup>6</sup>.

Домашнее, буржуазно-житейское благоразумие остается для Ричардсона, в отличие от сентименталистов, священным. Чуждый серьезному разладу с действительной жизнью, далекий от сомнений в непогрешимости разума и в разумности существующего порядка вещей, Ричардсон не разделяет с сентименталистами их критики разума во имя чувства. Даже фильдингская апелляция – в противовес разуму – к доброму сердцу представляется ему опасной и безнравственной. Сомнение в совершенствах буржуазной действительности, заставлявшее Гольдсмита и Стерна избирать своими любимыми героями новых английских дон-кихотов – наивных чудаков, подобных пастору Примрозу или дяде Тоби, чуждо автору «Грандисона». Чувствительность его положительных героев и героинь не только не противостоит рассудку, но, напротив, состоит с ним в теснейшем родстве. И он никак не мог бы решиться представить их смешными или экстравагантными. Ведь с его точки зрения «благопристойность» – это другое обозначение для слова «природа» (как заявляет Анна Гоу). Известная похвала Сэмюэля Джонсона знаменательна (и обоюдоостра): в своих романах Ричардсон действительно «научил страсти двигаться по приказу добродетели»<sup>7</sup>, – и добродетель эта была рассудочна до мозга костей.

<...>

Цитата из Ювенала, приводимая в романе, как бы определяла, по мнению Ричардсона, идейное значение «Клариссы»: «*hominum mores tibi nosse volenti sufficit una domus*» (если ты хочешь познать нравы человеческого рода, тебе довольно и одного дома). В четырех стенах одного дома Ричардсон открывает и столкновение интересов и борьбу мировоззрений и страстей, и сложные взаимопереходы противоречивых чувств.

<...>

По традиционному представлению, Ловлас, и только Ловлас, виновен в безвременной гибели Клариссы. В действительности, Ричардсон обуславливает драматическую катастрофу гораздо более сложными и многообразными причинами. В судьбе Клариссы, в его изображении, виновата отчасти и она сама, и в особенности ее семья, толкнувшая ее навстречу Ловласу. Сквозь этические мотивы как бы проступает скрытый социальный фактор.

Изображение семейных раздоров в доме Гарлоу недаром занимает столько места в первых томах романа. «Экспозиция» «Клариссы» чрезвычайно характерна. Кларисса Гарлоу еще недавно была, казалось, кумиром своей семьи, но стоило ей получить от деда наследство, намного превышавшее долю ее брата и сестры, как все изменилось. Привычные отношения, родственная привязанность, элементарная человечность, – все отступило перед той новой силой, которую сама Кларисса называет «столкновением интересов» (V, 91). Пусть стараются Гарлоу оправдать свое поведение по отношению к Клариссе желанием спасти ее от козней Ловласа, устроить ее судьбу и пр., – ни для нее, ни для них самих не может быть тайной, какими мотивами вызвано их рвение. Сама Кларисса с печальной проницательностью объясняет эти мотивы в письмах Анне Гоу. «*Любовь к деньгам – корень всякого зла*» (V, 233). «Вы все слишком богаты, чтобы быть счастливыми, дитя мое» (V, 61), – вторит ей Анна. Семейство Гарлоу обрисовано типичными для тогдашней Англии социальными чертами. Гарлоу принадлежат к провинциальному джентри, но дворянство их – недавнего происхождения. По саркастическому замечанию Ловласа, их поместье, Гарлоу-плейс, возникло из навозной кучи не так давно, на памяти старожилов. Отец Клариссы женат на дочери виконта; но его старший брат разбогател на недавно открытых копях, а младший – на ост-индской торговле. Гарлоу мечтают возвыситься в знать, «*to raise a family*». Брат Клариссы, руководимый «далеко идущим себялюбием» (V, 92), рассчитывает сосредоточить в своих руках все фамильные состояния, усилить свое влияние и добиться титула. Завещание деда, отказавшего свое имение Клариссе, нарушает его планы. Вместе со своей сестрой Арабеллой он высказывает опасение, как бы «обчистив деда, она не обчистила бы и дядей» (V, 86). Ее брак с Ловласом опасен им, так как сделал бы ее самостоятельной и закрепил бы право на дедовское наследство, оспариваемое родней. Отец Клариссы грозит, что «будет судиться с ней из-за каждого шиллинга» и что «завещание может быть – и будет – аннулировано» (V, 288). «Хорошо быть в родстве с именем» (V, 89), – твердит ее сестра Арабелла. Сообща родня навязывает Клариссе брак по расчету с богачом Сомсом, уродливым и злобным скрягой, тиранящим и своих арендаторов и родных. Родство с Сомсом выгодно для Гарлоу; того в свою очередь прельщает возможность округлить свои поместья, расположенные по соседству с именем, доставшимся Клариссе от деда. «И такой человек *влюблен!* Да, может стать, влюблен в имя моего дедушки» (V, 234), – насмешливо восклицает Кларисса. «Какие условия, какие чувства!» (V, 47) – передразнивает она своих родных, выхваляющих ей преимущества брачной сделки с Сомсом. «Скупость» и «зависть» – вот господствующие страсти семейства Гарлоу, по словам Анны Гоу. Кроме Клариссы, в семействе Гарлоу нет ни одной человеческой души, пишет Ловлас.

Трагическая личная дилемма Клариссы, вынужденной выбирать между недостойным браком с Сомсом и недостойным бегством с Ловласом, получает, таким образом, у Ричардсона реалистическую, социально типичную мотивировку. Дедовское завещание недаром фигурирует в романе Ричардсона столь же часто, как брачный контракт или вексель в ином романе Бальзака. Не будем искать у Ричардсона сознательного стремления разоблачить могущество буржуазного «бессердечного чистогана»; но объективно власть денег над человеком в буржуазном обществе изображена в истории семейства Гарлоу с такой художественной силой, какая была доступна редким произведениям того времени.

Одним из немногих современников, оценивших до достоинству именно эту сторону творчества Ричардсона, был Дидро. Автор «Племянника Рамо» – первого и единственного произведения просветительской литературы XVIII в., где с неумолимой пророческой силой была показана хищническо-эгоистическая подкладка «естественного» и «общечеловеческого» *буржуазного* интереса, – особенно восхищается умением Ричардсона «различать тонкие бесчестные мотивы, прячущиеся и скрывающиеся за другими честными мотивами, которые спешат первыми показаться наружу»<sup>8</sup> («Похвала Ричардсону»). Благородное негодование оскорбленной родни, отцовские проклятия, посылаемые вслед непокорной беглянке, сенти-



ментальные намеки на недооцененное ею родственное милосердие, – все это оказывается лишь производным от тех эгоистических корыстных расчетов, жертвой которых стала Кларисса. Жестокие, завистливые и жадные брат и сестра сделали все, чтобы под видом заботы о фамильном престиже принудить ее к бегству из родительского дома и толкнуть ее в объятия Ловласа. Им выгоден ее позор. Ричардсон остается верен своему реализму в обрисовке семейства Гарлоу даже в слезливо-дидактическом финале романа. Раскаиваясь в своей жестокости, обливаясь слезами над гробом погубленной ими Клариссы, ее родные пытаются все-таки оспорить оставленное ею завещание!

Дидро первый обратил внимание на редкую в просветительской литературе XVIII в. сложность характеров, изображаемых Ричардсоном. Он восхищается «гениальностью», с какой Ричардсон сумел сочетать в Ловласе «редчайшие достоинства с отвратительнейшими пороками, низость – с великодушием, глубину – с легкомыслием, порывистость – с хладнокровием, здравый смысл – с безумством; гениальностью, с какою он сделал из него негодяя, которого любишь, которым восхищаешься, которого презираешь, который удивляет нас, в каком бы виде он ни появлялся, и который ни на мгновение не сохраняет одного и того же вида»<sup>9</sup>.

Эта сложность характеров достигалась не механическим сочетанием разнообразных и противоречивых свойств. В образах Ловласа и Клариссы Ричардсон сумел показать, как тесно связаны между собой пороки и добродетели, оказывающиеся иной раз проявлением одной и той же черты человеческого характера.

<...>

Диалектика характеров Клариссы и Ловласа раскрывается в их столкновении, определяющем все движение сюжета. Конфликт Ловласа и Клариссы в изображении Ричардсона многогранен. Это индивидуальный психологический конфликт двух волей и двух сердец; это социальный конфликт людей различных классовых группировок; это, наконец, наиболее важный для самого автора этический конфликт двух нравственных кодексов, разных отношений к жизни и к «человеческой природе».

Ни одно из значительных произведений литературы английского Просвещения не заслуживает в большей мере, чем «Кларисса», определения «роман о любви». В драматургии Возрождения провозглашенный Шекспиром принцип «the course of true love never did run smooth» (путь истинной любви всегда превратен) воплотился в «печальнейших на свете» повестях о светлой, прекрасной любви, погубленной феодальными усобицами, происками завистников, наветами злых клеветников. У Ричардсона, в его «драматическом повествовании» о буржуазной Англии, дело меняется коренным образом. Его «Кларисса» могла бы быть названа трагедией *несостоявшейся любви*: ибо оба главных действующих лица его романа, и Ловлас, и Кларисса, хотя и по разным мотивам, стыдятся своей любви как недостойной или опасной слабости, боятся дать ей волю, даже назвать ее по имени.

<...>

Ловлас Ричардсона, каким он предстает в постоянном «споре с самим собой» (self-debate), как называет он сам свои откровенные письма-дневники, адресованные Бельфорду, не всегда является тем «хладнокровным» развратником, каким он хотел бы казаться. Но воспитание, привычки, принятый в его кругу кодекс «чести» заставляют его подавлять как жалкое малодушие то искреннее чувство любви и восхищения, которое постоянно прорывается в его письмах о Клариссе сквозь наигранную беспечность, с какой он строит планы «победы» над ней. Самая любовь его к тому же отдает жестокостью. За несколько лет до печально знаменитого маркиза де Сада Ловлас уже постиг искусство мучить то, чем наслаждаешься. В детстве – вспоминает о нем Бельфорд – он мучил животных и птиц, попавших ему в руки; потом стал мучить женщин. Сам он, рассуждая об утехах любви, сравнивает себя с лакомкой-эпикурейцем, для которого рыбу заживо бросают на сковороду, чтобы она тушилась в собственной крови, а поросенка насмерть засекают розгами, чтобы жаркое было помягче. Эта жесто-

кость, однако, – лишь одна сторона его противоречивого характера: и вплоть до решающей катастрофы читатели «Клариссы» постоянно находят в письмах Ловласа порывы раскаяния и нежности, позволяющие надеяться, что героиня не станет жертвой его безжалостных «стратегем».

А Кларисса? Любит ли она? Когда роман вышел в свет и созданные Ричардсоном образы зажили самостоятельной жизнью, автору пришлось, к своей великой досаде, убедиться в том, что его Ловлас оказался гораздо обаятельнее, чем следовало бы, а несравненная, «божественная» Кларисса показалась многим слишком щепетильной, чопорной и холодной. В третьем, дефинитивном издании «Клариссы» 1751 г. Ричардсон счел нужным прибегнуть к пространственным примечаниям, где, нарушая непринужденный строй романа, с нескрываемым раздражением старался доказать читателям правоту своей героини.

Но, как воскликнул Бальзак в «Утраченных иллюзиях», «кто возьмется быть судьей в споре между Ловласом и Клариссой?»

Ричардсон, мечтавший, что его романы научат юных читательниц обуздывать страсти благоразумием и добродетелью, старается избежать в письмах Клариссы даже слова «любовь». И все же само наивное педантство этой восемнадцатилетней девочки, старающейся, когда речь заходит о ее чувствах к Ловласу, заменить это роковое слово более пристойным и сдержанным «условным предпочтением», выдает ее тайну, так же как выдают ее и бурная ревность к «Розочке», и то досадливое нетерпение, с каким в ответ на лукавые догадки своей подруги она спешит заявить, что не испытывает ни «трепета», ни «краски» при мысли о Ловласе. Признаться в своей любви с такой свободной, доверчивой откровенностью, как то могли сделать шекспировская Джульетта или Миранда, это чопорная английская «мисс» XVIII в. сочла бы, может статься, даже большим позором, чем то бесчестье, какое ей нанес Ловлас.

А Ловласу эта гордая сдержанность Клариссы кажется величайшим оскорблением. Он не раз повторяет в письмах Бельфорду, что взбешен ее недоверчивостью, ее оглядкой на мнение отрекшихся от нее родных, ее церемонной холодностью. Он ревнует ее и к мрачному Гарлоу-плейс, и к угрюмому тирану-отцу. «Что она, младенец? неужели она только и может любить, что отца и мать?» – восклицает он в письме Бельфорду. Он утверждает, что если бы Кларисса доверилась ему безраздельно, открыла бы ему свое сердце и положила на его ответную любовь, то и он был бы с ней столь же великодушен и не помыслил бы подвергать ее никаким испытаниям. К тому же его мучит мысль, что, подчинившись добродетели Клариссы, вместо того, чтобы сломить ее волю, и женившись на ней, он станет не более как «обыкновенным человеком».

Так мучают друг друга эти два сильных, гордых и самолюбивых характера, одинаково (при всей разности мотивов) озабоченные тем, чтобы и в любви, – именно в любви! – не уронить свое *личное* достоинство, не поступиться *личной* свободой, не подчинить *свою* волю воле другого. «Кларисса» в этом смысле, как и «Манон Леско» Прево, казалось бы столь на нее непохожая, уже предвещают позднейшие изображения надрывной, мучительной и мучительской любви, отравленной эгоизмом, униженной, затоптанной в грязь, – в литературе конца XIX и XX в. Ловлас слишком поздно узнает, сколько скрытой нежности было в «холодной» душе Клариссы. «Он не знал цены оскорбленному им сердцу» – с горечью повторяет она, когда между ними все уже кончено. И хотя в последние недели жизни она, кажется, уже отрешена от всех мирских помыслов и живет только мыслями о боге, любовь к Ловласу нет-нет да и прорывается, непризнанная и неназванная своим именем, между строк ее последних писем. Отказываясь, вопреки требованиям родных, преследовать Ловласа судом, она подкрепляет свое решение многими доводами: публичное разбирательство в суде, где ей пришлось бы давать показания, было бы нестерпимым позором, она не пережила бы первого заседания суда; к тому же странная история ее отношений с Ловласом могла бы показаться судьям неправдоподобной... Но третий и главный аргумент выдает ее тайну: ведь Ловлас повинен в преступлениях,

за которые ему угрожает смертная казнь; как же может она выступить его обвинительницей? О том же говорит и настойчивость, с какою Кларисса требует перед смертью от своего кузена, полковника Мордена, торжественного обещания не мстить за нее и не вызывать Ловласа на дуэль (Морден, однако, нарушает это обещание в конце романа). И, наконец, в предсмертном письме к Ловласу она пишет о своем чувстве с всегдашней сдержанностью, в которой он, однако, на этот раз сумел ощутить живую сердечную теплоту. «Мне следовало бы краснеть, признаваясь, что когда-то я относилась к вам с предпочтением...» (XII, 239) – пишет она; и он, повторяя эти слова в письме к Бельфорду, восклицает: «Каким чопорным языком изъясняется в этих деликатных случаях девическая скромность! – *«Признаваясь, что я когда-то любила вас»*, – вот что это значит в переводе на английский язык; эти слова звучат и правдиво, и естественно... Так ты признаешься в этом, благородное создание? Так, значит, ты признаешься в этом? – Какая музыка в этих словах!.. Чего бы ни дал я, лишь бы моя Кларисса была жива, и могла и захотела признаться, что она меня любит!» (XII, 243).

Но Кларисса в это время уже покоится в фамильном склепе Гарлоу-плейс.

<...>

Фигуры, взятые из повседневного частного английского быта 1740-х годов, Ловлас и Кларисса, как бы разыгрывают в четырех стенах «одного дома» эпилог исторической драмы, первое действие которой началось в Англии столетием раньше, в эпоху английской буржуазной революции. Ловлас выступает как последний из «кавалеров», переживших Реставрацию; в Клариссе еще теплится революционный энтузиазм пуритан.

Спор идет теперь не о политической власти, не о перераспределении собственности; он превращается в спор аристократической «чести» с буржуазной «моралью». Характерно замечание Клариссы об одном из друзей Ловласа, Моубрэе: «Он высокого мнения о *чести* – слово, которое у него постоянно на устах; но, кажется, не очень дорожит *моралью*» (VII, 375). При этом отголоски пуританских размышлений о грехе, благодати и свободе воли сливаются с просветительскими размышлениями о «человеческой природе».

И Ловлас, и Кларисса, как и подобает героям просветительского романа, имеют свою точку зрения на «человеческую природу». Понимание «человеческой природы» у них различно, более того, резко противоположно, но каждому из них оно служит программой действий, критерием правильности всей жизни.

Ловлас исходит в своей этике из принципов аристократического материализма конца XVII – начала XVIII в. Его учителями, очевидно, были Гоббс и Мандевиль; последнего сам он называет «своим достойным другом» (IX, 243). Весь мир кажется ему огромной *ярмаркой* – образ, к которому он прибегает специально, чтобы «оправдать» свою низость в отношении Клариссы. «О, Бельфорд, Бельфорд! Какая подлая, подкупная обманщица, – у бедняков, как и у богачей, – человеческая природа!» (VII, 189).

<...>

Неожиданная для Ловласа моральная стойкость Клариссы имеет в изображении Ричардсона принципиальное этическое обоснование. Кларисса – едва ли не самая *героическая* фигура среди персонажей английского просветительского романа – является как бы воплощением принципа человеческого достоинства. В своем сопротивлении Ловласу она опирается и на буржуазную чопорность, и на привитое воспитанием уважение к приличиям, – и это учитывает Ловлас, вовсе не ожидая, «*что женщина, воспитанная и любящая формальности, уступит прежде, чем на нее будет поведено наступление*» (VIII, 13). Но совершенно неожиданно для себя он обнаруживает, что «ее любовь к добродетели, кажется, является *принципом*, врожденным принципом, или, если *не* врожденным, то так глубоко укоренившимся, что побеги его выросли в ее сердце».

Совращение Клариссы Ловласом, – рассматриваемое в общей идейной перспективе просветительского романа, – приобретает, таким образом, философско-этическое значение сво-

его рода эксперимента над «человеческой природой». «A test; a trial» – выражения, которыми постоянно пользуется в этой связи сам Ловлас.

Самонадеянное представление Ловласа о всеобщей «подлости», «подкупности» и «развращаемости» человеческой природы терпит полное крушение в этом эксперименте. К Клариссе неприменима выработанная Ловласом система коррупции. «Чем могу я соблазнить ее? – в недоумении спрашивает он. – Богатством? Богатство... она презирает, зная, что это такое». Драгоценностями? Но украшения в ее глазах не имеют цены. Любовью? «Но если она и способна любить, то, кажется, лишь под таким контролем благоразумия, что, боюсь, нельзя рассчитывать даже на минутную неосторожность» (VIII, 242–243).

В характере Клариссы, таким образом, как бы реабилитируется «человеческая природа», несправедливо приниженная цинической этикой Ловласа и его учителей. Торжество ее добродетели служит не только проповеди филистерско-буржуазной морали воздержания, но и утверждению гуманистической просветительской этики, провозглашающей добродетель естественным свойством человека.

<...>

Известно, с каким волнением ожидали английские читатели выхода последних томов «Клариссы», чтобы узнать, как решится судьба героини. Сколько письменных и устных просьб, советов, увещаний, жалоб, даже угроз было пущено в ход, чтобы заставить Ричардсона завершить роман счастливым концом! Об этом умолял даже недавний антагонист Ричардсона, насмешник Фильдинг. Но Ричардсон остался непоколебимым. Более того, он настаивал на том, что трагический конец «Клариссы» – по-своему очень «счастливый» конец. Если «Памела», как гласил подзаголовок этого романа, олицетворяла собой, по замыслу автора, «вознагражденную добродетель», то Кларисса представляла собой в глазах Ричардсона добродетель торжествующую.

Какую бы роль ни играли в романе Ричардсона религиозные упования на загробный мир, судьба его героев решалась здесь, на земле. Здесь, на земле, торжествовала добродетель Клариссы, здесь, на земле, терпел поражение, запутавшись в собственных эгоистических кознях, Ловлас.

С замечательной для своего времени смелостью Ричардсон заставил свою героиню пренебречь в решении собственной судьбы всеми привычными компромиссными нормами буржуазной морали. Судиться с обидчиком? «Поправить» дело законным браком? – оба пути с презрением отвергаются Клариссой. <...> Изнасилованная, опозоренная, всеми отвергнутая, она отклоняет всякий компромисс, всякое примирение, ибо насилие не смогло ни осквернить ее духовной чистоты, ни сломить ее непреклонную волю. Напрасно потрясенный Ловлас, его знатные родственники, наконец, даже ее собственные друзья убеждают Клариссу согласиться на брак с ним. Она умирает одинокая, измученная, и все же счастливая, в гордом сознании своей внутренней свободы и чистоты, не запятнанной сообщничеством с грехом.

В задуманном таким образом характере Клариссы было бесспорно своеобразное величие. Бальзак находил его неповторимым. «У Клариссы, этого прекрасного образца страстной добродетели, есть черты чистоты, приводящей в отчаяние»<sup>10</sup>, – писал он в предисловии к «Человеческой комедии».

<...>

Идеал «человеческой природы», для Ричардсона, предполагает гармоническое сотрудничество сердца и разума под верховным руководством последнего. В образе Клариссы проявляются героические естественные возможности, заложенные в неиспорченной человеческой натуре. <...>

В образе Ловласа, напротив, представлены естественные дарования человека, развращенные и обращенные во зло. Но и его фигура носит титанический характер. Ей, в сущности, тесно в рамках частного быта. Ловлас постоянно уподобляет себя то Юлию Цезарю, то Ганнибалу, то

Петру I – великим политикам и стратегам, и Ричардсон как бы санкционирует эти сравнения. По характеристике Дружинина, письма Ловласа – «апофеоз гордости и юношеского доверия к своим силам»<sup>11</sup>.

Его «естественное достоинство», его «обманчивая мягкость» указывают, по мнению Клариссы, «что он был *рожден* невинным... что он не был *от природы* тем жестоким, буйным, необузданным существом, каким сделало его дурное общество!» (VII, 379); он наделен от природы «необычайными дарованиями», «он достиг бы совершенства во всем, за что бы ни взялся; и мог бы быть человеком необычайным и совершать необычайные дела» (VII, 196).

В духе просветительского гуманизма Кларисса объясняет пороки Ловласа дурным воспитанием. «Его воспитание, должно быть, было ошибочно. Его естественным склонностям, мне думается, не уделялось достаточного внимания. Его, возможно... побуждали к добрым и благодетельным поступкам; но я подозреваю, не из *должных мотивов*. В противном случае, его великодушие не ограничивалось бы *гордостью*, но превратилось бы в *человечность*; он был бы благороден во всем и делал бы добро ради него самого» (VIII, 343). Эта мысль, проходящая через весь роман, придает особый трагизм образу Ловласа. В его душе разыгрывается непрерывная борьба противоположных побуждений. Он сам насильственно подавляет в себе благородные порывы естественного великодушия. В одном из писем к Бельфорду он рассказывает, как только что убил свою совесть, – она лежит зарезанная, в луже крови. Все силы своего изобретательного, тонкого, проницательного ума он тратит на завершение своей интриги, с упоением сравнивая себя то с полководцем, задумавшим победоносную кампанию, то с минером, ведущим подкоп против неприятеля, то с ловким птицеловом, то, наконец, с пауком, подстерегающим муху, пока не выясняется – слишком поздно, – что, погубив Клариссу, он погубил и собственное счастье. «*Человеку в десять раз труднее быть злым, чем быть добрым*. Сколько проклятых уловок должен я был пустить в ход, чтобы поставить на своем с этим прелестным созданием; и, в конце концов, как я запутался в них... Как счастлив был бы я с таким совершенством, если бы решился жениться на ней сразу после того, как она по моим настояниям покинула отчий дом!» (XII, 248).

<...>

Сюжетная коллизия и характеры двух центральных действующих лиц «Клариссы» выделяются в английском романе времен Просвещения высоким драматизмом. Героический пафос «Клариссы» основан, однако, на несколько искусственном «сублимировании» действительных многообразных и сложных противоречий жизни. Ловлас и Кларисса героичны постольку, поскольку в своем всепоглощающем нравственном антагонизме они возвышаются над уровнем реального обыденного существования, с которым, впрочем, они связаны всем своим прошлым.

<...>

<...>

(Елистратова А. А. Ричардсон // Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. М.: Наука, 1966. Гл. III. С. 162–166, 172–177, 188–200, 203–204)

### Примечания

<sup>1</sup> McKillop A. D. Samuel Richardson, Printer and Novelist. Chapel Hill, 1936. P. 127.

<sup>2</sup> Richardson, Samuel. Works / with a Sketch of his Life and Writings by E. Mangin: in 19 vols. London, 1811. Отсылки даются в тексте – указываются том и страница.

<sup>3</sup> Diderot, Denis. Œuvres / éd. Assézat. T. V. Paris, 1875. P. 217.

<sup>4</sup> Scott, Walter. Te Miscellaneous Prose Works. Vol. III. Paris, 1837. P. 37–38.

<sup>5</sup> Richardson, Samuel. Correspondence / ed. by A. L. Barbould. Vol. V. London, 1804. P. 146.

<sup>6</sup> См.: McKillop A. D. Op. cit. P. 187.

<sup>7</sup> Заметка в «The Rambler» от 19 февраля 1751 г.

<sup>8</sup> *Diderot, Denis*. Op. cit. P. 215.

<sup>9</sup> *Ibid.* P. 222.

<sup>10</sup> Литературные манифесты французских реалистов / под ред. М. К. Клемана. Л., 1935. С. 60.

<sup>11</sup> *Дружинин А. В.* Собр. соч. Т. V. СПб., 1865. С. 32.

### **Вопросы и задания**

1. К какому литературному направлению А. А. Елистратова относит творчество Ричардсона?
2. Какие отношения, по мнению исследовательницы, связывают Ричардсона с сентиментализмом?
3. Охарактеризуйте ричардсоновскую концепцию «человеческой природы».
4. Изложите точку зрения автора работы на центральный конфликт романа.
5. Приведите данную в работе характеристику эпистолярной формы романа и тех возможностей, которые она открывала перед автором.

## Генри Филдинг (1707–1754)

### Предтекстовое задание

Познакомившись с главой из монографии М. Г. Соколянского, примените его суждения о «романе большой дороги» к трактовке «Истории Тома Джонса, найденыша» Генри Филдинга.

### *М. Г. Соколянский* О «Романе большой дороги»

Один из эмпирически выделенных литературоведами типов романа – так называемый «роман большой дороги» (иногда говорят и пишут – «роман сервантесовского типа»). Этим понятием нередко оперируют исследователи истории романа XVIII–XIX вв.<sup>1</sup> Как подсказывает одно из определений, эта романная разновидность ведет свое происхождение от знаменитого «Дон Кихота» Сервантеса – «особого романа, стоящего в начале литературного цикла, в начале „эры романа“ в Европе»<sup>2</sup>.

В ряд «романов большой дороги» попадают (иногда с некоторыми оговорками) такие значительные произведения просветительской прозы, как «комические эпопеи» Г. Филдинга, «Приключения Родрика Рендома», «Ланселот Гривз» и «Путешествие Хамфри Клинкера» Т. Дж. Смоллета, «Современное рыцарство» американского писателя Хью Генри Брекенриджа, а из славных книг, написанных в первой половине XIX в., – «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса.

Прежде всего следует обосновать выделение такой разновидности романа как специального объекта рассмотрения. Не является ли «роман большой дороги» частным случаем авантюрного романа? Предложенный подход к проблемам типологии романа предусматривает, правда, возможное пересечение семантических полей наименований, исторически закрепленных за разными романскими модификациями. Но целесообразно ли выделение еще одного класса объектов, если он полностью включается в другой класс?

Предварительный ответ на этот важный вопрос можно дать, опираясь на знание генезиса обеих разновидностей просветительского романа. В литературе XVI–XVII вв. основным источником авантюрного романа был роман плутовской<sup>3</sup>. На вопрос об источниках или непосредственных предшественниках «романа большой дороги» ответ дает уже другое, равнозначное определение рассматриваемой жанровой разновидности – «роман сервантесовского типа». Таким образом, основным источником этой романной формы является не плутовской роман, а «Дон Кихот» Сервантеса, жанровая природа которого неизмеримо сложнее и богаче, чем природа пикарески.

\* \* \*

«Из всех книг „Дон Кихот“, очевидно, оказал самое большое влияние на историю романа»<sup>4</sup>. Одни писатели сами подчеркивали факт воздействия сервантесовского романа на их литературное творчество: известен, например, подзаголовок, который дал Г. Филдинг своему роману «История приключений Джозефа Эндрюса и его друга мистера Абраама Адамса» – «написано в подражание манере Сервантеса, автора „Дон-Кихота“». Создатель известного перевода «Дон Кихота» на английский язык, Т. Дж. Смоллет в предисловии к «Родрику Рендому» также прямо указал на образцы, которым следовал в своей практике романиста: Сервантес, А.-Р. Лесаж. <...>

В других случаях не было откровенных авторских признаний, но факт следования сервантесовскому роману был сразу же подмечен критикой. Итак, под рубрику «роман сервантесовского типа» попало значительное число книг. Каковы же общие признаки, позволяющие объединить довольно разные романы в один ряд?

<...>

По-видимому, следует различать сервантесовский тип героя (идуший от Рыцаря Печального Образа) и сервантесовский тип романа как жанровую модификацию. В рамках настоящего очерка речь идет именно о втором.

Разумеется, в романе Сервантеса, открывающем эту линию в развитии жанра, есть определенная, довольно сложная взаимосвязь между поэтикой произведения и характером главного героя. «... Тип Дон Кихота...», – писал Виктор Шкловский, не есть первоначальное задание автора. Этот тип явился как результат действия построения романа, так как часто механизм исполнения создавал новые формы в поэзии...»<sup>5</sup>. В «романах большой дороги», появившихся в XVIII в. (примером может служить хотя бы «Джозеф Эндрюс» Г. Филдинга), взаимосвязь между поэтикой романа и типом героя также, несомненно, существует, хотя выражена она подчас менее четко. <...>

<...>

<...> Характер Дон Кихота или, допустим, пастора Абраама Адамса детерминирует богатое событиями путешествие. Совершается такое путешествие в некотором пространстве, основным «наполнением», субстратом которого является «отвратительный мир». И этот безумный мир, представленный в определенном художественном пространстве (будь то средневековая Испания или средняя Англия I половины XVIII в.), также обуславливает характер отдельных событий и событийность как таковую. По-видимому, от поисков строгого и однозначного детерминизма в данном случае придется отказаться: функциональная же взаимосвязь разных «проекций» произведения несомненна.

Утвердившееся в современном литературоведении положение о конфликте как структурной основе литературного произведения относится, разумеется, и к жанру романа. Эксплицитным выражением глубинного конфликта в романе сервантесовского типа является четко выраженная оппозиция: движущийся герой – мир. Эта оппозиция может быть выражением высокого конфликта: этика героя (к примеру, того же Дон Кихота или пастора Адамса) делает его смешным в глазах окружающих и абсолютно несовместима со «здравомыслием» последних.

<...>

Чрезвычайно широкая картина изображаемой в «романах большой дороги» социальной действительности вызывает у исследователей особый интерес к пространственно-временным координатам действия в произведениях такого типа. Несомненную научную ценность имеют, например, рассуждения М. М. Бахтина о хронотопе **дороги**. «... На дороге („большой дороге“), – пишет, в частности, исследователь, – пересекаются в одной временной и пространственной точке пространственные и временные пути многообразнейших людей – представителей всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов. Здесь могут случайно встретиться те, кто нормально разъединен социальной иерархией и пространственной далью, здесь могут возникнуть любые контрасты, столкнуться и переплестись различные судьбы. Здесь своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизируясь **социальными дистанциями**...»<sup>6</sup>

Эти замечания тонки и, вне всякого сомнения, справедливы. Однако, продолжив чтение процитированного отрывка, нетрудно убедиться, что М. М. Бахтин толкует понятие «большой дороги» расширительно. Согласно его концепции, «большая дорога» – это и «жизненный путь», и «исторический путь», а хронотоп дороги обнаруживается в огромном множестве произведений, в диапазоне от «Сатирикона» Петрония до «Капитанской дочки» А. С. Пушкина.



«...Здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему (образуя дороги), отсюда и такая богатая метафоризация пути-дороги: „жизненный путь“, „вступить на новую дорогу“, „исторический путь“ и проч.; метафоризация дороги разнообразна и многопланова, но основной стержень – течение времени»<sup>7</sup>.

Идя по указанному выдающимся исследователем пути «метафоризации» понятия «большая дорога», можно, по-видимому, включить в изучаемый класс подавляющее большинство известных романов. «Большая дорога», действительно, «интенсифицирована течением исторического времени»<sup>8</sup>, но в рамках художественного текста она является не временной, а пространственной координатой. И если о времени романов сервантесовского типа (в отличие, например, от рыцарских романов) можно сказать, что оно **исторично**, и тем самым хоть кратко, но охарактеризовать его, то способ оперирования художественным пространством в «романах большой дороги» нуждается в дополнительной характеристике.

Какова же специфика художественного пространства в романах этого ряда? Прежде всего оно линейно и отмечено признаком направленности. Это может быть большая дорога Испании (Сервантес), highway – «большая дорога» Англии (Филдинг, Диккенс), сухопутные и морские пути как в стране, так и за ее пределами (Смоллет), дороги Америки (Брекенридж), река Миссисипи – «большая дорога» Америки («Приключения Гекльберри Финна») и т. п. В каждом случае художественное пространство представляет собою прежде всего путь, по которому проходит главный герой (или герои) произведения. Изображаемому реально-историческому миру в романах сервантесовского типа сюжетно противопоставлен именно **движущийся герой**.

Весьма значительным идейно-художественным фактором является определенная направленность движения, подчас говорящая о личности и положении персонажа больше пространственных авторских описаний: от Ламанчи или к Ламанче (Сервантес), из Лондона в поместье («Джозеф Эндрюс») или из поместья в Лондон («Том Джонс»), с рабовладельческого Юга в направлении штата Иллинойс («Приключения Гекльберри Финна») и т. п.

Организация четко лимитированного и направленного художественного пространства по сервантесовскому образцу способствует прежде всего целостности художественного произведения. Оба названных признака чрезвычайно существенны. Так, распространенное суждение об идентичности художественного пространства обеих «комических эпопей» Г. Филдинга (и в том и в другом случае это Лондон, поместье и дорога между ними) не может быть признано справедливым.

Во-первых, различная направленность пространства в обоих романах говорит сама за себя. Потерявший место и изгнанный из лондонского дома Джозеф Эндрюс вместе со своим другом пастором Адамсом бредет в Буби-холл, воспринимаемый обоими как постоянное место пребывания и жизни. Лондон, куда устремляются параллельно Том Джонс и Софья Вестерн, даже в глазах героев является лишь временным пристанищем.

Во-вторых, границы «большой дороги» в двух романах обозначены по-разному. Так, в «Джозефе Эндрюсе» Лондон и Буби-холл знаменуют лишь границы путешествия героев; сами по себе они не обуславливают событий: то, что произошло с Джозефом в Лондоне (первая-десятая главы первой книги), за редким исключением, могло случиться и в поместье. В «Истории Тома Джонса» поместная Англия и столица – столь же значительные части художественного пространства, как и большая дорога. То, что случается с главным героем в доме сквайра Олверти, в Лондоне или в Эптонской гостинице, могло произойти там и только там.

<...>

Говоря о «движущемся» герое, нельзя упускать из вида, что в романе Сервантеса по большой дороге Испании движется не один герой, а нерасчленимая пара персонажей – Дон Кихот и Санчо Панса. <...>

<...>

Дон Кихот – Санчо Панса, Том Джонс – Партридж, Родрик Рендом – Стреп, капитан Фарраго – слуга Тиг О’Риган, мистер Пиквик – Сэм Уэллер, Гекльберри Финн – негр Джим. Каждая из этих пар сочленена по принципу контраста (дворянин – простолюдин, образованный – необразованный, хозяин – слуга, белый – негр), и диалектика взаимоотношений между «спаренными» персонажами способствует более четкому и полному выражению авторской концепции.

Помимо противоположности между двумя центральными персонажами, для героев исследуемого типа романа характерен и внутренний контраст. Так, постоянно контрастируют высшая мудрость и слепая наивность сервантесовского героя, а в отношении читателя к Рыцарю Печального Образа «соединяются две противоположности – комическое осмеяние и любовное уважение»<sup>9</sup>. А Г. Филдинг в первой главе десятой книги «Истории Тома Джонса, найденыша» постулировал свой принцип создания характера: «...если характер заключает в себе довольно доброты, чтобы снискать восхищение и приязнь человека благорасположенного, то пусть даже в нем обнаружатся кое-какие изъяны, <...> они внушат нам скорее сострадание, чем отвращение. И точно, ничего не приносит большей пользы нравственности, чем несовершенства, наблюдаемые нами в такого рода характерах: они поражают нас неожиданностью, способной сильнее подействовать на наш ум, чем поступки людей очень дурных и порочных. Слабости и пороки людей, в которых вместе с тем есть много и хорошего, гораздо сильнее бросятся в глаза по контрасту с хорошими качествами, оттеняющими их уродливость...» (407)<sup>10</sup>.

<...>

<...> Г. Филдинг первым в английском романе ввел повествование от третьего лица, однако в восемнадцати главах-пролегоменах «Истории Тома Джонса» непосредственно обращался к читателю *in propria persona*. Т. Дж. Смоллет в «Родрике Рендоме» избрал традиционный для европейского романа метод повествования от первого лица <...>. Более поздний роман Т. Дж. Смоллета «Путешествие Хамфри Клинкера» написан, в отличие от «Родрика Рендома», в эпистолярной форме.

И тем не менее даже в отношении «системы рассказывания» есть в рассматриваемых романах нечто общее <...>. Это безоговорочная **гегемония повествователя**.

Рассказчик даже в книгах, написанных от третьего лица, может позволить себе любое вмешательство в повествование: прямое обращение к читателю, медитативно-философское отступление, вставные новеллы и т. д. Прозаики не только «соприсутствуют» на всем протяжении действия рядом со своими персонажами, напоминая о себе ироническими оттенками характеристик, описаний – того, что можно было бы назвать авторскими ремарками, составляющими органическую часть повествования.

Они присваивают себе, кроме того, право, смело нарушая видимую «объективность изложения, вступать в прямую беседу с читателем – и отнюдь не только по поводу излагаемых событий, а обо всем, что кажется им насущно необходимым...»<sup>11</sup>. Это замечание А. А. Елистратовой, касающееся прозы Г. Филдинга и Н. В. Гоголя, вполне можно отнести и к другим мастерам «романа большой дороги» XVII–XIX вв.

Тем самым романы Сервантеса и книги его талантливых последователей отличаются от плутовского романа, с которым генетически еще связан «Дон Кихот». В ренессансной и барочной пикареске, как правило, доминирует объективное изложение событий; личность повествователя в них полностью отсутствует, несмотря на пристрастие авторов к формальным канонам автобиографического повествования. В «романе большой дороги», включая и те его образцы, которые связаны с пикареской традицией, повествователь доминирует над фабульной интригой. <...>

Гегемония повествователя взаимосвязана с вольным обращением романистов с художественным временем, а подчас и с художественным пространством в рамках «заданной» боль-

шой дороги. Г. Филдинг, к примеру, недвусмысленно писал о своем принципе свободного от каких-либо регламентаций оперирования художественным временем во вступительной главе ко второй книге «Истории Тома Джонса» и имел все основания называть себя «творцом новой провинции в литературе».

«Хотя мы... назвали наше произведение историей, а не жизнеописанием и не апологией чьей-либо жизни...», – писал английский романист, – но намерены держаться в нем скорее метода тех писателей, которые занимаются изображением революционных переворотов, чем подражать трудолюбивому многотомному историку, который для сохранения равномерности своих выпусков считает себя обязанным истреблять столько же бумаги на подробное описание месяцев и лет, не ознаменованных никакими замечательными событиями, сколько он уделяет ее на те достопримечательные эпохи, когда на подмостках мировой истории разыгрывались величайшие драмы. Такие исторические исследования очень смахивают на газету, которая – есть ли новости или нет – всегда состоит из одинакового числа слов. Их можно сравнить также с почтовой каретой – полная или пустая, она постоянно совершает один и тот же путь... Мы намерены придерживаться на этих страницах противоположного метода. Если встретится какая-нибудь необыкновенная сцена... мы не пожалеем ни трудов, ни бумаги на подробное ее описание читателю; но если целые годы будут проходить, не создавая ничего достойного его внимания, мы не побоимся пустот в нашей истории, но поспешим перейти к материям значительным...» (48). Создатели «романов большой дороги» в конце XVIII–XIX вв. могли опереться на солидную традицию и не уподобляться «трудолюбивому многотомному историку».

Гегемония повествователя находит проявление и в значительной независимости от прототипических характеров и ситуаций и, наконец, в очень вольном обращении с источниками. <...>

<...> например, у автора «Истории Тома Джонса, найденыша» <...> встречаем такую ссылку: «...Кажется, Аристотель – а если не Аристотель, то другой умный человек, авторитет которого будет иметь столько же веса, когда сделается столь же древним...» (307).

Нет, отнюдь не отсутствие почтения к древним авторам, а ощущение необычайной раскованности, власти над художественным материалом диктовало великим романистам подобные иронические ссылки. При этом нельзя не учитывать отрицательного отношения романистов нового времени (и в первую очередь романистов-просветителей) к подобным злоупотреблениям ссылками на авторитеты, продиктованным стремлением «заслониться» чужим именем от своего читателя; это отношение часто находило свое выражение в такого рода иронических замечаниях.

Ирония занимает весьма заметное место в художественном арсенале создателей «романов большой дороги». Известно, какую значительную роль сыграла ирония в процессе становления романа нового времени<sup>12</sup>. «...Роман нового времени (novel), – пишет современный американский исследователь, – может показаться иронической по существу формой художественной прозы, занимающей место где-то между неироническим старым романом (romance) и философской повестью, которая иронична, но в совершенно ином ключе...»<sup>13</sup>. «Дон Кихот», – пожалуй, первый среди романов, в поэтике которых ирония играет столь значительную роль.

Об иронии Сервантеса уже писали в отечественной литературе<sup>14</sup>. Английский исследователь творчества Г. Филдинга Эндрю Райт не без оснований связывает «шутливый педантизм» создателя «Джозефа Эндрюса» и «Тома Джонса» – одно из многочисленных проявлений филдингской иронии – с традицией Сервантеса<sup>15</sup>. <...>

Правда, ирония в обиходе романистов, причастных к сервантесовской традиции, – категория стиля, а не мировоззрения; в этом отличие авторов анализируемых книг от романтиков. К писателям XVIII в., шедшим по пути, указанному автором «Дон Кихота», в значительной степени приложимо суждение Н. Я. Берковского, сказанное о писателях просветительского

века в целом: они «подготовили весь необходимый материал для будущей „романтической иронии“, сами же на путь иронии не вступили...»<sup>16</sup>. Однако ирония, несомненно, помогала многим романистам изучаемого ряда – и, в частности, романистам-просветителям – избежать излишнего дидактизма, пресного морализаторства даже в счастливых концовках своих произведений.

Среди форм и приемов комического, встречающихся в «романах большой дороги», следует особо выделить и пародию. Общеизвестно, какое место занимает пародия в «Дон Кихоте» Сервантеса – книге, начавшейся с пародийного замысла, содержащей немало пародийных по природе своей эпизодов. Помимо «Джозефа Эндрюса»<sup>17</sup>, можно назвать еще ряд романов такого типа, в которых пародия – литературная и нелитературная – входит в систему изобразительных средств романистов. <...>

Эффективность пародирования как приема обеспечивается той дистанцией, которая существует в этих романах между изображаемыми событиями и повествователем-гегемоном. Здесь читатель встречается со вторым (по классификации М. М. Бахтина) типом «испытания литературного романного слова жизнью», когда автор фигурирует в произведении не как герой, персонаж, а как «действительный автор данного произведения»<sup>18</sup>. Указывая на полемику писателя с автором подложной второй части, исследователь заключает: «...уже в „Дон Кихоте“ имеются элементы романа о романе...»<sup>19</sup>. Это тонкое наблюдение, действительно, помогает установить генетическую связь между романом Сервантеса и «Тристрамом Шенди» Л. Стерна или «Жаком-фаталистом» Д. Дидро.

Каждую из двух последних книг, в которых пародия играет необычайно важную роль, с полным основанием называют «романом о романе». Что же касается «Дон Кихота» и других романов сервантесовского типа (например, «Истории Тома Джонса, найденыша»), то в них можно обнаружить, действительно, лишь «элементы романа о романе», не более того. Четко лимитированное и определенным образом направленное художественное пространство в этих книгах «призывает» героя (или героев) продолжить свой богатый неожиданностями путь по «большой дороге» и не позволяет повествователю полностью сосредоточить внимание читателя на том, **как** пишется роман.

Между тем, если подразделить рассматриваемые художественные компоненты романов сервантесовского типа на обязательные и необязательные, наличие пародии следует отнести к необязательным компонентам, точно так же, как и, допустим, наличие вставных новелл в композиции романа или пространные заголовки отдельных глав.

<...> От оригинальных художественных произведений нельзя, конечно же, ожидать буквального, педантичного следования единой схеме; здесь же много отступлений от первообразца, вариаций, примет подлинного новаторства. К тому же каждая из рассмотренных книг отмечена печатью индивидуального, неповторимого таланта ее автора, да и создавались они в специфических национально-исторических условиях. Все это не подлежит сомнению; однако при решении задач типологического исследования в центре внимания оказывается инвариант – наиболее общий признак (или совокупность признаков) «романов большой дороги».

Что же собой представляет этот «инвариант» в романах изучаемой разновидности, созданных в XVIII в.? На такой вопрос, очевидно, нельзя отвечать суммарно: простым перечислением различных параметров, из которых одни могут быть основными, другие – второстепенными. Более важна существующая **система отношений** между разными параметрами. Функциональная соотнесенность и подчас взаимообусловленность таких содержательных и формальных компонентов, как: 1) герой, внутренняя конфликтность натуры которого находит свое внешнее выражение (например, «безумец» в трезвом «бесчеловечном мире»); 2) линейное художественное пространство, отмеченное признаком направленности; 3) гегемония повествователя над событийным рядом – и составляет, на наш взгляд, системообразующий

признак «романа большой дороги», ведущего свое начало от бессмертного творения Сервантеса.

(Соколянский М. Г. О «романе большой дороги» // Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения: проблемы типологии. Киев; Одесса: Головное изд-во изд. объединения «Вища школа», 1983. С. 58–72)

### Примечания

<sup>1</sup> См.: *Wyndham-Lewis D. B. The Shadow of Cervantes*. New York, 1962; *Lucács G. Die Theorie des Romans*. Berlin, 1920.

<sup>2</sup> Бочаров С. Г. О композиции «Дон Кихота» // Сервантес и всемирная литература. М., 1969. С. 111.

<sup>3</sup> Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 202.

<sup>4</sup> *Beer G. The Romance*. London: Methuen, 1970. P. 42–43 (The Critical Idiom. Vo 1. 10).

<sup>5</sup> Шкловский В. Б. О теории прозы. М., 1929. С. 301.

<sup>6</sup> Бахтин М. М. Указ. соч. С. 392.

<sup>7</sup> Там же.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> *Hunter J. P. The Reluctant Pilgrim*. Baltimore, 1966. P. 644.

<sup>10</sup> Филдинг, Генри. История Тома Джонса, найденыша // Филдинг Г. Избр. произведения: в 2 т. Т. 2. М., 1954. Отсылки даются в тексте – в скобках указывается страница.

<sup>11</sup> Елистратова А. А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М., 1972. С. 45–46.

<sup>12</sup> *Shroder M. Z. The Novel as a Genre // The Theory of the Novel / ed. by P. Stevick*. London, 1967. P. 13–28.

<sup>13</sup> Ibid. P. 20.

<sup>14</sup> Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения. М., 1961. С. 340–341.

<sup>15</sup> *Wright A. Henry Fielding. Mask and Feast*. London, 1965.

<sup>16</sup> Берковский Н. Я. Реализм буржуазного общества и вопросы истории литературы // Западный сб. / под ред. В. М. Жирмунского. М.; Л., 1937. С. 70.

<sup>17</sup> См.: Соколянский М. Г. Творчество Генри Филдинга. Киев, 1975. С. 75–88.

<sup>18</sup> Бахтин М. М. Указ. соч. С. 224.

<sup>19</sup> Там же.

### Вопросы и задания

1. Какие произведения автор работы относит к романам сервантесовского типа?
2. Приведите суждение М. М. Бахтина о хронотопе дороги и поясните, в чем суть его расширительного толкования понятия «дорога».
3. Какова специфика художественного пространства в «романах большой дороги», в частности в «Истории Тома Джонса, найденыша» Филдинга?
4. Какие возможности, на ваш взгляд, открывает перед писателем форма «романа большой дороги»?
5. Что автор работы подразумевает под «гегемонией повествователя»?
6. Элементы «романа о романе» в «Истории Тома Джонса, найденыша».
7. Соотнесенность каких содержательных и формальных компонентов, по мнению автора работы, составляет системообразующий признак «романа большой дороги»?

## Тобайас Смоллет (1721–1771)

### Предтекстовое задание

Прочитайте фрагмент из исследования А. А. Елистратовой; обратите особое внимание на трактовку системы персонажей и проблематики романа Смоллета «Путешествие Хамфри Клинкера».

### *А. А. Елистратова* Поздний Смоллет

<...>

Социальные наблюдения и раздумья Смоллета-историка сказались и в его последнем романе «Путешествие Хамфри Клинкера», придав ему черты, совершенно новые для английского просветительского романа XVIII в. Казалось бы, что общего между революциями и переворотами в судьбах народов и государств и этим юмористическим бытовым романом, где самые «страшные» происшествия – это опрокинувшаяся карета или быстро потушенный пожар? И люди, из чьих писем он составлен, тоже не представляют собой ничего необычайного и героического. Валлийский помещик Мэтью Брамбл, пожилой холостяк, брюзга и резонер, изливает свою желчь в посланиях к старому другу и врачу, доктору Льюису. Его сестра, сварливая и вздорная мисс Табита Брамбл, допекает экономку хозяйственными распоряжениями о молоке и сырах, о пряже и домотканой шерсти (от продажи которых выручает немалый доход) да сетует на «неразумную» щедрость брата, потакающего нерадивым арендаторам и прощающего даже пойманных с поличным браконьеров. Племянница Брамблов, семнадцатилетняя Лидия Мельфорд, поверяет свои сердечные тайны пансионской подруге. Ее брат, Джерри Мельфорд, только что вышедший из Оксфордского университета и поддерживающий переписку с приятелем-студентом, подшучивает над матримониальными планами перезрелой тетушки и делится опасениями за сестру, которая в бытность в пансионе влюбилась – к ужасу всей семьи – в странствующего актера, безродного проходимца Уилсона, и, кажется, упорствует в своем чувстве. И, наконец, словоохотливая, любопытная и самоуверенная горничная Уинифред Дженкинс регулярно строчит подружке-служанке, оставшейся в захолустном Брамбл тон-Холле, комично-безграмотные отчеты о своих успехах в «свете», а попутно бесцеремонно комментирует – с точки зрения кухни и людской – барские треволения, прихоти и ссоры.

Эта пестрая переписка, где находится место любым мелочам, от домашних рецептов для «освежения» поношенных шелков и кружев и кончая запором, которым страдает старый пес Чаудер, могла бы показаться тривиальной. Но внимательный читатель скоро замечает, что этот кажущийся хаос мелких и мельчайших забот, хлопот и происшествий, составляющих жизненный мирок каждого из персонажей, подчинен общему замыслу романа, осуществленному рукой мастера.

Роман полон движения. Семейство Брамблов путешествует, непрестанно переезжая с места на место, из Глостера в Бат, оттуда – в Лондон, затем опять по модным курортам Бристоль, Харрогейт, Скарборо – и так через всю Англию на север, в Шотландию и обратно... Мэтью Брамбл ищет облегчения своим недугам – и подлинным, и мнимым, а попутно хочет развлечь племянницу, подавленную своей несчастной любовью, и показать свет племяннику, вступающему в жизнь. Члены семьи знакомятся и друг с другом. Джерри и Лидия присматриваются к дяде и тетке и оценивают их с критическим пристрастием требовательной юности. А одновременно с этим маленьким мирком перед героями и читателем предстает в его социально-историческом движении большой мир – вся страна, переживающая начало той ломки, которая именуется промышленным переворотом XVIII в.

Никак нельзя согласиться с <...> мнением Брандера, будто в «Хамфри Клинкере» запечатлена недвижимая патриархальная доиндустриальная Англия. Напротив, панорама больших общественных перемен развертывается перед героями романа, вызывая их на противоречивые раздумья, споры и прогнозы будущего. Небольшой кружок персонажей подобран Смоллетом так, что брюзгливые суждения Мэтью Брамбла, самым возрастом и нравом предназначенного быть хулителем нового и ревнителем старины, могут корректироваться живыми наблюдениями его юношески любознательного племянника. При этом и Брамблы и Мельфорды родом из Уэльса и обладают, как подчеркивает Смоллет, всеми национальными особенностями валлийского характера. Они горячи, вспыльчивы, лишены английской флегматичности. В их восприятии английских, особенно столичных, нравов и порядков есть та критическая отчужденность, которая была присуща и шотландцу Смоллету<sup>1</sup>. Эта последняя черта в еще большей степени присуща их новому знакомцу – шотландцу Лисмахаго, еще одному из тех чудаков-донкихотов, которыми так богат английский реалистический роман XVIII в. Этот лейтенант в отставке, смолоду уехавший служить в Америку, был скальпирован индейцами, но остался жив, женился на индианке, провел несколько лет в плену у племени миами, став даже их вождем. Самолюбиво скрывая собственную нищету, он не скупится на парадоксы, доказывая преимущества общественной бедности перед богатством и роскошью.

Но есть в романе и еще один персонаж, в судьбе которого воплотилась во всем своем живом человеческом драматизме эта проблема противоречий богатства и бедности, постоянно дебатлируемая другими героями. Это Хамфри Клинкер. В романе нет его писем; он появляется на сцену совсем неожиданно, ничем не выделяясь, на первых порах, из массы эпизодических лиц «Путешествия», – где-то на полпути из Бата в Лондон, когда отношения между героями, казалось бы, успели уже определиться и сюжет пришел в движение. И все же именно его имя вынес Смоллет в заглавие романа; и если в этом выборе сказалось и желание подшутить над читателем, озадачив его таким сюрпризом, то вместе с тем в нем был и серьезный умысел.

Самые имя и фамилия Хамфри Клинкера заключали в себе смысловые ассоциации, понятные для англичанина XVIII в., но теряющиеся в переводе. Поговорка «пообедать с герцогом Хамфри» (to dine with Duke Humphry) означала попросту остаться безо всякой еды (по преданию, герцога Хамфри Глостера, дядю короля Генриха VI, враги уморили голодом). Фамилия «Клинкер» означала и тюрьму и цепи, а на блатном жаргоне намекала и на голый зад, который при первом появлении в романе бедняги Клинкера так непристойно просвечивал сквозь его изодранные штаны, что возмутил ханжеское воображение Табиты Брамбл<sup>2</sup>. Эта чопорная старая дева честит оборванца-форейтора прощельгой и бездельником и заявляет, что его «следовало бы посадить в колодки» за допущенную им «неделикатность». «Мисс Уинифред Дженкинс подтвердила обвинение касательно его наготы, но при этом заметила, что кожа у него белая, как алебастр».

Эпизод, начинающийся в столь скабрёзно-юмористическом плане, вскоре получает, однако, патетический оборот. В ответ на иронический укор Мэтью Брамбла и визгливую ругань его сестры («Бесстыжий плут!.. Ехать без рубашки перед знатными особами!..») бедняга признает себя виновным: «Совершенно верно, ваша милость... Но я уилтширский бедняк... И, сказать по чести, нет у меня ни рубашки, ни другой какой тряпки, чтобы прикрыться... И нет у меня ни друзей, ни родичей, чтобы мне помочь... Вот эти полгода я болел горячкой и истратил на докторов и на пропитание все, что у меня было. Прошу прощения у доброй леди, у меня уже целые сутки крошки хлеба во рту не было...» Нищий-оборванец оказывается жертвой общественной несправедливости: сирота-незаконнорожденный, он вырос в приходском работном доме, был отдан в ученье деревенскому кузнецу, который умер, прежде чем его подмастерье успел выйти в люди, нанялся конюхом к трактирщику и честно работал, пока не заболел и не обнищал настолько, что «стал позором для конюшни», а потому был уволен, хотя, как признает и сам трактирщик, «ему, хозяину, ничего плохого о нем не доводилось слышать».

«— Значит, когда парень заболел и впал в нищету, — сказал дядюшка, — вы выгнали его помирать на улицу...

— Я плачу налог на содержание бедняков, — ответил тот, — и не могу кормить бездельников, все равно больны они или здоровы. А к тому же такой жалкий парень осрамил бы мое заведение...

— Как видно, наш хозяин — христианин до мозга костей, — сказал мне дядюшка. — Кто осмелится порицать мораль нашего века, ежели даже трактирщики подают такие примеры человеколюбия? А вы, Клинкер, самый закоренелый преступник! Вы виновны в болезни, в голоде, в нищете! Но наказывать преступников не мое дело, а потому я возьму на себя только труд дать вам совет: как можно скорей достаньте себе рубаху, чтобы ваша нагота отныне не оскорбляла благородных леди, особливо девиц не первой молодости» (108–109; курсив мой. — А. Е.). С этими словами Брамбл сует гинею растерявшемуся бедняге, который отныне становится его преданным слугой. <...>

В сцене первого знакомства Брамбла с Хамфри Клинкером Смоллет нашел ключ, позволяющий проникнуть в суть бесчеловечности буржуазного строя, где рабочий свободен умирать с голоду, если труд его не будет куплен, как любой другой товар. Реплика трактирщика, хладнокровно оправдывающего свою жестокость по отношению к бедняге, — ведь все было сделано «по закону», — подчеркивает разоблачительный смысл этой сцены. Он, может быть, еще не был во всей своей полноте ясен Смоллету: но в дальнейшем это обличение «законного» бездушия, с каким буржуазное общество обрекает на голод, падение и гибель своих бедняков, должно стать одной из ведущих тем реализма XIX в. <...>

Хамфри Клинкера ждет совсем другой конец. В Мэтью Брамбле он находит не только великодушного и щедрого хозяина, но и... родного отца, не подозревавшего о существовании этого незаконнорожденного отпрыска. Прием наивный, но по-своему многозначительный.

Безродный бродяга-оборванец, которого честила как бесстыжего прощелыгу Табита Брамбл и к которому Джерри Мельфорд присматривался с таким высокомерным любопытством, оказывается их близким родичем, их плотью и кровью, а «валлийцы, как замечает Мэтью Брамбл, приписывают узам крови великое значение» (383). Полярно противоположные крайности — благосостояние Брамблов и убожество нищего Хамфри Клинкера — оказываются двумя сторонами единого целого. При всем своем незаурядном добродушии и человеколюбию Мэтью Брамбл — виновник горькой судьбы Клинкера, и вина эта коренится, в конце концов, в имущественных, приобретательских заботах. <...>

В романе Смоллета конфликт этот разрешается легко и просто: Брамбл с раскаянием и миленьем принимает сына в свою семью; судьба Хамфри устраивается наилучшим образом: он навсегда вызволен из лап нищеты<sup>3</sup>. Не так будут трактоваться схожие ситуации в социальном реалистическом романе XIX в. Несчастный Смайк станет жертвой козней собственного отца, Ральфа Никльби; неотмщенными сойдут в могилу «униженные и оскорбленные» Нелли и мать ее, погубленные князем Валковским. У Диккенса, у Достоевского «узы крови» тщетно вопиют против попирающего их собственнического эгоизма. У Смоллета они торжествуют — во славу человечности — над разобщающим людей чистоганом.

Но уже само стремление писателя показать «кровную» человеческую взаимосвязь противостоящих друг другу общественных полюсов — богатства и бедности, «верхов» и «низов» — было новым и важным почином в английском просветительском романе XVIII в.

В этом смысле фигура и судьба Хамфри Клинкера были в известной мере (как заметил тот же Гольдберг) символичны<sup>4</sup>. Но не следует при этом упускать из виду и живой реалистической пластичности этого типического образа. Смоллет избежал соблазна сделать своего «честного бедняка» идеальным, но ходульным воплощением всех возможных совершенств. Бесправное, темное сиротство, болезнь, нищета наложили на него свой отпечаток. «Ему было лет двадцать; он был среднего роста, косолап, сутул, лоб у него был высокий, волосы рыжие,



красноватые глаза, приплюснутый нос и длинный подбородок, а лицо болезненно-желтого цвета. Видно было, что он изголодался...» (108) – так описывает Джерри Мельфорд «смешной и трогательный» вид Хамфри Клинкера.

Условия его тяжкого существования повлияли и на душевный облик Клинкера. Он полон суеверий и религиозного «энтузиазма», который, на первых порах, заставляет Брамбла, рационалиста просветительского склада, не на шутку усомниться в том, с кем он имеет дело в лице своего слуги – с лицемером и плутом или попросту с одержимым. Смоллет делает своего героя ревностным методистом – черта, исторически достоверная и типичная, так как именно в эту пору методизм, с его «уравнительностью», отвержением церковной иерархии и культового формализма, с его эмоциональным накалом, получил широкое распространение среди наиболее бедствующих тружеников<sup>4</sup>, переключая их упования, смятение и недовольство в религиозное русло. Когда Клинкер, твердо убежденный в своей правоте, провозглашает, что в «день страшного суда разницы между людьми не будет никакой!» (130), – в его словах прорывается именно та «уравнительная», религиозно-утопическая тенденция, которая привлекала к методистским проповедям Уэсли и Уитфилда стольких английских рабочих и ремесленников в период промышленного переворота.

Сам Смоллет, просветитель-вольнодумец, представляет религиозную экзальтацию Клинкера в ироническом свете. Это особенно видно по тому, с каким сарказмом интерпретирует он подлинные скрытые мотивы неожиданного «обращения» в новую веру таких людей, как Табита Брамбл и ее приятельница леди Грискин, светский щеголь и политикан Бартон, Лидия Мельфорд и горничная Дженкинс. Если юная Лидия присоединяется к ним по наивности, то для Табиты, леди Грискин и мистера Бартона эти душеспасительные молебствия – удобный предлог для осуществления их себялюбивых интриг и планов. <...>

Но как ни смешон, с точки зрения просветительского здравого смысла, религиозный пыл Клинкера и его неразборчивый прозелитизм, Смоллет отдает себе отчет в том, что и сам просветительский рационализм обнаруживает свою ограниченность, сталкиваясь с социальными запросами народных низов, с особой остротой проявившимися в методизме. Поучительна многозначительная сцена спора Брамбла с Клинкером. Застигнув Клинкера в молитвенном доме методистов, где тот поучал с кафедры собравшуюся публику, Брамбл, возмущенный «таким дерзновением своего лакея», бесцеремонно прерывает моление, а вернувшись домой, приказывает ему прекратить свои проповеди. «– Но когда глас духа... – начинает было Клинкер. – Глас дьявола! – в гневе возопил сквайр. – Какой там глас, болван?.. Для вас это свет благодати, ...а для меня болотный огонек, мерцающий сквозь щель в вашей башке! Словом, мистер Клинкер, не нужен мне никакой свет в моем семействе, кроме того, за который я плачу налог королю<sup><...></sup>, разве что это свет разума, которому вы не хотите следовать.

– Ах, сэр! – воскликнул Хамфри. – Свет разума по сравнению с тем светом, о котором говорю я, все равно что дешевая тусклая свеча по сравнению с полуденным солнцем.

– Пусть будет так, – сказал дядюшка. – Но свеча может осветить вам путь, а солнце ослепит вас и затуманит вашу слабую голову».

Читатель чувствует, что симпатии Смоллета на стороне Брамбла, защищающего «свет разума» от сектантского религиозного фанатизма. Но в споре есть и другая сторона. Она обнажается, когда в ответ на презрительный вопрос Брамбла, может ли простой слуга лезть в проповедники, Клинкер с достоинством отвечает: «Прошу не прогневаться, ваша честь, но разве не может свет благодати божьей озарить смиренного бедняка и невежду равно как богача и философа, который кичится мирской премудростью?» (173; курсив мой. – А. Е.). Как бы ни заблуждался Клинкер в своем религиозном «исступлении», здесь, в этой демократической уравнительности его образа мыслей, заключена социальная правда, и Брамбл нечего возразить ему, как нечего ему возразить и на возглас Клинкера: «А в день страшного суда разницы между людьми не будет никакой!» (130).

Сцена тюремной проповеди Хамфри Клинкера (кое в чем перекликающаяся с соответствующими главами «Векфильдского священника» Гольдсмита) развивает этот демократический мотив. Безродный бедняк находит путь к сердцам своих товарищей по заключению, таких же отщепенцев, с которыми просвещенному, но самоуспокоенному в своем жизненном благополучии Брамблу вряд ли удалось бы найти общий язык. Характерно, что даже насмешливый и скептический ум молодого Мельфорда потрясен этой сценой: «Никогда не видывал я картины более поразительной, чем это сборище гремящих цепями преступников, среди которых стоял вития Клинкер... Толпа этих оборванцев, чьи лица, каждое по-своему, выражали внимание, была достойна кисти Рафаэля» (188).

Хамфри Клинкер – главная, но не единственная фигура, вместе с которой в роман входят проблемы нищеты, отверженности и бесправия народных низов, заставляя о многом задуматься и Мельфорда, и Брамбла. В отличие от смиренного Клинкера, Эдуард Мартин – другая жертва социальной несправедливости – восстает против общества и пытается отомстить за свои попранные человеческие права. Когда-то он служил писцом у богатого лесопромышленника и тайно женился на его дочери; разгневанный отец выгнал из дома и зятя и дочь; та вскоре умерла, а Мартин занялся разбоем. <...> Мартин – преступник; его ждет виселица; и все же и Мельфорд и Брамбл относятся с участием «к судьбе бедняги, как будто самой природой предназначенного быть полезным и почтенным членом общества, которое он теперь грабит ради собственного пропитания» (185–186). И когда Мартин отваживается обратиться к Брамблу с отчаянной просьбой помочь ему вернуться к честному труду, тот идет ему навстречу, хотя, как писал ему сам Мартин, оказать такое доверие заведомому висельнику, значит очень далеко отступить «от всеми принятых правил благоразумия» (198).

Жизнь вносит поправки и в те представления, которые, руководствуясь именно «всеми принятыми правилами благоразумия», составили себе Брамбл и Мельфорд о поклоннике Лидии, странствующем актере Уилсоне. Они бесцеремонно честят его проходимцем и авантюристом, а мэр города Глостера грозит даже засадить его в тюрьму и приговорить к тяжелым работам как бродягу. И что же: как только выясняется, что в обличии комедианта Уилсона скрывался Джордж Деннисон, сын почтенного помещика, старого приятеля Мэтью Брамбла, и дядя и племянник смотрят на него другими глазами и обнаруживают в нем достоинства, о которых ранее и не помышляли. Мельфорд, анализирующий эту перемену в своих чувствах, делает важный вывод: «Меня тяготит мысль о том, какие несправедливые поступки совершаем мы повседневно и сколь нелепы бывают наши суждения о вещах, которые мы рассматриваем сквозь предрассудки и страсти, искажающие их. <...>» (395).

Проблема относительности человеческих суждений переплетается, таким образом, с проблемой общественной несправедливости. Не так-то просто поверить в честность и благородство нищего оборванца, висельника с петлей на шее, безродного бродяги. Если бы не особо благоприятное стечение обстоятельств, Клинкер умер бы с голоду, Мартин был бы повешен, Уилсон-Деннисон угодил бы в тюрьму. Таков располагающий к серьезным раздумьям социальный подтекст столь забавного юмористического «Путешествия Хамфри Клинкера».

Располагает к раздумьям и вся широкая панорама английской и шотландской жизни, развернутая в романе. Брамбла неприятно поражают многие признаки глубоких и, как ему кажется, зловещих перемен, происходящих в общественном укладе и быте страны. Он не узнает Лондона: «Там, где я оставил поля и луга, теперь я нашел улицы и площади, дворцы и церкви». Этот непомерный рост столицы кажется ему тревожным признаком социальной болезни Англии: «Столица стала походить на разросшееся чудовище, которое со временем словно распухая от водянки голова, лишенная питания и поддержки, отделится от тела. Сия нелепость обнаружится в полной мере, если мы вспомним, что одна шестая из числа жителей нашего обширного государства скучена в одном месте. Можно ли удивляться тому, что наши деревни пустеют, а фермы нуждаются в батраках!» (114–115).

Его поражает уничтожение прежних сословных различий и стремительное обогащение торговцев и дельцов. «Ныне любой купец, хоть сколько-нибудь преуспевающий, любой биржевой маклер или адвокат держит двух-трех лакеев, кучера и форејтора. У него есть городская дом, загородный дом, карета и портшез. <...> Все занятия перемешались: каменщик, мелкий ремесленник, трактирщик, слуга из пивной, лавочник, крючкотвор, горожанин и придворный наступают друг другу на мозоли; их понукают демоны распутства и бесчинства, их можно видеть повсюду, они шляются, гарцуют, крутятся, рвутся вперед, толкаются, шумят, трещат, грохочут; все заквашено на гнусных дрожжах тупости и разгула; всюду сумятица и суетня» (115–116).

Наблюдения Брамбла метки и верны. Многие страницы его писем могут показаться набросками к ненаписанной реалистической английской «Человеческой комедии», хотя как просветитель-моралист он еще склонен видеть первопричину подмеченных им экономических и социальных перемен «в жажде роскоши и в растлении нравов» (115).

Термин «первоначальное накопление» неизвестен героям Смоллета. Но его Брамбл проныцательно улавливает как важную приметку времени приток в Англию сомнительных и темных состояний, нажитых в колониях, а также и в метрополии на военных поставках и прочих спекуляциях. В письме из Бата Брамбл с возмущением описывает этих капиталистических воротил новой формации: «Чиновники и дельцы из Ост-Индии, нажившие немало добра в разграбленных землях, плантаторы, надсмотрщики над неграми, торгаши с наших плантаций в Америке, не ведающие сами, как они разбогатели; агенты, комиссионеры и подрядчики, разжиревшие на крови народа в двух следующих одна за другой войнах; ростовщики, маклеры и дельцы всех мастей; люди без роду и племени – все они вдруг разбогатели так, как не снилось никому в былые времена, и нечего удивляться, если в их мозги проник яд чванства, тщеславия и спеси. Не ведая никакого другого мерила величия, кроме хвастовства богатством, они растрачивают свои сокровища без вкуса и без разбора, не останавливаясь перед самыми сумасбродными затеями <...>» (57).

Вполне в духе сентиментализма Брамбл нет-нет да и прерывает свои гневные филиппики против мерзостного хищничества, разгула и плутовства, отравляющих жизнь Лондона и других больших городов, чтобы помечтать о прелестях патриархальной «естественной» жизни в родной валлийской глуши.

Горациево «O gus!..» (91), как меланхолический отголосок пасторальной свирели, явственно слышится в эмоциональной инструментовке романа. К нему присоединяются, как пронзительные звуки шотландской волынки, нескончаемые парадоксы лейтенанта Лисмахаго, который с упорством педанта и пылом заядлого спорщика доказывает, «что торг есть враг благородных побуждений души и основан на жадности и наживе и на подлом желании извлечь пользу из нужды ближнего». <...> (249).

«Чем больше богатств – тем больше зла, – проповедует Лисмахаго, к которому внимательно прислушивается Брамбл. – Богатства порождают ложный вкус, ложные нужды, ложные склонности, расточительность, продажность, пренебрежение к законам, рожают дух бесчинства, наглости, мятежа <...>» (335).

Этот рьяный противник наживы и чистогана не ограничивается рассуждениями. Как новый Дон Кихот, он вступает в единоборство с веком промышленного капитала в лице собственного племянника, который «женился на дочери *буржуа*, владельца ткацкой мануфактуры, и вступил в компанию со своим тестем». Услышав стук ткацких станков, расставленных в пиршественном зале его предков, Лисмахаго «пришел в такое волнение, что едва не лишился чувств. Ярость и негодование охватили его, а тут в это самое время вышел его племянник, которому он закричал, не владея собой:

– О негодай! Да как же вы смели сделать из моего отчего дома притон разбойников!

При этих словах он отхлестал его плетью, а засим, объехав <...> ...деревню, посетил могилы своих предков и, поклонившись их праху, удалился» (326).

<...> Прежний патриархальный уклад, – как ни сетовать на запустение покинутых деревень и разоренных дворянских усадеб, – уже не может быть восстановлен. Мы, читатели, так никогда и не приедем в Брамблтон-Холл, который живет в сознании Брамбла как уголок счастливой утопии и куда он рвется, начиная уже с первых страниц романа. Не потому ли, что вблизи эта утопия могла бы потускнеть или оказаться иллюзорной?<...>

А сам Брамбл, по мере того как разворачивается действие романа, все чаще вынужден обстоятельствами вступать в противоречие с собственными взглядами, которые ранее клонились к столь резкому, безоговорочному осуждению всех буржуазных «новшеств». Не он ли с негодованием писал о «чиновниках и дельцах из Ост-Индии, наживших немало добра в разграбленных землях»? Но когда ему понадобилось протянуть руку помощи бедняге Мартину, чтобы дать возможность этому грабителю вернуться к честной жизни, сам Брамбл не смог придумать ничего лучшего, как рекомендовать Мартина на службу... в Ост-Индской компании! А позднее, в долине реки Клайд (ныне – одном из самых развитых индустриальных районов Шотландии) и Брамбл и его племянник с величайшим умилением взирают на торжественное возвращение в маленький городок из той же Ост-Индии «честного баловня фортуны», некоего капитана Брауна, который, пользуясь протекцией лорда Клайва, стал «полковым казначеем и в сем звании *честно* накопил около двенадцати тысяч фунтов» (Джерри Мельфорд дважды в одном абзаце упоминает о «честности» ост-индского «баловня фортуны», – обстоятельство красноречивое и в социальном и в психологическом отношении). По возвращении на родину, вызволив родителей из нищеты, а брата – из долговой тюрьмы, и поставив даровое угощение своим согражданам, капитан Браун намеревается на вывезенный из Индии капитал «завести мануфактуру, чтобы доставить работу и кусок хлеба людям трудолюбивым». Нетрудно заметить, что в этом эпизоде, как в капле воды, отразились типичные закономерности развития буржуазной экономики Англии на пороге промышленного переворота, включая и классически-лицемерное прославление предпринимателя как «работодателя», осчастливливающего нанимаемых им рабочих... <...> (317–318; курсив мой. – А. Е.) <...>.

<...>

Наш анализ сбивается, по видимости, на трактат по политической экономии, но именно это и происходит с письмами Брамбла, когда он попадает в Шотландию (судьбы которой, конечно, особенно волнуют Смоллета). Восхищение «Шотландской Аркадией»<sup>5</sup> с ее незамутненными реками, зеленеющими островами Лох-Ломонда, которые кажутся «приютами мира и покоя» (298–299), горами, покрытыми ковром лилового вереска, противоречивым образом сочетается с множеством самых деловых замечаний, выкладок и проектов... превращения этой пасторальной Аркадии в страну доходного, товарного земледелия, прибыльных рыбных промыслов и мануфактур. Брамбл прикидывает даже, откуда могут быть взяты необходимые капиталы, и приходит к выводу, что инициатива должна принадлежать «купеческим компаниям» <...> (307).

Возможно ли? – Недавний поклонник «сельских богов», который с пылом Ювенала громил новоявленных толстосумов, дельцов и наживал и считал самый рост городов – зловещим признаком опасного социального недуга, охватившего страну, теперь восторгается промышленностью Глазго, а впоследствии, посетив Манчестер, с гордостью заметит, «что именно сей город явился образцом для Глазго в заведении мануфактур» (327). Он с удовольствием рассматривает на берегах реки Форт «изрядный железодельный завод, где вместо дров жгут каменный уголь» (294), и радуется быстрому индустриальному развитию города Песли, который «был раньше бедной деревней, а стал одним из самых процветающих городов королевства и известен полотняными, батистовыми и шелковыми мануфактурами» (297–298).

Печальное сиротское детство Хамфри Клинкера, проведенное в работном доме, казалось бы, должно было служить достаточным свидетельством бесчеловечности этих учреждений; и все же Брамбл, говоря о достопримечательностях Эдинбурга, одобрительно отзывается и «о большом работном доме, где лишенные средств к жизни бедняки получают работу по своим силам и где все так толково устроено, что они могут содержать себя на труды рук своих, и во всей столице не увидишь ни одного нищего» (281). <...>

Значит ли это, что Смоллет нарушил логику развития этого характера, очерченного им столь рельефно, или счел нужным сломать и перестроить на полпути замысел своего романа? Наверяд ли. Вернее предположить, что в противоречивых суждениях Брамбла объективно отразилась относительная неразвитость противоречий буржуазного общественного строя в Англии, стоявшей на пороге промышленного переворота. Герой Смоллета, гуманист-просветитель, мог, еще не греша против совести и здравого смысла, считать бедственные социальные казусы, подобные судьбе Хамфри Клинкера или Эдуарда Мартина, случаями единичными и вполне устранимыми.

Вместе с тем в романе Смоллета, возможно, заключалась и известная внутренняя полемика с сентиментализмом. Соглашаясь во многом и с Гольдсмитом, и со Стерном, Смоллет, мыслящий более исторически, понимает неизбежность перехода от патриархальных, отсталых форм хозяйствования, быта и нравов к новым, более развитым и сложным. Ни самые чувствительные ламентации, ни самые головокружительно-фантастические пируэты на любом «коньке» не остановят и не обратят вспять это закономерное движение. Поэтому, многому научившись, в частности у Стерна, Смоллет придает юмору относительности (который играет огромную роль в «Путешествии Хамфри Клинкера») более объективный и социально осмысленный характер по сравнению с тем же юмором относительности в «Тристраме Шенди».

Комическая разноголосица (столь характерная для Стерна) и в «Путешествии Хамфри Клинкера» служит источником множества забавных контрастов, недоразумений, ошибок. Люди не понимают, а иногда и не хотят понимать друг друга. В то время как Брамбл с самыми благими намерениями вручает денежный подарок неимущей вдове, которой нечем прокормить умирающую дочь, его сестра, как фурия, врывается в комнату и обрушивается на бедного филантропа, попрекая его распутством и расточительством. Выше уже говорилось о тех превратных и разноречивых суждениях, предметом которых оказывались в романе и Клинкер, и Мартин, и особенно Уилсон-Деннисон младший. Еще чаще, однако, юмористические эффекты романа основаны на контрасте соседствующих, но разительно несхожих писем об одном и том же предмете.

Юная Лидия забывает даже о своей несчастной любви, описывая удовольствия светской жизни в Бате, «который поистине является земным раем». <...> (59–60).

А для раздраженных нервов и желчного темперамента ее дяди тот же самый Бат является источником непритворной досады. <...>

Иногда эта разноголосица порождает обдуманый сатирический эффект, как, например, в эпизоде посещения Сент-Джемского дворца, где наши путешественники видят двор и королевскую фамилию. Их спутник, мистер Бартон, молодой член парламента, весьма озабоченный своей карьерой, рассыпается в панегириках высоким особам. Но все его красноречие разбивается о невозмутимые, подчеркнута обыденные реплики Брамбла. <...>

<...>

<...> Но, не довольствуясь этим, Смоллет помещает по соседству с письмом Джерри Мельфорда (где запечатлен этот диалог) письмо Уинифред Дженкинс, где эта горничная, захлебываясь от восторга, пишет, что «уже видела парк, и дворец Сент-Джемс, и шествие короля с королевой, и миленьких молодых принцев, и слонов, и полосатого осла, и всю остальную королевскую фамилию» (139), – перечень явно издевательский.

Но комическая разногласица у Смоллета, в отличие от автора «Тристрама Шенди», не исключает ни движения характеров, ни – что очень важно – углубляющегося взаимодействия между человеком и общественной средой. Мир чудаков из Шенди-Холла, несмотря на хронологические вехи, расставленные Стерном, был, в сущности, выключен из «большой Англии». Герои Смоллета, куда бы их ни заносили их резвые «коньки», совершают свое жизненное путешествие в рамках точных координат пространства и времени. Они видят перед собою историю в ее становлении и отчасти приобщаются к этому процессу. <...>

К концу романа Мэтью Брамбл уже не рвется к своим сельским пенатам в уединенный Брамблтон-Холл так безоглядно, как в начале своего путешествия. «Начинаю думать, что раненко я записался в пенсионеры по дряхлости, и глупо было искать здоровья в уединении и безделье, – пишет он доктору Льюису. – ...Познал я также, что видеть новые лица столь же необходимо, как и дышать свежим воздухом, чтобы усилить циркуляцию жизненных сил, а сие есть залог и мерило хорошего здоровья» (403).

Слова эти – в контексте всего романа – воспринимаются, конечно, не только как «медицинское» заключение, но и как урок социальной философии. <...>

Как показывает его последний роман, Смоллет, усвоив многие уроки сентиментализма, в частности Стерна<sup>6</sup>, не остановился на этом, а пошел дальше, преодолевая субъективизм своих «учителей». Он уловил и сумел воспроизвести взаимопереходы настроений, причуды, блажь, хандру, предубеждения, вызванные иной раз недоразумением или капризом. Эксцентрические характеры его первых романов кажутся застывшими в своей угловатости по сравнению с гораздо более живыми и подвижными характерами «Путешествия Хамфри Клинкера». Его реализм обогащается представлением о том, как непредвиденно изменчива картина объективного мира в зависимости от особенностей ее индивидуального, субъективного восприятия.

Но вместе с тем, в отличие от автора «Тристрама Шенди», Смоллет сохраняет в «Путешествии Хамфри Клинкера» эпическую широту «романа большой дороги». Социальная панорама действительности, под какими бы различными углами зрения ни воспринималась она его персонажами, живет в книге Смоллета своей объективной жизнью, воздействуя на людей и изменяемая ими. Черты историзма проявляются в особом внимании романиста к *своеобразию* быта, нравов, экономического уклада, природы и культуры различных областей, городов, усадеб и сел, по которым путешествуют его герои. Материалы, которыми располагает Смоллет, социальный историк Великобритании 1760-х годов, так богаты и так живо интересуют его самого, что он даже готов иногда нарушить художественную меру, лишь бы ввести их в повествование. Многие из «шотландских» писем Брамбла сбиваются иногда то на путеводитель, то, как мы уже отмечали, на экономический трактат. Но это противоречие между новым социально-историческим содержанием и уже не вполне вмещавшей его формой просветительского романа было признаком роста, свидетельством того, что Смоллет как мыслитель и художник опережал свое время и предугадывал будущий этап развития романа.

Многое в «шотландской» части «Путешествия Хамфри Клинкера» уже предвосхищает «шотландские» романы Скотта. Это относится и к пейзажам, не только подробно, но и с чувством *поэтической* их прелести воспроизводимым Мельфордом и Брамблом, но и к картинам нравов, исполненным национальным колоритом. Таковы, например, в «Путешествии» народный обряд похорон; сцена шотландской охоты; обед, который дали своим знатым клиентам эдинбургские посыльные; курьезные отношения, сложившиеся между мистером Кэмпбелом и его клановыми вассалами, от которых этот помещик современного склада уже пытается откупиться, тяготясь древними родовыми обычаями; «плачевное состояние» горцев, у которых законом отнято право носить оружие и даже традиционную юбочку из «таргана».

Смоллет действительно предвосхитил некоторые тенденции социально-исторического романа, впоследствии развитые Скоттом; и можно согласиться с его биографом Нэппом, считающим, что «Путешествие Хамфри Клинкера» – «шедевр... убеждающий всех, кто прочел

его, что если бы его автору суждено было прожить еще десять лет в полном здоровье, он превзошел бы наивысший уровень, достигнутый в их замечательных творениях Фильдингом и Стерном»<sup>7</sup>. Так в недрах просветительского романа, отразившего начало глубокого переворота в общественно-экономическом укладе страны, уже намечились черты романа XIX в.

(*Елистратова А. А. Поздний Смоллет // Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. М.: Наука, 1966. Гл. VIII. С. 379–397*)

### Примечания

<sup>1</sup> Недаром и молодой Мельфорд, и его дядя чувствуют себя как дома в Шотландии. Джерри сразу же уловил знакомые ему слова и звуки в гэльском языке шотландских горцев; речь их, как и весь уклад жизни, заставляет его вспомнить родные места. «Здесь в горах, – пишет он, – крестьяне очень напоминают крестьян валлийских и видом своим и нравами, жилища их также сходны. Все, что я вижу, слышу и чувствую, кажется мне валлийским <...>». *Смоллет Т. Путешествие Хамффри Клинкера / пер. А. Кривцовой. М., 1953. С. 289.* В дальнейшем роман цитируется по этому изданию – в тексте указывается страница.

<sup>2</sup> На эти смысловые ассоциации обратил внимание Гольдберг (см.: *Goldberg M. A. Smollett and the Scottish School: Studies in Eighteenth-Century Thought. Albuquerque, 1959. P. 171*).

<sup>3</sup> Как указывает Гольдберг, само заглавие романа, помимо своего первого (сохраненного и русским переводом) значения, имело на языке XVIII в. и второй смысл: «устройство» или «вызволнение» Хамффри Клинкера, что подтверждает гипотезу об особо важной роли, которую играла судьба этого героя в общем замысле романа Смоллета (*Goldberg M. A. Op. cit. P. 153*). Добавим, что заголовок мог иметь и третье, юмористическое значение: «проворство» или «ловкость» Хамффри Клинкера (который, усердствуя не по разуму, действительно совершает с самыми лучшими намерениями множество забавных промахов). Таким образом, само заглавие романа представляло собой шутку-головоломку, вполне в духе стернианского юмора.

<sup>4</sup> Характерно объяснение самого Хамффри Клинкера, что «взойти на кафедру побудили его пример и успех некоего ткача, славного проповедника, имевшего много последователей» (175).

<sup>5</sup> Романист даже заставляет Брамбла переписать и послать своему другу Льюису «Оду реке Левен», «сочиненную мистером Смоллетом, который родился на берегах ее» (299).

<sup>6</sup> В достопамятной сценке «Сентиментального путешествия» Йорик-Стерн бесцеремонно насмеялся над Смоллетом: «Ученый Смелфунгус пропутешествовал из Булони в Париж – из Парижа в Рим – и так далее: – но он отправился в путь, страдая сплином и разлитием желчи; и все предметы представали его взору в ложном свете и искаженном виде. – Он издал свои путевые заметки, но в них содержался только отчет о его ужасном самочувствии. <...>

Я снова встретил Смелфунгуса в Турине; он возвращался домой и рассказал мне печальную повесть своих злоключений... С него живьем сдирали шкуру, его терзали и мучили хуже, чем св. Варфоломея, на каждой почтовой станции... – Я расскажу это, – вскричал Смелфунгус, – всему свету... – Лучше расскажите это, – сказал я, – вашему врачу» (*Sterne L. Works. Edinburgh, 1872. P. 218*). Стерн полагал, что наповал сразил педанта Смелфунгуса этой эпиграммой. Не тут-то было! Смоллет сыграл над своим противником самую неожиданную шутку. Спроецировав в образ Мэтью Брамбла черты собственного характера и душевного склада, он осуществил в «Путешествии Хамффри Клинкера» одновременно и свое намерение, и злой совет Стерна. Брамбл действительно пишет все время своему врачу, и его «сплин и разлитие желчи» нередко сказываются в предвзятости его впечатлений; но сама эта предвзятость становится предметом художественного реалистического изображения и получает психологическое обоснование; в конце концов письма Брамбла, как и весь роман, по праву адресованы «всему свету».

<sup>7</sup> *Knapp L. M. Tobias Smollett. Princeton, 1949. P. 320. <...>*

**Вопросы и задания**

1. Дайте трактовку образа заглавного героя, его имени и роли в романе Смоллета «Путешествие Хамфри Клинкера».
2. Какие проблемы «большого мира», по мысли А. А. Елистратовой, поднимает Смоллет в своем романе?
3. Поясните, что означает используемый автором работы термин «юмор относительности», и приведите примеры его применения из текста романа Смоллета.
4. К какому типу романа автор работы относит «Путешествие Хамфри Клинкера»?
5. В чем, по мысли исследователя, Смоллет в «Путешествии Хамфри Клинкера» превосходит романы Вальтера Скотта?



## Томас Грей (1716–1771)

### Предтекстовое задание

Прочитайте фрагмент из монографии В. Э. Вацура. Обратите внимание на характеристику тематики и поэтики элегии Грея и ее связь с традицией.

### В. Э. Вацура

#### «Сельское кладбище» и поэтика «Кладбищенской элегии»

И Аббт, и Гердер в своих комментариях называли «Элегию, написанную на сельском кладбище» («Elegy written in a country Churchyard», 1751) Т. Грея в качестве классического образца чувствительной элегии, описывающей особый тип отношений в человеческом обществе. На протяжении десятилетия это стихотворение (вплоть до наших дней едва ли не самая популярная, хрестоматийно-известная элегия на английском языке) успело получить общеевропейскую известность. Полный русский перевод его появился в 1785 г., и за последующие пятнадцать лет к нему возвращались еще четыре раза – кн. Ф. Сибирский, П. Б. Козловский (в прозе), Жуковский и П. И. Голенищев-Кутузов<sup>1</sup>.

Но помимо широкой популярности «Элегии» Грея было еще несколько обстоятельств, предопределивших выбор Жуковского. Прежде всего в ней манифестировались центральные темы сентименталистской эстетики и философии: тема «естественного» и «чувствительного» человека, тема природы и – едва ли не самое важное – социальная тема внесловного равенства. Последняя звучала уже в начальных строфах, где шла речь о сельских Кромвелях и Мильтонах, чей гений не имел возможности развиваться; неизвестный юноша (нередко воспринимавшийся как образ самого элегического героя), адресат заключавшей элегию знаменитой «Эпитафии», являлся читателю как иллюстрация этой общей идеи. <...>

<...>

<...> Особенностью подлинника была его типологическая репрезентативность. Элегия Грея сконцентрировала в себе предшествующую традицию; в ней были отобраны и сведены в единый фокус характерные для жанра художественные средства. Традиционность «Элегии, написанной на сельском кладбище» – общепризнанная и существенная черта ее поэтики; даже английские учебники определяют стихотворение как «мозаику суггестивных фраз и идей, заимствованных из разных литератур»<sup>2</sup>, и видят в этом одну из причин его широкого успеха. Эта характеристика, излишне категоричная, лишь отчасти смягчается в специальных исследованиях, посвященных Грею. «Сплетение реминисценций и полуреминисценций», – пишет о его элегии К. Брукс, приводя аналогии из Мильтона, Прайора и др.<sup>3</sup> Дж. Дрейпер устанавливает зависимость Грея от многочисленных авторов надгробных элегий<sup>4</sup>. Наконец, в специальной работе Э. Рид о литературной предыстории «Сельского кладбища» названы десятки имен поэтов, давших Грею материал<sup>5</sup>. Грей вырос из традиции, но, заимствуя, он придавал «похищениям» ту степень художественного единства и завершенности, которая и делала его стихотворение своеобразным венцом этой традиции и классическим образцом «кладбищенской элегии»<sup>6</sup>. Упрек в неоригинальности, адресованный индивидуально Грею, исторически был также не вполне основателен, хотя бы потому, что его предшественники в свою очередь заимствовали те же мотивы. <...>

Заимствованные элементы получают индивидуальную аранжировку, и это норма, потому что произведение не есть сумма элементов и они не сложены, а интегрированы контекстом. <...> Грей работал над своей элегией долго и целенаправленно, стремясь соблюсти эстетические

условия, которые уже были выдвинуты английскими теоретиками и поэтами; в значительной степени они были учтены затем немецкими и французскими теоретиками жанра. Так, Грей исключает антитезы, мифологическую образность и почти не пользуется историческими ассоциациями. В то же время он ясно видит специфику именно поэтического языка, отличного от языка прозы; только во французской поэзии, считает он, стирается разница между тем и другим. Поэтический язык «Элегии, написанной на сельском кладбище» приближен к общеупотребительному и лишь слегка архаизирован; одновременно Грей пользуется и системой обобщенных образов, не имеющих индивидуальных черт. Это обстоятельство, как и некоторые черты поэтики «Элегии», например широкое употребление абстрактных понятий, нередко олицетворяемых, – наследие просветительской поэзии; романтики, а вслед за ними и критики вплоть до нашего времени постоянно упрекали Грея в том, что его собственный язык есть язык рационалистической «прозы»<sup>7</sup>.

<...>

В эстетическом основании «кладбищенской поэзии» <...> лежит понятие суггестии.

Суггестия – «подсказывание», «внушение», «наведение», стремление «вызвать в нас представления, не называя их»<sup>8</sup>, – в той или иной степени присуща всякому поэтическому слову, в особенности в новой и новейшей лирике. <...>

<...>

Подобно «Элегии» «Сельское кладбище» [Жуковского] начинается пейзажной экспозицией, носящей метафорический характер, однако семантика здесь много сложнее; она даже в общем виде не может быть сведена к аллегорическому иносказанию. Это совершенно реальный вечерний сельский пейзаж, но с закрепленным эмоциональным ореолом.

В этом пейзаже с особым вниманием разработан пространственно-временной план. Дело в том, что Грей описывает не вечер, а наступление вечера; он шаг за шагом разворачивает картину в пространстве и во времени, рассчитывая последовательность пейзажных описаний; каждое из них он начинает с пространственного образа и заканчивает значимой деталью, обозначающей новую временную фазу. Читатель как бы становится свидетелем постепенного наступления сумерек: вначале он видит удаляющееся стадо и земледельца, окончившего работы; затем в пустынном воздухе проносится вечерний жук и уже только издали слышатся колокольчики стада; наконец наступает ночь и вступает в свои права сова на увитой плющом башне<sup>9</sup>. Это последовательно развивающийся аудио визуальный лирический сюжет, и его-то воспроизводит Жуковский в редакции 1802 г.:

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;  
Шумящие стада толпятся над рекой;  
Усталый селянин медлительной стопою  
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...  
Повсюду тишина, повсюду мертвый сон;  
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,  
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.

Лишь дикая сова, таясь под древним сводом  
Той башни, сетует, внимаема луной,  
На возмутившего полуночным приходом  
Ее безмолвного владычества покой<sup>10</sup>.

Живописная конкретность пейзажа здесь ослаблена не только по сравнению с оригиналом, но и по сравнению с первой редакцией, зато тщательно сохранены пространственно-временная характеристика, греевские временные и уступительные с временным значением наречия (now, save – «уже», «лишь»), равно как и анафорические повторы, не дающие распасться четверостишиям и создающие иллюзию постепенного наступления сумерек. Столь же внимателен оказывается Жуковский и к другим существенным особенностям исходного поэтического текста. Естественно, он не копирует их слепо. Так, он с необычайной смелостью отказывается от предельно выразительной первой строки: «Te curfew tolls the knell of parting day» («Колокол поздний кончину отшедшего дня возвещает» – редакция 1839 г.), где сонорные «l» вместе со звонкими создают звукообраз ударов колокола, потому что ему нужен иной звукообраз – «вечерней тишины»; он строит первую строфу на слабых интервокальных «j», сменяемых затем глухими и шипящими, инструментованными в третьей строке мягкими «l»; он жертвует и сильной афористической четвертой строкой («мир оставляя молчанью и мне» – редакция 1839 г.)<sup>2</sup>, потому что хочет сохранить плавность семантического и мелодического движения и перенести центр тяжести на эмоциональные определения («усталый», «медлительный», «спокойный»). <...>

<...>

<...> Пейзаж «кладбищенской элегии» <...> должен подготавливать элегическую ситуацию меланхолического размышления и уединенного созерцания. Поэтому он не аллегоричен, не символичен, а суггестивен. Он должен создавать эмоциональную атмосферу «сладкой меланхолии».

Отсюда эстетическое «повышение» пейзажной экспозиции. Ландшафт реален, но обобщен и строится на нескольких значимых деталях. Одна из них – вечернее освещение. Элегический вечерний пейзаж почти всегда включает упоминание заходящего солнца <...>.

<...>

<...> Самое понятие «вечер» обозначает неустойчивое состояние между двумя стабильными, фиксированными отрезками суток – днем и ночью. Избрав этот момент «перехода» от дня к ночи, от «деятельности» к «покою», элегия еще более подчеркивает лексико-грамматическими средствами самый процесс протекания времени, делая читателя его соучастником, продуцируя сопереживание.

В центре этого пространственно-временного универсума находится созерцающий и размышляющий элегический герой. Чаще всего он статичен; он представлен стоящим или сидящим. <...> Смена картин происходит, однако, и при статическом положении героя: она достигается последовательностью описания. Картины эти – элементы пейзажа – неравноценны; среди них есть одна, наиболее значимая, давшая название всему жанру и являющаяся как бы центром кристаллизации размышлений героя. Это «руина» – замок, гробница, кладбище, монастырь.

<...>

Аббт и Гердер пронизательно замечали, что психологическая основа меланхолической элегии – «сознание уверенности». Поэту следует остерегаться, чтобы аксессуары смерти – погребальный звон, похоронная музыка – не сделались слишком мрачными и не вызывали страха вместо сладкой меланхолии, того «sanfte Gefühl», который составляет господствующий тон элегической поэзии<sup>11</sup>. Элегия закрепляет за «замком», «руиной», «гробницей», «кладбищем» близкую образную семантику и единый круг психологических ассоциаций – не страшных и тревожных, а меланхолических. В «Могиле» («Te Grave», 1743) Р. Блэра, очень популярном «кладбищенском» стихотворении, во многом предвосхитившем элегию Грея, мы еще

<sup>2</sup> В действительности у Жуковского: «Мир уступая молчанью и мне» (см.: Жуковский В. А. Собр. соч.: в 4 т. М.; Л.: Гос. изд-во художественной литературы, 1959. Т. 1. С. 396). (Примеч. сост.)

встретим устрашающие детали, которые в дальнейшем найдут себе место в готическом романе; таковы, например, призраки, являющиеся при свете луны. <...> Исследователи Грея отмечали как характерную особенность, что в его элегии нет описания кладбища в собственном смысле; темой оказывается не кладбище, а то, что может увидеть стоящий на кладбище человек: «блеющие стада, медленно бредущие через луг», скрывающийся в сумраке пейзаж, увитая плющом башня, откуда слышатся крики совы. «Даже мертвые, когда поэт обращается к ним специально, описываются <...> как если бы они были живыми»<sup>12</sup>. Это – «сентиментальная» концепция смерти в противоположность «френической» <...>.

<...>

<...> Исследователи Грея, рассматривая вопрос о композиции его элегии, вводят понятие «перспективы» как структурообразующего элемента. «Повествователь» смотрит на окружающие его сцены, затем вспоминает о «праотцах» деревни, предаётся размышлениям о проблемах добра и зла, жизни городской и сельской; наконец, его взор обращается на себя самого, и в выстроенной «перспективе» появляется конечная эпитафия<sup>13</sup>. Справедливость наблюдения бесспорна; однако невозможно отвлечься от качественного содержания этой «перспективы» или пространственно-временного универсума, в который погружен «повествователь». Из «Элегии, написанной на сельском кладбище» нельзя исключить кладбище, заменив его чем-либо другим: оно образует в ней семантический центр.

<...>

(Вацуро В. Э. «Сельское кладбище» и поэтика «кладбищенской элегии» // Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994. Гл. 3. С. 48, 50–52, 54–57, 59–60, 63)

### Примечания

<sup>1</sup> См.: Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма // От классицизма к романтизму: Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970. С. 247–249, 274–275.

<sup>2</sup> См.: Needleman M. H., Otis W. B. An Outline-History of English Literature. 2<sup>nd</sup> ed. New York, 1955. Vol. 2. Since Milton. P. 417–418.

<sup>3</sup> Brooks C. Te Well Wrought Urn. Studies in the Structure of Poetry. New York, [1947]. P. 107.

<sup>4</sup> Draper J. W. Te Funeral Elegy and the Rise of English Romanticism. New York, 1929. P. 309 f.

<sup>5</sup> Reed A. L. Te Background of Gray's Elegy: A Study in the Taste for melancholy Poetry. 1700–1751. New York, 1962. P. V.

<sup>6</sup> См.: Golden M. Tomas Gray. New York, 1964. P. 66–78.

<sup>7</sup> Подробный анализ «Элегии» как образца жанра см.: Jack I. Gray's «Elegy» re considered // From Sensibility to Romanticism: Essays presented to Frederick A. Pottle. New York, 1965. P. 139–169.

<sup>8</sup> Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. 4-е изд. М.; Л., 1928. С. 189.

<sup>9</sup> Martin R. Essaisur Tomas Gray. London; Paris, 1934. P. 418.

<sup>10</sup> Жуковский В. А. Стихотворения. Л., 1939. Т. 1. С. 3.

<sup>11</sup> Herder L. G. Sammtliche Werke: Zur schonen Literatur und Kunst. Т. 2. Fragmente zur deutschen Literatur. 2-te und 3-te Sammlung. Stuttgart; Tubingen, 1827. S. 290 f.

<sup>12</sup> Brooks C. Op. cit. P. 108–109.

<sup>13</sup> См.: Brady F. Structure and Meaning in Gray's «Elegy» // From Sensibility to Romanticism. P. 177–189.

**Вопросы и задания**

1. Каковы основные темы «Элегии, написанной на сельском кладбище»?
2. В чем состоит типологическая репрезентативность элегии Грея?
3. Опираясь на суждения исследователя, охарактеризуйте композицию «Элегии».
4. Дайте краткую характеристику особенностей и функций пейзажа в «кладбищенской элегии».
5. Какие особенности элегии Грея свидетельствуют о классицистских тенденциях его творчества и какие – о его новаторстве?

## Оливер Голдсмит (1728–1774)

### Предтекстовое задание

Познакомьтесь с отрывком из предисловия А. Г. Ингера к избранным произведениям Голдсмита, обращая особое внимание на характеристику жанровой природы, композиции и тематики романа «Векфилдский священник» и поэмы «Покинутая деревня».

*А. Г. Ингер*

### Оливер Голдсмит (1728–1774)

<...>

Восемнадцатый век в английской литературе был в первую очередь веком так называемого нравоописательного романа: сначала приключенческого (Дефо), повествующего о странствиях по городам и весям и злоключениях одинокого и часто безродного героя, о его жизненных невзгодах и борьбе за существование в этом суровом мире. Несколько позднее появляется роман семейный (Ричардсон), повествовавший о том, что всякого рода опасности подстерегают человека не только в житейских странствиях и что жизненные драмы могут происходить и в замкнутом пространстве одного дома, при небогатом внешними событиями существовании – драмы семейные, нравственные; местом действия их стала английская помещицья усадьба или жилище какого-нибудь почтенного буржуазного семейства. Затем у Филдинга оба эти типа повествования соединились в пределах одного романа, и в его «Истории Тома Джонса, найденныша» изображение семейных нравов английского дворянства средней руки и лондонского света сочетается с миром приключений, с неожиданными дорожными встречами и быстро сменяющимися друг друга эпизодами, в которых, как в калейдоскопе, мелькают люди всех званий и профессий.

Небольшой в сравнении с пухлыми английскими романами той поры роман Голдсмита, в сущности, почти завершает собой плодотворный путь, проделанный его предшественниками в этом жанре. Появившаяся вслед за тем книга Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди» – это уже пародия на такого рода романы, на их сюжеты, композицию, принципы обрисовки характеров, одним словом, это уже принципиально иной взгляд на мир. Книга же Голдсмита ничем (кроме разве размеров), на первый взгляд, от других подобных романов не отличается. «Векфилдский священник», в сущности, тоже семейный роман – ведь в нем повествуется о бедствиях, выпавших на долю семейства сельского пастора Примроза. И здесь мы встречаем знакомых нам по другим романам персонажей – деревенского помещика, священника, вельможу и, конечно же, бедного молодого человека, отправляющегося на поиски удачи, меняющего десятки профессий, чувствующего себя игрушкой в руках судьбы, доведенного до отчаяния, но все же спасающегося на краю гибели и получающего в награду за свою нравственную стойкость руку возлюбленной, а заодно и ее изрядное приданое. Ведь такова была судьба и героев Филдинга – Джозефа Эндрюса и Тома Джонса, и героя Смоллета – Родерика Рэндома, но, чтобы рассказать о ней, эти писатели извели сотни страниц, а у Голдсмита все это рассказано в одной небольшой главе. Перед нами словно конспект ходовой ситуации. И здесь, в этом романе, казалось бы, господствует его величество случай, причем главным образом в самых последних трех главах, когда автор с плохо (быть может, намеренно плохо) скрываемой поспешностью начинает вызволять своих героев из беды и нагромождает такое количество счастливых совпадений, что невольно начинаешь думать: а не посмеивается ли он над «любезным читателем»? И здесь традиционный счастливый финал, в котором порок наказан, добродетель торжествует и дело кончается свадебным пиршеством.

По своей композиции роман отчетливо делится на две половины, очень друг от друга отличающиеся. В первой повествуется о том, как, потеряв все состояние, Примроз вынужден был покинуть насиженное гнездо, расстаться с любимым сыном Джорджем и, переехав со всем своим семейством в обычную крестьянскую хижину, начать жизнь, значительно отличающуюся от прежней. Теперь он не только пастырь, наставник своих прихожан, но, как любой из них, сам вместе с сыном Мозесом трудится в поле от зари до зари; он – священник и крестьянин одновременно со всеми вытекающими из этого последствиями, но только эти реальные последствия скажутся лишь во второй половине романа. В первой же его половине, как, впрочем, и в строках поэмы «Покинутая деревня», изнурительный труд в поле и тяготы бедности, в сущности, остаются за пределами повествования. Вместо этого крупным планом показаны невинные повседневные заботы и невинные простодушные радости. Семейство Примроза вскоре как будто смиряется со своим новым положением, не унывает и находит немало поводов, чтобы веселиться. Это семейный роман, но только представленный в виде пасторали и на пасторальном фоне, потому что и вокруг все дышит благополучием и покоем. Поселяне живут в первозданной простоте и умеренности, трудятся «весело и охотно», не ведают «ни нужды, ни убытка», а по праздникам предаются развлечениям. Читая все это, невозможно и предположить, что здесь произойдут столь драматические события и что этот мирный уголок принадлежит негодю Торнхиллу.

А пока перед нами – замкнутый, патриархальный, не чуждый мещанского самодовольства и суетного тщеславия семейный мирок. Читателю исподволь как бы внушается мысль: главное не в том, много или мало у человека денег, а в том, чтобы на сердце у него было спокойно и совесть была чиста и чтобы он выполнял свой долг пахаря и семьянина.

В этой почти начисто лишенной событий жизни («...все наши приключения совершались подле камина, а путешествия ограничивались переселением из летних спален в зимние и из зимних – в летние») каждый пустяк неизбежно приобретает в глазах людей непомерную важность. Вот почему, например, о достоинствах крыжовенной настойки – гордости семейной кухни – Примроз повествует «со всей беспристрастностью историка». Здесь играют в лото и в фанты и в еще более незамысловатую игру «Где туфелька?» и целую неделю изощряют свою изобретательность, чтобы без особых затрат затмить своим нарядом других прихожанок во время воскресной проповеди; здесь нет особых умственных интересов или особых духовных устремлений. Даже сам Примроз достаточно прост, а уж его близкие и того более.

Возможно, такие картины показались бы читателю приторными, а тон повествования чересчур умильным, если бы не юмор, пронизывающий все эти главы, если бы не смехотворные ситуации, в которые то и дело попадают персонажи и в том числе и Примроз, который хотя и мнит себя человеком проницательным, однако простодушен, как дитя. Мозес, отправившийся на ярмарку, чтобы продать жеребца и купить верховую лошадь, и принесший вместо этого двенадцать дюжин зеленых очков; сам Примроз, в свою очередь отправившийся продавать мерина и попавшийся на удочку тому же самому мошеннику, – эти и многие другие эпизоды запоминались поколениями английских читателей с детства, точно так же, как приключения Сэмюэля Пиквика и его приятелей и присловья Сэма Уэллера из романа Диккенса.

Юмор фактически исподволь разрушает пасторальную идилличность этих картин, а кроме того, он дает нам возможность ощутить позицию автора. А отношение автора к этой картине двойственно и вовсе не совпадает с отношением рассказчика, о чем читателю ни на минуту не следует забывать. Автору многое здесь дорого и знакомо с детства, однако его собственный духовный кругозор и жизненный опыт намного богаче, и он взирает на эту пастораль, в которой сотня правдивых деталей, придающих ей видимость достоверности, с доброй снисходительной усмешкой. Он понимает всю хрупкость относительного благополучия своих героев, недолговечность и, если угодно, призрачность этой идиллии, но предпочитает ее тому

миру, который населен людьми, подобными помещику Торнхиллу, миру людей циничных и безжалостных, который потом все же вторгается в эту идиллию и губит семью Примроза.

Но как понять отношение Голдсмита к своему герою и к событиям романа? «Векфилдский священник» написан от первого лица, как, впрочем, и большинство романов Дефо, например. Однако за сорок лет, отделяющих Примроза от Робинзона, литература накопила столько наблюдений над «человеческой природой», как любили говорить просветители, и разрушила столько абстрактных представлений о ней, что это не могло не отразиться на художественной манере повествования.

В романе Голдсмита позиция рассказчика, его оценки и самооценки, его повествовательная интонация, отношение автора к герою и восприятию читателя сместились, пришли в движение и даже утратили прежнюю неколебимую определенность. Писатель понимает, что человек может заблуждаться в оценках своих и чужих поступков, может помимо воли выдать истинное положение вещей, в котором он сам не отдает себе отчета. Автор уже не берет на себя труд объяснять все поступки и мысли героя, поскольку, видимо, не считает, что это так легко можно сделать с помощью логики, а подчас и попросту сбивает читателя с толку и ставит его в тупик, так что с ним, что называется, надо держать ухо востро. В XIX главе, например, попав в дом незнакомого, но гостеприимного джентльмена, любящего потолковать о политике, Примроз с жаром высказывает ему свои взгляды на политический строй Англии, и читателю очень трудно не отождествлять эти мысли с убеждениями самого автора. Думается, что для этого действительно есть основания, потому что примерно то же самое он выскажет впоследствии уже от своего имени в том же «Путнике». Однако в конце главы выясняется, что Примроз попал впросак и что его собеседник – самозванец, нахальный лакей, выдававший себя за своего барина, и эта ситуация неизбежно бросает иронический отсвет на всю предшествующую сцену, а значит, и на, казалось бы, такой серьезный предмет разговора. Зачем же понадобилось Голдсмиту снижать то, что говорилось выше? Не следствие ли это некоторой утраты писателем-просветителем надежд на возможность благодетельных общественных перемен? Не означает ли это некоей горестной и остужающей иронии над столь патетическим и серьезным отношением своего героя, а отчасти и своим, к такого рода материям?

Вначале кажется, что Примроз вполне объективно повествует нам о себе и своем семействе и прекрасно разбирается в достоинствах и недостатках окружающих, хотя в его благодушном тоне нет-нет да и ощущается некоторое самодовольство. Он пока, как и автор, стоит *над* событиями и любовно, но со снисходительным юмором описывает свой семейный мирок. Но при внимательном чтении мы начинаем обнаруживать, что Примроз, сам того не замечая, себе противоречит. Так, например, вначале он объявляет, что жена ему досталась кроткая и домовитая, и не прочь внушить нам, что сам он был повелителем и непререкаемым авторитетом среди своих домашних, однако потом он роняет замечание, что на собственном опыте изведает, что пора ухаживания – самая счастливая, и постепенно мы убеждаемся, что им вертят в доме, как хотят. Потом обнаруживается, что он тоже тщеславен и тоже вопреки своим нравоучениям рьяно участвует в осаде богатого жениха-помещика, хотя сердце Примроза не лежит к нему. Теперь он сам все чаще попадает впросак, становится мишенью для юмора автора, но делается это неприметно; читателю необходимо самому сопоставлять факты и то, что говорит о них Примроз, чтобы понять это отношение автора. Голдсмит как бы внушает читателю мысль: не будьте слишком суровы к Примрозу, ведь он весь на виду, а на всякого мудреца довольно простоты. Но во второй половине романа, когда комическая идиллия сменяется драмой, Примроз утрачивает и благодушный тон, и снисходительную иронию, теперь он повествует о событиях *изнутри* с пафосом мученика, он преображается у нас на глазах, высвобождаясь от всего мелкого, наносного, страдание делает его чрезвычайно пронизательным (как хорошо понимает он теперь состояние своей опозоренной дочери), и все лучшие стороны его натуры теперь торжествуют.



И все же именно Примроз, каков он ни есть, со всеми своими слабостями, более других героев симпатичен автору. А ведь еще недавно такие качества были отнюдь не в чести у авторов и читателей. Но дело в том, что столь ценимый просветителями Разум к тому времени в реальной действительности был уже изрядно скомпрометирован и обернулся прозаическим здравым смыслом, эгоистической расчетливостью и цепким практицизмом. Вот почему главным мерилom нравственной оценки человека в романе служит не столько разумность, при всем почтении к ней автора, сколько доброта, отзывчивость, умение прислушиваться к голосу своего сердца. Люди разнятся друг от друга богатством, положением в обществе, ученостью, но способность страдать и радоваться не зависит от этих различий, и в этом бедняк не отличается от вельможи или философа. Так культ сердца и чувства приобретает отчетливо демократический смысл.

Однако в мире эгоизма и корысти нельзя обнажать свои чувства, не рискуя стать жертвой обмана или мишенью для насмешек. Добрый бескорыстный поступок – аномалия, вызывающая подозрение. Потому-то благородная непрактичность, бросающая вызов здравому смыслу, и гуманность, не размышляющая, во что ей обойдется добрый поступок, становятся столь дороги английским романистам, начиная с Филдинга. И если на первом этапе Просвещения популярный в Англии «Дон Кихот» служил Разуму примером сумасбродства, то теперь наивность, доходящая порой до чудачества, доверчивость, преданность своим нравственным убеждениям полемически противопоставляются здравому смыслу и торжествуют над ним – пусть только на страницах романов, пусть лишь моральную – но все же по бед у.

Донкихотство вызывает теперь симпатию. Люди рассудительные, сообщив Примрозу о том, что он разорен, советуют ему умерить свой пыл, сыграть сначала свадьбу сына, а уж потом, когда тот заполучит приданое невесты, спорить с ее отцом относительно единобрачия духовенства сколько душе угодно. Что же делает герой Голдсмита? Он мчится известить будущего родственника о случившемся и спорит с ним еще яростнее. Ведь речь идет о его убеждениях! В итоге свадьба сына не состоялась, и последняя надежда поправить дела семьи рухнула. С точки зрения здравого смысла это безрассудство, но тем и дорог автору Примроз, что ради принципа, пусть в данном случае нелепого, он готов пожертвовать материальным благополучием. Позже, руководствуясь чувством нравственной правоты, Примроз бросает вызов помещику, от которого он зависит. Силы настолько неравны, что поступок Примроза выглядит самоубийством, но именно теперь комический чудак преображается и вызывает уже восхищение и сострадание.

Вторая половина книги по всем используемым в ней сюжетным ситуациям – уже роман приключенческий, или, как его еще называют, роман дороги. Здесь есть бегство одной дочери и похищение другой, погоня, неожиданные встречи и узнавания и неожиданные повороты сюжета, есть даже и мнимая смерть, и, конечно же, как в любом повествовании такого типа, герой (а здесь чуть не вся семья) оказывается в тюрьме. Но то, что в большинстве романов служило главным образом одной цели – заинтриговать читателя, сделать книгу как можно более занимательной, – здесь производит такое впечатление, как будто автор хотел продемонстрировать, сколь мастерски он владеет техникой такого повествования, и даже несколько этим бравирует, словно говоря читателям: если вам по душе такого рода занимательное повествование – что же, извольте.

Еще более явно ироническое отношение автора чувствуется в самом финале романа, где после тюремной проповеди Примроза начинается движение сюжета вспять, как если бы киноленту стали крутить в обратную сторону, и благополучие и доброе имя всех членов семьи восстанавливается. Здесь все построено на одних случайностях и выглядит совсем неправдоподобно. Автор словно предвидел возможность такого упрека, и, предупреждая его, Примроз оправдывается тем, что и в жизни таких чудесных совпадений сколько угодно. Между тем несколько ранее, в рецензии на один «дамский» роман, Голдсмит писал: «Однако, чтобы утешить нас во всех этих несчастьях, дело кончается двумя или тремя очень выгодными парти-

ями; и там уж всего до пропасти – денег, любви, красоты, дней и ночей настолько счастливых, насколько можно пожелать; одним словом, еще один набивший оскомину финал современного романа». Как же совместить такое противоречие? Думается, что в финале «Векфилдского священника» определенно наличествует пародийный подтекст: автор лукаво посмеивается над штампами жанра и читательского восприятия. Роман словно бы подводит итог многим приемам повествования и показывает, что в таком виде эти приемы себя уже исчерпали.

Впрочем, неправдоподобен здесь не только финал. Лишь в вымышленном мире патриархальной идиллии мог существовать и великодушный спаситель Примрозов – сэр Уильям Торнхилл, скрывающийся до поры до времени под именем Берчелла. Неужели Голдсмит в самом деле верил в жизненность своего персонажа или надеялся уверить в том читателей? О нет. Он знал, чему поверят и чему не поверят его читатели, но как просветитель и моралист считал необходимым показать одновременно и то, что есть, и то, что должно быть в жизни, должно торжествовать в ней, что отвечает нравственному чувству именно демократического читателя, – победу униженных и оскорбленных над насилием и пороком. У читателя искушенного такая наивность могла вызвать лишь снисходительную улыбку, читателю простому эта победа маленьких людей была морально необходима, как нужна была вера в воздаяние, пусть загробное. В данном случае уязвимость замысла вызвана, как это ни парадоксально, демократизмом Голдсмита, его точным пониманием мироощущения крестьянина, бедняка.

Но вторая часть романа, как и вся книга в целом, написана отнюдь не ради занимательности; именно здесь наиболее отчетливо проступает ее главная тема – тема трагической беззащитности маленького человека, бедняка в условиях современной ему Англии. От безоблачной идиллии первой части не остается и следа, здесь торжествует суровая реальность, а комический чудака Примроз превращается в фигуру трагическую. Такого перехода нет ни в одном другом английском романе XVIII века, как не сыщешь в них и такой проповеди, какую произносит в тюрьме отчаявшийся Примроз. Он говорит в ней о несостоятельности философии, бессильной облегчить страдания обездоленных, и о том, что одна только религия способна доставить бедняку утешение, он проповедует терпение и все свои надежды возлагает на загробную жизнь. Проповедь эта, без сомнения, связана с ощущением кризиса просветительской философии, оказавшейся бессильной перед многими реальными противоречиями и проблемами, которые выдвигала новая буржуазная эпоха. Но ведь одновременно в этой проповеди есть и такие слова: «Кто хочет познать страдания бедных, должен сам испытать жизнь и многое претерпеть. Разглагольствовать же о земных преимуществах бедных – это повторять заведомую и никому не нужную ложь... Никакие потуги самого утонченного воображения не могут заглушить муки голода, придать ароматную свежесть тяжкому воздуху темницы, смягчить страдания разбитого сердца. Смерть – пустяки, и всякий в состоянии перенести ее, но муки, муки ужасны, их не может выдержать никто». При такой постановке вопроса становилось ясно, что тот путь, на котором до того времени искал решения общественных и социальных зол английский просветительский роман, путь нравственной проповеди – себя не оправдал, и книга Голдсмита и в этом отношении в какой-то мере подводила итог поискам нравоописательного романа XVIII века.

Поэтическое наследие Голдсмита, как уже говорилось, очень невелико, всего каких-нибудь три десятка стихотворений, а если вычесть из них то, что было написано на случай (прологи и эпилоги к спектаклям, например), то и того меньше. Но в нем представлены почти все наиболее распространенные жанры английской поэзии, сменявшие друг друга на протяжении XVIII века, в ее движении от просветительского классицизма к сентиментализму и романтизму. Серьезной в те времена почиталась лишь та слава, которая основывалась на создании поэтических произведений и притом в серьезных жанрах. Такой была поэма Голдсмита «Путник», создавшая ему литературную репутацию в первую очередь среди знатоков и профессионалов. Ее следовало бы скорее назвать морально-философским размышлением в стихах, и

образцом для нее, конечно, могла послужить поэма или, вернее, стихотворный трактат английского поэта начала XVIII века Александра Попа – «Опыт о человеке».

Произведение такого рода могло быть написано и в прозе, и если автор все же избирал стихотворную форму, то лишь для того, чтобы изложить свои размышления в более удобочитаемом и доступном виде и притом как можно более лаконично, чтобы самые важные мысли были выражены в афористически отточенной, легко запоминающейся форме. Поэт, как правило, старался, чтобы две рифмующиеся друг с другом строки (а писались такие поэмы десятисложным ямбическим стихом с парной рифмой), а если возможно, и каждая отдельная строка представляли собой законченную мысль, сентенцию, изящную и звучную, врезающуюся в память и сознание читателя. В такой поэзии слово почти никогда не бывало многозначным и уж никак не должно было давать читателю повод для различного его истолкования. Здесь должна была господствовать мысль, логика; в таких стихах автор широко пользовался риторическими приемами, сопоставлением и противопоставлением понятий и явлений, и если эти стихи имели целью вызвать эмоцию, то эмоцию скорее объективного, внеличного характера. Голдсмит рассуждает в своем «Путнике» на излюбленную тему просветительской литературы: он сравнивает в ней природные условия, а также господствующие устремления и преимущества жизни разных народов Европы, чтобы решить, какой образ жизни предпочтительней и более всего может содействовать человеческому счастью. Однако поэма отнюдь не является еще одним упражнением на популярную тему. Она совершенно лишена выпренности, холодной риторичности, столь характерных для многих поэм просветительского классицизма, и более того, в ней с первых строк ощущается то, чего не встречалось прежде в поэмах такого рода: настроение – настроение печали, бесприютности, чувство заброшенности человека, которому негде приклонить голову и который нигде в этом мире не может быть счастливым. Притом лирический герой здесь очень автобиографичен, и сам Голдсмит этого не скрывает. Надо помнить, что к этому времени уже были созданы такие крупные произведения английской сентиментальной поэзии, как «Ночные думы» (1742–1745) Юнга и «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751) Грея, и это не могло пройти бесследно для поэзии Голдсмита, но еще более повлияло и определило мироощущение этой поэмы само время – эпоха промышленного переворота.

Рисуя последствия чрезмерной погони за каким-нибудь одним благом в ущерб другим, Голдсмит, пожалуй, наиболее суров, когда он говорит о нравах наиболее развитых буржуазных стран той эпохи – Голландии и Англии, при этом он пронизательно отмечает отчуждение людей друг от друга в обществе свободного предпринимательства, исчезновение всех тех связей, которые некогда их объединяли. Именно вследствие разочарования в возможностях буржуазного парламентаризма Голдсмит восклицает здесь, что зрелище шайки политиканов, сговорившихся называть английский строй свободным, в то время как пользуются этой свободой только они, заставляет его предпочитать монархию. И это совпадает с мнением Примроза, предпочитающего, чтобы им правил один тиран и чтобы находился он не под боком, а подальше – в столице. Вместе с тем Голдсмит далек здесь от того, чтобы в противовес миру богатства, корысти и политической демагогии цивилизованного общества идеализировать в духе руссоизма непритязательное нищенское существование одинокого землепашца. Полемические крайности Руссо были ему чужды. Судя по этой поэме, Голдсмит уже в начале своего пути не разделял оптимизма просветителей в отношении общественного прогресса; только в своей душе – и это очень характерно для мироощущения сентиментализма – человек может найти источник счастья, оно зависит не столько от вне его лежащих обстоятельств – законов и правителей, сколько от внутренних ценностей, заключенных в человеческом сердце. Наконец, в финале поэмы, в сущности, уже кратко обозначен замысел его второй поэмы – «Покинутая деревня», а образ бесприютного странника стал впоследствии излюбленным героем романтической поэзии.

«Покинутая деревня» – это поэма-элегия, излюбленный жанр сентиментальной поэзии; ее опубликование в 1770 году поставило автора в один ряд с крупнейшими поэтами Англии. Поэма и в самом деле представляла собой в некоторых отношениях явление исключительное, и в первую очередь потому, что до нее в английской поэзии не было произведений, проникнутых таким страстным демократическим пафосом, таким духом протеста против социальной несправедливости. В центре ее внимания – трагедия английского крестьянства в эпоху промышленного переворота. Голдсмит рисует здесь вымышленное село Оберн, разоренное в результате огораживания общинных земель. Вместе с тем протест поэта выражен с редкостным лиризмом, он высказан как будто негромким голосом, идущим от сердца. Настроение щемящей печали и тоски пронизывает здесь каждую строку. Кроме того, это еще и на редкость музыкальные стихи, но их музыкальность поражает своей естественностью, она как будто возникла сама собой. И самое удивительное, что от этой камерности и лиризма протестующая сила этих стихов не только не ослабевает, но, напротив, производит значительно большее воздействие.

Композиционно поэма построена свободнее, непринужденней, нежели «Путник»: она представляет собой не ряд рассуждений, поясняемых примерами, а ряд картин, реальных или возникающих в воображении поэта и вызывающих его эмоциональный отклик. Поэт словно свободно отдается охватившим его чувствам, и композицию ему диктует сердце, что, впрочем, не мешает нам ощутить глубокую продуманность сменяющих друг друга эпизодов и интонаций. Поэма строится на контрастном сопоставлении картин недавнего счастливого прошлого и нынешних бедствий и разорения, но прошлое всякий раз представлено иначе: сначала это картина цветущего села и описание бесхитростного веселья поселян после трудового дня, проказы молодых озорников, состязание в ловкости, танцы; в другом эпизоде в памяти поэта оживают разнообразные звуки некогда кипевшей здесь жизни – песня молочницы, гоготанье гусяного стада, смех детей, опять-таки по контрасту с мертвой тишиной, царящей здесь теперь; в третьем ему вспоминаются обитатели села: священник, учитель, завсегдатаи деревенского трактира, наконец, в четвертом поэт рисует мучительную минуту расставания крестьян с родными местами и ожидающую их печальную участь, будь то на улицах равнодушного Лондона или среди диких просторов Нового Света. Разумеется, это прошлое в поэме идеализировано, изображено как время довольства, когда крестьяне наслаждались «смирненным счастьем», перед нами скорее пасторальные поселяне, нежели реальные крестьяне, и не случайно автор избегает рисовать их труд в поле, чтобы не омрачать идиллическую картину прошлого. Если поэт и дает нам здесь на миг почувствовать, что этот мир был все же косным и духовно ограниченным, то делает это, сообразуясь с требованиями жанра, чрезвычайно деликатно, с едва заметным юмором.

В то же время, в отличие от классицистской пасторали, Голдсмит удалось в своей поэме, быть может, впервые изобразить жизнь деревни и сельский пейзаж не с помощью одних только примелькавшихся общих примет – ручей, хижина и пр., ставших дежурными аксессуарами такой лирики. Деревенский трактир с его немудреной обстановкой и посыпанным песком полом, с сундуком, служащим ночью вместо кровати, с картинками, украшающими его стены, и разбитыми чашками на каминной доске – это уже вполне конкретное реалистическое описание, таких «низких» деталей пасторальная поэзия обычно гнушалась.

«Но все это бесследно исчезло» – таков лейтмотив поэмы. Нет ни крестьянских домиков, ни хлопотуны-мельницы, остались лишь одни заросшие травой развалины; все обезлюдело вокруг, и лишь одинокая нищая вдова доживает здесь свой век, да выпь оглашает окрестность своим печальным криком. Виной тому надменное богатство, захватившее все вокруг, ограбившее поля; там, где прежде кормилось множество крестьян, теперь раскинулись дворцы, пруды и парки господ. Здесь есть и патетические, и в то же время исполненные скрытой иронии обращения к государственным мужам, которым, конечно, виднее, в чем заключается счастье родного края и его процветание, потому что ни о какой борьбе с насильниками автор, конечно, и

не помышляет, он хочет только воззвать к их здравому смыслу, усюветить, изблчить. Есть в поэме и несколько наивное представление о том, что виной всему погоня за роскошью и утонченными удовольствиями, чрезмерная расточительность, но тут же Голдсмит пронцательно говорит об исчезновении свободного английского крестьянства и о том, что это – трагическое следствие уродливого буржуазного прогресса; он подмечает пропасть, отделяющую экономическое процветание буржуазной Англии от народного счастья.

Читатель ясно ощущает, что трагический удел английского крестьянства Голдсмит воспринимает и как свой личный, потому что, измученный и затравленный обстоятельствами своей судьбы, как преследуемый охотниками зверь, он мечтал отдохнуть душой и окончить свои дни в мирном сельском уединении, потому что для него вместе с уходом бедняков уходят и все радости и потому что его музе, самой поэзии нет теперь места в этом разоренном краю. Голдсмит завершает эту поэму, предвосхищая любимую тему романтической поэзии о враждебности утилитарной и прозаической буржуазной эпохи поэтическому творчеству и искусству.

В поэтическом наследии Голдсмита представлены также и такие жанры, как стихотворная сатира на нравы, написанная в подражание сатире Свифта, и стансы, и шуточные насмешливые эпитафии, то есть жанры, так или иначе связанные с поэтикой классицизма, но одновременно мы находим у него и балладу («Эдвин и Анжелика»), которой предстояло вскоре стать ведущим жанром романтической поэзии, и пленяющую своей трогательной искренностью и печалью сентиментальную песню Оливии из романа «Векфилдский священник».

Гете, чрезвычайно высоко ценивший творчество Голдсмита, сказал о нем, в частности, следующее: «...Голдсмит написал так мало стихотворений, что их можно перечесть по пальцам; тем не менее я должен назвать его плодовитым поэтом, и именно потому, что небольшое, им созданное, озарено внутренней жизнью, которая показала свою долговечность». Думается, что мы не погрешим против истины, прибавив, что внутренней жизнью озарены все лучшие творения Оливера Голдсмита, а то обстоятельство, что и сегодня его наследие продолжает вызывать у нас непосредственный живой отклик, – еще одно подтверждение их долговечности.

(Ингер А. Г. Оливер Голдсмит (1728–1774) // Голдсмит О. Избранное. М.: Художественная литература, 1978. С. 9–20)

### **Вопросы и задания**

1. На основе суждений автора работы охарактеризуйте жанровую природу «Векфилдского священника».
2. Каковы, по мысли А. Г. Ингера, функции юмора в романе Голдсмита?
3. Что, по мнению исследователя, является главным мериллом нравственной оценки человека в романе?
4. Исходя из текста работы, дайте краткую характеристику композиции романа Голдсмита.
5. Какими соображениями, в трактовке автора статьи, руководствовался Голдсмит, предлагая читателям романа счастливый финал?
6. Определите жанр и основные темы поэмы Голдсмита «Покинутая деревня».
7. Охарактеризуйте композицию и образный репертуар поэмы.

## Ричард Бринсли Шеридан (1751–1816)

### Предтекстовое задание

Предисловие Ю. И. Кагарлицкого к первому наиболее полному советскому изданию пьес Шеридана (1956) и статью Т. Н. Потницевой (2002) разделяет почти полувековая дистанция. Прочитайте внимательно отрывки из них, обратив внимание на различие подходов исследователей к трактовке пьесы Шеридана «Школа злословия».

### *Ю. И. Кагарлицкий* Ричард Бринсли Шеридан

<...>

### 6

Шеридан подходил к сатирической комедии сложным путем.

В английской просветительской комедиографии до Шеридана драматурги-сатирики работали в области малых жанров – балладной оперы, фарса, «репетиции» (иными словами – «сцены на сцене»). Их противники захватили «правильную комедию», как тогда называли обычную комедию в пяти действиях. Это своеобразное разделение по жанрам было далеко не в пользу демократического направления. «Правильная комедия», несомненно, давала значительно большие возможности для реалистического отражения действительности и создания полнокровных жизненных характеров, чем условные «малые» жанры.

Поэтому драматурги-сатирики, уже начиная с Фильдинга, боролись за овладение «правильной комедией», стремясь, с одной стороны, внести сатирическое содержание в пятиактную комедию, с другой – преодолеть условность малых жанров. Эта борьба давала все более ощутимые результаты по мере того, как демократическая комедиография приобретала большую зрелость и накапливала традиции.

Подобный путь в пределах одной творческой биографии пришлось пройти и Шеридану. Нетрудно заметить разнообразие жанров, в которых работал Шеридан. После «Соперников» он обращается к фарсу («День святого Патрика») и балладной опере («Дуэнья»). Последняя имела для Шеридана особое значение, поскольку этот жанр, созданный основоположником демократического направления в английском театре XVIII века Джоном Геєм, был традиционно сатирическим. Используя сатирические возможности балладной оперы, Шеридан в значительной степени преодолевает вместе с тем условность и пародийность, отличавшие прежде этот жанр.

«Поездка в Скарборо» тоже имела определенное значение в подходе драматурга к большой сатирической комедии.

Так, овладевая драматургическим мастерством и усваивая сатирические традиции английской просветительской литературы, Шеридан приближается к созданию своего шедевра – «Школы злословия».

Шеридан опирался не только на предшествующую драматургию, но и на роман XVIII века – в первую очередь на творчество Генри Фильдинга, создателя так называемых комических эпопей «Джозеф Эндрюс» и «Том Джонс». Родившаяся в результате работы над этими произведениями формула Фильдинга «пример оказывает на человеческий ум действие более непосредственное и сильное, нежели наставление», легла позднее в основу борьбы Кольмана, Гольдсмита и Шеридана с сентиментальной комедией. Фильдинговское понимание категории

смешного (смешное – это «если открывается, что человек представляет собой нечто как раз обратное тому, что он собой изображал») используется Шериданом. Смешны претензии буржуа на добродетель, дворянина – на честь, смешно считать эти классы такими, какими они стремятся себя изобразить. Уже сами эстетические установки Фильдинга представляли собой ответ на попытки идеализировать недавно сформировавшееся буржуазное общество; в них были заложены основы сатирической демократической комедии.

Именно сатирический накал «Школы злословия» помог Шеридану внести этим произведением такой значительный вклад в драматургию, поднять английскую демократическую комедию на новую ступень.

«Школа злословия» потребовала от драматурга продолжительной и напряженной работы. На последнем листе рукописи Шеридан вместо традиционного «конец» написал: «Кончил, слава богу!» Суфлер театра Дрюри-Лейн, долго ждавшего новой комедии своего руководителя, приписал внизу с неменьшим облегчением: «Аминь».

Ожидания группы не были напрасными.

## 7

Комедия положений не обязательно лишена характеров. Комедия характеров не обязательно лишена острой интриги. В «Соперниках» каждое действующее лицо было характером. «Школа злословия» обладает сильной интригой. Однако нетрудно обнаружить коренное различие в построении «Школы злословия» и предшествующих комедий Шеридана.

В «Соперниках» Шеридан искал как можно более неожиданных поворотов сюжета. В «Школе злословия», напротив, каждый поворот сюжета не только заранее подготовлен, но о нем предуведомлен зритель. И тем не менее действие пьесы развивается совершенно неожиданными путями, ибо автор находит все новые возможности в характерах своих героев. В «Соперниках», равно как и в «Дуэнье», упор делался на парадоксальное сочетание страстей, в «Школе злословия» – на реалистическое развитие многогранного человеческого характера.

«Школа злословия» является высшим достижением английской просветительской комедии, наиболее законченным образцом реалистической сатирической комедии. В этом произведении соединились глубина изображения характеров, замечательное мастерство интриги, совершенная сценичность. «Школой злословия» Шеридан завершил работу Гея, Фильдинга, Кольмана, Гольдсмита.

Исключительная концентрированность действия, безупречная логика его развития, которыми отличается «Школа злословия», – результат того, что вся пьеса проникнута одной мыслью, одним горячим убеждением автора, его стремлением опозорить, разоблачить, смешать с грязью ненавистного ему буржуа-пуританина – ханжу и корыстолюбца, лицемера и негодяя. Шеридану не надо было для этого выдумывать сложной сюжетной схемы, запутанных перипетий. Ему достаточно было лишь сконцентрировать, довести до уровня своей ненависти то, что подсказывала сама жизнь.

...Богатый лондонский дом. Хозяин его давно уже потерял связь со своим поместьем, но не вошел и в жизнь буржуазного Лондона. Этот добряк и сангвиник достаточно обеспечен, чтобы не думать о приумножении своего состояния, он не тщеславен и мечтает лишь о том, чтобы на покое дожить свои дни. Герой Шеридана лишен корыстной заинтересованности в людях. Впрочем, он еще достаточно душевно молод, чтобы радоваться и негодовать со всей силой своего темперамента и, наконец, влюбиться в дочку обнищавшего сквайра. Сэр Питер Тизл не из тех людей, которые привыкли и умеют анализировать свои чувства. Ему кажется, что он трезво и осмотрительно выбрал себе жену. На самом деле он поддался сильному порыву чувства, искренне полюбил молодую девушку. И в этом на первый взгляд его несчастье. Налаженный быт сэра Питера приходит в полное расстройство. Он не в состоянии выдержать неуме-

ренных трат своей жены. Дом ломится от гостей. Старика заставляют ходить с визитами, и, что хуже всего, сэр Питер подозревает жену в измене. Но кто ее избранник?

Сэр Питер думает, что это оставленный в свое время под его опеку Чарльз Сэрфес. И действительно, молодая женщина, которую справедливо возмущает патриархальность сэра Питера, его желание отгородиться от современности и жить воспоминаниями, могла бы увлечься этим обаятельным гулякой. Впрочем, подозрения сэра Питера направлены по ложному пути. Неопытная, не знающая жизни леди Тизл, инстинктивно протестуя против старозаветности сэра Питера, сближается с великосветским и вполне «современным» кружком злопыхателей. Ее пытается соблазнить брат Чарльза лицемер Джозеф.

И все же сэр Питер не ошибся в жене. Его искренняя любовь пробуждает ответное чувство молодой женщины. Поняв истинную природу своих светских приятельниц, она отворачивается от них.

Задание комедии заложено в самом сюжете, который развивается как история разоблачения лицемера Джозефа и прозрения леди Тизл и сэра Питера. Леди Тизл верила, что злословие ее светских приятельниц – лишь невинное времяпрепровождение. Сэр Питер думал, что по словам человека можно судить о том, что он собой представляет. Падение ширмы в комнате Джозефа недаром отмечает собой кульминационный пункт пьесы – одновременно спадает завеса с глаз героев комедии. Шеридан хотел, чтобы она спала и с глаз тех его зрителей, кто заражен почитанием «высшего света», не представляет себе истинный характер отношений между людьми в современном обществе.

Сюжет комедии приобретает у Шеридана большой общественный смысл в силу того, что образ лицемера Джозефа Сэрфеса нарисован им как социально-типичный. Английский буржуа грабил своих ближних, прикрываясь ханжескими сентенциями, и поэтому разоблачение пуританского лицемерия было для Англии XVIII века наиболее действенной формой борьбы против буржуазного своекорыстия. Просветители демократического крыла давно стремились показать «английского Тартюфа». Фильдинг осуществил эту задачу в «Томе Джонсе», нарисовав фигуру Блайфила. Но в драматургии образа подобной силы и общественного звучания до Шеридана создано не было.

Образ Джозефа показан Шериданом не изолированно. В число персонажей, нарисованных в сатирических тонах, попадает, кроме Джозефа Сэрфеса, и вся «академия злословия» во главе со своей председательницей леди Снизуэл. Это бездельники, мелкие людишки, которыми движут самые низменные страсти. Каждый из них – маленькое подобие Джозефа Сэрфеса. Крупный, впечатляющий образ лицемера поддержан полудюжиной других эпизодических лиц. Джозеф – не исключение. В нем лишь с наибольшей полнотой воплощены действительные качества представителей так называемого «высшего света».

Джозеф Сэрфес раскрывается в сопоставлении с его братом Чарльзом. Джозеф обладает, казалось бы, всеми буржуазными добродетелями – он скромнен, благочестив, почтителен к старшим, бережлив и благоразумен. Ни одним из этих качеств не может похвастаться его брат – мот, любитель вина и женщин. Всякая страсть Чарльза проявляется безудержно и свободно, не стесняемая заботой о мнении окружающих и не умеряемая голосом разума. Кто же из них лучше – праздный гуляка, подверженный всем порокам молодости, или его осмотрительный брат? Шеридан отдает предпочтение первому. У Джозефа те же страсти, что и у Чарльза, но они уродливо извращены усвоенной им пуританской моралью. Она не позволяет ему открыто признаться в своей любви к женщинам, но зато толкает на тайную связь с женой своего друга и благодетеля. Он желает располагать средствами для широкой жизни, но наилучший способ для этого, по его мнению, – путем обмана в любви завладеть чужим состоянием. И напротив, здоровое человеческое начало, торжествующее в Чарльзе, заставляет его сосредоточить свое чувство на одной женщине и крепко, по-настоящему ее полюбить. Чарльз не считает денег,



но у него доброе сердце, и он не скупится не только на собственные удовольствия, но и на помощь людям.

Беззаботный Чарльз не скован никакими предрассудками. Легкая ирония по отношению к «старой доброй Англии», проникающая все творчество Шеридана, переходит в издевку в сцене аукциона, где Чарльз продает с молотка портреты своих предков «со времен норманского завоевания». Старая жизнь рушится, и не в заветах старины следует искать свою линию поведения, а в велениях разума и доброго сердца.

Гуманистический смысл учения просветителей – призыв к вере в человека, убежденность в способности человека к постоянному совершенствованию, к высоким устремлениям и чувствам – в полной мере усвоен Шериданом. Гуманистическая, демократическая основа творчества Шеридана и объясняет его критическое отношение к буржуазному обществу.

Правда, читатель не найдет в комедиях Шеридана размышлений об общих принципах устройства этого общества. И причины этого – в особенностях периода, в который он жил.

Английские просветители первой половины XVIII века старались понять наиболее общие законы жизни недавно сформировавшегося буржуазного общества. В 60–70-е годы, когда в Англии уже шла промышленная революция и противоречия действительности все более углублялись, просветители все менее оказывались способными разрешить их средствами своей идеологии. Сфера явлений, изображаемых просветительским романом, суживается, хотя, конечно, писатели 60–70-х годов зачастую показывали те стороны английской жизни, которые были неизвестны, да и не могли быть известны их предшественникам.

Если просветителей первой половины века больше интересовал вопрос о том, что происходит, то их продолжателей сильнее занимало, как происходит то или иное явление в той или иной сфере жизни, доступной для их толкования. Они подробнее разрабатывали человеческую психологию, крепче, компактнее строили сюжет своих произведений. Роман основывался теперь не на чередовании эпизодов, связанных между собой лишь фигурой главного действующего лица, а на исчерпывающей характеристике нескольких ситуаций и образов. Многообразие тем сменилось одной темой, от важности и глубины раскрытия которой зависела социальная значимость произведения.

Примерно в таком же отношении между собой, как роман первой и второй половины XVIII века, находятся комедии Фильдинга, ставившие важные общеполитические вопросы, и «Школа злословия» Шеридана, в которой автор как будто охватывает довольно узкий круг явлений. Успех Шеридана объясняется тем, что он избрал значительную социальную тему и сумел воплотить ее в законченных выразительных и типичных образах. <...>

(Кагарлицкий Ю. И. Ричард Бринсли Шеридан // Шеридан Р. Б. Драматические произведения. М.: Искусство, 1956. С. 19–24)

## **Т. Н. Потницева** **«Школа скандала» Р. Шеридана**

### **ART FOR ART'S SAKE**

Наличие эстетства в жизни и творчестве Шеридана, примет эстетизма в его знаменитой комедии «Школа скандала» (больше известной в русском переводе как «Школа злословия») – не открытие современного литературоведения. Ощущение близости манере, мироощущению денди и насмешника конца XVIII века не покидало, скажем, денди эпохи романтизма – лорда Байрона<sup>1</sup>, не говоря уже о великом насмешнике и денди конца XIX века Оскаре Уайльде. Сама идея его комедии «Как важно быть серьезным» возникла под впечатлением от «Школы

скандала». <...> О. Уайльд как бы подсказывает современному исследователю возможность по-другому, чем это было принято, взглянуть на творчество Шеридана. Ведь безупречно авторитетные суждения о социально-критическом пафосе творчества драматурга<sup>2</sup>, которые не принято было подвергать сомнению, не давали возможность разглядеть иную сущность, иную природу искусства Шеридана, его интерес к Слову, к эстетической стороне и действия, и словесных форм его воплощения. Характеристики типа «социально-политическая и нравственная критика дворянства» (А. Аникст), «разоблачение и осмеяние пороков современного общества» (И. Ступников) были в духе того общего исследовательского пафоса в изучении литературы XVIII века, которые, по справедливому замечанию Н. Т. Пахсарьян, оказывались не всегда объективными и верными<sup>3</sup>.

Сегодня, когда в «смягченном» варианте оценивается взаимосвязь творчества и социально-политических процессов, когда признается некая имманентность первого, натяжкой кажется былая методика измерения художественной ценности произведения, определенной его функцией «разоблачать», «обнажать», «критиковать». При всем несомненном присутствии и этого аспекта главное, что, кажется, сделало творчество Шеридана и его «Школу скандала» заметным явлением в английской и европейской литературе, – это точное воспроизведение некоего эстетического, словесно-художественного кода самого времени, конкретного социума, его стиля, образа мышления и вкусов. <...>

<...>

Форма выражения у Шеридана – игра, фарс, парадокс. Нацелена она, как думается, не столько на то, чтобы ответить оппоненту, «вывести его на чистую воду», разоблачить, высмеять, сколько отразить, «как в зеркале», себя самого – сибарита, остроумца, шутника, человека, умевшего и любившего получать от жизни удовольствие<sup>4</sup>, преодолевая преграды (три дуэли за руку будущей жены), пренебрегая условностями и нравами света<sup><...></sup>, превращая жизнь в яркую театральную постановку – будь то парламент<sup>5</sup> или литературный салон. <...>

<...>

Преобладание эстетического над социально-разоблачительным аспектом становится заметнее в сопоставлении «параллельных мест» (А. Компаньон) в «Школе скандала» и в «Как важно быть серьезным».

Игровой характер комедии Шеридана, как и О. Уайльда, задан парадоксальным смыслом самого названия, развернутым дальше в пространной лингвистической игре со словом «школа» и «скандал» (а не «злословие», которое «снимает» в переводе суть этой игры).

«Школа» – это знак ироничного приобщения к потоку салонных комедий конца XVIII века с аналогичным названием (Mrs. Grifts' «School for Rakes», 1769; Kelly «School for wives», 1773), это буквально школа, где дают уроки того, как создавать скандалы. Но есть и еще один смысл, понятный в контексте просветительских идей и соотносимый с призывом Канта жить не по выученным в школе жизни правилам и законам, которые не всегда однозначно справедливы, а по велению собственного разума и души<sup>6</sup>. «Школа скандала» воспринимается и как метафора образа жизни высшего света конца XVIII века, обнаженного во всей неприглядности, но одновременно и эстетизированного, сопоставленного с формой творчества, искусства, где существуют критерии мастерства<sup><...></sup>. Скандал – это и дело, «business»<sup><...></sup>, и искусство, «art» со своими жанровыми формами воплощения, например эпиграммой, любовной элегией, со своими «композиционными» и «повествовательными» приметами (design, invention, delicacy of tint)<sup><...></sup>. Творческое, эстетическое и, даже, филологическое выходит на первый план, потому что есть определенное увлечение интеллектуальной игрой смыслами слова, от которой сам автор получает эстетическое удовольствие.

«Движение» скандального сюжета в комедии Шеридана начинается с двусмысленности словесного знака, с восприятия «не того» смысла, что провоцирует парадоксальное смешение, столкновение разных интерпретаций слова, а через его игровой образ возникает нечто другое, что относится уже к семантике сюжета: раскрываются механизм и закономерности в нравственной оценке человека, проясняется процесс упрочения или гибели репутации человека и т. д. Так, случайный разговор о разведении овец в канадской деревне, о рождении двух овец-близнецов в хозяйстве некой мисс Пайпер, разговор, отрывочно воспринятый глуховатой леди Дандиззи, становится началом ужасающей сплетни о рождении у этой самой мисс Пайпер внебрачных близнецов. Уже на следующий день сплетня обрастает «подробностями» – новорожденные, как объявлено, – мальчик и девочка; а через неделю всем известно и имя предполагаемого отца, и даже местонахождение дома в деревне, где дети были оставлены на попечение няни (Act I, sc. 1).

Сплетня о сэре Питере Тизле, завершающая комедию и саму идею игры в скандал, возникает на основе лингвистического конфликта – буквального и образного значения в слове «рана» (wound). Из контекста ясно, что речь идет о «сердечной ране» обманутого, но торжествующего в нравственной победе мужа. Мисс Кэндор, «дипломированная выпускница» школы скандала, слышит в слове только то, что совпадает с ее собственной, «творчески» переработанной, версией происшедшего, которая могла бы лечь в основу трагедий «плаща и шпаги». В ее воображении, благодаря «сотворчеству» с мистером Бэкбайтом и мистером Грабтри, «рана» (буквальная, в грудь) – это результат дуэли, которая, по ее утверждению, состоялась между мистером Питером и его соперником Джозефом Серффэйсом. Далее следует каскад таких подробностей, которые выдают «мастера» своего дела, вдохновенного поэта, искушенного в избранном жанре «творчества». <...>

<...>

Эстетизация скандальной жизни света отнюдь не снимает ее критику или разоблачительный пафос. Он присутствует, но «растворен» все же в стихии игры и озорства. Это почувствовал и отметил уже Томас Мур – современник и биограф Шеридана, для которого ценность комедии заключалась, прежде всего, в ее эстетическом, а не сатирическом наполнении<sup>7</sup>. <...>

Шеридан акцентирует внимание на изысканной обстановке (dressing table, screen, time for chocolate drinking), которая располагает к праздным разговорам, порождающим сплетни; на стремлении к изысканности в речи (она изобилует литературными аллюзиями – уместными и не очень), на деталях туалета, которые выдают дендизм хозяина. <...>

Дендизм завсегдатая светского салона как знак экстравагантности и исключительности подкреплялся его тяготением к театральности в поведении, внешнем облике, речи. Театральность – заметная примета времени Шеридана. Само посещение театра означало приобщение к «beau monde», к элите, к жизни избранных<sup>8</sup>, экстравагантных людей. Театральность как синоним избранности обуславливала стремление многих, Шеридана в том числе, переносить театральность в жизнь<sup><...></sup>, невольно (или намеренно) смешивать эти сферы, лицедействовать и на театральной сцене, и на сцене жизни. Об этом – эпилог к «Школе скандала», написанный современником автора Джорджем Колманом:

No more in vice or error to engage  
Or play the fool at large on life's great stage

(Не впадать больше ни в порок, ни в ошибку,  
Но играть в деталях роль шута на великой сцене жизни)

<...>

Слово «экстравагантный» («extravagant») – ключевое в «Школе скандала», да и саму манеру, стиль Шеридана в этой комедии совершенно справедливо определяют как «экстравагантность слова» (verbal extravagance<sup>9</sup>). Все необычное, экстравагантное, выходящее за рамки установленного, отталкивает и одновременно привлекает к себе внимание. «Банберизм» Шеридана – та же уайльдовская игра в изысканное лицедейство, которое обнажает многозначность и слова, и сути человека. Конфликт «быть и казаться» в концентрированном виде предстает у обоих авторов в обыгрывании имен собственных: антропонимы либо подчеркивают соответствие (Lady Sneerwell, Grabtree, Candor, Backbite, Worthing, Cardew, Bracknell), либо опровергают «имидж» человека. Имя Эрнст, которое у Оскара Уайльда «привязано» к омофону «earnest», вовсе не соответствует образу искреннего и серьезного человека, а у Шеридана сочетания имен главных действующих лиц – Oliver, Joseph, Charles – с фамилией Surface (поверхность, внешняя сторона) каждый раз имеет свой смысловой оттенок значения «не тот», «другой».

<...>

Эстетизация самого процесса творчества, интерес и вкус к слову, превращение искусства в Art for Art's Sake, как видно, прерогатива не только тех, кого причисляют к эстетизму и даже не романтиков, обративших внимание на поэтику слова, создавших особую философию словесного творчества. Но кого и когда? Да всегда, когда осознают литературу не только как подспорье политиков, моралистов и идеологов, а как искусство со своими собственными, прежде всего эстетическими, задачами и функциями. <...>

(Потнищева Т. Н. «Школа скандала» Р. Шеридана: Art for Art's Sake // Другой XVIII век: сб. научн. работ / под ред. Н. Т. Пахсарьян. М.: Экон-Информ, 2002. С. 141–144, 147–149)

### Примечания

<sup>1</sup> «...Nature formed but one such man. / And broke the die – in moulding Sheridan!» – так завершается «Монодия на смерть Шеридана» Байрона (*Byron. Monody on the Death of the Right Hon. R. B. Sheridan // Selections from Byron. Moscow: Progress Publishes, 1979. P. 224*).

<sup>2</sup> Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М.: Наука, 1967. С. 278; Ступников И. В. Как в зеркале отразили свой век // Английская комедия XVII–XVIII веков: антология. М., 1989. С. 40.

<sup>3</sup> «...к исходу двадцатого столетия стало особенно ясно, что идейно-эстетический облик XVIII столетия воспринимается нами в преломленном виде... он деформирован в нашем читательском сознании» (Пахсарьян Н. Т. «Ирония судьбы» века Просвещения: обновленная литература или литература, демонстрирующая «исчерпанность старого»? // Зарубежная литература второго тысячелетия. М., 2001. С. 69).

<sup>4</sup> «Шеридан писал, чтобы развлечь богачей, и именно их жизнь была изображена в „Школе скандала“» (Billington M. A Personal Essay // Sheridan R. B. The School for Scandal. [S. 1.]: Longman, 1984. P. XVIII). Все последующие ссылки на данное издание.

<sup>5</sup> Для Шеридана парламент был воистину театром. О. Шервин отмечает, что во времена драматурга «Палата общин была театром для всей страны» (Шервин О. Шеридан. М., 1978. С. 4). <...>

<sup>6</sup> См. об этом подробнее: Пахсарьян Н. Т. Указ. соч. С. 82.

<sup>7</sup> Сопоставляя черновой и окончательный варианты «Школы скандала», Т. Муротмечает эстетическое совершенство второго, который, «...как слоновая кость, размякшая в руках Пигмалиона, терял свою первоначальную жесткость и грубость» (Moore T. Memoirs of the Rt. Hon. Richard Brinsley Sheridan: in 2 vols. London, 1825. V o l. 1. P. 155).

<sup>8</sup> Исследователи эпохи Шеридана отмечают, что это было время «экстравагантности и цвета», время, когда женщины одевались так, «будто они выходили на сцену, а не на улицу» (*Billington M. A Personales say // Sheridan R. B. Te School for Scandal. [S. l.:] Longman, 1984. P. VIII–XIX. <...>*

<sup>9</sup> *Cordner M. Introduction // Sheridan R. B. Te School for Scandal and other plays. Oxford, 1998. P. XXX.*

### **Вопросы и задания**

1. На каких аспектах пьесы Шеридана делает акцент каждый из авторов приведенных отрывков?

2. Чья трактовка комедии из двух приведенных представляется вам более взвешенной и объективной? Аргументируйте ваш выбор.

3. Прокомментируйте предложенный Т. Н. Потницевой перевод заглавия пьесы – «Школа скандала».

4. Перечислите приметы эстетизма, которые автор статьи находит в комедии Шеридана.

5. Приведите примеры словесной игры в пьесе.

6. Как, по мысли Т. Н. Потницевой, реализуется в пьесе Шеридана конфликт кажимости и сущности?

## Роберт Бёрнс (1759–1796)

### Предтекстовое задание

При чтении отрывков из работы А. А. Елистратовой обратите внимание на характеристику содержательных и формальных элементов стихотворной повести Бёрнса «Тэм О’Шентер», а также метрики, строфики и ритмики песен поэта.

### А. А. Елистратова Роберт Бернс

<...>

Самым замечательным памятником эллислендского периода жизни Бернса была его повесть в стихах «Тэм О’Шентер». По преданию, Бернс сложил ее, прогуливаясь по своей любимой тропе, идущей от дома в Эллисленде над крутым берегом реки Нис, не раз им воспетой. Джин с детьми, подошедшая было к нему, еще издали заметила особенное волнение мужа и не стали мешать ему. Поэма «Тэм О’Шентер», которая была любимым произведением самого Бернса, и поныне пользуется исключительной популярностью в Шотландии.

История напечатания «Тэма О’Шентера» – один из самых парадоксальных эпизодов в истории литературного наследия Бернса, изобилующей многими парадоксами.

Живя в Эллисленде, Бернс познакомился с отставным капитаном Фрэнсисом Гроузом, большим чудачком и страстным антикваром. К этому времени Гроуз был уже автором нескольких сочинений об английских, уэльских и ирландских древностях. Теперь его интересовали древности Шотландии. Он неутомимо рыскал по всем деревням, городам и местечкам, где мог рассчитывать найти памятники старины; и Бернс оказался для него, конечно, неоценимым собеседником и советчиком. Речь зашла и о старой церкви в Аллоуэе, близ Эйра, на родине Бернса; по просьбе Гроуза, Бернс изложил ему несколько связанных с этой церковью легенд; при этом условии Гроуз считал возможным опубликовать в своей новой книге «О древностях Шотландии» рисунок, изображающий аллоуэйскую церковь.

В числе этих легенд было предание о фермере, который однажды ночью оказался свидетелем колдовского шабаша в аллоуэйской церкви и вернулся домой с победным «трофеем» – горшком из-под дьявольского варева. Другая легенда рассказывала о парнишке, который, сдуру попав в компанию ведьм и колдунов, оседлал по их примеру стебель волшебной травы и очутился за морем, в бордосском кабачке; но, повеселившись вволю за счет нечистой силы, позабыл спяна слова заклятья и, проснувшись наутро один-одинешенек в чужой стороне, претерпел немало мытарств и мук, прежде чем добрался домой. Третьим из преданий об аллоуэйской церкви, сообщенных Бернсом Гроузу, было то, которое и легло в основу поэмы «Тэм О’Шентер».

Рукопись этой поэмы была отослана Гроузу 1 декабря 1790 года и опубликована антиквариатом в тексте его книги «О древностях Шотландии» в качестве... примечания, – случай, пожалуй, единственный в истории литературы.

В «Тэме О’Шентере» наиболее полно и естественно слились воедино традиции шотландского фольклора, столь глубоко и внимательно изучаемого Бернсом в эту пору, – с традициями просветительского реализма XVIII века, с его здоровым скепсисом и мудрой иронией. Отсюда удивительно органическое сочетание в сюжете и образах этой поэмы наивной и вместе с тем лукавой передачи простодушного народного предания о зловещих делах нечистой силы с сатирическими, явно вольнодумными мотивами, позволившими одному из критиков назвать автора «Тэма О’Шентера» истым сыном Вольтера.

Читателю предоставлялось самому решать, как было дело. Прав ли был пьянчуга Тэм О'Шентер, объясняя дьявольским наваждением то, что его кобыла Мэг вернулась домой без хвоста, оторванного якобы красоткой ведьмой, которой некстати, себе на беду, залюбовался Тэм? Или же, может быть, это злослучие было вызвано причинами более обыденными и прозаическими, – ведь в округе поговаривали, что местные шутники сыграли с ним злую шутку, обрезав хвост у его кобылы в то время, как он полуночищал в трактире?

Четырехстопные ямбические двустушия, которыми написан «Тэм О'Шентер», приобретают в поэме Бернса поистине виртуозную гибкость. Надо слышать эту поэму в устном чтении (а как охотно читают ее вслух в Шотландии!), чтобы вполне ощутить ее задорный, вызывающе веселый темперамент. Стремительный ритм, уже с самого начала придающий внутреннюю динамику описанию эйрского вечера, как бы убыстряется и доходит до предела в сценах бешеной пляски нечистой силы в аллоуэйской церкви и погони ведьм и колдунов за Тэмом и его кобылой.

Прекрасно пользуясь средствами фольклора, Бернс создает в своей поэме атмосферу нарастающего суеверного страха, предчувствия беды; но вместе с тем история опасного искусства, которому подвергся бедняга Тэм, заглядевшийся на дьявольский шабаш в старой аллоуэйской церкви, излагается с юмором, позволяющим почувствовать, что сам автор возвышается над уровнем суеверного мышления своего героя. В восприятии русского читателя поэма Бернса легко ассоциируется с близкой ей по художественной манере повестью Гоголя «Пропавшая грамота», где автор с такой же иронической шутливостью повествует о столкновении человеческого мира с миром сверхъестественным. Победа человека над «нечистой силой» заканчивает поэму Бернса, так же как и повесть Гоголя, – мотив, очень распространенный в фольклоре и часто встречающийся в поэзии Бернса.

В лаконической форме, к которой его обязывали жанровые границы сжатой стихотворной повести (228 строк), Бернс создает яркие зарисовки характеров простодушного, но упрямого гуляки Тэма, его проникательной, хоть и не в меру ворчливой супруги Кэт и закадычного приятеля сапожника Джона. Недаром фигуры двух друзей – Тэма О'Шентера и сапожника Джона – увековечены памятником, поставленным в их честь в парке неподалеку от аллоуэйской церкви: они живут как реальные, хорошо знакомые лица в памяти народа.

Многие строки «Тэма О'Шентера», – поэмы, выросшей из народного устного поэтического творчества, – в свою очередь возвратились в фольклор. Они звучат как пословицы или поговорки, естественно входящие в обиход разговорной шотландской речи. Таковы, например, похвальные строки в честь города Эйра:

Эйр – где все девушки прелестны,  
Мужчины же особо честны.

*Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник.*

Или шутливый заключительный совет:  
На этом кончу я рассказ,  
Но если кто-нибудь из вас  
Прельстится полною баклажкой  
Или Короткою Рубашкой, —  
Пусть вспомнит ночь, и дождь, и снег,  
И старую кобылу Мэг!..

*Перевод С. Я. Маршака.*

Вместе с тем в этой веселой юмористической повести нельзя не заметить глубоко продуманных сатирических выпадов Бернса против его давних врагов: церковников-лицемеров, адвокатов – защитников несправедного богатства.

Характерно, что, рассказывая о страшных подробностях дьявольского празднества в аллоуэйской церкви, Бернс перечисляет, наряду с подвязкой, которой был задушен новорожденный младенец, ножом, которым сын перерезал горло собственному отцу, и другими уликами столь же чудовищных преступлений, «три адвокатских вывернутых наизнанку языка, кишевших ложью» и «три поповских сердца, гнилых, черных, как грязь, которые лежали, зловонные, гнусные, в углу».

Эти сатирические выпады продолжают линию ранних антицерковных и социальных сатир Бернса.

В «Тэме О'Шентере» эти прямые, открыто сатирические социальные обличения занимают сравнительно подчиненное место. В соответствии с шутливо-ироническим замыслом автора, поэма строится как простодушный рассказ о «доподлинном» злосудии, постигшем беднягу Тэма, в недобрый час завязавшего знакомство с нечистой силой.

Реалистическое достоинство поэмы определяется, конечно, не только верностью бытовых и психологических подробностей в изображении Тэма, его друзей и жены, но и мастерским раскрытием душевного облика самого рассказчика, в кажущейся наивности которого заключены неиссякаемый народный юмор, мудрая наблюдательность и острый ум. Исподтишка, невзначай, он высмеивает те самые суеверия и предрассудки, которые, по видимости, целиком разделяет. И этот контраст между суеверным благоговейным трепетом и скрытой издевкой придает «Тэму О'Шентеру» его вольнодумный, сатирический дух.

<...>

Ритмы шотландских народных песен и танцев играли огромную роль в поэзии Бернса. Они помогали ему «взламывать» консервативную правильную метрику классического стихосложения XVIII века и во многом определяли выражение свободной, кипучей эмоциональной стихии его лирики. Для песенной, да и не только песенной поэзии Бернса чрезвычайно характерны перебои ритма, синкопы, внезапные переходы от замедленно-протяженных, многостопных строк – к дробным, быстрым и кратким строчкам (и обратно), смелое сочетание разноударных размеров, усиливающее драматическую напряженность стихотворения и позволяющее поэту выразительно, а не описательно передать живую и непосредственную смену чувств и настроений своих лирических героев. Свободное чередование ямбических строк повествовательных строф – с анапестами припева в приводимом ниже переводе С. Я. Маршака дает представление об этой особенности лирики Бернса:

Брела я вечером пешком  
И повстречалась с пастушком.  
Меня укутал он платком,  
Назвал своею милой,  
Гнал он коз  
Под откос,  
Где лиловый вереск рос,  
Где ручей прохладу нес,  
Стадо гнал мой милый.

В стихотворении «Макферсон перед казнью» драматизм содержания раскрывается и в движении весомого, четкого, «звонкого» (как образно назвал его в своей статье о Бернсе М. М. Морозов) плясового ритма:



Так весело,  
Отчаянно  
Шел к виселице он.  
В последний час  
В последний пляс  
Пустился Макферсон.

*Перевод С. Я. Маршака.*

Тройные рифмы, настойчивые повторы, столь частые в песенной лирике Бернса, также сродни музыкальной стихии шотландского народного творчества. Даже не зная подлинной мелодии, читатель ощущает ее в таких строках:

Ты меня оставил, Джеми,  
Навсегда оставил,  
Навсегда оставил, Джеми,  
Навсегда оставил.  
Ты шутил со мною, милый,  
Ты со мной лукавил,  
Клялся помнить до могилы,  
А потом оставил, Джеми,  
Навсегда оставил!

или:

Что делать девчонке? Как быть мне, девчонке?  
Как жить мне, девчонке, с моим муженьком?

или:

Лучший парень наших лет,  
Славный парень,  
Статный парень,  
На плече он носит плед,  
Славный горский парень.

*Перевод С. Я. Маршака.*

Бернс смело нарушает арифметическую симметрию стиха, вводя в него «лишние», на самом же деле глубоко оправданные художественной необходимостью слоги и слова. Так построена, например, начальная строфа великолепной лирической песни Бернса с ее удлиненной, напевной, а потому особо выразительной первой строкой, где внутренний повтор акцентируется чуть заметным перебоем ритма:

Любовь, как роза, роза красная,  
Цветет в моем саду...

(в подлиннике:

O, my luvе's like a red, red rose,  
Tat's newly sprung in June...)

Современный английский писатель Джек Линдсей подробно анализирует ритм и звукопись этого стихотворения Бернса в теоретико-эстетическом разделе своей книги «После 30-х годов» (1956). Замечания, высказанные им в главе «Ритм, образность и художественная ткань», интересны для понимания особенностей поэтического мастерства Бернса.

Эмоциональная выразительность ритмического повтора в первой строке, «напоминающая учащенное биение сердца влюбленного», пишет Линдсей, усиливается «тем, что мы имеем здесь три односложных слова, связанных аллитерацией на „r“. Вслед за глухими ударами закрытой гласной в „red, red“ идет открытая гласная в „rose“, которой заключительный звук „se“ придает нежный, баюкающий оттенок... Обратите внимание на ассонансы „luve, ewl, ung, une“ и на мягкую аллитерацию на „l“, которая служит прелюдией к твердым „r“, а также и на резкий настойчивый ритм первой, целиком состоящей из односложных слов строки, после которой вторая строка приходит в движение плавно, словно раскрывающийся цветок. Проникновеннее любой прямой рифмы те внутренние ходы, которые связывают слово „luve“ и другие, где слышится „u“, через выразительное „ung“ со звуком „une“... Традиционная ассоциация девушки и цветка (человека и природы) по-новому обогащается и усиливается; ритм „рубато“, в сочетании с тонкой гармонией словесной ткани, создает чувственный образ расцветающей красоты девушки и единения с нею влюбленного; биение его пульса сливается с нежным расцветом ее жизни». «Конечно, – добавляет Линдсей, – Бернс не сочинял свои строки, обдумывая все это по пунктам и соединяя затем необходимые элементы. Глубина его эмоционального воодушевления – плюс его поэтический талант (включающий в себя и весь его прошлый опыт и напряженную работу мысли над техническими вопросами) – создают сложную систему эмоциональных, чувственных, живописных ассоциаций, которые придают простым словам редкостную лирическую силу»<sup>1</sup>.

Язык Бернса отличается богатством и разнообразием лексики. По подсчетам канадского исследователя Ф. Б. Снайдера, в словаре Бернса – поэта и прозаика – насчитывается не менее двенадцати с половиной тысяч слов, – цифра очень значительная, уступающая разве только словарному запасу Мильтона (13 тысяч слов) и Шекспира (24 тысячи слов)<sup>2</sup>. Лексическая выразительность языка Бернса во многом определялась той ролью, которую играл для него его родной шотландский диалект. Он сам подчеркнул это, озаглавив свой первый сборник «Стихотворения, написанные преимущественно на шотландском диалекте».

Народная шотландская лексика придает неповторимое своеобразие и юмористическим и патетическим произведениям Бернса, усиливая их национальный колорит. Можно без преувеличения сказать, что именно Бернс заново утвердил и укрепил достоинство шотландского диалекта как полноправного литературного языка.

Поэтическое новаторство Бернса проявлялось при этом и в смелости, с какую он распоряжался своими языковыми средствами. В отличие от своих шотландских предшественников – Рамзэя и Фергюссона, писавших только по-шотландски, автор «Веселых нищих» и «Тэма О’Шентера» свободно пользовался и английской лексикой. Иногда он целиком обращается к английской речи; чаще всего – сочетает, следуя своему художественному чутью, лексические элементы английского литературного языка – с преобладающими шотландскими элементами. Так, например, уже цитированный Снайдер отмечает, что «Веселые нищие», с их яркой шотландской лексической окраской, завершаются песней, написанной целиком по-английски («В эту ночь сердца и кружки до краев у нас полны»). В «Тэме О’Шентере» все повествование ведется на живом разговорном шотландском диалекте, – но в своих авторских отступлениях (в сравнении быстротечных радостей жизни с маковым цветом, снежинками над рекой, радугой или северным сиянием) поэт незаметно и непринужденно переходит на английскую речь, чтобы затем, несколькими строками ниже, вернуться к прежним «скоттицизмам».

Наряду с песенной лирикой большое место в творчестве Бернса последних лет его жизни занимает и социально-политическая поэзия. (В сущности, отделять их друг от друга можно лишь условно: социально-политические темы проникают и в песни Бернса, в частности и в те, которые он пишет для томсоновского издания.)

<...>

(Елистратова А. А. Роберт Бернс. М.: ГИХЛ, 1957. С. 99–103, 119–123)

### **Примечания**

<sup>1</sup> *Lindsay J.* After the Tirties: Te Novel in Britain and its Future. London, 1956. P. 193–194.

<sup>2</sup> *Snyder F. B.* Robert Burns: His Personality, His Reputation and His Art. Toronto, 1936. P. 85–86.

### **Вопросы и задания**

1. Изложите кратко историю первой публикации стихотворной повести Бёрнса «Тэм О'Шентер».
2. На какие традиции, по мнению А. А. Елистратовой, опирался Бёрнс при написании «Тэма О'Шентера»?
3. Перечислите фольклорные элементы поэмы.
4. В чем состоит своеобразие трактовки мотива сверхъестественного в поэме?
5. Опираясь на суждения А. А. Елистратовой, охарактеризуйте метрику, строфику и ритмику одной из песен Бёрнса.

## Лоренс Стерн (1713–1768)

### Предтекстовое задание

Прочтите отрывок из монографии К. Н. Атаровой, обращая внимание на то, как автор очерчивает эволюцию литературы путешествий в Англии.

*К. Н. Атарова*

### Лоренс Стерн и его «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»

<...>

<...> Хотя люди путешествовали искони и с незапамятных времен описывали свои путевые впечатления, путешествие как литературный жанр, жанр художественной, а не научно-познавательной прозы, формируется в Англии XVIII века, стране, давшей миру в тот же период и классические образцы романа.

Почему же именно Англия оказалась родиной этого жанра? Красноречиво название книги известной английской исследовательницы Джордж – «Англия в движении»<sup>1</sup>. В нем заключен и буквальный, и переносный смысл. В период национального подъема, в канун промышленного переворота британцы начинают ощущать себя «гражданами мира» (выражение О. Голдсмита), а не только обитателями своего городка или своей родной деревни. Если в предшествующем столетии путешествия предпринимали одиночки, то в XVIII в. англичане буквально одержимы жаждой передвижения. <...>

<...> Путешествуют все: по торговым делам и для наблюдения быта и нравов, по долгу службы и для поправки здоровья, для развлечения и для изучения земледелия и ремесел, в поисках чисто эстетических и сентиментальных наслаждений и от пресыщенности жизнью... И почти все описывают свои впечатления.

Назовем произведения самых известных авторов: «Заметки об Италии» (1705) Джозефа Аддисона, «Путешествие по всему острову Великобритании» (1724–1726) Даниэля Дефо, «Путешествие к западным островам Шотландии» (1775) Сэмюэля Джонсона, «Дневник путешествия с Сэмюэлем Джонсоном на Гебриды» (1785) Джеймса Босуэлла, «Дневник путешествия в Лиссабон» (1755) Генри Филдинга, «Путешествие по Франции и Италии» (1766) Тобайаса Смоллета, «Путешествие по Голландии и вдоль западных границ Германии» (1795) Анны Рэдклифф. А Мэри Уортли Монтэгю вошла в историю английской литературы как автор одной-единственной книги с непритязательным названием «Путевые письма леди Монтэгю» (опубл. в 1763 г.).

В ответ на огромный читательский спрос появляется и масса чисто географических описаний, авторы которых в большинстве своем ныне забыты. Издается множество компиляций и подделок: не покидая своего кабинета, их авторы строчат описания кругосветных путешествий, изображая себя очевидцами того, чего в действительности они никогда не видали<sup>2</sup>.

В то же время в английской литературе XVIII в. мы находим путешествия и совсем иного рода: это романы, в которых мотив путешествия составляет сюжетную основу, – «Робинзон Крузо» Дефо, «Гулливер» Свифта, «Расселас» С. Джонсона, «Джозеф Эндрюс» Филдинга, «Путешествие Хамфри Клинкера» Смоллета. Все эти разные по жанру романы – бытоописательные и фантастические, приключенческие и философские – объединяет то, что путешествие является их неотъемлемым фоном.

Однако признаки путешествия как литературного жанра и как романа, где в основе сюжета лежит мотив путешествия, весьма различны, зачастую даже диаметрально противоположны.

Начнем с предмета изображения. Если в центре романа – конкретная личность с ее сложной внутренней жизнью во всем многообразии взаимоотношений с окружающим миром, то в путешествии в центре внимания – наблюдения над самыми разными сферами жизни страны в целом, причем наблюдения как бы извне, сделанные сторонним обозревателем. Природа и климат, нравы и обычаи, социальные устои и искусство увиденных путешественником стран составляют ядро повествования, а его личная жизнь, душевный мир являются лишь вспомогательными в раскрытии этой центральной темы.

Соответственно и место героя, будь то Робинзон, Джозеф Эндрюс или Перегрин Пикль, в романе центрально, тогда как в путешествии рассказчику отводится лишь роль наблюдателя, а не активного участника описываемых событий.

Другая важнейшая черта путешествия – создание эффекта достоверности повествования. Независимо от того, являются ли путешествия подлинными путевыми записями или имитацией таковых, их авторы стремятся к созданию иллюзии документальности повествования. Ведь если ценность материала прежде всего познавательная (как живут люди в других странах?), то у читателя должна быть уверенность в правдивости и объективности повествования, иначе не будет интереса к рассказанному.

Отсюда и формальные признаки жанра путешествия, имитирующие непосредственность изложения материала, отсутствие его литературной обработки. Ведь «литературность» предполагает вымысленность, что противоречит основной установке жанра. А потому рассказ непременно ведется от первого лица: рассказчик – сам свидетель описанного; путевые записи преподносятся в виде писем или дневников, что усиливает эффект достоверности, подчеркивает спонтанность повествования, отсутствие временного разрыва между действием и его описанием.

Дневниковая и эпистолярная формы подходят для путевого очерка больше, чем для романа, еще и потому, что временной диапазон изображаемых событий здесь уже, чем в романе, где действие зачастую охватывает всю жизнь или большую часть жизни героя, не говоря уж о случаях, когда изображается жизнь нескольких поколений.

Со спецификой предмета описания связана различная степень сюжетности путешествия и романа. Для первого свойственна бессюжетность (ее же, как ни парадоксально, можно назвать многосюжетностью). Повествование распадается на множество эпизодов, каждый из которых имеет как бы свой «сюжет», но сюжетность эта ослаблена, многие эпизоды вообще не завершены. Для романа характерны острый сюжет и сильно развитая интрига.

К чему же тяготеет «Сентиментальное путешествие» – к путешествию или роману? Ведь писатель сам осознавал жанровое своеобразие своего произведения: Стерн пишет дочери, что собирается создать «нечто новое, далекое от проторенных дорог»<sup>3</sup>. Однако при этом он исподволь движется в русле развития английской просветительской литературы, в которой к последней трети XVIII в. ощущаются новые тенденции, характерные для сентиментализма.

<...> Начинается процесс вытеснения фактического материала лирическим началом. Соответственно познавательный пафос путешествия значительно уменьшается, а беллетристический элемент в нем возрастает. Это все нарастающее внимание к субъекту, к личности с ее самоценным внутренним миром приведет в дальнейшем, в эпоху романтизма, к появлению нового жанра – как бы «карликового» варианта путешествия – «прогулки», где не окружающий мир, а лирическое состояние человека станет центром повествования, либо к «путешествию наизнанку», каким является, к примеру, «Путешествие вокруг моей комнаты» Ксавье де Местра (написанное под огромным влиянием Стерна). В нем реальное физическое передвижение вообще отсутствует, а все динамика заключена в движении мыслей повествователя.

Уже в Филдинговом «Дневнике путешествия в Лиссабон» наметилась тенденция, которая станет ведущей в литературном путешествии эпохи сентиментализма, – некоторое смещение «центра тяжести», переход от объективного описания внешнего мира, когда путешественник, как в книге Дефо «Путешествие по всему острову Великобритании», был лишь добросовестным регистратором увиденного, к описанию душевного мира повествователя, когда события мира внешнего становятся лишь поводом для размышлений и переживаний. При этом главный герой – он же путешественник-повествователь – все более обретает черты литературного персонажа, не поддающегося прямому отождествлению со своим создателем.

Классический образец такого путешествия, полемический, новаторский пафос которого вынесен даже в название, – «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» Лоренса Стерна.

<...> В «Сентиментальном путешествии» внимание рассказчика обращено не на внешние впечатления от путешествия, а на анализ своего внутреннего состояния и мотивов поведения. И автор, и герой «Сентиментального путешествия» нарочито равнодушны к историческим и культурным достопримечательностям Франции. <...>

Не найдем мы в этой книге и размышлений типа филдинговских – о политике, экономике, торговле... Все рассказанное Йориком о его дорожных впечатлениях важно лишь постольку, поскольку раскрывает психологию повествователя. Перед читателем не картина мира вообще, а мир, увиденный глазами данного путешественника.

География присутствует в этом своеобразном путешествии только в заголовках и подзаголовках главок. Стерн называет их «Кале», «Амьен», «Париж», «Версаль»... Они как бы привязывают события к определенному пункту маршрута, напоминая обычные путевые очерки. Но сходство это чисто внешнее: эти заголовки выглядят скорее издевкой над читателем. Ведь то, что происходит с «сентиментальным путешественником», его встречи и наблюдения никак не зависят от маршрута. Нищенствующий монах мог повстречаться Йориком в Монрее, а не в Кале, дохлый осел мог валяться не близ Нанпона, а по дороге в Мулен... Существо оценок от этого не изменилось бы, а о самих этих местах как таковых в книге ровным счетом ничего не сообщается. Ведь дорога Йорика, как справедливо заметила английская писательница Вирджиния Вульф, была дорогой сознания, а главными приключениями путешественника – движения его души. Отмечая нетрадиционность «Сентиментального путешествия» для книг подобного жанра, Вирджиния Вульф замечает: «До того путешественник соблюдал определенные законы пропорций и перспективы. Кафедральный собор в любой книге путевых очерков высился громадой, а человек – соответственно – казался рядом с ним малюсенькой фигуркой. Но Стерн был способен вообще забыть про собор. Девушка с зеленым атласным кошельком могла оказаться намного важнее, чем Нотр-Дам. Потому что не существует, как бы намекает он, универсальной шкалы ценностей. Девушка может быть интереснее, чем собор. Дохлый осел поучительнее, чем живой философ...»<sup>4</sup>

И все же нельзя сказать, что Стерн полностью пренебрег тематикой путешествия. Она оттеснена на задний план и, как правило, не замечается за новизной авторского стиля, но она все же есть и о ней стоит поговорить.

Через всю книгу – ненавязчиво, но последовательно – проходит тема национального характера. <...> Общее наблюдение над национальным характером дается в ключе центральной эстетической установки Стерна с ее девизом «Vive la bagatelle!»<sup>5</sup> – национальные черты, как и любые человеческие свойства, проявляются прежде всего в мелочах: «Мне кажется, я способен усмотреть четкие отличительные признаки национальных характеров скорее в подобных нелепых minutiae<sup>6</sup>, чем в самых важных государственных делах»<sup>7</sup>.

Наблюдения над национальным характером французов буквально разбросаны на страницах «Сентиментального путешествия». Французский офицер обладает непринужденностью в

общении с дамой, чего нет у чопорного англичанина. Парижская гризетка приобрела изящество и обходительность, не свойственные лондонской лавочнице. Экспансивность галльского характера выражена «тремя степенями ругательств» – *diable, peste*<sup>8</sup>, превосходную степень благопристойный Йорик не может даже произнести. Патетичность мышления и высокопарность французского языка отмечает Йорик в разговоре с парикмахером: «– Но я боюсь, мой друг, – сказал я, – этот локон не будет держаться. – Можете погрузить его в океан, – возразил он, – все равно он будет держаться.

– Какие крупные масштабы прилагаются к каждому предмету в этом городе! – подумал я. При самом крайнем напряжении мысли английский парикмахер не мог бы придумать ничего больше, чем „окунуть его в ведро с водой“». – Какая разница! Точно время рядом с вечностью» (56).

Обобщаются впечатления от встречи с французами в разговоре Йорика с графом де Б., где со свойственной Стерну парадоксальностью утверждается, что при всем остроумии французы слишком серьезны, а их хваленая *politesse* делает их похожими друг на друга, как монеты одинаковой чеканки.

И все же писатель приходит к примирительному, так сказать, просветительному выводу: за внешними различиями надо уметь увидеть общечеловеческие черты. Каждая нация имеет свои «*pour et contre*»<sup>9</sup>. Путешествуя, мы это понимаем и учимся «взаимной терпимости» и «взаимной любви» (71).

Так вот, оказывается, в чем цель путешествия! Не в знакомстве с флорой и фауной, историей и культурой, политикой и коммерцией, и даже не в изучении национального характера, – а в некоем «моральном уроке», который может извлечь путешественник (а вслед за ним и читатель) из мозаики дорожных впечатлений. Искусство путешествовать, которое культивирует в себе Йорик, заключается не в том, чтоб «оглядываться по сторонам и доставать перо у каждой канавы, через которую он переходит, просто для того, по совести говоря, чтобы его достать»<sup>10</sup>, а в стремлении развить в себе «чувствительность», умение сопереживать людям.

Такая цель, естественно, ставит путешественника и его сложный душевный мир в центр повествования. И хотя мы уже отметили, что роль повествователя как личности постепенно возрастает в жанре путешествия, таких гипертрофированных размеров она достигает лишь в эпоху сентиментализма.

Более того, Стерн показывает субъективность своего путешественника-повествователя <...>.

<...>

Отказывается писатель и от характерной для путешествия дневниковой или эпистолярной формы изложения материала, имитирующих непосредственную фиксацию дорожных впечатлений. <...>

В стерновском же «Путешествии» разрыв между временем действия и временем его описания довольно велик. Это видно хотя бы из следующего эпизода. В день приезда во Францию Йорик знакомится в Кале с монахом, отцом Лоренцо, и обменивается с ним табакерками в знак дружеских чувств. Здесь же рассказчик, забегая вперед, сообщает о смерти монаха, о которой он узнал на обратном пути, и упоминает о своем теперешнем отношении к табакерке – единственному оставшемуся от него сувениру: «Я храню эту табакерку наравне с предметами культа моей религии, чтобы она способствовала возвышению моих помыслов; по правде сказать, без нее я редко отправляюсь куда-нибудь; много раз вызывал я с ее помощью образ ее прежнего владельца, чтобы внести мир в свою душу среди мирской суеты...» (23). Очевидно, что прошло уж много времени не только после встречи с монахом, но и после возвращения на родину. <...>

Зато такую жанровую черту путешествия, как бессюжетность, Стерн сохраняет и даже утрирует. Книга <...> начинается и завершается буквально на полуслове. В ней нет единого сюжетного стержня. «Сентиментальное путешествие» представляет собой ряд эпизодов, не имеющих, в большинстве случаев, сюжетной завершенности, как это обычно и бывает в путешествиях. Не найдем мы здесь и эволюции характера главного героя, которая могла бы рассматриваться как некий «внутренний» сюжет, построенный на внешне незначительных событиях.

Но тематика, характерная для романа, и тут наложила свой, хотя и едва заметный, отпечаток. Так, некоторые эпизоды имеют чисто «романную» сюжетную завершенность, диссонирующую с жанром путешествия. Например, Йорик сообщает, хоть и вкратце, историю жизни отца Лоренцо, и для читателя так и остается неясным, как рассказчик ее узнал: во время его однодневного знакомства с монахом тот ему ничего о себе не рассказывал, а когда Йорик был проездом в Кале на обратном пути, отца Лоренцо уже не было в живых. Еще более беллетристично звучит рассказ Йорика о судьбе продавца пирожков: «Было бы нехорошо отнять удовольствие у добрых людей, обойдя молчанием то, что случилось с этим несчастным кавалером ордена св. Людовика месяцев девять спустя.

По-видимому, у него вошло в привычку останавливаться у железных ворот, которые ведут ко дворцу, и так как его крест бросался в глаза многим, то многие обращались к нему с теми же расспросами, что и я. – Он всем рассказывал ту же историю, всегда с такой скромностью и так разумно, что она достигла, наконец, ушей короля. Узнав, что кавалер был хорошим офицером и пользовался уважением всего полка как человек честный и безупречный, – король положил конец его скромной торговле, назначив ему пенсию в полторы тысячи ливров в год» (89–90). Маловероятно, чтобы Йорик, случайно встретившийся с продавцом пирожков в Версале, где рассказчик сам был проездом, мог узнать, что произошло с ним через девять месяцев после этой встречи.

Как своего рода «мини-новеллы» звучат главка «Шпага. Ренн», выбивающаяся и чисто географически из Йорикова маршрута, и история скворца.

Встречаются в «Сентиментальном путешествии» и «случайные» совпадения, более характерные для романа, чем для путевого очерка. Так, Йорик случайно знакомится с хорошенькой *fille de chambre*, которая оказывается горничной той самой мадам де Р., которой Йорик должен передать письмо. Такое совпадение дает автору возможность снова свести этих двух персонажей и показать сначала Йорика-моралиста, а затем человека, поддающегося всевозможным «заблуждениям сердца и ума». Другое совпадение – случайная информация, полученная Йориком в лавке книготорговца об англomanии графа де Б\*\*\*, – помогает Йорику, когда он хлопочет о получении иностранного паспорта.

Вот такой сложный сплав романа и путешествия находим мы у Стерна. Он действительно создал произведение, совершенно отличное от сочинений своих предшественников. В его творчестве оба жанра сблизилась – роману сообщается бессюжетность путешествия, в путешествии личность повествователя доминирует над описательным материалом. <...>

<...>

(Амарова К. Н. Лоренс Стерн и его «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»: учебное пособие. М.: Высшая школа, 1988. С. 34–42)

### Примечания

<sup>1</sup> *George D. England in Transition*. Baltimore, 1962.

<sup>2</sup> См. об этом подробнее: *Adams P. G. Travellers and Travel Liars*. Berkeley, 1962.

<sup>3</sup> *Letters of Laurence Sterne*. Oxford, 1935. P. 301.

<sup>4</sup> Цит. по: Писатели Англии о литературе. М., 1981. С. 290.



<sup>5</sup> Да здравствует пустяк! (франц.)

<sup>6</sup> мелочах (франц.)

<sup>7</sup> *Стерн Л.* Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник. М., 1940. С. 57; в дальнейшем все цитаты по этому изданию приводятся с указанием в тексте страниц в скобках.

<sup>8</sup> дьявол, чума (франц.)

<sup>9</sup> за и против (франц.)

<sup>10</sup> *Стерн Л.* Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена. Л., 1949. С. 467.

### **Вопросы и задания**

1. Как вы понимаете название романа «Сентиментальное путешествие»?
2. Чем сентиментальное путешествие отличается от обычного? Какова его высшая задача?
3. Почему писатель подчеркивает субъективный характер повествования в романе?
4. Укажите черты, унаследованные «Сентиментальным путешествием» Стерна от предшествующей традиции литературы путешествий.
5. Укажите черты, которые позволяют определять жанр «Сентиментального путешествия» как роман.

## II

### Французская литература

#### Ален-Рене Лесаж (1668–1747)

##### Предтекстовое задание

Прочитайте раздел из статьи Е. Г. Эткинда о Лесаже и обратите особое внимание на то, какие аргументы автор приводит в защиту подзаголовка статьи.

*Е. Г. Эткинд*

##### Франция под маской Испании

«Жиль Блас» – произведение огромного масштаба, подлинная энциклопедия французской жизни начала XVIII века. Французской жизни? Но ведь действие романа разыгрывается в Испании! Современникам было ясно, что испанская оболочка не что иное, как удобная маска, которой пользуется писатель-сатирик для своих целей, для борьбы против социальных пороков. Лесаж проводит своего героя через все сословия и слои общества: от разбойников до королевского двора. Если еще можно было писать о французских разбойниках, то уж о первом министре Франции, а тем более о короле, ничего нельзя было сказать прямо. Русский романист В. Т. Нарезный, опубликовавший в 1814 году роман «Российский Жилблас, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова», по этому поводу заметил в своем предисловии: «Я вывел напоказ русским людям русского же человека, считая, что гораздо сходнее принимать участие в делах земляка, нежели иностранца. Почему Лесаж не мог того сделать, всякий догадается. За несколько десятков лет и у нас нельзя бы отважиться описывать беспристрастно русские нравы».

Разумеется, подобный маскарад был бы невозможен для настоящего писателя-реалиста, которому далеко не безразлична национальность героя: ведь от национальной принадлежности зависят и психологический склад, и характер человека, и нравы. В XVIII веке реализма в современном понимании этого слова еще не было. Вольтер выводил в своих философских романах и вавилонян, и немцев, и англичан, и даже жителей Сатурна; все они были людьми вообще, то есть для Вольтера – французами. Монтескье рисовал персов, они тоже от французов мало чем отличались. И, разумеется, лесежеские испанцы разве что носят испанские камзолы, живут в условном Овьедо или Мадриде и едят «олью подриду» да рагу из кота. В остальном, по психологии своей и по нравам, они – французы. Сент-Бёв писал в 1850 году в статье о Лесаже:

«Несмотря на испанский костюм и все заимствования, которые удалось обнаружить в романе, „Жиль Блас“ – одна из самых французских книг, какие только есть у нас... У Лесажа совершенно французская кисть, и если французская литература обладает книгой, которую следует перечитывать после всякого неприятельского вторжения, после смут, потрясающих нравственность, политику и вкус, перечитывать, чтобы вернуть себе душевное равновесие, успокоить ум и освежить чувство языка, эта книга – „Жиль Блас“».

Много лет обсуждался и вопрос о том, в какой степени автор «Жиль Бласа» был самостоятелен. Критики, в особенности испанцы, обнаружили в романе немало сюжетов, эпизодов, отрывков, заимствованных у испанских авторов. Кое-кто даже обвинял Лесажа в плагиате. Возник некий «жилбласовский вопрос», шли бурные споры. Можно с уверенностью сказать, что споры эти исчерпаны. Да, кое-что Лесаж прямо перенес в свой роман из произведений других авторов. Но он делал это, творчески переосмысливая заимствованное, придерживаясь

правила, которое некогда сформулировал учитель его, Мольер: «Я беру свое добро там, где нахожу его». Лесажа, например, взял девять эпизодов из испанского романа «Маркос де Обрегон» Висенте Эспинеля; к ним относятся такие, как приключения Жиль Бласа в подземелье разбойников (кн. I, гл. X) и в меблированных комнатах (кн. I, гл. XVI), история Диего и Мерхелины (кн. II, гл. VII) и др. Но эти эпизоды так органично вплетены в план «Жиль Бласа», так решительно переосмыслены и преобразованы, что нельзя не вспомнить замечательных слов Генриха Гейне, сказанных по поводу такого рода неосновательных обвинений в плагиате:

«Поэт имеет право черпать отовсюду, где он находит материалы для своих произведений, и даже присваивать себе целые колонны с изваянными капителями, если прекрасен тот храм, который они будут поддерживать».

Герой лесажевского романа – сын бедного стремянного – проходит поучительную жизненную школу. Он пускается в путь доверчивым юношей, и трудности, встречающиеся ему на пути, воспитывают его характер. Сначала он похож на Пьеро из ярмарочной пьески Лесажа – до того, как Пандора открыла свой ящик и выпустила в мир пороки, он благодушен и не видит зла. Первый же встречный на постоялом дворе одурманивает его лестью и обирает его. Затем он становится слугой, меняет множество хозяев и постепенно накапливает опыт, набирается жизненной мудрости. Перед ним дефилируют люди разных состояний и званий: хозяева и слуги, дворяне и мещане, священники и поэты, актрисы и юные прожигатели жизни. Их поступки или их рассказы – вот «университеты» Жиль Бласа. Чему же он в конечном счете научился? Главный жизненный вывод Жиль Бласа не слишком лестен для общества. Заключается он в том, что наиболее вредна и даже губительна для маленького человека – правда. Здесь надо отметить в первую очередь два эпизода, жизненно важных для нашего героя.

Жиль Блас в услужении у донна Гонсале, дряхлого сластолюбивого старика, влюбленного в коварную донью Эуфрасию. Последняя неверна своему престарелому любовнику, и Жиль Блас считает своим долгом осведомить о том обманутого сеньора. И что же? Жиль Блас ожидает благодарности, а вместо этого хозяин увольняет его, говоря: «Мне это очень грустно, мой милый Жиль Блас, и уверяю тебя, что я согласился лишь с большим сожалением; но я не могу поступить иначе – снизойди к моей слабости» (кн. IV, гл. VII).

Жиль Блас – секретарь архиепископа гренадского. Его высокопреосвященство требует от своего любимца правды, только правды: пусть Жиль Блас, едва он заметит, что проповеди стали слабее прежних, тотчас скажет о том их автору, – архиепископ хочет сойти со сцены в ореоле славы. А когда после апоплексического удара его проповеди в самом деле становятся бессвязны и нелепы и Жиль Блас, исполняя приказание, говорит прелату правду, последний, рассвирепев, выталкивает из кабинета незадачливого критика. «Я вовсе не нахожу дурным то, что вы высказали мне свое мнение, – говорит гренадский архиепископ, – но самое ваше мнение нахожу дурным... Отныне я буду осмотрительнее в выборе наперсников: мне нужны для советов более способные люди, чем вы» (кн. VII, гл. IV).

Не будем умножать число примеров, подобных эпизодов в романе немало, и все они учат героя смотреть на жизнь трезво, не идеализируя ее. Пройдя такую школу, Жиль Блас умудряется сделать большую карьеру, стать любимым секретарем и наперсником герцога Лермы, всесильного правителя Испании. Заканчивается история развращения Жиль Бласа. При дворе он становится жадным, скупым, бессердечным. «Прежде чем попасть ко двору, я был от природы сострадательн и милосерден, но там человеческие слабости испаряются, и я стал черствее камня» (кн. VIII, гл. X). Как и все придворные, Жиль Блас спекулирует должностями, злоупотребляет своим положением, присваивает себе все, что удастся украсть. И от окончательной моральной гибели его спасает лишь немилость – враги добиваются его ареста и заключения в крепость. Только теперь добрая и благородная натура берет верх над подлыми чертами стяжателя, лицемера, скряги, воспитанными в Жиль Бласе обществом и двором. Жиль Блас решает уединиться в своем маленьком поместье и высечь над домом двустиишие:

Тихий приют я обрел. Прощайте, мечты и удачи!  
Мной вы потешились властью: тешьтесь другими теперь.

*(Перевод Е. Эткинда)*

На этом и должен был кончиться роман. Но издатель потребовал продолжения, и тогда Лесаж выпустил в свет четвертый том – еще три книги. В них повествуется, как бывший секретарь герцога Лермы стал любимцем графа-герцога Оливареса, нового вершителя судеб Испании, разумного и твердого правителя, о падении графа-герцога и втором браке Жиль Бласа, счастливо завершающем историю его жизни.

<...>

*(Эткинд Е. Франция под маской Испании // Эткинд Е. Ален Рене Лесаж (1668–1747) // Писатели Франции: сборник статей / сост. Е. Эткинд. М., 1964. С. 174–176)*

### **Вопросы и задания**

1. Каким целям служит «испанская оболочка» романа?
2. Как можно прокомментировать выражение «писатель-реалист», употребленное в отношении Лесажа?
3. Прокомментируйте подбор цитат автора из других работ о Лесаже.
4. Что такое «жильбласовский вопрос»?
5. Какой путь проходит герой романа Лесажа?
6. Как изменяется характер Жиль Бласа к концу романа?

## Шарль-Луи де Монтескьё (1689–1755)

### Предтекстовое задание

Прочитайте перевод отрывка из исследования Ж. Старобински о Монтескьё, обращая внимание на предложенную автором трактовку темы власти в романе «Персидские письма».

### *Ж. Старобински*

## Деспотические наказания и наказанные деспоты

*Перевод с французского И. В. Лукьянец*

Итак, в «Персидских письмах» содержится бунт. Бунт этот, однако, разворачивается в художественном пространстве. Всей энергией текста управляет хозяйская рука автора. Финальная катастрофа в серале Узбека выдерживает нагрузку мечты и тревоги, которую реальность не перенесла бы. Да, во Франции имеют место злоупотребления, абсолютная монархия превратилась в деспотизм, система Лоу<sup>1</sup> разрушила состояния, Парижский парламент унижен и распущен, Регентство стало средоточием скандалов. Все эти беды, кажется, не оказали никакого влияния на жизнь Парижа, однако это лишь временно, счета будут предъявлены в конце столетия. Действие кровавого театра в 1721 г. переносится в Испаганский сераль. Именно здесь создается фривольное и трагическое пространство, в котором слышатся отклики французских событий. В решающий момент бунта страстей Роксана пишет своему мужу.

Эта ее речь могла бы быть обращенной и к западному владыке, она не ограничивается протестом против супружеского рабства. Так же, как восточный деспотизм становится моделью любой абсолютной власти, так и измена и самоубийство Роксаны обретают все свое значение, как только их начинают рассматривать как отчаянное стремление к свободе, терпящее поражение. Этот трагический вывод будет перенесен из общественной составляющей книги на ее эротическое содержание, что дает ключ к чтению всей фривольной галантной литературы века.

Восточную интригу книги можно было бы рассматривать как пикантное добавление к серьезному сочинению. Но в современной критике преобладает другое мнение. Стало очевидно, что предметом обсуждения во всех частях книги является власть и ее различные формы: в Испаганском серале царят самые извращенные формы рабства – с женщинами здесь обращаются, как с неодушевленными предметами, в то время как о красоте их тщательно заботятся. У евнухов, низведенных до функции инструментов, но желающих сохранить хотя бы частицу свободной воли, остается лишь одна возможность – стать в свою очередь палачами. Их хозяин с помощью насилия и устрашения требует от них гарантии своего могущества. Они – его министры. Если они, за редким исключением, не могут наслаждаться телесно, то они наделены властью повелевать сознанием тех, кто слабее их, кто зависит от них. Печаль их господина дополняет изошренную иерархию рабства, которая, но лишь по видимости, защищает целомудрие женщин и обеспечивает ему абсолютную власть. Никто из них не счастлив, начиная с господина. В то же время это – тот самый человек, который в чужих землях исповедует высшую свободу разума и которому Монтескьё часто доверяет свои собственные мнения.

Нужно ли обвинять Монтескьё в том, что он плохо совместил эти две стороны своего сочинения и сделал Узбека противоречивым персонажем? У нас скорее появляется новое право извлечь из противоречивости Узбека дополнительный урок. Столь разумный, он так стремительно расстается со своими предрассудками, когда наблюдает нравы другой нации, Узбек неспособен на ту же свободу, когда в дело вступают его интересы, вековые традиции и его желания. Жестокость Узбека – темное пятно на его разумности. Это та смутная область, с которой этот адепт естественной религии не в силах расстаться. Когда Монтескьё рисует про-

тиворечивость своего персонажа, речь не идет о том, чтобы подвергнуть сомнению все Просвещение, представить его «авторитарным» и скрыто лицемерно тираническим. В XX в. найдутся интеллектуалы, которые начнут своего рода процесс против гуманизма Просвещения, исходя из его «бесчеловечности».

Я скорее выскажу предположение, что Монтескьё внушает нам мысль о том, что просвещенный человек никогда не бывает *достаточно* просвещенным, что любой враг иллюзий никогда не бывает свободным от заблуждений, которые подчиняют его себе. И мне кажется, что в своем двойственном персе Монтескьё являет нам часть самого себя, не свободную от фантазмов и иллюзий.

Монтескьё намеревался написать историю ревности. Узбек – обманутый ревнивец. Читатель, конечно, вполне может предположить, что Монтескьё позволяет себе вольности в изображении нравов сераля – прозрачные одежды, купания, слезы, унижительные наказания, подкупленные стражи, зашифрованные послания. Нескромные тайны сераля служат противовесом ясному изображению французских нравов (подмеченных скорее в салонах, кафе, библиотеках, академиях, нежели в будуарах). Эротическая мечта стремится в дальние дворцы, о которых хочет знать все. Она заключает в эти дворцы красавицоперниц, желания которых томятся в праздности. Соперничество пленниц сераля представляет собой первую ступень жестокости. Препятствия, засовы, расстояние умножают их ревнивые муки. Неистовство развивается по нарастающей на протяжении всего романа. В «Персидских письмах» Монтескьё преподает читателю моральный урок, который не допускает снисходительного и вольного отношения к тирании – этот урок демонстрирует нам непереносимый характер тирании в частных нравах. Он имеет отношение по аналогии и к любому государству, где царит тот же тип власти, где действуют такие же «министры». Не следует удивляться тому, что бунт Роксаны опирается на идею Природы. Она действует под девизом *свобода или смерть* задолго до того, как эта надпись будет вышита на знаменах Республики. Монтескьё предложил, таким образом (знал ли об этом Гегель?), образцовую драму, которая вписывается в «диалектику хозяина и раба» и доказала, что власть деспота рушится в то мгновение, когда раб подвергает сомнению его авторитет с помощью бунта и притягивает к себе смерть за свободу.

(Переведено по изд.: *Starobinski J. Montesquieu. Paris: Seuil, 1994. P. 65–67*)

### Примечание составителя

<sup>1</sup> Джон Лоу, или Ло (1671–1729) – шотландский финансист времен регентства Филиппа II Орлеанского. Лоу предложил регенту внедрить во Франции разработанную им новую финансовую систему (систему Ло), основанную на замене металлических денег банковскими билетами, которая привела государство к финансовой катастрофе.

### Вопросы и задания

1. Для чего Монтескьё использует восточную интригу в романе «Персидские письма»?
2. Как, по мнению автора исследования, можно объяснить «противоречивость» Узбека?
3. Изложите предложенную автором исследования трактовку бунта Роксаны в финале романа.

## Антуан-Франсуа Прево (1697–1763)

### Предтекстовое задание

Прочитайте отрывок из вступительной статьи Е. А. Гунста об аббате Прево, обратите особое внимание на характеристику жанровой природы, тематики и персонажей повести «История кавалера де Грие и Манон Леско».

### *Е. А. Гунст*

### Жизнь и творчество аббата Прево

<...>

Популярность сочинений Прево определялась прежде всего их занимательностью. Страницы его книг наполнены захватывающими событиями – похищениями, убийствами, погонями, диковинными совпадениями. Действие разворачивается в таинственных подземельях, замках, дремучих лесах, в далеких странах. Среди действующих лиц всегда имеется «злодей» – мрачная и загадочная личность, носитель зла.

Аббат Прево склонен злоупотреблять таинственностью и ужасами, и это нередко придает разворачивающимся событиям неправдоподобный характер. Однако неоспоримым достоинством его романов является то, что они написаны проникновенным психологом, которому удается правдиво передавать чувства и поступки людей, поставленных даже в самые неправдоподобные условия.

Авантюрный характер романов Прево в какой-то степени роднит его с авторами реалистических «плутовских» романов, в частности, с Лесажем; однако легко заметить отличие Прево от этих писателей: в плутовском романе события разворачиваются в «низменной» среде и герои стремятся к завоеванию лишь материальных, житейских благ, герои же Прево – мечтатели и романтики, живущие прежде всего жизнью сердца и воображения.

С другой стороны, Прево несомненно испытал влияние и авторов так называемого «прециозного» романа, герои которого также переживают многочисленные, порой фантастические, приключения, причем в основе всех коллизий здесь также лежит чувство любви.

Существенным отличием Прево от этих авторов является то, что его герои гораздо менее рационалистичны, они не предаются кропотливому самоанализу, они гораздо полнокровнее, жизненнее, «телеснее».

Увлекали читателей и те новые черты, которыми Прево наделял своих героев: в его романах выступают люди, захваченные титаническими, всепоглощающими страстями, борьба с которыми непосильна для человека. И среди этих страстей господствующее положение занимает любовь.

«Любовь неистова, она несправедлива, жестока, она готова на все крайности, она предается им без малейшего раскаяния. Освободитесь от любви, и вы окажетесь человеком почти без пороков»<sup>1</sup> – так говорит Знатный человек своему воспитаннику. Но слова бессильны. Это знает и сам Знатный человек. Он сам, как и многие другие избранники, испытал на себе несокрушимую власть любви.

Любовь у аббата Прево – роковая, стихийная, непреодолимая страсть, в большинстве случаев трагическая, ведущая человека к отчаянию и гибели, порою толкающая его на страшные преступления. Вместе с тем герои Прево видят в любви высшее благо; только избранным дано испытать ее, и за это блаженство человек готов на любые жертвы.

«Несомненно, что существуют сердца, созданные друг для друга, такие, которые никогда никого не полюбили бы, если бы им не посчастливилось встретиться. Стоит им только встретиться, как они сразу чувствуют, что предназначены друг для друга и что счастье их заклю-

чается в том, чтобы никогда не разлучаться. Какая-то тайная сила побуждает их любить друг друга; им нет нужды в уверениях, испытаниях, клятвах – у них мгновенно рождается взаимное доверие, которое и побуждает их беззаветно отдаться друг другу»<sup>2</sup> («Записки знатного человека», т. I).

Эмоциональная сторона романов Прево явилась одной из причин их большой популярности. Современница Прево, мадемуазель Аиссе – та самая черкешенка, воспитанная во Франции, жизнь которой послужила канвою для его романа «История одной гречанки» – писала в 1728 году о «Записках знатного человека»: «Книга эта не так уж хороша, и все-таки читаешь все ее сто девяносто страниц, заливаясь слезами»<sup>3</sup>.

Как психолог, Прево находится под влиянием великих драматургов эпохи классицизма – Корнеля и Расина, в трагедиях которых также господствуют необоримые страсти. Но там чувства представляются более отвлеченными и являются уделом мифологических героев или выдающихся исторических лиц (королей, полководцев), а в романах Прево страсть бушует в сердцах людей, занимающих в обществе более скромное положение; именно благодаря ей эти люди и возвышаются над общим уровнем. Поэтому страсть героев Прево приходит в столкновение с обычными факторами человеческой жизни – материальными обстоятельствами, семейными соображениями и т. п.

<...>

<...> «История кавалера де Грие и Манон Леско» впервые была издана в 1731 году в Голландии в виде VII тома «Записок знатного человека». Во Франции шедевр Прево не сразу был оценен по достоинству. Любопытно, что парижская издательница вдова Делон, поспешившая перепечатать V и VI тома «Записок», не добавила к ним «Историю». Несмотря на шумный успех «Истории» в Голландии и хвалебные отзывы голландских журналов, французские издатели не напечатали ее и в 1732 году. Во Франции повесть была впервые издана лишь в 1733 году. Она вышла как самостоятельное произведение (отдельно от «Записок») в Руане (с пометкой «Амстердам»); на титуле значилось: «сочинение г-на Д\*\*\*».

Книга имела огромный успех. «На нее летели как бабочки на огонь» – говорит современник, литератор и адвокат Матье Марэ<sup>4</sup>.

«Парижская придворная и городская газета» помещает 21 июня 1733 года следующую заметку:

«На днях вышел в свет новый том „Записок знатного человека“. Книга написана с таким мастерством и так занимательно, что даже порядочные люди сочувствуют мошеннику и публичной девке».

Немного позже, 3 октября, в той же газете можно было прочесть:

«Недавно здесь напечатана „История Манон Леско и кавалера де Грие“, служащая продолжением „Записок Знатного человека“. Герой – мошенник, героиня – публичная девка, и все же автору каким-то образом удается внушить порядочным людям сочувствие к ним. Сочинитель этот пишет отменно; он в прозе то, что Вольтер – в стихах».

Но немного спустя власти дают приказ об изъятии и уничтожении книги. Сохранился документ о конфискации пяти экземпляров у одного парижского книготорговца и двух экземпляров у другого.

«К „Истории Манон Леско“ можно кое-что добавить, – писала та же газета 12 октября. – Эта книжечка, только что начавшая привлекать к себе всеобщее внимание, на днях запрещена. Помимо того, что в ней почтенным людям приписываются поступки, мало достойные их, – порок и распущенность описаны сочинителем так, что не вызывают к себе должного отвращения».

В этих заметках не упоминается имя Прево, и широкая публика, вероятно, не знала, кто является автором сенсационной книги.



Но в письмах к известному в то время юристу и литератору, академику Буйе (Bouhier) Марэ называет имя автора «Истории». Приводим несколько отрывков из этих писем, ибо они красноречиво говорят о том, какое представление о Прево создалось у его современников.

*«Париж, 1 декабря 1733 г.*

...Этот бывший бенедиктинец – полоумный; недавно он написал омерзительную книжку под названием „История Манон Леско“, а героиня эта – потаскуха, посидевшая в Приюте и в кандалах отправленная на Миссисипи. Книжка продавалась в Париже и на нее летели как бабочки на огонь, на котором следовало бы сжечь и книжку и самого сочинителя, хотя у него и недурной слог».

*«Париж, 8 декабря 1733 г.*

Прочитали ли Вы „Манон Леско“? Там всего-навсего одно удачное сравнение: девушка была до того хороша, что могла бы восстановить в мире язычество».

*«Париж, 15 декабря 1733 г.*

Просмотрите же „Манон Леско“, а потом бросьте ее в огонь; но один раз ее прочесть следует, а не то поместите ее в раздел приапей, где ей место»<sup>5</sup>.

Изъятие книги из продажи не могло, конечно, приглушить ее успеха, и современники читали повесть Прево в многочисленных голландских изданиях, которые усиленно ввозились во Францию.

Запрещение повести как произведения безнравственного в эпоху, когда нравы отличались особенной распущенностью, кажется теперь непонятным. Но может быть именно эта распущенность и явилась причиной недооценки и непонимания основной идеи автора: современники увидели в повести Прево только историю фривольных приключений двух распущенных молодых людей. Именно так объяснял недооценку современниками произведения Прево А. И. Герцен. О несерьезном отношении к повести свидетельствует, по мнению Монтеглоне, и такая деталь. В Лондоне книга была издана со следующим обозначением мнимой издательской фирмы: «В Лондоне, у братьев Констан, под вывеской „Непостоянство“». Игривое противопоставление фамилии «Констан» (означающей по-французски «постоянство») вывеске «Непостоянство» свидетельствует о непонимании трагического содержания книги<sup>6</sup>. Отметим к тому же, что повесть здесь была названа не «Историей», а «Приключениями».

Запрещение повести побудило Прево выступить в ее защиту в своем журнале. Пользуясь тем, что книга вышла анонимно и что статья в журнале тоже печатается анонимно, Прево позволил себе дать оценку своего труда. Тонко анализируя свою повесть, Прево старается смягчить произведенное ею впечатление и отвести упреки в том, что он написал «безнравственную» книгу<sup>7</sup>.

Вот что писал Прево:

«Публика с большим удовольствием прочитала последний том „Записок Знатного человека“, содержащий приключения кавалера де Грие и Манон Леско.

Мы видим в них юношу, наделенного блестящими и бесконечно привлекательными способностями, который увлечен безрассудной страстью к полюбившейся ему молодой женщине и предпочитает распущенную бродячую жизнь всем благам, которые сулят ему его таланты и его происхождение; это злосчастный раб любви, заранее предвидящий ожидающие его невзгоды, но лишенный силы предпринять что-либо, чтобы их избежать; он остро переживает эти невзгоды, он утопает в них и все же пренебрегает средствами, которые помогли бы ему занять лучшее положение; словом, это юноша одновременно и порочный и добродетельный, благонамеренно мыслящий и дурно поступающий; он привлекателен строем своих мыслей и отвратителен своими поступками. Это характер своеобразный (singulier).

Характер Манон Леско еще своеобразнее. Она знает, что такое добродетель, она даже ценит ее, и все же совершает недостойнейшие поступки. Она страстно любит кавалера де Грие, однако стремление жить богато и блистать принуждает ее изменять своим чувствам и кавалеру, которому она предпочитает богача-финансиста. Какое же искусство требовалось, чтобы увлечь читателя и внушить ему сочувствие к тем гибельным невзгодам, которые переживает эта развращенная девушка!

Хотя оба они весьма распутны, их жалеешь, ибо видишь, что их разнузданность происходит от слабоволия и от пыла страстей и что они к тому же внутренне сами осуждают свое поведение и признают, сколь оно предосудительно.

Следовательно, изображая зло, сочинитель отнюдь не учит злу. Он рисует влияние неистовой страсти, которая делает рассудок бесполезным, когда человек имеет несчастье вполне предаться ей; такая страсть хотя и не может вполне заглушить в сердце добродетель, препятствует следовать ей на деле. Словом, это сочинение обнажает все опасности, которые несет с собою распутство. Не найдется такого юноши, такой девушки, которым захотелось бы походить на кавалера и его возлюбленную. Они порочны, но их терзают раскаяние и горести.

Зато характер Тибержа, добродетельного священника, друга кавалера, превосходен. Это человек мудрый, преисполненный благочестия и набожности; это друг нежный и великодушный; это сердце, неизменно сокрушающееся о заблуждениях друга. Сколь привлекательна набожность, когда она сопутствует такому прекрасному характеру!

Я ничего не скажу о стиле этого сочинения. В нем нет ни грубости, ни высокопарности, ни софистических рассуждений; тут пером водит сама Естественность. Каким жалким кажется рядом с ним стиль писателей напыщенных и приукрашающих истину! Тут сочинитель не гонится за остроумием или за тем, что называется таковым. Это стиль не лаконически-тугой, но плавный, насыщенный и выразительный. Всюду – живопись и чувства, притом живопись правдивая и чувства естественные».

Повесть находилась под запретом в течение двадцати лет. Только в 1753 году запрет был снят и вышло новое издание в двух томиках, с многочисленными, хотя и не меняющими основ, поправками и добавленным эпизодом.

С тех пор «Манон Леско» прочно заняла место среди самых выдающихся произведений мировой литературы.

Во Франции она печаталась поистине бесчисленное количество раз – и в виде дорогих изданий с иллюстрациями знаменитых художников, и в массовых грошовых изданиях, и в виде томов большого формата с широкими полями, и в виде миниатюрных карманных томиков, и в виде «академических» изданий с предисловиями, примечаниями, библиографическими справками, вариантами и т. п.

<...>

(Гунст Е. А. Жизнь и творчество аббата Прево // Прево А.-Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско / пер. М. А. Петровского; изд. подгот. М. В. Вахтерова, Е. А. Гунст. 2-е изд. М.: Наука, 1978. С. 227–230, 235–241)

### Примечания

<sup>1</sup> Hazard P. Etudes critiques sur l'abbé Prévost. Chicago, 1929. P. 21.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> HARRISSE H. L'abbé Prévost. Paris, 1896. P. 131.

<sup>4</sup> Ibid. P. 177.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Библиографическая справка Анатоля де Монтеглоне в издании «Манон Леско» братьев Глади: Histoire du chevalier des Grieux... Par is, 1875. P. 328.

<sup>7</sup> Статья помещена в журнале «Le Pour et Contre», т. III, № XXXVI, с. 137, и полностью перепечатана в указанном выше издании братьев Глади (Glady frères), с. 7–9. Заметим кстати, что эту апологию иногда ошибочно принимают за третье предисловие к повести (считая первым предисловием письмо к амстердамским издателям, предпосланное «Истории кавалера де Грие и Манон Леско» в VII томе «Записок знатного человека» и приведенное в издании Глади на с. 326–328; вторым предисловием является напечатанное в нашем издании, с. 5).

### **Вопросы и задания**

1. Следы влияния каких романских традиций можно обнаружить в повести «История кавалера де Грие и Манон Леско» аббата Прево? В чем состоит отход автора от этих традиций?
2. Как трактуется любовь в повести Прево?
3. Что позволяет автору исследования говорить об ошибочном восприятии повести современниками писателя?
4. В чем состоит своеобразие характеров главных героев повести?
5. Как сам Прево объяснял замысел своей повести?

## Вольтер (1694–1778)

### Предтекстовое задание

Прочитайте отрывок из статьи А. Д. Михайлова, посвященный творческой биографии Вольтера. Обратите особое внимание на то, как автор исследования характеризует проблематику творчества писателя и способы ее раскрытия в различных жанрах.

*А. Д. Михайлов*

### Вольтер после 1749 года

<...>

Глубокое изучение мировой истории, размышления над событиями своего времени, наконец, ряд личных трагедий (в частности, смерть маркизы Дю Шатле в 1749 г.) сделали взгляды Вольтера более трезвыми, но и скептическими. Впрочем, и раньше, как показывает, например, его философская поэма «За и против» (1722), Вольтер не разделял оптимизма Лейбница; он признавал неизбежность зла, но не считал его необходимой ступенькой на пути к добру. В этом отношении знаменательно его замечание в связи с Паскалем (1732): «Зачем делать из нашего существования цепь горя и бедствий? Представить себе свет тюрьмой и всех людей осужденными преступниками – это мысль мизантропа; думать, что мир есть место вечного веселья, – это заблуждение мечтателя; знать, что земля, люди, звери таковы, каковы они должны быть по порядку провидения, есть признак мудреца».

Своей «Поэмой о разрушении Лиссабона» (1756), как и более ранней «Поэмой о естественном законе» (1752), Вольтер развивал традиции классицистической оды и сатиры с их акцентом на столкновении противоречивых мнений, с их обостренной проблемностью. Поэма Вольтера – произведение совсем не описательное, хотя она и посвящена событию яркому и, если угодно, в высшей степени живописному, хотя поэт и наполняет ее беглыми зарисовками последствий ужасающего стихийного бедствия:

Спешите созерцать ужасные руины,  
Обломки, горький прах, виденья злой кончины,  
Истерзанных детей и женщин без числа,  
Разбитым мрамором сраженные тела...

*(Перевод А. Кочеткова)*

Вольтер не ставит перед собой цели последовательно рассказать о землетрясении (как он отчасти делает это в «Кандиде»), он даже не хочет передать впечатление от катастрофы. Его задача – осмыслить ее с философской точки зрения, и недаром поэма имеет подзаголовок: «Проверка аксиомы: „Все благо“». В противовес Лейбницу, который прямо назван в строках произведения, Вольтер приходит к выводу, что зло не является составной и необходимой частью гармонического устройства мира, что оно нередко торжествует, что оно не подвластно человеческому сознанию и не зависит от воли Провидения. Деизм писателя получает в лиссабонской катастрофе новое подтверждение: творец Вселенной не вмешивается в ее судьбы, не может предотвратить моря бедствий.

Но Вольтер приходит не только к признанию неизбежности зла, отражающего неодолимые и далеко еще не познанные законы природы, но и к активному противоборству со злом, коль скоро речь идет о человеческом обществе. Борьбу с деспотизмом и религиозным фанатизмом Вольтер вел не только в своих острых памфлетах, посвященных процессам Каласа, Ла Барра<sup>1</sup> и др., не только на страницах «Философского словаря» (1764) и в сопутствовавших

ему трудах, но и в своих исторических сочинениях, в которых наметился переход от старой, классицистической к новой историографии.

Если такие исторические труды Вольтера, как «История Карла XII» (1731) и «Век Людовика XIV» (1739–1751), все-таки еще полностью не порвали с биографическим методом, то в своем грандиозном «Опыте о нравах и духе народов» (1756–1769) писатель дает широкую панораму исторического развития всех народов, уделяя, в частности, очень большое внимание Востоку, особенно Индии и Китаю. В этом труде Вольтер выступает против исторических концепций прошлого, прежде всего против воззрений Боссюэ, смотревшего на мировую историю сквозь призму христианства. В оценке прошлых эпох Вольтер довольно пессимистичен, он везде находит проявления ожесточенного религиозного фанатизма и деспотизм правителей, зло и несправедливость: «Следует сознаться, – пишет Вольтер, – что всеобщая история человечества представляет собою нагромождение преступлений, безумств и несчастий, среди которых мы видим кое-какие добродетели, некоторые счастливые периоды, подобно тому как среди диких пустынь встречаются разбросанные то там то сям отдельные селения». При всей пессимистичности этой оценки нельзя не отметить стремление Вольтера выделить в истории какие-то отдельные «счастливые» периоды. Эти светлые моменты писатель обнаруживает там, где на какой-то миг над фанатизмом и деспотизмом восторжествовал разум, например в Афинах времен Перикла. Поэтому для Вольтера характерна идея исторического прогресса, который он связывает с достижениями человеческой мысли, с просвещением. Само изучение истории писатель ставит на службу пропаганды просветительских идеалов. Образцом просвещенного государя выступает у Вольтера Петр I в созданном одновременно с «Опытом о нравах» капитальном труде «История Российской империи при Петре Великом» (1757–1763).

В последний период своего творчества Вольтер создает огромное множество произведений самых различных жанров. Наряду с большими книгами он пишет короткие философские диалоги, памфлеты, «рассуждения» по вопросам истории, политики, философии, набрасывает «Мемуары». Продолжает он увлекаться и театром: как его теоретик, пишет «Рассуждение о древней и новой трагедии» (1748), «Обращение ко всем нациям Европы» (1761), «Комментарии к Корнелю» (1764), «Письмо Французской Академии» (1776); как его практик, создает новую серию драматических произведений. Как теоретик Вольтер отстаивает преимущества национальной «драматической системы», созданной Корнелем и Расином, и в этом смысле следует истолковывать упорное неприятие Шекспира, олицетворяющего совсем иные художественные принципы (при столь же непреодолимом интересе к автору «Гамлета» и фактической популяризации его творчества во Франции). Как драматург, Вольтер стремился развить принципы классицизма, не производя ломки этого художественного метода. Однако эстетика классицизма получала в его позднем творчестве своеобразное преломление.

В последние тридцать лет своей жизни, среди прочих, Вольтер создает трагедии «Семирамида» (1748), «Орест» (1750), «Спасенный Рим, или Катилина» (1752), «Китайский сирота» (1755), «Танкред» (1760), «Олимпия» (1764), «Скифы» (1767), «Гебры, или Терпимость» (1769), «Законы Миноса» (1773), «Ирина» (1778). В этих пьесах немало нового. Вольтер сам сознавал новаторский характер своей драматургии, он писал, например, одному из друзей в 1749 г.: «Нужно вывести трагедию из состояния вялой пошлости». Он искал новые темы и выразительные средства (в частности, собирался создать «морскую» трагедию); продолжая разрабатывать привычную для классицизма античную тематику, он обращается также к сюжетам легендарным, средневековым, византийским, восточным и т. д. Главное, в чем Вольтер делает шаг вперед, это новое понимание трагедии. «Трагедия, – писал он И. И. Шувалову, – это движущаяся живопись, это одушевленная картина, и изображенные в ней люди должны действовать». Тем самым драматургия мыслится Вольтером не только как искусство слова, но и движения, жеста, мимики. Поэтому в его поздних трагедиях многое уже не рассказывалось, а показывалось. Другим важным новшеством было обращение к изображению простых людей.

В предисловии к «Скифам» Вольтер писал: «Несколько дерзким, возможно, покажется изображать пастухов и земледельцев рядом с высокопоставленными особами и смешивать сельские нравы с нравами двора. Но ведь это театральное новшество целиком почерпнуто из природы. Можно даже представить эту простую природу героической и заставить говорить воинственных и свободных пастухов с тем величием, которое поднимается над низостью, столь несправедливо приписываемой нами их состоянию». Действительно, в ряде трагедий этого периода действуют земледельцы, пастухи, садовники, простые солдаты. Как полагал Вольтер, подобные «безыскусные персонажи» лучше передают замысел пьесы, чем «влюбленные принцы и томимые страстью принцессы». Однако введение таких «простонародных» героев (что горячо приветствовал Дидро) не было шагом в сторону мещанской драмы: Вольтер в своих трагедиях не растворял действия в быте и избегал натуралистических деталей. Его интересовало другое – естественное состояние человека. Поэтому он сталкивает в «Китайском сироте» полудиких монголов из войска Чингисхана с носителями древней цивилизации, китайцами, в «Скифах» – обитателей причерноморских степей с персами, в «Гебрах» – диких солнцепоклонников с римлянами, в «Законах Миноса» – жителей лесов, сидонцев, с более цивилизованными земледельцами. Эти столкновения различных персонажей, стоящих нарочито на разных ступенях культурного развития, подсказаны Вольтеру, возможно, Руссо, но решение конфликтов в трагедиях Вольтера совсем не руссоистское. Писатель признает в «естественных» народах простодушие, правдивость, своеобразную гуманность, он видит, что в «естественном» состоянии люди склонны к благородству, среди них царит равенство, которого не знает цивилизованное общество. Но Вольтер не скрывает, что «естественный» человек прост и добр, но одновременно необуздан в проявлении своих страстей и безмерно жесток. Так, в «Скифах» вдова убитого должна своими руками принести искупительную жертву, солнцепоклонники-гебры оказываются в тисках жестокого религиозного фанатизма, они необразованны, а потому подозрительны и недоверчивы. Знаменательно, что в трагедии «Китайский сирота» моральную победу над Чингисханом одерживает Идамея, носительница древней цивилизации. Однако решение этой проблемы Вольтером лишено однозначности. В этом отношении показательна и трагедия «Законы Миноса», где критский царь Тевкр выступает против старинных установлений, охраняемых жрецами, и препятствует закланию юной сидонской пленницы Астерии. Его протест поддерживают сидонцы, и Тевкр возглавляет народное восстание против фанатизма жрецов. Осуждение религиозного фанатизма остается одной из ведущих тем драматургии Вольтера. С ней мы сталкиваемся и в «Гебрах», и в «Законах Миноса», и в «Ирине». Но с этой темой перекликается и другая – борьба с абсолютизмом и вообще с деспотическим правлением. Ярким примером этого является трагедия «Семирамида», повествующая о страшном возмездии, от которого не смогла уйти вавилонская царица Семирамида, в сообществе с придворным Ассуром умертвившая своего мужа Нина. Верховный жрец произносит над умирающей царицей многозначительные слова, призывая преступных владык «дрожать на своих тронах», ибо, чем выше их ранг, тем тяжелее будет возмездие.

В вольтеровских трагедиях последнего периода возникает новая для классицистской драматургии тема. От антиабсолютизма Вольтер идет к широкому и последовательному антифеодализму, осуждая и духовных, и светских феодалов. Так, в мрачной трагедии «Олимпия», где юная, прелестная девушка становится жертвой необузданных страстей и роковых совпадений, разоблачаются своекорыстные придворные Александра Македонского, по вине которых страна повергается в ужасы междоусобной распри. В трагедии «Танкред» благородный, отважный, пылко любящий французский рыцарь Танкред противопоставлен главарям норманнского государства в Сицилии. В «Ирине» осуждаются отталкивающие нравы византийского двора и т. д.

Трагедии Вольтера этих десятилетий носят политический характер (вот почему некоторые из них не смогли быть поставлены на сцене). Писатель-просветитель воюет в них со своими давними врагами – церковниками, тиранами, представителями феодальной вольницы. Он

отстаивает идеи равенства и свободы, вот почему в «Спасенном Риме», этой яркой трагедии политической борьбы, на первый план выдвинут «философ-просветитель» Цицерон. Отрицательные персонажи, носители зла – Ассур и Семирамида, Орбассан («Танкред»), Кассандр («Олимпия»), император Никифор («Ирина») и др. – не уходят от возмездия, причем его орудием оказываются не только другие персонажи, но и восставшие народные массы (например, в «Олимпии», в «Законах Миноса»). Но гибнут и положительные герои, гибнут не только потому, что так полагалось в трагедии, но и потому, что несправедливость человеческих отношений оказывается для героев неодолимой, они не могут победить созданный силами зла общественный хаос. Пессимистическая концепция действительности, с которой мы сталкивались в «Поэме о разрушении Лиссабона», обнаруживается и во многих трагедиях Вольтера. Своей постановкой проблем добра и зла, их философских и общественных корней вольтеровские трагедии переключаются с другими произведениями писателя этих лет, в частности с его прозой.

Наиболее значительным явлением в последнее тридцатилетие творчества Вольтера и едва ли не самым примечательным в области французской прозы, отмеченной чертами просветительского классицизма, были повести, рассказы, сказки-притчи писателя. Впрочем, просветительский классицизм, столь ярко заявивший о себе в области драматургии и в жанре поэмы, в прозе Вольтера обнаруживается далеко не всегда. Правильнее было бы говорить о повестях писателя не как об одном из вариантов просветительского классицизма, а как о примере постепенного освобождения прозы от классицистических черт. Мировоззренческая и художественная основа вольтеровской прозы шире метода классицизма.

<...>

В прозе Вольтера в центре повествования находится типичный для классицизма образ интеллектуального, размышляющего героя, образ мудреца, стремящегося не только понять окружающую его действительность, но и воздействовать на нее, воздействовать хотя бы тем, что он передает другим свое знание о мире. Это освоение жизни героем как бы не имеет «обратной связи»: герой Вольтера лишен характера как определенного психологического единства, окружающая среда не оказывает решающего воздействия на его душу. Герой наблюдает, познает жизнь, нередко жестоко страдает, но не претерпевает существенных внутренних изменений. Далеко не случайно в повестях Вольтера немного «быта», т. е. описания повседневной жизни человека; эта жизнь представлена в достаточной степени лаконично и суммарно. Не случайно также чисто событийная сторона повестей занимает в них подчиненное, даже просто «служебное» положение по отношению к стороне идеологической. И в обширных произведениях, в таких, как, скажем, «Кандид» или «Простодушный», и в трехстраничных миниатюрах в центре повествования обычно оказывается то или иное философское положение, которое лишь иллюстрируется сюжетом. При всем разнообразии новелл и повестей Вольтера, при всей их наполненности всевозможными событиями и действующими лицами, их подлинными «героями» являются не привычные нам персонажи с индивидуальными характерами, неповторимыми судьбами и т. д., а та или иная политическая система, философская доктрина, тот или иной вопрос человеческого бытия; недаром повести Вольтера называют «философскими».

Их трудно отнести к той или иной жанровой разновидности. Дело не в том, что они очень пестры по тематике, очень несхожи по тону, по манере изложения, наконец, по размерам. Их жанровая неопределенность связана с тем, что они обладают признаками сразу нескольких жанров. Так, они, несомненно, вобрали в себя традиции философского романа, романа плутовского, сказки-аллегии в восточном духе и гривуазной новеллы рококо с ее поверхностным эротизмом и показным гедонизмом. Они вобрали также традиции романа-путешествия и приметы романа воспитательного; в них можно обнаружить отдельные черты бытописательного романа и философского диалога, политического памфлета и моралистического эссе, наконец, классицистического очерка – «характера». Традиции великих сатириков прошлого – Лукиана,

Рабле, Сервантеса, а из современников – Свифта – были также подхвачены и глубоко переосмыслены Вольтером. Его повести возникли на скрещении всех этих разнородных традиций и сложились в очень специфический, типично просветительский жанр – жанр философской повести.

Одной из их отличительных черт была постоянная переключка с событиями современности, даже если действие той или иной повести было отнесено к временам легендарной древности или же не очень точно локализованного «Востока». Эта переключка оборачивалась преднамеренным столкновением событий, отнесенных к отдаленнейшим временам, с эпизодами современной Вольтеру жизни. Подобные столкновения выдуманного с реальным, прошлого с настоящим также были непременной чертой вольтеровских повестей; это было одним из его любимых приемов заострения и остранения изображаемого.

Одним из таких приемов было у Вольтера (впрочем, как и у многих его современников – у Лесажа, Монтескье, Кребийона-сына, Дидро, Ретифа де ла Бретона и др.) обращение к восточной тематике, придание своим произведениям своеобразного «восточного колорита». Подобный восточный маскарад как раз подходил для жанра повести-притчи, поэтому его использование Вольтером вполне закономерно. Восточная сказка дала писателю свои повествовательные структуры: во многих повестях Вольтера сюжет разворачивается как цепь злоключений героя, как серия испытаний, из которых он должен выйти победителем. А в вольтеровской художественной концепции действительности как раз очень важен был мотив непредвиденного испытания, непредсказуемых поворотов судьбы. Кроме того, восточный колорит вполне отвечал интересу современников Вольтера ко всему неведомому, загадочному, опасному и одновременно бесконечно притягательному, манящему своей пышной экзотикой и некоей тайной. Обращение к восточному материалу позволяло писателю изображать иные порядки, иные нравы, иные этические нормы и тем самым еще раз показать, что мир европейца XVIII столетия оказывается не только не единственным, но и далеко не самым лучшим из всех возможных миров. Это открывало перед Вольтером широкий простор для недвусмысленных иносказаний, давало возможность концентрированно и заостренно изображать европейскую действительность. Облаченная в прельстительные восточные наряды, эта действительность представала в вольтеровских повестях в нарочито остраненном, гротескном виде; то, что в своей обычной форме не так бросалось в глаза, к чему глаз присмотрелся и привык, в маскарадном костюме выглядело глупо и было как бы доведено до абсурда. Но эти переодевания в восточном духе играли в творчестве писателя и еще одну важную роль: современные Вольтеру порядки порой оказывались в его повестях увиденными глазами бесхитростного, наивного азиата (как и у Монтескье в «Персидских письмах»), и от этого их абсурдность и бесчеловечность становились еще очевиднее и рельефнее. Наблюдающий мир и размышляющий над миром герой делался более зорок и проницателен, когда он от этого мира бывал отделен – отделен происхождением, воспитанием, всем мировоззренческим комплексом, когда он этому миру бывал чужд и приходил в него как посторонний.

<...>

В повести «Кандид, или Оптимизм» (1759), как и в предшествующем ей рассказе «История путешествий Скарментадо» (1756), Вольтер использует структурные приемы плутовского романа, заставляя героя путешествовать по разным странам и сталкиваться с представителями различнейших слоев общества – от коронованных особ до дорожных бандитов и проституток. Но эта книга не спокойный и деловитый рассказ о заморских странствиях и увлекательных встречах. На этот раз в повести много героев и, естественно, много индивидуальных судеб – самого героя, его возлюбленной, баронской дочери Кунигунды, ее брата, «философа» Панглосса, старухи и т. д. Но все эти частные жизненные пути связаны в один узел. Герои то неожиданно расстаются, то еще более неожиданно встречаются, чтобы в конце книги соединиться и уже не разлучаться. Но единство книги – не только в ее сквозном фабульном стержне – поис-



ках Кандидом Кунигунды, но и в неизменном авторском присутствии, хотя Вольтер на первый взгляд и прячется за своих героев, смотрит на жизнь их глазами и оценивает события, исходя из комплекса их взглядов, пристрастий, их мировоззрения. Героев в повести много, и с ее страниц звучит разноголосица мнений и оценок, авторская же позиция вырисовывается исподволь, из столкновений мнений противоположных, порой заведомо спорных, иногда нелепых, почти всегда с нескрываемой иронией вплетенных в вихревой поток событий.

Как обычно, у Вольтера центральный персонаж наблюдает и размышляет. Но он совсем не «мудрец». Напротив, он простоват и простодушен и долго верит псевдомудрецу Панглоссу, вопреки всем очевидным фактам упрямо утверждающему, что «все к лучшему в этом лучшем из миров».

В действительности же в событиях, о которых рассказано в книге, мало радостного. Вольтер своей повестью прежде всего демонстрирует обилие в мире зла. Неимоверно жестоки и законы природы, и человеческие законы. Все герои книги претерпевают сокрушительные удары судьбы, неожиданные и безжалостные, но рассказано об этом скорее с юмором, чем с состраданием. Беды и муки персонажей обычно бывают связаны с гротескно-телесным низом: их порют, насилуют, пропарывают им животы, отрезают половину зада и т. д. Страдания эти намеренно снижены, да и излечиваются они от этих страшных ран неправдоподобно легко и быстро, поэтому рассказ о них нередко подается в тоне грустно-веселого скабрёзного анекдота. Этих бед и напастей, конечно, слишком много для одной повести, и сгущенность зла и жестокости, их неотвратимость и непредсказуемость призваны показать не столько их чрезмерность, сколько обыденность. Как о чем-то каждодневном и привычном рассказывает Вольтер об ужасах войны, о застенках инквизиции, о бесправии человека в обществе, в котором царят религиозный фанатизм и деспотизм. Но жестока и бесчеловечна и природа: рассказы о кровавой грязи войны или о судебном произволе сменяются картинками ужасающих стихийных бедствий – землетрясений, морских бурь и т. п. Добро и зло уже не сбалансированы, не дополняют друг друга. Зло явно преобладает, и хотя оно представляется писателю (и, добавим, одному из персонажей книги – философу-манихею Мартену) во многом вневременным, т. е. извечным и неодолимым, у него есть свои конкретные носители.

«Кандид» – книга очень личная, впрочем как и большинство других произведений Вольтера: в ней писатель расправляется со своими давними врагами – носителями спесивой сословной морали, сторонниками религиозного фанатизма и деспотизма. Среди них особенно ненавистны ему иезуиты, с которыми в эти годы вела успешную борьбу вся прогрессивная Европа. Вот почему так много отвратительных фигур иезуитов мелькает на страницах книги. Писатель полагал, что обычно религия оказывается надежной опорой деспотизму; поэтому он подробно описал государство иезуитов в Парагвае, основанное на неслыханном произволе и мракобесии.

Но взгляд Вольтера не беспросветно пессимистичен. Писатель считает, что, преодолев фанатизм и деспотию, можно построить справедливое общество. Вера в него у Вольтера, однако, ослаблена известной долей скепсиса. В этом смысле показательно описанное в «Кандиде» утопическое государство Эльдорадо. В повести эта страна всеобщего достатка и справедливости противостоит не только парагвайским застенкам иезуитов, но и многим европейским государствам.

В Эльдорадо все трудятся и имеют всего вдоволь, здесь возведены красивые дворцы из золота и драгоценных камней, жители наслаждаются прекрасным плодородным климатом. Но счастье граждан этой блаженной страны построено на сознательном изоляционизме: в незапамятные времена тут был принят закон, согласно которому «ни один житель не имел права покинуть пределы своей маленькой страны». Отрезанные от мира, ничего не зная о нем, да и не интересуясь им, эльдорадцы ведут безбедное, счастливое, но в общем-то примитивное существование (хотя у них по-своему развита техника и есть нечто вроде академии наук). Древний закон на свой лад мудр: он надежно охраняет жителей Эльдорадо от посторонних соблазнов и

нежелательных сопоставлений. Но энциклопедист Вольтер не может полностью принять такого пресного, стерильного существования.

Оказывается чуждым такой жизни и герой повести. Впрочем, Кандид везде бывает случайным и недолгим гостем. Он неустанно ищет Кунигунду, но ищет не только ее. Смысл его поисков – это определение своего места в жизни. Героя и его спутников постоянно занимает вопрос, что лучше – испытывать все превратности судьбы или прозябать в глухом углу, ничего не делая и ничем не рискуя. Кандид не может принять «летаргию скуки», он за полнокровную жизнь, вернее, за познание ее посредством опыта, за просвещение себя и окружающих, ибо без понимания закономерностей развития общества невозможна борьба с деспотизмом и церковью. Именно в этом смысле может быть понят призыв Кандида: «Надо возделывать наш сад». Призыв этот было бы ошибкой сводить лишь к проповеди незамысловатого буржуазного предпринимательства. Этот призыв, ставший крылатым и вызвавший столько разноречивых толкований, должен быть понят в контексте всего жизненного пути героя, точнее, его итогов. Оказывается, что Кандид всю жизнь жил иллюзиями – о красоте Кунигунды, о благородстве ее семейства, о мудрости несравненного философа Панглосса и т. д. Но эти иллюзии были герою в известном смысле внушены, навязаны. К концу книги Кандид в этом с горечью убеждается и постигает, как опасно служить ложным и – главное – чужим богам. Вместе с тем перспективы борьбы со злом Вольтеру и его герою до конца не ясны, поэтому финал повести несколько рационалистичен.

Хотя финал этот может показаться слегка печальным, повесть брызжет неистребимым весельем. Вольтер смело создает целый хоростескных образов и ситуаций, нимало не заботясь о соблюдении правдоподобия в развитии характеров и последовательности событий. Нарочито убыстренному ритму повествования соответствует и неизменно ироничный тон рассказа. Сатирическое преувеличение соседствует в «Кандиде» с точными бытовыми деталями, что вообще типично для прозы Вольтера, для его художественного метода, метода писателя-сатирика эпохи Просвещения, проповедующего передовые идеи не просто в заостренной, но непременно в веселой и легкой для восприятия форме.

«Простодушный» (1767) стоит в творчестве Вольтера в известной мере особняком. Эта книга – в большей степени «роман», чем все другие произведения писателя. И, пожалуй, единственная вольтеровская повесть с четко обозначенной любовной интригой, решаемой на этот раз всерьез, без эротических анекдотов и двусмысленностей, хотя и теперь писатель бывает игрив и весел. В этой повести появляются новые герои, очерченные уже без прежней уничижающей иронии, не герои-маски, носители одного, определенного качества или философской доктрины, но персонажи с емкими человеческими характерами, подлинно (а не комично, не гротескно) страдающие, а потому вызывающие симпатию и сочувствие. Показательно, что непереносимые физические муки героев «Кандида» сменяются здесь страданиями душевными.

В центре повести – герой познающий, наблюдающий и размышляющий. Он совсем не мудрец, но он становится мудрецом, не только пройдя через тяжкие жизненные испытания, но и в результате общения с Гордоном, овладев под его руководством комплексом научных и философских знаний, накопленных к тому времени человечеством. Образ центрального персонажа повести – это своеобразный вольтеровский ответ Руссо, его теориям «естественного человека» и его трактовке роли цивилизации. Вольтер в этом вопросе – за просвещение, так как убежден, что оно помогает любому человеку, в том числе и «естественному», бороться с мракобесием и деспотизмом.

Рисуя внутренний мир своих героев – Гурона и его возлюбленной, Сент-Ив, Вольтер намеренно замедляет темп развертывания сюжета и отбрасывает какие-либо боковые интриги. Переживания героев раскрываются и эволюционируют в столкновении с французской действительностью, которая показана без каких бы то ни было иносказаний и парадоксов, широко и

острокритично. В первой половине повести взгляд автора кое в чем совпадает с точкой зрения его героя, «естественного человека», не испорченного европейской цивилизацией. Гурон многое понимает буквально (особенно библейские предписания), не ведая о странных условиях, принятых в обществе, и поэтому нередко попадает в комические ситуации, но его простодушный взгляд подмечает во французской действительности немало смешного, глупого, лицемерного или бесчеловечного, к чему, однако, давно привыкли окружающие. Во второй половине книги, где описано пребывание героя и героини в Париже и Версале, к бесхитростным, но метким суждениям индейца присоединяются удивление и ужас неиспорченной провинциалки (тоже своеобразный, слегка иронический вариант «естественного человека»), потрясенной увиденным и пережитым в столице. Тем самым взгляд на старый порядок становится как бы более стереоскопичным, изображение – более рельефным. И хотя придворные благоглупости и мерзости остаются увиденными глазами положительных героев, в общей оценке действительности все ощутимее становится голос автора, язвительный и гневный.

И в «Простодушном» возникает вопрос о первопричинах зла. Но теперь писатель дает этой проблеме новую трактовку, отличную от общепризнанной постановки вопроса в более ранних повестях. Зло перестает здесь быть чем-то вневременным и абстрактным. Оно наполняется конкретным социальным содержанием, оно санкционировано религией, подкреплено произвольно толкуемыми законами и узаконенным беззаконием. Герои повести сталкиваются не только с общепринятыми предрассудками и антигуманными обычаями, но и с их конкретными носителями – духовниками-иезуитами, королевскими чиновниками, наконец, всемогущим министром. Последний по-своему симпатичен, но он тоже сеет повсюду зло, хотя бы просто потому, что такова его роль в бюрократическом государстве, в котором отдельная личность попрана и бесправна. Исход столкновения человека с подобным государством предрешен, и поэтому вольтеровская повесть заканчивается трагически.

И в «Простодушном» сатирический талант не изменяет Вольтеру, но иронический или же гневно-саркастический тон повествования постоянно смягчается тоном лирическим, когда писатель рассказывает об искренности и силе чувства молодых людей или о дружбе индейца с добряком Гордоном, с которым судьба свела героя в Бастилии. Вольтер продолжает отстаивать силу разума. Но царящее в мире зло, связанные с ним ложные идеи теперь не только влияют на разум героев, но и ранят их чувства. Душевные страдания оказываются сильнее физических; именно от них умирает хрупкая, но внутренне стойкая Сент-Ив.

Эта незащищенность героев, их психологическая достоверность (они уже не условные марионетки, легко сносящие любые удары) сообщили произведению большую трагическую напряженность, чем в «Кандиде».

<...>

(*Михайлов А. Д.* Вольтер после 1749 года // История всемирной литературы: в 9 т. / АН СССР. ИМЛИ им. А. М. Горького. Т. 5. М.: Наука, 1988. С. 120–124, 126–128)

### **Примечание составителя**

<sup>1</sup> Жан Калас (1698–1762) – негоциант из Тулузы, протестант, несправедливо обвинен в убийстве собственного сына, якобы имевшем целью помешать ему перейти в католичество, казнен в 1762 г. Шевалье де ла Барр (1747–1766) – несправедливо обвинен за осквернение распятия, казнен в 1766 г. Благодаря вмешательству Вольтера, выступившего в печати против судебного произвола, дела Каласа и де ла Барра были пересмотрены, их имена посмертно реабилитированы.

### **Вопросы и задания**

1. Изложите точку зрения автора исследования на то, как эволюционировали взгляды Вольтера на понятия добра и зла на протяжении творческого пути.

2. В чем, по мысли исследователя, состоит новаторство драматургии Вольтера?
3. С какой целью Вольтер обращается в своих произведениях к восточной тематике?
4. Охарактеризуйте специфику жанра философской повести.
5. Какой путь проходит герой повести «Кандид» в поисках своего места в жизни? Каков итог его исканий?
6. Какой тип героя выведен в повести «Простодушный»?

### **Предтекстовое задание**

Прочитайте фрагмент статьи Г. Н. Ермоленко о Вольтере, обращая внимание на то, какие доводы автор статьи приводит в пользу предложенной им трактовки философской прозы Вольтера как иронического дискурса.

*Г. Н. Ермоленко*

## **Формы и функции иронии в философской прозе Вольтера**

Философскую прозу Вольтера можно с полным правом трактовать как иронический дискурс, поскольку иронической является авторская установка, рассчитанная на соответствующее читательское восприятие. Используются вербальные и невербальные, контактные и дистантные формы иронии. Ирония проявляется как на уровне фразы, так и на уровне фабулы и повествовательных структур.

Ирония, как правило, рассматривается как форма проявления субъективного авторского отношения к объекту высказывания. По Гегелю, «сознающий сам себя отрыв от объективности назвал себя иронией»<sup>1</sup>. В соответствии с этим по отношению к изображаемым в философской повести реалиям французского общества XVIII в. вольтеровская ирония выражает позицию просвещенного философа, сатирика, чья оценка состояния современных нравов колеблется от снисходительной насмешки до гневного сарказма. Противопоставляя свою позицию господствующим заблуждениям, Вольтер сатирически разоблачает общественное лицемерие. Подчеркивая свою оппозиционность по отношению к общепринятым нормам, он развенчивает философские и обывательские иллюзии относительно законов существования человека и его места в мире, бросая вызов условностям «приличного» общества.

При этом, будучи непримиримым по отношению к общественным порокам, к несовершенству частного человека Вольтер снисходителен. Так, герой повести «Мемнон, или Благоразумие людское» демонстрирует беспомощность перед порывами собственных страстей, но автор склонен винить в этом не его самого, а внешний мир, который его провоцирует и обманывает, ибо, как объясняет герою явившийся в финале добрый гений, совершенство для человека невозможно. Подобный тип снисходительной к человеческим слабостям иронии был характерен, как показали исследователи, для искусства рококо. Амбигитивная ирония рококо разрешает противоречия между идеальными устремлениями героя и его жизненным опытом<...>.

Таким образом, по отношению к отраженным в повести реалиям общественной жизни аксиологическая функция осуществляется в форме антиномичной (негативной) иронии, а по отношению к слабостям частного человека она проявляется в формах скептической иронии рококо, диалектической (амбигитивной) иронии, сочетающей отрицание и утверждение.

В философском плане вольтеровская ирония отражает своеобразие авторского сознания. Поза философа-скептика и ироника выражает мировоззренческую позицию писателя.

Специалисты, рассматривая эволюцию философских взглядов Вольтера, доказывают, что он проделал путь от деизма к теизму, в результате чего ориентация на философию Локка и Ньютона сменилась апелляцией к авторитету Мальбранша и Спинозы. Но в каждый период взгляды Вольтера были далеки от системной завершенности. Как пишет Р. Помо в книге «Рели-

гия Вольтера», «философия Вольтера так же непостоянна, как сам Вольтер. Она существует в состоянии непрекращающегося кризиса. Последнее слово никогда не бывает произнесено, все в любой момент может оказаться под вопросом. Вольтер все подвергает сомнению»<sup>2</sup>.

Не допуская мысли о прерогативе кого-то из философов на обладание абсолютной истиной, Вольтер подозрительно относился к философским системам, полагая, что «дух систематизации» «ослепляет самых великих людей» и, поддавшись ему, они превращают философию в «увлекательный роман»<sup>3</sup>. Не доверяя системе, именуя ее «гипотезой», не достойной носить звание «истины»<sup>4</sup>, он позитивно характеризовал философский эклектизм, дающий возможность усвоить лучшее из достигнутого человеческой мыслью<sup>5</sup>, и верил в успех коллективных усилий в совместных поисках истины. Эта особенность взглядов Вольтера является одной из причин того, что он часто придавал своим трактатам форму философского диалога<...>.

И если в споре истина оказывалась не найденной и взгляды оппонентов приходили к противоречию, он не смущался этим, не боялся оставить вопрос открытым, полагая, что сомнение плодотворно и разрушение догм – это уже шаг вперед. Так, в трактате «Надо сделать выбор, или Принцип действия» (1772) он изобразил дискуссию представителей различных философских и религиозных школ, а в заключительной главе, отказавшись резюмировать ее итоги, призвал всех мыслителей к объединению и совместным поискам истины в интересах человечества.

<...>

В ряде случаев в сюжете демонстрируется невозможность сделать однозначно правильный выбор. Так, в повести «Кандид, или Оптимизм» противоположные позиции философского оптимизма и пессимизма персонифицированы в фигурах философов Панглоса и Мартена. На главного героя возлагается функция выбора между двумя полярными суждениями. Отказавшись от философии оптимизма, за которой стоит теория предустановленной гармонии Лейбница, Кандид не становится последователем философа-пессимиста Мартена (или Пьера Бейля<sup>6</sup>, послужившего ему прообразом). Познав господство зла в мире и абсурдность мироустройства, он останавливается на пороге бездны, но не делает последнего шага, а находит спасительный компромисс в решении «возделывать свой сад». Этот вывод снимает противоречие между крайними воззрениями оптимиста Панглоса и пессимиста Мартена. Ирония финала не просто подчеркивает компромиссный характер решения проблемы, но становится своего рода повествовательной формулой сюжетного компромисса. Логической формулой сюжета в целом можно считать парадокс, ирония позволяет снять неразрешимое противоречие и в этом найти решение проблемы<...>. В данном случае ирония выполняет сюжетообразующую функцию, является формулой развязки и одновременно выражает философский релятивизм автора, его сомнение в праве любой философской системы претендовать на истину.

Одна из важнейших функций иронии в философской повести Вольтера – жанрообразующая. Повествовательная структура вольтеровской повести создается на основе существующих жанровых моделей и имеет гипертекстовую природу, включает элементы пародирования существующих жанров, прежде всего различных видов романа.

<...>

В повести «Кандид» (1759) иронически трансформируются сюжетные мотивы известных романов воспитания «Приключения Телемака» Фенелона (1694–1697) и «История Тома Джонса-найденыша» Филдинга (1749). Связь с традицией воспитательного романа у Вольтера проявляется в форме иронической стилизации, характерной как для жанровой природы философской повести, так и в целом для искусства рококо.

Основной эпизод «Кандида», свидетельствующий о связи повести с романом Фенелона, – это описание утопической страны Эльдорадо (Салента у Фенелона). Тот и другой автор, изображая идеальную страну, развивают идеи просвещенной монархии, провозглашают культ законов и осуждают роскошь. Однако в вольтеровской повести эти мотивы утрируются, трактуются

иронически. Утопия Эльдорадо представляет собой ироническую стилизацию в духе Фенелона.

Такой же иронической стилизации подвергаются в «Кандиде» сюжетные мотивы английского воспитательного романа. В сюжете повести повторяются отдельные элементы сюжетной структуры романа Филдинга. Происхождение главного героя делает его своеобразным двойником Тома Джонса. Он воспитывается в замке барона, и слуги дома подозревают, что он сын сестры барона и «одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству». Иронический комментарий повествователя подчеркивает сходство данной сюжетной ситуации с романом Филдинга, где Том Джонс был сыном мисс Бриджет, сестры сквайра Олверти, в доме которого воспитывался, и сына священника Самера. Дальнейшие сюжетные положения (изгнание из замка барона, разлука с возлюбленной, вербовка в армию, странствия, брак в финале) создают контур сюжета, отдаленно напоминающий роман Филдинга. Путешествие для Кандида, как и для Тома Джонса, служит испытанием и жизненной школой.

Ситуация учитель /ученик в том и другом романе пародирует отношения воспитателя и воспитанника в старых романах типа «Приключений Телемака». Панглос и Мартен в повести Вольтера придерживаются противоположных философских систем, как и наставники Тома Джонса (Сквейр, почитающий человеческую природу добродетельной, и Тваком, считающий ее порочной). Вольтеровскому герою предоставляется возможность проверить философские постулаты Панглоса и Мартена подобно тому, как Том подвергает испытанию воззрения на человеческую природу своих учителей и Горного Отшельника.

<...>

Ирония реализуется на различных сегментах текста. Это фабульный и стилистический уровень. Встречается как синтагматическая, контактная, так и ассоциативная, дистантная ирония, требующая для декодирования обращения к более широкому контексту.

Сюжеты повестей включают элемент ситуативной иронии. Герои обманываются в своих ожиданиях, их поступки имеют результат, противоположный запланированному. Так, Задиг, написав оду во славу царя, приговаривается за это к смертной казни, Кандид, вступивший в брак с Кунигундой, познает не долгожданное счастье, а разочарование, Простодушный, отправившись ко двору за наградой, попадает в тюрьму. В повести «Уши графа Честерфилда» герой из-за глухоты графа теряет надежду получить доходную бенефицию и руку мисс Фидлер, а в финале возвращает себе и то и другое в результате столь же случайного стечения обстоятельств.

Авторская ирония в вольтеровской повести выражается через идиостиль повествователя. Это чаще всего «всезнающий» третьеличный повествователь, выступающий от имени автора, или иногда, начиная с 1750-х годов, перволичный повествователь, играющий роль свидетеля, наблюдателя или персонажа, как в повестях «Письмо одного турка о факирах и о его друге Бабабеке» (1750), «Микромегас» (1752), «История доброго брамина» (1761), «Письма Амабеда и др., переведенные аббатом Тампоне» (1769), «Уши графа Честерфилда и капеллан Гудман» (1775).

Простейший вид вербальной иронии – ирония риторическая, выступающая в виде тропа или фигуры мысли. Такая ирония подразумевает перенос значения по противоположности. Семантическая структура иронии-тропа близка антифразе, поскольку буквальный и производный смысл находятся в отношениях семантической оппозиции, антифрастическая ирония представляет собой отрицание в форме утверждения.

На основе дистантной антифрастической иронии построены заголовки таких повестей, как «Мемнон, или Благоразумие людское» и «Кандид, или Оптимизм». Ирония проявляется в двойственности смысла названия, которое, с одной стороны, адекватно отражает тему повести, с другой – противоречит характеру содержащихся в ней событий (Мемнон отнюдь не проявляет

благоразумия, а события, происшедшие с Кандидом, не располагают к оптимизму). К тому же типу относится название повести «Кози-Санкта, или Малое зло ради Великого Блага».

Антифрастическая ирония проявляется в именовании персонажа. Иронично имя Кози-Санкты, прославившейся отнюдь не благочестием и святостью. Того же Мемнона автор называет «разумником» («notre sage»), «благоразумным» («sage») именно в те моменты, когда он совершает свои безрассудства.

В качестве маркера иронии выступают разнообразные стилистические средства. Ирония распознается по несоответствию тех или иных компонентов высказывания контексту.

Повествователь пародирует различные функциональные стили, прежде всего стиль авторитетного, опирающегося на те или иные традиции повествования. Одна из излюбленных его мишеней – стиль псевдонаучных рассуждений. Так, в начале повести «Кривой крючник» в подобной пародийно-иронической манере излагается «теория» о преимуществах, которые кривые имеют перед людьми с нормальным зрением.

Речь повествователя уснащают иронические сентенции, формулирующие законы человеческой психологии («Как умный человек, он сперва постарался понравиться мужу», «Он был самолюбив, как только может быть самолюбив низкорослый мужчина»)<sup>7</sup>.

Ирония в речи повествователя может маркироваться с помощью синтаксических средств, устанавливающих неожиданные логические связи: «Обладая большим богатством, а следовательно, и многими друзьями [...] Задиг рассчитывал, что будет счастлив в жизни»<sup>8</sup> («avec de grandes richesses et par conséquent avec des amis [...] il crut qu'il pouvait être heureux»<sup>9</sup>). Стилистические средства иронии в философских повестях Вольтера настолько многообразны, что заслуживают специального лингвистического анализа.

<...>

(*Ермоленко Г. Н.* Формы и функции иронии в философской прозе Вольтера // XVIII век: Искусство жить и жизнь искусства: сб. научн. работ / МГУ им. М. В. Ломоносова; отв. ред. Н. Т. Пахсарьян. М.: Экон-Информ, 2004. С. 82–84, 86–91)

### Примечания

<sup>1</sup> Гегель Г. Ф. В. Эстетика. Т. 4. М., 1973. С. 472.

<sup>2</sup> Pomeau R. La religion de Voltaire. Paris, 1956. P. 315.

<sup>3</sup> Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 110, 134. <...>

<sup>4</sup> Там же. С. 660.

<sup>5</sup> Там же. С. 709.

<sup>6</sup> Пьер Бейль (1647–1706) – мыслитель раннего французского Просвещения, автор «Исторического и критического словаря» (1695–1697), выступал против догматизма в философии и религии. (*Примеч. сост.*)

<sup>7</sup> Там же. С. 92, 93.

<sup>8</sup> Там же. С. 24.

<sup>9</sup> Voltaire. Zadig et autres contes. Paris, 1995. P. 15.

### Вопросы и задания

1. Как автор характеризует отношение Вольтера к философским системам?
2. Назовите и охарактеризуйте основные функции иронии в философских повестях Вольтера.
3. Какие известные мотивы и сюжеты иронически обыгрываются в повести «Кандид, или Оптимизм»?

4. Прокомментируйте термин «антифрастическая ирония» применительно к философской прозе Вольтера.



## Дени Дидро (1713–1784)

### Предтекстовое задание

Прочитайте отрывок из исследования И. В. Лукьянец о Дидро, обратите особое внимание на то, какие доводы приводит автор в пользу высказанного во вступлении тезиса об оригинальности романного творчества Дидро.

*И. В. Лукьянец*

### Романы Д. Дидро «Монахиня» и «Жак-фаталист»

Для своих современников Дени Дидро (1713–1784) был, прежде всего, философом, редактором «Энциклопедии», критиком; романы же его или не были вообще им известны, или были малоизвестны. Причин этому было несколько: и своеобразная судьба рукописей романов («Племянник Рамо» вообще не был опубликован при жизни Дидро, «Жак-фаталист и его Хозяин», также как и «Монахиня», появился на свет в «Литературной корреспонденции Гримма»<sup>1</sup> в урезанном виде), и небрежное отношение Дидро к своим романам. Сами же его романы были столь необычны по форме и художественной идее, что как таковые почти не воспринимались ни читателями, ни самим автором. <...>

Часто и справедливо роман Дидро [«Монахиня»] называли романом-тезисом, романом-идеей<...>. Философски-социальная мысль романа о пагубности монастыря, о его противоположности природе человека выражена в «Монахине» настолько сильно, что, кажется, даже неинтересно писать о философской сути романа. Роман, кажется, не предполагает философской многозначности. Кроме того, «Монахиня» написана не по законам философской прозы, уже довольно прочно установившимся во второй половине столетия. В то же время некоторые черты философской прозы мы легко обнаружим в романе. Ситуация эксперимента, где один герой оказывается в разных положениях-испытаниях, где читатель сталкивается с различными модификациями отклонений от нормы, заставляет вспомнить «Кандида». Закрытость же монастыря позволяет увидеть в романе черты излюбленной в восемнадцатом столетии модели «робинзоны». <...> Между тем именно в самом художественном методе писателя заключается очень интересная связь с его философской системой.

Художественная цельность романа во многом определяется уникальностью судьбы главной героини, неповторимостью и исключительной насыщенностью ее внутренней жизни. Интенсивность внутренней жизни Сюзанны меняется в зависимости от ситуации <...> [и] становится важнее самой интриги. Основой такой смены акцентов становится глубокий интерес Дидро не только к универсальным законам, к общечеловеческому, но и признание исключительности любой личности. <...> Сюзанна не похожа на героя-наблюдателя, героя – объекта универсального эксперимента. У нее свой голос, свое видение мира, не всегда точное, объективное <...>. Любопытно, что по мере работы над рукописью Дидро стремится ко все большей цельности характера своей героини. Фрагментарность первоначального периода создания романа выражалась в том, что у героини было даже несколько разных имен (Агата, Мария).

<...>

Судьба Сюзанны предстает как закономерная. Учитывая исходные данные, темперамент, общественные установления, монастырские порядки, мы вправе ожидать, что Сюзанна будет вести себя примерно так и с нею случится что-либо подобное. Но это неповторимая личность. Сюзанна говорит, что «чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что все случившееся со мной никогда не случилось и, может быть, никогда больше не случится ни с кем другим»<sup>2</sup>.

Из нескольких ролей, которые последовательно играет в романе героиня: наивная наблюдательница, искренне и своеобразно набожная девушка, страдающая и любящая дочь и т. д., Дидро к финалу романа оставляет Сюзанне одну, главную – преследуемое, страдающее, загнанное существо. Именно страдание главной героини – самый сильный эмоциональный мотив романа. Страдание, физическая боль – тема для романа конца столетия распространенная. Достаточно вспомнить маркиза де Сада. Интерес к страданиям ближнего мог объясняться писателями и философами самыми разными причинами: жестокая природа человека, которому доставляют радость мучения другого, эстетический интерес к смерти, страданию как к трагической закономерности мира и, наконец, вера во всемогущий инстинкт сострадания, заложенный в природе человека, и стремление этот инстинкт вызвать к жизни и усилить.

<...>

Физическое страдание, кровь, боль появляются в романе даже тогда, когда это, казалось бы, совсем не нужно для того, чтобы вызвать у читателя возмущение жестокостью «милосердных» монахинь. Дидро подробно описывает рану, которую Сюзанна получает, спасаясь бегством из монастыря. Потоки крови, льющейся из разбитого при падении носа Сюзанны, и ее слез смешиваются, когда она на коленях умоляет свою мать о прощении и любви, оставляя ее холодной и равнодушной. И в первом и во втором случае боль и страдание сильны и значимы. Сюзанна падает со стены монастыря и почти не чувствует боли в серьезно раненной ноге, как преследуемое раненое животное, что усиливает образ, создаваемый точно отобранными деталями. Кровь и слезы, попадающие на руки и одежду ее матери, – реальное естественное воплощение страдальческого крика Сюзанны к<sup>3</sup> матери: «Матушка, я всегда буду вашей дочерью, а вы моей матерью» (М, 43). Обращение к физическому, даже физиологическому у Дидро всегда очень точно, за художественной деталью целый ряд ассоциаций, которые создают многозначный образ. Биология становится для Дидро не только наукой, в которой он черпает философские аргументы, но и элементом его художественного метода.

<...>

Вполне возможно, что обилие жестоких деталей в романе вызвано тем, что риторика «Монахини» должна быть близка судебной. Ведь Сюзанне нужно убедить маркиза в том, что она нуждается в помощи, и для этого она может выступить одновременно в роли адвоката и прокурора. В романе встречается и чистый образец судебной риторики. Речь идет о судебном процессе Сюзанны с монастырем, ее адвокат М. Манури проигрывает дело. Сюзанна очень интересно говорит о причинах его поражения. Она не осуждает его за недостаточное мастерство, ведь он был ограничен просьбами самой Сюзанны, которая не хотела, чтобы дурно говорили о ее семье и о монастыре. Поэтому адвокат ее был лишен возможности придать своей речи самое главное в такого рода речи: патетику, то есть не может эмоционально влиять на слушателей.

Сюзанна предстает и перед своеобразным судом в монастыре, где она свое дело выигрывает, и во многом благодаря не только своему сердечному красноречию, но и красноречивым признакам своего страдания. Сюзанна весьма сдержанна в своих словах, но синяки на руках, раны на голове, исхудавшее, бледное лицо затрагивают не только чувство справедливости проверяющего монастырь викария, но и простую человеческую чувствительность его помощников. «Взгляните!» – говорит она архиепископу, и показывает следы своих страданий как последний аргумент.

Однако множество примеров реального страдания связано и с этическими представлениями писателя о природной, нравственной связанности человеческого рода. Обратим внимание на то, что в романе обращения к маркизу, естественные в письмах, постепенно сходят на нет и появляется даже косвенное обращение к читателю «господин маркиз и те, кто будет читать

<sup>3</sup> Вернее: Сюзанны, обращенного к (Примеч. ред.).

мои записки». Этот читатель – член великого человеческого сообщества, что подчиняется всеобщим природным законам, в соответствии с которыми сострадание к физической боли другого – есть великий охранительный закон природы, который позволяет выжить человеческому роду. Эта идея была одной из излюбленных не только для Дидро, но и для многих его современников<sup>4</sup>. Так, например, Левек де Пуи писал: «Чувствительный человек не может видеть рану другого, не испытывая при этом боли в той же части тела»<sup>3</sup>. Абсурдным называет Дидро в «Принципах нравственной философии» предположение о том, что общественные аффекты сострадания, человечности, противоречат интересу человека<sup>4</sup>. Именно на сострадание читателя, подчиняющегося универсальным биологическим законам, рассчитывает Дидро-художник. Дидро устами Сюзанны даже извиняется перед читателем за приносимое ему страдание: «г-н<sup>4</sup> маркиз, я понимаю, какую боль причиняю вам сейчас; но вы пожелали узнать, заслуживаю ли я, хотя бы в малой степени, того сострадания, которого я жду от вас...» (М, 93). Сострадание становится в романе важной темой и для постижения внутренней жизни героини и общих нравственных законов, которые выявляются в монастырской жизни. С этой точки зрения очень интересна вера Сюзанны в Бога. Эта вера самостоятельна, неканонична. Ее молитвы рождены внутренним порывом; когда ее лишают молитвенника, лишь в своем сердце она черпает слова обращения к Творцу. Ее Христос – прежде всего Христос страдающий, а ее вера подчас напоминает ту, что предстает перед нами на страницах статьи Дидро «О достаточности естественной религии» (1770), где философ говорит о религии, таящейся в сердце. Бог присутствует в жизни Сюзанны как реальная нравственная сила, к которой она взывает, упрекая своих мучителей. В келью к Сюзанне приходят ее мучительницы. Настоятельница монастыря и ее приближенные монахини ожидают приезда в монастырь проверяющих, их цель напугать Сюзанну, вызвать сильное душевное потрясение и тем самым смутить ее рассудок. Не зная своей участи и ожидая худшего, может быть, смерти, Сюзанна обращается к Богу. Она пишет: «Вот когда я почувствовала превосходство христианской религии над всеми религиями мира. Какая глубокая мудрость заключается в том, что слепая философия называет „безумием креста“. Что мог бы мне дать в этом моем состоянии образ счастливого законодателя, увенчанного славой? Передо мной был невинный страдалец, угасающий в мучениях, с пронзенным боком, с терновым венцом на челе, с пригвожденными руками и ногами, – и я говорила себе: „Ведь это мой Господь, а я еще смею жаловаться!“» (М, 93). Бог Страждущий спасает Сюзанну от безумия. Для Дидро речь идет не о чудесном божественном вмешательстве, а о благе религиозного чувства, в основе которого сострадание. Не случайно в этой сцене он сблизает страдания Христа и Сюзанны.

Оценивая религию с точки зрения нравственной, Дидро считает необыкновенно важными причины любви человека к Богу. Еще в «Принципах нравственной философии, или Опыт о достоинстве и добродетели» (1745) Дидро пишет: «Если истинная набожность заключается в любви к Богу как таковому, то беспокойное внимание к частным интересам должно в какой-то степени принижать эту набожность» (Д, 1, 99). Позднее эта мысль разовьется в идею бескорыстной добродетели (см. «Разговор философа с женой маршала де \*\*\*», 1774). Парадокс заключается в том, что это отсутствие суетного внимания к частному интересу оборачивается подлинным интересом и благом. Любовь Сюзанны к Богу совпадает с ее интересом тогда, когда она бескорыстна, ведь «беспокойного внимания» к своему интересу у нее нет... Эта любовь совпадает с ее интересом самым естественным образом. Доказательством от обратного биологической необходимости сострадания становится судьба монахини, которая должна была тащить Сюзанну за веревку во время ночного покаяния и лишилась позднее рассудка.

<sup>4</sup> В источнике цитаты: «...Господин. (Примеч. ред.)

Именно «беспокойное внимание к частному интересу» становится в романе Дидро источником жестокости: забота матери Сюзанны о семейном спокойствии и спасении собственной души, денежный интерес монастыря, похоть настоятельницы Арпажонского монастыря и так далее. Интересно, однако, что жестокость быстро перерастает свою причину и начинает быть самодовлеющей, почти бескорыстной. Никаким интересом не объяснить энергию, с какой сестры монастыря мучают Сюзанну. Она, эта энергия, – проявление общей напряженности, истерии, что царит в монастыре. В итоге она разрушает мир монастыря, также как и энергия страстей настоятельницы-лесбиянки физически и нравственно губит ее. Горькие плоды своей жестокости пожинает и мать Сюзанны, ограбленная двумя другими дочерьми и умирающая без утешения.

Однако столь дорогое для восемнадцатого столетия тождество добродетель-счастье в этом романе не столь уж несомненно для Дидро. И в философских произведениях Дидро уверенность в необходимой связи добродетели и счастья перестает быть абсолютной, начиная со «Сна д'Аламбера» (1769). В «Монахине» есть история, которая, кажется, нарушает закон, который диктует естественную необходимость милосердия. Это судьба сестры Урсулы, кроткой, милосердной монахини, которая выхаживает Сюзанну во время болезни, предупреждает ее об опасности и становится ее единственным утешением. Урсула проживает печальную недолгую жизнь и умирает в монастыре. Объяснение кажется очень простым: в монастыре не могут быть счастливы даже любящие и милосердные, потому что там извращены главные естественные законы, прежде всего необходимость свободы. Не случайно Урсула, настоятельница де Мони, те, кто, кажется, по призванию оказались в монастыре, хрупки и болезненны (молитвы настоятельницы де Мони) и скоро покидают этот мир. В «Монахине» причины несчастья хороших и относительного благополучия дурных (настоятельница-мучительница, о которой Сюзанна говорит, что она по-прежнему мучает свои жертвы) таятся в неправильности внешних условий. В последних же своих философских произведениях, например в «Эссе о царствовании Клавдия и Нерона», Дидро с сомнением задается вопросом о существовании высшей связи между добродетелью и счастьем<sup><…></sup>.

Сюзанна и другие сестры монастыря в основном противопоставляются друг другу, но существует ли непреодолимая грань между добротой и жестокостью, добродетелью и пороком? При всей природной силе естественной добродетели Сюзанны, граница между нею и ее несчастными, жестокими и порочными сестрами условна. Настоятельница де Мони, чья доброта погубила Сюзанну, потому что при ней монастырь показался ей [Сюзанне] терпимым, говорит о своих монахинях, что сейчас они добрые и кроткие, но она прекрасно знает, как можно сделать из любой из них дикого зверя. В Сюзанне вместе с ее здравым смыслом, сильным характером, умом уживаются и качества, из которых могут возникнуть иные потенциальные возможности развития ее личности. Например, судьба сестры Терезы, бывшей фаворитки настоятельницы Арпажонского монастыря, – возможная перспектива участи Сюзанны. Не случайно Тереза предостерегает Сюзанну – «вы движетесь к пропасти». Да и природная ласковость Сюзанны, которую отмечает Дидро, представляет опасность для нее.

Зависимость человека от трех важнейших факторов: личного темперамента, биологических законов своего рода и от общественного порядка, о которых писал Дидро в своих «Заметках» по поводу «Храма счастья», сборника поэтических и философских размышлений о счастье, вышедшего в 1769 году<sup><…></sup>, управляет жизнью Сюзанны, как и других монахинь. При этом одна из сильнейших особенностей того, что Дидро называет личным темпераментом, то есть индивидуальностью, особенно значима в жизни Сюзанны. Это воображение, то есть то свойство человеческого ума, которому Дидро уделял очень много внимания. В «Элементах физиологии» (начало создания 1774 г.) Дидро писал, что «воображение – источник счастья несуществующего и отрава для счастья уже реального» (Д, 1, 515). В замкнутом мире монастыря воображение играет огромную роль, оно может быть источником несчастья, наве-

вая, например, воспоминания о прошлом (ария, которую поет Сюзанна), источником надежды, которая дает возможность жить: воображение Сюзанны подсказывает ей, что может произойти чудо, например рухнут стены монастыря. Сильнейший порыв воображения – в основе мистической набожности настоятельницы де Мони. Именно воображение Сюзанны позволяет ей увидеть в страшную для нее минуту страдающего Спасителя. Само по себе воображение лишено нравственной оценки, но оно может быть источником нравственного чувства. Так, например, отвечая на вопросы сестры Терезы, монахини Арпажонского монастыря, о своих отношениях с настоятельницей, Сюзанна чувствует, что совершает нечто неподобающее, потому что мучения Терезы действуют на ее воображение и заставляют ее ощущать себя виноватой. Дидро писал, что человек, который становится свидетелем дурного поступка, чувствует стыд, потому что воображение ему подсказывает, что он может совершить подобное.

Дидро называл воображение одним из самых характерных свойств человека, которое отличает его от животных. Благодаря ему человек живет не только в настоящем, но в прошлом и будущем<sup><...></sup>. Это одно из самых индивидуальных его свойств, и говоря о своей героине, Дидро делает эту сферу человеческой психологии одной из самых важных. Несомненно, многие современники Дидро обращались к воображению как важнейшему фактору внутреннего мира героев. <...> Как нам кажется, особенность же Дидро заключалась в том, что он делает воображение той реальной силой в жизни своей героини, которая управляет ею, как и физическая природа; при этом воображение очень тесно связано с этой природой.

<...>

Думается, что книга Дидро представляла собой роман нового качества во многом благодаря новому строению сюжета, в центре которого личность с ее сложнейшей внутренней жизнью, ведь именно сложность этой жизни и создает в романе большую часть обстоятельств (последовательность бунтов Сюзанны и периодов ее смирения). Может быть, впервые такой степени достигало искусство вызывать у читателя отождествление себя с героиней, основанное на широкой философской концепции природы человека. В этом смысле роман Дидро сравним, пожалуй, лишь с «Юлией, или Новой Элоизой», но при этом следует учитывать, что Дидро обходится без вечной темы, всегда вызывающей сочувствие, – без темы любви.

\* \* \*

О романе Дидро «Жак-фаталист и его Хозяин» написано так много, что, кажется, трудно сказать об этом романе что-либо новое<sup><...></sup>. Интересно, однако, посмотреть на этот текст рядом с «Монахиней» и обратить внимание на то, каким образом в особом строении сюжета этой книги, в своеобразном ее герое сказывается философская система Дидро.

Исследователь творчества Дидро Д. Крокер предложил поделить героев романов Дидро на две категории. Первая – те, кто знает нравственную правду, и вторая – те, кто ищет ее<sup>5</sup>. Если мы попробуем применить эту остроумную классификацию к героям романов Дидро, то обнаружим, что она лишь поверхностно отражает их сложнейшие отношения с истиной. Вот, например, герои, которые открыто участвуют в универсальном эксперименте, у них ярко выражено стремление к поиску истины. Это «я» в «Племяннике Рамо», Хозяин в «Жак-фаталисте», султан Монгогюль<sup>5</sup> в «Нескромных сокровищах». Именно им принадлежит большинство вопросов, задаваемых в романах. Второй тип – это Сюзанна в «Монахине», истина живет в ней как некая постоянная величина, она лишь раскрывается, подтверждается законами биологической природы человека; это племянник Рамо, у которого есть ответы на все вопросы,

---

<sup>5</sup> В русском переводе: Мангогул. (Примеч. ред.)

это Жак-фаталист со своей универсальной репликой в ответ на все неожиданности: «так было предначертано свыше».

И в то же время грань между обладанием знанием и жадой истины, естественно, часто стирается. Внутренняя правда Сюзанны обретает отчетливую форму только с опытом, а ищущий истину «я» в «Племяннике Рамо» исходит из уже сложившихся у него устойчивых представлений.

Несомненно, своеобразие соотношения уже готового знания и жажды поиска у героев романов Дидро связано с авторской позицией и с отношением авторского «я» к герою романа. Одно из самых сложных проявлений авторской позиции предстает перед нами в романе «Жак-фаталист и его Хозяин» (1773–1774), «Жак-фаталист» – ярко выраженный роман-эксперимент. Такой эксперимент, результат которого не известен, или якобы неизвестен, самому автору. Эксперимент Дидро напоминает игру, результата которой никто не знает. Подчеркнутая в романе игровая стихия – не результат импровизации, но напротив – строгой продуманности. О продуманности говорит, например, повторяемость тем рассказов внутри романа. Дидро использует здесь тот принцип сократического диалога, который был ему хорошо знаком и который он не раз использовал, например, в «Племяннике Рамо»<sup><...></sup>: обсуждение одной и той же темы на разных, все более сложных уровнях исследования. В данном случае такой повторяемой темой становится ситуация «обманутый обманщик», которая, кажется, таит в самой себе неотвратимость наказания порока, фундаментальную справедливость мира, целесообразность добродетели. (Эпизод с часами, пирожник, история Гусса, Гудсон, г-жа де ла Помере и др.). С другой стороны, повторяемость тем свойственна и традиции новеллистических произведений Возрождения: «Декамерону» Боккаччо, «Гептамерону» Маргариты Наваррской, «Новым забавам и веселым разговорам» Бонавентуры де Перье, то есть той традиции, которой, не скрываясь, подражает и Дидро<sup><...></sup>. В этом отношении перед нами роман, построенный по принципу многовариантности, его можно условно назвать романом-фугой. В отличие от «Монахини» в сюжете «Жака-фаталиста» преобладают центробежные, а не центростремительные силы.

Иллюзия непредсказуемости развития сюжета создается в романе множеством литературных приемов, в том числе и постоянной полемикой с читателями. Преппирательства с читателем, иногда грубоватые, часто насмешливые ответы на незаданные вопросы и извинения в ответ на непрозвучавшие упреки разрушают иллюзию достоверности, которая так дорога была французским романистам до Дидро. Монтескье, Кребийон-сын, Мариво, Руссо, да и сам Дидро в «Монахине» и многие другие стремились уверить читателя в документальной правдивости происходящего. Автор всего лишь посредник между читателем и тем, кто ведет дневник, пишет письма, составляет мемуары и дневники. В «Жаке-фаталисте» Дидро приоткрывает свое насмешливое лицо создателя и кукольника одновременно. <...>

<...>

Как уже говорилось выше, Дидро долгое время разделяет общепросветительское убеждение в том, что счастье равно добродетели. Для просветителей проблемы счастья и добродетели были связаны очень тесно, ведь деятельность личности рассматривалась двояко: как направленная на самое себя (проблема счастья) и как направленная на других людей (проблема добродетели). Уже названия работ по морали «Размышления о счастье», «Послание о счастье», «О счастливой жизни», «Опыт истинного счастья», «Храм счастья» говорят о том, что тема счастья была важнейшей для этики эпохи<sup><...></sup>. Эвдемонистическая мораль эпохи Просвещения объявляет целью человеческой жизни счастье, а основным побудительным мотивом человеческого действия – стремление к счастью. Левек де Пуи писал, например, что человек совершенен лишь настолько, насколько его образ мыслей и действий способен привести его самым верным и коротким путем к счастью<sup><...></sup>. Ламетри<sup>6</sup> объявлял счастье даже выше истины. Если заблуждение приносит счастье, то оно оправдано: «Если природа обманывает

нас к нашей выгоде, пусть она обманывает нас всегда. Воспользуемся даже разумом, чтобы заблуждаться, если от этого мы можем быть более счастливы. Тот, кто обрел счастье, обрел все»<sup>7</sup>. Почти все просветители говорят об удовольствии, доставляемом добродетелью. «Добродетельному человеку все доставляет удовольствие..., будем искать наше счастье в счастье других, это последняя ступень тончайшего сладострастия»<sup>8</sup>, – писал тот же Ламетри, а Мопертюи<sup>9</sup>, разделяя удовольствия на телесные и духовные, относил к последним наслаждение от созерцания добродетели<...>.

Дидро, размышляя о природе человека, приходил к гораздо более сложному представлению о соотношении нравственности и счастья. Да, мораль вида – мощная сила, от которой зависит счастье большинства, но человек – это и индивидуальность, которая, как уже говорилось выше, зависит от трех начал: личный темперамент, социальный порядок, биологический вид. Если темперамент оказывается сильнее законов общественного порядка, то возникает либо преступление, либо несчастье. В уже процитированных выше «Замечаниях» по поводу «Храма счастья» Дидро пишет: «Есть люди, столь несчастно устроенные природой, столь сильно влекомые тщеславием, беспорядочной любовью к женщинам, что я обрек бы их на несчастье, если бы предписал им постоянную борьбу с главной их страстью»<sup>10</sup>. В то же время человеку доступно большее счастье, нежели любому биологическому виду. В противном случае человек ничем не отличался бы от кроликов. «Счастье и несчастье любого животного вида имело свою границу, перешагнуть которую не могло». В размышлениях о счастье Дидро сталкивается с такой проблемой, которая не была интересна его непосредственным предшественникам, а именно – субъективность счастья. «Каждое существо стремится к своему счастью, и счастье одного не может быть счастьем для другого. Мораль заключается в лоне вида? ... Что такое вид... Множество индивидуальностей, организованных одинаково... Как! Эта организация может быть основой для морали! Да, я думаю... Я думал, что если может быть мораль, свойственная виду, может быть и мораль, свойственная разным индивидуальностям, или, по крайней мере, различным сословиям или собраниям индивидуальностей...» – пишет он в «Салоне 1767 г.». Так, например, художник идет к возвышенному тем путем, который несет несчастье обыкновенному человеку: «Бросаться в крайности, – вот правило поэта, соблюдать во всем меру – вот правило счастья. Не надо заниматься поэзией в жизни»<sup>11</sup>.

Пожалуй, главное отличие Дидро от других философов-просветителей – в подходе к исследованию моральных проблем, в отсутствии однолинейности. В «Последовательном опровержении книги Гельвеция „О человеке“» Дидро пишет, что нет ничего лучше, чем быть нравственным человеком, что это вопрос, над которым он думал сто раз со всем напряжением мысли, на которое был способен, но что писать об этом он не решался, потому что понимал, что если он не выйдет победителем из попытки доказать это, то он станет апологетом зла и предаст дело добродетели. Думается, что эта мысль открывает очень многое не только в Дидро-философе, но и художнике. Если правда окажется не на стороне морали, это огорчит его, сделает предателем добродетели, но не позволит скрыть эту горькую правду.

<...>

Сложные причинно-следственные связи, царящие в мире, – главный предмет обсуждения в диалогах Жака и его Хозяина. Диалог при этом не только форма организации текста романа, где две противоположные точки зрения выражены устами двух персонажей. Диалог в этом романе ведется автором со множеством участников. Это и литературные голоса, что раздаются в романе (Сервантес, Рабле, авторы фавлю и др.). Это и реальная жизнь, в диалог с которой вступает мир романа, и философские теории, маркированные в романе с помощью героев: например, Спиноза появляется в романе в изложении Жака, который вспоминает своего Капитана, поклонника Спинозы<...>. Диалектический путь изучения проблемы, по которому идет Дидро, заключается не только в том, что он рассматривает тему с разных сторон,

но и в том, что тема эта проявляется в разных функциональных выражениях. Например, изысканно патетические сентенции о невозможности и тщете верности прерываются в романе басней Жака о Ноже и Ножнах, притчевый характер которой придает гораздо большую степень обобщения высказанному ранее <...>.

Диалогичность романа в том смысле, как понимал ее М. Бахтин, давала Дидро возможность выразить в нем те стороны своего мировоззрения, которые трудно воплощались в открыто философском тексте трактата или статьи<sup>6</sup>. В то же время естественно, что художественная философия Дидро проистекала из тех же глубинных основ, что и идеи «Сна Д'Аламбера», «Прогулок скептика» и др. <...>

Каковы же были философские позиции Дидро и его современников по одному из самых болезненных и важных вопросов философии «с древнейших времен занимавших лучшие умы человечества, и с древнейших времен поставленный во всем его громадном значении»<sup>12</sup>? Едва ли не весь XVIII век проходит под знаком спора о детерминизме и втягивает<sup>6</sup> в себя почти всех крупных мыслителей эпохи. Открытая полемика середины восемнадцатого века подвела итог размышлениям не только французских, но и европейских мыслителей и художников. Ламетри и Монтескье, Кребийон и Мариво, Кондильяк и Фонтенель, Вольтер и Руссо и другие, все они думали о зависимости человека от внешней среды и иных факторов, о степени его самостоятельности, о природе совести. Болезненность и сложность проблемы связана не только с конфликтом столкновения материалистического взгляда на свободу воли с христианской традицией, но, прежде всего, с логическим отрицанием ответственности и совести при последовательно детерминистической трактовке душевной жизни человека. Еще Монтескье, говоря о Спинозе в своем «Трактате об обязанностях», выступал против «слепого» детерминизма Спинозы, который уничтожает, по его мнению, понятия морали и ответственности: «Однако великий гений пообещал мне, что я умру как насекомое. Он пытается польстить мне мыслью, что я лишь модификация материи... по его словам, я существо, которое не отличается от другого существа, он похищает все, что я считал в себе наиболее личным... Он отнимает у меня побудительную силу всех моих действий и снимает с меня бремя морали. Он оказывает мне честь, полагая, что будь я самый большой негодяй, я не совершил бы преступления, и никто не имел бы права осуждать меня»<sup>13</sup>. Для Кондильяка, Дидро, Руссо вопрос о свободе воли не заключался лишь в признании или отрицании ответственности человека. Проблема детерминизма становилась одной из основных мировоззренческих проблем, связанных с темой необходимости. <...>

<...>

Статьи в «Энциклопедии» («Пирронизм», «Сарацины», «Естественное право»), философские работы, такие как «Сон Д'Аламбера», свидетельствуют о том, что для Дидро человек – в первую очередь существо материальное, определяемое материальными причинами, а Необходимость, как следствие этой зависимости, торжествует над свободной волей. Может быть, самым лаконичным и радикальным образом это положение прозвучало в «Письме к Ландуа», опубликованном также в «Литературной корреспонденции» Гримма. Сам Гримм так резюмировал содержание этого письма: «Все, что существует, должно существовать уже потому, что существует». Дидро пишет там же: «Есть лишь одна разновидность причин, собственно говоря; это причины физические. Есть лишь одна разновидность необходимости; единая для всех существ, какие бы различия нам не хотелось бы установить между ними, или какими бы эти различия ни были в действительности»<sup>14</sup>. Естественное следствие такой физической необходимости – моральный релятивизм.

<sup>6</sup> Вернее: детерминизме, который втягивает. (Примеч. ред.)



Однако, как уже говорилось выше, трудно было найти во Франции столь яростного поборника добродетели, как Дидро. Ничего непоследовательного в соединении строгой морали и детерминизма в нравственной системе Дидро нет. Естественность этики Дидро кроется в таком важнейшем качестве его философии, как диалектичность и антидогматизм. Лабиринт множества моральных ситуаций не позволял философу возводить нравственные правила в абсолют. Даже в «Сне Д'Аламбера», где доказывается великая зависимость страстей и поступков человека от его физической жизни, от «нервных пучков», то есть речь идет о закономерности, о системе, Дидро допускает исключение, нарушение этой зависимости. Причем нарушение это связано с моральным миром человека. Это история о том, как молодая женщина, которая опасалась утратить любовь своего друга, победила нервную болезнь усилием воли и разума <...>. Личное, неповторимое начало очень важно для Дидро. Он не раз упрекает Гельвеция за невнимание к тому личному, единственному, что во многом определяет поведение человека <...>.

Любопытно, что здесь Дидро согласен с анонимным автором статьи «Свобода» в «Энциклопедии», который отстаивает свободу воли. Дидро говорит в статье «Спинозист», что если связь причины и следствия необходима, то все люди в одинаковых условиях будут поступать одинаково, что отнюдь не так. Интересно, что пример, который приводит Дидро, носит галантный и романтический характер и касается поведения дам, добродетели которых грозит опасность <...>.

Размышляя о страстях, Дидро говорит об их опасности для человеческого счастья, придавая этой идее характер закономерности, и в то же время говорит об эстетической их значимости, о необыкновенной насыщенности, которую они придают человеческой жизни. Может быть, самое интересное у Дидро – это не определенные, окончательные мнения, а проблемы, которые он между этими мнениями размещает. Так обстоит дело и с детерминизмом.

Как детерминист Дидро должен поставить под сомнение существование добродетели: «Очевидно, что, если человек не свободен... его выбор не является чистым актом не телесной субстанции, в нем не будет ни осмысленных доброты, ни злобы, хотя могут быть животные доброта и злоба, добро и зло моральные не могут существовать, также как и справедливость, несправедливость, долг или право»<sup>15</sup>, – пишет он в статье «Энциклопедии» «Естественное право». Обострив проблему до крайности, Дидро вступает в полемику с самым радикальным из детерминистов, с Ламетри. Дидро пишет о нем: «Это писатель, у которого нет даже первичных представлений о морали, о том огромном дереве, кровля которого касается небес, а корни проникают до ада, в котором все связано; где чистота, приличие, вежливость, добродетели самые легкие, если такие бывают, привязаны как листья к стволу, который бесчестят, если обрывают эти листья; его (Ламетри. – *И. Л.*) принципы, доведенные до крайности, опрокинут законодательство, освободят родителей от воспитания детей... обеспечат бессмертье злодеям, которые без угрызений предаются своим низменным инстинктам»<sup>16</sup>.

Жак – последовательный детерминист. Он доказывает своему Хозяину, что все, что происходит с ним, все, что он чувствует, предопределено и не зависит от его воли. Все «предначертано свыше». Образ свитка судьбы, торжественный и многозначительный, встречался уже читателю и в «Задиге» (1748) и в статьях «Энциклопедии» <...>. Как известно, Задигу так и не удалось заглянуть в Великую книгу, а мысль о целесообразности и необходимости существующего зла вызывает в Задиге сильное сомнение. «Но...» – произносит он. Жак же, кажется, принял идею необходимости как универсальную житейскую помощь, которая помогает сохранить душевное равновесие. Контраст незначительности событий, о которых толкует Жак (падение женщины с лошади, ушибленное колено и так далее), и великих предначертаний в книге Судьбы определяет очевидную авторскую иронию. Предположение о таком пристальном внимании Судьбы к событиям человеческой жизни – курьезно. Жак допускает, что событие есть

следствие неизвестных причин, что и является фатализмом, ибо, как пишет в статье «Энциклопедии» «Фатализм» Морелле<sup>17</sup>, фатально то событие, причины которого скрыты от человека. Фатальным, добавляет он, можно назвать только такое событие, которое имеет отношение к радостям и горестям человеческой жизни, иначе говоря, только человеческое внимание может придать характер фатальности явлению. Например, если от того, как выпадут кости, зависит человеческая судьба, это фатальная связь, если нет – то это лишь случайность<sup><...></sup>. Парадоксальность результатов действия человеческой воли в приведенных ранее эпизодах (пирожник, Гудсон, г-жа де Ла Помере) явно демонстрирует несвободу человека, но тайные непознаваемые причины, которые движут событиями, могут ли быть постижимы? Если нет или да, то каковы последствия результатов для нравственности? Освобождает ли от моральной ответственности непостижимость причин поступка, или она всего лишь не дает права на скорый суд над ближним?

<...>

Для Дидро нелепа и неинтересна та застывшая художественная психология, к которой взывает Хозяин. Подвижность душевной жизни человека становится для большинства мыслителей эпохи уже очевидной истиной, и не только Дидро, но даже и гораздо более склонный к обобщениям и системам Гельвеций признавал, что к духовному миру можно... применить то, что Лейбниц сказал о мире физическом, то есть, что этот непрестанно движущийся мир для каждого из своих обитателей новый, отличный от прежнего феномен. К Хозяину на этот раз присоединяется и Жак: «Если бы мадемуазель Дюкенау была порядочной девушкой, это было бы заметно»<sup>18</sup>. А возражения трактирщицы: «Но кто знает, что происходило в глубине сердца этой молодой девушки» подхвачены самим автором. «Разве эта девушка могла оценить коварный замысел госпожи де Ла Помере? Разве она не была готова принять предложения маркиза и не предпочла бы сделаться его любовницей, нежели женой? Разве она не находилась непрестанно под угрозами и деспотической властью маркизы? Можно ли осуждать ее за сугубое отвращение к своему гнусному ремеслу?» (ЖФ, 245).

Дидро проявляет снисходительность к своим героям не потому, что он не придает значения пороку и добродетели, а потому, что для него моральный приговор может основываться только на внимательном анализе, с учетом всех причин поступка, со знанием всех мотивов поведения, что, как правило, невозможно, в силу скрытости этих мотивов и причин. Этот своего рода «моральный фатализм» мы обнаруживаем и в письмах Дидро, и в его работах. Вот, например, что пишет он в письме своей родственнице, которую преследует стремление одобрять добродетель и преследовать порок: «Вы судите о действиях людей? Вы установите награды и наказания за то, в чем нет никакого смысла! Вы будете держать речи в защиту доброты и против человеческой злобы. Вы, без сомнения, читали в глубине сердец. Вы знаете всю силу страстей, вы все взвесили на вечных весах. Я умоляю вас, друзья мои, немедленно сбросить с себя груз обязанностей полицейского лейтенанта вселенной». Или там же: «Дело в том, что вы намереваетесь решать вещи очень неопределенные, очень смутные – и я боюсь, что ваше решение будет затруднительно, так как вы приступаете к задаче с неизвестными условиями... оставайтесь же в рамках природы, – предположите, что порядок вещей необходим, и вы сразу же увидите, что ваши фантомы улетучатся»<sup>19</sup>.

В «Последовательном опровержении книги Гельвеция „О человеке“» Дидро выражается еще более категорично: «Поостережемся же с нашим презрением, оно может пасть на людей, куда более достойных уважения, чем мы» (Д, 2, 351).

<...>

Герои действуют в романе как живые люди, но только в отличие от реальных людей они раскрываются лишь в одной системе, то есть мы видим лишь какую-то часть их жизни с определенной точки зрения. Обозначая то обстоятельство, что очень многое в этих героях еще

неизвестно нам, читателям, Дидро лишь намекает на то, что они могут существовать еще и в других системах, и взгляд на них может быть иной. А окончательно дурным может быть, по мнению Дидро, лишь человек, который плох во всех своих проявлениях. Надо признать, что многомерность человеческой нравственности в связи с многофункциональностью человека занимала не только Дидро. Еще Монтескье писал о том, что к хорошему политику нельзя применять те же нравственные требования, что и к частному человеку. Но и у Монтескье, и у Дидро есть фундаментальные нравственные требования, которые нельзя преступать ни в одной из функциональных систем человека. Для Монтескье это – справедливость, для Дидро – человечность. Так, описывая некую веселую вдову, Дидро удивительно снисходительно говорит о ее распутности. «Нельзя было никак сказать, что она отличается добрыми нравами; но все признавали, что трудно найти более честное создание. Ее духовник редко видел ее у подножия алтаря, но во всякое время он мог располагать ее кошелем для бедных... женщины опасались ее общества для своих мужей, но мечтали о нем для своих детей». История этой вдовы демонстрировала помимо весьма скептического отношения Дидро к такой добродетели, как целомудрие, сложность нравственного поведения человека. Известно, что упрекая жену Гольбаха за ее постоянные измены мужу, Дидро корил ее не за отсутствие целомудрия, а за неблагодарность и бесчеловечность<sup>20</sup>.

Итак, материальный человек, человек, который подчиняется общим биологическим законам, столь сложен в своем нравственном поведении, что предугадать его поступки, найти все мотивы этих поступков, иначе говоря, выстроить точный алгоритм его нравственной жизни почти невозможно. Хотя в идеале такой алгоритм существует, но постижимость его сомнительна. Все, что происходит с человеком вчера, сегодня, завтра, имеет одну причину – эта причина – он сам.

Каков был бы сын Гудсона и г-жи де Ла Помере? – задает вопрос Жак-фаталист и не может дать ответ. Сколько причин заставляют человека стать таким или иным и сколько причин мешают ему в этом? «Сколько людей ушло в мир иной и сколько еще уйдет, так и не проявив своих задатков! Я охотно сравнил бы их с великолепными картинами, спрятанными в темной галерее, куда никогда не проникнет луч солнца и где им суждено погибнуть, так и не дождавшись ни зрителя, ни восторженного почитателя» (Д, 2, 351), – пишет Дидро в «Последовательном опровержении книги Гельвеция „О человеке“».

Сомнение Дидро в возможности сведения всех феноменов нравственной жизни человека к прямолинейным законам не только пропитывает художественную ткань романа, но и исходит из всей философской концепции природы человека. Роман же, особенно роман, структура которого свободна и диалогична, а именно такую структуру создает Дидро в «Жак-фаталисте», позволяет воссоздать эту сложнейшую соотнесенность единичного, случайного и закономерного, которая была в центре нравственной философии Дидро.

<...>

(*Лукьянец И. В.* Романы Д. Дидро «Монахиня» и «Жак-Фаталист» // Лукьянец И. В. Французский роман второй половины XVIII века (автор, герой, сюжет). СПб.: СПбГУК, 1999. Гл. 3. С. 107, 111–123, 125–126, 128–134, 136–139)

### Примечания

<sup>1</sup> Фридрих Мельхиор Гримм (1723–1807) – немецкий дипломат и литератор, с 1753 по 1792 г. выпускал рукописный журнал «Литературная корреспонденция» («Correspondance littéraire, philosophique et critique»), сообщавший о новинках литературы и искусства. Журнал расходился в ограниченном количестве экземпляров, среди подписчиков были российская императрица Екатерина II, шведский король Густав III, польский король Станислав Август Понятовский и др. (*Примеч. сост.*)

<sup>2</sup> Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-Фаталист и его Хозяин. М., 1973 (Библиотека всемирной литературы). С. 99. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте. – М.

<sup>3</sup> *Leves que de Pouilly J.-L. Théorie des sentiments agréables. Genève, 1747. P. 70.*

<sup>4</sup> Дидро Д. Соч.: в 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 111. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте. – Д.

<sup>5</sup> *Crocker G. «Jacques le Fataliste», an «Expérience morale» // Diderot Studies. Т. III. Genève, 1961. P. 74.*

<sup>6</sup> Жюльен Офре де Ламетри (1709–1751) – французский врач и философ-материалист. (Примеч. сост.)

<sup>7</sup> *Ламетри Ж. О. Соч. М., 1976. С. 274.*

<sup>8</sup> Там же. С. 284.

<sup>9</sup> Пьер-Луи Моро де Мопертюи (1698–1759) – французский философ, математик, физик, астроном и естествоиспытатель. (Примеч. сост.)

<sup>10</sup> *Diderot D. Œuvres complètes / ed. critique et annotée sous la direction de H. Dieckmann. Paris, 1975–1995. Т. XVIII. P. 343.*

<sup>11</sup> Цит. по: *Mauzi R. Diderot et le bonheur // Diderot studies. Т. III / ed. by O. Fellows, G. May. Genève, 1961. P. 263.*

<sup>12</sup> *Толстой Л. Н. Война и мир // Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 20 т. М., 1960–1964. Т. 7. С. 362. <...>*

<sup>13</sup> *Montesquieu Ch. L. Analyse du traité des devoirs: relation de ce qui s'est passé dans la séance publique de L'Académie royale des Sciences, Arts et Belles Lettres de Bordeaux tenant le 1er mai 1725 pour la distribution des prix // La bibliothèque française. 1726. Т. 4. P. 238–243.*

<sup>14</sup> *Correspondance littéraire. 1753. Т. I. P. 215.*

<sup>15</sup> *Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers... Т. I V. Paris, 1754. P. 422a.*

<sup>16</sup> *Diderot D. Œuvres complètes. Т. III. P. 217–218.*

<sup>17</sup> Аббат Андре Морелле (1727–1819) – французский писатель и энциклопедист. Автор ряда статей в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера, посвященных богословию и метафизике («Fatalité», «Fils de Dieu», «Foi» и др.). (Примеч. сост.)

<sup>18</sup> Дидро Д. Жак-фаталист и его Хозяин // Дидро Д. Соч.: в 2 т. М., 1991. С. 244. В дальнейшем ссылки на это издание см. в тексте. – ЖФ.

<sup>19</sup> *Diderot D. Correspondance / établie, annotée et préfacée par G. Roth. Т. I–IX. Paris, 1955–1963. Т. III. P. 317.*

<sup>20</sup> *Ibid. Т. I V. P. 62–63.*

### Вопросы и задания

1. Прокомментируйте термин «роман-идея», использованный автором исследования применительно к роману «Монахиня».

2. К каким образам и сравнениям прибегает Дидро для раскрытия темы страдания в романе «Монахиня»?

3. Какую роль, по мнению исследовательницы, Дидро отводит воображению в изображении внутреннего мира своих героев?

4. В чем состоит экспериментальность романа «Жак-фаталист»?

5. Какова позиция Дидро по отношению к широко распространенным в эпоху Просвещения представлениям о тождественности добродетели и счастья?

6. Изложите точку зрения автора исследования на проблему детерминизма в системе философских взглядов Дидро.

## Жан-Жак Руссо (1712–1778)

### Предтекстовое задание

Прочитайте фрагмент статьи Д. Д. Обломиевского о Руссо, обратив особое внимание на трактовку проблематики и характеров персонажей романа «Юлия, или Новая Элоиза».

### *Д. Д. Обломиевский* Руссо

Жан-Жак Руссо (1712–1778), наиболее яркий представитель радикального крыла французского Просвещения, явился одним из основоположников европейского сентиментализма. Идеиные расхождения его с ведущими деятелями эпохи нередко принимали форму открытого конфликта. Вольтер высмеивал демократические идеи Руссо; Руссо, в свою очередь, непримиримо осуждал Вольтера за, как он полагал, уступки аристократическим взглядам. Руссо не принимал материализма энциклопедистов; рационализму Вольтера и Дидро он противопоставлял чувство. В то время как большинство просветителей видело в театре кафедру и трибуну, Руссо винил театр в падении нравов; из-за этого он поссорился с Д'Аламбером и отказался участвовать в «Энциклопедии». Атеиста же Дидро возмущали религиозные идеи Руссо. Но в перспективе истории Руссо – соратник Вольтера и Дидро в общей борьбе против феодального строя и его идеологии.

Автор «Рассуждения о науках и искусствах» (1750), «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства среди людей» (1755), «Общественного договора» (1762), Руссо выступает с позиций социальных низов третьего сословия, недаром он был связан с Женевой и гордился своим плебейским происхождением. Он подвергает критике прогресс человеческой цивилизации, поскольку этот прогресс не облегчил жизни народа, не содействовал его благосостоянию, не ликвидировал его нищеты. Рост торговли и ремесел, образование национальных государств, развитие наук и искусств не только не способствовали укреплению добродетели и морали, но, напротив, усилили тяготение к праздности, паразитизм, лицемерие, ложь, тщеславие, испорченность нравов, власть моды и этикета. Моральная деградация современного общества имеет своей причиной, по Руссо, неравенство людей в обществе. Именно в имущественном неравенстве, в существовании богатства и бедности, в установлении частной собственности усматривает он источник праздности, роскоши, изнеженности, с одной стороны, источник нужды, бесправия, рабства, тирании – с другой.

Выступая против социального неравенства, деспотизма и рабства, Руссо выдвигает идею демократической конституции общества, его республиканской организации. Если просветители первого этапа, Монтескье и Вольтер, не были последовательными в борьбе с феодальным строем, ограничиваясь концепцией просвещенного абсолютизма, то Руссо верит только в коллективную мудрость народа, признает законной борьбу народных масс против королей, объявляет равенство граждан перед законом основой общества, утверждает суверенность народа, которому должна принадлежать и исполнительная, и законодательная власть. Вслед за Спинозой, Локком, Гоббсом Руссо считает, что государство создается людьми (а не богом, как заявляли сторонники теократических теорий). Люди сознательно заключают между собой «общественный договор», устанавливая демократическую власть и возвращая тем самым народу естественную свободу и права, отнятые у него господствующим классом.

Демократизм, ненависть к знатым и к богачам, к общественному неравенству определяют и эстетику Руссо, направленную против искусства, которое культивирует лишь наслаждение и игнорирует нравственный идеал. Руссо не случайно в «Письме к Д'Аламберу» рассматривает театр как силу, развращающую общество, ибо считает безнравственной самую идею

театра как подражания жизни и воссоздания ее страстей и пороков. Он вообще с подозрением относится к искусству, так как видит в нем средство укрепления феодального строя и абсолютной монархии. Искусству как обличению существующего он не доверяет. Героическому характеру, обращенному против тирана, он предпочитает принцип честности и бесхитростности, образ простого человека, свободного от сословных предрассудков. Исключение он делает лишь для музыки, которой живо интересовался в молодости, обнаружив в этой области недюжинный талант.

Руссо уделяет немало места в своем творчестве вопросам воспитания, посвящая им целую книгу – роман-трактат «Эмиль» (1762). Воспитание, как его трактует Руссо, призвано помочь человеку развить заложенные в нем самой природой основы здоровья и нравственности. Руссо-педагог отвергает всякое насилие над природой и личностью. Воспитатель, по мысли Руссо, прививает ребенку чувства сострадания, мягкости, человечности, устраняет в нем черты деспота и тирана.

Вместе с тем книга «Эмиль» включала в себя «Исповедь савойского викария» – проповедь естественной религии, не скованной церковными догмами и предписаниями. Руссо подвергся преследованиям со стороны церкви, но одновременно вызвал негодование Дидро и других энциклопедистов, твердо стоявших на материалистических позициях. В этом проявилась сложность путей развития просветительской мысли во Франции. Идеолог демократических низов, Руссо отражал и религиозные настроения этих низов, и далеко не случайно в годы революции политический радикализм якобинцев будет сочетаться с культом Верховного существа, идея которого принадлежит Руссо.

Основные художественные произведения Ж.-Ж. Руссо – его «Новая Элоиза» (1761), «Исповедь» (1766–1770), «Мечтания любителя одиноких прогулок» (1772–1778) – должны быть поняты, с одной стороны, в контексте антифеодальных воззрений писателя, с другой же стороны, с учетом его особого положения среди идеологов Просвещения.

Роман Руссо «Новая Элоиза» строится на конфликте между «новыми людьми», к которым относится плебей Сен-Прё, и феодальным обществом. Врагом героя является барон д'Этанж, человек, проникнутый сословными предрассудками. Писатель становится на сторону этих «новых людей», что отразилось в романе, в частности в приемах раскрытия психологии персонажей.

Психологизм у Руссо, так же как у Мариво, Прево, Дидро, носит воинственную, враждебную старому режиму, антифеодальную окраску. Недаром богатым внутренним миром обладают в «Новой Элоизе» не все персонажи, а лишь Сен-Прё, его возлюбленная Юлия, подруга Юлии Клара, друг Сен-Прё милорд Эдуард и муж Юлии – де Вольмар, т. е. «новые люди». Закономерен в этой связи и самый жанр «Новой Элоизы». Это роман в письмах. Изображаемый мир обязательно пропущен в нем через восприятие и размышления персонажа. «Новые люди» Руссо охотно и много пишут письма, раскрывая в них свой внутренний мир. Весьма показательно и то, что барон д'Этанж не имеет привычки писать письма, пишет их редко и лишь по необходимости. Отметим также, что персонажи Руссо – и сам Сен-Прё, и Юлия, и Клара, и милорд Эдуард, и де Вольмар – интеллектуальные герои, размышляющие, рассуждающие, спорящие об экономических и педагогических, религиозных и эстетических проблемах; они высказывают свое мнение по поводу дуэли, итальянской музыки, права человека на самоубийство, наличия у него свободы воли.

Помимо социальной детерминированности персонажа, для Руссо важен воплощаемый им психологический тип. Писатель не признает «человека вообще». Он настаивает на различии темпераментов, говорит о людях чувствительных и людях холодных. К первым относятся Сен-Прё и Юлия, ко вторым – де Вольмар. Но и тут возможны оттенки. Каждый персонаж Руссо интересен как носитель своеобразного сочетания свойств, причем их характер определяется не только объективным положением персонажа, но и его принадлежностью к тому или

иному психологическому типу. Отец Юлии не только дворянин, кичащийся своей знатностью, но еще и упрямый старик, не желающий отказываться от принятых им взглядов. Сен-Прё благородный, чувствительный, однако слабохарактерный.

Для понимания как образа Сен-Прё, так и всего романа в целом очень существенно различие первых двух частей книги и ее последних трех частей (IV, V, VI), а III часть может рассматриваться как переходная. В I и во II частях Сен-Прё обрисован прежде всего как влюбленный, в IV–VI частях – как человек, возвысившийся над своей страстью. Существует точка зрения, согласно которой позиция Руссо как писателя-новатора выражена в первых двух частях романа, остальные же части «Новой Элоизы» представляют собой своего рода отступление: Руссо, первоначально предпочитавший стихийную страсть разуму, якобы идет во второй половине книги на уступки официальной морали. Между тем сам Руссо считал наиболее важными (и удачными) как раз последние части «Новой Элоизы», в то время как первые две части представлялись ему вслед за Дидро, с которым он в данном случае был согласен, «многословными и напыщенными», своего рода «болтовней в бреде» («Исповедь»). Конечно, в первых двух частях «Новой Элоизы» очень примечателен образ ее мятежного героя, выступающего против общественных догм и предрассудков. <...> Для писателей XVIII столетия главными в «Новой Элоизе» оказались ее первые части.

В «Новой Элоизе» высказываются две точки зрения на воспитание личности. Одна из них принадлежит Сен-Прё, другая – Юлии и Вольмару. Сен-Прё еще считает возможным перевоспитание человека; он полагает, что этого можно добиться, пробуждая одни свойства, сдерживая другие, подавляя страсти. Вольмар горячо спорит с Сен-Прё. Он против попыток «исправить природу». Каждому человеку присущ свой темперамент, своя внутренняя организация. Вольмар за воспитание дифференцированное, соответствующее характеру; он категорически возражает против намерения подавлять природные качества человека. Пороки, кои приписываются природной склонности, по мнению Вольмара, на самом деле развиваются вследствие дурного воспитания. Наклонности негодяя, будь они разумно направлены, могут обратиться в большие достоинства. Юлия согласна с Вольмаром, но она идет дальше него, сомневаясь, что можно превратить злодея в добродетельного, обратить ко благу все природные склонности человека. Она ставит задачей не перевоспитание человека, а воспитание ребенка. Это очень существенное отличие. По мнению Руссо, «новые люди» могут появиться только в будущем.

С интерпретацией «Новой Элоизы» как романа, апогей которого якобы относится к его первым двум частям, тесно связано представление о капитуляции Сен-Прё и Юлии. Следует помнить, что эти кажущиеся уступки проводятся, однако, не под давлением враждебных сил и не из страха перед ними. Для Юлии они определяются существованием рядом с ней других людей, интересы которых она не хотела бы нарушить. Она отказывается от брака с Сен-Прё лишь из жалости к своим родителям, в первую очередь к своей матери. Отец как деспот, пытающийся подчинить ее своей воле, не вызывает в ней страха. На Юлию оказывают действие не угрозы отца, а то, что отец бросается к ее ногам, просит ее, чтобы она пощадила его седины, не дала ему сойти в могилу с горя. Именно на жалости основано решение Юлии отказаться от предложения милорда Эдуарда, который советует ей бежать из родительского дома в Англию, там обвенчаться с Сен-Прё и жить с ним в имении Эдуарда. Юлия не хочет нанести родителям смертельный удар.

Со своей стороны Сен-Прё отказывается от Юлии не из страха и боязни за свою собственную судьбу, а только потому, что надеется спасти таким образом Юлию и ее мать от гнева и ярости отца.

Первая половина «Новой Элоизы», точнее, ее первые две части сосредоточены вокруг образа Сен-Прё, противостоящего здесь враждебному миру, в котором заправляют люди типа барона д'Этанжа и люди чуждой ему культуры, о которых Сен-Прё рассказывает, сообщая о своей жизни в Париже. Сен-Прё изображен здесь не имеющим какой-либо среды. Мы не знаем,



откуда он, нам точно не известно, кто его родители, как протекали его детство и отрочество. Это одиночка, скиталец, «лишенный семьи и чуть ли не родины», как он говорит о себе в письме к Юлии. Нам неизвестно даже его имя, мы знаем только, что он назван именем условным, придуманным Кларой.

Но роман не ограничивается антитезой нового и старого, воплощенной в фигурах Сен-Прё и барона д'Этанжа. Огромную роль в нем играют уже в первых частях произведения подруга Юлии, Клара, и милорд Эдуард, друг Сен-Прё. Они стоят на стороне героя и героини, полностью оправдывают их любовь: Эдуард хлопочет об их браке, защищает их перед бароном д'Этанжем, просит у него руки Юлии для своего друга. После того как отец Юлии отказал Сен-Прё, милорд Эдуард и Клара помогают влюбленным советами, оказывают им моральную поддержку, пытаются уберечь Сен-Прё от враждебных акций со стороны разгневанного отца. Учитывая возможную месть д'Этанжа, они убеждают Юлию отказаться от Сен-Прё, а самого Сен-Прё – отказаться от нее. Во второй половине «Новой Элоизы» происходит дальнейшее сближение позиций героя и его друзей, к которым присоединяются теперь Юлия и ее муж де Вольмар. Герой и его сознание раскрываются теперь не в противопоставлении окружающему миру, а на его фоне. Он показан в кругу семьи Юлии де Вольмар как наставник ее детей, куда переезжает после смерти своего мужа и Клара, а затем и милорд Эдуард.

Образ друга совершенно изменяет в «Новой Элоизе» атмосферу художественного произведения. Эта благожелательная, дружеская среда, своеобразная утопия будущего общества, характерна для Руссо как деятеля Просвещения, для которого принцип коллектива, в составе которого действует индивид, приобретает огромное значение.

Утопия и обличение составляют у Руссо две стороны одного и того же отношения к миру. Причем Руссо явно не удовлетворен односторонне-негативной, обличительной тенденцией некоторых произведений Вольтера. Очень характерны в этой связи выпады Руссо против Вольтера, автора «Кандида», против недооценки Вольтером положительного начала в мире, излишнего, с точки зрения Руссо, скептицизма. Как он признавался позже, Руссо не допускал в свой роман, т. е. в среду основных его персонажей, «ни соперничества, ни ссор, ни ревности», ибо он не хотел «омрачать радостную картину». Вместе с тем роман завершается трагически: автор реально оценивает соотношение сил добра и зла.

Развязка «Новой Элоизы» интересна еще в том отношении, что она ставит под сомнение или во всяком случае трактует с большими ограничениями и поправками выдвинутый самим же Руссо тезис о перестройке характера. Юлия признается Сен-Прё накануне своей смерти, что она долго себя обманывала, будто исцелилась от любви к нему. Она всячески старалась заглушить свое чувство, но оно, вопреки всем усилиям, сохранилось и лишь укрылось в ее сердце, пробудившись по-настоящему только тогда, когда силы стали ее оставлять. В последнем письме Юлии к Сен-Прё настойчивее, чем раньше, звучит и мысль о боге. Перед своей смертью героиня оказывается на позициях, близких к тем, которые Руссо занимает в «Исповеди савойского викария».

<...>

(Обломиевский Д. Д. Руссо // История всемирной литературы: в 9 т. / Академия наук СССР. Институт мировой литературы им. А. М. Горького. Т. 5. М.: Наука, 1988. [Гл.] 9. С. 137–141)

### Вопросы и задания

1. Назовите особенности мировоззрения Руссо, свидетельствующие о его обособленном положении среди идеологов Просвещения.

2. Поясните выражение «новые люди», используемое применительно к героям романа «Юлия, или Новая Элоиза».

3. Какими соображениями руководствуется автор, утверждая, что роман Руссо распадается на две существенно различные части?
4. Какие взгляды на воспитание личности представлены в романе?
5. Какую функцию выполняет в романе фигура друга?

### **Предтекстовое задание**

Прочитайте статью Т. В. Артемьевой, посвященную жанровым особенностям «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо. Обратите внимание на то, как автор статьи аргументирует использование термина «экспрессионизм» применительно к творческому методу Руссо.

## ***Т. В. Артемьева***

### **Случай Руссо: исповедь или экспрессионизм?**

<...>

«Я предпринимаю дело беспримерное... – пишет Руссо. – Я создан иначе, чем кто-нибудь из виденных мною, осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете... Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно, – я предстану перед Верховным судьей с этой книгой в руках... С одинаковой откровенностью рассказал я о хорошем и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил... Может быть, мне случалось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но никогда не выдавал я за правду заведомую ложь. Я показал себя таким, презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу и показал ее такую, какую ты видел ее сам, всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: „Я был лучше этого человека“»<sup>1</sup>.

Так начинается «Исповедь». Но исповедываются ли так? Руссо не только не стыдится своих грехов, но напротив, гордится ими. Кажется, что если бы он был чист перед божескими и человеческими законами, то согрешил бы специально, чтобы было чем эпатировать изумленных зрителей. Руссо не может исповедываться один на один даже с Богом – для оглашения своих грехов ему необходима «неисчислимая толпа». Евангельский эпизод трансллюцирован так, что автор «Исповеди» предстает перед нами Христом и Грешницей одновременно. Он не дает Богу сказать и слова, самовольно распоряжаясь Божиим гневом на случай, ежели кто захочет «бросить камень». Руссо полагает, что даже на Страшном Суде ему будет отведена роль центральной фигуры, и как бы застывает в медности памятника «великому Руссо», с «той самой» книгой в руках.

Жанр, к которому обратился Руссо, а вернее тот, родоначальником которого он стал, был обречен на успех. Аналитическая интроспекция была ангажирована культурной и литературной ситуацией XVIII в. Сентиментализм открыл целый мир внутренних переживаний, фактически не зависящий от внешних событий, что особенно хорошо выразилось жанром «сентиментальных путешествий». Первые «путешественники» начали заполнять белые пятна на карте собственного Я, маскируя это продвижением по пространствам европейской культурной мифологии. Первым был Л. Стерн, продемонстрировавший, что размышления и впечатления путешественника могут изменяться столь же ритмично и быть не менее многообразными, чем пейзажи, мелькающие за окнами кареты. Заставив все последующие поколения ломать голову над тем, *что же ответила на это file de chambre*, Стерн дал образец и Карамзину, падающему лицом в священные «бальзамические луга» Швейцарии, и Радищеву, тщательно описывающему свои социальные эмоции, передвигаясь от *резиденции к столице*.

В философии обращение к внутреннему устройству личности выразилось в повышенном интересе к проблеме теодицеи, или свободы воли, и осмыслению того, как взаимосвязаны (обусловлены) душа и тело, что в человеке является бессмертным, а что исчезает, и означает ли бессмертие души бессмертие личности. Эти вопросы настолько волновали людей в XVIII в., что двадцатилетний Карамзин, переписываясь с Лафатером<sup>2</sup>, в одном из первых своих писем спросил, «каким образом душа наша соединяется с телом, тогда как они из совершенно различных стихий?»<sup>3</sup>.

В аллегорической форме «познание самого себя» выражалось в образе человека, смотрящегося в зеркало. Зеркало позволяет углубить, отстранить собственный образ, придать ему статус объекта. Собственная персона становится наглядной, а потому – более понятной. Вместе с тем, отражение – это всегда «одна из» проекций, демонстрирующая не всю личность целиком, а лишь одно из ее возможных измерений.

<...>

Интерес к внутреннему миру личности во многом спровоцировал успех жанра, к которому обратился Руссо. Форма литературной исповеди как бы подразумевала, что автор разработал новую методологию анализа, могущую помочь в самостоятельных интроспективных поисках. «Откровенный рассказ о себе» вызывал уважение к автору и интерес к герою. Особенностью сочинения Руссо является то, что герой и автор не разделены, а сплочены одной целью. И этой целью является не столько анализ, сколько демонстрация и оправдание. Зеркало, изготовленное Руссо, отражает не зрителя, а самого Руссо и не более того.

В тексте «Исповеди» мы найдем довольно много откровений, очень смелых и не всегда «пристойных». Ряд признаний, по словам Руссо, был для него особенно тягостным, так как «трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно»<sup>4</sup>. Однако нужны ли были столь подробная инвентаризация и столь тщательное описание этого «смешного и постыдного»? Предполагает ли исповедальный жанр такие подробности? Действительно, на исповеди следует говорить обо всем, признаваться во всех своих грехах. Требуется ли исповедник столь детальных описаний? Не дарит ли добрый пастырь милосердную возможность ответить кратким «Да» измученному раскаянием грешнику? А если нет раскаяния, то исповедь превращается в лишенный целомудрия рассказ о неприглядных событиях своей жизни. В этом случае автор превращается в эксгибициониста, а читатель – в невольного вуайериста. Не случайно несколько позже, уже в «Прогулках одинокого мечтателя», тоже автобиографических, но менее демонстративных, Руссо заметил: «Ни о чем я не умолчал, ничего не скрыл из того, что было мне во вред, делая это благодаря умственному складу, который я затрудняюсь объяснить себе самому и который, возможно, есть следствие отчуждения от всякой подражательности; напротив, я скорее чувствовал склонность к противоположной лжи, предпочитая обличать себя с чрезмерной строгостью, чем извинять с чрезмерной снисходительностью... Я довел добросовестность, правдивость, откровенность до того предела, – и, может быть, даже перешел этот предел, – до которого никогда не доводил их никто другой...»<sup>5</sup>. Художественное чутье не изменило автору «Новой Элоизы». Он первый почувствовал несоответствие стиля и жанра еще до того как его сочинение было опубликовано, однако не изменил названия, скажем на «Автобиографию». Впрочем, сочинение Руссо нельзя назвать и так, скорее это личный дневник, часть которого записана через много лет, после прошедших событий. Дневник, не предназначенный для чужого глаза, как не предназначены для него глубины душевных переживаний. Не случайно, видно, Бог создал нас могущими не только показывать свои мысли и желания, но и подавлять их и скрывать. Не случайно понятен и явлен не человек думающий, а говорящий, совершающий усилие и сознательно демонстрирующий свои мысли. Человек не мыслит вслух, и это дар Божий. В нашей власти объявить или скрыть. Не может

быть тайны перед Всевышним, но она должна быть перед ближним. Не обязательно для того, чтобы обмануть его. Иногда просто – чтобы не смущать.

«Вождеющий в сердце» грешен, но разве не существует разницы между ним и свершающим действительное насилие? В первом случае это грех, за который он ответит перед Богом и совестью. Совершая действие, он вовлекает в пространство греха свою жертву (или соучастника), вольного или невольного свидетеля, а может быть и судью, которому надлежит вынести справедливый приговор.

Не физическое несовершенство заставляет считать человека калекой, а демонстрация этого несовершенства в расчете на рублевую жалость. Публикация текста, подобного «Исповеди», в особенности же малодушная забота о том, чтобы это было сделано после смерти, безнравственна по своей сути и не очищает Руссо от скверны совершенных грехов. Напротив, она провоцирует и других на откровение без раскаяния, на сравнения с положительной калькуляцией «в свою пользу», на провокационное предположение о вседозволенности текста. В этом смысле «Исповедь» Руссо стоит в одном ряду с сочинениями маркиза де Сада, Кревильона и Дидро, автора «Нескромных сокровищ». Конечно, не он только один является причиной интереса к сердцевине чужой жизни. Руссо лишь выразил интенцию, сделав это масштабно и талантливо, а потому на нем лежит мера ответственности, соответствующая значимости его авторитета.

Духовный эксгибиционизм Руссо убедил интеллектуального читателя не только в том, что чужая частная жизнь может представлять зону повышенного внимания, но в том, что этот интерес может носить нравственный характер. Не «Исповедь» ли спровоцировала волну публикаций дневниковых записей, частной переписки, личных заметок, вовсе не предназначенных для обнародования, которая захлестнула книжные прилавки в XIX–XX вв.? Так ли очевидно, что мы можем вторгаться в тщательно хранимые семейные тайны, знать то, в каких выражениях великий поэт делал замечания своей молоденькой жене, как развивалась драма взаимного непонимания в семье великого писателя? Почему любой школьник может сосчитать, сколько возлюбленных было у Екатерины Великой (не случайно она так не любила Руссо)? Почему почти оформилось научное направление, в рамках которого исследовательницы со стародевическими комплексами рассуждают о поступках пылких подруг художников и писателей? Не Руссо ли с его искренними признаниями, не исключаящими, впрочем, банального нарциссизма («я слишком люблю говорить о себе...»), дал санкцию для научного поиска в глубинах чужих душ? Переживания Другого всегда интересны, особенно когда этот Другой выделен из толпы масштабами своей личности. Однако не уничтожают ли эти археологические исследования пластов чужого сердца какие-то основания целомудренной неосведомленности, не возвращают ли самого исследователя, заставляя всматриваться в замочную скважину архива или частного собрания?

Сколько признаний известны священнику, принимающему исповедь. Но ведь он хранит тайну о том, что слышит.

(Артемова Т. В. Случай Руссо: исповедь или эксгибиционизм? // Метафизика исповеди: Пространство и время исповедального слова: материалы междунар. конф. (Санкт-Петербург, 26–27 мая 1997 г.). СПб.: Изд-во Ин-та человека РАН (СПб. отд.), 1997. С. 61–63, 65–67)

### Примечания

<sup>1</sup> Руссо Ж.-Ж. Исповедь // Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. М., 1961. С. 9–10.

<sup>2</sup> Иоганн Каспар Лафатер (1741–1801) – швейцарский богослов, писатель и поэт, автор трудов по физиогномике – учению о связи внутренних свойств и качеств человека с его внешним обликом. (Примеч. сост.)

<sup>3</sup> Переписка Карамзина с Лафатером 1786–1790, найденная доктором Вальцманом в Цюрихе // Приложение к т. LXXXIII Записок Императорской Академии наук. СПб., 1893. С. 16.

<sup>4</sup> Там же. С. 21.

<sup>5</sup> *Руссо Ж.-Ж.* Прогулки одинокого мечтателя // *Руссо Ж.-Ж.* Избр. соч. С. 605.

### **Вопросы и задания**

1. Чем, по мнению автора статьи, объясняется успех жанра, в котором написана книга «Исповедь»?

2. Какое жанровое определение представляется автору статьи наиболее подходящим для «Исповеди»? Почему?

3. Что сближает «Исповедь» с сочинениями маркиза де Сада, Кребийона, Дидро – автора романа «Нескромные сокровища»?

4. Какую роль отводит исследовательница книге Руссо в истории автобиографической литературы?

## **Пьер-Амбруаз-Франсуа Шодерло де Лакло (1741–1803)**

### **Предтекстовое задание**

Прочитайте фрагмент статьи Ю. Б. Виппера о Лакло, обратите внимание на характеристику жанровых особенностей и проблематики романа «Опасные связи», а также психологии центральных персонажей.

*Ю. Б. Виппер*

### **Два шедевра французской прозы XVIII века**

<...>

<...> Появление в свет в 1782 году «Опасных связей» вызвало волну негодования в светских кругах и среди благонамеренно настроенных литераторов. Противники Лакло кричали о безнравственности романа, а на самом деле опасались его разоблачительного звучания. Им было ясно, какой мощный заряд был заложен в книге, созданной почти одновременно с такой бунтарской вещью, как «Женитьба Фигаро» Бомарше.

<...>

<...> Лакло рано проникся оппозиционными настроениями по отношению к существующему режиму. Нравы господствующих кругов его отталкивали, порядки, царившие в стране, где общественное брожение принимало все более грозный характер, возмущали. Решив бороться за свои убеждения, он избрал своим оружием перо. Лакло стал собирать сведения, разоблачающие нравы представителей именитых аристократических семей. Есть основание предполагать, что у него было намерение написать резкий политический памфлет. Затем, однако, весь этот накопленный материал он переплавил в художественные образы. Взяв в 1781 году отпуск и обосновавшись на некоторое время в Париже, он создал «Опасные связи». Воплотив в этой книге роившиеся у него в сознании мысли, настроения и жизненные впечатления, Лакло отошел от литературного творчества. <...>

<...>

<...> Шодерло де Лакло сосредоточил свое внимание на нравах высшего светского общества Франции в конце века – в канун революционного взрыва.

Образ безнравственного дворянина, соблазняющего девушек из добропорядочных буржуазных семейств, – тема, широко распространенная в западноевропейской литературе XVIII века. Лакло решает ее своеобразно. Ему чужды мелодраматизм и нравоучительная декламация, свойственные творчеству сентименталистов. Он далек и от поверхностной анекдотичности, от любования пикантными деталями, свойственного светским эротическим романам. Лакло раскрывает внутренний мир персонажей реалистически. Он выступает в этом отношении продолжателем художественной традиции, которая была заложена Мольером – создателем образа Дон-Жуана. Следуя примеру Мольера, Лакло не схематизирует, но и не мельчит и не приглаживает характеристики тех циничных и черствых людей, нравы которых он анализирует и рисует. Но именно поэтому ему, как и его замечательному предшественнику, удастся проникнуть в самую сердцевину сущности изображаемой им среды: создав живые и полнокровные характеры, он достигает обобщения большого масштаба.

Подобно Дон-Жуану, виконт де Вальмон и маркиза де Мертей соединяют в себе утонченность светской и интеллектуальной культуры с душевной испорченностью, с предельным себялюбием и цинизмом. Эта параллель говорит одновременно и о том, как деградировало французское дворянство за столетие, отделяющее пьесу Мольера от романа Шодерло де Лакло. «Опасные связи» служат в этом отношении неопровержимым историческим документом. Чувственность мольеровского Дон-Жуана была раскалена пламенем страстности, в ней прорыва-

лось опьянение не столь уж давно обретенной возможностью свободно наслаждаться земными благами, в ней были еще слышны отголоски стихийного ренессансного жизнелюбия. Образ мыслей Дон-Жуана сохранял в себе оттенок бунтарского вызова по отношению к тем мрачным общественным силам, которые проповедовали аскетизм и слепое подчинение авторитетам. Вольнодумство Вальмона, этого потомка Дон-Жуана, лишено какого-либо ореола бунтарства. Оно уже ни в какой мере не способствует борьбе с предрассудками и, наоборот, может только калечить людей. Чувственность Вальмона выродилась в развращенность, превратилась в сведение житейских счетов, в орудие тщеславия и интриги.

О том же исторически неумолимом процессе деградации дворянской среды свидетельствует своеобразная и не лишенная демонической силы фигура госпожи де Мертей. Соревнуясь с Вальмоном в изощренном причинении зла, маркиза превосходит своего союзника-антагониста в отношении воли, монолитности и порочности натуры. Она и есть истинный гений зла в романе, основная движущая пружина действия. Именно она направляет в решающие моменты поведение Вальмона. Эта гегемония маркизы де Мертей не случайный плод воображения писателя, а также черта типическая, соответствующая той доминирующей роли, которую играла женщина в дворянской цивилизации. Как изменилось, однако, содержание этой роли за те же сто с небольшим лет! Аристократические героини Фронды<sup>1</sup> тоже были снедаемы честолюбием, направляли волю мужчин, плели бесконечные интриги. Но они были увлечены идеалами, почерпнутыми из рыцарского прошлого, вдохновляли политические заговоры и военные кампании, мечтали о том, чтобы определять течение государственных дел. Прототипы расиновских героинь умилили свои политические претензии, замкнулись в мире любовных переживаний, но это были подлинные страсти, которые их сжигали. Маркизе де Мертей незнакомы порывы чувств и душевные страдания; она руководствуется лишь холодным и злобным расчетом.

И Вальмону и госпоже де Мертей присущи тщеславие и обостренное, не прощающее малейших обид самолюбие. Высшее удовлетворение для Вальмона – вызывать восхищение в «свете» своими любовными победами. Вальмон ничего так не опасается, как иронических комментариев и насмешек, которые могли бы прозвучать по его адресу в каком-нибудь из аристократических салонов<sup><...></sup>. Так в романе Лакло из отдельных, разрозненных деталей вырисовывается зловещий образ светского общества как антигуманной силы, губительной для независимой человеческой личности. <...>

Маркиза и Вальмон стремятся сломить волю своих жертв, втоптать их в грязь, садистски продлить их моральные страдания. Каждая попытка сопротивления вызывает у них возмущение и удесятерляет энергию. Цель, согласно их убеждению, оправдывает любые средства. Навязчивый, заполнивший все их сознание эротизм сочетается у них с моральной извращенностью, и они не случайно являются современниками маркиза де Сада, писателя, запечатлевшего следы распада в нравственном облике французского дворянства конца XVIII столетия.

Однако значение образов, созданных Лакло, выходит за рамки современной писателю эпохи. Изображая людей, которые видят смысл своего существования в том, чтобы, возбуждая в окружающих примитивные инстинкты, унижать их человеческое достоинство и низводить их до собственного морального уровня, писатель вскрывает умонастроения, характерные для любой вырождающейся среды, стоящей на пороге гибели. В этом художественном открытии – один из источников непреходящей идейной и эстетической актуальности «Опасных связей».

В образах виконта и маркизы привлекает внимание еще одна характерная черта – их доведенная до предела рассудочность. Оба они анализируют и держат под контролем разума любой свой поступок, любой наплыв настроения, рассчитывают каждый свой шаг и каждый шаг своих противников в той запутанной, рискованной игре, которую они ведут. Это даже не столько игра, сколько схватка, ожесточенная борьба, подчиненная строго продуманной тактике и стратегии. Недаром письма обоих сообщников изобилуют военными терминами. Любовь,

как и вся жизнь, для них – это не знающее пощады столкновение умов и характеров, в котором каждый стремится подчинить себе другого.

В своем самоанализе и в своих расчетах Вальмон и маркиза проявляют себя тонкими психологами, и прежде всего прекрасными знатоками человеческих слабостей и пороков. Это неудивительно. Оба они впитали в себя все, что аристократическая цивилизация могла дать: будь то светский лоск, изощренное эпистолярное мастерство или знание извивов человеческой души. Их письма свидетельствуют не только о великолепной осведомленности в области художественной литературы. Они дети своей эпохи и на свой лад ассимилировали характерные для них духовные веяния.

Вальмон и в первую очередь госпожа де Мертей – это литературные персонажи, обладающие определенной жизненной концепцией, четко продуманной жизненной философией, которой они твердо и последовательно подчиняют свое поведение. Сконструировав эту концепцию на основе накопленных наблюдений, они стремятся, руководствуясь принципами, в которые уверовали, подчинить себе окружающую действительность, поставив ее на службу своим целям. В этом есть нечто принципиально новое по сравнению с предшествующим развитием жанра романа. Здесь сказывается, в частности, своеобразная диалектика в трактовке взаимоотношения индивида и среды. Человек выступает у Лакло не пассивным продуктом среды, слепо приспособляющимся к ней, а находится в состоянии взаимосвязи с последней. Формируясь под влиянием среды, он пытается, используя познанные им закономерности и выработанные им идеологическую систему, в свою очередь активно воздействовать на среду – подчинить ее своим интересам. <...>

В художественном мироощущении Лакло дают себя знать разного рода влияния. В нем можно отчетливо ощутить рационалистическую тенденцию. Тонкий мастер психологического анализа, Лакло многим обязан культуре классицизма XVIII века, и прежде всего трагедии (Расин), эпистолярной и мемуарной литературе (г-жа де Севинье и Рец) и моралистике (Ларошфуко). Он многое почерпнул и у энциклопедистов. Но Лакло одновременно был горячим почитателем Руссо. К самому жанру романа в письмах он обратился в равной мере под влиянием «Клариссы Гарлоу» Ричардсона – произведения, увлекшего его образами центральной героини и Ловласа, и под воздействием «Новой Элоизы» Руссо. Лакло пытался в подражание «Эмилю» Руссо создать трактат «О воспитании женщин», он вдохновлялся поэтическим образом Юлии и мечтал на склоне лет написать роман, в котором воспевались бы радости семейной жизни. В «Опасных связях» он подвергает критике цивилизацию, основанную на безраздельном господстве рассудка и пренебрегающую правами сердца, голосом чувств. Лакло показывает, что рафинированный интеллектуализм его аристократических героев, не согретый любовью к людям, лишенный сердечного тепла, становится опасной силой и перерождается в бездушную расчетливость, в бесплодное кипение ожесточившегося ума.

Духовные устремления, воспринятые у Руссо, питали художественную мысль Лакло, когда он создавал поэтический и трагический образ жены парламентского президента госпожи де Турвель, единственного из центральных персонажей романа, не принадлежащего по своему происхождению к дворянству <...>.

Бодлер<sup>2</sup> отмечал чисто расиновское мастерство, с которым Лакло воспроизводит оттенки, переходы, нарастание чувств, бушевающих героиню. Это чувство в результате напряженной борьбы берет в конце концов верх над представлением госпожи де Турвель о супружеском долге. Шодерло де Лакло подхватывает старый, излюбленный классицистами конфликт – столкновение долга и чувства, но развивает и решает его на новый лад. В центре его внимания стоит проблема внутренней цельности человека. Изображение душевного смятения и разлада, который овладевает человеком, теряющим внутреннее равновесие в результате измены своим жизненным принципам, было необычным в эпоху, когда еще преобладали типично рационали-



стические представления о закономерностях, господствующих в психологической жизни человека. <...>

Госпожу де Турвель, человека эмоционального, не в меньшей мере, однако, чем ее антагонистов, характеризует осознанность поведения. В этом отношении она столь же интеллектуальный герой, как и маркиза де Мертей. Все дело в том, что интеллект у нее не иссушил души, и принципы, которым она следует, иные. Суть страданий госпожи де Турвель заключается в невыносимости для нее мысли, что она изменяет своим принципам, самой себе. «Падение» героини еще не влечет за собой ее морального распада. Отдаваясь возлюбленному, она находит новую внутреннюю цельность – на этот раз уже не в предписаниях религии и семейного долга, а в самой любви, в том пафосе самопожертвования, который та несет с собой. Катастрофа разражается лишь тогда, когда Вальмон растаптывает это чувство, когда выясняется, что оно порождено иллюзиями.

Об умении Шодерло де Лакло, подобно аббату Прево, создавать характеры сложные и многоплановые, воспроизводить душевную жизнь персонажей в ее диалектике, отражающей жизненные противоречия, ярко свидетельствует и образ Вальмона<sup><...></sup>. Этот аристократ-соблазнитель не похож на тех «исчадий ада», тех мелодраматических злодеев, какими, как правило, молодые распутные дворяне выступают в произведениях писателей-сентименталистов (образ Ловласа в этом отношении представляет собой некоторое исключение: в нем уже немало отдельных реалистических черт). Подобно мольеровскому Дон-Жуану, Вальмон сочетает душевную опустошенность с теми внешне блестящими качествами, которые предоставляла человеку аристократическая цивилизация. Более того, он смел и благороден, когда речь заходит о том, что некогда составляло истинное призвание его сословия, а именно о воинском поединке.

Внутренний мир Вальмона не однолинеен. И отнюдь не просты взаимоотношения виконта и маркизы. Эти два человека, бывшие любовники, затем разошедшиеся, но оставшиеся сообщниками, испытывают непреодолимое влечение друг к другу – и одновременно ревность, антипатию, вражду. Затаенный эмоциональный подтекст присущ и истории соблазнения Вальмоном госпожи де Турвель. Из отдельных штрихов можно заключить, что в глубине души виконта зреет настоящее сильное чувство к своей жертве. Однако Вальмон подавляет это чувство, опасаясь насмешек света и поддаваясь искусным наущениям своего злого гения – маркизы. И в этих эпизодах мы вновь имеем дело с тем отмеченным печатью диалектики подходом к изображению взаимосвязей между личностью и средой, который отличает Лакло. В душе Вальмона живут стремления, которые временами вступают в противоречие с влиянием окружающей среды. Но у тщеславного и не одаренного сильной волей аристократа эти порывы быстро гаснут. Когда же в заключении романа они вспыхивают с новой силой – уже поздно: госпожа де Турвель обречена на гибель.

<...>

Прево разрабатывал тип романа-биографии; Лакло же довел до совершенства жанр романа в письмах, ставший особенно популярным во второй половине XVIII века. У сентименталистов, авторов романов в письмах, мы находим часто пространные рассуждения и не менее растянутые лирические излияния. Лакло выявил заложенную в этом жанре драматическую потенцию и реализовал ее. Он многое перенял от мастеров французского театра, и в первую очередь от такого выдающегося трагедийного писателя, как Расин. Удаче Лакло способствовало известное внутреннее сходство, которое жанр эпистолярного романа имеет с произведениями драматургии. В этом виде романа отсутствует текст от автора, в нем нет эпического повествования в подлинном смысле этого слова; это тоже изображение действительности в лицах. Герои здесь представлены не со стороны, а только изнутри – своей речью. В противоположность сентименталистам Лакло добивается сжатости изложения, сосредоточивая свое внимание на столкновении характеров, на динамике борьбы, отсекая все лишнее, все то, что

не является необходимым для раскрытия внутреннего облика героев, для мотивировки их поступков. Наконец, сходство с театральным произведением усугубляется еще и следующим обстоятельством. Персонажи романа в письмах выступают перед читателем и друг перед другом не только такими, какие они есть на самом деле, а прежде всего такими, какими они хотят казаться. Вальмон же и маркиза де Мертей особенно склонны к игре, маскировке и перевоплощению.

Композиция «Опасных связей» взвешена вплоть до мельчайших подробностей. Строжайшим образом согласованы между собой, например, даты написания отдельных писем, и вместе с тем очень точно выверено соотношение между хронологической последовательностью их отправки и порядком их расположения в романе. Писатель строит композицию романа так, чтобы параллельно и равномерно развивать все три основные сюжетные линии (Вальмон – маркиза, Вальмон – госпожа де Турвель, история соблазнения Сесили). При этом он умело нагнетает драматическое напряжение, используя эффекты контраста и неожиданности. Так, письмо 124, написанное госпожой де Турвель, дышит уверенностью в том, что ей суждено наконец обрести душевный покой. Следующее же письмо начинается триумфальным возгласом Вальмона, сообщающего маркизе о своей победе. Начало «Опасных связей» несколько тягуче. Экспозиция романа в письмах всегда сопряжена с трудностями и поэтому оказывается невольной замедленной. Однако затем, по мере того как обрисовываются конфликты, действие романа развивается все более стремительно, достигая своей кульминации в конце книги.

Автор «Опасных связей» – тонкий стилист. В романе в письмах умение индивидуализировать стиль персонажей играет особенно важную роль, служит основным, решающим средством характеристики героев. Лакло стремится придать их письмам некоторое общее стилистическое единство. Ведь все они по своему внешнему положению ровня, люди одного светского круга. И пишут они поэтому языком, в котором есть много общего, – это литературная речь, распространенная в светском обществе Франции середины XVIII века. Язык этот еще несет на себе отпечаток классицистических идеалов, и роль общеобязательных канонов сказывается в нем, естественно, ощутимее, чем, например, в середине XIX века. Однако на этом как бы нейтральном фоне вырисовываются отдельные индивидуальные стилистические оттенки. Это разнообразие еще увеличивается из-за того, что Вальмон и маркиза де Мертей, по причине двойной и даже тройной игры, которую они ведут, пишут разными стилями, в зависимости от того, к кому они обращаются. Как отличаются, например, патетические послания, которые Вальмон направляет госпоже де Турвель (они изобилуют стилистическими приемами, распространенными в литературе сентиментализма), от тех цинично откровенных, пронизанных иронией, но одновременно и очень точных по выражению мысли и лишенных каких-либо словесных прикрас писем, которые он шлет маркизе. А с каким мастерством сделаны письма, которые Сесиль пишет под диктовку Вальмона! В них сквозь имитацию той наивно угловатой манеры, которая отличает письма девушки, как бы невольно просвечивают развязность и свобода выражения, характеризующие виконта.

Стилистические нюансы дают возможность Лакло обрисовать и душевную эволюцию героя. Переписку юного кавалера Дансени, до тех пор пока он живет в иллюзорном мире рыцарски-куртуазных идеалов, отличает изобилие выпретенных, несколько искусственных оборотов. Столкнувшись с жизненной правдой и душевно возмужав, Дансени, сохраняя изысканность светского слога, начинает излагать свои мысли проще и энергичнее.

В характеристике второстепенных персонажей «Опасных связей» необычное для того времени умение Лакло придавать речи индивидуальные очертания выявляется особенно ярко. Разве можно, например, смешать несколько архаическую, старомодную и вместе с тем согретую человеческим теплом манеру письма, отличающую престарелую госпожу де Розмонд, и гораздо более шаблонный, стереотипный и безликий слог ее подруги – недалекой и заурядной светской дамы госпожи де Воланж? С чисто комедийным блеском, но в последовательно

реалистическом ключе (без тех элементов буффонады, которыми окрашена, скажем, языковая характеристика персонажей-слуг у Мариво-комедиографа) сделан миниатюрный, но выразительный стилистический портрет егеря Азолана, старательно, но неуклюже подражавшего языку господ.

От традиции классицистической моралистики воспринял Лакло пристрастие к чеканным афоризмам. На страницах «Опасных связей» рассыпано немало тонких, психологических наблюдений, которым придана отточенная форма сентенций («Настоящий способ побеждать сомнения – это постараться сделать так, чтобы тем, у кого они имеются, больше нечего было терять», «Вот каковы люди! Равно бессовестные по своим намерениям, они называют честностью слабость, которую проявляют в их осуществлении», «Поверьте мне, виконт, редко приобретаешь те качества, без которых можешь обойтись» и т. д.).

(*Vunner Ю. Б.* Два шедевра французской прозы XVIII века // Виппер Ю. Б. Творческие судьбы и история: (О западноевропейских литературах XVI – первой половины XIX века). М.: Художественная литература, 1990. С. 240–242, 252–260)

### **Примечания составителя**

<sup>1</sup> Фронда – серия антиправительственных смут во Франции в 1648–1653 гг., завершившаяся поражением оппозиции и установлением неограниченной монархии Людовика XIV.

<sup>2</sup> Шарль Бодлер (1821–1867) – французский поэт и критик, автор поэтического сборника «Цветы зла» (1857). В конце жизни Бодлер задумал написать предисловие к «Опасным связям» Лакло. Замысел не был осуществлен, но сохранились критические замечания к роману, впервые опубликованы в кн.: *De l'Éducation des femmes par Choderlos de Laclos... / avec une introduction et des documents par É. Champion, suivis de notes inédites de Ch. Baudelaire.* Paris, 1903.

### **Вопросы и задания**

1. Как, по мнению автора статьи, в романе «Опасные связи» эволюционирует образ безнравственного дворянина, восходящий к Дон Жуану Мольера?
2. Охарактеризуйте точку зрения Лакло на взаимоотношения между человеком и средой.
3. В чем выражаются руссоистские тенденции в романе Лакло?
4. Изложите точку зрения автора статьи на то, как в романе «Опасные связи» реализуется потенциал драматургических жанров.
5. Какие выводы о характере героев можно сделать на основании стилистических особенностей их писем?

## Пьер-Огюстен Карон де Бомарше (1732–1799)

### Предтекстовое задание

Прочитайте отрывки из исследования Ф. Гранделя о Бомарше, обратив особое внимание на то, как автор связывает личностные характеристики писателя с основной проблематикой его творчества.

### Ф. Грандель Бомарше

#### VIII. «Севильский цирюльник»

<...>

Прежде чем увидеть свет, эта пьеса [«Севильский цирюльник»] мелькала уже не раз. Считается, что сначала она имела форму парада, затем, как известно, превратилась в комическую оперу, отвергнутую Итальянским театром, наконец приобрела свой теперешний вид, иными словами, стала комедией, которая – о неопишуемая радость! – пережила по меньшей мере три этапа. Первый вариант комедии, в четырех действиях, одобренный цензурой, в данном случае Мареном<sup>1</sup>, должен был пойти 12 февраля 1774 года на сцене «Комеди Франсэз»<sup>2</sup>, в ту пору игравшей в Тюильри; однако 11 февраля «Цирюльник» был запрещен, поскольку накануне Бомарше выпустил свой «Четвертый мемуар», и разразился громкий скандал. Второй вариант, в пяти действиях, был сыгран всего один раз – 23 февраля 1775 года – и провалился. Но «Цирюльник» не позволил положить себя на лопатки и два дня спустя, после авторской переработки, прошел с триумфальным успехом в своем окончательном виде. От одной рукописи к другой текст значительно меняется. Изучение и сравнение вариантов, анализ купюр потребовали бы по меньшей мере сотни страниц. Эта, без сомнения, увлекательнейшая работа была уже проделана целой когортой специалистов <...>.

Итак, провалившись в пятницу, в воскресенье «Цирюльник» одержал победу: «На премьеру комедия была освистана, на втором спектакле имела невероятный успех», – рассказывала госпожа Дюдеффан<sup>3</sup>. Всякий, кто хоть немного знаком с театром, представляет себе, чего стоило добиться такого чуда! Но, как говорит Фигаро графу Альмавиве: «Чем труднее добиться успеха, ваше сиятельство, тем решительнее надо приниматься за дело»<sup>4</sup>. Тут мало было самому разбиться в лепешку, пришлось заставить актеров разучить новые роли, а рабочих сцены – сделать необходимые изменения в декорациях. Бомарше, который всегда умел добиться невозможного, тут превзошел самого себя. Не будем заблуждаться, этот внешне легкий, почти непринужденный триумф был, как обычно, плодом напряженного труда.

В своем теперешнем виде – другого мы рассматривать не будем, поскольку спуск, изобретенный в двадцать лет, интересуется нас лишь в его финальном совершенстве, – «Цирюльник» представляется простейшей из комедий. Сам автор так изложил вкратце ее канву: «Влюбленный старик собирается завтра жениться на своей воспитаннице; юный ее поклонник, как более ловкий, опережает его и в тот же день сочетается с нею законным браком под самым носом опекуна, у него же в доме». По этой схеме, древнейшей на свете и не единожды проверенной, только во Франции уже были поставлены, пропеты, разыграны тысячи фарсов, всевозможных пьес и пантомим. Некоторые из них известны Бомарше, к примеру «Тщетная предосторожность» Скаррона; он этого даже не скрывал, коль скоро назвал свою комедию «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность». А также – «Школа жен». Но и у Скаррона и у

Мольера были в свою очередь предшественники, итальянские или испанские источники, это всем известно, и никого не смущает. Схема – в общей сокровищнице и в самой жизни, бери кто хочет. Вот ее и используют как хотят, точнее – как могут: театр всегда творится наново. Бомарше показал себя в «Цирюльнике» человеком смелым. До него никто, даже Мольер, не был так непринужденно динамичен. Опыт парадов, пристрастие к каламбурам, двусмысленностям, словесной игре (склонность, присущая многим крупным писателям, – Бальзак, например, это обожал) позволили ему с блеском жонглировать словами, всячески переиначивать их, не страшась разрушения речи, вплоть до бессмыслицы. Подобно Мольеру, он употреблял повторы, даже злоупотреблял ими, опьяняясь этой преизбыточностью. Что до механизма интриги, то она в «Цирюльнике» точна, как часы. Все тщательно выверено, подготовлено, сцеплено до невероятия. Мы находимся в «царстве путаницы», а отнюдь не в реальном мире. Бартоло, когда нужно автору, дальнорук, когда нужно – близорук, то остер на ухо, то глуховат. Он не узнает Альмавиву, сменившего лишь костюм, но замечает письмо, кончик которого выглядывает из корсажа Розины, или чернильное пятнышко у нее на пальце; в одной и той же сцене он просит графа: «Говорите громче, я плохо слышу на одно ухо» и «неужели нельзя говорить тише?». Бомарше не просто с необыкновенным хитроумием обосновывает эти противоречия, он использует их, чтобы насмешить. В третьем действии на протяжении пяти картин, неподражаемых по забавности, слаженных как балет, граф, Розина и Фигаро пытаются удалить Бартоло на время, необходимое, чтобы Альмавива успел сообщить девушке нечто чрезвычайно важное. Когда же опекун наконец выходит, Бомарше с чертовской ловкостью умудряется сделать так, что, вопреки всякой логике, графу не удастся переговорить с Розиной, и благодаря этому действие вновь закручивается. Обвели вокруг пальца не Бартоло, а зрителя, но он от этого в восторге.

Надо сказать, что Бомарше поистине вдохнул новую жизнь в персонажей традиционной комедии. Я сейчас имею в виду не Начеку, который вечно дремлет, и не Весну, который дряхл, но Базиля и, главное, Бартоло. Этот буржуа-ретроград, отнюдь не скрывающий своего отвращения к новому веку – «Что он дал нам такого, за что мы могли бы его восхвалять? Всякие глупости: вольномыслие, всемирное тяготение, электричество, веротерпимость, оспопрививание, хину, энциклопедию и мешанские драмы...» – вовсе не дурак. Хитрый, подозрительный, проницательный психолог, он опасный противник для Альмавивы, Розины и Фигаро. Ум позволяет ему раскусить все их уловки и тем самым сообщает комедии напряжение. Если Альмавива не подымается до Дон Жуана, с которым у него много общего, то Бартоло куда сообразительней и достоверней Арнольфа. Кроме того – и это также представляется мне новым – он не теряет достоинства, потерпев неудачу; Бартоло реабилитирует обманутых стариков.

Однако ни живость стиля, ни блестящая композиция, ни новое в характере Бартоло еще не объясняют магии «Цирюльника». Не будь в ней Фигаро, кто воспринял бы сегодня эту пьесу? И дело не в том, что именно Фигаро обеспечивает развитие сюжета. Это верно, не спорю, но неповторимость, особое звучание и, повторяю, магию, как это ни парадоксально, придают пьесе именно те его речи, которые не имеют прямого отношения к интриге. Попробуйте, забавы ради, вырезать длинные реплики Фигаро, самые знаменитые, и вы увидите, что ни композиция, ни развитие сюжета в «Цирюльнике» от этого не пострадают, даже напротив, но зато от гениальной комедии не остается ничего. Как мы увидим в дальнейшем, совершенно бесполезен для хода комедии и важнейший великолепный монолог Фигаро в «Женитьбе», он только угрожающе замедляет действие и отвлекает внимание зрителя. Но чем была бы «Женитьба» без этого монолога? Появление Фигаро – решающий поворот в истории нашей драматургии. Вместе с ним на сцену выходит, чтобы отныне не покидать ее, авторское «я». В «Опытах» или «Исповеди» автор выражает себя прямо в своих размышлениях или признаниях; в «Цирюльнике» и «Женитьбе» он проникает в произведение как взломщик, его неприличное присутствие нарушает правила игры и путает карты. Однако интерес зрителя приоб-

ретают иное направление – его неудержимо влечет к себе этот незнакомец; сам того не ведая, зритель только им и занят. На сцене существуют два Фигаро, цирюльник и Бомарше, как на страницах «В поисках утраченного времени» – рассказчик и Пруст<sup>5</sup>. В 1775 году подобное вторжение творца в пьесу, его появление среди персонажей было скандальным, но время уже созрело для этого скандала. Эпоха была к нему подготовлена «Мемуарами для ознакомления». После головокружительного успеха этих четырех текстов Бомарше понял, что самый интересный из его сюжетов – он сам. Театральный или романический вымысел для писателя только повод, чтобы выразить, обнажить себя, перейти к признаниям. Начиная с Бомарше, писатели, как всем известно, охотно сбрасывают маску, драматурги, однако, реже других; очевидно, для этого удобнее роман, ставший излюбленным жанром XIX и XX веков. <...>

Во французской драматургии, где слуги всегда играют важную роль, есть три лакея, которые протестуют всерьез: Сганарель, Фигаро и Рюи Блаз<sup>6</sup>. Сганареля, как мне кажется, ошибочно считают только смешным. Суеверие отнюдь не единственная черта его характера. Суждения Сганареля о Дон Жуане нередко справедливы, а подчас и язвительны. Но он никогда не осмеливается атаковать своего господина прямо: «Будь у меня такой господин, я сказал бы ему напрямик, глядя в лицо... Вы что же думаете, если вы дворянин, если у вас белокурый отлично завитый парик, шляпа с перьями, костюм, шитый золотом, да ленты огненного цвета (это я не вам говорю, а тому господину), то вы, сказал бы я, уж и умнее всех, все вам дозволено и никто не смеет сказать вам правду в глаза?»

Слова Сганареля – обвинительный акт против вольнодумца, но на общество он отнюдь не посягает, он, напротив, консерватор. К тому же Сганарель говорит вовсе не от лица Мольера, который стоит, скорее, на стороне Дон-Жуана. Рюи Блаз очертя голову восстает против всех устоев, однако он в еще меньшей степени, чем Сганарель, второе «я» автора – он всего лишь пешка на шахматной доске драмы, ну, скажем, – рыцарь справедливости, Зорро – благородный герой без страха и упрека, иными словами – никто. Остается Фигаро – между малодушным Сганарелем и бесплотным Рюи Блазом. Если он еще и обращается к своему господину, называя его ваше сиятельство или монсеньор, то лишь потому, что так принято, в остальном же никакой дистанции не соблюдает и подходит вплотную, чтобы нанести точный и сильный удар:

«Г р а ф. ...Помнится, когда ты служил у меня, ты был изрядным сорванцом...

Ф и г а р о. Ах, боже мой, ваше сиятельство, у бедняков не должно быть ни единого недостатка – это общее мнение!

Г р а ф. Шалопаем, сумасбродом...

Ф и г а р о. Ежели принять в рассуждение все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли, ваше сиятельство, найдется господ, достойных быть слугами?»

Не очень-то это любезно по отношению к Альмавиве, и того меньше – по отношению к публике «Комеди Франсэз», среди которой, если мои сведения правильны, слуги в ту пору встречались не часто.

«На мне лакейский фрак, у вас – душа лакея», – скажет позднее Рюи Блаз. Когда Виктор Гюго писал эту реплику, он не рисковал ничем, разве что – обидеть челядь: дон Саллюстий в зале не присутствовал. Продолжим сравнение, точнее, сопоставление. Виктор Гюго в своей пьесе, в сущности, общества не задевает. Подобно буржуазной даме-благотворительнице, с большей, впрочем, не спорю, самоуверенностью он склонен прослезиться, пожалев бедняков, бедных матросов и бедных сироток. Нищета причиняет ему боль, но если она и кажется ему невыносимой, то остается все-таки чуждой. Гюго только наносит визит беднякам, поэтому в девяти случаях из десяти он облачен в траур и мрачен ликом. Бомарше же смеется над невзгодами, ему к ним не привыкать. Он спешит посмеяться, потому что боится, как бы не пришлось заплакать. Посмеяться и куснуть.

«Г р а ф. Зато я тебя не узнаю. Ты так растолстел, раздобрел...

Ф и г а р о. Ничего не поделаешь, ваше сиятельство, – нужда».

Как хлыстом огрел. Эту реплику обычно толкуют совсем неправильно. Альмавива тоже рассуждает как дама-благотворительница – раз бедняк, значит, должен быть тощ!

Но в тех коротких цитатах, которые я привел, говорит пока персонаж – Бомарше еще не оттеснил Фигаро. По-настоящему он появляется на сцене только со словами о «республике литераторов», минут через пять после поднятия занавеса. До сих пор он лишь намекал, подмигивал зрителям партера, но вдруг внезапный поворот – Фигаро уступает свое слово автору:

«Г р а ф. ...Но ты мне так и не сказал, что побудило тебя расстаться с Мадридом.

Ф и г а р о. Мой ангел-хранитель, ваше сиятельство: я счастлив, что свиделся с прежним моим господином. В Мадриде я убедился, что республика литераторов – это республика волков, всегда готовых перегрызть друг другу горло, и что, заслужив всеобщее презрение смехотворным своим неистовством, все букашки, мошки, комары, москиты, критики, завистники, борзописцы, книготорговцы, цензоры, все, что присасывается к коже несчастных литераторов, – все это раздирает их на части и вытягивает из них последние соки. Мне опротивело сочинительство, я надоел самому себе, все окружающие мне опостытели, я запутался в долгах, а в карманах у меня гулял ветер. Наконец, рассудив, что ощутительный доход от бритвы лучше суетной славы пера, я оставил Мадрид. Котомку за плечи, и вот, как заправский философ, стал я обходить обе Кастилии, Ламанчу, Эстремадуру, Сьерра-Морену, Андалусию; в одном городе меня встречали радушно, в другом сажали в тюрьму, я же ко всему относился спокойно. Одни меня хвалили, другие шельмовали, я радовался хорошей погоде, не сетовал на дурную, издевался над глупцами, не клонил головы перед злыми, смеялся над своей бедностью, брил всех подряд и в конце концов поселился в Севилье, а теперь я снова готов к услугам вашего сиятельства – приказывайте все, что вам заблагорассудится».

Удивительный лакей, странный цирюльник, вы не находите? Значит, Фигаро – писатель. Допустим! Ну а что же это за насекомые? О каких борзописцах идет речь? Марен? Бакюлар? Бертран? Вы не ошиблись. А книготорговцы? Бедный Леже! «Я запутался в долгах», гляди-ка! Зрители 1775 года тотчас смекнули, о ком речь. С этой минуты они прислушиваются уже не к Фигаро, они внимают Бомарше. «В одном городе меня встречали радушно, в другом сажали в тюрьму, я же ко всему относился спокойно» – публика без труда следует запутешествием из Лондона в Вену. И чтобы уж не осталось никаких сомнений, короткое замечание: «Одни меня хвалили, другие *шельмовали*». Да, шельмовали. Бомарше вписал эти несколько слов, весьма многозначительных, всего за несколько дней до премьеры. Иначе цензоры, как легко себе представить, вцепились бы в них! Тирада заканчивается, как вы заметили, сообщением, что Фигаро вернулся в Севилью (Бомарше вернулся в Париж) и снова готов к услугам его светлости. Кого же? Альмавивы или Людовика XVI? Альмавивы и Людовика XVI.

Самое поразительное, что сегодняшний зритель, вовсе не воспринимающий конкретных намеков, ибо ему неизвестно даже само имя Марена и он ведать не ведает о шельмовании, к которому приговорил Бомарше парламент, тем не менее увлеченно слушает этот монолог, несмотря на отсутствие ключа к нему и на то, что тирада Фигаро, как я уже сказал, замедляет действие.

Мы имеем здесь дело с феноменом, логически необъяснимым и, как мы увидим, еще более впечатляющим в монологе «Женитьбы», где Бомарше на протяжении десяти или пятнадцати минут иносказательно, зашифровано, если можно так выразиться, повествует о собственной жизни. Тогдашняя публика с легко понятной радостью подхватывала малейший намек Фигаро. Но кто, кроме нескольких специалистов, способен в наши дни расшифровать монолог? Можно, конечно, понимать его по-иному – на первом уровне, если воспользоваться сегодняшней терминологией. Однако в таком случае интерес должен был бы ослабевать, тем более что «личные» пассажи нередко пространнее прочих, а в этом монологе просто даже нескончаемы и не имеют решительно никакого отношения к действию. А между тем именно

к этим тирадам публика и сегодня прислушивается с наибольшим вниманием и с явным удовольствием. <...>

<...>

## XV. «Женитьба Фигаро»

<...>

«Женитьба Фигаро» остается блистательным шедевром, и современные зрители могут воспринимать ее на самых разных уровнях. Но во всех случаях они будут смеяться, и это главное. Однако, рассказывая жизнь человека, который был не только автором веселой пьесы, мы должны идти за ним по пятам, не пропуская ни одного его шага. И еще: разве не удивительно и не знаменательно, что у Бомарше достало таланта вложить в одну комедию в сто раз больше идей, чем Брехту<sup>7</sup> во все свое творчество? Разве комедия не есть способ выражения мыслей, присущий французам? Разве Мольер не говорит людям больше, нежели Корнель и даже Расин, коль скоро речь идет не только о том, чтобы анатомировать страсти? И кого сегодня Наполеон запер бы в Бисетре<sup>8</sup>? Увы, боюсь, что никого.

Я не осмелюсь напоминать вам содержание «Женитьбы» <...>. Кто его не знает? Несмотря на то, что в наше время эту пьесу играют сравнительно редко, возможно, из-за ее длины, возможно, потому, что, как отмечает Жан Фабр в своей «Истории литературы», власти делают вид, что презирают «Женитьбу Фигаро», чтобы не быть вынужденными ее запрещать, – она у всех сохранилась в памяти. Впрочем, любопытно, что некоторые выдающиеся творения известны людям, даже если они их не читали и не видели. Не являются ли они уже частью нашего коллективного подсознания? Существуют магические темы, Дон Жуан, например, которые преимущественно вдохновляют музыкантов. Бомарше написал только две комедии, и обе – шедевры. Ни Россини, ни Моцарт на этот счет не ошибались.

Сегодня Фигаро принадлежит и литературе и музыке. Таким он и сохранился в памяти народов. После всего этого мы тем не менее можем, прежде чем вновь открыть в Фигаро Бомарше, перечитать резюме пьесы, которое сделал сам автор:

«Самая что ни на есть забавная интрига. Испанский гранд влюблен в одну девушку и пытается ее соблазнить, между тем соединенные усилия девушки, того человека, за которого она собирается выйти замуж, и жены сеньора расстраивают замыслы этого властелина, которому его положение, состояние и расточительность, казалось, могли бы обеспечить полный успех. Вот и все, больше ничего там нет. Пьеса перед вами».

Вот и все, больше ничего там нет. Пьеса перед вами. Люди, близкие Бомарше, а вы тоже из их числа, поняли знак, который он нам подал. Нам надлежит отличить самую банальную интригу – вот и все, больше ничего там нет – от пьесы, которая перед нами. Так откроем же глаза.

В своем издании «Женитьбы» Поль Гайар очень хорошо анализирует блестящие, так щедро рассыпанные в этой комедии, каждая из которых сверкает на свой манер, и кажется, любой из них было бы достаточно, чтобы обеспечить успех пьесы. Гений Бомарше сделал возможным соединить совершенно разные жанры и – почему же не воспользоваться словом, которое нам предлагается? – сочетать приемы и стили, которые кажутся несочетаемыми:

«Итак: комедия интриги, не менее ослепительная, чем самые ослепительные комедии Фейдо<sup>9</sup>; вокальные номера, как, например, сцена суда в третьем акте; картина нравов, в которой оживают двадцать пять лет истории; красивая любовная история, временами почти трагическая; исследование пяти характеров и набросок еще нескольких; наконец, оставшаяся живой и в наши дни социальная сатира, равной которой мы никогда больше не видели на нашей сцене».



Однако перечисление это не исчерпывает нашей темы, в нем не хватает главного, а именно образа Фигаро. Или, если угодно, Бомарше. Ведь «Женитьба» тоже, и даже в первую очередь, произведение автобиографическое. В «Женитьбе» Бомарше обнажает себя, определяет свою сущность и раскрывает свои карты. Чтобы это понять, достаточно взять пьесу и прочесть вне контекста реплики Фигаро. Тогда вдруг все становится ясным. Перед нами Бомарше.

Хотите доказательств? Вот несколько знаменательных примеров:

«Ф и г а р о (*один, обращаясь к графу Альмавиве*). Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф! Вам, оказывается... палец в рот не клади! Я-то терялся в догадках, почему это он не успел назначить меня домоправителем, как уже берет с собой в посольство и определяет на место курьера! Стало быть, ваше сиятельство, три назначения сразу: вы – посланник, я – дипломатический мальчишка на побегушках, Сюзон – штатная дама сердца, карманная посланница, и – в добрый час, курьер! Я поскачу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дражайшей половине! Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего! Какое трогательное единение! Но только, ваше сиятельство, вы слишком много на себя берете. Заниматься в Лондоне делами, которые вам поручил ваш повелитель, и одновременно делать дело за вашего слугу, представлять при иностранном дворе и короля и меня сразу – это уж чересчур, право чересчур...

С ю з а н н а. Уж по части интриг на него смело можно положиться.

Ф и г а р о. Две, три, четыре интриги зараз, и пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем. <...>

..... Г р а ф. Прежде ты говорил мне все.

Ф и г а р о. Я и теперь ничего от вас не таю.

Г р а ф. Сколько тебе заплатила графиня за участие в этом прелестном заговоре?

Ф и г а р о. А сколько мне заплатили вы за то, что я вырвал ее из рук доктора? Право, ваше сиятельство, не стоит оскорблять преданного вам человека, а то как бы из него не вышло дурного слуги.

Г р а ф. Почему во всех твоих действиях всегда есть что-то подозрительное?

Ф и г а р о. Потому, что когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все.

Г р а ф. У тебя прескверная репутация!

Ф и г а р о. А если я лучше своей репутации? Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?

Г р а ф. Сто раз ты на моих глазах добивался благосостояния и никогда не шел к нему прямо.

Ф и г а р о. Ничего не поделаешь, слишком много соискателей: каждому хочется добежать первому, все теснятся, толкаются, оттирают, опрокидывают друг друга, – кто половчей, тот свое возьмет, остальных передавят. Словом, с меня довольно, я отступаюсь.

Г р а ф. От благосостояния? (*В сторону.*) Это новость.

<...>

Г р а ф (*с усмешкой*). Суд не считается ни с чем, кроме закона.

Ф и г а р о. Снисходительного к сильным, неумолимого к слабым.

.....

Ф и г а р о. В самом деле, как это глупо! Существование мира измеряется уже тысячами лет, и чтобы я стал отравлять себе какие-нибудь жалкие тридцать лет, которые мне случайно удалось выловить в океане времени и которых назад не вернуть, чтобы я стал отравлять их себе попытками доискаться, кому я ими обязан! Нет уж, пусть такие вопросы волнуют кого-нибудь другого. Убивать жизнь на подобную чепуху – это все равно что сунуть голову в хомут и

превратиться в одну из тех несчастных лошадей, которые тянут лямку по реке против течения и не отдыхают, даже когда останавливаются, тянут ее все время, даже стоя на месте».

Так, в течение четырех первых актов «Женитьбы», участвуя самым прямым образом в действии, Фигаро время от времени позволяет себе отступления. Он обращается к своим партнерам, а Бомарше – к своим: граф на сцене, Людовик XVI, или то, что он представляет, – в жизни. Но эти острые реплики, которые до дрожи пронзали всех Альмавив, присутствовавших на премьере, доставляя им странную радость, были всего лишь бандерильями по сравнению с последующим большим монологом. В самом деле, вдруг в пятом действии Фигаро, стоя один в темноте, произнесет самую невероятную тираду, которая когда-либо звучала во французском театре. С точки зрения драматургии это было весьма рискованным шагом. Впервые в комедии персонаж говорит в течение нескольких минут! И что за персонаж? Слуга! И о чем он говорит? О том, как развивается его интрига? Нет. Он говорит об обществе, о мире, о самом себе. О Кароне-сыне, ставшем Бомарше. Уколами первых актов лишь длительно готовилось неожиданное нападение финала. Но кто из сидящих в зале мог вообразить такую дерзость? Такой грубый перелом? «Решайтесь», – сказал ему перед смертью принц де Конти. Из жестоко-сладостного удовольствия первых актов вдруг возник удар грома в пятом. Монолог, нелепый с точки зрения драматургического построения, промах композиции, который приличный писатель не свершил бы никогда, короче, это та дурацкая ошибка, которая и делает шедевр. Ни один биограф никогда не сможет столько сказать о Бомарше, сколько сказал Фигаро, «один расхаживая впотьмах». И я, построивший всю мою книгу на этом божественном третьем явлении пятого акта, был бы безумцем, если бы не привел его целиком.

*«Явление третье Ф и г а р о один, в самом мрачном расположении духа, расхаживает впотьмах.*

Ф и г а р о. О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое и коварное! Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту, неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать?.. Отказаться наотрез, когда я сам ее об этом молил в присутствии графини, а затем во время церемонии, давая обет верности... Он посмеивался, когда читал, злодей, а я-то, как дурачок... Нет, ваше сиятельство, вы ее не получите... вы ее не получите. Думаете, что если вы – сильный мира сего, так уж, значит, и разумом тоже сильны?.. Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности – от всего этого немудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то, что я, черт побери! Я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы еще хотите со мной тягаться... Кто-то идет... Это она... Нет, мне слышалось. Темно, хоть глаз выколи, а я вот тут исполняй дурацкую обязанность мужа, хоть я и муж-то всего только наполовину! (*Садится на скамью.*) Какая у меня, однако, необыкновенная судьба! Неизвестно чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня оттесняли! Я изучил химию, фармацевтику, хирургию, и, несмотря на покровительство вельможи, мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным: очертя голову устремился к театру. Лучше бы уж я повесил себе камень на шею. Я состряпал комедию из гаремной жизни. Я полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета.

В ту же секунду некий посланник... черт его знает чей... приносит жалобу, что я в своих стихах оскорбляю блистательную Порту<sup>10</sup>, Персию, часть Индии, весь Египет, а также королевства: Барку<sup>11</sup>, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. И вот мою комедию сожгли в угоду магоме-

танским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать, и которые, избивая нас до полусмерти, обыкновенно приговаривают: «Вот вам, христианские собаки!» Ум невозможно унижить, так ему отмщают тем, что гонят его. Я пал духом, развязка была близка: мне так и чудилась гнусная рожа судебного пристава с неизменным пером за ухом. Трепеща, я собираю всю свою решимость. Тут начались споры о происхождении богатств, а так как для того, чтобы рассуждать о предмете, вовсе не обязательно быть его обладателем, то я, без гроша в кармане, стал писать о ценности денег и о том, какой доход они приносят. Вскоре после этого, сидя в повозке, я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем, у входа в этот замок, меня оставили надежда и свобода. (*Встает.*) Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры, – очутился тогда, когда грозная опала поубавит в нем спеси! Я бы ему сказал... что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, что где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятна и что только мелкие людишки боятся мелких статей. (*Снова садится.*) Когда им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны, а так как есть хочется не только в тюрьме, но и на воле, я опять заострил перо и давай спрашивать всех и каждого, что в настоящую минуту волнует умы. Мне ответили, что, пока я пребывал на казенных хлебах, в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, должностных лиц, благонадежных корпораций, Оперного театра, равно как и других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо отношение, – обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров. Охваченный жаждой вкушать плоды столь отрадной свободы, я печатаю объявление о новом повременном издании и для пушей оригинальности придумываю ему такое название: Бесплезная газета. Что тут поднялось! На меня ополчился легион газетных щелкоперов, меня закрывают, и вот я опять без всякого дела. Я был на краю отчаяния, мне сосватали было одно местечко, но, к несчастью, я вполне к нему подходил. Требовался счетчик, и посему на это место взяли танцора. Оставалось идти воровать. Я пошел в банкеты. И вот тут-то, извольте ли видеть, со мной начинают носиться, и так называемые порядочные люди гостеприимно открывают передо мной двери своих домов, удерживая, однако ж, в свою пользу три четверти барышей. Я мог бы отлично опериться, я уже начал понимать, что для того, чтобы нажить состояние, не нужно проходить курс наук, а нужно развить в себе ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, то пришлось погибать вторично. На сей раз я вознамерился покинуть здешний мир, и двадцать футов воды уже готовы были отделить меня от него, когда некий добрый дух призвал меня к первоначальной моей деятельности. Я снова взял в руки бритвенный прибор и английский ремень и, предоставив дым тщеславия глупцам, которые только им и дышат, стыд бросив посреди дороги, как слишком большую обузу для пешехода, заделался бродячим цирюльником и зажил беспечною жизнью. В один прекрасный день в Севилью прибыл некий вельможа, он меня узнал, я его женил, и вот теперь, в благодарность за то, что я ему добыл жену, он вздумал перехватить мою! Завязывается интрига, подымается буря. Я на волосок от гибели, едва не женюсь на собственной матери, но в это самое время один за другим передо мной появляются мои родители. (*Встает; в сильном возбуждении.*) Заспорили: это вы, это он, это я, это ты. Нет, это не мы. Ну так кто же наконец? (*Снова садится.*) Вот необычайное стечение обстоятельств! Как все это произошло? Почему случилось именно это, а не что-нибудь другое? Кто обрушил все эти события на мою голову? Я вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, и с которой я сойду, сам того не желая, и я усыпал ее цветами настолько, насколько мне это позволяла моя веселость. Я говорю: моя веселость, а между тем в точности мне неизвестно, больше ли она моя, чем все остальное, и что такое, наконец, „я“, которому уделяется мною так много внимания: смесь не поддающихся опреде-

лению частиц, жалкий несмышлениш, шаловливый зверек, молодой человек, жаждущий удовольствий, созданный для наслаждения, ради куска хлеба не брезгающий никаким ремеслом, сегодня господин, завтра слуга – в зависимости от прихоти судьбы, тщеславный из самолюбия, трудолюбивый по необходимости, но и ленивый... до самозабвения! В минуту опасности – оратор, когда хочется отдохнуть – поэт, при случае – музыкант, порой – безумно влюбленный. Я все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся, и, совершенно разуверившись... Разуверившись!.. Сюзон, Сюзон, Сюзон, как я из-за тебя страдаю! Я слышу шаги... Сюда идут. Сейчас все решится. (*Отходит к первой правой кулисе.*)»

Уточним, чтобы не ошибиться: Фигаро ушел не один. Бомарше скрылся вместе с ним за кулисами. Осуществив свой замысел, он покидает политическую и литературную сцену. Конечно, мы увидим, как он с этого момента до самой своей смерти будет осуществлять столько затей, что они могли бы заполнить жизнь десятерых. Но отныне ему будет не хватать чего-то, что трудно определить словами, но что превращает свинец в золото. Выказав свою мысль, пророк превращается в обыкновенного прохожего, а поэт – лишь в собственную тень.

В пятьдесят два года Бомарше наконец кинул кости. Еще с той поры, когда он жил в предместье Сен-Дени, он вступал в бой со все более и более могущественными противниками и в конце концов всегда оказывался победителем благодаря таланту и терпению. Но эта победа, победа его зрелости, была плодом только и исключительно его мужества. На спектакль в «Комеди Франсэз» он поставил все, ничего не припрятав про запас. До того времени Бомарше отдавался не в полной мере каждому из своих жестоких боев. На шахматной доске у него всегда оставалось несколько важных фигур. Но чтобы объявить шах и мат королю, ему пришлось играть самим собой, не жульничая, не пряча в рукаве коней и слонов, принцев и министров. В день гражданской казни у него еще оставалось кое-что в запасе, история это подтвердила. Тогда короли еще могли быть его союзниками, и он этим умело пользовался. После того как упал занавес на премьере «Женитьбы Фигаро», Бомарше вновь оказался один. Истинный триумф всегда начало падения. С 1784 года его судьба изменяет свой ход.

Понимал ли он это? Не знаю. Я даже готов согласиться с Ван Тигемом<sup>12</sup>, который считает Бомарше в известном смысле наивным человеком. И вместе с тем я склонен в это не верить. Конечно, он будет до самого конца своих дней с бросающейся в глаза неловкостью устраивать провокацию за провокацией, начиная с той, которую я назову «провокацией дворцом», подобно тому, что проделал Фуке<sup>13</sup> на сто лет раньше. Но разве желание бросать вызов судьбе не присуще всем великим людям? Головокружение от власти всегда приводит к поражению, головокружение от могущества – к крушению. Когда человек переступает некий порог, последним этапом на пути оказывается смерть. И тогда уже, как говорится, каждому свое.

Сто триумфальных спектаклей, которые были сыграны вопреки системе, вызвали у его почтенных коллег самое страшное ожесточение. Союз завидующей литературной братии и униженной власти был неизбежен. При режимах, которые часто, не разобравшись, именуют сильными, критика ненадолго остается чисто литературным явлением, она неизбежно оборачивается полицейским доносом. Увы, существует всего лишь два типа писателей: те, которых заключают в тюрьму, и те, которые их туда отправляют. В очень организованных обществах тюрем, как правило, не хватает, их расширяют и превращают в концентрационные лагеря, в либеральных же обществах достаточно цензуры или попросту замалчивания, чтобы изолировать наиболее опасные умы. Я снова ломлюсь в открытую дверь, но на этот раз с удовольствием. Итак, Бомарше, находясь в явном конфликте с монархией, небывалым успехом «Женитьбы Фигаро» протрубил сбор всем своим врагам по перу, начиная с самого презренного среди них, г-на Сюара, штатного цензора, доносчика от литературы, который продал душу за академическое бессмертие. Короче, поскольку Сюар писал памфлет за памфлетом и бесконечные мемуары и анализы, разоблачающие «Женитьбу», все это с уловками старого кота – я злобно цара-

паю Бомарше, но начинаю умиленно мурлыкать, как только появляется король, – автор Фигаро имел слабость в конце концов ответить ему на свой лад, то есть весьма остро:

«Неужели Вы думаете, что, после того как я одолел львов и тигров, чтобы добиться постановки комедии, после моего успеха, Вам удастся принудить меня, словно какую-то голландскую служанку, хлопнушкой бить по утрам гнусных ночных насекомых?»

Если публика, читая эти строки, тотчас же сообразила, кого Бомарше обозвал «гнусным ночным насекомым», то и в Версале, конечно, сообразили, кого он подразумевал под «львами и тиграми». Миромениль<sup>14</sup> и граф де Прованс<sup>15</sup> обиделись за «тигров», а Людовику XVI ничего не оставалось, как узнать себя во «львах», что он неукоснительно и сделал.

Однажды, когда Бомарше ужинал у своих друзей, в дверь раздался звонок. Его хотел видеть некий комиссар Шеню. Бомарше, который знал этого чиновника полиции, встал из-за стола и вышел к нему в прихожую. Никто из его друзей не обратил внимания на этот инцидент. Все привыкли, что в любой час дня и ночи кому-то вдруг надо немедленно увидеться с Бомарше. Гюден<sup>16</sup> – он тоже был на этом ужине – рассказывает: «Бомарше расцеловал всех нас и сказал, что вынужден немедленно уйти и, быть может, не придет ночевать; он попросил о нем не беспокоиться и заверил нас, что завтра сам даст о себе знать».

Так оно и случилось...

На следующий день весь Париж в полном недоумении узнал, что г-н де Бомарше арестован и отправлен в тюрьму Сен-Лазар, куда обычно сажали проституток и прелюбодеев, пойманных на месте преступления. В этой тюрьме, находившейся под попечительством монашеской братии Сен-Венсан де Поль, отбывали наказание парижские, в большинстве своем несовершеннолетние, бродяги и воры. Пять или шесть прокаженных, с которыми обращались как со скотом, содействовали дурной репутации этого исправительного дома. Желая отомстить, лев повел себя как крыса. Обычно Людовик XVI, равно как и его предшественники, чтобы продемонстрировать свое всемогущество, отправляли без суда и следствия тех, кого хотели примерно наказать, в тюрьму Венсенн или в Бастилию. Это были благородные места заточения. Засадить же Бомарше в Сен-Лазар значило дважды наказать и унижить его. В этом зловещем месте всех вновь прибывших милосердные монахи де Сен-Венсан встречали кнутом. Представьте себе счастье Сюара и иже с ним в то утро: Фигаро бьют кнутом!

Было ли это на самом деле? Скорее всего, нет. Палачи в монашеских рясах все же, наверное, не решились подвергнуть обычной экзекуции такого известного человека, арест которого мог оказаться и недоразумением. Но, увы, ошибки не было. Наведя справки, Гюден и его друзья получили подтверждение, что Людовик XVI собственноручно подписал ордер на арест г-на де Бомарше. В тот момент, когда короля охватило это не очень-то львиное чувство мести, он играл в карты и выразил свое торжество над Бомарше тем, что начертал приказ об аресте на семерке пик.

Когда Бомарше узнал причину своего ареста, он чрезвычайно разъярился. Ведь у него и в мыслях не было отождествлять своего жалкого монарха с царем зверей.

«Сравнивая те огромные трудности, – писал он, – которые мне пришлось одолеть, чтобы добиться постановки моей слабой комедии, с теми многочисленными нападками, которые после победы спектакля не могут не казаться ничтожными, я просто обозначил две крайние точки на шкале сравнений. Я с тем же успехом мог бы сказать: „После того как я в сражении победил гигантов, подыму ли я руку на пигмеев?“ или употребить любое другое образное выражение. Но даже если упорствовать во мнении, будто во Франции может найтись человек настолько безумный, что осмелится оскорбить короля в письме, не только подвластном цензуре, но и опубликованном в газете, то я должен задать вопрос: неужели я до сих пор давал хоть какой-нибудь повод считать меня сумасшедшим, чтобы решиться безо всяких к тому оснований выдвинуть против меня столь чудовищное обвинение?»

И Людовик XVI и Бомарше чувствовали себя в сфере интриг как рыбы в воде. Было совершенно ясно, что король не отправил бы Бомарше в тюрьму Сен-Лазар только за то, что тот назвал его львом. Что же до автора «Женитьбы», то, написав все пять актов своей комедии, он множество раз «давал повод считать себя сумасшедшим». Но поскольку король избрал для мщения самый неудачный из всех поводов, Бомарше подхватил игру, чтобы вынудить короля отступить.

Когда принц де Нассау-Зиген узнал, что его друг впал в немилость, он свершил свой самый великий подвиг. Принц раздобыл 100 000 франков и отнес их на улицу Вьей дю Тампль брату Гюдена. «Возьмите на всякий случай, – сказал он кассиру Гордого Родриго, – может быть, возникнут какие-нибудь трудности». Гюден-младший наотрез отказался взять такую сумму денег, тогда принц засунул их ему за пазуху и убежал. Другой бы на его месте ограничился тем, что отнес арестанту несколько апельсинов, а замечательный Нассау-Зиген отдал ему то единственное, в чем всегда испытывал острый недостаток, – деньги. Наутро принцу все же вернули эти деньги. Тогда он, забыв о своей застенчивости, в гневе кинулся к королю и всерьез разбушевался в Версальском дворце. Людовик XVI был смущен таким наскоком и успокоил укротителя хищников. Лев снова стал агнцем. Он обещал принцу незамедлительно выпустить на свободу знаменитого узника.

Но дать такое обещание значило совсем забыть, какой у Бомарше характер. Уверенный в своей силе и в своем праве, Бомарше отказался принять августейшую милость и заявил, что останется в тюрьме Сен-Лазар со всем заточенным там сбродом. Короче говоря, он требовал настоящей сатисфакции. Слабый Людовик XVI тут же пошел в Каноссу<sup>17</sup>. Другими словами, он послал Калонна вести переговоры с грозным Бомарше. Договорились, что весь кабинет министров в полном составе отправится в «Комеди Франсез» на очередное представление «Женитьбы Фигаро», чтобы торжественно продемонстрировать, с каким уважением король относится к его автору. Кроме того, было решено, что наследные принцы сыграют в маленьком театре Трианона в честь Бомарше и в его присутствии «Севильского цирюльника»! Ублаженный всем этим, Фигаро милостиво согласился расстаться со своей камерой и с товарищами по несчастью. На следующий день в «Комеди Франсез» он из своей ложи с достоинством раскланивался, отвечая на единодушное признание правительства и на овации публики. Месяц спустя, сидя рядом с королем, он смотрел на сцену, где играли его «Севильского цирюльника», и испытывал при этом немалую радость. Пьесу какого другого автора когда-либо играли столь знатные актеры? Мария-Антуанетта исполняла роль Розины, а Артуа, будущий Карл X, – Фигаро...

<...>

(Грандель Ф. Бомарше / пер. с фр. Л. Зониной, Л. Лунгиной; [вступ. ст. С. Козлова]. 2-е изд. М.: Книга, 1985. С. 188–193, 296–305 (Жизнь в искусстве))

### Примечания составителя

<sup>1</sup> Франсуа-Луи Клод Марен (1721–1809) – литератор, издатель, журналист, королевский цензор.

<sup>2</sup> Комеди Франсез (Comédie Française) – старейший национальный театр Франции, основан в Париже в 1680 г. по указу короля Людовика XIV.

<sup>3</sup> Мари де Виши-Шамрон, маркиза дю Деффан (1697–1780) – хозяйка известного парижского салона, постоянными посетителями которого были Вольтер, Д’Аламбер, Бюффон и др. Вела обширную переписку с энциклопедистами.

<sup>4</sup> Все цитаты из трилогии Бомарше даются в переводе Н. Любимова по изд.: *Бомарше. Драматические произведения. Мемуары*. М., 1971.

<sup>5</sup> Марсель Пруст (1871–1922) – французский писатель, автор цикла романов «В поисках утраченного времени» (публиковался с 1913 по 1927 г.).

<sup>6</sup> Рюи Блаз – герой одноименной пьесы Виктора Гюго (1838).

<sup>7</sup> Бертольд Брехт (1898–1956) – немецкий драматург, создатель теории «эпического театра».

<sup>8</sup> Бисетр (Vicêtre) – известный госпиталь, при Людовике XIII служил приютом для инвалидов войны. Впоследствии был преобразован в дом призрения для бедных, больных, преступников, бездомных детей, сумасшедших. Долгое время использовался как тюрьма для приговоренных к смертной казни или осужденных на галеры преступников.

<sup>9</sup> Жорж Фейдо (1862–1921) – французский комедиограф, известен своими многочисленными водевилями.

<sup>10</sup> Порта – Оттоманская империя.

<sup>11</sup> Барка – историческая область в Северной Африке.

<sup>12</sup> Филипп Адриан ван Тигем – автор работы «Портрет Бомарше» (1960).

<sup>13</sup> Никола Фуке (1615–1680) – суперинтендант (министр финансов) при Людовике XIV. В середине XVII в. в окрестностях Парижа для Фуке был построен роскошный дворец Воле-Виконт, послуживший впоследствии образцом для королевской резиденции в Версале.

<sup>14</sup> Арман-Тома Ю де Миромениль (1723–1796) – министр юстиции при Людовике XVI.

<sup>15</sup> Граф Прованский – титул, который во время царствования Людовика XVI носил его брат Луи Станислас Ксавье, в 1814–1824 гг. – король Франции.

<sup>16</sup> Поль-Филипп Гюден де ла Бренельри (1738–1820) – французский драматург, лучший друг и первый историограф Бомарше, издатель полного собрания сочинений Бомарше в 7 томах (Париж, 1809).

<sup>17</sup> Выражение «идти в Каноссу» восходит к историческому эпизоду: в 1077 г. германский император Генрих I V, отлученный папой Григорием от церкви, был вынужден отправиться с покаянием в Каноссу (замок в Северной Италии), где находился папа. В настоящее время выражение означает «каяться в своих грехах, унижаясь и прося о прощении».

### **Вопросы и задания**

1. Какие произведения послужили источниками комедии «Севильский цирюльник»? В какой мере можно говорить об их влиянии на Бомарше?

2. Что нового привнес Бомарше в характер ловкого слуги (Фигаро) по сравнению с классицистической комедией?

3. Элементы каких жанров, приемов и стилей сочетаются, по мнению исследователя, в комедии «Женитьба Фигаро»?

4. Какую роль автор исследования отводит известному монологу Фигаро в финале комедии «Женитьба Фигаро» (V акт, 3-е явление)?

## III Итальянская литература

### Джамбаттиста Вико (1668–1744)

#### Предтекстовое задание

Прочтите раздел статьи, обращая внимание на то, как автор связывает философию истории с эстетикой.

#### *И. Н. Голенищев-Кутузов* Эстетические воззрения Вико

Между барокко и неоклассицизмом, вернее, одновременно с этими течениями (одно еще не умерло, другое нарождалось) появился в Неаполе гениальный мыслитель, которого итальянцы почитают отцом новейшей истории (мнение это разделял и Гёте). Не понятый своим временем, Джамбаттиста Вико (1668–1744) с начала XX в. до наших дней оказал сильное влияние на европейскую философскую мысль.

Те, кто ищет в его архаически построенном сочинении «Основание новой науки» элементы поэтики барокко, несомненно, их найдут, но вскоре убедятся в том, что эстетические идеи XVII столетия у Вико переосмыслены и что им придано более глубокое значение. В добавлениях к разделу «Поэтическая логика» Вико пишет о том, что метафора – самый блестящий и в то же время самый необходимый троп. Каждая метафора – малый миф. Кто создает метафоры? Ученые, поэты, искусные риторы? Но до их изобретений и домыслов метафоры, метонимии, синекдохи встречались в языке народа. Крестьянский язык полон древнейших образных выражений, в нем заключена неисчерпаемая сокровищница тропов, восходящих к эпохе детства человечества. Об этом свидетельствует Гомер, который был великим поэтом героической эпохи, сменившей первоначальную эпоху богов. Гомер не был философом или ученым, сведения о нем, спор о его происхождении между греческими городами «заставляют нас сильно подозревать, – пишет Вико, – не был ли он на самом деле простолюдином». Быть может, Гомер не существовал как историческая личность, был воображаемым поэтом, имя которого охватывает коллектив странствующих народных певцов. В их языке – истоки поэзии, ибо поэзия предшествовала прозе, а не является позднейшим хитроумным изобретением риторов.

Поэтический язык и есть язык первоначального человечества. Отсюда можно заключить, что лингвистика – основа не только поэтики, но и философии. Такое развитие мысль Вико получила у романтиков (У. Фосколо, Де Санктиса) и особенно в системах итальянских неогегельянцев на рубеже XIX и XX вв.

Логическая мысль, научное заключение могли возникнуть только в третьей эпохе развития – человеческой, когда миновали времена богов и героев. Если рациональная метафизика учит, что «человек, разумея, творит всё», то «фантастическая метафизика» (т. е. философия языка и поэтика) указывает, что «человек, не разумея, творит всё». Примитивный человек «делает самого себя правилом Вселенной», так как логические понятия еще не проясняли его ум; он творил вещи из самого себя «и, превращаясь в них, становился ими самими».

Путь первоначального познания мира и есть поэтическая интуиция, связанная с чувствами. Вико пишет: «Человеческая природа в силу ее общности со звериной такова, что единственным путем познания для нее является чувство». Восходя от чувственного к рациональному в круговороте времен, человечество продолжает выражаться на языке седой древности,



богатом поэтическими фигурами, еще не дисциплинированном логикой. Не следует забывать, что эти мысли были высказаны до Канта, Гегеля и Гердера.

Если мы обратимся к основным тропам, говорит Вико, к метафоре, метонимии и синекдохе, мы встретимся с выражениями, присущими простонародному языку. Метонимия зародилась потому, что люди еще не умели абстрагировать формы и качества от субъекта. Люди мыслили мифами и представляли причины в виде женщин. Так, например: Безобразная Бедность, Печальная Старость, Бледная Смерть. Синекдоха указывает на дальнейшее развитие мысли. Люди, развиваясь, научились возвышать частное до всеобщего, сопоставлять одни части с другими. Так, крыша стала означать дом, железо – меч, жатва – год, голова – человека.

Наконец, в более позднее время появилась ирония, когда ложь стала прикрываться личной правдой. В древнейшее время люди не знали иронии, были правдивы, непосредственны; их мифы не были ложью, но первоначальной системой понимания мира, а муза, как определил Гомер, олицетворяла науку о добре и зле.

Таким образом, абстрактная игра «быстрого разума» барокко, интуитивно охватывающего «субстанции», была низведена на землю, подчинена в системе Вико реальным историческим условиям. Великолепный фейерверк барочного остроумия мог возникнуть лишь на высшей, рационалистической ступени человеческого развития. Образы барокко были замкнуты в себе, слишком литературны; они легко вырождались в прециозность и претенциозность.

Идеи Вико для его времени были необычны. В них можно обнаружить и традицию Возрождения, и углубленную, переосмысленную риторику барокко, и, что самое главное, в них блещут новые открытия в области лингвистики, поэтики и фольклора. Абстрактности метафизики Декарта Вико противопоставлял диалектику, историю и своеобразную лингвистическую эстетику. Он атаковал основные исходные позиции Декарта (в том числе его известное положение: «Я мыслю, следовательно, я существую»). Тем самым Вико оградились от первых теоретиков классицизма во Франции и в Италии, за что и подвергся нападениям венецианских картезианцев. Не понятый и полузабытый последующими поколениями, Вико был воскрешен в эпоху романтизма и положил основание новой эстетической мысли в Италии.

*(Голенищев-Кутузов И. Н. Эстетические воззрения Вико // Голенищев-Кутузов И. Н. Литературные теории Италии XVII–XIX веков // Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы: статьи и исследования. М.: Наука, 1975. С. 349–352)*

### **Вопросы и задания**

1. Какую связь усматривал Вико между мифом и метафорой?
2. В чем заключалась полемика Вико с Декартом и картезианцами?

## Карло Гольдони (1707–1793)

### Предтекстовое задание

Прочитайте текст, обращая внимание на то, как изменялась рецепция творчества Гольдони на протяжении веков.

### *М. Л. Андреев* Карло Гольдони

Самый большой театральный писатель XVIII столетия и один из лучших комедиографов в истории этого жанра не считал себя гением, и никто из его современников тоже таковым его не считал. <...>

Истинное значение Гольдони стало вырисовываться лишь ближе к середине XIX в., с утверждением близкой ему поэтики жизнеподобия (в Италии в связи с ее пролонгированным романтизмом таким же пролонгированным оказалось и относительное забвение, постигшее Гольдони), но решающий вклад здесь принадлежит XX веку и его великим режиссерским интерпретациям (среди которых заметное место занимает и «Хозяйка гостиницы» Станиславского). Именно театральная практика закрепила за Гольдони статус великого комедиографа, способствовал не только переоценке его статуса в целом, но и переоценке его отдельных произведений <...>. История литературы знает немало примеров отложенной известности, но в случае с Гольдони меняется не масштаб известности, а ее тип, и представитель, условно говоря, массовой литературы, на которого даже его почитатели из числа просвещенных умов поглядывали несколько свысока, возводится в разряд бесспорных классиков.

<...>

Реформатором Гольдони показал себя в главном для него жанре – комедии <...>. О целях и задачах реформы Гольдони объявлял неоднократно: в предисловиях к собраниям сочинений <...>, в предисловиях ко многим отдельным пьесам <...>, в «Комическом театре», своем инсценированном манифесте, <...> и, наконец, в итоговых «Мемуарах». Основой комедии должно быть изображение характеров, взятых из действительности, – такова главная мысль Гольдони. Во всем следует придерживаться естественности, натуральности, правдоподобия и избегать эксцессов и преувеличений. В «Комическом театре», как в «Версальском экспромте» Мольера, площадкой и поводом к изложению театральной программы служит изображение репетиции спектакля, и выведена на сцену, опять же как у Мольера, труппа в полном составе (примаи секундадонна, первый и второй любовник, оба дзанни, фантеска, суфлер). Нет самого автора (но Гольдони не был, в отличие от Мольера, ни главой труппы, ни актером), и от его лица выступает саросомісо, который экзаменует поэта, пытающегося пополнить своими опусами репертуар труппы, и певицу, предлагающую разнообразить его вставными музыкальными номерами. Поэту внушают, что импровизированная комедия устарела и пришло время комедии характеров (хотя полностью устранять маски тоже нежелательно), что Аристотеля и Горация нужно, во-первых, правильно прочесть, а во-вторых, сделать поправку на изменения обычаев и привычек, повлиявших не только на то, что кажется уместным в жизни, но и на то, что кажется уместным на сцене. <...>

В предисловии к первому изданию своих сочинений Гольдони заметил, что у него было два наставника – Мир и Театр. Вернее, что он учился по этим двум великим книгам. При этом книга как таковая, не метафорическая, из числа источников реформаторских идей исключается, об этом Гольдони говорит прямо: «не могу сказать, что я достиг этих целей посредством усердного и методичного чтения произведений наставительных или образцовых <...>, принадлежащих перу наилучших из подвизавшихся в этом роде писателей или поэтов греческих,

или латинских, или французских, или итальянских». Иными словами, Гольдони отказывается не только от того, чтобы следовать предписаниям нормативных поэтик <...>, но и от самого принципа подражания классике <...> – от основного инструментария риторической культуры. Заявление не то чтобы из ряда вон выходящее («Рассуждение о науках и искусствах» Руссо вышло в тот же год <...>), но вполне недвусмысленно указывающее на место Гольдони в ряду тех, весьма немногочисленных даже в середине XVIII в., авторов, которым было дано ощутить неуниверсальность многовековой культурной парадигмы. Если для европейской гуманистической культуры, начиная по меньшей мере с XV в., подражание природе и подражание образцу – это два пути, идущие в одном направлении и приводящие к единому результату, то для Гольдони это пути разные во всех отношениях.

<...>

<...> В Мольере Гольдони видел своего единственного прямого предшественника, но даже его опыт принимал не беспрекословно. Для французской комедии, как сказано в «Комическом театре», достаточно одного характера и одной страсти, в итальянской, т. е. в комедии самого Гольдони, характерами должны быть наделены все действующие лица. Это не совсем справедливо (у Мольера есть комедии, где он не ограничивается одним характером; «Мизантроп» – самый яркий, но не единственный пример), но в целом подмечено верно (в большинстве мольеровских комедий и в комедиях его французских подражателей доминирует характер единственный в своей исключительности – скупой, лицемер, мнительный, докучный). Так что когда Гольдони пишет все в том же предисловии, что и характеры, и страсти, и происшествия он почерпнул из книги Мира, с ним приходится согласиться – во всяком случае, из других книг он мог взять лишь самую малую их часть. Это сопряжение (характер – действительность) далеко не тривиально, таким оно только кажется сейчас, через голову реализма XIX столетия. Во времена Гольдони характеру, чтобы быть художественно убедительным, не нужно было быть «реалистичным» – достаточно было оставаться последовательным. Мизантроп Мольера отнюдь не выхвачен из действительной жизни. Ориентация на действительность разрушает логическую основу характера (и тем самым его последовательность) и в конечном итоге опрокидывает всю классическую характерологию.

Наряду с принципом естественности и натуральности Гольдони формулирует и принцип простоты, распространяющийся как на литературное содержание, так и на литературное выражение. В отношении содержания простота – это отсутствие всего, что не соответствует общему и повседневному опыту («над чудесным в сердце человеческом берет верх простое и естественное», – писал он во все том же предисловии к первому собранию сочинений). В отношении выражения – это отсутствие всякой повышенной экспрессивной и метафорической нагрузки на стиль. <...>

<...>

И Мир, и Театр Гольдони представляет в виде книги. Это не просто метафора, это указание на то, что фильтры риторической культуры с их «готовым» словом (выражение А. В. Михайлова) никуда не исчезли. Вычитанное из обеих книг, превращаясь в характер, приобретает тот же категориальный статус, что и риторическое слово. Но уже на этом уровне абстрактно-нормативные принципы риторической культуры – то, что Гольдони называл конечностью «по роду», – входят в противоречие с многообразием индивидуального опыта, который впервые в рамках комедии осмысливается как эстетический фактор, – это бесконечность «по виду». Власть общего понятия («рода») у Гольдони существенно урезается: оно еще никак не скомпрометировано, но введение антиномичной ему категории ставит риторическую культуру лицом к лицу с собственным логическим пределом и подрывает не только ее основы, но и все ее формы, в том числе жанровые. Комедия под пером Гольдони до известной степени утрачивает тождество с самой собой. Дело даже не в том, что она близко подходит к мещанской драме, – она перестает осознаваться и подаваться как картина нарушения нормального хода

вещей (и это в самой карнавализованной из театральных столиц Европы и у самого венецианского из всех венецианских писателей). Ее жесткие структурные сцепления ослабляются и провисают, бледнеют и размываются ее опорные структурообразующие оппозиции (такие, как ум – глупость, смелость – осторожность, любовь – расчет, богатство – бедность и даже молодость – старость). Правда, все это – в виде тенденции, иногда выведенной на поверхность, иногда глубоко скрытой, иногда исчезающей совсем. Комедия Гольдони – это все еще классика, но вовлеченная в процесс освоения нового языка, который, освоенный окончательно, должен решительно изменить лицо жанра.

<...>

(*Андреев М. Л.* Карло Гольдони // История литературы Италии. Т. 3. Барокко и Просвещение / отв. ред. М. Л. Андреев. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Ч. 2. Гл. 6. С. 480–481, 489–492, 506–507)

### **Вопросы и задания**

1. Изложите, в чем заключалась драматургическая реформа К. Гольдони.
2. В чем К. Гольдони следует за Мольером, а в чем опровергает его?
3. Как относится драматургия К. Гольдони к «риторической эпохе»?

## Карло Гоцци (1720–1806)

### Предтекстовое задание

Прочтите текст, обращая внимание на особенности национальной и интернациональной рецепции творчества К. Гоцци.

*М. Л. Андреев*

**Карло Гоцци**

Карло Гоцци представляет собой, возможно, самую парадоксальную фигуру в истории итальянской литературы. Решительный консерватор во всем, в литературных вкусах и убеждениях в частности, он радикально обновил язык драматургии и оказался единственным драматическим автором XVIII в., которого подняли на щит романтики. Он презирал современную литературу за плебейство тона и содержания – и дал новую жизнь комедии дель арте, самому демократичному из всех зрелищ. Он объявил себя принципиальным противником литературы предыдущего столетия – и не только переводил испанских барочных драматургов, но и в своем сказочном театре постоянно обращался к сюжетам и формам, отмеченным печатью барочного стиля. Он обрел огромную популярность за пределами Италии – в Германии (им восхищались Лессинг, Гете и Шиллер, восхищались и опирались на него в своих теоретических построениях братья Шлегели, восхищались и подражали Тик и Гофман), Франции, Англии, России («Любовь к трем апельсинам» – журнал Мейерхольда и опера Прокофьева, знаменитая вахтанговская «Турандот»). В то же время в Италии им долго пренебрегали: похоже, что на родине ему никак не могли простить, что он выгнал из Венеции Гольдони, и с недоумением наблюдали, как растет и ширится его слава за рубежом. Даже XX век немного в этом отношении переменял: в последней по времени издания «Истории итальянской литературы» (под редакцией Э. Малато, том о XVIII в. вышел в 1998 г.) Гоцци представлен лаконичным (всего четыре страницы) параграфом в составе огромной главы, посвященной Гольдони.

<...>

Сказки для театра <...> Карло Гоцци созданы и поставлены в течение довольно компактного временного периода – с января 1761 по ноябрь 1765 г., когда была сыграна десятая и последняя, «Дзеим, царь джинов». Источники для своих сюжетов автор находит в основном либо в итальянской литературной сказке – в «Пентамероне» Базиле («Ворон») и в «Поездке в Позилиппо» <...> Сарнелли («Зеленая птичка»), – либо во французских переводах восточных сказок, моду на которые установил своим переводом «Тысячи и одной ночи» Антуан Галлан. <...> Источник для своей «Турандот» он нашел в сборнике персидских сказок «Тысяча и один день» («История принца Калафа и китайской принцессы») <...>. Непосредственно к фольклору Гоцци обращался крайне редко. Единственный пример – первая его фьяба, в которой уже его старший брат опознал рассказ из «Пентамерона», но которая, согласно современным изысканиям, восходит к североитальянской народной версии этого сюжета.

Сказка в литературе XVIII в. – жанр популярный, но второсортный. Место в литературной иерархии ему находится в самом низу, если находится вообще. Сказка либо предназначена исключительно для развлечения, либо маскируется под смежные жанры (басня или новелла), либо выступает как нарративное прикрытие для не собственно сказочных смыслов и целей – дидактических, философских, литературно-полемических (так, к примеру, ее использует Вольтер). Отношение Гоцци к сказке, в сущности, такое же – мало того что свысока, но и как к чему-то, не имеющему собственной ценности. Никакой наивной народной поэзии, в отличие от будущих романтиков, он в ней не видит. И в «Чистосердечном рассуждении», и в «Мемуарах», и в предисловиях к отдельным фьябам он называет взятые им из сказок сюжеты не

иначе, как «глупыми», «неправдоподобными», «ребяческими» <...> и рассказывает, «сколько труда и знания было положено на эти десять сухих фабул, чтобы сделать из них произведения, достойные публики, ввести в них интригу, придумать сильные драматические ситуации, придать им оттенок истины, сочинить подходящие ясные аллегории, снабдить их остротами, шутками, критикой нравов, возможным красноречием и прочими необходимыми подробностями, придающими сказке характер правдоподобия» («Чистосердечное рассуждение»). <...>

Новое в позиции Гоцци заключается не в самом обращении к сказке, а в превращении ее в театральный жанр – здесь у него и предшественников, и единомышленников крайне мало. Некоторые элементы сказки использовались балетом и оперой, некоторые сказочные сюжеты и персонажи появлялись в представлениях комедии масок: эту традицию Гоцци знал и учитывал, но также не без некоторого высокомерия <...>. У Гоцци есть только один подлинный предшественник – Лесаж в его пьесах, написанных для Ярмарочного театра. Эту так называемую «комическую оперу» Гоцци не только знал и высоко ценил (как сказано в «Чистосердечном рассуждении», «образованнейшие французы не имеют своей национальной импровизированной комедии, но у них есть комическая опера, ей равноценная») – он шел за Лесажем даже в выборе сюжетов: «Турандот» соответствует лесежеская «Китайская принцесса», «Дзему, царю джинов» – «Волшебная статуя» <...>. В комической опере Лесажа, как и во фьябах Гоцци, имеется и пародийное задание (по словам Гоцци, «они вгоняют в пот серьезность великолепных трагедий и веселую учтивость обдуманых комедий») <...>.

На фоне сходства особенно рельефно выступают различия. Что касается пародии, то для Гоцци она далеко не столь обязательна, как для комической оперы: все фьябы в той или иной степени являются аргументом в литературной полемике, поскольку представляют принципиально иной тип драмы по сравнению с доминирующим, но пародийная установка в чистом виде присутствует лишь в первой и предпоследней. В первой, «Любви к трем апельсинам» <...>, которая дошла до нас лишь в виде «разбора по воспоминанию» <...>, т. е. подробного сценария с отдельными прописанными полностью стихотворными репликами и монологами, Гоцци прямо вывел на сцену своих литературных противников <...>.

«Зеленая птичка» <...> в сюжетном плане прямо к первой фьябе примыкает: то же карточное королевство, те же в основном персонажи, но по прошествии двух десятилетий <...>. Тарталья стал королем и женился на своей Нинетте, однако Тартальяна, его злобная мамаша, погребла Нинетту под отхожим местом, а близнецов, ею рожденных, велела зарезать, известив сына, что вместо прелестных детей невестка произвела на свет кобеля и суку. Все они, однако, живы: Нинетту чудесным образом снабжает пищей загадочная зеленая птичка, а близнецов <...>, которых Панталоне не убил, а бросил в реку, спасла и усыновила Смеральдина, жена Труффальдино. Они-то и есть главные герои этой фьябы, но основной ее интерес состоит не в изображении их приключений, а в изображении их убеждений: они успели нахвататься модных философских идей и считают, что все люди в своих действиях и чувствах руководствуются исключительно принципом «себялюбия». <...> В первой фьябе пародия была направлена на популярных писателей, в предпоследней – на популярных философов; роднит эти фьябы и общая для них атмосфера универсальной несерьезности. Ни в одной другой театральной сказке Гоцци не давал маскам роли протагонистов: в «Любви к трем апельсинам» Тарталья – сказочный принц и страдает от черной меланхолии, вызванной «грамотами» с мартеллианскими стихами, в «Зеленой птичке» тот же Тарталья – сказочный король и раздражается ослиным ревом, тоскуя по своей Нинетте. Такой же смеховой характер носят и страдания его супруги, восемнадцать лет томящейся в выгребной яме, и влюбленность Ренцо в статую, и роман Барбарини с зеленой птичкой. В остальных восьми фьябах атмосфера царит совершенно иная.

В них герои рано или поздно также оказываются в ситуации, из которой нет выхода или он выше человеческих сил, но в этих ситуациях нет ничего комического. <...>

В таких плачевных обстоятельствах герои Гоцци оказались не по собственной вине <...> – их преследует рок. <...> Иными словами, ситуация, в которой оказываются герои фьяб, – это архетипическая ситуация трагедии, ситуация Эдипа, и на это автором указано в <...> «Вороне»: «Беги, беги, Армилла! Ты живешь / В обители Эдипа». Но сами герои – нетрагические. Они с велениями судьбы не борются и против них не протестуют – они в патетические моменты лишь в избытке проливают слезы. Экстремальная ситуация не выявляет в них какие-то скрытые душевные качества – она лишь подтверждает несокрушимость их добродетели. <...>

Такой беспроblemный, наличествующий изначально, не рождающийся в душевных муках и борьбе и, следовательно, псевдодраматический стоицизм прямо граничит с пародией и, казалось бы, должен стать ее предметом. Однако героическая мелодекламация главных персонажей не столько пародируется, сколько остраниается (и, следовательно, в какой-то степени подкрепляется) здравым смыслом, цинизмом и бытовой приземленностью масок. <...>

Масок у Гоцци – пять, по числу актеров на соответствующие амплуа <...>, и роли у них разные. Панталоне воплощает голос простой житейской опытности и простых человеческих чувств <...> и во всех случаях играет на стороне положительных персонажей, не будучи, однако, в силах до них подняться <...>. Тарталья также в больших чинах <...>, но далеко не такой преданный слуга героя и, даже не всегда получая сюжетобразующие роли <...> и оставаясь персонажем фона, он демонстрирует особенно заметные в сравнении с Панталоне трусость, себялюбие и низкопоклонство <...>; буффонно-гротескных черт у него также значительно больше. Еще больше комической буффонады у обоих дзанни – за ними, к тому же, чаще всего не закреплено никакого фиксированного текста и лишь даны, в рамках конкретной сцены, общий порядок действий и конспекты реплик. На конфигурацию сюжета ни Бригелла, ни Труффальдино, в отличие от традиционных масок этого разряда, не влияют <...>, и вообще их традиционное различие (умный, хитрый, выстраивающий интригу первый дзанни – простодушный, наивный, туповатый второй) полностью редуцировано. Смеральдина чаще всего – преданная служанка героини и составляет любовный дуэт с Труффальдино.

Единственная фьяба Гоцци, в которой можно встретить персонажей, не полностью исчерпанных героической верностью своей судьбе и уделу, и в которой наряду с испытаниями имеются и душевные превращения, – это «Турандот» <...>. Вместе с тем это одна из немногих фьяб <...>, из которой исключено чудесное, причем по соображениям принципиальным: Гоцци решил доказать своим критикам, что успех его пьес не зависит от этого элемента и, следовательно, не строится только на броских постановочных эффектах. Чудесна здесь лишь красота Турандот – перед ней не только никто не может устоять, но и действует она мгновенно и даже через портрет (впрочем, влюбленность по портрету входит в число привычных для европейской литературы, начиная с трубадуров, любовных чудес). Калаф – герой для Гоцци типический <...>. Он, как и его собратья, достигает предела бедствий <...>.

Претерпев единственное допускаемое условиями этой фьябы волшебное превращение – любовное, – он остается верен своему новому чувству, и никакие испытания не могут эту верность поколебать <...>.

Заглавная героиня – другая, подобной ей не встречается во всем театре Гоцци. Она не принимает свою судьбу, а выстраивает ее. <...> Турандот – единственный персонаж Гоцци, имеющий историю души, как и пьеса о ней – единственная у Гоцци, где высокий план действия имеет собственные, независимые от низкого плана точки опоры. Шиллер не совершил никакого насилия над духом этой фьябы, когда в своей переработке (1802) вообще исключил из нее маски.

Но для сказочного театра Гоцци в целом сочетание этих планов – условие обязательное. Трагедийный план с его утопическими в своей сублимированности страстями без своего смехового партнера пуст и беспроblemен. Еще более очевидна неавтономность комического

плана. Соприсутствие утопии и буффонады возможно только в пространстве, организованном по особым правилам, условность которых подчеркивается всеми возможными способами; обращение к сказке – один из них. Цель театра – чистая рекреация, сущность театра – игра. Народ «всегда будет иметь право наслаждаться тем, что ему нравится, смеяться тому, что его забавляет, и не обращать внимания на замаскированных Катонов, не желающих допустить его наслаждаться тем, что доставляет ему удовольствие» («Чистосердечное рассуждение»). Сказка дает возможность вернуть театру игровое начало, которое драма XVIII столетия с ее идейностью, сентиментальностью, характерологичностью и нравоописательностью всячески пыталась из него вытравить.

<...>

Самый большой парадокс, связанный с фигурой Гоцци, заключается в том, что при всей своей всеевропейской славе, при том, что из его фьяб черпали идеи и формы драматические писатели, стремившиеся к обновлению театра, сам он не только к обновлению не стремился, но и ничего нового по сути не создал. Итальянские критики, продолжающие считать его драматическим поэтом весьма средней руки, не так уж не правы. С Гольдони он в этом отношении попросту несопоставим. Его гениальность в другом: он сумел найти литературную форму для той стихии театральности, которую в течение двух веков воплощала на европейской сцене комедия дель арте и которая без него так бы и осталась погребена в немой схеме сценария.

(*Андреев М. Л.* Карло Гоцци // История литератур уры Италии. Т. 3: Барокко и Просвещение / отв. ред. М. Л. Андреев. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Ч. 2. Гл. 7. С. 511, 523–532, 535)

### **Вопросы и задания**

1. Изложите художественные особенности фьябы, театральной сказки.
2. Каковы источники драматургии К. Гоцци?
3. Как соотносится его драматургическая система с театром масок?



## Витторио Альфьери (1749–1803)

### Предтекстовое задание

Прочитав текст, вычлените основные особенности трагедий В. Альфьери.

### *Е. Ю. Сапрыкина* Витторио Альфьери

С именем Витторио Альфьери связана реформа итальянского трагического театра, формирование новой экспрессивности, подхваченной впоследствии другими жанрами романтического искусства. Но театральный опыт Альфьери имел не только отечественное звучание. На пороге эпохи, главным событием которой стала Французская революция, Альфьери разработал начала новой стратегии театра, повернув его к трагическим экзистенциальным конфликтам, к трагедии индивида, оказавшегося один на один с неумолимым натиском внеличных сил. При этом Альфьери заставил трагедию вспомнить уроки античного театра и Шекспира и обратиться к крупным, порой титаническим характерам и неистовым страстям, помещая их в ситуации, свидетельствующие об изначальной несправедливости миропорядка.

<...>

«Жизнеописания» Плутарха Альфьери перечитал раз пять, неизменно доходя при этом до «криков восторга, слез и даже воплей ярости». Плутарх пробудил в будущем драматурге жажду самопроявления как творческой личности, способной противостоять рутине «времени, когда в Пьемонте нельзя было ни сказать, ни сделать ничего великого». Дневники, которые Альфьери вел в 1760–70-х гг., зафиксировали процесс кристаллизации идеала героической, наполненной жизни – такой, какая по плечу только изначальной сильной личности, подобной «настоящим исполинам» Плутарха <...>. Величие их деяний и высокое горение их страстей проистекают из свободного «естественного побуждения», представление о котором сложилось у Альфьери под влиянием трактата Гельвеция «Об уме», где страсти трактуются как мощный рычаг, толкающий человека к прекрасным или низким стремлениям. В концепции свободной личности, из которой вырастает у Альфьери и его философия творчества, и понятие героизма, слились, таким образом, просветительское понимание страсти как пружины значительного деяния, восхищение титанами древности, описанными Плутархом, и врожденный индивидуализм потомственного аристократа, презирающего всякое принуждение и все приземленное, укорененное в условностях общепринятой морали.

Дневники, несущие мощный нравственно-философский заряд, отразили и другую важную особенность творческого самосознания Альфьери. Идеал героя, стремящегося к «надзвездной свободе», – он сильно повлиял позднее на становление романтической системы идей в итальянской литературе – формировался одновременно с укреплением тенденции к интроспекции, с поиском разных способов «выговориться», сделать понятным строй собственных чувств. Именно этот откровенно индивидуалистический аспект всего созданного Альфьери имел в виду Б. Кроче, характеризуя его не как поэта страсти вообще, но как поэта собственных сильных страстей, и ставя его в один ряд с немецкими штюрмерами, с Руссо и Шатобрианом. Эта лирическая устремленность, очевидная во всех без исключения произведениях Альфьери, слита с их нравственно-философской доминантой, пронизывая героический идеал тираноборца нотами трагизма и сомнения, побуждая поэта быть предельно экспрессивным, концентрировать мысль, добиваться сжатости композиции и словесной формы. С этим активным лирическим элементом в творчество Альфьери привносилось предромантическое качество, которое возвещало о кризисе рационалистической концепции человека у Альфьери и

об углубляющемся в европейском культурном сознании кризисе всей просветительской философско-эстетической системы.

<...>

Предромантический характер миропонимания Альфьери полнее всего проявился в созданной им театральной системе. В трагедиях, написанных в основном с 1773 по 1789 г., налицо трагический разрыв между действительностью, враждебной свободному самопроявлению человека, и внутренней энергией личности, устремленной к тому, чтобы победить враждебные обстоятельства. Этот разрыв влечет героев Альфьери или к гибели, или к утрате собственной человечности. Вся поэтика трагедий Альфьери подчинена этому с годами все более углублявшемуся в сознании писателя трагическому чувству невосполнимости разрыва между стремлениями личности и ее реальными возможностями.

<...>

В первых трагедиях Альфьери обнаруживается общая особенность его понимания трагизма: конфликт имеет многоуровневый характер и проявляется в разных плоскостях. Так, он захватывает, как у греков, бытийный и надбытийный уровни, в него вовлечены божественная воля, а также естественные, природные привязанности (чувства отцовской, материнской, супружеской, сыновней любви, братской близости). Участниками конфликта являются, как в античной трагедии, ближайшие по крови люди: отец и сын, мать и дочь, сестра и брат, жена и муж. Трагедии Альфьери демонстрируют эрозию и гибель этих связей под действием неумолимой силы – рока, тирании или мертвящего закона. В «Полинике», «Антигоне», «Агамемноне» и «Оресте» ход действия обусловлен, как в античных трагедиях на эти сюжеты, божественным предопределением или проклятием. Но в рамках этого общего конфликта развиваются внутренние трагические коллизии, пружина которых может быть двоякой: это политическое противостояние или крайний индивидуализм героев, их одержимость необузданными страстями. Трагический конфликт распространяется, таким образом, и на политический, и на психологический уровни.

<...>

Процесс работы Альфьери над трагедиями отличался специфическими особенностями, в которых отражались и просветительская рационалистичность его подходов к творчеству, и целенаправленный поиск собственной стилистики. Привыкнув с рождения изъясняться по-французски, автор сначала во всех подробностях излагал содержание задуманной трагедии французской прозой, фиксируя смысл всех сцен, реплик и монологов и порядок их следования. Таким образом у него сначала получался прозаический набросок, в котором содержался идейный и событийный костяк трагедии, были продуманы все этапы движения страстей – своего рода архитектурный проект трагедии. Подобная подготовительная работа могла длиться годами. Затем поэт принимался излагать итальянскими белыми стихами то, что было написано французской прозой, а потом – шлифовать, заменять строки и слова, отыскивая стилистический эффект, более всего соответствующий первоначальному проекту. Такая поэтапность позволила Альфьери одновременно работать над несколькими трагедиями (что обеспечивало им концептуальное и стилистическое единство), многократно и самым тщательнейшим образом выверять содержательную сторону текста и придирчиво отбирать соответствующий его трагической системе художественный инструментарий.

Трагический конфликт, в понимании Альфьери, это предельно напряженное столкновение полярных нравственных позиций, обнажающее глубинные пласты враждебного героям, непоправимо трагического устройства мира. Герои Альфьери наделены неистовыми страстями и бешеной энергией. Изображению мощных натур, способных в свободном поступке сфокусировать духовные силы человека – как злые, так и добрые, – Альфьери учился у Шекспира, которого он, как явствует из жизнеописания, многократно читал (и даже опасался, что столь пристальное чтение может слишком сильно повлиять на эстетику его трагедий). Но титаниче-

ские характеры у Шекспира показаны в развитии на большом временном пространстве, в контакте со множеством второстепенных персонажей. Альфьери, верный правилу трех единств, не стремится достичь эффекта развития, диахронии характера, зато, возвращаясь к традициям античной трагедии, и прежде всего Софокла, он предельно акцентирует момент единства действия. Для него важен эффект простоты и напряженности конфликта, четкий и энергичный ритм его развития.

Трагедия Альфьери, как правило, имеет не более пяти <...> действующих лиц, среди которых нет эпизодических или второстепенных. Как в древности, трагедия начинается с пролога, роль которого играет вступительный монолог одного из героев. В прологе кратко очерчивается контур конфликта и расстановка противоборствующих сил. Действие развивается стремительно, без побочных линий, без повторов или длительной подготовки. Страсти героев экстремально напряжены уже в начале трагедии, и кульминация и развязка разделяются очень незначительным драматургическим пространством, иногда кульминация прямо перетекает в развязку, производящую эффект шока. <...>

В четко распланированном временном и идейно-эмоциональном пространстве трагедии Альфьери, строго подчиненном принципу единства действия, нет места не только побочным сюжетным линиям, но и многословным описаниям событий или пространственным интроспективным монологам, в которых герои Расина – этого высшего в Европе после античности авторитета в области трагедии – анализировали и оценивали свои переживания. У Альфьери диалоги насыщены спрессованной в каждой реплике эмоцией, причем сама динамика чувств и мыслей героев, будучи проявлением их сугубо индивидуальной природы, интересует автора трагедии лишь в той мере, в какой она способна раскрыть центральный конфликт идей и нравственных позиций. Подчиненная тому же стремительному ритму, в каком развивается действие, психологическая жизнь героев намечена скупыми и четкими штрихами, которые Альфьери передает в трагедии при помощи необычных (особенно для итальянской сцены тех лет) драматургических средств.

Необычные для итальянского театра, где тон задавали в XVIII в. лирико-музыкальные трагедии Метастазіо, нормы трагедийного стиля, введенные Альфьери, ориентировались опять-таки на стиль греческой классики – и главным образом на стиль Софокла, в котором гармонично уравновешены величавая приподнятость монологов и энергичная простота и выразительность диалогической речи. <...>

<...>

Мысль, что трагедия имеет право на свой стиль, так как она «играется» и «говорится», а не «декламируется» и не «поется», вытекала из общей направленности всего творчества Альфьери как автора трагического театра. Выбором сюжетов и стилиевой ориентацией Альфьери возвращал трагедию к твердым жанровым нормам и к укрупненному масштабу образов и проблем, – к тому, что органичнее всего соединялось именно в классической античной трагедии. Выпады против «лиричности», «мелодичности» и «декламации» были, конечно, прежде всего продиктованы активным неприятием того распада трагической формы, одно из крайних проявлений которого заключено в современной Альфьери и имевшей весьма большой успех «трагедии» П. Метастазіо. Но, декларируя возврат к сценической специфике трагедии, Альфьери – по крайней мере в первый период его творчества – противопоставлял свое понимание трагедии и свою стилистическую систему также тому направлению в трагедийной европейской классике, которое представлял театр Расина. <...> Дело не просто в неприязни Альфьери, поклонника Плутарха и Макьявелли, к Расину как зачинателю традиции изображать в трагедиях страдания влюбленных венценосцев и считать любовный конфликт достойным трагедии. Дело в принципиально ином подходе к стилю, к идейно-эмоциональной насыщенности слова, звучащего со сцены. В расиновской трагедии жестокое, трагически непреодолимое естество страстей как бы отодвинуто вглубь рационалистическим самоанализом героев, переплавлено в

«спокойную правильность слова» и скрыто под покровами музыкального величаво-благозвучного стиха (Р. Барт). У Альфьери слово обнажает природную жестокость конфликта, срывает с него покров рационалистической отстраненности, благозвучия и лиризма. Звучащий со сцены нерифмованный, часто синтаксически неправильный и перегруженный эмоциональной лексикой ямб в его трагедиях открыт для голоса страсти, для «эффекта крика» (М. Орсель). <...>

<...>

Поиск масштабного героя-правдолюбца и сюжета с мощным гражданским звучанием открывал возможность для самого вольного экспериментирования с жанровыми принципами трагедии. В этом отношении особенно показателен германский опыт. Трагедией в Германии начинает называться достаточно размытое в жанровом отношении произведение обычно на исторический сюжет, в котором действие сконцентрировано вокруг одного крупного характера с трагически обрывающейся судьбой. Число сцен, вставных эпизодов, действующих лиц бесконечно множится, стихи могут перемежаться прозой, появляются элементы фантастического и комического, множество второстепенных персонажей, сценических эффектов и т. п. При этом с точки зрения специфики самого трагического конфликта трагедии Шиллера штюрмерского периода и трагедии Альфьери обнаруживают определенное сходство. Как и Альфьери, автор «Разбойников» и «Заговора Фиеско в Генуе» исповедует культ героя, одержимого высокими стремлениями, в первую очередь ненавистью к тирании в любой ее форме, и готового на крайние поступки во имя свободы. И Альфьери в поздних трагедиях, и Шиллер, уже прошедший этап штюрмерства, помещают полюса трагического конфликта не просто между героями и злодеями, а именно внутри самой личности, которая одновременно и сильна, и слаба, и стоит над обстоятельствами и страстями, и уступает им. Обоих привлекают титанические характеры, способные отдаться неистовым страстям, пожертвовав им жизнь, привязанности, честь. Шиллер был союзником Альфьери и в стремлении к максимально напряженному выражению страсти, к превращению слова трагедии в крик.

Но специфика шиллеровского понимания трагического в том, что для него оно есть лишь следствие заблуждения, неверного расчета или слабости героя. <...>

У Альфьери обычно с героями происходит прямо противоположное: их человечность смята роковым предначертанием или злой волей, и трагическому герою не дано реабилитировать себя ни перед самим собой, ни перед окружающими. Финалы трагедий Альфьери не восстанавливают нравственного порядка. Напротив, они зачастую ставят под вопрос смысл героического поступка героя и акцентируют нравственную проблематичность принятого им трагического решения (при том, что герои Альфьери обычно внутренне более цельны и шиллеровская тема борьбы в душе героя противоположных ценностных ориентиров для Альфьери отнюдь не главная). По сравнению со штюрмерской трагедией жанровый костяк трагедий Альфьери прочнее и его ориентация на античную трагедию органичнее, так как театр Альфьери глубже высветил неизбежную трагичность положения человека в мире. Этот аспект бытия, против которого бессильна самая благородная героическая воля, впервые предстал в античной трагедии и у Шекспира, а впоследствии он станет предметом исследования романтиков <...>. Альфьери – единственный европейский драматург XVIII в., кто увидел под трагическим конфликтом не простое отклонение от той или иной нормы, но общий принцип мироустройства, не позволяющий ни полностью исправить зло, ни игнорировать его.

<...>

Из современников только очень немногие <...> признали достоинства и новизну художественной системы Альфьери. Даже А.-В. Шлегель счел его стиль «безумным». <...>

<...> Зато стилистический «эффект крика», вызывавший упреки у критиков трагедий Альфьери, нашел свое место в поэтике других романтических произведений, писавшихся для сцены: он стал важным средством музыкально-драматической выразительности в романтических операх, например у Верди. К именам итальянцев, так или иначе сформировавшимся под

влиянием Альфьери, нужно присовокупить и имена Байрона и Стендаля. Знакомство с эстетикой трагического театра Альфьери, с его поэтизацией крупных, цельных характеров и титанического деяния во имя свободы от любой тирании стало вехой в становлении и этих художественных индивидуальностей.

(Сапрыкина Е. Ю. Витторио Альфьери // История литературы Италии. Т. 3: Барокко и Просвещение / отв. ред. М. Л. Андреев. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Ч. 2. Гл. 10. С. 568, 570–571, 576–577, 581–582, 587–589, 592, 600–601, 613–614)

### **Вопросы и задания**

1. В чем заключалась чисто языковая специфика работы В. Альфьери над его трагедиями? В чем недостаток и в чем преимущество такого метода?
2. Прокомментируйте связь драматургической системы Альфьери с античным театром.
3. Прокомментируйте связь драматургической системы Альфьери с творчеством Шекспира.
4. Как относился Альфьери к театру Расина?
5. В чем сходство и в чем различие между драматургией Шиллера и драматургией Альфьери?
6. Какое влияние трагедии Альфьери оказали на европейский романтизм?

## IV Американская литература

### Бенджамин Франклин (1706–1790)

#### Предтекстовое задание

Ознакомьтесь с фрагментами статьи М. М. Кореневой, отмечая те аспекты творчества Б. Франклина, которые в ней оцениваются.

#### *М. М. Коренева* Бенджамин Франклин

<...>

<...> Франклин с младых ногтей стал своим собственным учителем и наставником. Он принялся сознательно строить свою личность, «создавать сам себя», предложив молодой нации архетип национального характера, в силу своей универсальности равно пригодный для различных исторических эпох и различных по своему социальному и духовному складу регионов. Опыт «самосоздания», «самосотворения», представленный Франклином в классически чистом и завершенном варианте, не менее значим для американской литературы как национальной, чем его собственно литературное творчество. Поэтому говорить о его вкладе в ее становление и развитие – значит обращаться не только к тому, что им было написано, это значит по неизбежности и в равной мере говорить о самой его личности.

Осуществление намерений Франклина в плане самовоспитания вряд ли было бы возможно без постоянного общения с книгой, главным для него источником знания и наслаждений, которые он, в сущности еще ребенок, предпочитал другим, более свойственным юному возрасту увлечениям. Выкраивая для чтения краткие мгновения из обеденного перерыва, он покидал общество коллег и сверстников, уединяясь с одной лишь своей немой собеседницей, или проводил за чтением ночь напролет, когда надо было возвратить к утру полученную вечером книгу. Работа в типографии, дававшая средства к существованию, отчасти удовлетворяла его жадный интерес к знанию. Вместе с тем его типографские заработки, как малы они ни были, позволяли – при строгой экономии на еде – приобретать новые книги, среди которых были и признанные шедевры античности, и произведения современных английских авторов. Можно с определенностью сказать, что книжное собрание Франклина наверняка в какой-то момент пополнилось пособиями по изучению иностранных языков, так как известно, что он владел несколькими, самостоятельно изучив их, в том числе и латынь. Его сочинения пестрят цитатами из Вергилия, Горация, Ювенала, Овидия на языке оригинала.

Чтение необычайно раздвинуло кругозор юного Франклина. Особую роль в его духовном становлении суждено было сыграть произведениям английских просветителей. Сочинения Локка, в особенности его «Опыт о человеческом разуме», из которого вышло все английское Просвещение, труды Коллинза, Мандевиля, Шефтсбери встретили живой отклик в душе любознательного подростка, дали направление развитию его мысли, его интеллектуальным и эстетическим исканиям, что нетрудно почувствовать уже в самых ранних пробах его пера. Типография, которую с полным основанием можно назвать «университетом» Франклина, открыла перед ним путь в литературу и в переносном, и в прямом смысле слова.

Среди первых литературных опытов Франклина выделяется серия очерков «Сайленс Дугуд» (*Silence Dogood*), опубликованная в 1722 г. (с апреля по октябрь) в газете «Нью-Ингл»

энд курант», издававшейся его братом Джеймсом. Ее автору было в ту пору шестнадцать лет. Неудивительно, что в ней так отчетливо ощутима ориентация на почитаемые образцы, прежде всего – на уже упоминавшийся «Зритель». Это сказывается в выборе предмета и того угла зрения, под которым ведется его рассмотрение, а также в принципе подачи и эстетической организации материала.

Серия, состоящая из четырнадцати очерков, носит нравоописательный характер, что по всей вероятности было подсказано превалированием аналогичных статей на страницах издания Аддисона и Стиля, хотя и по эту сторону Атлантики у Франклина нашлось бы немало примеров для подражания. Среди вещей, вот уже на протяжении столетия определявших духовное развитие Новой Англии, наипервейшей было именно состояние нравов и вопросы морали. На эти темы произносились бесчисленные проповеди с церковных амвонов и в магистратах, писались памфлеты, трактаты и другие сочинения, в которых в зависимости от темперамента автора не умолкали сетования и жалобы или же гневные инвективы по поводу современного упадка нравов и давались наставления по их исправлению. Однако у всех них была одна общая черта, в силу которой Франклин не пожелал воспользоваться опытом соотечественников, – явно выраженная церковно-богословская окрашенность, тогда как его устремлениям отвечал чисто светский, мирской подход. Ростки светской культуры в Новой Англии были в то время крайне слабы, что и побуждало Франклина в поисках опоры обращать взоры за океан.

Расхождение с суровым ригоризмом пуританской традиции обозначилось буквально в первых же строках первого выпуска серии, где в духе новейших веяний в области воспитания и гуманитарного знания, связанных с веком Разума, декларировалось намерение автора «несколько поразвлечь» читателей своей «краткой эпистолой»<sup>1</sup>.

Нравственно-этическая направленность серии акцентирована уже в самом ее заглавии. Сайленс Дугуд – таково имя корреспондентки, подписывающей таким образом свои письма в редакцию. Согласно установившейся традиции, это значащее имя, которое содержит в самых общих чертах намеки на предмет предстоящей беседы с читателем, настраивая его на определенное восприятие и давая суммарную общую характеристику «автора». Его русским эквивалентом было бы, пожалуй, нечто вроде «молчание – золото» или, если совсем на русский лад, – Молчальница Добродеева. Имя Сайленс Дугуд недвусмысленно давало понять, что разговор пойдет о том, что хорошо и что плохо в делах человеческих.

Появлением самой этой фигуры, от имени которой написана вся серия, Франклин, по-видимому, более всего обязан опять-таки «Зрителю», где авторы объединяли эссе в серии образом вымышленного персонажа, самым знаменитым из которых был сэр Роджер де Каверли. Молодого американца вдохновил не столько какой-то конкретный персонаж, сколько сама идея использования маски.

Начинающий автор если не осознал, то во всяком случае догадался о тех преимуществах, которые дает этот прием. Начать с того, что маска открывала автору возможность отстранения от материала, вводила как бы незаинтересованный взгляд со стороны – взгляд человека, не втянутого в перипетии реальных жизненных отношений, но и неравнодушного к порождаемым действительностью коллизиям, способного рассматривать их, взвешивая все аргументы за и против. Тем самым маска давала автору несравненно большую свободу действий, не в последнюю очередь потому, что содержание статей не могло быть впрямую увязано с конкретными ситуациями, лицами и стоящими за ними интересами. Франклин уже тогда догадывался о существовании непростой взаимосвязи между позицией и личностью автора и их оценкой читающей публикой, что он не преминул с известной долей едкости отметить в первом очерке «Сайленс Дугуд»: «...ныне большинство людей не желает ни хвалить, ни хулить того, что они читают, покуда они хоть в какой-то мере не будут осведомлены, кто такой и что собой представляет автор, беден он или же богат, стар или молод, ученый человек или же человек в кожа-

ном *фартуке*, и мнение о том, как это исполнено, выражает в соответствии с приобретенным знанием об обстоятельствах автора»<sup>2</sup>.

В сочинениях того рода, которым отдавал предпочтение молодой Франклин, реальное авторство требовало безукоризненной фактической точности в обращении с материалом, но ею бы и замыкался предел, за который ему не позволялось выйти. Поднимаясь с помощью маски над конкретностью фактов, отвлекаясь от повседневных обстоятельств, он получал выход к обобщенной нравственно-философской постановке вопроса.

Но свобода, даруемая маской, была гораздо шире этого, ибо связана с природой художественного творчества. Вымышленный автор, автор-маска открывал двери вымыслу и в отношении других компонентов структуры текста. Создавая его, автор теперь неизбежно должен был ощущать не только и даже не столько требование законов логики и риторики, сколько эстетики и поэтики, поскольку в зависимости от характера маски и самый текст преображался, получая соответствующую ей форму. Комическая маска влекла за собой использование разнообразных приемов воплощения комического: юмора, иронии, сатиры, гротеска и т. д. Маска в фольклорном стиле предполагала широкое обращение к различным пластам устно-поэтического творчества. Вместе с тем, независимо от характера маски любой текст, где она используется, получает дополнительное измерение: приобретает характер иносказания. Наконец самим своим присутствием в тексте маска коренным образом изменяет его, раскрепощает, вводя в него элементы игры, розыгрыша, ту увлекательную стихию свободного художества, возможности и воздействие которых поистине безграничны. В какой мере тот или иной автор, бравшийся за эту форму, был способен реализовать заложенный в ней потенциал, зависело от многих обстоятельств. Что касается Франклина, открытый им для себя принцип маски оказался столь созвучен его творческому складу, что он прибегал к нему на протяжении всей жизни, неизменно совершенствуя его для достижения желаемого художественного и идеологического эффекта, оттачивая свое мастерство.

Однако если источник образа-маски в творчестве Франклина устанавливается без особого труда, вряд ли можно с уверенностью говорить о том, почему он остановил выбор на женском персонаже. Быть может, за ним крылось желание спрятаться за образ, в котором не легко было бы угадать подлинное лицо автора, или увлекла трудная художественная задача – создать образ, по своему жизненному опыту и характеру очень далекий от него самого. Так или иначе, он наделяет Сайленс Дугуд довольно подробной биографией. Она включает ряд драматических эпизодов, начиная с гибели отца в морской пучине, смытого в тот день, когда она появилась на свет, с палубы корабля, на котором ее родители направлялись из Лондона в Новую Англию, и кончая ее собственным вдовством. Смысл этих деталей в том, чтобы создать образ человека, познавшего жизненные невзгоды и потому способного судить о жизни не легковесно, а взвешенно. Твердо усвоившая преподанные ей в свое время нравственные уроки и умудренная опытом, Сайленс Дугуд предстает как фигура во всех отношениях положительная. Моральный авторитет, которым наделяет ее автор, естественно, переносится и на высказываемые ею суждения, практически совпадающие со взглядами самого Франклина.

<...>

Новую ноту внес в развитие литературных талантов Франклина «Альманах Бедного Ричарда» (*Poor Richard, 1733. An Almanack...*), выходивший ежегодно на протяжении 25 лет с 1732 г. Он принадлежал к довольно распространенному в то время типу издания: это был календарь, соединявший сведения по астрономии, географии, сельскому хозяйству с объявлениями, советами по различным вопросам практического характера и пестрой смесью заметок популярно-информационного или морализаторского толка. Франклин сохранил форму этого издания. Его альманах был обращен прежде всего к земледельцам и ремесленникам, представлявшим основной круг его читателей, и он помещал там, подобно другим издателям, массу



полезных сведений и советов. В «Альманахе Бедного Ричарда» Франклин, как ранее в сериях очерков, вновь прибегнул к персонажу-маске, от имени которого и вел разговор с читателем.

Его выбор маски был необычайно удачен. Бедный Ричард в соответствии с демократическими устремлениями автора и требованиями эпохи – человек «третьего сословия», плоть от плоти той среды, с которой он на протяжении четверти века поддерживал диалог. Равноправие партнеров обеспечивало особую доверительность, простоту и естественность высказываний. Франклин несомненно культивировал последние как качества литературного стиля, видя в них отражение истинной добродетели. Иными словами, его эстетический и этический идеалы были нераздельны. Об этом красноречиво свидетельствует заметка «О простоте» (1732), имеющая существенное значение для понимания философии и литературного творчества Франклина.

Если изначально «простота была одеянием и языком мира, как природа – его законом», пишет в ней Франклин, со временем ее вытеснила хитрость и низкие ухищрения, сливающиеся «знанием жизни». Не находя простоты в современном ему мире, он обращает свой взор к античности: «Древние греки и римляне, чьи нетленные писания сохранили для нас деяния и нравы их соотечественников и которые были столь сведущи во всех формах и разумных удовольствиях жизни, столь преисполнены этого точного и прекрасного стиля и чувства, которые кажутся единственно пригодным методом передачи честных и открытых характеров героев, прославляемых ими, сделавших их и их писателей бессмертными». Ссылаясь на Бэкона, Франклин клеймит хитрость и коварство, торжествующие в окружающей жизни, но приносящие человечеству только зло. В заключение он противопоставляет им идеал простоты, которая «естественна и является высшей красотой природы, и все, что есть великолепного в искусствах, изобретенных человеком, предназначено либо демонстрировать эту самородную красоту и истину в природе, либо научить нас во всем списывать и копировать с нее»<sup>3</sup>.

Простота и естественность, избранная Франклином как высшая эстетическая ценность, в «Альманахе Бедного Ричарда» означала ориентацию не на кабинетную ученость, а на здравый смысл и мудрость многоопытного человека, трудом достигшего независимого положения в обществе и уважения к своим мнениям. Бедный Ричард охотно делится опытом с окружающими, но, зная цену слова, облекает свои суждения в форму остроумных, выразительных, напоминающих народные поговорки речений. Франклин немало потрудился над отделкой бойких, буквально летающих с пера афоризмов, которыми беспрестанно сыплет его герой; нередко он возвращался снова и снова к той же мысли в поисках самой яркой и лаконичной формы. При этом он широко использовал богатства, накопленные литературой на протяжении многих веков, обращаясь к сочинениям писателей античности, от Эзопа до Горация, а также сочинениям Бэкона, Рабле, Ларошфуко, Свифта, Поупа и множества других авторов. Немало ценного отыскал он и в сборниках народных поговорок и пословиц. Стихия народного юмора, с которой он непосредственно соприкасался, работая над «Альманахом», существенно обогатила арсенал художественных средств, которыми владел Франклин, расширила диапазон его творческих возможностей.

Образ Бедного Ричарда явился поистине оригинальным созданием Франклина. Его речевая характеристика была столь точна и выразительна, что за нею открывался контур характера, отличавшегося заметно большей целостностью и глубиной, чем привычный персонаж-маска. Неудивительно, что образу Бедного Ричарда предстояло открыть галерею американских литературных героев, от которых он, правда, существенным образом отличается, не являясь, строго говоря, литературным персонажем в полном смысле слова. Выступая сквозной фигурой серии нравоучительных очерков, этот образ выполняет роль связующего звена, объединяющего их в единое целое. Однако это целостность иного рода, нежели целостность художественного повествования, заданная совокупностью элементов его структуры.

Заметно отразилось на отношении к этому образу и его создателю в дальнейшем то обстоятельство, что наибольшей популярностью пользовалась часть «Альманаха» под загла-

вием «Путь к изобилию» (*The Way to Wealth*, 1757), затмившая по числу изданий все остальные. В ней собраны изречения Ричарда, касающиеся экономических «добродетелей» (бережливости, заботы о своей пользе, осторожности в делах, сметливости, деловой хватки и т. п.), позволившие объявить Франклина провозвестником идей буржуазного накопительства. В основе подобного истолкования, которое можно встретить и у ряда современных исследователей, в частности у Макса Вебера, лежит абсолютизация отдельной, вырванной из общего контекста жизни и творчества Франклина идеи, а также невнимание к форме ее изложения, когда, по справедливому замечанию американской исследовательницы Адриенн Кох, «содержащиеся в произведениях ирония и сатира»<sup>4</sup> остаются вообще не замеченными, хотя вернее говорить применительно к «Бедному Ричарду» не о сатире, а о юморе, притом весьма добродушном, а также об игровой стихии, пронизывающей всю его ткань и воплощающей полноту жизненных сил, душевное здоровье и оптимизм как самого героя, так и той среды, которую он призван олицетворять.

<...>

Долгий жизненный и творческий путь Франклина достойно увенчался созданием «Автобиографии» (*Autobiography*), ставшей по общему признанию первым произведением американской классики. Он работал над ней с продолжительными перерывами с 1771 по 1789 г., доведя свое жизнеописание до 1757 г. Первоначально «Автобиография» (она вошла в американскую литературу именно под таким названием<sup>5</sup>: в подлиннике – «Мемуары», *Memoirs*) была опубликована в 1791 г. во французском переводе. Впервые она была напечатана по-английски с оригинала лишь в 1868 г. – до той поры читателю предлагалось знакомиться с жизнеописанием Франклина по переложениям, выполненным с французских изданий, притом далеко не полным. Даже и тогда не обошлось без сокращений – американского обывателя шокировала откровенность некоторых суждений философа-просветителя. Полностью текст «Автобиографии» был опубликован только в XX в.

Открывает Франклин свое жизнеописание обращением к сыну, возможно, бессознательно следуя сложившейся в Новой Англии традиции, представленной в автобиографических сочинениях видных пуританских проповедников от Т. Шепарда до представителей влиятельного клана Мэзеров, полагавших, что их труды посмертно послужат делу наставления потомства на путь истинный. Когда Франклин приступил к работе над своим сочинением, его целью отнюдь не было бесхитростно поведать миру историю своей жизни. В своем жизненном пути он видел наглядный и поучительный пример, знакомство с которым может быть полезным для его соотечественников. Рассказывая о себе в «Автобиографии», Франклин не нуждается в посреднической маске, к которой он часто прибегал в других своих произведениях, – ведь герой повествования, разумеется, не кто иной, как его автор. По видимости неспешно ведет Франклин бесхитростный рассказ о событиях своей жизни от самых ранних дней, о том, какие трудности ему приходилось преодолевать, о лишениях, выпавших на его долю, о жертвах, которые ему пришлось принести для достижения своих целей. При этом «простота» не остается лишь приметой стиля франклиновского повествования. В ней находит непосредственное воплощение высокий нравственный и социальный идеал автора. Из этого возникает абсолютная гармония стиля и содержания, отличающая «Автобиографию» Франклина.

В соответствии с этим решен и образ героя. Хотя автор подчас сознательно нарушает хронологию, то соединяя вместе факты, разъединенные в историческом времени, то, напротив, разводя их, согласно логике внутреннего сюжета своего повествования, этот образ в полной мере остается «портретом с натуры». Развернутый в «Автобиографии» внутренний сюжет представляет становление свободной независимой личности, чье утверждение в жизни достигается не благодаря преимуществам рождения, знатности, фамильных связей, т. е. того наследственного багажа, который был характерен для иерархического феодального общества, в котором он родился, но исключительно благодаря трудам и талантам самодеятельной личности.

Соответственно в его облике подчеркиваются, выдвигаются на первый план черты, совершенно не характерные для традиционных литературных героев: трудолюбие, сметливость, стремление к знанию, наблюдательность, упорство, бережливость, уравновешенность. Впоследствии ряд этих качеств был поставлен в упрек автору, которого прямо обвиняли в пропаганде буржуазных ценностей: накопительства, умеренности, приспособленчества. Для подобных упреков было в сущности мало оснований. Нигде бережливость не выступает у Франклина как самостоятельная цель, оправдывающая страсть к наживе. Напротив, с первых страниц, где рассказывается, как еще подростком, только ограничивая себя во всем, он мог из своего скудного заработка наскребать деньги на книги, Франклин показывает ее как средство достижения и обеспечения подлинной свободы, в том числе и духовной. А такая задача, как прекрасно признавал Франклин, стояла не только перед ним: это была задача всего человечества, едва начавшего освобождаться от пут феодализма, задавленных нищетой и бесправием масс, проблема счастья которых занимала одно из главных мест в философии Просвещения.

Образ героя «Автобиографии», таким образом, есть не что иное как претворенный в жизнь идеал «нового человека», рожденный просветительской мыслью. Подлинность запечатленного в нем личного опыта автора служила неоспоримым доказательством не только правильного выбора его собственного жизненного пути, но и истинности социальных концепций, выработанных в лоне философии Просвещения. Огромное значение придавал Франклин достижимости подобного идеала, заключающего в себе потенциал широкомасштабных социальных преобразований, возможности его реального воплощения. В противном случае это означало бы несостоятельность заложенных в нем идей; иными словами, жизненность идеала заключалась в преодолении его идеальности. Писатель не только не видел к тому препятствий, но и, как мог, способствовал его превращению в своего рода «массовое явление», в частности, делая посредством «Автобиографии» свой опыт достоянием всех, кто вознамерился бы ему последовать. Таким образом должно было, по мысли Франклина, осуществляться «снятие идеальности» в реальной жизни. В ходе повествования он добивается этого эффекта широким использованием юмора и самоиронии, способствующих снижению повествовательной интонации. Что не менее существенно, они устраняют дистанцию между знаменитым автором и скромным читателем, к которому прежде всего обращался Франклин. Этому способствует также постоянная погруженность повествования в мир практических дел, воссозданных обстоятельно и деловито и не позволяющих автору в устремленности к идеалу оторваться от земных забот, воспарить над реальностью. Неразрывная связь идеала и действительности – отличительная черта франклиновской «Автобиографии». Автор, без сомнения, знает, что его окружает «низкая» действительность, однако он не питает к ней ни отвращения, ни презрения, не бежит от нее в мир высокой мечты: его «высокая» мечта заключена в преобразовании действительности, которую он стремится сделать достойной человека. Из идеала рождается призыв к действию, вдохновленная идеалом деятельность обретает направленность, находящую воплощение в сугубо практических делах: от освещения улиц и их очистки от грязи до организации городской больницы, публичной библиотеки и Американского Философского общества.

Представленная в «Автобиографии» история восхождения человека из низов, при всей единичности отраженного в ней личного опыта, выражала коренные закономерности века Разума. Исключительную роль отводит Франклин в своем повествовании нравственному самосовершенствованию, подобно другим просветителям, видя в Разуме и просвещении его естественную опору. Подробно рассказывает он о системе самовоспитания, которую разработал еще в юные годы. Ее конечной целью было воспитание полезного гражданина. Однако, несмотря на простоту составленных им правил, искреннее желание и твердое решение идти путем добродетели, ему отнюдь не всегда удавалось следовать собственным принципам. Франклин честно и вместе с тем трогательно описывает ставившие его в тупик отклонения от намеченной цели. Воплощенные в сбоях программы самовоспитания представления о человеческой

личности, о диалектике души, о соотношении разума и чувства выглядят достаточно наивными. В то же время в этих эпизодах присутствует ирония умудренного жизнью человека, с высоты своего жизненного опыта взирающего на неопытного юношу, который полагает, что понять и принять что-то умом – значит это осуществить, не ведая еще о пропасти между разумным решением и его воплощением.

При всей их кажущейся наивности наблюдения Франклина над собственной жизнью и личностью свидетельствуют об определенных завоеваниях американской литературы эпохи Просвещения. Претворяя абстрактные философские тезисы в конкретные человеческие отношения, примеривая их к реальному человеку, литература в этом жанре, наравне с европейским реалистическим романом XVIII в., придавала теоретическим выкладкам принципиально новое качество. Умозрительная схема уступает место неповторимому своеобразию уникальной человеческой личности, которая исключается жанровой природой трактата, эссе и другой философской прозы. Таким образом литература в мемуарном жанре активно осваивала категорию личности, ставшую мерилем оценки общетеоретических и социологических установок века Разума, которым был верен Франклин.

Подобно многим другим авторам того времени, обращавшимся к жанру воспоминаний, прежде всего Ж.-Ж. Руссо, Франклин, создавая свои «Мемуары», вносил заметные изменения в устоявшийся канон. В силу разнообразия исходных установок их сочинения имели различную направленность, в том числе и в эстетическом плане. Отмечая различие подходов («Тогда как Руссо излил свою внутреннюю жизнь в форме исповеди, Франклин представил хронику своей общественной жизни»), современный американский исследователь Дж. М. Кокс подчеркивает, в частности, их роль именно в трансформации избранных ими форм: «И все же точно так же, как Руссо преобразовал исповедь, Франклин преобразовал мемуары. Хотя Франклин дает хронику своего восхождения от безвестности к славе (*prominence*), он не столько подавляет свою эмоциональную жизнь, сколько показывает процесс преобразования, использования и претворения своих желаний, внутренних конфликтов, сомнений и разочарований в образцовую жизнь, которой в свою очередь может воспользоваться потомство»<sup>6</sup>. Результаты подобных изменений отразились на жанровой системе литературы той эпохи, приведя в конечном итоге к выделению автобиографии в качестве самостоятельного жанра.

(Коренева М. М. Бенджамин Франклин // История литературы США. Т. 1: Литература колониального периода и эпохи Войны за независимость XVII–XVIII вв. М.: Наследие, 1997. С. 389–393, 414–417, 422–425)

### Примечания

<sup>1</sup> *Franklin B. Writings*. New York, 1987. P. 5. (Literary Classics of the U. S.)

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 181, 183.

<sup>4</sup> *Koch A. Introduction // The American Enlightenment / ed. by A. Koch*. New York, 1965. P. 55.

<sup>5</sup> В то время, как Франклин писал свое жизнеописание, термина «автобиография» еще не существовало – он появился лишь в XIX в. По мнению ряда исследователей, само его появление было результатом тех кардинальных преобразований, которые произвели в жанрах «исповеди» и «мемуаров» Руссо и Франклин, чья новаторская роль в области литературы полностью соответствует их роли идеологов эпохи Просвещения и порожденных ею революций. См., к примеру: *Cox J. M. Recovering Literature's Lost Ground*. Baton Rouge; London, 1989. P. 11–21.

<sup>6</sup> *Ibid.* P. 15.

### Вопросы и задания

1. Перечислите основные, по мнению М. М. Кореновой, составляющие «архетипа национального сознания», представленные в произведениях Б. Франклина.
2. Как автор оценивает образы-маски, использованные в произведениях Б. Франклина?
3. Как образ героя «Автобиографии» соотносится, по мнению автора, с архетипом национального характера?
4. В чем заключается, по мнению автора, эстетическая ценность образов Бедного Ричарда и героя «Автобиографии»?
5. Перечислите эстетические особенности произведений Б. Франклина, выделенные автором.

## Война памфлетов

### Предтекстовое задание

Прочтите статью Дж. Х. Пауэлла, обращая внимание на представления автора об особой роли памфлета в истории американской литературы.

### *Дж. Х. Пауэлл* Война памфлетов

*Перевод с английского В. Бернацкой*

<...>

Памфлет царил в Америке триста лет. За это время ремесло памфлетиста стало особым родом литературной деятельности со своей техникой и формами, а сам памфлет – основным оружием в пропаганде и споре. Поощрение колониальной политики в XVI веке, распространение несогласных с церковными догмами религиозных сект, политические революции XVII века, потрясение основ империи, народные войны XVII века и, наконец, Американская и Французская революции – всем этим событиям прекрасно соответствовала емкая, воинствующая и популярная форма памфлета.

Литературные разногласия времен Американской революции запечатлены в брошюрах небольшого формата, с дешевой, но хорошо выполненной печатью, доступных по цене. Их можно было быстро прочитать и, что еще важнее, быстро написать. С 1763 по 1783 год двести американских типографий выпустили около девяти тысяч печатных изданий – книг, газет и плакатов; из них по меньшей мере две тысячи были политическими памфлетами. Именно они, эти две тысячи брошюр с претенциозными и устрашающими названиями, являлись основным ядром литературы Американской революции; их назначение – попасть как можно скорее в руки читателя и склонить его на сторону того или иного лагеря – делало памфлеты необычайно злободневными; лишь изредка касались они «вечных», близких человеку любой страны и эпохи тем.

В этом огромном потоке однодневок почти отсутствовала оригинальность. Автор и его книга сливались со множеством других авторов и книг и, взятые вместе, они давали представление о мыслях и чувствах двух миллионов американцев в очень бурный, сложный и пугающе величественный период их истории. Даже такие выдающиеся памфлеты, как «Письма фермера» Дикинсона<sup>1</sup> или «Здравый смысл» Пейна, нельзя рассматривать обособленно: они занимают свое, строго определенное место в процессе борьбы и в развитии мысли. <...>

<...>

<...> Война породила более яркие литературные формы: в ней окрепли поэтические таланты Филипа Френо<sup>2</sup>, Френсиса Хопкинсона<sup>3</sup> и Джона Трамбулла<sup>4</sup>. Эти сатирики вместе с лидерами радикалов, вроде Джона и Сэмюэла Адамсов<sup>5</sup>, постоянно призывали к независимости, но в конце 1775 года Америка еще пребывала в нерешительности. И тогда в январе 1776 года в Филадельфии появилась небольшая книжка доселе неизвестного автора, приобретшего с ее выходом мировую славу как лучшего революционного памфлетиста. Этим памфлетом был «Здравый смысл», а его автором – Томас Пейн, в прошлом английский ремесленник.

У Пейна не было родины, а у его учения – возраста. Из всех писателей Революции он был наименее «американским» – по среде, духу и целям. Он не принимал участия в пятнадцатилетней дискуссии о конституции, которая умиротворяла умы колонистов <...>. Все эти годы Пейн находился в Англии. Его интересовала не Америка, а революция. Он отличался

по всем статьям от своих знаменитых американских предшественников: его образование было поверхностным, общественное положение – невидным, систематическое знание философии и умение аргументировать практически сводились к нулю. Однако то, что Пейн не принимал участия в былых метафизических спорах о конституции, способствовало независимости его взглядов. Он чувствовал, ощущал и реагировал. И не усложнял свои чувства интеллектуальными изысканиями. Яркий радикал, Пейн был прототипом самой Революции. Его стиль был тороплив, страстен и откровенно прост; его сочинения указывали четкую программу действий для ремесленников, механиков и фермеров. Направив сопротивление в русло борьбы, Пейн дал американскому народу новую философию. Когда-то корсетный мастер из Тетфорда в Норфолке, перепробовавший профессии матроса, учителя, табачника; беспечный акцизный чиновник, бакалейщик, судейский служащий, Пейн до своего приезда в Америку, в возрасте тридцати семи лет, вел удивительно неорганизованную и безалаберную жизнь. Наделенный живым любознательным умом, но не привыкший к систематическому труду, он знал понемногу обо всем. Он начал работать в филаделфийской газете как раз в тот момент, когда накопленные нацией за период сопротивления силы сконцентрировались в Конгрессе и Пенсильвания вступала в фазу своего пролетарского развития. Ему были одинаково близки интересы низших сословий и гуманистическое рвение таких выдающихся просветителей, как Бенджамин Франклин и доктор Бенджамин Раш<sup>6</sup>, – его покровителей. Газетные статьи Пейна об отмене рабства, о женском равноправии, о дуэлянтах, титулах, независимости для Индии резко выделялись как будущий материал для революционных трактатов среди памфлетов, написанных по следам провинциальных политических смут и злоупотреблений в судопроизводстве <...>. Битва при Лексингтоне<sup>7</sup> открыла Пейну глаза на величие революции: она сделала то, что оказалось не под силу конституционным спорам и резолюциям Конгресса. Полагая, что недолгое пребывание «в стране, где все ведут свое происхождение от авантюристов», не мешает ему высказать свои резкие суждения, он вознамерился повернуть американцев в сторону борьбы за независимость. Пейн доказывал, что спорный вопрос о тонкостях конституционной законности перерос в проблему, требующую разрешения «в соответствии с потребностью человека в истине, честности и справедливости», в соответствии с его (название памфлета предложил д-р Раш) «здравым смыслом».

Памфлет потряс Америку. За несколько месяцев в стране было напечатано более ста тысяч экземпляров; в Англии он переиздавался четырежды. В конечном счете в обращении было около пятисот тысяч брошюр. Памфлет никого не оставлял равнодушным. Вашингтон считал, что памфлет «произвел переворот в сознании многих». По мнению одного из жителей Северной Каролины, он обратил большинство американцев в сторонников независимости. Вряд ли когда-нибудь книга завоевывала столь скорое и единодушное признание. Пейн отменил все политические теории относительно лояльности короне и федерации; он открыто издевался над верноподданническими чувствами по отношению к Георгу III. Напротив, он говорил о неизбежности отделения от метрополии: целый континент не мог подчиняться острову. «Период споров окончен, – писал он. – Все разрешится в последней инстанции – в бою». Он яростно нападал на «коронованного мерзавца» и высмеивал монархический образ правления. «Для Бога и общества один честный человек нужнее, чем все коронованные разбойники, когда-либо жившие на земле». Он рисовал картину, как три миллиона американцев, когда приходит английский корабль, спешат на побережье, чтобы выяснить, «какую порцию свободы им отпустят в этот раз». Он утверждал, что колонии вступили в ту стадию развития, когда подобное школьничество и смешно, и опасно. И наконец, он призывал Америку построить самое свободное в мире общество: «Вы, любящие человечество!.. Насилие попирает своей пятой каждый клочок земли старого мира. По всему миру преследуют свободу. Азия и Африка давно изгнали ее из своих краев. В Европе она странница – Англия выживает ее. О, примите изгнанницу и приготовьте заблаговременно убежище для человечества».

Подобно Джефферсону и Руссо, Пейн был мастером возвышенного стиля. В этом и заключалась сила его призыва. Его аргументация была предельно проста, изложение сути обсуждения – элементарно. Его статьи вряд ли соответствовали нормам хорошего вкуса: он не брезговал называть психически больного Георга III «Ваше сумасшедшество» и с тяжелой страстностью вмешивался в политические тонкости. Но простота и лихорадочная пылкость его произведений привлекали многих читателей, которых оставляла равнодушными трезвомыслящая аргументация прочих писателей. «Моя родина – весь мир. Творить добро – моя религия», – восклицал он и убежденностью вдохновенного агитатора обращал в свою веру.

Два постоянных, неколебимых принципа составляли основу его кредо: вера в возможность «разумного правления» и убежденность во всеобщем братстве людей. Эти идеи не были оригинальными и трактовались некоторыми более выдающимися предшественниками Пейна значительно глубже. Однако ему удалось изложить их на языке народа; его книги были и являются азбукой либерализма.

«Здравый смысл» сделал Пейна трибуном «независимых». «Американский кризис» (тринадцать статей, написанных для «Пенсильвания джорнэл» в течение последующих семи лет с разными интервалами) сделал его оракулом революции. Знаменитое начало первой статьи Пейна, напечатанной в «Кризисе», стало ее боевым кличем:

«Бывают времена, которые являются испытанием для человеческой души. „Воины на час“ и патриоты на словах отвернутся от своей родины в годину испытаний; тот же, кто выстоит *теперь*, заслужит любовь и признательность всех мужчин и женщин страны. Тиранию, подобно аду, нелегко сокрушить, и все же мы утешаемся надеждой, что чем труднее победа, тем ярче слава». Он нападал на недалевидность тех, кто желал мира, потому что в этом случае войну пришлось бы вести их детям, и хвалил силу духа тех патриотов, которые выстояли среди поражений первого года войны:

«Мне нравятся люди, которые с улыбкой переносят трудности, которых закаляют неудачи, а размышления делают мужественнее. Лишь слабые духом легко сдаются; тот же, чье сердце твердо и находится в согласии с совестью, пойдет ради убеждений на смерть».

В более поздних статьях «Кризиса» говорилось о насущных проблемах военных лет – финансовом хаосе, сопротивлении лоялистов<sup>8</sup>, военном шпионаже, национальном единстве, справедливом мире и создании правительства, отвечающего интересам народа. Пейна затагивали частности политической жизни: множество мелких обязанностей и работа над статьями, помимо «Кризиса», способствовали этому. Он не порывал со своими основными «философскими» установками, но в этих статьях не сумел подняться до той оригинальности, живости изложения, того обобщающего определения национальной задачи, которые в «Здравом смысле» заставили «тринадцать часов пробить одновременно».

Однако его философия свободы продолжала оставаться столь же четкой. «Собственная позиция представляется мне прямой и ясной, как солнечный луч», – писал он; видя, какой долгий и трудный путь к победе предстоит американскому народу, Пейн выдвинул концепцию революции как освобождения от власти древних кумиров с их обветшавшей символикой, причем для всех простых людей мира, а не только американцев; Революция стала главным верованием его жизни. Однако после заключения мира и особенно правительственных реформ 1787–1789 годов революционные настроения в Америке пошли на убыль. Здесь революция закончилась. Но она начиналась в Европе, куда Пейн – этот самозванный революционный пророк – отправился в 1787 году. Как и Архимед, он считал, что, если ему дадут точку опоры, он сможет перевернуть мир. Эту «опору» ему дала Французская революция. Потерпев неудачу в руководстве революционными действиями, Пейн вложил всю силу своих убеждений и безграничную энергию в литературный труд. «Права человека» стали настольной книгой мировой революции и «евангелием» демократов двух континентов. В «Веке разума», сопоставляя политическую и теологическую доктрины – связь между которыми никогда еще так не поглощала его мысли, –



Пейн заговорил о собственном деизме столь резко и неприкрыто, что приобрел множество врагов среди простых людей, бывших прежде его поклонниками и последователями. «Аграрная справедливость» являлась исследованием проблемы бедности. В состоянии ли современное человечество, порождающее бедность, уничтожить ее путем общественной борьбы? На этот вопрос Пейн отвечал положительно и выдвигал свою систему государственного налогообложения и пенсий. От демократизма семидесятых годов он шел к национализму девяностых.

Французская революция закончилась, так же как в свое время – Американская; Франция вступила в период перестройки и захватнических войн, и Пейн оказался не у дел. В 1802 году он вернулся в Америку, показавшуюся ему чужой, и провел там несколько бедственных лет, больной, нуждающийся и всеми отвергнутый. В 1809 году Пейн умер. Расцветая в годы общественных бурь, он увядал с наступлением мира, умея разбудить чувства, он мог оскорбить осторожность – и все же он был непревзойденным мастером в умении разрушать, казалось бы, незыблемые авторитеты; он верил, что самый надежный проводник в политике – разум, а не уважение к власти или «откровения» пророков. Он обогатил политическую лексику патетикой мужества, решимости и веры, не потерявшей свое значение и в последующие годы. Трудно определить, какой нации принадлежит Пейн, но несомненно, что, оставив памятные свидетельства о поворотном периоде американской истории, он занял важное место в складывающейся литературе новой республики.

<...>

(Пауэлл Дж. Х. Война памфлетов / пер. с англ. В. Бернацкой // Литературная история Соединенных Штатов Америки / под ред. Р. Спиллера, У. Торпа, Т. Н. Джонсона, Г. С. Кэнби. Т. 1. М.: Прогресс, 1977. С. 179–180, 186–190)

#### Примечания составителя

<sup>1</sup> Джон Дикинсон (1732–1808) – политический деятель, публицист, автор одного из самых известных циклов эссе «Письма пенсильванского фермера» (1767). Отказался подписать Декларацию независимости, но активно поддерживал принятие конституции.

<sup>2</sup> Филип Френо (1752–1832) – виднейший поэт эпохи Войны за независимость, журналист, публицист, известен своей приверженностью идеям Т. Джефферсона.

<sup>3</sup> Френсис Хопкинсон (1737–1791) – политический деятель, композитор, художник, эссеист и поэт, известен своими сатирическими памфлетами.

<sup>4</sup> Джон Трамбулл (1756–1843) – юрист, публицист и поэт, основатель литературного кружка «Хартфордские мудрецы».

<sup>5</sup> Сэмюел и Джон Адамсы – члены бостонского семейства, сыгравшего заметную роль в истории США. Оба участвовали в подписании Декларации независимости. Сэмюел Адамс (1722–1803) – один из радикальных лидеров раннего периода американской революции. Джон Адамс (1735–1826) – 2-й президент США (1797–1801).

<sup>6</sup> Бенджамин Раш (1745–1813) – политический деятель, медик, в 1769 г. стал первым профессором химии в колониях, друг Б. Франклина и Т. Джефферсона.

<sup>7</sup> Лексингтон – основанный в 1640 г. городок на востоке штата Массачусетс, место одного из первых сражений войны за независимость (19 апреля 1775 г.).

<sup>8</sup> Лоялисты – колонисты – противники отделения колоний от Англии.

#### Вопросы и задания

1. Прокомментируйте авторское понимание значения творчества Т. Пейна.
2. Какие идеи Т. Пейна, высказанные в памфлете «Здравый смысл», автор считает главными?

3. Какие факторы, по мнению автора, обусловили популярность памфлетов Пейна в годы Войны за независимость?
4. В чем, согласно автору статьи, причина утраты Т. Пейном популярности в последующие годы?

## Томас Джефферсон (1743–1826)

### Предтекстовое задание

Прочтите статью, обращая особое внимание на то, как понимается в ней значимость идей Т. Джефферсона.

*Е. А. Стеценко*

### Томас Джефферсон

<...>

<...> Джефферсон совмещал в себе мыслителя и общественного деятеля. Он был одним из тех, кто усвоил и развил идеи английского и французского Просвещения и перенес их на американскую почву, кто сделал абстрактные теории государства, морали и права фактами человеческой истории. Однако, по сравнению со многими европейскими революционными идеологами, Джефферсон, как и большинство других вождей Американской революции, отличался отсутствием идейного фанатизма, достаточной гибкостью и умеренностью. Специфика американского Просвещения заключалась в том, что здесь не было механического и буквального заимствования социальных концепций, приоритета теории перед исторической практикой и национальным своеобразием, стремления к насильственному изменению закономерного хода событий. Национально-освободительный характер Войны за независимость, а также традиционная, мифологизированная вера колонистов в особую судьбу Америки способствовали росту национального самосознания. Американские деятели понимали необходимость следовать требованиям конкретных обстоятельств и учитывать накопленный в колониальную эпоху опыт. Революция, призванная реализовать мечты о построении справедливого государства, дала мощный толчок развитию страны, будучи одновременно и итогом пройденного пути, и залогом движения вперед.

Духовная жизнь нации революционного периода была вся проникнута противоречивым и, вместе с тем, плодотворным союзом философских идей и земных деяний. Поэтому не удивительно, что в американской литературе второй половины XVIII в. преобладали документальные, публицистические жанры и типографии печатали, главным образом, политические, научные и религиозные сочинения. С помощью небеллетристических жанров удовлетворялся интерес американцев к актуальным проблемам государственного строительства и хозяйствования и, кроме того, через освоение литературных традиций осуществлялась преемственная связь отечественной и европейских культур, усваивались идеи Ренессанса, Реформации, Просвещения. Документальная литература была прекрасным выразителем национального сознания, тяготеющего к рационализму, научному знанию, практическому опыту и придающего большое значение взаимоотношениям личности с природой, обществом и государством.

«Отцы-основатели» Соединенных Штатов, являясь одновременно теоретиками, революционными и государственными деятелями, с исключительным вниманием относились к слову как средству убеждения, орудию борьбы и носителю буквы закона. Философской идее было тесно в рамках схоластических, «кабинетных» жанров, она приобретала политическую ангажированность, становилась элементом общественной пропаганды или включалась в доверительный диалог человека с самим собой, единомышленниками и оппонентами. Вся идеологическая система американского Просвещения нашла отражение в записках, дневниках, мемуарах, письмах и памфлетах, нередко обладавших немалыми художественными достоинствами и оказавших свое влияние на дальнейшее развитие национальной литературы.

Обширное наследие Томаса Джефферсона включает все перечисленные жанры, в каждый из которых этому «философу-правителю» удалось внести свою лепту. Самое знаменитое

его сочинение – Декларация независимости – навсегда останется одним из ярчайших памфлетов в истории американской словесности. В революционную эпоху памфлет развивался вместе с политическими событиями, менял свою тематику и форму, приобретая идейную и художественную зрелость. Сначала он касался местных проблем и конкретных деятелей, затем перешел к фундаментальным вопросам общенационального значения, к теоретическому и моральному обоснованию справедливости борьбы с метрополией. Природа этого жанра, расцвет которого пришелся на XVIII в., соответствовала особенностям просветительского мышления с его логичностью, аргументированностью, тяготением к нравственным абсолютам и апелляцией к здравому смыслу. Критический и положительный пафос памфлета был обращен к реальной действительности и направлен на ее изменение и совершенствование.

«Декларация представителей США, собравшихся на общий Конгресс» («A Declaration by the Representatives of the United States of America in General Congress Assembled», 1776), получившая название Декларации независимости, проникнута верой в революционное преобразование мира. Независимость, которую требовали колонии, должна была обеспечить им не только равный статус с европейскими странами, но и возможность создания разумного общества на принципиально новой основе, гарантирующего процветание каждого гражданина. Свобода понималась как абсолютное, неотчуждаемое право, принадлежащее и человеку, и нации в каждый момент ее истории. Америка, будучи частью мирового сообщества, могла самостоятельно распоряжаться своей судьбой и ныне, и в прошлом, и в будущем. Притязания Англии на владычество и управление народом, живущим на другом берегу океана, представлены в Декларации нарушением принципов государственного устройства, основанного на «общественном договоре», а также равных для всех людей «естественных прав». Поэтому сопротивление деспотической власти и желание свергнуть неугодное правительство полностью оправданы. Как отмечает В. В. Согрин, Декларация апеллировала не к исторически ограниченному документу – английской конституции, а к фундаментальным законам мироздания, и представляла «общественный договор» добровольным соглашением людей между собой, а не между властями держащими и управляемыми<sup>1</sup>.

Основные положения политической философии Джефферсона – о необходимости ограничения власти государства, главная функция которого – не насилие, а обеспечение человеческих свобод, и о революции как средстве оздоровления национальной жизни – почерпнуты из сочинений европейских просветителей, в частности из произведения Дж. Локка «Два трактата о государственном правлении» (1689). Это дало основание современникам Джефферсона критиковать его за «неоригинальность», заимствования из различных источников и повторение общеизвестных истин. Но такова была задача автора Декларации. Он прямо заявлял, что не ставил перед собой цель выдвижения новых идей, а стремился передать взгляды и настроения большинства. Как писал уже в наше время критик К. Холлидей, «оригинальность была бы фатальной, так как он должен был выражать те чувства, которые волновали в течение столетия сердца людей: иначе бы его не приняли»<sup>2</sup>.

Однако Джефферсон творчески подошел к заимствованным идеям и дополнил их новыми, американскими чертами. Вводя в текст Декларации локковскую формулировку «естественных свобод», он делает одну существенную поправку: право на «жизнь, свободу и собственность» заменяет правом на «жизнь, свободу и стремление к счастью». Счастье как естественное право появляется уже в виргинском билле о правах, подготовленном Дж. Мейсоном за месяц до принятия Декларации, но там сохраняется и право собственности<sup>3</sup>. Исключение Джефферсоном этой составляющей можно объяснить тем, что, с его точки зрения, собственность – не естественное право, а продукт исторической эволюции. Еще в «Общем обзоре прав Британской Америки» он говорил о земле как об общественном достоянии<sup>4</sup>. «Различия между отношением к собственности Локка, с одной стороны, и Джефферсона, а также ряда других

американских просветителей, с другой, – пишет В. В. Согрин, – есть различие между позицией буржуазного либерала, поклоняющегося абсолютной свободе частной собственности и обосновывающего при помощи естественноправовой доктрины ее неограниченное накопление, и позицией буржуазного демократа, рассматривающего собственность как общественное установление и наделяющего государство правом регламентировать крайности ее свободного развития»<sup>5</sup>.

Кроме того, как верно заметила американский исследователь Адриенн Кох, появление понятия «счастье» в политическом документе вывело его из сферы личного, интимного и превратило в общественную категорию<sup>6</sup>. Исходя из эпикурейских тезисов о том, что счастье – цель жизни, полезность – критерий добродетели, а радость и удовольствие заключаются в благе ближних, Джефферсон сделал частный успех государственной задачей. Представление о счастье как о естественной потребности человека, несомненно, свидетельствует о светской направленности джефферсоновского мышления, далекого от пуританских догматов, обещавших достижение блаженства не в земном, а в потустороннем мире. Джефферсон был уроженцем Виргинии, где, в отличие от Новой Англии, гораздо меньше ощущался религиозный ригоризм и сильнее проявлялись элементы феодальной и ренессансной культуры. Занятия искусством, светские развлечения, наслаждение красотами природы составляли значительную часть жизни южных джентльменов, которые считали собственность лишь одним из факторов благоденствия и не отличались особенной меркантильностью. «Американская мечта» изначально была шире приземленного идеала материального достатка и включала в себя упоение дарами судьбы и неограниченными человеческими возможностями.

Идеи Декларации опирались на теоретически обоснованный мировоззренческий фундамент и в то же время стимулировались конкретной политической ситуацией. Документ был призван подвести философский базис под требование независимости, разоблачить противоправные действия английской короны и призвать американский народ к борьбе с тиранией. Этими задачами обуславливаются жанровые особенности Декларации, сочетающей в себе черты исторического сочинения, философского трактата, политического памфлета и манифеста. <...>

Конкретные цели Декларации определили всю систему использованных автором публицистических средств. Обращаясь прежде всего к американскому народу и выражая демократические идеи, Джефферсон стремится к доступности и простоте изложения. Он хочет показать всему миру, что требование независимости – это воля жителей Нового Света, от имени которых написан памфлет. Декларация не перегружена философской риторикой или авторскими субъективными соображениями. Она рассчитана на коллективное восприятие, на возбуждение гражданских, патриотических чувств, заставляющих людей ощутить себя частью единого целого.

В той части Декларации, где речь идет о праве колоний на самоопределение, мысли аксиоматичны, «истины очевидны», построены на общих умозаключениях и обращены к здравому смыслу и разуму читателя. Переход к обвинениям в адрес Англии и короля происходит через констатацию явного противоречия между установленными нормами человеческого бытия и «неограниченным деспотизмом» метрополии. Здесь к холодному рассудку присоединяется оскорбленное нравственное чувство – в настроении нации, «долго и терпеливо переносившей разные притеснения», наступает перелом.

Представленные далее «на суд беспристрастному миру» факты, уличающие Георга III в «беспрестанных несправедливостях и узурпациях», взяты из исторической реальности и рассчитаны на эмоциональный отклик. Однако и здесь Джефферсон старается, по мере возможности, не утратить высокого уровня объективности, обобщая конкретные, хорошо известные факты, прибегая к иносказаниям. Так, например, имея в виду закон 1774 г. о передаче в Англию для судебного рассмотрения дел колонистов, обвиняемых в мятеже, он пишет

об «отправлении нас за море для суда за мнимые преступления». Члены английского Парламента называются «другими лицами», Канада – «соседней провинцией». Георг III – это «он», олицетворение безличной тирании, монархической власти, бесконечно далекой, чуждой и враждебной американскому народу. В гиперболических инвективах король предстает злодеем, «который грабил нас на море, опустошая наши берега, сжигая наши города и убивая наших сограждан», а также «вел жестокую войну против самой человеческой природы»<sup>7</sup>. В черновом варианте памфлета последний аргумент был усилен указанием на такое вопиющее преступление «христианского короля», как работорговля – «пиратская война, позорящая даже языческие государства». Однако это обвинение было вычеркнуто из окончательной редакции Декларации, поскольку слишком явно противоречило интересам виргинских плантаторов и, кроме того, было не совсем справедливым: короля упрекали в том, что он насильно навязывал Америке работорговлю.

С профессиональной дотошностью юриста Джефферсон выстраивает обличающие аргументы и произносит яркую обвинительную речь, в которой некоторая формализованность и педантичность юридического документа сочетается с публицистической страстностью памфлета. Монотонные повторы аналогичных фразовых структур и зачинов поддерживают торжественность тона, создают своеобразный ритмический рисунок, нагнетают напряженность и ведут к интонационной и смысловой кульминации. Лаконичность, четкость сентенций и ясность стиля делают текст доходчивым и доказательным, высокий слог вызывает к патриотическим чувствам и убеждает в значительности исторического момента, резкие выпады против противника пробуждают гнев и готовность к сопротивлению. Последняя часть Декларации содержит упреки в адрес англичан, которые «остались глухи к голосу справедливости и кровного родства» и не выразили «порицания актам узурпации». Таким образом, автор не оставляет сомнений в необходимости, правомерности и нравственной оправданности отделения от метрополии и предлагает считать англичан «отныне, как и другие народы, врагами во время войны и друзьями во время мира»<sup>8</sup>. Памфлет завершается объявлением полной независимости Штатов, освобождающихся от «всякого подданства британской короне».

Декларация независимости – документ революционной эпохи, когда расчищалась площадка и создавались благоприятные условия для строительства демократической республики. На очереди было оформление идей в государственное законодательство, разработка конституции, дискуссии по поводу путей и форм развития страны. Джефферсон, принимавший самое активное участие в политической жизни, по мере возможности, пытался осуществить свои замыслы на практике и пользовался всяким случаем, чтобы убедить соотечественников в пользе предлагаемых им преобразований. Наиболее систематическое изложение его взглядов содержится в «Заметках о штате Виргиния» (*Notes on the State of Virginia*), представляющих собой ответы на 23 вопроса секретаря французской дипломатической миссии в Филадельфии Франсуа Марбуа, который попросил членов Континентального конгресса представить ему сведения о различных американских штатах. Джефферсон как губернатор Виргинии охотно возложил на себя эту миссию и, воспользовавшись собственными знаниями и материалами других исследователей, написал в 1781 г. небольшую книгу. Впоследствии она была частично доработана и только в 1785 г. опубликована без указания имени автора во Франции тиражом 200 экземпляров. Ее издание на английском языке в Америке относится к 1788 г.

Как следует из перечня использованных Джефферсоном источников, он был хорошо знаком с трудами своих предшественников, оставивших записки о природных богатствах и обитателях Виргинии. Перед ним была полная картина эволюции этого жанра на протяжении более чем полутора веков. В «Заметках» ощущается влияние давно сложившихся традиций, и в то же время проявлены особенности американской небеллетристической литературы второй половины XVIII столетия.

Хотя композиция книги была обусловлена содержанием и порядком заданных вопросов, в целом она соответствует принятой структуре записок, где последовательно описываются географическое положение края, его земные ресурсы, животный и растительный мир, климат, аборигены, быт колоний и принципы их общественного устройства. В «Заметках» полно фактических, научных данных, многие из которых были получены путем личных изысканий автора во время его экспедиций по штату. Здесь приводятся результаты раскопок древних индейских могильников, указываются углы наклона пластов горных пород, дается каталог местных растений, описываются останки мамонтов, оцениваются навигационные возможности рек.

Рациональное начало преобладает у Джефферсона над эмоциональным. В целом его подход можно определить как научный, однако он не может ограничиться сухим изложением фактов. Просветительское мировосприятие, во всем ищущее гармонию, целостность и завершенность, склонно к восхищению красотой. Информативное описание местности в «Заметках» может прерываться поэтическими отступлениями, изображением виргинских видов, горных водопадов или могучих рек, «неописуемых», «восхитительных» и «лучших в мире». Недаром Джефферсон считается одним из первых певцов американской природы.

Автор строит предположения о загадочных находках морских раковин высоко в горах, ставя под сомнение легенду о всемирном потопе, размышляет о происхождении племен краснокожих, опираясь на сравнительное исследование расхождений между языками, принадлежащими к индейской или азиатской группе. С присущим просветителям рационализмом он полагается только на факты и там, где их недостаточно, выдвигает различные версии, избегая окончательных заключений. «Невежество предпочтительнее ошибки; тот, кто не знает ничего, ближе к истине, чем тот, кто обладает ложным знанием»<sup>9</sup>.

Таким «ложным знанием» Джефферсон считает теорию Бюффона, пытавшегося доказать преимущества европейского климата перед американским. Сравнивая размеры животных на противоположных берегах Атлантики, Бюффон пришел к выводу, что в Америке из-за неблагоприятных условий все живое отстает в развитии и, следовательно, краснокожие интеллектуально ниже белых, мало эмоциональны, бесчувственны и неспособны на создание цивилизованного общества. В качестве контраргументов Джефферсон перечисляет достоинства индейцев, объясняя различие культур не биологическими факторами, а спецификой жизни. Он с сочувствием и явной идеализацией пишет о племенном устройстве как образце «естественного бытия», где, по сравнению с Европой, мало законов, но мало и преступлений, требующих суровых наказаний. Исходя из гуманистической идеи врожденной человеческой добропорядочности, Джефферсон полагает, что в небольших сообществах возможно управление, основанное не на насилии, а на апелляции к особому естественному чувству. У него вполне уважительное отношение к индейской культуре, с его точки зрения, заслуживающей всяческого внимания, и к интеллектуальным способностям индейских юношей, которых он предлагает обучать в школах наравне с белыми. Как пример, свидетельствующий о высоком уровне образного мышления и ораторского искусства аборигенов, в текст включена блестящая речь вождя Логана.

Столь же неприемлемо для Джефферсона и бытующее мнение о вторичности и неплотворности колониальной культуры, по его мнению, сделавшей за короткий срок своей истории большие успехи и сумевшей выдвинуть многих выдающихся деятелей, таких, как Б. Франклин и Дж. Вашингтон. Джефферсон предан своей родине, но его патриотические чувства лишены стихийной эмоциональности. Достоинства Америки утверждаются с помощью здравого смысла, логики и фактов, без преувеличений и резких выпадов против оппонентов. Джефферсон ощущал себя не только американцем, но и представителем всего человечества, подчиненного единым для всех природным, историческим и моральным законам. С самых широких позиций трактуются в «Заметках» проблемы религии, права, экономики, образования, рабовладения. Конкретные предложения по законодательству, по упорядочиванию жизни шта-

тов и их благоустройству соизмеряются прежде всего с нравственными принципами и «естественными правами» человека, соблюдение которых для Джефферсона является обязательным условием. В его записках практически отсутствует элемент автобиографичности, исповедальности, равно как и местного прожектерства или партийной тенденциозности. Для Джефферсона борьба вокруг государственного устройства Виргинии – факт не столько биографический или узконациональный, сколько общечеловеческий. Америка должна была, отказавшись от отрицательного опыта Европы, явить образец подлинно демократического разумного общества, создающего благоприятные условия для проявления добродетели и подавления порока.

Поскольку многие затронутые в «Заметках» проблемы носили в 80-е годы дискуссионный характер, в соответствующих разделах содержится не только информация, но и определенная социальная программа. Не случайно это сочинение вызвало критические замечания со стороны идейных противников Джефферсона, упрекавших его в излишнем радикализме. <...>

<...>

Противник государственного насилия и подавления независимого мышления, Джефферсон не мог оставаться равнодушным к вопиющей несправедливости, бытующей в его родном штате, – рабству негров. Рост работорговли вел к расширению плантаций, разорению мелких фермеров, углублению классового разделения и образованию аристократии, что ставило под угрозу демократическое устройство общества. В том, что институт рабства должен быть уничтожен, у Джефферсона сомнений не было. С подобным предложением он выступал, и не раз, чем заслужил неудовольствие и осуждение многих своих сограждан. Однако как плантатор-рабовладелец, имевший около 200 рабов и давший свободу лишь двоим, он не смог в своем отношении к рабству полностью освободиться от предрассудков белой расы, продемонстрировав типичное и неизбежное для его эпохи расхождение идеалов и практики. Для него остается проблематичным – можно ли считать черных африканцев равными европейцам по физическому и духовному развитию. Рассматривать этот вопрос он предлагает «с точки зрения естественной истории»: «Не противоречит опыту предположение, будто различные виды одного и того же рода или разновидности одного и того же вида могут обладать различными качествами. Разве любитель естественной истории, рассматривающий все градации животного мира с философских позиций, не простит попытку сохранить эти градации в области человеческого рода такими же отчетливыми, какими их создала природа? Злополучное различие в цвете и, возможно, способностях – значительное препятствие для эмансипации этого народа»<sup>10</sup>.

Считая это препятствие непреодолимым, Джефферсон предлагает удаление освобожденных рабов «за пределы, позволяющие смешиваться [с белыми. – Е.С.]...»<sup>11</sup> Необходимость депортации обосновывается также рядом причин политического и морального характера: «глубоко укоренившиеся предрассудки, свойственные белым; десятки тысяч воспоминаний о несправедливостях, перенесенных черными; новые провокации; реальные различия, созданные природой, и много других обстоятельств будут делить нас на два лагеря и вызовут общественные потрясения, которые, возможно, окончатся не иначе как истреблением той или другой расы...»<sup>12</sup> Заслугой Джефферсона является то, что он понимал разлагающее влияние рабства как на черных, так и на белых. Хозяева развращаются незаконными привилегиями и неограниченной властью над другими человеческими существами, привыкают к безделью, подают дурной пример своим детям. Слуги деградируют духовно от постоянного унижительного повиновения, не имеют возможности развить свои способности и приобретают склонность к воровству. Джефферсон не отказывает черной расе в наличии врожденного «нравственного чувства». «Ослабленное уважение рабов к имущественным законам» он объясняет «их положением, а не отсутствием морали». «Человек, на стороне которого не существует никакого права собственности, возможно, чувствует себя менее обязанным уважать законы,



установленные другим. Когда мы приводим доводы в свою пользу, мы прежде всего заявляем: чтобы законы были справедливыми, они должны соответствовать праву...»<sup>13</sup>

Считая нарушение «естественных прав» по отношению к черным столь же недопустимым, как и по отношению к белым, Джефферсон остается верным своему гуманистическому кредо, хотя идея депортации освобожденных рабов свидетельствует о непоследовательности его взглядов на расовую проблему. Он мыслил общечеловеческими категориями, но жил в определенном историческом времени, в условиях рабовладельческого Юга, наложивших отпечаток на его мировоззрение.

Специфика привычного для Джефферсона южного уклада во многом объясняет его приверженность к одностороннему аграрному развитию страны и неприязнь к урбанизации. <...> В отличие от Руссо, он не усматривал зла в частной собственности и в цивилизации как таковой. Америка будущего представлялась ему не морской державой, претендующей на мировое господство, а республикой мелких фермеров, получающей промышленные изделия из-за океана и содержащей армию и флот лишь на случай защиты от внешнего нападения. Позже, в 1799 г. он писал: «Я за свободную торговлю со всеми нациями и против всяких политических связей и дипломатических отношений с какой-либо из них»<sup>14</sup>.

Идея аграрной республики, где отсутствует промышленность и, следовательно, нет условий для экономического и социального прогресса, обнажала противоречие просветительской идеологии, стремящейся к некоему идеальному, стабильному государственному устройству. Джефферсон пытался найти оптимальное решение вечных проблем – как привести общественную практику в соответствие с нравственностью. И при этом совершал типичную для идеалистов всех времен ошибку – умалял значение объективных исторических законов, подменяя их законами морали. Мирные занятия сельским хозяйством наиболее соответствовали просветительскому представлению о бытии «естественного человека» и американскому идеалу «нового Адама», освободившегося от пороков европейской цивилизации. Вслед за французскими физиократами<sup>15</sup>, Джефферсон полагал, что только земледельческий труд способствует нравственному здоровью, тогда как ремесла и торговля служат распространению торгашеского духа и аморальности. По его мнению, несчастье Европы заключалось в недостатке свободных плодородных земель, вследствие чего люди вынуждены строить мануфактуры и селиться в больших городах. В Америке же, где продолжал существовать фронтир, каждый мог стать «избранником Бога» и «хранилищем добродетели», как Джефферсон именовал крестьян.

Таким образом, вера в исключительную судьбу Америки имела у Джефферсона прежде всего философско-этическую основу, несмотря на попытки ее экономического обоснования. Не случайно он советовал заимствовать у Европы только то, что может иметь практическую пользу, и то, что относится к области культуры и способствует развитию высоких чувств, – архитектуру, живопись, парковое искусство, но при этом предостерегал от дурного влияния европейских нравов, порожденных монархией, феодализмом и большими городами. Джефферсон был искренне предан научному знанию, и тем не менее ему принадлежат слова: «Если наука не приносит лучших плодов, чем тирания, убийства, грабежи и падение национальной морали, я бы хотел, чтобы наша страна осталась невежественной, честной и достойной уважения, как наши дикари-соседи»<sup>16</sup>. Дж. Дьюи справедливо назвал идеализм Джефферсона «моральным идеализмом, а не мечтательным утопизмом»<sup>17</sup>.

В то же время концепция американского государства, при всей ее конкретности, рационалистичности и практичности, несла в себе несомненные черты утопии – на девственных просторах отдаленного от остального мира континента Джефферсон мечтал достигнуть гармонического единства свободной личности, справедливого общества и благоприятной природы. Эта концепция и обусловила смысловую целостность «Заметок», несмотря на тематическую обособленность отдельных их разделов. Книга не только констатирует существующее поло-

жение дел в стране, она предлагает коренные преобразования, пытается заглянуть в будущее и поэтому исполнена историзма, энергии и динамичности. В повествовании, затрагивающем общефилософские и общегосударственные проблемы, доминирует идеология автора, хотя он старается не выделять собственную личность и не раскрывать свой внутренний мир.

Объективность, присущая запискам обитателей южных штатов, характерна и для написанной в 20-е годы XIX в. «Автобиографии» (*Autobiography*) Джефферсона, где автор-герой предстает прежде всего как общественный деятель, участник и свидетель исторических событий. История – главное действующее лицо «Автобиографии». О своих предках, семье, учителях и перипетиях частной жизни Джефферсон пишет лаконично и фактографично, уделяя гораздо большее место родной Виргинии, ее первопоселенцам, религиозным сектам и законам. Повествуя о том или ином человеке, Джефферсон обращает внимание главным образом на его общественную деятельность и те черты, которые важны для ее осуществления. В характеристике отца он выделяет сильный ум, трезвость суждений и пристрастие к чтению, а к его заслугам причисляет участие в определении границы между Виргинией и Северной Каролиной и в создании карты Виргинии. <...>

О себе Джефферсон пишет подробно лишь при описании тех событий, где им была сыграна важная политическая роль. Как и в «Заметках», автор пользуется случаем изложить свои взгляды по различным вопросам государственной важности и, будучи истинным американцем, не может, погружаясь в воспоминания, упустить из виду заботы настоящего. Он предлагает поправки к американской конституции, рассуждает о насущных правовых проблемах. Его интересы носят общественный характер, личные мотивы поступков отсутствуют или не раскрываются, поскольку относятся к второстепенным. Принцип, которому Джефферсон следует в «Автобиографии», – «политик должен говорить мало, но по сути дела»<sup>18</sup>. По поводу своего губернаторства в Виргинии он пишет: «Поскольку теперь, так сказать, я отождествлен с самой республикой, написать мою историю во время моего двухлетнего правления означает написать общественную историю этого периода революции в штате»<sup>19</sup>. Значительная часть повествования ведется не от «я», а от «мы», ибо такие события, как Американская революция и принятие Декларации независимости, представляются Джефферсону общенациональным делом и он не хочет отделять себя от соратников и единомышленников. Личные впечатления и оценки стремящегося к объективности и документальной точности автора сводятся к минимуму. Например, в описании дебатов по поводу Декларации приводятся разные точки зрения и аргументы спорящих сторон, причем для большей аутентичности текст близок к прямой речи с ее интонационными особенностями, восклицательными и вопросительными предложениями. Джефферсон не пытается защитить и отстоять собственную позицию. Для того, чтобы она стала ясной читателю, он просто вводит в повествование сочиненный им первоначальный вариант документа до внесения в него предложенных позднее поправок. По его словам, «чувства людей можно узнать не только по тому, что они принимают, но и по тому, что они отвергают»<sup>20</sup>.

В выражении своих мыслей и эмоций Джефферсон несколько более раскован при описании событий Французской революции, во время которой, находясь во Франции в качестве представителя иностранной державы, он вынужден был поддерживать позицию нейтралитета и невмешательства. Как сторонний наблюдатель Джефферсон позволяет себе предложить собственную версию происходящего, проанализировать ошибки короля, дать негативную характеристику королеве, выразить восхищение революционерами-патриотами и с гордостью заявить о влиянии Американской революции на Французскую. «...Американская революция разбудила мыслящую часть французской нации в целом от сна деспотизма, в который она была погружена»<sup>21</sup>.

В «Автобиографии» Джефферсон подтверждает право восставшего народа на протест против тирании. В то же время он осуждает казнь короля и террор, предпочитая мирный,

бескровный путь к смене власти. Имея возможность проследить революционный процесс с дистанции времени и отдавая должное прогрессивному значению событий во Франции для всего человечества, он не может не отметить, что пролитая кровь деморализовала нацию, ввергла мир в беспорядки, преступления и несчастья и «запятнала навеки страницы мировой истории»<sup>22</sup>. Результаты революции оказались для французов весьма неоднозначными. «... После тридцати лет внешней и внутренней войны, потери миллионов жизней, попрания личного счастья и временной иностранной интервенции на их собственную землю, они больше ничего не получили, даже безопасности»<sup>23</sup>. Джефферсон понимает роль революционных преобразований, но как гуманист сожалеет о заплаченной за них цене – жизни и благополучии отдельного человека. <...>

<...>

(*Стеценко Е. А.* Томас Джефферсон // История литературы США. Т. 1: Литература колониального периода и эпохи Войны за независимость XVII–XVIII вв. М.: Наследие, 1997. С. 513–521, 524–529)

### Примечания

- <sup>1</sup> *Согрин В. В.* Идеиные течения в американской революции XVIII века. М., 1980. С. 126.
- <sup>2</sup> *Holliday C.* A History of Southern Literature. New York, 1969. P. 87.
- <sup>3</sup> *Согрин В. В.* Указ. соч. С. 131.
- <sup>4</sup> Американские просветители: в 2 т. М., 1969. Т. 2. С. 23.
- <sup>5</sup> *Согрин В. В.* Указ. соч. С. 132.
- <sup>6</sup> *Koch A.* The Philosophy of Thomas Jefferson. Gloucester, MA, 1957. P. 40.
- <sup>7</sup> Американские просветители. Т. 2. С. 30, 31.
- <sup>8</sup> Там же. С. 32.
- <sup>9</sup> *Jefferson T.* The Notes on the State of Virginia. Chapel Hill, 1955. P. 33.
- <sup>10</sup> Американские просветители. Т. 2. С. 61.
- <sup>11</sup> Там же. С. 62.
- <sup>12</sup> Там же. С. 59.
- <sup>13</sup> Там же. С. 60.
- <sup>14</sup> The Essential Jefferson. New York, 1963. P. 386.
- <sup>15</sup> См.: *Захарова М.* О генезисе идей Томаса Джефферсона // Вопросы истории. 1948. № 3. С. 40–59.
- <sup>16</sup> Американские просветители. Т. 2. С. 28.
- <sup>17</sup> *Dewey J.* The Living Thoughts of Thomas Jefferson. New York, 1957. P. 21.
- <sup>18</sup> *Autobiography of Thomas Jefferson.* New York, 1959. P. 20.
- <sup>19</sup> Ibid. P. 63.
- <sup>20</sup> Ibid. P. 35.
- <sup>21</sup> Ibid. P. 80.
- <sup>22</sup> Ibid. P. 110.
- <sup>23</sup> Ibid. P. 103.

### Вопросы и задания

1. Перечислите те особенности духовной жизни Америки эпохи Войны за независимость, которые выделяет автор статьи.

2. Какие из принципов философии Просвещения получили, на взгляд автора, развитие в произведениях Т. Джефферсона?
3. Какие элементы структуры эссе выделены Е. А. Стеценко при анализе «Декларации независимости»?
4. Каковы эстетические особенности произведений Т. Джефферсона, на взгляд автора?

## Филип Френо (1752–1832)

### Предтекстовое задание

Определите, как автор статьи оценивает место Ф. Френо в истории развития американской поэзии.

*А. М. Зверев*

### Поэт американской революции

#### ТВОРЧЕСТВО ФИЛИПА ФРЕНО И ПРОБЛЕМА СЕНТИМЕНТАЛИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ США

<...>

Долгое время считалось, что история американской поэзии начинается с творчества Френо. Он изображался основоположником, «отцом поэтического искусства» в США, первым национальным поэтом Америки и т. п. Еще в работе известного американского литературоведа начала нашего века – Ф. Л. Патти, издавшего со своим обширным предисловием первое сравнительно полное собрание стихотворений Френо (1902), наметилось противопоставление творца «Британской плавучей тюрьмы» всей предшествующей и современной ему поэзии США как фигуры несравненно более значительной и поэтому стоящей у истоков национальной поэтической традиции<sup>1</sup>. Последующие литературоведы вплоть до наших дней придерживались в целом той же точки зрения.

Между тем, оставаясь в основе своей справедливой, она все же требует известных уточнений. Френо не нуждается в искусственном возвышении, побуждающем, в частности, недооценивать выдающихся американских поэтов XVII столетия, так же как и некоторых мастеров, работавших в одну эпоху с ним, к примеру Тимоти Дуайта и Джона Трамбулла. С другой стороны, вряд ли есть серьезные основания утверждать, что именно Френо был заложен фундамент, на котором поднялось здание национально-самобытной поэзии США. Творчество этого поэта – важное звено в процессе выявления характерных свойств американской поэтической традиции, и все же вплоть до романтиков поэзия США еще в полной мере не обрела черт действительно-самобытного, национально-специфического явления.

Еще более условны существующие определения художественной сущности поэтического творчества Френо. В работах, посвященных ему, можно встретить пестрый спектр таких определений, подчас взаимоисключающих. Поэзию Френо обычно характеризуют как явление классицизма, вместе с тем как бы уже свидетельствующее о кризисе классицистской поэтики и предвещающее поэтику романтическую<sup>2</sup>. В целом это верно, однако подобный подход сразу же создает серьезные трудности для каждого, кто желал бы представить творчество Френо феноменом национально-американским. Известно, что в литературе США XVIII в. классицизм, по сути дела, не прижился и выступил в формах, явно заимствованных из культуры метрополии, безжизненных и лишенных даже следа американской характерности. Едва ли снимают эту трудность и определения типа «революционный классицизм», «крупнейшим представителем» которого объявляется Френо<sup>3</sup>. Не говоря уже об относительной точности самого термина, эпитет «революционный» не изменяет эстетической природы поэтики классицизма и не делает ее более органичной для потребностей художественного воплощения исподволь складывающегося национального сознания американцев.

Поскольку же такая задача была решена романтиками, возникает побуждение представить Френо их прямым предтечей, обратившимся «от холодных персонификаций классицизма к пламенным речам романтизма»<sup>4</sup>. В работах много занимавшегося творчеством Френо А. Н. Николюкина подобное побуждение особенно наглядно. Френо характеризуется здесь как поэт «революционного предромантизма», как «один из зачинателей революционного романтизма в мировой литературе»<sup>5</sup>. И, наконец, он прямо назван «первым национальным поэтом-романтиком», из чего делается весьма ответственный вывод: «Начало романтизма в мировой литературе отодвигается, по крайней мере, на десятилетие ранее по сравнению с европейской хронологией... Возникновение романтизма в литературе США следует отнести к эпохе американской революции»<sup>6</sup>.

Этот вывод уже оспаривался в нашей научной литературе, в частности Ю. В. Ковалевым<sup>7</sup>, указавшим на целый ряд несообразностей хронологического и эстетического порядка, неизбежных при таком подходе к проблеме. И в самом деле, необъяснимым оказывается почти полувековой разрыв между зарождением романтизма и его литературным осуществлением, происходившим в США не ранее третьего десятилетия XIX в., т. е. значительно позднее, чем в Европе. Столь же необоснованной кажется сама попытка представить Америку с ее культурной провинциальностью, не преодоленной вплоть до эпохи Мелвилла, Купера и По, родной романтического художественного движения, сыгравшего исключительную роль в мировой культуре своего времени.

Вероятно, недоумения такого рода разъяснятся при том условии, если будет преодолена жесткая оппозиция «классицизм – романтизм», препятствующая пониманию сущности процессов, отмеченных в американской литературе конца XVIII в., и создающая явно ошибочную картину тогдашней художественной жизни США. Френо, как, например, и его современница Филис Уитли, конечно, не может быть истолкован только в системе категорий классицистской эстетики, но отсюда еще не следует, будто его творчество можно рассматривать как явление романтического искусства, тем более хронологически первое в мировой литературе. Суть дела заключается в том, что художественная культура XVIII в. обладает целым рядом тенденций промежуточного характера: особенно важны среди них сентиментализм и предромантизм. Эти тенденции усиливаются во второй половине столетия, в период, непосредственно предшествующий двум великим революциям: Американской и Французской.

Оставаясь на глубокой периферии мирового художественного процесса, американская словесность той поры тем не менее достаточно чутко улавливает меняющиеся философские и эстетические веяния, откликаясь на них по большей части произведениями более или менее подражательного типа, но подчас и самобытными творениями, в которых находят отклик те или иные литературные искания, уже не укладывающиеся в рамки классицизма. Так обстоит дело с притчами и автобиографической прозой Б. Франклина, с публицистикой Т. Пейна, с готическими романами Ч.Б. Брауна – произведениями, дающими почувствовать многообразие художественных возможностей, сосуществующих в границах просветительской идеологии и, разумеется, никак не сводимых к классицизму. Так обстоит дело и с лирикой Френо, в которой воплотились некоторые характерные черты сентиментализма.

Для Европы заключительных десятилетий XVIII в. сентиментализм – феномен, обладающий вполне ясным идейно-художественным содержанием, раскрывшимся в «Новой Элоизе» и «Страданиях молодого Вертера», в «Тристреме Шенди» и «Письмах русского путешественника», в юнговских «Ночных мыслях» и лирике немецких поэтов-штюрмеров. При всех различиях между упомянутыми литературными явлениями в них есть определенная творческая общность, выразившаяся в культе чувства, неприятию любых форм сословного гнета и насилия над личностью, преклонении перед гуманистическим идеалом свободного и полноправного человека, обладающего богатой душевной жизнью и во взаимоотношениях с миром исходя-

щего не из предустановленных нормативных правил, а из естественно ему присущего ощущения справедливости, красоты и правды. Метафизичность, идет ли речь о понимании общественной жизни, истории или человеческой природы, была преодолена сентименталистами, которые именно по этой причине не могли не отказаться и от фундаментального для классицистской поэтики принципа рационалистической ясности и однозначности художественного высказывания, жанровой каноничности, надэмоциональности и т. п.

Речь в конечном итоге шла об утверждавшемся в предчувствии близящихся революций новом взгляде на человека и его место в обществе, о новом понимании диалектики личного и социального, новом подходе к извечной проблеме индивидуальности и среды, в которой она обитает. Искусство сентименталистов воплотило наиболее радикальные элементы просветительского мирознания и было по преимуществу бунтарским, граждански активным искусством, хотя по первому впечатлению оно касалось лишь сферы частного бытия человека, подчас резко противопоставляемого его общественному бытию. Такое впечатление, понятно, не могло возникнуть случайно, и оно обмануло даже столь пронизательного критика, как Вольтер, с его язвительными нападками на Руссо. Не приходится удивляться тому, что в массовом восприятии сентиментализм выглядел всего лишь как литература, наделенная явно чрезмерной «чувствительностью», отличающаяся искусственной патетикой и неспособная преодолеть очевидную камерность содержания.

Как раз в качестве чувствительной и меланхоличной поэзии, разработавшей свои стереотипные мотивы и образы, сентиментализм оказал очень широкое, хотя, разумеется, достаточно поверхностное влияние на литературу конца XVIII столетия, включая и американскую. Биограф Френо и автор посвященного ему раздела в «Литературной истории Соединенных Штатов» Л. Лири пишет, что, будучи редактором беллетристических журналов 90-х годов XVIII в., поэт был вынужден заполнять страницы этих изданий разного рода поделками в духе «Вертера» и песен Оссиана, поскольку не располагал иным материалом. Поэзию заполнили «сентиментальные и приторные подражания английским стихам, в которых щеголи и синие чулки обменивались традиционными комплиментами – вялыми и претенциозными»<sup>8</sup>. Имена сочинителей этих стихов, избравших для себя звучные псевдонимы американских Менандров и Филений, погребены между переплетами старинных альманахов, но при жизни Френо такие стихотворцы пользовались и признанием и популярностью.

На рубеже XVIII–XIX вв. сентиментализм, таким образом, приобретает в США довольно широкое распространение, хотя, за исключением Френо и отчасти Уитли, он предстает не более чем данью европейской моде. Ситуация, в общем и целом типичная для той эпохи, – ее можно, например, наблюдать и в русской литературе, где рядом с Карамзиным работает большая группа поэтов-карамзинистов, воспринявших только самый верхний слой сентименталистской проблематики и поэтики, а также творцы пухлых чувствительных романов наподобие Эмина. Активность многочисленных подражателей «Новой Элоизе» в итоге скомпрометировала сентиментализм уже для следующего литературного поколения, существенно осложнив противоборство «новаторов» и «архаистов», происходившее в поэзии предпушкинской эпохи.

Для американской литературы сентиментализм не сыграл той роли, какая ему по праву принадлежит в литературах Западной Европы, и тем не менее это было явление примечательное и неслучайное – при всех необходимых оговорках относительно временного засилья сладкозвучных «певцов чувства». На фоне вялых и перенасыщенных искусственными страстями поэм, выходявших в печать за подписью Филении (Сары Уэнтворт Мортон) и ее многочисленных литературных единоверцев, особенно ясно подлинное значение «Стихотворений религиозного и морального содержания», изданных в 1773 г. в Лондоне Филис Уитли. Столь же очевидно и значение пейзажной и философской лирики Френо, отчасти и впрямь предвосхищающей отдельные мотивы, которые будут переосмыслены и глубоко освоены романтиками. Созданные в годы непосредственно перед революцией или сразу после нее, произведе-

ния Уитли и Френо доносят зарождающееся и крепнущее новое представление о человеке как личности духовно богатой, ощущающей неповторимость своего «я», властью фантазии влекомой за грань будничного бытия и способной находить подлинно высокое и поэтическое содержание в самых непримечательных реалиях, фактах, подробностях окружающей жизни. Тем самым в творчестве двух поэтов, и особенно Френо, находит свое преломление определяющая тенденция сентиментализма – искусства, возникшего в предчувствии надвигающегося и уже осуществляющегося революционного перелома и выразившего сущность происходивших коренных изменений в человеческом сознании наиболее органично и глубоко.

Как и любой американский литератор вплоть до XIX в., Френо формировался едва ли не исключительно на английских художественных эталонах, пережив многочисленные творческие влияния. Несложно различить в его поэзии прямые отголоски и Мильтона, и Попа, и Драйдена. Однако характерно, что самым устойчивым оказалось воздействие Голдсмита. Это имя встречается наиболее часто и в эссе Френо, и даже непосредственно в его поэтических произведениях.

Интерес к Голдсмиту пробудился у Френо очень рано, и одним из его первых выступлений на ниве поэзии стала буколика «Американская деревня», написанная в подражание знаменитой голдсмитовской «Покинутой деревне», хотя и выразившая характерное для эпохи убеждение в том, что Америку минуют беды и пороки европейской действительности. Для патриотически настроенного и еще неискушенного Френо подобная оптимистическая уверенность по-своему естественна. И важны в данном случае не столько различия идейного характера, сколько сама творческая ориентация на эстетический образец, представляющий собой одну из вершин сентиментализма.

Разумеется, эта ориентация не была для Френо ни исключительной, ни – на первых порах – даже главенствующей. Вначале основная сфера его творчества – сатиры и политические стихотворения, написанные на злобу дня («Политическая литания», «К американцам», «Полуночное совещание» и другие стихи периода революции и войны): муза Френо вдохновляется поэтическим идеалом классицизма. Перед нами характерно-классицистская поэзия, постоянно использующая античные реминисценции, перегруженная абстрактной символикой, выпрениная, но подчас добывающаяся неподдельной страстности – и в утверждении, и в отрицании. Роль трибуна и публициста в целом едва ли органична для Френо. Но здесь решающее слово принадлежало времени.

Считая, что несовпадение между потребностями эпохи и сущностью дарования замечательного лирика оказалось губительным в судьбе Френо, В. Л. Паррингтон писал о попусту растраченных творческих силах этого поэта: «Если бы он оставался в стороне от бурных событий... и совершенствовал свое поэтическое мастерство, он, вне всякого сомнения, стал бы основоположником американской поэзии»<sup>9</sup>. Такого рода упреки нельзя назвать беспочвенными – при всей очевидной их тенденциозности. Значение Френо как поэта, выразившего идеалы Американской революции, велико и неоспоримо.

Такой вывод подкрепляется не только широко известными фактами огромной популярности стихотворений-прокламаций Френо и его бичующих сатир, которые разили приверженцев английской короны, вызывая страстный отклик в стане борцов за американскую республику. Гражданская поэзия Френо периода революции в лучших своих образцах обладает тем качеством высокой простоты и открытости поэтического чувства, которое явилось во многом новой чертой для классицистской поэтики. Отдавая дань эстетическим канонам классицизма, требовавшим выпрениности и обилия мифологических реминисценций, Френо вместе с тем преодолевал их сковывающие рамки, когда великие события времени находили у него отклик прямой и подчеркнuto личный, давая почувствовать читателю активную вовлеченность поэта в коллизии времени. В самом классицизме Френо вызревало то особое, связанное с переживаниями личности поэтическое содержание, которое и придает своеобразие его стихотворной



публицистике, как бы она ни была загромождена условными риторическими образами и чисто литературными ассоциациями.

В эстетическом отношении пейзажная лирика заметно отличается от других стихов Френо, явившихся своего рода поэтической хроникой Американской революции. Это заставило многих исследователей говорить о «двух Френо». Время побуждало поэта писать стихи «на случай», но по особенностям своего дарования он был художником иного склада, иных творческих возможностей. Подобное заключение словно бы напрашивается само собой, и тем не менее оно требует серьезных оговорок и уточнений.

Суть дела не столько во внутренних противоречиях Френо, сколько в тех объективных сложностях, с какими он сталкивался, стремясь создавать поэзию, выражающую дух и пафос революционной эпохи. Для такой задачи была недостаточна традиционная классицистская поэтика. Но и сентиментализм, сосредоточивший внимание на духовных борениях и богатой внутренней жизни личности, оказывался непригоден, когда надо было откликнуться на события национальной истории, обладающие универсальным значением.

Литература попросту не была готова к осмыслению и художественному воплощению такого опыта. С еще большей очевидностью это выяснится на исходе века во Франции, где революционные бури отзовутся в искусстве лишь запоздалым и недолговечным подъемом классицизма, причем в его самых традиционных образцах. Потребовался гений Блейка, создателя «Французской революции» и «Америки», чтобы громадный смысл происходившего перелома в судьбах человечества впервые обрел глубокое эстетическое воплощение. Романтизм ознаменует собой великий перелом в эстетическом развитии прежде всего потому, что он осуществил перестройку художественного мышления, которой потребовало коренное изменение действительности после двух пронесшихся над миром революций.

Френо был их современником, свидетелем, хроникером, но ни эпоха, ни масштабы дарования, конечно, еще не позволяли ему справиться с эстетической проблематикой, которая станет центральной для романтизма и потребует усилий крупнейших художников следующих поколений. То «раздвоение», которое отмечают исследователи его творчества, подчас обнаруживая в поэтическом томе Френо как произведения, глубоко архаичные по своему строю, так и стихи чисто сентименталистского характера, было по-своему неизбежным. Для самого Френо делом жизни, безусловно, были «Британская плавучая тюрьма» и примыкающие к этому знаменитому памфлету патриотические стихотворения, оды, сатиры периода Войны за независимость. История, однако, рассудила иначе, отобрав в обширном наследии Френо стихи, воспевающие магию фантазии, прелесть тихих сельских уголков, красоту кустов дикой жимолости, усыпанных цветами, живописные развалины разрушенной ураганом деревенской гостиницы...

Метафоры и интонации, которыми англоязычная поэзия обязана Голдсмиту, а отчасти Юнгу и Грею, различимы в пейзажных стихах Френо и его медитациях без особого труда. Но в них гораздо ошутимее, чем в той же «Британской плавучей тюрьме» и других произведениях, не переступающих рамок классицизма, сказываются и национальный колорит, и творческая индивидуальность поэта. И это утверждение можно подкрепить не только отсылками к американским реалиям, обычным в таких стихах Френо, – особенно связанных с индейской тематикой, занявшей важное место и в его прозаическом творчестве (цикл очерков «Томо Чики, или Индеец в Филадельфии», 1790). Самое существенное – характер интерпретации мотивов уединения, или божественной силы фантазии, или утонченной хрупкой красоты сельской природы.

Сентименталистами было всесторонне обосновано право поэта на лирический субъективизм, которое категорически отрицалось классицистской эстетикой. Фантазия, или же «сердечное воображение», позволяющее поэту, охваченному меланхолическим раздумьем, изображать своего лирического героя существующим как бы вне всяких связей с окружающей «низкой» действительностью, провозглашалось сентименталистами неременным условием истинной поэзии. «Все, все на земле только тень, все по ту сторону жизни – реальность!» – этот

программный принцип «Ночных мыслей» Юнга, завершенных еще в 1745 г., становится одной из идейных опор сентиментализма. Подобное мироощущение самым непосредственным образом откликнется тридцать лет спустя в поэме Френо «Дом ночи» (как и в почти одновременно напечатанном стихотворении Уитли «О воображении»), и наглядно выявится связь обоих американских поэтов с английской сентиментальной школой.

Однако в данном случае перед нами именно творческая связь, а не подражание, свидетельствующее об ученической зависимости. Фантазия в понимании английских сентименталистов была своего рода противоядием от просветительского избыточного рационализма и оптимизма, она стимулировала элегические размышления о бренности бытия и всевластии смерти, уравнивающей всех на свете. В «Доме ночи», имеющем типичный для сентименталистской поэзии подзаголовок «Видение», – настроения, прекрасно знакомые читателям «Ночных мыслей» Юнга. Торжество Смерти над Жизнью, составляющее исходную и конечную мысль поэмы (но не конечная победа Жизни), отвечает именно сентименталистским установкам. Но понимание фантазии, намечающееся в «Доме ночи», как и некоторых других произведениях Френо, с этими установками заметно расходится.

Фантазия для Френо – удивительный дар, обогащающий человека и позволяющий ему прозреть логику и смысл бытия сквозь хаос или одноликость будничности. Это, однако, менее всего мистическое откровение, недоступное разуму. Фантазия, согласно просветительским концепциям, разделяемым Френо, не противостоит разуму, а дополняет его, обогатив человека. Уитли выразит такое представление о фантазии еще отчетливее:

Нет твоему могуществу границ,  
Весь мир перед тобой простерся ниц,  
И мысли независимый полет  
Беспрекословно дань тебе несет.

*(Перевод М. Яснова)*

А. Н. Николукин прав, связывая подобное представление о роли фантазии с духовной и идейной атмосферой кануна революции, когда крепла уверенность в безграничном могуществе человеческой личности. Однако лишь терминологическим недоразумением следует объяснить интерпретацию «Дома ночи» как «наиболее романтической» поэмы Френо, будто бы прославляющей «романтическое воображение как подлинный источник поэтического вдохновения»<sup>10</sup>. Понятия фантазии (*fancy*) и воображения (*imagination*) достаточно четко разграничены в английской семантике и в истории эстетических идей. Романтическое воображение отнюдь не сводимо к фантазии и фантастическому, это определенная философская концепция, основывающаяся главным образом на идеях Шеллинга и требующая, чтобы поэзия была формой мифотворчества, наделенной «универсальностью вовнутрь и вовне»<sup>11</sup>. Приметы таким образом понятого «воображения», разумеется, было бы тщетно искать в поэзии Френо, остающейся – в своих лирических и пейзажных образцах – явлением сентиментализма, хотя и наделенного специфическими особенностями.

В собственно пейзажных стихотворениях Френо эти особенности не менее явственны. Хотя Френо и взывал к божественной фантазии: «Облети же мир со мной, тайны чудные открой!» – подлинно чудесные тайны он открыл, бродя по окрестностям Филадельфии и всматриваясь в картины американской природы. Под пером Френо, как прежде Голдсмита или Каупера, создававшего свои деревенские стихотворения одновременно с американским поэтом, эти картины овеяны грустью, подчас идилличны и всегда обладают эмблематическим значением: жизнь природы – это аналогия человеческого бытия. Прозрачность таких аналогий подчеркнута всем характером лирического сюжета, как, например, в одном из лучших стихотворе-

ний Френо, где «белоснежный цветок», чей «век земной – лишь час короткий», олицетворяет путь всего живого:

Уже в твоём очарованье  
Невольно замечает взгляд  
Приметы злого увяданья  
И с жизнью ясною разлад.  
Когда мороз придет победно,  
Исчезнешь ты с земли бесследно.

(Перевод В. Лунина)

Но в целом поэзии Френо сравнительно мало свойственны элегические тона. Это тоже черта, привнесённая в его сентименталистскую лирику той атмосферой, в которой происходило становление поэта Американской революции. Чувствительность, понимаемая как способ постижения личности в подлинной многогранности её душевных влечений и переживаний, остаётся определяющей особенностью лирического повествования Френо, как и каждого поэта-сентименталиста. Но она выражается не столько в воспевании «благой природы», дарующей успокоение сердцу, истерзанному мирской суетой, сколько в попытках передать очарование американской земли, сохранив в неприкосновенности то светлое чувство, которое она пробуждает.

«Нежные нимфы», «жалкие руины», «сон небытия» и прочие расхожие метафоры поэтов «сердечного воображения» то и дело мелькают у Френо, точно так же как в политических и сатирических его стихах пестрят изношенные образы классицистского «высокого» стиля. Но доминирующее настроение резко отличает лирику Френо и от «Покинутой деревни» Голдсмита, и от кладбищенских элегий Грея, и даже от кауперовских картинок природы, непременно пробуждающих в читателе меланхолию.

Френо её избегал – и оттого, что она успела сделаться пустым штампом, и оттого, что подобные интонации не соответствовали его поэтическому мировосприятию. Дело и в данном случае объяснялось, конечно, не одними лишь свойствами личности Френо, а главным образом эпохой, на которую приходится его недолгий творческий расцвет. Революция только что свершилась, республика была совсем юной и внушала пылкие надежды, ещё не развеянные и теми многочисленными свидетельствами коррупции и бесчестности, которые так возмущали Френо. Господствующее умонастроение оставалось оптимистичным. Френо передал его не только своими патриотическими стихами, но и стихотворениями на первый взгляд камерными, проникнутыми чувствительностью, но доносящими то ощущение высвободившейся духовной энергии человека, которое главенствует в поэзии американского сентиментализма, оставшегося кратким, но существенным этапом в истории формирования национальной литературы США.

(Зверев А. М. Поэт Американской революции. Творчество Филипа Френо и проблема сентиментализма в литературе США // Истоки и формирование американской национальной литературы XVII–XVIII вв. / отв. ред. Я. Н. Засурский. М.: Наука, 1985. С. 267–278)

### Примечания

<sup>1</sup> *The Poems of Philip Freneau: Poet of the American Revolution* / ed. by F. L. Pattee. Vol. 1–3. Princeton, 1902.

<sup>2</sup> См., например: *Stauffer D. B. A Short History of American Poetry*. New York, 1977. P. 52–59.

<sup>3</sup> *Николюкин А. Н. Американский романтизм и современность*. М., 1968. С. 35.

<sup>4</sup> *Николюкин А. Н.* Становление американской национальной поэзии в эпоху Войны за независимость // Проблемы истории литературы США. М., 1964. С. 45.

<sup>5</sup> Там же. С. 54, 55.

<sup>6</sup> *Николюкин А. Н.* Американский романтизм и современность. С. 13.

<sup>7</sup> См.: *Ковалев Ю. В.* Американский романтизм: хронология, топография, метод // Романтические традиции американской литературы XIX века и современность. М., 1982. С. 31–35.

<sup>8</sup> Литературная история Соединенных Штатов Америки / под ред. Р. Спиллера, У. Торпа, Т. Н. Джонсона, Г. С. Кэнби. Т. 1. М., 1977. С. 224.

<sup>9</sup> *Паррингтон В. Л.* Основные течения американской мысли. Т. 1. М., 1962. С. 450.

<sup>10</sup> *Николюкин А. Н.* Становление американской национальной поэзии в эпоху Войны за независимость. С. 61.

<sup>11</sup> *Шеллинг Ф.* Философия искусства. М., 1966. С. 146.

### **Вопросы и задания**

1. Перечислите основные концепции творчества Ф. Френо.
2. Как, по мнению автора, проявилась в американской литературе XVIII в. сентименталистская традиция?
3. В чем суть полемики в статье А. М. Зверева с А. Н. Николюкиным?
4. Каковы основные особенности поэзии Ф. Френо, по мнению автора статьи?

## V

# Немецкая литература

## Общая характеристика

«Поэзия и правда» – знаменитая автобиография Гёте, над которой он работал значительную часть своей жизни (1810–1831). Повествование охватывает детские и юношеские годы поэта и доведено до 1775 г. Ниже приводятся извлечения из 7-й книги «Поэзии и правды», содержащей характеристику немецкой литературы первой половины XVIII в. и 1750-х – начала 1770-х годов.

### Предтекстовые задания

1. Прочтите отрывки из книги 7-й автобиографии Гёте, обращая внимание на характеристику этапов развития немецкой литературы и творчества отдельных авторов.
2. Есть ли среди упоминаемых Гёте авторов и произведений примеры, иллюстрирующие такие литературные направления и течения литературы Германии, как барокко, классицизм, рококо, сентиментализм, «Буря и натиск»?

*И. В. Гёте*

### Из моей жизни

#### ПОЭЗИЯ И ПРАВДА

*Перевод с немецкого Н. Ман*

<...>

Сверстная мне литературная эпоха развилась из предшествующей путем противоречия. Германия, столь долгое время наводнявшаяся чужими народами, населенная разнородными племенами, была вынуждена в своем научном и дипломатическом обиходе изъясняться на чужих языках, а посему не имела возможности совершенствовать свой собственный. Вместе с новыми понятиями в наш язык вторглось бесчисленное множество нужных и ненужных иностранных слов; даже говоря о давно знакомых предметах, мы все чаще прибегали к иностранным словам и оборотам. Немец, за два столетия одичавший от столь плачевного вавилонского столпотворения, пошел на выучку к французам, чтобы усвоить их светскость, и к римлянам – чтобы перенять у них умение достойно выражать свои мысли. Все это сказалось и на нашей родной речи: постоянное обращение к чужеземным идиомам и частичное их онемечивание делало смехотворным наш разговорный и деловой стиль. К тому же немецкий язык слишком щедро вобрал в себя цветистость южных наречий и заодно уже механически перенес благородную чинность патрициев в провинциальный мирок немецких ученых, так что в конце концов немцы нигде не чувствовали себя дома и всего менее – у себя на родине.

<...>

<...> Мы не впадем в преувеличение, сказав, что в ту пору идеальное из области мирского отступило в область религии и едва брезжило даже в учении о нравственности; о высшем же принципе искусства никто тогда и понятия не имел. Нас потчевали «Критической поэтикой» Готшеда; она содержала немало дельного и поучительного, в ней давался исторический

обзор всех родов поэзии, а также говорилось о ритме и различных его ходах. Поэтический талант, надо думать, предполагался, но речи о нем не было, зато пространно говорилось о том, что поэт должен обладать множеством знаний, быть ученым, иметь хороший вкус и прочее и прочее. Под конец нас отсылали к «Науке поэзии» Горация; мы с благоговением вчитывались в отдельные замечательные речения этой бесценной книги, но понятия не имели, что делать с нею в целом и какую можно извлечь из нее пользу.

Швейцарцы выступали в качестве антагонистов Готшеда<sup>1</sup>; надо думать, они хотели идти иным путем, добиваться чего-то лучшего; нас уверяли, что они и вправду многого достигли, и мы принялись за изучение «Критической поэтики» Брейтингера. Перед нами открылся большой простор, вернее же – еще более запутанный лабиринт, который был тем утомительнее, что гонял нас по нему человек, внушавший нам полное доверие. Краткий обзор подтвердит сейчас справедливость этих слов.

Для поэтического искусства как такового основной принцип так и не был найден: уж слишком оно было духовно и неуловимо. Живопись – искусство, которое можно удержать глазами, путь которого шаг за шагом можно проследить с помощью внешних чувств, в большей мере поддавалось теоретическому обоснованию; англичане и французы уже теоретизировали по поводу пластических искусств, отсюда возникла мысль определить поэзию путем ее сравнения с этими искусствами. Пластические искусства создают образы для глаза, поэзия – для воображения; итак, прежде всего были подвергнуты рассмотрению поэтические образы. Началось все со сравнений, засим последовали описания – словом, разговор пошел обо всем, что доступно внешним чувствам.

Так, значит, образы! Но откуда же их заимствовать, как не из природы? Живописец, очевидно, подражал природе; почему бы, спрашивается, и поэту не делать того же? Но природе, такой, какою она предстает перед нами, едва ли следует подражать: ведь она полным-полна незначительного, недостойного, следовательно, надо выбирать; но что в таком случае определяет наш выбор? Надо отыскивать наиболее значительное. А что считать значительным?

Швейцарцы, видно, долго думали, прежде чем ответить на этот вопрос, и под конец напали на мысль, правда несколько странную, но в общем-то недурную и даже забавную: наиболее значительно то, что ново; подумав еще немного, они решили, что чудесное всегда новее прочего.

Таким образом они свели воедино все требования, предъявляемые поэзии. Но – новая загвоздка: ведь чудесное-то может оказаться пустым и к человеку вовсе не относящимся. Поскольку же поэзия так или иначе сопряжена с человеком, то она должна быть и высоко моральна, иными словами – способствовать улучшению рода человеческого, а посему следует признать конечной целью поэтического произведения – по достижении всех прочих целей – его полезность. Согласно этим требованиям, надлежало подвергнуть испытанию все виды поэзии и по справедливости признать первейшим и наилучшим тот из них, который одновременно и подражал бы природе, и таил бы элемент чудесного, и – преследуя нравственную цель – был бы очевидно полезен. После долгих размышлений пальма первенства была решительно присуждена Эзоповой басне.

Как ни странен покажется теперь этот вывод, в то время он возымел недюжинное влияние даже на передовые умы. То, что Геллерт<sup>2</sup>, а вслед за ним и Лихтвер<sup>3</sup> посвятили себя этому жанру, что в нем пытался работать даже Лессинг, не говоря о многих других талантливых баснописцах, непреложно свидетельствует о великих надеждах, возлагавшихся тогда на этот вид поэзии. Теория и практика всегда взаимодействуют; по литературным творениям можно судить о воззрениях человека, а по его воззрениям предсказать, что он сотворит.

Но мы не вправе расстаться со швейцарской теорией, не воздав ей должного. Бодмер, несмотря на свои старания, всю жизнь оставался ребенком как в теории, так и в своей практике. Брейтингер, человек дельный, образованный и мыслящий, копнув поглубже, уяснил себе

все требования, которым должна отвечать поэзия, более того, – и это, кстати сказать, вполне доказуемо, – смутно почувствовал недостатки своей методы. В этом смысле примечателен его вопрос: является ли описательное стихотворение Кенига<sup>4</sup> о потешном лагере Августа Второго истинно поэтическим творением? Ответ его свидетельствует о незаурядной теоретической зоркости. К полному оправданию Брейтингера служит уже то, что, оттолкнувшись от ложной точки и описав почти весь круг своих умозаключений, он все же сумел увидеть главное и счел себя вынужденным сделать в конце книги своего рода дополнение, в котором признал, что поэзия главным образом призвана изображать обычаи, характеры и страсти, то есть внутренний мир человека.

Нетрудно себе представить, в какое смятение повергали юные умы все эти шаткие максимумы, недопонятые законы и не сводящие концы с концами теории. Все старались держаться надежных образцов, но это ни к чему не приводило, ибо как иностранные, так и древние творения слишком далеко от нас отстояли, а в лучших отечественных всегда проглядывала ярко выраженная индивидуальность, на достоинства которой посягать не осмеливались, опасность же повторить их ошибки грозила каждому. Для того, кто чувствовал в себе творческую силу, такое положение вещей было нестерпимо.

Внимательно присматриваясь к недостаткам немецкой литературы, нетрудно было заметить, что ей не хватает содержания, и притом национального, ибо в талантах у нас никогда не было недостатка. Вспомним в этой связи хотя бы о Гюнтере<sup>5</sup>, который может быть назван поэтом в полном смысле слова. Он был наделен бесспорным талантом, пылким темпераментом, силой воображения, редкой памятью, умением схватывать и воссоздавать, поразительной творческой плодовитостью. Одухотворенный, остроумный, располагающий многообразными знаниями и редким ритмическим чутьем, он обладал всем для того, чтобы поэтическими средствами создавать вторую действительность рядом с обыденной, прозаической. Нам остается только дивиться легкости, с которой он умел в своих стихотворениях «на случай» возвысить любое состояние глубиной чувства, неожиданными сопоставлениями, образами, почерпнутыми из недр истории и древних мифов. Его стихи не свободны от грубой необузданности, и виною тому его время, его образ жизни, но прежде всего его характер или, вернее, его бесхарактерность. Он не умел себя укрощать, и потому его жизнь растеклась и растаяла, так же как его поэзия.

Гюнтер по-мальчишески прощутил счастливую возможность служить при дворе Августа Второго, где – в дополнение к прочему великолепию – хотели обзавестись еще и придворным поэтом, который придал бы должный размах и грацию королевским пиршествам, увековечив своим пером их преходящую пышность. Сдержанный, покладистый фон Кениг выполнял обязанности придворного поэта с большим достоинством и успехом.

Во всех самодержавных государствах содержание поэтических творений диктуется сверху. Потешный лагерь под Мюльбергом был, пожалуй, первой достойной темой, представившейся поэту, правда и на этот раз всего лишь провинциально-локальной, не имеющей общенационального значения. Встреча двух королей перед лицом многочисленной армии, весь военный и придворный чин, окружавший монархов, хорошо обученные войска, инсценированное сражение, пышные празднества как-никак тешили глаз и слух и представляли обильнейший материал для изобразительной и описательной поэзии.

Конечно, уже самый предмет, трактуемый в этой поэме, таил в себе порочное зерно: ведь и пышная потеха не может породить великих деяний. В этом произведении никто, кроме высоких особ, не привлекает к себе особого внимания, более того – поэт не смеет даже возвышать одного монарха, дабы не оскорбить другого. К тому же он должен был неукоснительно соотноситься с придворным и государственным календарем, отчего характеристика отдельных лиц обретала нежелательную сухость. Недаром современники упрекали фон Кенига в том, что кони были им лучше выписаны, чем действующие лица. Но не к его ли чести следовало отнести

именно то, что он всякий раз выказывает свое искусство там, где ему находится применение? Вскоре поэт, наверное, и сам уразумел, в чем кроется главное затруднение, не позволяющее ему успешно завершить начатую поэму; так или иначе, но он не продвинулся дальше первой песни.

<...>

<...> Не могу обойти молчанием наше посещение Готшеда; уж слишком оно характерно для убеждений и нрава этого человека. Готшед жил весьма комфортабельно в первом этаже «Золотого медведя», где Брейткопф-старший<sup>6</sup> в пожизненное пользование предоставил ему квартиру в благодарность за барыши, которые принесли его торговле Готшедовы сочинения, переводы и постоянное сотрудничество.

Мы велели доложить о себе. Лакей провел нас в большую комнату и сказал, что его господин вскорости выйдет. Может быть, мы неправильно поняли его жест, но нам показалось, что он нас приглашает войти в соседнюю комнату. Мы так и поступили и здесь наткнулись на странную сцену: из противоположной двери в ту же самую минуту вышел Готшед в зеленом даматовом халате на красной тафтяной подкладке, дородный широкоплечий гигант, с огромной плешью на непокрытой голове. Эта досадная небрежность, видимо, подлежала немедленному устранению, так как из боковой двери тотчас же выскочил лакей, держа на руке огромный парик (локоны ниспадали ему по самый локоть), и с испуганным видом протянул его своему господину. Готшед, не выказав ни малейшего неудовольствия, левой рукой взял парик и мигом насадил его себе на голову, правой же дал бедняге такую оплеуху, что тот, точь-в-точь как в комедии, опрометью выскочил из кабинета, после чего почтенный патриарх величественным мановением руки пригласил нас присесть и удостоил довольно долгого собеседования.

<...>

<...> из разговоров, примеров и благодаря собственным размышлениям, я понял, что первый шаг к выходу из этой водянистой, расплывчатой, нулевой эпохи может быть сделан лишь путем непреложной точности и выразительной краткости. Стиль, господствовавший доселе, не давал даже возможности отличить низкопробное от более высокого, ибо все влеклось к одинаково плоскому. Писатели уже пытались одолеть сие широко распространенное зло, и кое-кому это более или менее удавалось. Галлер и Рамлер<sup>7</sup> были от природы склонны к энергической, сжатой речи; Лессинга и Виланда к тому же самому привела рефлексия. Первый в своих творениях становился все более эпиграмматичным, скупым на слова в «Минне», лаконическим в «Эмили Галотти»; лишь позднее, в своем «Натане», он возвратился к прежнему веселому простодушию, которое так шло к нему. Виланд<sup>8</sup>, еще достаточно многословный в «Агафоне», «Доне Сильвио», в «Комических рассказах», вдруг чудесным образом сделался краток и точен в «Мусарии» и в «Идрисе», не утратив при этом своего обаяния. Клопшток, столь многоречивый в первых песнях «Мессиады», – в своих одах и мелких стихотворениях, равно как и в трагедиях, напротив, удивительно лаконичен. Соревнуясь с древними, и прежде всего с Тацитом<sup>9</sup>, он все дальше заходит в тупик в своем пристрастии к сжатости стиля и под конец становится уже непонятным и неудобочитаемым. Герстенберг<sup>10</sup>, прекрасный, но причудливый талант, тоже старается не давать себе воли; его заслуги ценят, но радости от него мало. Глейм<sup>11</sup>, по натуре склонный к благодушному многословию, впал в аскетическую краткость речи лишь однажды: в своих военных песнях. Рамлер, собственно, в большей мере критик, нежели поэт. Он начинает собирать все созданное немцами в лирике, но при этом обнаруживает, что ни одно стихотворение полностью его не удовлетворяет. Он выбрасывает лишние строчки. Редактирует, изменяет, чтобы придать стихотворениям хоть какую-то форму. Тем самым он наживает себе столько же врагов, сколько у нас любителей и поэтов, ибо каждый, собственно, узнает себя по своим недостаткам, а публика скорее интересуется несовершенной индивидуальностью, нежели тем, что создано или выправлено в соответствии с обще-



принятыми правилами и вкусом. Ритмика в ту пору еще не вышла из пеленок, и никто не знал, как укоротить ее детство. Поэтому возобладала поэтическая проза. У Гесснера<sup>12</sup> и Клопштока явилось немало подражателей; находились, конечно, и приверженцы строгого метра, которые перелагали эту прозу рифмованными стихами. Но и к ним никто не питал благодарности, ведь они были вынуждены многое отбрасывать и, напротив, добавлять, и прозаический оригинал все равно всеми почитался лучшим. Но чем усиленнее становятся поиски насыщенного лаконизма, тем легче давать оценку произведениям, ибо значительное, не потонувшее в многословии, поддается обоснованным сравнениям. Одновременно возникло несколько разновидностей истинно поэтических форм; ведь чтобы о каждом предмете, подлежавшем воспроизведению, сказать лишь самое необходимое, надо было к каждому подойти по-особому, и хотя никто не ставил себе такой задачи, способов изображения стало больше, правда, иные из них были безобразны, и многие искания кончались полной неудачей.

Без сомнения, наилучшими природными данными обладал Виланд. Он рано созрел в тех идеальных сферах, где любит пребывать молодежь; но так как это пребывание было омрачено тем, что мы называем опытом, – раздорами со светом и женщинами, то он подался в область реального и в споре двух миров доставлял наивысшую радость себе и другим, ибо его талант всего прекраснее проявлялся именно в этом легком поединке между шуткой и сознанием суровости земного бытия. И сколько же блестящих его произведений пришлось на мои университетские годы! «Мусарион» произвела на меня сильнейшее впечатление<sup>13</sup>, и я, как сейчас, помню, когда и где Эзер<sup>14</sup> дал мне прочесть пробные листы этой вещи. Передо мною, так мне казалось, оживали античные времена! Все пластическое в Виландовом таланте воплотилось здесь с наибольшим совершенством, а так как проклятый злосчастной трезвостью ума Фаниас-Тимон под конец примиряется со своей возлюбленной и со всем миром, то нам поневоле хотелось заодно с ним пережить и его человеконенавистническую пору. Вообще Виландовым произведениям охотно приписывали насмешливое неприятие возвышенного образа мыслей, какой, стоит им чрезмерно увлечься, часто переходит в бесплодное мечтательство. Автору охотно прощали его насмешки над тем, что принято считать истинным и достойным уважения, тем более что эти вопросы, как явствовало из его творений, были ему всего дороже.

О том, как убоги были критические оценки произведений Виланда, нетрудно составить себе представление, обратившись к первым томам «Всеобщей немецкой библиотеки»<sup>15</sup>. Хотя Виландовы «Комические рассказы» в одном из них и удостоились почетного упоминания, но – увы! – сколько-нибудь глубокого проникновения в поэтическую своеобычность писателя там не обнаружишь. Рецензент, как большинство тогдашних критиков, воспитал свой вкус на избитых образцах. Он даже не догадывался, что нельзя судить о пародийном произведении, не имея все время перед глазами благородного, прекрасного оригинала, потому что как иначе установить: удалось ли пародисту подметить в нем слабые и смешные стороны или что-нибудь из него позаимствовать, а не то – под видом подражания – самому изобрести нечто ценное? Но это рецензенту и в голову не приходило; он ограничивался одобрением или порицанием отдельных отрывков целостного произведения. По собственному признанию автора рецензии, им было подчеркнуто столько мест, пришедшихся ему по вкусу, что для одного их перечня не сыскалось бы места в журнале. А ежели вспомнить, что даже весьма удачный перевод Шекспира «Всеобщая немецкая библиотека» встретила восклицанием: «По правде сказать, такого писателя, как Шекспир, и вовсе не следовало бы переводить», то едва ли приходится доказывать, как безнадежно отстал этот печатный орган от духа времени и почему молодым людям, способным чувствовать искусство, приходилось искать себе новые путеводные звезды.

Материал, в какой-то мере определяющий и поэтическую форму произведения, немцы заимствовали отовсюду. Им мало или вовсе не приходилось разрабатывать сюжеты, насыщенные национальным содержанием. «Герман» Шлегеля<sup>16</sup> лишь робко намекал на такую возмож-

ность. Пристрастие к идиллическому жанру получило широчайшее распространение. Идиллии Гесснера, при всей их бесхарактерности, обладали немалым обаянием и детской наивностью, это позволяло думать, что и он был бы способен обратиться к национально характерному началу. Не выходили из сферы отвлеченной человечности и поэтические произведения, стремившиеся воссоздать своеобразие чужой национальности, к примеру – еврейские пасторали и прочие патриархальные мотивы, заимствованные из Ветхого завета. «Ноахида» Бодмера – чистейший символ тех водных хлябей, которые грозили затопить немецкий Парнас, но теперь, пусть еще очень медленно, все же убывали. Великое множество посредственных умов вконец укачала мертвая зыбь анакреонтического пустозвонства. Лаконическая точность Горация понуждала немецких поэтов вырабатывать в себе, все с той же замедленной постепенностью, это ценное свойство. Комико-героические поэмы, обычно бравшие себе за образец «Похищение локона» Попа, также не содействовали приближению лучшей поэтической эры.

Не могу обойти молчанием еще одну тогдашнюю выдумку, на первый взгляд достаточно глубокомысленную, но по сути смехотворную. Немцы понабрались богатейших исторических сведений обо всех родах поэзии, в которых преуспели разные нации. Готшеду удалось сколотить в своей «Критической поэтике» целую систему полков и полочек, по существу уничтожившую самое понятие поэзии, и заодно доказать, что и немцы уже успели заполнить эти полки образцовыми произведениями. Так оно продолжалось и впредь. Всякий год сия коллекция пополнялась, но всякий же год одна работа вытесняла другую из сферы, в которой та еще недавно блистала. Теперь у нас уже имелись если не свои Гомеры, то Вергилии и Мильтоны<sup>17</sup>, если не Пиндар, то Гораций; не замечалось недостатка и в Феокритах. Таким вот образом мы тешили себя сравнениями с великими чужеземцами, в то время как число поэтических творений все возрастало и наконец-то появилась возможность сравнивать достоинства наших собственных поэтов.

<...>

Впервые правдивое, высокое и подлинно жизненное содержание было привнесено в немецкую поэзию Фридрихом Великим и подвигами Семилетней войны. Любая национальная поэзия пуста и неминуемо будет пустой, если она не зиждется на самом важном – на великих событиях в жизни народов и их пастырей, когда все, как один человек, стоят за общее дело. Королей следует изображать на войне и в опасности, ибо доподлинными властителями они являются лишь в часы испытаний, когда определяют и разделяют судьбу последнего из подданных и в силу этого становятся интереснее самих богов, ибо боги, однажды предначертав исход событий, устранились от участия в таковых. В этом смысле каждая нация, посягающая на всемирно-историческое значение, должна иметь свою эпопею, для которой отнюдь не обязательна форма эпической поэмы.

Военные песни, впервые пропетые Глеймом, потому и стоят так высоко в немецкой поэзии и так безотказно действуют на нас, что они возникли из сражений и во время сражений, и еще потому, что их форма словно отлита участником битвы в минуты величайшего боевого напряжения.

Рамлер по-другому, но в высшей степени достойно воспевает подвиги своего короля. Все его песни содержательны, в них нас волнуют большие, возвышающие душу темы, которые и сообщают его творениям непреходящую ценность.

Внутреннее содержание обрабатываемого предмета – начало и конец искусства. Никто, конечно, не собирается отрицать, что гений, художественный талант, получивший правильное развитие, своей обработкой может из всего сделать все и покорить себе даже непокорнейший материал. Но если всмотреться поглубже, то это будет скорее фокус, чем художественное произведение, ибо последнее должно строиться на достойном сюжете, который благодаря умелой, старательной и усердной обработке может разве что заблестать еще большим великолепием.

Итак, пруссаки, а вместе с ними и вся протестантская Германия, обрели для своей литературы сокровище, у противной стороны не имевшееся и не возместимое никакими позднейшими усилиями. На высоком понятии о своем короле, по праву сложившемся у прусских писателей, они стали строить свою литературу – тем усерднее, что тот, во имя которого все это делалось, раз и навсегда ничего о них и знать не хотел. Уже прежде, через посредство французской колонии, впоследствии же – благодаря тому, что король высоко чтит просвещение этой нации и ее финансовые учреждения, в Пруссию так и хлынула французская культура, весьма благотворная для немцев, ибо она поощряла их к сопротивлению и противоречию. И точно такой же удачей была для развития нашей литературы явная антипатия Фридриха ко всему немецкому. Писатели делали все, чтобы король их заметил, подарил бы их если не благосклонностью, то хоть толикой вниманием, но делали это на немецкий лад, в сознании своей правоты и с затаенным желанием, чтобы король признал и оценил их немецкую правоту. Но этого не случилось, да и не могло случиться, ибо возможно ли требовать от короля, который жил, наслаждаясь зрелыми плодами культуры, чтобы он тратил свои годы, дожидаясь радостей от запоздалого развития того, что представлялось ему варварством? Что касается ремесленных и фабричных изделий, то здесь он мог, конечно, навязывать себе и в первую очередь – своему народу весьма посредственные суррогаты вместо отличных чужеземных товаров, но в этой области путь к совершенству короче и не надобно целой человеческой жизни, чтобы дожидаться поры зрелости.

Но об одном поэтическом порождении Семилетней войны, всецело навеянном мощным духом северонемецкой национальной сути, я должен здесь упомянуть с особой признательностью. Первым драматическим произведением сугубо современного содержания, смело выхваченным из самой гущи той замечательной эпохи и посему оказавшим чрезвычайное, никем не предвиденное воздействие, была «Минна фон Барнхельм». Лессинг, в отличие от Глейма и Клопштока, частенько пренебрегал личным достоинством, в твердой уверенности, что сможет в любую минуту восстановить и упрочить свою добрую славу. Он любил предаваться рассеянной, даже разгульной жизни, поскольку его мощный, напряженно работающий интеллект всегда нуждался в сильном противовесе; по этой причине он принял решение примкнуть к свите генерала Тауенцина. Сразу чувствуешь, что упомянутая пьеса была им создана среди треволнений войны и мира, любви и ненависти. Она впервые позволила нам заглянуть в область, более возвышенную и замечательную, чем тот литературный и обывательский мирок, в коем до сих пор вращалась наша поэзия.

Яркая взаимная ненависть, в которой пребывали в годы этой войны Пруссия и Саксония, не была изжита и с ее окончанием. Саксонец теперь особенно остро чувствовал раны, нанесенные ему не в меру возгордившимся пруссаком. Мир политический не мог сразу восстановить мир душевный. Этому и должны были поспособствовать драматические образы Лессинговой пьесы. Обаяние и прелесть саксонских женщин здесь побеждают самонадеянность и гордое упрямство пруссаков; во всех действующих лицах драмы, главных и второстепенных, искусно сочетаются характерно локальные и противоборствующие им общечеловеческие черты.

<...>

(Гёте И. В. Из моей жизни: Поэзия и правда // Гёте И. В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 3: Из моей жизни: Поэзия и правда / пер. Н. Ман. М.: Художественная литература, 1976. Кн. 7. С. 217–218, 220–224, 226–230, 236–238)

## Примечания<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Составитель комментариев (если не указано иное) – Н. Вильмонт. Приводятся по изданию: Гёте И. В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 3. С. 679–682. (Примеч. сост.)

<sup>1</sup> *Швейцарцы выступали в качестве антагонистов Готшеда...* – Против рационализма Готшеда, в защиту чувства фантазии и «чудесного», выступили поэт и критик *Бодмер* <...> [*Бодмер* Иоганн-Якоб (1698–1783) – швейцарский писатель и теоретик эстетики Просвещения, автор прозаических поэм «Иаков и Иосиф, «Ной» и др.], а также критик и эстетик *Брейтингер* И.-Я. (1701–1776). В «Критической поэтике» Брейтингера была выдвинута идея создания «христианского эпоса» (в подражание Мильтону) и говорилось о поэтической образности как о «живописном начале» поэзии.

<sup>2</sup> *Геллерт* Христиан Фюрхтеггт (1715–1769) – немецкий поэт, профессор лейпцигского университета; Гёте слушал его лекции по изящной словесности. (*Примеч. сост.*)

<sup>3</sup> *Лихтвер* М.-Г. (1719–1783) – плодовитый баснописец.

<sup>4</sup> *Кениг* И.-У. (1688–1744) – придворный поэт, напыщенный классицист.

<sup>5</sup> *Гюнтер* Иоганн Христиан (1695–1723) – поэт силезской школы, один из первых введший в немецкую поэзию свои интимные биографические переживания. Оды Гюнтера высоко ценил Ломоносов.

<sup>6</sup> Издатель. (*Примеч. сост.*)

<sup>7</sup> *Рамлер* Карл Вильгельм (1725–1798) – поэт, искусно владевший формой, но лишенный творческого воображения. «Лирическая антология» Рамлера содержит стихотворения современных ему поэтов в его обработке (без указания имен стихотворцев); в XVII в. подобные обработки приравнивались к оригинальному творчеству, но в XVIII в. это уже почиталось самовольным присвоением чужого духовного достояния. Оды, в которых Рамлер воспекает Фридриха Второго, – своего рода «пруссский классицизм».

<sup>8</sup> *Виланд* Кристоф Мартин (1733–1813) – выдающийся поэт и романист. В веймарский период был дружен с Гете и его кругом.

<sup>9</sup> *Соревнуясь с древними, и прежде всего с Тацитом...* – Клопшток подражал Тациту в кратких прозаических очерках, включенных в его «Немецкую республику ученых» (1774).

<sup>10</sup> *Герстенберг* Генрих Вильгельм фон (1737–1823) – драматург и литературный критик. Обратил на себя внимание «Поэмой скальда» (1766), в которой воскрешает позабытые скандинавские и древнегерманские мифы; его трагедия «Уголино» (1768), равно как и критико-теоретические работы, во многом предвосхищает поэзию «Бури и натиска».

<sup>11</sup> *Глейм* Иоганн Вильгельм Людвиг (1719–1803) – поэт-анакреонтик; обрел собственный поэтический голос в «Песнях прусского гренадера» (1758).

<sup>12</sup> *Гесснер* Соломон (1730–1788) – швейцарский поэт, его идиллии, написанные ритмической прозой, пользовались большой популярностью не только в странах немецкого языка, но и во Франции, где его пропагандировал Ж.-Ж. Руссо.

<sup>13</sup> «*Мусарион*» произвела на меня сильнейшее впечатление... – «Мусарион» (1768) – роман в стихах Виланда, проповедующий разумное наслаждение жизнью; обаяние этому дидактическому произведению придает его изящный и грациозный стиль. Герой романа человеконенавистник Фаниас (Фаниас Тимон, как называет его Гете) научается «облагороженному гедонизму» под влиянием прекрасной гречанки Мусарион.

<sup>14</sup> *Эзер* Адам Фридрих (1717–1799) – немецкий художник, скульптор, график и иллюстратор книг. Гете в 1763–1768 гг., будучи студентом Лейпцигского университета, брал уроки в его Академии графики и книжного иллюстрирования. (*Примеч. сост.*)

<sup>15</sup> «*Всеобщая немецкая библиотека*» – журнал, основанный в 1765 г. Фр. Николаи; одно время был влиятельнейшим журналом Германии, в котором сотрудничали Лессинг, Моисей Мендельсон и ряд других видных немецких просветителей; авторитет этого журнала был подорван Гердером и писателями «Бури и натиска».

<sup>16</sup> «Герман» – трагедия И.-Э. Шлегеля, вышла в 1743 г. <...> [Шлегель Иоганн Элиас (1719–1749), поэт, автор драм и критических статей <...>]; в ней воссоздан эпизод из истории борьбы древних германцев с римлянами.

<sup>17</sup> *Теперь у нас уже имелись если не свои Гомеры, то Вергилии и Мильтоны...* – Немецким Вергилием и Мильтоном называли Клопштока, а также Бодмера; немецким Горацием – Рамлера, Феокритом – Гесснера и т. д.; против такого рода рискованных сравнений возражал Гердер во втором выпуске своих «Фрагментов о новой немецкой литературе» (1767), настаивая на неповторимости поэтических индивидуальностей и самобытности национальных культур.

### **Вопросы и задания**

1. Почему, с точки зрения Гёте, немецкий язык в начале XVIII в. представлялся пока «непригодным» для поэзии?

2. Какие сферы общественного бытия были для немецкой литературы середины XVIII в. источниками национального содержания?

3. Какие фигуры немецких поэтов, прозаиков, драматургов и литературных критиков Гёте выделяет как особенно значимые для национальной литературной истории? Кто из этих авторов был особенно отмечен ориентацией на античность? Кто настаивал на строгом следовании классицистскому ранжированию жанров? Кто акцентировал роль воображения в поэтическом творчестве?

4. В чем Гёте усматривает выдающуюся роль и заслугу Г. Э. Лессинга?

## Кристоф Мартин Виланд (1733–1813)

### Предтекстовое задание

Ознакомьтесь со статьей Р. Ю. Данилевского, обращая особое внимание на сатирическое начало романа Виланда.

### *Р. Ю. Данилевский* Виланд и его «История абдеритов»

<...>

В творчестве Виланда немецкая сатира приобрела новое качество: общечеловеческий порок был показан как порок социальный, а гротескные маски его носителей получили живые, индивидуальные черты. Виланд создал в немецкой литературе «роман нового типа, где положительные и отрицательные тезисы воплощены не только в рассуждениях, но и в характерах и действиях»<sup>1</sup>.

Особенность виландовской сатиры состояла также и в том, что сатира эта не была открытой, прямой насмешкой, привычной для немецкой обличительной литературы, говорившей обычно правду в глаза. Виланд заставлял читательскую мысль работать, искать и усваивать его идеи, искусно вплетенные в пеструю ткань пронизанного юмором повествования. «Таков мой вкус, – признавался писатель, – мои излюбленные характеры – Сократ и Арлекин»<sup>2</sup>.

В романе «История абдеритов» природа смеха еще сложнее. Под внешним простодушием скрыта уже не только веселая арлекинада: мы ощутим в этом произведении беспощадную насмешку, подобную сарказму Лукиана Самосатского, Свифта или Вольтера<sup>3</sup>.

<...>

В 1768 г. первым изданием вышел в свет большой роман Виланда «История Агатона» («Geschichte des Agathon»)⁴. Это был роман о становлении личности, первый воспитательный роман в европейской литературе<sup>5</sup>. В столкновении с жизненными препятствиями складывается характер героя, вырабатываются его взгляды. Процесс этот Виланд представлял себе, правда, не совсем так, как стали изображать его позднее писатели-реалисты. Виланд воспользовался заимствованным у Шефтсбери понятием «прекрасной души» и рассматривал жизнь личности как борьбу природных задатков добра с вредоносными внешними влияниями до достижения полной гармонии человека с самим собой и с миром. Для современников важно было, однако, что писатель показал эволюцию, развитие характера под воздействием окружающей общественной среды.

Опыт Виланда, автора «Истории Агатона», был заимствован Гете в «Вильгельме Мейстере», романтиками – например, Новалисом в романе «Генрих фон Офтердинген» и т. д. Но в связи с «Историей абдеритов» необходимо обратить внимание на две особенности виландовского воспитательного романа. Во-первых, писатель, как никто из его предшественников, начал внимательно присматриваться к тому социальному, человеческому фону, на котором предстояло действовать его герою. И, во-вторых, в «Истории Агатона» уже чувствуется историзм Виланда, или точнее – тенденция к исторической правде, пусть еще непоследовательная и не освободившаяся от легендарных и условных представлений об историческом прошлом.

<...>

Историей своего героя Виланд показал по сути дела духовные искания европейцев в эпоху Просвещения. Он написал вымышленную биографию малоизвестного афинского трагика и сделал местом действия романа Грецию, Малую Азию и Сицилию V в. до н. э. Однако

религиозные сомнения, нравственные и философские искания, политические разочарования – все это принадлежало человеку XVIII столетия. <...>

<...>

Замысел книги об абдеритах обдумывался долго и тщательно. Об этом свидетельствует композиция романа, представляющая собой систему концентрических кругов: от главы к главе примеры абдеритской глупости становятся все более грандиозными и зловещими<sup>6</sup>. Каждая глава служит ступенью, по которой абдерская республика делает еще один шаг к своему концу. Сперва абдериты потешаются над своим земляком Демокритом, потому что он не похож на них (книга I). Затем картина их невежества расширяется: они отвергают подлинную науку в лице Гиппократы (книга II) и истинное искусство в лице Еврипида (книга III). Подобно «темным людям» Эразма Роттердамского, абдериты противостоят миру гуманизма. Их самодовольная ограниченность выглядит особенно впечатляюще в стенах театра, учреждения, которое было для немцев XVIII в. воплощением идеи единого национального демократического искусства. В театральном эпизоде глупость абдеритов обретает грозную общественную значимость. Описание судебного процесса из-за тени осла (книга IV) и рассказ о лягушках Латоны (книга V) – две широких сатирических панорамы немецкого общества в целом, каким это общество представлялось проницательному взору Виланда.

<...>

В некоторых эпизодах «Истории абдеритов» содержатся намеки на реальные события. Так, театральная тема III книги была связана с попыткой Виланда поставить на сцене известного театра в Мангейме оперу на свой текст «Розамунда» («Rosemunde»); музыку написал композитор Антон Швейцер. Писатель столкнулся при этом с чиновничьей и театральной рутинной, с равнодушием аристократической публики. В письмах этого времени он называет нравы мангеймского театра абдеритскими. Веймарский ученый и литератор К. А. Беттигер вспоминал, что в разговоре с ним Виланд сравнил однажды театр в Мангейме с театром Абдеры<sup>6</sup>. Предпринимались многочисленные попытки установить, кого именно подразумевал Виланд под тем или иным персонажем своего романа. <...> В этих догадках была доля истины, хотя Виланд едва ли задавался целью высмеять только конкретных лиц. Он не желал, чтобы его роман считали собранием портретов современников. «Вопрос о том, какой немецкий драматический писатель скрывается под именем Гипербола, Флапса и других – это абдеритский вопрос, не достойный ответа»<sup>7</sup>, – писал он.

<...> «Нельзя сказать „тут Абдера, там Абдера“, – заявил Виланд в ответе Шлоссеру, – Абдера везде... и все мы в какой-то степени дома в Абдере»<sup>8</sup>.

Виланд иронически отмечал, что в его «достопочтенном отечестве» во второй половине просвещенного XVIII в. можно сплошь и рядом натолкнуться на абдеритов и абдериток<sup>9</sup>. На страницах его романа рождались типы, вбиравшие в себя характерные черты эпохи и социальной среды. Это не была еще типизация, свойственная реалистической литературе позднейшего времени, однако форма иносказания, античная «одежда» романа позволяла Виланду создавать образы, современная сущность которых одновременно и подчеркивалась и прикрывалась гротескными и живыми масками абдеритов. Освобожденная от просветительской назидательности, проза Виланда готовила, с одной стороны, основу для будущего немецкого романа на современные темы и – с другой, вела к боевой политической сатире немецких демократов конца XVIII в. (Л. Векрлин, А. Книгге, Г. Ф. Ребман)<sup>10</sup>.

<...>

Сатирическим зеркалом немецкого бюргерства Виланд избрал Абдеру. Можно догадываться, что первоначально его натолкнули на тему романа не только древние авторы, упоминавшие этот злополучный город (они перечислены в «Предуведомлении», первой главе I книги

и в примечаниях к ним). Абдера и ее жители появлялись в литературе, более близкой по времени к Виланду.

Отрывок из «Сентиментального путешествия» Стерна, где пересказывался эпизод из сочинения Лукиана «Как следует писать историю», был переведен Виландом и включен в текст двенадцатой главы III книги романа. Ранее Стерна об абдеритах вспомнил Жан Лафонтен. В басне «Демокрит и абдериты» (1678) обыгрывался анекдот, восходящий к одному из писем, приписываемых Гиппократу. В письме рассказывалось, что жители Абдеры сочли безумным своего великого земляка Демокрита, поскольку он утверждал, что вселенная бесконечна и состоит из атомов. Абдериты пригласили в город знаменитого врачевателя Гиппократа, чтобы он излечил несчастного. Гиппократ же признал безмозглыми самих абдеритов. Нетрудно заметить, что отсюда выросло содержание двух первых книг романа, а переданный Стерном рассказ Лукиана о трагикомическом безумии, которое охватило абдеритов после представления «Андромеды» и «Андромахи» Еврипида, лег в основу книги III. Виланд опирался, таким образом, на определенную, хотя и не очень богатую, традицию сатирической разработки темы.

Литературная история темы абдеритов имеет мало общего с подлинной историей древнего города-государства, носившего название Абдера, или Абдеры, как они названы у Геродота. <...>

Историческая Абдера была родиной двух выдающихся мыслителей – Демокрита и Протагора. Следовательно, культурная жизнь города должна была находиться на высоком уровне. Расцвет Абдеры совпал, очевидно, с веком Перикла в Афинах; между центром и отдаленной северной окраиной Древней Греции поддерживались культурные связи.

Немногие сохранившиеся факты биографии Демокрита свободно обыграны в романе. Согласно одной версии, Демокрит долго странствовал по Элладе и Востоку, посетил Малую Азию, Египет, Персию, Халдею. По другой версии, персидский царь Ксеркс, захвативший Абдеру, жил в богатом доме отца Демокрита и повелел своим мудрецам-магамам посвятить мальчика в тайны их учения. Жители города гордились своим ученым соотечественником и, по возвращении его из странствий, собрали для него 500 талантов, что было весьма значительной суммой. Последние годы жизни Демокрит посвятил научным занятиям, отойдя от городских дел, которым прежде уделял много внимания. Ни о каких столкновениях Демокрита с горожанами истории не сообщают.

Встреча Демокрита с Гиппократом являлась, однако, вполне возможной. Современник и ровесник великого сына Абдеры, Гиппократ тоже много путешествовал, добираясь даже до далекого Дамаска. Известно, что в Афинах он успешно боролся с эпидемией чумы. С этой же целью, – а, конечно, не для того чтобы лечить Демокрита, – его могли призвать и абдерские жители. В этом случае Гиппократ и Демокрит, «первый энциклопедический ум среди греков»<sup>11</sup>, два ученых, чтимых всеми эллинами, могли встретиться как равные приблизительно так, как описывается у Виланда.

Об истоках дурной славы абдеритов нельзя сказать ничего определенного. Отношение к ним как к чужакам зародилось, по-видимому, в античные времена. Не исключено, что начала этих насмешек содержались в древнем фольклоре. Древние греки посмеивались над обитателями различных местностей – над жителями Беотии и Аркадии, над горожанами из Ким, что в Эолии, над причудами выходцев из малоазийского города Алабанды. Существовали комические истории, связанные и с Абдерой. След одной из них сохранился в отрывке комедии Махона из Сикиона (II в.), где рассказывалось, будто в Абдере каждый житель может иметь собственного глашатая и провозглашать публично любую глупость. По всей вероятности, это была насмешка над уходящим в прошлое народным собранием. Но все же не случайно насмешка относилась именно к абдеритам. Виланд включил в роман старый анекдот о статуе богини, которую жители Абдеры поместили на такой высокой колонне, что снизу невозможно было ничего рассмотреть (I, 1). Абдеру и «абдеритство» упоминал Цицерон, критикуя порядки, при-



нятые в сенате Рима. О глупости абдеритов писали Овидий и Марциал<sup>12</sup>. Строки из Лукиана и Ювенала, посвященные Абдере, приведены у Виланда.

Тема абдеритской глупости соединилась в романе Виланда с мотивами немецкого фольклора, типологически близкими ей. В первой же главе писатель сравнил абдеритов с шильдбургерами, обитателями вымышленного «города дураков» – Шильды. Не забыл он и подобных же персонажей швейцарского фольклора – жителей анекдотического Лаленбурга. Сборники комических историй-шванков о шильдбургерах и лаленбуржцах появились с конца XVI столетия в виде народных книг<sup>13</sup>. Народные книги давали материал для сатирической литературы еще до Виланда. К ним обращались крупнейшие немецкие сатирики XVII в. Г. Я. К. Гриммельсгаузен и Г. М. Мошерош<sup>14</sup>. Тема шильдбургеров появилась в написанной Г. В. Рабеном вымышленной деревенской хронике (1742).

<...>

Связь с народным анекдотом и близкой к нему басней о животных особенно заметна в двух последних книгах «Истории абдеритов». Сюжет тяжбы из-за ослиной тени мог быть подсказан сатирическими произведениями Апулея (II в.) и Лукиана, где пресловутое животное выступало в подобных же трагикомических ролях. Но у Виланда отчетливее виден иносказательный, басенный смысл истории об осле. Тяжба из-за ослиной тени не просто иллюстрирует глупость абдеритов. Она становится развернутой метафорой, при помощи которой писатель показывает полную нелепость и деградацию абдерского общества. В лягушачьей «эпопее» V книги проступают черты животного эпоса, античной «Батрахомиомахии», поэмы о войне мышей и лягушек (упомянутой, кстати, в девятой главе I книги романа). Но Виланд опирался и на немецкую народную традицию осмеивания человеческих пороков под масками зверей. Интерес литераторов к народной животной сказке в эту эпоху подтверждается созданием в 1794 г. поэмы Гете «Рейнеке Лис», возникшей на основе народного животного эпоса. Виланд умело пользовался такими сатирическими приемами, как употребление значащих имен, пародирование судебных разбирательств, философских диспутов, церковной службы. Эти черты стиля связывают «Историю абдеритов» с многовековой традицией демократической литературы.

Антицерковная сатира, столь широко и изобретательно развернутая в романе Виланда, одинаково характерна как для гуманистической литературы, так и для фольклора Германии. В рассказе о нашествии лягушек читатель, даже если он не был знаком с античной литературой, мог без труда угадать намек на засилье церкви, особенно католической<sup>15</sup>. Впрочем, Виланд относился с одинаковой неприязнью и к католическим и к протестантским церковникам – это видно в романе достаточно отчетливо. Портреты главных жрецов двух соперничающих между собой абдерских храмов, очерченные Виландом в шестой главе IV книги, страшные в своей реальности, выходят за рамки прежних обличений церкви. Эта сатира перестает быть только антицерковной, она почти уже антирелигиозна.

<...>

В «Истории абдеритов» присутствует тема народа, народной массы, так или иначе действующей на ход событий. Известно, что деятели Просвещения относились к народу настроенно. Виланд не был исключением из общего правила, предостерегая читателей в двенадцатой главе IV книги от «ярости зверя», разрывающего свои путы. Но отношение Виланда к народу имело свой оттенок, которого не было, например, у Шиллера, осудившего в «Песни о колоколе» (1799) всякое революционное насилие. Разумеется, народ и для Виланда оставался наивной толпой, действующей под влиянием минутных настроений. Тем не менее писатель считал, что следует внимательнее присмотреться к причинам, толкающим народ к возмущению. Вспомним, как толпа, устремившись на площадь Абдеры, заставляет трепетать нерешимую

тельных и неразумных правителей города, не знающих, как спасти республику от бед (V, 10).  
<...>

<...>

Народная стихия и затхлое обывательское болото представлялись Виланду Сциллой и Харибдой, между которыми лежал путь развития общества. Единственной возможностью прогресса оставалось в таком случае нравственное совершенствование каждой отдельной личности. Идею нравственного самосовершенствования разрабатывали Лессинг и его последователи – Гердер, Гете, Шиллер. Она была знакома немецкой философии (Кант, Фихте). Но Виланд и ей придал свое особое истолкование.

Воспитание общества зависело, по мнению Виланда, от деятельности людей, достигших душевной гармонии и сумевших подняться над уровнем обывательского сознания. Таков путь виландовских героев – Агатона, Диогена и Аристиппа, таковы Демокрит и Гиппократ в «Истории абдеритов». Но Виланд не удовлетворялся тем, что показывал читателям достоинства этих «прекрасных душ». Его герои деятельны, активно вторгаются в общественную жизнь. В их поведении отразились черты характера самого писателя, постоянно искавшего способов практического влияния на окружающий мир. В «Истории абдеритов» Виланд отстаивал мысль о необходимости объединения выдающихся людей, для того чтобы они могли успешнее противостоять косному обществу и с большей уверенностью бороться за его просвещение и переустройство. Идею создания своего рода «республики ученых», возникшую еще в древности, у Платона, пропагандировали Клопшток (в проекте академии наук, поданном Иосифу II в 1768 г.)<sup>16</sup> и Лессинг (в диалоге «Эрнст и Фальк», 1778–1780 гг.). Виланд придал этому просветительскому проекту художественную форму: его Демокрит и Гиппократ сразу узнают друг в друге единомышленников. Демокриту ближе приезжий ученый, чем собственные соотечественники. Ему, точно так же, как и Гиппократу, глубоко чужд ограниченный местный «патриотизм» жителей Абдеры. Иронизируя над приверженностью абдеритов нелепым местным обычаям, Виланд отнюдь не отрицал значения любви к родине. Напротив, его идея объединения философов и ученых из разных греческих государств (Виланд имел в виду, конечно, германские государства своего времени) являлась, в сущности, глубоко патриотической идеей, так как была направлена против наследия феодального средневековья – культурной отсталости и политической раздробленности Германии. Объединение гуманистов, болеющих за судьбу всего человечества, было противопоставлено в романе Виланда немецкому провинциализму, этому абдеритскому, буржуазно-мещанскому началу, широкое распространение которого автор с такой язвительностью описал в «Ключе» к роману у.

Гуманистические и демократические принципы мировоззрения Виланда скрыто присутствуют даже в самых сатирических эпизодах «Истории абдеритов». Иногда они как бы прорываются на поверхность, при этом писатель рискует впасть в противоречие с нарисованной им же самой картиной абдеритской глупости, однако не может упустить повода, позволяющего сообщить читателю некоторые принципиальные авторские мысли. Так, в театральном безумии абдеритов есть трогательная черта увлеченности театром, изображенная с явным сочувствием. Виланд подробно и совершенно серьезно рассуждает о том, как действует на зрителя вдохновенная игра актеров<sup>17</sup>. В другом месте романа он заставляет Демокрита читать абдеритским жителям целые лекции о шекспировском театре (I, 8). Древнегреческий философ защищает у Виланда новейший для XVIII в. принцип относительности, национальной обусловленности прекрасного (I, 4). Убеждая абдеритов, что эстетические представления эфиопов столь же правомерны, как и представления европейцев, Демокрит перекликается с Гердером, страстным защитником идеи равноценности национальных культур<sup>18</sup>. Виланд в зародыше отвергает весьма свойственную абдеритскому образу мыслей склонность пренебрежительно относиться к другим народам.

Много внимания уделено в «Истории абдеритов» педагогике как сфере практического применения просветительской философии. В замечаниях Виланда о способах воспитания человека оптимизм писателя-гуманиста борется со скепсисом педагога-практика, не раз видевшего бесплодность самых благородных педагогических начинаний. Виланд смеялся над «физиогномикой» швейцарца Лафатера, пытавшегося из особенностей внешнего облика делать выводы о природных задатках людей. Порицая тех, кто в изучении человеческой личности ставил чувство и интуитивное начало выше разума, Виланд вообще отвергал руссоистскую педагогику, которая добивалась свободного, естественного развития человека. Последняя глава романа (V, 10) оканчивалась саркастическим выпадом против «педагогических сочинений, которыми нас так щедро одаривают вот уже в течение двадцати лет», т. е. против «Эмиля» Руссо (1761) и работ педагогов руссоистов Базедова<sup>19</sup> и Песталоцци. В споре с новым педагогическим течением, так же как и в полемике со штюмерами, Виланд не всегда улавливал передовые идеи. Но все же для его скептицизма, как мы видели, имелись основания. В феодально-мещанском, «абдеритском» обществе самые прогрессивные начинания вырождались в свою противоположность. Подобно тому как новаторство «бурных гениев» выродилось там в пошлую драматургию Августа Коцебу, учение Руссо, Базедова и Песталоцци исказилось в мертвой дидактике закрытых привилегированных пансионеров и причудах частных гувернеров.

Роман Виланда завершается примечательным суждением, в котором выражается, несмотря ни на что, надежда на лучшее будущее человечества, когда «никто уже больше не будет походить на абдеритов». «Это время уже скоро наступит, – говорит писатель, – если только дети первого поколения девятнадцатого века будут настолько же мудрыми, насколько считали себя таковыми дети последней четверти восемнадцатого века по сравнению с мужами века предыдущего...» <...>

<...>

(Данилевский Р. Ю. Виланд и его «История абдеритов» // Виланд К. М. История абдеритов / изд. подгот. Г. С. Слободкин, Р. Ю. Данилевский. М.: Наука, 1978. С. 222, 225–226, 235–243)

### Примечания

<sup>1</sup> Тронская М. Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. Л., 1962. С. 125.

<sup>2</sup> Письмо к Ф. Ю. Риделю от 15 декабря 1768 г. См.: *Auswahl denkwürdiger Briefe von C. M. Wieland*. Bd 1. Wien, 1815. S. 234.

<sup>3</sup> См.: Тронская М. Л. Указ. соч. С. 11 и сл.; Пуршиев Б. И. Виланд // История немецкой литературы: в 5 т. Т. 2. М., 1963. С. 179–202.

<sup>4</sup> Второе издание романа – 1773 г., третье – 1798 г.

<sup>5</sup> О воспитании личности писали и до Виланда (Фенелон, Рамсей и др.), но он отличался умением лепить живые характеры. См.: *Wildstake K. Wielands «Agathon» und der französische Bildungsroman von Fönelons «Telemach» bis Barthälemys «Anacharsis»*. München, 1933.

<sup>6</sup> О композиции «Истории абдеритов» см.: Тронская М. Л. Указ. соч. С. 137.

<sup>7</sup> Цит. по кн.: Там же. С. 133.

<sup>8</sup> Там же. С. 132. Ср. вариант этой же мысли в «Ключе к истории абдеритов».

<sup>9</sup> См.: Там же. С. 132.

<sup>10</sup> См.: Там же. С. 12. Виланд считал свой роман «обобщающий картиной глупостей и чудачеств всего рода человеческого, а в особенности нашей нации и нашего времени» (см.: Там же. С. 124). Ближайшими предшественниками Виланда в этом роде антифеодальной сатиры являлись Х. Л. Лисков (1701–1760) и Г. В. Рабенер (1714–1771), однако создатель «Истории абдеритов» намного превосходил их своим мастерством.

<sup>11</sup> Слова К. Маркса из «Немецкой идеологии» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 3. М., 1955. С. 126).

<sup>12</sup> О теме Абдеры в литературе см.: *Hermann K. F.* Gesammelte Abhandlungen und Beiträge zur klassischen Literatur und Altertumswissenschaft. Göttingen, 1849. S. 90–112.

<sup>13</sup> Об этом жанре см. статью Ф. Энгельса «Немецкие народные книги» (*Маркс К., Энгельс Ф.* Из ранних произведений. М., 1956. С. 344–352).

<sup>14</sup> В письме к Ф. Ю. Риделю от 26 октября 1768 г. Виланд записал имя Мошероша рядом с именем Рабле и своим собственным (*Auswahl denkwürdiger Briefe... Bd 1. S. 219*).

<sup>15</sup> Виланд принимал участие в издании сатирических «Писем о монашестве» (Цюрих, 1787), в которых монахи изображались в виде «толстых лягушек» (см.: *Тронская М. Л.* Указ. соч. С. 143). Монахи высмеяны в «Золотом зеркале» (ч. I, гл. 6).

<sup>16</sup> См. об этом: Неизданные письма иностранных писателей XVIII–XIX веков из ленинградских рукописных собраний / под ред. акад. М. П. Алексева. М.; Л., 1960. С. 157–160.

<sup>17</sup> Анализ этого эпизода см.: *Тронская М. Л.* Указ. соч. С. 135.

<sup>18</sup> См.: *Dinkel H.* Herder und Wieland. München, 1959.

<sup>19</sup> В одном из писем к писательнице Софии Ларош Виланд издевался над «филантропическим бесом воспитания», намекая на основанное Иоганном Бернгардом Базедовом в 1774 г. училище «Филантропин». См.: *Auswahl denkwürdiger Briefe... Bd 1, S. 160*.

#### **Вопросы и задания**

1. Каков литературный и исторический генезис виландовской Абдеры?
2. Как относится автор к народной стихии и ее проявлениям?
3. Как сочетается сатирическое и гуманистическое начало в романе?
4. Где, по Виланду, находится Абдера?

## Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781)

### Предтекстовое задание

Ознакомьтесь с фрагментом книги Г. В. Стадникова о творчестве Лессинга, обращая особое внимание на систему персонажей в драме «Эмилия Галотти».

### *Г. В. Стадников*

## Лессинг: литературная критика и художественное творчество

<...>

Уже в первой статье «Гамбургской драматургии» <...> Лессинг советовал: герой трагедии силой своего чувства, своеобычностью характера должен безмерно превосходить других персонажей пьесы. Эта единственность и исключительность и обратит на него особое внимание, ибо то, «что мы видим часто у многих лиц, тем мы перестаем любоваться»<sup>1</sup>.

Лессинг, несомненно, учел это положение, создавая образ Эмилии Галотти. Сложный и неоднозначный характер героини заметно выделяет ее среди других персонажей пьесы. При обрисовке образа Лессинг меньше всего полагается на внешние приемы. Формально роль Эмилии в пьесе скромна. К зрителям она выходит лишь в шести из двадцати семи явлений второго, третьего и пятого действий. В первом и третьем действиях ее на сцене нет вообще. Но необычайно содержательно внутреннее наполнение образа и его роль во всей цепи трагических событий пьесы.

Эмилия заявляет о себе уже с первых сцен трагедии, задолго до своего появления на сцене. Художник Конти с восторгом говорит о природном совершенстве ее красоты: «Эта голова, это лицо, лоб, глаза, нос, рот, подбородок, шея, эта грудь, стан, вся эта фигура стали для меня с тех пор единственным образцом изучения женской красоты»<sup>2</sup>. Но это не холодная бесстрастная красота абстрактного идеала. Образ Эмилии полон неотразимой прелести жизни. И характеристика принца, окрашенная горячей, несдерживаемой страстью, призвана особо подчеркнуть это: «Эти глаза, полные прелести и скромности. Этот рот! А когда он раскрывается, чтобы заговорить, когда он улыбается! О этот рот!» (217). Маринелли, отзываясь об Эмилии, характеризует скорее самого себя. Он груб, презрительно пренебрежителен к тем, кто ниже его на сословной лестнице. Однако и он не может не отдать дань остроте ума героини. По его мнению, граф Аппиани стал жертвой обдуманного плана Эмилии: «Девушка без состояния, без положения сумела завлечь его в свои сети – ей помогли некоторое притворство, блеск добродетели, чувствительность, острота ума – и уже не знаю, что там еще» (218).

Характеристика Клавдии разрушает представление об Эмилии как о робкой и набожной девушке. Она остроумна, бойка, умеет свободно держаться в обществе. В доме Гримальди принц был «очарован ее веселостью и остроумием». По мере развития событий Эмилия все больше будет обращать на себя внимание неоднозначностью своего внутреннего мира, сложной гаммой своих чувств.

<...>

Героиня еще не появилась на сцене, но уже можно догадаться, насколько ее личная воля, ее естественные побуждения подавлены строжайшим укладом жизни, непреклонным хранителем которого является бескомпромиссный Одоардо Галотти. Любой всплеск живого и непосредственного чувства, любое отклонение от однажды и навсегда установленного порядка расцениваются как вступление на путь порока, греховности. Так, известие о том, что дочь одна пошла в церковь (факт неслыханный!) приводит Одоардо в гнев: ведь и шага достаточно, чтобы дочь могла оступиться. Рассказ Клавдии о том, что на вечере в доме канцлера Гримальди принц

говорил с Эмилией, для Одоардо подобен «смертельной ране». Эмилии предписано жить как должно, как принято. И пока рядом с ней Одоардо и Клавдия, хранители этих устоев, ей это удастся. Вторжение принца в жизнь героини – решительное нарушение кажущейся идиллической гармонии; для основанных на законах строгого послушания нравственных принципов – это взрыв, катастрофа.

Впервые Эмилия появляется на сцене сразу же после страстного и настойчивого объяснения принца в любви. Показательна многозначительная по смыслу ремарка, которой Лессинг характеризует душевное состояние своей героини: «stürzt in einer ängstlichen Verwirrung herein» <...> «появляется в боязливом замешательстве», или «боязливом смущении». То есть – появляется не просто охваченная страхом, но в смущении, замешательстве. Появляется, осознавая свою, пусть невольную, вину. И боится Эмилия не столько принца, сколько себя. Сумеет ли она справиться со стихией своих чувств, вернуться в спокойное, тихое, безупречное русло прежней жизни? В церкви она не сдержалась, не выполнила до конца своей благочестивой роли, на какой-то миг оказалась во власти непосредственного чувства.

<...>

Не случайно, что после небольшого сопротивления Эмилия принимает совет матери – ничего не говорить своему жениху Аппиани о встрече с принцем. Мать помогает Эмилии подавить на некоторое время стихию своих чувств. Но, оценивая только что случившееся, Эмилия фактически признает собственную вину: «Ведь я могла совсем иначе вести себя и так же мало заслуживала бы осуждения, как и сейчас» (231). Лессинг передает сцену и глазами принца: «Безмолвная, подавленная, дрожащая, стояла она передо мной, как преступница, услышавшая свой смертный приговор» (242).

Осознавая свою вину, героиня в то же время не в силах бороться с собой. Она доверилась своим естественным побуждениям, и это сразу же безнадежно ослабило ее религиозность. Эмилия признается, что ее молитва, которая именно в этот день, день ее свадьбы, должна была быть столь сердечной и пылкой, как «никогда была далека от этого». <...>

Известно, что такой проникательный читатель Лессинга, как Гете, однажды высказал догадку, что Эмилия любит принца. Едва ли это так. Но несомненно, героиня страстно жаждет большой любви и иной жизни. <...>

<...>

Иногда трагическая вина героини объясняется особенностью склада ее характера <...>. В таком случае ключевыми для понимания финала трагедии оказываются слова Клавдии об Эмилии: «Она самая пугливая, и в то же время самая решительная в нашем роду. Не умея справиться со своим первым впечатлением, она после недолгого размышления становится находчивой, готовой ко всему» (262). Нельзя не отметить, что при такой постановке вопроса образ героини возводится к одному из вечных типов человеческого характера, наделяется классичесистической абстрактной всеобщностью и тем самым выводится за конкретные рамки национально-исторического контекста. К тому же при этом невольно игнорируется тот факт, что неоклассицистическая ориентация Лессинга не отменяла в его художественной практике принципов типизации, присущих просветительскому реализму. Даже анализ только двух первых сцен с участием героини позволяет заключить, что внутренний разлад Эмилии мотивируется не только слабостью ее природы, а отражает глубинные сдвиги, затронувшие немецкое общество в целом. <...> Принц, как это скоро станет ясно героине, неотрывная часть мира, воплощающего зло и насилие. Аппиани же слишком безупречно холоден, слишком родственно близок к укладу идеального благочестия, верным хранителем которого является Одоардо. Единственная сцена, где Лессинг сталкивает Эмилию с Аппиани, говорит о незримо разделяющей их пропасти непонимания.

Сцена эта контрастна по отношению к предшествующей ей сцене Эмилии с Клавдией. Еще недавно, рассказывая матери о признаниях принца, Эмилия была во власти неуспокоив-

шейся стихии чувств. Теперь она уже взяла себя в руки и выходит к жениху, неискренняя перед ним во всем. У нее есть тайна. Пусть это мать уговорила Эмилию утаить от Аппиани историю встречи с принцем. Важно то, что сама Эмилия согласилась, признала это возможным. Любопытно, что Лессинг, изображая невесту и жениха вместе только в единственной сцене, ни на мгновение не оставляет их одних. На протяжении всего их разговора присутствует Клавдия. И говорят молодые только обдуманное слова. Эмилия уважительно называет графа-жениха господином, благодарит его за свадебный подарок, за великодушную щедрость.

Безупречно выдержан и Аппиани. Нельзя не заметить, что о своих сыновних чувствах к Одоардо Аппиани говорит непосредственное и искреннее, чем о любви к Эмили. Создается впечатление, что в предстоящем браке для него главное – «удостоиться чести называть себя сыном сурового Одоардо». Наконец, вся сцена пронизана минорным настроением. Граф, несмотря на просьбу Эмили быть веселее, так и остается задумчивым и грустным. Эмилия рассказывает, что подаренные Аппиани драгоценности привиделись ей во сне жемчугом, а это означает, что ее ожидают слезы... Нет сомнения, что, решая сцену в таком ключе, Лессинг подготавливает трагическую развязку свадебного торжества. Но есть в этой сцене и другой смысл. Союз Эмили и графа не скреплен радостным, всепоглощающим чувством. <...> Брак с Аппиани в жизни Эмили по существу ничего не меняет. Будущая «идиллия» супружеского счастья – все тот же строго размеренный уклад родительского дома. Это бегство от тревожной жизни в тихий и уже трудно переносимый героиней патриархальный мир.

«Эмилия Галотти» – веское подтверждение того, что «идиллия и как форма восприятия жизни и как жанр уже на исходе Просвещения подверглась кардинальному пересмотру»<sup>3</sup>. Именно в свете этой тенденции и раскрывается во всей полноте смысл финала трагедии.

<...>

<...> В трагедии Лессинга изображается и власть иной тирании над человеком – власть строгих религиозных нравственных норм, власть закоснелого патриархального уклада, неоспоримость полного подчинения чувства человека раз и навсегда установленным принципам. В финале Эмилия уже осознала, что принц и его окружение совершают над ней и над ее близкими прямое насилие. Уступить этому невозможно, это несовместимо с ее честью и достоинством, и Эмилия готова решительно и бескомпромиссно противостоять злу. На отчаянное заявление отца о том, что принц собирается насильно увезти ее, Эмилия твердо и решительно заявляет: «Вырвать? Увезти?.. Будто у нас нет собственной воли, отец!»

Но и вернуться в отчий дом под власть строгого неукоснительного уклада, где отец, как и всегда, единолично и безоговорочно решил ее судьбу («отречение от мира – монастырь»), для Эмили невозможно. Она понимает, что соблазн или великий внутренний разлад грозят ей в равной мере и во владениях принца, и в доме отца. Об этом свидетельствует известный монолог Эмили: «Насилие, насилие! Кто только не способен противодействовать насилию? То, что называют насилием, – ровно ничего не значит. Соблазн – вот настоящее насилие! В моих жилах течет кровь, отец, такая молодая и горячая кровь! И мои чувства – живые чувства! Я ни за что не отвечаю, ни за что не могу поручиться» (272).

<...>

<...> боится Эмилия не соблазна со стороны принца, а самое себя. Проблема выбора, перед которой она стоит, далеко превосходит конкретную ситуацию, приобретая высокий историко-философский смысл. Эмилия должна или дерзко довериться естественным движениям своих чувств, свободно отдаться во власть бури, неистовствующей в ее груди, или безгласно подчиниться замкнутому патриархальному миру, аскетической тирании церкви. На первое героиня еще неспособна решиться, но и жить по-старому уже не может. В этом ее трагическая вина. И остается единственное – смерть.

Финал пьесы очень отчетливо высвечивает и трагическую вину Одоардо. И вина эта – не только политическая незрелость героя, его неспособность обратить оружие против принца.

С одной стороны, нет оснований лишать этот характер истинно героического ореола. Одоардо мужествен, стоек, кристально добродетелен. Он не мирится с тиранией двора и, как умеет, противостоит злу. С другой – стоические добродетели героя имеют свою противоположность. Характерно, что уже в начале трагедии устами Клавдии, женщины, наделенной немалой житейской проницательностью, об Одоардо сказано: «Какой человек! О суровая добродетель. Если только она заслуживает этого названия. Все ему кажется подозрительным, все достойно наказания! Если это называется знать людей – кто бы пожелал знакомства с ними?» (228).

Одоардо истово и абсолютно предан своим жизненным принципам. В мире для него все четко разграничено на порок и добродетель. Он вершит судьбы близких, полагаясь только на собственное мнение. Его понятия греха и добродетели лежат в русле традиционных представлений христианской нравственности. Поступками Одоардо движет забота о безупречной добродетели и репутации дочери, о внутренних борениях которой он даже не догадывается. Суровому и бескомпромиссному Одоардо не хватает душевной чуткости. Он слишком рационалистичен. А в свете сформировавшихся представлений сентименталистов, предшественников которых, как писатель, оказался Лессинг, «абсолютный разум всегда на грани бесчеловечности»<sup>4</sup>.

О том, что Лессинг не ставил перед собой задачи изображения в качестве трагического героя личности безупречной, свидетельствуют и его теоретические размышления. Еще в набросках к продолжению «Лаокоона» Лессинг отмечает: «...действия... являются тем более совершенными, чем более проявляется в них разнообразных и противодействующих друг другу побуждений. Идеальный моральный характер может поэтому играть не более как второстепенную роль в этих действиях»<sup>5</sup>. В «Гамбургской драматургии» эта мысль конкретизируется на основе критического разбора комедии Теренция «Братья» и драмы Дидро «Отец семейства»: «Идеальный отец всегда одинаков и типичен... Следовательно, те пьесы, в которых будет изображаться идеальный отец, будут не только неестественнее, но и однообразнее тех, в которых будут вводиться отцы, следующие различным принципам»<sup>6</sup>.

Этот пример, как и ряд других, свидетельствует о том, что, создавая образы Эмилии и Одоардо, выстраивая трагическую коллизию пьесы, Лессинг исходил из критической программы «Гамбургской драматургии». Но на этих позициях он не остановился. Живая художественная практика развивала собственные теоретические положения, вносила в них уточнения, а в чем-то и опровергала их.

<...>

В «Эмилии Галотти» Лессинг берет за основу ситуацию, характерную для классицистической трагедии, – чувство в борьбе со сковывающим его насилием. Но решает ее не в абстрактном, вневременном плане. Трагедия героини социально и исторически прояснена, она прямо вытекает из конкретных обстоятельств немецкой жизни последних десятилетий XVIII в., когда в борениях с нормами и установлениями, сковывающими внутреннюю свободу личности, начинает формироваться культ непосредственного чувства и отношение к страсти как к властной, непобедимой силе.

<...>

(Стадников Г. В. Лессинг: литературная критика и художественное творчество. Л., 1987. С. 70–75, 79–82)

### Примечания

<sup>1</sup> Лессинг Г. Э. Гамбургская драматургия. М.; Л., 1936. С. 9.

<sup>2</sup> Лессинг Г. Э. Драмы. Басни в прозе. М., 1972. С. 216. Далее ссылки на это издание с указанием страницы в скобках.



<sup>3</sup> *Тураев С. В.* От Просвещения к романтизму: Трансформация героя и изменение жанровых структур в западноевропейской литературе конца XVIII – начала XIX в. М., 1983. С. 71.

<sup>4</sup> Там же. С. 110.

<sup>5</sup> *Лессинг Г. Э.* Лаокоон, или О границах живописи и поэзии. М., 1957. С. 422.

<sup>6</sup> *Лессинг Г. Э.* Гамбургская драматургия. С. 319.

### **Вопросы и задания**

1. Каковы составляющие трагического характера в драме Лессинга?
2. Какие принципы классицистической драмы сохраняет Лессинг в «Эмилии Галотти»?
3. В чем заключается трагическая вина Одоардо Галотти?

## Иоганн Готфрид Гердер (1744–1803)

### Предтекстовое задание

Прочтите статью Н. А. Жирмунской о творчестве Иоганна Готфрида Гердера.

*Н. А. Жирмунская*

### Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историцизм просвещения

В развитии исторического мышления XVIII в. Гердеру принадлежит особое место. Не порывая окончательно с пониманием истории, выработанным философской мыслью Просвещения, в первую очередь французского и английского, Гердер строит свою собственную концепцию, во многом критическую по отношению к своим предшественникам и во всяком случае качественно новую.

Эта принципиальная качественная новизна исторических взглядов Гердера, которая заставляет считать его бесспорным предшественником великих мыслителей следующего поколения – Гегеля и В. Гумбольдта, в свое время послужила основой для решительного противопоставления его позиций философии Просвещения. На протяжении многих десятилетий Гердера толковали именно в духе полного разрыва с этой философией, в частности и в понимании исторического процесса.

Действительно, в историческом мышлении Гердера со всей очевидностью выступает преодоление существенных сторон просветительской философии истории, преодоление ее ограниченности и механистичности, прежде всего прямолинейного истолкования идеи прогресса. Но при всем том Гердер сохраняет ряд важных моментов, характерных именно для просветительского подхода к истории. <...>

<...>

Принципиальная разница между Гердером и просветителями старшего поколения заключается прежде всего в том, что они толкуют исторический процесс в целом и идею прогресса в частности механистически, как прямолинейное восхождение от низших ступеней к высшим. Современность, превосходя более ранние ступени, тем самым отменяет их. Так, во всяком случае, ставится вопрос применительно к новому времени, т. е. к послеантичному периоду истории. Впрочем, абсолютная значимость и античной культуры была поставлена под сомнение уже спором «древних» и «новых», стоящим в преддверии Просвещения<sup>1</sup>.

Насколько неприемлемой для Гердера была такая позиция, явствует из следующего отрывка («Еще один опыт философии истории»): «Обычно философ именно тогда более всего животное, когда он вполне уверовал, что он – бог. То же самое происходит, когда он наивернейшим способом вычисляет, как усовершенствовать мир. Нужно только, чтобы все шло по ниточке и каждый следующий человек и каждое следующее поколение совершенствовались бы в соответствии с его идеалом, в наилучшей прогрессии, для которой он один установил бы показатели счастья и добродетели! Тогда в конце ряда окажется он сам – последнее, высшее звено, на котором все кончается»<sup>2</sup>.

В противовес этому механистическому пониманию прогресса Гердер выдвигает не ретроспективный идеал Руссо, а идею органического развития человеческого общества. «Романической», т. е. условной, идеализированной, схеме противопоставляется последовательно развернутый динамический ряд конкретных эпох (или «миров»<sup>3</sup>) человеческой истории, своеобразных и внутренне связанных, хотя не всегда эта зависимость выступает на поверхности и оказывается доступной для нашего восприятия и оценки.

Единство исторического процесса Гердер мыслит в формах, аналогичных процессам, протекающим в природе. Но это не формальная аналогия, а скорее наивно-каузальное осмысление двух взаимосвязанных сфер действительности. В «Дневнике»<sup>4</sup> отчетливо видно, как живое наблюдение над незнакомым морским пейзажем, жизнью моря и его обитателей служит толчком для неожиданных и смелых гипотез о миграциях народов:

«Какой величественный вид открывается на человеческую природу, и обитателей морских глубин, и различные климаты, как он помогает уяснить себе одно из другого, раскрыть взаимосвязь событий мировой истории! Юг ли, Север ли, Восток или Запад были лоном человечества? Где зародился род людской с его изобретениями, искусствами, религиями? Действительно ли он устремился с Востока на Север и, укрывшись среди холодных скал, подобно морским чудовищам, живущим под льдами, стал с исполинской силой размножаться там, создал себе, в соответствии с климатом, жестокую и суровую религию и обрушился со своим мечом, своими законами и обычаями на Европу?»<sup>5</sup>.

В последующих работах Гердера мы видим, как общепросветительская идея обусловленности национальной культуры, национального характера, государственного устройства и исторической судьбы климатом, географической средой трансформируется и приобретает диалектические черты. Идея единства процессов, протекающих в природе и в обществе, особенно последовательно будет развернута Гердером в «Идеях о философии истории человечества», однако мы находим ее как принцип, как угол зрения и в самых ранних его работах, где она нередко облекается в метафору «возраста», «цветения, созревания и увядания».

Уже в первой большой книге Гердера «Фрагменты о новейшей немецкой литературе» (1767) содержится «рапсодия» «О возрастах языка», соответствующих, по мысли автора, «возрастам» в развитии общества: младенчество на древнем (библейском) Востоке, юность – в древней Греции, зрелость – в древнем Риме. В сочинении «Еще один опыт философии истории...», сравнивая древние скотоводческие народы Востока с земледельческими и с ремесленными (горожанами), Гердер подчеркивает их взаимное неприятие и вражду и приходит к выводу: «Это не что иное, как отвращение мальчика к младенцу в пеленках, ненависть юноши к карцеру школьника, но в целом все трое связаны друг с другом и следуют один за другим. Египтянин не стал бы египтянином, не пройди он детского обучения у древнего Востока, грек не стал бы греком без школьного усердия египтянина. Именно их взаимная неприязнь обнаруживает развитие, движение вперед, ступени лестницы!»<sup>6</sup>.

Здесь делается явной новизна диалектического подхода Гердера к проблеме исторического развития и прогресса. Не прямолинейно поступательное движение, не механическое накопление знаний, навыков, культурных ценностей, а борьба противоречивых явлений и принципов, отталкивание от предшествующей ступени при одновременном ее интегрировании являются, по Гердеру, стимулом и движущей силой исторического прогресса.

Метафору возрастов Гердер распространяет в дальнейшем на все сферы жизни народа – на государственный строй, религию, искусство, язык и, конечно, на литературу. В пределах каждого «возраста» (т. е. каждой исторической эпохи и цивилизации) прогрессивное развитие также не мыслится механически линейным и однонаправленным восхождением: наивысший подъем и расцвет данной цивилизации, неповторимые в их своеобразии, но неизбежно проходящие, обычно сменяются спадом. «Каждый народ, каждое искусство и каждая наука – и все вообще на свете – имеет свой период роста, расцвета и упадка, каждое из этих изменений длилось лишь тот минимум времени, который был отпущен ему колесом судьбы; наконец, на свете не бывает двух одинаковых мгновений, и, следовательно, египтяне, римляне и греки не оставались одинаковыми во все времена – я содрогаюсь при мысли, какие мудрые возражения выскажут на это мудрые люди, в особенности знатоки истории!»<sup>7</sup>.

Тем самым Гердер совершенно по-новому подходит к проблеме «вечных» культурных и эстетических ценностей и «образцов», представлявшей краеугольный камень классицистической эстетики. Вечное и непреходящее значение той или иной культурной эпохи (прежде всего, конечно, античности) определяется не ее универсальностью, а индивидуальным своеобразием, выросшим из неповторимых условий своего времени. Сохраняя ценность для последующих эпох, эта культура не может, однако, служить парадигмой, эталоном, образцом для подражания, ибо такое подражание неизбежно выльется в эпигонство. Проблема эпигонства, столь актуальная для развития немецкого национального культурного самосознания в XVIII в., теоретически осмысливается Гердером в связи с принципиально важным для него понятием «духа времени» (*Zeitgeist*)<sup>8</sup>. «Дух времени», концентрирующий в себе все исторически неповторимое своеобразие данной эпохи, исключает всякое уподобление со стороны иной эпохи, иной культуры, превращает его в ученическое подражание. Но и внутри определенного культурно-исторического единства в силу его динамического развития возникает предпосылка эпигонства, когда в период неминуемого спада отживающая свой век культура силится воспроизвести классические образцы периода наивысшего расцвета<sup>9</sup>. Первый случай многократно иллюстрируется на примере европейского неоклассицизма (в особенности французского), второй – на примере эллинистической эпохи.

Отталкивание от схематического принципа в осмыслении истории заставляет Гердера применять его излюбленную метафору «возрастов» избирательно. Он отнюдь не настаивает на универсальности намеченных им последовательных стадий, ибо меньше всего ему присущ какой-либо методический схематизм. Аллегория возрастов как последовательно сменяющихся друг друга мировых культур он ограничивает древним миром. Новое время знает свои закономерности в смене культур, и приурочение той или иной к соответствующей метафоре возраста становится эпизодическим и выборочным. Господствующая идея исторической концепции Гердера – идея индивидуальной специфики, неповторимого своеобразия каждого народа и его исторической судьбы, каждой эпохи в сложном взаимодействии различных определяющих ее факторов исключает моделирование их по определенному заданному образцу. «Мы объемлем следующие друг за другом народы и эпохи в их вечной смене, как волны моря, – кого мы нарисовали, кого настигло живописующее слово? И в конце концов мы объемлем их не чем иным, как общим словом, под которым каждый, быть может, понимает и чувствует, что ему угодно»<sup>10</sup>.

Позднее, возвращаясь к метафоре возрастов в «Идеях о философии истории», Гердер скажет, что на земле существуют одновременно все возрасты человеческого общества. Народы «младенческие», втянутые в общий ход исторического развития, принесут новую цивилизацию, как это уже случилось однажды в эпоху крушения античного мира. В «Дневнике» 25-летний Гердер задает себе вопрос: «И кто знает, не появится ли третий поток из Америки, а под конец еще один от мыса Доброй Надежды и из стран, расположенных за ним. Как величественна эта история и как она необходима для изучения литературы в ее истоках, в ее развитии, в ее революциях вплоть до сегодняшнего дня!»<sup>11</sup>.

Таким образом, историческая концепция Гердера в отличие от точки зрения его предшественников представляется нам не замкнутой, а открытой системой, повернутой в будущее, отнюдь не запрограммированное по модели идеализированного настоящего, как у просветителей, или идеализированного абстрактного прошлого, как у Руссо. Это будущее таит в себе бесконечные индивидуальные возможности качественно нового развития, точно так же, как каждая эпоха прошлого несла в себе неповторимо новые, своеобразные черты.

Тем самым мы подходим к существенному и принципиальному различию между философией истории Гердера и его старших современников в трактовке времени как исторической категории. У просветителей три основных эпохи мировой истории (нормативно понятая антич-

ность, превращенная в парадигму для всех времен и народов; отвергаемое, сбрасываемое со счета средневековье и, наконец, просвещенная современность) не создавали в совокупности движения времени, системы времен, это были рядоположные, статичные, замкнутые в себе исторические картины (или «миры»), а однозначно оценочный подход, положительный или отрицательный, снимал и перечеркивал здесь живую динамику исторического процесса.

Впервые эта динамика появляется у Гердера, который делает попытку ее диалектического объяснения. Движение времени, по Гердеру, – это прежде всего качественное изменение. Настоящее не отменяет прошлого, а интегрирует какие-то существенные его стороны, вместе с тем неизбежно утрачивая другие. Также соотносится с настоящим будущее. «Никто не пребывает только в своем времени, он строит на прошлом; оно становится основой будущего, не может быть ничем иным»<sup>12</sup>.

Система времен образует в учении Гердера каузально связанную цепь, но причинно-следственные связи трактуются им не в духе элементарного детерминизма раннего Просвещения (от которого, впрочем, отказался уже Вольтер), а более сложно и уж во всяком случае не телеологически, как у Лейбница. Каждая эпоха образует особое, качественно отличное, единство, смена эпох образует поток времени (одна из любимых метафор Гердера), сцепление эпох означает принцип непрерывности исторического процесса, и катастрофы вроде крушения античного мира не создают цезуры, не означают разрыва или нарушения этого процесса. Примечательно, что в своих ранних выписках из Лейбница Гердер делает пометку: «Настоящее полно будущим и полно прошлым», тем самым существенно развивая и дополняя мысль Лейбница, высказанную в одном из его писем: «Настоящее всегда чревато будущим».

Включенность человека во временной поток составляет его особенность как существа мыслящего и социального в отличие от животного, целиком прикрепленного своими чувственными инстинктами к настоящему. Эту мысль Гердер развивает в трактате «О происхождении языка» (*Vom Ursprung der Sprache*, 1772). В те же годы, в наброске к сочинению «Пластика» (оконч. редакция – 1778 г.), Гердер подчеркивает связь чувственного восприятия (осознания) с настоящим: «Мир осязающего – это только мир непосредственного настоящего». Таким образом, наряду с линейно обозначенной системой трех временных плоскостей – прошедшего, настоящего, будущего, скрепленных каузальной связью, вырисовывается и противоположение – настоящее и не-настоящее (т. е. прошедшее и будущее) как отражение двойственной природы человека – чувственной и рефлектирующей. Восприятие настоящего, ограниченное непосредственным наблюдением («чувственным» в широком смысле слова, т. е. эмпирическим), если оно не опирается на осознание прошлого и предвидение будущего, неизбежно остается обедненным и прагматичным. Восприятие прошлого по модели настоящего, иными словами, модернизация истории, по мысли Гердера, один из главных пороков современной исторической науки.

Свою собственную эпоху Гердер считает итогом (*Werk*) шести тысячелетий, но отнюдь не усовершенствованием (*Vervollkommnung*) в «ограниченном, школьном смысле слова». Поэтому для него неприемлемы и те оценки и толкования, которые навязываются отдаленным эпохам с точки зрения современности. «В известном смысле всякое человеческое совершенство национально, обусловлено своей эпохой и, если присмотреться ближе, индивидуально... Нация может обладать, с одной стороны, самыми высокими добродетелями, а с другой – недостатками, допускать исключения, обнаруживать противоречия и неясности, которые способны привести в изумление – но лишь того, кто вынес идеальный силуэт добродетели из учебников своего века и достаточно понаторел в философии, чтобы стремиться найти вселенную на ничтожном клочке земли»<sup>13</sup>.

Эта скептическая оценка нормативного подхода к истории, характерного для просветительской концепции прогресса, касается, разумеется, и эстетической критики художественной культуры прошлого. «Лучший историк античного искусства Винкельман, – пишет Гердер, –

явно судил о произведениях египетского искусства по греческой мерке и, следовательно, охарактеризовал их очень верно с отрицательной стороны, но так мало сумел показать их собственную природу и характер, что почти в каждом положении этой главы явственно выступает одностороннее и неприязненное отношение к ним. И так же точно Уэбб, когда он противопоставляет их литературу греческой, так и многие другие, писавшие о египетских нравах и форме правления с европейской точки зрения»<sup>14</sup>.

<...>

Какие же выводы следуют из общей исторической концепции Гердера для литературы? Не будем касаться здесь общеизвестных и само собой разумеющихся вопросов о национальном и историческом своеобразии художественной культуры, о значении народного творчества, об оценке средневековой литературы и искусства. Остановимся на том значении, которое получает динамическое понимание истории и «системы времен» для наиболее связанного с категорией времени жанра – для драмы.

Если история в эстетической системе Просвещения использовалась как система моральных, общественных или философских идей (Лессинг прямо говорит об этом в «Гамбургской драматургии», а Вольтер осуществляет это представление в своей драматургической практике – такими «парадигматическими» пьесами можно считать, например, «Магомета» Вольтера или его позднюю пьесу «Гебры»), то гердеровская концепция выдвигает причинно обусловленную связь исторических эпох и исторических проблем. Отсюда в трагедии просветительского классицизма принципиальная и обнаженная модернизация истории, приспособление исторического материала к задачам современности и отбор его по принципу аналогии, большей частью внешней. Сюда относятся и историко-культурные анахронизмы, и психологические, и, главное, переосмысление политической проблематики прошлого в духе злободневности.

Драматургия нового стиля, типологически ориентирующаяся на Шекспира, по-иному решает отношение истории и современности, прошлого и настоящего. Из истории отбирается не похожее, а внутренне связанное с настоящим. Поэтому и совмещение разных временных планов – исторического прошлого и современной проблематики – носит совершенно иной структурный характер: это не соотношение оболочки и содержимого, а попытка совместить, синхронизировать исторически, качественно разные, но причинно связанные пласты истории, воплощенные в философской и общественной проблематике, в психологическом раскрытии характеров и в языке.

В трагедии просветительского классицизма условное прошлое – форма для конкретного настоящего. В шекспиризированной драме «Бури и натиска» исторически конкретное прошлое, отобранное под углом зрения современности, это попытка понять настоящее в его причинной обусловленности именно этим, а не каким-либо другим прошлым.

Наиболее отчетливо эта тенденция проступает в исторической драме Гете «Гец фон Берлихинген», написанной под влиянием идей, почерпнутых в дружеском общении с Гердером.

(Жирмунская Н. А. Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историзм Просвещения // Жирмунская Н. А. От барокко к романтизму: статьи о французской и немецкой литературах. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2001. С. 255, 258–265)

### Примечания<sup>8</sup>

<sup>1</sup> См.: Сигал Н. А. Спор «древних» и «новых»: (У истоков французского Просвещения) // Романо-германская филология: сб. статей в честь акад. В. Ф. Шишмарева. Л., 1957. С. 248–262.

<sup>2</sup> Herders Werke: in 5 Bdn. Weimar, 1957. Bd 2. S. 351.

<sup>8</sup> Ошибки в расстановке примечаний исправлены по первой публикации статьи: XVIII век. Сб. 13: Проблемы историзма в русской литературе: конец XVIII – начало XIX в. Л.: Наука, 1981. С. 91–101. (Примеч. сост.)

<sup>3</sup> Гердер нередко употребляет эти два слова (Zeit, Welt) как синонимы.

<sup>4</sup> Речь идет о «Дневнике моего путешествия в 1769 г.» («Journal meiner Reise im Jahr», 1769), работу над которым Гердер вел в бытность студентом Кенигсбергского университета и позднее, во время своего пребывания в Риге. (*Примеч. сост.*)

<sup>5</sup> Гердер И. Г. Избр. соч. М.; Л., 1959. С. 318.

<sup>6</sup> Herders Werke. Bd 2. S. 291.

<sup>7</sup> Ibid. S. 304. О корнях этой метафоры см.: *Meinecke Fr.* Die Entstehung des Historismus. München; Berlin, 1936. Bd II. S. 423.

<sup>8</sup> Слово создано Гердером, что зафиксировано немецкими словарями (Deutsches Wörterbuch von J. Grimm und W. Grimm). Подробнее об этом см.: *Jons D. W.* Begriff und Problem der historischen Zeit bei J. G. Herder. Goteborg, 1956. S. 55.

<sup>9</sup> Herders Werke. Bd 2. S. 71 f.

<sup>10</sup> Ibid. S. 302.

<sup>11</sup> Ibid. Bd 1. S. 116. (Цитата дана в переводе, опубликованном в кн.: Гердер И. Г. Избр. соч. С. 319. – *Примеч. ред.*)

<sup>12</sup> Ibid. Bd 2. S. 311.

<sup>13</sup> Ibid. S. 305–306.

<sup>14</sup> Ibid. S. 293.

### **Вопросы и задания**

1. В чем состоит основополагающее различие между историческими концепциями Гердера и просветителей старшего поколения?
2. Как Гердер представлял себе единство исторического процесса?
3. В чем заключается сущность принципиально важного для Гердера понятия «духа времени» (Zeitgeist)?
4. Какие отличительные черты собственной эпохи Гердер считал ключевыми?
5. Как отразилось свойственное Гердеру понимание истории на развитии драматургии?

## Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер (1759–1805)

### Предтекстовое задание

Прочтите главу из книги А. Г. Аствацатурова.

### *А. Г. Аствацатуров*

### **История и культура через призму критики**

Эстетика и философия культуры Ф. Шиллера были непосредственным продолжением его занятий историей. Как философ истории Шиллер сформировался под воздействием идей Монтескье, Руссо, Гердера и Канта. Однако это влияние не может скрыть от нас целого ряда оригинальных черт, которые отличают шиллеровскую концепцию истории.

Если рассмотреть деятельность Ф. Шиллера как историка на более широком фоне движения европейской исторической мысли, то окажется, что он примыкает к той традиции гуманизма, которая впервые возникает в период крушения ренессансного мировоззрения и на протяжении двух последующих веков трансформируется в особую форму видения мира, отличающуюся крайне острой восприимчивостью к противоречиям действительности, когда культура описывается как кризис; в то же время такое видение истории включает в себе тенденцию к преодолению этого кризиса, и тогда на передний план выдвигается идея единства человека и его культуры, осознание необходимости этого единства как источника для дальнейших действий. <...>

Динамизм развития производительных сил, усиливающийся по мере становления буржуазного общественного порядка, антагонизм разных социальных групп, находящий выражение в удивительном конгломерате воззрений и идей, созидательная деятельность человечества, создающая все новые и новые формы культуры, несущие на себе следы исторических конфликтов, отражаются в сознании историка как наполненность времени неустойчивым, текучим содержанием. Этот динамизм истории таил в себе серьезную опасность разрушения идеала целостного человека. <...>

На закате Возрождения это было вызвано прежде всего выпадением из концепции исторического обновления политики и нравственности и привело к тому, «что оптимистический энтузиазм ограничился научно-технической сферой»<sup>1</sup>. Философская мысль начинает четко дифференцировать то, что дает полноту времени, это для XVII века будет главным образом сфера человеческой активности, направленная на природу вне человека, и то, что составляет его внутреннюю природу, политику и мораль.

Главные исторические произведения Ф. Шиллера – «История отпадания Нидерландов от испанской короны» и «Тридцатилетняя война» – посвящены политической истории. Анализ исторических событий приводит Шиллера к мысли, что непростительной ошибкой и упрощением является постулат об изначальной разумности человека. Разум формируется в процессе исторической жизни, и человеческий дух обнаруживает свою силу, мощь и хитрость еще до того, когда мы можем говорить о разумности поведения человека, поэтому естественное право и политика могут быть выведены только из исторического бытия человеческого рода, ибо они создаются историей и всегда обусловлены ею.

Свобода человека теснейшим образом связана с культурой, но в то же время свобода исторически конкретного, а не абстрактного человека не всегда проявляется как разумная свобода, и тогда ее неразумность неизбежно становится угрозой культуре. «Свободу и культуру, как ни тесно они связаны друг с другом в наивысшей полноте – только благодаря такой связи и достигая этой наивысшей полноты, – все же трудно связать в становлении. Покой – предпо-



сылка культуры, но ничто так не опасно для свободы, как покой» (5, 486)<sup>2</sup>. Все развитые цивилизации древности сохраняли свои культурные завоевания за счет отхода от свободы, «получив покой от угнетения». Но именно это и стало причиной гибели всех прошлых культур, ибо они возникали из источника, который по своей сути не может быть импульсом активного развития культуры и в конечном итоге, подавляя свободу, уничтожает динамику культуры. Путь деспотизма как условие сохранения культуры невозможен для человека Нового времени. Свобода и культура в человеке должны гармонически сочетаться, что возможно только на пути, отличном от деспотизма, на пути установления законов, которые свободный человек должен давать себе сам. Однако историческое состояние человечества делает проблему подчинения людей закону, основанному на свободе, крайне сложной. Вышколенный деспотизмом человек не несет в себе задатков такой свободы, он лишен способности понять ее принципы. Без них же свобода грозит перейти в анархию, которая неизбежно оказывается деспотизмом. И прежде чем разум найдет законы, анархия превратится в деспотизм и насилие. События Великой французской революции еще больше утвердили Шиллера в этом мнении. Отношение Шиллера к революции, которое выразилось в решительном неприятии и осуждении якобинского террора, было очень сложным, поскольку революция представлялась ему необходимым следствием в цепи всех предыдущих явлений исторического процесса, показывающим, что человечество еще очень далеко от того состояния, которое позволит ему установить принципы разумной свободы<sup>3</sup>. Кровавые события во Франции, необъяснимая с точки зрения здравого смысла и человечности жестокость террора стали для Шиллера страшным несоответствием деятельности якобинцев и принципов социальной справедливости и морали, провозглашенных ими, «вреднейшим злоупотреблением идеалом совершенства» (6, 294).

Большое место в «Письмах об эстетическом воспитании человека», главном философском труде Шиллера, который станет предметом нашего анализа, занимает описание состояния европейской культуры конца XVIII века, причем характеристика революционной эпохи давалась Шиллером как бы по свежим следам.

Шиллер воспринял революцию как глубокий кризис современной ему культуры. «...» Культура, согласно Шиллеру, разорвана непримиримыми противоречиями, поляризована взаимоисключающими тенденциями. Это, с одной стороны, вера в рассудок, с другой – полное господство чувственности и власти потребностей над умами людей. Идеи разума остаются абстрактными идеалами, ибо не находят никакого реального содержания. Главная причина болезни времени, однако, – не в области интеллекта, а в человеческой воле, она состоит в недостатке мужества, истины, в неспособности воспринять и претворить в жизнь результаты теоретической культуры, идей разума<sup>4</sup>.

Драму современной ему эпохи Шиллер видит как в одичании, в которое впадают низшие классы общества, выражающемся в проявлении грубых и незаконных инстинктов, освобожденных ослаблением «основ гражданского порядка, бросающих человека в „царство стихийных сил“», так и в расслаблении, охватившем цивилизованные классы, что, по его мнению, является еще более отвратительным зрелищем «расслабления и порчи характера», ибо «источником их становится сама культура». «Просвещение рассудка, которым не без основания хвалятся высшие сословия, в общем мало облагораживает помыслы, что скорее оправдывает развращенность своими учениями». «Мы отрекаемся от природы в ее законном поле действия, дабы испытать ее тиранию в нравственном, и, противодействуя ее влиянию, мы заимствуем в то же время у нее наши принципы». «Эгоизм построил свою систему в лоне самой утонченной общительности, и, не приобретя общительного сердца, мы испытываем все болезни и невзгоды общества» (6, 262).

Было бы явным упрощением считать, что всю вину за кризис культуры Шиллер возлагает на агрессивные, разбуженные активностью инстинктов силы обездоленных масс, анархия

которых противостоит нормам культуры цивилизованных классов общества. Предпосылкой анархии витальных сил, уничтожающих культуру, является не только социальная психология людей, лишенных доступа к культуре, не понимающих смысла и значимости для человечества культурных ценностей, но и сам тип носителя культуры, представителя тех социальных групп, на которые возложена задача сохранения и распространения цивилизации. Эгоизм высших классов, их равнодушие к судьбе культуры, что для Шиллера идентично равнодушию к человеку вообще, создает такие формы социальной коммуникации, в которых проявляется противоестественное отчуждение субъектов друг от друга. «Если культура вырождается, – пишет Шиллер, – то она переходит в более злую порчу, чем когда-либо знало варварство» (3, 370).

<...>

В стихотворении Ф. Шиллера «Прогулка» мы находим похожее изображение человеческой истории: юность культуры, достижение ею своего максимума и, наконец, упадок, торжество раздора и возрожденное варварство. <...> История Нового времени не пройдет круговорот, природа не в состоянии восстановить в своих правах то, что уничтожил разум в его извращенном применении. Следовательно, пред разумом встает задача руководить движением исторической жизни<sup>5</sup>.

Идя от истории рода к субъекту, Шиллер делает вывод, что находящаяся в кризисном состоянии культура деформирует человека; она формирует его как страдающее существо, которое сжимают все новые и новые детерминации. Она заглушает в нем стремление к совершенствованию, ставя его посередине между суеверием и моральным неверием (6, 263).

Критика культуры становится у Ф. Шиллера особенно резкой тогда, когда он говорит о воздействии культуры на отдельного индивида. Современная культура – это культура разобщенных сил. Она – продукт деятельности человеческого рода, в которой произошло разделение труда, охватившее целые социальные группы. В людях развивается только «часть их способностей, а другие способности, словно в захиревших растениях, можно найти лишь в виде слабого намека» (6, 264). Движение культуры невозможно без разделения труда, ибо оно есть следствие расширения опыта человека и усложнения его теоретической и практической деятельности, и без него немыслим никакой прогресс. Однако прогрессивное развитие культуры было куплено дорогой ценой, так как из-за разделения труда «порвался внутренний союз человеческой природы, и пагубный раздор раздвоил ее гармонические силы» (6, 265). Разделение труда обедняет личность, выделяя из ансамбля сущностных сил человека отдельный голос, заставляя в то же время замолчать другие голоса; этот голос оно совершенствует и включает его в полифонию огромного мира таких же отдельных сил, создающих целостность культуры. Сама по себе целостность культуры человеческого рода гораздо богаче, чем все возможности индивида. «Не было другого средства к развитию разнообразнейших способностей человека, кроме их противопоставления» (6, 268). Но выгоду от разделения труда получает только род, индивид же не может реализовать всех своих возможностей. Внутри общества возникает антагонизм сил, культура движима его динамикой, он становится «великим орудием» культуры. Состояние органической связи индивида и рода, изоморфное тотальности человеческого характера, гармонии между потребностями, моралью и практической деятельностью субъекта, имевшее место в античном мире, превратилось в культуре Нового времени в механическое соединение, конгломеративное единство, составленное из одномерных людей, духовное развитие которых шло под знаком все большего разрушения целостности личности, однобокого совершенствования в каждом конкретном случае какой-то одной из способностей человека, изолированной от остальных его сущностных сил, обреченных вследствие этого на неизбежную гибель. Подчиненный разделению и специализации труда человек становится функцией, зависимым объектом профессиональных навыков выполняемого им труда, целиком определяющего его бытие.

Аффирмативный характер буржуазной культуры проявляется, согласно Шиллеру, не только в том, что она себя не может понимать иначе как культуру разделенного, специализи-

рованного труда и утверждает его как единственно возможную форму существования человеческого рода, но главным образом в том, что институциональная организация общества, гарантирующая функционирование такой культуры, то есть государство, санкционирует и контролирует разделение труда, отождествляет его с интенциями и сущностью самой культуры, ибо даже «скудное, отрывочное участие отдельных частей» человеческой личности «в целом (культуры. – А.А.) не зависит от форм, которые они создают сами, <...> а предписывается им с мелочной строгостью формуляром, связывающим их свободное разумение» (6, 266). Своим формальным отношением к личности государство только усиливает процесс отчуждения. Оно рассматривает человека только как элемент, выполняющий предписанную ему ролевую функцию в системе, основанной на механической связи индивидов. Выход за пределы роли для него есть нарушение раз и навсегда определенных регламентаций. Государство зорко следит за тем, чтобы духовные возможности субъекта точно соответствовали его должности, месту, занимаемому субъектом в обществе.

Если по Канту напряженное состояние между человеком и культурой окончательно снять невозможно, и лишь культура воспитания как-то его сглаживает, а гражданское общество гарантирует человечеству относительно спокойный процесс реализации его возможностей, то Шиллер ищет иное решение проблемы. Культура должна обращаться к человеку не как к существу, от которого требуется развитие одной из его способностей, а как к целостности. Государство, считает Шиллер, никогда не сможет восстановить целостность человеческой природы, ибо из-за своей надындивидуальной сущности оно защищает интересы рода, с полным безразличием относясь к индивиду; государство само способствовало разделению труда, ибо оно изоморфно природе одномерного человека и, следовательно, уже, чем подлинная человеческая природа. Шиллер думает, что в современных ему условиях попытка создания государства разума не приведет к успеху, ибо за это дело берется несовершенный человек; в образе государства он творит лишь свое подобие. Превращенный в винтик огромной, организованной государством машины, ставший одной из ее функций человек не может оказать никакого влияния на государство. Он спокойно мирится с его законами, с уничтожением его конкретной жизни для того, чтобы «абстракция целого могла продолжать свое скудное существование»<sup>6</sup>. Поэтому государство «остаётся вечно чуждым своим гражданам» (6, 267). Неудивительно, что человек отворачивается от государства, пытается замкнуться в сфере внутренней жизни, куда нет доступа государству, стремясь сохранить для себя то, чему государство угрожает, а именно – индивидуальность и целостность.

Современной, разорванной антагонизмом культуре противопоставляется у Шиллера культура античная. Именно в ней он находит целостного человека.

Античность – это время пробуждения духовных сил человечества, время гармонии всех способностей души, когда разум и чувственность не находились в состоянии борьбы. Греческое искусство, как зеркало души и культуры, запечатлело в прекрасных статуях богов единство божественного и человеческого, ибо Бог здесь был образом человека. В индивидуе концентрировалась вся целостность человеческого рода в противоположность Новому времени, где мы можем получить представление о культуре лишь на основании всей суммы индивидов. Шиллер ищет основание тому, почему античного человека мы можем считать воплощением всей полноты духа времени и почему человек конца XVIII столетия никак не может притязать на эту роль: «потому что тем придавала формы всеобъединяющая природа, а этим – всеразъединяющий рассудок» (6, 265).

Однако ход истории вырвал человечество из прекрасной Аркадии, так как объединяющая разум и чувственность природа не могла удержать духовные силы человека в поставленных ею для них границах. Греческий мир был для Шиллера прежде всего важнейшим моментом на пути развития духа к полноте, и античность важна в первую очередь потому, что для всех последующих эпох она предложила модель целостности природы и культуры, и обязыва-

ющим моментом здесь является, как указывал Вальтер Рэм, «не содержание, не тип тотальности, а только факт ее возможности»<sup>7</sup>. Нетрудно заметить, что в этих рассуждениях Шиллера речь меньше всего идет об антикизирующей, мифо-риторической традиции новоевропейского искусства, хотя последняя как язык поэзии в трансформированном виде еще оставалась в качестве определенных константных формул. Шиллеровская картина античной жизни, гармоничной юности человечества, меньше всего пригодна для стилизации жизни по античным образцам, мы видим здесь поиск живого образа, той модели человека, которая неизбежно антигетически возникает, когда описывается кризисное состояние культуры. Антигетой разорванности духовных сил человека, одномерности его бытия может быть только идея гармонии, и ей подыскивается эмпирический коррелят, имеющий основу, в которой можно искать гармонию, и, естественно, таковой становится природа, потому что только она в своих вечных циклах, в своем величии противостоит разрушительной динамике культуры, противостоит в образах олимпийских богов, в гармонии античной пластики. Мир художественного музея одухотворяется и предстает в сознании мыслителя как модель для самосознания культуры Нового времени, с помощью которой культура как бы анализирует самое себя, вступая в диалог с иной культурой, а фактически сама с собой. И хотя античность у Шиллера строго отнесена уже к прошлому, стала безвозвратно ушедшим царством красоты, мы можем себя соотнести с ней и тем самым обрести новые ориентиры для исторического движения, и возможно это потому, что, куда бы ни заводил человека дух изменения, природа перед его глазами в своих вечных циклах остается неизменной, Шиллер сказал бы «пребывающей», неизменной объективной данностью, а она и есть основа античного мира. И тогда и нам тоже «улыбается солнце Гомера». Как правильно указывает А. В. Михайлов, «в течение 90-х годов как бы в скоростном порядке развивается начатая Шиллером, развитая романтиками разветвленная и противоречивая сеть типологических противопоставлений, движущаяся именно к тому, чтобы определить место настоящего культурного момента в историческом процессе, – это процесс самоопределения культуры на новых своих началах, вне подчиненности преподанному на все времена правилу и совершенству»<sup>8</sup>.

Но такое самоопределение – необходимо добавить применительно к Шиллеру – невозможно представить себе без определения цели всего культурного развития; цель же зависит прежде всего от самого субъекта. Поэтому пока «не будет уничтожено разделение внутри человека и развитие его природы не сделается достаточным для того, чтобы самой природе стать художником и тем гарантировать реальность политическому устройству разума», любая попытка изменить социальное устройство не принесет никакого результата и еще в большей степени будет способствовать анархии и насилию (6, 271). Не социальные институты хочет изменить Шиллер, а человека как субъект культуры. Таким был его ответ на негативный опыт Французской революции. Чем больше человечество в процессе своего исторического развития удаляется от принципов свободы, нравственности, чем более оно попадает под власть враждебных его природе сил, чем сильнее культура разрывается их антагонизмом, обрекая человека на частичное существование, тем пристальнее вглядывается Шиллер в искусство, тем актуальнее становится для него поиск той сферы, в которой могла бы объективироваться свобода человека, сфера красоты, нравственности и достоинства, ибо лишь найдя ее, можно думать о восстановлении разрушенного единства духовных сил человека.

Финал 10-го письма обозначил резкий поворот Шиллера от исторического рассмотрения развития культуры к анализу самого субъекта культурной деятельности. Скрытый в историческом описании под покровом фактичности трансцендентальный метод в последующих письмах самым непосредственным образом обнаруживает себя в анализе, и здесь особенно проявляется дух системности, присущей всем размышлениям Шиллера. На этом пути Шиллер неизбежно приходит к проблеме, волновавшей всю послекантовскую философию, – проблеме преодоления дуализма кантовской модели человека, что, в свою очередь, вело к новому пониманию

феноменов культуры и искусства. Надо сказать, что онтологическая и гносеологическая проблематика послекантовской философии органично связана с культурологической. Это достаточно хорошо ощущал Шиллер, когда использовал инструментарий трансцендентальной философии, конечно, следуя ее духу, а не букве, и если категориальный аппарат Шиллера имеет много общего с философскими понятиями К. И. Рейнгольда и И. Г. Фихте, то трансцендентально-антропологический подход к природе человеческой деятельности и культуре определил особое место Шиллера в истории философской мысли.

(*Аствацатуров А. Г.* История и культура через призму критики // Аствацатуров А. Г. Пoesия. Философия. Игра: Герменевтическое исследование творчества И. В. Гёте, Ф. Шиллера, В. А. Моцарта, Ф. Ницше. [Раздел] IV. [Гл.] 1. СПб.: Геликон Плюс, 2010. С. 275–282)

### Примечания

<sup>1</sup> *Баткин Л. М.* К проблеме историзма в итальянской культуре эпохи Возрождения // История философии и вопросы культуры. М., 1975. С. 189.

<sup>2</sup> Здесь и далее произведения Фридриха Шиллера цитируются по изданию: *Шиллер Ф.* Собр. соч.: в 7 т. М., 1955–1957. В скобках первая цифра – том, вторая – номер страницы.

<sup>3</sup> Вопросу об отношении Шиллера к Великой французской революции посвящена огромная литература, что делает невозможным подробный анализ многочисленных работ на эту тему. Наиболее интересный и глубокий анализ причин, вызвавших решительное неприятие Шиллером революционных, ставших террористическими, методов переустройства общества в отечественной литературе дается В. Ф. Асмусом (*Асмус В. Ф.* Иммануил Кант. М., 1973. С. 140–182. См. также: *Tahlheim K.-G.* Schiller Stellung zur Französischen Revolution und zum Revolutionsproblem // *Tahlheim K.-G.* Literatur der Goethezeit. Berlin, 1969. S. 118–145; *Wiese B. von.* Schiller. Stuttgart, 1959. S. 446–476).

<sup>4</sup> *Schiller F.* Briefe: in 6 Bdn. Bd 3. Stuttgart, 1906. S. 370.

<sup>5</sup> В прекрасной работе Ф. Мейнеке, касающейся этой проблематики, акцент делается на полное сближение взглядов Вико и Шиллера на историю и это различие игнорируется, см.: *Meinecke F.* Schillers «Spaziergang» // *Deutsche Lyrik von Weckherlinbis Benn / Interpretation en hrsq.* von J. Schillemeit. Frankfurt am Main; Hamburg, 1965. S. 106–107.

<sup>6</sup> Эта критика государства перекликается с мыслями В. Гумбольдта, высказанными им в работе «Идеи к опыту, определяющему границы деятельности государства», которая была частично опубликована в 1792 году в шиллеровском журнале «Талия», особенно в тех местах, где Гумбольдт говорит о превращении государства и его бюрократического аппарата в бездушную машину и «в результате этого деятельность людей становится почти механической, а люди превращаются в машины; подлинное умение и добропорядочность исчезают вместе с исчезновением доверия» (*Гумбольдт В. фон.* Язык и философия культуры. М., 1985. С. 46).

<sup>7</sup> *Rehm W.* Griechentum und Goethezeit: Geschichte eines Glaubens. Leipzig, 1938. S. 219.

<sup>8</sup> *Михайлов А. В.* Идеал античности и изменчивость культуры: Рубеж XVIII–XIX вв. // Быт и история в античности. М., 1988. С. 221–222. См. также: *Михайлов А. В.* Античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX вв. // Античность как тип культуры. М., 1988. С. 316–321.

### Вопросы и задания

1. Как возникли представления о единстве человека и его культуры?
2. К каким основополагающим выводам пришел Шиллер в процессе работы над главными историческими произведениями?

3. Что, согласно Шиллеру, обуславливает противоречивость культуры и драму современной эпохи?
4. Почему Шиллеру было необходимо противопоставить современной культуре – античную? Каковы были его представления о греческом мире?
5. В чем состоит особенная роль, которую наследие Шиллера играет в истории философской мысли?

## Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832)

### Предтекстовое задание

Прочитайте фрагмент книги А. А. Аникста о творчестве Гёте, посвященный анализу романа «Страдания юного Вертера».

### А. А. Аникст «Страдания юного Вертера»

<...>

### 3

Сила любви, поднимающейся на самую вершину страсти, нежная, ранимая душа, восхищение природой, тонкое чувство красоты – эти черты Вертера являются общечеловеческими, и они сделали его одним из любимейших героев мировой литературы. Но не только они.

Близок Вертер многим людям и своими страданиями, своей неудовлетворенностью. Особенно людям молодым, ибо они, подобно ему, крайне остро и тяжело переживают неудачи и мучаются, когда жизнь не оправдывает их ожиданий.

Если этим Вертер подобен многим, то в другом он герой того склада, какой был особенно близок самому Гете. Хотя Вертер во многом похож на интеллигентных молодых бюргеров 1770-х годов, вместе с тем он наделен качеством совершенно гетевским. У Вертера мирообъемлющая душа. Он глубоко ощущает свою связь со вселенной. Ему равно близки небеса с их могучими стихиями, и муравей, ползущий в траве, и даже камень, валяющийся на дороге. Таково коренящееся в самых глубинах души его мироощущение. Всеми фибрами, кончиками нервов ощущает Вертер мировую жизнь.

Он человек чувства, у него есть своя религия, и в этом он подобен самому Гете, который с юных лет воплощал свое меняющееся мироощущение в созданных его воображением мифах. Вертер верит в бога, но это совсем не тот бог, которому молятся в церквах. Его бог – это незримая, но постоянно ощущаемая им душа мира. Ворование Вертера близко к гетевскому пантеизму, но не полностью сливается с ним и не может слиться, ибо Гете не только чувствовал мир, но и стремился познать его. Вертер – это наиболее полное воплощение того времени, которое получило название эпохи чувствительности.

Средствами своего искусства Гете сделал так, что история любви и мук Вертера сливается с жизнью всей природы. Хотя по датам писем Вертера видно, что от встречи с Лоттой до смерти проходит два года, Гете сжал время действия, и сделал это так: встреча с Лоттой происходит весной, самое счастливое время любви Вертера – лето; самое мучительное для него начинается осенью, последнее предсмертное письмо он написал Лотте 21 декабря. Так, подобно мифическим героям первобытных времен, в судьбе Вертера отражаются расцвет и умирание, происходящие в природе.

Пейзажи в романе постоянно намекают на то, что судьба Вертера выходит за рамки обычной истории неудачной любви. Она проникнута символичностью, и широкий вселенский фон его личной драмы придает ей поистине трагический характер.

На наших глазах развивается сложный процесс душевной жизни героя. Сколько радости, жизнелюбия, наслаждения красотой и совершенством мироздания звучит в удивительном по своему лиризму письме от 10 мая, в котором Вертер описывает, как он, лежа в высокой траве, наблюдает тысячи всевозможных былинки, червячков и мошек; в этот миг он чувствует «бли-

зость всемогущего, создавшего нас по своему подобию, веяние вселюбящего, судившего нам парить в вечном, блаженстве...»<sup>1</sup>.

Но вот Вертер начинает сознавать безнадежность своей любви к Лотте, и меняется его мироощущение. 18 августа он пишет: «Могучая и горячая любовь моя к живой природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращая для меня в рай весь окружающий мир, теперь стала моим мучением... зрелище бесконечной жизни превратилось для меня в бездну вечно отверстой могилы» (6, 43, 44).

Предвестием катастрофы полна одна из декабрьских ночей, когда из-за оттепели река вышла из берегов и затопила ту самую долину, которую Вертер так вдохновенно описал в письме 10 мая: «Страшно смотреть сверху с утеса, как бурлят при лунном свете стремительные потоки, заливая все вокруг; рощи, поля и луга и вся обширная долина – сплошное море, бушующее под рев ветра!.. Стоя над пропастью, я простирал руки, и меня влекло вниз! Вниз! Ах, какое блаженство сбросить туда вниз мои муки, мои страдания!» (6, 82).

Божество, казавшееся Вертеру раньше таким благим, дарящим одну лишь радость, преобразилось в его глазах. «Отец мой, неведомый мне! Отец, раньше заполнявший всю мою душу и ныне отворотивший от меня свой лик! Призови меня к себе!» (6, 75) – восклицает Вертер, для которого небеса стали обителью смерти.

Так Вертер становится первым провозвестником мировой скорби в Европе, задолго до того, как ею проникнется значительная часть романтической литературы.

#### 4

Причина мук и глубокой неудовлетворенности Вертера жизнью не только в несчастной любви. Пытаясь излечиться от нее, он решает попробовать силы на государственном поприще, но, как бюргеру, ему могут предоставить только скромный пост, никак не соответствующий его способностям. Формально его работа – чисто секретарская, но фактически он должен думать и составлять деловые бумаги за своего шефа. Посланник, при котором состоит Вертер, – педантичный дурак, «вечно недоволен собой, а потому и на него ничем не угодишь. У меня работа спорится, и пишу я сразу набело. А он способен возвратить мне бумагу и сказать: „Недурно, но посмотрите-ка еще раз – всегда можно найти более удачное выражение и более правильный оборот“» (6, 52). Сам он, конечно, ни на что не способен, но от подчиненного требует совершенства.

Раздраженный молодой человек уже собрался было подать в отставку, однако его отговорил и приободрил министр. Он, по словам Вертера, отдал «должное юношескому задору, проглядывающему в моих сумасбродных <...> идеях о полезной деятельности, о влиянии на других и вмешательстве в важные дела», но предложил эти идеи «смягчить и направить по тому пути, где они найдут себе верное применение и окажут плодотворное действие!» (6, 56–57). Даже умерив пыл, Вертер все же не смог ничего осуществить. Произошел инцидент, положивший конец его неудачно начавшейся службе.

Граф К., оказывавший ему покровительство, пригласил его к себе на обед. То была высокая честь для скромного чиновника и бюргера. Ему следовало после обеда удалиться, дабы не мешать аристократическому обществу, собравшемуся для времяпрепровождения, но он этого не сделал. Тогда граф оказался вынужденным сказать ему об этом, то есть, попросту говоря, выгнать Вертера, одновременно, впрочем, прося его извинить «наши дикие нравы» (6, 58). Слух о происшествии мгновенно распространился по городу, и до Вертера дошло, что о нем говорят: «Вот до чего доводит заносчивость, когда люди кичатся своим ничтожным умишком и считают, что им все дозволено» (6, 59).

Оскорбленный Вертер покидает службу и уезжает в родные места. Он вспоминает там юность, и им овладевают горестные мысли: «Тогда, в счастливом неведении, я рвался в незна-



комый мне мир, где чаял найти столько пищи для сердца, столько радостей, насытить и умиротворить мою алчущую, мятущуюся душу. Теперь, мой друг, – пишет он, – я возвратился из дальнего мира с тяжким бременем несбывшихся надежд и разрушенных намерений» (6, 61).

Скорбь Вертера вызвана не только неудачной любовью, но и тем, что как в личной жизни, так и в жизни общественной пути для него оказались закрытыми. Драма Вертера является социальной. Такова была судьба целого поколения интеллигентных молодых людей из бюргерской среды, не находивших применения своим способностям и знаниям, вынужденных владеть жалкое существование гувернеров, домашних учителей, сельских пасторов, мелких чиновников.

Во втором издании романа, текст которого теперь обычно печатают, «издатель» после письма Вертера от 14 декабря ограничивается кратким заключением: «Решение покинуть мир все сильнее укреплялось в душе Вертера в ту пору, чему способствовали разные обстоятельства» (6, 83).

В первом издании об этом было сказано ясно и четко: «Обиду, нанесенную ему во время пребывания в посольстве, он не мог забыть. Он вспоминал ее редко, но когда происходило нечто напоминавшее о ней хотя бы отдаленным образом, то можно было почувствовать, что его честь оставалась по-прежнему задетой и что это происшествие возбудило в нем отвращение ко всяким делам и политической деятельности. Тогда он полностью предавался той удивительной чувствительности и задумчивости, которую мы знаем по его письмам; им овладевало бесконечное страдание, которое убивало в нем последние остатки способности к действию. Так как в его отношениях с прекрасным и любимым существом, чей покой он нарушил, ничего не могло измениться и он бесплодно расточал силы, для применения которых не было ни цели, ни охоты, – это толкнуло его в конце концов на ужасный поступок»<sup>2</sup>.

Можно предположить, что, будучи веймарским министром, Гете счел нетактичным сохранить это место романа, но мы не станем настаивать на таком объяснении. Важно другое. Даже без столь недвусмысленного разъяснения причин трагедии Вертера она осталась трагедией социальной. Начальные письма второй части не нуждаются в комментариях, чтобы понять их острый политический смысл. Хотя Гете показал лишь отдельные черты действительности, этого было достаточно, чтобы современники почувствовали враждебность автора феодальному строю.

Вообще мы крайне сузили бы социальный смысл романа, сочтя, что общественное звучание в нем присуще только сценам участия Вертера в государственных делах. Для читателей переживания героя имели не только личный смысл. Раскованность его чувств, их сила, любовь к природе – все это выдавало в нем человека нового склада, поклонника учения Руссо, революционизировавшего все мышление современного ему мира. Читателям конца XVIII века не было необходимости называть источник идей Вертера. Первое поколение читателей романа, во всяком случае значительная часть его, знало «Новую Элоизу» (1761) Руссо, где рассказана история, во многом похожая на гетевский роман, читателям был известен и трактат женевого мыслителя «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми» (1754). Идеи этих книг витали в воздухе, и Гете не было необходимости подчеркивать связь героя и свою собственную с передовыми идеями времени.

Прекрасно написал об этом Томас Манн: «Нелегкое дело – проанализировать состояние умов, лежавшее в основе европейской цивилизации той эпохи. С исторической точки зрения это было предгрозовое состояние, предчувствие очистившей воздух французской революции; с точки же зрения культурно-исторической это была эпоха, на которую Руссо наложил печать своего мечтательно-мятежного духа. Пресыщение цивилизацией, эмансипация чувства, будоражащая умы, тяга назад, к природе, к естественному человеку, попытки разорвать путы окостеневшей культуры, возмущение условностями и узостью мещанской морали – все это вкуче породило внутренний протест против того, что ограничивало свободное развитие личности,

а фанатическая, безудержная жажда жизни вылилась в тяготение к смерти. В обиход вошла меланхолия, пресыщение однообразным ритмом жизни»<sup>3</sup>.

В эту предреволюционную эпоху личные чувства и настроения в смутной форме отражали глубокое недовольство существующим строем. Любовные страдания Вертера имели не меньшее общественное значение, чем его насмешливые и гневные описания аристократического общества. Даже жажда смерти и самоубийство звучали вызовом обществу, в котором думающему и чувствующему человеку нечем было жить. Вот почему этот, казалось бы, такой чисто немецкий роман приобрел не менее горячих поклонников во Франции, и среди них был, как известно, скромный артиллерийский офицер Наполеон Бонапарт, по его собственному признанию, семь раз прочитавший «Страдания юного Вертера».

Центральный конфликт романа воплощен в противоположности Вертера и его счастливого соперника. Их характеры и понятия о жизни совершенно различны. В первом издании жених Лотты был изображен более темными красками, в окончательном тексте Гете смягчил его портрет, и это придало бóльшую убедительность не только образу, но всему роману. В самом деле, будь Альберт воплощением душевной сухости, как могла бы Лотта полюбить его? Но и в несколько смягченной форме Альберт остался антагонистом Вертера.

Вертер не может не признать: «Альберт вполне заслуживает уважения. Его сдержанность резко отличается от моего беспокойного нрава, который я не умею скрывать. Он способен чувствовать и понимать, какое сокровище Лотта. По-видимому, он не склонен к мрачным настроениям...» (6, 36). «Бесспорно, лучше Альберта нет никого на свете» (6, 38), – восторженно отзывается о нем Вертер, проявляя свойственную ему крайность суждений. Однако у него есть для этого серьезное основание. Альберт не мешает ему встречаться с Лоттой, более того, они дружески обмениваются мнениями о ней. Он, по словам Вертера, «никогда не омрачает моего счастья сварливыми выходками, а, наоборот, окружает меня сердечной дружбой и дорожит мною больше, чем кем-нибудь на свете после Лотты!» (6, 38).

Таковыми идиллическими были отношения между Кестнером, Шарлоттой и Гете по описанию, которое есть в «Поэзии и правде» (см.: 3, 457–459). Их переписка свидетельствует о том, что Гете и Кестнер были близки друг другу по взглядам. Не то в романе. Уже в приведенных словах Вертера отмечено кардинальное различие темпераментов. Но они расходятся также и по взглядам на жизнь и – смерть!

В письме Вертера от 18 августа подробно рассказано о серьезной беседе, которая произошла между друзьями, когда Вертер, прося одолжить ему пистолеты, шутя приставил один из них к виску. Альберт предостерег, что это опасно делать, и хотел что-то добавить. «Впрочем», – сказал он, и Вертер замечает: «...я его очень люблю, пока он не примется за свои „впрочем“. Само собой понятно, что из каждого правила есть исключения. Но он до того добросовестен, что, высказав какое-нибудь, на его взгляд, опрометчивое, непроверенное общее суждение, тут же засыплет тебя оговорками, сомнениями, возражениями, пока от сути дела ничего не останется» (6, 39).

Однако в споре о самоубийстве, возникающем между ними, Альберт придерживается твердой точки зрения: самоубийство – безумие. Вертер возражает: «Для всего у вас готовы определения; то безумно, то умно, это хорошо, то плохо!.. Разве вы вникли во внутренние причины данного поступка? Можете ли вы с точностью проследить ход событий, которые привели, должны были привести к нему? Если бы вы взяли на себя этот труд, ваши суждения не были бы так опрометчивы» (6, 39).

Поразительно, насколько мастерски подготавливает Гете финал романа, ставя проблему самоубийства задолго до того, как герой приходит к мысли уйти из жизни. Вместе с тем сколько здесь скрытой иронии по отношению к критикам и читателям, которые не заметят того, что сделало неизбежным выстрел Вертера.

Альберт твердо убежден: «...некоторые поступки всегда безнравственны, из каких бы побуждений они ни были совершены» (6, 39). Его нравственные понятия догматичны, при всем том что он хороший человек.

Психический процесс, доводящий до самоубийства, с большой глубиной охарактеризован Вертером: «Человек может сносить радость, горе, боль лишь до известной степени, а когда эта степень превышена, он гибнет... Посмотри на человека с его замкнутым внутренним миром: как действуют на него впечатления, какие навязчивые мысли пускают в нем корни, пока все растущая страсть не лишит его всякого самообладания и не доведет до гибели» (6, 41). Какая ирония! Еще не зная, что с ним будет, Вертер совершенно точно предвосхищает свою судьбу!

Спор, однако, обнаруживает не только расхождение во взглядах на самоубийство. Речь идет о критериях нравственной оценки поведения человека. Альберт твердо знает, что хорошо и что плохо. Вертер отвергает такую мораль. Поведение человека определяется, по его мнению, природой. «Человеческой природе положен определенный предел, – заявляет он. – ...мы считаем смертельной болезнью, когда силы человеческой природы отчасти истощены, отчасти настолько надорваны, что поднять их и какой-нибудь благодетельной встряской восстановить нормальное течение жизни нет возможности» (6, 41). То же самое относится и к духовной сфере человека: «Тщетно будет хладнокровный, разумный приятель анализировать состояние несчастного, тщетно будет увещевать его! Так человек здоровый, стоящий у постели больного, не волеет в него ни капли своих сил» (6, 41). Такова естественная мораль, нравственность, исходящая из человеческой природы и из индивидуальности. Более того, как утверждает Вертер, «мы имеем право по совести судить лишь о том, что прочувствовали сами» (6, 41).

Какое положение занимает между двумя любящими ее мужчинами Лотта?

Она – воплощение женственности. Еще не став матерью, она уже в полной мере проявляет материнский инстинкт. В ней сильно развито чувство долга, но не формального, а опять-таки природного. Она – дочь, мать, невеста и станет хорошей женой не в силу предписаний морали, а по зову чувства.

Узнав об одном самоубийстве из ревности, Вертер поражается: «Любовь и верность – лучшие человеческие чувства – привели к насилию и убийству» (6, 79). Самого Вертера прекрасное чувство тоже довело до ужасного состояния.

Ничто подобное, однако, не может произойти с Лоттой. Ей свойственна сдержанность, умеренность, и поэтому она нашла в Альберте того человека, который составит ее счастье. Вместе с тем она питает к Вертеру искреннюю симпатию. Она не была бы женщиной, если бы ей не льстило поклонение Вертера. Ее чувство находится на той тонкой грани, когда оно могло бы при известных условиях перерасти в нечто большее. Но именно врожденное, естественное сознание долга не дает ей перейти за эту грань. Вертер дорог ей общностью их восприятия прекрасного, поэтичностью его натуры, тем, что опекаемые ею дети любят его. Она могла бы любить его так всегда, не попытайся он преступить за грань, положенную ею.

Вертер весь чувство, страсть; Лотта – воплощение чувства, умеряемого сознанием естественного долга. Альберт – человек рассудка, придерживающийся буквы нравственных предписаний и закона.

Конфликт двух отношений к жизни и нравственности между Вертером и Альбертом в начале имеет, если угодно, лишь теоретическое значение. Но он перестает быть отвлеченным спором, когда решается судьба крестьянина, совершившего убийство из ревности. Вертер «так понимал всю глубину его страдания, так искренне оправдывал его даже в убийстве, так входил в его положение, что твердо рассчитывал внушить свои чувства и другим» (6, 80). Альберт резко возражал Вертеру и порицал его за то, что он берет под защиту убийцу, «затем указал, что таким путем недолго упразднить все законы и подорвать устои государства...» (6, 80). Здесь со всей ясностью обнаруживается, что апология чувства у Руссо и деятелей «бури

и натиска» имела отнюдь не только психологическое значение. Заметим, что Вертер разумом понял доводы Альберта, и все же у него было такое чувство, что, допустив и признав их правоту, «он отречется от своей внутренней сущности» (6, 80). С этого момента отношение Вертера к Альберту резко изменилось: «Сколько бы я ни говорил и ни повторял себе, что он честный и добрый, – ничего не могу с собой поделать, – меня от него с души воротит; я не в силах быть справедливым» (6, 81).

Есть, однако, в романе еще один персонаж, которого нельзя обойти вниманием. Это – «издатель» писем Вертера. Кто он, неизвестно. Может быть, друг Вертера Вильгельм, которому адресованы все письма героя. Может быть, другое лицо, которому Вильгельм передал сердечные излияния друга. Важно не это, а его отношение к Вертеру. Он сохраняет строгую объективность рассказчика, сообщая только факты. Но иногда, передавая речи Вертера, он воспроизводит тональность, присущую поэтической натуре героя.

Роль «издателя» становится особенно важной в конце повествования, когда излагаются события, предшествующие смерти героя. От «издателя» мы узнаем и о похоронах Вертера.

## 5

Вертер – первый герой Гете, у которого две души. Цельность его природы только кажущаяся. С самого начала в нем ощущается и способность радоваться жизни, и глубоко коренящаяся меланхолия. В одном из первых писем Вертер пишет другу: «Недаром ты не встречал ничего переменчивей, непостоянней моего сердца... Тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости!» (6, 10).

У Вертера есть порывы, роднящие его с Фаустом, его удручает, что «творческие и познавательные силы человека» ограничены «тесными пределами» (6, 13), но наряду со смутным желанием вырваться из этих пределов в нем еще сильнее стремление замкнуться: «Я уйду в себя и открываю целый мир!» (6, 13).

Наблюдая себя, он делает открытие, снова обнаруживающее присущую ему двойственность: «...как сильна в человеке жажда бродяжничать, делать новые открытия, как его манят просторы; но наряду с этим в нас живет внутренняя тяга к добровольному ограничению, к тому, чтобы катиться по привычной колеи, не оглядываясь по сторонам» (6, 25).

Натуре Вертера присущи крайности, и он признается Альберту, что ему гораздо приятнее выходить за рамки общепринятого, чем подчиняться рутине повседневности. «Ах вы, разумники! – восклицает Вертер, решительно отгораживаясь от рассудительной трезвости Альберта. – Страсть! Опьянение! Помешательство!.. Я не раз бывал пьян, в страстях иногда доходил до грани безумия и не раскаиваюсь ни в том, ни в другом...» (6,40).

В глазах Альберта неистовство Вертера – слабость. Но бурный гений – а именно таким предстает он в этот момент – отвергает такое обвинение, отнюдь не случайно приводя политический довод: «Если народ, стонущий под нестерпимым игом тирана, наконец взбунтуется и разорвет свои цепи – неужто ты назовешь его слабым?» (6, 40).

Вся беда, однако, в том, что именно этого не делает немецкий народ и одиночкам, подобным Вертеру, приходится ограничиваться экстравагантным поведением в быту, вызывая возмущение мещан. Трагедия Вертера в том, что кипящим в нем силам не оказывается применения. Под влиянием неблагоприятных условий его сознание становится все более болезненным. Вертер часто сопоставляет себя с людьми, вполне уживающимися с тем строем жизни, который господствует. Таков и Альберт. Но Вертер так жить не может. Несчастливая любовь усугубляет его склонность к крайностям, резкие переходы из одного душевного состояния в противоположное, изменяет его восприятие окружающего. Было время, когда он «чувствовал себя словно божеством» (6, 44) посреди буйного изобилия природы, теперь же даже старание воскресить

те невыразимые чувства, которые раньше возвышали его душу, оказывается болезненным и заставляет вдвойне ощутить весь ужас положения.

Письма Вертера с течением времени все более выдают нарушение его душевного равновесия. «Мои деятельные силы разладились, и я пребываю в какой-то тревожной апатии, не могу сидеть сложа руки, но и делать ничего не могу. У меня больше нет ни творческого воображения, ни любви к природе, и книги противны мне» (6, 45). «Я чувствую, что судьба готовит мне суровые испытания» (6, 51). После оскорбления со стороны аристократов: «Ах, я сотни раз хватался за нож, чтобы облегчить душу; рассказывают, что существует такая благородная порода коней, которые по инстинкту прокусывают себе вену, чтобы легче было дышать, когда их чересчур разгорячат и загонят. Мне тоже часто хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу» (6, 60). Он жалуется на мучительную пустоту в груди, его не в состоянии утешить религия, он чувствует себя «загнанным, обессилевшим, неудержимо скатывающимся вниз» (6, 72) и даже осмеливается сравнивать свое положение с муками распятого Христа (6, 72).

Признания Вертера подкрепляет свидетельство «издателя»: «Тоска и досада все глубже укоренялись в душе Вертера и, переплетаясь между собой, мало-помалу завладели всем его существом. Душевное равновесие его было окончательно нарушено. Лихорадочное возбуждение потрясло весь его организм и оказывало на него губительное действие, доводя до полного изнеможения, с которым он боролся еще отчаяннее, чем со всеми прочими напастями. Сердечная тревога подтачивала все прочие духовные силы его: живость, остроту ума; он стал несносен в обществе, несчастье делало его тем несправедливее, чем несчастнее он был» (6, 77). Сообщается также «о его смятении и муках, о том, как, не зная покоя, метался он из стороны в сторону, как опостылела ему жизнь...» (6, 81).

Самоубийство Вертера явилось естественным концом всего пережитого им, оно было обусловлено особенностями его натуры, в которой личная драма и угнетенное общественное положение дали перевес болезненному началу. <...>

<...>

(Аникст А. А. «Страдания юного Вертера» // Аникст А. А. Творческий путь Гете. М.: Художественная литература, 1986. С. 117–129)

### Примечания

<sup>1</sup> *Гете И.-В.* Собр. соч.: в 10 т. М., 1975–1980. Т. 6. С. 10. Далее цитаты из Гете по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.

<sup>2</sup> *Goethe J. W. Poetische Werke. Berliner Ausgabe. Bd 9. Berlin, 1970. S. 95.*

<sup>3</sup> *Манн Т.* Собр. с оч.: в 10 т. Т. 10. М., 1961. С. 234.

### Вопросы и задания

1. Что можно сказать о структуре характера?
2. В чем заключаются особенности социально-исторического контекста, в который помещен «мятежный Вертер»?
3. Согласны ли вы с мнением исследователя о том, что центральный конфликт романа воплощен в противоположности Вертера и Альберта?

### Предтекстовое задание

Прочитайте фрагмент статьи А. В. Михайлова об итальянском путешествии Гёте и его стихотворениях этого периода.

**А. В. Михайлов**

## **Гёте и отражения античности в немецкой культуре на рубеже XVIII–XIX вв.**

<...>

Гёте дважды посетил Италию. Тогда поездка за Альпы, сопряженная с огромными трудностями, могла стать событием, освещающим целую жизнь человека. Таким событием и стало первое путешествие Гёте в Италию, когда он, издавна о том мечтавший, отправился в сентябре 1786 г. в Рим. Гёте только что исполнилось 37 лет, его путешествие заняло почти два года – ощутимая цезура в жизненном пути. Гёте подробно описал свое путешествие в 1816–1817 гг. («Итальянское путешествие»). Создававший великое и до своего путешествия, Гёте, вернувшись из Италии, творит великое и уже зрелое, а затем наступает пора своеобразного гетевского позднего стиля, требующего для своего понимания хорошего знания гетевского поэтического языка. «Средина жизни» поэта отмечена расцветом физических, душевных и духовных сил, и расцвет рождает гетевскую классическую гармонию, которая сближает, соединяет и сливает дух и тело в самих поэтических творениях. Одна из творческих тем Гёте – преодоление в себе «колоссальности», односторонней, бьющей через край творческой силы, придание ей должной формы и культуры; поэтический гений, мощь воображения рисовались Гёте такой чрезмерностью, колоссальностью, которую, как геркулесову силу богатыря, необходимо было обуздать, чтобы пустить в дело, не дать пропасть в излишествах бьющей ключом фантазии. «Римские элегии», которые Гёте, по всей вероятности <...>, писал по возвращении из Италии, – это один из непосредственных итогов итальянской поездки. Это своего рода поэтический синтез, в котором слышны отклики римских, итальянских озарений, восторженного бытия, исторических воспоминаний на почве Италии и в котором ощутимо желание и на скромной веймарской земле не снизить своего высокого полета и эту, куда более чем обыкновенную жизнь среди близких наделить возвышенностью поэтически-приподнятого бытия. <...>

<...>

«Римские элегии» Гёте в самом буквальном смысле слова стоят на рубеже гигантских исторических эпох, на которые открывают вид. Отсюда многомерность элегий, как бы перегружающая поэтический текст, и отсюда же слияние в классической форме того разнородного, что утверждает в поэтическом тексте Гёте свое единство. Вот основные моменты такой сливающейся в единое поэтическое созерцание многомерности.

Первый из них – история как пространство бытия, о каком мечтает поэт. Он призывает в помощь себе не Музу, а камни города Рима, – они должны начать говорить и диктовать ему стихи; в них находит вдохновение поэт, для которого быть в Риме – значит приобщиться к подлинному миру античной древности, причем «Рим» в сознании Гёте замещает еще и «Афины» – исток и средоточие классического духа<sup>1</sup>. Взывая к камням, поэт скоро переносится на классическую почву – это мир красоты и вместе с тем мир раскованного, вольного существования, в котором все уравновешено и все пронизано ощущением жизненной полноты. Гёте находился под впечатлением и под влиянием «триумвиров» элегического жанра (по выражению гуманиста Скалигера) – Катутла, Тибулла, Проперция, а элегии Проперция не чуждо направление взгляда в глубь истории:

Странник, смотри: этот Рим, что раскинулся здесь перед нами,  
Был до Энея холмом, густо поросшим травой.  
На Палатине, где храм возвышается Феба Морского,  
Прежде изгнанник Эвандр пас лишь коров да быков.

Не воздвигались тогда, как теперь, золоченые храмы:  
Было не стыдно богам глиняным в хижинах жить...<sup>2</sup>

У Гёте элегические печаль и сожаление об ушедшем в прошлое замещается дерзким перелетом временных границ: мечта и пребывание сливаются, и царство красоты реально. Живя в Риме, Гёте пренебрегает Римом XVIII в. – он живет среди идеальной красоты жизни Рима древнего, среди ее отблесков и отражений. А это значит – и среди красоты греческой жизни, коль скоро Рим служил мостом в Аттику и означал Афины. Отсюда антихристианская настроенность Гёте, которой он дает выход в резком выпаде 66-й «Венецианской эпиграммы», чудом пропущенной берлинской цензурой<...>.

В «Римских элегиях» незримо присутствует дух лессинговской статьи «Как изображали древние Смерть» (1769), а статья эта заканчивалась словами: «Лишь ложно понятая религия может удалять нас от прекрасного, и доказательством истинной, верно понятой религии служит то, что она повсюду возвращает нас к красоте»<sup>3</sup>. Не случайно современники Гёте не сговариваясь видели в нем «язычника»<...>, – иной раз даже и «греческого бога»<...>, – не случайно сам Гёте называл себя «язычником»<...>; такое гетевское «язычество» могло вызывать у его современников иронию, испуг, решительное осуждение, – во всяком случае оно есть знак существования на исторической грани, на водоразделе времен, трудном для своего освоения и человеком и поэтом.

Второй момент – это пластичность гетевского видения, и, шире, восприятия мира. Для Гёте перелет в классическую древность не означал того романтического пренебрежения окружающей действительностью, которую поэт-романтик покидает как бы во сне. Гёте от этого далек – реальные контуры жизни для него нечто несокрушимое, зато не все мосты между прошлым и настоящим сожжены, но есть такая идеальность, которая не умирает, а всегда остается вместе с человечеством; золотой век – не просто в отдаленном прошлом, но он и неумирающая возможность, осуществляющаяся посреди самой реальности. На почве такой осуществляющейся возможности вырастает, на основаниях классического мировидения, новая жизнь и новая классическая поэзия. Живой символ идеальности – прекрасное человеческое тело, одновременно плоть и скульптурная пластика.

Вот строки «Римских элегий», заключающие в этом отношении смысловую кульминацию всего произведения:

Мраморы только теперь я постиг: помогло мне сравненье;  
Учится глаз осязать, учится видеть рука.

(V. 9-10 <...><sup>4</sup>)

Пластика тела, которая видится, и ощущается, и переживается всеми чувствами, переживается и плотски и метафизически, – эта пластика символизирует закон целого мира, с которого стерты случайные черты. Пластично тело, пластично видение, пластичны образы – пластично должно быть слово поэта, перерастающее в живое наглядное созерцание. Само человечество должно воплощать в себе такую пластику:

... Древний мир не ветшал, когда жили эти счастливыцы;  
Счастлив будь – и тогда древность в тебе оживет.

(XIII, 21–22 <...>)

Пластика – не вообще красота, а красота объемная, скульптурная: телесная, плотская, полнокровная, пронизываемая всеобъемлющей любовью, в которой не остыли желание, вожде-

ление, жажда обладания. Такая красота не воспринимается только глазами, на дистанции, но она требует для своего созерцания всего тела и всех чувств: нужно уметь видеть рукой<sup>5</sup>. Эстетическим предшественником Гёте стал Гердер, который в трактате «Пластика» (1778) показал, какую роль в восприятии скульптуры играет не только зрение, но и осязание. <...>

Гёте был в состоянии вдохнуть вторую жизнь и в представления Винкельмана, и в идеи Гердера, – у них, в их восприятии, античная пластика уже начинает оживать на глазах, словно статуя у Пигмалиона, но еще лежит на ней след отвлеченности, абстрактных ученых, «антикварных» штудий. Август Ланген показал, как совсем молодой Гёте подхватывает на лету гердеровскую мысль о первенстве «чувства» (осязания, ощущения) перед всеми иными чувствами<sup>6</sup>. Гёте – это «человек глаза»; глаз для него – главный инструмент познания<sup>7</sup>. Очень долго, вплоть до самого путешествия в Рим, Гёте колебался, не в живописи ли его призвание (лишь 29-я «Венецианская эпиграмма» кладет конец таким колебаниям); между тем именно Гёте и отдает предпочтение всеохватности телесного чувства, в котором уже заключено по смыслу все – и ощущение, и познание, и видение. Но только как «человек глаза» Гёте никогда не стал бы, подобно позднему Гердеру, говорить о «тупом глазе»<sup>8</sup>. Если справедливо, что на «языке души» классической греческой скульптуры «лицу и глазу не принадлежала выдающаяся роль», но что «все тело, служа неоспоримой мерой воли, силы, внутреннего развития, доблести, становилось полнозвучным инструментом выражения души»<sup>8</sup>, то можно оценить, в какой степени впервые такой существенный пластический взгляд кладется у Гёте в основу самого общего мирозозерцания и мировоззрения. Классическим статуям греков «нужно, чтобы их не читали только глазами, но чтобы их воссоздавали всем телом»<sup>9</sup>. По Гёте, «мрамор» можно осязать, видеть, слышать.

Третий момент – эротизм «Римских элегий». Отпугивавший поверхностных читателей и ханжей, эротизм был важнейшей, центральной чертой такого мировоззрения, в котором любящий, любовный взгляд на пластичность тел пронизывал и утверждал все бытие. В других, написанных после итальянского путешествия произведениях Гёте отнюдь не отказывается от такой лежащей в основе его пластически-зрительного мира эротики, но нигде не передает этот образ мира с подобной же немногословной концентрированностью. «Римские элегии» – особое произведение; в него излились и в нем, внутри его, сохранились не написанные Гёте эстетические трактаты – к составлению таких специальных трактатов у него совсем не лежала душа, зато работа Карла Филиппа Морица «О пластическом подражании прекрасному» возникла в Риме в результате бесед с Гёте и может считаться совместным произведением двух писателей. Такое сочетание в «Римских элегиях» чувственного начала, эротизма и эстетической «теоретичности» подводит к четвертому моменту – к жанровой уникальности «Римских элегий». Хотя элегии и написаны в традиции элегических «триумфиров», но написаны в свою исторически неповторимую минуту! А минута эта у Гёте, поэтически, «поэтологически», стремившегося вперед, была ознаменована тем, что все жанровое, устоявшееся, риторически-типическое, всякий литературный мотив, все позаимствованное и переработанное соединялось с таким «я», которое представало уже индивидуальным, конкретным, субъективным, неповторимым, уникальным в своем бытии, порой сиюминутным в своем существовании и которое относилось к себе и присваивало себе все риторически-традиционное.

В «Римских элегиях» одно и другое, заданная типизированность всего поэтического и индивидуальность конкретного «переживания», соединяются не в ссоре, а в мирном союзе – под знаком поэтической пластики. Тогда открывается вид, – с одной стороны, на историю поэзии, где Катулл, Тибулл, Проперций, Овидий и Гораций становятся поэтическими современниками и соратниками поэта конца XVIII в. – поэтическая преемственность допускала такую связь еще вполне непосредственно! С другой стороны, на будущее поэзии, которая станет осваивать мир всякой личности в ее конкретности и неповторимости, даже в самой неуловимой



беглости ее импульсов и эмоций. Отсюда жанровая многомерность и даже многозначность «Римских элегий», совмещение или совпадение в них разных планов, моментов, направлений. «Римские элегии» – это еще и ученая риторическая, гуманистическая поэзия, а между тем «я» в ней – уже не риторически-остраиваемое и обобщаемое, не сгусток заданных мотивов, но живая личность, от имени которой, по воле которой наличествует тут даже и все ученое, даже и всякий традиционный мотив.

<...>

Морально-риторическое творчество предопределяет поэзию как своего рода знание – знание не метафорическое, но в самом собственном смысле слова, в частности как знание моральное. Гёте мог даже играть мотивами такого поэтически запечатляемого знания. «Любовь» издревле сопряжена в мирознании народов, в языках, с «познанием» – так это и у Гёте.

...Впрочем, рукою скользя вдоль бедра иль исследуя форму  
Этих прекрасных грудей, разве же я не учусь?

(V, 7–8 <...>)

Это – игра мотивом, но притом игра абсолютно серьезная. Иными словами, связь любви и познания и полагается как заведомо существующая. И одновременно это же предельно переосмысливается, поскольку обращается в чувственно-эротический индивидуальный опыт! Архетип сознания и поэзии обращается в субъективно-сиюминутное, и одно соседствует с другим, и одно сливается с другим. Но это и есть признак гетевской пластичности – книжность, литературность, словесная абстрактность, плоскостность традиционно-риторического заполняется чувственным переживанием – своим содержанием, темой, формой. Серьезность сливается с игрой, с иронией и самоиронией, и все это передает настроение обретенной через творчество полноты жизненного счастья.

Все «Римские элегии» – в погоне за пластичностью как свидетельством полноты бытия, общезначимого. Счастье и полнота – не для «я», эмпирического и всецело индивидуального. Это «я» представительное для человечества и общезначимо. Такое «я», как и слово традиционной, морально-риторической поэзии, передано в руки Гёте преемственностью столетий, и оно в своей отвлеченности тоже надделено всей полнотой конкретности. Общечеловеческое содержание – и в то же время исчезающий в мгновенных движениях индивидуальный опыт. Это произведение – словно целая утопия, переданная через один-единственный человеческий образ, через одну личность.

Подобное соединение противонаправленного – общего и личного, риторического и индивидуального, знания вообще и частного опыта – как внутреннее противоречие и переход при-суще всей эпохе, а работам Гёте – как гениальным выражениям ее. В каждом произведении Гёте такое столкновение времен выявлено каким-то своим способом. Характерны те противоположные истолкования, которые получает гетевское создание более раннего периода – «Песнь странника в бурю» («Wandrer's Sturmlied», 1772). А. Хенкель сближал его с поэтикой барокко и с удивительной пронизательностью выявил традиционно-барочное в нем<sup>10</sup>. Напротив, Г. Кайзер категорически заявляет: «Пантеон этого стихотворения, пантеон „Бури и натиска“ целой пропастью отделен от мифологических представлений барокко. Аполлон, Дионис, Юпитер – здесь уже не аллегорические перифразы заданных логически фиксированных понятий, это – божественные силы, осознанные в личном опыте, данности, действующие в душе гения, обретающие в нем существование, экзистенциалы вдохновенного мира души. Барочная мифология – абстрактно аллегорична, мифология „Бури и натиска“ – конкретна, но только не обретает еще устойчивых пластических форм классического периода»<sup>11</sup>. Оба исследователя, если брать их взгляды по существу, безусловно правы, – прав тот, кто подчеркивает заданность поэтиче-

ских представлений, и прав тот, кто настаивает на их сугубо личном преломлении. «Пропась», разделяющая барокко, его эмблематику, и «Бурю и натиск» с его образностью, шире – «пропась», отделяющая образный строй поэзии традиционно-риторического плана и новой, индивидуально-эмоциональной и жизненно-непосредственной поэзии, – эта «пропась» заключена внутри самой поэзии Гёте, как живое ее противоречие, она определяет ее многомерность и постепенно раскрывающуюся многозначность <...>.

И только ко времени создания «Римских элегий», ближе к рубежу веков, такое внутреннее живое противоречие поэзии приобретало большую четкость и широту. Это не было уже противоречие барочного и «небарочного», нового, это было уже противоречие целой огромной поэтической традиции – той самой, в которой Катулл, Тибулл и Проперций были еще и современниками Гёте, как поэты *одного* круга, одних образов, представлений, одних средств, – и нарождающихся новых поэтических переосмыслений, новой ориентации поэзии, новых ее образов и средств. Горизонты веков к этому времени еще шире распахнулись, раскрылись. Связи и противостояние прежнего и нового стали напряженнее и принципиальнее.

<...>

(Михайлов А. В. Гёте и отражения античности в немецкой культуре на рубеже XVIII–XIX вв. // Михайлов А. В. Языки культуры: учебное пособие по культурологии. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 568–569, 571–578)

### Примечания

<sup>1</sup> См.: *Rehm W.* Griechentum und Goethezeit. Leipzig, 1936. S. 22 u. a.

<sup>2</sup> *Проперций*. IV, 1, 1–6 / пер. Л. Остроумова // Катулл. Тибулл. Проперций. М., 1963. С. 415.

<sup>3</sup> *Lessing G. E.* Gesammelte Werke / hrsg. von P. Rilla. Berlin, 1955. Bd 5. S. 738.

<sup>4</sup> Здесь и далее «Римские элегии» цит. в пер. С. А. Ошерова (римская цифра означает номер элегии, арабская – стиха). <...>

<sup>5</sup> Те примеры «видящей руки», «руки с глазом», какие можно привести из более старой литературы (пример с «*oculata manus*» из Эразма Роттердамского указан в кн.: *Jost D.* Deutsche Klassik: Goethes «Römische Elegien». 2. Auf. München, 1978) и особенно из эмблематики (см.: *Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts* / hrsg. von A. Henkel, A. Schöne. Sonderausgabe. Stuttgart, 1978. Sp. 1010–1011), свидетельствуют о том, что круг представлений был продуман уже давно, но что у Гёте он приобретает сугубо новый смысл и классическую отточенность. См. также: *Keller W.* Goethes dichterische Bildlichkeit. München, 1972. S. 73–74.

<sup>6</sup> *Langen A.* Anschauungsformen in der deutschen Dichtung des 18. Jahrhunderts (1934). Darmstadt, 1968. S. 106.

<sup>7</sup> Поэтому вся заходящая вглубь литература о Гёте (в частности, вся литература о познании Гёте) говорит о видении Гёте и о глазе как инструменте познания. Специально о «глазе» см.: *Matthaei R.* Das Auge // *Goethe-Handbuch* / hrsg. von A. Zastra. Stuttgart, 1961. Bd I. S. 454–477. См. также: *Михайлов А. В.* Глаз художника (художественное видение Гёте) // Традиция в истории культуры. М., 1978. С. 163–173; *Hart Nibbrig Chr. L.* Weltwärts nach innen: Zur Entwicklungstheorie von Goethes dichterischer Welt-Anschauung // *Euphorion*. 1975. Bd 69. S. 1–17.

<sup>8</sup> *Schweizer B.* Zur Kunst der Antike. Tübingen, 1963. Bd 1. S. 318.

<sup>9</sup> *Buschor E.* Vom Sinn der griechischen Standbilder. 2. Auf. Berlin, 1977. S. 19.

<sup>10</sup> *Henkel A.* Wandrers Sturmlied. Frankfurt a. M., 1962.

<sup>11</sup> *Kaiser G. Wandrer und Idylle: Goethe und Phänomenologie der Natur. Göttingen, 1977. S. 146.*

### **Вопросы и задания**

1. Каково значение «Римских элегий» в творчестве Гёте?
2. Перечислите основные моменты поэтической многомерности Гёте, выделяемые в статье.
3. Какова роль пластически-изобразительного начала в лирике Гёте?

### **Предтекстовое задание**

Прочтите статью А. В. Михайлова, обращая внимание на характеристику лирического творчества И. В. Гёте и трагедии «Фауст».

## ***А. В. Михайлов*** **Гёте, поэзия, Фауст**

Лишь у немногих поэтов складываются свои, совершенно личные отношения с Поэзией. К таким поэтам принадлежал Иоганн Вольфганг Гёте. Чем больше узнаешь его, тем больше понимаешь: не просто был он причастен к миру поэзии – это мир поэзии был заключен в нем, а он был его владыкой.

Гёте никогда не заботился о самовыражении – и он даже не хотел бы, чтобы в его созданиях отразилась личность именно поэта. Собственно говоря, ему хотелось быть человеком, который отражал бы в себе бытие – настолько полно и подробно, чтобы между человеком и бытием складывался разговор равных. Ради такого беспримерного диалога надо было стать поэтом, а тогда уже творить уверенно, властно, с достоинством. Человек, равняющийся с миром, с бытием, – и в поэзии не просто поэт, а творец, и потому, скорее, человек дела, а не слов, и, уж во всяком случае, не книжный человек. К слову на бумаге Гёте относился с пренебрежением. Да и поэзии ему всегда мало, в поэзии должна была отражаться общая мысль о мире. «Ведь я так высоко не ставлю слово, // Чтоб думать, что оно всему основа», – говорит Фауст у Гёте; так судил и сам Гёте – о слове поэтическом, писательском.

Гёте властвовал над поэзией. Он гениально дерзко гнет язык. Юность Гёте совпала с периодом «Бури и натиска» в немецкой литературе (1770-е годы), когда молодые поэты бунтовали против норм и правил, предощущая возможность свободы от любого гнета и принуждения в самой жизни. Гёте тогда уже стал во главе литературы – так сложилось само собой. Ранний Гёте поэтически смел – однако зрелый и поздний несравненно смелее: отдельные пробы поэтического самовластия, утратив налет нарочитости, вошли в систему. Что бы ни делал Гёте с языком – все совершенно естественно. Язык преобразуется: придумываются новые слова и формы слов, значение обычных слов резко и тонко переакцентируется, не стиль, но сам язык окрашивается в особые тона, он весь – создание поэта; не только в высокопоэтической лирике, а в любом, самом случайном тексте ощутимо своеобразие языка, а за ним своеобразное осмысление мира.

Еще одно следствие такого обращения со словом и того же отношения к слову: Гёте не слишком беспокоили внутренние проблемы поэзии, техника стиха. Поэзия для него – это послушный (именно послушный общезначимой мысли) способ выражения. Неуместно копаться в ее деталях. Поэзия обязана быть естественным выражением мысли. Гёте любил, чтобы стих был «из одного куска» (как писал он в одном своем сонете). Заниматься метрическими тонкостями ему претило. Гётевский «Фауст» этому противоречит – по видимости; ведь «Фауст» – целая энциклопедия размеров и строфических форм: среди них встречаются триметры и тетраметры греческой трагедии, александрийский стих трагедии XVII века, немецкий

народный стих, терцины, которыми Данте писал «Божественную Комедию», и еще много другого. Все редкое и хитрое Гёте умел делать – когда хотел. Но все это – на своем нужном месте, и всякий раз душа поэта должна была прийти во внутреннюю гармонию с избранной формой, до конца с нею слиться.

Лирика Гёте – не просто выражение личности, которой довольно того, что она выразит себя и свое. Опора для лирики – не «личностное» и не проникновенно-душевное, личное, а то *общее*, даже общечеловеческое, до чего стремится возвыситься личность, превращая и самое случайное в себе в язык общего. Лирика Гёте восходит не к непосредственности чувства, а к широте мира, которую личность, внутренне преобразуясь, стремится охватить. Ее исток – мысль (но только не сухая и отвлеченная!). Мысль – а не чувство. Под словом «мысль» подразумевается здесь философское, ученое содержание, а для Гёте прежде всего – содержание естественно-научное, мир как природа, причем природа во всех своих проявлениях (от строения мироздания и геологии до растений и до человека, до его истории, до истории его духа, культуры) и во множестве способов ее постижения – от красоты до точного ее знания. Гёте видит природу вглубь: растение – живая метаморфоза, Земля – это история ее создания, от первозданного состояния, о котором ведутся научные дискуссии, до листа растения, до человека и, наконец, до самой поэзии. Для такого взгляда нет ничего, что стояло бы на месте, а не разворачивалось внутрь, к своему истоку, к своему историческому началу – в масштабах культуры, жизни Земли, бытия. Поэтический взгляд на мир – он же всегда и ученый, во взаимосвязи. В наследии Гёте есть прекрасные стихотворения в народном тоне, и они, пожалуй, более других скрывают всеприсутствие гётевского *знания*. Но уже ранние гимны Гёте, написанные свободно, как, например, «Прометей», органически соединяют порывистое, мятущееся чувство и великое знание! Огромная ученость – это *знание традиционного символического языка культуры*. Такой общий язык для Гёте – естественный способ выражения. В «Фаусте» – итог его развития за несколько тысячелетий.

Лирический дар – великое достояние личности. У Гёте он никогда не предоставлен воле настроений и, может быть, потому никогда не ослабевает, не иссякает. Поздние лирические шедевры – это совсем уже полный синтез опыта жизни, поэтической учености и поэтической естественности выражения. Поэзия что вторая натура. Все же «первая» человеческая натура не согласна сливаться с поэзией до конца и творит ее из своих небывалых, чрезмерных богатств!

Качество поэзии Гёте – высокое, драгоценное. За все века немецкой литературы – он единственный такой поэт. Среди стихотворений Гёте лишь на первый взгляд не все равноценны: в любом не вполне удачно сказавшемся поэтическом тексте Гёте продолжается напряженное становление смыслов и символов. Каждое – приближение к необъятности смыслового мира, каждое несет что-то свое, важное для целого. Произведения – зеркала, в которых отражается вечная метаморфоза бытия. Вчитываясь в Гёте, постепенно осознаешь сугубую важность любого его текста, пусть забытого читателями. Сам Гёте не зря, не ради архивной полноты, хранил свои наброски – несмотря на всю нелюбовь к мертвой букве, к застылому бумажному слову. Трудно остановиться, отбирая лучшее из лучшего среди написанного им.

Гёте как человек, как поэт, неразрывно, – особое бытие. Пока он жил, совершались социальные и политические события всемирно-исторического значения – Французская революция, наполеоновские войны. Родился Гёте 28 августа 1749 года – в пору относительной стабильности, умер 22 марта 1832 года – в эпоху Реставрации, когда правители европейских государств планомерно подавляли любое проявление беспокойства (не в силах загасить главный очаг брожения – Францию, Париж). Жизнь Гёте казалась очень длинной. Сам он страшился смерти и, кажется, не вполне верил в то, что умрет. Импровизатор, а не педант в своих работах, Гёте трудился без спешки и не теряя времени. Он думал одновременно о разном, и все это находилось во внутреннем единстве (как все в мире находится в единстве). Он не боялся на долгие годы отвлекаться от своих замыслов. Всякий труд, всякое произведение готовилось

медленно и верно. «Фауст» – создание шести десятилетий. Человек дела, Гёте недолюбливал людей, не умеющих устроиться в жизни, и совсем не терпел капризных и ноющих. Счастье переменчиво, но Гёте был уверен в благоволящем к нему Счастье-везении. Однажды поэт в шутку сказал, что, родился он в Англии, так уж он не родился бы без годового дохода в 6000 фунтов, колоссальной по тем временам суммы. В шутке есть свой резон: для жизни и творчества Гёте была совершенно необходима прочность существования – ее Гёте создавал талантом и трудами, а какая-либо беспорядочность, неустойчивость, неусидчивость были ему не по нутру; бедствовать по собственной вине, из-за неумения освоиться с жизнью, с ее порядками – сама мысль об этом ужаснула бы Гёте. Он родился в богатой семье франкфуртских купцов и рано обеспечил себе прочность положения и безбедное существование. В 1775 году, 7 ноября, Гёте по приглашению герцога саксен-веймарского Карла Августа приехал в столицу маленького государства и остался здесь на всю жизнь. Веймар с населением в три тысячи человек притягивал к себе крупнейших деятелей немецкой культуры. Гёте стал одним из управителей герцогства – сохранив внутреннюю независимость. Он часто и надолго уезжал из Веймара, в 1786 году даже бежал отсюда в Италию; он едва выносил узость провинциальной жизни, но всегда возвращался сюда, в свой дом. Государству везло, как и Гёте: в 1806 году французские солдаты грабили Веймар, но дом Гёте удалось отстоять; из всех треволнений тех лет государство вышло уже великим герцогством; Гёте на несколько лет пережил своего друга, великого герцога. Гёте никак нельзя было жить без маленького Веймара; в общественной жизни он не искал блеска, какого мог бы достичь, избегал настоящих столиц и ни разу не бывал в Вене, Париже и Лондоне. Гёте нуждался в обеспеченном, не слишком высоком и, уж во всяком случае, не низком – в срединном положении. Чуть сбоку, со стороны многое виднее; исторические события задевали Гёте, и он сам, небезразличный к ним, соприкасался с ними, но никогда не оказывался в центре события, никогда – на гребне происходящего. В 1808 году, 2 октября, в Эрфурте состоялась беседа Гёте с Наполеоном; в ту пору, кажется, ни один великий мира сего не миновал Гёте; когда в 1827 году баварский король Людвиг, искренний любитель и знаток искусств, сам незадачливый поэт, посещает Гёте в день его рождения, это уже другие времена и визит скорее интимный, хотя совсем не в обычаях эпохи.

Гёте весь окружен историей, он сам – наблюдатель всемирной истории, и он разместился в такой исторической и географической точке, откуда удобнее всего рассматривать бытие и человеческую культуру, все их проблемы. Если нужно, чтобы зеркало отражало мировое бытие, оно должно стоять неколебимо: живое, оно воспроизведет тогда непрестанную метаморфозу его форм. «Фауста» нередко называют центральным в творчестве Гёте произведением. И не без основания: вся его жизнь словно рассчитана на работу над «Фаустом». Осенью 1831 года Гёте перевязал и опечатал законченную рукопись, в январе 1832 года снова развернул ее, чтобы внести в нее последние добавления и исправления. Гёте завершил «Фауста» и в марте умер. Он и не предполагал печатать полный текст его при жизни: первая часть была опубликована фрагментарно в 1790 году, полностью – в 1808 году; из второй части печатались отрывки.

Что же такое этот «Фауст»? Без колебаний можно сказать: подлинно немецкая тема, подготовленная всем духовным развитием XVIII века; вокруг нее собираются самые глубокие и острые проблемы, обсуждавшиеся немецкой мыслью. У Гёте так и выходит: всемирная история и современность, происхождение Земли, немецкая литературная жизнь, существо человека – все это заключено в его необыкновенное произведение, и для обсуждения всего этого разработан особый уникальный литературный жанр с его символично-мифологическим языком.

Исторический Фауст, живший в 1480–1541 годах, ученый и шарлатан, о котором в 1587 году вышла во Франкфурте ставшая популярной книга – «История доктора Иоганна Фауста, пресловутого кудесника и чернокнижника», – этот Фауст только иногда выглядывает у Гёте из тьмы своего существования, и то через посредство народной традиции, обработавшей его

образ: Фауст – герой кукольных представлений, и у Гёте, в первый раз являясь перед читателем, Фауст – отчасти «кукольный» персонаж.

А как немецкая тема XVIII века Фауст – это воплощение неутолимой тяги к знанию. Она, эта тема, пережита самим Гёте – как никем более. Создавая Фауста, он опирался на свои безмерные мечты и притязания. Нельзя только думать, будто Фауст – это и есть Гёте. Вовсе нет: это отброшенный от себя, подвергнутый критике свой «внутренний образ», – в настоящем Гёте помимо алчности познания было еще и разумное смирение, без которого все задуманное рассыпается в прах перед бытием, как это и случилось с Фаустом. Лессинг писал в 1778 году: «Ценность человека определяется не обладанием истиной, подлинным или мнимым, но честным трудом, употребленным на то, чтобы достичь истины <...>. Если бы бог, заключив в свою десницу истину, а в шуйцу вечное стремление к истине, но с тем, что я буду без конца заблуждаться, сказал мне: „Выбирай!“, я бы смиренно принял к его левой руке, говоря: „Отче, дай! Чистая истина – она ведь для тебя одного!“». Многие немецкие писатели второй половины XVIII века, начиная с Лессинга, работали над произведениями о Фаусте. Гёте, придерживаясь мотивов народной книги, показывает, что было потом – после того как человек избрал не истину, но стремление к ней и путь заблуждений.

Замысел гётевского «Фауста» коренится в Просвещении с его грандиозным оптимизмом: просветители способны были опровергать наличие зла в мире – или же своими объяснениями обходить зло. Гётевский «Фауст» значительно шире такого просветительства с его героическим прекраснодушием. Гёте определил жанр произведения – *трагедия*. «Фауста» нужно читать как трагедию. Правда, трагедия эта особенная. Во-первых, в ней наперед выводят положительный итог целого: господь бог, снизошедший до терпеливого разговора с дьяволом, которому позволяет жестоко испытывать ученого Фауста, как некогда он сам жестоко испытывал ветхозаветного праведника Иова, – господь бог рассуждает по-лессинговски: «Кто ищет, вынужден блуждать», но в своем темном стремлении сознает правый путь: «Чутьем, по собственной охоте // Он вырвется из тупика». Дьявол Мефистофель, поразмыслив лучше, мог бы понять, что ему нечего заключать договор с богом: его адское дело заранее проиграно. Напротив, Фауст бесстрашно заключает пари с чертом: он знает, что его стремление не будет никогда утлено, – ведь это не его личная, а общечеловеческая черта – бесконечность стремления к неизведанному: все люди по природе жаждут знания (Аристотель). Собственно говоря, три участника договора – бог, черт, Фауст – держатся примерно одинакового взгляда на существо человека и тем не менее спорят о том, исход чего ясен. Итак, трагедия «Фауст» – это трагедия не с «хорошим», но с положительным завершением. Это во-первых. Во-вторых же, это такая трагедия, в которой все трагическое не заставляет кровоточить сердце, а отодвинуто на задний план, и все мы, читая «Фауста», видим, какие страшные беды поражают и отдельных людей – несчастную Гретхен, злополучных Филемона и Бавкиду, и целое человечество, и самого Фауста; видим, что эти беды дорастают до совершенно немыслимых, казалось бы, пределов и что тем не менее они остаются как бы вдалеке от нас, словно громадные, мрачные, чудовищные и ненастоящие, призрачные тени. Это так и есть: впереди – пространство невозмутимого покоя и торжествующей положительности (добра), позади – бедствия, которые заведомо списываются под заблуждения, тоже наперед очевидные. Все это, передний и задний план, связано: если зло – нечто вроде неизбежной оборотной стороны добра и его условие, то это уже всемирно-историческое бедствие, а не трагедия «Фауст». Вот такие-то бедствия и перекрыты у Гёте эпическим спокойствием: трагедия всемирной истории представлена как фантазмагория и сон. Гёте не случайно не раз возвращает действие в комнату Фауста – место, где Фауст заснул и где он видит сны и сны во снах. Фауст – это особенный человек, он образцово воплощает в себе общечеловеческое стремление и неустанно действует, не задумываясь над сутью своих – в основном зловещих – поступков. Можно сказать: Фауст – настолько образцовый злодей, что его и остается только показательным образом простить. Заключительная сцена «Фауста» – оконча-

тельное торжество совершенного мироустройства, которое Фауст и читатель извели снизу доверху – от таинственной сферы «Матерей», вечных идей-матриц, до вечных небес, где любая беда и вина людей тонет в бесконечной гармонии целого. Фауст – отнюдь не «любимый» герой Гёте, и читателю нельзя отождествлять себя с ним. «Фауст» – из тех произведений, которые заданы не сочувствию, но мысли, беспрестанному обдумыванию того, что и как здесь происходит. Решительно расходясь с конкретной человечностью русской классической литературы, «Фауст» Гёте предлагает особую задачу для размышления русскому читателю.

Гёте созерцает свое беспокойное время из точки покоя (пусть условного) – это же и в «Фаусте»: трагедия – задний план, передний план – эпическая поэма, удивительно, неповторимо своеобразно скомпонованная. Способ видения мира творит жанр, уникально устроенный: поэма-трагедия разворачивается, как «внутренний» театр, перед воображением, переполненная, однако, самыми реальными впечатлениями от театра – начиная от кукольного представления и до восходящего к средним векам шествия маскарада, до бедноватых подмостков «мещанского» театра конца XVII века, до высокой трагической сцены. Чужд ему внутренне только иллюзионистский театр позднейшего XIX века, технически оснащенная современная сцена. «Фауст» – «внутренний» театр: хотя его много раз ставили на театре, особенно первую часть, любая постановка урезает авторский замысел (среди лучших постановок – спектакль гениального Густава Грюндгена в Гамбургском немецком драматическом театре, первую часть которого московские зрители видели в 1959 году).

Мучительность трагедии претворяется в совершенство мысли и красоту слова – преодолевается особенным соединением глубокомыслия и легкости, скудной сцены и богатого воображения, жгучей остротой совмещения несовместимого – наподобие трагикомического завершения моцартовского «Дон Жуана». Трагикомична сцена смерти Фауста – не просто трагична, не просто величественна. Она выпендренно уничижительна: Фауст, отяготивший свою душу сознательными (отнюдь не невольными!), мрачными преступлениями, Фауст, бездумно мудрствующий, у которого слово гротескно-трагически разошлось с делом и дело со словом, произносит свои знаменитые хрестоматийные строки: «Лишь тот, кем бой за жизнь изведен, // Жизнь и свободу заслужил». Разумеется, в этих словах нет хрестоматийной, отвлеченной «правильности»: произнесенные не вовремя и не к месту, они свидетельствуют не только о не преодоленном поныне трагизме человеческих устремлений, но и об извечной «иронии истории»... Последний вывод мудрости Фауста, человека *дела*, – это чистое *слово*, к которому не подступишься с делом, и слово сказано в *кричащем* одиночестве. Гёте же никогда не забывал о «Дон Жуане», о «Волшебной флейте»: «...Музыке следовало бы быть в характере „Дон Жуана“, Моцарту надо было писать музыку к „Фаусту“...» – говорил Гёте Эккерману (12 февраля 1829 года). Моцарту, не Бетховену. Гёте знал, что говорил: в XIX столетии это гётевское редкостное сочетание серьезного и несерьезного, настоящего и кукольного в таком произведении, вызывавшем к себе благоговейные чувства, плохо воспринималось; невольно делали крен в сторону «чистого» и тяжеловесного глубокомыслия (если вторую часть «Фауста» вообще достаивали уразумения, что тогда бывало редко!). Два великих композитора XIX века, которые целиком положили на музыку финал «Фауста», – Роберт Шуман в «Сценах из „Фауста“ Гёте» и Густав Малер в Восьмой симфонии (уже в начале XX века) – делали естественный для них упор на возвышенно-патетической, священной, экстатической стороне сюжета и текста. И все это есть у Гёте, но воедино с этим сходится колкость, острота, смех – и целое множество неуловимо музыкальных и неуловимо своеобразных, при всей своей отчетливости, интонаций. Все они вместе вовсе не устремлены – напрямик – в неземное, но органично и естественно связывают небесное с земным, вечное с преходящим, небеса и скалы, воду колодца и воду вечную. Куда бы ни заносила фантазия, всегда надо чувствовать, осязать у Гёте ненастоящую, бутафорскую сторону всех предметов – вроде «адской пасти», какую велит принести Мефистофель чертям. От «ненастоящего» – и гётевское *настоящее*, серьезное и суровое, как он его задумывал: все про-

исходящее – это пример, притча, задача мысли. «Фауст» – не трагедия, поэма! Нет, не поэма – это театр! Нет, то и другое, вложенное в особое единство. Сколько бы ни было стилизованного в заключительной сцене «Фауста», она для Гёте прежде всего была очень *естественной* – ее, по католическим образцам, создавал «твердый в Библии» протестант. Она была естественной уже потому, что представляла собою настоящий апофеоз образности, языка мифа, символа, аллегии, которыми пользовался автор поэмы-трагедии, с тысячью ее проносящихся мимо образов-олицетворений.

«Фауст» охватывает *все* бытие – в представительных образах. Создававшийся беспримерно долго, «Фауст» – это *целое*. Не то, что называют органическим целым, а целое высказывание об органическом бытии мира. В нем внешнему сюжету отведена вторая роль, а первая – охватывающему все в мире принципу роста-восхождения вверх, ввысь, к лучшему, к самосовершенствованию. На языке «Фауста» – это Эрос, Любовь. Сюжет *представляет* идею «Фауста», как актер представляет персонаж, как кукла – живого человека. «Фауст» весь, в целом, есть образ растущего к своему самоосуществлению бытия – человеческого, культурного, общественного.

А как *форма* целого «Фауст» не столько «органичен», сколько «сверхорганичен»; нечто обычное в нем – разрыв внешних связей, резкая смена сцен и образов, перелет через времена, череда персонажей, реальных, мифологических, аллегорических. Сцены-шествия, маскарады – первоочередной для «Фауста» способ разворачивания материала. Такой принцип, еще сгущенный в «Вальпургиевой ночи», в «Классической Вальпургиевой ночи» и других подобных сценах (*самые* органические части «Фауста!»), пронизывает все произведение. Поэма и трагедия «Фауст» есть *представление*, в котором действуют люди и идеи.

Неисчерпаемое по красоте и глубине создание немецкого поэта-мыслителя, «Фауст» содержит в себе не готовую истину, но показательный урок ее достижения. *Вечное* создание – по общезначимости поэтической мысли; в нем – общение с истиной, истиной недостижимой, трагический опыт стремления к ней. К счастью для русского читателя (если он не знает немецкого языка), у нас есть «Фауст», переведенный Борисом Пастернаком. Этот перевод настолько полно и точно передает, в совсем иной языковой стихии, стиль и смысл подлинника, насколько это возможно для поэта, который начинает не с «буквы» текста, который творчески воссоздает поэтическую высоту оригинала.

(Михайлов А. В. Гёте, Поэзия, «Фауст» // Михайлов А. В. Обратный перевод. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 649–656)

### Вопросы и задания

1. В чем, по мнению автора статьи, заключается своеобразие и главное достоинство лирики Гёте?
2. Какова, с точки зрения А. В. Михайлова, мера сочетания знания, непосредственного излияния чувств и стиховой техники в лирике Гёте?
3. Что, по мнению автора статьи, было квинтэссенцией смысла «Фауста»?
4. Как вы понимаете высказывание А. В. Михайлова: «„Фауст“ – это трагедия не с „хорошим“, но с положительным завершением»?
5. В чем, по мнению автора статьи, главное достоинство перевода «Фауста», выполненного Б. Л. Пастернаком? Какие еще переводы «Фауста» на русский язык вам известны? Сравните отрывки из «Фауста», приведенные в «Хрестоматии», с соответствующими фрагментами текста в переводах Н. А. Холодковского и К. А. Иванова.



## Библиографический список

- Аникст А. А.* «Страдания юного Вертера» // Аникст А. А. Творческий путь Гёте. М.: Художественная литература, 1986. С. 113–132.
- Андреев М. Л.* Карло Гольдони // История литературы Италии. Т. 3: Барокко и Просвещение / отв. ред. М. Л. Андреев. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Ч. 2. Гл. 6. С. 480–510.
- Андреев М. Л.* Карло Гоцци // История литературы Италии. Т. 3: Барокко и Просвещение / отв. ред. М. Л. Андреев. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Ч. 2. Гл. 7. С. 511–535.
- Артёмьева Т. В.* Случай Руссо: исповедь или эксгибиционизм? // Метафизика исповеди: Пространство и время исповедального слова: материалы междунар. конф. (С.-Петербург, 26–27 мая 1997 г.). СПб.: Изд-во Ин-та человека РАН (СПб. отд.), 1997. С. 61–67.
- Аствацатуров А. Г.* История и культура через призму критики // Аствацатуров А. Г. Поэзия. Философия. Игра: Герменевтическое исследование творчества И. В. Гёте, Ф. Шиллера, В. А. Моцарта, Ф. Ницше. [Раздел] I V. [Гл.] 1. СПб.: Геликон Плюс, 2010. С. 275–282.
- Атарова К. Н.* Лоренс Стерн и его «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии»: учебн. пособие. М.: Высшая школа, 1988. 95 с.
- Вацуро В. Э.* «Сельское кладбище» и поэтика «кладбищенской элегии» // Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб.: Наука, 1994. Гл. 3. С. 48–73.
- Виппер Ю. Б.* Два шедевра французской прозы XVIII века // Виппер Ю. Б. Творческие судьбы и история: (О западноевропейских литературах XVI – первой половины XIX века). М.: Художественная литература, 1990. С. 239–261.
- Гёте И. В.* Из моей жизни: Поэзия и правда. Кн. 7 // Гёте И. В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 3: Из моей жизни: Поэзия и правда / пер. Н. Ман. М.: Художественная литература, 1976. С. 217–259.
- Голенищев-Кутузов И. Н.* Эстетические воззрения Вико // Голенищев-Кутузов И. Н. Литературные теории Италии XVII–XIX веков // Голенищев-Кутузов И. Н. Романские литературы: статьи и исследования. М.: Наука, 1975. С. 349–352.
- Грандель Ф.* Бомарше / пер. с фр. Л. Зониной, Л. Лунгиной; [вступ. ст. С. Козлова]. 2-е изд. М.: Книга, 1985. 396 с. (Жизнь в искусстве).
- Гунст Е. А.* Жизнь и творчество аббата Прево // Прево А.-Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско / пер. М. А. Петровского; изд. подгот. М. В. Вахтерова, Е. А. Гунст. 2-е изд. М.: Наука, 1978. С. 221–268.
- Данилевский Р. Ю.* Виланд и его «История абдеритов» // Виланд К. М. История абдеритов / изд. подгот. Г. С. Слободкин, Р. Ю. Данилевский. М.: Наука, 1978. С. 221–244.
- Елистратова А. А.* Поздний Смоллет // Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. М.: Наука, 1966. Гл. VIII. С. 361–397.
- Елистратова А. А.* Ричардсон // Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. М.: Наука, 1966. Гл. III. С. 155–214.
- Елистратова А. А.* Роберт Бёрнс. М.: ГИХЛ, 1957. 157 с.
- Ермоленко Г. Н.* Формы и функции иронии в философской прозе Вольтера // XVIII век: Искусство жить и жизнь искусства: сб. научн. работ / МГУ им. М. В. Ломоносова; отв. ред. Н. Т. Пахсарьян. М.: Экон-Информ, 2004. С. 82–92.
- Жирмунская Н. А.* Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историзм Просвещения // Жирмунская Н. А. От барокко к романтизму: статьи о французской и немецкой литературах. СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2001. С. 255–265.
- Зверев А. М.* Поэт Американской революции: Творчество Филипа Френо и проблема сентиментализма в литературе США // Истоки и формирование американской национальной литературы XVII–XVIII вв. / отв. ред. Я. Н. Засурский. М.: Наука, 1985. С. 261–278.

*Ингер А. Г.* Оливер Голдсмит (1728–1774) // Голдсмит О. Избранное. М.: Художественная литература, 1978. С. 3–20.

*Кагарлицкий Ю. И.* Ричард Бринсли Шеридан // Шеридан Р. Б. Драматические произведения. М.: Искусство, 1956. С. 3–32.

*Коренева М. М.* Бенджамин Франклин // История литературы США. Т. 1: Литература колониального периода и эпохи Войны за независимость XVII–XVIII вв. М.: Наследие, 1997. С. 385–427.

*Левидов М. Ю.* Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях. М.: Книга, 1986. 287 с.

*Лукьянец И. В.* Романы Д. Дидро «Монахиня» и «Жак-Фаталист» // Лукьянец И. В. Французский роман второй половины XVIII века: (автор, герой, сюжет). СПб.: СПбГУК, 1999. Гл. 3. С. 107–147.

*Мирский Д. П.* «Робинзон Крузо» // Мирский Д. П. Статьи о литературе. М.: Художественная литература, 1987. С. 90–98.

*Михайлов А. Д.* Вольтер после 1749 года // История всемирной литературы: в 9 т. / АН СССР. ИМЛИ им. А. М. Горького. Т. 5. М.: Наука, 1988. С. 119–129.

*Михайлов А. В.* Гёте и отражения античности в немецкой культуре на рубеже XVIII–XIX вв. // Михайлов А. В. Языки культуры: учебн. пособие по культурологии. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 564–595.

*Михайлов А. В.* Гёте, Поэзия, «Фауст» // Михайлов А. В. Обратный перевод. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 649–656.

*Обломиевский Д. Д.* Руссо // История всемирной литературы: в 9 т. / АН СССР. ИМЛИ им. А. М. Горького. Т. 5. М.: Наука, 1988. С. 137–144.

*Пауэлл Дж. Х.* Война памфлетов / пер. с англ. В. Бернацкой // Литературная история Соединенных Штатов Америки / под ред. Р. Спиллера, У. Торпа, Т. Н. Джонсона, Г. С. Кэнби. Т. 1. М.: Прогресс, 1977. С. 179–194.

*Потницева Т. Н.* «Школа скандала» Р. Шеридана: Art for Art's Sake // Другой XVIII век: сб. научн. работ / под ред. Н. Т. Пахсарьян. М.: Экон-Информ, 2002. С. 141–149.

*Сапрыкина Е. Ю.* Витторио Альфьери // История литературы Италии. Т. 3: Барокко и Просвещение / отв. ред. М. Л. Андреев. М.: ИМЛИ РАН, 2012. Ч. 2. Гл. 7. С. 568–614.

*Соколянский М. Г.* О «романе большой дороги» // Соколянский М. Г. Западноевропейский роман эпохи Просвещения: проблемы типологии. Киев; Одесса: Головное изд-во изд. объединения «Вища школа», 1983. С. 58–72.

*Стадников Г. В.* Лессинг: литературная критика и художественное творчество. Л., 1987. 100 с.

*Стеценко Е. А.* Томас Джефферсон // История литературы США. Т. 1: Литература колониального периода и эпохи Войны за независимость XVII–XVIII вв. М.: Наследие, 1997. С. 509–538.

*Урнов Д. М.* Робинзон и Гулливер: Судьба двух литературных героев. М.: Наука, 1973. 88 с.

*Урнов М. В.* Даниэль Дефо / написано совм. с Д. М. Урновым // Урнов М. В. Вехи традиции в английской литературе. М.: Художественная литература, 1986. С. 73–89.

*Эткинд Е.* Франция под маской Испании // Эткинд Е. Ален Рене Лесаж (1668–1747) // Писатели Франции: сб. статей / сост. Е. Эткинд. М., 1964. С. 169–181.

*Starobinski J.* Montesquieu. Paris: Seuil, 1994. 220 p.

Коллектив авторов

**Зарубежная литература  
XVIII века. Хрестоматия**

«Санкт-Петербургский государственный университет»

2015

УДК 82(1-8)  
ББК 84(0)5-я7

### **Коллектив авторов**

Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия / Коллектив авторов — «Санкт-Петербургский государственный университет», 2015

ISBN 978-5-288-05639-0

Настоящее издание представляет собой первую часть практикума, подготовленного в рамках учебно-методического комплекса «Зарубежная литература XVIII века», разработанного сотрудниками кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета, специалистами в области национальных литератур. В издание вошли отрывки переводов из произведений ведущих английских, французских, американских, итальянских и немецких авторов эпохи Просвещения, позволяющие показать специфику литературного процесса XVIII века. Представленные тексты снабжены комментариями и методическими указаниями, позволяющими использовать пособие и при самостоятельной подготовке. Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению «Филология» и «Лингвистика».

УДК 82(1-8)  
ББК 84(0)5-я7

ISBN 978-5-288-05639-0

© Коллектив авторов, 2015  
© Санкт-Петербургский  
государственный университет, 2015

## Содержание

I. Английская литература	13
Даниель Дефо (ок. 1660–1731)	13
Удивительные приключения Робинзона Крузо,	13
Джонатан Свифт (1667–1745)	20
Путешествия в некоторые отдаленные страны света	20
Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана	
нескольких кораблей	
Часть первая: Путешествие в Лиллипутию	20
Часть вторая: Путешествие в Бробдингнейг	21
Часть третья: Путешествие в Лапуту, Бальнибарби,	25
Лаггнетт, Глаббоддриб и Японию	
Часть четвертая: Путешествие в страну Гуигнгнмов	29
Сэмюэл Ричардсон (1689–1761)	33
Кларисса, или история молодой леди,	33
Предисловие	33
Том IV	35
Генри Филдинг (1707–1754)	47
История Тома Джонса, найденыша	47
Книга первая, которая содержит о рождении	47
найденныша столько сведений, сколько необходимо	
для первоначального знакомства с ним читателя	
Книга вторая, заключающая в себе сцены	51
супружеского счастья в разные периоды жизни, а	
также другие происшествия в продолжение первых	
двух лет после женитьбы капитана Блайфила на мисс	
Бриджет Олверти	
Книга третья, заключающая в себе	54
достопамятнейшие события, происшедшие в	
семействе мистера Олверти с момента, когда	
Томми Джонсу исполнилось четырнадцать лет, и до	
достижения им девятнадцатилетнего возраста. Из	
этой книги читатель может выудить кое-какие мысли	
относительно воспитания детей	
Книга четвертая, охватывающая год времени	57
Книга седьмая, охватывающая три дня	58
Книга десятая, в которой история подвигается вперед	59
еще на двенадцать часов	
Книга семнадцатая, охватывающая три дня	61
Книга восемнадцатая, охватывающая около шести	62
дней	
Тобайас Смоллет (1721–1771)	66
Путешествие Хамфри Клинкера	66
Томас Грей (1716–1771)	75
Элегия, написанная на сельском кладбище	75
Лоренс Стерн (1713–1768)	79
Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена	79

Том первый	79
Глава VII	83
Глава VIII	84
Сентиментальное путешествие по Франции и Италии	95
1. Кале	96
2. Монах. Кале	96
3. Монах. Кале	97
4. Монах. Кале	98
5. Дезоближан. Кале	98
6. Предисловие в Дезоближане	98
7. Кале	101
8. На улице Кале	101
9. Двери сарая. Кале	102
10. Двери сарая. Кале	103
11. Табакерка. Кале	104
12. Двери сарая. Кале	105
13. На улице. Кале	105
14. Сарай. Кале	106
15. Сарай. Кале	107
16. Сарай. Кале	108
Оливер Голдсмит (1728–1774)	109
Векфильдский священник. История его жизни, написанная, как полагают, им самим	109
Предуведомление	109
Глава I	109
Глава XXII	111
Глава XXVIII	113
Глава XXIX	115
Опустевшая деревня	117
Ричард Бринсли Шеридан (1751-1816)	120
Школа злословия	120
Пролог	120
Действие четвертое	120
Роберт Бёрнс (1759-1796)	130
Песни и баллады	130
Был честный фермер мой отец	130
Честная бедность	132
Джон ячменное зерно	133
В горах мое сердце	134
Шотландская слава	135
Молитва святоши Вилли	136
Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом	138
Моему незаконнорожденному ребенку	139
Любовь	140
«Пробираясь до калитки...»	141
Ночлег в пути	141
Веселые нищие (Кантата)	143
«Я воспитан был в строю, а испытан я в бою...»	144

Дерево свободы	152
Эпиграммы	154
К портрету духовного лица	154
О происхождении одной особы	155
О плохих дорогах	155
Надпись на официальной бумаге, которая предписывала поэту «Служить, а не думать» (1793)	155
II. Французская литература	156
Ален Рене Лесаж (1668–1747)	156
Похождения Жиль Бласа из Сантильяны	156
Книга шестая	156
Шарль Луи де Секонда, Барон де Монтескьё (1689–1755)	162
Персидские письма	162
Письмо XI. Узбек к Мирзе в Испагань	162
Письмо XII. Узбек к нему же в Испагань	164
Письмо XIII. Узбек к нему же	165
Письмо XIV. Узбек к нему же	166
Письмо XXVI. Узбек к Роксане в испаганский сераль	166
Письмо XXIX. Рика к Иббену в Смирну	168
Письмо XXXVII. Узбек к Иббену в Смирну	169
Письмо XXXVIII. Рика к Иббену в Смирну	169
Письмо XLIV. Узбек к Реди в Венецию	170
Письмо LI. Наргум, персидский посол в Московии, к Узбеку в Париж	171
Письмо CXXI. Узбек к нему же	172
Письмо CLIII. Узбек к Солиму в испаганский сераль	174
Письмо CLIV. Узбек к своим женам в испаганский сераль	174
Письмо CLXI. Роксана к Узбеку в Париж	174
Антуан Франсуа Прево (1697–1763)	176
История Кавалера де Гриё и Манон Леско	176
Часть первая	177
Вольтер (1694–1778)	190
Орлеанская девственница[60]	190
Магомет	194
Действие второе	194
Кандид, или оптимизм	198
Глава Первая. Как был воспитан в прекрасном замке	198
Кандид и как он был оттуда изгнан	
Глава двадцать пятая	199
Глава тридцатая. Заключение	202
Дени Дидро (1713–1784)	205
Монахиня[74]	205
Жак-фаталист и его хозяин	219
Племянник Рамо	226
«Энциклопедия» Дидро и Даламбера (статьи)	237
Жан Жак Руссо (1712–1778)	246
Юлия, или Новая Элоиза	246
Предисловие	246

Письмо III. К Юлии	247
Записка. От Юлии	248
Письмо XVIII. От Юлии	248
Об общественном договоре, или Принципы политического права[105]	263
Глава I. Предмет этой первой книги	263
Глава II. О первых обществах	263
Глава III. О праве сильного	264
Глава IV. О рабстве	265
Глава VI. Об общественном соглашении	267
Глава VII. О суверене	269
Исповедь[110]	270
Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло (1741–1803)	276
Опасные связи, или Письма,	276
Письмо 141. От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону	279
Письмо 142. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей	280
Письмо 143. От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд	281
Письмо 144. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей	282
Письмо 145. От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону	283
Письмо 146. От маркизы де Мертей к кавалеру Дансени	284
Письмо 147. От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд	285
Письмо 151. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей	287
Письмо 152. От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону	288
Письмо 153. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей	289
Письмо 158. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей (вручено при ее пробуждении)	290
Письмо 159. От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону (записка)	291
Письмо 160. От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд	291
Письмо 161. От президентши де Турвель к... (продиктовано ею и написано рукой камеристки)	291
Письмо 162. От кавалера Дансени к виконту де Вальмону	292
Письмо 163. От господина Бертрана к госпоже де Розмонд	293
Пьер Огюстен Карон де Бомарше (1732-1799)	295
Севильский цирюльник (1775)	295
Женитьба Фигаро	297
Характеры и костюмы действующих лиц	299
III. Итальянская литература	301
Джамбаттиста Вико (1668–1744)	301
Основания новой науки об общей природе наций	301
Книга первая. Об установлении оснований	301
Книга четвертая. О поступательном движении, совершаемом нациями	302
Книга пятая. О возвращении человеческих вещей при возрождении наций времена второго варварства проясняются при помощи того, что мы знаем о древнем Варварстве	304
Чезаре Беккариа (1738–1794)	309



О преступлениях и наказаниях	309
Введение	309
§ VI. Соразмерность между преступлениями и наказаниями	313
§ VIII. Классификация преступлений	313
§ XI. Об общественном спокойствии	314
§ XII. Цель наказаний	315
§ XIV. Улики и формы суда	315
§ XV. Тайные обвинения	317
§ XVI. О пытке	317
§ XXVIII. О смертной казни	319
§ XLII. О науках	323
Карло Гольдони (1707-1793)	325
Кофейная	325
Акт первый	325
Карло Гоцци (1720-1806)	329
Любовь к трем апельсинам	329
Предисловие автора к пьесе «Любовь к трем апельсинам»	329
Пролог	330
Действие первое	333
Действие второе	336
Действие третье	341
Витторио Альфьери (1749-1803)	347
Орест	347
Действие первое	347
Действие пятое	358
IV. Американская литература	372
Бенджамин Франклин (1706–1790)	372
Автобиография	372
Томас Джефферсон (1743–1826)	393
Декларация представителей Соединенных Штатов Америки, собравшихся на общий конгресс	393
Заметки о штате Виргиния	396
Вопрос IV[154]. Горы. Сведения о горах штата	396
Вопрос XI. Аборигены. Описание индейцев, обитающих в данном штате	399
Вопрос XV. Колледжи, здания и дороги. Колледжи и общественные учреждения, дороги, здания и т. п.	402
Вопрос XVIII. Обычай и нравы	405
Филип Френо (1752–1832)	407
Монолог Георга Третьего	407
Брошенный муж	409
Стансы при виде деревенской гостиницы, разрушенной бурей	410
Дикая жимолость	411
V. Немецкая литература	413
Фридрих Готлиб Клопшток (1724–1803)	413
Мессиада	413
I. Песнь неба	413

2. Аббадона	414
Герман и Туснельда	418
Ранние гробницы	419
Цепь роз	419
Катание на коньках	420
Кристоф Мартин Виланд (1733–1813)	422
История абдеритов	422
Предуведомление	422
Глава первая. Предварительные сведения о происхождении города Абдеры и характере его обитателей	422
Глава вторая. Демокрит из Абдеры. Мог ли и в какой степени гордиться им его родной город?	424
Глава третья. Кто такой был Демокрит? Его путешествия. Он возвращается в Абдеру. Что он привозит с собой и как его там принимают. Экзамен, учиненный ему абдеритами, – образчик абдеритской беседы	426
Книга четвертая: Процесс из-за тени осла	428
Глава первая. Повод к процессу и <i>facti species</i> [187]	428
Глава вторая. Городской судья Филиппид выслушивает тяжущихся	429
Глава седьмая. Абдера разделяется на две партии. Дело рассматривается советом	431
Глава восьмая. Отличный порядок в абдерской канцелярии. Судебный опыт прошлого нисколько не помогает. Народ собирается штурмовать ратушу, но его успокаивает Агатирс. Сенат решает передать дело Большому совету	432
Глава шестнадцатая. Неожиданная развязка всей комедии и восстановление спокойствия в Абдере	433
Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781)	435
Семнадцатое письмо: 16 февраля 1759 г.	435
Лаокоон, или О границах живописи и поэзии	436
Предисловие	436
Эмилия Галотти	446
Действие первое	447
Действие второе	451
Действие третье	453
Действие четвертое	456
Действие пятое	459
Натан Мудрый	462
Действие третье	462
Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803)	468
Идеи к философии истории человечества	468
Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях древних народов	471
Посвящение к «народным песням»	472
Разговор о невидимо-видимом обществе	473

Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751-1792)	478
Моему сердцу	478
Фридрих Максимилиан Клиндер (1752-1831)	479
Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад	479
Глава 6	479
Готфрид Август Бюргер (1747-1794)	483
Ленора[199]	483
Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер (1759-1805)	490
Дружба	490
Гений	491
Брут и Цезарь	493
Помпея и Геркуланум	494
Заговор Фиеско в Генуе	496
Явление XVII	496
Тридцатилетняя война	498
Часть первая	498
Разбойники	500
История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества	501
О Применении хора в трагедии	504
Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749–1832)	506
Ко дню Шекспира	506
Свидание и разлука	508
Майская песня	509
Прометей	510
Гец фон Берлихинген	512
Действие третье	512
Действие пятое	513
Страдания юного Вертера	516
Границы человечества	521
Божественное	522
Ночная песнь странника I	523
Ночная песнь странника II	523
Торквато Тассо	524
Действие первое	524
Действие третье	535
Римские элегии	550
Годы учения Вильгельма Мейстера	551
«В тысяче форм ты можешь притаиться...»	556
Фауст	557
Посвящение	557
Первая часть	558
Лесная пещера	563
Большой двор перед дворцом	567
Иммануил Кант (1724–1804)	570
Критика чистого разума	570
Введение	570
Ответ на вопрос: что такое просвещение?	571
Основы метафизики нравственности	571

Раздел первый. Переход от обыденного нравственного познания из разума к философскому	571
Библиографический список	575

# **Зарубежная литература XVIII века. Хрестоматия**

© С. -Петербургский государственный университет, 2015

\* \* \*

## I. Английская литература

### Даниель Дефо (ок. 1660–1731)

#### Предтекстовое задание:

Прочитайте нижеприведенные отрывки из романа Д. Дефо «Приключения Робинзона Крузо» (1719) и на основе прочитанного опишите характер героя, отметив его основные черты.

**Удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим**  
*Перевод под ред. А. А. Франковского*

Мое положение представилось мне в самом мрачном свете. Меня забросило бурей на необитаемый остров, который лежал далеко от места назначения нашего корабля и за несколько сот миль от обычных торговых морских путей, и я имел все основания прийти к заключению, что так было предопределено небом, чтобы здесь, в этом печальном месте, в безвыходной тоске одиночества я и окончил свои дни. Обильные слезы струились у меня из глаз, когда я думал об этом, и не раз недоумевал я, почему провидение губит свои же творения, бросает их на произвол судьбы, оставляет без всякой поддержки и делает столь безнадежно несчастными, повергает в такое отчаяние, что едва ли можно быть признательным за такую жизнь.

Но всякий раз внутренний голос быстро останавливал во мне эти мысли и укорял за них. Особенно помню я один такой день. В глубокой задумчивости бродил я с ружьем по берегу моря. Я думал о своей горькой доле. И вдруг заговорил во мне голос разума. «Да, – сказал этот голос, – положение твое незавидно: ты одинок – это правда. Но вспомни: где те, что были с тобой? Ведь вас село в лодку одиннадцать человек: где же остальные десять? Почему они погибли? За что тебе такое предпочтение? И как ты думаешь, кому лучше: тебе или им?» И я взглянул на море. Так во всяком зле можно найти добро, стоит только подумать, что могло случиться и хуже.

Тут я ясно представил себе, как хорошо я обеспечил себя всем необходимым и что было бы со мной, если бы случилось (а из ста раз это случается девяносто девять)... если бы случилось, что наш корабль остался на той отмели, куда его прибило сначала, если бы потом его не пригнало настолько близко к берегу, что я успел захватить все нужные мне вещи. Что было бы со мной, если бы мне пришлось жить на этом острове в тех условиях, в каких я провел на нем первую ночь, – без крова, без пищи и без всяких средств добыть то и другое? В особенности, – громко рассуждал я сам с собой, – что стал бы я делать без ружья и без зарядов, без инструментов? Как бы я жил здесь один, если бы у меня не было ни постели, ни клочка одежды, ни палатки, где бы можно было укрыться? Теперь же все это было у меня и всего вдоволь, и я даже не боялся смотреть в глаза будущему: я знал, что к тому времени, когда выйдут мои заряды и

порох, у меня будет в руках другое средство добывать себе пищу. Я проживу без ружья сносно до самой смерти.

В самом деле, с самых же первых дней моего житья на острове я задумал обеспечить себя всем необходимым на то время, когда у меня не только истощится весь мой запас пороху и зарядов, но и начнут мне изменять здоровье и силы.

<...>

Между тем я принялся серьезно и обстоятельно обсуждать свое положение и начал записывать свои мысли – не для того, чтобы увековечить их в назидание людям, которые окажутся в моем положении (ибо таких людей едва ли нашлось бы много), а просто, чтобы высказать словами все, что меня терзало и мучило, и тем хоть сколько нибудь облегчить свою душу. Но как ни тягостны были мои размышления, рассудок мой начал мало-помалу брать верх над отчаянием. По мере сил я старался утешить себя тем, что могло бы случиться и хуже, и противопоставлял злу добро. С полным беспристрастием я, словно кредитор и должник, записывал все претерпеваемые мной горести, а рядом все, что случилось со мной отрадного.

## ЗЛО

Я заброшен судьбой на мрачный,  
необитаемый остров и не имею  
никакой надежды на избавление.

Я как бы выделен и отрезан от все-  
го мира и обречен на горе.

Я отдален от всего человечества; я  
отшельник, изгнанный из общест-  
ва людей.

У меня мало одежды, и скоро мне  
будет нечем прикрыть свое тело.

Я беззащитен против нападения  
людей и зверей.

Мне не с кем перемолвиться сло-  
вом и некому утешить меня.

## ДОБРО

Но я жив, я не утонул подобно всем  
моим товарищам.

Но зато я выделен из всего нашего  
экипажа: смерть пощадила одного  
меня, и тот, кто столь чудесным об-  
разом спас меня от смерти, может  
спасти меня и от моего безотрадно-  
го положения.

Но я не умер с голоду и не погиб  
в этом пустынном месте, где чело-  
веку нечем питаться.

Но я живу в жарком климате, где  
можно обойтись и без одежды.

Но остров, куда я попал, безлюден,  
и я не видел на нем ни одного хищ-  
ного зверя, как на берегах Африки.  
Что было бы со мной, если б меня  
выбросило на африканский берег?

Но бог чудесно пригнал наш ко-  
рабль так близко к берегу, что я не  
только успел запастись всем необ-  
ходимым для удовлетворения моих  
текущих потребностей, но и полу-  
чил возможность добывать себе  
пропитание до конца моих дней.

Запись эта с очевидностью показывает, что едва ли кто на свете попадал в более бед-  
ственное положение, и тем не менее оно содержало в себе как отрицательные, так и положи-  
тельные стороны, за которые следовало быть благодарным – горький опыт человека, изведав-  
шего худшее несчастье на земле, показывает, что у нас всегда найдется какое-нибудь утешение,  
которое в счете наших бед и благ следует записать на приход.

Итак, вняв голосу рассудка, я начинал мириться со своим положением. Прежде я поми-  
нутно смотрел на море в надежде, не покажется ли где-нибудь корабль; теперь я уже покончил  
с напрасными надеждами и все свои помыслы направил на то, чтобы по возможности облег-  
чить свое существование.

<...>

А сколько разнообразных дел мне пришлось переделать; пока мой хлеб рос и созревал,  
надо было обнести поле оградой, караулить его, потом жать, убирать, молотить (т. е. перетирать  
в руках колосья, чтобы отделить зерно от мякины). Потом мне нужны были: мельница, чтобы



смолоть зерно, сита, чтобы просеять муку, соль и дрожжи, чтобы замесить тесто, печь, чтобы выпечь хлеб. И, однако, как увидит читатель, я обошелся без всех этих вещей. Иметь хлеб было для меня неоцененной наградой и наслаждением. Все это требовало от меня тяжелого и упорного труда, но иного выхода не было. Время мое было распределено, и я занимался этой работой несколько часов ежедневно. А так как я решил не расходовать зерна до тех пор, пока его не накопится побольше, то у меня было впереди шесть месяцев, которые я мог всецело посвятить изобретению и изготовлению орудий, необходимых для переработки зерна в хлеб. Но сначала надо было приготовить под посев более обширный участок земли, так как теперь у меня было столько семян, что я мог засеять больше акра<sup>1</sup>. Еще прежде я сделал лопату, что отняло у меня целую неделю. Новая лопата доставила мне одно огорчение: она была тяжела, и ею было вдвое труднее работать. Как бы то ни было, я вскопал свое поле и засеял два больших и ровных участка земли, которые я выбрал как можно ближе к моему дому и обнес частоколом из того дерева, которое так легко принималось. Таким образом, через год мой частокол должен был превратиться в живую изгородь, почти не требующую исправления. Все вместе – распашка земли и сооружение изгороди – заняло у меня не менее трех месяцев, так как большая часть работы пришлось на дождливую пору, когда я не мог выходить из дому.

В те дни, когда шел дождь и мне приходилось сидеть в пещере, я делал другую необходимую работу, стараясь между делом развлекаться разговорами со своим попугаем. Скоро он уже знал свое имя, а потом научился довольно громко произносить его. «Попка» было первое слово, какое я услышал на моем острове, так сказать, из чужих уст. Но разговоры с Попкой, как уже сказано, были для меня не работой, а только развлечением в труде. В то время я был занят очень важным делом. Давно уже я старался тем или иным способом изготовить себе глиняную посуду, в которой я сильно нуждался; но совершенно не знал, как осуществить это. Я не сомневался, что сумею вылепить что-нибудь вроде горшка, если только мне удастся найти хорошую глину. Что же касается обжигания, то я считал, что в жарком климате для этого достаточно солнечного тепла и что, посохнув на солнце, посуда будет настолько крепка, что можно будет брать ее в руки и хранить в ней все припасы, я которые надо держать в сухом виде. И вот я решил вылепить несколько штук кувшинов, возможно большего размера, чтобы хранить в них зерно, муку и т. п.

<...>

В самом деле, я ушел от всякой мирской скверны; у меня не было ни плотских искушений, ни соблазна очей, ни гордости жизни. Мне нечего было желать, потому что я имел все, чем мог наслаждаться. Я был господином моего острова или, если хотите, мог считать себя королем или императором всей страны, которой я владел. У меня не было соперников, не было конкурентов, никто не оспаривал моей власти, я ни с кем ее не делил. Я мог бы нагрузить целые корабли, но мне это было не нужно, и я сеял ровно столько, чтобы хватило для меня. У меня было множество черепашек, но я довольствовался тем, что изредка убивал по одной. У меня было столько лесу, что я мог построить целый флот, и столько винограду, что все корабли моего флота можно было бы нагрузить вином и изюмом.

Я придавал цену лишь тому, чем мог как-нибудь воспользоваться. Я был сыт, потребности мои удовлетворялись, – для чего же мне было все остальное? Если б я настрелял больше дичи или посеял больше хлеба, чем был бы в состоянии съесть, мой хлеб заплесневел бы в амбаре, а дичь пришлось бы выкинуть или она стала бы добычей червей. Срубленные мною деревья гнили; я мог употреблять их только на топливо, а топливо мне было нужно только для приготовления пищи.

Одним словом, природа, опыт и размышление научили меня понимать, что мирские блага ценны для нас лишь в той степени, в какой они способны удовлетворять наши потребно-

---

<sup>1</sup> Акр – единица площади, равная 4047 м<sup>2</sup>.

сти, и что сколько бы мы ни накопили богатств, мы получаем от них удовольствие лишь в той мере, в какой можем использовать их, но не больше. Самый неисправимый скряга вылез из себя от своего порока, если бы очутился на моем месте и не знал, как я, куда девать свое добро. Повторяю: мне было нечего желать, если не считать некоторых вещей, которых у меня не было, все разных мелочей, однако очень нужных для меня. Как я уже сказал, у меня было немного денег, серебра и золота – всего около тридцати шести фунтов стерлингов. Увы, они лежали, как жалкий, ни на что негодный хлам: мне было некуда их тратить. С радостью отдал бы я пригоршню этого металла за десяток трубок для табаку или ручную мельницу, чтобы размалывать свое зерно! Да что я! – я отдал бы все эти деньги за шестипенсовую пачку семян репы и моркови, за горсточку гороху и бобов или за бутылку чернил. Эти деньги не давали мне ни выгод, ни удовольствия. Так и лежали они у меня в шкафу и в дождливую погоду плесневели от сырости моей пещеры. И будь у меня полон шкаф брильянтов, они точно так же не имели бы для меня никакой цены, потому что были бы совершенно не нужны мне.

Мне жилось теперь гораздо лучше, чем раньше, и в физическом, и в нравственном отношении. Садясь за еду, я часто исполнялся глубокой признательности к щедротам провидения, уготовившего мне трапезу в пустыне. Я научился смотреть больше на светлые, чем на темные стороны моего положения, и помнить больше о том, что у меня есть, чем о том, чего я лишен. И это доставляло мне минуты невыразимой внутренней радости. Я говорю об этом для тех несчастных людей, которые никогда ничем не довольны, которые не могут спокойно наслаждаться дарованными им благами, потому что им всегда хочется чего-нибудь такого, чего у них нет. Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают, мне кажется, от недостатка благодарности за то, что мы имеем.

Целыми часами, – целыми днями, можно оказать, – я в самых ярких красках представлял себе, что бы я делал, если бы мне ничего не удалось спасти с корабля. Моей единственной пищей были бы рыбы и черепахи. А так как прошло много времени, прежде чем я нашел черепах, то я просто умер бы с голоду. А если бы не погиб, то жил бы, как дикарь. Ибо допустим, что мне удалось бы когда-нибудь убить козу или птицу, я все же не мог бы содрать с нее шкуру, разрезать и выпотрошить ее. Я бы принужден был кусать ее зубами и разрывать ногтями, как дикий зверь.

После таких размышлений я живее чувствовал благодать ко мне провидения и от всего сердца благодарил бога за свое настоящее положение со всеми его лишениями и невзгодами. Пусть примут это к сведению все те, кто в горькие минуты жизни любит говорить: «Может ли что-нибудь горе сравниться с моим». Пусть они подумают, как много на земле людей несравненно несчастнее их и во сколько раз их собственное несчастье могло бы быть ужаснее, если бы то было угодно провидению.

Словом, если, с одной стороны, моя жизнь была безотраднее, то, с другой, я должен был быть благодарен уже за то, что живу; а чтобы сделать эту жизнь вполне счастливой, мне надо было только постоянно помнить, как добр и милостив Господь, пекущийся обо мне. И когда я беспристрастно взвесил все это, я успокоился и перестал грустить.

### **Вопросы и задания:**

1. Как проявляется в этом отрывке просветительский оптимизм Дефо?
2. Считает ли герой добро и зло абсолютными категориями или ему присущ этический релятивизм? Каким образом рационалистическое мышление Робинзона помогает ему справиться с исключительной ситуацией, в которой он оказался?
3. Можно ли назвать образ жизни Робинзона на острове аскетическим?
4. Почему Дефо столь подробно описывает будни Робинзона на острове?
5. Каким образом созидательный труд оказывал влияние на внутреннее состояние Робинзона?

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Прочитайте фрагмент романа, описывающий разговор Робинзона и Пятницы о религии, обращая внимание на аргументацию, к которой прибегают собеседники.

В течение моей долгой совместной жизни с Пятницей, когда он научился обращаться ко мне и понимать меня, я не упускал случаев насаждать в его душе основы религии. Как-то раз я его спросил: «Кто тебя сделал?» Бедняга не понял меня: он подумал, что я спрашиваю, кто его отец. Тогда я взялся за него с другого конца: я спросил его, кто сделал море и землю, по которой мы ходим, кто сделал горы и леса. Он отвечал: «Старик по имени *Бенамуки*, который живет высоко-высоко». Он ничего не мог сказать мне об этой важной особе, кроме того, что он очень стар, гораздо старше моря и земли, старше луны и звезд. Когда же я спросил его, почему все существующее не поклоняется этому старику, если он создал все, лицо Пятницы приняло серьезное выражение, и он простодушно ответил: «Все на свете говорит ему: *О*». Затем я спросил его, что делается с людьми его племени, когда они уходят отсюда. Он сказал: «Все они идут к *Бенамуки*». «И те, кого они съедают, – продолжал я, – тоже идут к *Бенамуки*?» «Да», – отвечал он.

Так начал я учить его познавать истинного бога. Я сказал ему, что великий творец всего сущего живет на небесах (тут я показал рукой на небо) и правит миром... тем же провидением, каким он создал его, что он всемогущ, может сделать с нами все, что захочет, все дать и все отнять. Так постепенно я открывал ему глаза. Он слушал с величайшим вниманием. С радостным умилением принял он мой рассказ об Иисусе Христе, посланном на землю для искупления наших грехов, о наших молитвах богу, который всегда слышит нас, хоть он и на небесах. Один раз он сказал мне: «Если ваш бог живет выше солнца и все-таки слышит вас, значит он больше *Бенамуки*, который не так далеко от нас и все-таки слышит нас только с высоких гор, когда мы поднимаемся, чтобы разговаривать с ним». «А ты сам ходил когда-нибудь на те горы беседовать с ним?» спросил я. «Нет, – отвечал он, – молодые никогда не ходят, только старики, которых мы называем *Увокеки* (насколько я мог понять из его объяснений, их племя называет так свое духовенство или жрецов). *Увокеки* ходят туда и говорят там: «*О!*» (на его языке это означало: молятся), а потом приходят домой и возвещают всем, что им говорил *Бенамуки*». Из всего этого я заключил, что обман практикуется духовенством даже среди самых невежественных язычников и что искусство облекать религию тайной, чтобы обеспечить почтение народа к духовенству, изобретено не только в Риме, но, вероятно, всеми религиями на свете.

Я всячески старался объяснить Пятнице этот обман и сказал ему, что уверения их стариков, будто они ходят на горы говорить «*О*» богу *Бенамуки* и будто он возвещает им там свою волю, – пустые враки, и что если они и беседуют с кем-нибудь на горе, так разве со злым духом. Тут я подробно распространился о дьяволе, о его происхождении, о его восстании против бога, о его ненависти к людям и причинах ее; рассказал, как он выдает себя за бога среди народов, не просвещенных словом божьим, и заставляет их поклоняться ему; к каким он прибегает уловкам, чтобы погубить человеческий род, как он тайком проникает в нашу душу, потакая нашим страстям, как он умеет ставить нам западни, приспособляясь к нашим склонностям и заставляя таким образом человека быть собственным своим искусителем и добровольно идти на гибель. <...>

Беседы с Пятницей до такой степени наполняли все мои свободные часы, и так тесна была наша дружба, что я не заметил, как пролетели последние три года моего искуса, которые мы прожили вместе. Я был вполне счастлив, если только в подлунном мире возможно полное счастье. Дикарь стал добрым христианином – гораздо лучшим, чем я; надеюсь, впрочем, и

благодарю за это создателя, что, если я был и грешнее этого дитяти природы, однако мы оба одинаково были в покаянном настроении и уповали на милосердие божие. Мы могли читать здесь слово божие, и, внимая ему, мы были так же близки богу, как если бы жили в Англии.

Что касается разных тонкостей в истолковании того или другого библейского текста, тех богословских комментариев, из-за которых возгорелось столько опоров и вражды, то нас они не занимали. Так же мало интересовались мы вопросами церковного управления и тем, какая церковь лучше. Все эти частности нас не касались, да и кому они нужны? Я, право, не вижу, какая польза была бы нам от того, что мы изучили бы все спорные пункты нашей религии, породившие на земле столько смуты, и могли бы высказать свое мнение по каждому из них. Слово божие было нашим руководителем на пути к спасению, а может ли быть у человека более надежный руководитель?

**Вопросы и задания:**

1. В данном отрывке Робинзон Крузо вступает в качестве христианского миссионера. На чем основывается критика, которой Робинзон подвергает языческую религию Пятницы?
2. Насколько тверды христианские убеждения Робинзона?
3. С какой целью Дефо заставляет Робинзона беседовать о религии с дикарем? Для чего автору понадобилось проводить сопоставление языческой и христианской религии?
4. Каким образом Дефо подводит читателя к сомнению во всемогуществе Бога? Какова природа религиозного скептицизма Дефо?

## Джонатан Свифт (1667–1745)

### Предтекстовое задание:

Ознакомьтесь с предложенными ниже фрагментами романа Дж. Свифта «Путешествия Гулливера» (1721–1725) и прокомментируйте сатирическую направленность каждого из них.

### Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей *Перевод под ред. А. А. Франковского*

#### Часть первая: Путешествие в Лиллипутию

#### Глава IV

«...» Однажды утром, спустя две недели после моего освобождения, ко мне приехал, в сопровождении только одного лакея, Рельдресель, главный секретарь (как его титулуют здесь) по тайным делам. Приказав кучеру ожидать в сторонке, он попросил меня уделить ему один час и выслушать его. Я охотно согласился на это, потому что мне были известны как его личные высокие качества, так и услуги, оказанные им мне при дворе. Я хотел лечь на землю, чтобы его слова могли легче достигать моего уха, но он предпочел находиться во время нашего разговора у меня на руке. Прежде всего он поздравил меня с освобождением, заметив, что в этом деле и ему принадлежит некоторая заслуга; хотя, надо сказать правду, – добавил он, – вы получили так скоро свободу только благодаря настоящему положению наших государственных дел. Каким бы блестящим ни казалось иностранцу это положение, сказал секретарь, однако наш государственный организм разъедают две страшные язвы: внутренние раздоры партий и угроза нашествия внешнего могущественного врага. Что касается первого зла, то надо вам сказать, что около семидесяти лун тому назад в империи образовались две враждующие партии, известные под названием Тремексенов и Слемексенов, от высоких и низких каблуков на башмаках, при помощи которых они отличаются друг от друга. Хотя многие доказывают, будто высокие каблуки всего более согласуются с нашими древними государственными установлениями, но, как бы там ни было, его величество находит, что вся администрация, а равно и все должности, раздаваемые короной, должны находиться только в руках низких каблуков, на что вы, наверное, обратили внимание. Вы, должно быть, заметили также, что каблуки на башмаках его величества на один дрерр ниже, чем у всех придворных (дрерр равняется четырнадцатой части дюйма<sup>2</sup>). Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной не станут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что Тремексены, или высокие каблуки, превосходят нас числом, но власть всецело принадлежит нам. С другой стороны, у нас есть основания опасаться, что его императорское высочество, наследник престола, имеет некоторое расположение к высоким каблукам; по крайней мере, нетрудно заметить, что один каблук у него выше другого, вследствие чего походка его высочества прихрамывающая. И вот, среди этих внутренних несогласий, в настоящее время нам грозит нашествие со стороны соседнего острова Блефуску – другой великой империи во вселенной, почти такой же

---

<sup>2</sup> Дюйм равен 2,5 сантиметрам.

обширной и могущественной, как империя его величества. И хотя вы утверждаете, что на свете существуют другие королевства и государства, населенные такими же громадными людьми, как вы, однако наши философы сильно сомневаются в этом: они скорее готовы допустить, что вы упали с луны или с какой-нибудь звезды, так как несомненно, что сто смертных вашего роста в самое короткое время могли бы истребить все плоды и весь скот обширных владений его величества. С другой стороны, наши летописи за шесть тысяч лун не упоминают ни о каких других государствах, кроме двух великих империй – Лиллипутии и Блефуску.

Итак, эти две могущественные державы ведут между собой ожесточеннейшую войну в продолжение тридцати шести лун. Поводом к войне послужили следующие обстоятельства. Все держатся того мнения, что вареное яйцо, при употреблении его в пищу, следует разбивать с тупого конца, и этот способ практикуется испокон веков; но дед нынешнего императора, будучи ребенком, порезал себе палец за завтраком, разбивая яйцо означенным способом. Тогда император, отец ребенка, обнародовал указ, предписывавший всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот закон до такой степени раздражил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой – корону. Описываемые гражданские смуты постоянно разжигались монархами Блефуску. При подавлении восстания изгнанные вожди всегда находили приют в этой империи. Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы только подчиниться повелению разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни томов, трактующих об этом вопросе, но книги, поддерживающие теорию тупого конца, давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путем нарушения основного догмата нашего великого пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвертой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем мы видим здесь только различное толкование одного и того же текста, подлинные слова которого гласят: *Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее.*

Решение же вопроса: какой конец признать более удобным, по моему скромному суждению, должно быть предоставлено совести каждого или, по крайней мере, решению верховного судьи империи. Изгнанные Тупоконечники возымели такую силу при дворе императора Блефуску и нашли такую поддержку и поощрение со стороны своих единомышленников внутри нашей империи, что в течение тридцати шести лун оба императора ведут кровавую войну с переменным успехом. В течение этого периода мы потеряли сорок линейных кораблей и огромное число мелких судов с тридцатью тысячами лучших наших моряков и солдат; полагают, что потери неприятеля еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый многочисленный флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне сделать вам настоящее изложение наших государственных дел.

## **Часть вторая: Путешествие в Бробдингнет**

### **Глава VI**

«...» Король, который, как я уже заметил, был монарх весьма тонкого ума, часто приказывал приносить меня в ящике к нему в кабинет и ставить на письменный стол. Затем он предлагал мне взять из ящика стул и сажал меня на расстоянии трех ярдов от себя на комод, почти на уровне своего лица. В таком положении мне часто случалось беседовать с ним. Однажды я осмелился заметить его величеству, что презрение, выражаемое им к Европе и всему осталь-

ному миру, не согласуется с высокими качествами его благородного ума; что умственные способности не возрастают пропорционально размерам тела, а, напротив, в нашей стране наблюдается, что самые высокие люди обыкновенно в наименьшей степени наделены ими; что среди животных пчелы и муравьи пользуются репутацией более изобретательных, искусных и смысленных, чем многие крупные породы, и что каким бы ничтожным я ни казался в глазах короля, все же я надеюсь, что рано или поздно мне представится случай оказать его величеству какую-нибудь важную услугу. Король слушал меня внимательно и после этих бесед стал гораздо лучшего мнения обо мне, чем прежде. Он просил меня сообщить ему возможно более точные сведения об английском правительстве, ибо, как бы ни были государи привязаны к обычаям своей страны (такое заключение о других монархах он сделал на основании прежних бесед со мной), во всяком случае, он был бы рад услышать что-нибудь, что заслуживало бы подражания.

Сам вообрази, любезный читатель, как страстно желал я обладать тогда красноречием Демосфена или Цицерона<sup>3</sup>, которое дало бы мне возможность прославить дорогое мне отечество в стиле, равняющемся его достоинствам и его величию. Я начал свою речь с сообщения его величеству, что наше государство состоит из двух островов, образующих три могущественных королевства под властью одного монарха<sup>4</sup>; к ним нужно еще прибавить наши колонии в Америке. Я долго распространялся о плодородии нашей почвы и умеренности нашего климата.

Потом я подробно рассказал об устройстве нашего парламента, в состав которого входит славный корпус, называемый палатой пэров<sup>5</sup>, лиц самого знатного происхождения, владеющих древнейшими и обширнейшими вотчинами. Я описал ту необыкновенную заботливость, с какой всегда относились к их воспитанию в искусствах и военном деле, чтобы подготовить их к положению советников короля и королевства, способных принимать участие в законодательстве; быть членами верховного суда, решения которого не подлежат обжалованию; благодаря своей храбрости, отменному поведению и преданности всегда готовых первыми выступить на защиту своего монарха и отечества. Я сказал, что эти люди являются украшением и оплотом королевства, достойными наследниками своих знаменитых предков, почести которых были наградой за их доблесть, неизменно наследуемую потомками до настоящего времени; что в состав этого высокого собрания входит некоторое количество духовных особ, носящих сан епископов, специальной обязанностью которых являются забота о религии и наблюдение за теми, кто научает ее истинам народ; что эти духовные особы отыскиваются и избираются королем и его мудрейшими советниками из среды духовенства всей нации как наиболее отличившиеся святостью своей жизни и глубиной своей учености; что они действительно являются духовными отцами духовенства и своего народа.

Другую часть парламента, – продолжал я, – образует собрание, называемое палатой общин, членами которой бывают знатнейшие дворяне, свободно избираемые из числа этого сословия самим народом, за их великие способности и любовь к своей стране, представлять мудрость всей нации. Таким образом, обе эти палаты являются самым величественным собранием в Европе, коему вместе с королем поручено все законодательство.

Затем я перешел к описанию судебных палат, руководимых судьями, этими почтенными мудрецами и толкователями законов, для разрешения тяжб, наказания порока и ограждения невинности. Я упомянул о бережливом управлении нашими финансами и о храбрых подвигах

---

<sup>3</sup> «...красноречием Демосфена или Цицерона...». Демосфен (около 384–322 гг. до н. э.) – древнегреческий оратор, прославившийся политическими речами, направленными против Филиппа Македонского («филиппиками»). Цицерон (106–43 до н. э.) – древнеримский мастер политического и судебного красноречия.

<sup>4</sup> «...наше государство состоит из двух островов, образующих три могущественных королевства под властью одного монарха...». На момент создания романа Англия с присоединенным к ней ранее княжеством Уэльс и Шотландия были объединены в Соединенное Королевство Великобритании (1707). Его монархи также являлись королями Ирландии со времен английского короля Генриха II, хотя колонизация Изумрудного острова Англией завершилась только в XVI в.

<sup>5</sup> Палата пэров – палата лордов, высшая палата британского парламента.

нашей армии как на суше, так и на море. Я назвал число нашего населения, подсчитав, сколько миллионов может быть у нас в каждой религиозной секте и в каждой политической партии. Я не умолчал также об играх и увеселениях англичан и вообще ни о какой подробности, если она могла, по моему мнению, служить к возвеличению моего отечества. И я закончил все кратким историческим обзором событий в Англии за последние сто лет.

Этот разговор продолжался в течение пяти аудиенций, из которых каждая заняла несколько часов. Король слушал меня очень внимательно, часто записывая то, что я говорил, и те вопросы, которые он собирался задать мне. Когда я окончил свое длинное повествование, его величество в шестой аудиенции, справясь со своими заметками, высказал целый ряд сомнений, недоумений и возражений по поводу каждого из моих утверждений. Он спросил, какие методы применяются для телесного и духовного развития знатного юношества и в какого рода занятиях проводит оно обыкновенно первую и наиболее переимчивую часть своей жизни. Какой порядок пополнения этого собрания в случае угасания какого-нибудь знатного рода? Какие качества требуются от тех, кто вновь возводится в звание лорда: не случается ли иногда, что эти назначения бывают обусловлены прихотью монарха, деньгами, предложенными придворной даме или первому министру, или желанием усилить партию, противную общественным интересам? Насколько основательно эти лорды знают законы своей страны и позволяет ли им это знание решать в качестве высшей инстанции дела своих сограждан? Действительно ли эти лорды всегда так чужды корыстолюбия, партийности и других недостатков, что на них не может подействовать подкуп, лесть и тому подобное? Действительно ли духовные лорды, о которых я говорил, возводятся в этот сан только благодаря их глубокому знанию религиозных доктрин и благодаря их святой жизни? Неужели во времена, когда они являлись простыми священниками, они не были подвержены никаким слабостям? Неужели нет среди них растленных капелланов какого-нибудь вельможи, мнениям которого они продолжают раболепно следовать и после того, как получили доступ в это собрание?

Затем король пожелал узнать, какая система практикуется при выборах тех депутатов, которых я назвал членами палаты общин: разве не случается, что чужой человек, с туго набитым кошельком, оказывает давление на избирателей, склоняя их голосовать за него вместо их помещика или наиболее достойного дворянина в околотке? Почему эти люди так страстно стремятся попасть в упомянутое собрание, если пребывание в нем, по моим словам, сопряжено с большим беспокойством и издержками, приводящими часто к разорению семьи, и не оплачивается ни жалованьем, ни пенсией? Такая жертва требует от человека столько добродетели и гражданственности, что его величество выразил сомнение относительно искренности подобного служения обществу. И он желал узнать, нет ли у этих ревнителей каких-нибудь видов вознаградить себя за понесенные ими тягости и беспокойство путем пожертвования общественного блага намерениям слабого и порочного монарха вкупе с его развращенными министрами. Он задал мне еще множество вопросов и выпытывал все подробности, касающиеся этой темы, высказав целый ряд критических замечаний и возражений, повторять которые я считаю неудобным и неблагоприятным повторять здесь. По поводу моего описания наших судебных палат его величеству было угодно получить разъяснения относительно нескольких пунктов. И я мог наилучшим образом удовлетворить его желание, так как когда-то был почти разорен продолжительным процессом в верховном суде, несмотря на то, что процесс был мной выигран с присуждением мне судебных издержек. Король спросил, сколько нужно времени для судебного решения, и с какими расходами сопряжено ведение процесса? Могут ли адвокаты и стряпчие выступать в судах ходатаями по делам заведомо несправедливым, в явное нарушение чужого права? Оказывает ли какое-нибудь давление на чашу весов правосудия принадлежность к религиозным сектам и политическим партиям? Получили ли упомянутые мной адвокаты широкое юридическое образование, или же они знакомы только с местными, провинциальными и национальными обычаями? Принимают ли какое-нибудь участие эти адвокаты,



а равно и судьи, в составлении тех законов, толкование и комментирование которых предоставлено их усмотрению? Не случалось ли когда-нибудь, чтобы одни и те же лица защищали такое дело, против которого в другое время они возражали, ссылаясь на прецеденты для доказательства противоположных мнений? Богатую или бедную корпорацию составляют эти люди? Получают ли они за свои советы и ведение тяжбы денежное вознаграждение? В частности, допускаются ли они в качестве членов в нижнюю палату?

Затем король обратился к нашим финансам. Ему казалось, что мне изменила память, когда я называл цифры доходов и расходов, так как я определил первые в пять или шесть миллионов в год, между тем как расходы, по моим словам, превышают иногда означенную цифру больше чем вдвое. Заметки, сделанные королем по этому поводу, были особенно тщательны, потому что, по его словам, он надеялся извлечь для себя пользу из знакомства с ведением наших финансов и не мог ошибиться в своих выкладках. Но раз мои цифры были правильны, то король недоумевал, каким образом государство может расточать свое состояние, как частный человек. Он спрашивал, кто наши кредиторы и где мы находим деньги для платежа долгов. Он был поражен, слушая мои рассказы о столь обременительных и затяжных войнах, и вывел заключение, что мы – или народ сварливый, или же окружены дурными соседями и что наши генералы, наверное, богаче королей. Он спрашивал, что за дела могут быть у нас за пределами наших островов, кроме торговли, дипломатических сношений и защиты берегов с помощью нашего флота. Особенно поразило короля то обстоятельство, что нам, свободному народу, необходима наемная регулярная армия в мирное время.

Но если у нас существует самоуправление, осуществляемое выбранными нами депутатами, то – недоумевал король, – кого же нам бояться и с кем воевать? И он спросил меня: разве не лучше может быть защищен дом каждого из граждан его хозяином с детьми и домашними, чем полдюжиной случайно завербованных на улице за небольшое жалованье мошенников, которые могут получить в сто раз больше, перерезав горло охраняемым ими лицам?

Король много смеялся над моей странной арифметикой (как угодно было ему выразиться), по которой я определил численность нашего народонаселения, сложив количество последователей существующих у нас религиозных сект и политических партий. Он не понимал, почему тот, кто исповедует мнения, пагубные для общества, должен изменить их и не имеет права держать их при себе. И если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости; в самом деле, можно не запрещать человеку держать яд в своем доме, но нельзя позволять ему продавать этот яд как лекарство.

Король обратил внимание, что в числе развлечений, которым предается наша знать и наше дворянство, я назвал азартные игры. Ему хотелось знать, в каком возрасте начинают играть и до каких лет практикуется это занятие; сколько времени отнимает оно; не приводит ли иногда увлечение им к потере состояния; не случается ли, кроме того, что порочные и низкие люди, изучив все тонкости этого искусства, игрой наживают большие богатства и держат подчас в зависимости от себя людей весьма знатных и что в то же время последние, находясь постоянно в презренной компании, отвлекаются от развития своих умственных способностей и бывают вынуждены благодаря своим проигрышам изучать все искусство ловкого мошенничества и применять его на практике.

Мой краткий исторический очерк Англии за последнее столетие поверг короля в крайнее изумление. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылки, являющихся худшим результатом жадности, партийности, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия.

В следующей аудиенции его величество взял на себя труд вкратце резюмировать все, о чем я говорил; он сравнивал свои вопросы с моими ответами; потом, взяв меня в руки и

тихо лаская, обратился ко мне со следующими словами, которых я никогда не забуду, как не забуду и самый тон, каким они были сказаны: «Мой маленький друг Грильдриг, вы произнесли удивительнейший панегирик вашему отечеству; вы ясно доказали, что невежество, леность и порок являются главными качествами, приличествующими законодателю; что законы лучше всего объясняются, истолковываются и применяются на практике теми, кто более всего заинтересован и способен извращать, запутывать и обходить их. В ваших учреждениях я усматриваю черты, которые в своей основе, может быть, и терпимы, но они наполовину истреблены, а в остальной своей части совершенно замараны и осквернены. Из сказанного вами не видно, чтобы для занятия у вас высокого общественного положения требовалось обладание какими-нибудь достоинствами; еще менее видно, чтобы люди жаловались высокими званиями на основании их добродетелей, чтобы духовенство получало повышение за свое благочестие или ученость, военные – за свою храбрость и благородное поведение, судьи – за свою неподкупность, сенаторы – за любовь к отечеству и государственные советники – за свою мудрость. Что касается вас самого (продолжал король), проведшего большую часть жизни в путешествиях, то я расположен думать, что до сих пор вам удалось избежать многих пороков вашей страны. Но резюме, сделанное мною на основании вашего рассказа, а также ответы, которых мне с таким трудом удалось добиться от вас, не могут не привести меня к заключению, что большинство ваших соотечественников есть выводок маленьких отвратительных пресмыкающихся, самых пагубных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности».

### **Часть третья: Путешествие в Лапуту, Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб и Японию**

#### **Глава V**

Великая Академия занимает не одно отдельное здание, а два ряда заброшенных домов по обеим сторонам улицы, где был раньше пустырь, купленный и застроенный исключительно для Академии.

Ректор Академии оказал мне благосклонный прием и я посещал Академию ежедневно в течение довольно продолжительного времени. Каждая комната заключала в себе одного или нескольких прожектеров, и я полагаю, что таких комнат в Академии не менее пятисот.

Первый ученый, которого я посетил, был тощий человечек с закопченным лицом и руками, с длинными всклокоченными и местами опаленными волосами и бородой. Его платье, рубаха и кожа были такого же цвета. Восемь лет он разрабатывал проект извлечения солнечных лучей из огурцов, добытые таким образом лучи он собирался заключить в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Он не сомневался, что еще через восемь лет будет иметь возможность продавать солнечные лучи для губернаторских садов по умеренной цене; но он жаловался, что акции его стоят низко, и просил меня дать ему что-нибудь в поощрение его изобретательности, тем более что огурцы в то время года были очень дороги. Я предложил профессору несколько монет, которыми предусмотрительно снабдил меня мой хозяин, хорошо знавший привычку этих господ выпрашивать подачки у каждого, кто посещает их.

Войдя в другую комнату, я чуть было не выскочил из нее вон, потому что едва не задохся от ужасного зловония. Однако мой спутник удержал меня, шепотом сказав, что необходимо войти, иначе мы нанесем большую обиду; таким образом, я принужден был следовать за ним, не затыкая даже носа. Изобретатель, сидевший в этой комнате, был одним из старейших членов Академии. Лицо и борода его были бледно-желтые, а руки и платье все испачканы нечистотами. Когда я был ему представлен, он крепко обнял меня (любезность, без которой я отлично мог бы

обойтись). С самого своего вступления в Академию он занимался превращением человеческих экскрементов в те питательные вещества, из которых они образовались, путем отделения от них нескольких составных частей, удаления окраски, сообщаемой им желчью, выпаривания зловония и выделения слюны. Город еженедельно отпускал ученому посудину, наполненную человеческими нечистотами, величиной с бристолюскую бочку<sup>6</sup>.

Там же я увидел другого ученого, занимавшегося пережиганием льда в порошок. Он показал мне написанное им исследование о ковкости пламени, которое он собирался опубликовать.

Там был также весьма изобретательный архитектор, разрабатывавший способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом.

Он оправдывал мне этот способ ссылкой на приемы двух мудрых насекомых – пчелы и паука.

Там был, наконец, слепорожденный, под руководством которого занималось несколько таких же слепых учеников. Их занятия состояли в смешивании для живописцев красок, как-вые профессор учил их распознавать при помощи обоняния и осязания. Правда, на мое несчастье, во время моего посещения они не особенно удачно справлялись со своей задачей, да и сам профессор постоянно совершал ошибки. Ученый этот пользуется большим уважением своих коллег.

В другой комнате меня очень позабавил изобретатель, открывший способ пахать землю свиньями и избавиться таким образом от расходов на плуги, скот и рабочих. Способ этот заключается в следующем: на десятине земли вы закапываете на расстоянии шести дюймов и на глубине восьми известное количество желудей, фиников, каштанов и других плодов или овощей, до которых особенно лакомы свиньи; затем вы выгоняете на это поле штук шестьсот или больше свиней, и они в течение немногих дней, в поисках пищи, взроют всю землю, сделав ее пригодной для посева и в то же время удобрив ее своим навозом. Правда, произведенный опыт показал, что такая обработка земли требует больших хлопот и расходов, а урожай ничтожен. Однако никто не сомневается, что это изобретение поддается усовершенствованию.

Я вошел в следующую комнату, где стены и потолок были сплошь затянуты паутиной, за исключением узкого прохода для изобретателя. Едва я показался в дверях, как последний громко закричал, чтобы я был осторожнее и не порвал его паутины. Он стал жаловаться на роковую ошибку, которую совершал до сих пор мир, утилизируя шелковичных червей, тогда как у нас всегда под рукой множество насекомых, бесконечно превосходящих упомянутых червей, ибо они одарены всеми качествами не только прядильщиков, но и ткачей. Далее изобретатель указал, что утилизация пауков совершенно избавит от расходов на окраску тканей, и я вполне убедился в этом, когда он показал нам массу красивых разноцветных мух, которыми кормил пауков и цвет которых, по его уверениям, необходимо должен передаваться изготовленной пауком пряже. И так как у него были мухи всех цветов, то он надеялся удовлетворить вкусам каждого, как только ему удастся найти для мух подходящую пищу в виде камеди, масла и других клейких веществ и придать, таким образом, бóльшую плотность и прочность нитям паутины.

Там же был астроном, проектировавший поместить солнечные часы на большой флюгер ратуши, с целью согласовать годовые и суточные движения земли и солнца со случайными движениями ветра.

Я пожаловался в это время на легкие спазмы в желудке, и мой спутник привел меня в комнату знаменитого медика, особенно прославившегося лечением этой болезни путем двух противоположных операций, производимых одним и тем же инструментом. У него был большой раздувательный мех с длинным и тонким наконечником из слоновой кости. Доктор утвер-

---

<sup>6</sup> Бристольская бочка – старинная мера веса сыпучих тел, равная 30 фунтам.

ждал, что, вводя трубку на восемь дюймов в задний проход и раздувая щеки, он может привести кишки в такое состояние, что они станут похожи на высохший пузырь. Но, если болезнь более упорна и жестока, доктор вводит трубку, когда мехи наполнены воздухом, и вгоняет этот воздух в тело больного; затем он вынимает трубку, чтобы вновь наполнить мехи, плотно закрывая на это время большим пальцем заднепроходное отверстие. Эту операцию он повторяет три или четыре раза, после чего введенный в желудок воздух быстро устремляется наружу, увлекая с собой все вредные вещества (как вода из насоса), и больной выздоравливает. Я видел, как он произвел оба эксперимента над собакой, но не заметил, чтобы первый оказал какое-нибудь действие. После второго животное страшно раздулось и едва не лопнуло, затем так обильно опорожнилось, что мне и моему спутнику стало очень противно. Собака мгновенно околела, и мы покинули доктора, прилагавшего старание вернуть ее к жизни при помощи той же операции.

Я посетил еще много других комнат, но, заботясь о краткости, не стану утруждать читателя описанием всех диковин, которые я там видел.

До сих пор я познакомился только с одним отделением Академии; другое же отделение предназначалось для ученых, двигавших вперед спекулятивные науки; о нем я и скажу несколько слов, предварительно упомянув еще об одном знаменитом ученом, известном здесь под именем «универсального искусника». Он рассказал нам, что вот уже тридцать лет он посвящает все свои мысли улучшению человеческого существования. В его распоряжении были две большие комнаты, наполненные удивительными диковинами, и пятьдесят помощников. Одни сгущают воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его частицы; другие размягчали мрамор для подушек и подушечек для булавок; третьи приводили в окаменелое состояние копыта живой лошади, чтобы предохранить их от изнашивания. Что касается самого искусника, то он занят был в то время разработкой двух великих замыслов: первый из них – обсеменение полей мякиной, в которой, по его утверждению, заключена настоящая производительная сила, что он доказывал множеством экспериментов, для меня, к сожалению, совершенно непонятных; а второй – приостановка роста шерсти на двух ягнятах при помощи особого прикладываемого снаружи состава из камеди, минеральных и растительных веществ; и он надеялся в недалеком будущем развести во всем королевстве породу голых овец.

После этого мы пересекли улицу и вошли в другое отделение Академии, где, как я уже сказал, заседали прожектеры в области спекулятивных наук.

Первый профессор, которого я здесь увидел, помещался в огромной комнате, окруженный сорока учениками. После взаимных приветствий, заметив, что я внимательно рассматриваю станок, занимавший большую часть комнаты, он сказал, что меня, быть может, удивит его работа над проектом усовершенствования умозрительного знания при помощи технических и механических операций. Но мир вскоре оценит всю полезность этого проекта; и он льстил себя уверенностью, что более возвышенная идея никогда еще не возникала ни в чьей голове. Каждому известно, как трудно изучать науки и искусства по общепринятой методе; между тем с помощью его изобретения самый невежественный человек, произведя небольшие издержки и затратив немного физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта. Затем он подвел меня к станку, по бокам которого рядами стояли все его ученики. Станок этот имеет двадцать квадратных футов и помещается посередине комнаты. Поверхность его состоит из множества деревянных дощечек, каждая величиною в игральную кость, одни побольше, другие поменьше. Все они были сцеплены между собой тонкими проволоками. С обеих сторон каждой дощечки приклеено по кусочку бумаги, и на этих бумажках были написаны все слова их языка в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. Профессор попросил меня быть внимательнее, так как он собирался пустить в ход свою машину. По его

команде каждый ученик взял железную рукоятку, которые в числе сорока были вставлены по краям станка. После того, как ученики сделали несколько оборотов рукоятками, расположение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал тридцати шести ученикам медленно читать образовавшиеся строки в том порядке, в каком они разместились в раме; если случилось, что три или четыре слова составляли часть фразы, ее диктовали остальным четырем ученикам, исполнявшим роль писцов. Это упражнение было повторено три или четыре раза, и машина была так устроена, что после каждого оборота слова принимали все новое расположение, по мере того как квадратики переворачивались с одной стороны на другую.

Молодые студенты занимались этими упражнениями по шесть часов в день, и профессор показал мне множество фолиантов, составленных из подобных отрывочных фраз; он намеревался связать их вместе и от этого богатого материала дать миру полный компендий всех искусств и наук; его работа могла бы быть, однако, еще более улучшена и значительно ускорена, если бы удалось собрать фонд для сооружения пятисот таких станков в Лагадо и сопоставить фразы, полученные на каждом из них.

Он сообщил мне, что это изобретение с юных лет поглощало все его мысли, что теперь в его станок входит целый словарь и что им точнейшим образом высчитано соотношение числа частиц, имен, глаголов и других частей речи, употребляемых в наших книгах.

Я принес глубочайшую благодарность этому почтенному мужу за его любезное посвящение меня в тайны своего великого изобретения и дал обещание, если мне удастся когда-нибудь вернуться на родину, воздать ему должное как единственному изобретателю этой изумительной машины, форму и устройство которой я попросил у него позволения срисовать на бумаге, и прилагаю свой рисунок к настоящему изданию. Я сказал ему, что в Европе хотя и существует между учеными обычай похищать друг у друга изобретения, имеющий, впрочем, ту положительную сторону, что возбуждает полемику для разрешения вопроса, кому принадлежит подлинное первенство, тем не менее я обещаю принять все меры, чтобы честь этого изобретения всецело осталась за ним и никем не оспаривалась.

После этого мы пошли в школу языкознания, где заседали три профессора на совещании, посвященном вопросу об усовершенствовании родного языка. Первый проект предлагал сократить разговорную речь путем сведения многосложных слов к односложным и упразднения глаголов и причастий, так как в действительности все мыслимые вещи суть только имена. Второй проект требовал полного уничтожения всех слов; автор этого проекта ссылаясь главным образом на его пользу для здоровья и сбережение времени. Ведь очевидно, что каждое произносимое нами слово сопряжено с некоторым изнашиванием легких и, следовательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова суть только названия вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Это изобретение благодаря его большим удобствам и пользе для здоровья, по всей вероятности, получило бы широкое распространение, если бы женщины, войдя в стачку с невежественной чернью, не пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их была предоставлена полная воля, согласно старому дедовскому обычаю: так простой народ постоянно оказывается непримиримым врагом науки! Тем не менее многие весьма ученые и мудрые люди пользуются этим новым способом выражения своих мыслей при помощи вещей. Единственным неудобством является то обстоятельство, что, в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы, собеседникам приходится таскать на плечах большие узлы с вещами, если средства не позволяют нанять для этого одного или двух дюжих парней. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под тяжестью ноши, подобно нашим торговцам вразнос. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу в продолжение часа; затем складывали свои пожитки, помогали друг другу взваливать их на плечи, прощались и расходились.

Впрочем, для коротких и несложных разговоров можно носить все необходимое в кармане или под мышкой, а разговор, происходящий в домашней обстановке, не вызывает никаких затруднений. Поэтому комнаты, где собираются лица, применяющие этот метод, наполнены всевозможными предметами, пригодными служить материалом для таких искусственных разговоров.

Другим великим преимуществом этого изобретения является то, что им можно пользоваться как всемирным языком, понятным для всех цивилизованных наций, ибо мебель и домашняя утварь всюду одинакова или очень похожа, так что ее употребление легко может быть понято. Таким образом, посланники без труда могут говорить с иностранными королями или министрами, язык которых им совершенно неизвестен.

Я посетил также математическую школу, где учитель преподает эту науку по такому методу, какой едва ли возможно представить себе у нас в Европе. Каждая теорема с доказательством тщательно переписывается на тоненькой облатке чернилами, составленными из микстуры против головной боли. Ученик глотает облатку натощак и в течение трех следующих дней не ест ничего, кроме хлеба и воды. Когда облатка переваривается, микстура поднимается в его мозг, принося с собой туда же теорему. Однако до сих пор успех этого метода незначителен, что объясняется отчасти какой-то ошибкой в определении дозы или состава микстуры, а отчасти озорством мальчишек, которым эта пилюля так противна, что они стараются после приема выплюнуть ее прежде, чем она успеет оказать свое действие; к тому же до сих пор их не удалось убедить соблюдать в точности предписанное воздержание.

## **Часть четвертая: Путешествие в страну Гуигнгнмов**

### **Глава VII**

«...» Когда я ответил на все вопросы хозяина и его любопытство было, по-видимому, вполне удовлетворено, он послал однажды рано утром за мной и, пригласив меня сесть на некотором от него расстоянии (честь, которой раньше я никогда не удостоивался), сказал, что он много размышлял по поводу рассказанного мной как о себе, так и о моей родине, и пришел к заключению, что мы являемся особенной породой животных, наделенных благодаря какой-то непонятной для него случайности крохотной частицей разума, каковым мы пользуемся лишь для усугубления прирожденных нам недостатков и для приобретения пороков, от природы нам несвойственных. Заглушая в себе многие дарования, которыми наделила нас природа, мы необыкновенно искусны по части умножения наших первоначальных потребностей и, по-видимому, проводим всю свою жизнь в суетных стараниях удовлетворить их при помощи изобретенных нами средств. Что касается меня самого, то я, очевидно, не обладаю ни силой, ни ловкостью среднего йеху; нетвердо хожу на задних ногах; ухитрился сделать свои когти совершенно непригодными для защиты и удалить с подбородка волосы, предназначенные служить защитой от солнца и непогоды. Наконец, я не могу ни быстро бегать, ни взбираться на деревья, подобно моим братьям (как он все время называл их) – местным йеху.

Существование у нас правительства и законов, очевидно, обусловлено большим несовершенством нашего разума, а следовательно, и добродетели; ибо для управления разумным существом достаточно одного разума; таким образом, мы, по-видимому, вовсе не притязаем на обладание им, даже если судить по моему рассказу, хотя он ясно заметил, что я стараюсь утаить многие подробности для более благоприятного представления о моих соотечественниках и часто говорю то, чего нет.

Еще более укрепился он в этом мнении, когда заметил, что – подобно полному сходству моего тела с телом йеху, кроме немногих отличий не в мою пользу: меньшей силы, ловко-

сти и быстроты, коротких когтей и еще некоторых особенностей искусственного происхождения – образ нашей жизни, наши нравы и наши поступки, согласно нарисованной мной картине, обнаруживают такое же сходство между нами и йеху и в умственном отношении. Йеху, сказал он, ненавидят друг друга больше, чем животных других видов; причину этого явления обыкновенно усматривают в их внешнем безобразии, которое они видят у других представителей своей особи, но не замечают у себя самих. Поэтому он склонен считать не таким уж неразумным наш обычай носить одежду и при помощи этого изобретения прятать друг от друга телесные недостатки, которые иначе были бы невыносимы. Но теперь он находит, что им была допущена ошибка и что причины раздоров среди этих скотов здесь, у него на родине, те же самые, что и описанные мной причины раздоров среди моих соплеменников. В самом деле (сказал он), если вы дадите пятерым йеху корму, которого хватило бы для пятидесяти, то они, вместо того чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку, и каждый старается захватить все для себя. Поэтому, когда йеху кормят вне дома, то к ним обыкновенно приставляют слугу; дома же их держат на привязи на некотором расстоянии друг от друга. Если падает корова от старости или от болезни и гуишгнм не успеет вовремя взять ее труп для своих йеху, то к ней стадами сбегаются окрестные йеху и набрасываются на добычу; тут между ними завязываются целые сражения, вроде описанных мной; они наносят когтями страшные раны друг другу, но убивать противника им удается редко, потому что у них нет изобретенных нами смертоносных орудий. Иногда подобные сражения между йеху соседних местностей начинаются без всякой видимой причины; йеху одной местности всячески стараются напасть на соседей врасплох, прежде чем те успели приготовиться. Но если они терпят почему-либо неудачу, то возвращаются домой и, за отсутствием неприятеля, завязывают между собой то, что я назвал гражданской войной.

В некоторых местах этой страны попадаются разноцветные блестящие камни, к которым йеху питают настоящую страсть; и если камни эти крепко сидят в земле, как это иногда случается, они роют когтями с утра до ночи, чтобы вырвать их, после чего уносят свою добычу и кучами зарывают ее у себя в логовищах; они действуют при этом с крайней осторожностью, беспрестанно оглядываясь по сторонам из боязни, как бы товарищи не открыли их сокровищ. Мой хозяин никак не мог понять причину столь неестественного влечения и узнать, для чего нужны йеху эти камни; но теперь ему кажется, что влечение это проистекает от той самой скупости, которую я приписываю человеческому роду. Однажды, ради опыта, он потихоньку убрал кучу этих камней с места, куда один из его йеху зарыл их; скаредное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой громкий и жалобный вой, что сбежалось целое стадо йеху и стало подвывать ему; ограбленный с яростью набросился на товарищей, стал кусать и царапать их, потом затосковал, не хотел ни есть, ни спать, ни работать, пока хозяин не приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место; обнаружив свои драгоценности, йеху сразу же оживился и пришел в хорошее настроение, но заботливо спрятал сокровище в более укромное место и с тех пор всегда был скотиной покорной и работающей.

Хозяин утверждал также, – да я и сам это наблюдал, – что наиболее ожесточенные сражения между йеху происходят чаще всего на полях, изобилующих драгоценными камнями, потому что поля эти подвергаются постоянным нашествиям окрестных йеху.

Когда два йеху, продолжал хозяин, находят в поле такой камень и вступают в борьбу за обладание им, то сплошь и рядом он достается третьему, который, пользуясь случаем, схватывает и уносит его. Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими судебными процессами; в интересах нашей репутации я не стал разубеждать его, ибо упомянутое им разрешение спора было гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме оспариваемого ими друг у друга камня, между тем как наши суды никогда не прекращают дела, пока вконец не разорят обе тяжущиеся стороны.

Продолжая свою речь, мой хозяин сказал, что ничто так не отвратительно в йеху, как их прожорливость, благодаря которой они набрасываются без разбора на все, что попадает

им под ноги: травы, коренья, ягоды, протухшее мясо или все это вместе; и замечательной их особенностью является то, что пищу, похищенную ими или добытую грабежом где-нибудь вдали, они предпочитают гораздо лучшей пище, приготовленной для них дома. Если добыча их велика, они едят ее до тех пор, пока вмещает брюхо, после чего инстинкт указывает им особый корень, вызывающий радикальное очищение желудка.

Здесь попадает еще один очень сочный корень, правда, очень редко, и найти его нелегко; йеху старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосут; он производит на них то же действие, какое на нас производит вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, режут, гримасничают, издают нечленораздельные звуки, спотыкаются, падают в грязь и засыпают.

Я обратил внимание, что в этой стране йеху являются единственными животными, которые подвержены болезням; однако этих болезней у них гораздо меньше, чем у наших лошадей. Все они обусловлены не дурным обращением с ними, а нечистоплотностью и обжорством этих гнусных скотов. Язык гуигнгнмов знает только одно общее название для всех этих болезней, образованное от имени самого животного: гнийеху, то есть болезнь йеху; средством от этой болезни является микстура из кала и мочи этих животных, насильно вливаемая больному йеху в глотку. По моим наблюдениям, лекарство это приносит большую пользу, и в интересах общественного блага я смело рекомендую его моим соотечественникам как превосходное средство против всех недомоганий, вызванных переполнением.

Что касается науки, системы управления, искусства, промышленности и тому подобных вещей, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между йеху его страны и нашей. А его интересовали только те черты, в которых обнаруживается сходство нашей природы. Правда, он слышал от некоторых любознательных гуигнгнмов, что в большинстве стад йеху бывают своего рода вожди (подобно тому как в наших зверинцах стада оленей имеют обыкновенно своих вожаков), которые всегда являются самыми безобразными и злобными во всем стаде. У каждого такого вожака бывает обыкновенно фаворит, имеющий чрезвычайное с ним сходство, обязанность которого заключается в том, что он лижет ноги и задницу своего господина и доставляет самок в его логовище; в благодарность за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этот фаворит является предметом ненависти всего стада, и потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно он остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего; и едва только он удаляется в отставку, как все йеху этой области, молодые и старые, самцы и самки, во главе с его преемником, плотно обступают его и обдают с головы до ног своими испражнениями. Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому.

Я не осмелился возразить что-нибудь на эту злобную инсинуацию, ставившую человеческий разум ниже чутья любой охотничьей собаки, которая обладает достаточной сообразительностью, чтобы различить лай наиболее опытного кобеля в своре и следовать за ним, никогда при этом не ошибаясь.

Хозяин мой заметил мне, что у йеху есть еще несколько замечательных особенностей, о которых я или не упомянул вовсе в своих рассказах о человеческой породе, или коснулся их только вскользь. У этих животных, продолжал он, как и у прочих зверей, самки общие; но особенностью их является то, что самка йеху подпускает к себе самца даже во время беременности и что самцы ссорятся и дерутся с самками так же свирепо, как и друг с другом. Оба эти обыкновения свидетельствуют о таком гнусном озверении, до которого никогда не доходило ни одно одушевленное существо.

Другой особенностью йеху, не менее поражающей моего хозяина, было непонятное их пристрастие к нечистоплотности и грязи, в то время как у всех других животных так естественна любовь к чистоте. Что касается двух первых обвинений, то я должен был оставить их



без ответа, так как, несмотря на все мое расположение к людям, я не мог найти ни слова в их оправдание. Зато мне было бы нетрудно снять с моих соплеменников обвинение, будто они одни отличаются нечистоплотностью, если бы в стране гуингнмов существовали свиньи, но, к моему несчастью, их там не было. Хотя эти четвероногие более благообразны, чем йеху, они, однако, по справедливости не могут, как я скромно полагаю, похвастаться большей чистоплотностью; его милость, наверное, согласился бы со мной, если бы увидел, как противно они едят и как любят валяться и спать в грязи.

Мой хозяин упомянул еще об одной особенности, которая была обнаружена его слугами у некоторых йеху и осталась для него совершенно необъяснимой. По его словам, иногда йеху приходит фантазия забиться в угол, лечь на землю, выть, стонать и гнать от себя каждого, кто подойдет, несмотря на то что такие йеху молоды, упитанны и не нуждаются ни в пище, ни в питье; слуги никак не могут взять в толк, что может у них болеть. Единственным лекарством против этого недуга является тяжелая работа, которая неизменно приводит пораженного им йеху в нормальное состояние. На этот рассказ я ответил молчанием из любви к моим соотечественникам, хотя для меня очевидно, что описанное состояние есть зачаток хандры – болезни, которою страдают обыкновенно только праздные, сластолюбивые и богачи и от которой я взялся бы их вылечить, подвергнув режиму, применяемому в таких случаях гуингнмами.

Далее его милость сказал, что ему часто случалось наблюдать, как самка йеху, завидя проходящих мимо молодых самцов, прячется за холм или за куст, откуда по временам выглядывает со смешными жестами и гримасами; было подмечено, что в такие минуты от нее распространяется весьма неприятный запах. Если некоторые из самцов подходят ближе, она медленно удаляется, поминутно оглядываясь, затем в притворном страхе убегает в удобное место, прекрасно зная, что самец последует туда за ней.

Если в стадо забегает чужая самка, то две или три представительницы ее пола окружают ее, таращат на нее глаза, что-то лепечут, гримасничают, все ее обнюхивают и отворачиваются с жестами презрения и отвращения.

Быть может, мой хозяин несколько сгустил краски в этих выводах из собственных наблюдений или из рассказов, слышанных от других; однако я не мог не прийти к несколько курьезному и очень прискорбному заключению, что зачатки разврата, кокетства, пристрастной критики и злословия прирождены всему женскому полу.

Я все ожидал услышать от моего хозяина обвинение йеху в противоестественных наклонностях, которые так распространены у нас среди обоих полов. Однако природа, по-видимому, малоопытный наставник в этих утонченных наслаждениях, и они целиком порождены искусством и разумом на нашей части земного шара.

### **Вопросы и задания:**

1. Что позволяет отождествлять вымышленную Лиллипутию с современной Свифту Англией? Почему, не ограничившись сатирой на Англию в первой части романа, Свифт продолжает высмеивать основы британского общества во второй и четвертой части?

2. Для чего автору понадобилось создавать столь подробное описание Большой Академии в Лагадо (отрывок II)? Каким образом создается ощущение абсурдности деятельности ученых?

3. Что, по вашему мнению, отличает Свифта от других просветителей, в частности, от Дефо?

4. Что в содержании романа могло послужить причиной для обвинений Свифта в мизантропии?

5. Определите сатирические приемы, которые использует писатель для достижения своих целей. Какой тип сатиры – горацянскую или ювеналову – использует Свифт?

## Сэмюэл Ричардсон (1689–1761)

### Предтекстовое задание:

Прочитайте предисловие Ричардсона к третьему (восьмитомному) изданию романа «Кларисса, или История молодой леди» (1751) и несколько писем из тома IV, обращая особое внимание на задачи, которые ставил перед собой автор, его концепцию человеческой природы, а также на тематику, центральный конфликт и жанровые особенности его произведения.

### **Кларисса, или история молодой леди, в которой описаны наиболее важные события частной жизни и в особенности неприятности, могущие произойти вследствие неверного поведения как родителей, так и детей в вопросах брака** *Перевод М. Куренной*

### Предисловие

Нижеследующая история излагается в виде ряда писем, принадлежащих главным образом двум разным парам корреспондентов:

– двум юным девицам, весьма добродетельным и достойным, связанным узами нерушимой дружбы и находящим в писании посланий не просто удовольствие, но и возможность обсудить наиболее *существенные* вопросы, подобные коим могут так или иначе встать однажды в любой семье; и

– двум джентльменам, ведущим свободный образ жизни, один из которых, кичащийся своим хитроумием и изобретательностью, поверяет другому все тайные намерения искушенного разума и неколебимого сердца.

Однако, ради спокойствия тех, кто может в наиболее откровенных письмах узреть угрозу нравственности молодого поколения, здесь уместно заметить, что упомянутые джентльмены, хоть и проповедуют вольность в отношениях с представительницами прекрасного пола, следуя дурному принципу не доверять ни одной женщине, волей случая оказавшейся в их власти, не являются тем не менее ни безбожниками, ни холодными насмешниками и не принадлежат к числу людей, мнящих себя свободными от нравственных обязательств, которые лежат в основе мужской дружбы.

Напротив, по ходу повествования читатель обнаружит, что приятели весьма часто высказывают такие замечания по поводу друг друга, самих себя и собственных поступков, какие и *должны* высказывать благоразумные люди, не утратившие веру в грядущее воздаяние и возмездие и со временем обещающие измениться к лучшему – что в действительности наконец и происходит с одним из них, позволяя ему тем самым порицать вольности, порожденные более веселым пером и более беспечным сердцем своего товарища.

И все же последний, хоть и обнаруживает в откровениях избранному другу порочность, способную вызвать всеобщее негодование, сохраняет в своих писаниях благопристойность образов и благородство стиля, какие не всегда можно найти в произведениях ряда известнейших современных писателей, сюжеты и персонажи которых еще в меньшей степени оправдывают фривольность изложения.

В письмах же двух юных девиц читатель найдет, вероятно, не только ярчайшие свидетельства разумной и *благотворной* дружбы, связывающей души в высшей степени добродетель-

ные и набожные, но и такую утонченность чувств, в частности по отношению к представителям противоположного пола; такую беспристрастность суждений (беспристрастность, которую каждая из девушек выказывает, как требует основной закон их дружбы, открыто порицая, хваля или наставляя подругу), на какие следует настойчиво обращать внимание читательниц – особенно тех, что *помладше*.

Главная из этих двух юных героинь может служить достойным примером для подражания всем представительницам своего пола. Этому не препятствует то обстоятельство, что она не во всех отношениях является совершенством. Автор посчитал не только естественным, но и необходимым наделить героиню некоторыми недостатками, дабы показать читателю похвальную склонность девушки к сомнениям и самообвинениям, ее готовность вынести беспристрастный, продиктованный сознанием собственной греховности приговор себе и своему сердцу, лишь бы найти оправдание тем по-прежнему уважаемым ею людям, которых никто более оправдать не мог бы и которые в силу своих куда более серьезных пороков стали причиной ее заблуждений и ошибок (вызванных, таким образом, отнюдь не слабостью духа, заслуживающей порицания). Насколько это позволяет слабая человеческая природа и насколько для сей юной девы вообще возможно вести себя безупречно, если учесть характеры людей, с которыми ей приходится иметь дело и с которыми ее связывают неразрывные узы, она воистину ведет себя безупречно. Абсолютная непогрешимость не оставила бы места для Божественной Милости и Очищения, и перед нами предстал бы образ не земной женщины, а ангела. Именно ангелом нередко представляется она человеку, чье сердце развращено до такой степени, что ему трудно поверить в способность человеческой природы являть образцы той незапятнанной добродетели, которая при каждом испытании или искушении сияет в *ее* сердце.

Кроме четырех главных героев в романе представлены еще несколько действующих лиц, чьи письма отмечены своеобразием стиля. В некоторых из них – но прежде всего, конечно, в посланиях центрального мужского персонажа и второго по значению среди женских – встретятся такие проявления веселости, фантазии и юмора, которые смогут послужить увеселению и развлечению читателя и одновременно предостеречь и наставить его.

Все письма выходят из-под пера героев в тот момент, когда их чувства и мысли всецело поглощены предметом обсуждения (то есть событиями, как правило, еще не получившими определенного толкования): посему послания изобилуют не только описаниями критических ситуаций, но и, так сказать, *сиюминутными* размышлениями авторов (кои юному читателю следует бережно хранить в сердце), а равным образом и волнующими душу беседами персонажей, изложенными в диалогической или драматической форме.

Как замечает один из главных героев (том VII), «речь человека, который пишет в минуту крайнего отчаяния, мучаясь состоянием неопределенности (ибо уготованные роком события еще сокрыты от его взора), способна произвести *гораздо более* сильное впечатление, нежели сухой, не одушевленный чувством стиль рассказчика, повествующего о трудностях и опасностях, уже преодоленных. Последний совершенно спокоен и едва ли сможет сильно растрогать читателя историей, которая его самого оставляет равнодушным».

Особая же цель нижеследующего сочинения заключается в том, чтобы предостеречь неосмотрительных и легкомысленных представительниц прекрасного пола от низменной хитрости и коварных интриг лицемерных мужчин; предостеречь родителей от злоупотребления данной им небом властью над детьми в серьезном вопросе брака; предостеречь девушек, которые оказывают предпочтение легкомысленному искателю удовольствий перед простым честным человеком на основании опасного, но чрезвычайно распространенного убеждения, что *из перевоспитанных негодяев получают самые лучшие мужья*; но прежде всего смысл данного произведения заключается в утверждении благороднейших и важнейших законов не только общественной морали, но и христианства, которым неотступно следуют *достойные* персонажи,

в то время как *недостойные*, пренебрегающие упомянутыми законами, несут в конце концов заслуженное и, можно сказать, логически обусловленное их поведением наказание.

Исходя из вышесказанного, вдумчивый читатель не позволит себе отнестись к данному труду как к чтению *сугубо* развлекательному. Вероятно, сочинение сие покажется утомительным и скучным всем тем, кто в поисках *легковесных романов из современной жизни* или *приключенческих романов-однодневок* привык бегло пролистывать книгу и рассматривать изложенную в ней историю (занимательную настолько, насколько может быть занимательной история подобного рода) скорее как нечто *самоценное*, нежели как источник жизненной мудрости.

Как и следовало ожидать, разные читатели по-разному оценивали поведение героини в той или иной конкретной ситуации, и некоторые весьма достойные люди решительно возражали против развязки и ряда других эпизодов романа. Наиболее существенные из этих возражений обсуждаются в постскрипуме, в конце книги. Поскольку данное сочинение задумано как повесть *о жизни и нравах*, постольку те его эпизоды, которые призваны служить поучительным уроком для читателей, должны быть неуязвимы для упреков и возражений в той мере, в какой согласуются с общим замыслом произведения и с *человеческой природой*.

## Том IV

### Письмо III. Мистер Белфорд – Роберту Лавлейсу, эскв.

*Эджвер. 2 мая, вторник вечером,*

Не дожидаясь обещанного письма, в коем ты намеревался передать нам отзывы леди *о нас*, я пишу, дабы сообщить, что все мы держимся единодушного мнения *о ней*, кое состоит в том, что среди ее сверстниц не найдется в мире женщины более утонченного ума. Что же касается до ее наружности, то она восхитительное создание и находится в самой поре расцвета; красота ее совершенна; но это самая *скромная* похвала из всех, какие может произнести мужчина, удостоенный чести беседовать с ней; и, однако, она была введена в наше общество против своей воли.

Позволь мне, дорогой Лавлейс, послужить к спасению сей несравненной девицы от опасностей, коим она постоянно подвергается со стороны самого злокозненного сердца на свете. В предыдущем своем послании я ссылался на интересы собственного твоего семейства и желания лорда М., в частности; а кроме того, тогда я еще не видел леди; но ныне мной движет забота *о ее* благе, *о твоей чести*, соображения справедливости, великодушия, благодарности и гуманности, кои все направлены на спасение столь прекрасной женщины. Ты не представляешь, какие муки испытал бы я (неизвестно, откуда проистекающие), когда бы еще до своего отъезда утром не узнал, что несравненная девица расстроила твои ужасные намерения вынудить ее разделить постель с лицемерной Партингтон.

С тех самых пор, как я увидел сию леди, я только и делаю, что говорю о ней. В облике ее есть нечто *столь величественное* и в то же время *столь прелестное*, что доведись мне изобразить все Добродетели и все Грации на одном полотне, каждую из них я нарисовал бы с нее, представленной в разных позах и с разными выражениями лица. Она появилась на свет, дабы украсить свой век и послужила бы украшением для высочайшего сословия. Какие пронзительные и одновременно кроткие очи; каждый взор коих, как мне показалось, выражает смешанное чувство боязни и любви к тебе! Какая очаровательная улыбка, внезапно проглядывающая сквозь облако печали, омрачающее ее прелестное лицо и показывающее, что в глубине души она испытывает больше страха и горя, нежели хочет обнаружить!

«...» Клянусь честью, я проникся столь глубоким почтением к здравому смыслу и суждениям леди, что нахожу совершенно невозможным извинить человека, который обойдется с ней низко; я готов сожалеть о том, что такому ангелу в обличье смертной женщины придется выйти замуж. Она представляется мне воплощением чистого разума; и, если ей суждено встретить мужчину, равным образом воплощающего чистый разум, к чему подвергать опасности очаровательные достоинства, обладательницей коих она является? К чему такому ангелу унижаться настолько, чтобы исполнять пошлые обязанности семейной жизни? Будь она моей, едва ли я пожелал бы увидеть ее мать – разве что питал бы некую внутреннюю уверенность, что ум, подобный уму леди, может передаваться по наследству. Ибо, одним словом, почему бы не оставить труды тела *обычным* людям? Я знаю, сам ты судишь о ней чуть менее восторженно. Белтон, Моубрэй и Турвиль – все разделяют мое мнение; все превозносят ее на все лады и клянутся, что будет очень, очень жаль погубить женщину, падению коей смогут порадоваться только лишь дьяволы.

Какими же совершенствами и достоинствами должна обладать особа, могущая исторгнуть подобное признание *у нас*, жуиров вроде тебя, которые присоединились к тебе в твоём справедливом негодовании против остальных ее родичей и предложили свою помощь в осуществлении мести последним? Но мы не можем счесть разумным твое желание покарать невинное создание, которое так сильно любит тебя, которое находится под твоим покровительством и так много страдало из-за тебя и из-за ошибок своих близких.

И здесь позволь мне задать тебе один-два серьезных вопроса. Ужели думаешь ты, когда леди сия поистине столь превосходна, что *цель*, поставленная тобой и достигнутая, оправдывает *средства* – то есть стоит затраченных усилий, а равно и вероломства, хитрости, низких замыслов и интриг, в которых ты уже провинился и которые по-прежнему вынашиваешь? Во всяком истинном совершенстве она превосходит всех женщин. Но в том отношении, в каком ты стремишься одержать над ней верх, простая сластолюбива – Партингтон ли, Хортон ли, Мартин ли – сделает сластолюбца в тысячу раз счастливей, нежели захочет или сможет сия леди.

Лишь ласки добровольные отрадны<sup>7</sup>.

И захочешь ли ты сделать *ее* несчастной на всю жизнь, *сам* не став счастливым ни на минуту?

Пока еще не поздно; и, вероятно это все, что можно сказать, коль скоро ты имеешь в виду сохранить уважение и доброе расположение леди, равно как и ее саму; ибо, думаю, у нее нет никакой возможности вырваться из твоих рук сейчас, когда она оказалась в этом проклятом доме. О, эта чертова ханжа *Синклер*, как ты ее называешь! Как только ей удавалось держаться столь благопристойно все время, пока леди находилась с нами?! Будь честен и женись; и будь благодарен леди за то, что она соизволила выйти за тебя замуж. Если ты не сделаешь этого, то станешь презреннейшим из смертных и будешь проклят в этом мире и в следующем; как, несомненно, с тобой случится – и заслуженно – коли тебя станет судить человек, который никогда прежде не был так расположен в пользу женщины и которого ты знаешь как *твоего любящего друга* ДЖ. БЕЛФОРДА

#### Письмо IV. Мистер Лавлейс – Джону Белфорду, эскв.

3 мая, среда

---

<sup>7</sup> ...*Лишь ласки добровольные отрадны.* – Слегка видоизмененная строка из героической драмы Джона Драйдена «Ауренг-Зеб» (1675).

Когда я уже взял на себя труд сообщать тебе обо всех без изъятия своих планах, намерениях и решениях, касающихся сей восхитительной женщины, представляется очень странным, что ты заводишь пустую болтовню в ее защиту, когда я не подверг леди ни одному испытанию, ни одному искушению – и, однако, в одном из предыдущих писем сам высказываешь то мнение, что ее положением *можно* воспользоваться и что над ней *можно* взять верх.

По большей части твои рассуждения, особенно касающиеся до различия между наслаждением, кое даруют добродетельные и распутные представительницы слабого пола, более уместны в качестве окончательного заключения, нежели *предпосылки*.

Я согласен с тобой и с поэтом в том, что «*лишь ласки добровольные отрадны*» – но можно ли ожидать, что *женщина благовоспитанная* и *блюстительница церемоний* уступит прежде, чем подвергнется нападению? И разве я требовал уступок? Я не сомневаюсь, что столкнусь с трудностями. Посему я должен сделать первую попытку внезапно. Вероятно, мне потребуется проявить некоторую *жестокость*; но *борьба* может обернуться *согласием*; *сопротивление* – *уступкой*. Однако надо посмотреть, не будут ли после первого столкновения последующие становиться все слабей и слабей, пока в конце концов дело не завершится *добровольным повиновением*. Я проиллюстрирую свои слова сравнением с только что пойманной пташкой. Мальчишками мы начинаем с птиц; а подрастая, переходим к женщинам; и сначала первые, затем вторые, вероятно, упражняют нашу веселую жестокость.

Не замечал ли ты, как очаровательно, мало-помалу, плененное пернатое смиряется со своим новым положением? – Вначале, отказываясь от всякой пищи, оно бьется и ударяется о железные прутья, покуда яркие его перышки не начинают кружиться в воздухе и устилать пол его надежного узилища. Потом пташка просовывает свою головку далеко сквозь прутья, в коих застревают ее прелестные плечики; а затем, с трудом втянув головку обратно, она судорожно хватает клювом воздух и, устроившись на насесте, сначала задумчивым взором обзрывает, а чуть позже внимательно исследует свой проволочный шатер. Переведя дух, она в новом приступе ярости бьется и ударяется о прутья клетки прелестной головкой и тельцем, щиплет проволоку и клюет пальцы своей восхищенной укротительницы. И наконец, поняв безуспешность сих попыток, совершенно измученная и едва живая, маленькая пленница простирается на полу клетки, будто оплакивая свою жестокую судьбу и утраченную свободу. А спустя несколько дней, по мере того, как ее попытки вырваться на волю становятся все слабей, ибо она убеждается в их бессмысленности, новое обиталище становится привычным для нее; и вот она уже прыгает с жердочки на жердочку, и обретает обычную свою веселость, и каждый день распевает песенки для собственного удовольствия и в благодарность своей владелице.

Теперь хочу сказать тебе, что я видел птичку, которая действительно заморила себя голодом и умерла от горя, когда ее поймали и посадили в клетку. Но никогда не встречал я женщину, настолько глупую. Однако мне доводилось слышать, как милые душеньки в подобных случаях грозятся лишиться себя жизни. Но мы ничем не польстим женщине, коли не признаем в ней *больше здравого смысла, чем в птичке*. И тем не менее все мы должны согласиться, что куда трудней поймать *птичку*, чем *леди*.

Разовью сие сравнение дальше: ежели разочарование плененной леди будет очень велико, она и точно станет грозиться, как я сказал; она даже будет отказываться от пищи некоторое время, особенно коли ты станешь умолять ее и она посчитает, будто отказом своим внушает тебе тревогу. Но вскоре аппетит вернется к прекрасной строптивнице. И приятно наблюдать, как мало-помалу она смиряется; и движимая чувством голода, сначала, вероятно, сама тайком утянет и проглотит орошенный слезами кусочек; а потом будет вынуждена с видимой неохотой есть понемножку и вздыхать – вздыхать и есть понемножку в твоём присутствии; и время от времени, ежели кушанье будет пресным, проглатывать в качестве приправы слезу-другую; затем она начнет есть и пить, дабы сделать тебе одолжение; затем решит жить ради тебя; а после, глядишь, ее возмущенный ропот заступят льстивые речи; ее яростные укоры обратятся

в нежное воркование: «Как ты *посмел*, коварный!» – в «Как ты *мог*, дорогой!» Она станет подманивать тебя ближе к себе вместо того, чтобы отталкивать прочь; и не будет больше выпускать когти при твоём приближении; но, подобно прелестному, игривому, резвому котенку, мягкими лапками со спрятанными коготками будет легонько ударять тебя по щеке, и, мешая слезы с улыбками и ласками, станет умолять тебя о внимании и *верности*; тогда ей придется просить тебя обо всякой милости! И тогда для мужчины – когда бы ему было дано удовлетвориться одним предметом любви – наступает пора становиться день ото дня все счастливей.

И вот, Белфорд, ежели сейчас я остановлюсь на достигнутом, то как узнаю разницу между моей возлюбленной мисс Харлоу и *другой* птичкой? Выпустить ее на волю сейчас – какая нелепость! Как я узнаю, коли не проверю, можно ли ее заставить петь милые песенки для меня и испытывать при этом такое же довольство, какое я заставлял испытывать прочих пташек – и весьма стыдливых тоже?

Но давай теперь поразмыслим немного о дурных наклонностях человеческой природы. Я могу привести два-три привычных (а не будь они *привычными*, они показались бы *ужасными*) примера жестокости как мужчин, так и женщин по отношению к другим созданиям – вероятно, столь же достойным (по меньшей мере, более невинным), как и они сами. Клянусь честью, Джек, по натуре своей человек больше дикарь, чем принято полагать. Да и не так уж странно, в конце концов, что порой мы мстим за представителей нашего рода куда более невинным животным.

Перейду к частным случаям.

Сколь обычное дело для женщин, равно как и для мужчин, без всякого зазрения совести ловить, сажать в клетку, мучить и даже раскаленными спицами выкалывать глаза бедной пернатой певунье (ты видишь, я еще не закончил с птицами), в которой, однако, относительно ее размеров, заключается больше жизненной силы, чем в человеке (ибо птица – сама душа); и которая, следовательно, не уступает человеку в способности чувствовать! Но в то же время, если честный малый, прибегнув к нежнейшим уговорам и тончайшему лукавству, имеет счастье убедить подвергнутую заточению леди согласиться на собственное ее освобождение, и она изъявляет готовность сломать клетку и взмыть в вечно ликующие небеса свободы – какое страшное негодование возбуждает он против себя!

Однажды, в убогой деревушке в окрестностях Челмсфорда, мы с тобой наблюдали пример подобного негодования, обрушенного на бедного голодного лиса, который, дождавшись удобного случая, поймал за шею и закинул себе за спину жирного гуся с лоснящимися перьями; и в то же мгновение мы увидели гурьбу местных мальчишек и девчонок, стариков и старух; каждая складка и морщина на лицах последних источала в тот миг злобу, и старики были вооружены кольями, вилами, дубинками и битами; а старухи – швабрами, метлами, лопатами для угля, каминными щипцами и кочергами; молодые же швырялись грязью, камнями и обломками кирпичей; и бегущая толпа разрасталась, словно снежный ком, устремляясь за бегущим быстрее ветра воров; и все паршивые дворняги *округи* мчались следом за толпой, и их залихватское твяканье довершало сей ужасный хор.

Помнишь ли ты сию сцену? Конечно, помнишь. Мое воображение, возбужденное нежным сочувствием к отчаянному мародеру, рискующему жизнью, рисует перед моим взором сию картину так отчетливо, словно все это происходило вчера. И не припоминаешь ли ты, как от всей души радовались мы, словно сами избежали смерти, когда тот славный Рейнеке-лис, перепрыгнув счастливо оказавшуюся у него на пути изгородь, возле которой из стариков и детей тут же образовалась куча-мала, и петлями устремившись прочь, спасся от слепой ярости гонителей и летящих вслед ему бит; и как мысленно мы последовали за ним в его тайное убежище и явственно вообразили, как бесстрашный вор смакует дорого доставшуюся ему добычу с наслаждением, соразмерным с пережитой опасностью?

Однажды я заставил очаровательную маленькую дикарку жестоко раскаяться в удовольствии, кое она находила в наблюдении за своей полосатой любимицей, затеявшей жестокую игру с прелестной гладкой мышкой с глазками-бусинками, прежде чем сожрать ее. «Черт возьми, любовь моя! – говорил я себе, созерцая сию сцену. – Я твердо положил затаиться, выжидая удобного случая, чтобы посмотреть, понравится ли тебе, когда я буду швырять тебя через свою голову; понравится ли тебе, когда я стану отшвыривать тебя прочь и вновь подтаскивать обратно. Однако я скорей оставлю леди жизнь, нежели лишу ее оной, как в конце концов поступило жестокое четвероногое со своей жертвой». И после того, как все было кончено между моей возлюбленной и мной, я напомнил ей о случае, побудившем меня принять такое решение.

Так и в другой раз я не проявил никакого милосердия к дочери одного старого эпикурейца, который научил девушку без малейшей жалости жарить омаров живьем; приказывать до смерти засекаать кнутом бедных свиней; и соскабливать от хвоста к голове чешую с живых карпов, заставляя их прыгать на сковородке в соусе из собственной крови. И все это ради чревоугодия и для возбуждения аппетита, который в некотором смысле я не теряю никогда и который смело могу назвать волчьим.

Когда бы не желание оставить простор для твоего воображения, я мог бы привести тебе еще множество подобных примеров, показывающих, как самые достойные люди по отношению к одним божьим тварям позволяют себе такие же (и, вероятно, худшие) вольности, какие мы позволяем себе по отношению к другим; и все это *божьи твари*, тем не менее! И божьи твари, как я заметил выше, полные жизненной силы и живого чувства! И потому, если люди желают слыть милосердными, пусть милосердие является в каждом их деянии. Я читал где-то, что *милосердный человек всегда милосерден к животному*.

Пока это все, что я хотел сказать по поводу той части твоего письма, где ты обосновываешь необходимость проявить сострадание к леди.

Но я догадываюсь о главной причине этого твоего горячего выступления в защиту сего очаровательного создания. Я знаю, что ты переписываешься с лордом М., которому давно не терпится и очень хочется увидеть меня связанным узами брака. И ты желаешь услужить дядюшке, имея виды на одну из его племянниц. Но известно ли тебе, что для исполнения твоих желаний потребуются *мое согласие*? И похвалит ли тебя такая девушка, как Шарлотта, когда я расскажу ей об оскорблении, которое ты нанес всему женскому полу, спросив меня, *сочту ли я, овладев прелестнейшей в мире женщиной, что сия награда стоит затраченных усилий*? Кого, по-твоему, скорей простит сильная духом женщина: недооценивающего ее негодяя, который *может задать подобный вопрос*, или мужчину, который *предпочитает преследование и покорение прекрасной женщины всем радостям жизни*? Ужели не знаю я, как даже *целомудренная женщина*, какой она желала слыть, поклялась в вечной ненависти к мужчине, заявившему, что она *слишком стара для того, чтобы соблазнять ее*? И разве оскорбительный отзыв Эссекса о королеве Елизавете, как о *горбатой старухе*<sup>8</sup>, не послужил к его гибели больше, чем его измена?

Но скажу еще пару слов в ответ на твое замечание касательно моих трудов и полученной за них награды.

Разве страстный охотник не рискует сломать себе шею и кости в погоне за хищником, мясо которого не пригодно в пищу ни людям, ни собакам?

Разве охотники на более благородную дичь не ценят оленину меньше, чем саму охоту?

---

<sup>8</sup> ...Отзыв Эссекса о королеве Елизавете как о горбатой старухе... – Роберт Деверо, 2-й граф Эссекс (1566–1601) – последний фаворит королевы Елизаветы I. После бездарно проваленной ирландской кампании 1599 года Эссекс попал в опалу. Именно к этому времени относятся оскорбительные высказывания графа о королеве, за которыми вскоре последовал мятеж, приведший его на плаху.



Почему тогда надо порицать меня и оскорблять прекрасный пол за мое терпение и упорство в самой замечательной из всех ловитв и за мое нежелание быть браконьером в любви – ибо именно так *можно истолковать* твой вопрос?

На будущее научись у своего господина выказывать больше почтения к полу, в коем мы находим главные наши развлечения и восторги.

Продолжение последует вскоре.

### Письмо V. Мистер Лавлейс, в продолжение предыдущего

Прекрасно заметил ты, что *мое сердце – самое злокозненное в мире*. Ты сделал мне честь, и я сердечно благодарю тебя. Ты неплохой судья. Как важно выступаю я, выставив вперед двойной подбородок, *подобно священнику Буало!*<sup>9</sup> Разве не обязан я заслужить сей комплимент? И хочешь ли ты, чтобы я раскаивался в убийстве прежде его совершения?

«Добродетели и Грации – прислужницы сей леди. Она, безусловно, появилась на свет, дабы украсить свой век». Хорошо сказано, Джек! – «И послужила бы украшением для высочайшего сословия». Но что за похвала это, если только высочайшее сословие не украшено высочайшими совершенствами? Титул! Пустое! *Высочайший титул!* Ты глупец! Ужели ты, который знает *меня*, настолько ослеплен горностаями и парчой? Только я, захвативший сие сокровище, достоин обладать им. Посему на будущее следи за своим слогом и провозгласи леди украшением счастливейшего мужчины и (в том, что касается ее самой и всего ее пола) величайшего завоевателя на свете.

Кроме того, то, что она *любит меня*, как ты предполагаешь, ни в коей мере не представляется мне очевидным. Ее обусловленные обстоятельства попытки отвергнуть меня, ее нежелание довериться мне дают мне право спросить: как может она ценить мужчину, который завладел ей вопреки ее воле, в долгой, упорной борьбе честно взял ее в плен?

Что же касается до умозаключений, на кои навели тебя *взоры* леди, то ты ничего не понял о ее *сердце*, коль скоро вообразил, будто хоть один из них был исполнен любви. Я внимательно следил за выражением ее глаз и ясно читал в них всего лишь вежливо скрываемое отвращение ко мне и компании, в кою я ввел ее. Ее ранний уход в тот вечер, на котором она настояла вопреки нашим мольбам, должен был убедить тебя в том, что в сердце леди сокрыто очень мало нежности ко мне. А ее *взоры* никогда не выражают чувств, коих нет в ее сердце.

Она, утверждаешь ты, является *воплощением чистого разума*. Это же утверждаю и я. Но почему предполагаешь ты, что ум, подобный ее, встретив ум, подобный моему, и, если еще раз употребить это слово, *встретив* наклонность в ее сердце, не должен произвести на свет умы, родственные ее собственному?

Доведись мне внять твоему глупому совету и жениться, какой фигурой явлюсь я в анналах распутников! Леди находится в моей власти, однако не *намерена* отдаваться мне во власть; открыто отрицает любовь и восстает против нее; обнаруживает столько бдительной осторожности; не полагается на мою честь; семейство ее уверено, что худшее *уже* свершилось; сама она, похоже, уверена, что попытка содейть худшее будет предпринята [для того и Присцилла Партингтон!] Как?! Ужели ты не хочешь, чтобы я действовал сообразно своей репутации?!

Но почему ты называешь леди *невинной*? И почему говоришь, что она *любит меня*?

Если говорить о ее *невинности* в отношении меня и если употреблять это слово не в общепринятом смысле, то должен настаивать на том, что она *не* невинна. Можно ли назвать невинной *ту*, которая, желая связать меня брачными узами в самом расцвете моей молодости,

---

<sup>9</sup> ...подобно священнику Буало... – У французского поэта-классициста Николя Буало (1636–1711) в ироикомической поэме «Налой» (1674) подчеркнута возвышенным слогом описана пустячная ссора двух священников: достойные отцы не могли прийти к согласию, куда поставить церковный столик. Выдающаяся черта одного из спорщиков – двойной подбородок.

когда я столь склонен к изысканным проказам, хочет неизбежно обречь меня на вечные муки, доведись мне нарушить – как, боюсь, оно и случится – торжественнейший обет из всех, какие я могу дать? На мой взгляд, ни один мужчина не должен давать даже обычную клятву, коли не чувствует в себе силы сдержать ее. Это и есть свидетельство совести! Это и есть свидетельство чести! Когда я решу, что смогу соблюсти брачный обет, тогда для меня и настанет время жениться.

Несомненно, как говоришь ты, дьяволы возрадуются падению такой женщины. Но я твердо убежден, что успею жениться всегда, когда захочу. И ежели я отдам леди эту *справедливость*, разве не получу я права на ее *благодарность*? И разве не будет она чувствовать, что это я сделал ей одолжение, а не она мне? Кроме того, позволь заметить тебе, Белфорд, что *нравственности леди* невозможно нанести больший ущерб, чем нанесли твои собратья-плуты вместе с тобой другим представительницам ее пола, которые сейчас бродят по городу, заклеянные и дважды погибшие. На-ка, проглоти сию пилюлю.

<...>

## Письмо VII. Мисс Кларисса Харлоу – мисс Хоу

Я благодарю тебя и мистера Хикмэна за письмо последнего, отправленное мне с любезной поспешностью, и продолжаю повиноваться моей дорогой тиранке, сыплющей угрозы.

*Далее она во всех подробностях передает свой разговор с мистером Лавлейсом, состоявшийся во вторник утром и касающийся четырех его друзей и мисс Партингтон, во многом повторяя рассказ мистера Лавлейса. А затем продолжает:*

Мистер Лавлейс постоянно обвиняет меня в чрезмерной щепетильности. Он говорит, что «я всегда недовольна им и не могла бы вести себя более холодно даже с мистером Сомсом; и что со всеми его надеждами и понятиями решительно не сообразуется то обстоятельство, что он оказался не в силах за столь продолжительный срок заблаговременно внушить особе, которую он надеется так скоро иметь честь назвать своей, хоть толику нежности, выделяющей его среди других».

Глупый и пристрастный посягатель! Будто не знает, *чему приписать холодность, с которой я вынуждена обращаться с ним!* Но его *гордость* истребила в нем всякое *благоразумие*. Конечно, это гордость низкая, недостойная; она вытеснила гордость *истинную*, благодаря которой мистер Лавлейс мог бы стать выше тщеславия, всецело им завладевшего.

Однако он делает вид, будто горд единственно возможностью служить мне; и постоянно разглагольствует о своем почтении, смиренности и тому подобном вздоре; но в одном я уверена: он питает, как я заметила при первой же нашей встрече, слишком глубокое уважение к собственной своей персоне, чтобы особо ценить свою супругу, на ком бы он ни женился; и лишь слепая могла не заметить, что он чрезвычайно тщеславится своим внешним превосходством над другими и той непринужденностью в общении, которая объясняется, вероятно (ежели сторонний наблюдатель увидит в ней *какое-то* достоинство), скорей его самоуверенностью, нежели еще чем-либо.

Разве не замечала ты еще тогда, когда я была твоей счастливой гостьей, как сей человек шествует к своей карете, поглядывая по сторонам, будто желая увидеть, чьи взоры привлекла его обманчивая внешность и показные манеры?

Но в самом деле мы встречали невзрачных на вид фатов, державшихся столь кичливо, будто они обладают наружностью, которой можно гордиться; когда в то же время было очевидно, что всеми своими стараниями приукрасить себя они лишь подчеркивали свои изъяны.

Мужчина, который стремится казаться *значительней* или *лучше*, чем он *есть*, как я часто замечала, всего лишь привлекает пристальное внимание к своим потугам; а последнее обыкновенно порождает презрение. Ибо гордыня, как, кажется, я уже говорила, является безоши-

бочным признаком слабости; *некоей ущербности ума или сердца – или того и другого*. Человек, превозносящий себя, оскорбляет своего ближнего, которому приходится сомневаться даже в тех его достоинствах, какие, будь он скромн, вероятно, признали бы за ним по праву.

Ты скажешь, что я очень серьезна; и я действительно серьезна. Мистер Лавлейс низко пал в моем мнении с вечера понедельника и не дает мне никаких оснований для приятных надежд. Ибо какие надежды *в лучшем* случае можно возлагать на человека *столь чуждого мне склада ума?*

Полагаю, в предыдущем письме я упомянула о том, что мне прислали мою одежду. Ты привела меня в такое смятение, что я не помню наверняка. Но помнится, я намеревалась упомянуть об этом. Мне доставили ее в четверг; однако не передали с ней ни мои незначительные накопления, ни мои книги, за исключением *сочинения Дрекселия «О вечности»*, старой доброй *«Практики благочестия»* и *Франциска Спирь*<sup>10</sup>. Полагаю, по остроумному совету брата. Он находит, что поступает хорошо, напоминая мне о смерти и отчаянии. Я призываю к себе первую и время от времени погружаюсь в пучину второго.

Моя крайняя серьезность покажется тебе не столь удивительной, когда в дополнение ко всему сказанному и к моему неопределенному положению я сообщу, что вместе с этими книгами близкие переслали мне письмо от кузена Мордена. Оно восстановило мое сердце против мистера Лавлейса. И против меня самой тоже. Я прилагаю послание кузена к сему. Если тебе будет угодно, моя дорогая, прочитай его сейчас.

### **Полк. Морден – Мисс Клариссе Харлоу**

*Флоренция, 12 апреля*

Меня чрезвычайно обеспокоило известие о размолвке между твоими родственниками, столь близкими и дорогими мне, и *тобой*, еще более дорогой мне, чем все остальные.

Кузен Джеймс сообщил мне о сделанных тебе предложениях и твоих отказах. Ни первые, ни последние не удивили меня. Когда ты в столь ранние лета подавала столь большие надежды ко времени моего отъезда из Англии; и, как я часто слышал, оправдала их в полной мере и в отношении внешности, и в отношении ума – какое восхищение должна ты вызывать! Сколь немногие должны быть достойны тебя!

Твои родители, самые снисходительные на свете к дочери самой достойной, похоже, позволили тебе отвергнуть нескольких джентльменов. Наконец они сообразовали *настойчиво* указать тебе на одного человека, встревоженные ухаживанием другого, коего не могли одобрить.

По-видимому, своим поведением ты никак не обнаружила перед ними своего глубокого отвращения к означенному господину; и потому они продолжали действовать – вероятно, слишком поспешно для особы столь деликатной, как ты. Но когда обе стороны пришли к согласию и составили брачный договор, в высшей степени выгодный для тебя, договор, убедительно свидетельствующий о справедливом уважении сего господина к тебе, ты бежала из дома, явив тем самым безрассудство и горячность, мало сообразные с той мягкостью нрава, которая придавала изящество всем твоим поступкам.

Я очень мало знаю обоих джентльменов, но о мистере Лавлейсе знаю больше, нежели о мистере Сомсе. Мне хотелось бы иметь основания отозваться о нем лучше, чем я могу. Твой брат признает, что во всех отношениях, кроме *одного*, между ними не может быть сравнения.

---

<sup>10</sup> ...сочинения Дрекселия «О вечности», старой доброй «Практики благочестия» и Франциска Спирь... – Перечисляются глубоко религиозные сочинения, акцент в которых сделан на греховности человеческой природы, близости смерти и вечности адских мук.

Но это *одно* качество перевешивает все прочие вместе взятые. Невозможно представить, чтобы Кларисса Харлоу простила мужу отсутствие **НРАВСТВЕННОСТИ**.

Какой довод, милейшая моя кузина, привести тебе в первую очередь в связи с этим? Верность дочернему долгу, твои интересы, твое нынешнее и будущее благополучие, все вместе могут зависеть и зависят единственно от этого пункта – *нравственности мужа*. Женщина, имеющая порочного супруга, может не найти в себе сил *быть* доброй и лишиться возможности *делать* добро; и потому оказывается в худшем положении, чем мужчина, имеющий плохую жену. Насколько я понял, ты сохранила все свои религиозные убеждения. Я бы удивился, когда бы это было не так. Но уверена ли ты, что сумеешь следовать им в обществе безнравственного мужа?

Коль скоро ты расходишься со своими родителями во мнении по сему важному вопросу, позволь мне спросить тебя, дорогая моя кузина, кто из вас должен уступить? Признаюсь, я считал бы мистера Лавлейса наилучшей из всех возможных партий для тебя, будь он человеком нравственным. Я не стал бы много высказываться против человека, судить поступки которого не имею права, когда бы он не ухаживал за моей кузиной. Но в данном случае позволь мне сказать тебе, милая Кларисса, что мистер Лавлейс просто недостойн тебя. Ты говоришь, он *может* исправиться; но может и *нет*. От привычек невозможно избавиться легко и скоро. Распутники, кои являются таковыми вопреки своим дарованиям, исключительному уму и убеждениям, едва ли исправятся когда-нибудь, кроме как чудом или вследствие немощи. Прекрасно знаю я собственный свой пол. Прекрасно могу судить я о том, насколько возможно исправление распущенного молодого человека, не сокрушенного недугами, несчастьями и бедствиями, который имеет виды на богатое наследство; когда он весел духом, безудержен в своих страстях; когда люди, с которыми он водится, – вероятно, подобные ему самому, – убеждают его в верности избранного образа жизни, принимая участие во всех его предприятиях.

Если же говорить о другом джентльмене – предположи, милая кузина, что, если ты не любишь его *сейчас*, то вполне вероятно, полюбишь его *впоследствии*; и, возможно, тем больше именно потому, что не любишь его *сейчас*. Едва ли он падет в твоём мнении еще *ниже*; скорей *возвысится*. *Большие* надежды крайне редко оправдываются хотя бы *отчасти*. В самом деле, как может быть иначе, когда утонченное и богатое воображение уносится в своих мечтах бесконечно далеко от действительности, к возвышеннейшим радостям из доступных в подлунном мире? Женщина, украшенная подобным воображением, не видит изъяна в предмете своего чувства (тем более, если она не знает за собой никакой умышленной вины), пока не становится слишком поздно исправлять ошибку, вызванную ее великодушной доверчивостью.

Но представь себе, что особа твоих дарований выходит замуж за человека, обладающего скрытыми талантами. Кто в этом случае удачней распорядится *собой*, чем мисс Кларисса Харлоу? Какое наслаждение находишь ты в добрых деяниях! Как успешно посвящаешь часть дня собственному своему совершенствованию и интересам всех, входящих в круг твоего общения! – и *кроме того*, ты обнаруживаешь такой вкус, такие успехи в самых деликатных трудах и самых деликатных занятиях; такое превосходство во всех частях домашнего хозяйства, в какие приличествует входить молодой леди, что твои близкие пожелают, чтобы тебя как можно меньше заботили достоинства, которые можно назвать всего лишь *внешними*.

Но мне бы хотелось, милая кузина, чтобы ты подумала как следует о возможных последствиях того предпочтения, кое ты, юная леди столь даровитая, предположительно отдаешь распутнику. Чтобы душа столь возвышенная соединилась с душой столь изменной! И разве такой человек, как этот, не привнесет в твою жизнь постоянное беспокойство? Разве не будет по его милости душа твоя вечно полна тревоги за него и за себя? – Когда он пренебрежет властью как божественной, так и мирской, и станет постоянно нарушать их установления не просто *случайно*, но *умышленно*. Дабы снискать его одобрение и сохранить его расположение, тебе, вероятно, придется отказаться от всех собственных своих похвальных устремлений. Тебе придется

разделить его приязни и неприязни. Тебе придется отказаться от собственных своих добродетельных друзей ради его развратных приятелей – вероятно, твои друзья покинут тебя по причине каждодневных скандалов, кои он станет устраивать. Можешь ли ты надеяться, кузина, *надолго* сохранить добронравие, присущее тебе *ныне*? Если нет, подумай хорошенько, от каких из нынешних своих похвальных наслаждений ты желала бы отказаться? Какие предосудительные наслаждения смогла бы разделить с ним? Как сумеешь ты отступить от тех своих обязанностей, которые сейчас столь примерно исполняешь, вместо того, чтобы следовать оным далее? И можешь ли ты знать, где ты будешь наказана и где *сможешь* остановиться, если однажды поступишь своими убеждениями?

<...>

Знаю, о мистере Лавлейсе заслуженно можно говорить, как о приятном исключении из общего правила; ибо он действительно человек способный и просвещенный; его уважали и здесь, и в Риме; а привлекательная наружность и благородный склад ума давали ему большое преимущество перед остальными. Но нет нужды говорить тебе, что распутник, обладающий здравым смыслом, сотворяет несравненно большее зло, чем в силах сотворить распутник умственно неразвитый. И вот что еще скажу я тебе: мистериу Лавлейсу следует винить только себя самого за то, что в кругу *людей образованных* он не снискал еще большее уважение, чем то, каким пользовался. Одним словом, он находил развлечение в некоторых вольных забавах, кои угрожали его жизни и свободе; по этой причине лучшим и достойнейшим людям из тех, кто почтил его своим вниманием, пришлось прекратить знакомство с ним; а пребывание его во Флоренции и Риме оказалось не столь длительным, как он задумывал.

Это все, что я хотел сказать о мистере Лавлейсе. Мне было бы куда приятней иметь повод аттестовать его совершенно иначе. Но что касается до повес и распутников вообще, то мне, который хорошо знает их, будет позволено добавить еще несколько слов на эту тему – дабы предостеречь тебя от того зла, какое они *всегда* держат *в сердце* и *слишком часто* сотворяют *на деле* по отношению к вашему полу.

Либертен<sup>11</sup>, милая кузина, *каверзный* и *злокозненный* распутник, обыкновенно *безжалостен* – и всегда *несправедлив*. Благородное правило не желать другим того, чего ты не пожелал бы себе, он нарушает в первую очередь; и нарушает его каждый день; и чем чаще делает это, тем больше торжествует. Он глубоко презирает ваш пол. Он не верит в женскую добродетель, поскольку сам развратен. Каждая женщина, которая *благоволит к нему*, *утверждает* его в сем безнравственном неверии. Он всегда измышляет способы умножить зло, в коем находит наслаждение. Коль скоро женщина любит такого мужчину, как может она вынести мысль о необходимости делить его любовь с доброй половиной городских жительниц, принадлежащих, к тому же, вероятно, к самым низам общества? Кроме того, такое сладострастие! Как сможет юная леди, столь утонченная, терпеть такого сладострастника? Человека, который обращает в шутку свои клятвы; и который, вероятно, сокрушит твой дух оскорблениями, в высшей степени недостойными мужчины. *В начале* своего пути либертен должен отказаться от всяких угрызений совести, от всякого милосердия. *Продолжать* сей путь – значит неизменно являть собой все самое низкое и жестокое. Мольбы, слезы и самое униженное смирение будут всего лишь разжигать его гордость; вероятно, он станет похваляться примерами твоего терпеливого страдания и сломленного духа перед своими бесстыдными приятелями и, вполне возможно, еще более бесстыдными женщинами, биться с ними об заклад и приводить их домой, дабы они убедились в первом и втором.

---

<sup>11</sup> *Либертен* (или *либертин*, от лат. *libertinus* – вольноотпущенный) – вольнодумец, представитель враждебного церкви идеологического течения, игравшего важную роль в духовной жизни Европы XVII–XVIII вв. Различают два типа либертинажа: 1) подлинную философию вольномыслия, оппозиционную по отношению к господствующим устоям и гуманистическую по своей природе и 2) либертинаж нравов – цинизм в вопросах морали и показное безбожие. В романе Ричардсона слово употреблено именно в этом последнем значении.

Я пишу о случаях, мне *известных*.

Я не упоминаю о промотанных наследствах, заложенных или проданных имениях и обездоленном потомстве – равно как и о множестве других злодеяний, слишком ужасных, чтобы говорить о них особе столь утонченной. <...>

Поразмысли над моими словами, которым я постарался бы придать больше убедительности, когда бы не считал это лишним в беседе с особой твоего благоразумия – поразмысли над ними хорошенько, возлюбленная моя кузина; и, ежели родители будут настаивать на твоём замужестве, решишь подчиниться им; и не позволяй никому сказать, что твои прихоти (как у многих представительниц твоего пола) оказались сильнее чувства долга и здравого смысла. Чем меньше нравится девушке жених, тем больше обязывает она его своим согласием. Помни, что мистер Сомс – человек трезвого ума, он имеет добрую репутацию, которую можно утрачивать, а потому сия репутация послужит залогом доброго его отношения к тебе.

Тебе представляется возможность явить высочайший из всех мыслимых пример дочерней почтительности. Воспользуйся ею. Это тебе по силам. Этого все ожидают от тебя; однако если принять во внимание твои наклонности, можно пожалеть о том, что тебя призывают явить сей пример. Давай скажем так: ты могла одолжить своих родителей (гордое выражение, кузина!) – но могла сделать это, единственно лишь поступив *противно* своим наклонностям! Родителей, перед которыми ты тысячу раз в долгу; которые тверды в своем решении и не отступят от него; которые уступали тебе во многих случаях, даже подобного рода; и в свою очередь ожидают от тебя уступки в подтверждение собственной своей власти, равно как и своего здравого смысла.

Надеюсь в скором времени лично поздравить тебя с твоим похвальным согласием. Необходимость уладить все дела и снять с себя опеку – одна из основных причин моего отъезда из этих мест. Буду рад устроить все наилучшим для всех образом; и для тебя в особенности.

Я буду несказанно счастлив, ежели по приезде найду, что в семействе, столь дорогом мне, как и прежде, царит блаженное согласие; тогда, вероятно, я оставлю все свои дела, дабы безотлучно находиться рядом с вами.

Я написал очень длинное письмо и более ничего не добавлю, кроме того, что засим остаюсь с глубочайшим почтением, дражайшая кузина, *твоим покорным слугой* У. Морденом.

Предположу, дорогая мисс Хоу, что ты прочитала письмо кузена. Теперь поздно сожалеть о том, что оно не пришло раньше. Но если бы и *пришло*, вероятно, у меня все равно достало бы глупости прийти на *роковую встречу* с мистером Лавлейсом, ибо я совсем не думала бежать с ним.

Но едва ли *до* встречи я подала бы ему *надежду* на подобный исход, вследствие которой он явился *подготовленным* и которую он столь коварно вынудил меня оправдать.

Я терпела такие притеснения и питала так мало надежд на снисхождение, кое, как к великой моей горечи поведала мне тетюшка (и ты подтвердила ее слова), ожидало меня, что теперь трудно сказать, согласилась бы я или нет на *встречи с ним*, когда бы сие послание пришло своевременно; но я твердо уверена в одном: оно заставило бы меня настаивать со всем упорством, наперекор всем планам близких, на отъезде к доброму автору назидательного послания и на своем желании обрести отца (защитника, равно как и друга) в родственнике, который является одним из моих опекунов. В моем положении подобное покровительство было бы понятным, по меньшей мере, непредусудительным. Но мне *суждено было стать* несчастной! И как нестерпимо мучительна для меня мысль, что я уже сейчас могу подписаться под словесным портретом распутника, столь верно изображенного в письме моего кузена, кое, полагаю, ты уже прочитала!

Чтобы судьба связала меня с человеком такого нрава, какой всегда внушал мне отвращение! Но, полагаясь на свою силу и не имея оснований опасаться безрассудных и постыдных

порывов со своей стороны, я, вероятно, слишком редко обращала взоры к Высочайшему Владыке, коему мне следовало полностью довериться, не рассчитывая на себя – и особенно, когда человек такого нрава стал ухаживать за мной с таким упорством.

Неискусственность и самонадеянность – с помощью брата и сестры, видевших низкую корысть в моем позоре, – привели меня к *погибели*! Страшное слово, дорогая моя! Но я повторяю его и по зрелом раздумье; ибо, пусть даже случится лучшее из того, что может случиться *сейчас*, репутация моя погублена; жизнь с распутником – мой удел; а *что* это за удел, тебе поведало письмо кузена Мордена.

<...>

Позволь мне просить тебя, однако, молиться вместе со мной о том (когда судьба моя, похоже, зависит от *слова подобного человека*), чтобы, какой бы ни оказалась моя судьба, не сбылась та ужасная часть отцовского проклятия, в которой он желает мне понести наказание от руки человека, коему, как он полагает, я доверилась; чтобы этого не случилось – как ради самого *мистера Лавлейса*, так и во имя *человеческой природы*! Или, если для утверждения отцовской власти будет необходимо, чтобы я понесла наказание от *него*, пусть я приму кару не через *умышленную* или *намеренную* низость, но буду иметь возможность оправдать его *намерение*, ежели не *деяние*! В противном случае вина моя усугубится в глазах света, привыкшего судить человека лишь по видимым обстоятельствам. И все же, думаю, я была бы рада, если бы жестокость моего отца и дядюшек, сердца которых уже слишком глубоко уязвлены моим прегрешением, могла быть оправдана во всех отношениях, помимо сего тяжкого проклятия; и если бы отец сообразовал снять с меня оное, прежде чем о нем станет известно всем; по меньшей мере, ту ужасную часть проклятия, коя касается до загробной жизни!

### **Вопросы и задания:**

1. Какие задачи ставил перед собой Ричардсон в романе «Кларисса»?
2. Какие возможности открывала перед ним эпистолярная форма романа? Приведите суждения Ричардсона, высказанные им на этот счет в предисловии к роману.
3. Каковы основные темы романа Ричардсона?
4. Каких взглядов на человеческую природу придерживается автор «Клариссы»?
5. На основании приведенных здесь писем попытайтесь дать характеристику персонажей – участников переписки.
6. Изложите суть центрального конфликта романа.
7. Приведите примеры из текста, свидетельствующие о психологическом мастерстве Ричардсона.

## Генри Филдинг (1707–1754)

### Предтекстовое задание:

Познакомьтесь с отрывками из романа «История Тома Джонса, найденныша» (1749), особое внимание уделяя отличиям творческой манеры Филдинга от творческой манеры других писателей-просветителей – Дефо, Свифта, Ричардсона.

### История Тома Джонса, найденныша Перевод А. А. Франковского

*Mores hominum multorum vidit*<sup>12</sup>

### Книга первая, которая содержит о рождении найденныша столько сведений, сколько необходимо для первоначального знакомства с ним читателя

#### Глава I. Введение в роман, или Список блюд на пиршестве

Писатель должен смотреть на себя не как на барина, устраивающего званый обед или даровое угощение, а как на содержателя харчевни, где всякого потчуют за деньги. В первом случае хозяин, как известно, угощает чем ему угодно, и хотя бы стол был не особенно вкусен или даже совсем не по вкусу гостям, они не должны находить в нем недостатки: напротив, благовоспитанность требует от них на словах одобрять и хвалить все, что им ни подадут. Совсем иначе дело обстоит с содержателем харчевни. Посетители, платящие за еду, хотят непременно получить что-нибудь по своему вкусу, как бы они ни были избалованы и разборчивы; и если какое-нибудь блюдо им не понравится, они без стеснения воспользуются своим правом критиковать, бранить и посылать стряпню к черту.

И вот, чтобы избавить своих посетителей от столь неприятного разочарования, честные и благомыслящие хозяева ввели в употребление карту кушаний, которую каждый вошедший в заведение может немедленно прочесть и, ознакомившись таким образом с ожидающим его угощением, или остаться и ублажать себя тем, что для него приготовлено, или идти в другую столовую, более сообразную с его вкусами.

Так как мы не считаем зазорным позаимствоваться умом-разумом от всякого, кто способен поучить нас, то согласились последовать примеру этих честных кухмистеров и представить читателю не только общее меню всего вашего угощения, но также особые карты каждой перемены кушаний, которыми собираемся потчевать его в этом и следующих томах.

А заготовленная вами провизия является не чем иным, как человеческой природой. И я не думаю, чтобы рассудительный читатель, хотя бы и с самым избалованным вкусом, стал ворчать, придирааться или выражать недовольство тем, что я назвал только один предмет. Черепаха – как это известно из долгого опыта бристолюскому олдермену, очень сведущему по части еды, помимо отменных спинки и брюшка, содержит еще много разных съедобных частей; а просвещенный читатель не может не знать чудесного разнообразия человеческой природы,

---

<sup>12</sup> Видел нравы многих людей (лат.). Эпиграф заимствован Филдингом из «Поэтического искусства» Горация.



хотя она и обозначена здесь одним общим названием: скорее повар переберет все на свете сорта животной и растительной пищи, чем писатель исчерпает столь обширную тему.

Люди утонченные, боюсь, возразят, пожалуй, что это блюдо слишком простое и обыкновенное; ибо что же иное составляет предмет всех этих романов, повестей, пьес и поэм, которыми завалены прилавки? Много изысканных кушаний мог бы забраковать эпикуреец, объявляя их обыкновенными и заурядными на том только основании, что где-нибудь в глухом переулке под таким же названием разная дрянь. В действительности настоящую природу так же трудно найти у писателей, как байоннскую ветчину или болонскую колбасу в лавках.

Вся суть – будем держаться нашей метафоры – в писательской кухне, ибо, как говорит мистер Поп:

Остро сказать – наряд к лицу надеть,  
Живую мысль в слова облечь уметь<sup>13</sup>.

То самое животное, которое за одни части своего мяса достаивается чести быть поданным к столу герцога, нередко подвергается унижению за другие части, и иные его куски болтаются на веревке в самой последней городской лавчонке. В чем же тогда разница между пищей барина и привратника, которые едят одного и того же быка или телят, как не в приправе, приготовлении, гарнире и сервировке? Вот почему одно блюдо возбуждает и разжигает самый вялый аппетит, а другое отталкивает и притупляет самый острый и сильный.

Подобным же образом высокие достоинства умственного угощения зависят не столько от темы, сколько от искусства писателя выгодно подать ее. Как же будет порадован читатель, найдя, что в настоящем сочинении мы заботливо придерживались одного из первейших правил лучшего повара, какого только произвел нынешний век, а может быть, даже век Гелиогабала<sup>14</sup>! Этот великий человек, как хорошо известно всем любителям полакомиться, подает сначала, на голодный желудок, простые кушанья, а потом, когда, по его предположениям, аппетит слабеет, восходит до самых пикантных соусов и пряностей. Так и мы предложим сначала человеческую природу свежему аппетиту нашего читателя в том простом и безыскусственном виде, в каком она встречается в деревне, а потом начиним и приправим ее всякими тонкими французскими и итальянскими специями притворства и пороков, которые изготавливаются при дворах и в городах. Мы не сомневаемся, что такими средствами можно поселить в читателе желание читать до бесконечности, вроде того как только что названный великий человек вызывал в иных людях охоту без конца поглощать еду.

Предпослав эти замечания, мы не будем больше томить голодом читателей, которым наше меню пришлось по вкусу, и немедленно угостим их первым блюдом нашей истории.

## **Глава II. Краткое описание сквайра Олверти и более обстоятельные сведения о мисс Бриджет Олверти, его сестре**

В той части западной половины нашего королевства, которая обыкновенно называется Сомерсетшир, жил недавно, а может быть, и теперь еще живет, дворянин по фамилии Олверти, которого с полным правом можно было назвать баловнем Природы и Фортуны, ибо они, казалось, состязались, как бы пощедрее одарить его и облагодетельствовать. Из этого состязания Природа, на взгляд иных, вышла победительницей, оделив его множеством даров, тогда как в распоряжении Фортуны был один только дар, но, награждая им, она проявила такую рас-

---

<sup>13</sup> *Остро сказать...* – Цитата из стихотворного трактата Александра Поупа (1688–1744) «Опыт о критике» (1711).

<sup>14</sup> *Гелиогабал* – римский император (204–222), известный своим гурманством и распутством.

точительность, что, пожалуй, этот единственный дар покажется иному стоящим больше всех разнообразных благ, отпущенных ему Природой. От последней ему достались приятная внешность, здоровое телосложение, ясный ум и доброжелательное сердце; Фортуна же сделала его наследником одного из обширнейших поместий в графстве.

В молодости дворянин этот был женат на весьма достойной и красивой женщине, которую любил без памяти; от нее он имел троих детей, но все они умерли в младенчестве. Ему выпало также несчастье лет за пять до начала нашей повести похоронить и свою любимую жену. Как ни велика была утрата, он перенес ее как человек умный и с характером, хотя, должно признаться, часто толковал насчет этого немножко странно; так, порой от него можно было услышать, что он по-прежнему считает себя женатым и думает, что жена лишь немного опередила его в путешествии, которое и ему неизбежно придется, раньше или позже, совершить вслед за ней, и что он нисколько не сомневается встретиться с ней снова там, где уж никогда больше с ней не разлучится, – суждения, за которые одни из соседей отвергали в нем здравый смысл, другие – религиозные чувства, а третьи – искренность.

Теперь он жил большей частью в деревенской глуши, вместе с сестрой, которую нежно любил. Дама эта перешагнула уже за тридцать – возраст, в котором, по мнению злых, можно уже не чинясь называть себя старой девой. Она была из тех женщин, которых мы хвалим скорее за качество сердца, чем за красоту, а представительницы прекрасного пола называют обыкновенно порядочными женщинами: «Она, знаете, порядочная, во всех отношениях порядочная». И в самом деле, она так мало сожалела о недостатке красоты, что говорила об этом совершенстве, если красоту вообще можно назвать совершенством, не иначе как с презрением и часто благодарила бога за то, что она не так красива, как мисс такая-то, которая, не будь у нее красоты, наверное, не натворила бы столько глупостей. Мисс Бриджет Олверти (как звали эту даму) весьма справедливо видела в обаятельной внешности женщины всего лишь ловушку и для нее самой, и для других, но несмотря на личную безопасность, была все же крайне осмотрительна в своем поведении и до такой степени держалась настороже, словно ей были расставлены все ловушки, когда-либо угрожавшие прекрасному полу.

Действительно, я заметил, хотя это и может показаться читателю несуразным, что такого рода благоразумная осмотрительность, подобно полицейским дозорам, исполняет свои обязанности тем ретивее, чем меньше опасность. Часто эта осмотрительность постыдно и трусливо покидает первых красавиц, по которым мужчины томятся, вздыхают, чахнут и которым они расстилают все сети, какие только в их власти, и ни на шаг не отходит от тех высшего разбора женщин, к которым сильный пол относится с самым глубоким и благоговейным почтением и которых (должно быть, отчаиваясь в успехе) никогда не решается атаковать. Читатель, прежде чем мы пойдем с тобой дальше, не мешая, мне кажется, предупредить тебя, что в продолжение этой повести я намерен при всяком удобном случае пускаться в отступления; и когда это делать – мне лучше знать, чем какому-либо жалкому критику. Вообще я покорнейше просил бы всех господ критиков заниматься своим делом и не соваться в дела или сочинения, которые их вовсе не касаются, ибо я не обращусь к их суду, пока они не представят доказательств своего права быть судьями.

### **Глава III. Странный случай, приключившийся с мистером Олверти по возвращении домой. Благопристойное поведение миссис Деборы Вилкинс с добавлением нескольких замечаний о незаконных детях**

В предыдущей главе я сказал читателю, что мистер Олверти получил в наследство крупное состояние, что он имел доброе сердце и что у него не было детей. Многие, без сомнения, сделают отсюда вывод, что он жил, как подобает честному человеку; никому не был должен ни шиллинга, не брал того, что ему не принадлежало, имел открытый дом, радушно угощал

соседей и благотворительствовал бедным, то есть тем, кто предпочитает работе попрошайничество, бросая им объедки со своего стола, построил богадельню и умер богачом.

Многое из этого он действительно сделал: но если бы он этим ограничился, то я предоставил бы ему самому увековечить свои заслуги на красивой мраморной доске, прибитой над входом в эту богадельню. Нет, предметом моей истории будут события гораздо более необыкновенные, иначе я только попусту потратил бы время на писание столь объемистого сочинения, и вы, мой рассудительный друг, могли бы с такой же пользой и удовольствием прогуляться по страницам книг, в шутку названных проказниками авторами Историей Англии.

Мистер Олверти целые три месяца провел в Лондоне по какому-то частному делу; не знаю, в чем оно состояло, но, очевидно, было важное, если так надолго задержало его вдали от дома, откуда в течение многих лет не отлучался даже на месяц. Он приехал домой поздно вечером и, наскоро поужинав с сестрой, ушел, очень усталый, в свою комнату. Там, простояв несколько минут на коленях – обычай, которого он не нарушал ни при каких обстоятельствах, – Олверти готовился уже лечь в постель, как вдруг, подняв одеяло, к крайнему своему изумлению, увидел на ней завернутого в грубое полотно ребенка, который крепко спал сладким сном. Несколько времени он стоял, пораженный этим зрелищем, но так как добрые чувства всегда брали в нем верх, то скоро проникся состраданием к лежавшему перед ним бедному малютке. Он позвонил и приказал немедленно разбудить и позвать пожилую служанку, а сам тем временем так залюбовался красотой невинности, которую всегда в живых красках являет зрелище спящего ребенка, что совсем позабыл о своем ночном туалете, когда в комнату вошла вызванная им матрона. А между тем она дала своему хозяину довольно времени для того, чтобы одеться, ибо из уважения к нему и ради приличия провела несколько минут перед зеркалом, приводя в порядок свою прическу, несмотря на то что лакей позвал ее с большой торопливостью и ее хозяин, может быть, умирал от удара или с ним случилось какое-нибудь другое несчастье.

Нет ничего удивительного, что женщину, столь требовательную к себе по части соблюдения приличий, шокирует малейшее несоблюдение их другими. Поэтому, едва только она отворила дверь и увидела своего хозяина стоявшим у постели со свечой в руке и в одной рубашке, как отскочила в величайшем испуге назад и, по всей вероятности, упала бы в обморок, если бы Олверти не вспомнил в эту минуту, что он не одет, и не положил конец ее ужасу, попросив ее подождать за дверью, пока он накинет какое-нибудь платье и не будет больше смущать непорочные взоры миссис Деборы Вилкинс, которая, хотя ей шел пятьдесят второй год, божилась, что отроду не видела мужчины без верхнего платья. Насмешники и циники станут, пожалуй, издеваться над ее испугом; но читатели более серьезные, приняв в соображение ночное время и то, что ее подняли с постели и она застала своего хозяина в таком виде, вполне оправдают и одобряют ее поведение, разве только их восхищение будет немного умерено мыслью, что Дебора уже достигла той поры жизни, когда благоразумие обыкновенно не покидает девицы.

Когда Дебора вернулась в комнату и услышала от хозяина о найденном ребенке, то была поражена еще больше, чем он, и не могла удержаться от восклицания, с выражением ужаса в голосе и во взгляде: «Батюшки, что ж теперь делать?»

Мистер Олверти ответил на это, что она должна позаботиться о ребенке, а утром он распорядится подыскать ему кормилицу.

– Слушаюсь, сударь! И я надеюсь, что ваша милость отдаст приказание арестовать шлюху-мать; это, наверно, какая-нибудь, что живет по соседству; то-то приятно будет поглядеть, как ее будут отправлять в исправительный дом и сечь на задке телеги! Этих негодных тварей как ни наказывай, все будет мало! Побожусь, что у нее не первый. Экое бесстыдство: подкинуть его вашей милости!

– Подкинуть его мне, Дебора? – удивился Олверти. – Не могу допустить, чтобы у нее было такое намерение. Мне кажется, она избрала этот путь просто из желания обеспечить своего ребенка, и я очень рад, что несчастная не сделала чего-нибудь хуже.

– Чего уж хуже, – воскликнула Дебора, – если такие негодницы взваливают свой грех на честного человека! Известно, ваша милость тут ни при чем, но свет всегда готов судить, и не раз честному человеку случалось прослыть отцом чужих детей. Если ваша милость возьмет заботы о ребенке на себя, это может заронить подозрения. Да и с какой стати вашей милости заботиться о младенце, которого обязан взять на свое попечение приход? Что до меня, то, будь еще это честно прижитое дитя, так куда ни шло, а к таким пашенкам, верьте слову, мне прикоснуться противно, я за людей их не считаю. Фу, как воняет! И запах-то у него не христианский! Если смею подать совет, то положила бы я его в корзину, унесла бы отсюда и оставила бы у дверей церковного старосты. Ночь хорошая, только ветрено немного и дождь идет; но если его закутать хорошенько да положить в теплую корзину, то два против одного, что проживет до утра, когда его найдут. Ну, а не проживет, мы все-таки долг свой исполнили, позаботились о младенце... Да таким созданиям и лучше умереть невинными, чем расти и идти по стопам матерей, ведь от них ничего хорошего и ожидать нельзя.

Кое-какие выражения этой речи, по всей вероятности, вызвали бы неудовольствие у мистера Олверти, если бы он слушал Дебору внимательно, но он вложил в это время палец в ручку малютки, и нежное пожатие, как бы молившее его о помощи, было для него несравненно убедительнее красноречия Деборы, если бы даже она говорила в десять раз красноречивее. Он решительно приказал Деборе взять ребенка к себе на постель и распорядиться, чтобы кто-нибудь из служанок приготовил ему кашку и все прочее, на случай если он проснется. Он велел также, чтобы рано утром для ребенка достали белье поопрятнее и принесли малютку к нему, как только он встанет.

Миссис Вилкинс была так понятлива и относилась с таким уважением к своему хозяину, в доме которого занимала превосходное место, что после его решительных приказаний все ее сомнения мгновенно рассеялись. Она взяла ребенка на руки без всякого видимого отвращения к незаконности его появления на свет и, назвав его премиленьким крошкой, ушла с ним в свою комнату.

А Олверти погрузился в тот сладкий сон, каким способно наслаждаться жаждущее добра сердце, когда оно испытало полное удовлетворение. Такой сон, наверно, приятнее снов, которые бывают после сытного ужина, и я постарался бы расписать его моему читателю обстоятельнее, если бы только знал, какой воздух ему посоветовать для возбуждения названной жажды.

<...>

## **Книга вторая, заключающая в себе сцены супружеского счастья в разные периоды жизни, а также другие происшествия в продолжение первых двух лет после женитьбы капитана Блайфила на мисс Бриджет Олверти**

### **Глава I, показывающая, какого рода эта история, на что она похожа и на что не похожа**

Хотя мы довольно справедливо назвали наше произведение историей, а не жизнеописанием и не апологией чьей-либо жизни, как теперь в обычае, но намерены держаться в нем скорее метода тех писателей, которые занимаются изображением революционных переворотов, чем подражать трудолюбивому плодовитому историку, который для сохранения равномерно-

сти своих выпусков считает себя обязанным истреблять столько же бумаги на подробное описание месяцев и лет, не ознаменованных никакими замечательными событиями, сколько он уделяет ее на те достопримечательные эпохи, когда на подмостках мировой истории разыгрывались величайшие драмы.

Такие исторические исследования очень смахивают на газету, которая – есть ли новости или нет – всегда состоит из одинакового числа слов. Их можно сравнить также с почтовой каретой, которая – полная ли она или пустая – постоянно совершает один и тот же путь. Автор их считает себя обязанным идти в ногу с временем и писать под его диктовку; подобно своему господину – времени, он передвигается с ним по столетиям монашеского тупоумия, когда мир пребывал точно в спячке, столь же неторопливо, как и по блестящей, полной жизни эпохе <...>.

Мы намерены придерживаться на этих страницах противоположного метода. Если встретится какая-нибудь необыкновенная сцена (а мы рассчитываем, что это будет случаться нередко), мы не пожалеем ни трудов, ни бумаги на подробное ее описание читателю; но если целые годы будут проходить, не создавая ничего достойного его внимания, мы не побоимся пустот в нашей истории, но поспешим перейти к материям значительным, оставив такие периоды совершенно неисследованными.

<...>

Пусть же не удивляется читатель, если он найдет в этом произведении и очень короткие, и очень длинные главы – главы, заключающие в себе один только день, и главы, охватывающие целые годы, – если, словом, моя история иногда будет останавливаться, а иногда мчаться вперед. Я не считаю себя обязанным отвечать за это перед каким бы то ни было критическим судилищем: я творец новой области в литературе и, следовательно, волен дать ей какие угодно законы. И читатели, которых я считаю моими подданными, обязаны верить им и повиноваться; а чтобы они делали это весело и охотно, я ручаюсь им, что во всех своих мероприятиях буду считаться главным образом с их довольством и выгодой; ибо я не смотрю на них, подобно тирану, *jure divino*<sup>15</sup>, как на своих рабов или свою собственность. Я поставлен над ними только для их блага, я сотворен для них, а не они для меня. И я не сомневаюсь, что, сделав их интерес главной заботой своих сочинений, я встречу у них единодушную поддержку моему достоинству и получу от них все почести, каких заслуживаю или желаю.

## **Глава II. Библейские тексты, возбраняющие слишком большую благосклонность к незаконным детям, и великое открытие, сделанное миссис Деборой Вилкинс**

Через восемь месяцев после отпразднования свадьбы капитана Блайфила и мисс Бриджет Олверти – дамы прекрасной собой, богатой и достойной, миссис Бриджет, по случаю испуга, разрешилась хорошеньким мальчиком. Младенец был, по всей видимости, вполне развит, только повивальная бабка заметила, что он родился на месяц раньше положенного срока.

Хотя рождение наследника у любимой сестры очень порадовало мистера Олверти, однако оно несколько не охладило его привязанности к найденышу, которого он был крестным отцом, которому дал свое имя Томас и которого аккуратнo навещал, по крайней мере, раз в день, в его детской.

Он предложил сестре воспитывать ее новорожденного сына вместе с маленьким Томми, на что она согласилась, хотя и с некоторой неохотой; ее готовность угождать брату была поистине велика, и потому она всегда обращалась с найденышем ласковее, чем иные дамы строгих

---

<sup>15</sup> По божественному праву (лат.).

правил, подчас неспособные проявить доброту к таким детям, которых, несмотря на их невинность, можно по справедливости назвать живыми памятниками невоздержания.

Но капитан не мог так легко примириться с тем, что он осуждал как ошибку со стороны мистера Олверти. Он неоднократно намекал ему, что усыновлять плоды греха – значит потворствовать греху. В подтверждение он приводил много текстов (ибо был начитан в Священном Писании), как, например: «Карает на детях грехи отцов», или: «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», и т. п. Отсюда он доказывал справедливость наказания внебрачных детей за проступок родителей. Он говорил, что хотя закон и не разрешает уничтожать таких детей низкого происхождения, но признает их за ничьих; что церковь рассматривает их как детей, не имеющих родителей; и что в лучшем случае их следует воспитывать для самых низких и презренных должностей в государстве.

Мистер Олверти отвечал на это и на многое, высказанное капитаном по тому же поводу, что, как бы ни были преступны родители, дети их, конечно, невинны; а что касается приведенных текстов, то первый является угрозой, направленной исключительно против евреев за то, что они впали в грех идолопоклонства, покинули и возненавидели своего небесного царя; последний же имеет иносказательный смысл и скорее указывает несомненные и неминуемые последствия греха, чем имеет в виду определенное осуждение его. Но представлять себе, что всемогущий отмщает чьи-либо грехи на невинном, непристойно и даже кощунственно, равно как и представлять его действующим вопреки основам естественной справедливости и вопреки изначальным понятиям о добре и зле, которые сам же он насадил в наших умах, чтобы с их помощью мы судили не только о предметах, данных нам в опыте, но даже об истинах откровения. Он прибавил, что знает многих, разделяющих мнение капитана по этому поводу, но сам он твердо убежден в противном и будет заботиться об этом бедном ребенке совершенно так же, как о законном сыне, которому выпало бы счастье находиться на его месте.

В то время как капитан при всяком случае пускал в ход эти и подобные им доводы с целью охладить к найденьшу мистера Олверти, которого он начал ревновать за доброту к нему, миссис Дебора сделала открытие, грозившее гораздо более роковыми последствиями для бедного Томми, чем все рассуждения капитана.

Привело ли добрую женщину к этому открытию ее ненасытное любопытство, или же она сделала его с намерением упрочить благорасположение к себе миссис Блайфил, которая, несмотря на показную заботливость о найденьше, наедине нередко бранила ребенка, а заодно с ним и брата за привязанность к нему, – этого я не берусь решить; только миссис Дебора была теперь совершенно убеждена, что ей удалось обнаружить отца сиротки.

<...>

**Книга третья, заключающая в себе достопамятнейшие события, происшедшие в семействе мистера Олверти с момента, когда Томми Джонсу исполнилось четырнадцать лет, и до достижения им девятнадцатилетнего возраста. Из этой книги читатель может выудить кое-какие мысли относительно воспитания детей**

**Глава II. Герой нашей длинной истории появляется при весьма дурных предзнаменованиях. Коротенький рассказ столь низкого жанра, что иные могут счесть его недостойным внимания. Несколько слов об одном сквайре и более обстоятельные сведения о полевом стороже и учителе**

Так как, садясь писать эту историю, мы решили никому не льстить, но направлять свое перо исключительно по указаниям истины, то нам приходится вывести нашего героя на сцену в гораздо более неприглядном виде, чем нам хотелось бы, и честно заявить уже при первом его появлении, что, по единогласному мнению всего семейства мистера Олверти, он был рожден для виселицы.

К сожалению, я должен сказать, что оснований для этого мнения было более чем достаточно; молодчик с самых ранних лет обнаруживал тяготение ко множеству пороков, особенно к тому, который прямее прочих ведет к только что упомянутой, пророчески возведенной ему участи: он уже трижды был уличен в воровстве – именно, в краже фруктов из сада, в похищении утки с фермерского двора и мячика из кармана молодого Блайфила.

Пороки этого юноши представлялись в еще более неблагоприятном свете при сравнении с добродетелями его товарища, молодого Блайфила – мальчика, столь резко отличавшегося от Джонса, что его осыпали похвалами не только родные, но и все соседи. В самом деле, характера паренек был замечательного: рассудительный, скромный и набожный не по летам – качества, стяжавшие ему любовь всех, кто его знал, – тогда как Том Джонс вызывал всеобщую неприязнь, и многие выражали удивление, как это мистер Олверти допускает, чтобы такой озорник воспитывался с его племянником, нравственность которого могла пострадать от дурного примера.

Происшествие, случившееся в это время, представит вдумчивому читателю характеры двух мальчиков гораздо лучше, чем это способно сделать самое длинное рассуждение.

У Тома Джонса, который, как он ни плох, должен служить героем нашей истории, был среди слуг семейства только один приятель; ибо что касается миссис Вилкинс, то она давно уже его покинула и совершенно примирилась со своей госпожой. Приятель этот был полевой сторож, парень без крепких устоев, понятия которого насчет различия между *meum* и *tuum*<sup>16</sup> были немногим тверже, чем понятия самого молодого джентльмена. Поэтому их дружба давала слугам много поводов к саркастическим замечаниям, большая часть которых была уже и раньше, или, по крайней мере, сделалась теперь, пословицами; соль всех их может быть вмещена в краткое латинское изречение: «*Noscitur a socio*», которое, мне кажется, может быть переведено так: «Скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты».

Сказать по правде, кое-какие из этих ужасных пороков Джонса, три примера которых мы только что привели, были порождены наущениями приятеля, в двух или трех случаях являвшегося, выражаясь языком юстиции, причастным к делу: вся утка и большая часть яблок пошли на нужды полевого сторожа и его семьи; но так как попался один лишь Джонс, то на долю бедняги досталось не только все наказание, но и весь позор.

---

<sup>16</sup> Мое и твое (лат.).

Это случилось вот каким образом.

Поместье мистера Олверти примыкало к землям одного из тех джентльменов, которых принято называть покровителями дичи. Люди этой породы так сурово мстят за смерть зайца или куропатки, что можно было подумать, будто они разделяют суеверие индийских банианов<sup>17</sup>, часто посвящающих, как нам рассказывают, всю свою жизнь охране и защите какого-нибудь вида животных, – если бы наши английские банианы, охраняя животных от иных врагов, не истребляли их без всякого милосердия целыми стаями сами и не обеляли себя таким образом от всякой прикосновенности к языческим суевериям.

<...>

Юный Джонс отправился однажды с полевым сторожем поохотиться; случилось так, что выводок куропаток, который они вспугнули у границы поместья, врученного Фортуной, во исполнение мудрых целей Природы, одному из таких потребителей дичи, – этот выводок куропаток полетел прямо на его землю и был, как говорится, взят нашими охотниками на прицел в кустах дрока, в двухстах или трехстах шагах за пределами владений мистера Олверти.

Мистер Олверти строжайше запретил полевому сторожу, под страхом увольнения со службы, заниматься браконьерством во владениях соседей, даже менее ревниво оберегающих свои права, чем хозяин названного поместья. По отношению к остальным соседям это приказание не всегда соблюдалось с большой пунктуальностью; но так как нрав джентльмена, у которого куропатки нашли убежище, был хорошо известен, то сторож ни разу еще не покушался вторгнуться в его земли. Не сделал бы он этого и теперь, если бы не уговоры его юного товарища, горевшего желанием преследовать убегающую дичь. Джонс так горячо его упрашивал, что сторож, и сам весьма рьяный охотник, послушался его наконец, проник в соседское поместье и застрелил одну куропатку.

На их беду, в это время недалеко проезжал верхом сам хозяин; услышав выстрел, он немедленно поскакал туда и накрыл бедного Тома; полевой сторож успел шмыгнуть в густые кусты дрока и счастливо укрылся в них.

Обыскав юношу и найдя у него куропатку, джентльмен поклялся жестоко отомстить и довести до сведения мистера Олверти о проступке Тома. Свои слова он сразу же претворил в дело: помчался к дому соседа и принес жалобу на браконьерство в его поместье в таких сильных выражениях и таким озлобленным тоном, точно воры вломились к нему в дом и унесли самое ценное из обстановки. Он прибавил, что Джонс был не один, но ему не удалось поймать его сообщника: сквайр ясно слышал два выстрела, раздавшиеся почти одновременно.

– Мы нашли только одну эту куропатку, – сказал он, – но бог их знает, сколько они надедали вреда.

По возвращении домой Том немедленно был позван к мистеру Олверти. Он признался в преступлении и совершенно правильно сослался в свое оправдание на то обстоятельство, что выводок поднялся с земли мистера Олверти.

Затем Том был подвергнут допросу: кто с ним находился? При чем мистер Олверти объявил о своей твердой решимости дознаться, поставив обвиняемого в известность насчет показаний сквайра и двух его слуг, что они слышали два выстрела; но Том твердо стоял на своем, уверяя, что он был один; впрочем, сказать правду, сначала он немного колебался, что подтвердило бы убеждение мистера Олверти, если бы слова сквайра и его слуг нуждались в каком-либо подтверждении.

---

<sup>17</sup> *Индийские банианы* – индийские купцы-брамины. Филдинг имеет в виду веру браминов в переселение душ, следствием которой является их бережное отношение к животным и воздержание от мясной пищи.



Затем был призван к допросу полевой сторож, как лицо, на которое падало подозрение; но, полагаясь на данное ему Томом обещание взять все на себя, он решительно заявил, что не был с молодым баринком и даже не видел его сегодня после полудня.

Тогда мистер Олверти обратился к Тому с таким сердитым лицом, какое редко у него бывало, советуя ему сознаться, кто с ним был, ибо он решил непременно это выяснить. Однако юноша упорно отказывался отвечать, и мистер Олверти с гневом прогнал его, сказав, что дает ему время подумать до следующего утра, иначе его подвергнут допросу другие и другим способом.

Бедный Джонс провел очень невеселую ночь, тем более невеселую, что его постоянный компаньон Блайфил был где-то в гостях со своей матерью. Страх грозившего наказания меньше всего мучил его; главной тревогой юноши было, как бы ему не изменила твердость и он не выдал полевого сторожа, который в таком случае был бы неминуемо обречен на гибель. Сторожу тоже было не по себе. Он мучился теми же страхами, что и юноша, также тревожась больше за честь его, чем за кожу.

Утром, явившись к его преподобию мистеру Твакому – особе, которой мистер Олверти поручил обучение обоих мальчиков, – Том услышал от этого джентльмена те же вопросы, какие ему были заданы накануне, и дал на них те же ответы. Следствием этого была жестокая порка, мало чем отличавшаяся от тех пыток, при помощи которых в иных странах исторгаются признания у преступников.

Том выдержал наказание с большой твердостью; и хотя его наставник спрашивал после каждого удара, сознается ли он наконец, мальчик скорее позволил бы содрать с себя кожу, чем согласился бы выдать приятеля или нарушить данное обещание.

Тревога полевого сторожа теперь прошла, и сам мистер Олверти начал проникаться состраданием к Тому; ибо, не говоря уже о том, что мистер Тваком, взбешенный безуспешностью своей попытки заставить мальчика сказать то, чего он от него добивался, поступил с ним гораздо суровее, чем того хотел добрый сквайр, мистер Олверти начал теперь думать, не ошибся ли его сосед, что легко могло случиться с таким крайне запальчивым и раздражительным человеком; а словам слуг, подтверждавшим показание своего господина, он не придавал большой цены. Жестокость и несправедливость были, однако, две такие вещи, сознавать которые в своих поступках мистер Олверти не мог ни одной минуты; он позвал Тома, дружески приласкал его и сказал:

– Я убежден, дитя мое, что мои подозрения были несправедливы, и сожалею, что ты за это так сурово наказан.

Чтобы загладить свою несправедливость, он даже подарил ему лошадку, повторив, что очень опечален случившимся.

Тому стало теперь стыдно своей провинности. Никакая суровость не могла бы довести его до этого состояния; ему легче было вынести удары Твакома, чем великодушные Олверти. Слезы брызнули из глаз его, он упал на колени и воскликнул:

– О, вы слишком, слишком добры ко мне, сэр! Право, я этого не заслуживаю!

И от избытка чувств он в эту минуту чуть было не выдал тайны; но добрый гений сторожа шепнул ему, какие суровые последствия может иметь для бедняги его признание, и эта мысль сомкнула ему уста.

Тваком изо всех сил старался убедить Олверти не жалеть мальчика и не обращаться с ним ласково, говоря, что «он упорствует в неправде», и даже намекнул, что вторичная порка, вероятно, откроет все начистоту.

Однако мистер Олверти решительно отказался дать свое согласие на этот опыт. Он сказал, что мальчик уже довольно наказан за сокрытие истины, даже если он виноват, так как, по видимому, он поступил таким образом только из ложно понятого долга чести.

<...>

## Книга четвертая, охватывающая год времени

### **Глава III, в которой рассказ возвращается вспять, чтобы упомянуть про один ничтожный случай, происшедший несколько лет назад, но, несмотря на всю свою ничтожность, имевший некоторые последствия**

Прелестной Софье во время ее выступления в этой повести шел восемнадцатый год. Отец, как уже сказано, души в ней не чаял. К ней-то и обратился Том Джонс с намерением расположить ее в пользу своего приятеля, полевого сторожа. Но, прежде чем рассказывать об этом, необходимо вкратце сообщить некоторые обстоятельства, относящиеся к более раннему времени.

Различие характеров хотя и препятствовало установлению коротких отношений между мистером Олверти и мистером Вестерном, однако они были, как говорится, в приятельских отношениях; вследствие этого молодежь обеих семей была знакома с самого детства и часто устраивала совместные игры.

Веселый характер Тома был Софье больше по душе, чем степенность и рассудительность Блайфила, и она часто оказывала предпочтение приемышу столь явно, что юноше более пылкого темперамента, чем Блайфил, это едва ли пришлось бы по вкусу.

Но так как он ничем не выказывал своего недовольства, то нам неприлично обшаривать укромные уголки его сердца, вроде того как некоторые любители позлословить роются в самых интимных делах своих приятелей и часто суют нос в их шкафы и буфеты только для того, чтобы открыть миру их бедность и скарденность.

Однако люди, считающие, что они дали другим повод к обиде, бывают склонны предполагать, что те действительно обиделись; так и Софья приписала один поступок Блайфила злопамятству, хотя высшая проницательность Твакома и Сквейра усматривала его причину в более благородном побуждении.

Еще в отрочестве Том Джонс подарил Софье птичку, которую сам достал из гнезда, выкормил и научил петь. Софья, которой было тогда лет тринадцать, так привязалась к птичке, что по целым дням кормила ее, ухаживала за ней, и ее любимым удовольствием было играть с ней. Вследствие этого малютка Томми – так звали птичку – настолько приручился, что клевал из рук своей госпожи, садился ей на палец и спокойно забирался на грудь, как будто сознавая свое счастье; но он был привязан ленточкой за ножку, и хозяйка никогда не позволяла ему полетать на свободе.

Однажды, когда мистер Олверти обедал со всей семьей у мистера Вестерна, Блайфил, гуляя в саду с Софьей и видя, с какой любовью ласкает она птичку, попросил позволения взять ее на минуту в руки. Софья тотчас же удовлетворила просьбу молодого человека и с большой осторожностью передала ему своего Томми; но едва тот взял птичку, как в ту же минуту снял ленточку с ноги и подбросил птицу в воздух.

Почувствовав себя на свободе, глупышка мигом забыла все милости Софьи, полетела от нее прочь и села в некотором расстоянии на ветку.

Увидев, что птичка упорхнула, Софья громко вскрикнула, и Том Джонс, находившийся неподалеку, тотчас же бросился к ней на помощь.

Узнав, что случилось, он выбранил Блайфила подлым негодяем, мигом сбросил куртку и полез на дерево доставать птичку. Том почти уже добрался до своего маленького тезки, как свесившийся над каналом сук, на который он влез, обломился, и бедный рыцарь стремглав плюхнулся в воду.

Беспокойство Софьи направилось теперь на другой предмет: испугавшись за жизнь Тома, она вскрикнула вдесятеро громче, чем в первый раз, причем ей изо всех сил начал вторить Блайфил.

Гости, сидевшие в комнате, которая выходила в сад, в сильной тревоге выбежали вон; но когда они приблизились к каналу, к счастью в этом месте довольно мелкому, Том уже благополучно выходил на берег.

Тваком яростно накинулся на бедного Тома, который стоял перед ним промокший и дрожащий, но мистер Олверти попросил его успокоиться и, обратившись к Блайфицу, спросил:

– Скажи, пожалуйста, сынок, что за причина всей этой суматохи?

– Мне очень жаль, дядя, – ответил Блайфил, – что я наделал столько шума: к несчастью, я сам всему причиной. У меня в руках была птичка мисс Софьи; подумав, что бедняжке хочется на волю, я, признаюсь, не мог устоять и предоставил ей то, чего она хотела, так как всегда считал, что большая жестокость – держать кого-нибудь в заточении. Поступать так, по-моему, противно законам природы, согласно которым всякое существо имеет право наслаждаться свободой; и это даже противно христианству, потому что это значит обращаться с другими не так, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами. Но если бы я знал, что это так расстроит мисс Софью, то, уверяю вас, я никогда бы этого не сделал; я не сделал бы этого и в том случае, если бы предвидел, что случится с самой птичкой: представьте себе, когда мистер Джонс, взбравшийся за ней на дерево, упал в воду, она вспорхнула и тотчас же попала в лапы негодного ястреба.

Бедняжка Софья, услышав только теперь об участии маленького Томми (беспокойство за Джонса помешало ей заметить случившееся), залилась слезами. Мистер Олверти принялся утешать ее, обещая подарить другую, гораздо лучшую птичку, но она заявила, что другой она ни за что не возьмет. Отец побранил ее, что она так ревет из-за дрянной птички, но не мог удержаться от замечания по адресу Блайфила, что будь он его сын, то получил бы здоровую порку.

<...>

## **Книга седьмая, охватывающая три дня**

### **Глава II, содержащая разговор мистера Джонса с самим собой**

Рано утром Джонс получил свои вещи от мистера Олверти со следующим ответом на свое письмо:

«Сэр!

Дядя поручил мне довести до вашего сведения, что принятые им относительно вас меры были следствием зрелого размышления и не оставляющих сомнения доказательств низости вашего характера, а потому вам нечего и пытаться в чем-нибудь изменить его решение. Он крайне удивлен тем, что вы осмеливаетесь отказываться от всяких притязаний на особу, на которую вы и не могли никогда их иметь, потому что она стоит неизмеримо выше вас по своему происхождению и состоянию. Далее мне поручено сказать вам, что единственное доказательство вашего подчинения воле моего дяди, какого он от вас требует, заключается в том, чтобы вы немедленно покинули наши места. В заключение не могу не преподать вам, как христианин, совета серьезно подумать о перемене вашего образа жизни. О ниспослании же вам свыше помощи для исправления всегда будет молиться ваш покорный слуга

*В. Блайфил».*

Письмо это возбудило в груди нашего героя самые противоположные чувства; более мягкие одержали в конце концов верх над негодующими и гневными, и поток слез кстати пришел Джонсу на помощь, воспрепятствовал горю свести его с ума или разбить ему сердце.

Однако скоро он устыдился своей слабости и, вскочив с места, воскликнул:

– Хорошо, я дам мистеру Олверти единственное доказательство моего повиновения, которого он требует: я отправлюсь в путь сию же минуту... Но куда? Не знаю. Пусть указывает Фортуна. Раз ни одна душа не обеспокоена участью обездоленного юноши, то и мне все равно, что со мной будет. Неужто мне одному заботиться о том, чего никто другой... Но разве я вправе говорить, что нет другого... другой, которая для меня дороже целого мира?.. Я вправе, я обязан считать, что моя Софья равнодушна к моей участи. Как же мне тогда покинуть моего единственного друга?.. И какого друга! Как же мне не остаться возле нее?.. Но где, как остаться? Можно ли мне надеяться когда-нибудь увидеть ее, – пусть даже она желает этого не меньше меня, – не навлекая на нее гнев отца? И для чего? Мыслимо ли добиваться у любимой женщины согласия на ее собственную гибель? Допустимо ли покупать удовлетворение своей страсти такой ценой? Допустимо ли бродить украдкой, точно вор, вокруг ее дома с подобными намерениями?.. Нет, самая мысль об этом противна, ненавистна мне!.. Прощай, Софья! Прощай, милая, любимая...

Тут избыток чувств зажал ему рот и нашел выход в потоке слез.

И вот, приняв решение покинуть родные места, Джонс стал обсуждать, куда ему отправиться. Весь мир, по выражению Мильтона, расстился перед ним; и Джонсу, как Адаму, не к кому было обратиться за утешением или помощью. Все его знакомые были знакомые мистера Олверти, и он не мог ожидать от них никакой поддержки, после того как этот джентльмен лишил его своих милостей. Людям влиятельным и добросердечным следует с большой осторожностью подвергать опале подчиненных, потому что после этого от несчастного опального отворачиваются и все прочие.

Какой образ жизни избрать и чем заняться – было второй заботой юноши; тут открылась перед ним самая безрадостная перспектива. Каждая профессия и каждое ремесло требовали долгой подготовки и, что еще хуже, денег, ибо мир так устроен, что аксиома «из ничего не бывает ничего» одинаково справедлива и в физике, и в общественной жизни, и человек без денег лишен всякой возможности приобрести их.

Оставался Океан – гостеприимный друг обездоленных, он открывал свои широкие объятия; и Джонс тотчас же решил принять его радушное приглашение; выражаясь менее образно, он задумал сделаться моряком.

Как только эта мысль пришла ему в голову, он с жаром ухватился за нее, нанял лошадей и отправился в Бристоль приводить ее в исполнение.

<...>

## **Книга десятая, в которой история подвигается вперед еще на двенадцать часов**

### **Глава I, содержащая предписания, которые весьма необходимо прочесть нынешним критикам**

Читатель, нам невозможно знать, что ты за человек: может быть, ты сведущ в человеческой природе, как сам Шекспир, а может быть, не умнее некоторых редакторов его сочинений. Опасаясь сего последнего, мы считаем нужным, прежде чем идти с тобой далее, преподать тебе несколько спасительных наставлений, дабы ты не исказил и не оклеветал нас так грубо, как иные из названных редакторов исказили и оклеветали великого писателя.

Итак, мы прежде всего предостерегаем тебя от слишком поспешного осуждения некоторых происшествий в этой истории, как неуместных и не имеющих отношения к нашей главной цели, потому что тебе не сообразить сразу, каким образом такие происшествия могут привести к указанной цели. Действительно, на произведение это можно смотреть как на некий великий, созданный нами мир; и для жалкого пресмыкающегося, именуемого критиком, осмеливаться находить погрешности в той или иной его части, не зная, каким способом связано целое, и не дойдя до заключительной катастрофы, – значит проявлять нелепую самоуверенность. Сравнение и метафору, употребленные нами, нельзя не признать чересчур величественными для данного случая, но, право, нет других, которые сколько-нибудь подходили бы для выражения расстояния между перворазрядным писателем и ничтожнейшим критиком.

Второе предостережение, которое мы хотим тебе сделать, любезное пресмыкающееся, заключается в том, чтобы ты не искал слишком близкого сходства между некоторыми выведенными здесь действующими лицами – например, между хозяйкой гостиницы, выступающей в седьмой книге, и хозяйкой гостиницы, выступающей в девятой. Надо тебе знать, мой друг, что есть характерные черты, свойственные большей части людей одной профессии и одного занятия. Способность сохранять эти характерные черты и в то же время разнообразить их проявление есть одно из достоинств хорошего писателя. Другой его дар – умение подмечать тонкие различия между двумя лицами, наделенными одинаковым пороком или одинаковой дурью; и если этот последний дар встречается у очень немногих писателей, то умение по-настоящему его распознавать столь же редко встречается у читателей, хотя, мне кажется, подмечать подобные вещи большое удовольствие для тех, кто на это способен. <...>

Далее. Мы всячески убеждаем тебя, достойный друг мой (ведь сердце у тебя, может быть, лучше, чем голова), не объявлять характер дурным на том основании, что он не безукоризненно хорош. Если тебе доставляют удовольствие подобные образцы совершенства, то существует довольно книг, которые могут усладить твой вкус; но нам за всю нашу жизнь ни разу не довелось встретить таких людей, поэтому мы их здесь и не выводили. По правде сказать, я несколько сомневаюсь, чтобы простой смертный достигал когда-нибудь этой высшей степени совершенства, как сомневаюсь и в том, чтобы существовало на свете отъявленное чудовище <...>

И, право, я не вижу пользы вводить в произведения, созданные вымыслом, характеры такого ангельского совершенства или такой дьявольской порочности: ведь, созерцая их, ум человеческий скорее удручен будет скорбью и наполнится стыдом, чем извлечет из них что-нибудь поучительное, – в первом случае ему будет горько и стыдно видеть в природе своей образец совершенства, какого он заведомо не может достигнуть; в последнем же он не в меньшей степени будет угнетен теми же тягостными чувствами при виде унижения природы человеческой в столь гнусной и мерзостной твари.

Действительно, если характер заключает в себе довольно доброты, чтобы снискать восхищение и приязнь человека благорасположенного, то пусть даже в нем обнаружатся кое-какие изъяны, <...> они внушат нам скорее сострадание, чем отвращение. И точно, ничто не приносит большей пользы нравственности, чем несовершенства, наблюдаемые нами в такого рода характерах: они поражают нас неожиданностью, способной сильнее подействовать на наш ум, чем поступки людей очень дурных и порочных. Слабости и пороки людей, в которых вместе с тем есть много и хорошего, гораздо сильнее бросаются в глаза по контрасту с хорошими качествами, оттеняющими их уродливость. И когда мы видим гибельные последствия таких пороков для лиц, нам полюбившихся, то научаемся не только избегать их в своих собственных интересах, но и ненавидеть за зло, уже причиненное ими тем, кого мы любим.

А теперь, друг мой, преподав тебе эти добрые советы, мы будем, если тебе угодно, продолжать нашу историю. <...>

## Книга семнадцатая, охватывающая три дня

### Глава I, содержащая обрывок вступления

Комедийный писатель, сделав главных своих героев счастливыми, и автор трагедии, ввергнув их в глубочайшую пучину несчастья, – оба считают дело свое выполненным и произведения свои доведенными до конца.

Если бы я был писателем трагедийного склада, читателю пришлось бы признать, что конец мною уже почти достигнут, поскольку трудно было бы самому дьяволу или кому-нибудь из его представителей на земле придумать что-нибудь ужаснее тех мучений, в которых мы оставили беднягу Джонса в последней главе; что же касается Софьи, то ни одна добросердечная женщина не пожелала бы своей сопернице большего отчаяния, чем то, какое моя героиня, надо думать, теперь испытывала. Что же тогда оставалось бы для развязки трагедии, как не парочка убийств да несколько моральных наставлений?

Но выручить наших героев из постигшего их горя и мук и благополучно высадить их на берег счастья представляется делом более трудным – настолько трудным, что мы даже за него не беремся. Для Софьи, пожалуй, еще можно было бы подыскать напоследок хорошего мужа – Блайфила, лорда или кого другого. Но что касается несчастного Джонса, то, по милости своей неосмотрительности сделавшись уголовным преступником если не в глазах света, то в своих собственных, он попал в столь бедственное положение, оставленный друзьями и преследуемый врагами, что мы почти отчаиваемся как-нибудь ему помочь; и если читатель охотник до публичных казней, то я советую ему, не теряя времени, достать место в первом ряду на Тайберне.

Во всяком случае, я твердо обещаю читателю, что, невзирая на всю привязанность, какую можно предположить во мне к этому негодяю, так несчастливо избранному мной в герои, я не прибегну для его спасения к сверхъестественной помощи, предоставленной писателям с тем условием, чтобы мы ею пользовались только в чрезвычайных случаях. Поэтому, если он не найдет естественных средств выпутаться из беды, мы не допустим ради него насилия над правдой и достоинством повествования; скорее мы расскажем, как его повесили на Тайберне (что, вероятнее всего, и случится), чем решимся прикрасить истину и поколебать доверие читателя.

В этом отношении древние писатели имели большое преимущество перед нами. Мифология, в сказания которой народ веровал тогда больше, чем верует теперь в догматы какой угодно религии, всегда давала им возможность выручить любимого героя. Боги всегда находились под рукой писателя, готовые исполнить малейшее его желание, и чем необыкновеннее была его выдумка, тем больше пленяла и восхищала она доверчивого читателя. Тогдашним писателям легче было перенести героя из страны в страну и даже переправить на тот свет и обратно, чем нынешним освободить его из тюрьмы.

Такую же помощь арабы и персы, сочиняя свои сказки, получали от гениев и фей, вера в которых у них зиждется на авторитете самого Корана. Но мы не располагаем подобными средствами. Нам приходится держаться естественных объяснений. Попробуем же сделать что можно для бедняги Джонса, не прибегая к помощи чудесного, хотя, надо сознаться, некий голос и шепчет мне на ухо, что он еще не изведал самого худшего и что ужаснейшее известие еще ждет его на нераскрытых листках книги судеб.

<...>

## **Книга восемнадцатая, охватывающая около шести дней**

### **Глава I. Прощание с читателем**

Вот мы доехали, читатель, до последней станции нашего долгого путешествия. Проехав вместе так много страниц, поступим по примеру пассажиров почтовой кареты, несколько дней друг с другом не расстававшихся: если им и случалось немного повздорить и посердиться дорогой, они обыкновенно под конец все забывают и садятся в последний раз в карету веселые и благодушные – ведь, проехав этот остаток пути, мы, как и они, может быть, никогда больше не встретимся.

Раз уж я прибегнул к этому сравнению, позвольте мне его продолжить. Итак, я намерен в этой последней книге подражать почтенным людям, едущим вместе в почтовой карете. Всем известно, что шутка и насмешки на последней станции прекращаются; как бы ни дурачился потехи ради какой-нибудь пассажир, веселость его проходит и разговор становится прост и серьезен.

Так и я, если и позволял себе время от времени на протяжении этого труда кое-какие шутки для твоего развлечения, читатель, то теперь отбрасываю их в сторону. Мне надо впихнуть в эту книгу столько разнообразного материала, что в ней не останется места для шуточных замечаний, которые я делал в других книгах и которые, может быть, не раз разгоняли сон, готовый сомкнуть твои глаза. В этой последней книге ты не найдешь ничего, или почти ничего, подобного. Тут будет только голое повествование. И, увидев великое множество событий, заключенных в этой книге, ты удивишься, как все они могли уложиться на столь немногих страницах.

Пользуюсь этим случаем, друг мой (так как другого уж не представится), чтобы от души пожелать тебе всего хорошего. Если я был тебе занимательным спутником, то, уверяю тебя, этого я как раз и желал. Если я чем-нибудь тебя обидел, то это вышло неумышленно. Кое-что из сказанного здесь, может быть, задело тебя или твоих друзей, но я торжественно объявляю, что не метил ни в тебя, ни в них. В числе других небылиц, которых ты обо мне наслышался, тебе, наверно, говорили, что я – грубый насмешник; но кто бы это ни сказал – это клевета. Никто не презирает и не ненавидит насмешек больше, чем я, и никто не имеет на то больше причин, потому что никто от них не терпел столько, сколько я; по злой иронии судьбы мне часто приписывались ругательные сочинения тех самых людей, которые в других своих статьях сами ругали меня на чем свет стоит.

Впрочем, все такие произведения, я уверен, будут давно забыты, когда эта страница еще будет привлекать к себе внимание читателей: как ни недолговечны мои книги, а все-таки они, вероятно, переживут и немощного своего автора, и хилые порождения его бранчливых современников.

<...>

### **Глава X, в которой наша история начинает близиться к развязке**

Вернувшись домой, Олверти узнал, что только что перед ним явился мистер Джонс. Он поспешил в пустую комнату, куда велел пригласить мистера Джонса, чтобы остаться с ним наедине.

Нельзя себе представить ничего чувствительнее и трогательнее сцены свидания дяди с племянником (ибо миссис Вотерс, как читатель догадывается, открыла Джонсу при последнем посещении тайну его рождения). Первые проявления охватившей обоих радости я описать не

в силах; не буду поэтому и пытаться. Подняв Джонса, упавшего к его ногам, и заключив его в свои объятия, Олверти воскликнул:

– О дитя мое, какого порицания я заслуживаю! Как оскорбил я тебя! Чем могу я загладить мои жестокие, мои несправедливые подозрения и вознаградить причиненные ими тебе страдания?

– Разве я уже не вознагражден? – отвечал Джонс. – Разве мои страдания, будь они в десять раз больше, не возмещены теперь сторицей? Дорогой дядя, ваша доброта, ваши ласки подавляют, уничтожают, сокрушают меня. Я не в силах вынести охватившую меня радость. Быть снова с вами, быть снова в милости у моего великодушного, моего благородного благодетеля!

– Да, дитя мое, я поступил с тобой жестоко, – повторил Олверти и рассказал ему все козни Блайфила, выражая крайнее сожаление, что поддался обману и поступил с Джонсом так дурно.

– Не говорите так! – возразил Джонс. – Право, сэр, вы поступили со мной благородно. Мудрейший из людей мог бы быть обманут, подобно вам, а будучи обманутым, поступил бы со мною так же, как вы. Доброта ваша проявилась даже и в гневе – справедливом, как тогда казалось. Я всем обязан этой доброте, которой был так недостоин. Не заставляйте меня мучиться упреками совести, простирая свое великодушие слишком далеко. Увы, сэр, я был наказан не больше, чем того заслуживал, и вся моя жизнь будет отныне посвящена тому, чтобы заслужить счастье, которое вы мне даруете; поверьте, дорогой дядя, ваше наказание было наложено на меня не втуне: я был великим, хоть и не закоренелым грешником; благодарение богу, я имел, таким образом, время поразмыслить о моей прошедшей жизни, и хотя на моей совести не лежит ни одного тяжелого преступления, все же я знаю за собой довольно безрассудств и пороков, которых надо стыдиться и в которых надо раскаиваться, безрассудств, имевших для меня ужасные последствия и приведших меня на край гибели.

– Очень рад, милый мой мальчик, слышать от тебя такие разумные слова, – отвечал Олверти. – Так как я убежден, что лицемерие (боже, как я был обманут им в других!) никогда не принадлежало к числу твоих недостатков, то я искренне верю всему, что ты сказал. Теперь ты видишь, Том, каким опасностям простое неблагоразумие может подвергать добродетель (а для меня теперь ясно, как высоко ты чтешь добродетель). Действительно, благоразумие есть наш долг по отношению к самим себе; и если мы настолько враги себе, что им пренебрегаем, то нечего удивляться, что свет тогда и подавно пренебрегает своими обязанностями к нам; когда человек сам закладывает основание собственной гибели, другие, боюсь я, только того и ждут, чтобы на нем строить. Ты говоришь, однако, что сознал свои ошибки и хочешь исправиться. Вполне тебе верю, друг мой, и потому с настоящей минуты никогда больше не буду о них напоминать, но сам ты о них помни, чтобы научиться тем вернее избегать их в будущем. Однако в утешение себе помни также и то, что есть большая разница между проступками, вытекающими из неблагоразумия, и теми, которые диктуются подлостью. Первые, пожалуй, даже вернее ведут человека к гибели, но если он исправится, то с течением времени может надеяться на полное перерождение; свет хотя и не сразу, но все-таки под конец с ним примирится, и он не без приятности будет размышлять о том, каких опасностей ему удалось избежать. Но подлость, друг мой, однажды разоблаченную, невозможно загладить ничем; оставляемые ею пятна не смоем никакое время. Негодяй навсегда будет осужден в мнении людей, в обществе он будет окружен всеобщим презрением, и если стыд заставит его искать уединения, он и там не освободится от страха, подобного тому, который преследует утомленного ребенка, боящегося домовых, когда он покидает общество и идет лечь спать один в темной комнате. Большая совесть не даст ему покоя. Сон покинет его, как ложный друг. Куда он ни обратит свои взоры, повсюду будет встречать только ужасы: оглянется назад – бесплодное сокрушение преследует его по пятам; посмотрит вперед – безнадежность и отчаяние вперяют в него взоры; как заключенный в тюрьму преступник, клянется он нынешнее свое состояние, но в то же время страшится



последствий часа, который освободит его из неволи. Утешься же, друг мой, что участь твоя не такова; радуйся и благодари того, кто дал тебе увидеть твои ошибки прежде, чем они довели тебя до гибели, неминуемо постигающей всякого, кто упорствует в них. Ты от них отрешился, и теперь обстоятельства складываются так, что счастье зависит исключительно от тебя.

При этих словах Джонс испустил глубокий вздох и на замечание, сделанное по этому поводу Олверти, отвечал:

– Не хочу таиться от вас, сэр: одно следствие моего распутства, боюсь, непоправимо. Дорогой дядя, какое сокровище я потерял!

– Можешь не продолжать, – отвечал Олверти. – Скажу тебе откровенно: я знаю, о чем ты горюешь; я видел ее и говорил с ней о тебе. И вот в залог искренности всего тобой сказанного и твердости твоего решения я в одном требую от тебя безоговорочного повиновения: ты должен всецело руководиться волей Софьи, будет ли она в твою пользу или нет. Она уже довольно натерпелась от домогательств, о которых мне противно вспоминать; я не желаю, чтобы кто-нибудь из моей семьи послужил для нее причиной новых притеснений. Я знаю, отец готов теперь мучить ее ради тебя, как раньше мучил ради твоего соперника, но я решил оградить ее впредь от всех заточений, от всех неприятностей, от всякого насилия.

– Умоляю вас, дорогой дядя, дайте мне приказание, исполнить которое было бы с моей стороны заслугой. Поверьте, сэр, я мог бы послушаться только в одном: если бы вы пожелали, чтобы я сделал Софье что-нибудь неприятное. Нет, сэр, если я имел несчастье навлечь на себя ее неудовольствие без всякой надежды на прощение, то этого одного, наряду с ужасной мыслью, что я являюсь причиной ее страданий, будет достаточно, чтобы уничтожить меня. Назвать Софью моей было бы величайшим и единственным в настоящую минуту счастьем, которое небо может даровать мне в добавление к тому, что оно уже послало; но этим счастьем я желаю быть обязан только ей.

– Не хочу тебя обнадеживать, друг мой, – сказал Олверти. – Боюсь, что дела твои незавидны: никогда не приходилось мне слышать такого непреклонного тона, каким она отвергает твои искательства; отчего – ты, может быть, знаешь лучше, чем я.

<...>

Тут разговор их был прерван появлением Вестерна, которого не мог дольше удержать даже сам Олверти, несмотря на всю свою власть над ним, как мы уже не раз это видели.

Вестерн подошел прямо к Джонсу и заорал:

– Здорово, Том, старый приятель! Сердечно рад тебя видеть! Забудем прошлое. У меня не могло быть намерения оскорбить тебя, потому что – вот Олверти это знает, да и сам ты знаешь – я принимал тебя за другого; а когда нет желанья обидеть, так что за важность, если сгоряча сорвется необдуманное словечко? Христианин должен забывать и прощать обиды.

– Надеюсь, сэр, – отвечал Джонс, – я никогда не забуду ваших бесчисленных одолжений; а что касается обид, так я их вовсе не помню.

– Так давай же руку! Ей-ей, молодчага: такого бабьего угодника, как ты, во всей Англии не сыскать! Пойдем со мной: сию минуту сведу тебя к твоей крале.

Тут вмешался Олверти, и сквайр, будучи не в силах уговорить ни дядю, ни племянника, принужден был после некоторого препирательства отложить свидание Джонса с Софьей до вечера. Из сострадания к Джонсу и в угоду пылкому Вестерну Олверти в конце концов согласился приехать к нему пить чай.

### **Вопросы и задания:**

1. Какова роль вводных теоретических глав к составляющим роман Филдинга книгам?
2. Опираясь на содержание вступительных глав, изложите письменно в тезисной форме творческие принципы писателя.

3. Перечислите жанровые особенности романа Филдинга. Прокомментируйте определение «комический эпос в прозе», данное автором своей книге.
4. Охарактеризуйте «Историю Тома Джонса, найденъша» как роман «большой дороги».
5. Охарактеризуйте роман Филдинга как «саморефлектирующий» жанр.
6. Опишите отношения «автор – герой – читатель» в «Истории Тома Джонса».
7. Определите важнейшие темы романа Филдинга.
8. Дайте подробные характеристики основных персонажей романа и проведите сопоставительный анализ характеров Тома Джонса и Блайфила.
9. Перечислите функции, формы и приемы комического в романе. Приведите иллюстрации из текста.
10. В чем, на ваш взгляд, проявилось новаторство Филдинга как писателя-просветителя, как «творца новой области в литературе»?

## Тобайас Смоллет (1721–1771)

### Предтекстовое задание:

При чтении отрывков из эпистолярного романа Смоллета «Путешествие Хамфри Клинкера» (1771) постарайтесь уяснить проблематику и жанровое своеобразие произведения, его основные сюжетные линии, характерные черты каждого из персонажей-корреспондентов и особенности их эпистолярной манеры.

### Путешествие Хамфри Клинкера Перевод А. В. Кривцовой

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету, Оксфорд, колледж Иисуса*  
Дорогой Филипп!

Я ничего так горячо не хочу, как доказать вам, что неспособен позабыть о той дружбе, которая завязалась между нами в колледже, или ею пренебречь, а потому начинаю переписку, которую при нашей разлуке мы пообещали друг другу поддерживать.

Я начинаю ее раньше, чем намеревался, чтобы вы имели возможность опровергнуть сплетни, возникшие в ущерб мне, может быть, в Оксфорде, касательно глупой ссоры, в которую я ввязался из-за сестры, учившейся там в пансионе.

Когда вместе с дядей и теткой, нашими опекунами, я явился в пансион, чтобы взять ее оттуда, я нашел там семнадцатилетнюю изящную, стройную девушку с премилым лицом, но удивительную простушку, решительно ничего не ведающую о жизни. И вот к ней-то, столь неопытной и обладающей таким нравом, стал приставать с домогательствами некий человек – я даже не знаю, как его назвать, – который видел ее в театре, и с присущей ему дерзостью и ловкостью добился того, что был ей представлен. По чистой случайности я перехватил одно из его писем.

Почтя своим долгом пресечь эти отношения в самом зародыше, я принял меры, чтобы его разыскать и сообщить ему без обиняков, что я по сему поводу думаю. Франту не понравилось мое обращение, и он повел себя чересчур смело. Хотя его положение в обществе не внушает никакого уважения к нему и мне даже совестно говорить, кто он такой, но держал он себя с отменной смелостью, почему я и признал за ним права джентльмена, и, если бы в это дело не вмешались, наша встреча могла бы иметь последствия.

Короче говоря, все это дело, не знаю каким образом, получило огласку и вызвало большой шум – оно дошло до суда – и – я был вынужден дать честное слово, и завтра поутру мы отправляемся на Бристольские Воды, где я буду ждать с обратной почтой от вас вестей.

Родственники у меня чудачки, и как-нибудь я попытаюсь рассказать о них подробнее, что вас, несомненно, позабавит. Моя тетка, мисс Табита Брамбл, – старая дева сорока пяти лет, весьма жеманная, суетная и смешная. Мой дядя – своенравный чудак, всегда чем-нибудь раздражен, и обхождение у него такое неприятное, что я готов был бы отказаться от наследственных прав на его поместье, только бы не находиться с ним в одной компании. Впрочем, нрав у него испортился из-за подагры, которая его мучит, и, быть может, при ближайшем знакомстве он мне больше понравится. Достоверно известно, например, что слуги его и соседи по имению в восторге от него, но пока я не могу понять, по какой причине. Передайте привет Гриффи Прайсу, Гуину, Манселу, Бассету и остальным моим приятелям-валлийцам. Кланяйтесь горничной и кухарке, и, пожалуйста, позаботьтесь о Понто ради его старого хозяина, который был и остается, дорогой Филипп, вашим любящим другом и покорным слугой

*Дж. Мелфордом.  
Глостер, 2 апреля*

*Миссис Джермин, Глостер, собственный дом*

Дорогая мадам!

Лишенная родной матери, я надеюсь, что вы разрешите мне отвести душу, раскрыв мое бедное сердце вам, которая всегда была для меня вместо доброй родительницы с той самой поры, как меня отдали на ваше попечение. Право, право же, достойная моя воспитательница может поверить мне, если я скажу ей, что никогда не было у меня никаких дурных помыслов, но одни лишь добродетельные мысли, и, если господь будет милостив ко мне, никогда не наброшу я тени на ту заботу, с коей занимались вы моим воспитанием.

Каюсь, я дала справедливый повод к негодованию, но лишь потому, что мне не хватало осторожности и опыта. Не надлежало мне прислушиваться к словам этого молодого человека, и мой долг был поведать вам обо всем происшедшем. Но я постыдилась упоминать об этом, а он в обращении своем был так скромн и почтителен и казался столь чувствительным и робким, что я не нашла мужества в своем сердце совершить поступок, который мог повергнуть его в уныние и отчаяние. Что до маленьких вольностей, то я уверяю вас: никогда не позволяла я ему поцеловать меня, а что до тех немногих писем, которыми мы обменялись, то все они находятся в руках у моего дядюшки, и, я надеюсь, в них нет ничего погибельного для невинности и чести. Я все еще убеждена, что он не тот, за кого выдает себя, но откроется это только со временем, а покамест я приложу старания позабыть о знакомстве, столь неприятном моему семейству.

С той поры как меня поспешно увезли от вас, я плакала, не осушая глаз, и три дня ничего в рот не брала, кроме чаю, и глаз не смыкала три ночи напролет. Тетушка не перестает сурово бранить меня, когда мы остаемся одни, но я надеюсь со временем смягчить ее смирением и покорностью. Дядюшка, который так ужасно бушевал вначале, был растроган моими слезами и сокрушением и теперь полон нежности и сострадания, а мой брат примирился со мною, когда я обещала порвать всякие сношения с этим несчастным юношей. Но, несмотря на все их снисхождение, я не успокоюсь, пока не узнаю, что моя дорогая и вечно почитаемая воспитательница простила свою бедную, безутешную, одинокую, любящую и смиренную до самой смерти

*Лидию Мелфорд.  
Клифтон, 6 апреля*

*Мисс Летиции Уиллис, в Глостер*

Моя бесценная Летти!

Я в таком страхе, будет ли это письмо благополучно доставлено вам через нарочного Джарвиса, что умоляю вас по получении письма написать мне безопасности ради на имя мисс Уинифред Дженкинс, горничной моей тетушки; она добрая девушка и так сочувствовала мне в моей беде, что я сделала ее своей наперсницей. <...>

Дорогая моя подруга и товарка по комнате, горести мои жестоко усугубляются тем, что я лишена вашего приятного общества и беседы в то время, когда я столь нуждаюсь в утешительном вашем добросердечии и здравых суждениях; но, надеюсь я, дружба, завязавшаяся между нами в пансионе, будет длиться до конца жизни. Со своей стороны я не сомневаюсь, что она будет с каждым днем расти и крепнуть, по мере того как я набираюсь опыта и учусь понимать цену истинного друга.

О моя дорогая Летти! Что скажу я о бедном мистере Уилсоне? Я обещала порвать все сношения с ним и, если сие возможно, забыть его, но, увы, я начинаю убеждаться, что это не в моей власти. Отнюдь не подобает, чтобы портрет оставался в моих руках; он мог бы послужить причиной новых бед, а потому я посылаю его вам с этой оказией и прошу вас либо сохранить его до лучших времен, либо вернуть самому мистери Уилсону, который, как я полагаю, постарается встретиться с вами в обычном месте. Если, получив от меня назад свой портрет,

он придет в уныние, вы можете сказать ему, что нет надобности мне хранить портрет, если его лицо остается запечатленным в моем... Но нет! Я не хочу, чтобы вы говорили ему это, так как должно положить конец... я хочу, чтобы он позабыл меня ради собственного спокойствия душевного, и, однако, если бы это случилось, значит, он жестокосердный... Но это невозможно! Лживым и непостоянным бедный Уилсон быть не может! Я умоляю его не писать мне какой-то срок и не пытаться меня увидеть, так как гнев и горячий нрав моего брата Джерри могут привести к последствиям, которые сделают всех нас несчастными навеки. Доверимся же времени и непредвиденным случайностям, или, вернее, провидению, которое не преминет рано или поздно вознаградить тех, кто идет по стезе чести и добродетели!

Я хотела бы передать нежный привет молодым леди, но никому из них не надлежит знать, что вы получили это письмо. Если мы поедem в Бат, я буду присылать вам мои незатейливые заметки об этом знаменитом центре светских увеселений, а также и о других местах, какие нам случится посетить. И я льщу себя надеждой, что моя дорогая мисс Уиллис будет аккуратно отвечать на письма любящей ее

*Лидии Мелфорд.  
Клифтон, 6 апреля*

*Доктору Льюису  
Любезный доктор!*

Ежели бы я не знал, что вы по роду своих занятий привыкли изо дня в день выслушивать жалобы, я посоветился бы беспокоить вас своими письмами, которые поистине можно назвать «Стенания Мэтью Брамбла». Однако я осмеливаюсь думать, что у меня есть право излить избыток моей хандры на вас, чьим назначением является лечение порождаемых ею хворостей; позвольте мне также добавить: немалым облегчением для меня с моими невзгодами является то обстоятельство, что у меня есть рассудительный друг, от коего я могу не таить своего брюзжания, тогда как, ежели бы я его скрывал, оно могло бы стать нестерпимо желчным.

Знайτε же, меня решительно разочаровал Бат, который столь изменился, что я с трудом мог поверить, будто это то же самое место, которое я не раз посещал лет тридцать назад. Мне кажется, я слышу, как вы говорите: «Так-то оно так, в самом деле он изменился, но изменился к лучшему, и в этом не сомневались бы и вы, если бы сами не изменились к худшему». Пожалуй, это правильно. Неудобства, которых я не замечал в расцвете сил, кажутся несносными раздраженным нервам инвалида, застигнутого врасплох преждевременной старостью и ослабленного длительными страданиями.

Но, думаю я, вы не станете отрицать, что в этом месте, которое самим провидением и природой предназначено исцелять от болезней и волнений, поистине царит разврат и беспутство. Вместо тишины, покоя и удобств, столь необходимых всем страждущим недугами, больными нервами и неустойчивым расположением духа, здесь у нас – шум, гвалт, суета, утомительное, рабское соблюдение церемониала куда более чопорного, строгого и обременительного, чем этикет при дворе какого-нибудь германского электора. Место это следовало бы назвать национальной здравницей, но можно подумать, что пускают сюда только умалишенных. И поистине вы можете меня считать таковым, если я продлю свое пребывание в Бате. Своими размышлениями об этом я поделюсь с вами в другом письме.

<...>

Каждый разбогатевший выскочка, напялив модный костюм, выставляет себя напоказ в Бате, где, как в фокусе, лучше всего производить наблюдения. Чиновники и дельцы из Ост-Индии, нажившие немало добра в разграбленных землях, плантаторы, надсмотрщики над неграми, торгоши с наших плантаций в Америке, не ведающие сами, как они разбогатели; агенты, комиссионеры и подрядчики, разжиревшие на крови народа в двух следующих одна за другой войнах; ростовщики, маклеры, дельцы всех мастей; люди без роду, без племени – все

они вдруг разбогатели так, как не снилось никому в былые времена, и нечего удивляться, если в их мозги проник яд чванства, тщеславия и спеси. Не ведая никакого другого мерила величия, кроме хвастовства богатством, они растрачивают свои сокровища без вкуса и без разбора, не останавливаясь перед самыми сумасбродными затеями, и все они устремляются в Бат, ибо здесь, не обладая никакими иными заслугами, они могут водиться с нашими вельможами.

Даже жены и дочери мелких торговцев, охотящиеся, точно плосконосые акулы, за жиром сих неуклюжих китов фортуны, заражены той же страстью покичиться; малейшая хворь служит им поводом для поездки в Бат, где они могут ковылять в контрдансах и котильонах среди захудалых лордов, сквайров, адвокатов и клириков. Эти хрупкие создания из Бедфордбери, Батчер-роу, Крачд Фрайерс и Ботолф-лейн не могут дышать тяжелым воздухом нижней части города или мириться с простым обиходом заурядных гостиниц; посему их мужья должны позаботиться о найме целого дома или богатой квартиры в новых домах.

Таково общество в Бате, которое именуется «светским». Здесь немногие порядочные люди теряются в наглой толпе, лишенной понятия и ровно ничего не смыслящей в приличиях и благопристойности; и ничто не доставляет ей такого удовольствия, как издеваться над теми, кто выше ее.

И вот количество людей и домов продолжает возрастать, и этому конца не видно, разве только ручьи, питающие сей неодолимый поток сумасбродств и нелепостей, иссякнут либо пойдут другим руслом вследствие какой-нибудь случайности, которую я не берусь предсказывать. Об этом предмете, сознаюсь вам, я не могу писать мало-мальски спокойно, ибо чернь – чудовище, которое всегда мне было противно, – и голова его, и хвост его, и брюхо, и конечности. Я ненавижу его как олицетворение невежества, самонадеянности, злобы и жестокости; но не меньше осуждаю я всех лиц обоего пола, независимо от их звания, положения и состояния, которые ему подражают и перед ним заискивают.

Но я дописался до того, что пальцы у меня скрючились и мне становится тошно. По вашему совету я послал в Лондон несколько дней назад за полуфунтом женьшеня, хоть я и сомневаюсь, такое ли действие оказывает женьшень, ввозимый из Америки, как женьшень ост-индский. Несколько лет назад мой приятель заплатил шестнадцать гиней за две унции, а спустя полгода женьшень продавался в лавке по пять шиллингов за фунт. Короче говоря, мы живем в мире обмана и подделок.

Итак, я не знаю ничего равноценного подлинной дружбе умного человека – какая это редкая драгоценность! – каковой дружбой, мне кажется, я обладаю, и повторяю прежнее свое уверение в том, что остаюсь, дорогой мой Льюис, любящим вас

*М. Брамблом.*

*Бат, 23 апреля*

*Мисс Уиллис, в Глостер*

Моя любезная подруга!

Не могу выразить словами, сколь обрадовалась я вашему письму, которое было вручено мне вчера. Любовь и дружба, несомненно, прекрасные чувства, а разлука помогает лишь тому, чтобы они стали крепче и сильнее. Ваш милый подарок – гранатовые браслеты – я буду хранить так же бережно, как жизнь свою, и прошу вас принять в благодарность от меня мою рабочую шкатулку и памятную книжечку в черепаховом переплете как скромный залог неизменной моей привязанности.

Бат для меня – это новый мир. Все здесь веселы, благодушны, все здесь развлекаются. Роскошь нарядов и уборов непрестанно радует взор, а слух услаждает шум карет, колясок, портшезов и других экипажей. «Веселые колокольчики звенят» с утра до ночи. Затем нас приветствуют в нашем доме уличные музыканты. Каждое утро музыка в галерее минеральных вод,

до полудня котильоны в зале ассамблей, балы два раза в неделю и концерты по вечерам, а также собрания в частных домах и танцевальные вечера без конца.

Как только мы устроились в нанятом нами помещении, нас посетил церемониймейстер – миловидный маленький джентльмен, такой приветливый, такой любезный, такой учтивый и обходительный, что в наших краях он мог бы сойти за принца Уэльского! А говорит он так очаровательно и стихами, и прозой, что вы пришли бы в восторг, слушая его речи, ибо да будет вам известно, что он великий писатель и у него есть пять трагедий, готовых для театра! Он оказал нам честь, отобедав с нами по приглашению моего дядюшки, а на следующий день сопровождал тетушку и меня, показывая все уголки Бата, который поистине является земным раем. Круглая площадь и Променады приводят на память роскошные дворцы, какие изображены на гравюрах и картинах, а новые дома на Пренс-роу, Арлекин-роу. Бледуд-роу и на двадцати других проспектах похожи на волшебные замки, воздвигнутые на висячих террасах.

В восемь часов утра мы в дезабилье отправляемся в галерею минеральных вод, где теснота такая же, как на валлийской ярмарке; и здесь вы можете наблюдать самых знатных особ и самых мелких торговцев, которые без церемоний проталкиваются вперед. Музыка, играющая в галерее, духота и запах, который исходит от такой толпы, а также гул голосов вызвали у меня в первый день головную боль и дурноту, но потом все это стало привычным и даже приятным.

Под самыми окнами галереи минеральных вод находится Королевский бассейн – громадный водоем, где вы можете наблюдать больных, погруженных по самую шею в горячую воду. На леди надеты коричневые полотняные кофты и юбки и плетеные шляпы, в которые они прячут носовой платок, чтобы утирать пот с лица; но то ли от окружающего их пара, то ли от горячей воды или от их костюма, а может быть, от всего вместе взятого вид у них такой разгоряченный и устрашающий, что я всегда отвожу от них взгляд.

Тетушка утверждала, будто каждая светская особа должна появиться в бассейне, так же как в церкви аббатства, и смастерила чепец с вишневого цвета лентами под цвет своего лица, а вчера утром заставила Уин погрузиться вместе с нею в воду. Но, право же, глаза у тетушки были такие красные, что я прослезилась, когда смотрела на нее из галереи. Что до бедной Уин, которая надела шляпу, обшитую синим, то серое ее лицо и страх придали ей сходство с призраком какой-то бледной девы, утопившейся из-за несчастной любви. Выйдя из бассейна, она приняла капли ассафетиды, весь день была в расстройстве чувств, и мы едва могли помешать тому, чтобы она не впала в истерику. Но хозяйка ее говорит, что это пойдет ей на пользу, и бедная Уин приседает со слезами на глазах. Мне же довольно того, что каждое утро я выпиваю примерно полпинты воды.

За стойкой распоряжается человек вместе со своей женой и служанкой, перед ними выстроены в ряд стаканы разных размеров; вам остается только указать на любой из них, и его и немедленно наполняют горячей, с пузырьками, водой из источника. Горячая вода всегда вызывает у меня тошноту. Однако здешняя вода не только не вызывает ее, но даже довольно приятна на вкус, полезна для желудка и оказывает живительное влияние на расположение духа. Вы и вообразить себе не можете, сколь удивительна ее целебная сила. На днях дядюшка начал пить ее, но при этом делал гримасы, и я опасаясь, как бы он от нее не отказался. В первый день по приезде в Бат его обуял ужасный гнев, он избил двух арапов, и я боялась, что он завяжет драку с их хозяином, но незнакомец оказался человеком миролюбивым. Как заметила тетушка, подагра бросилась дядюшке в голову, но, полагаю, припадок гнева изгнал ее оттуда, так как с той поры он чувствовал себя замечательно хорошо. Какая жалость, что он страдает этим ужасным недугом! Ибо когда, боли у него прекращаются, он самый благодушный человек в мире, такой мягкий, такой щедрый, такой добросердечный, что все его любят; ко мне же он в особенности так добр, что никогда не сумею я выразить глубокое чувство благодарности за его нежную любовь. Возле галереи минеральных вод находится кофейня для леди, но, по словам тетушки, молодых девиц туда не пускают, так как там ведут разговор о политике, скандаль-

ных происшествиях, философии и других предметах, недоступных нашему пониманию. Но нам разрешают сопровождать леди в лавки книгопродавцев – очаровательные местечки, где мы читаем романы, пьесы, памфлеты и газеты за весьма малую плату – крона за три месяца, и в этих прибежищах разума (как называет их мой брат) мы первыми узнаем все новости и все приключения в купальнях. Покинув книжную лавку, мы совершаем обход модисток и торговцев безделушками, после чего всегда заходим к мистеру Джилу, кондитеру, подкрепиться желе, тортом или пудингом.

На другом берегу реки, против роши, есть еще одно место для увеселений, куда общество переправляется в лодках. Называется оно Сады минеральных вод – прелестный уголок с аллеями, прудами и цветниками, и есть там длинный зал для завтраков и танцев. Так как местность эта низменная и сырая, а погода стоит очень дождливая, дядюшка, боясь, что я схвачу простуду, не разрешает мне бывать там. Но тетушка говорит, что это пустой предрассудок, и в самом деле, очень многие джентльмены и леди из Ирландии посещают это место и как будто чувствуют себя не хуже, чем раньше. По их словам, танцы в Садах минеральных вод, где воздух влажен, предписаны им как превосходное целебное средство от ревматизма. Два раза я была на театральных представлениях, где, несмотря на прекрасную игру актеров, веселое общество и очень красивые декорации, я невольно вспомнила со вздохом наши бедные, скромные представления в Глостере. Но пусть моя милая мисс Уиллис сохранит сие в тайне. Вы знаете мое сердце и извините его слабости.

<...>

Но боюсь, что я истощила ваше терпение этим длинным, бессвязным, писанным каракулями письмом, которое я потому и заканчиваю, и уверяю вас, что ни Бат, ни Лондон, ни все светские развлечения никогда не изгладят образа моей дорогой Летти в сердце вечно ее любящей

*Лидии Мелфорд.  
Бат, 26 апреля*

*Мисс Мэри Джонс. Брамблтон-Холл  
Дорогая Молли Джонс!*

<...>

Милая моя, перевидела я всякие красоты в Бате – Променаты, площади круглые, полукруглые, преспекты и всякие дома, два раза я лазила с хозяйкой в бассейн, и на спине у нас ничего не было. В первый раз я страсть как испужалась и весь день была в трехволнениях, а потом притворилась, будто у меня голова трещит, но хозяйка сказала, что коли я не пойду, то должна принять рвотного. Я-то помнила, каково пришлось миссис Гуиллим, когда она приняла его на одно пенни, и решила уж лучше полезть с ней в бассейн, и приключился там со мной грех. Я обронила юбку и не могла достать ее с самого дна. Но что за беда? Пускай себе люди смеялись, но увидеть-то они ничего не могли, потому что я стояла под самый под подбородок в воде. Правда, уж так я себя не помнила, что не знаю, что говорила и что делала, и как меня оттуда вытащили и завернули в одеяла. Мисс Табита малость поругала меня, когда мы вернулись домой, но она-то знает, что я тоже кое-чего знаю.

Да помилует нас господь! Есть тут такой сэр Ури Малигут из Балналинча, графство Каловай, – я это записала от его камердина, мистера О’Фризла, и этот сэр Ури получает со своего имения полторы тысячи в год, – и уж, конечно, он и богатый и щедрый. Но вы-то знаете, Молли, что я всегда была горазда держать секреты, – значит, он мог преспокойно поверить мне все о своей племенной страсти к моей хозяйке, а уж что и говорить, страсть у него почтенная, потому как мистер О’Фризал уверяет, что ему наплевать на ее приданое. И взаправду, что значат жалкие десять тысяч для такого богатейшего барона? Вот я и сказала мистеру О’Фризлу, что у нее за душой ничего больше нет. А что до Джона Томаса, так он ужас какой. Поверите,



я думала, он подерется с мистером О'Фризлом, когда он пригласил меня потанцевать с ним в Садах генеральных вод. Но богу известно, я и думать не думаю ни о том, ни о другом.

<...> У меня завелись самые что ни на есть лучшие знакомые в здешних местах, а тут у нас самые сливы обчества. <...> Но у вас, Молли, нет на все это понятия. Коли мы поедем в Аберганни, мне до вас будет только день пути, и тогда, бог даст, мы свидимся. А коли нет, то поминайте меня в своих молитвах, как и я вас поминаю; поберегите мою кошечку и поцелуйте за меня Саулу. И вот пока это все от вашей возлюбленной подруги и слуги

*Уинифред Дженкинс.*

*Бат, 26 апреля*

*Миссис Гуиллим, домоправительнице в Брамблтон-Холле*

Я удивлена, что доктор Льюис взял да отдал олдернейскую корову, не подумав спросить меня. Да разве приказания брата чего-нибудь стоят? Мой брат почти что выжил из ума. Он готов отдать последнюю рубашку со спины и зубы изо рта. Да уж коли на то пошло, он разорил бы свое семейство дурацкой благотворительностью, не будь у меня моего капитала. Из-за его упрямства, мотовства, капризов и раздражительного нрава я точно в кабале какой. С той поры как теленка послали на рынок, олдернейская корова давала по четыре галлона в день. Вот сколько молока потеряла моя молочная ферма, и пресс должен стоять без дела. Но я не желаю терять ни одной сырной корки, и я свое наверстаю, если служанки будут обходиться без масла. А если уж они непременно хотят масла, то пускай сбивают его из овечьего молока. Но тогда я потеряю на шерсти, потому что овцы будут не такие жирные, а, значит, я все равно останусь в убытке. Да, терпенье можно сравнить с крепким валлийским пони: многое он вынесет и будет себе бежать да бежать, а в конце концов все-таки выбьется из сил. Может быть, скоро я докажу Магту, что родилась на свет не для того, чтобы до самой смерти быть в его доме последней служанкой.

<...>

Думаю, что в Брамблтон-Холле все идет вкривь и вкось. Вы пишете, что гусак разбил яйца, а уж такого финоменона я вовсе не понимаю, потому что в прошлом году, когда гусыню утащила лиса, он занял ее место, высидел яйца и защищал гусенят, как нежный родитель.

Еще пишете вы мне, что от грома скисли две бочки пива в погребе, но я понять не могу, как пробрался туда гром, если погреб заперт на два замка? Ну да все равно, я и слышать не хочу, чтобы пиво вылили, пока я не увижу его собственными глазами. Может, оно еще отойдет, а на худой конец дать его слугам вместо уксуса.

Вы можете перестать топить камин в спальне моего брата и в моей, потому что еще неизвестно, когда мы воротимся.

Я надеюсь, вы позаботитесь, Гуиллим, чтобы в доме ничего не тратили зря, присматривайте за служанками и следите, чтобы они сидели за пряжей. Думаю, что в жаркую погоду они могут обойтись и без пива: оно только горячит кровь, и они сходят с ума по мужчинам. Вода пойдет им на пользу для красоты лица, и они остынут и поутихнут.

Не забудьте положить в мое портманто, которое привезет Уильямс, мой выездной костюм, а также шляпу и перо, а также флакон с земчужной водой и настойку для желудка, потому что я очень страдаю от бурления газов. И пока на этом кончаю и остаюсь ваша

*Табита Брамбл.*

*Бат, 26 апреля*

<...>

*Сэру Уоткину Филипсу, баронету, Оксфорд, колледж Иисуса*

Дорогой Уот!

Каждый день теперь чреват событиями и открытиями.

Молодой мистер Деннисон оказался тем самым человеком, которого я так долго проклинал, именуя Уилсоном. Избегая ненавистного брака, он скрылся из колледжа в Кембридже и подвизался в разных частях страны как бродячий комедиант, покуда девушка, которую ему сватали, не нашла себе другого мужа; тогда возвратился он к отцу, открыл ему свою любовь к Лидди и получил согласие родителей, хотя в ту пору отец и не подозревал, что мистер Брамбл – старый его приятель Мэтью Ллойд. Молодой джентльмен, получив возможность обратиться надлежащим образом со своим предложением к дядюшке и ко мне, безуспешно разыскивал нас по всей Англии; его-то я и видел, когда он проезжал верхом мимо гостиницы, у окна которой я стоял вместе с Лидди, но он и знать не знал, что мы находимся в этом доме. Что до настоящего мистера Уилсона, которого я по ошибке вызвал на поединок, то он сосед и закадычный друг старого мистера Деннисона, и это знакомство подало сыну мысль назваться его именем, покуда приходилось ему скрываться.

Вы легко можете представить, как обрадовался я, узнав, что нежно любимая сестра моя поведением своим не навлекла на наше семейство никакого бесчестья; что не только не унизила она себя любовью к жалкому бродячему комедианту, но покорила сердце джентльмена, равного ей по происхождению и более богатого, чем она, и что родители одобряют его привязанность, а потому я в скором времени обрету зятя, столь достойного моей дружбы и уважения.

Джордж Деннисон, без сомнения, один из совершеннейших юношей в Англии. Наружность его изящна и в то же время мужественна, а ум высоко образован. Непреклонный дух сочетается в нем с нежным сердцем, а обхождение его столь приятно, что даже люди злорадные и равнодушные относятся к нему с любовью и почтением. Когда кладу я на одну чашу весов его нрав, а на другую – свой, я стыжусь своей легковесности, но сравнение не возбуждает во мне зависти... Я намерен подражать ему во всем... Я постарался завоевать его дружеское расположение и, надеюсь, уже занял местечко в его сердце.

Однако же меня тяготит мысль о том, какие несправедливые поступки совершаем мы повседневно и сколь нелепы бывают наши суждения о вещах, которые мы рассматриваем сквозь предрассудки и страсти, искажающие их. Если бы вы раньше попросили меня описать наружность и нрав Уилсона-актера, я написал бы портрет, вовсе не похожий на Джорджа Деннисона. Без сомнения, велика польза, приносимая путешествиями и изучением людей в подлинном их виде, ибо тогда рассеивается этот постыдный туман, омрачающий разум и мешающий ему судить честно и беспристрастно.

Настоящий Уилсон – большой чудак и самый добродушный и общительный человек из всех, кого мне доводилось видеть. Я задаю себе вопрос: случалось ли ему когда-нибудь гневаться или унывать? Он отнюдь не притязает на ученость, но привержен всему, что может быть полезным или занимательным. Помимо других своих достоинств, он прекрасный охотник и почитается самым метким стрелком в графстве. Вчера мы все – он, Деннисон, Лисмахаго и я – ходили в сопровождении Клинкера на охоту и произвели великий переполох среди куропаток. Завтра мы объявим войну вальдшнепам и бекасам.

Мистер Деннисон – изрядный стихотворец, он сочинил несколько стихов о любви своей к Лидди, которые должны весьма льстить тщеславию молодой девушки. Возможно также, что он один из одареннейших актеров, каких только видел свет. Иногда он развлекает нас чтением любимых отрывков из лучших наших пьес. Мы решили превратить большую залу в театр и без промедления поставить «Хитрый план щеголей». Мне кажется, я буду очень неплох в роли Скраба, а Лисмахаго отличится в роли капитана Гиббета. Уилсон задумал развлечь сельских жителей комедией «Арлекин-скелет», для чего уже размалевал собственноручно камзол.

Общество наше поистине восхитительно. Даже суровый Лисмахаго оттаял, а кислая мисс Табби стала заметно слаще с той поры, как было решено, что она опередит свою племянницу и первая сочетается узами брака.

Ибо да будет вам известно, что день свадьбы Лидди назначен, и в приходской церкви было уже сделано один раз оглашение для обеих пар. Лейтенант с жаром просил, чтобы со всей суетой было покончено сразу, и Табита с притворной неохотой дала согласие. Жених ее, приехавший сюда с весьма скудным запасом платья, послал в Лондон за своими пожитками, которые, по всей вероятности, не придут вовремя, но это большого значения не имеет, так как свадьбу решено справлять весьма скромно. Между тем дано распоряжение составить брачные контракты, весьма выгодные для обеих невест. За Лидди закреплена изрядная вдовья часть, а тетюшка остается хозяйкой своего состояния, исключая половину годового дохода, которую получает право распоряжаться ее супруг до конца дней своих. Я полагаю, что, по совести, нельзя дать меньше человеку, который на всю жизнь сопрягается с такой подругой.

Обрученные кажутся столь счастливыми, что, если бы у мистера Деннисона была хорошенькая дочка, пожалуй, я согласился бы составить третью пару в этом контрдансе. Сей дух, по-видимому, заразителен, ибо Клинкер, он же Ллойд, забрал себе в голову тоже свалить дурака и жениться на мисс Уинифред Дженкинс. Он даже выведывал мои мысли об этом предмете, но я отнюдь не одобрил его намерения. Я сказал ему, что раз он не помолвлен и никаких обещаний не давал, то может сыскать себе кого-нибудь получше; что мне неизвестно, каким образом намерен дядюшка устроить его судьбу, но лучше бы он не навлекал сейчас на себя его неудовольствия, обращаясь несвоевременно к нему с такой просьбой.

Славный Хамфри отвечал, что скорее пойдет на смерть, чем скажет или сделает что-нибудь негодное сквайру; однако же, по собственному его признанию, он питал нежные чувства к молодой девушке и имел основания думать, что и она взирает на него благосклонно. Признался он также, что эти знаки взаимного расположения почитает как бы безмолвным обязательством, которое должно связывать совесть честного человека, и выразил надежду, что мы со сквайром будем согласны с его мнением, если поразмыслим об этом на досуге. Мне кажется, он прав, и мы должны найти время, чтобы это дело обдумать.

Как видите, мы проживем здесь, по крайней мере, две-три недели, а поскольку была уже у вас долгая передышка, надеюсь, вы не мешкая начнете уплачивать недоимки преданному вам

*Дж. Мелфорду. 14 октября*

### **Вопросы и задания:**

1. Какие задачи ставил перед собой Смоллет, избирая для своего произведения форму романа в письмах? Прокомментируйте сложное соотношение субъективного и объективного начал в романе.
2. Какие актуальные для своего времени проблемы затрагивает автор в романе?
3. Охарактеризуйте жанровые особенности книги Смоллета.
4. Дайте характеристику центральных персонажей романа.
5. Перечислите приемы создания комического эффекта в романе.
6. Проведите сопоставительный анализ романа Смоллета с произведениями других писателей-просветителей.
7. К какой художественной системе вы бы отнесли роман Смоллета?

## Томас Грей (1716–1771)

### Предтекстовое задание:

Познакомьтесь с одним из образцов так называемой «кладбищенской поэзии» – «Элегией, написанной на сельском кладбище» (1751) Томаса Грея. Исходя из содержания и художественных особенностей поэмы, попытайтесь сформулировать характерные черты сентиментализма.

### Элегия, написанная на сельском кладбище *Перевод В. А. Жуковского*

Уже бледнеет день, скрываясь за горою;  
Шумящие стада толпятся над рекой;  
Усталый селянин медлительной стопою  
Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.

В туманном сумраке окрестность исчезает...  
Повсюду тишина; повсюду мертвый сон;  
Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,  
Лишь слышится вдали рогов унылый звон.

Лишь дикая сова, таясь под древним сводом  
Той башни, сетует, внимаема луной,  
На возмутившего полуночным приходом  
Ее безмолвного владычества покой.

Под кровом черных сосн и вязов наклоненных,  
Которые окрест, развесившись, стоят,  
Здесь праотцы села, в гробах уединенных  
Навеки затворясь, сном непробудным спят.

Денницы тихий глас, дня юного дыханье,  
Ни крики петуха, ни звучный гул рогов,  
Ни ранней ласточки на кровле щебетанье –  
Ничто не вызовет почивших из гробов.

На дымном очаге трескучий огонь, сверкая,  
Их в зимни вечера не будет веселить,  
И дети резвые, встречать их выбегая,  
Не будут с жадностью лобзаний их ловить.

Как часто их серпы златую ниву жали,  
И плуг их побеждал упорные поля!  
Как часто их секир дубравы трепетали,  
И потом их лица кропилася земля!

Пускай рабы сует их жребий унижают,

Смеясь в слепоте полезным их трудам,  
Пусть с холодностью презрения внимают  
Таящимся во тьме убогого делам;

На всех ярится смерть – царя, любимца, славы,  
Всех ищет грозная... и некогда найдет;  
Всемощная судьбы незыблемы уставы;  
И путь величия ко гробу нас ведет!

А вы, наперсники фортуны ослепленны,  
Напрасно спящих здесь спешите презирать  
За то, что гробы их непышны и забвенны,  
Что лезть им алтарей не мыслит воздвигать.

Вотще над мертвыми, истлевшими костями  
Трофеи зиждутся, надгробия блестят,  
Вотще глас почестей гремит перед гробами –  
Угасший пепел наш они не воспалят.

Ужель смягчится смерть сплетаемой хвалою  
И невозвратную добычу возвратит?  
Не слаще мертвых сон под мраморной доскою;  
Надменный мавзолей лишь персть их бременит.

Ах! может быть, под сей могилу таится  
Прах сердца нежного, умевшего любить,  
И гробожитель-червь в сухой главе гнездится,  
Рожденной быть в венце иль мыслями парить!

Но просвещенья храм, воздвигнутый веками,  
Угрюмою судьбой для них был затворен,  
Их рок обременил убожества цепями,  
Их гений строгою нуждою умерщвлен.

Как часто редкий перл, волнами сокровенной,  
В бездонной пропасти сияет красотой;  
Как часто лилия цветет уединенно,  
В пустынном воздухе теряя запах свой.

Быть может, пылью сей покрыт Гампден надменный,  
Защитник сограждан, тиранства смелый враг;  
Иль кровию сограждан Кромвель необагранный,  
Или Мильтон немой, без славы скрытый в прах.

Отечество хранить державною рукою,  
Сражаться с бурей бед, фортуны презирать,  
Дары обилия на смертных лить рекою,  
В слезах признательных дела свои читать –

Того им не дал рок; но вместе преступлениям  
Он с доблестями их круг тесный положил;  
Бежать стезей убийств ко славе, наслаждениям,  
И быть жестокими к страдальцам запретил;

Таить в душе своей глас совести и чести,  
Румянец робкия стыдливости терять  
И, раболепствуя, на жертвенниках лести  
Дары небесных Муз гордыне посвящать.

Скрываясь от мирских погибельных смятений,  
Без страха и надежд, в долине жизни сей,  
Не зная горести, не зная наслаждений,  
Они беспечно шли тропинкою своей.

И здесь спокойно спят под сенью гробовую –  
И скромный памятник, в приюте сосн густых,  
С непышной надписью и резьбою простою,  
Прохожего зовет вздохнуть над прахом их.

Любовь на камне сем их память сохранила,  
Их лета, имена потщившись начертать;  
Окрест библейскую мораль изобразила,  
По коей мы должны учиться умирать.

И кто с сей жизнью без горя расставался?  
Кто прах свой по себе забвенью предавал?  
Кто в час последний свой сим миром не пленялся  
И взора томного назад не обращал?

Ах! нежная душа, природу покидая,  
Надеется друзьям оставить пламень свой;  
И взоры тусклые, навеки угасая,  
Еще стремятся к ним с последнею слезой;

Их сердце милый глас в могиле нашей слышит;  
Наш камень гробовой для них одушевлен;  
Для них наш мертвый прах в холодной урне дышит,  
Еще огнем любви для них воспламенен.

А ты, почивших друг, певец уединенный,  
И твой ударит час, последний, роковой;  
И к гробу твоему, мечтой сопровождаемый,  
Чувствительный придет услышать жребий твой.

Быть может, селянин с почтенной сединою  
Так будет о тебе пришельцу говорить:  
«Он часто по утрам встречался здесь со мною,  
Когда спешил на холм зарю предупредить.

Там в полдень он сидел под дремлющею ивой,  
Поднявшей из земли косматый корень свой;  
Там часто, в горести беспечной, молчаливой,  
Лежал, задумавшись, над светлою рекой;

Нередко к вечеру, скитаясь меж кустами –  
Когда мы с поля шли, и в роще соловей  
Свистал вечерню песнь, – он томными глазами  
Уныло следовал за тихую зарей.

Прискорбный, сумрачный, с главою наклоненной,  
Он часто уходил в дубраву слезы лить,  
Как странник, родины, друзей, всего лишенный,  
Которому ничем души не усладить.

Взошла заря – но он с зарею не являлся,  
Ни к иве, ни на холм, ни в лес не приходил;  
Опять заря взошла – нигде он не встречался;  
Мой взор его искал – искал – не находил.

Наутро пение мы слышим гробовое...  
Несчастливого несут в могилу положить.  
Приблизься, прочитай надгробие простое,  
Чтоб память доброго слезой благословить».

«Здесь пепел юноши безвременно сокрыли;  
Что слава, счастье не знал он в мире сем;  
Но Музы от него лица не отвратили,  
И меланхолии печать была на нем.

Он кроток сердцем был, чувствителен душою –  
Чувствительным творец награду положил.  
Дарил несчастных он – чем только мог – слезою;  
В награду от творца он друга получил.

Прохожий, помолись над этою могилой;  
Он в ней нашел приют от всех земных тревог;  
Здесь все оставил он, что в нем греховно было,  
С надеждою, что жив его спаситель – бог».

**Вопросы и задания:**

1. Дайте подробное описание тем, мотивов, образного репертуара элегии.
2. В чем проявляются демократические симпатии автора?
3. Охарактеризуйте образ поэта в изображении Грея.
4. Какие черты сентиментализма нашли воплощение в поэме Грея?

## Лоренс Стерн (1713-1768)

### Предтекстовое задание:

Прежде чем вы прочтете главы I–XII романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760-1767), подумайте о следующих вопросах:

1. Какие вам известны способы начинать роман?
2. Какие из них можно назвать традиционными и почему?
3. Какие типы рассказчиков (нарраторов) вы знаете?
4. Зависит ли начало романа от типа рассказчика?

## Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена Перевод А. А. Франковского

### Том первый

*Τάρασσε/τον) Αυφρωπλου-τ) ου τα Πράγματα, Αλλα τα περ/των  
Πραγμάτων Δόγματα*  
*Людей страшат не дела, а лишь мнения об этих делах (греч.)*

### Досточтимому мистеру Питту

Сэр,

Никогда еще бедняга-писатель не возлагал меньше надежд на свое посвящение, чем возлагаю я; ведь оно написано в глухом углу нашего королевства, в уединенном доме под соломенной крышей, где я живу в постоянных усилиях веселостью оградить себя от недомоганий, причиняемых плохим здоровьем, и других жизненных зол, будучи твердо убежден, что каждый раз, когда мы улыбаемся, а тем более когда смеемся, – улыбка наша и смех кое-что прибавляют к недолгой нашей жизни.

Покорно прошу вас, сэр, оказать этой книге честь, взяв ее (не под защиту свою, она сама за себя постоит, но) с собой в деревню, и если мне когда-нибудь доведется услышать, что там она вызвала у вас улыбку, или можно будет предположить, что в тяжелую минуту она вас развлекала, я буду считать себя столь же счастливым, как министр, или, может быть, даже счастливее всех министров (за одним только исключением), о которых я когда-либо читал или слышал.

Пребываю, великий муж и (что более к вашей чести) добрый человек, вашим благожелателем и почтительнейшим соотечественником,

*Автор*

### Глава I

Я бы желал, чтобы отец мой или мать, а то и оба они вместе, – ведь обязанность эта лежала одинаково на них обоих, – поразмыслили над тем, что они делают в то время, когда они меня зачинали. Если бы они должным образом подумали, сколь многое зависит от того, чем они тогда были заняты, – и что дело тут не только в произведении на свет разумного существа, но что, по всей вероятности, его счастливое телосложение и темперамент, быть может, его дарования и самый склад его ума – и даже, почем знать, судьба всего его рода – определяются



их собственной натурой и самочувствием, если бы они, должным образом все это взвесив и обдумав, соответственно поступили, – то, я твердо убежден, я занимал бы совсем иное положение в свете, чем то, в котором читатель, вероятно, меня увидит. Право же, добрые люди, это вовсе не такая маловажная вещь, как многие из вас думают; все вы, полагаю, слышали о жизненных духах, о том, как они передаются от отца к сыну, и т. д. и т. д. – и многое другое на этот счет. Так вот, поверьте моему слову, девять десятых умных вещей и глупостей, которые творятся человеком, девять десятых его успехов и неудач на этом свете зависят от движений и деятельности названных духов, от разнообразных путей и направлений, по которым вы их посылаете, так что, когда они пущены в ход, – правильно или неправильно, безразлично, – они в суматохе несутся вперед, как угорелые, и, следуя вновь и вновь по одному и тому же пути, быстро обращают его в проторенную дорогу, ровную и гладкую, как садовая аллея, с которой, когда они к ней привыкнут, сам черт подчас не в силах их сбить.

– Послушайте, дорогой, – произнесла моя мать, – вы не забыли завести часы?

– Господи боже! – воскликнул отец в сердцах, стараясь в то же время приглушить свой голос, – бывало ли когда-нибудь с сотворения мира, чтобы женщина прерывала мужчину таким дурацким вопросом?

– Что же, скажите, разумел ваш батюшка?

– Ничего.

## Глава II

– Но я положительно не вижу ничего ни хорошего, ни дурного в этом вопросе. – Но позвольте вам сказать, сэр, что он по меньшей мере был чрезвычайно неуместен, – потому что разогнал и рассеял жизненных духов, обязанностью которых было сопровождать ГОМУНКУЛА<sup>18</sup>, идя с ним рука об руку, чтобы в целости доставить к месту, назначенному для его приема. Гомункул, сэр, в каком бы жалком и смешном свете он ни представлялся в наш легкомысленный век взорам глупости и предубеждения, – на взгляд разума, при научном подходе к делу, признается существом, огражденным принадлежащими ему правами. – Философы ничтожно малого, которые, кстати сказать, обладают наиболее широкими умами (так что душа их обратно пропорциональна их интересам), неопровержимо нам доказывают, что гомункул создан той же рукой, – повинуетя тем же законам природы, – наделен теми же свойствами и способностью к передвижению, как и мы; – что, как и мы, он состоит из кожи, волос, жира, мяса, вен, артерий, связок, нервов, хрящей, костей, костного и головного мозга, желез, половых органов, крови, флегмы, желчи и сочленений; – является существом столь же деятельным – и во всех отношениях точно таким же нашим ближним, как английский лорд-канцлер. Ему можно оказать услуги, можно его обидеть, – можно дать ему удовлетворение; словом, ему приуси все притязания и права, которые Туллий<sup>19</sup>, Пуфендорф<sup>20</sup> и лучшие писатели-моралисты признают вытекающими из человеческого достоинства и отношений между людьми.

А что, сэр, если в дороге с ним, одиноким, приключится какое-нибудь несчастье? – или если от страха перед несчастьем, естественного в столь юном путешественнике, паренек мой достигнет места своего назначения в самом жалком виде, – вконец измотав свою мышечную и

---

<sup>18</sup> Гомункул – (ср. лат. *Homunculus* – человек) по представлениям средневековых алхимиков, некое существо, подобное человеку, которое якобы можно получить искусственно (в колбе).

<sup>19</sup> Туллий – под этим именем может скрываться как Сервий Туллий (578–535 гг. до н. э.), шестой римский император, так и Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.) древнеримский мыслитель и политический деятель, автор множества известных афоризмов, например: «Ведь такого рода рассуждения, вложенные в уста людей прежних времен, и к тому же самых знаменитых неведомым образом приобретают особый вес и возвышенную важность».

<sup>20</sup> Пуфендорф (1632–1694) – знаменитый немецкий юрист, историк, философ.

мужскую силу, – приведя в неопишное волнение собственных жизненных духов, – и если в таком плачевном состоянии расстройства нервов он пролежит девять долгих, долгих месяцев сряду, находясь во власти внезапных страхов или мрачных сновидений и картин фантазии? Страшно подумать, какой богатой почвой послужило бы все это для тысячи слабостей, телесных и душевных, от которых потом не могло бы окончательно его вылечить никакое искусство врача или философа.

### Глава III

Приведенным анекдотом обязан я моему дяде, мистеру Тоби Шенди, которому отец мой, превосходный натурфилософ, очень увлекавшийся тонкими рассуждениями о ничтожнейших предметах, часто горько жаловался на причиненный мне ущерб; в особенности же один раз, как хорошо помнил дядя Тоби, когда отец обратил внимание на странную косолапость (собственные его слова) моей манеры пускать волчок; разъяснив принципы, по которым я это делал, – старик покачал головой и тоном, выразившим скорее огорчение, чем упрек, – сказал, что все это давно уже чуяло его сердце и что как теперешнее, так и тысяча других наблюдений твердо его убеждают в том, что никогда я не буду думать и вести себя подобно другим детям. – Но, увы! – продолжал он, снова покачав головой и утирая слезу, катившуюся по его щеке, – несчастье моего Тристрама началось еще за девять месяцев до его появления на свет.

Моя мать, сидевшая рядом, подняла глаза, – но так же мало поняла то, что хотел сказать отец, как ее спина, – зато мой дядя, мистер Тоби Шенди, который много раз уже слышал об этом, понял отца прекрасно.

### Глава IV

Я знаю, что есть на свете читатели, – как и множество других добрых людей, вовсе ничего не читающих, – которые до тех пор не успокоятся, пока вы их не посвятите от начала до конца в тайны всего, что вас касается.

Только во внимание к этой их прихоти и потому, что я по природе не способен обмануть чьи-либо ожидания, я и углубился в такие подробности. А так как моя жизнь и мнения, вероятно, произведут некоторый шум в свете и, если предположения мои правильны, будут иметь успех среди людей всех званий, профессий и толков, – будут читаться не меньше, чем сам «Путь паломника»<sup>21</sup>, – пока им напоследок не выпадет участь, которой Монтень опасался для своих «Опытов», а именно – валяться на окнах гостиных, – то я считаю необходимым уделить немного внимания каждому по очереди и, следовательно, должен извиниться за то, что буду еще некоторое время следовать по избранному мной пути. Словом, я очень доволен, что начал историю моей жизни так, как я это сделал, и могу рассказывать в ней обо всем, как говорит Гораций, *ab ovo*.

Гораций, я знаю, не рекомендует этого приема; но почтенный этот муж говорит только об эпической поэме или о трагедии (забыл, о чем именно); – а если это, помимо всего прочего, и не так, прошу у мистера Горация извинения, – ибо в книге, к которой я приступил, я не намерен стеснять себя никакими правилами, будь то даже правила Горация.

А тем читателям, у которых нет желания углубляться в подобные вещи, я не могу дать лучшего совета, как предложить им пропустить остающуюся часть этой главы; ибо я заранее объявляю, что она написана только для людей пытливых и любознательных.

---

<sup>21</sup> «Путь паломника» – произведение Джона Беньяна, английского мыслителя (1628–1688), написанное в 1678 г., представляет собой аллегорическое повествование о тернистом пути через Топь Уныния, Долину Смертной Тени, Ярмарку Тщеславия и другие места, по которому следует Кристиан (христианин), направляющийся в Небесный Град.

– Затворите двери. Я был зачат в ночь с первого воскресенья на первый понедельник месяца марта, лета господня тысяча семьсот восемнадцатого. На этот счет у меня нет никаких сомнений. – А столь подробными сведениями относительно события, совершившегося до моего рождения, обязан я другому маленькому анекдоту, известному только в нашей семье, но ныне оглашаемому для лучшего уяснения этого пункта.

Надо вам сказать, что отец мой, который первоначально вел торговлю с Турцией, но несколько лет назад оставил дела, чтобы поселиться в родовом поместье в графстве \*\*\* и окончить там дни свои, – отец мой, полагаю, был одним из пунктуальнейших людей на свете во всем, как в делах своих, так и в развлечениях. Вот образчик его крайней точности, рабом которой он поистине был: уже много лет как он взял себе за правило в первый воскресный вечер каждого месяца, от начала и до конца года, – с такой же неукоснительностью, с какой наступал воскресный вечер, – собственноручно заводить большие часы, стоявшие у нас на верхней площадке черной лестницы. – А так как в пору, о которой я завел речь, ему шел шестой десяток, – то он мало-помалу перенес на этот вечер также и некоторые другие незначительные семейные дела; чтобы, как он часто говаривал дяде Тоби, отделаться от них всех сразу и чтобы они больше ему не докучали и не беспокоили его до конца месяца.

Но в этой пунктуальности была одна неприятная сторона, которая особенно больно сказалась на мне и последствия которой, боюсь, я буду чувствовать до самой могилы, а именно: благодаря несчастной ассоциации идей, которые в действительности ничем между собой не связаны, бедная моя мать не могла слышать, как заводятся названные часы, – без того, чтобы ей сейчас же не приходили в голову мысли о кое-каких других вещах, – и *vice versa*<sup>22</sup>.

Это странное сочетание представлений, как утверждает проникательный Локк, несомненно понимавший природу таких вещей лучше, чем другие люди, породило больше нелепых поступков, чем какие угодно другие причины для недоразумений.

Но это мимоходом.

Далее, из одной заметки в моей записной книжке, лежащей на столе передо мной, явствует, что «в день Благовещения, приходившийся на 25-е число того самого месяца, которым я помечаю мое зачатие, отец мой отправился в Лондон с моим старшим братом Бобби, чтобы определить его в Вестминстерскую школу», а так как тот же источник свидетельствует, «что он вернулся к своей жене и семейству только на второй неделе мая», – то событие устанавливается почти с полной достоверностью. Впрочем, сказанное в начале следующей главы исключает на этот счет всякие сомнения.

– Но скажите, пожалуйста, сэр, что делал ваш папаша в течение всего декабря, января и февраля? – Извольте, мадам, – все это время у него был приступ ишиаса.

## Глава V

Пятого ноября 1718 года, то есть ровно через девять календарных месяцев после вышеустановленной даты, с точностью, которая удовлетворила бы резонные ожидания самого придирчивого мужа, – я, Тристрам Шенди, джентльмен, появился на свет на нашей шелудивой и злосчастной земле. – Я бы предпочел родиться на Луне или на какой-нибудь из планет (только не на Юпитере и не на Сатурне, потому что совершенно не переношу холода); ведь ни на одной из них (не поручусь, впрочем, за Венеру) мне заведомо не могло бы прийти хуже, чем на нашей грязной, дрянной планете, – которую я по совести считаю, чтобы не сказать хуже, сделанной из оскребков и обрезков всех прочих; – она, правда, достаточно хороша для тех, кто на ней родился с большим именем или с большим состоянием или кому удалось быть призванным

---

<sup>22</sup> Наоборот (*лат.*).

на общественные посты и должности, дающие почет или власть; – но это ко мне не относится; – а так как каждый склонен судить о ярмарке по собственной выручке, то я снова и снова объявляю землю дряннейшим из когда-либо созданных миров; – ведь, по чистой совести, могу сказать, что с той поры, как я впервые втянул в грудь воздух, и до сего часа, когда я едва в силах дышать вообще, по причине астмы, схваченной во время катанья на коньках против ветра во Фландрии, – я постоянно был игрушкой так называемой Фортуны; и хоть я не стану понапрасну пенять на нее, говоря, будто когда-нибудь она дала мне почувствовать тяжесть большого или из ряда вон выходящего горя, – все-таки, проявляя величайшую снисходительность, должен засвидетельствовать, что во все периоды моей жизни, на всех путях и перепутьях, где только она могла подступить ко мне, эта немилостивая владычица насылала на меня кучу самых прискорбных злоключений и невзгод, какие только выпадали на долю маленького героя.

## Глава VI

В начале предыдущей главы я вам точно сообщил, когда я родился, – но я вам не сообщил, как это произошло. Нет; частность эта припасена целиком для отдельной главы; – кроме того, сэр, поскольку мы с вами люди в некотором роде совершенно чужие друг другу, было бы неудобно выложить вам сразу слишком много касающихся меня подробностей. – Вам придется чуточку потерпеть. Я затеял, видите ли, описать не только жизнь мою, но также и мои мнения, в надежде и в ожидании, что, узнав из первой мой характер и уяснив, что я за человек, вы почувствуете больше вкуса к последним. Когда вы побудете со мною дольше, легкое знакомство, которое мы сейчас завязываем, перейдет в короткие отношения, а последние, если кто-нибудь из нас не сделает какой-нибудь оплошности, закончатся дружбой. – *O diem praeclarum!*<sup>23</sup> – тогда ни одна мелочь, если она меня касается, не покажется вам пустой или рассказ о ней – скучным. Поэтому, дорогой друг и спутник, если вы найдете, что в начале моего повествования я несколько сдержан, – будьте ко мне снисходительны, – позвольте мне продолжать и вести рассказ по-своему, – и если мне случится время от времени порезвиться дорогой – или порой надеть на минутку-другую шутовской колпак с колокольчиком, – не убегайте, – но любезно вообразите во мне немного больше мудрости, чем то кажется с виду, – и смейтесь со мной или надо мной, пока мы будем медленно трусить дальше; словом, делайте что угодно, – только не теряйте терпения.

## Глава VII

В той же деревне, где жили мои отец и мать, жила повивальная бабка, сухощавая, честная, заботливая, домовитая, добрая старуха, которая с помощью малой толики простого здравого смысла и многолетней обширной практики, в которой она всегда полагалась не столько на собственные усилия, сколько на госпожу Природу, – приобрела в своем деле немалую известность в свете; – только я должен сейчас же довести до сведения вашей милости, что словом свет я здесь обозначаю не весь круг большого света, а лишь вписанный в него маленький кружок около четырех английских миль в диаметре, центром которого служил домик нашей доброй старухи. – На сорок седьмом году жизни она осталась вдовой, без всяких средств, с тремя или четырьмя маленькими детьми, и так как была она в то время женщиной степенного вида, приличного поведения, – немногоречивой и к тому же возбуждавшей сострадание: безропотность, с которой она переносила свое горе, тем громче взывала к дружеской поддержке, – то над ней сжалилась жена приходского священника: последняя давно уже сетовала на неудобство, которое долгие годы приходилось терпеть пастве ее мужа, не имевшей возможности достать пови-

---

<sup>23</sup> О славный день! (*лат.*).

вальную бабку, даже в самом крайнем случае, ближе, чем за шесть или семь миль, каковые семь миль в темные ночи и при скверных дорогах, – местность кругом представляла сплошь вязкую глину, – обращались почти в четырнадцать, что было иногда равносильно полному отсутствию на свете всяких повивальных бабок; вот сердобольной даме и пришло на ум, каким было бы благодеянием для всего прихода и особенно для бедной вдовы немного подучить ее повивальному искусству, чтобы она могла им кормиться. А так как ни одна женщина поблизости не могла бы привести этот план в исполнение лучше, чем его составительница, то жена священника самоотверженно сама взялась за дело и, благодаря своему влиянию на женскую часть прихода, без особого труда довела его до конца. По правде говоря, священник тоже принял участие в этом предприятии и, чтобы устроить все как полагается, то есть предоставить бедной женщине законные права на занятие делом, которому она обучалась у его жены, – с большой готовностью заплатил судебные пошлины за патент, составившие в общем восемнадцать шиллингов и четыре пенса; так что с помощью обоих супругов добрая женщина действительно и несомненно была введена в обязанности своей должности со всеми связанными с нею правами, принадлежностями и полномочиями какого бы то ни было рода.

Эти последние слова, надо вам сказать, не совпадали со старинной формулой, по которой обыкновенно составлялись такие патенты, привилегии и свидетельства, до сих пор выдававшиеся в подобных случаях сословию повивальных бабок. Они следовали изящной формуле Дидия<sup>24</sup> его собственного изобретения; чувствуя необыкновенное пристрастие ломать и создавать заново всевозможные вещи подобного рода, он не только придумал эту тонкую поправку, но еще и уговорил многих, давно уже дипломированных, матрон из окрестных мест вновь представить свои патенты для внесения в них своей выдумки.

Признаться, никогда подобные причуды Дидия не возбуждали во мне зависти, – но у каждого свой вкус. Разве для доктора Кунастрокия<sup>25</sup>, этого великого человека, не было величайшим удовольствием на свете расчесывать в часы досуга ослиные хвосты и выдергивать зубами поседевшие волоски, хотя в кармане у него всегда лежали щипчики? Да, сэръ, если уж на то пошло, разве не было у мудрейших людей всех времен, не исключая самого Соломона<sup>26</sup>, – разве не было у каждого из них своего конька: скаковых лошадей, монет и ракушек, барабанов и труб, скрипок, палитр, – коконов и бабочек? – и покуда человек тихо и мирно скачет на своем коньке по большой дороге и не принуждает ни вас, ни меня сесть вместе с ним на этого конька, – скажите на милость, сэръ, какое нам или мне дело до этого?

## Глава VIII

*De gustibus non est disputandum*<sup>27</sup>, – это значит, что о коньках не следует спорить; сам я редко это делаю, да и не мог бы сделать пристойным образом, будь я даже их заклятым врагом; ведь и мне случается порой, в иные фазы луны, бывать и скрипачом и живописцем, смотря по тому, какая муха меня укусит; да будет вам известно, что я сам держу пару лошадок, на которых по очереди (мне все равно, кто об этом знает) частенько выезжаю погулять и подышать воздухом; – иногда даже, к стыду моему надо сознаться, я предпринимаю несколько более продолжительные прогулки, чем следовало бы на взгляд мудреца. Но все дело в том, что я не мудрец; – и, кроме того, человек настолько незначительный, что совершенно не важно, чем я

---

<sup>24</sup> Дидий – римский император (133–193 гг.), прославившийся тем, что купил престол на одолженные деньги, не смог рассчитаться с кредиторами и был низложен. Правил 66 дней.

<sup>25</sup> Кунастрокий – как принято полагать, Стерн намекает на весьма популярного в первой половине XVIII в. лондонского врача Ричарда Мида (1673–1754).

<sup>26</sup> Соломон – библейский правитель Израильского царства, мудрец и поэт, считается автором нескольких частей Библии («Книга Екклесиаста», «Песнь песней», «Книга притч Соломоновых» и некоторые псалмы).

<sup>27</sup> О вкусах не спорят (*лат.*).

занимаюсь; вот почему я редко волнуюсь или кипячусь по этому поводу, и покой мой не очень нарушается, когда я вижу таких важных господ и высоких особ, как нижеследующие, таких, – например, как милорды А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П и так далее, всех подряд сидящими на своих различных коньках; – иные из них, отпустив стремя, движутся важным размеренным шагом, – другие, напротив, подогнув ноги к самому подбородку, с хлыстом в зубах, во весь опор мчатся, как пестрые жокеи-чертенята верхом на неприкаянных душах, – точно они решили сломать себе шею. Тем лучше, – говорю я себе; – ведь если случится самое худшее, свет отлично без них обойдется; – а что касается остальных, – что ж, – помоги им бог, – пусть себе катаются, я им мешать не буду; ведь если их сиятельства будут выбиты из седла сегодня вечером, – ставлю десять против одного, что до наступления утра многие из них окажутся верхом на еще худших конях.

Таким образом, ни одна из этих странностей не способна нарушить мои покои. – Но есть случай, который, признаться, меня смущает, – именно, когда я вижу человека, рожденного для великих дел и, что служит еще больше к его чести, по природе своей всегда расположенного делать добро; – когда я вижу человека, подобного вам, милорд, убеждения и поступки которого столь же чисты и благородны, как и его кровь, – и без которого по этой причине ни на мгновение не может обойтись развращенный свет; – когда я вижу, милорд, такого человека разъезжающим на своем коньке хотя бы минутой дольше срока, положенного ему моей любовью к родной стране и моей заботой о его славе, – то я, милорд, перестаю быть философом и в первом порыве благородного гнева посылаю к черту его конька со всеми коньками на свете.

Милорд,

Я утверждаю, что эти строки являются посвящением, несмотря на всю его необычайность в трех самых существенных отношениях: в отношении содержания, формы и отведенного ему места; прошу вас поэтому принять его как таковое и позволить мне почтительнейше положить его к ногам вашего сиятельства, – если вы на них стоите, – что в вашей власти, когда вам угодно, – и что бывает, милорд, каждый раз, когда для этого представляется повод и, смею прибавить, всегда дает наилучшие результаты.

*Милорд,*

*вашего сиятельства покорнейший, преданнейший и нижайший слуга,*

*Тристрам Шенди.*

## Глава IX

Торжественно довожу до всеобщего сведения, что вышеприведенное посвящение не предназначалось ни для какого принца, прелата, папы или государя, – герцога, маркиза, графа, виконта или барона нашей или другой христианской страны; – а также не продавалось до сих пор на улицах и не предлагалось ни великим, ни малым людям ни публично, ни частным образом, ни прямо, ни косвенно; но является подлинно девственным посвящением, к которому не прикасалась еще ни одна живая душа.

Я так подробно останавливаюсь на этом пункте просто для того, чтобы устранить всякие нарекания или возражения против способа, каким я собираюсь извлечь из него побольше выгоды, а именно – пустив его честно в продажу с публичного торга; что я теперь и делаю.

Каждый автор отстаивает себя по-своему; – что до меня, то я терпеть не могу торговаться и препираться из-за нескольких гиней в темных передних, – и с самого начала решил про себя действовать с великими мира сего прямо и открыто, в надежде, что я таким образом всего лучше преуспею.

Итак, если во владениях его величества есть герцог, маркиз, граф, виконт или барон, который бы нуждался в складном, изящном посвящении и которому подошло бы вышеприве-

денное (кстати сказать, если оно мало-мальски не подойдет, я его оставлю у себя), – оно к его услугам за пятьдесят гиней; – что, уверяю вас, на двадцать гиней дешевле, чем за него взял бы любой человек с дарованием.

Если вы еще раз внимательно его прочитаете, милорд, то убедитесь, что в нем вовсе нет грубой лести, как в других посвящениях. Замысел его, как видите, ваше сиятельство, превосходный, – краски прозрачные, – рисунок недурной, – или, если говорить более ученым языком – и оценивать мое произведение по принятой у живописцев 20-балльной системе, – то я думаю, милорд, что за контуры мне можно будет поставить 12, – за композицию 9, – за краски 6, – за экспрессию 13 с половиной, – а за замысел, – если предположить, милорд, что я понимаю свой замысел и что безусловно совершенный замысел оценивается цифрой 20, – я считаю, нельзя поставить меньше чем 19. Помимо всего этого – произведение мое отличается соответствием частей, и темные штрихи конька (который является фигурой второстепенной и служит как бы фоном для целого) чрезвычайно усиливают светлые тона, сосредоточенные на лице вашего сиятельства, и чудесно его оттеняют; – кроме того, на *tout ensemble*<sup>28</sup> лежит печать оригинальности.

Будьте добры, досточтимый милорд, распорядиться, чтобы названная сумма была выплачена мистеру Додсли для вручения автору, и я позабочусь о том, чтобы в следующем издании глава эта была вычеркнута, а титулы, отличия, гербы и добрые дела вашего сиятельства помещены были в начале предыдущей главы, которая целиком, от слов: *de gustibus non est disputandum* – вместе со всем, что говорится в этой книге о коньках, но не больше, должна рассматриваться как посвящение вашему сиятельству. – Остальное посвящаю я Луне, которая, кстати сказать, из всех мыслимых патронов или матрон наиболее способна дать книге моей ход и свести от нее с ума весь свет.

Светлая богиня<sup>29</sup>,

если ты не слишком занята делами Кандида и мисс Кунигунды<sup>30</sup>, – возьми под свое покровительство также Тристрама Шенди.

## Глава X

Можно ли было считать хотя бы скромной заслугой помощь, оказанную повивальной бабке, и кому эта заслуга по праву принадлежала, – с первого взгляда представляется мало существенным для нашего рассказа; – верно, однако же, то, что в то время честь эта была целиком приписана вышеупомянутой даме, жене священника. Но я, хоть убей, не могу отказаться от мысли, что и сам священник, пусть даже не ему первому пришел в голову весь этот план, – тем не менее, поскольку он принял в нем сердечное участие, как только был в него посвящен, и охотно отдал деньги, чтобы привести его в исполнение, – что священник, повторяю, тоже имел право на некоторую долю хвалы, – если только ему не принадлежала добрая половина всей чести этого дела.

Свету угодно было в то время решить иначе.

Отложите в сторону книгу, и я дам вам полдня сроку на сколь-нибудь удовлетворительное объяснение такого поведения света.

Извольте же знать, что лет за пять до так обстоятельно рассказанной вам истории с патентом повивальной бабки – священник, о котором мы ведем речь, сделал себя притчей во язы-

---

<sup>28</sup> На всем в целом (*франц.*).

<sup>29</sup> Светлая богиня – Теллура, римская богиня земли и плодородия.

<sup>30</sup> Кунигунда – героиня философской повести Вольтера «Кандид».

цех окрестного населения, нарушив всякие приличия в отношении себя, своего положения и своего сана; – он никогда не показывался верхом иначе, как на тощем, жалком одре, стоившем не больше одного фунта пятнадцати шиллингов; конь этот, чтобы сократить его описание, был вылитый брат Росинанта<sup>31</sup> – так далеко простиралось между ними семейное сходство; ибо он решительно во всем подходил под описание коня ламанчского рыцаря, – с тем лишь различием, что, насколько мне помнится, нигде не сказано, чтобы Росинант страдал запалом; кроме того, Росинант, по счастливой привилегии большинства испанских коней, тучных и тощих, – был несомненно конем во всех отношениях.

Я очень хорошо знаю, что конь героя был конем целомудренным, и это, может быть, дало повод для противоположного мнения; однако столь же достоверно и то, что воздержание Росинанта (как это можно заключить из приключения с ингуасскими погонщиками) произошло не от какого-нибудь телесного недостатка или иной подобной причины, но единственно от умеренности и спокойного течения его крови. – И позвольте вам заметить, мадам, что на свете сплошь и рядом бывает целомудренное поведение, в пользу которого вы больше ничего не скажете, как ни старайтесь.

Но как бы там ни было, раз я поставил себе целью быть совершенно беспристрастным в отношении каждой твари, выведенной на сцену этого драматического произведения, – я не мог умолчать об указанном различии в пользу коня Дон Кихота; – во всех прочих отношениях конь священника, повторяю, был совершенным подобием Росинанта, эта тощая, эта сухопарая, – эта жалкая кляча пришлось бы под стать самому Смирению.

По мнению кое-каких людей недалекого ума, священник располагал полной возможностью принарядить своего коня; – ему принадлежало очень красивое кавалерийское седло, подбитое зеленым плюшем и украшенное двойным рядом гвоздей с серебряными шляпками, да пара блестящих медных стремян и вполне подходящий чепрак первосортного серого сукна с черной каймой по краям, заканчивающейся густой черной шелковой бахромой, *poudre d'or*<sup>32</sup>, – все это он приобрел в гордую весну своей жизни вместе с большой чеканной уздечкой, раскрашенной как полагается. – Но, не желая делать свою лошадь посмешищем, он повесил все эти побрякушки за дверь своего рабочего кабинета и благоразумно снабдил ее вместо них такой уздечкой и таким седлом, которые в точности соответствовали внешности и цене его скакуна.

Во время своих поездок в таком виде по приходу и в гости к соседним помещикам священник – вы это легко поймете – имел случай слышать и видеть довольно много вещей, которые не давали ржаветь его философии. Сказать по правде, он не мог показаться ни в одной деревне, не привлекая к себе внимания всех ее обитателей, от мала до велика. – Работа останавливалась, когда он проезжал, бадья повисала в воздух на середине колодца, – прятка забывала вертеться, – даже игравшие в орлянку и в мяч стояли, разинув рот, пока он не скрывался из виду; а так как лошадь его была не из быстроходных, то обыкновенно у него было довольно времени, чтобы делать наблюдения – слышать ворчание людей серьезных – и смех легкомысленных, – и все это он переносил с невозмутимым спокойствием. – Таков уж был его характер, – от всего сердца любил он шутки, – а так как и самому себе он представлялся смешным, то говорил, что не может сердиться на других за то, что они видят его в том же свете, в каком он с такой непререкаемостью видит себя сам вот почему, когда его друзья, знавшие, что любовь к деньгам не является его слабостью, без всякого стеснения потешались над его чудачеством, он предпочитал, – вместо того чтобы называть истинную причину, – хохотать вместе с ними над собой; и так как у него самого никогда не было на костях ни унции мяса и по части худобы

---

<sup>31</sup> Росинант – конь Кихота из романа Сервантеса «Дон Кихот».

<sup>32</sup> С золотой ниткой (*франц.*).



он мог поспорить со своим конем, – то он подчас утверждал, что лошадь его как раз такова, какой заслуживает всадник; – что оба они, подобно кентавру, составляют одно целое. А иной раз и в ином расположении духа, недоступном соблазнам ложного остроумия, – священник говорил, что чахотка скоро сведет его в могилу, и с большой серьезностью уверял, что он без содрогания и сильнейшего сердцебиения не в состоянии взглянуть на откормленную лошадь и что он выбрал себе тощую клячу не только для сохранения собственного спокойствия, но и для поддержания в себе бодрости. Каждый раз он давал тысячи новых забавных и убедительных объяснений, почему смиренная, запаленная кляча была для него предпочтительнее горячего коня: – ведь на такой кляче он мог беззаботно сидеть и размышлять *de vamtatt mundi et fuga saeculi*<sup>33</sup> с таким же успехом, как если бы перед глазами у него находился череп; – мог проводить время в каких угодно занятиях, едучи медленным шагом, с такой же пользой, как в своем кабинете; – мог пополнить лишним доводом свою проповедь – или лишней дырой свои штаны – так же уверенно в своем седле, как в своем кресле, – между тем как быстрая рысь и медленное подыскание логических доводов являются движениями столь же несовместимыми, как остроумие и рассудительность. – Но на своем коне – он мог соединить и примирить все, что угодно, – мог предаться сочинению проповеди, отдаться мирному пищеварению и, если того требовала природа, мог также поддаться дремоте. – Словом, разговаривая на эту тему, священник ссылался на какие угодно причины, только не на истинную, – истинную же причину он скрывал из деликатности, считая, что она делает ему честь.

Истина же заключалась в следующем: в молодые годы, приблизительно в то время, когда были приобретены роскошное седло и уздечка, священник имел обыкновение или тщеславную прихоть, или назовите это как угодно, – впадать в противоположную крайность. – В местности, где он жил, о нем шла слава, что он любил хороших лошадей, и у него в конюшне обыкновенно стоял готовый к седлу конь, лучше которого не сыскать было во всем приходе. Между тем ближайшая повитуха, как я вам сказал, жила в семи милях от той деревни, и притом в бездорожном месте, – таким образом, не проходило недели, чтобы нашего бедного священника не потревожили слезной просьбой одолжить лошадь; и так как он не был жестокосерд, а нужда в помощи каждый раз была более острая и положение родильницы более тяжелое, – то, как он ни любил своего коня, все-таки никогда не в силах был отказать в просьбе; в результате конь его обыкновенно возвращался или с ободранными ногами, или с костным шпатом, или с подседом; – или надорванный, или с запалом, – словом, рано или поздно от животного оставались только кожа да кости; – так что каждые девять или десять месяцев священнику приходилось сбывать с рук плохого коня – и заменять его хорошим.

Каких размеров мог достигнуть убыток при таком балансе *communibus annis*<sup>34</sup>, представляю определить специальному жюри из пострадавших при подобных же обстоятельствах; – но как бы он ни был велик, герой наш много лет нес его безропотно, пока, наконец, после многократного повторения несчастных случаев этого рода, не нашел нужным подвергнуть дело тщательному обсуждению; взвесив все и мысленно подсчитав, он нашел убыток не только несоизмеримым с прочими своими расходами, но и независимо от них крайне тяжелым, лишившим его всякой возможности творить другие добрые дела у себя в приходе. Кроме того, он пришел к выводу, что даже на половину проезженных таким образом денег можно было бы сделать в десять раз больше добра; – но еще гораздо важнее всех этих соображений, взятых вместе, было то, что теперь вся его благотворительность сосредоточена была в очень узкой области, притом в такой, где, по его мнению, в ней было меньше всего надобности, а именно: простиралась только на детопроизводящую и деторождающую часть его прихожан, так что ничего не оста-

---

<sup>33</sup> О суетности мира и быстротечности жизни (*лат.*).

<sup>34</sup> В течение года в среднем (*лат.*).

валось ни для бессильных, – ни для престарелых, – ни для множества безотрадных явлений, почти: ежечасно им наблюдаемых, в которых сочетались бедность, болезни и горести.

По этим соображениям решил он прекратить расходы на лошадь, но видел только два способа начисто от них отделаться, – а именно: или поставить себе непреложным законом никогда больше не давать своего коня, невзирая ни на какие просьбы, – или же махнуть рукой и согласиться ездить на жалкой кляче, в которую обратили последнего его коня, со всеми ее болезнями и немощами.

Так как он не полагался на свою стойкость в первом случае, – то с радостным сердцем избрал второй способ, и хотя отлично мог, как выше было сказано, дать ему лестное для себя объяснение, – однако именно по этой причине брезгал прибегать к нему, готовый лучше сносить презрение врагов и смех друзей, нежели испытывать мучительную неловкость, рассказывая историю, которая могла бы показаться самовосхвалением.

Одна эта черта характера внушает мне самое высокое представление о деликатности и благородстве чувств почтенного священнослужителя; я считаю, что ее можно поставить наравне с самыми благородными душевными качествами бесподобного ламанчского рыцаря, которого, кстати сказать, я от души люблю со всеми его безумствами, и чтобы его посетить, совершил бы гораздо более далекий путь, чем для встречи с величайшим героем древности.

Но не в этом мораль моей истории: рассказывая ее, я имел в виду изобразить поведение света во всем этом деле. – Ибо вы должны знать, что, покуда такое объяснение сделало бы священнику честь, ни одна живая душа до него не додумалась: – враги его, я полагаю, не желали, а друзья не могли. – Но стоило ему только принять участие в хлопотах о помощи повивальной бабке и заплатить пошлины за право заниматься практикой, – как вся тайна вышла наружу; все лошади, которых он потерял, да в придачу к ним еще две лошади, которых он никогда не терял, и также все обстоятельства их гибели теперь стали известны наперечет и отчетливо припоминались. – Слух об этом распространился, как греческий огонь. – «У священника приступ прежней гордости; он снова собирается кататься на хорошей лошади; а если это так, то ясно как день, что уже в первый год он десятикратно покроет все издержки по оплате патента; – каждый может теперь судить, с какими намерениями совершил он это доброе дело».

Каковы были его виды при совершении как этого, так и всех прочих дел его жизни – или, вернее, какого были об этом мнения другие люди – вот мысль, которая упорно держалась в его собственном мозгу и очень часто нарушала его покой, когда он нуждался в крепком сне.

Лет десять тому назад герою нашему посчастливилось избавиться от всяких тревог на этот счет, – как раз столько же времени прошло с тех пор, как он покинул свой приход, – а вместе с ним и этот свет, – и явился дать отчет судье, на решения которого у него не будет никаких причин жаловаться.

Но над делами некоторых людей тяготеет какой-то рок. Как ни старайся, а они всегда проходят сквозь известную среду, которая настолько их преломляет и искажает истинное их направление, – что при всем праве на признательность, которую заслуживает прямодушие, люди эти все-таки вынуждены жить и умереть, не получив ее.

Горестным примером этой истины был наш священник... Но чтобы узнать, каким образом это случилось – и извлечь для себя урок из полученного знания, вам обязательно надо прочитать две следующие главы, в которых содержится очерк его жизни и суждений, заключающий ясную мораль. – Когда с этим будет покончено, мы намерены продолжать рассказ о повивальной бабке, если ничто нас не остановит по пути.

## Глава XI

Йорик<sup>35</sup> было имя священника, и, что всего замечательнее, как явствует из очень старинной грамоты о его роде, написанной на крепком пергаменте и до сих пор прекрасно сохранившейся, имя это писалось точно так же в течение почти – я чуть было не сказал, девятисот лет, – но я не стану подрывать доверия к себе, сообщая столь невероятную, хотя и бесспорную истину, – и потому удовольствуюсь утверждением, – что оно писалось точно так же, без малейшего изменения или перестановки хотя бы одной буквы, с незапамятных времен; а я бы этого не решился сказать о половине лучших имен нашего королевства, которые с течением лет претерпевали обыкновенно столько же превратностей и перемен, как и их владельцы. – Происходило это от гордости или от стыда (означенных владельцев)? – По правде говоря, я думаю, что иногда от гордости, а иногда от стыда, смотря по тому, что ввело их в искушение. А в общем, это темное дело, и когда-нибудь оно так нас перемешает и перепутает, что никто не будет в состоянии встать и поклясться, что «человек, содежавший то-то и то-то, был его прадед».

От этого зла род Йорика с мудрой заботливостью надежно оградил себя благоговейным хранением означенной грамоты, которая далее сообщает нам, что род этот – датского происхождения и переселился в Англию еще в царствование датского короля Горвендилла, при дворе которого предок нашего мистера Йорика по прямой линии, по-видимому, занимал видную должность до самой своей смерти. Что это была за должность, грамота ничего не говорит; – она только прибавляет, что уже лет двести, как ее за полной ненадобностью упразднили не только при датском дворе, но и при всех других дворах христианского мира.

Мне часто приходило в голову, что речь здесь не может идти ни о чем ином, как о должности главного королевского шута, – и что Йорик из Гамлета, трагедии нашего Шекспира, многие из пьес которого, вы знаете, основаны на достоверных документальных данных, – несомненно является этим самым Йориком.

Мне некогда заглянуть в Датскую историю Саксона Грамматика, чтобы проверить правильность всего этого; – но если у вас есть досуг и вам нетрудно достать книгу, вы можете это сделать ничуть не хуже меня.

В моем распоряжении при поездке по Дании со старшим сыном мистера Нодди, которого я сопровождал в 1741 году в качестве гувернера, обскакав с ним с головокружительной быстротой большинство стран Европы (об этом своеобразном путешествии, совершенном совместно, дан будет занимательнейший рассказ на дальнейших страницах настоящего произведения), – в моем распоряжении, повторяю, было при этой поездке лишь столько времени, чтобы удостовериться в справедливости одного наблюдения, сделанного человеком, который долго прожил в той стране, – а именно, что «природа не была ни чрезмерно расточительна, ни чрезмерно скаредна, наделяя ее обитателей гениальными или выдающимися способностями; но, подобно благоразумной матери, выказала умеренную щедрость к ним всем и соблюла такое равенство при распределении своих даров, что в этом отношении, можно сказать, привела их к одному знаменателю; таким образом, вы редко встретите в этом королевстве человека выдающихся способностей; – но зато во всех сословиях найдете много доброго здравого смысла, которым никто не обделен», – что, по моему мнению, совершенно правильно.

---

<sup>35</sup> Йорик – недвусмысленно отсылает нас к «Гамлету» Шекспира, причем на нескольких уровнях. Во-первых, к сцене у выкопанной могилы, где Гамлет, рассматривая извлеченный череп, произносит ставшие крылатыми слова «Бедный Йорик». И во-вторых, описывая родословную Йорика, автор упоминает Горвендилла, героя средневековой истории Амлета, послужившей Шекспиру сюжетной основой «Гамлета».

У нас, вы знаете, дело обстоит совсем иначе; – все мы представляем противоположные крайности в этом отношении; – вы либо великий гений – либо, пятьдесят против одного, сэр, вы набитый дурак и болван; – не то чтобы совершенно отсутствовали промежуточные ступени, – нет, – мы все же не настолько беспорядочны; – однако две крайности – явление более обычное и чаще встречающееся на нашем неустроенном острове, где природа так своенравно и капризно распределяет свои дары и задатки; даже удача, посещая нас своими милостями, действует не более прихотливо, чем она.

Это единственное обстоятельство, когда-либо колебавшее мою уверенность относительно происхождения Йорика; в жилах этого человека, насколько я его помню и согласно всем сведениям о нем, какие мне удалось раздобыть, не было, по-видимому, ни капли датской крови; очень возможно, что за девятьсот лет вся она улетучилась: – не хочу теряться в праздных домыслах по этому поводу; ведь отчего бы это ни случилось, а факт был тот – что вместо холодной флегмы и правильного соотношения здравого смысла и причуд, которые вы ожидали бы найти у человека с таким происхождением, – он, напротив, отличался такой подвижностью и легковесностью, – казался таким чудачком во всех своих повадках, – столько в нем было жизни, прихотей и *gaite de coeur*<sup>36</sup>, что лишь самый благодатный климат мог бы все это породить и собрать вместе. Но при таком количестве парусов бедный Йорик не нес ни одной унции балласта; он был самым неопытным человеком в практических делах; в двадцать шесть лет у него было ровно столько же умения править рулем в житейском море, как у шаловливой тринадцатилетней девочки, не подозревающей ни о каких опасностях. Таким образом, в первое же плавание свежий ветер его воодушевления, как вы легко можете себе представить, гнал его по десяти раз в день на чей-нибудь чужой такелаж; а так как чаще всего на пути его оказывались люди степенные, люди, никуда не спешившие, то, разумеется, злой рок чаще всего сталкивал его именно с такими людьми. Насколько мне известно, в основе подобных *fracas*<sup>37</sup> лежало обыкновенно какое-нибудь злополучное проявление остроумия; – ибо, сказать правду, Йорик от природы чувствовал непреодолимое отвращение и неприязнь к строгости; – не к строгости как таковой; – когда надо было, он бывал самым строгим и самым серьезным из смертных по целым дням и неделям сряду; – но он терпеть не мог напускной строгости и вел с ней открытую войну, если она являлась только плащом для невежества или слабоумия; в таких случаях, попадись она на его пути под каким угодно прикрытием и покровительством, он почти никогда не давал ей спуска.

Иногда он говорил со свойственным ему безрассудством, что строгость – отъявленная пройдоха, прибавляя: – и преопасная к тому же, – так как она коварна; – по его глубокому убеждению, она в один год выманивает больше добра и денег у честных и благонамеренных людей, чем карманные и лавочные воры в семь лет. – Открытая душа весельчака, – говорил он, – не таит в себе никаких опасностей, – разве только для него самого; – между тем как самая сущность строгости есть задняя мысль и, следовательно, обман; – это старая уловка, при помощи которой люди стремятся создать впечатление, будто у них больше ума и знания, чем есть на самом деле; несмотря на все свои претензии, – она все же не лучше, а зачастую хуже того определения, которое давно уже дал ей один французский остроумец, – а именно: строгость – это уловка, изобретенная для тела, чтобы скрыть изъяны ума; – это определение строгости, – говорил весьма опрометчиво Йорик, – заслуживает начертания золотыми буквами.

Но, говоря по правде, он был человек неискушенный и неопытный в свете и с крайней неосторожностью и легкомыслием касался в разговоре также и других предметов, относительно которых доводы благоразумия предписывают соблюдать сдержанность. Но для Йорика единственным доводом было существо дела, о котором шла речь, и такие доводы он обыкновенно

---

<sup>36</sup> Своенравности (франц.).

<sup>37</sup> Сумятица (франц.).

венно переводил без всяких обиняков на простой английский язык, – весьма часто при этом мало считаясь с лицами, временем и местом; – таким образом, когда заговаривали о каком-нибудь некрасивом и неблагородном поступке, – он никогда ни секунды не задумывался над тем, кто герой этой истории, – какое он занимает положение, – или насколько он способен повредить ему впоследствии; – но если то был грязный поступок, – без околичностей говорил: – «такой-то и такой-то грязная личность», – и так далее. – И так как его замечания обыкновенно имели несчастье либо заканчиваться каким-нибудь *bon mot*<sup>38</sup>, либо приправляться каким-нибудь шутивным или забавным выражением, то опрометчивость Йори ка разносилась на них, как на крыльях. Словом, хотя он никогда не искал (но, понятно, и не избегал) случаев говорить то, что ему взбредет на ум, и притом без всякой церемонии, – в жизни ему представлялось совсем не мало искушений расточать свое остроумие и свой юмор, – свои насмешки и свои шутки. – Они не погибли, так как было кому их подбирать.

Что отсюда последовало и какая катастрофа постигла Йорика, вы прочтете в следующей главе.

## Глава XII

Закладчик и займодавец меньше отличаются друг от друга вместительностью своих кошельков, нежели насмешник и осмеянный вместительностью своей памяти. Но вот в чем сравнение между ними, как говорят схолиасты, идет на всех четырех (что, кстати сказать, на одну или две ноги больше, чем могут похвастать некоторые из лучших сравнений Гомера): – один добывает за ваш счет деньги, другой возбуждает на ваш счет смех, и оба об этом больше не думают. Между тем проценты в обоих случаях идут и идут; – периодические или случайные выплаты их лишь освежают память о содеянном, пока наконец, в недобрый час, вдруг является к тому и другому займодавец и своим требованием немедленно вернуть капитал вместе со всеми наросшими до этого дня процентами дает почувствовать обоим всю широту их обязательств.

Так как (я ненавижу ваши *если*) читатель обладает основательным знанием человеческой природы, то мне незачем распространяться о том, что мой герой, оставаясь неисправимым, не мог не слышать время от времени подобных напоминаний. Сказать по правде, он легкомысленно запутался во множестве мелких долгов этого рода, на которые, вопреки многократным предостережениям Евгения, не обращал никакого внимания, считая, что, поскольку делал он их не только без всякого злого умысла, но, напротив, от чистого сердца и по душевной простоте, из желания весело посмеяться, – все они со временем преданы будут забвению.

Евгений никогда с этим не соглашался и часто говорил своему другу, что рано или поздно ему непременно придется за все расплатиться, и притом, часто прибавлял он с горестным опасением, до последней полушки. На это Йорик со свойственной ему беспечностью обыкновенно отвечал: – ба! – И если разговор происходил где-нибудь в открытом поле, – прыгал, скакал, плясал, и тем дело кончалось; но если они беседовали в тесном уголке у камина, где преступник был наглухо забаррикадирован двумя креслами и столом и не мог так легко улизнуть, – Евгений продолжал читать ему нотацию об осмотрительности приблизительно в таких словах, только немного более складно:

«Поверь мне, дорогой Йорик, эта беспечная шутивность рано или поздно вовлечет тебя в такие затруднения и неприятности, что никакое запоздалое благоразумие тебе потом не поможет. – Эти выходки, видишь, очень часто приводят к тому, что человек осмеянный считает себя человеком оскорбленным, со всеми правами, из такого положения для него вытекающими; представь себе его в этом свете, да пересчитай его приятелей, его домочадцев, его родственни-

---

<sup>38</sup> Остротой (*франц.*).

ков, – и прибавь сюда толпу людей, которые соберутся вокруг него из чувства общей опасности; – так вовсе не будет преувеличением сказать, что на каждые десять шуток – ты приобрел сотню врагов; но тебе этого мало: пока ты не переполошишь рой ос и они тебя не пережалят до полусмерти, ты, очевидно, не успокоишься.

«Я ни капли не сомневаюсь, что в этих шутках уважаемого мной человека не заключено ни капли желчи или злонамеренности, – я считаю, знаю, что они идут от чистого сердца и сказаны были только для смеха. – Но ты пойми, дорогой мой, что глупцы не видят этого различия, – а негодяи не хотят закрывать на него глаза, и ты не представляешь, что значит рассердить одних или поднять на смех других: – стоит им только объединиться для совместной защиты, и они поведут против тебя такую войну, дружище, что тебе станет тошнехонько и ты жизни не рад будешь.

«Мечь пустит из отравленного угла позорящий тебя слух, которого не опровергнут ни чистота сердца, ни самое безупречное поведение. – Благополучие дома твоего пошатнется, – твое доброе имя, на котором оно основано, истечет кровью от тысячи ран, – твоя вера будет подвергнута сомнению, твои дела обречены на поругание, – твое остроумие будет забыто, – твоя ученость втоптана в грязь. А для финала этой твоей трагедии Жестокость и Трусость, два разбойника-близнеца, нанятых Злобой и подосланных к тебе в темноте, сообща накинутся на все твои слабости и промахи. – Лучшие из нас, милый мой, против этого беззащитны, – и поверь мне, – поверь мне, Йорик, когда в угоду личной мести приносится в жертву невинное и беспомощное существо, то в любой чаще, где оно заблудилось, нетрудно набрать хворосту, чтобы развести костер и сжечь его на нем».

Когда Йорик слушал это мрачное пророчество о грозящей ему участи, глаза его обыкновенно увлажнялись и во взгляде появлялось обещание, что отныне он будет ездить на своей лошадке осмотрительнее. – Но, увы, слишком поздно! – Еще до первого дружеского предостережения против него составилась большой заговор во главе с \*\*\* и с \*\*\*\*. – Атака, совсем так, как предсказывал Евгений, была предпринята внезапно и при этом с такой беспощадностью со стороны объединившихся врагов – и так неожиданно для Йорика, вовсе и не подозревавшего о том, какие козни против него замышляются, – что в ту самую минуту, когда этот славный, беспечный человек рассчитывал на повышение по службе, – враги подрубили его под корень, и он пал, как это много раз уже случалось до него с самыми достойными людьми.

Все же некоторое время Йорик сражался самым доблестным образом, но наконец, сломленный численным перевесом и обессиленный тяготами борьбы, а еще более – предательским способом ее ведения, – бросил оружие, и хотя с виду он не терял бодрости до самого конца, все-таки, по общему мнению, умер, убитый горем.

Евгений также склонялся к этому мнению, и по следующей причине: За несколько часов перед тем, как Йорик испустил последний вздох, Евгений вошел к нему с намерением в последний раз взглянуть на него и сказать ему последнее прости. Когда он отдернул полог и спросил Йорика, как он себя чувствует, тот посмотрел ему в лицо, взял его за руку – и, поблагодарив его за многие знаки дружеских чувств, за которые, по словам Йорика, он снова и снова будет его благодарить, – если им суждено будет встретиться на том свете, – сказал, что через несколько часов он навсегда ускользнет от своих врагов... – Надеюсь, что этого не случится, – отвечал Евгений, заливаясь слезами и самым нежным голосом, каким когда-нибудь говорил человек, – надеюсь, что не случится, Йорик, – сказал он. – Йорик возразил взглядом, устремленным кверху, и слабым пожатием руки Евгения, и это было все, – но Евгений был поражен в самое сердце. – Полно, полно, Йорик, – проговорил Евгений, утирая глаза и пытаясь ободриться, – будь покоен, дорогой друг, – пусть мужество и сила не оставляют тебя в эту тяжелую минуту, когда ты больше всего в них нуждаешься; – кто знает, какие средства есть еще в запасе и чего не в силах сделать для тебя всемогущество божие!.. – Йорик положил руку на сердце и тихонько покачал головой. А что касается меня, – продолжал Евгений, горько заплакав при

этих словах, – то, клянусь, я не знаю, Йорик, как перенесу разлуку с тобой, – и я льщу себя надеждой, – продолжал Евгений повеселевшим голосом, – что из тебя еще выйдет епископ – что я увижу это собственными глазами. – Прошу тебя, Евгений, – проговорил Йорик, кое-как снимая ночной колпак левой рукой, – правая его рука была еще крепко зажата в руке Евгения, – прошу тебя, взгляни на мою голову... – Я не вижу на ней ничего особенного, – отвечал Евгений. – Так позволь сообщить тебе, мой друг, – промолвил Йорик, – что она, увы! Настолько помята и изуродована ударами, которые \*\*\*, \*\*\*\* и некоторые другие обрушили на меня в темноте, что я могу сказать вместе с Санчо Пансой: «Если бы даже я поправился и на меня градом посыпались с неба митры, ни одна из них не пришлась бы мне впору». – Последний вздох готов был сорваться с дрожащих губ Йорика, когда он произносил эти слова, – а все-таки в тоне, каким они были произнесены, заключалось нечто сервантесовское: и когда он их говорил, Евгений мог заметить мерцающий огонек, на мгновение загоревшийся в его глазах, – бледное отражение тех былых вспышек веселья, от которых (как сказал Шекспир о его предке) всякий раз хохотал весь стол!

Евгений вынес из этого убеждение, что друг его умирает, убитый горем: – он пожал ему руку – и тихонько вышел из комнаты, весь в слезах. Йорик проводил Евгения глазами до двери, – потом их закрыл – и больше уже не открывал.

Он покоится у себя на погосте, в приходе, под гладкой мраморной плитой, которую друг его Евгений, с разрешения душеприказчиков, водрузил на его могиле, сделав на ней надпись всего из трех слов, служащих ему вместе и эпитафией и элегией:

**УВЫ, БЕДНЫЙ ЙОРИК!**

Десять раз в день дух Йорика получает утешение, слыша, как читают эту надгробную надпись на множество различных жалобных ладов, свидетельствующих о всеобщем сострадании и уважении к нему: – тропинка пересекает погост у самого края его могилы, – и каждый, кто проходит мимо, невольно останавливается, бросает на нее взгляд – и вздыхает, продолжая свой путь:

Увы, бедный Йорик!

### **Вопросы и задания:**

1. Как можно соотнести известные вам традиционные способы начинать роман с тем, который использовал Л. Стерн?

2. Как можно описать рассказчика? Обратите при этом особое внимание на примененные в этих главах коммуникативные модели. Для ответа на этот вопрос используйте следующие параметры: между кем происходит общение, что является предметом сообщения (контентом), где источник информации, как рассказчик пытается убедить нас в достоверности излагаемой истории.

3. Укажите все прямые обращения нарратора к читателю, отмечая разнообразие использованных, именованных.

4. Найдите в тексте места в которых рассказчик сообщает / обещает сообщить о себе, о романе. Сравните то, что стало известно о герое, с тем, что рассказано о романе.

5. **К главе IX:** обратите ваше внимание на откровенный функциональный повтор этой части. Определите функцию этого эпизода. Сравните его с отрывком, выполняющим ту же функцию. Попытайтесь определить значение этого повтора для романа.

6. **К главам X – XII:** Рассказ о священнике интересен как образец изложения, содержание которого меняется не только последовательно (то есть по мере рассказывания), но и рекурсивно, меняя уж сложившееся впечатление. В связи с этим обратите внимание на назначение использованных литературных аллюзий. Автор отсылает нас среди прочих текстов к двум, которые мы можем считать центральными в интертекстуальном поле романа, «Дон Кихот»

Сервантеса и «Гамлет» Шекспира. Сюжеты каждого из этих произведений построены как палимпсесты, т. е. как тексты, написанные поверх другого текста, или множества текстов, как в случае «Дон Кихота». Обратите ваше внимание на игру смыслов, которая обеспечивается, во-первых, тем, что Йорик Стерна представлен как гибрид персонажей Сервантеса и Шекспира. И, во вторых, Стерн подчеркнул не всегда явное указание на источник истории Гамлета, в оригинале – Амлета.

Подсчитайте число задействованных в романе Стерна палимпсестных схем. Подумайте, можно ли считать кладбищенский эпизод из «Гамлета» (повторное использование могилы) метафорой палимпсеста?

## Сентиментальное путешествие по Франции и Италии

Перевод А. А. Франковского

### Предтекстовое задание:

Роман «Сентиментальное путешествие мистера Йорика по Франции и Италии» был опубликован в 1768 году. Таким образом, слава Стерна-писателя «странного», нарушающего принятые нормы, росла уже семь лет, постоянно подпитываясь. Читатели ждали десятую серию романа о Тристреме, которому уже исполнилось целых пять лет, а получили новый роман. Главный герой Йорик хорошо знаком по прошлому роману, а «сентиментальность» – едва ли не самое модное слово десятилетия – и постоянно на слуху. Попробуйте вообразить, какие именно черты, объединенные в комплекс «Сентиментализм», ожидали читатели встретить в романе.

– Во Франции, – сказал я, – это устроено лучше.

– А вы бывали во Франции? – спросил мой собеседник, быстро повернувшись ко мне с самым учтивым победоносным видом. – «Странно, – сказал я себе, размышляя на эту тему, – что двадцать одна миля пути на корабле, – ведь от Дувра до Кале никак не дальше, – способна дать человеку такие права. – Надо будет самому удостовериться». – Вот почему, прекратив спор, я отправился прямо домой, уложил полдюжины рубашек и пару черных шелковых штанов. – Кафтан, – сказал я, взглянув на рукав, – и этот сойдет, – взял место в дуврской почтовой карете, и, так как пакетбот отошел на следующий день в девять утра, – в три часа я уже сидел за обеденным столом перед фрикасе из цыпленка, столь неоспоримо во Франции, что, умри я в эту ночь от расстройства желудка, весь мир не мог бы приостановить действие *Droits d'aubaine*; [В силу этого закона, конфискуются все вещи умерших во Франции иностранцев (за исключением швейцарцев и шотландцев), даже если при этом присутствовал наследник. Так как доход от этих случайных поступлений отдан на откуп, то изъятий ни для кого не делается. – Л. Стерн.] мои рубашки и черные шелковые штаны – чемодан и все прочее – достались бы французскому королю, – даже миниатюрный портрет, который я так давно ношу и хотел бы, как я часто говорил тебе, Элиза, унести с собой в могилу, даже его сорвали бы с моей шеи. – Сутяга! Завладеть останками опрометчивого путешественника, которого заманили к себе на берег ваши подданные, – ей-богу, ваше величество, нехорошо так поступать! В особенности неприятно мне было бы тягаться с государем столь просвещенного и учтивого народа, столь прославленного своей рассудительностью и тонкими чувствами – Но едва я вступил в ваши владения –



## 1. Кале

Пообедав и выпив за здоровье французского короля, чтобы убедить себя, что я не питаю к нему никакой неприязни, а, напротив, высоко чту его за человеколюбие, – я почувствовал себя выросшим на целый дюйм благодаря этому примирению.

– Нет, – сказал я, – Бурбоны совсем не жестоки; они могут заблуждаться, подобно другим людям, но в их крови есть нечто кроткое. – Признав это, я почувствовал на щеках более нежный румянец – более горячий и располагающий к дружбе, чем тот, что могло вызвать бургундское (по крайней мере, то, которое я выпил, заплатив два ливра за бутылку).

– Праведный боже, – сказал я, отшвырнув ногой свой чемодан, – что же таится в мирских благах, если они так озлобляют наши души и постоянно ссорят насмерть столько добросердечных братьев-людей?

Когда человек живет со всеми в мире, насколько тогда тяжелейший из металлов легче перышка в его руке! Он достает кошелек и, держа его беспечно и небрежно, озирается кругом, точно отыскивая, с кем бы им поделиться. – Поступая так, я чувствовал, что в теле моем расширяется каждый сосуд – все артерии бьются в радостном согласии, а жизнедеятельная сила выполняет свою работу с таким малым трением, что это смутило бы самую сведущую в физике *precieuse*<sup>39</sup> во Франции: при всем своем материализме она едва ли назвала бы меня машиной –

– Я уверен, – сказал я себе, – что опроверг бы ее убеждения.

Появление этой мысли тотчас же вознесло естество мое на предельную для него высоту – если я только что примирился с внешним миром, то теперь пришел к согласию с самим собой –

– Будь я французским королем, – воскликнул я, – какая подходящая минута для сироты попросить у меня чемодан своего отца!

## 2. Монах. Кале

Едва произнес я эти слова, как ко мне в комнату вошел бедный монах ордена святого Франциска с просьбой пожертвовать на его монастырь. Никому из нас не хочется обращать свои добродетели в игрушку случая – щедры ли мы, как другие бывают могущественны, – *sed non quo ad hanc*<sup>40</sup> – или как бы там ни было, – ведь нет точно установленных правил приливов или отливов в нашем расположении духа; почему я знаю, может быть, они зависят от тех же причин, что влияют на морские приливы и отливы, – для нас часто не было бы ничего зазорного, если бы дело обстояло таким образом; по крайней мере, что касается меня самого, то во многих случаях мне было бы гораздо приятнее, если бы обо мне говорили, будто «я действовал под влиянием луны, в чем нет ни греха, ни срама», чем если бы поступки мои почитались исключительно моим собственным делом, когда в них заключено столько и срама и греха.

– Но как бы там ни было, взглянув на монаха, я твердо решил не давать ему ни одного су; поэтому я опустил кошелек в карман – застегнул карман – приосанился и с важным видом подошел к монаху; боюсь, было что-то отталкивающее в моем взгляде: до сих пор образ этого человека стоит у меня перед глазами, в нем, я думаю, было нечто, заслуживавшее лучшего обращения.

Судя по остаткам его тонзуры, – от нее уцелело лишь несколько редких седых волос на висках, – монаху было лет семьдесят, – но по глазам, по горевшему в них огню, который приглушался, скорее, учтивостью, чем годами, ему нельзя было дать больше шестидесяти. – Истина, надо думать, лежала посредине. – Ему, вероятно, было шестьдесят пять; с этим согла-

---

<sup>39</sup> Жеманница (*франц.*).

<sup>40</sup> Но не в применении к данному случаю (*лат.*).

совался и общий вид его лица, хотя, по-видимому, что-то положило на него преждевременные морщины.

Передо мной была одна из тех голов, какие часто можно увидеть на картинах Гвидо, – нежная, бледная – проникновенная, чуждая плоских мыслей откормленного самодовольного невежества, которое смотрит сверху вниз на землю, – она смотрела вперед, но так, точно взор ее был устремлен на нечто потустороннее. Каким образом досталась она монаху его ордена, ведает только небо, уронившее ее на монашеские плечи; но она подошла бы какому-нибудь брамину, и, попадись она мне на равнинах Индостана, я бы почтительно ей поклонился.

Прочее в его облике можно передать несколькими штрихами, и работа эта была бы под силу любому рисовальщику, потому что все сколько-нибудь изящное или грубое обязано было здесь исключительно характеру и выражению: то была худошавая, тщедушная фигура, ростом немного повыше среднего, если только особенность эта не скрадывалась легким наклоном вперед – но то была поза просителя; как она стоит теперь в моем воображении, фигура монаха больше выигрывала от этого, чем теряла.

Сделав три шага, вошедший ко мне монах остановился и, положив левую руку на грудь (в правой был у него тоненький белый посох, с которым он путешествовал), – представился, когда я к нему подошел, вкратце рассказав о нуждах своего монастыря и о бедности ордена, – причем сделал он это с такой безыскусственной грацией, – и столько приниженности было в его взоре и во всем его облике – видно, я был зачарован, если все это на меня не подействовало –

Правильнее сказать, я заранее твердо решил не давать ему ни одного су.

### 3. Монах. Кале

Совершенно верно, – сказал я в ответ на брошенный кверху взгляд, которым он закончил свою речь, – совершенно верно, – и да поможет небо тем, у кого нет иной помощи, кроме мирского милосердия, запас которого, боюсь, слишком скуден, чтобы удовлетворить все те многочисленные громадные требования, которые ему ежечасно предъявляются.

Когда я произнес слова громадные требования, монах бросил беглый взгляд на рукав своего подрясника – я почувствовал всю силу этой апелляции. – Согласен, – сказал я, – грубая одежда, да и та одна на три года, вместе с постной пищей – не бог весть что; и поистине достойно сожаления, что эти вещи, которые легко заработать в миру небольшим трудом, орден ваш хочет урвать из средств, являющихся собственностью хромых, слепых, престарелых и немощных – узник, простертый на земле и считающий снова и снова дни своих бедствий, тоже мечтает получить оттуда свою долю; все-таки, если бы вы принадлежали к ордену братьев милосердия, а не к ордену святого Франциска, то при всей моей бедности, – продолжал я, показывая на свой чемодан, – я с радостью, открыл бы его перед вами для выкупа какого-нибудь несчастного. – Монах поклонился мне. – Но из всех несчастных, – заключил я, – прежде всего имеют право на помощь, конечно, несчастные нашей собственной страны, а я оставил в беде тысячи людей на родном берегу. – Монах участливо кивнул головой, как бы говоря: без сомнения, горя довольно в каждом уголке земли так же, как и в нашем монастыре. – Но мы различаем, – сказал я, кладя ему руку на рукав в ответ на его немое оправдание, – мы различаем, добрый мой отец, тех, кто хочет есть только хлеб, заработанный своим трудом, от тех, кто ест хлеб других людей, не имея в жизни иных целей, как только просуществовать в лености и невежестве ради Христа.

Бедный францисканец ничего не ответил; щеки его на мгновение покрыл лихорадочный румянец, но удержаться на них не мог. – Природа в нем, видно, утратила способность к негодованию; он его не выказал, – но, выронив свой посох, безропотно прижал к груди обе руки и удалился.

#### **4. Монах. Кале**

Сердце мое упало, как только монах затворил за собою дверь. – Вздор! – с беззаботным видом проговорил я три раза подряд, – но это не подействовало: каждый произнесенный мною нелюбезный слог настойчиво возвращался в мое сознание. – Я понял, что имею право разве только отказать бедному францисканцу и что для обманувшегося в своих расчетах человека такого наказания достаточно и без добавления нелюбезных речей. – Я представил себе его седые волосы – его почтительная фигура как будто вновь вошла в мою комнату и кротко спросила: чем он меня оскорбил? – и почему я так обошелся с ним? – Я дал бы двадцать ливров адвокату. – Я вел себя очень дурно, – сказал я про себя, – но я ведь только начал свое путешествие и по дороге успею научиться лучшему обхождению.

#### **5. Дезоближан. Кале**

Когда человек недоволен собой, в этом есть, по крайней мере, та выгода, что его душевное состояние отлично подходит для заключения торговой сделки. А так как во Франции и в Италии нельзя путешествовать без коляски – и так как природа обыкновенно направляет нас как раз к той вещи, к которой мы больше всего приспособлены, то я вышел на каретный двор купить или нанять что-нибудь подходящее для моей цели. Мне с первого же взгляда пришелся по вкусу один старый дезоближан (Коляска, называемая так во Франции потому, что в ней может поместиться только один человек) в дальнем углу двора, так что я сразу же сел в него и, найдя его достаточно гармонирующим с моими чувствами, велел слуге позвать мосье Дессена, хозяина гостиницы; – но мосье Дессен ушел к вечерне, и так как мне вовсе не хотелось встречаться с францисканцем, которого я увидел на противоположном конце двора разговаривающим с только что приехавшей в гостиницу дамой, – я задернул разделявшую нас тафтяную занавеску и, задумав описать мое путешествие, достал перо и чернила и написал к нему предисловие в дезоближане.

#### **6. Предисловие в Дезоближане**

Вероятно, не одним философом-перипатетиком замечено было, что природа верховной своей властью ставит нашему недовольству известные границы и преграды; она этого достигает самым тихим и спокойным образом, исключив для нас почти всякую возможность наслаждаться нашими радостями и переносить наши страдания на чужбине. Только дома помещает она нас в благоприятную обстановку, где нам есть с кем делить наше счастье и на кого перекладывать часть того бремени, которое везде и во все времена было слишком тяжелым для одной пары плеч. Правда, мы наделены несовершенной способностью простирать иногда наше счастье за поставленные ею границы; но вследствие незнания языков, недостатка связей и знакомств, а также благодаря различному воспитанию и различию обычаев и привычек, мы обыкновенно встречаем столько помех, желая поделиться нашими чувствами за пределами нашего круга, что часто желание наше оказывается вовсе неосуществимым.

Отсюда неизбежно следует, что баланс обмена чувствами всегда будет не в пользу попавшего на чужбину искателя приключений: ему приходится покупать то, в чем он мало нуждается, по цене, которую с него запрашивают, – разговор его редко принимается в обмен на тамошний без большой скидки – обстоятельство, кстати сказать, вечно побуждающее его обращаться к услугам более дешевых маклеров, чтобы завязать разговор, который он может вести, так что не требуется большой проницательности, чтобы догадаться, каково его общество –

Это приводит меня к существу моей темы, и здесь естественно будет (если только кача- нье дезоближана позволит мне продолжать) вникнуть как в действующие, так и в конечные причины путешествий.

Если праздные люди почему-либо покидают свою родину и отправляются за границу, то это объясняется одной из следующих общих причин:

Немощами тела,  
Слабостью ума или  
Непреложной необходимостью.

Первые два подразделения охватывают всех путешественников по суше и по морю, сне- даемых гордостью, тщеславием или сплином, с дальнейшими подразделениями и сочетаниями *in infrinitum*<sup>41</sup>).

Третье подразделение включает целую армию скитальцев-мучеников; в первую оче- редь тех путешественников, которые отправляются в дорогу с церковным напутствием или в качестве преступников, путешествующих под руководством надзирателей, рекомендованных судьей, – или в качестве молодых джентльменов, сосланных жестокостью родителей или опеку- нов и путешествующих под руководством надзирателей, рекомендованных Оксфордом, Эбер- дином и Глазго.

Существует еще четвертый разряд, но столь малочисленный, что не заслуживал бы обособления, если бы в задуманном мной труде не надо было соблюдать величайшую точность и тщательность во избежание путаницы. Люди, о которых я говорю, это те, что переплывают моря и по разным соображениям и под различными предлогами остаются в чужих землях с целью сбережения денег; но так как они могли бы также уберечь себя и других от множества ненужных хлопот, сберегая свои деньги дома, и так как мотивы их путешествия наименее сложны по сравнению с мотивами других видов эмигрантов, то я буду отличать этих господ, называя их – Простодушными путешественниками.

Таким образом, весь круг путешественников можно свести к следующим главам:

Праздные путешественники,  
Пытливые путешественники,  
Лгущие путешественники,  
Гордые путешественники,  
Тщеславные путешественники,  
Желчные путешественники. Затем следуют:  
Путешественники поневоле,  
Путешественник правонарушитель и преступник,  
Несчастный и невинный путешественник,

Простодушный путешественник и на последнем месте (с вашего позволения) Чувстви- тельный путешественник (под ним я разумею самого себя), предпринявший путешествие (за описанием которого я теперь сию) поневоле и вследствие *besoin de voyager*<sup>42</sup>, как и любой экземпляр этого подразделения.

При всем том, поскольку и путешествия и наблюдения мои будут совсем иного типа, чем у всех моих предшественников, я прекрасно знаю, что мог бы настаивать на отдельном уголке для меня одного, но я вторгся бы во владения тщеславного путешественника, если бы пожелал привлечь к себе внимание, не имея для того лучших оснований, чем простая новизна моей повозки.

---

<sup>41</sup> До бесконечности (*лат.*).

<sup>42</sup> Потребности путешествовать (*франц.*).

Если читатель мой путешествовал, то, прилежно поразмыслив над сказанным, он и сам может определить свое место и положение в приведенном списке – это будет для него шагом к самопознанию: ведь по всей вероятности, он и посейчас сохраняет некоторый привкус и подобие того, чем он напился на чужбине и оттуда вывез.

Человек, впервые пересадивший бургундскую лозу на мыс Доброй Надежды (заметьте, что он был голландец), никогда не помышлял, что он будет пить на Капской земле такое же вино, какое эта самая лоза производила на горах Франции, – он был слишком флегматичен для этого; но он, несомненно, рассчитывал пить некую винную жидкость; а хорошую ли, плохую или посредственную, – он был достаточно опытен, чтобы понимать, что это от него не зависит, но успех его решен будет тем, что обычно зовется случаем; все-таки он надеялся на лучшее, и в этих надеждах, чрезмерно положившись на силу своих мозгов и глубину своего суждения, *Mynheer*<sup>43</sup>, по всей вероятности, своротил в своем новом винограднике то и другое и, явив свое убожество, стал посмешищем для своих близких.

Это самое случается с бедным путешественником, пускающимся под парусами и на почтовых в наиболее цивилизованные королевства земного шара в погоне за знаниями и опытностью.

Знания и опытность можно, конечно, приобрести, пустившись за ними под парусами и на почтовых, но полезные ли знания и действительную ли опытность, все это дело случая, – и даже когда искатель приключений удачлив, приобретенный им капитал следует употреблять осмотрительно и с толком, если он хочет извлечь из него какую-нибудь пользу. – Но так как шансы на приобретение такого капитала и его полезное применение чрезвычайно ничтожны, то, я полагаю, мы поступим мудро, убедив себя, что можно прожить спокойно без чужеземных знаний и опытности, особенно если мы живем в стране, где нет ни малейшего недостатка ни в том, ни в другом. – В самом деле, очень и очень часто с сердечным сокрушением наблюдал я, сколько грязных дорог приходится истоптать пытливому путешественнику, чтобы полюбоваться зрелищами и посмотреть на открытия, которые все можно было бы увидеть, как говорил Санчо Панса Дон Кихоту, у себя дома, не замочив сапог. Мы живем в столь просвещенном веке, что едва ли в Европе найдется страна или уголок, лучи которых не перекрещивались и не смешивались бы друг с другом. – Знание, в большинстве своих отраслей и в большинстве жизненных положений, подобно музыке на итальянских улицах, которую можно слушать, не платя за это ни гроша. – Между тем нет страны под небом – и свидетель бог (перед судом которого я должен буду однажды предстать и держать ответ за эту книгу), что я говорю это без хвастовства, – нет страны под небом, которая изобиловала бы более разнообразной ученостью, – где заботливее ухаживали бы за науками и где лучше было бы обеспечено овладение ими, чем наша Англия, – где так поощряется и вскоре достигнет высокого развития искусство, – где так мало можно положиться на природу (взятую в целом) – и где, в довершение всего, больше остроумия и разнообразия характеров, способных дать пищу уму. – Так куда же вы направляетесь, дорогие соотечественники?

– Мы хотим только осмотреть эту коляску, – отвечали они. – Ваш покорнейший слуга, – сказал я, выскакивая из дезоближана и снимая шляпу. – Мы недоумевали, – сказал один из них, в котором я признал пытливого путешественника, – что может быть причиной ее движения. – Возбуждение, – отвечал я холодно, – вызванное писанием предисловия. – Никогда не слышал, – сказал другой, очевидно простодушный путешественник, – чтобы предисловие писали в дезоближане. – Оно вышло бы лучше, – отвечал я, – в визави.

– Но так как англичанин путешествует не для того, чтобы видеть англичан, я отправился в свою комнату.

---

<sup>43</sup> Господин (голл.).

## 7. Кале

Я заметил, что кроме меня еще что-то затемняет коридор, по которому я шел; действительно, то был мосье Дессен, хозяин гостиницы, только что вернувшийся от вечерни и чрезвычайно учтиво следовавший за мной со шляпой под мышкой, чтобы напомнить мне о необходимых покупках. Я дописался в дезоближане до того, что он мне порядком опротивел; когда же мосье Десен заговорил о нем, пожав плечами, как о предмете совершенно для меня неподходящем, то у меня тотчас мелькнула мысль, что он, видно, принадлежит какому-нибудь невинному путешественнику, который по возвращении домой оставил его на попечение мосье Дессена, чтобы тот повыгоднее его сбыл. Четыре месяца прошло с тех пор, как он кончил свои скитания по Европе в углу каретного двора мосье Дессена; с самого начала он выехал оттуда, лишь наспех поправленный, и хотя дважды разваливался на Мон-Сени, мало выиграл от своих приключений, – а всего меньше от многомесячного стоянья без призора в углу каретного двора мосье Дессена. Действительно, нельзя было много сказать в его пользу – но кое-что все-таки можно было; когда же довольно нескольких слов, чтобы выручить несчастного из беды, я ненавижу человека, который на них покусится.

– Будь я хозяином этой гостиницы, – сказал я, прикоснувшись концом указательного пальца к груди мосье Дессена, – я непременно поставил бы себе делом чести избавиться от этого несчастного дезоближана – он стоит перед вами колыхающимся, упреком каждый раз, когда вы проходите мимо –

– *Mon Dieu!*<sup>44</sup> – отвечал мосье Дессен, – для меня это не представляет никакого интереса. – Кроме интереса, – сказал я, – который люди известного душевного склада, мосье Дессен, проявляют к собственным чувствам. Я убежден, что если вы принимаете невзгоды других так же близко к сердцу, как собственные, каждая дождливая ночь, – скрывайте, как вам угодно, – должна действовать угнетающе на ваше расположение духа. – Вы страдаете, мосье Дессен, не меньше, чем эта машина –

Я постоянно замечал, что когда в комплименте кислоты столько же, сколько сладости, то англичанин всегда затрудняется, принять его или пропустить мимо ушей; француз же – никогда; мосье Дессен поклонился мне.

– *C'est bien vrai!*<sup>45</sup>, – сказал он. – Но в таком случае я только променял бы одно беспокойство на другое, и притом с убытком. Представьте, себе, милостивый государь, что я дал бы вам экипаж, который рассыплется на куски, прежде чем вы сделаете половину пути до Парижа, представьте себе, как бы я мучился, оставив о себе дурное впечатление у почтенного человека и отдавшись на милость, как мне пришлось бы, *d'un homme d'esprit*<sup>46</sup>.

Доза была отпущена в точности по моему рецепту, так что мне ничего не оставалось, как принять ее, – я вернул мосье Дессену поклон, и, оставив казуистику, мы вместе направились к его сараю осмотреть стоявшие там экипажи.

## 8. На улице Кале

Как сильно мир должен быть проникнут духом вражды, если покупатель (хотя бы жалкой почтовой кареты), стоит ему только выйти с продавцом на улицу для окончательного сговора с ним, мгновенно приходит в такое состояние и смотрит на своего контрагента такими глазами, как если бы он направлялся с ним в укромный уголок Гайдпарка драться на дуэли. Что касается меня, то, плохо владея шпагой и никоим образом не будучи в силах состязаться с мосье

---

<sup>44</sup> Боже мой! (*франц.*).

<sup>45</sup> Совершенно верно (*франц.*).

<sup>46</sup> Человека остроумного (*франц.*).

Дессеном, я почувствовал, что все в голове моей завертелось, как это всегда случается в таких положениях. – Я пронизывал мосье Дессена взглядом, снова и снова – смотрел на него, идя с ним рядом, то в профиль, то *en face* – решил, что он похож на еврея, потом – на турка, возненавидел его парик – проклинал его на чем свет стоит – посылал его к черту – И все это загорелось в моем сердце из-за жалких трех или четырех луидоров, на которые он самое большее мог меня обчитать? – Низкое чувство! – сказал я, отворачиваясь, как это невольно делает человек при внезапной смене душевных движений, – низкое, грубое чувство! Рука твоя занесена на каждого, и рука каждого занесена на тебя. – Избави боже! – сказала она, поднимая руку ко лбу, потому что, повернувшись, я оказался лицом к лицу с дамой, которую видел занятой разговором с монахом, – она незаметно шла за нами следом. – Конечно, избави боже! – сказал я, предложив ей руку, – дама была в черных шелковых перчатках, открывавших только большой, указательный и средний пальцы, так что она без колебания приняла мою руку, – и повел ее к дверям сарая. Мосье Дессен больше пятидесяти раз чертыхнулся, возясь с ключом, прежде чем заметил, что ключ не тот; мы с не меньшим нетерпением ждали, когда он откроет, и так внимательно наблюдали за его движениями, что я почти бессознательно продолжал держать руку своей спутницы; таким образом, когда мосье Дессен оставил нас, сказав, что вернется через пять минут, рука ее покоилась в моей, а лица наши обращены были к дверям сарая.

Пятиминутный разговор в подобном положении стоит пятивекового разговора, при котором лица собеседников обращены к улице: ведь в последнем случае он питается внешними предметами и происшествиям и – когда же глаза ваши устремлены на пустое место, вы черпаете единственно из самого себя. Один миг молчания по уходе мосье Дессена был бы роковым в подобном положении: моя дама непременно повернулась бы – поэтому я начал разговор немедленно –

– Но каковы были мои искушения (ведь я пишу не для оправдания слабостей моего сердца во время этой поездки, а для того, чтобы дать в них отчет), – это следует описать с такой же простотой, с какой я их почувствовал.

## 9. Двери сарая. Кале

Я сказал читателю, что не пожелал выйти из дезоближана, так как увидел монаха, тихонько разговаривавшего с только что прибывшей в гостиницу дамой, – я сказал читателю правду; но я не сказал ему всей правды, ибо в такой же степени удержали меня внешность и осанка дамы, с которой разговаривал монах. В мозгу моем мелькнуло подозрение, не рассказывает ли он ей о случившемся; что-то как бы резнуло меня внутри – я бы предпочел, чтобы он оставался у себя в монастыре.

Когда сердце опережает рассудок, оно избавляет его от множества трудов – я уверен был, что дама принадлежит к существам высшего порядка, – однако я больше о ней не думал, а продолжал заниматься своим делом и написал предисловие.

При встрече с ней на улице первоначальное впечатление возобновилось; скромность и прямодушие, с которыми она подала мне руку, свидетельствуют, подумал я, о ее хорошем воспитании и здравомыслии; а идя с ней об руку, я чувствовал в ней приятную податливость, которая наполнила покоем все мое существо –

– Благостный боже, как было бы отрадно обойти кругом света рука об руку с таким созданием!

Я еще не видел ее лица – это было несущественно; ведь портрет его мгновенно был набросан; и задолго до того, как мы подошли к дверям сарая, – Фантазия уже закончила всю голову, не нарадуясь тому, что она так хорошо подошла к ее богине, точно она достала ее со дна Тибра. – Но ты обольщенная и обольстительная девчонка; хоть ты и обманываешь нас по семи

раз на день своими картинами и образами, ты делаешь это с таким очаровательным искусством и так щедро уснащаешь свои картины ангелами света, что порывать с тобою стыдно.

Когда мы дошли до дверей сарая, дама отняла руку от лица и дала мне увидеть оригинал – то было лицо женщины лет двадцати шести, – чистое, прозрачно-смуглое – прелестное само по себе, без румян или пудры – оно не было безупречно красиво, но в нем заключалось нечто привлекавшее меня в моем тогдашнем состоянии сильнее, чем красота – оно было интересно; я вообразил себе на нем черты вдовства в тот его период, когда скорбь уже пошла на убыль, когда первые два пароксизма горя миновали и овдовевшая начинает тихо мириться со своей утратой, – но тысяча других бедствий могли провести такие же борозды; я пожелал узнать, что под ними кроется, и готов был спросить (если бы это позволил *bon ton* разговора, как в дни Ездры): «Что с тобой? Почему ты так опечалена? Чем озабочен твой ум?» – Словом, я почувствовал к ней расположение и решил тем или иным способом внести свою лепту учтивости – если не услужливости.

Таковы были мои искушения – и, очень склонный поддаться им, я был оставлен наедине с дамой, когда рука ее покоилась в моей, а лица наши придвинулись к дверям сарая ближе, чем было безусловно необходимо.

## 10. Двери сарая. Кале

– Право, прекрасная дама, – сказал я, чуточку приподнимая ее руку, – престранная это затея Фортуны: взять за руки двух совершенно незнакомых людей – разного пола и прибывших, может быть, с разных концов света – и в один миг поставить их в такое положение сердечной близости, которое вряд ли удалось бы создать для них самой Дружбе, хотя бы она его подготавливала целый месяц –

– И ваше замечание по этому поводу показывает, как сильно, мосье, она вас смутила своей проделкой –

Когда положение в точности соответствует нашим желаниям, ничто не бывает так некстати, как намек на создавшие его обстоятельства. – Вы благодарите Фортуну, – продолжала она, – и вы были правы – сердце это знало и осталось довольным; кто же, кроме английского философа, довел бы об этом до сведения мозга, чтобы тот отменил приговор сердца?

С этими словами она освободила свою руку, бросив на меня взгляд, в котором я увидел достаточно ясный комментарий к тексту.

Какую жалкую картину слабости моего сердца дам я, признавшись, что оно ощутило боль, которой не могли бы вызвать в нем более достойные поводы. – Я был глубоко огорчен тем, что лишился руки своей спутницы, и манера, какой она ее отняла, не проливая на мою рану ни вина, ни елей: никогда в жизни мне не было так тягостно сознание сделанной оплошности.

Однако истинно женское сердце недолго упивается торжеством, нанося такие поражения. Через несколько секунд она положила руку на обшлаг моего кафтана, чтобы закончить свой ответ; словом, бог знает как это вышло, но только рука ее снова очутилась в моей.

– Ей нечего было добавить.

Я сейчас же начал придумывать другую тему для разговора с моей дамой, заключив из смысла и морали происшедшего, что я ошибся относительно ее характера; но когда она повернулась ко мне лицом, дух, оживлявший ее ответ, отлетел – мускулы больше не были напряжены, и я заметил то беспомощное выражение скорби, которое с первого взгляда пробудило во мне участие к ней – о, как грустно видеть такую жизнерадостность во власти горя! – Я от души пожалел ее, и хотя это может показаться довольно смешным зачерствелому сердцу – я способен был, не краснея, заключить ее в свои объятия и приласкать тут же на улице.

Биение крови в моих пальцах, прижавшихся к ее руке, поведало ей, что происходит во мне; она потупила глаза – на несколько мгновений воцарилось молчание.



Должно быть, в этот промежуток я сделал слабую попытку крепче сжать ее руку – так я заключаю по легкому движению, которое я ощутил на своей ладони – не то чтобы она намеревалась отнять свою руку – но она словно подумала об этом – и я неминуемо лишился бы ее вторично, не подскажи мне скорее инстинкт, чем разум, крайнего средства в этом опасном положении – держать ее нетвердо и так, точно я сам каждое мгновение готов ее выпустить; словом, дама моя стояла не шевелясь, пока не вернулся с ключом мосье Дессен; тем временем я принялся обдумывать, как бы мне изгладить дурное впечатление, наверно оставленное в ее сердце происшествием с монахом, в случае если он рассказал ей о нем.

## 11. Табакерка. Кале

Добрый старенький монах был всего в шести шагах от нас, когда я вдруг вспомнил о нем; он к нам приближался не совсем по прямой линии, словно был не уверен, вправе ли он прервать нас или нет. – Однако, поравнявшись с нами, он остановился с самым радушным видом и поднес мне открытую роговую табакерку, которую держал в руке. – Отведайте из моей, – сказал я, доставая свою табакерку (она была у меня черепаховая) и кладя ее в руку монаха. – Табак отменный, – сказал он. – Так сделайте милость, – ответил я, – примите эту табакерку со всем ее содержимым и, когда будете брать из нее щепотку, вспоминайте иногда, что она поднесена была вам в знак примирения человеком, который когда-то грубо обошелся с вами, но зла к вам не питает.

Бедный монах покраснел как рак. – *Mon Dieu!* – сказал он, сжимая руки, – никогда вы не обращались со мной грубо. – По-моему, – сказала дама, – эта на него не похоже. – Теперь пришел мой черед покраснеть, а почему – предоставляю разобраться тем немногим, у кого есть к этому охота. – Простите, мадам, – возразил я, – я обошелся с ним крайне нелюбезно, не имея к тому никакого повода. – Не может быть, – сказала дама. – Боже мой! – воскликнул монах с горячностью, казалось, ему совсем несвойственной, – вина лежит всецело на мне; я был слишком навязчив со своим рвением. – Дама стала возражать, и я к ней присоединился, утверждая, что такой дисциплинированный ум никого не может оскорбить.

Я не знал, что спор способен оказать столь приятное и успокоительное действие на нервы, как я это испытал тогда. – Мы замолчали, не чувствуя и следа того нелепого возбуждения, которым вы бываете охвачены, когда в таких случаях по десяти минут глядите друг другу в лицо, не произнося ни слова. Во время этой паузы монах старательно тер свою роговую табакерку о рукав подрясника, и, как только на ней появился от трения легкий блеск, – он низко мне поклонился и сказал, что было бы поздно разбирать, слабость ли или доброта душевная вовлекли нас в этот спор, – но как бы там ни было – он просит меня обменяться табакерками. Говоря это, он одной рукой поднес мне свою, а другой взял у меня мою; поцеловав ее, он спрятал у себя на груди – из глаз его струились целые потоки признательности – и распрощался.

Я храню эту табакерку наравне с предметами культа моей религии, чтобы она способствовала возвышению моих помыслов; по правде сказать, без нее я редко отправляюсь куда-нибудь; много раз вызывал я с ее помощью образ ее прежнего владельца, чтобы внести мир в свою душу среди мирской суеты; как я узнал впоследствии, он был весь в ее власти лет до сорока пяти, когда, не получив должного вознаграждения за какие-то военные заслуги и испытав в то же время разочарование в нежнейшей из страстей, он бросил сразу и меч и прекрасный пол и нашел убежище не столько в монастыре своем, сколько в себе самом.

Грустно у меня на душе, ибо приходится добавить, что, когда я спросил о патере Лоренцо на обратном пути через Кале, мне ответили, что он умер месяца три тому назад и похоронен, по его желанию, не в монастыре, а на принадлежащем монастырю маленьком кладбище, в двух лье отсюда. Мне очень захотелось взглянуть, где его похоронили, – и вот, когда я вынул маленькую роговую табакерку, сидя на его могиле, и сорвал в головах у него два или три кустика крапивы,

которым там было не место, это так сильно подействовало на мои чувства, что я залился горячими слезами, – но я слаб, как женщина, и прошу моих читателей не улыбаться, а пожалеть меня.

## 12. Двери сарая. Кале

Все это время я ни на секунду не выпускал руки моей дамы; я держал ее так долго, что было бы неприлично выпустить ее, не прижав сперва к губам. Когда я это сделал, кровь и оживление, сбежавшие с ее лица, потоком хлынули к нему снова.

Случилось, что в эту критическую минуту проходили мимо два путешественника, заговорившие со мной в каретном дворе; увидев наше обращение друг с другом, они, естественно, забрали себе в голову, что мы, – по крайней мере, муж и жена; вот почему, когда они остановились, подойдя к дверям сарая, один из них, а именно пытливый путешественник, спросил нас, не отправляемся ли мы завтра утром в Париж. – Я сказал, что могу ответить утвердительно только за себя, а дама прибавила, что она едет в Амьен. – Мы вчера там обедали, – сказал простодушный путешественник. – Ваша дорога в Париж проходит прямо через этот город, – прибавил его спутник. Я собирался было рассыпаться в благодарностях за сообщение, что Амьен лежит на дороге в Париж, но, вытащив роговую табакерку бедного монаха с целью взять из нее щепотку табаку, – я спокойно поклонился им и пожелал благополучно доехать до Дувра. – и они нас покинули.

– А что будет плохого, – сказал я себе, – если я попрошу эту удрученную горем даму занять половину моей кареты? – Какие великие беды могут от этого произойти?

Все грязные страсти и гадкие наклонности естества моего всполошились, когда я высказал это предположение. – Тебе придется тогда взять третью лошадь, – сказала Скупость, – и за это карман твой поплатится на двадцать ливров. – Ты не знаешь, кто она, – сказала Осмотрительность, – и в какие передраги может вовлечь тебя твоя затея, – шепнула Трусость.

– Можешь быть уверен, Йорик, – сказала Благоразумие, – что пойдет слух, будто ты отправился в поездку с любовницей и с этой целью сговорился встретиться с ней в Кале.

– После этого, – громко закричало Лицемерие, – тебе невозможно будет показаться в свете, – или сделать церковную карьеру, – прибавила Низость, – и быть чем-нибудь побольше паршивого пребендаря.

– Но ведь этого требует вежливость, – сказал я, – и так как в поступках своих я обыкновенно руководюсь первым побуждением и редко прислушиваюсь к подобным наговорам, которые, насколько мне известно, способны только обратить сердце в камень, – то я мигом повернулся к даме –

– Но пока шла эта тяжба, она незаметно ускользнула и к тому времени, когда я принял решение, успела сделать по улице десять или двенадцать шагов; я поспешно бросился вдогонку, чтобы как-нибудь поискуснее сделать ей свое предложение; однако, заметив, что она идет, опершись щекой на ладонь и потупив в землю глаза – медленными, размеренными шагами человека, погруженного в раздумье, – я вдруг подумал, что и она обсуждает тот же вопрос. – Помогите ей, боже! – сказал я, – верно, у нее, как и у меня, есть какая-нибудь ханжа-тетка, свекровь или другая вздорная старуха, с которыми ей надо мысленно посоветоваться об этом деле. – Вот почему, не желая ей мешать и решив, что галантнее будет взять ее скромностью, а не натиском, я повернул назад и раза два прошелся перед дверями сарая, пока она продолжала свой путь, погруженная в размышления.

## 13. На улице. Кале

При первом же взгляде на даму решив в своем воображении, «что она существо высшего порядка», – и выставив затем вторую аксиому, столь же неоспоримую, как и первая, а именно,

что она – вдова, удрученная горем, – я дальше не пошел: – я и так достаточно твердо занимал положение, которое мне нравилось – так что, пробудь она бок о бок со мной до полуночи, я остался бы верен своим догадкам и продолжал рассматривать ее единственно под углом этого общего представления.

Но не отошла она еще от меня и двадцати шагов, как что-то во мне стало требовать более подробных сведений – навело на мысль о предстоящей разлуке – может быть, никогда больше не придется ее увидеть – сердцу хочется сбереечь, что можно; мне нужен был след, по которому желания мои могли бы найти путь к ней в случае, если бы мне не довелось больше с ней встретиться; словом, я желал узнать ее имя – ее фамилию – ее общественное положение; так как мне известно было, куда она едет, то захотелось узнать, откуда она приехала; но не было никакого способа подступиться к ней за всеми этими сведениями: деликатность воздвигала на пути сотню маленьких препятствий. Я строил множество различных планов. – Нечего было и думать о том, чтобы спросить ее прямо, – это было невозможно.

Бойкий французский офицерик, проходивший по улице приплясывая, показал мне, что это самое легкое дело на свете; действительно, проскользнув между нами как раз в ту минуту, когда дама возвращалась к дверям сарая, он сам мне представился и, не успев еще как следует отрекомендоваться, попросил меня сделать ему честь и представить его даме. – Я сам не был представлен, – тогда, повернувшись к ней, он сделал это самостоятельно, спросив ее, не из Парижа ли она приехала? – Нет; она едет по направлению к Парижу, – сказала дама. – *Vous n'etes pas de Londres?*<sup>47</sup> – Нет, не из Лондона, – отвечала она. – В таком случае мадам прибыла через Фландрию. *Apparemment vous etes Flamande?*<sup>48</sup> – спросил французский офицер. – Дама ответила утвердительно. – *Peut-etre de Lisle?*<sup>49</sup> – продолжал он. – Она сказала, что не из Лилля. – Так, может быть, из Арраса? – или из Камбре? – или из Гента? – или из Брюсселя? – Дама ответила, что она из Брюсселя.

Он имел честь, – сказал офицер, – находиться при бомбардировке этого города в последнюю войну. Брюссель прекрасно расположен *pour cela*<sup>50</sup> и полон знати, когда имперцы вытеснены из него французами (дама сделала легкий реверанс); рассказав ей об этом деле и о своем участии в нем, – он попросил о чести узнать ее имя – и откланялся.

– *Et Madame a son mari?*<sup>51</sup> – спросил он, оглянувшись, когда уже сделал два шага – и, не дожидаясь ответа, – понесся дальше своей танцующей походкой.

Даже если бы я семь лет обучался хорошим манерам, все равно я бы не способен был это проделать.

## 14. Сарай. Кале

Когда французский офицерик ушел, явился мосье Дессен с ключом от сарая в руке и тотчас впустил нас в свой склад повозок.

Первым предметом, бросившимся мне в глаза, когда мосье Дессен отворил двери, был другой старый ободранный дезоближан; но хотя он был точной копией того, что лишь час назад пришелся мне так по вкусу на каретном дворе, – теперь один его вид вызвал во мне неприятное ощущение; и я подумал, каким же скаредом был тот, кому впервые пришла в голову мысль соорудить такую штуку; не больше снисхождения оказал я человеку, у которого могла явиться мысль этой штукой воспользоваться.

---

<sup>47</sup> Вы не из Лондона? (франц.).

<sup>48</sup> Очевидно, вы фламандка? (франц.).

<sup>49</sup> Может быть, из Лилля? (франц.).

<sup>50</sup> Для этого (франц.).

<sup>51</sup> Мадам замужем? (франц.).

Я заметил, что дама была столь же мало прельщена дезоближаном, как и я; поэтому мосье Дессен подвел нас к двум стоявшим рядом каретам и, рекомендуя их нашему вниманию, сказал, что они куплены были лордами А. и Б. для *grand tour*<sup>52</sup> но дальше Парижа не побывали и, следовательно, во всех отношениях так же хороши, как и новые. – Они были слишком хороши, – почему я перешел к третьей карете, стояв шей позади, и сейчас же начал сговариваться о цене. – Но в ней едва ли поместятся двое, – сказал я, отворив дверцу и войдя в карету. – Будьте добры, мадам, – сказал мосье Дессен, предлагая руку, – войдите и вы. – Дама поколебалась с полсекунды и вошла; в это время слуга кивком подозвал мосье Дессена, и тот захлопнул за нами дверцу кареты и покинул нас.

## 15. Сарай. Кале

– *C'est bien comique*, это очень забавно, – сказала дама, улыбаясь при мысли, что уже второй раз мы остались наедине благодаря нелепому стечению случайностей. – *C'est bien comique*, – сказала она.

– Чтобы получилось совсем забавно, – сказал я, – не хватает только комичного употребления, которое сделала бы из этого французская галантность; сначала объясниться в любви, а затем предложить свою особу.

– В этом их сила, – возразила дама.

– Так, по крайней мере, принято думать, – а почему это случилось, – продолжал я, – не знаю, но, несомненно, французы стяжали славу людей, наиболее, понимающих в любви и наилучших волокит на свете; однако что касается меня, то я считаю их жалкими пачкунами и, право же, самыми дрянными стрелками, какие когда-либо испытывали терпение Купидона.

Надо же такое выдумать: объясняться в любви при помощи *sentiments!*<sup>53</sup>

– С таким же успехом я бы выдумал сшить изящный костюм из лоскутков. – Объясниться – хлоп – с первого же взгляда признанием – значит подвергнуть свое предложение и самих себя вместе с ним, со всеми *pours* и *contres*<sup>54</sup>, суду холодного разума.

Дама внимательно слушала, словно ожидая, что я скажу еще.

– Возьмите, далее, во внимание, мадам, – продолжал я, – кладя свою ладонь на ее руку – Что серьезные люди ненавидят Любовь из-за самого ее имени – Что люди себялюбивые ненавидят ее из уважения к самим себе –

Лицемеры – ради неба –

И что, поскольку все мы, и старые и молодые, в десять раз больше напуганы, чем задеты, самым звуком этого слова –

Какую неосведомленность в этой области человеческих отношений обнаруживает тот, кто дает слову сорваться со своих губ, когда не прошло еще, по крайней мере, часа или двух с тех пор, как его молчание об этом предмете стало мучительным. Ряд маленьких немых знаков внимания, не настолько подчеркнутых, чтобы вызвать тревогу, – но и не настолько неопределенных, чтобы быть неверно понятыми, – да время от времени нежный взгляд, брошенный без слов или почти без слов, – оставляет Природе права хозяйки, и она все обделает по своему вкусу.

– В таком случае, – сказала, зардевшись, дама, – я вам торжественно объявляю, что все это время вы объяснялись мне в любви.

<sup>52</sup> Большое путешествие (франц.).

<sup>53</sup> Чувств (франц.).

<sup>54</sup> «За» и «против» (франц.).

## 16. Сарай. Кале

Мосье Дессен, вернувшись, чтобы выпустить нас из кареты, сообщил даме о прибытии в гостиницу графа Л., ее брата. Несмотря на все свое расположение к спутнице, не могу сказать, чтобы в глубине сердца я этому событию обрадовался – я не выдержал и признался ей в этом: Ведь это гибельно, мадам, – сказал я, – для предложения, которое я собирался вам сделать. –

– Можете мне не говорить, что это было за предложение, – прервала она меня, кладя свою руку на обе мои. – Когда мужчина, милостивый государь мой, готовится сделать женщине любезное предложение, она обыкновенно заранее об этом догадывается. –

– Оружие это, – сказал я, – природа дала ей для самосохранения. – Но я думаю, – продолжала она, глядя мне в лицо, – мне нечего было опасаться – и, говоря откровенно, я решила принять ваше предложение. – Если бы я это сделала – (она минуточку помолчала), – то, думаю, ваши добрые чувства выманили бы у меня рассказ, после которого единственной опасной вещью в нашей поездке была бы жалость.

Говоря это, она позволила мне дважды поцеловать свою руку, после чего вышла из кареты с растроганным и опечаленным взглядом – и попрощалась со мной.

### Вопросы и задания:

1. Каждая эпоха находила свою характеристику творчества Лоренса Стерна. Кому могли больше импонировать отмеченные качества произведений Л. Стерна? Выберите самые привлекательные качества для (1) сентименталистов, (2) романтиков, (3) реалистов, (4) модернистов:

а) ирония и юмор;

б) он гораздо ближе писателям сегодняшнего дня, чем его великие современники – Ричардсон и Филдинг;

в) психологизм;

г) чувствительность героя.

2. Чем мог повлиять Лоренс Стерн на Льва Толстого?

3. В 15 главе обыгрывается слово Sentiments. Найдите значения, которые подразумевались в эпизоде. Сопоставьте эти значения с главной темой эпизода. Опишите настроение, который создает эпизод. Ожидаемо ли это настроение?

4. Найдите в тексте наименования национальностей. Каким из упоминавшихся народов приписываются свойства, чуждые британцам? Что это за качества? Могли ли читатели верить Йорику?

## Оливер Голдсмит (1728–1774)

### Предтекстовое задание:

Познакомьтесь с приведенными ниже отрывками из романа О. Голдсмита «Векфильдский священник» (1766), обратив особое внимание на роль предуведомления, фигуру героя-повествователя и причины крушения сельской идиллии, изображенной в первой главе произведения.

### Векфильдский священник. История его жизни, написанная, как полагают, им самим *Перевод Т. М. Литвиновой*

*Sperate, miseri; cavete, felices*<sup>55</sup>.

### Предуведомление

В предлагаемом труде тысяча недостатков, и вместе с тем можно привести тысячу доводов в пользу того, что недостатки эти являются его достоинствами. Впрочем, в этом нет надобности. Книга бывает занимательна, несмотря на бесчисленные ошибки, и скучна, хоть в ней не найдется ни единой несообразности. Герой этой повести совмещает в себе трех самых важных представителей человеческого рода: священника, земледельца и главу семьи. Он равно готов поучать и повиноваться; в благополучии прост, в несчастье величественен. Кому, впрочем, в наш век утонченности и процветания придется по душе такой герой? Те, кого привлекает великосветская жизнь, с презрением отвернутся от неприятельского круга, собравшегося у семейного очага; те, кто привык принимать непристойности за остроумие, не найдут его в простодушных речах селянина; тем, кто воспитан ни во что не ставить религию, будет смешон человек, черпающий главное свое утешение в мыслях о будущей жизни.

*Оливер Голдсмит*

### Глава I

*Описание векфильдской семьи, в которой фамильное сходство простирается не только на внешние, но и на нравственные черты*

Всю жизнь я придерживался того мнения, что честный человек, вступивший в брак и воспитавший многочисленное семейство, приносит в тысячу раз больше пользы, чем тот, кто, пожелав остаться холостым, только и знает, что болтать о благе человечества. По этой-то причине, едва миновал год после моего посвящения, как я начал подумывать о супружестве; и в выборе жены поступил точно так же, как поступила она, когда выбирала себе материю на подвенечный наряд: я искал добротности, не прельщаясь поверхностным лоском. И надо сказать, что жена мне досталась кроткая и домовитая. К тому же, не в пример другим нашим деревенским девицам, она оказалась на редкость ученой – любую книжку осилит, если в ней не попадутся чересчур уж длинные слова. Что же до варений, да солений, да всяческой стряпни, так тут уж никому за ней не угнаться! Кроме того, она хвалилась чрезвычайной своей береж-

---

<sup>55</sup> Надеемся, страждущие; трепещите, счастливыцы (лат.).

ливостью, хотя я не могу сказать, чтобы мы вследствие экономических ее ухищрений стали особенно богаты!

Как бы то ни было, мы нежно любили друг друга, и чувство наше крепло по мере того, как сами мы старились. Словом, мы не имели причин роптать ни на судьбу, ни друг на друга. Жили мы в прекрасном доме, посреди живописной природы, и общество, окружавшее нас, было самое приятное.

Мы гуляли по окрестностям или находили себе занятие дома, навещали богатых соседей, помогали бедным; ни о каких переменах не помышляли, тягостных забот не ведали, и все наши приключения совершались подле камина, а путешествия ограничивались переселением из летних спален в зимние, и из зимних – в летние.

Жилище наше стояло неподалеку от проезжей дороги, и к нам частенько навевывались путники и прохожие, которых мы непременно потчевали крыжовенной настойкой, ибо она составляла гордость дома; и должен сказать со всей беспристрастностью историка, что никто ни разу ее не хулил. Многочисленная родня, иногда такая дальняя, что мы даже не подозревали о ее существовании, помнила о своей кровной связи с нами, не справляясь с гербовником, и частенько нас навещала. Не всегда, однако, родство это придавало нам блеск, так как среди родственников попадалось немало увечных, слепых и хромых. Но жена моя полагала, что раз они одной с нами крови, то и место им за одним с нами столом. <...>

Так прожили мы несколько лет, наслаждаясь безмятежным счастьем. Разумеется, посещали нас иногда и невзгоды, но ведь провидение ниспосылает их нам лишь затем, чтобы мы могли еще сильнее оценить его милости. То школьники заберутся в мой фруктовый сад, то жена припасет сладкую подливку к пудингу, а кошки или дети возьмут да и полакомятся ею без спросу. Иной раз помещик заснет в самом трогательном месте моей проповеди, а то, глядишь, его супруга, повстречавшись в церкви с моей, ответит на ее любезное приветствие едва приметным поклоном. Но все эти мелкие неприятности тут же нами и забывались, и к концу третьего или четвертого дня мы уже сами обычно дивились своей досаде.

Наградою за умеренность, которой придерживались всю жизнь родители, было то, что дети наши появились на свет здоровыми, не изнеженные последующим воспитанием, такими же и выросли; сыновья – полные жизненных сил крепыши, дочери – цветущие красавицы. Всякий раз, что я окидывал взглядом всю эту маленькую компанию, которой суждено было со временем сделаться опорой моей старости, мне невольно приходил на ум всем известный анекдот о графе Абенсберге: когда Генрих II проходил через Германию, все вельможи встречали его дорогими подарками, граф же подвел к своему государю собственных детей, в количестве тридцати двух человек, говоря, что это самая большая его драгоценность. У меня их было, правда, всего только шестеро, но я тем не менее полагал, что принес отечеству чрезвычайно щедрый подарок, и в силу этого считал, что оно в долгу передо мной. Старшего нашего сына назвали Джорджем в память его дяди, оставившего нам десять тысяч фунтов. За ним шла девочка, которую я хотел назвать Гризельдой в честь ее тетки, но этому воспротивилась жена; она зачитывалась романами все то время, что была беременна, и настояла на том, чтобы дочь нарекли Оливией. Не прошло и года, как у нас родилась еще одна девочка. На этот раз я решительно был намерен назвать дочь Гризельдой; но тут одна из наших богатых родственниц пожелала крестить ее и выбрала ей имя Софья. И вот у нас в семье завелось два романтических имени, но, право же, я в этом ничуть не виноват. Следом за ними появился Мозес, а после перерыва в двенадцать лет у нас родилось еще два сына.

Тщетно стал бы я скрывать восторг, охватывавший меня при виде всей этой молодой поросли; но еще больше гордилась и радовалась, глядя на них, моя супруга. Бывало, какая-нибудь гостья скажет:

– Поверьте, миссис Примроз, таких хорошеньких деток, как ваши, во всей округе не сыщешь!

– Да что, милая, – ответит жена, – они таковы, какими их создало небо: коли добры, так и пригожи; по делам ведь надобно судить, а не по лицу.

И тут же велит дочерям поднять головки; а сказать по правде, девицы у нас были и в самом деле прехорошенькие! Ну, да наружность в моих глазах вещь столь незначительная, что, если бы кругом все не твердили о красоте моих дочерей, я бы о ней вряд ли и упомянул. Оливия, которой исполнилось восемнадцать лет, обладала всепокоряющей красотой Гебы, как ее обычно рисуют живописцы, – открытой, живой и величавой. Черты Софьи на первый взгляд казались менее разительны, но действие их было тем убийственнее, ибо в них таились нежность, скромность и полное соблазна очарование. Первая побеждала сразу, с одного удара, вторая – постепенно, путем повторных атак.

Душевные свойства женщины обычно определяются ее внешним обликом. Так, во всяком случае, было с моими дочерьми. Оливии хотелось иметь множество поклонников, Софью же одного, да верного. Оливия подчас жеманилась от чрезмерного желания нравиться, Софью же так страшила мысль обидеть кого-нибудь своим превосходством, что она иной раз даже пыталась скрывать свои достоинства. Первая забавляла меня своей резвостью, когда я бывал весел, вторая радовала благоразумием, когда я был настроен на серьезный лад. Ни в той, ни в другой, однако, качества эти не были развиты до крайности, и я часто замечал, что дочери мои как бы меняются друг с дружкой характерами на целый день. Так, стоило резвухке моей, например, облачиться в траур, как в чертах ее проступала строгая важность, и напротив – несколько ярких лент вдруг придавали манерам ее сестры несвойственную, казалось бы, им живость. Старший сын мой, Джордж, получил образование в Оксфорде, так как я предназначал его для одной из ученых профессий. Второй сын, Мозес, которого я прочил пустить по торговой части, обучался дома, всему понемножку.

Ну, да невозможно сказать что-либо определенное о характере молодого человека, который еще не видел света. Словом, фамильное сходство объединяло их всех, и, собственно, у всех у них характер был одинаковый – все были равно благородны, доверчивы, простодушны и незлобивы.

<...>

## Глава XXII

*Где крепко любят, там легко прощают*

Наутро я сел на лошадь и, усадив дочь позади себя, отправился с ней домой. В дороге я пытался разогнать ее печаль и страхи и помочь ей собраться с силами для предстоящей встречи с оскорбленной матерью. В великолепной картине, что являла нам окружающая природа, черпал я доказательства тому, насколько небо добрее к нам, нежели бываем мы по отношению друг к другу. И обратил ее внимание на то, что несчастья, проистекающие по вине природных стихий, весьма немногочисленны. Я уверял ее, что никогда не уловит она в моей любви к ней ни малейшей перемены и что покуда я жив – а умирать я еще не собирался, – она во мне всегда найдет друга и наставника. Я предупредил ее о возможном гонении, которому она подвергнется со стороны общества, и тут же напомнил, что книга – лучший друг израненной души, друг, от которого никогда не услышишь упрека и который, если и не в состоянии сделать нашу жизнь более радостной, то, по крайней мере, помогает сносить ее тяготы.

Нанятую мною лошадь я договорился оставить на постоялом дворе, в пяти милях от моего дома, и предложил Оливии переночевать там же, чтобы я мог приготовить домашних к ее возвращению, и рано поутру вместе с ее сестрой Софьей за нею приехать. Уже совсем смеркалось, когда мы прибыли на постоялый двор; тем не менее, позаботившись о том, чтобы Оливии отвели порядочную комнату, и заказав у хозяйки подходящий для нее ужин, я поцеловал дочь и зашагал к дому. Сладкий трепет охватил мое сердце, когда я стал приближаться к своему



мирному убежищу. Подобно птице, возвращающейся в родное гнездо, с которого ее спугнули, летели мои чувства, опережая бременное тело и в радостном предвкушении уже витали над смиренным моим очагом. Я повторял про себя все те ласковые слова, что скажу своим милым, и пытался представить себе восторг, с каким буду ими встречен. Я почти ощущал уже нежные объятия жены и улыбался радости малюток. Шел же я тем не менее довольно медленно, и ночь меня совсем уже настигла; селение спало; огни погасли; пронзительный крик петуха да глухой собачий лай в гулкой дали одни только и нарушили тишину.

Я уже подходил к нашей маленькой обители Счастья, и, когда до нее оставалось уже не больше двухсот шагов, верный наш пес выбежал мне навстречу.

Была уже почти полночь, когда я постучался в дверь своего дома; мир и тишина царили всюду – сердце мое наполнилось неизъяснимым счастьем, как вдруг, к моему изумлению, дом мой вспыхнул ярким пламенем, и багровый огонь забил изо всех щелей! С протяжным, судорожным воплем упал я без чувств на каменные плиты перед домом. Крик мой разбудил сына; увидев пламя, он тотчас поднял мать и сестру, и они выбежали на улицу, раздетые и обезумевшие от страха; стенаниями своими они возвратили меня к жизни. Новый ужас ждал меня, ибо пламя охватило кровлю, и она начала местами обваливаться; жена и дети, как зачарованные, в безмолвном отчаянии глядели на пламя. Я переводил взгляд с горящего дома на них и наконец стал озираться, ища малышей; но их нигде не было видно.

– О, горе мне! Где же, – вскричал я, – где мои малютки?

– Они сгорели в пламени пожара, – отвечала жена спокойным голосом, – и я умру вместе с ними.

В эту самую минуту я услышал крик моих сыночков, которых пожар только что пробудил.

– Где вы, детки мои, где вы? – кричал я, бросаясь в пламя и распахивая дверь комнатки, в которой они спали. – Где мои малютки?

– Мы здесь, милый батюшка, здесь! – отвечали они хором, меж тем как языки пламени уже лизали их кроватку. Я подхватил их на руки и поспешил выбраться с ними из огня; и тотчас кровля рухнула.

– Теперь бушуй, – вскричал я, подняв детей как можно выше, – бушуй себе, пламя, как тебе угодно, пожри все мое имущество! Вот они, тут – мне удалось спасти мои сокровища! Здесь, здесь, милая женушка, все наше богатство! Не вовсе от нас отвернулось счастье!

Тысячу раз перецеловали мы наших крошек, они же обвили нам шею своими ручонками и, казалось, разделяли наш восторг; их матушка то смеялась, то плакала.

Теперь я стоял уже спокойным свидетелем пожара и не сразу даже заметил, что рука моя до самого плеча обожжена ужаснейшим образом. Беспомощно взирал я, как сын мой пытался спасти часть скарба нашего и помешать огню перекинуться на амбар с зерном. Проснулись соседи и прибежали к нам на помощь; но, подобно нам, они могли лишь стоять бессильными свидетелями бедствия. Все мое добро, вплоть до ценных бумаг, которые я приберегал на приданое дочерям, сгорело дотла; уцелели лишь сундук с бумажным хламом, стоявший на кухне, да еще две-три пустяковые вещички, которые моему сыну удалось вытащить в самом начале пожара. Впрочем, соседи старались облегчить нашу участь кто как мог. Они притащили одежду и снабдили нас кухонной утварью, которую мы снесли в один из сараев, так что к утру у нас оказалось, хотя и убогое, но все же убежище. Честный мой сосед и все его семейство не отставали от прочих и тоже рьяно помогали нам устроиться на новом месте, пытаясь утешить меня всеми словами, какие в простодушной доброте приходили им на ум.

Когда мои домашние немного оправались от страха, они захотели узнать причину длительного моего отсутствия; описав им подробно мои приключения, я затем осторожно стал подводить разговор к возвращению нашей заблудшей овечки. Как ни убог был дом наш, я хотел, чтобы она была принята в нем с совершенным радушием, – только что постигшее нас бедствие, притупив и смилив присущую жене гордость, в большой мере облегчило мою задачу.

Боль в руке была так велика, что я не в состоянии был отправиться за бедной моей девочкой сам и послал вместо себя сына с дочерью, которые вскоре привели несчастную беглянку; у нее не доставало духу поднять глаза на мать несмотря на все мои увещевания, та не могла сразу полностью простить ее; ибо женщина всегда живет чувствует вину другой женщины, чем мужчина.

– Увы, сударыня, – воскликнула мать, – после великолепия, к которому вы привыкли, наша лачуга покажется вам слишком убогой! Дочь моя Софья и я не сумеем принять подобающим образом особу, которая привыкла вращаться в высшем свете. Да, мисс Ливви, нам с твоим бедным отцом много чего пришлось выстрадать; ну, да простит тебя небо!

С бледным лицом и дрожа всем телом, не в силах ни плакать, ни вымолвить слова в ответ, стояла моя бедняжка во время этой приветственной речи; но я не мог оставаться немым свидетелем ее муки, и поэтому, вложив в свой голос и манеру ту суровость, которая всякий раз вызывала беспрекословное повиновение, я сказал:

– Слушай, женщина, и запомни мои слова раз и навсегда: я привел бедную заблудшую скиталицу, и для того, чтобы она возвратилась на стезю долга, нужно, чтобы и мы возвратили ей свою любовь; для нас наступила пора суровых житейских испытаний, так не станем умножать свои невзгоды раздорами. Если мы будем жить друг с другом в ладу, если мир и согласие поселятся между нами, мы будем жить хорошо, ибо наш семейный круг достаточно обширен, и мы можем не обращать внимания на злоречие, находя нравственную опору друг в друге. Всем кающимся обещано небесное милосердие, будем же и мы следовать высокому примеру. Мы ведь знаем, что не столь угодны небу девяносто девять праведников, сколь один раскаявшийся грешник; и это справедливо: легче сотворить сотню добрых дел, чем остановиться тому, кто уже устремился вниз и почти уже обрек свою душу на гибель.

<...>

## Глава XXVIII

*В этой жизни счастье зависит не столько от добродетели, сколько от умения жить, земные блага и земные горести слишком ничтожны в глазах провидения, и оно не считает нужным заботиться о справедливом распределении их среди смертных*

<...>

Три дня я пребывал в тревоге, не зная, как-то будет там принято мое письмо; и все это время жена моя беспрестанно упрашивала меня сдаться на любых условиях – лишь бы вырваться отсюда; к тому же мне ежечасно доносили об ухудшении здоровья моей дочери. Наступил третий день, затем четвертый, а ответа все не было: да и как можно было рассчитывать, что моя жалоба будет встречена благосклонно: ведь я был для сэра Уильяма Торнхилла чужой, а тот, на кого я жаловался, – его любимый племянник. Так что и эта надежда вскоре исчезла вслед за прежними. Я, однако, все еще сохранял бодрость, хотя длительное заключение и спертый воздух тюрьмы начали видимым образом сказываться на моем здоровье, а ожог, полученный во время пожара, становится все болезненней. Зато подле меня сидели мои дети, по очереди читая мне вслух, или со слезами внимая наставлениям, которые я давал им, лежа на соломе.

Здоровье дочери таяло еще быстрее, чем мое, и все, что о ней рассказывали, подтверждая мои печальные предчувствия, увеличивало мою боль. На пятые сутки после того, как я отправил письмо сэру Уильяму Торнхиллу, меня напугали известием, что дочь моя лишилась речи. Вот когда и самому мне мое заключение показалось нестерпимым! Душа моя рвалась из плена, туда, к возлюбленной дочери моей, чтобы утешать ее и укреплять в ней дух, чтобы принять последнюю ее волю и указать ее душе дорогу в небесную обитель! Наконец пришли и

сказали: она умирает, а я не имел даже и того малого утешения – рыдать у ее изголовья. Через некоторое время мой тюремный товарищ пришел ко мне с последним отчетом. Он призывал меня быть мужественным: она умерла! На следующее утро он нашел подле меня лишь двух моих малюток теперь это было единственное мое общество; изо всех своих силенок пытались они меня утешить. Они умоляли разрешить им читать мне вслух и уговаривали не плакать, говоря, что большие не плачут.

<...>

– Несмотря на все несчастья, – воскликнул я, – мы должны быть благодарны; всё же один из нас избавлен от страданий, выпавших на долю нашей семьи! Да хранит его небо, и пусть мой мальчик будет и впредь счастлив, и да найдет в нем вдовица опору, а двое этих сироток – отца! Это все, что я могу оставить ему в наследство! Да оградит он их невинность от всех соблазнов, порождаемых нуждой, и да направит их по пути чести!

Не успел я произнести эти слова, как снизу, из общего помещения, раздался какой-то гул; вскоре он затих, и я услышал бряцанье цепей в коридоре, ведущем в мою камеру. Вошел тюремный надзиратель, поддерживая какого-то человека, перепачканного в крови, израненного и закованного в тяжелые цепи. С состраданием поглядел я на несчастного, который приближался ко мне, но каков же был мой ужас, когда я узнал в нем моего собственного сына!

– Джордж! Мой Джордж! Тебя ли вижу?! Ты ранен! И в кандалах! Таково-то твоё счастье? Так-то ты возвращаешься ко мне? О, почему сердце мое не разорвется сразу при виде такого зрелища? О, почему нейдет ко мне смерть?

– Где же ваша твердость, батюшка? – произнес мой сын недрогнувшим голосом. – Я заслужил наказание. Моя жизнь более не принадлежит мне: пусть они ее берут.

Несколько минут провел я молча, в борьбе с собой, и думал, что это усилие будет стоить мне жизни.

– О, мой мальчик, глядя на тебя, сердце мое разрывается! В ту самую минуту, что я полагал тебя счастливым и молился, чтобы и впредь тебя хранила судьба, вдруг так встретить тебя: раненого и в кандалах! Но блажен, кто умирает юным! Зачем только я, старик, глубокий старик, должен был дожить до такого дня! Дети мои один за другим валяются, как преждевременно скошенные колосья, а я, о горе мне, уцелел среди этого разрушения! Самые страшные проклятия да падут на голову убийцы моих детей! Пусть доживет он, подобно мне, до того дня...

– Погодите, сударь! – закричал мой сын. – Не заставляйте меня краснеть за вас! Как, сударь! Забывши свой преклонный возраст и священный сан, вы дерзаете призывать небесное правосудие и посылаете проклятия, которые тут же падут на вашу седую голову и погубят вас навеки! Нет, батюшка, одна должна быть у вас сейчас забота – подготовить меня к позорной смерти, которой вскоре меня предадут, вооружить меня надеждой и решимостью, дать мне силы испить всю горечь, что для меня уготована.

– О, ты не должен умереть, сын мой! Не мог ты заслужить такое страшное наказание. Мой Джордж не мог совершить преступления, за которое его предки отвернулись бы от него.

– Увы, батюшка, – отвечал мой сын, – боюсь, что за мое преступление нельзя ожидать пощады. Получив письмо от матушки, я тотчас примчался сюда, решив наказать того, кто надругался над нашей честью, и послал ему вызов, но он не явился на место поединка, а выслал четырех своих слуг, чтобы они схватили меня. Первого, который напал на меня, я ранил, и боюсь, что смертельно; его товарищи схватили меня и связали. Теперь этот трус намерен возбудить против меня дело; доказательства неоспоримы: ведь послал вызов я – следовательно, перед законом я – обидчик и как таковой не могу рассчитывать на снисхождение. Но послушайте, батюшка, я привык восхищаться вашей твердостью! Явите же ее теперь, дабы я мог почерпнуть в ней силы.

– Так, мой сын, ты ее увидишь. Да, я воспарил над этим миром и радостями его. С этой минуты я отрываю от сердца все, что привязывало его к земле, и начну готовить и тебя и себя к

вечной жизни. Так, сын мой, я укажу тебе путь, и моя душа будет руководить твоей, ибо скоро оба мы покинем этот мир. Так, я вижу, что здесь тебе не будет прощенья, и лишь взываю к тебе, чтобы ты искал его у того великого судии, перед коим вскоре предстанем мы оба. Подумаем, однако, и о других пусть все наши товарищи по тюрьме воспользуются моим напутствием. Добрый тюремщик, позволь им придти сюда и постоять здесь, я хочу с ними говорить!

Тут сделал я попытку встать с соломенной своей постели, но, не имея для того сил, мог лишь сесть, опираясь спиной о стену. Обитатели тюрьмы собрались вокруг меня, как я просил, ибо они научились ценить мои наставления; сын мой и жена встали по обеим сторонам и поддерживали меня; я окинул взглядом собравшихся и, убедившись, что пришли все, обратился к ним с проповедью.

## Глава XXIX

*Провидение равно справедливо к счастливым и к несчастным. Из самой природы человеческих страданий и радостей следует, что страждущие в земной юдоли будут вознаграждены в меру страданий своих на небесах*

– Друзья мои, дети мои, товарищи мои по страданию! Размышляя над тем, как распределяется добро и зло между жителями дольного мира, я убеждаюсь, что многое человеку дается для услаждения его, но еще более на муку. Если мы обыщем весь свет, мы и тогда не найдем человека, который был бы так счастлив, что ни о чем бы уже не мечтал; вместе с тем каждодневно слышим мы о тысячах самоубийц, которые поступком своим говорят нам, что все их надежды рухнули. Итак, в этой жизни, оказывается, полного блаженства не бывает и совершенным может быть одно лишь горе.

Почему человеку дано испытывать столько муки? Почему всеобщее блаженство в основе своей полагает человеческое страдание? Почему, если во всякой другой системе совершенствование происходит благодаря тому, что совершенствуются подчиненные части, почему же в совершеннейшей из всех систем столь несовершенны части, ее составляющие? На все эти вопросы ответа нет и быть не может, а если бы даже и был, то оказался бы бесполезным для нас. Провидение почитает за лучшее сокрыть конечную свою цель от любопытных взоров, нам же указывает путь к утешению.

<...>

Итак, друзья мои, вы видите, что религия дает нам то, чего не может дать философия: она показывает, что небо и счастливым и несчастным воздает по справедливости, поровну распределяет радости среди людей. Богатым и бедным равно сулит она блаженство в загробной жизни, и тем и другим подает надежду, но если богатым дано преимущество наслаждаться счастьем на земле, то бедным дарована бесконечная радость сравнивать былые страдания с вечным блаженством; и если преимущество это даже и покажется малым, то все же, будучи вечным, самой длительностью действия своего оно может равняться с временным, пусть и более явственно ощутимым счастьем великих мира сего.

Таковы утешения, которые даруются несчастным и которые возвышают их над остальным человечеством; во всем же прочем они унижены перед своими братьями. Кто хочет познать страдания бедных, должен сам испытать их жизнь на себе и многое претерпеть. Разглагольствовать же о земных преимуществах бедных – это повторять заведомую и никому не нужную ложь. Те, у кого есть самое необходимое, не могут почитаться бедными, а кто лишен самого необходимого – бесспорно несчастен. Да, да, друзья мои, конечно, мы с вами несчастные люди! Никакие потуги самого утонченного воображения не могут заглушить муки голода, придать ароматную свежесть тяжкому воздуху сырой темницы, смягчить страдания разбитого сердца. Пусть философ, покоясь на своем мягком ложе, уверяет нас, что мы можем противостоять

всему этому. Увы! Усилие, с которым мы пытаемся превозмочь наши страдания, и есть величайшее страдание из всех. Смерть – пустяки, и всякий в состоянии перенести ее, но муки, муки ужасны, их не может выдержать никто.

Итак, друзья мои, для нас с вами надежда на небесное блаженство особенно драгоценна, ибо если бы мы рассчитывали на одни земные радости, то были бы воистину несчастными. Я кидая взор на эти мрачные стены, выстроенные не только для того, чтобы держать нас в неволе, но и для того, чтобы вселять ужас в наши сердца, на этот свет, служащий для того лишь, чтобы показать нам всю мерзость темницы, в которой мы томимся, на кандалы, которые одни из нас носят вследствие деспотического произвола, другие – как наказание за содеянное преступление; я оглядываю все эти изможденные лица, я слышу кругом себя стенания – о друзья мои, какое же счастье очутиться на небе после всего этого! Лететь сквозь сферы, чистые и прозрачные... нежиться в лучах вечного блаженства... петь бесконечные хвалебные гимны... не знать над собой начальника, который грозил бы нам и насмеялся над нами, и взирать лишь на воплощенное добро – когда подумаю обо всем этом, смерть начинает казаться мне гонцом, несущим благую весть, и, как на самый надежный посох, готов опереться я на самую острую стрелу в ее колчане! Есть ли что-нибудь в жизни, ради чего стоило бы жить? Монархи в дворцах своих и те должны бы страстно желать поскорее приобщиться к этим благам; как же нам, со смиренной нашей долей, не тосковать по ним всеми силами своей души?

И все это в самом деле будет наше? Будет, будет, стоит лишь нам захотеть! И какое же счастье, что мы лишены многих соблазнов, которые замедлили бы наше продвижение к желанной цели! Только восхотите – и все ваше! И к тому же очень скоро, ибо, если оглянуться на прожитую жизнь, она покажется нам чрезвычайно короткой, а остаток ее еще меньше, нежели мы можем вообразить; по мере того как мы старимся, дни наши словно укорачиваются, и чем глубже знакомство наше со временем, тем стремительней представляется нам его течение! Утешимся же, друзья, ибо близок конец нашего странствия; скоро, скоро сложим мы с себя тяжкое бремя, которое небо на нас возложило! И хотя смерть, этот единственный друг несчастных, иной раз напрасно манит усталого путника, то являясь перед ним, то исчезая и, подобно горизонту, продолжая вечно маячить перед его взором, – все же настанет время и ждать уже недолго, когда мы отдохнем от страды нашей, когда великие мира сего, утопая в роскоши, не станут более топтать нас ногами; когда, купаясь в блаженстве, будем вспоминать о своих земных терзаниях; когда окружены будем всеми друзьями своими, или, во всяком случае, теми из них, кто достоин нашей дружбы; когда блаженство наше будет неизъяснимо и, в довершение всего, бесконечно.

### **Вопросы и задания:**

1. Поясните роль предуведомления к роману Голдсмита.
2. Дайте развернутую характеристику героя-повествователя и других персонажей романа.
3. Как Голдсмит объясняет причины крушения семейной идиллии священника Примроза и его домочадцев?
4. Прокомментируйте роль тюремной проповеди героя.
5. Прочтите поэму Голдсмита «Покинутая деревня» (1770) в вольном переложении В. А. Жуковского.

\* \* \*

## Опустевшая деревня *Перевод В. А. Жуковского*

О родина моя, Обурн благословенный!  
Страна, где селянин, трудами утомленный,  
Свой тягостный удел обильем услаждал,  
Где ранний луч весны приятнее блистал,  
Где лето медлило разлукою с полями!  
Дубравы тихие с тенистыми главами!  
О сени счастья, друзья весны моей, –  
Ужель не возвращу блаженства оных дней,  
Волшебных, райских дней, когда, судьбой забвенный,  
Я миром почитал сей край уединенный!  
О сладостный Обурн! как здесь я счастлив был!  
Какие прелести во всем я находил!  
Как все казалось мне всегда во цвете новом!  
Рыбачья хижина с соломенным покровом,  
Крылатых мельниц ряд, в кустарнике ручей;  
Густой, согбенный дуб с дерновою скамьей,  
Любимый старцами, любовникам знакомый;  
И церковь на холме, и скромны сельски дома –  
Все мой пленяло взор, все дух питало мой!  
Когда ж, в досужный час, шумящею толпой  
Все жители села под древний вяз стекались –  
Какие тьмы утех очам моим являлись!  
Веселый хоровод, звучащая свирель,  
Сраженья, спорный бег, стрельба в далеку цель,  
Проворства чудеса и силы испытанье,  
Всеобщий крик и плеск победы в воздаянье,  
Отважные скачки, искусство плясунов,  
Свобода, резвость, смех, хор песней, гул рогов,  
Красавиц робкий вид и тайное волнение,  
Старушек бдительных угрюмость, подозренье,  
И шутки юношей над бедным пастухом,  
Который, весь в пыли, с уродливым лицом,  
Стоя в кругу, смешил своею простотою,  
И живость стариков за чашей круговою –  
Вот прежние твои утехи, мирный край!  
Но где они? Где вы, луга, цветущий рай?  
Где игры поселян, весельем оживленных?  
Где пышность и краса полей одушевленных?  
Где счастье? где любовь? Исчезло все – их нет!..  
О родина моя, о сладость прежних лет!  
О нивы, о поля, добычи запустенья!  
О виды скорбные развалин, разрушенья!  
В пустыню обращен природы пышный сад!  
На тучных пажитях не вижу резвых стад!

Унылость на холмах! В окрестности молчанье!  
Потока быстрый бег, прозрачность и сверканье  
Исчезли в густоте болотных диких трав!  
Ни тропки, ни следа под сеньми дубрав!  
Все тихо! все мертво! замолкли песней клики!  
Лишь цапли в пустыре пронзительные крики,  
Лишь чибиса в глуши печальный, редкий стон,  
Лишь тихий вдалеке звонков овечьих звон  
Повременно сие молчанье нарушают!  
Но где твои сыны, о край утех, блуждают?  
Увы! отчуждены от родины своей!  
Далеко странствуют! Их путь среди степей!  
Их бедственный удел – скитаться без покрова!..  
Погибель той стране конечная готова,  
Где золото множится и вянет цвет людей!  
Презренно счастье вельможей и князей!  
Их миг один творит и миг уничтожает!  
Но счастье поселян с веками возрастает;  
Разрушившись, оно разрушится навек!..  
Где дни, о Альбион, как сельский человек,  
Под сенью твоего могущества почтенный,  
Владелец нив своих, в трудах не угнетенный,  
Природы гордый сын, взлелеян простотой,  
Богатый здоровьем и чистою душой,  
Убожества не знал, не льстился благ стяжаньем  
И был стократ блажен сокровищей незнаньем?  
Дни счастья! Их нет! Короткою рукой  
Оратай отчужден от хижины родной!  
Где прежде нив моря, блистая, волновались,  
Где рощи и холмы стадами оглашались,  
Там ныне хищников владычество одно!  
Там все под горами богатств погребено!  
Там муками сует безумие страдает!  
Там роскошь посреди сокровищ издыхает!  
А вы, часы отрад, невинность, тихий сон!  
Желанья скромные! надежды без препон!  
Златое здравие, трудов благословенье!  
Беспечность! мир души! в заботах наслажденье! –  
Где вы, прелестные? Где ваш цветущий след?  
В какой далекий край направлен ваш полет?  
Ах! с вами сельских благ и доблестей не стало!..  
О родина моя, где счастье процветало!  
Прошли, навек прошли твои златые дни!  
Смотрю – лишь пустыри заглохшие одни,  
Лишь дичь безмолвную, лишь тундры обретаю!  
Лишь ветру, в боке свистящему, внимаю!  
Скитаюсь по полям – все пусто, все молчит!  
К минувшим ли часам душа моя летит?  
Ищу ли хижины рыбацкой под рекою

Иль дуба на холме с дерновою скамьею –  
Напрасно! Скрылось все! Пустыня предо мной!  
И воспоминание сменяется тоской!..  
Я в свете странник был, певец уединенный! –  
Влача участок бед, творцом мне уделенный,  
Я сладкою себя надеждой обольщал  
Там кончить мирно век, где жизни дар принял!  
В стране моих отцов, под сенью древ знакомых,  
Исторгшись из толпы заботами гнетомых,  
Свой тусклый пламенник от траты сохранить  
И дни отшествия покоем озлатить!  
О гордость!.. Я мечтал, в сих хижинах забвенных,  
Слыть чудом посреди оратаев смиренных;  
За чарой, у огня, в кругу их толковать  
О том, что в долгий век мог слышать и видеть!  
Так заяц, по полям станицей псов гонимый,  
Измученный бежит опять в лесок родимый!  
Так мнил я, переждав изгнанничества срок,  
Прийти, с остатком дней, в свой отчий уголок!  
О, дни преклонные в тени уединенья!  
Блажен, кто юных лет заботы и волненья  
Венчает в старости беспечной тишиной!..

**Вопросы и задания:**

1. Определите основную тему поэмы, ее лейтмотив.
2. Как поэт объясняет трагедию сельской Англии?
3. О каких процессах в истории страны идет речь в поэме Голдсмита?
4. В чем проявляются отступления автора от последовательного рационализма и оптимизма раннего Просвещения?
5. К какой художественной системе следует, на ваш взгляд, отнести творчество Голдсмита?



## Ричард Бринсли Шеридан (1751-1816)

### Предтекстовое задание:

Прочитайте фрагмент пролога к пьесе и отрывок из четвертого действия комедии «Школа злословия» (1777) – знаменитую «сцену с ширмой»; проанализируйте ее тематику, конфликт и художественные традиции, на которые опирается драматург.

### Школа злословия Комедия в пяти действиях Перевод М. Л. Лозинского

#### Пролог

#### Написан мистером Гарриком<sup>56</sup> (1)

Ужель наш юный бард так юн, что тшится  
От моря лжи плотиной оградиться?  
Иль он так мало знает грешный мир?  
С нечистой силой как вести турнир?  
Он биться с грозным чудищем идет:  
Срежь Сплетне голову – язык живет.  
Горд вашей благосклонностью былой,  
Наш юный Дон Кихот вновь вышел в бой;  
В угоду вам он обнажил перо  
И жаждет Гидре погрузить в нутро.  
Дабы снискать ваш плеск, он будет, полон пыла,  
Разить – то бишь писать, – пока в руке есть сила,  
И рад пролить для вас всю кровь – то бишь чернила.

#### Действие четвертое

#### Картина вторая

*В гостиной [Чарлза Сэрфеса]*

*Входят сэр Оливер Сэрфес и Мозес.*

Мозес. Ну что же, сэр, мне кажется, вы, как говорит сэр Питер, видели мистера Чарлза в полной славе. Жаль, что он такой ужасный мот.

Сэр Оливер Сэрфес. Да, но моего портрета он не продал.

Мозес. И такой любитель вина и женщин.

Сэр Оливер Сэрфес. Но моего портрета он не продал.

Мозес. И такой отчаянный игрок.

Сэр Оливер Сэрфес. Но моего портрета он не продал. А, вот и Раули!

---

<sup>56</sup> Гаррик, Дэвид (1717-1779) – великий английский актер и реформатор театра.

Входит Раули.

Раули. Оказывается, сэр Оливер, вы приобрели...

Сэр Оливер Сэрфес. Да-да, наш молодой повеса разделался со своими предками, как со старыми шпалерами.

Раули. Вот тут он мне поручил вернуть вам часть полученных денег, то есть вам, как бедствующему старику Стенли.

Мозес. Это всего обиднее: он чертовски сострадателен.

Раули. В передней дожидаются чулочник и двое портных, которым он, наверно, так и не заплатит, а эта сотня их бы устроила.

Сэр Оливер Сэрфес. Ничего, ничего, я заплачу его долги и возьму на себя его подарки. Но теперь я больше не маклер, и вы представите меня старшему брату как бедного Стенли.

Раули. Только не сейчас. Я знаю, что сэр Питер как раз собирался у него быть в это время.

### Картина третья

*В библиотеке Джозефа Сэрфеса.*

*Джозеф Сэрфес и слуга.*

Джозеф Сэрфес. От леди Тизл не было письма?

Слуга. Не было, сэр.

Джозеф Сэрфес. Я удивляюсь, что она не дала знать, если не может прийти. Сэр Питер, конечно, меня ни в чем не подозревает. Но хоть я и запутался с его женой, я бы ни в коем случае не хотел упустить богатую наследницу. Во всяком случае, безрассудство и скверная репутация Чарлза мне как нельзя больше на руку.

За сценой стучат.

Слуга. Сэр, это, должно быть, леди Тизл.

Джозеф Сэрфес. Постой. Прежде чем отворять, посмотри, она ли это. Если это мой брат, я тебе скажу, что делать.

Слуга. Сэр, это леди Тизл. Она всегда оставляет носилки возле модистки с соседней улицы.

Джозеф Сэрфес. Погоди, погоди. Заставь окно ширмой. Вот так, хорошо. Моя соседка напротив ужасно беспокойная старая девица.

*Слуга передвигает ширму и уходит.*

Для меня получается нелегкая игра. Леди Тизл начинает догадываться о моих видах на Марию. Но это во что бы то ни стало должно оставаться для нее секретом, по крайней мере до тех пор, пока я не получу над ней побольше власти.

*Входит леди Тизл.*

Леди Тизл. Что это за чувствительный монолог? Вы меня очень заждались? Ах, боже мой, не смотрите так строго! Уверяю вас, я не могла прийти раньше.

Джозеф Сэрфес. О сударыня, точность – это разновидность постоянства, качества, весьма предосудительного в светской женщине.

Леди Тизл. Честное слово, вам бы следовало меня пожалеть. Сэр Питер последнее время так плохо ко мне относится и притом так ревнует меня к Чарлзу... Только этого не хватало, правда?

Джозеф Сэрфес (*в сторону*). Я рад, что язычки моих друзей в этом его поддерживают.

Леди Тизл. Мне бы очень хотелось, чтобы он позволил Марии выйти за него замуж. Тогда он, может быть, успокоился бы. А вам этого хотелось бы, мистер Сэрфес?

Джозеф Сэрфес (*в сторону*). Вот уж несколько!.. О, разумеется! Потому что тогда моя дорогая леди Тизл тоже убедилась бы, как неосновательны ее подозрения, что я имею какие-то виды на эту глупую девочку.

Леди Тизл. Ну что же, я готова верить вам. Но разве не возмутительно, когда про человека рассказывают всякие безобразные вещи? А тут еще моя приятельница, леди Снiruэл, распустила про меня целый ворох сплетен, и при этом без малейшего основания – вот что меня злит.

Джозеф Сэрфес. Вот это-то, сударыня, и возмутительно: без малейшего основания! Да-да, вот это-то и обидно. Ведь если про нас ходит какой-нибудь скандальный слух, то всего утешительнее бывает сознание, что это справедливо.

Леди Тизл. Да, конечно, в таком случае я бы им простила. Но нападать на меня, которая действительно же так невинна и которая сама никогда никого не очернит, то есть никого из друзей... И потом сэр Питер с его вечным брюзжанием и подозрениями, когда я знаю чистоту моего сердца, все это просто чудовищно!

Джозеф Сэрфес. Но, дорогая моя леди Тизл, вы сами виноваты, что все это терпите. Если муж беспричинно подозревает свою жену и лишает ее доверия, то первоначальный их договор расторгнут, и она ради чести своего пола обязана его перехитрить.

Леди Тизл. Вот как? Так что если он меня подозревает, не имея к тому поводов, то наилучшим способом исцелить его от ревности было бы создать для нее основания?

Джозеф Сэрфес. Несомненно, потому что ваш муж никогда не должен в вас ошибаться, и в этом случае вам следует согрешить, чтобы оказать честь его проницательности.

Леди Тизл. Да, конечно, то, что вы говорите, очень разумно, и если бы сознание моей невинности...

Джозеф Сэрфес. Ах, дорогая моя леди Тизл, вот в этом-то и заключается главная ваша ошибка: вам больше всего и вредит сознание вашей невинности. Что заставляет вас пренебрегать условностями и мнением света? Сознание вашей невинности. Что мешает вам задумываться над вашим поведением и толкает вас на множество неосмотрительных поступков? Сознание вашей невинности. Что не позволяет вам мириться с выходками сэра Питера и быть равнодушной к его подозрительности? Сознание вашей невинности.

Леди Тизл. Да, это верно.

Джозеф Сэрфес. И вот, дорогая моя леди Тизл, если бы вы хоть раз самую чуточку оступились, вы не можете себе представить, до чего вы стали бы осторожны и как хорошо ладили бы с вашим мужем.

Леди Тизл. Вам кажется?

Джозеф Сэрфес. О, я уверен в этом! И сразу прекратились бы все сплетни, а сейчас ваше доброе имя похоже на полнокровную особу, которая просто погибает от избытка здоровья.

Леди Тизл. Так-так. Следовательно, по-вашему, я должна грешить из самозащиты и расстаться с добродетелью, чтобы спасти свое доброе имя?

Джозеф Сэрфес. Совершенно верно, сударыня, можете положиться на меня.

Леди Тизл. Это все-таки очень странная теория и совершенно новый рецепт против клеветы!

Джозеф Сэрфес. Рецепт непогрешимый, поверьте. Благоразумие, как и опытность, даром не дается.

Леди Тизл. Что ж, если бы я прониклась убеждением...

Джозеф Сэрфес. О, разумеется, сударыня, вы прежде всего должны проникнуться убеждением. Да-да! Я ни за что на свете не стану вас уговаривать совершить поступок, который вы считали бы дурным. Нет-нет, я слишком честен для этого!

Леди Тизл. Не кажется ли вам, что честность мы могли бы оставить в покое?

Джозеф Сэрфес. Ах, я вижу, вы все еще не избавились от злосчастных следствий вашего провинциального воспитания!

Леди Тизл. Должно быть, так. И я сознаюсь вам откровенно: если что-нибудь и могло бы толкнуть меня на дурной поступок, то уж скорее скверное обхождение сэра Питера, а не ваша «честная логика» все-таки.

Джозеф Сэрфес (*беря ее руку*). Клянусь этой рукой, которой он недостоин...

*Входит слуга.*

Что за черт, болван ты этакий! Чего тебе надо?

Слуга. Извините, сэр, но я думал, вам будет неприятно, если сэр Питер войдет без доклада.

Джозеф Сэрфес. Сэр Питер? У-у, дьявол!

Леди Тизл. Сэр Питер? О боже! Я погибла! Я погибла!

Слуга. Сэр, это не я его впустил.

Леди Тизл. О, это мой конец! Что со мной будет? Послушайте, господин Логик... Ах, он идет по лестнице... Я спрячусь сюда... Чтобы я когда-нибудь повторила такую неосторожность... (*Прячется за ширму.*)

Джозеф Сэрфес. Дай мне эту книгу. (*Садится.*)

*Слуга делает вид, что оправляет ему прическу.*

*Входит сэр Питер Тизл.*

Сэр Питер Тизл. Так-так, вечно погружен в занятия!.. Мистер Сэрфес, мистер Сэрфес!..

Джозеф Сэрфес. А, дорогой сэр Питер, простите меня, пожалуйста. (*Зевая, бросает книгу.*) Я тут вздремнул над глупой книжкой... Ах, я очень тронут вашим посещением. Мне кажется, вы тут еще не были с тех пор, как я обставил эту комнату. Книжки, вы знаете, единственная роскошь, которую я себе позволяю.

Сэр Питер Тизл. У вас тут действительно очень мило. Да-да, очень хорошо. И вы даже ширму превратили в источник знаний – всю увесили, я вижу, картами.

Джозеф Сэрфес. О да, эта ширма приносит мне большую пользу.

Сэр Питер Тизл. Еще бы, особенно когда вам нужно что-нибудь спешно отыскать.

Джозеф Сэрфес (*в сторону*). Да, или что-нибудь спешно спрятать.

Сэр Питер Тизл. Ау меня к вам, знаете, небольшое дело частного свойства...

Джозеф Сэрфес (*слуге*). Ты можешь идти.

Слуга. Слушаюсь, сэр. (*Уходит.*)

Джозеф Сэрфес. Вот вам кресло, сэр Питер, прошу вас...

Сэр Питер Тизл. Ну так вот, раз мы теперь одни, имеется один вопрос, дорогой мой друг, о котором я хотел бы поговорить с вами откровенно, вопрос чрезвычайно важный для моего спокойствия; короче говоря, дорогой мой друг, поведение леди Тизл за последнее время причиняет мне очень много горя.

Джозеф Сэрфес. В самом деле? Мне очень грустно слышать это.

Сэр Питер Тизл. Да, совершенно ясно, что ко мне она вполне равнодушна, но, что гораздо хуже, у меня есть очень веские основания предполагать, что она чувствует привязанность к другому.

Джозеф Сэрфес. В самом деле? Вы меня удивляете.

Сэр Питер Тизл. Да, и – между нами – мне кажется, я открыл, кто это такой.

Джозеф Сэрфес. Не может быть! Вы меня тревожите ужасно!

Сэр Питер Тизл. Ах, дорогой мой друг, я знал, что встречу у вас сочувствие.

Джозеф Сэрфес. О, поверьте, сэр Питер, такое открытие было бы для меня не меньшим ударом, чем для вас.

Сэр Питер Тизл. Я в этом убежден. Ах, какое счастье иметь друга, которому можно поверить даже семейные тайны! Но вы не догадываетесь, о ком я говорю?

Джозеф Сэрфес. Решительно не могу себе представить. Ведь это не может быть сэр Бенджамен Бэкбайт!

Сэр Питер Тизл. О нет! А что, если бы это был Чарлз?

Джозеф Сэрфес. Мой брат? Это невозможно!

Сэр Питер Тизл. Ах, дорогой мой друг, вас обманывает ваше доброе сердце! Вы судите о других по себе.

Джозеф Сэрфес. Конечно, сэр Питер, сердцу, уверенному в собственной честности, трудно понять чужое коварство.

Сэр Питер Тизл. Да, но ваш брат – человек безнравственный. От него таких слов не услышишь.

Джозеф Сэрфес. Но зато сама леди Тизл – женщина честнейших правил.

Сэр Питер Тизл. Верно, но какие правила устоят перед чарами красивого, любезного молодого человека?

Джозеф Сэрфес. Это, конечно, так.

Сэр Питер Тизл. И потом, знаете, при нашей разнице в годах маловероятно, чтобы она очень уж сильно меня любила, а если бы оказалось, что она мне изменяет, и я бы предал это огласке, то весь город стал бы надо мной же смеяться, над глупым старым холостяком, который женился на девчонке.

Джозеф Сэрфес. Это верно, конечно, – смеяться стали бы.

Сэр Питер Тизл. Смеяться, да, и сочинять про меня баллады, и писать статейки, и черт его знает что еще.

Джозеф Сэрфес. Нет, вам нельзя предавать это огласке.

Сэр Питер Тизл. А главное, понимаете, чтобы племянник моего старого друга, сэра Оливера, чтобы именно он мог покуситься на такое злодейство – вот что мне особенно больно.

Джозеф Сэрфес. В том-то и суть. Когда стрела обиды зазубрена неблагодарностью, рана вдвойне опасна.

Сэр Питер Тизл. Да, и это меня, который был ему, так сказать, опекуном, который так часто принимал его у себя, который ни разу в жизни не отказал ему... в совете!

Джозеф Сэрфес. О, я не в силах этому поверить! Такая низость, конечно, мыслима; однако пока вы мне не представите неопровержимых доказательств, я буду сомневаться. Но если это будет доказано, он больше мне не брат, я отрекаюсь от него. Потому что человек, способный погрязнуть в законах гостеприимства и соблазнить жену своего друга, должен быть заклеен, как общественная чума.

Сэр Питер Тизл. Как не похожи вы на него! Какие благородные чувства!

Джозеф Сэрфес. И все-таки честь леди Тизл для меня выше подозрений.

Сэр Питер Тизл. Яи сам был бы рад думать о ней хорошо и устранить всякие поводы к нашим ссорам. Она все чаще стала меня попрекать, что я не выделяю ей особого имущества, а в последнюю нашу ссору почти что намекнула, что не слишком огорчится, если я умру. И так как у нас, по-видимому, разные взгляды на домашние расходы, то я и решил предоставить ей в этом отношении полную свободу, а когда я умру, она убедится, что при жизни я не был невнимателен к ее интересам. Вот здесь, мой друг, черновики двух документов, насчет кото-

рых я хотел бы выслушать ваше мнение. По одному из них она, пока я жив, будет получать восемьсот фунтов ежегодно в полное свое распоряжение, а по другому наследует после моей смерти все мое состояние.

Джозеф Сэрфес. Сэр Питер, это поистине благородный поступок. (*В сторону.*) Только бы он не совратил мою ученицу!

Сэр Питер Тизл. Да, я решил, что у нее не будет больше поводов жаловаться. Но я хотел бы, чтобы до поры до времени этот знак моей любви оставался от нее в тайне.

Джозеф Сэрфес (*в сторону*). И я бы хотел, если бы это было возможно!

Сэр Питер Тизл. А теперь, дорогой мой друг, поговорим, если вы не возражаете, о положении ваших дел с Марией.

Джозеф Сэрфес (*тихо*). Ах нет, сэр Питер! В другой раз, пожалуйста!

Сэр Питер Тизл. Меня очень огорчает, что вы так медленно завоевываете ее благосклонность.

Джозеф Сэрфес (*тихо*). Прошу вас, не будем этого касаться. Что значат мои разочарования, когда речь идет о вашем счастье! (*В сторону.*) Черт, он меня погубит окончательно!

Сэр Питер Тизл. И, хоть вы упорно не желаете, чтобы я открыл леди Тизл вашу страсть к Марии, я уверен, что в этом деле она будет на вашей стороне.

Джозеф Сэрфес. Умоляю вас, сэр Питер, сделайте мне одолжение. Я, право же, слишком взволнован предметом нашей беседы, чтобы думать о самом себе. Человек, которому близкий друг поверил свои невзгоды, никогда не станет...

*Входит слуга.*

Чего тебе надо?

Слуга. Ваш брат, сэр, беседует на улице с каким-то господином и говорит, что вы, дескать, дома сейчас.

Джозеф Сэрфес. Фу ты, болван! Нет меня дома, я ушел на целый день.

Сэр Питер Тизл. Постойте, постойте, мне пришла мысль: пусть он скажет, что вы дома.

Джозеф Сэрфес. Хорошо,пусти его.

*Слуга уходит.*

(*В сторону.*) Он, по крайней мере, помешает сэру Питеру.

Сэр Питер Тизл. А теперь, дорогой мой друг, сделайте мне одолжение, я вас прошу. Пока Чарлз не пришел, дайте мне куда-нибудь спрятаться, а затем пожурите его насчет того, о чем мы с вами беседовали, и его ответ может сразу же меня успокоить.

Джозеф Сэрфес. Помилуйте, сэр Питер! Какую некрасивую игру вы мне предлагаете! Ставить ловушку родному брату!

Сэр Питер Тизл. Да вы же сами говорите, что уверены в его невинности. А раз так, то вы окажете ему величайшую услугу, дав ему возможность оправдаться, и моему сердцу вернете покой. Нет, вы мне не откажете! Вот здесь, за этой ширмой, лучше всего будет... Э, что за черт! Да там уже как будто кто-то слушает! Честное слово, я видел юбку!

Джозеф Сэрфес. Ха-ха-ха! Это действительно получилось забавно. Послушайте меня, дорогой сэр Питер. Конечно, я считаю, что проводить жизнь в любовных интригах крайне безнравственно, но из этого, понимаете, все-таки не следует, что надо превращаться в какого-то Иосифа Прекрасного<sup>57</sup>! Я вам сознаюсь: это модисточка-французенка, маленькая плутовка,

---

<sup>57</sup> *Иосиф Прекрасный* – библейский персонаж. Иосиф Прекрасный, проданный в рабство в Египет, отверг любовь жены царедворца Пентефрия. Джозеф Сэрфес вспоминает здесь про это предание, поскольку Джозеф – английская форма имени

которая иногда ко мне заходит. Она как-никак дорожит своей репутацией и, когда вы вошли, спряталась за ширму.

Сэр Питер Тизл. Ах, плутишка вы этакий! Но, боже мой, она слышала все, что я тут говорил про мою жену.

Джозеф Сэрфес. О, дальше это никуда не пойдет, можете быть спокойны.

Сэр Питер Тизл. Правда? Ну, так пусть себе слушает все. Тут у вас чулан какой-то, я могу сюда.

Джозеф Сэрфес. Хорошо, залезайте.

Сэр Питер Тизл (*прячась в чулан*). Вот хитрый плут! Вот хитрый плут!

Джозеф Сэрфес. Ведь чуть не попался! Ну и положение, однако: так рассовать мужа и жену!

Леди Тизл (*выглядывая*). Нельзя ли мне убежать как-нибудь?

Джозеф Сэрфес. Сидите смирно, мой ангел!

Сэр Питер Тизл (*выглядывая*). Джозеф, прижмите его хорошенько.

Джозеф Сэрфес. Не показывайтесь, дорогой мой друг!

Леди Тизл. А нельзя ли запереть сэра Питера?

Джозеф Сэрфес. Молчите, жизнь моя!

Сэр Питер Тизл (*выглядывая*). А вы уверены, что модисточка не разболтает?

Джозеф Сэрфес. Назад, назад, милый сэр Питер!.. Ей-богу, я жалею, что у меня нет ключа!

*Входит Чарлз Сэрфес.*

Чарлз Сэрфес. Послушай, братец, что это значит? Твой человек не хотел меня пускать. Или у тебя сидел еврей какой-нибудь, или красотка?

Джозеф Сэрфес. Никого такого не было, уверяю тебя.

Чарлз Сэрфес. А почему удрал сэр Питер? Ведь он как будто был тут?

Джозеф Сэрфес. Был, но, услышав, что ты пришел, предпочел уйти.

Чарлз Сэрфес. Уж не испугался ли старик, что я попрошу у него денег?

Джозеф Сэрфес. Нет, сэр. Но мне грустно было узнать, Чарлз, что за последнее время ты причиняешь этому достойному человеку очень много огорчений.

Чарлз Сэрфес. Да, говорят, я их причиняю очень многим достойным людям. Но что случилось, скажи, пожалуйста?

Джозеф Сэрфес. Сказать тебе откровенно, брат, – он подозревает, что ты пытаешься отвоевать у него сердце леди Тизл.

Чарлз Сэрфес. Кто? Я? О господи, только не я, честное слово! Ха-ха-ха-ха! Так, значит, старик догадался, что взял молодую жену, так, что ли? Или, чего доброго, леди Тизл догадалась, что у нее старый муж?

Джозеф Сэрфес. Это не тема для шуток, брат. Человек, который способен смеяться...

Чарлз Сэрфес. Верно, верно все, что ты скажешь... Нет, серьезно же, мне и в голову не приходило ничего похожего, честное слово.

Джозеф Сэрфес (*громко*). Ну что ж, сэр Питер будет очень рад услышать это.

Чарлз Сэрфес. Правда, мне одно время казалось, что я ей нравлюсь. Но, клянусь, я, со своей стороны, не сделал ни одного шага... Притом же ты знаешь мое чувство к Марии.

Джозеф Сэрфес. И я уверен, брат, что даже если бы леди Тизл воспылала к тебе самой безумной страстью...

Чарлз Сэрфес. Видишь ли, Джозеф, мне кажется, я никогда бы не совершил обдуманно бесчестного поступка. Но если бы хорошенькая женщина сама бросилась мне навстречу и если бы эта хорошенькая женщина была замужем за человеком, который годился бы ей в отцы...

Джозеф Сэрфес. Тогда...

Чарлз Сэрфес. Тогда, я думаю, мне пришлось бы подзанять у тебя малую толику нравственности, вот и все. Но только знаешь, брат, я до крайности удивлен, что, говоря о леди Тизл, ты называешь меня. Я, признаться, всегда считал тебя ее фаворитом.

Джозеф Сэрфес. Чарлз, и тебе не стыдно! Что за глупая выходка!

Чарлз Сэрфес. Да нет же, я видел сам, как вы обменивались такими выразительными взглядами...

Джозеф Сэрфес. Нет-нет, сэр, этим не шутят.

Чарлз Сэрфес. Ей-богу, я говорю серьезно. Помнишь, раз, когда я зашел сюда...

Джозеф Сэрфес. Чарлз, я прошу тебя...

Чарлз Сэрфес. И застал вас вдвоем...

Джозеф Сэрфес. Черт возьми, сэр! Я повторяю...

Чарлз Сэрфес. И другой раз, когда твой слуга...

Джозеф Сэрфес. Брат, брат, послушай! (*В сторону.*) Как мне его остановить?

Чарлз Сэрфес...предупрежденный о том, что...

Джозеф Сэрфес. Тс-с! Ты меня извини, но сэр Питер слышал все, что мы говорили. Я знал, что ты оправдаешь себя, иначе я ни за что бы не согласился.

Чарлз Сэрфес. Как? Сэр Питер? Но где же он?

Джозеф Сэрфес. Тише! Он там. (*Указывает на чулан.*)

Чарлз Сэрфес. Честное слово, я его раздобуду! Сэр Питер, пожалуйста сюда.

Джозеф Сэрфес. Нет-нет...

Чарлз Сэрфес. Вы слышите, сэр Питер? Пожалуйста к ответу! (*Вытаскивает сэра Питера.*) Как? Мой старый опекун? Превратился в инквизитора и ведет следствие исподтишка?

Сэр Питер Тизл. Дайте мне вашу руку, Чарлз! Я вижу, что подозревал вас напрасно. Но только не сердитесь на Джозефа: это я придумал.

Чарлз Сэрфес. Вот как!

Сэр Питер Тизл. Я считаю вас оправданным. Даю вам слово, я теперь гораздо лучшего мнения о вас. То, что я слышал, доставило мне величайшее удовольствие.

Чарлз Сэрфес. Ваше счастье, что вы не услышали больше, правда, Джозеф?

Сэр Питер Тизл. Вы уже собирались перейти в нападение.

Чарлз Сэрфес. Что вы, что вы, это я шутил.

Сэр Питер Тизл. Ну, еще бы, я слишком уверен в его чести.

Чарлз Сэрфес. В сущности, вы с таким же правом могли бы заподозрить его, как и меня, правда, Джозеф?

Сэр Питер Тизл. Полно, полно, я вам верю.

Джозеф Сэрфес(*в сторону*). Хоть бы они убралась поскорее!

*Входит слуга и говорит на ухо Джозефу Сэрфесу.*

Сэр Питер Тизл. И в будущем, я надеюсь, мы с вами сойдемся поближе.

Джозеф Сэрфес. Вы меня извините, господа, но я должен попросить вас спуститься вниз. Ко мне пришли по делу.

Чарлз Сэрфес. Ну, так поговорите в другой комнате. Мы с сэром Питером давно не виделись, и мне надо кое-что ему сказать.



Джозеф Сэрфес (в сторону). Их нельзя оставлять вдвоем... Я отошлю этого человека и сейчас же вернусь. (*Уходя, тихо, сэру Питеру.*) Сэр Питер, ни слова о модисточке!

Сэр Питер Тизл (*тихо, Джозефу*). Я? Никогда в жизни!

*Джозеф Сэрфес уходит.*

Сэр Питер Тизл. Ах, Чарлз, если бы вы теснее общались с вашим братом, то в самом деле была бы надежда, что вы исправитесь. Это человек возвышенных чувств. Да, нет ничего на свете благороднее, чем человек возвышенных чувств!

Чарлз Сэрфес. Нет, знаете, слишком уж он добродетелен и так дорожит своим добрым именем, как он это называет, что скорее поселит у себя священника, чем женщину.

Сэр Питер Тизл. Нет-нет, полноте, вы к нему несправедливы! Нет-нет! Джозеф, конечно, не развратник, но все-таки и не такой уж святой в этом отношении. (*В сторону.*) Ужасно мне хочется ему сказать! Вот бы мы потешились над Джозефом!

Чарлз Сэрфес. Какое там! Это форменный анахорет, молодой отшельник.

Сэр Питер Тизл. Послушайте, вы его не обижайте. Он может об этом узнать, уверяю вас.

Чарлз Сэрфес. Не вы же ему расскажете?

Сэр Питер Тизл. Нет, но... все-таки. (*В сторону.*) Ей-богу, я ему скажу... Послушайте, хотите здорово потешиться над Джозефом?

Чарлз Сэрфес. Ничего на свете так бы не хотел.

Сэр Питер Тизл. Ну, так мы уж потешимся! Я ему отплачу за то, что он меня выдал... Когда я к нему пришел, у него была девица.

Чарлз Сэрфес. Как? У Джозефа? Вы шутите.

Сэр Питер Тизл. Тс-с!.. Француженка, модисточка... И, что самое забавное, она сейчас в этой комнате.

Чарлз Сэрфес. Да где же, черт!

Сэр Питер Тизл. Тише, я вам говорю. (*Показывает на ширму.*)

Чарлз Сэрфес. За ширмой? Извлекь ее оттуда!

Сэр Питер Тизл. Нет-нет... Он идет... Оставьте, честное слово!

Чарлз Сэрфес. Нет, мы должны взглянуть на модисточку!

Сэр Питер Тизл. Умоляю вас... Джозеф мне этого никогда не простит...

Чарлз Сэрфес. Я возьму на себя...

Сэр Питер Тизл. Да вот и он! Послушайте!..

*Джозеф Сэрфес входит как раз в тот миг, когда Чарлз Сэрфес опрокидывает ширму.*

Чарлз Сэрфес. Леди Тизл! О чудеса!

Сэр Питер Тизл. Леди Тизл! О проклятие!

Чарлз Сэрфес. Сэр Питер, это одна из очаровательнейших француженок-модисточек, каких я когда-либо встречал. Ей-богу, вы тут все как будто играли в прятки, но мне неясно, кто, собственно, от кого прятался... Могу я просить вашу милость объяснить мне? Ни слова!.. Брат, не ответишь ли ты на мой вопрос? Что это? Нравственность онемела тоже?.. Сэр Питер, я застал вас во мраке, но, может быть, теперь он рассеялся для вас? Все безмолвствуют!.. Ну что ж, если для меня все это остается загадкой, я надеюсь, что вы-то отлично друг друга понимаете. Поэтому предоставляю вас самим себе. (*Уходя.*) Брат, мне очень грустно видеть, что ты причинил этому достойному человеку такое огорчение... Сэр Питер, нет ничего на свете благороднее, чем человек возвышенных чувств! (*Уходит.*)

*Остальные молча смотрят друг на друга.*

**Вопросы и задания:**

1. Какова основная тема приведенного отрывка? Его центральный конфликт?
2. Против какого явления в жизни английского высшего света выступает Шеридан?
3. С помощью каких средств драматург добивается комического эффекта?
4. На кого из предшественников опирается автор комедии в кульминационной «сцене с ширмой»?
5. Назовите писателя, до Шеридана использовавшего оппозицию двух братьев – внешне добродетельного, но подлого и по видимости беспутного, но благородного.
6. Прокомментируйте слова Дэвида Гаррика о Шеридане как о «юном Дон Кихоте», выступившем против гидры злословия.

## Роберт Бёрнс (1759-1796)

### Предтекстовое задание:

Вчитываясь в поэтические строки Бёрнса, постарайтесь составить себе представление о мировоззрении поэта, уяснить основные темы и мотивы его творчества, его связь с фольклором, с шотландскими народными песнями и с живущими в них чаяниями и умонастроениями.

### Песни и баллады *Перевод С. Я. Маршака*

#### Был честный фермер мой отец

Был честный фермер мой отец,  
Он не имел достатка,  
Но от наследников своих  
Он требовал порядка.  
Учил достоинство хранить,  
Хоть нет гроша в карманах.  
Страшнее – чести изменить,  
Чем быть в отрепьях рваных!

Я в свет пустился без гроша,  
Но был беспечный малый.  
Богатым быть я не желал,  
Великим быть – пожалуй!  
Таланта не был я лишен,  
Был грамотен немножко  
И вот решил по мере сил  
Пробить себе дорожку.

И так и сяк пытался я  
Понравиться фортуне,  
Но все усилья и труды  
Мои остались втуне.  
То был врагами я подбит,  
То предан был друзьями  
И вновь, достигнув высоты,  
Оказывался в яме.

В конце концов я был готов  
Оставить попеченье.  
И по примеру мудрецов  
Я вывел заключение:  
В былом не знали мы добра,  
Не видим в предстоящем,  
А этот час – в руках у нас.

Владей же настоящим!

Надежды нет, просвета нет,  
А есть нужда, забота.  
Ну что ж, покуда ты живешь,  
Без устали работай.  
Косить, пахать и боронить  
Я научился с детства.  
И это все, что мой отец  
Оставил мне в наследство.

Так и живу – в нужде, в труде,  
Доволен передышкой.  
А хорошенько отдохну  
Когда-нибудь под крышкой.  
Заботы завтрашнего дня  
Мне сердца не тревожат.  
Мне дорог нынешний мой день,  
Покуда он не прожит!  
Я так же весел, как монарх  
В наследственном чертоге,  
Хоть и становится судьба  
Мне поперек дороги.  
На завтра хлеба не дает  
Мне эта злая скряга.  
Но нынче есть чего поесть –  
И то уж это благо!

Беда, нужда крадут всегда  
Мой заработок скудный.  
Мой промах этому виной  
Иль нрав мой безрассудный?  
И все же сердцу своему  
Вовеки не позволю я  
Впадать от временных невзгод  
В тоску и меланхолию!

О ты, кто властен и богат,  
Намного ль ты счастливей?  
Стремится твой голодный взгляд  
Вперед – к двойной наживе.  
Пусть денег куры не клюют  
У баловня удачи –  
Простой, веселый, честный люд  
Тебя стократ богаче!

(1782)

## Честная бедность

Кто честной бедности своей  
Стыдится и все прочее,  
Тот самый жалкий из людей,  
Трусливый раб и прочее.

При всем при том,  
При всем при том,  
Пускай бедны мы с вами,  
Богатство –  
Штамп на золотом,  
А золотой –  
Мы сами!

Мы хлеб едим и воду пьем,  
Мы укрываемся тряпьем  
И все такое прочее,  
А между тем дурак и плут  
Одеты в шелк и вина пьют  
И все такое прочее.

При всем при том,  
При всем при том,  
Судите не по платью.  
Кто честным кормится трудом,  
Таких зову я знатью,

Вот этот шут – природный лорд.  
Ему должны мы кланяться.  
Но пусть он чопорен и горд,  
Бревно бревном останется!

При всем при том,  
При всем при том,  
Хоть весь он в позументах –  
Бревно останется бревном  
И в орденах, и в лентах!

Король лакея своего  
Назначит генералом,  
Но он не может никого  
Назначить честным малым.

При всем при том,  
При всем при том,  
Награды, лесть

И прочее  
Не заменяют  
Ум и честь  
И все такое прочее!  
Настанет день и час пробьет,  
Когда уму и чести  
На всей земле придет черед  
Стоять на первом месте.

При всем при том,  
При всем при том,  
Могу вам предсказать я,  
Что будет день,  
Когда кругом  
Все люди станут братья!

(1795)

### **Джон ячменное зерно**

Трех королей разгневал он,  
И было решено,  
Что навсегда погибнет Джон  
Ячменное Зерно.

Велели выкопать сохой  
Могилу короли,  
Чтоб славный Джон, боец лихой,  
Не вышел из земли.

Травой покрылся горный склон,  
В ручьях воды полно,  
А из земли выходит Джон  
Ячменное Зерно.

Все так же буен и упрям,  
С пригорка в летний зной  
Грозит он копьями врагам,  
Качая головой.

Но осень трезвая идет.  
И, тяжело нагружен,  
Поник под бременем забот,  
Согнулся старый Джон.

Настало время помирать –  
Зима недалека.  
И тут-то недруги опять

Взялись за старика.

Его свалил горбатый нож  
Одним ударом с ног,  
И, как бродягу на правез,  
Везут его на ток.

Дубасить Джона принялись  
Злодеи поутру.  
Потом, подбрасывая ввысь,  
Кружили на ветру.

Он был в колодец погружен,  
На сумрачное дно.  
Но и в воде не тонет Джон  
Ячменное Зерно.

Не пощадив его костей,  
Швырнули их в костер,  
А сердце мельник меж камней  
Безжалостно растер.

Бушует кровь его в котле,  
Под обручем бурлит,  
Вскипает в кружках на столе  
И души веселит.

Недаром был покойный Джон  
При жизни молодец, –  
Отвагу подымает он  
Со дна людских сердец.

Он гонит вон из головы  
Докучный рой забот.  
За кружкой сердце у вдовы  
От радости поет...

Так пусть же до конца времен  
Не высыхает дно  
В бочонке, где клокочет Джон  
Ячменное Зерно!

(1782)

### **В горах мое сердце**

В горах мое сердце... Доныне я там.  
По следу оленя лечу по скалам.

Гоню я оленя, пугаю козу.  
В горах мое сердце, а сам я внизу.

Прощай, моя родина! Север, прощай, –  
Отечество славы и доблести край.  
По белому свету судьбою гоним,  
Навеки останусь я сыном твоим!  
Прощайте, вершины под кровлей снегов,  
Прощайте, долины и скаты лугов,  
Прощайте, поникшие в бездну леса,  
Прощайте, потоков лесных голоса.

В горах мое сердце... Доныне я там.  
По следу оленя лечу по скалам.  
Гоню я оленя, пугаю козу.  
В горах мое сердце, а сам я внизу!

(1789)

### **Шотландская слава**

Навек простись, Шотландский край,  
С твоею древней славой.  
Название самое, прощай,  
Отчизны величавой!

Где Твид несется в океан  
И Сарк в песках струится –  
Теперь владенья англичан,  
Провинции граница.  
Века сломить нас не могли,  
Но продал нас изменник  
Противникам родной земли  
За горсть презренных денег.

Мы стали английскую не раз  
В сраженьях притупили,  
Но золотом английским нас  
На торжище купили.

Как жаль, что я не пал в бою,  
Когда с врагом боролись  
За честь и родину свою  
Наш гордый Брюс, Уоллес.

Но десять раз в последний час  
Скажу я без утайки:  
Проклятие предавшей нас



Мошеннической шайке!

(1791)

### Молитва святоши Вилли

О ты, не знающий преград!  
Ты шлешь своих любезных чад –  
В рай одного, а десять в ад,  
Отнюдь не глядя  
На то, кто прав, кто виноват,  
А славы ради.  
Ты столько душ во тьме оставил.  
Меня же, грешного, избавил,  
Чтоб я твою премудрость славил  
И мощь твою.  
Ты маяком меня поставил  
В родном краю.

Щедрот подобных ожидать я  
Не мог, как и мои собратья.  
Мы все отмечены печатью  
Шесть тысяч лет –  
С тех пор как заслужил проклятье  
Наш грешный дед.

Я твоего достоин гнева  
Со дня, когда покинул чрево.  
Ты мог послать меня налево –  
В кромешный ад,  
Где нет из огненного зева  
Пути назад.

Но милосердию нет меры.  
Я избежал огня и серы  
И стал столпом, защитой веры,  
Караю грех  
И благочестия примером  
Служу для всех.

Изобличаю я сурово  
Ругателя и сквернословия,  
И потребителя хмельного,  
И молодежь,  
Что в праздник в пляс пойти готова,  
Подняв галдеж.

Но умоляю провиденье

Простить мои мне прегрешенья.  
Подчас мне бесы вожделенья  
Терзают плоть.  
Ведь нас из праха в день творенья  
Создал господь!

Вчера я вышел на дорогу  
И встретил Мэгги-недотрогу.  
Клянусь всевидящему богу,  
Обет приму,  
Что на нее я больше ногу  
Не подниму!

Еще я должен повиниться,  
Что в постный день я у девицы,  
У этой Лиззи смуглолицей,  
Гостил тайком.  
Но я в тот день, как говорится,  
Был под хмельком.

Но, может, страсти плоти бральной  
Во мне бушуют неизменно,  
Чтоб не мечтал я дерзновенно  
Жить без грехов.  
О, если так, я их смиренно  
Терпеть готов!

Храни рабов твоих, о боже,  
Но покарай как можно строже  
Того из буйной молодежи,  
Кто без конца  
Дает нам клички, строит рожи,  
Забыв творца.

К таким причислить многих можно.  
Вот Гамильтон – шутник безбожный.  
Пристрастен он к игре картежной,  
Но всем так мил,  
Что много душ на путь свой ложный  
Он совратил.

Когда ж пытались понемножку  
Мы указать ему дорожку,  
Над нами он смеялся в лежку  
С толпой друзей, –  
Господь, сгнои его картошку  
И сельдерей!

Еще казни, о царь небесный,

Пресвитеров из церкви местной.  
(Их имена тебе известны.)  
Рассыпь во прах  
Тех, кто судил о нас нелестно  
В своих речах!  
Вот Эйкен. Он – речистый малый.  
Ты и начни с него, пожалуй.  
Он так рабов твоих, бывало,  
Нещадно бьет,  
Что в жар и в холод нас бросало,  
Вгоняло в пот.

Для нас же – чад твоих смиренных –  
Ты не жалея своих бесценных  
Даров – и тленных и нетленных,  
Нас не покинь,  
А после смерти в сонм блаженных  
Прими. Аминь!

(1785)

### **Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом**

Зверек проворный, юркий, гладкий,  
Куда бежишь ты без оглядки,  
Зачем дрожишь, как в лихорадке,  
За жизнь свою?  
Не трусь – тебя своей лопаткой  
Я не убью.

Я понимаю и не спорю,  
Что человек с природой в ссоре,  
И всем живым несет он горе,  
Внушает страх,  
Хоть все мы смертные и вскоре  
Вернемся в прах.

Пусть говорят: ты жнешь, не сея.  
Но я винить тебя не смею.  
Ведь надо жить!.. И ты скромнее,  
Чем все, крадешь.  
А я ничуть не обеднею –  
Была бы рожь!  
Тебя оставил я без крова  
Порой ненастной и суровой,  
Когда уж не из чего снова  
Построить дом,  
Чтобы от ветра ледяного

Укрыться в нем...

Все голо, все мертво вокруг.  
Пустынно поле, скошен луг.  
И ты убежище от выюг  
Найти мечтал,  
Когда вломился тяжкий плуг  
К тебе в подвал.

Травы, листвы увядшей ком –  
Вот чем он стал, твой теплый дом,  
Тобой построенный с трудом.  
А дни идут...  
Где ты в полях, покрытых льдом,  
Найдешь приют?

Ах, милый, ты не одинок:  
И нас обманывает рок,  
И рушится сквозь потолок  
На нас нужда.  
Мы счастья ждем, а на порог  
Валит беда...

Но ты, дружок, счастливей нас...  
Ты видишь то, что есть сейчас.  
А мы не сводим скорбных глаз  
С былых невзгод  
И в тайном страхе каждый раз  
Глядим вперед.

(1785)

### **Моему незаконнорожденному ребенку**

Дочурка, пусть со мной беда  
Случится, ежели когда  
Я покраснею от стыда,  
Боясь упрёка  
Или неправого суда  
Молвы жестокой.

Дитя моих счастливых дней,  
Подобье матери своей,  
Ты с каждым часом мне милей,  
Любви награда,  
Хоть ты, по мненью всех церквей,  
Исчадь ада.

Пускай открыто и тайком  
Меня зовут еретиком,  
Пусть ходят обо мне кругом  
Дурные слухи –  
Должны от скуки языком  
Молоть старухи!

И все же дочери я рад,  
Хоть родилась ты невпопад  
И за тебя грозит мне ад  
И суд церковный.  
В твоём рожденье виноват  
Я безусловно.

Ты – память счастья юных лет.  
Увы, к нему потерян след.  
Не так явилась ты на свет,  
Как нужно людям,  
Но мы делить с тобой обед  
И ужин будем.

Я с матерью твоей кольцом  
Не обменялся под венцом,  
Но буду нежным я отцом  
Тебе, родная.  
Расти веселым деревцом,  
Забот не зная.

Пусть я нуждаться буду сам,  
Но я последнее отдам,  
Чтоб ты могла учиться там,  
Где все ребята,  
Чьих матерей водили в храм  
Отцы когда-то.

Тебе могу я пожелать  
Лицом похожей быть на мать,  
А от меня ты можешь взять  
Мой нрав беспечный,  
Хотя в грехах мне подражать  
Нельзя, конечно!

(1784)

## **Любовь**

Любовь, как роза, роза красная,  
Цветет в моем саду.

Любовь моя – как песенка,  
С которой в путь иду.

Сильнее красоты твоей  
Моя любовь одна.  
Она с тобой, пока моря  
Не высохнут до дна.

Не высохнут моря, мой друг,  
Не рушится гранит,  
Не остановится песок,  
А он, как жизнь, бежит...

Будь счастлива, моя любовь,  
Прощай и не грусти.  
Вернусь к тебе, хоть целый свет  
Пришлось бы мне пройти!

(1794)

### **«Пробираясь до калитки...»**

Пробираясь до калитки  
Полею вдоль межи,  
Дженни вымокла до нитки  
Вечером во ржи.

Очень холодно девчонке,  
Бьет девчонку дрожь:  
Замочила все юбчонки,  
Идя через рожь.

Если кто-то звал кого-то  
Сквозь густую рожь  
И кого-то обнял кто-то,  
Что с него возьмешь?

И какая нам забота,  
Если у межи  
Целовался с кем-то кто-то  
Вечером во ржи!..

(1782)

### **Ночлег в пути**

Меня в горах застигла тьма,  
Январский ветер, колкий снег.

Закрылись наглухо дома,  
И я не мог найти ночлег.

По счастью, девушка одна  
Со мною встретилась в пути,  
И предложила мне она  
В ее укромный дом войти.  
Я низко поклонился ей –  
Той, что спасла меня в метель,  
Учтиво поклонился ей  
И попросил постлать постель.  
Она тончайшим полотном  
Застлала скромную кровать  
И, угостив меня вином,  
Мне пожелала сладко спать.

Расстаться с ней мне было жаль,  
И, чтобы ей не дать уйти,  
Спросил я девушку: – Нельзя ль  
Еще подушку принести?

Она подушку принесла  
Под изголовие мое.  
И так мила она была,  
Что крепко обнял я ее.

В ее щеках зарделась кровь,  
Два ярких вспыхнули огня.  
– Коль есть у вас ко мне любовь,  
Оставьте девушкой меня!

Был мягок шелк ее волос  
И завивался, точно хмель.  
Она была душистей роз,  
Та, что постлала мне постель.

А грудь ее была кругла, –  
Казалось, ранняя зима  
Своим дыханьем намела  
Два этих маленьких холма.

Я целовал ее в уста –  
Ту, что постлала мне постель,  
И вся она была чиста,  
Как эта горная метель.

Она не спорила со мной,  
Не открывала милых глаз.  
И между мною и стеной

Она уснула в поздний час.

Проснувшись в первом свете дня,  
В подругу я влюбился вновь.  
– Ах, погубили вы меня! –  
Сказала мне моя любовь.

Целуя веки влажных глаз  
И локон, вьющийся, как хмель,  
Сказал я: – Много, много раз  
Ты будешь мне стелить постель!

Потом иглу взяла она  
И села шить рубашку мне,  
Январским утром у окна  
Она рубашку шила мне...

Мелькают дни, идут года,  
Цветы цветут, метет метель,  
Но не забуду никогда  
Той, что постлала мне постель!

(1795)

### **Веселые нищие (Кантата)**

Когда бесцветна и мертва  
Летит последняя листва,  
Опалена зимой,  
И новорожденный мороз  
Кусает тех, кто гол и бос,  
И гонит их домой –

В такие дни толпа бродяг  
Перед зарей вечерней  
Отдаст лохмотья за очаг  
В какой-нибудь таверне.

За кружками  
С подружками  
Они пред очагом  
Горланят,  
Барабанят,  
И все дрожит кругом.

В мундире, сшитом из заплат,  
У очага сидел солдат  
В ремнях, с походным ранцем.



Пред ним любовница была,  
От хмеля, ласки и тепла  
Пылавшая румянцем.

Не помня горя и забот,  
Ласкал он побирушку,  
А та к нему тянула рот,  
Как нищенскую кружку.

И чокались,  
И чмокались  
Сто раз они подряд,  
Пока хмельную песню  
Не затянул солдат.

(1785)

### **«Я воспитан был в строю, а испытан я в бою...»**

#### **ПЕСНЯ**

Я воспитан был в строю, а испытан я в бою.  
Украшает грудь мою много ран.  
Этот шрам получен в драке, а другой в лихой атаке  
В ночь, когда гремел во мраке барабан.

Я учиться начал рано – у Абрамова Кургана.  
В этой битве пал мой капитан.  
И учился я не школе, а в широком ратном поле,  
Где кололи мы врагов под барабан.

Пусть я отдал за науку ногу правую и руку,  
Вы узнаете по стуку мой чурбан.  
Если в бой пойдет пехота под командой Элиота,  
Я пойду на костылях под барабан!  
Одноногий и убогий, я ночую у дороги  
В дождь и стужу, в бурю и туман.  
Но при мне мой ранец, фляжка, а со мной моя милашка,  
Как в те дни, когда я шел под барабан.

Пусть башка моя седа, амуниция худа  
И постелью служит мне бурьян –  
Выпью кружку и другую, поцелую дорогую  
И пойду на всех чертей под барабан!

#### **РЕЧИТАТИВ**

Солдат умолк. И грянул хор,

И дрогнул потолок.  
Две крысы, выглянув из нор,  
Пустились наутек.

Скрипач бродячий крикнул: «Бис!  
Ты спой еще разок!»  
Но заглушил его и крыс  
Осипший голосок.

## **ПЕСНЯ**

Девницей была я – не помню когда –  
И люблю молодежь, хоть не так молода.  
Мать в драгунском полку погостила когда-то.  
Оттого-то я жить не могу без солдата!

Был первый мой друг весельчак и буян.  
Он только и знал, что стучал в барабан.  
Парень был он лихой, крепконогий, усатый.  
Что таить!.. Я влюбилась в красавца солдата.

Соблазнил меня добрый, седой капеллан  
На стихарь променять полковой барабан.  
Он душой рисковал – в том любовь виновата, –  
Я же – телом своим. И ушла от солдата.

Но невесело жить со святым стариком.  
Скоро стал моим мужем весь полк целиком –  
От трубы до капрала, известного хвата.  
Приласкать я готова любого солдата.  
После мира пошла я с клюкой и сумой.  
Мой друг отставной повстречался со мной.  
Тот же красный мундир – на заплате заплате.  
То-то рада была я увидеть солдата!

Хоть живу я на свете бог весть как давно,  
Вместе с вами пою, попиваю вино.  
И пока моя рюмка в ладони зажата,  
Буду пить за тебя, мой герой, – за солдата!

## **РЕЧИТАТИВ**

В углу сидел базарный шут.  
К соседке воспылав любовью,  
Не разбирая он, что поют,  
И только пил ее здоровье.

Но вот, разгорячен вином  
Или соседкой разогретый,

Поставив кружку кверху дном,  
Он прохрипел свои куплеты.

### **ПЕСНЯ**

Мудрец от похмелья глупеет, а плут  
Шутом выступает на сессии.  
Но разве сравнится неопытный шут  
Со мной – дураком по профессии?

Мне бабушка в детстве купила букварь.  
Учился я грамоте в школах,  
И все ж дураком я остался, как встарь.  
Ведь олух – до старости олух.

Вино из бочонка тянул я взасос,  
Гонял за соседскою дочкой.  
Но сам я подросток – и бочонок подросток  
И стал здоровенною бочкой!

За пьянство меня среди белого дня  
Связали и ввергли в темницу,  
А в церкви за то осудили меня,  
Что я опрокинул девицу.

Я – клоун бродячий, жонглер, акробат,  
Умею плясать на канате.  
Но в Лондоне есть у меня, говорят,  
Счастливым соперник в палате!

А наш проповедник! Какую подчас  
С амвона он корчит гримасу!  
Клянусь вам: он хлеб отбивает у нас,  
Хотя облачается в рясу.

Недаром ношу я дурацкий колпак –  
Меня он и кормит и поит.  
А кто для себя и бесплатно дурак,  
Тот очень немногого стоит!..

### **РЕЧИТАТИВ**

Дурак умолк. За ним вослед  
Особа встала средних лет  
С могучим станом, грозной грудью.  
Ее не раз судили судьи  
За то, что ловко на крючок  
Она ловила кошелек,  
Кольцо, платок и что придется.

Народ топил ее в колодце,  
Но утопить никак не мог –  
Сам сатана ее берег.

В былые дни – во время оно –  
Она любила горца Джона.  
И вот запела про него,  
Про Джона, горца своего.

### **ПЕСНЯ**

Мой Джон – дитя шотландских скал –  
Закон долины презирал.  
Но как любил родимый склон  
Мой славный горец, статный Джон.  
Споем подружки, про него,  
Поднимем кружки за него.  
Нет среди горцев никого  
Отважней Джона моего!

Он был как щеголь разодет –  
Берет с пером и пестрый плед.  
С ума сводил шотландских жен  
Мой статный горец, храбрый Джон.

От речки Твид до речки Спей  
С веселой свитою своей  
Мы кочевали – я и он,  
Мой верный друг, мой статный Джон.

Но присудил его судья  
К изгнанию в дальние края.  
Зазеленел весною клен –  
И вновь ко мне вернулся Джон.

В тюрьму попал он с корабля.  
Там обняла его петля...  
Будь проклят тот, кем осужден  
Мой статный горец, храбрый Джон!

И вот осталась я одна  
И допиваю жизнь до дна.  
Но пусть шотландских кружек звон  
Тебе приветом будет, Джон!..

Споем, подружки, про него,  
Поднимем кружки за него.  
Нет среди горцев никого  
Отважней Джона моего!

– За Джона! – гаркнул пьяный хор, –  
Он был красой Шотландских гор!..

### **РЕЧИТАТИВ**

Был в кабачке скрипач поджарый.  
Пленился он воровкой старой.  
Но был так мал,  
Что лишь бедро ее крутое,  
Как решето, одной рукою  
Он обнимал.

Развеселить желая даму,  
Прорепетировал он гамму  
Разок-другой.  
Потом, наполнив кружку пивом,  
Запел он голосом пискливым  
Мотив такой.

### **ПЕСНЯ**

Позволь слезу твою смахнуть.  
Моей возлюбленной будь  
И все прошедшее забудь.  
Плевать на остальное!

Житье на свете скрипачу –  
Иду-бреду, куда хочу.  
Так не живется богачу.  
Плевать на остальное!

Где дочку замуж выдают,  
Где после жатвы пиво пьют, –  
Для нас всегда готов приют.  
Плевать на остальное!

Мы будем кости грызть вдвоем,  
А спать на травке над ручьем,  
И на досуге мы споем:  
«Плевать на остальное!»

Пока растет на свете рожь  
И любит пляску молодежь,  
Со мной безбедно проживешь.  
Плевать на остальное!..

### **РЕЧИТАТИВ**

Пока скрипач бродячий пел,

Сжигаемый любовью,  
Лудильщик удалой успел  
Пленить сердечко вдове.

Схватил за ворот скрипача  
Его соперник бравый  
И уж готов был сгоряча  
Пронзить рапирой ржавой.

Скрипач мышонком запищал,  
Склонил пред ним колени  
И отказаться обещал  
От всех поползновений...

Но все ж, прикрыв лицо полой  
Смеялся он притворно,  
Когда лудильщик удалой,  
Хлебнув, запел задорно.

## **ПЕСНЯ**

Я, ваша честь,  
Паяю жечь.  
Лудильщик я и медник.  
Хожу пешком  
Из дома в дом.  
На мне прожжен передник.

Я был в войсках.  
С ружьем в руках  
Стоял на карауле.  
Теперь опять  
Иду паять,  
Чинить-паять  
Кастрюли!  
Вот этот хлыщ  
Душою нищ,  
Твой прежний собеседник.  
Любовь моя,  
Бери в мужья  
Того, на ком передник.

Любовь моя,  
Лудильщик я  
И круглый год в дороге.  
Авось вдвоем  
Мы проживем  
Без горя и тревоги!

## **РЕЧИТАТИВ**

В ответ на нежные слова,  
Нимало не краснея,  
С похмелья бросилась вдова  
Лудильщику на шею.

Скрипач им больше не мешал,  
И, потрясен их страстью,  
Он только поднял свой бокал  
И пожелал им счастья  
На эту ночь!

Но бес опять его увлек:  
Подсев к другой соседке,  
Ее позвал он в уголок,  
Где куры спали в клетке.

Ее супруг – по ремеслу  
Поэт, певец природы –  
Застиг их вовремя в углу  
И не дал строить куры  
Им в эту ночь!

Был неказист и хромоног  
Поэт, певец бродячий,  
И хоть по внешности убог,  
Но сердцем всех богаче.

Он жил на свете не спеша,  
Умел любить веселье,  
А пел он, что поет душа...  
И вот что спел с похмелья  
Он в эту ночь.

## **ПЕСНЯ**

Я – лишь поэт. Не ценит свет  
Моей струны веселой.  
Но мне пример – слепой Гомер:  
За нами вьются пчелы.

И то сказать.  
И так сказать.  
И даже больше вдвое.  
Одна уйдет – женюсь опять.  
Жена всегда со мною.

Я не был у Кастальских вод,

Не видел муз воочию,  
Но здесь из бочки пена бьет –  
И все такое прочее!

Я пью за круг моих подруг,  
Служу им дни и ночи я.  
Порочить плоть, что дал господь, –  
Великий грех и прочее.

Одну люблю и с ней делю  
Постель, и хмель, и прочее,  
А много ль дней мы будем с ней,  
Об этом не пророчу я.

За женский пол! Вино на стол!  
Сегодня всех я потчую.  
За нежный пол, лукавый пол  
И все такое прочее!..

### **РЕЧИТАТИВ**

Поэт окончил – и кругом  
Рукоплесканий грянул гром,  
И каждый нес на бочку  
Все, что отдать хозяйке мог, –  
Медяк, запрятанный в сапог,  
Тряпье последнее в залог,  
Последнюю сорочку.

Друзья до риз перепились,  
Плясали до упаду  
И у поэта принялись  
Просить еще балладу.

Поэт сидел меж двух подруг  
У винного бочонка,  
И, оглядев веселый круг,  
Запел он песню звонко.

### **ПЕСНЯ**

В эту ночь сердца и кружки  
До краев у нас полны.  
Здесь – на дружеской пирушке  
Все пьяны и все равны!

К черту тех, кого законы  
От народа берегут.  
Тюрьмы – трусам оборона,



Церкви – ханжеству приют.

Что в деньгах и прочем вздоре!  
Кто стремится к ним – дурак.  
Жить в любви, не зная горя,  
Безразлично, где и как!

Песней гоним мы печали,  
Шуткой красим свой досуг  
И в полях на сеновале  
Обнимаем мы подруг.

Вам, милорд, в своей коляске  
Нас в пути не обогнать,  
И такой не знает ласки  
Ваша брачная кровать.  
Жизнь – в движенье бесконечном:  
Радость – горе, тьма и свет.  
Репутации беречь нам  
Не приходится – их нет!

Напоследок с песней громкой  
Эту кружку подыму  
За дорожную котомку,  
За походную суму!

Ты, огонь в сердцах и в чашах,  
Никогда нас не покинь.  
Пьем за вас, подружек наших.  
Будьте счастливы. Аминь!

## **Дерево свободы**

Есть дерево в Париже, брат.  
Под сень его густую  
Друзья отечества спешат,  
Победу торжествуя.

Где нынче у его ствола  
Свободный люд толпится,  
Вчера Бастилия была,  
Всея Франции темница.

Из года в год чудесный плод  
На дереве растет, брат.  
Кто съел его, тот сознает,  
Что человек – не скот, брат.

Его вкусить холопу дай –  
Он станет благородным  
И свой разделит каравай  
С товарищем голодным.

Дороже клада для меня  
Французский этот плод, брат.  
Он красит щеки в цвет огня,  
Здоровье нам дает, брат.

Он проясняет мутный взгляд,  
Вливает в мышцы силу.  
Зато предателям он – яд:  
Он сводит их в могилу!

Благословение тому,  
Кто, пожалев народы,  
Впервые в галльскую тюрьму  
Принес росток свободы.

Поила доблесть в жаркий день  
Заветный тот росток, брат,  
И он свою раскинул сень  
На запад и восток, брат.

Но юной жизни торжеству  
Грозил порок тлетворный:  
Губил весеннюю листву  
Червяк в парче придворной.

У деревца хотел Бурбон  
Подрезать корешки, брат.  
За это сам лишился он  
Короны и башки, брат!

Тогда поклялся злобный сброд,  
Собранье всех пороков,  
Что деревцо не доживет  
До поздних, зрелых соков.

Немало гончих собралось  
Со всех концов земли, брат.  
Но злое дело сорвалось –  
Жалели, что пошли, брат!

Скликает всех своих сынов  
Свобода молодая.  
Они идут на бранный зов,

Отвагою пылая.

Новорожденный весь народ  
Встает под звон мечей, брат.  
Бегут наемники вразброд,  
Вся свора палачей, брат.

Британский край! Хорош твой дуб,  
Твой стройный тополь – тоже.  
И ты на шутки был не скуп,  
Когда ты был моложе.

Богатым лесом ты одет –  
И дубом, и сосной, брат.  
Но дерева свободы нет  
В твоей семье лесной, брат!

А без него нам свет не мил  
И горек хлеб голодный.  
Мы выбиваемся из сил  
На борозде бесплодной.

Питаем мы своим горбом  
Потомственных воров, брат.  
И лишь за гробом отдохнем  
От всех своих трудов, брат.

Но верю я: настанет день –  
И он не за горами, –  
Когда листвы волшебной сень  
Раскинется над нами.

Забудут рабство и нужду  
Народы и края, брат,  
И будут люди жить в ладу,  
Как дружная семья, брат!

(1793)

## **Эпиграммы** *Перевод С. Я. Маршака*

### **К портрету духовного лица**

Нет, у него не лживый взгляд,  
Его глаза не лгут.  
Они правдиво говорят,

Что их владелец – плут.

(1794)

### **О происхождении одной особы**

В году семьсот сорок девятом  
(Точнее я не помню даты)  
Лепить свинью задумал черт.  
Но вдруг в последнее мгновенье  
Он изменил свое решенье  
И вас он вылепил, милорд!

(1794)

### **О плохих дорогах**

Я ехал к вам то вплавь, то вброд.  
Меня хранили боги.  
Не любит местный ваш народ  
Чинить свои дороги.

Строку из Библии прочти,  
О город многогрешный:  
Коль ты не выпрямишь пути,  
Пойдешь ты в ад кромешный!

(1786)

### **Надпись на официальной бумаге, которая предписывала поэту «Служить, а не думать» (1793)**

К политике будь слеп и глух,  
Коль ходишь ты в заплатах.  
Запомни: зрение и слух –  
Удел одних богатых!

(1793)

#### **Вопросы и задания:**

1. Каковы основные темы и мотивы поэзии Бернса?
2. Каковы ее важнейшие черты?
3. В чем проявляется связь поэзии Бернса с фольклором?
4. Изложите в общих чертах концепцию человека и природы в творчестве Бернса.
5. Мотив «честной бедности» в поэзии Бернса.
6. Концепция любви в лирике Бернса.
7. Прокомментируйте отношение поэта к религии и церкви.
8. Охарактеризуйте социально-политические взгляды Бернса.

## II. Французская литература

### Ален Рене Лесаж (1668–1747)

#### **Предтекстовое задание:**

Прочтите фрагменты из романа А. Р. Лесажа «Похождения Жиль Бласа из Сантильяны» (1715–1735), сосредоточив внимание на характере главного героя.

### **Похождения Жиль Бласа из Сантильяны**

*Перевод Г. И. Ярхо*

#### **Книга шестая**

#### ***Глава I. О том, что предприняли Жиль Блас и его спутники после того, как покинули графа Полана, а также о важном предприятии, задуманном Амбросио, и о том, как оно было осуществлено***

Проведя добрую половину ночи в благодарственных излияниях по нашему адресу и в заверениях, что мы можем рассчитывать на его признательность, граф Полан позвал хозяина, чтоб посоветоваться с ним о том, как безопаснее всего проехать в Турис, куда он намеревался держать путь. Мы предоставили этому сеньору принимать необходимые меры, а сами покинули постоянный двор и пошли по дороге, которую Ламеле заблагорассудилось выбрать.

Спустя два часа рассвет застал нас под Кампильо. Мы немедленно свернули в горы, расположенные между этим местечком и Рекеной. Там мы провели весь день, отдыхая и подсчитывая свои финансы, которые значительно увеличились благодаря деньгам, найденным в карманах разбойников и составлявшим свыше трехсот пистолей разной монетой. С наступлением ночи мы снова двинулись в путь, а на следующее утро вступили в Валенсийское королевство и удалились в первый подвернувшийся нам лес. Мы углубились в него и дошли до места, где протекал ручей, медленно уносящий свои кристально чистые струи навстречу водам Гвадалавьяра. Тенистые деревья, а также трава, сулившая обильный корм лошадям, сами по себе внушили бы нам мысль остановиться там, даже если б у нас и не было такого намерения. А потому мы не преминули устроить привал в этом месте.

Спешившись, мы приготавились провести день с большой приятностью; но когда нам вздумалось позавтракать, то выяснилось, что у нас осталось очень немного припасов. Хлеб был на исходе, а бурдюк превратился в тело, лишенное души.

– Господа, – сказал нам Ламела, – самые очаровательные уголки теряют свою прелесть без даров Бахуса и Цереры. Мне думается, что нам необходимо обновить свои запасы. Для этого я тотчас же отправлюсь в Хельву. Это довольно красивый город, до которого отсюда нет и двух миль. Я быстро слетаю туда и назад.

Затем он навьючил на лошадь бурдюк и торбу, уселся верхом и помчался из лесу с быстротой, предвещавшей скорое возвращение.

У нас были все основания надеяться на это, и мы с минуты на минуту ждали появления Ламелы; но он вернулся не так скоро. Прошло больше половины дня, и ночь уже готовилась осенить деревья своими черными крылами, когда мы снова увидели своего поставщика, запоз-

дание которого уже начинало нас тревожить. Количество вещей, которыми он был нагружен, превысило наши ожидания. Помимо бурдюка, наполненного отменным вином, и торбы, набитой хлебом и всякого сорта жареной дичью, он привез на лошади большой узел с одеждой, который привлек наше внимание. Заметив это, Ламела сказал нам с улыбкой:

– Господа, вы дивитесь на это платье, и я вас извиняю, так как вы не знаете, для чего я купил его в Хельве. Готов биться об заклад, что этого не угадает ни дон Рафаэль, ни все человечество, вместе взятое.

С этими словами Амбросио развязал пакет, чтоб продемонстрировать нам в розницу то, что мы рассматривали оптом. Он извлек оттуда плащ и весьма длинную черную рясу, два камзола и штаны к ним, затем один из тех письменных приборов, которые состоят из двух частей – чернильницы и пенала, скрепленных шнурком, – и, наконец, пачку прекрасной белой бумаги, замбк, большую печать и зеленый воск. После того как он показал нам все свои покупки, дон Рафаэль сказал ему шутливым тоном:

– Да-с, сеньор Амбросио, надо сказать, что вы обзавелись весьма ценными предметами. Но разрешите узнать, какое употребление намереваетесь вы сделать из всего этого?

– Самое наилучшее, – возразил Ламела. – Все эти вещи обошлись мне не более десяти дублонов, а я уверен, что они принесут нам свыше пятисот: можете на это рассчитывать. Не такой я человек, чтоб отягчать себя бесполезным тряпьем, и дабы доказать, что я купил все это не как дурак, поведаю вам свой план. Это такой план, что он бесспорно может быть признан одним из самых гениальных, когда-либо задуманных умом человеческим. Судите о нем сами; я уверен, что, ознакомившись с ним, вы придете в восторг. Слушайте же. Запасшись хлебом, – продолжал он, – зашел я в кухмистерскую, где приказал насадить на вертел полдюжины куропаток, столько же цыплят и молодых кроликов. Пока все это жарилось, явился туда сильно раздраженный и разгневанный человек, который во всеуслышание жаловался на обращение с ним какого-то купца и сказал кухмистеру: «Клянусь св. Яковом! Самуэль Симон – самый нелепый из хельвских торговцев. Он только что оскорбил меня в своей лавке при всем честном народе. Скупердяга не пожелал отпустить мне в долг шесть локтей сукна; а между тем я платежеспособный ремесленник и за мной не пропадет. Полюбуйтесь на этакую скотину! Он охотно продает в долг знатым господам и предпочитает рисковать с барами, нежели без всякой опаски оказать одолжение честному мещанину. Чистое безумие! Проклятый жидюга! Дай ему бог как следует попасться! Мои пожелания когда-нибудь сбудутся; найдется немало купцов, которые мне посочувствуют».

Услыхав такие слова, к которым мастеровой добавил еще многое другое, я надумал отомстить за него и сыграть штуку с Самуэлем Симоном. – «Друг мой, – сказал я человеку, жаловавшемуся на купца, – скажите мне, какой характер у лица, о котором вы говорите?» – «Самый отвратительный, – отвечал он запальчиво. – Я почитаю его за отъявленного ростовщика, хотя он прикидывается благородным человеком. Он – еврей, принявший католичество, но в глубине души этот Симон не меньший жид, чем сам Пилат, так как передают, что он крестился только по расчету». Я внимательно прислушался к речам ремесленника и, выйдя из кухмистерской, не преминул осведомиться о жилище Самуэля Симона. Один прохожий сообщает, где он живет, другой показывает саму лавку. Окидываю взглядом помещение, присматриваюсь ко всему, и тут фантазия, покорная моим велениям, изобретает проделку, которую я обмозговал и нахожу достойной лакея сеньора Жиль Бласа. Отправляюсь к ветошнику и покупаю у него принесенную мною одежду: одну для роли инквизитора, другую чтоб изобразить повыгчика, а третью для альгвасила. Вот, господа, чем я был занят и отчего несколько запоздал с возвращением.

– Любезный Амбросио! – прервал его тут дон Рафаэль вне себя от восторга, – какая дивная идея! какой чудесный план! Завидую твоей изобретательности и готов отдать лучший из кунштюков моей жизни за столь удачную выдумку. О Ламела! – добавил он, – вижу отсюда все богатство твоей затеи, а о выполнении ее можешь не беспокоиться. Тебе нужны в подмогу два

добрых актера. Они – налицо. Ты с виду похож на ханжу и отлично разыграешь инквизитора, я буду изображать повытчика, а сеньор Жиль Блас, если захочет, исполнит роль альгвасила. Таким образом персонажи распределены; завтра мы сыграем пьесу, и я отвечаю за удачу, разве только случится какая-нибудь из тех помех, которые расстраивают самые искусные замыслы.

Я пока лишь очень смутно представлял себе проект, приводивший в такой восторг дону Рафаэлю, но за ужином меня посвятили во все подробности; трюк действительно показался мне гениальным. Истребив часть дичи и обильно пустив кровь нашему бурдюку, мы растянулись на траве и в скором времени заснули. Но сон наш длился недолго, ибо час спустя беспощадный Амбросио разбудил нас.

– Вставайте! Вставайте! – закричал он нам на рассвете, – люди, которым предстоит важное дело, не должны праздновать лентяя!

– Тысячу проклятий, сеньор инквизитор! – возразил ему дон Рафаэль, вскакивая со сна, – вы чертовски легки на подъем. Плохо придется господину Самуэлю Симону.

– Тоже так думаю, – сказал Ламела. – Тем более, – добавил он со смехом, – что сегодня мне снилось, будто я выщипываю ему бороду. Неважный сон для него, неправда ли, господин повытчик?

За этими шутками последовали тысячи других, приведших нас в хорошее расположение духа. Мы весело позавтракали и стали готовиться к своим ролям. Амбросио облачился в длинную рясу и плащ, так что походил, как две капли воды, на официала святой инквизиции. Мы с доном Рафаэлем также перерядились и действительно выглядели, как альгвасил и повытчик. Переодевание отняло у нас много времени, и было уже больше двух часов пополудни, когда мы выбрались из лесу, чтоб отправиться в Хельву. Впрочем, нам некуда было торопиться, так как комедия должна была начаться лишь с наступлением ночи. А потому мы шествовали с прохладцей и даже сделали привал у ворот города, чтоб дожидаться сумерек.

Как только стемнело, мы оставили лошадей в этом месте под охраной дон Альфонсо, который был весьма доволен тем, что на него не возложили никакой другой роли. Дон Рафаэль, Амбросио и я направились сперва не к Самуэлю Симону, а к кабатчику, жившему в двух шагах от его дома. Господин инквизитор выступал первым. Он вошел и обратился к трактирщику внушительным тоном:

– Хозяин, мне нужно поговорить с вами с глазу на глаз, я пришел к вам по делу, касающемуся инквизиции, а следовательно, весьма важном у.

Кабатчик отвел нас в отдельное помещение, а Ламела, убедившись, что там нет никого, кроме нас, сказал ему:

– Я – официал святой инквизиции.

При этих словах кабатчик побледнел и отвечал дрожащим голосом, что он не подавал этому высокому учреждению никакого повода гневаться на него.

– А посему, – продолжал Амбросио елейным тоном, – оно и не намерено причинять вам никакого зла. Да не допустит господь, чтоб святая инквизиция, торопясь карать, смешала грех с невинностью! Она строга, но всегда справедлива; словом, чтоб подвергнуться ее карам, надо их заслужить. Итак, не ради вас явился я в Хельву, а ради некоего купца по имени Самуэль Симон. До нас дошли неблагоприятные сведения о нем и его поведении. Говорят, что он продолжает пребывать в иудействе и принял христианство исключительно по мирским мотивам. Приказываю вам именем святой инквизиции сказать все, что вам известно об этом человеке. Но остерегитесь как сосед Симона, а может быть, и друг каких бы то ни было попыток его обелить; ибо заявляю вам, что если я замечу в ваших показаниях малейшее доброжелательство по отношению к нему, то вы погибли. Ну-с, повытчик, – продолжал он, повернувшись к дону Рафаэлю, – приступите к исполнению своих обязанностей.

Господин повытчик, уже державший в руках бумагу и письменный прибор, уселся за стол и приготовился с наисерьезнейшим видом записывать показания кабатчика, который со своей стороны заверил, что не погрешит против истины.

– Раз так, – сказал ему официал святой инквизиции, – то мы можем начать. Отвечайте только на мои вопросы, большего от вас не требуется. Видали ли вы, чтоб Самуэль Симон посещал церковь?

– Право, я не обратил на это никакого внимания, – отвечал кабатчик, – не могу припомнить, чтоб когда-либо видал его в церкви.

– Отлично, – воскликнул инквизитор, – запишите, что его никогда не видно в церкви.

– Я этого не говорил, сеньор, – возразил хозяин, – я только сказал, что мне не приходилось его там видеть. Возможно, что он был в той же церкви, но что я его не заметил.

– Друг мой, – заметил Ламела, – вы забываете, что не должны на этом допросе обелять Самуэля Симона; я предупредил вас о последствиях. Вам надлежит показывать только против него и не говорить ни слова в его пользу.

– В таком случае, сеньор лицензиат, – возразил кабатчик, – вы мало что почерпнете из моих показаний. Я совсем не знаю купца, о котором идет речь, и не могу сказать о нем ни доброго, ни худого; но если вам угодно разузнать про его домашнюю жизнь, то я приведу вам Гаспара, его приказчика, которого вы сможете допросить. Этот малый иногда заходит сюда, чтоб выпить с друзьями; могу вас заверить, что язык у него здорово привешен; он будет болтать, сколько вам угодно, выложит всю подноготную про своего хозяина и, клянусь честью, задаст немалую работу сеньору повытчику.

– Мне нравится ваша откровенность, – сказал тогда Амбросио. – Указывая мне лицо, знакомое с нравами Симона, вы доказываете свое рвение к интересам святой инквизиции. Я доложу ей об этом. Поторопитесь же, – продолжал он, – привести сюда этого Гаспара, о котором вы мне говорили; но ведите себя осторожно, дабы его хозяин не заподозрил того, что здесь происходит.

Кабатчик быстро и без огласки выполнил данное ему поручение и привел нам сидельца. Этот молодой человек действительно был величайшим болтуном, но такой нам и требовался.

– Приветствую вас, дитя мое, – сказал ему Ламела. – Вы видите в моем лице официала, назначенного святой инквизицией, для того чтоб собрать показания против Самуэля Симона, обвиняемого в иудаизме. Вы живете у него и, следовательно, являетесь свидетелем большинства его поступков. Полагаю, что вы и без моего предупреждения сочтете себя обязанным сообщить нам все имеющиеся у вас о нем сведения и что мне незачем приказывать вам это именем святой инквизиции.

– Сеньор лицензиат, – отвечал приказчик, – едва ли вы найдете человека, который был бы более меня расположен сообщить вам то, что вас интересует: я готов удовлетворить вас без всяких распоряжений со стороны святой инквизиции. Если спросить обо мне моего хозяина, то я уверен, что он меня не пощадит; а потому и я не стану щадить его и скажу вам перво-наперво, что он лицемер, до тайных помыслов которого невозможно докопаться, что это – человек, который внешне корчит из себя праведника, а в глубине души нисколько не добродетелен. Так, например, он каждый вечер ходит к одной гризеточке...

– Рад узнать это, – прервал его Амбросио, – заключаю из ваших слов, что он человек дурных нравов. Но попрошу вас отвечать мне именно на те вопросы, которые я вам поставлю. Мне поручено главным образом разузнать о его отношении к религии. Скажите мне, едят ли свинину в вашем доме?

– Не думаю, – отвечал Гаспар, – чтоб мы хотя бы два раза ели ее за тот год, что я у него живу.

– Отлично, – сказал господин инквизитор, – запишите: у Самуэля Симона никогда не едят свинины. Но зато, – продолжал он, – вы, наверно, иногда кушаете ягнятину.



– Да, бывает, – подтвердил приказчик, – например, мы ели ее на последнюю Пасху.

– Подходящее время, – воскликнул официал. – Пишите, повытчик: Симон справляет Пасху по еврейскому обряду. Дело у нас, слава богу, идет на лад, и мне кажется, что мы уже собрали важные показания. Но скажите мне еще, дружок, – продолжал Ламела, – не приходилось ли вам видеть, чтоб ваш хозяин ласкал маленьких детей?

– Тысячу раз, – отвечал Гаспар. – Стоит только маленьким мальчикам показаться возле лавки, то он непременно остановит их и приголубит, если находит, что они миленькие.

– Пишите, повытчик, – прервал его инквизитор. – На Самуэля Симона падает серьезное подозрение в том, что он увлекает христианских детей, чтоб их зарезать. Ну и выкрест! Ого, господин Симон, даю слово, что вы будете иметь дело со святой инквизицией! Не воображайте, что вам позволят безнаказанно совершать кровавые жертвоприношения. Смелее, мой ревностный Гаспар, – обратился он к приказчику, – выкладывайте все; докажите окончательно, что этот ложный католик упорно придерживается еврейских обычаев и обрядов. Верно ли, что он один день в неделю проводит в праздности?

– Этого я не замечал, – возразил Гаспар. – Но бывают дни, когда он запирается в своем кабинете и сидит там очень долго.

– Так и есть, – воскликнул официал, – или он справляет шабаш, или я не инквизитор! Отметьте, повытчик, отметьте, что он свято соблюдает субботний пост. Ах, гнусная личность! У меня остается еще только один вопрос. Не говорит ли он об Иерусалиме?

– Очень часто, – возразил приказчик. – Он рассказывает нам историю евреев и каким образом они разрушили иерусалимский храм.

– Так-с, – продолжал Амбросио, – не упустите этой черты, повытчик; пишите крупными литерами, что Самуэль Симон день и ночь мечтает о восстановлении храма и не перестает думать о возвеличении своей нации. Я знаю теперь достаточно: дальнейшие вопросы излишни. Таких показаний, как дал нам правдивый Гаспар, хватило бы на то, чтоб сжечь целое гетто.

Допросив таким образом приказчика, господин официал отпустил его, приказав именем святой инквизиции не говорить своему хозяину ни слова о том, что произошло. Гаспар обещал повиноваться и удалился. Мы не замедлили последовать за ним. Выйдя из корчмы с такой же внушительностью, с какою туда вошли, мы отправились к дому Самуэля Симона и постучались в двери. Он сам отворил нам. Увидав три таких фигуры, как наши, он удивился, но его изумление еще возросло, когда Ламела в качестве представителя власти сказал ему повелительно:

– Господин Самуэль, приказываю вам именем святой инквизиции, официалом коей я имею честь состоять, выдать мне ключи от вашего кабинета. Я желаю взглянуть, не найдется ли там каких-либо улик, подтверждающих поступившее на вас донесение.

Купец, ошеломленный этой речью, отпрянул на два шага назад, точно кто-либо угостил его тумачом в живот. Далекий от мысли о каком-либо обмане с нашей стороны, он искренне вообразил, что некий тайный враг задумал навлечь на него подозрение святой инквизиции; возможно также, что он не чувствовал себя безупречным католиком и имел повод ожидать дознания. Но как бы то ни было, я никогда не видал более встревоженного человека. Он повиновался без всякого сопротивления и с той почтительностью, которая свойственна людям, трепещущим перед инквизицией. Когда он отпер кабинет, Ламела вошел туда и сказал:

– Хорошо и то, что вы не противитесь повелениям святой инквизиции. Однако же, – добавил он, – удалитесь в другую комнату и не мешайте мне выполнить свои обязанности.

Самуэль повиновался этому приказу так же безропотно, как и первому. Он остался в своей лавке, а мы втроем вошли в кабинет и, не теряя времени, принялись за поиски денег. Найти их было нетрудно: они хранились в незапертом сундуке и в таком количестве, что мы не могли всего унести. Это были груды наваленных друг на друга мешков, наполненных исключительно серебром. Мы предпочли бы золото, однако, будучи не в силах это изменить, примирились с необходимостью и набили дукатами полные карманы; мы даже насовали их в штанины

и во все места, показавшиеся нам пригодными. Словом, мы нагрузили себя тяжелой ношей, которую, однако, Амбросио и дон Рафаэль ухитрились сделать совершенно незаметной. Увидав такое искусство, я пришел к заключению, что нет ничего важнее, как набить руку в своем ремесле.

Поживившись столь основательным образом, мы вышли из кабинета. По причине, которую читатель легко разгадает, господин официал вытащил из кармана замок и пожелал самолично запереть им двери; затем он наложил печать и сказал Симону:

– Господин Самуэль, запрещаю вам именем святой инквизиции дотрагиваться до этого замка, а равно и до печати, каковую вы обязаны чтить, ибо это печать духовного суда. Я вернусь сюда завтра в то же время, чтоб снять ее и принести вам распоряжение властей.

После этой речи он приказал открыть входную дверь, в которую мы весело вышли один за другим. Пройдя пятьдесят шагов, мы пустились улепетывать с такой быстротой и легкостью, что, несмотря на свою ношу, еле касались земли. Вскоре мы очутились за городом и, сев на коней, поскакали по направлению к Сегорбе, вознося хваления богу Меркурию за столь счастливый исход.

### **Вопросы и задания:**

1. Прочтите предложенные отрывки об авантюрах Жиль Бласа. Можно ли сказать, что перед нами плутовской роман, а Жиль Блас – пикаро?

2. Какие черты характеризуют классический плутовской роман? Какие произведения, написанные ранее в жанре плутовского романа, Вам известны?

3. Можно ли говорить, что к концу романа характер Жиль Бласа трансформируется и уже не укладывается в образ героя-пикаро? Почему?

4. Как можно охарактеризовать отношение автора к современной ему общественно-политической системе? Можно ли провести какие-нибудь параллели с философией того времени?

5. «Жиль Блас – завоеватель жизни», – согласны ли Вы с данным утверждением?

6. Роман, помимо протагониста, содержит массу других персонажей; их характеры так же индивидуализированы и прорисованы, как образ Жиль Бласа?

7. Прочтите предложенную вставную новеллу из романа. Как бы Вы могли определить роль вставных новелл в общем потоке повествования?

8. Если попытаться сопоставить данный роман с другими известными Вам произведениями этого жанра, какие можно выделить особенности? Можно ли сказать, что это реалистический роман?

9. Как бы Вы могли определить общую тональность данного произведения? Есть ли у его героев другие ценности, помимо жадности наживы и денег?

10. Прочтите предложенный отрывок из критической статьи Е. Эткинда. Как Вам кажется, можно ли утверждать, что данный роман – «энциклопедия французской жизни начала XVIII века»? Почему?

11. Что можно сказать о политической сатире в романе? Можно ли сопоставить герцога Лерму с аббатом Дюбуа, а министра Оливареса – с кардиналом Флери?

## Шарль Луи де Секонда, Барон де Монтескьё (1689–1755)

### Предтекстовое задание:

Внимательно прочитайте предложенный отрывок из «Персидских писем» (1721) и обратите внимание на то, как в легенде о троглодитах Монтескьё использует принцип художественной притчи для доказательства философского тезиса о политической, социальной и этической целесообразности соблюдения принципа справедливости.

### Персидские письма *Перевод под ред. Е. А. Гунста*

#### Письмо XI. Узбек к Мирзе в Испагань

Ты отказываешься от своего рассудка, чтобы обратиться к моему; ты снисходишь до того, что спрашиваешь моего совета; ты считаешь, что я могу наставлять тебя. Любезный Мирза! Есть нечто еще более лестное для меня, нежели хорошее мнение, которое ты обо мне составил: это твоя дружба, которой я обязан таким мнением.

Чтобы исполнить то, что ты мне предписываешь, я не вижу надобности прибегать к слишком отвлеченным рассуждениям. Существуют истины, в которых недостаточно убедить кого-либо, но которые надо дать почувствовать; именно таковы истины морали. Может быть, ниже следующий отрывок из истории тронет тебя больше, чем самая проникновенная философия.

Существовало некогда в Аравии небольшое племя, называвшееся троглодитским; оно происходило от тех древних троглодитов, которые, если верить историкам, походили больше на зверей, чем на людей. Наши троглодиты вовсе не были уродами, не были покрыты шерстью, как медведи, не рычали, имели по два глаза, но они были до такой степени злы и свирепы, что не было в их среде места ни началам правосудия, ни началам справедливости.

У них был царь, чужестранец по происхождению, который, желая исправить их злобную природу, обращался с ними сурово; они составили против него заговор, убили его и истребили всю царскую семью.

Затем они собрались, чтобы выбрать правительство, и после долгих разногласий избрали себе начальников. Но едва только должностные лица были избраны, как стали ненавистными троглодитам и тоже были ими перебиты.

Народ, освободившись от нового ига, теперь слушался только своей дикой природы. Все условились, что никому не будут более подчиняться, что каждый будет заботиться лишь о собственной своей выгоде, не считаясь с выгодой других.

Единодушное это решение пришлось по вкусу всем троглодитам. Каждый говорил: зачем изводить себя работой на людей, до которых мне нет никакого дела? Буду думать только о себе. Стану жить счастливо: что мне за дело до того, будут ли счастливы и другие? Я буду удовлетворять все свои потребности; лишь бы у меня было все нужное, – не моя забота, что прочие троглодиты будут бедны.

Настал месяц, когда засевают поля. Каждый говорил: я обработаю свое поле так, чтобы оно дало мне хлеба, сколько мне нужно; большее количество мне ни к чему; не буду трудиться зря.

Земля в этом небольшом царстве не была однородна: были там участки бесплодные, были гористые, были и расположенные в низинах, орошавшиеся многочисленными источниками. В тот год стояла сильная засуха; из-за этого на высоких местах хлеб совсем не уродился, тогда как поля, которые орошались, дали обильный урожай. Поэтому жители гористых местностей

почти все погибли от голода; их соплеменники, по черствости своей, отказались поделиться с ними.

Следующий год был очень дождливым; на возвышенных местах урожай был редкостный, а низменные места оказались затопленными. Опять половина народа подняла вопль от голода, но несчастным пришлось встретиться с такою же черствостью, какую проявили они сами.

У одного из наиболее видных жителей была очень красивая жена. Его сосед влюбился в эту женщину и похитил ее; возникла великая распря; обменявшись изрядным количеством оскорблений и ударов, они в конце концов согласились передать спор на разрешение троглодита, который во времена существования республики пользовался некоторым влиянием. Они пошли к нему и хотели было изложить свои притязания. «Какое мне дело, – сказал этот человек, – до того, будет эта женщина принадлежать тебе или ему? Мне нужно обрабатывать свое поле. Не буду же я тратить время на улаживание ваших разногласий и на устройство ваших дел и пренебрегать своими собственными! Оставьте меня в покое и не докучайте больше своими пререканиями». С этими словами он их покинул и отправился на свой участок. Похититель, который был сильнее, поклялся, что скорее умрет, нежели возвратит женщину, а другой, возмущенный несправедливостью соседа и черствостью судьи, возвращался домой в ярости, и вот на дороге встретилась ему шедшая от источника молодая и красивая женщина. Жены у него больше не было, женщина ему понравилась, и понравилась еще больше, когда он узнал, что она жена того, кого он хотел пригласить в судьи и кто оказался столь мало чувствительным к его горю. Он ее похитил и привел в свой дом.

У некоего человека было довольно плодородное поле, которое он возделывал с большим тщанием. Двое его соседей стакнулись, выгнали его из дома, захватили его землю. Они заключили между собою союз, чтобы защищаться от тех, кто вздумает отнять у них это поле; и действительно благодаря этому союзу они продержались в течение нескольких месяцев. Но один из них, наскучив делиться с другим тем, чем он мог бы владеть один, убил своего сообщника и сделался единственным обладателем участка. Его владычество продолжалось недолго: два других троглодита напали на него, он оказался слишком слабым, чтобы защищаться, и был зарезан.

Один почти совсем нагой троглодит увидел шерсть, выставленную на продажу; он спросил о цене; купец подумал: «Правда, я должен был бы выручить от продажи шерсти столько денег, сколько нужно для покупки двух мер зерна, но я продам ее вчетверо дороже и куплю восемь мер». Покупателю пришлось согласиться и уплатить запрошенную цену. «Вот хорошо, – сказал купец, продавший шерсть, – теперь я буду с зерном». – «Что ты говоришь, – подхватил покупатель, – тебе нужно зерно? У меня есть продажное; но вот только цена тебя, пожалуй, удивит. Ведь ты знаешь, хлеб нынче чрезвычайно дорог, и голод царит почти повсеместно. Верни мне мои деньги, и я дам тебе меру зерна: иначе я не продам, хотя бы тебе предстояло сдохнуть с голода».

Между тем жестокая болезнь опустошала страну. Из соседней страны прибыл искусный врач и так удачно лечил, что вылечивал всякого, кто обращался к нему за помощью. Когда мор прекратился, врач пошел за вознаграждением к тем, кого лечил; однако он всюду встретил отказ; он возвратился на родину, крайне устав от долгого путешествия. Но вскоре он узнал, что та же болезнь вновь дала себя знать и пуще прежнего опустошает эту неблагоприятную страну. На сей раз жители сами поспешили к врачу, не дожидаясь, чтобы он приехал к ним.

«Ступайте прочь, несправедливые люди, – сказал он, – у вас в душе яд, губительнее того, от которого вы хотите лечиться; вы недостойны занимать место на земле, ибо вы бесчеловечны и справедливость вам неведома; я бы оскорбил богов, которые наказывают вас, если бы стал препятствовать их справедливому гневу».

*Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 3-го дня, 1711 года.*

## Письмо XII. Узбек к нему же в Испагань

Ты видел, любезный мой Мирза, как троглодиты погибли из-за своей же злобы и сделались жертвами собственных несправедливых поступков. Из множества семейств осталось только два; они избежали участи, постигшей весь народ. Было в этой стране двое очень странных людей: они были человечны, знали, что такое справедливость, любили добродетель; они были связаны друг с другом столько же прямою своих сердец, сколько испорченностью сердец – их соплеменники; общее разорение вызывало в них сострадание, и это явилось поводом к еще более крепкому союзу. Заботливо трудились они сообща на общую пользу; между ними не возникало иных разногласий, кроме тех, какие порождаются кроткой и нежной дружбой, и в самой уединенной местности, вдали от соплеменников, недостойных их присутствия, они вели жизнь счастливую и спокойную: казалось, земля, возделываемая этими добродетельными руками, сама собою производит хлеб.

Они любили своих жен и были нежно любимы ими. Все внимание их было направлено на то, чтобы воспитать детей в добродетели. Они беспрестанно говорили им о несчастьях соплеменников и обращали их внимание на столь печальный пример; в особенности старались они внушить детям, что выгода отдельных лиц всегда заключается в выгоде общественной, что желать отрешиться от последней – значит желать собственной гибели, что добродетель не должна быть нам в тягость, что отнюдь не следует считать ее постылой обязанностью и что справедливость по отношению к ближнему есть милосердие по отношению к нам самим.

Скоро выпало им на долю утешение, являющееся наградой добродетельных отцов: дети стали похожи на них. Молодое племя, выросшее на их глазах, умножилось путем счастливых браков: семьи разрослись, союз оставался неизменным, и добродетель, отнюдь не ослабевшая от многолюдности, наоборот, укрепилась благодаря большому числу примеров.

Какими словами описать счастье этих троглодитов? Боги не могли не любить столь справедливый народ. Как только раскрыл он глаза, чтобы познать богов, так научился их страшиться; и религия смягчила в нравах то, что еще оставалось в них от природы слишком грубого.

Троглодиты учредили праздники в честь богов. Девушки, украшенные цветами, и юноши прославляли их плясками и звуками незатейливой музыки; затем следовали пиршества, на которых веселье царило наравне с воздержностью. На этих-то собраниях и подавала голос бесхитростная природа; там научались приносить в дар и принимать сердца; там девичья стыдливость, краснея, делала нечаянное признание, которое вскоре затем подтверждалось согласием родителей, и там нежные матери радовались, предугадывая сладостный и верный союз.

Троглодиты посещали храм, чтобы испросить милости богов: не богатств и обременительного изобилия просили они – таких недостойных желаний не было у счастливых троглодитов: богатств желали они только для своих соплеменников.

Они приходили к алтарю лишь для того, чтобы просить о здоровье своих отцов, о согласии братьев, о нежности жен, о любви и послушании детей. Девушки приходили туда, чтобы принести свое нежное сердце, и каждая просила у богов одной только милости: позволить ей составить счастье троглодита.

Вечерами, когда стада покидали пастбища и усталые волы привозили домой плуги, троглодиты собирались вместе и за умеренной трапезой пели о несправедливости первых троглодитов и их бедствиях, о добродетели, возродившейся с новым народом, и о блаженстве последнего; потом воспевали они величие богов, милости, всегда даруемые ими тем, кто просит, и неминуемый гнев богов на тех, кто их не страшится; они описывали затем прелести сельской жизни и блаженство человека, украшенного невинностью. Вскоре они отходили ко сну, и его никогда не прерывали заботы и горести.

Природа щедро удовлетворяла их потребности и даже прихоти. Этой блаженной стране чужда была жадность: здесь постоянно делали друг другу подарки, и тот, кто давал, всегда почитал себя в выигрыше. Племя троглодитов чувствовало себя как бы единою семьей: стада их всегда были смешаны; троглодиты не хотели их делить – и это была единственная трудность, от которой они уклонялись.

*Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 6-го дня, 1711 года.*

### **Письмо XIII. Узбек к нему же**

Я бы мог без конца говорить тебе о добродетели троглодитов. Один из них сказал однажды: «Мой отец должен завтра пахать; я встану двумя часами раньше него, и когда он придет на поле, то найдет его уже распаханым».

Другой думал: «Мне кажется, что сестра моя чувствует расположение к молодому троглодиту, нашему родственнику; надо мне поговорить с отцом и склонить его согласиться на этот брак».

Третьему говорят, что воры угнали его стадо. «Очень досадно, – отвечает он, – там была совершенно белая телочка, которую я собирался принести в жертву богам».

А иной говорил друзьям: «Мне следует пойти в храм и воздать благодарение богам, ибо мой брат, столь любимый отцом и обожаемый мною, выздоровел».

Или вот: «По соседству с участком моего отца есть другой, и люди, возделывающие его, по целым дням работают под жгучими лучами солнца; надо будет сходить туда и посадить два дерева, чтобы эти бедные люди могли время от времени отдыхать под их тенью».

Как-то раз, во время собрания троглодитов, некий старец завел речь о юноше, которого он заподозрил в дурном поступке, и упрекнул его в этом. «Нам не верится, что он совершил это преступление, – возразили молодые троглодиты, – но если он его действительно совершил, то пусть в наказание переживет всю свою семью!»

Одному троглодиту сказали, что чужестранцы разграбили его дом и все унесли с собой. «Если бы они не были несправедливы, – ответил он, – я пожелал бы, чтобы боги позволили им пользоваться моим имуществом дольше, чем пользовался им я сам».

Столь великое благополучие не могло не возбуждать зависти: соседние народы объединились и решили, под пустым предлогом, угнать стада троглодитов. Как только стало известно об этом намерении, троглодиты отправили к ним послов, которые сказали следующее: «Что сделали вам троглодиты? Похищали они ваших жен, угоняли ваши стада, опустошали ваши деревни? Нет! Мы справедливы и богобоязненны. Чего же вы требуете от нас? Хотите ли шерсти для изготовления одежды? Желаете ли молока от наших стад или плодов нашей земли? Бросьте оружие, приходите к нам, и мы дадим вам все это. Но клянемся вам всем, что только есть самого святого, что если вы вторгнетесь в наши пределы как враги, мы будем считать вас народом несправедливым и поступим с вами, как с хищными зверьми».

Слова эти были отвергнуты с презрением; дикие народы вступили с оружием в руках на землю троглодитов, предполагая, что последних защищает только их невинность.

Но троглодиты были хорошо подготовлены к обороне. Жен и детей они поместили в середину. Их изумляла не численность врагов, а их несправедливость. Новый пыл охватил сердца троглодитов: один хотел умереть за отца, другой за жену и детей, тот за братьев, иной за друзей, все – за свой народ. Место павшего немедленно заступал другой, и, ратуя за общее дело, он горел также желанием отомстить и за смерть своего предшественника.

Таков был бой между несправедливостью и добродетелью. Подлые народы, искавшие только добычи, не устыдились обратиться в бегство; их не трогала добродетель троглодитов, но им пришлось уступить ей. Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 9-го дня, 1711 года.

## Письмо XIV. Узбек к нему же

Племя с каждым днем разрасталось, и троглодиты пришли к мысли, что пора им выбрать себе царя. Они решили, что надо предложить венец самому справедливому, и взоры всех обратились на некоего старца, уважаемого за возраст и давнюю добродетель. Он не захотел присутствовать на этом собрании; он удалился домой с сердцем, стесненным печалью.

Когда к нему отправили посланцев, чтобы сообщить, что выбор пал на него, он сказал: «Да избавит меня бог причинить несправедливость троглодитам, дав повод думать, будто нет среди них никого справедливее меня. Вы предлагаете мне венец, и, если вы настаиваете на этом, мне придется его принять, но имейте в виду, что я умру от скорби, ибо при рождении я застал троглодитов свободными, а теперь увижу их поработанными». С этими словами он горько заплакал. «Несчастный день! – воскликнул он. – И зачем прожил я так долго?» Потом он вскричал суровым голосом: «Я понимаю, что все это означает, троглодиты! Ваша добродетель начинает тяготить вас. В вашем теперешнем положении вам приходится, не имея вождя, быть добродетельными, хотите вы этого или нет: иначе вы не могли бы существовать и вас постигли бы те же беды, которые преследовали ваших предков. Но это ярмо кажется вам слишком тяжелым: вы предпочитаете подчиниться государю и повиноваться его законам, – менее строгим, чем ваши нравы. Вы знаете, что тогда вам можно будет удовлетворять свое честолюбие, приобретать богатство и предаваться низкому вожделению и что вы не будете нуждаться в добродетели, лишь бы только избегали больших преступлений». Он умолк на мгновение, и слезы полились у него пуще прежнего. «Что же, по вашему мнению, мне делать? Как могу я приказать что-либо троглодиту? Вы хотите, чтобы он совершал добродетельные поступки потому, что я приказал ему их совершать, – ему, который и без меня совершал бы их просто по врожденной склонности? О троглодиты! Я у исхода дней моих, кровь остыла в моих жилах, скоро увижу я священных ваших предков; почему же хотите вы, чтобы я их огорчил, сказав им, что я оставил вас под ярмом иным, чем ярмо добродетели?»

*Из Эрзерума, месяца Джеммади 2, 10-го дня, 1711 года.*

## Письмо XXVI. Узбек к Роксане в Испаганский сераль

Какая счастливица ты, Роксана, что находишься в милой Персии, а не в здешних тлетворных местах, где люди не ведают ни стыда ни добродетели! Какая ты счастливица! Ты живешь в моем сердце, как в обители невинности, недоступная посягательствам смертных; ты радостно пребываешь в благостной невозможности греха. Никогда не осквернял тебя мужчина своими похотливыми взорами; даже твой свекор в непринужденной обстановке пира никогда не видел твоих прекрасных уст – ты неизменно надеваешь священную повязку, чтобы прикрыть их. Счастливая Роксана! Когда ты была на даче, тебя всюду сопровождали евнухи, шедшие впереди тебя, чтобы предать смерти любого дерзкого, не бежавшего при твоём приближении. Даже мне самому, которому небо даровало тебя на радость, сколько усилий пришлось употребить, прежде чем стать властелином того сокровища, которое ты защищала с таким упорством!

Каким горем было для меня в первые дни нашего брака, что я не вижу тебя! И каково было мое нетерпение, когда я тебя увидел! Ты, однако, не удовлетворила его: напротив, ты его дразнила упрямыми отказами, внушенными встревоженной стыдливостью, ты смешивала меня со всеми мужчинами, от которых беспрестанно пряталась. Помнишь ли день, когда я потерял тебя среди твоих рабынь, которые изменили мне и спрятали тебя от моих поисков? Помнишь ли ты тот другой день, когда, видя, что слезы не помогают, ты прибегла к авторитету своей матери, чтобы поставить преграду неистовству моей любви? Помнишь ли, как, исчерпав все возможности, ты прибегла к тем средствам, какие обрела в своем мужестве? Ты взяла

кинжал и угрожала заколоть любящего тебя супруга, если он не перестанет требовать от тебя того, что ты ценила дороже самого мужа? Два месяца прошли в этом сражении любви и добродетели. Ты зашла слишком далеко в целомудренной стыдливости; ты не сдалась даже после того, как была побеждена: ты до последней крайности защищала умиравшую девственность, ты относишься ко мне, как к врагу, нанесшему тебе оскорбление, а не как к любящему супругу. Больше трех месяцев не могла ты взглянуть на меня не краснея; твой смущенный вид, казалось, упрекал меня за победу. Я даже не мог спокойно обладать тобой: ты скрывала от меня все, что могла, из твоих чарующих прелестей, и я пьянел от великого дара, в то время как в мелких дарах мне еще отказывали. Если бы ты была воспитана в здешней стране, ты бы так не смущалась. Женщины потеряли тут всякую сдержанность: они появляются перед мужчинами с открытым лицом, словно просят о собственном поражении, они ищут мужчин взорами; они видят мужчин в мечетях, на прогулках, даже у себя дома; обычай пользоваться услугами евнухов им неизвестен. Вместо благородной простоты и милой стыдливости, которые царствуют в вашей среде, здесь видишь грубое бесстыдство, к которому невозможно привыкнуть.

Да, Роксана, если бы ты была здесь, ты почувствовала бы себя оскорбленной тем ужасным позором, до которого дошли женщины, ты бежала бы этих отвратительных мест и вздыхала бы о том тихом убежище, где ты обретаешь невинность, где ты уверена в самой себе, где никакая опасность не приводит тебя в трепет, где, наконец, ты можешь любить меня, не опасаясь когда-либо утратить любовь, которую ты обязана питать ко мне.

Когда ты усиливаешь блеск цвета лица твоего самыми красивыми красками, когда ты умащаешь тело самыми драгоценными благовониями, когда надеваешь самые прекрасные свои наряды, когда стремишься выделиться среди подруг изяществом пляски и нежностью своего пения, когда ты так мило состязаясь с ними в очаровании, кротости, игривости, я не могу себе представить, чтобы ты преследовала какую-нибудь иную цель, кроме одной-единственной: понравиться мне; а когда я вижу, как ты скромно краснеешь, как твои взоры ищут моих, как ты вкрадчиво проникаешь в мое сердце с помощью ласковых и нежных слов, я не могу, Роксана, сомневаться в твоей любви.

Но что мне думать о европейских женщинах? Их искусство румяниться и сурьмиться, побрякушки, которыми они украшают себя, их постоянная забота о собственной особе, их неутолимое желание нравиться – все это пятна на их добродетели и оскорбления для их мужей.

Это не значит, Роксана, что я считаю их способными зайти так далеко в преступлении, как то можно было бы предполагать, судя по их поведению, и что они доводят свою развращенность до ужасного, в содрогание приводящего распутства – до полного нарушения супружеской верности. Женщин, настолько развратных, чтобы дойти до этого, немного: в их сердцах живет известная добродетель, которой они наделены от рождения; воспитание ослабляет ее, но не разрушает. Они могут отступать от внешних обязательств, внушаемых стыдливостью, но если дело доходит до последнего шага, природа их возмущается. А когда мы так крепко запираем вас, приставляем к вам для стражи столько рабов, сдерживаем ваши желания, если они заходят слишком далеко, – мы делаем все это не потому, что боимся роковой неверности, а потому, что знаем, что не должно быть предела вашей чистоте и что малейшее пятнышко может загрязнить ее.

Мне жаль тебя, Роксана. Твое столь долго испытываемое целомудрие заслуживало бы такого супруга, который бы никогда не покидал тебя и сам укрощал бы желания, подавлять которые под силу только твоей добродетели.

*Из Парижа, месяца Реджеба 7-го дня, 1712.*



## Письмо XXIX. Рика к Иббену в Смирну

Папа – глава христиан. Это старый идол, которому кадят по привычке. Когда-то его боялись даже государи, потому что он смешал их с такой же легкостью, с какой наши великолепные султаны смешают царей Имеретии и Грузии. Но теперь его уже больше не боятся. Он называет себя преемником одного из первых христиан, которого зовут апостолом Петром, и это несомненно – богатое наследие, так как под владычеством папы находится большая страна и огромные сокровища.

Епископы – это законники, подчиненные папе и выполняющие под его началом две весьма различные обязанности. Когда они находятся в соборе, то, подобно папе, составляют догматы веры; а у каждого из них в отдельности нет другого дела, как только разрешать верующим нарушать эти догматы. Надо тебе сказать, что христианская религия изобилует очень трудными обрядами, и так как люди рассудили, что менее приятно исполнять обязанности, чем иметь епископов, которые освобождают от этих обязанностей, то ради общественной пользы и приняли соответствующее решение. Поэтому, если кто-нибудь не хочет справлять рамазан, подчиняться определенным формальностям при заключении брака, желает нарушить данные обеты, жениться вопреки запрету закона, а иногда даже преступить клятву, то он обращается к епископу или к папе, которые тотчас же дают разрешение.

Епископы не сочиняют догматов веры по собственному побуждению.

Существует бесчисленное количество ученых, большею частью дервишей, которые поднимают в своей среде тысячи новых вопросов касательно религии; им предоставляют долго спорить, и распря продолжается до тех пор, пока не будет принято решение, которое положит ей конец.

Поэтому могу тебя уверить, что никогда не было царства, в котором происходило бы столько междоусобиц, как в царстве Христа.

Тех, которые выносят на свет божий какое-нибудь новое предложение, сначала называют еретиками. Каждая ересь имеет свое имя, которое является как бы объединяющим словом для ее сторонников. Но кто не хочет, тот может и не считаться еретиком: для этого человеку нужно только придерживаться инакомыслия лишь наполовину и установить различие между собою и теми, кого обвиняют в ереси; каким бы это различие ни было – вразумительным или невразумительным – его достаточно, чтобы обелить человека и чтобы отныне он мог называться правоверным.

То, о чем я тебе рассказываю, относится к Франции и Германии, а в Испании и Португалии, говорят, есть такие дервиши, которые совершенно не понимают шуток и жгут людей, как солону. Когда кто-нибудь попадает в их руки, то счастлив он, если всегда молился богу с маленькими деревянными зернышками в руках, носил на себе два куска сукна, пришитых к двум лентам, и побывал в провинции, называемой Галисией! Без этого бедняге придется туго. Как бы он ни клялся в своей правоверии, его клятвам не поверят и сожгут его как еретика; как бы он ни доказывал свое отличие от еретика, – никаких отличий! Он превратится в пепел раньше, чем кто-нибудь подумает его выслушать.

Иные судьи заранее предполагают невинность обвиняемого, эти же всегда заранее считают его виновным. В случае сомнения они непременно склоняются к строгости, – очевидно потому, что считают людей дурными. Но, с другой стороны, они такого хорошего мнения о людях, что не считают их способными лгать, ибо придают значение свидетельским показаниям смертельных врагов обвиняемого, женщин дурного поведения, людей, занимающихся скверным ремеслом. В своих приговорах они обращаются со словами ласки к людям, одетым в рубашку, пропитанную серой, и заверяют, что им очень досадно видеть приговоренных в такой

плохой одежде, что они по природе кротки, страшатся крови и в отчаянии от того, что осудили их; а чтобы утешиться, они отчуждают в свою пользу все имущество этих несчастных.

Благословенна страна, обитаемая детьми пророков! Такие прискорбные зрелища там неведомы. Святая вера, которую принесли в нее ангелы, защищается собственной своею истинностью: ей нет нужды в насилии, чтобы процветать.

*Из Парижа, месяца Шальвала 4-го дня, 1712 года.*

### **Письмо XXXVII. Узбек к Иббену в Смирну**

Король Франции стар. У нас в истории не найдется примера столь долгого царствования. Как слышно, этот монарх в очень высокой степени обладает талантом властвовать: с одинаковой ловкостью управляет он своею семьей, двором, государством. Не раз он говорил, что из всех правительств на свете ему больше всего по нраву турецкое и нашего августейшего султана: так высоко ценит он восточную политику.

Я изучал его характер и обнаружил в нем противоречия, которые никак не могу объяснить: есть у него, например, министр, которому всего восемнадцать лет, и возлюбленная, которой восемьдесят; он верен своей религии и в то же время терпеть не может тех, кто говорит, что ее нужно соблюдать неукоснительно; хотя он бежит от городского шума и мало с кем общается, он тем не менее с утра до вечера занят только тем, чтобы дать повод говорить о себе; он любит трофеи и победы, однако так же боится поставить хорошего генерала во главе своих войск, как боялся бы его во главе неприятельской армии. Я думаю, что только с ним одним могло случиться, что он в одно и то же время обладает такими несметными богатствами, о каких даже монарх может только мечтать, и удручен такою бедностью, которая даже простому человеку была бы в тягость.

Он любит награждать тех, кто ему служит, но одинаково щедро оплачивает как усердие, или, вернее, безделье, придворных, так и трудные походы полководцев; часто он предпочитает человека, который помогает ему раздеться или подает ему салфетку, когда он садится за стол, – тому, кто берет для него города или выигрывает сражения; он думает, что царственное величие не должно быть ничем стеснено в даровании милостей и, не разбираясь, заслуженно ли он осыпал того или иного милостями, полагает, что самый его выбор уже делает человека достойным монаршего благоволения. Так, например, некоему человеку, убежавшему от неприятеля на две мили, он дал ничтожную пенсию, а тому, кто убежал на четыре, – целую губернию.

Он окружен великолепием – я имею в виду прежде всего его дворцы; в его садах больше статуй, чем жителей в ином большом городе. Его гвардия почти так же сильна, как гвардия государя, перед которым падают ниц все троны; его войска столь же многочисленны, его возможности так же велики, а казна столь же неисчерпаема.

*Из Парижа, месяца Махаррама 7-го дня, 1713 года.*

### **Письмо XXXVIII. Рика к Иббену в Смирну**

Большой вопрос для мужчин: выгоднее ли отнять свободу у женщин, чем предоставить ее им? Мне кажется, есть много доводов и за и против. Европейцы считают, что невеликодушно причинять огорчения тем, кого любишь, а наши азиаты отвечают, что для мужчин унизительно отказываться от власти над женщинами, которую сама природа предоставила им. Если азиатам говорят, что большое число запертых женщин обременительно, то они отвечают, что десять послушных жен менее обременительны, чем одна непослушная. А когда азиаты в свою очередь возражают, что европейцы не могут быть счастливы с неверными женами, они получают в ответ, что верность, которой они так хвастаются, не мешает отвращению, всегда наступаю-

щему вслед за удовлетворением страсти; что наши женщины слишком уж наши; что такое спокойное обладание не оставляет нам ни желаний, ни опасений; что немного кокетства – соль, обостряющая вкус и предупреждающая порчу. Пожалуй, иной, и поумнее меня, затруднится решить это, ибо если азиаты очень стараются о том, как бы найти средства, могущие успокоить их тревогу, то европейцы много делают для того, чтобы вовсе ее не испытывать.

«В конце концов, – говорят они, – если бы мы оказались несчастны в качестве мужей, мы всегда найдем средство утешиться в качестве любовников.

Лишь в том случае муж был бы вправе жаловаться на неверность своей жены, если бы на свете было только три человека; но люди всегда достигнут цели, если их будет хотя бы четверо».

Другой вопрос, подчиняет ли женщин мужчинам естественный закон. «Нет, – сказал мне однажды один весьма галантный философ, – природа никогда не предписывала такого закона. Власть наша над женщинами – настоящая тирания; они только потому позволили нам захватить ее, что они мягче нас и, следовательно, человечнее и разумнее. Эти преимущества их перед нами несомненно дали бы женщинам превосходство, если бы мы были рассудительнее; в действительности же эти качества повлекли за собою утерю женщинами превосходства, ибо мы вовсе не рассудительны».

Однако если верно, что мы имеем над женщинами только тираническую власть, то не менее верно и то, что их власть над нами естественна: это власть красоты, которой ничто не в силах сопротивляться. Наша власть над женщинами распространена не во всех странах, а власть красоты повсеместна. На чем же может основываться наше преимущество? На том, что мы сильнее? Но это отнюдь не справедливо. Мы пускаем в ход всякого рода средства, чтобы лишить их храбрости. Если бы одинаково было воспитание, силы были бы равны. Испытаем их в тех талантах, которые не ослаблены воспитанием, и посмотрим, так ли уж мы сильны.

Надо признаться, хотя это и противно нашим нравам: у самых цивилизованных народов жены всегда имели влияние на своих мужей; у египтян это было установлено законом в честь Изиды, у вавилонян – в честь Семирамиды. О римлянах говорили, что они повелевают всеми народами, но повинуются своим женам. Я уж молчу о савроматах, которые находились прямо-таки в рабстве у женщин: они слишком были варварами, чтобы приводить их в пример.

Как видишь, дорогой Иббен, мне пришлось по вкусу эта страна, где любят придерживаться крайних мнений и все сводить к парадоксам. Пророк решил этот вопрос и определил права того и другого пола. «Жены, – говорит он, – должны почитать своих мужей, мужья должны почитать жен; но мужья все же на одну ступень выше, чем жены».

## **Письмо XLIV. Узбек к Реди в Венецию**

Во Франции есть три сословия: священнослужители, военные и чиновники. Каждое из них глубоко презирает два других: того, например, кого следовало бы презирать лишь потому, что он дурак, часто презирают только потому, что он принадлежит к судейскому сословию.

Нет таких людей, до самого последнего ремесленника, которые не спорили бы о превосходстве избранного ими ремесла; каждый превозносится над тем, у кого другая профессия, в соответствии с мнением, которое он составил себе о превосходстве своего занятия.

Все люди более или менее походят на ту женщину из Эриванской провинции, которой оказал милость один из наших монархов: призывая на него благословения, она тысячу раз пожелала ему, чтобы небо сделало его губернатором Эривани.

Я прочитал в одном донесении, что французский корабль пристал к берегам Гвинеи и несколько человек из экипажа сошло на сушу, чтобы купить баранов. Их повели к королю, который, сидя под деревом, чинил суд над своими подданными. Он восседал на троне, сиречь на деревянной колоде, с такой важностью, словно то был престол Великого Могола; при нем было три-четыре телохранителя с деревянными копьями; зонтик вроде балдахина защищал

его от палящего солнца; все украшения его и королевы, его супруги, заключались в их черной коже да нескольких кольцах. Этот жалкий, но еще более того чванливый государь спросил у иностранцев, много ли говорят о нем во Франции. Он был убежден, что его имя гремит повсюду, от полюса до полюса, и в отличие от того завоевателя, о котором говорят, что он заставил молчать весь земной шар, был уверен, что дал всей вселенной повод беспрестанно говорить о себе.

Когда татарский хан кончает обед, глашатай объявляет, что теперь все государи мира могут, если им угодно, садиться за стол, и этот варвар, питающийся одним только молоком, промышляющий разбоем и не имеющий даже лачуги, считает всех земных королей своими рабами и намеренно оскорбляет их по два раза в день.

*Из Парижа месяца Реджеба 28-го дня, 1713 года.*

## **Письмо LI. Наргум, персидский посол в Московии, к Узбеку в Париж**

Мне пишут из Испагани, что ты уехал из Персии и в настоящее время находишься в Париже. Как досадно, что я получаю известие о тебе от других, а не от тебя самого!

По повелению царя царей я уже пять лет живу в этой стране, где занят кое-какими важными переговорами.

Тебе известно, что царь – единственный из христианских государей, чьи интересы имеют общее с интересами Персии, потому что он такой же враг турок, как и мы.

Его государство больше нашего, ибо от Москвы до последней его крепости, расположенной в стороне Китая, насчитывают тысячу миль.

Он полный властелин над жизнью и имуществом своих подданных, которые все рабы за исключением четырех семейств. Наместник пророков, царь царей, кому небо служит балдахин, а земля – подножием, не так страшен в проявлениях своей власти.

Принимая во внимание ужасный климат Московии, трудно поверить, что изгнание из нее может служить карою, и, однако, когда какой-нибудь вельможа попадает в опалу, его ссылают в Сибирь.

Подобно тому как наш пророк запрещает нам пить вино, так царь запрещает его москвитам.

У них отнюдь не персидская манера принимать гостей. Как только посторонний придет в дом, муж представляет ему свою жену; гость целует ее, и это считается вежливостью, оказанной мужу.

Хотя отцы невест при заключении брачного договора требуют обычно, чтобы муж не стегал жену плетью, тем не менее просто невозможно поверить, до чего москвитянки любят, чтобы их били<sup>58</sup>. Жена не верит, что сердце мужа принадлежит ей, если он ее не колотит. Тогда его поведение считается свидетельством непростительного равнодушия. Вот письмо, которое одна москвитянка написала недавно своей матери:

«Любезная матушка!

Я самая несчастная женщина на свете; чего я только не делала, чтобы муж полюбил меня, а мне это так и не удалось. Вчера у меня дома была пропасть дел, а я ушла со двора на весь день, надеясь, что по возвращении он меня здорово отколотит, а он не сказал мне ни слова. Вот у сестры совсем не так: муж бьет ее всякий день; она не может взглянуть на мужчину, чтобы муж тотчас же ее не оттрепал; они крепко любят друг друга и живут в полном согласии.

Она очень чванится этим, но я-то уж не дам ей долго надо мной куражиться. Я решила любой ценой заслужить любовь мужа: я так буду его бесить, что ему волей-неволей придется

---

<sup>58</sup> «москвитянки любят, чтобы их били» – Эти нравы теперь переменялись. (Прим. авт.).

проявить свои чувства. Про меня не будут говорить, что меня не бьют и что дома меня никто даже не замечает. При малейшем щелчке по носу, который он мне даст, я примусь голосить изо всех сил, чтобы подумали, что он бьет меня по-настоящему, а если кто-нибудь из соседей прибежит на помощь, я его, ей-ей, задушу. Умоляю вас, любезная матушка, растолкуйте вы моему благоверному, что он обращается со мной дурно. Ведь вот батюшка, такой хороший человек, поступал совсем иначе: помнится, мне иногда казалось, когда я была маленькой, что он даже слишком вас любит.

Обнимаю вас, милая матушка».

Московитам запрещено выезжать из своего государства, хотя бы даже для путешествия. Таким образом, будучи отделены от других народов законами своей страны, они сохранили древние обычаи и привержены к ним тем сильнее, что и не предполагают, что могут быть другие.

Но царствующий ныне государь решил все переменить. У него вышла большая распря с ними по поводу бород, а духовенство и монахи немало боролись, отстаивая свое невежество.

Он стремится к тому, чтобы процветали искусства, и ничем не пренебрегает, чтобы прославить в Европе и Азии свой народ, до сих пор всеми забытый и известный только у себя на родине. Беспокойный и стремительный, этот монарх разъезжает по своим обширным владениям, всюду проявляя свою природную суровость.

Он покидает родную страну, словно она тесна для него, и отправляется в Европу искать новых областей и новых царств.

Обнимаю тебя, дражайший Узбек. Извести меня о себе, заклиная тебя.

*Из Москвы, месяца Шальвала 2-го дня, 1713 года.*

## **Письмо СХХI. Узбек к нему же**

Следствием колонизации обычно бывает ослабление стран, высылающих колонии, причем не заселяются и страны колонизируемые.

Людям следует оставаться на своих местах: существуют болезни, происходящие от перемены хорошего воздуха на дурной, и такие, которые вызываются просто переменой климата.

Воздух, как и растения, насыщен в каждой стране частицами ее почвы. Он до такой степени действует на нас, что им определяется наш темперамент. Перенесясь в другую страну, мы заболеваем. Так как жидкие элементы нашего организма привыкли к определенной консистенции, а твердые – к известному распорядку, то и тем, и другим свойственна определенная степень движения; иной они уже не выносят и всячески сопротивляются новым условиям.

Если страна безлюдна, то это является следствием какого-нибудь особого порока в свойствах почвы и климата. И когда в такую страну переселяют людей из благодатного климата, то поступают как раз обратно тому, чего намеревались достигнуть.

Римляне знали это по опыту: они отправляли всех преступников на Сардинию и туда же переселяли евреев. Приходилось мириться с их потерей, но римлянам это было нетрудно ввиду презрения, которое они питали к этим несчастным.

Великий Шах-Аббас, стремясь лишить турок возможности содержать большие армии на границах, выселил почти всех армян из их страны и послал в провинцию Гилян больше двадцати тысяч семейств, которые в короткое время почти все погибли.

Попытки переселять людей, делавшиеся в Константинополе, никогда не удавались.

Огромное количество негров, о которых мы говорили выше, нисколько не наполнило Америку.

Со времени истребления евреев при Адриане Палестина остается безлюдной.

Итак, следует признать, что великие избиения почти непоправимы, потому что народ, численность которого падает ниже известного уровня, прозябает потом в том же положении, а если он паче чаяния и возродится, то для этого нужны века.

Если же к состоянию упадка прибавится еще хотя бы малейшее из тех обстоятельств, о которых я тебе говорил, народ не только никогда не возродится, но будет чахнуть день ото дня и клониться к полному вымиранию.

Изгнание мавров из Испании и поныне дает себя знать, как и в первые дни: образовавшаяся пустота не только не заполняется, но все время растет.

Со времени опустошения Америки испанцам, занявшим место ее древних обитателей, так и не удалось вновь ее заселить: наоборот, благодаря какому-то року, который лучше бы назвать божественной справедливостью, истребители сами себя истребляют и изводятся с каждым днем.

Следовательно, государям отнюдь не следует надеяться заселить с помощью колоний большие пространства. Я не отрицаю, иной раз это удается: бывают такие счастливые в климатическом отношении места, что люди там неуклонно размножаются: свидетельством этому служат острова<sup>59</sup>, куда некоторые корабли высадили больных, а больные сразу же там выздоровели, и вскоре население островов разрослось.

Но даже если бы колонии преуспевали, то, вместо того чтобы увеличить могущество метрополии, они бы только его раздробили, за исключением тех случаев, когда колонии очень невелики по занимаемому ими пространству, как те, например, которые высылаются, чтобы занять какую-нибудь точку для торговли.

Карфагеняне, так же как и испанцы, открыли Америку, или по крайней мере большие острова, и вели там обширную торговлю. Но когда они заметили, что число обитателей Карфагена при этом уменьшается, мудрое правительство республики запретило своим подданным снаряжать суда для этой торговли.

Я осмеливаюсь утверждать, что, вместо того чтобы направлять в Индию испанцев, следовало бы переселить в Испанию индийцев и метисов; нужно было бы вернуть этому государству все его рассеянные повсюду народы, и если бы сохранилась только половина жителей его больших колоний, то Испания сделалась бы самой грозной державой в Европе.

Империи можно сравнить с деревом, слишком разросшиеся ветви которого высасывают весь сок из ствола и способны только бросать тень.

Пример испанцев и португальцев лучше всего может излечить государей от страсти к далеким завоеваниям.

Эти две нации, с непостижимой быстротой покорив необъятные государства и больше удивившись своим победам, чем побежденные – своему поражению, задумались о средствах к их сохранению и избрали для этого каждая свой путь.

Испанцы, не надеясь удержать побежденные народы в повиновении, решили истребить их и послать на их место из Испании верных людей. Ужасный план был выполнен с необыкновенной точностью. На глазах у всех народ, по численности равнявшийся всем народам Европы, вместе взятым, исчез с лица земли при появлении этих варваров, которые, открывая Индию, задавались, казалось, только целью показать, до каких пределов может быть доведена жестокость.

Благодаря такому варварству испанцы сохранили эту страну под своим владычеством. Суди по этому, насколько пагубны завоевания, раз они приводят к таким следствиям: ведь в конце концов это ужасное средство было единственным. Как бы иначе могли они удержать в повиновении столько миллионов людей? Как можно было вести гражданскую войну из такой дали? Что бы с ними случилось, если бы они дали этим народам время прийти в себя от удивле-

---

<sup>59</sup> Узбек говорит, вероятно, об острове Бурбон.

ния, вызванного появлением новых богов, и оправиться от страха перед их громовыми стрелами?

Что касается португальцев, то они избрали противоположный путь – они не проявили жестокости. Зато вскоре их выгнали из всех открытых ими стран. Голландцы поддерживали восстание этих народов и воспользовались им.

Какой государь позавидует участи этих завоевателей? Кто пожелает делать завоевание при таких условиях? Одни тотчас же были прогнаны из завоеванных земель, другие превратили их в пустыню, да и собственную страну также.

Такова уж судьба героев – разоряться, покоряя страны, которые они сразу же теряют, или подчинять себе народы, которые сами же они потом вынуждены уничтожать; они напоминают безумца, разорывшегося на покупку статуй, которые он бросал в море, и зеркал, которые тут же разбивал.

*Из Парижа, месяца Рамазана 18-го дня, 1718 года.*

### **Письмо CLIII. Узбек к Солиму в испаганский сераль**

Влагаю в твои руки меч. Я доверяю тебе то, что для меня в настоящее время дороже всего на свете: месть. Вступи в новую должность и не знай при этом ни жалости, ни сострадания. Я пишу к своим женам, чтобы они слепо тебе повиновались. Устыдись столько преступлений, они склонятся перед твоим взором. Пусть буду я тебе обязан своим счастьем и покоем. Приведи мой сераль в то же состояние, в каком я его оставил; но начни с возмездия: уничтожь виновных и приведи в содрогание тех, кто уже готов был провиниться. За такие заслуги можешь надеяться на любую награду! От тебя одного зависит возвыситься над своим настоящим положением и получить такие награды, о которых ты и не мечтал.

*Из Парижа, месяца Шахбана 4-го дня, 1719 года.*

### **Письмо CLIV. Узбек к своим женам в испаганский сераль**

Пусть это письмо разразится над вами, как гром среди молний и бури! Солим назначен вашим главным евнухом не для того, чтобы стеречь вас, но чтобы вас наказывать. Пусть весь сераль преклонится перед ним! Он должен судить вас за ваши прошлые поступки, а в будущем станет держать вас под таким суровым ярмом, что вы пожалеете о прежней своей свободе, раз уж не жалеете о своей добродетели.

*Из Парижа, месяца Шахбана 4-го дня, 1719 года.*

### **Письмо CLXI. Роксана к Узбеку в Париж**

Да, я изменила тебе: я подкупила твоих евнухов, я насмеялась над твоею ревностью и сумела обратить твой отвратительный сераль в место наслаждений и ликования.

Я скоро умру; скоро яд разольется по моим жилам. Что мне вообще здесь делать, раз не стало единственного человека, который привязывал меня к жизни? Я умираю, но тень моя отлетает с целой свитой: я только что выслала вперед нечестивых рабов, проливших чистой-шую в мире кровь.

Как мог ты считать меня настолько легковерной, чтобы думать, будто единственное назначение мое в мире – преклоняться перед твоими прихотями, будто ты имеешь право подавлять все мои желания, в то время как ты все себе позволяешь? Нет! Я жила в неволе, но всегда была свободна: я заменила твои законы законами природы, и ум мой всегда был независим.

Ты должен бы быть мне благодарным за жертву, которую я тебе приносила: за то, что я унижалась, притворяясь верной тебе, что трусливо скрывала в своем сердце то, что должна была бы открыть всему миру, и, наконец, за то, что я оскверняла добродетель, допуская, чтобы этим именем называли мою покорность твоим причудам.

Ты удивлялся, что не находил во мне упоения любовью. Если бы ты знал меня лучше, ты бы догадался по этому о силе моей ненависти к тебе.

Но ты долгое время мог обольщаться приятным сознанием, что сердце, подобное моему, тебе покорно. Мы оба были счастливы: ты думал, что обманываешь меня, а я тебя обманывала.

Такая речь несомненно удивит тебя. Возможно ли, чтобы, причинив тебе горе, я вдобавок принудила тебя восхищаться моим мужеством? Но все кончено: яд меня пожирает, силы оставляют, перо выпадает из рук; чувствую, что слабею, слабеет даже моя ненависть; я умираю.

*Из испаганского сераля, месяца Ребиаба 1, 8-го дня, 1720 года.*

**Вопросы и задания:**

1. Какой аргументацией пользуется Монтескьё в легенде о троглодитах для доказательства преимущества республики перед другими формами правления? Каково нравственное основание народовластия?

2. Сформулируйте философскую позицию Монтескьё по поводу положения женщины в обществе.

3. Каков принцип сопоставления Западной и Восточной цивилизаций у Монтескьё? Доказывает ли он превосходство одной из этих цивилизаций?

4. Каким образом история сераля Узбека иллюстрирует политические и философские взгляды Монтескьё?

5. Какие европейские представления о России фигурируют в письме С1 «Персидских писем» о Московии?



## Антуан Франсуа Прево (1697–1763)

### Предтекстовое задание:

1. Внимательно прочитайте предложенный отрывок и обратите внимание на авторскую позицию Прево, выраженную в предисловии к «Истории кавалера де Гриё и Манон Леско» (1731), на его представление о связи литературы как учителя жизни и действительности.
2. Найдите в тексте проявление скрытого и аналитического, явного психологизма.

### История Кавалера де Гриё и Манон Леско Перевод М. Петровского, М. Вахтеровой

Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Гриё в мои «Записки», мне показалось, ввиду отсутствия связи между ними, что читателю будет приятнее видеть ее отдельно. Столь длинная повесть прервала бы слишком надолго нить моей собственной истории. Как ни чужды мне притязания на звание настоящего писателя, я хорошо знаю, что повествование должно быть освобождено от лишних эпизодов, кои могут сделать его тяжелым и трудным для восприятия, – таково предписание Горация:

Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici,  
Pleraque diferat et praesens in tempus omittat

[Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня,  
Прочее все отложить и сказать в подходящее время (*лат.*)].

Даже не нужны ссылки на столь высокий авторитет, чтобы доказать эту простую истину, ибо сам здравый смысл подсказывает такое правило.

Ежели читатели нашли приятной и занимательной историю моей жизни, смею надеяться, что они будут не менее удовлетворены этим добавлением к ней. В поведении г-на де Гриё они увидят злосчастный пример власти страстей над человеком. Мне предстоит изобразить ослепленного юношу, который, отказавшись от счастья и благополучия, добровольно подвергает себя жестоким бедствиям; обладая всеми качествами, сулящими ему самую блестящую будущность, он предпочитает жизнь темную и скитальческую всем преимуществам богатства и высокого положения; предвидя свои несчастья, он не желает их избежать; изнемогая под тяжестью страданий, он отвергает лекарства, предлагаемые ему непрерывно и способные в любое мгновение его исцелить; словом, характер двойственный, смешение добродетелей и пороков, вечное противоборство добрых побуждений и дурных поступков. Таков фон картины, которую я рисую. Лица здравомыслящие не посмотрят на это произведение как на работу бесполезную. Помимо приятного чтения, они найдут здесь немало событий, которые могли бы послужить назидательным примером; а по моему мнению, развлекая, наставляя читателей – значит оказывать им важную услугу.

Размышляя о нравственных правилах, нельзя не дивиться, видя, как люди в одно и то же время и уважают их, и пренебрегают ими; задаешься вопросом, в чем причина того странного свойства человеческого сердца, что, увлекаясь идеями добра и совершенства, оно на деле удаляется от них. Ежели люди известного умственного склада и воспитания присмотрятся, каковы самые обычные темы их бесед или даже их одиноких раздумий, им нетрудно будет заметить, что почти всегда они сводятся к каким-либо нравственным рассуждениям. Самые

сладостные минуты жизни своей они проводят наедине с собой или с другом, в задушевной беседе о благе добродетели, о прелестях дружбы, о путях к счастью, о слабостях натуры нашей, совращающих нас с пути, и о средствах борьбы с ними. Гораций и Буало называют подобную беседу одним из прекраснейших и необходимейших условий истинно счастливой жизни. Как же случается, что мы так легко падаем с высоты отвлеченных размышлений и вдруг оказываемся на уровне людей заурядных? Я впал в заблуждение, если довод, который сейчас приведу, не объясняет достаточно противоречия между нашими идеями и поведением нашим: именно потому, что нравственные правила являются лишь неопределенными и общими принципами, весьма трудно бывает применить их к отдельным характерам и поступкам.

Приведем пример. Души благородные чувствуют, что кротость и человечность – добродетели привлекательные, и склонны им следовать; но в ту минуту, как надлежит эти добродетели осуществить, добрые намерения часто остаются невыполненными. Возникает множество сомнений: действительно ли это подходящий случай? И в какой мере надо следовать душевному побуждению? Не ошибаешься ли ты относительно данного лица? Боишься оказаться в дураках, желая быть щедрым и благодетельным; прослыть слабохарактерным, выказывая слишком большую нежность и чувствительность; словом, то опасаясь превысить меру, то – не выполнить долг, который слишком туманно определяется общими понятиями человечности и кротости. При такой неуверенности только опыт или пример могут разумно направить врожденную склонность к добру. Но опыт не такого рода преимущество, которое дано в удел всем; он зависит от разных положений, в какие человек попадает волею судьбы. Остается, следовательно, только пример, который для многих людей и должен служить руководством на пути добродетели.

Именно такого рода читателям и могут быть крайне полезны произведения, подобные этому, по меньшей мере в том случае, когда они написаны человеком достойным и здравомыслящим. Каждое событие, здесь излагаемое, есть луч света, назидание, заменяющее опыт; каждый эпизод есть образец нравственного поведения; остается лишь применить все это к обстоятельствам своей собственной жизни. Произведение в целом представляет собою нравственный трактат, изложенный в виде занимательного рассказа.

Строгий читатель оскорбится, быть может, тем, что я в мои годы взялся за перо, чтобы описать любовные приключения и превратности судьбы; но, ежели рассуждение мое основательно, оно меня оправдывает; если же оно ложно, ошибка моя послужит мне извинением.

Примечание. По настоянию тех, кто ценит это маленькое произведение, мы решили очистить его от значительного числа грубых ошибок, вкравшихся в большинство его изданий. Кроме того, в него внесено несколько добавлений, которые показали нам необходимыми для полноты характеристик одного из главных персонажей.

## Часть первая

Прошу читателя последовать за мною в ту эпоху жизни моей, когда я встретился впервые с кавалером де Грийе: то было приблизительно за полгода до моего отъезда в Испанию. Хотя я редко покидал свое уединение, желание угодить дочери побуждало меня иногда предпринимать небольшие путешествия, которые я сокращал, насколько то было возможно.

Однажды я возвращался из Руана, куда она просила меня съездить похлопотать в нормандском парламенте о земельных владениях моего деда по материнской линии. Пустившись в путь через Эвре, мой первый ночлег, я собирался на другой день отобедать в Пасси, отстоящем от него на пять или шесть миль. При въезде в деревню меня поразило смятение жителей; они выбегали из домов, стремясь толпой к дверям скверной гостиницы, перед которой стояли две крытые телеги. Вид лошадей, еще не распряженных и дымившихся от усталости и жары, показывал, что повозки только что прибыли.

Я задержался на минуту, чтобы осведомиться о причинах суматохи; но я немногого добился от любопытных поселян, которые, не обращая ни малейшего внимания на мои расспросы, продолжали, беспорядочно толкаясь, сбегаться к гостинице; наконец появившийся в дверях полицейский с перевязью и мушкетом на плече по моему знаку приблизился ко мне; я попросил его изложить мне причину беспорядка. «Пустое дело, сударь, – сказал он, – тут находится проездом дюжина веселых девиц, которых я с товарищами сопровождаю до Гавра, где мы погрузим их для отправки в Америку. Среди них есть несколько красоток, это, очевидно, и возбуждает любопытство добрых поселян».

Получив такое разъяснение, я уже готов был двигаться далее, как меня остановили крики какой-то старухи, которая выбежала из гостиницы, ломая руки и восклицая, что это варварство, что это гнусность, к которой нельзя остаться равнодушным. «В чем дело?» – обратился я к ней. «Ах! сударь, войдите сюда, – отвечала она, – и убедитесь, что от такого зрелища сердце разрывается!» Влекомый любопытством, я спрыгнул с седла, передав лошадь моему конюху. С трудом пробившись сквозь толпу, я вошел внутрь и был поражен действительно трогательным зрелищем.

Среди дюжины девиц, скованных по шести цепями, охватывавшими их вокруг пояса, была одна, вид и наружность которой столь мало согласовались с ее положением, что в любых иных условиях я принял бы ее за даму, принадлежащую к высшему классу общества. Жалкое ее состояние, грязное белье и платье столь мало ее портили, что ее облик возбудил во мне уважение к ней и сострадание. Она старалась, насколько позволяли ей оковы, повернуться так, чтобы скрыть лицо от глаз зрителей; ее усилия спрятаться были так естественны, что, казалось, происходили из чувства стыдливости.

Так как шесть стражников, сопровождавших кучку несчастных, присутствовали здесь же в комнате, я отвел в сторону их начальника и обратился к нему, спросив, кто эта красавица. Он мог мне дать лишь самые общие сведения. «Мы взяли ее из Приюта по приказу начальника полиции, – сказал он. – По всему видно, не за хорошие дела она была заключена туда. Я несколько раз расспрашивал ее в пути; она упорно отмалчивается. Но, хотя у меня и нет приказа обращаться с ней лучше, нежели с другими, я о ней больше забочусь, ибо, сдается мне, она малость достойнее своих подруг. Вон тот молодчик, – добавил полицейский, – может вам больше рассказать о причинах ее несчастья: он следует за ней от самого Парижа, не переставая плакать. Должно быть, брат он ей, а не то любовник».

Я обернулся к тому углу комнаты, где сидел молодой человек. Казалось, он был погружен в глубокую задумчивость; мне никогда не приходилось видеть более живой картины скорби; одежда его была крайне проста; но человека хорошей семьи и воспитания отличишь с первого взгляда. Я подошел к нему; он поднялся мне навстречу, и я увидел в его глазах, в лице, во всех его движениях столько изящества и благородства, что почувствовал к нему искреннее расположение. «Не беспокойтесь, прошу вас, – сказал я, подсаживаясь к нему. Не удовлетворите ли вы моего любопытства касательно той красавицы, как мне кажется, вовсе не созданной для жалостного состояния, в котором я ее вижу?»

Он вежливо мне отвечал, что не может сообщить, кто она, не представившись мне сам, но что у него есть веские основания не открывать своего имени. «Могу вам все же сказать то, что не тайна для этих негодяев, – продолжал он, указывая на полицейских, – я люблю ее со столь необоримой страстью, что она делает меня несчастнейшим из смертных. Я все пустил в ход в Париже, чтобы исхлопотать ей свободу; ни просьбами, ни хитростью, ни силой я ничего не добился. Я решил следовать за ней, хотя бы на край света. Я сяду на корабль вместе с нею; отправлюсь в Америку. Но вот предел бесчеловечности: эти подлые мерзавцы, – прибавил он, говоря о полицейских, – не позволяют мне приближаться к ней. Я сделал попытку напасть на них открыто в нескольких милях от Парижа. Я сговорился с четырьмя молодцами, обещавшими мне помочь за солидную плату; но предатели бросили меня в стычке и бежали, захватив

мои деньги. Невозможность достичь чего-либо силой заставила меня сложить оружие; я упрямил стражников позволить мне хотя бы следовать за ними, обещая вознаграждение; жажда наживы побудила их согласиться. Они требовали платы всякий раз, как предоставляли мне возможность говорить с моей возлюбленной. Мой кошелек вскоре иссяк, и теперь, когда я остался без гроша, они стали столь жестоки, что грубо отталкивают меня, стоит мне сделать шаг в ее направлении. Всего какую-нибудь минуту назад, когда я дерзнул приблизиться к ней, несмотря на их угрозы, они имели наглость прицелиться в меня из ружья; я вынужден, дабы удовлетворить их алчность и следовать дальше хотя бы пешком, продать здесь дрянную клячу, что служила мне до сих пор верховой лошастью».

Как ни спокойно, казалось, передавал он мне свою повесть, невольные слезы катились у него из глаз. Станным и трогательным показалось мне это приключение. «Не требую, чтобы вы открыли мне тайну ваших обстоятельств, – сказал я ему, – но, ежели я могу быть чем полезен, охотно предлагаю вам свои услуги». – «Увы! – возразил он, – я не вижу ни слабого луча надежды; мне надлежит всецело покориться суровой судьбе моей. Я поеду в Америку; там буду, по крайней мере, свободен в своей любви; я написал одному из друзей, и он окажет мне некоторую помощь в Гавре. Главное затруднение мое в том, чтобы попасть туда и чтобы облегчить хоть сколько-нибудь тяготы путешествия несчастному этому созданию», – прибавил он, печально глядя на свою возлюбленную. «Позвольте же мне, – сказал я, – положить конец вашему затруднению: прошу вас принять эту небольшую сумму денег; очень сожалею, что не могу вам помочь иначе».

Я дал ему четыре золотых незаметно от стражи, ибо рассудил, что, узнав об этой сумме, они станут продавать ему свои услуги дороже. Мне даже пришло в голову сторговаться с ними, чтобы купить молодому любовнику постоянное право разговора со своей возлюбленной вплоть до Гавра. Поманив к себе начальника стражи, я сделал ему соответствующее предложение. Он, видимо, устыдился, несмотря на присущее ему нахальство. «Мы, сударь, не запрещали ему говорить с девицей, – сказал он смущенно, – но он желал быть подле нее все время; это нам неудобно, и справедливость требует, чтоб он платил за причиняемое неудобство». – «Ну, хорошо, – сказал я, – сколько же вам следует, чтобы это вам было не в тягость?» Он имел дерзость потребовать два золотых. Я тотчас дал их ему. «Смотрите, однако, – присовокупил я, – без надувательства! Я оставляю свой адрес молодому человеку, дабы он известил меня обо всем, и знайте, что я найду способ добиться вашего наказания». Все это обошлось мне в шесть золотых.

Непринужденная, живая искренность, с какою молодой незнакомец выразил мне свою благодарность, окончательно убедила меня в том, что я имею дело с человеком из хорошей семьи, заслуживающим моей щедрости. Прежде чем уйти, я обратился с несколькими словами к его возлюбленной. Она мне отвечала с такой милой, очаровательной скромностью, что уходя, я невольно предался размышлениям о непостижимости женского характера.

Вернувшись в свое уединение, я больше не имел никаких известий об этом приключении. Прошло около двух лет, и я совсем уже забыл про него, когда неожиданный случай дал мне возможность узнать до конца все обстоятельства дела.

Я прибыл из Лондона в Кале с маркизом де... , моим учеником. Мы остановились, если не изменяет мне память, в «Золотом льве», где по каким-то причинам вынуждены были провести целый день и следующую ночь.

Когда я гулял в послеобеденное время по улице, мне показалось, что я вижу опять молодого незнакомца, с которым встретился тогда в Пасси. Он был весьма плохо одет и гораздо бледнее, чем в первое наше свидание; на руке у него висел старый дорожный мешок, указывавший на то, что он только что прибыл в город.

Он обладал лицом слишком красивым, чтобы его можно было забыть, и я тотчас же признал его. «Подойдемте-ка к этому молодому человеку», – пригласил я маркиза.

Радость юноши была неопишима, когда он тоже признал меня. «О милостивый государь, – воскликнул он, целуя мне руку, – наконец-то я могу еще раз выразить вам мою вечную признательность!» Я спросил, откуда он теперь. Он отвечал, что прибыл морем из Гавра, куда вернулся незадолго перед тем из Америки. «Вам, видимо, туго приходится, – сказал я ему, – ступайте к «Золотому льву», где я стою, я тотчас слеую за вами».

Я вернулся в гостиницу, сгорая от нетерпения узнать подробности его несчастной судьбы и обстоятельства его поездки в Америку; я окружил его заботами и распорядился, чтобы у него ни в чем не было недостатка. Он не заставил себя упрашивать и вскоре рассказал историю своей жизни. «Вы столь благородно со мной поступаете, – обратился он ко мне, – что я бы упрекал себя в самой черной неблагодарности, утаив что-либо от вас. Поведаю вам не только мои беды и несчастья, но и мою распущенность, и постыднейшие мои слабости: уверен, что строгий ваш суд не помешает вам пожалеть меня».

Должен предупредить здесь читателя, что я записал его историю почти тотчас по прослушивании ее и, следовательно, не должно быть места сомнениям в точности и верности моего рассказа. Заявляю, что верность простирается вплоть до передачи размышлений и чувств, которые юный авантюрист выражал с самым отменным изяществом. Итак, вот его повесть, к которой я не прибавлю до самого ее окончания ни слова от себя.

Мне было семнадцать лет, и я заканчивал курс философских наук в Амьене, куда был послан родителями, принадлежащими к одной из лучших фамилий П...

Я вел жизнь столь разумную и скромную, что учителя ставили меня в пример всему коллежу. Притом я не делал никаких особых усилий, чтобы заслужить сию похвалу; но, обладая от природы характером мягким и спокойным, я учился охотно и с прилежанием, и мне вменялось в заслугу то, что было лишь следствием естественного отвращения к пороку. Мое происхождение, успехи в занятиях и некоторые внешние качества расположили ко мне всех достойных жителей города.

Я закончил публичные испытания с такой прекрасной аттестацией, что присутствовавший на них епископ предложил мне принять духовный сан, суливший, по словам его, еще большие отличия, нежели Мальтийский орден, к коему предназначали меня родители. По их желанию я уже носил орденский крест, а вместе с ним имя кавалера де Гриё; приближались вакансии, и я готовился возвратиться к отцу, который обещал в скором времени отправить меня в Академию.

Единственное, что меня печалило, когда я покидал Амьен, было расставание с другом, связанным со мной постоянными, нежными узами. Он был на несколько лет старше меня. Мы воспитывались вместе, но, происходя из бедной семьи, он был поставлен в необходимость принять духовный сан и после моего отъезда оставался в Амьене для занятий богословскими науками.

Он обладал множеством достоинств. Вы узнаете его с лучших сторон в продолжение моей истории, особенно же со стороны великодушия и преданности в дружбе, которыми он превосходит славнейшие примеры древности. Если бы следовал я тогда его советам, я бы всегда был мудр и счастлив. Если бы внял я его увещаниям, хотя бы из глубины бездны, куда увлекали меня страсти, я спас бы что-нибудь при крушении моего состояния и доброго имени. Но его заботы не принесли ему ничего, кроме горя при виде их бесполезности, а иногда и грубого отпора со стороны неблагодарного, который обижался на них, как на назойливые приставания.

Я назначил срок отъезда из Амьена. Увы! почему я не назначил его днем раньше? Я прибыл бы в отчий дом непорочным и добродетельным. Как раз накануне расставания моего с городом я гулял со своим другом, имя которого Тиберж; мы встретили аррасскую почтовую карету и последовали за ней до гостиницы, где останавливаются дилижансы. У нас не было к тому иного повода, кроме пустого любопытства. Из нее вышло несколько женщин, сейчас же удалившихся в гостиницу; одна только, совсем еще юная, одиноко поджидала во дворе, пока

пожилой человек, очевидно ее провожатый, хлопотал около ее поклажи. Она показалась мне столь очаровательной, что я, который никогда прежде не задумывался над различием полов, никогда не смотрел внимательно ни на одну девушку и своим благоразумием и сдержанностью вызывал общее восхищение, мгновенно воспылав чувством, охватившим меня до самозабвения. Большим моим недостатком была чрезвычайная робость и застенчивость; но тут эти свойства нисколько не остановили меня, и я прямо направился к той, которая покорила мое сердце.

Хотя она была еще моложе меня, она не казалась смущенной знаками моего внимания. Я обратился к ней с вопросом: что привело ее в Амьен и есть ли у нее тут знакомые? Она отвечала мне простодушно, что родители посылают ее в монастырь. Любовь настолько уже овладела всем моим существом с той минуты, как воцарилась в моем сердце, что я принял эту весть как смертельный удар моим надеждам. Я говорил с таким пылом, что она сразу догадалась о моих чувствах, ибо была гораздо опытнее меня; ее решили поместить в монастырь против воли, несомненно, с целью обуздать ее склонность к удовольствиям, которая уже обнаружилась и которая впоследствии послужила причиной всех ее и моих несчастий. Я оспаривал жестокое намерение ее родителей всеми доводами, какие только подсказывали мне моя расцветающая любовь и мое школьное красноречие. Она не выказывала ни строгости, ни удивления. После минуты молчания она сказала, что предвидит слишком ясно горестную участь свою, но такова, очевидно, воля неба, раз оно не дает никаких средств этого избежать. Нежность ее взоров, очаровательный налет печали в ее речах, а может быть, моя собственная судьба, влекшая меня к гибели, не дали мне ни минуты колебаться с ответом. Я стал уверять, что ежели она только положится на мою честь и на бесконечную любовь, которую уже внушила мне, я не пожалею жизни, чтобы освободить ее от тирании родителей и сделать счастливой. Я всегда удивлялся, размышляя впоследствии, откуда явилось у меня тогда столько смелости и находчивости; но Амура никогда бы не сделали божеством, если бы он не творил чудес. Я прибавил еще тысячу убедительных доводов.

Прекрасная незнакомка хорошо знала, что в мои годы не бывают обманщиками; она поведала мне, что, если бы я вдруг нашел способ вернуть ей свободу, она почитала бы себя обязанной мне больше, чем жизнью. Я отвечал, что готов на все; но, не имея достаточной опытности, чтобы сразу изобрести средства услужить ей, я ограничился общим уверением, от которого не могло быть большого толку ни для нее, ни для меня. Тем временем старый аргус присоединился к нам, и мои надежды должны были рухнуть, если бы находчивая девица не пришла на помощь моей недогадливости. Я был поражен неожиданностью, когда при появлении провожатого она назвала меня своим двоюродным братом и, не выказав ни малейшего смущения, объявила мне, что так счастлива встретить меня в Амьене, что решила отложить до завтра вступление в монастырь ради удовольствия поужинать со мною. Я отлично понял и оценил ее хитрость; я предложил ей остановиться в гостинице, хозяин которой, до переселения в Амьен, прослужил долгое время в кучерах у моего отца и был всецело мне предан.

Я сам сопровождал ее туда; старый провожатый ворчал сквозь зубы, приятель же мой Тиберж, ровно ничего не понимая в этой сцене, молча следовал за мною: он не слышал нашей беседы, прогуливаясь по двору, куда я говорил о любви моей прекрасной даме. Опасаясь его благоразумия, я отделался от него, послав его с каким-то поручением. Итак, придя в гостиницу, я мог отдаться удовольствию беседы наедине с властительницею моего сердца.

Я скоро убедился, что я не такой ребенок, как мог думать. Сердце мое открылось множеству сладостных чувств, о которых я и не подозревал, нежный пыл разлился по всем моим жилам. Я пребывал в состоянии восторга, на несколько времени лишившего меня дара речи и выражавшегося лишь в нежных взглядах.

Мадемуазель Манон Леско, – так она назвала себя, – видимо, была очень довольна действием своих чар. Мне казалось, что она увлечена не менее моего; она призналась, что находит меня милым и с радостью будет почитать себя обязанной мне своей свободой. Пожелав

узнать, кто я такой, она еще более растрогалась, ибо, будучи заурядного происхождения, была польщена тем, что покорила такого человека, как я. Мы стали обсуждать, каким образом принадлежать друг другу.

После недолгих размышлений мы не нашли иного пути, кроме бегства. Следовало обмануть бдительного провожатого, который хоть и слуга, а был не так прост; мы решили, что за ночь я снаряжу почтовую карету и рано утром, до его пробуждения, вернусь в гостиницу; что мы бежим украдкой и направимся прямо в Париж, где тотчас же обвенчаемся. В кошельке у меня было около пятидесяти экю – плод мелких сбережений, у нее было приблизительно вдвое больше. По неопытности мы воображали, что сумма эта неисчерпаема; не менее того рассчитывали мы и на успех других наших замыслов.

Пужинав с большим, чем когда-либо удовольствием, я удалился хлопотать о выполнении нашего плана. Мои приготовления значительно упрощались тем обстоятельством, что, назначив отъезд домой на следующий день, я уже ранее собрал свои пожитки. Итак, мне ничего не стоило отправить дорожный сундук в гостиницу и заказать карету к пяти часам утра, когда городские ворота бывали уже открыты, но оставалось одно препятствие, которое я не принял в расчет, и оно чуть было не разрушило весь мой план.

Тиберж, хотя и старший меня всего тремя годами, был юношей зрелого ума и строгих правил; ко мне питал он исключительно нежные чувства. Вид столь красивой девицы, как мадемуазель Манон, мое рвение сопровождать и старания отделаться от него возбудили в нем некоторые подозрения. Он не посмел вернуться в гостиницу, где оставил нас, боясь явиться некстати; но решил дожидаться моего прихода у меня дома, где я и застал его, хотя было уже десять часов вечера. Его присутствие меня немало огорчило. Ему ничего не стоило обнаружить мое смущение. «Уверен, – откровенно обратился он ко мне, – что вы замышляете нечто, что желаете скрыть от меня; вижу то по вашему лицу». Я отвечал довольно резко, что не обязан отдавать ему отчет в каждом моем шаге. «Согласен, – возразил он, – но вы всегда относились ко мне как к другу, а это предполагает некоторое доверие и откровенность с вашей стороны». Он так настойчиво стал убеждать меня поделиться с ним моей тайной, что, будучи всегда с ним прямодушен, я и теперь всецело доверил ему свое страстное увлечение. Он принял мой рассказ с нескрываемым недовольством, повергшим меня в трепет. Особенно раскаивался я в болтливости, с какой расписал ему весь план нашего бегства. Он заявил, что питает ко мне слишком преданную дружбу, чтобы не воспротивиться этой затее всеми силами; что представит мне сначала все доводы, могущие меня остановить; но что, ежели я не откажусь и после этого от своего несчастного решения, он предупредит о том лиц, которые смогут пресечь его в корне. Засим обратился он ко мне со строгой речью, длившейся более четверти часа и закончившейся новой угрозой донести на меня, если я не дам ему слова поступать более разумно и осмотрительно.

Я был в отчаянии, что выдал себя так некстати. Намеренье обвенчаться было забыто в Сен-Дени; мы преступили законы церкви и стали супругами, нимало над тем не задумавшись. Несомненно, что, обладая характером нежным и постоянным, я был бы счастлив всю жизнь, если бы Манон оставалась мне верной. Чем более я узнавал ее, тем более новых милых качеств открывал я в ней. Ее ум, ее сердце, нежность и красота создавали цепь столь крепкую и столь очаровательную, что я пожертвовал бы всем моим благополучием, чтобы только быть навеки окованным ею. Ужасная превратность судьбы! То, что составляет мое отчаяние, могло составить мне счастье! Я стал несчастнейшим из людей именно благодаря своему постоянству, хотя, казалось, вправе был ожидать сладчайшей участи и совершеннейших даяний любви.

Я предоставил ей распорядиться нашим кошельком и заботиться об оплате ежедневных расходов. Немного спустя я заметил, что стол наш улучшился, а у нее появилось несколько новых, довольно дорогих нарядов. Зная, что у нас едва-едва оставалось каких-нибудь двенадцать – пятнадцать пистолей, я выразил изумление явному приращению нашего богатства.

Смеясь, просила она меня не смущаться этим обстоятельством. «Разве не обещала я вам изыскать средства?» – сказала она. И я был слишком еще наивен в своей любви к ней, чтобы поддаться какой-либо тревоге.

Однажды вышел я после полудня, предупредив ее, что буду в отсутствии дольше обычного. Вернувшись, я был удивлен, прождав у дверей минуты две-три, пока мне отворили. Единственной прислугой у нас была девушка приблизительно нашего возраста. Когда она впускала меня, я обратился к ней с вопросом, почему меня заставили так долго ждать. Она смущенно отвечала, что не слышала моего стука. Я стучал всего один раз и поэтому заметил ей:

«Но если вы не слышали, почему же пошли мне отворять?» Вопрос мой привел ее в такое замешательство, что, не находя ответа, она принялась плакать, уверяя, что это не ее вина, что барыня запретила ей отворять, прежде чем г-н де Б... не уйдет по другой лестнице, примыкавшей к спальней. В моем смущении я не имел сил войти в дом. Я решил вновь спуститься на улицу под предлогом какого-то дела и приказал девушке передать барыне, что вернусь через минуту, запретив ей, однако, сообщать, что она говорила мне о г-не де Б...

Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. Измена Манон мне представилась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше доказательств любви, чем получил от нее: как же я мог ее обвинять в меньшей искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл было меня обманывать? Всего три часа назад осыпала она меня самыми нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не лучше ее сердца. «Нет, нет, – восклицал я, – невозможно, чтобы Манон мне изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?»

А между тем посещение и тайное бегство г-на де Б... приводили меня в замешательство. Я вспомнил также разные мелкие покупки Манон, которые явно превосходили наши средства. Они наводили на мысль о щедротах нового ее любовника. А ее уверения, что она изыщет денежные средства из какого-то неведомого источника?! Всем этим догадкам я не мог найти того удовлетворительного объяснения, какого жаждало мое сердце.

С другой стороны, я почти не расставался с ней с тех пор, как мы поселились в Париже. Занятия, прогулки, развлечения – повсюду мы были вместе. Боже мой! да мы бы не вынесли огорчения даже минутной разлуки! Нам беспрестанно надо было говорить друг другу о любви; без того мы умерли бы от беспокойства. И вот я не мог вообразить ни на одно мгновение, чтобы Манон была занята кем-либо другим, а не мною.

В конце концов мне показалось, что я нашел разгадку этой тайны. «Г-н де Б..., – решил я, – ведет большие дела и имеет обширную клиентуру, родители Манон могли при его посредстве передать ей некоторую сумму денег. Быть может, уже и ранее она получила что-нибудь от него; сегодня он явился, чтобы передать ей еще. Вероятно, она решила скрыть от меня его приход, чтобы потом поразить меня приятной неожиданностью. Может быть, она и рассказала бы об этом, войди я к ней как обычно, вместо того чтобы сидеть здесь и сокрушаться. Во всяком случае, она не станет от меня таиться, если я сам заговорю с ней об этом».

Я настолько проникся этим убеждением, что оно весьма ослабило мою печаль. Я тотчас же вернулся домой и обнял Манон с обычной нежностью. Она очень приветливо меня встретила. Сперва я подумал было рассказать ей о своих догадках, которые представлялись мне теперь более чем несомненными, но удержался в надежде, что, может быть, она сама поведаст мне все, что произошло.



Подали ужин. Я сел за стол в очень веселом настроении, но при свете свечи, которая стояла между нами, лицо дорогой моей возлюбленной показалось мне печальным. Ее грусть передалась и мне. Я заметил во взгляде ее, обращенном на меня, что-то необычное. Я не мог разобрать, была ли то любовь или сострадание, но чувство, выражавшееся в ее очах, казалось мне ласковым и томным. Я взирал на нее с не меньшим вниманием; и может быть, ей было столь же трудно судить о состоянии моего сердца по моим взглядам.

Мы не могли ни говорить, ни есть. Наконец слезы потекли из ее прекрасных очей: лживые слезы!

«О, боже) – вскричал я, – вы плачете, дорогая Манон; вы расстроены до слез и не скажете мне ни слова о ваших печалях». Она ответила мне лишь глубокими вздохами, которые усилили мою тревогу. Трепеща, я встал с места; я заклинал ее со всем рвением любви моей открыть причину слез; отирая их, я плакал сам; я был ни жив ни мертв. Даже варвар был бы тронут искренностью моей скорби и моих опасений.

В то время, как я весь был занят ею, я услышал шаги нескольких человек по лестнице. Легонько постучали в дверь. Манон быстро поцеловала меня и, выскользнув из моих объятий, бросилась в спальную, мгновенно заперев за собою дверь. Я вообразил, что, желая привести в порядок свое платье, она решила скрыться от посетителей, которые постучались. Я сам пошел им отворять.

Не успел я отворить дверь, как был схвачен тремя мужчинами, в коих признал лакеев моего отца. Они не применили ко мне насилия; но пока двое из них держали меня за руки, третий обыскал мои карманы и вынул из них небольшой нож, единственное оружие, бывшее при мне. Принося мне извинения за столь невежливое со мною обхождение, они разъяснили, что действуют по приказу моего отца и что мой старший брат ожидает меня внизу в карете. Я был так поражен, что без сопротивления и без возражений позволил себя проводить к нему. Брат действительно дождался меня. Меня посадили в карету рядом с ним, и кучер, как ему было приказано, тут же погнал лошадей в Сен-Дени. Брат нежно обнял меня, но не проронил ни слова; таким образом, я обладал полным досугом, чтобы предаться мыслям о злой судьбе своей.

Сперва я так был озадачен, что ни одно предположение не приходило мне в голову. Меня жестоко предали, но кто же? Тиберж первый пришел мне на ум. «Изменник! – говорил я, – ты поплатишься жизнью, если подозрения мои справедливы». Между тем я рассудил, что он не был осведомлен о месте моего убежища и, следовательно, не от него могли узнать о нем. Я не смел запятнать свое сердце обвинением Манон. Та чрезвычайная печаль, которою, казалось мне, она была подавлена, ее слезы, нежный поцелуй, с которым она убежала, представлялись мне немалой загадкой; но я был склонен объяснить это как бы предчувствием нашей общей беды; сокрушаясь и ропща на судьбу, оторвавшую меня от нее, я наивно воображал, что она заслуживает еще более сожалений, нежели я сам.

После долгих раздумий я пришел к убеждению, что меня узнал на парижских улицах кто-нибудь из знакомых, который и сообщил о том моему отцу. Мысль эта меня утешила. Я рассчитывал отделаться суровыми упреками, пусть даже каким-нибудь наказанием, которые мне следовало выдержать во имя родительского авторитета. Я решил терпеливо все перенести и обещать все, чего от меня потребуют, дабы как можно скорее вернуться в Париж и вновь наслаждаться счастливой жизнью со своей дорогой Манон.

Итак, вопрос состоял в том, как в данное время пополнить мой кошелек. Г-н де Т... великодушно предлагал мне свой, однако я испытывал крайнее отвращение от одной только мысли самому напомнить ему об этом. Кто решится пойти рассказать о своей нищете чужому человеку и просить его поделиться с тобой своим достатком? Только подлая душа способна на это по своей низости, не дающей чувствовать постыдность такого поступка, или же смиренный христианин по избытку великодушия, который возвышает его над чувством стыда. Я не

был ни подлецом, ни добрым христианином: я бы пожертвовал полжизни, лишь бы избежать такого унижения. «Тиберж, – сказал я себе, – добрый мой Тиберж, откажет ли он мне в чем-либо, коли у него есть хоть малейшая возможность? Нет, он будет тронут моей нищетой, но он уморит меня своими нравоучениями; придется претерпеть его упреки, увещания, угрозы; он продаст мне так дорого свою помощь, что я скорее пожертвую своей кровью, чем подвергнусь горестному испытанию, которое смутит мне душу новыми угрызениями совести. Хорошо! – продолжал я рассуждать, – надо, следовательно, отказаться от всякой надежды, раз мне не остается никакой иной дороги и раз обе они так мне претят, что я охотнее пролил бы половину своей крови, нежели ступил бы на одну из них, то есть предпочел бы пролить всю свою кровь, нежели пойти по обоим путям.

Да, всю мою кровь, – прибавил я после минутного раздумья. – Конечно, я отдал бы ее охотнее, чем согласился бы прибегнуть к унижительным мольбам.

Но разве дело идет о моей крови? Дело идет о жизни и существовании Манон, о ее любви, о ее верности. Что положу я на другую чашу весов? Доныне ничто другое не имеет для меня цены. Она заменяет мне славу, счастье, богатство. Есть, несомненно, много вещей, ради которых я пожертвовал бы жизнью, чтобы получить их или чтобы избежать; но почитать какую-либо вещь дороже своей жизни – не значит почитать ее столь же, сколь Манон». Я недолго колебался после сего рассуждения и возобновил путь, решив сначала идти к Тибержу, а от него к господину де Т...

Войдя в Париж, я взял извозчика, хотя и не имел возможности расплатиться с ним; я рассчитывал на помощь, о которой шел просить. Я велел везти себя к Люксембургскому саду, откуда послал сказать Тибержу, что жду его. Он явился скорее, чем я мог ожидать. Без всяких околичностей я поведал ему о своей крайней нужде. Он спросил, хватит ли мне тех ста пистолей, что я ему вернул, и, без единого возражения, тотчас же отправился раздобыть их для меня с той открытой и сердечной готовностью, какая свойственна только любви и истинной дружбе. Хотя я нимало не сомневался в успехе моей просьбы, я не ожидал, что это обойдется так дешево, то есть без всякого с его стороны выговора за мою нераскаянность.

Однако я ошибался, думая, что избавился от его упреков, ибо после того как он отсчитал мне деньги и я уже собирался проститься с ним, он попросил меня пройтись с ним по аллее. Я ничего не сказал ему о Манон; он не знал, что она на свободе, посему его наставления коснулись только безрассудного моего бегства из Сен-Лазара и опасения, как бы вместо того, чтобы воспользоваться уроками благоразумия, преподанными мне там, я не вступил снова на путь разврата. Он сообщил мне, как, отправившись навестить меня в тюрьме на другой день после моего бегства, он поражен был выше всякой меры, узнав, каким образом я вышел оттуда; как он беседовал об этом с настоятелем; как добрый отец все еще не мог оправиться от ужаса; как тем не менее он скрыл великодушно от начальника полиции обстоятельства моего исчезновения и постарался, чтобы смерть привратника не стала известной в городе; итак, по его словам, все складывалось для меня благополучно; но ежели во мне осталась хоть малейшая крупица благоразумия, я должен воспользоваться счастливым оборотом дела, даруемым мне небом; я должен прежде всего написать отцу и восстановить добрые с ним отношения; и, коль я последую хоть раз его советам, он полагает, что мне следует покинуть Париж и возвратиться в мою семью.

Когда я проснулся, Манон объявила мне, что она вовсе не желает, чтобы, оставаясь дома на целый день, я меньше заботился о своей наружности, и что она желает собственноручно причесать меня. Волосы у меня были прекрасные.

Не раз она доставляла себе подобное развлечение. Но тут она постаралась, как никогда. Следуя ее настояниям, я должен был усесться за туалет и выдержать все ее опыты над моею прическою. Во время работы она то и дело поворачивала меня к себе лицом и, опершись руками о мои плечи, смотрела на меня с жадным любопытством; затем, выразив свое удовлетворение

двумя-тремя поцелуями, заставляла меня принимать прежнее положение, чтобы продолжать свое дело.

Баловство это заняло все время до самого обеда. Увлечение ее казалось мне столь естественным, веселость столь безыскусственной, что я не мог примирить столь длительные знаки внимания ни с какими планами черной измены и несколько раз уже готов был открыть ей свое сердце и освободиться от бремени, начинавшего меня тяготить. Но всякий раз я льстил себя надеждой, что она сама пойдет на откровенность, и уже предвкушал всю сладость торжества.

Мы вернулись в ее комнату. Она стала приводить в порядок мои волосы, и я уступал всем ее прихотям, как вдруг доложили, что-князь де... желает ее видеть. Имя это привело меня в полное исступление. «Как! – вскричал я, отталкивая ее. – Кто? Какой князь?» Она не отвечала на мои вопросы.

«Просите, – сказала она холодно слуге и, обратившись ко мне, продолжала чарующим голосом: – Любимый мой! Мой обожаемый, прошу тебя, минуточку будь снисходителен ко мне, минуточку, одну минуточку; я полюблю тебя в тысячу раз сильнее; всю жизнь буду тебе благодарна».

Негодование и неожиданность сковали мне язык. Она возобновила свои настояния, а я не находил слов, чтобы отвергнуть их с презрением. Но, услышав, как отворилась дверь прихожей, она одной рукой схватила меня за распущенные волосы, другой взяла небольшое зеркало, напрягла все свои силы, чтобы протащить меня в этом странном виде до дверей и, распахнув их коленом, показала чужеземцу, которого шум заставил остановиться посреди комнаты, зрелище, немало, вероятно, его изумившее. Я увидел человека, весьма изысканно одетого, но довольно-таки невзрачного на вид.

Крайне смущенный всей этой сценой, он не преминул, однако, отвесить глубокий поклон. Манон не дала ему времени открыть рот. Она протянула ему зеркало. «Взгляните сюда, – сказала она ему, – посмотрите на себя хорошенько и отдайте мне справедливость. Вы просите моей любви. Вот человек, которого я люблю и поклялась любить всю жизнь. Сравните сами.

Если вы полагаете, что можете оспаривать у него мое сердце, укажите мне к тому основания, ибо в глазах вашей покорнейшей служанки все князя Италии не стоят волоса из тех, что я держу в руке».

Во время этой странной речи, очевидно, обдуманной ею заранее, я делал тщетные попытки высвободиться и, испытывая сострадание к знатному посетителю, довольно важному на вид, уже собирался искупить вежливым обхождением нанесенное ему легкое оскорбление. Однако он быстро овладел собой, и его ответ, показавшийся мне грубоватым, изменил мои намерения.

«Сударыня, сударыня, – сказал он, обращаясь к Манон с принужденной улыбкой, – у меня действительно раскрылись глаза, и я вижу, что вы гораздо опытнее, нежели я воображал».

Он немедленно удалился, даже не взглянув на нее и бормоча сквозь зубы, что француженки не больше стоят, чем итальянки. Я не испытывал при этом ровно никакого желания внушить ему лучшее мнение о прекрасном поле.

Манон выпустила мои волосы, бросилась в кресло и разразилась долго не смолкавшим смехом. Не скрою, что я был растроган до глубины сердца этой жертвой, каковую мог я приписать только любви. Вместе с тем подобная выходка, казалось мне, переходила все границы. Я не мог воздержаться от упреков.

*(Высланные в Америку, Манон Леско и кавалер де Гриё решают освятить свой союз узлами брака. Однако племянник губернатора Синнеле, влюбленный в Манон, узнав, что Манон и Де Гриё не муж и жена, хочет отнять Манон у Де Гриё. Губернатор поддерживает его в этом. Де Гриё убивает Синнеле на поединке. Манон и Де Гриё вынуждены бежать.)*

Она поднялась, несмотря на свою слабость; взяла меня за руку, чтобы проводить до двери. «Бежим вместе, – сказала она, – не будем терять ни минуты. Труп Синнеле могут случайно найти, и мы не успеем уйти далеко». – «Но, дорогая Манон, – возразил я в полном замешательстве, – куда же нам идти? Есть ли у вас какая-нибудь надежда? Не лучше ли вам попытаться жить здесь без меня, а мне добровольно сдать в руки губернатора?»

Предложение это лишь еще более воспламенило ее стремление бежать; мне оставалось только последовать за нею. У меня еще было настолько присутствия духа, чтобы, уходя, захватить с собой несколько фляжек с крепкими напитками из нашего запаса и всю провизию, какая поместилась в моих карманах. Сказав прислуге, бывшей в соседней комнате, что мы идем на вечернюю прогулку (таков был наш заведенный порядок), мы удалились из города с большей поспешностью, чем, казалось, позволяло хрупкое сложение Манон.

Хотя я был по-прежнему в нерешительности относительно места убежища, я тем не менее лелеял две надежды, и, не будь их, я предпочел бы смерть неизвестности о том, что ждет Манон в будущем. За десять почти месяцев пребывания в Америке я достаточно хорошо изучил страну, чтобы узнать правила обхождения с дикарями. Можно было отдаться в их руки, не опасаясь верной смерти. Я даже выучил несколько слов на их языке и при разных встречах, которые мне приходилось иметь с ними, узнал некоторые их обычаи.

Помимо этого жалкого плана, я возлагал также надежду на англичан, которые, подобно нам, владеют поселениями в этой части Нового Света. Но я страшился дальности расстояния: до их колоний предстояло нам много дней пути по бесплодным равнинам и через горы, столь крутые и обрывистые, что дорога туда была трудна даже для самых грубых и выносливых людей. Все же я льстил себя надеждой, что мы можем воспользоваться и теми и другими: дикари нам помогут в пути, а англичане дадут нам приют в своих поселениях.

Мы шли, не останавливаясь, насколько позволяли силы Манон, то есть около двух миль, ибо несравненная моя возлюбленная неуклонно отказывалась сделать привал. Наконец, изнемогая от усталости, она призналась, что дальше идти не в силах. Была уже ночь; мы уселись посреди обширной равнины, не найдя даже дерева для прикрытия. Первой заботой ее было сменить на моей ране повязку, которую сделала она собственноручно перед нашим уходом. Я тщетно противился ее воле: я бы смертельно огорчил ее, если бы лишил ее удовольствия думать, что мне хорошо и я вне опасности, прежде чем она позаботится о себе самой. В течение нескольких минут я покорялся ее желаниям; я принимал ее заботы молча и со стыдом.

Когда она перевязала мне рану, я снял с себя все одежды и уложил ее на них, чтобы земля была ей менее жестка. Как она ни противилась, я заставил ее принять все мои заботы о возможном ее удобстве. Я согревал ей руки горячими поцелуями и жаром своего дыхания. Всю ночь напролет я бодрствовал подле нее и возносил к небу молитвы о ниспослании ей сна тихого и безмятежного. О боже! сколь пламенны и искренни были мои моления! и сколь жестоко ты их отверг!

Позвольте мне досказать в нескольких словах эту повесть, воспоминание о коей убивает меня. Я рассказываю вам о несчастье, подобного которому не было и не будет; всю свою жизнь обречен я плакать об утрате. Но хотя мое горе никогда не изгладится из памяти, душа каждый раз холодеет от ужаса, когда я приступаю к рассказу о нем.

Часть ночи провели мы спокойно; я думал, что моя дорогая возлюбленная уснула, и не смел дохнуть, боясь потревожить ее сон. Только стало светать, я заметил, прикоснувшись к рукам ее, что они холодные и дрожат; я поднес их к своей груди, чтобы согреть. Она почувствовала мое движение и, сделав усилие, чтобы взять мою руку, сказала мне слабым голосом, что, видимо, последний час ее близится.

Сначала я отнесся к ее речам, как к обычным фразам, произносимым в несчастье, и отвечал только нежными утешениями любви. Но учащенное ее дыхание, молчание в ответ на

мои вопросы, судорожные пожатия рук, в которых она продолжала держать мои руки, показали мне, что конец ее страданий недалек.

Не требуйте, чтобы я описал вам то, что я чувствовал, или пересказал вам последние ее слова. Я потерял ее; она и в самую минуту смерти не уставала говорить мне о своей любви. Это все, что я в силах сообщить вам об этом роковом и горестном событии.

Моя душа не последовала за ее душою. Небо считало меня, конечно, недостаточно еще сурово наказанным; ему угодно было, чтобы я и дальше влачил томительную и жалкую жизнь. Я добровольно отказываюсь от жизни счастливой.

Более суток я не отрывал уст своих от лица и рук дорогой моей Манон. Намерением моим было умереть там же; но в начале второго дня я рассудил, что после моей смерти тело ее станет добычей диких зверей. Я решил похоронить ее и ждать смерти на ее могильном холме. Я был уже так близок к концу, ослабев от голода и страданий, что мне стоило огромных усилий держаться на ногах. Я принужден был прибегнуть к подкрепительным напиткам, что захватил с собою; они дали мне силы для совершения печального обряда. Мне не трудно было разрыть землю в том месте, где я находился: то была песчаная равнина. Я сломал шпагу, чтобы она заменила мне заступ; но она оказала мне меньше помощи, чем мои собственные руки. Я вырыл широкую яму и положил в нее кумир своего сердца, предварительно завернув ее в мои одежды, дабы песок не коснулся ее. Но перед тем я тысячу раз перецеловывал ее со всем пылом беспредельной любви. Я присел около нее; долго смотрел на нее, не решаясь засыпать могилу. Наконец силы мои стали слабеть, и, боясь, что они иссякнут совсем прежде окончания моей работы, я схоронил навеки в лоне земли то, что было на ней самого совершенного и самого милого; затем я лег на могилу, уткнувшись лицом в землю и закрыв глаза, с тем чтобы никогда не открывать их, вознес к небу моление о помощи и стал с нетерпением ожидать смерти.

Вам трудно будет поверить, что за время совершения скорбного обряда у меня не скатилось ни одной слезы, не вырвалось ни единого вздоха. Глубокое уныние мое и твердое решение умереть пресекли всякое выражение отчаяния и горя. Я долго пробыл в этом положении, пока не потерял последних остатков сознания и чувства.

После того, что вы слышали, заключение повести моей столь маловажно, что не заслуживает вашего любезного внимания. Когда тело Синнеле было принесено в город и раны его тщательно осмотрены, оказалось, что он не только не мертв, но даже не ранен опасно. Он сообщил дяде, как все произошло между нами, и чувство чести побудило его тотчас же во всеуслышание заявить о моем благородстве. Послали за мной и, обнаружив, что дом пустой, заподозрили наше бегство. Было слишком поздно, чтобы снарядить погоню по свежим следам; но следующие два дня были посвящены преследованию.

Я был найден без признаков жизни на могиле Манон, и, видя меня почти обнаженным и истекающим кровью, никто не сомневался, что я ограблен и убит. Меня понесли в город. Покачивание носилок привело меня в чувство.

Вздохи, которые я испустил, открывая глаза и с болью видя себя среди людей, показали, что мне еще может быть подана помощь; к сожалению, мне оказали ее слишком успешно.

Меня все же заточили в тесную темницу. Было наряжено следствие; и так как Манон не появлялась, меня обвинили в том, что в припадке бешеной ревности я заколол ее. Я просто и чистосердечно рассказал, как произошло горестное событие. Синнеле, несмотря на неистовую горе, в какое поверг его мой рассказ, имел великодушие походатайствовать о моем помиловании и добился его.

Я был настолько слаб, что меня принуждены были перенести из темницы прямо в постель, к которой три месяца я был прикован жестокой болезнью.

Мое отвращение к жизни не ослабевало; я постоянно призывал смерть и долгое время упорно отвергал все лекарства. Но небо, покарвав меня столь сурово, намеревалось обратить

мне на пользу все бедствия и испытания: оно просветило меня светом своим и тем дало мыслям моим направление, достойное моего рождения и воспитания.

Спокойствие понемногу стало восстанавливаться в моей душе, и с этой переменной скоро последовало и выздоровление. Я отдался всецело внушениям чести и продолжал выполнять скромную работу в ожидании французских кораблей, которые раз в год совершают плавание в эту часть Америки. Я решил возвратиться на родину, дабы жизнью разумной и порядочной искупить позор своего поведения. Синнеле позаботился перенести тело дорогой моей возлюбленной в достойное место упокоения.

Месяца полтора протекло со времени моего выздоровления, когда однажды, гуляя в одиночестве по берегу, я увидел торговое судно, приближающееся к Новому Орлеану. Я стал внимательно следить за высадкой экипажа и был крайне поражен, узнав Тибержа в числе пассажиров, направлявшихся к городу.

Хотя после моих несчастий я сильно переменялся, старый верный друг еще издали узнал меня. Он сообщил мне, что единственным поводом к его путешествию было желание повидаться со мною и убедить меня вернуться во Францию; получив письмо мое из Гавра, он лично приехал туда, чтобы оказать мне помощь, о которой я просил; огорченный известием о моем отъезде, он собирался немедленно отправиться вслед за мною, если бы нашелся готовый к отплытию корабль; несколько месяцев он искал таковой в разных портах и, найдя наконец в Сен-Мало корабль, отплывавший на Мартинику, погрузился на него, надеясь легко переправиться оттуда в Новый Орлеан; на пути корабль был захвачен испанскими пиратами и отведен к одному из их островов, оттуда Тибержу удалось бежать, и после разных скитаний он повстречал это маленькое судно, которое благополучно доставило его ко мне.

Я не находил слов выразить признательность столь великодушному и преданному другу. Я повел его к себе, предоставил в его распоряжение весь свой дом. Я рассказал ему все, что случилось со мною после отъезда из Франции, и, дабы порадовать его неожиданностью, сообщил, что семена добродетели, брошенные некогда им в мое сердце, начали приносить плоды, которые должны удовлетворить его. Он ответил на это, что столь сладостное для него уверение вознаграждает его за все тяготы путешествия.

#### **Вопросы и задания:**

1. Кто с вашей точки зрения главный герой романа Прево и почему? В чем различие художественной природы изображения внутреннего мира де Гриё и Манон Леско?
2. Какова концепция любви у Прево? Приносит ли любовь счастье? Делает ли она человека лучше? К кому из великих писателей XVII века Прево близок в своем понимании любви?
3. Какова функция Тибержа в романе? Это антипод де Гриё или несостоявшаяся возможность судьбы де Гриё?
4. Соответствует ли де Гриё герою пикаро? Если да, то почему?

## Вольтер (1694–1778)

### Предтекстовое задание:

Прочитайте отрывок из поэмы Вольтера «Орлеанская девственница», отметьте ее сатирические, ирои-комические черты. Обратите внимание на то, какими типичными для народной смеховой культуры карнавально-раблезианскими образами пользуется автор, пародийно снижая тон историко-легендарного сюжета о Жанне.

### Орлеанская девственница<sup>60</sup> *Перевод под ред. М. Л. Лозинского*

#### Песнь вторая

.....  
Среди Шампанских невысоких гор,  
Где сто столбов, увенчанных гербами,  
«Вы в Лотарингии», – вещают сами,  
Был городок, безвестный до тех пор;

Но он стяжал невянущую славу,  
Затем что спас французскую державу  
И галльских лилий искупил позор.  
О Домреми, твои поля и воды  
На годы да прославятся и годы!

Твоих холмов убогих не пестрят  
Ни апельсин, ни персик, ни мускат,  
И твоего вина я пить не стану;  
Но Франции ты подарил Иоанну.  
Здесь родилась она: кюре-петух,  
Производивший всюду божьих слуг,  
За мессой, за столом, в постели рьяный,  
Когда-то инок, был отцом Иоанны;  
Стан горничной, дебелой и румяной,  
Был формою, в которой отлита  
Британцам памятная красота.  
В шестнадцать лет при лошадях таверны

---

<sup>60</sup> Остро пародийная сатирическая ирои-комическая поэма. Пародийный претекст – благочестивая, но малоталантливая тяжеловесная поэма Ж. Шаплена «Девственница, или Освобождение Франции» (1656). Особую проблему, эстетическую и этическую, представляет собой снижение образа Девы – Жанны д'Арк, национальной героини Франции. Характеристика ее Вольтером как «отважной идиотки» сочетает в себе фамильярно-смеховое и затаенно нежное, целомудренное отношение поэта к национальным святыням в глубинах собственного сознания. Считается, что первые песни были написаны Вольтером к началу 30-х – концу 40-х гг.; первое анонимное франкфуртское издание «Орлеанской девственницы» датируется 1755 г. Для женевого издания 1762 г. поэт смягчил антиклерикальную сатиру, тем не менее «Орлеанская девственница» была занесена в «Индекс запрещенных книг». Перевод сделан Г. Адамовичем и Г. В. Ивановым под редакцией М. Л. Лозинского в 1920-е гг. в рамках руководимой Горьким обширной государственной программы по переводу зарубежной классики на русский язык.

Ей отыскали заработок верный,  
И в краткий срок о молодой красе  
В округе Вокулёра<sup>61</sup> знали все.  
Решительна осанка, но пристойна;  
Огромные глаза пылают знойно;  
Зубов блестящих ровно тридцать два;  
Гордиться ими вправе ротик алый,  
На строгий вкус не маленький, пожалуй,  
Но выписанный кистью божества,  
Волнующий и яркий, как кораллы.  
Грудь смуглая, но тверже, чем скала,  
Попу, бойцу и книжнику мила.  
Жива, ловка, сильна; в одежде чистой,  
Рукою полною и мускулистой  
Мешки таскает, в чаши льет вино  
Сеньору и крестьянину равно  
И мимоходом оплеухи сыплет,  
Когда повес нескромная рука

Ее за грудь или за бедра щиплет.  
Смеется, трудится до огонька,  
Коней впрягает, водит к водопою  
Иль, их сжимая стройною ногою,  
Летит резвее римского стрелка.

О глубина премудрости верховной!  
Как ты играешь гордостью греховной  
Всех величайших, малых пред тобой!  
Как малый вознесен твоей рукой!  
Святой Денис, служитель верный твой,  
По замкам ослепительным не рыщет,  
Средь вас, о герцогини, он не ищет,  
Денис спешит, – чудно, но это так, –  
На поиски невинности в кабак.  
Он в самый раз явился, чтобы девству  
Обида не была нанесена.  
Уже беда грозила королевству.  
Известно, сколь коварен Сатана;  
И, опоздай святитель на минутку,  
Он с Францией сыграл бы злую шутку.  
Один монах, прозваньем Грибурдон,  
Покинувший с Шандосом Альбион<sup>62</sup>,  
Был в это время в том же самом месте,  
И он решил лишить Иоанну чести.  
Разведчик, проповедник, духовник,

---

<sup>61</sup> Домреми, Вокулёр – название деревни и городка в Лотарингии, на востоке Франции, на берегу реки Маас, где Жанна Д'Арк родилась и начала свою деятельность.

<sup>62</sup> Альбион – поэтическое название Англии. Жан Шандос – один из персонажей поэмы, британский воин, у которого Жанна похищает для себя меч и мужскую одежду.



Он был бы первым в воровском собрание.  
Повсюду он свой нос совать привык;  
И был к тому ж искусен в тайном званье.  
Египетское ведал волшебство,  
Что некогда хранилось колдунами,  
Еврейскими седыми мудрецами;  
Но наши дни утратили его;  
Век тьмы, когда не помнят ничего!

Ему поведала его кабала<sup>63</sup>,  
Что гибелью Иоанна угрожала  
Его друзьям, под юбкою своей  
Нося судьбу обоих королей.  
И, будучи в союзе с василиском,  
Поклялся он ни спать, ни пить, ни есть,  
Поклялся чертом и святым Франциском<sup>64</sup>  
Бесценный сей палладий<sup>65</sup> приобрести,  
Над чувствами Иоанны торжествуя;  
Он восклицал, гнусавя аллилуйя:  
«И родине и церкви послужу я;  
Монах и бритт обязан жить, любя  
Свою страну и, главное, себя».

У некоего грубого невежды  
Явились те же самые надежды,  
С правами теми же на страстный пыл  
Уж потому, что конюхом он был;  
Он предлагал вниманию подруги  
Страсть грубую и грубые услуги;  
Случайности ежеминутных встреч  
Могли бы девушку к нему привлечь,  
Но стыд ее торжествовал, по счастью,  
Над проникающею в душу страстью.  
И Грибурдон опасность увидал:  
Как книги, он сердца людей читал.  
Он страшного соперника находит  
И разговор с ним ласковый заводит:  
«Могучий витязь, вы, без лишних слов,  
Изрядней всех вам вверенных ослов  
И девственницы стоите, конечно;  
Как вы, я тоже страстью к ней палим.

Усилия свои соединим;

---

<sup>63</sup> Кабала (каббала) – иудейская средневековая мистическая доктрина XII–XVI вв., зависимая от гностицизма и неоплатонизма. Здесь ироническое словоупотребление в значении «тайное знание».

<sup>64</sup> Василиск – согласно средневековой легенде так называлось чудище с петушиной головой, жабым туловищем и змеиным хвостом. Святой Франциск – Франциск Ассизский (1182–1226), основавший орден францисканцев.

<sup>65</sup> «бесценный сей палладий» – т. е. бесценный сей залог; в переводе сохранена французская метонимия «Афина Паллада – защита – залог».

Я, как и вы, любовник безупречный.  
Поделим же сей лакомый кусок,  
Который, если ссориться бесплодно,  
Из наших рук и ускользнуть бы мог.  
Когда меня вам к ней свести угодно,  
Я вызову немедля духа сна;  
И очи нежные смежит она,  
Чтоб бдили мы над ней поочередно».

.....

У героини конь обязан быть;  
У злого ль конюха его просить?  
И вдруг осел явился перед нею,  
Трубя, красуясь, изгибая шею.  
Уже подседлан он и взнуздан был,  
Пленяя блеском золотых удил,  
Копытом в нетерпенье землю роя,  
Как лучший конь фракийского героя;  
Сверкали крылья на его спине,  
На них летал он часто в вышине.  
Так некогда Пегас в полях небесных  
Носил на крупе девять дев чудесных,  
И Гиппогриф, летая на луну,  
Астольфа<sup>66</sup> мчал в священную страну.  
Ты хочешь знать, кем был осел тот странный,  
Подставивший крестец свой для Иоанны?  
Об этом я потом упомяну,  
Пока же я тебя предупреждаю,  
Что тот осел довольно близок к раю.

Уже Иоанна на осле верхом,  
Уже Денис подхвачен вновь лучом  
И за девицей поспешает следом  
Приготовить короля к победам.  
То иноходью шествует осел,  
То в небесах несется, как орел.  
Монах, как прежде, полный сладострастья,  
Оправившись от своего несчастья,  
Погонщика, посредством тайных сил,  
Без промедленья в мула обратил,  
Верхом садится, шпорит неустанно,  
Клянется всюду гнаться за Иоанной.  
Погонщик мулов и отныне мул  
По ним рванулся и вперед скакнул;  
И дух из грубого такого теста  
Едва заметил перемену места.

---

<sup>66</sup> «И Гиппогриф... Астольфа мчал...» – герой поэмы Ариосто «Неистовый Роланд» Астольф, желая помочь своему обезумевшему другу Роланду, несется на сказочном крылатом коне – Гиппогрифе на луну.

**Вопросы и задания:**

1. Какие события в военной истории Европы имеет в виду Вольтер?
2. Как Вольтер использует античные литературные отсылки в этом отрывке?
3. Какие, кроме фигуры осла, вы заметили народно-смеховые проявления материально-телесного низа?

\* \* \*

**Предтекстовое задание:**

Зная, что Вольтер относит время действия трагедии «Магомет» (1742) к VII в., эпохе межплеменной борьбы и распространения ислама в Аравии, скажите, интересуется ли автор исторической точностью событий или скорее сутью политики, воплощенной в фигуре Магомета. Подумайте, кого Вольтер противопоставляет этому деятельному, талантливому, абсолютно бесчеловечному и деспотически властному существу. Охарактеризуйте драматургически фигуру Зомира (в традиционной форме Сафира), правителя Мекки, которую Магомет стремится присоединить к своим владениям. Читая отрывок, пронаблюдайте, как он цинично и бесчеловечно манипулирует лучшими свойствами человека в своих властных и корыстных целях.

**Магомет**

*Перевод И. Шафаренко*

**Действие второе**

**Явление пятое**

Зомир, Магомет.

Зомир

О горе! Надо мной висит судьбы проклятье!  
Убийцу вынужден как гостя принимать я!

Магомет

Деяньями людей Аллах руководит.  
Мы встретились, Зомир. Отбрось же страх и стыд!

Зомир

Мне стыдно за тебя. Но – речи бесполезны.  
Ты родину свою довел до края бездны,  
И преступлений сонм влачится за тобой.  
Нарушив мирный труд кровавою войной,  
Посеял в семьях ты вражды и розни семя;  
Воюет с братом брат, в раздоре все со всеми.  
О мире для того ты сладостно поешь,

Чтоб, нас перехитрив, всадить нам в спину нож!  
Внедрившись подкупом, и лестью, и обманом,  
Несчастья ты принес всем покоренным странам,  
И, в град святой вступив, дерзаешь ты, злодей,  
Навязывать нам ложь религии своей!

#### Магомет

Когда бы говорил сейчас я не с Зопиром,  
То именем того, кто дал мне власть над миром,  
Кто в руку мне вложил несущий кару меч,  
Я речи дерзкие сумел бы вмиг пресечь;  
Мой голос бы тогда гремел подобно грому  
И леденящий страх внушил бы я любому.  
Но ты – Зопир. А я достаточно велик,  
Чтоб говорить с тобой, как с равным, напрямик.  
Мы здесь одни, никто подслушать нас не может.  
Да, я честолюбив. Ты – полагаю – тоже.  
Но до меня никто от века не посмел  
Стать начинателем столь дерзновенных дел!  
История полна соперничества тронов.  
Искусством мастеров иль мудростью законов,  
Но чаще – войнами тот иль иной народ  
В потомстве славен был и обретал почет.  
Аравия была затеряна в пустыне,  
Но мир завоевать пришел черед ей ныне.  
Круша империи, их обращая в слуг,  
Пойдем мы на восток, на север и на юг.  
Египет, Индия подкошены под корень;  
Константинополь слаб и распадется вскоре;  
Могучий прежде Рим, что век от века рос,  
Сегодня распростерт, как умерший колосс,  
Безжизненны его отрубленные члены.  
В обломках старый мир. Пора воздвигнуть стены  
Империи, еще не виданной нигде.  
Поработим же тех, кто слаб или в беде.  
Как персам Зороастр и как Минос критянам,  
Так Нума римлянам, Озирис<sup>67</sup> египтянам  
Законов мудрых дать доныне не могли,  
Теряют боги власть во всех концах земли.  
Вселенная во тьме; ей нужен светоч новый –  
Я дам ей новый культ и новые оковы.  
Единым божеством на тысячи веков  
Сменится пестрый сонм неистинных богов,  
И над вселенною растерянной и сонной

---

<sup>67</sup> Зороастр, Минос, Нума, Озирис – перечисляются легендарные законодатели и устроители жизни народов. Зороастр – основатель религии древних персов, Минос – легендарный царь Крита, Нума – второй царь древнего Рима, упорядочивший законы, Озирис – мифический правитель загробной жизни, верховное божество древних египтян.

Возникнет новый бог – жестокий, непреклонный,  
Карающий грехи суровый судия.  
А возглашать его веленья буду я.  
Я за дела примусь решительно и круто,  
Порядок наведу и обуздаю смуту.  
Всемирной славы я для родины ищу  
И ради славы той народ порабощу.

Зопир

Вот в чем твой замысел! Стремишься ты, презренный,  
Насильно изменить прекрасный лик вселенной  
И, якобы лечя людей от слепоты,  
Заставить всех и жить, и мыслить так, как ты?  
Ты разрушаешь мир под видом просвещения!  
Пусть даже свойственны всем смертным заблуждения  
И им грозит во мгле ошибок утонуть, –  
Каким же факелом ты осветишь им путь?  
Кто право дал тебе всех поучать упрямо  
И власти требовать, и жертв, и фимиама?

Магомет

Мой ум, который тверд, и ясен, и силен!  
Над глупую толпой меня возносит он.

Зопир

Что ж, должен оправдать я всякого смутьяна  
За то, что дерзок он и рвется к власти рьяно?  
По-твоему, обман хорош, когда он смел?

Магомет

Конечно. Твой народ уже вполне созрел,  
Чтоб быть обманутым. Ты сам мне это выдал.  
Его прельстит любой, но только – новый идол.  
Обычай защищать ты можешь так и сяк,  
Но у твоих богов источник сил иссяк;  
Их алтари пусты; законы их нелепы;  
Твоей религии давно ослабли скрепы;  
Она плодит глупцов. Мой бог – куда мудрей:  
Творит героев он.

Зопир

Разбойников скорей!  
Нет, эти рассказы оставь ты для Медины,  
Где все ослеплены и потому едины,

Где равные тебе лежат у ног твоих.

Магомет

Мне равные? Смешно! Да где ты видел их?  
Для них я – бог. И здесь мне все хотят молиться.  
Так мой тебе совет – со мною примириться.

Зопир

Не верю я тебе. Ты – опытный игрок,  
И ты со мной хитришь.

Магомет

Какой мне в этом прок?  
Хитрит лишь слабый. Я ж силен и не плутую.  
Ведь то, о чем сейчас прошу тебя впустую,  
Я завтра вырву сам из стариковских рук.  
Спеши, пока с тобой я говорю, как друг!

Зопир

Каких богов позвать ты можешь на подмогу,  
Чтоб я с тобою стал на дружескую ногу?

Магомет

Что ж, одного из них прекрасно знаю я,  
И он могуч.

Зопир

Кто ж он?

Магомет

Он – выгода твоя,  
Необходимость.

Зопир

Нет, ты перешел границы!  
Скорее могут рай и ад соединиться!  
Да, выгода – твой бог, а справедливость – мой,  
И договор для нас немыслим никакой.

**Вопросы и задания:**

1. В споре Зопира и Магомета употребляются понятия игры, выгоды, справедливости, обмана, рабства, веры, закона. Укажите, как именно пользуется ими каждый из собеседников.
2. Сформулируйте позиции Магомета и Зопира как моральные и мировоззренческие.
3. Сформулируйте позиции тех же антагонистов как политические. Какие вы знаете авторитетные политические учения в Западной Европе, которые Вольтер мог иметь в виду, создавая образ Магомета?
4. Почему «Магомета» называют «Тартюф с оружием в руках»?

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Подумайте, что в приведенном отрывке повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759) демонстрирует такие черты жанра просвещенческой философской повести, как условность сюжета и персонажей и как именно Вольтер делает их далекими от исторического или социально-психологического углубления. Покажите, что проблематика Вольтера целиком находится на уровне мысли. Если повествование покажется вам необоснованным и облегченным, то это результат искажения в современном читательском восприятии поэтики Вольтера, «в которой философия говорит общепонятным и шутливым языком», но не теряет глубины. Скажите, как вы понимаете наивность Кандида («чистого листа»), и подумайте над тем, какую роль играют прекрасная Кунигунда, освещенная иронически-куртуазно, а также разные философские и моральные коллизии, выраженные в Панглосе, Мартене и др. проповедниках различных идей, мировоззрений и их оттенков.

## **Кандид, или оптимизм** *Перевод Ф. Сологуба*

Перевод с немецкого доктора Ральфа с добавлениями, которые были найдены в кармане у доктора, когда он скончался в Миндене в лето благодати господней 1759.

### **Глава Первая. Как был воспитан в прекрасном замке Кандид и как он был оттуда изгнан**

В Вестфалии<sup>68</sup>, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он – сын сестры барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в родословной числилось всего лишь семьдесят одно поколение предков, остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной силой времени.

Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в замке его были и двери, и окна; главная зала даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору; его конюхи становились егерями; деревенский священник был его великим милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, когда он рассказывал о своих приключениях.

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят фунтов; этим она внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, Кунигунда, семнадцати лет, была румяная,

---

<sup>68</sup> Вестфалия – историческая область на северо-западе Германии.

свежая, полная, аппетитная. Сын барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглос был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера.

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологонигологию. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона – прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс.

– Доказано, – говорил он, – что все таково, каким должно быть; так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы созданы для очков, потому мы и носим очки. Ноги, очевидно, назначены для того, чтобы их обувать, вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить из них замки, и вот монсеньор владеет прекраснейшим замком: у знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели, – мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость, – нужно говорить, что все к лучшему.

Кандид слушал внимательно и верил простодушно; он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда и не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, что, после счастья родиться бароном Тундер-тен-Тронком, вторая степень счастья – это быть Кунигундой, третья – видеть ее каждый день и четвертая – слушать учителя Панглоса, величайшего философа того края и, значит, всей земли.

<...>

## Глава двадцать пятая

*Визит к синьору Пококуранте, благородному венецианцу*

Кандид и Мартен сели в гондолу и поплыли по Бренте ко дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались в отличном порядке и были украшены великолепными мраморными статуями; архитектура дворца не оставляла желать лучшего. Хозяин дома, человек лет шестидесяти, известный богач, принял наших любознательных путешественников учтиво, но без особой предупредительности, что смутило Кандида и, пожалуй, понравилось Мартену.

Сначала две девушки, опрятно одетые и хорошенькие, подали отлично взбитый шоколад. Кандид не мог удержаться, чтобы не похвалить их красоту, услужливость и ловкость.

– Они довольно милые создания, – согласился сенатор. – Иногда я беру их к себе в постель, потому что городские дамы мне наскучили своим кокетством, ревностью, ссорами, прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, которые нужно сочинять или заказывать в их честь; но и эти девушки начинают мне надоедать.

Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галерее, был поражен красотой висевших там картин. Он спросил, каким художником написаны первые две.

– Они кисти Рафаэля<sup>69</sup>, – сказал хозяин дома. – Несколько лет назад я из тщеславия заплатил за них слишком дорого. Говорят, они из лучших в Италии, но я не нахожу в них ничего хорошего: краски очень потемнели, лица недостаточно округлы и выпуклы, драпировка ничуть не похожа на настоящую материю – одним словом, что бы там ни говорили, я не вижу здесь верного подражания природе. Картина нравится мне только тогда, когда при взгляде на нее я словно созерцаю самую природу, но таких картин не существует. У меня много полотен, но я уже более не смотрю на них.

Пококуранте в ожидании обеда позвал музыкантов. Кандиду музыка показалась восхитительной.

---

<sup>69</sup> Рафаэль Санти (1483–1520) – великий итальянский художник Высокого Возрождения.



– Этот шум, – сказал Пококуранте, – можно с удовольствием послушать полчаса, не больше, потом он всем надоедает, хотя никто не осмеливается в этом признаться. Музыка нынче превратилась в искусство умело исполнять трудные пассажи, а то, что трудно, не может нравиться долго. Я, может быть, любил бы оперу, если бы не нашли секрета, как превращать ее в отвратительное чудовище. Пусть кто хочет смотрит и слушает плохонькие музыкальные трагедии, сочиненные только для того, чтобы совсем некстати ввести несколько глупейших песен, в которых актриса щеголяет своим голосом; пусть кто хочет и может замирает от восторга при виде кастрата, напевающего монологи Цезаря или Катона и спесиво расхаживающего на подмостках. Что касается меня, я давно махнул рукой на этот вздор, который в наши дни прославил Италию и так дорого ценится высочайшими особами.

Кандид немного поспорил, но без особой горячности. Мартен согласился с сенатором.

Сели за стол, а после превосходного обеда перешли в библиотеку. Кандид, увидев Гомера, прекрасно переплетенного, начал расхваливать вельможу за его безукоризненный вкус.

– Вот книга, – сказал он, – которой всегда наслаждался великий Панглос, лучший философ Германии.

– Я ею отнюдь не наслаждаюсь, – холодно промолвил Пококуранте. – Когда-то мне внушали, что, читая ее, я должен испытывать удовольствие, но эти постоянно повторяющиеся сражения, похожие одно на другое, эти боги, которые вечно суетятся, но ничего решительного не делают, эта Елена, которая, послужив предлогом для войны, почти не участвует в действии, эта Троя, которую осаждают и никак не могут взять, – все это нагоняет на меня смертельную скуку. Я спрашивал иной раз ученых, не скучают ли они так же, как я, при этом чтении. Все прямодушные люди признались мне, что книга валится у них из рук, но что ее все-таки надо иметь в библиотеке, как памятник древности, как ржавые монеты, которые не годятся в обращении.

– Ваша светлость, конечно, иначе судит о Вергилии? – спросил Кандид.

– Должен признать, – сказал Пококуранте, – что вторая, четвертая и шестая книги его «Энеиды» превосходны; но что касается благочестивого Энея, и могучего Клоанта, и друга Ахата, и маленького Аскания, и сумасшедшего царя Латина, и пошлой Аматы, и несносной Лавинии, то вряд ли сыщется еще что-нибудь, столь же холодное и неприятное. Я предпочитаю Тассо и невероятные рассказы Ариосто<sup>70</sup>.

– Осмелюсь спросить, – сказал Кандид, – не испытываете ли вы истинного удовольствия, когда читаете Горация?

– У него есть мысли, – сказал Пококуранте, – из которых просвещенный человек может извлечь пользу; будучи крепко связаны энергичным стихом, они легко удерживаются в памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Бриндизи, описание дурного обеда, грубая ссора неведомого Рупилия, слова которого, по выражению стихотворца, «полны гноя», с кем-то, чьи слова «пропитаны уксусом». Я читал с чрезвычайным отвращением его грубые стихи против старух и колдуний и не нахожу ничего, достойного похвалы, в обращении Горация к другу Меценату, в котором он говорит, что если этот самый Меценат признает его лирическим поэтом, то он достигнет звезд своим возвышенным челом. Глупцы восхищаются всем в знаменитом писателе, но я читаю для собственного улаждения и люблю только то, что мне по душе.

Кандид, которого с детства приучили ни о чем не иметь собственного суждения, был сильно удивлен речью Пококуранте, а Мартен нашел такой образ мыслей довольно разумным.

– О, я вижу творения Цицерона! – воскликнул Кандид. – Ну, этого-то великого человека вы, я думаю, перечитываете постоянно?

– Я никогда его не читаю, – отвечал венецианец. – Какое мне дело до того, кого он защищал в суде – Рабирия или Клуенция? С меня хватает тяжб, которые я сам вынужден разбирать.

---

<sup>70</sup> Перечисляются персонажи «Энеиды». Торквато Тассо и Лодовико Ариосто – ренессансные итальянские поэты.

Уж скорее я примирился бы с его философскими произведениями; но, обнаружив, что и он во всем сомневался, я заключил, что знаю столько же, сколько он, а чтобы оставаться невеждой, мне чужой помощи не надо.

– А вот и труды Академии наук в восьмидесяти томах! – воскликнул Мартен. – Возможно, в них найдется кое-что разумное.

– Безусловно, – сказал Пококуранте, – если бы среди авторов этой чепухи нашелся человек, который изобрел бы способ изготовлять – ну, скажем, булавки. Но во всех этих томах одни только бесполезные отвлеченности и ни одной полезной статьи.

– Сколько театральные пьес я вижу здесь, – сказал Кандид, – итальянских, испанских, французских!

– Да, – сказал сенатор, – их три тысячи, но не больше трех десятков действительно хороши. Что касается этих сборников проповедей, которые все, вместе взятые, не стоят одной страницы Сенеки, и всех этих богословских фолиантов, вы, конечно, понимаете, что я никогда не заглядываю в них, да и никто не заглядывает.

Мартен обратил внимание на полки, уставленные английскими книгами.

– Я думаю, – сказал он, – что республиканцу должна быть по сердцу большая часть этих трудов, написанных с такой свободой,

– Да, – ответил Пококуранте, – хорошо, когда пишут то, что думают, – это привилегия человека. В нашей Италии пишут только то, чего не думают; люди, живущие в отечестве Цезарей и Антониев, не осмеливаются обнародовать ни единой мысли без позволения монаха-якобита. Я приветствовал бы свободу, которая вдохновляет английских писателей, если бы пристрастность и фанатизм не исказили всего, что в этой драгоценной свободе достойно уважения.

Кандид, заметив Мильтона, спросил хозяина, не считает ли он этого автора великим человеком.

– Мильтона? – переспросил Пококуранте. – Этого варвара, который в десяти книгах тяжеловесных стихов пишет длинный комментарий к Первой Книге Бытия; этого грубого подражателя грекам, который искажает рассказ о сотворении мира? Если Моисей говорит о Предвечном Существо, создавшем мир единым словом, то Милтон заставляет Мессию брать большой циркуль из небесного шкафа и чертить план своего творения! Чтобы я стал почитать того, кто изуродовал ад и дьяволов Тассо, кто изображал Люцифера то жабою, то пигмеем и заставлял его по сто раз повторять те же речи и спорить о богословии, кто, всерьез подражая шуткам Ариосто об изобретении огнестрельного оружия, вынуждал демонов стрелять из пушек в небо? Ни мне, да и никому другому в Италии не могут нравиться эти жалкие нелепицы. Брак Греха со Смертью и те ехидны, которыми Грех разрешается, вызывают тошноту у всякого человека с тонким вкусом, а длинейшее описание больницы годится только для гробовщика. Эта поэма, мрачная, дикая и омерзительная, при самом своем появлении в свет была встречена презрением; я отношусь к ней сейчас так же, как некогда отнеслись в ее отечестве современники. Впрочем, я говорю, что думаю, и очень мало озабочен тем, чтобы другие думали так же, как я.

Кандид был опечален этими речами: он читал Гомера, но немножко любил и Мильтона.

– Увы! – сказал он тихо Мартену. – Я очень боюсь, что к нашим германским поэтам этот человек питает величайшее пренебрежение.

– В этом еще нет большой беды, – сказал Мартен.

– О, какой необыкновенный человек! – шепотом повторял Кандид. – Какой великий гений этот Пококуранте! Ему все не нравится!

Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад. Кандид принялся хвалить его красоты.

– Этот сад – воплощение дурного вкуса, – сказал хозяин, – столько здесь ненужных украшений. Но завтра я распоряжусь разбить новый сад по плану более благородному.

Когда любознательные посетители простились с вельможей, Кандид сказал Мартену:

– Согласитесь, что это счастливейший из людей: он взирает сверху вниз на все свои владения.

– Вы разве не видите, – сказал Мартен, – что ему все опротивело? Платон давным-давно сказал, что отнюдь не лучший тот желудок, который отказывается от всякой пищи.

– Но какое это, должно быть, удовольствие, – сказал Кандид, – все критиковать и находить недостатки там, где другие видят только красоту!

– Иначе сказать, – возразил Мартен, – удовольствие заключается в том, чтобы не испытывать никакого удовольствия?

– Ну хорошо, – сказал Кандид, – значит, единственным счастливецом буду я, когда снова увижу Кунигунду.

– Надежда украшает нам жизнь, – сказал Мартен. <...>

## Глава тридцатая. Заключение

<...> Естественно было ожидать, что после стольких бедствий Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с философом Панглосом, философом Мартеном, благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много брильянтов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз был обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма; его жена, делаясь с каждым днем все более уродливой, стала сварливой и несносной; старуха одряхла, и характер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судьбу. Панглос был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь немецком университете. Что касается Мартена, он был твердо убежден, что везде одинаково плохо, и терпеливо переносил тяготы жизни. Кандид, Мартен и Панглос спорили иногда о метафизике и нравственности. Они частенько видели проплывающие мимо их фермы корабли, набитые пашами, эфенди и кадиями, которых ссылали на Лемнос, на Митилену, в Эрзерум<sup>71</sup>; другие кади, другие паши, другие эфенди занимали места изгнанных и в свой черед отправлялись в изгнание; видели они иногда и аккуратно набитые соломой человеческие головы, – их везли в подарок могучему султану. Эти зрелища рождали новые споры; а когда они не спорили, воцарялась такая невыносимая скука, что как-то раз старуха осмелилась сказать:

– Хотела бы я знать, что хуже: быть похищенной и сто раз изнасилованной неграми-пиратами, лишиться половины зада, пройти сквозь строй у болгар, быть висеченным и повешенным во время аутодафе, быть разрезанным, грести на галерах – словом, испытать те несчастья, через которые все мы прошли, или прозябать здесь, ничего не делая?

– Это большой вопрос, – сказал Кандид.

Речь старухи породила новые споры. Мартен доказывал, что человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но ничего и не утверждал. Панглос признался, что всю жизнь терпел страшные муки, но, однажды усвоив, будто все идет на диво хорошо, будет всегда придерживаться этого взгляда, отвергая все прочие точки зрения.

Новые события окончательно утвердили Мартена в его отвратительных принципах, поколебали Кандида и смутили Панглоса. Однажды к ним на ферму явилась Пакета и брат Жирофле в самом бедственном состоянии. Они очень быстро проели свои три тысячи пиастров, расстались, потом помирились, снова поссорились, попали в тюрьму, убежали оттуда, и, нако-

---

<sup>71</sup> Перечисляются титулы и географические названия, связанные с османской Турцией. Паша – губернатор; эфенди – офицерское звание; кади – судья; Лемнос – остров в Эгейском море, в описываемое время турецкий; Митилена – город на о. Лесбос, Эрзерум – провинция и город в армянской Турции.

нец, брат Жирофле сделался турком. Пакета продолжала заниматься своим ремеслом, но уже почти ничего им не зарабатывала.

– Я ведь предвидел, – сказал Мартен Кандиду, – что они быстро промотают ваши дары и тогда станут еще несчастнее, чем были. Вы и Какамбо растратили миллионы пиастров и не более счастливы, чем брат Жирофле и Пакета.

– Само небо привело вас сюда к нам, мое бедное дитя, – сказал Панглос Пакете. – Знаете ли вы, что стоили мне кончика носа, одного глаза и уха? Да и вы в каком сейчас виде! О, что это за мир, в котором мы живем!

Это происшествие дало им новую пищу для философствования.

По соседству с ними жил очень известный дервиш<sup>72</sup>, который считался лучшим философом в Турции. Они пошли посоветоваться с ним. Панглос сказал так:

– Учитель, мы пришли спросить у вас, для чего создано столь странное животное, как человек?

– А тебе-то что до этого? – сказал дервиш. – Твое ли это дело?

– Но, преподобный отец, – сказал Кандид, – на земле ужасно много зла.

– Ну и что же? – сказал дервиш. – Какое имеет значение, царит на земле зло или добро?

Когда султан посылает корабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо корабельным крысам?

– Что же нам делать? – спросил Панглос.

– Молчать, – ответил дервиш.

– Я льстил себя надеждой, – сказал Панглос, – что смогу побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем из возможных миров, о происхождении зла, о природе души и о предустановленной гармонии.

В ответ на эти слова дервиш захлопнул дверь у них перед носом.

Во время этой беседы распространилась весть, что в Константинополе удавили двух визирей и муфтия<sup>73</sup> и посадили на кол нескольких их друзей. Это событие наделало много шума на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартен, возвращаясь к себе на ферму, увидели почтенного старика, который наслаждался прохладой у порога своей двери под тенью апельсинового дерева. Панглос, который был не только любитель рассуждать, но и человек любопытный, спросил у старца, как звали муфтия, которого удавили.

– Вот уж не знаю, – отвечал тот, – да и, признаться, никогда не знал имен никаких визирей и муфтиев. И о происшествии, о котором вы мне говорите, не имею понятия. Я полагаю, что вообще люди, которые вмешиваются в общественные дела, погибают иной раз самым жалким образом и что они этого заслуживают. Но я-то нисколько не интересуюсь тем, что делается в Константинополе; хватит с меня и того, что я посылаю туда на продажу плоды из сада, который возделываю.

Сказав это, он предложил чужеземцам войти в его дом; две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов домашнего шербета, каймак, приправленный лимонной коркой, варенной в сахаре, апельсины, лимоны, ананасы, финики, фисташки, моккский кофе, который не был смешан с плохим кофе из Батавии и с Американских островов. Потом дочери этого доброго мусульманина надушили Кандиду, Панглосу и Мартену бороды.

– Должно быть, у вас обширное и великолепное поместье? – спросил Кандид у турка.

– У меня всего только двадцать арпанов, – отвечал турок. – Я их возделываю сам с моими детьми; работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду.

---

<sup>72</sup> Дервиш – мусульманский аналог святого, аскета, монаха.

<sup>73</sup> Визирь – название первого министра государя во многих восточных культурах. Муфтий – в мусульманстве высшее духовное лицо, первосвященник.

Кандид, возвращаясь на ферму, глубокомысленно рассуждал по поводу речей этого турка. Он сказал Панглосу и Мартену:

– Судьба доброго старика, на мой взгляд, завиднее судьбы шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.

– Высокий сан, – сказал Панглос, – связан с большими опасностями; об этом свидетельствуют все философы. Судите сами: Еглон, царь моавитский, был убит Аодом; Авессалом повис на своих собственных волосах и был пронзен тремя стрелами; царь Нават, сын Иероваама, был убит Ваасою; царь Эла – Замврием; Охозия – Иеговой; Гофолия – Иодаем; цари Иоаким, Иехония и Седекия попали в рабство. Знаете вы, как погибли Крез, Астиаг, Дарий, Дионисий Сиракузский, Пирр, Персей, Ганнибал, Югурта, Ариовист, Цезарь, Помпей, Нерон, Оттон, Вителлий, Домициан, Ричард II английский, Эдуард II, Генрих VI, Ричард III, Мария Стюарт, Карл I, три Генриха французских, император Генрих IV? Знаете вы...

– Я знаю также, – сказал Кандид, – что надо возделывать наш сад.

– Вы правы, – сказал Панглос. – Когда человек был поселен в саду Эдема, это было ut operaretur eum, – дабы и он работал. Вот вам доказательство того, что человек родился не для покоя.

– Будем работать без рассуждений, – сказал Мартен, – это единственное средство сделать жизнь сносною.

Все маленькое общество прониклось этим похвальным намерением; каждый начал изоощрять свои способности. Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигунда, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла пироги; Пакета вышивала; старуха заботилась о белье. Даже брат Жирофле пригодился: он стал очень недурным столяром, более того – честным человеком, и Панглос иногда говорил Кандиду:

– Все события неразрывно связаны в лучшем из возможных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного замка здоровым пинком в зад за любовь к Кунигунде, если бы не были взяты инквизицией, если бы не обошли пешком всю Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдорадо, – не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни фисташек.

– Это вы хорошо сказали, – отвечал Кандид, – но надо возделывать наш сад.

### **Вопросы и задания:**

1. Изложите идею «теодицеи», т. е. ту, что вслед за Лейбницем проповедует Панглос в иронической интерпретации Вольтера, очистив ее от этой иронии.

2. Как можно сформулировать позицию Мартена?

3. Каков смысл эпизода с Пококуранте «ни о чем не тревожащемся»? Какую авторскую моральную позицию можно усмотреть в этом эпизоде?

4. Как вы понимаете вольтеровское заключение повести с ее призывом к человеку «возделывать свой сад»? Прокомментируйте тему труда, возникающую здесь, на широком историческом фоне: в отличие от восприятия труда в античных философиях, в средневековом христианстве, у Эразма.

## Дени Дидро (1713–1784)

### Предтекстовое задание:

Внимательно прочитайте предложенный отрывок романа «Монахиня» (1760) и обратите внимание на особые принципы литературной изобразительности Дидро: внимание к жестам, деталям, подробные диалоги. Обратите внимание на то, как «судебная» риторика романа определяет его языковое и интонационное наполнение. Обратите внимание, какими художественными средствами писатель вызывает сострадание читателя к героине.

### Монахиня<sup>74</sup>

#### Перевод Д. Г. Лившиц

«...» вскоре должен был начаться процесс, а здесь все еще были в полном неведении. Можете себе представить, каково было изумление настоятельницы, когда ей предъявили от имени сестры Марии-Сюзанны Симонен заявление о расторжении обета, а также просьбу разрешить ей снять монашескую одежду и выйти из монастыря, с тем чтобы располагать собой по своему усмотрению.

Разумеется, я предполагала, что встречу немало возражений – со стороны закона, со стороны монастыря, со стороны моих встревоженных зятьев и сестер: последние владели всем имуществом семьи, и, оказавшись на свободе, я могла бы претендовать на возвращение значительной его части. Я написала сестрам, умоляя их не чинить никаких препятствий моему уходу из монастыря, я зывала к их совести, напоминая о том, что обет был дан мною почти против воли. Я обещала им формально отказаться от каких-либо претензий на наследство, оставшееся после родителей. Я всячески старалась убедить их, что мой шаг не был продиктован ни стремлением к денежной выгоде, ни любовным увлечением. Я не заблуждалась относительно их чувств. Такого рода акт, составленный до расторжения обета, мог оказаться недействительным впоследствии, и у них не было никакой уверенности в том, что я подтверждаю его, получив свободу. Да и было ли им удобно принять мое предложение? Как могли они оставить сестру без пристанища и без средств? Как могли воспользоваться ее имуществом? Что сказали бы окружающие? «А что, если сестра обратится к нам с просьбой о куске хлеба, – можно ли будет отказать ей? А вдруг она вздумает выйти замуж, – кто знает, что за человек будет ее муж? А если у нее будут дети?.. Нет, нет, надо всеми силами воспрепятствовать этой опасной попытке...» Вот что они сказали себе и что сделали.

Как только настоятельница получила официальное извещение о возбуждении мною дела, она сейчас же прибежала ко мне в келью.

- Как, вы хотите нас покинуть, сестра Сюзанна? – вскричала она.
- Да, сударыня.
- И собираетесь отречься от обета?
- Да. – Разве вы дали его не по доброй воле?
- Нет, сударыня.
- Кто же принудил вас к этому?
- Все.
- Ваш отец?

---

<sup>74</sup> Роман Дидро «Монахиня» был опубликован в 1761 г., после возвращения Дидро из России. Дата его написания приблизительно. С историей романа связано несколько легенд, в том числе и легенда о литературной мистификации. Согласно свидетельствам друзей Дидро, а точнее, г-жи д'Эпине, Дидро хотел выдать историю своей героини за подлинную, чтобы заставить адресата ее писем, маркиза де Круамара вмешаться. Согласно другой версии, судьба Сюзанны Симонен обобщает несколько житейских историй, в том числе события из жизни матери Даламбера, соратника Дидро по «Энциклопедии».

- Да, отец.
- Ваша мать?
- Да, и она.
- Почему же вы не заявили об этом перед алтарем?
- Я почти не сознавала, что со мной происходит: не помню даже, присутствовала ли я при этом.
- Как можно говорить такие вещи!
- Я говорю правду.
- Полноте! Вы не слышали, как священник спрашивал вас: «Сестра Сюзанна Симонен, даете ли вы Богу обет послушания, целомудрия и бедности?»
- Я не помню этих слов.
- Однако же вы ответили ему: «Да».
- Не помню.
- И вы воображаете, что люди поверят вам?
- Поверят или нет, но правда не перестанет от этого быть правдой.
- Дорогое дитя, подумайте сами, к каким злоупотреблениям могли бы привести подобные отговорки, если бы с ними стали считаться! Вы сделали необдуманный шаг, поддавшись чувству мести. Вы затаили в душе злобу из-за наказаний, к которым вынудили меня сами, и решили, что это достаточная причина для расторжения обета. Вы ошиблись: этого не допустят ни Бог, ни люди. Подумайте, ведь нарушение клятвы – это величайшее из преступлений. Вы уже совершили его в своем сердце, а теперь собираетесь довести дело до конца.
- Я не нарушу клятвы, потому что не давала ее.
- Если даже вам и были нанесены некоторые обиды, то разве они не были потом заглажены?
- Не это заставило меня решиться.
- Что же?
- Отсутствие призвания, отсутствие свободной воли при произнесении обета.
- Но если у вас не было призвания, если вас принуждали, почему вы не сказали об этом, когда еще было время?
- Да разве это могло помочь мне?
- Почему вы не обнаружили такой же твердости, какую проявили в монастыре святой Марии?
- Да разве эта твердость зависит от нас? В первый раз я была тверда, во второй – дух мой ослабел.
- Почему вы не обратились к человеку, знающему законы? Почему не выразили протеста? Вы имели право заявить о своем отказе в течение суток.
- Да разве я знала об этих формальностях? А если бы и знала, то разве я в состоянии воспользоваться ими? Да и была ли у меня эта возможность? Сударыня, ведь вы сами заметили тогда мое умственное расстройство. Скажите, если я призову вас в свидетели, неужели вы поклянетесь, что я была в здравом рассудке?
- Да, я поклянусь в этом.
- Тогда, сударыня, не я, а вы будете клятвopреступницей.
- Дитя мое, вы вызовете ненужный скандал, и только. Заклинаю вас, придите в себя. Это в ваших же собственных интересах, в интересах всей обители. Такого рода дела никогда не обходятся без позорной огласки.
- Не я буду виновна в этом.
- Миряне злы. Они будут делать самые невыгодные предположения относительно вашего ума, сердца, нравственности. Могут подумать, что...
- Пусть думают что хотят.

– Будьте со мной откровенны. Если у вас есть какое-нибудь тайное недовольство, мы найдем способ устранить его причину, в чем бы она ни заключалась.

– Всю свою жизнь я была, есть и буду недовольна тем, что я монахиня.

– Быть может, дух-искуситель, который стережет нас на каждом шагу и старается погубить наши души, воспользовался чрезмерной свободой, предоставленной вам в последнее время, и внушил вам какую-нибудь пагубную склонность?

– Нет, сударыня. Вы знаете, что я нелегко даю клятвы; так вот, я призываю Бога в свидетели, что сердце мое чисто и в нем никогда не было ни одного постыдного чувства.

– Это непостижимо.

– А между тем, сударыня, это так просто. Не все люди одинаковы. Вам нравится жизнь в монастыре, а я ее ненавижу. Бог даровал вам радости, связанные с монашеством, а мне он их не дал. Вы погибли бы в миру, здесь вам обеспечено спасение; а я погибла бы здесь и. надеюсь спастись в миру: я дурная монахиня и останусь такою.

– Но почему же? Ведь никто не исполняет своих обязанностей лучше вас.

– Да, но я делаю это через силу и против воли.

– Тем больше ваша заслуга.

– Никто не знает лучше меня, чего я заслуживаю, и я вынуждена сознаться, что, несмотря на всю мою покорность, у меня нет никаких заслуг. Я устала от собственного лицемерия. Делая то, что другим приносит спасение, я ненавижу себя и гублю свою душу. Словом, сударыня, я считаю истинными монахинями лишь тех, кого удерживает здесь склонность к уединенной жизни и кто остался бы в монастыре даже в том случае, если б вокруг не было ни решеток, ни толстых стен. Я далеко не такова: тело мое здесь, но сердце отсутствует, и если бы мне пришлось выбирать между смертью и вечным затворничеством, я не колеблясь выбрала бы смерть. Таковы мои чувства.

– Как! Неужели вы без угрызений совести сбросите с себя это покрывало, эти одежды, посвящающие вас Иисусу Христу?

– Да, сударыня, так как я надела их необдуманно и против воли.

Я отвечала очень сдержанно, хотя сердце подсказывало мне совсем иные слова; оно кричало: «О, поскорее бы дожить до минуты, когда я смогу разорвать их и отбросить далеко прочь!..»

Тем не менее ответ мой ужаснул настоятельницу. Она побледнела, хотела что-то сказать, но губы ее дрожали, и она не находила слов.

Я большими шагами ходила взад и вперед по келье, а она восклицала:

– О Господи! Что скажут наши сестры? О Иисусе, смилостивься над нею!.. Сестра Сюзанна!

– Да, сударыня?

– Так это ваше окончательное решение? Вы хотите покрыть нас позором, сделать себя и нас притчей во языцех, погубить себя?

– Я хочу выйти отсюда.

– Но если дело только в том, что вам не нравится этот монастырь...

– Монастырь, монашество, обеты!.. Я не хочу жить под замком ни здесь, ни где бы то ни было.

– Дитя мое, в вас вселился злой дух. Это он возмущает вас, внушает вам такие слова, приводит в исступление. Да, да, это так; посмотрите, в каком вы виде!

В самом деле – бросив на себя взгляд, я увидела, что мое платье было в беспорядке, нагрудник съехал почти на спину, покрывало сползло на плечи. Злые слова настоятельницы, произнесенные притворно ласковым тоном, вывели меня из себя, и я сказала ей с раздражением:

– Нет, сударыня, нет, я не хочу больше носить это платье, не хочу...



Говоря это, я все же делала попытки привести в порядок свое покрывало, но руки у меня дрожали, и чем больше я старалась поправить его, тем больше оно сбивалось на сторону. Тогда, потеряв терпение, я порывисто схватила его, сорвала с себя, бросила на пол и стояла теперь перед настоятельницей с одной только повязкой на лбу и с растрепанными волосами. Не зная, что делать – остаться или уйти, – она ходила взад и вперед по келье, повторяя:

– О Иисусе, в нее вселился бес! Нет сомнения, в нее вселился бес!.. И лицемерная женщина осеняла себя крестом своих четок.

Я быстро пришла в себя и почувствовала все неприличие своего вида и всю неосторожность своих слов. Я постаралась по возможности овладеть собой, подняла с полу покрывало и надела его, потом обернулась к настоятельнице и сказала:

– Сударыня, я не сошла с ума, и в меня не вселился бес. Я стыжусь своей выходки и прошу вас простить меня за нее; но теперь судите сами, как мало подходит мне звание монахини и как правильно я поступаю, стараясь по мере сил избавиться от него.

Не слушая меня, она повторяла: «Что скажут люди? Что скажут наши сестры?»

– Сударыня, – сказала я, – вы хотите избежать огласки? Для этого есть средство. Я не забочусь о своем вкладе, я хочу только свободы. Я не прошу вас раскрыть передо мной двери монастыря, я прошу одного – сделайте так, чтобы сегодня, завтра, через несколько дней их дурно охраняли, и постарайтесь заметить мой побег как можно позже...

– Несчастливая! Как смеете вы предлагать мне это?

– Я только даю совет, и добрая, разумная настоятельница должна была бы последовать ему в отношении всех тех, для кого монастырь – тюрьма. Для меня же он в тысячу раз страшнее тюрьмы, настоящей тюрьмы, где содержат преступников. Либо я выйду отсюда, либо погибну... Сударыня, – торжественно продолжала я, смело глядя на нее, – выслушайте меня: если закон, к которому я обратилась, обманет мои ожидания, то чувство отчаяния – а я слишком хорошо знакома с ним – может толкнуть меня на... здесь есть колодец... в доме есть окна... повсюду есть стены... есть платье... которое можно разорвать... руки, которыми можно...

– Замолчите, несчастная! Я содрогаюсь! Как! Вы могли бы?..

– Если бы не было таких средств, которые помогают сразу покончить с житейскими невзгодами, я могла бы отказаться от пищи. Вы вольны есть и пить, а вольны и голодать... Если после того, что я вам сказала, у меня хватит мужества, – а вы знаете, что у меня его достаточно и что в иных случаях жить труднее, чем умереть... – вообразите себя перед судом Божиим и скажите мне, кто покажется Господу более виновной – настоятельница или ее монахиня? Сударыня, я не требую обратно того, что дала обители, и никогда не потребую. Избавьте меня от злодеяния, избавьте себя от длительных угрызений совести, давайте придем к соглашению...

– Что вы говорите, сестра Сюзанна! Чтобы я нарушила первейшую свою обязанность, приложила руку к преступлению, приняла участие в кощунстве!

– Истинное кощунство, сударыня, совершаю я, совершаю его ежедневно, оскверняя презрением священные одежды, которые ношу. Снимите их с меня, я их недостойна, пошлите в деревню за лохмотьями самой бедной крестьянки, и пусть двери монастырской ограды приоткроются для меня.

– А куда же вы пойдете искать лучшего?

– Не знаю куда, но нам плохо лишь там, где Бог не хочет нас, а Бог не хочет, чтобы я была здесь.

– У вас ничего нет.

– Это правда, но меньше всего я боюсь нужды.

– Бойтесь пороков, к которым она приводит.

– Мое прошлое – порука за будущее. Если б я хотела слушать голос греха, я была бы уже свободна, но я хочу выйти из этой обители либо с вашего согласия, либо с разрешения закона. Выбирайте...

Этот разговор длился долго. Вспоминая его, я краснею за нескромные и нелепые вещи, которые делала и говорила. Но их уже не вернешь. Настоятельница все еще восклицала: «Что скажут люди? Что скажут наши сестры?», когда колокол, призывавший на молитву, прервал нас. Уходя, она сказала:

– Сестра Сюзанна, сейчас вы придете в церковь. Попросите Бога, чтобы он тронул ваше сердце и вернул вам смирение, подобающее вашему званию. Спросите вашу совесть и доверьтесь тому, что она вам скажет: не может быть, чтобы она не стала упрекать вас. Освобождаю вас от пения.

Мы спустились вниз почти одновременно. Когда служба кончилась и все сестры уже собирались разойтись по кельям, настоятельница постучала пальцем по требнику и задержала их.

– Сестры мои, – сказала она, – призываю вас пасть к подножию алтаря и молить Бога сжалиться над одной монахиней, которую он покинул. Она утратила склонность к монашеству, дух благочестия и готова совершить поступок, святотатственный в глазах Бога и постыдный в глазах людей.

Не могу вам описать всеобщее изумление. Во мгновение ока каждая, не двигаясь с места, окинула взглядом своих товарок, надеясь, что смущение выдаст виновную. Все упали ниц и молились молча. Это длилось довольно долго, затем настоятельница вполголоса запела «Veni, Creator» и все тихо продолжали «Veni, Creator». После этого снова наступило молчание, настоятельница постучала по аналою, и все разошлись.

Можете себе представить, какие разговоры пошли в монастырской общине.

«Кто это? Кто бы это мог быть? Что она сделала? Что она собирается сделать?..» Эти догадки длились недолго. О моем прощении заговорили в миру. У меня перебивало множество посетителей. Одни упрекали меня, другие давали советы, некоторые одобряли, иные порицали. У меня было лишь одно средство оправдаться в глазах всех – рассказать о поведении моих родителей; но вы понимаете, какую осторожность я должна была соблюдать в этом вопросе. Только с несколькими искренне преданными мне людьми и с г-ном Манури, взявшимся вести мое дело, я могла быть вполне откровенна. Бывали минуты, когда меня охватывал страх перед грозившими мне мучениями, и тогда карцер, где я была заперта однажды, вставал в моем воображении со всеми его ужасами: я уже знала, что такое ярость монахинь. Я поделилась своими опасениями с г-ном Манури, и он сказал мне: «Разумеется, вам не избежать всякого рода неприятностей. Они у вас будут, и вы давно должны были подготовиться к ним. Надо вооружиться терпением и поддерживать себя надеждой на то, что они кончатся. Что до этого карцера, то я обещаю вам, что вы никогда больше не попадете туда. Это я беру на себя...» И действительно, через несколько дней он привез настоятельнице предписание вызывать меня в приемную, когда бы это ни потребовалось.

На следующий день после церковной службы общине было опять предложено молиться за меня. Монахини молились молча, а потом тихо пропели тот же гимн, что и накануне. На третий день – то же самое, с той лишь разницей, что мне было приказано стоять посреди церкви, а вокруг меня читали молитвы за умирающих и литании святым с припевом «Oga pro ea» (молись за нее). На четвертый день состоялась нелепая церемония, показывающая взбалмошный нрав настоятельницы. После церковной службы меня положили в гроб посреди церкви, по бокам поставили свечи и кропильницу, покрыли меня саваном и прочли заупокойную молитву, после чего каждая монахиня, уходя, усердно кропила меня святой водой и говорила: «Requiescat in pace» (да почует с миром). Надо знать язык монастырей, чтобы понять угрозу, заключающуюся в этих последних словах. Две монахини сняли с меня саван, погасили свечи и ушли, оставив меня промокшей до нитки. Мое платье высохло на мне, так как мне не во что было переодеться. За этим испытанием последовало другое. Собралась вся община, меня объявили проклятой Богом, мой поступок – вероотступничеством, и всем монахиням, под страхом нарушения обета послушания, было запрещено разговаривать со мной, в чем-либо помогать мне, приближаться

ко мне и даже прикасаться к вещам, которыми я пользовалась. Приказания эти выполнялись с точностью. У нас узкие коридоры; в некоторых местах двое с трудом могут разойтись там. Так вот, если какая-нибудь монахиня шла мне навстречу, она сейчас же возвращалась назад или же со страхом прижималась к стене, придерживая покрывало и платье, чтобы только не прикоснуться к моей одежде. Если надо было что-нибудь взять из моих рук, то я ставила эту вещь на пол, и ее брали тряпкой. Если же надо было передать какую-либо вещь мне, ее просто бросали. Когда какая-нибудь монахиня имела несчастье прикоснуться ко мне, она считалась оскверненной и шла на исповедь, к настоятельнице, чтобы та отпустила ей этот грех. Лесть считается чем-то низменным и подлым; она становится жестокой и изобретательной, когда ее направляют на то, чтобы угодить одному человеку, придумывая унижения для другого. Как часто я вспоминала слова моей дорогой настоятельницы де Мони: «Дитя мое, среди всех этих девушек, находящихся среди нас, таких послушных, невинных и кротких, нет почти ни одной, да, ни одной, из которой я не могла бы сделать дикого зверя. Странное превращение! И оно происходит тем легче, чем раньше девушка попадет в келью и чем меньше она знает жизнь. Эти слова удивляют вас, сестра Сюзанна? Упаси вас Господь испытать на себе, насколько они правдивы! Знайте: хорошая монахиня – лишь та, которая пришла в монастырь, чтобы искупить какой-нибудь тяжкий грех».

Меня не допускали ни к какой работе. В церкви по обе стороны от меня оставляли по одному пустому сиденью. В трапезной я сидела за отдельным столом, и мне ничего не подавали. Я вынуждена была сама ходить на кухню и просить свою порцию. В первый раз сестра-стряпуха крикнула мне:

– Не входите, отойдите подальше.

Я повиновалась.

– Что вам надо?

– Есть.

– Есть! Вы недостойны жить...

Иногда я уходила и оставалась целый день без пищи, иногда же требовала ее, и мне ставили на пол еду, которую постыдились бы дать скотине. Я со слезами подбирала ее и уходила. Если мне случалось последней подойти к двери, ведущей на клирос, она оказывалась запертой. Тогда я становилась на колени и ждала конца службы. Если запертой оказывалась садовая калитка, я возвращалась в свою келью. Между тем силы мои все убывали от недостаточности и дурного качества пищи, которую мне давали, а главное – от горя, причиняемого мне этими постоянными проявлениями бесчеловечности. Я почувствовала, что, если буду по-прежнему страдать молча, мне ни за что не дожить до конца моего процесса. Итак, я решила поговорить с настоятельницей. Полумертвая от страха, я все же подошла к ее двери и тихонько постучалась. Она отворила. Увидев меня, она отступила на несколько шагов с криком:

– Вероотступница, отойдите!

Я отошла.

– Дальше.

Я отошла дальше.

– Что вам надо?

– Ни Бог, ни люди не приговаривали меня к смерти, поэтому я прошу вас, сударыня, приказать, чтобы мне дали жить.

– Жить! Да разве вы достойны жить? – сказала она, повторяя слова сестры-стряпухи.

– Про это знает Бог, и я предупреждаю, что, если мне будут отказывать в пище, я вынуждена буду подать жалобу лицам, принявшим меня под свое покровительство. Я нахожусь здесь лишь временно, до тех пор, пока не решится мое пребывание в монастыре, пока не решится моя участь.

– Идите, – сказала она, – не оскверняйте меня своим взглядом. Я распоряжусь...

Я повернулась и резко захлопнула дверь. Должно быть, она отдала соответствующее распоряжение, но мне отнюдь не стало легче, так как считалось заслугой не подчиняться ей в этом: мне швыряли самую грубую пищу, да еще портили ее, примешивая к ней золу и всякие отбросы.

Такую жизнь вела я, пока тянулся мой процесс. Вход в приемную не был мне окончательно запрещен, у меня не могли отнять права говорить с судьями и адвокатом, но, чтобы добиться свидания со мной, последнему неоднократно приходилось прибегать к угрозам. В этих случаях меня сопровождала одна из сестер. Она была недовольна, когда я говорила тихо, сердилась, если я задерживалась слишком долго, прерывала меня, опровергала, противоречила мне, повторяла настоятельница мои слова, искажая их, истолковывая в дурном смысле, быть может, даже приписывая мне то, чего я вовсе не говорила. Дело дошло до того, что меня начали обворовывать, похищать мои вещи, забирать мои стулья, простыни, матрацы. Мне перестали давать чистое белье, моя одежда изорвалась, я ходила почти босая. С трудом удавалось мне добывать себе воду.

Много раз приходилось самой ходить за ней к колодцу – к тому самому колодцу, о котором я вам говорила. Всю мою посуду перебили, и, не имея возможности унести воду домой, я должна была пить ее тут же на месте. Под окнами келий я должна была проходить как можно скорее, чтобы не быть облитой нечистотами. Некоторые сестры плевали мне в лицо. Я стала ужасающе грязна. Опасаясь, как бы я не пожаловалась на все это нашим духовникам, мне запретили ходить на исповедь.

Однажды в большой праздник – кажется, это был день Вознесения – меня заперли на замок в келье, и я не смогла пойти к обедне. Быть может, я была бы совершенно лишена возможности посещать церковную службу, если бы не г-н Манури, которому сначала говорили, что никто не знает, где я, что я куда-то исчезла и не исполняю никаких обязанностей, подобающих христианке. Между тем, исцарапав себе руки, я все же сломала замок и дошла до двери, ведущей на клирос; она оказалась запертой, как это бывало всегда, когда я приходила не из первых. Я легла на пол, прислонившись головой и спиной к стене и скрестив на груди руки, так что мое тело загораживало дорогу. Когда служба кончилась и монахини начали выходить, первая из них внезапно остановилась. Вслед за ней остановились и остальные. Настоятельница поняла, в чем дело, и сказала:

– Шагайте по ней, это все равно что труп.

Некоторые повиновались и начали топтать меня ногами. Другие оказались более человечными, но ни одна не посмела протянуть мне руку и поднять меня. Во время моего отсутствия у меня похитили из кельи мою молитвенную скамеечку, портрет основательницы нашего монастыря, все иконы, унесли даже и распятие. Мне оставили лишь то, которое было у меня на четках, но вскоре забрали и его. Таким-то образом я жила в голых четырех стенах, в комнате без двери, без стула – и вынуждена была теперь либо стоять, либо лежать на соломенном тюфяке. У меня не было никакой, даже самой необходимой, посуды, что вынуждало меня выходить ночью для удовлетворения естественной надобности, а наутро меня обвиняли в том, что я нарушаю покой монастыря, брожу, теряю рассудок. Так как келья моя больше не запиралась, ночью ко мне с шумом входили, кричали, трясли мою кровать, били стекла, всячески пугали меня. Шум доходил до верхнего этажа, доносился до нижнего, и те монахини, которые не состояли в заговоре, говорили, что в моей комнате происходят странные вещи, что оттуда слышны зловещие голоса, крики, лязг цепей, что я разговариваю с привидениями и злыми духами, что, должно быть, я продала душу дьяволу и надо бежать вон из моего коридора.

В монастырских общинах есть слабоумные; таких даже очень много. Они верили всему, что им рассказывали, не смели пройти мимо моей двери, их расстроенному воображению я представлялась чудовищем, и, встречаясь со мной, они крестились и убегали с криком: «Отойди от меня, сатана! Господи, помоги мне!..» Как-то раз одна из самых молодых пока-

залась в конце коридора, когда я шла в ее сторону. Она никак не могла избежать встречи со мной, и ее охватил дикий ужас. Сначала она отвернулась к стене, бормоча дрожащим голосом: «Господи! Господи! Иисусе! Дева Мария!..» Между тем я приближалась. Почувствовав, что я рядом с ней, и боясь увидеть меня, она обеими руками закрыла лицо, ринулась в мою сторону, бросилась прямо ко мне в объятия и закричала: «На помощь! На помощь! Пощадите! Я погибла! Сестра Сюзанна, не причиняйте мне зла! Сестра Сюзанна, сжальтесь надо мной!..» И с этими словами она замертво упала на пол.

Все сбегаются на ее крики, ее уносят, и не могу вам передать, как извратили всю эту историю. Меня сделали настоящей преступницей, стали говорить, что мною овладел демон распутства, приписали мне намерения и поступки, которые я не решаюсь назвать, – а явный беспорядок в одежде молодой монахини объяснили моими противоестественными желаниями. Я не мужчина, я, право, не знаю, что можно вообразить о женщине, когда она находится с другой женщиной, и еще меньше – о женщине, когда она одна. Однако у моей кровати сняли полог, ко мне в комнату входили в любое время, и, знаете, сударь, – должно быть, при всей их внешней сдержанности, при скромности их взглядов и целомудренном выражении лиц у этих женщин очень развращенное сердце: во всяком случае, они знают, что в одиночестве можно совершать непристойные вещи, я же этого не знаю и никогда не могла хорошенько понять, в чем они меня обвиняли, ибо они изъяснялись в таких туманных выражениях, что я совершенно не знала, что отвечать им.

Если я стану описывать эти преследования во всех подробностях, то никогда не кончу. Ах, сударь, если у вас есть дочери, то пусть моя судьба покажет вам, что нельзя позволять им вступать в монашество без сильнейшего и резко выраженного призвания к нему. Как несправедливы люди! Они разрешают ребенку распоряжаться своей свободой в таком возрасте, когда ему еще не разрешают распорядиться даже одним экю. Лучше убейте свою дочь, но не запирайте в монастырь против ее воли. Да, лучше убейте ее.

Сколько раз я жалела, что моя мать не задушила меня, как только я родилась! Это было бы менее жестоко. Поверите ли вы, что у меня отняли трюбник и запретили молиться Богу? Разумеется, я не подчинилась. Увы, ведь это было моим единственным утешением! Я воздымала руки к небу, испускала крики и дерзала надеяться, что их слышит единственное существо, которое видело все мое горе. Монахини подслушивали меня за дверью, и однажды, когда из глубины своего удрученного сердца я обращалась к Богу, взывая о помощи, одна из них крикнула мне:

– Тщетно вы призываете Бога: для вас его больше нет. Умрите в отчаянии и будьте прокляты...

Остальные добавили: «Да будет так с вероотступницей! Аминь!»

Но вот один факт, который, наверно, поразит вас больше, чем все остальное. Не знаю, что это было, злоба или заблуждение, но, хотя я не сделала ничего такого, что указывало бы на умственное расстройство или тем более на одержимость, монахини начали совещаться, не следует ли изгнать из меня беса. И вот большинством голосов было решено, что я отреклась от миропомазания и от крещения, что в меня вселился злой дух и что это он удаляет меня от богослужений. Одна сообщила, что при некоторых молитвах я скрежетала зубами и содрогалась в церкви, что при возношении святых даров я ломала руки; другая добавила, что я топтала ногами распятие, перестала носить четки (которые у меня украли) и что я произносила такие богохульства, которых, право, не смею повторить перед вами. И все они твердили, что во мне происходит что-то неестественное, о чем необходимо сообщить старшему викарию. Так они и сделали.

Старшим викарием был в то время некто г-н Эбер, человек пожилой и опытный, резкий, но справедливый и просвещенный. Ему подробно рассказали о неурядицах в монастыре; нет сомнения, что неурядицы эти были велики, но если я и была их причиной, то причиной поис-

тине невольной. Вы, конечно, понимаете, что в посланном ему донесении не были забыты ни мои ночные прогулки, ни мое отсутствие в хоре, ни суматоха, происходившая в моей келье; в нем было все – и то, что видела одна, и то, что слышала другая, и мое отвращение к святыням, и мои богохульства, и приписываемые мне непристойные поступки; а что касается приключения с молодой монахиней, то из него сделали настоящее преступление. Обвинения были так многочисленны и так серьезны, что при всем своем здравом смысле г-н Эбер не мог не поддаться этому обману хотя бы частично и решил, что в них значительная доля правды. Дело показалось ему достаточно важным, чтобы заняться им лично. Он предупредил о своем посещении и явился в сопровождении двух состоявших при нем молодых священников, помогавших ему в его трудных обязанностях.

Незадолго перед этим ночью кто-то тихо вошел в мою келью. Я ничего не сказала, выжидая, чтобы со мной заговорили, и чей-то тихий, дрожащий голос окликнул меня:

– Сестра Сюзанна, вы спите?

– Нет, не сплю. Кто это?

– Это я.

– Кто вы?

– Ваша подруга. Я умираю от страха и рискую погубить себя, но хочу дать вам один совет, хотя и не знаю, поможет ли он вам. Слушайте: завтра или послезавтра к нам должен приехать старший викарий; вас будут обвинять, приготовьтесь защищаться. Прощайте. Мужайтесь, и да пребудет с вами Бог.

Сказав это, она исчезла как тень.

Как видите, повсюду, даже в монастырях, есть сердобольные души, которые ничто не может ожесточить.

Между тем за моим процессом следили с большой горячностью; множество лиц обоего пола, разного общественного положения и состояния, с которыми я не была знакома, заинтересовались моей судьбой и ходатайствовали за меня. Вы, сударь, принадлежали к их числу, и, может быть, история моего процесса известна вам лучше, чем мне самой, так как к концу его я больше не имела возможности беседовать с г-ном Манури. Ему сказали, что я больна; он заподозрил, что его обманывают, и, предположив, что меня заперли в карцер, обратился к архиепископу, который не удостоил его выслушать, так как был предупрежден, что я безумная, а может быть, и нечто похуже. Тогда г-н Манури обратился к судьям, настаивая на выполнении приказа, согласно которому настоятельница была обязана предъявлять меня по первому требованию живой или мертвой. Началось препирательство между церковными судьями и светскими. Первые поняли, какие последствия мог иметь подобный случай, и, видимо, именно это ускорило посещение старшего викария. Обычно же эти господа не так уж торопятся вмешиваться в раздоры, постоянно происходящие в монастырях, так как по опыту знают, что их авторитет всегда можно обойти или подорвать.

Я воспользовалась предупреждением подруги и, призывая на помощь Бога, старалась укрепить свой дух и подготовиться к защите. Я молила небо об одном – о счастье быть допрошенной и выслушанной без пристрастия, и я добилась этого счастья, но сейчас вы узнаете, какой ценой. Если в моих интересах было предстать перед моим судьей ни в чем не повинной и разумной, то моей настоятельнице было не менее важно, чтобы он увидел меня злобной, одержимой, преступной и безумной. И в то время как я удвоила свое молитвенное рвение, она удвоила свою жестокость. Теперь мне давали ровно столько пищи, сколько требовалось, чтобы не умереть с голоду; меня измучили преследованиями и старались запугать еще больше; мне теперь совсем не давали спать по ночам; словом, было пущено в ход все, что могло подорвать здоровье и помутить рассудок. Вы не можете себе представить всю утонченность этих пыток. Судите по следующим выходкам.

Как-то раз, выйдя из кельи и направляясь в церковь или куда-то в другое место, я увидела, что на полу в коридоре валяются каминные щипцы. Я нагнулась, чтобы поднять их и положить в такое место, где их легко могли бы найти, но в полумраке не разглядела, что они были раскалены почти докрасна. Я схватила их и тотчас же выпустила из рук, но при падении они содрали почти всю кожу с моей ладони. В тех местах, где я должна была проходить ночью, бросали на пол разные предметы, чтобы я споткнулась, или подвешивали их на уровне моей головы, – так что я постоянно ушибалась. Сама не понимаю, как это я не разбилась до смерти. Мне нечем было посветить себе, и приходилось идти, дрожа от страха, вытянув перед собой руки. Мне сыпали под ноги битое стекло. Я твердо решила рассказать обо всех этих издевательствах и до некоторой степени сдержала слово. Дверь в отхожее место часто оказывалась запертой, и мне приходилось спускаться с нескольких этажей и бежать в глубь сада, если калитка была отперта, а если нет... Ах, сударь, как злы эти женщины-затворницы, когда они уверены в том, что способствуют утолению ненависти своей настоятельницы, и верят, что, повергая вас в отчаяние, служат Богу! Да, пора было приехать старшему викарию, пора было кончиться моему процессу.

То была критическая минута моей жизни. Подумайте только, сударь, ведь я совершенно не знала, какими красками расписали меня этому священнослужителю, не знала, что он придет, любопытствуя увидеть девушку, которая одержима дьяволом или притворяется одержимой. Было решено, что только сильный страх может привести меня в такое состояние. И вот что придумали для этой цели.

В день посещения старшего викария, ранним утром, настоятельница вошла в мою келью. С ней были три монахини. Одна несла кропильницу, другая – распятие, третья – веревки. Громким и угрожающим голосом настоятельница сказала мне:

– Поднимитесь... Станьте на колени и поручите вашу душу Богу.

– Сударыня, – сказала я, – прежде чем я исполню ваше приказание, нельзя ли мне спросить у вас, что со мной будет, что вы решили со мной сделать и о чем я должна просить Бога?

Все мое тело покрылось холодным потом, я дрожала, у меня подгибались колени. Я с ужасом смотрела на трех зловещих спутниц настоятельницы. Они стояли в ряд, лица их были мрачны, губы сжаты, глаза закрыты. Голос мой прерывался от страха после каждого произнесенного слова. Так как все молчали, мне показалось, что меня не расслышали, и я повторила последние слова своего вопроса, – у меня не хватило сил повторить его весь целиком. Итак, слабым, замирающим голосом я переспросила:

– Какой милости должна я просить у Бога?

Мне ответили:

– Просите его отпустить вам грехи всей вашей жизни. Говорите с ним так, как если бы вы готовились предстать перед ним.

Когда я услышала эти слова, мне пришло в голову, что они обсудили дело между собой и решили избавиться от меня. Я слышала, что такие случаи и в самом деле бывали в некоторых мужских монастырях, что монахи судят, выносят смертный приговор и сами приводят его в исполнение. Правда, я не думала, что такой бесчеловечный суд когда-либо имел место хоть в одном женском монастыре; но было столько вещей, о существовании которых я не подозревала и которые все же происходили здесь! При мысли о близкой смерти я хотела вскрикнуть, но, хотя рот мой был открыт, из него не вылетало ни звука. Я с мольбой протянула к настоятельнице руки, и мое бессильное тело откинулось назад. Я упала, но мое падение было безболезненным. В подобные минуты – минуты смертельного страха – силы оставляют нас, ноги подкашиваются, а руки повисают, – словно человеческий организм, не будучи в состоянии защитить себя, старается угаснуть незаметно. Я потеряла сознание и способность чувствовать; я только слышала вокруг себя неясный и отдаленный гул голосов. Быть может, кто-то разговаривал; быть может, у меня звенело в ушах. Я не различала ничего, кроме этого гула, который про-

должался довольно долго. Не знаю, сколько времени пробыла я в таком состоянии, но меня вывело из него внезапное ощущение холода; я вздрогнула и глубоко вздохнула. Я насквозь промокла, вода стекала с моего платья на пол: на меня была опрокинута большая кропильница. Полумертвая, лежала я на боку, в луже воды, прислонившись головой к стене, с приоткрытым ртом и с закрытыми глазами. Я хотела было открыть их и оглядеться, но какой-то густой туман обволакивал меня, и сквозь него мне мерещились чьи-то развевающиеся одежды, к которым я тщетно пыталась прикоснуться. Я шевельнула свободной рукой, той, на которую не опиралась, и хотела поднять ее, но она показалась мне слишком тяжелой. Однако мало-помалу моя смертельная слабость стала проходить. Я приподнялась и села, прислонясь спиной к стене. Обе мои руки лежали в воде, голова свесилась на грудь, я издавала невнятные, прерывистые, мучительные стоны. Во взгляде смотревших на меня женщин я прочитала такую непреклонность, что примирилась с неизбежным и не решилась молить их о пощаде. Настоятельница сказала:

– Поднимите ее.

Меня взяли под руки и подняли.

– Она не хочет поручить себя Богу, – продолжала настоятельница, – тем хуже для нее. Вы знаете, что вам надлежит делать. Кончайте.

Я подумала, что принесенные веревки были предназначены для того, чтобы удавить меня, и посмотрела на них глазами, полными слез. Я попросила дать мне поцеловать распятие, – мне отказали в этом. Я попросила разрешения поцеловать веревки, – мне поднесли их. Я нагнулась, взяла нарамник настоятельницы, поцеловала его и сказала:

– Господи, смилуйся надо мной! Господи, смилуйся надо мной! Милые сестры, постарайтесь не очень мучить меня.

И я подставила им шею.

Не могу вам сказать, что со мной было, что со мной делали. Нет сомнения, что те, кого ведут на казнь, – а я думала, что меня ведут на казнь, – умирают до совершения ее. Я очнулась на соломенном тюфяке, служившем мне постелью; руки мои были связаны за спиной, я сидела с большим железным распятием на коленях...

...Господин маркиз, я понимаю, какую боль причиняю вам сейчас; но вы пожелали узнать, заслуживаю ли я, хотя бы в малой степени, того сострадания, которого я жду от вас...

Вот когда я почувствовала превосходство христианской религии над всеми религиями мира. Какая глубокая мудрость заключается в том, что слепая философия называет «безумием креста». Что мог мне дать в этом моем состоянии образ счастливого законодателя, увенчанного славой? Передо мной был невинный страдалец, угасающий в мучениях, с пронзенным боком, с терновым венцом на челе, с пригвожденными руками и ногами, – и я говорила себе: «Ведь это мой Господь, а я еще смею жаловаться!..» Я прониклась этой мыслью и почувствовала, что утешение воскресает в моем сердце. Я познала ничтожество жизни и была более чем счастлива, что теряю ее, не успев умножить свои грехи. И все же, вспоминая о своей молодости – мне не было еще и двадцати лет, – я вздохнула: я была слишком слаба, слишком разбита, чтобы дух мой мог восторжествовать над страхом смерти. Мне кажется, что, будь я вполне здорова, я могла бы встретить ее с большим мужеством.

Между тем настоятельница и ее спутницы вернулись. Они обнаружили во мне большее присутствие духа, чем ожидали и чем бы им хотелось видеть. Они поставили меня на ноги и закрыли лицо покрывалом. Две взяли меня под руки, третья подтолкнула сзади, и настоятельница велела мне идти вперед. Я шла, не видя куда, но думая, что иду на казнь, и повторяла:

«Господи, смилуйся надо мной! Господи, поддержи меня! Господи, не покинь меня! Господи, прости, если я чем-нибудь прогневала тебя».

Меня привели в церковь. Старший викарий служил там обедню. Вся община была в сборе. Забыла вам сказать, что, когда я входила в дверь, три сопровождавшие меня монахини стиснули меня, начали изо всех сил толкать и подняли возню, делая вид, что я сопротивляюсь



и ни за что не хочу входить в церковь, хотя в действительности ничего подобного не было: одна тащила меня за руку, другие держали сзади. Я едва стояла на ногах. Меня подвели к ступенькам алтаря и, сильно потянув за руки, поставили на колени, словно я отказывалась добровольно сделать это. Меня все время крепко держали, как будто я намеревалась убежать. Запели «Veni, Creator», выставили святые дары, и викарий благословил присутствующих. Во время благословения, когда все кладут поклоны, одна из державших меня сестер как бы насильно пригнула мне голову к земле, а остальные надавили руками на плечи. Я ощутила все эти движения, но не могла понять, какова была их цель. Наконец все разъяснилось.

После благословения старший викарий снял ризу и, облаченный лишь в стихарь и епитрахиль, направился к ступеням того алтаря, где я стояла на коленях. Он шел между двумя священниками, повернувшись спиной к алтарю, где были выставлены святые дары, а лицом ко мне. Он приблизился ко мне и сказал:

– Сестра Сюзанна, встаньте.

Державшие меня сестры резко подняли меня, другие окружили, обхватив за талию, словно боясь, что я вырвусь. Он добавил:

– Развяжите ее.

Монахини не выполнили его приказания, показывая знаками, что неудобно и даже опасно оставлять меня на свободе. Однако я уже говорила вам, что викарий был человек крутого нрава. Он повторил твердым и суровым голосом:

– Развяжите ее. Они повиновались.

Как только мои руки освободились от веревок, я издала такой громкий и мучительный стон, что старший викарий побледнел, а лицемерные монахини, стоявшие около меня, разбежались как бы в испуге.

Он овладел собой, и сестры снова подошли ко мне, делая вид, что дрожат от страха. Я продолжала стоять неподвижно, и он спросил:

– Что с вами?

Вместо ответа я протянула ему обе руки: веревка, которой я была скручена, впилась мне в тело почти до кости, и руки совсем посинели от застоя крови. Он понял, что мой стон был вызван внезапной болью, причиненной восстановлением кровообращения, и сказал:

– Снимите с нее покрывало.

Перед этим, незаметно для меня, мое покрывало в нескольких местах пришили к платью, и теперь, снимая его, сестры опять проявили замешательство и много ненужного усердия: им непременно хотелось, чтобы этот священнослужитель увидел меня одержимой, бесноватой или безумной. Однако, когда они начали сильно дергать, нитки кое-где порвались, а кое-где порвалось покрывало и платье, и все увидели меня.

У меня привлекательное лицо. Сильные страдания изменили его, но выражение осталось то же. Звук моего голоса способен растрогать; чувствуется, что его интонации правдивы. Все это вместе произвело на молодых помощников старшего викария сильное впечатление, и их охватила жалость. Что до него самого, то ему было неизвестно это чувство. Справедливый, но далеко не мягкосердечный, он принадлежал к числу людей, которые рождены служить добродетели, но которым, к несчастью, не дано вкусить ее сладость. Они делают добро, движимые чувством долга, повинаясь доводам рассудка. Он взял рукав своей епитрахили, возложил его мне на голову и спросил:

– Сестра Сюзанна, верите ли вы в Бога – Отца, Сына и Святого Духа? Я ответила:

– Верую.

– Верите ли вы в нашу мать святую церковь?

– Верую.

– Отрекаетесь ли вы от сатаны и дел его? Вместо ответа я внезапно рванулась вперед, громко вскрикнула, и кончик рукава епитрахили старшего викария соскользнул у меня

с головы. Он вздрогнул, спутники его побледнели. Среди сестер произошло смятение: одни убежали, другие с шумом вскочили со своих молитвенных скамей. Он знаком приказал им успокоиться, а сам смотрел на меня, ожидая чего-то необычайного. Я успокоила его, сказав:

– Сударь, не случилось ничего особенного. Просто кто-то из монахинь больно уколол меня чем-то острым.

И, подняв глаза и руки к небу, я добавила, заливаясь слезами:

– Меня ранили в ту самую минуту, когда вы спросили, отрекаюсь ли я от сатаны и от его гордыни, и я прекрасно понимаю, зачем это понадобилось...

Настоятельница от лица всех монахинь заявила, что никто ко мне не прикасался.

Старший викарий снова возложил мне на голову край своей епитрахили. Монахини хотели подойти ближе, но он знаком приказал им отойти в сторону, а затем снова спросил у меня, отрекаюсь ли я от сатаны и его деяний, и я твердо ответила:

– Отрекаюсь, отрекаюсь.

Он велел принести распятие и дал мне приложиться к нему. Я приложилась к изображению Христа, к его ступням, рукам и к ране в боку.

Он приказал мне вслух воздать хвалу Господу. Я поставила распятие на пол, опустила на колени и сказала:

– Господи, спаситель мой, умерший на кресте за мои грехи и грехи всего рода человеческого! Я поклоняюсь тебе! Спаси меня заслугой мук, которые ты принял, пролей на меня каплю крови, которою ты истекал, дабы я очистилась ею. Прости меня, Боже, как я прощаю всем врагам своим...

Затем он сказал мне:

– Исповедуйте веру. – И я исполнила это.

– Исповедуйте любовь. – И я исполнила это.

– Исповедуйте надежду. – И я исполнила это.

– Исповедуйте милосердие. – И я исполнила это. Не помню точно моих выражений, но, должно быть, они были возвышенны, ибо я исторгла рыдания у некоторых монахинь, два молодых священника прослезились, а викарий с удивлением спросил у меня, откуда я взяла молитвы, которые только что произнесла.

Я ответила ему:

– Из глубины моего сердца. Это мои собственные мысли и чувства – призываю в свидетели Бога, который внемлет нам всюду и присутствует на этом алтаре. Я христианка, я ни в чем не повинна. Если я совершила какие-нибудь прегрешения, о них знает один Бог, и только он имеет право потребовать меня к ответу и наказать за них.

При этих словах старший викарий грозно взглянул на настоятельницу.

Вскоре эта церемония, во время которой хотели оскорбить величие Бога, надругаться над всем святым и подвергнуть осмеянию служителя церкви, пришла к концу. Монахини удалились, и остались лишь настоятельница, я и молодые священники. Старший викарий сел и, вынудив полученное им донесение с выдвинутыми против меня обвинениями, прочитал его вслух, задавая мне вопросы по всем содержащимся в нем пунктам.

– Почему вы никогда не исповедуетесь? – спросил он.

– Потому, что мне препятствуют в этом.

– Почему вы никогда не причащаетесь?

– Потому, что мне препятствуют в этом.

– Почему вы не присутствуете ни на литургии, ни на других богослужениях?

– Потому, что мне препятствуют в этом.

Настоятельница хотела было вмешаться, но он прервал ее со своей обычной резкостью:

– Замолчите, сударыня... Почему вы выходите по ночам из своей кельи?

– Потому, что мне не дают воды, отняли у меня кувшин и посуду, необходимую для отправления естественных потребностей.

– Почему по ночам слышен шум в вашем коридоре и в вашей келье?

– Это делается для того, чтобы лишить меня покоя. Настоятельница снова хотела заговорить, но он сказал ей во второй раз:

– Сударыня, я уже велел вам молчать. Вы ответите тогда, когда я спрошу вас... Что это за история с монахиней, которую вырвали из ваших рук и нашли лежащей без чувств в коридоре?

– Это результат страха, который внушили ей по отношению ко мне.

– Это ваша подруга?

– Нет, сударь.

– Вы никогда не входили в ее келью?

– Никогда.

– Вы никогда не делали ничего непристойного ни с нею, ни с другими?

– Никогда.

– Почему вас связали?

– Не знаю.

– Почему ваша келья не запирается?

– Потому, что я сломала дверной замок.

– Для чего вы сломали его?

– Для того, чтобы открыть дверь и присутствовать на богослужении в день Вознесения Господня.

– Значит, в этот день вы появлялись в церкви?

– Да, сударь.

– Сударь, это неправда, – вмешалась настоятельница, – вся община...

– Вся община удостоверит, – перебила я ее, – что дверь на клирос была заперта, что монахини нашли меня лежащей на полу у этой двери и что вы приказали им топтать меня ногами, причем некоторые сделали это, – но я прощаю их, прощаю и вас, сударыня, хотя вы и отдали такое приказание. Я пришла сюда не обвинять, а защищаться.

– Почему у вас нет ни четок, ни распятия?

– Потому, что у меня отняли их.

– Где ваш требник?

– У меня отняли его.

– Как же вы молитесь?

– Я молюсь сердцем и умом, хотя мне и запретили молиться.

– Кто же запретил вам это?

– Настоятельница. Настоятельница снова хотела заговорить.

– Сударыня, – сказал он, – правда это или ложь, что вы запретили ей молиться? Да или нет?

– Я думала и имела основание думать, что...

– Дело не в этом. Запретили вы ей молиться? Да или нет?

– Я запретила ей, но...

– Но, – повторил он, – но... Сестра Сюзанна, почему вы ходите босая?

– Потому, что мне не дают ни чулок, ни башмаков.

– Почему ваше белье и платье так ветхи и так грязны?

– Потому, что уже более трех месяцев мне не дают чистого белья, и я вынуждена спать в одежде.

– Почему же вы спите в одежде?

– Потому, что у меня нет ни полога, ни матраца, ни одеяла, ни простынь, ни ночной рубашки,

- Почему же это так?
- Потому, что у меня все отобрали.
- Вас кормят?
- Я прошу об этом.
- Так, значит, вас не кормят?
- Я промолчала, и он добавил:
  - Не может быть, чтобы с вами обращались так сурово, если вы не совершили какого-нибудь серьезного проступка, заслуживающего наказания.
  - Мой проступок в том, что я не призвана быть монахиней и хочу расторгнуть обет, который был дан мною против воли.
  - Только суд может разрешить этот вопрос, и каково бы ни было его решение, вы временно должны исполнять все монашеские обязанности.
  - Сударь, никто не выполняет их более усердно, нежели я.
  - Вы должны пользоваться теми же правами, что и ваши товарки.
  - Это все, о чем я прошу.
  - У вас ни на кого нет жалоб?
  - Нет, сударь, я уже сказала вам, я пришла сюда не обвинять, а защищаться.
  - Идите.
  - Куда я должна идти, сударь?
  - В вашу келью.
- Я сделала несколько шагов, потом вернулась и простерлась у ног настоятельницы и старшего викария.
  - Что такое? В чем дело? – спросил он.
- Я показала ему голову, разбитую в нескольких местах, окровавленные ноги, посиневшие худые руки, грязную разорванную одежду и сказала:
  - Взгляните!

### **Вопросы и задания:**

1. Какую эстетическую и философскую роль играют в тексте романа описания физических страданий Сюзанны?
2. Как можно охарактеризовать религиозные взгляды Дидро? Какую роль в них играет категория сострадания?
3. Найдите примеры пластической изобразительности Дидро.
4. Как Дидро в «Монахине» нарушает сложившийся канон романного сюжета?

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Внимательно прочитайте отрывок из романа Дидро «Жак-фаталист» (1773-1774). Обратите внимание на необычные для XVIII века литературные особенности текста Дидро: свободную композицию, отсутствие психологической и портретной характеристики героев, временную и смысловую дискретность повествования, многочисленные отступления.

## **Жак-фаталист и его хозяин**

*Перевод Г. И. Ярхо*

Как они встретились? – Случайно, как все люди. – Как их звали? – А вам какое дело? – Откуда они пришли? – Из соседнего селения. – Куда они направлялись?

Хозяин не говорил ничего, а Жак говорил: его капитан уверял, что все, что случается с нами хорошего или дурного, предначертано свыше.

Хозяин. Громкие слова!

Жак. Капитан добавлял, что у всякой пули – свой жребий.

Хозяин. И он был прав...

Помолчав некоторое время, Жак воскликнул:

– Черт бы побрал трактирщика и его трактир!

Хозяин. Зачем же посылать к черту ближнего? Это не по-христиански.

Жак. Так вот, напился я его дрянным вином и забыл сводить лошадей на водопой. Это заметил отец, он вышел из себя; я мотнул головой; он схватил палку и пощекотал мне спину не слишком ласково. В то время проходил мимо нас полк, направлявшийся в лагерь под Фонтенуа; я с досады поступил в рекруты. Пришли куда надо, и произошло сражение.

Хозяин. И в тебя попала пуля.

Жак. Угадали: огнестрельная рана в колено, и одному богу известно, сколько приятных и неприятных последствий она повлекла за собой. Они цепляются друг за друга не хуже звеньев мундштучной цепочки. Так, например, не будь этого выстрела, не довелось бы мне в жизни ни влюбиться, ни хромать.

Хозяин. Ты, значит, был влюблен?

Жак. Еще как!

Хозяин. Благодаря выстрелу?

Жак. Благодаря выстрелу.

Хозяин. А ты мне об этом не заикнулся!

Жак. Разумеется.

Хозяин. А почему?

Жак. Потому, что об этом не стоило рассказывать ни раньше, ни позднее.

Хозяин. А может быть, теперь настало время поведать о твоих любовных приключениях?

Жак. Почем знать?

Хозяин. А ну-ка, попробуй начать...

Жак приступил к своему повествованию. Было уже за полдень; в воздухе стояла духота: Хозяин заснул. Ночь застала их в открытом поле, и они сбились с пути. Хозяин ужасно расшарпел и стал изо всех сил стегать лакея хлыстом, а бедный малый приговаривал при каждом ударе: «И это, видимо, также было предначертано свыше...»

Вы видите, читатель, что я нахожусь на верном пути и что от меня зависит помучить вас и отсрочить на год, на два или на три рассказ о любовных похождениях Жака, разлучив его с Хозяином и подвергнув каждого из них всевозможным случайностям по моему усмотрению. Почему бы мне не женить Хозяина и не наставить ему рога? Не отправить Жака на Антильские острова? Не послать туда же Хозяина? Не вернуть обоих во Францию на том же корабле? Как легко сочинять небылицы! Но на сей раз и тот и другой отделаются дурно проведенной ночью, а вы – этой отсрочкой.

Занялась заря. Вот они уселись в седла и двинулись в путь.

И куда же они направляются? – Вы уже второй раз задаете мне этот вопрос, и второй раз я вам отвечу: «А какое вам дело? Если я затрону эту тему, то прощайте любовные похождения Жака...»

Некоторое время они ехали молча. Когда каждый из них несколько успокоился, Хозяин сказал лакею:

– На чем же, Жак, мы остановились, когда ты рассказывал о своей любви?

Жак. Кажется, на поражении неприятельской армии. Люди спасаются бегством, их преследуют, всякий думает о себе. Я лежу на поле битвы, похороненный под грудой убитых и раненых, а число их было очень велико. На следующий день меня кинули вместе с дюжиной

других в повозку и отвезли в один из наших госпиталей. Ах, сударь мой, нет более мучительной раны, чем в колено!

Хозяин. Послушай, Жак, ты надо мной смеешься?

Жак. Нисколько, сударь, не смеюсь. Там бог весть сколько косточек, сухожилий и прочих штучек, которые не знаю уж как называются...

Позади них, везя на седле девушку, ехал человек, смахивавший на крестьянина. Он слышал их беседу и сказал:

– Господин прав...

Неизвестно, к кому относилось слово «господин», но как слуга, так и хозяин восприняли его недоброжелательно, и Жак ответил нескромному собеседнику:

– Как ты смеешь соваться не в свое дело?

– Это именно мое дело, ибо я, с вашего дозволения, лекарь и намерен вам доказать...

Тогда сидевшая позади него женщина заявила:

– Господин доктор, поедemте своей дорогой и оставим в покое этих людей, которым вовсе не нравится, чтоб им что-либо доказывали.

– Нет, – возразил лекарь, – я хочу им доказать и докажу... Обернувшись, чтобы приступить к доказательствам, он толкнул свою спутницу, она потеряла равновесие и упала на землю, причем нога ее запуталась в полах его одежды, а задравшиеся юбки закрыли ей голову. Жак спешился, высвободил ногу бедной женщины и оправил ее юбки. Не знаю, начал ли он с юбок или сперва высвободил ее ногу, но если судить о самочувствии потерпевшей по ее крикам, то она была тяжело ранена. Тут Хозяин Жака сказал лекарю:

– Вот что значит доказывать. А лекарь отвечал:

– Вот что значит не выслушивать доказательств...

Но Жак обратился к упавшей и поднятой им женщине:

– Утешьтесь, любезная: тут ни вы, ни господин доктор, ни я, ни мой Хозяин ни при чем; просто свыше было предначертано, что сегодня, на этой самой дороге, в этот самый час господин доктор окажется болтуном, мы с Хозяином – двумя ворчунами, а вы получите ушиб головы и покажете нам свой зад...

Во что превратилось бы это приключение в моих руках, приди мне только прихоть вас посердить! Я воспользовался бы этой женщиной, превратил бы ее в племянницу священника из соседней деревни; взбунтовал бы тамошних поселян; придумал бы битвы и любовные утехы, так как у нашей крестьянки под бельем оказалось прекрасное тело. Жак и его Хозяин заметили это: любовь зачастую вспыхивает даже и без такой соблазнительной приманки. Почему бы Жаку не влюбиться второй раз? Почему бы ему снова не стать соперником, и даже счастливым соперником своего Хозяина?

Разве это с ним уже бывало? – Снова вопрос! Вы, значит, не хотите, чтобы Жак продолжал рассказ о своих любовных похождениях? Давайте объяснимся раз навсегда: доставит вам это удовольствие или не доставит? Если доставит, то посадим крестьянку на седло позади ее спутника, предоставим им ехать своей дорогой и вернемся к нашим путешественникам.

На сей раз Жак сказал Хозяину:

– Вот как повелось у нас в мире! Вы никогда не бывали ранены и понятия не имеете о том, что значит получить пулю в колено, а хотите убедить меня, у которого сломана чашка и который хромает уже двадцать лет...

Хозяин. Может быть, ты и прав. Но этот нахальный лекарь виною тому, что ты застрял в повозке вместе с товарищами и находишься далеко от госпиталя, от выздоровления и от того, чтобы влюбиться.

Жак. Как бы вашей милости ни было угодно думать, а боль в колене у меня была отчаянная; она возрастала еще от лежания в жесткой повозке и езды по ухабистой дороге: и при каждом толчке я испускал громкий крик.

Хозяин. Ибо свыше было предначертано, чтоб ты кричал.

Жак. Безусловно. Я истекал кровью, и мне пришлось бы плохо, если б наша повозка, последняя в веренице, не остановилась у хижины. Там, по моей просьбе, меня сняли и положили на землю. Молодая женщина, стоявшая в дверях хижины, вошла внутрь и почти тотчас же вернулась со стаканом и бутылкой вина. Я поспешил разок-другой глотнуть. Повозки, предшествовавшие нашей, тронулись вперед. Меня хотели швырнуть обратно к товарищам, но я крепко вцепился в платье той женщины и в окружающие предметы, заявив, что не вернусь в повозку и что если умирать, так уж лучше умирать здесь, чем двумя милями дальше. С этими словами я упал в обморок. Очнувшись, я оказался раздетым и лежащим на постели в углу хижины; меня окружали мужлан хозяин, его жена, оказавшая мне помощь, и несколько маленьких детей. Жена смочила край фартука уксусом и терла мне им нос и виски.

Хозяин. Ах, негодяй! Ах, подлец!.. Вижу, бестия, куда ты гнешь!

Жак. И вовсе, сударь, ничего не видите.

Хозяин. Разве не в эту женщину ты влюбился?

Жак. А хотя бы и в нее, – что тут такого? Разве мы властны влюбляться или не влюбляться? И разве, влюбившись, мы властны поступать так, словно бы этого не случилось? Если бы то, что вы собираетесь мне сказать, было предначертано свыше, я сам подумал бы об этом; я надавал бы себе пощечин, бился бы головой о стену, рвал бы на себе волосы, – но дело бы от этого ничуть не изменилось, и мой благодетель все равно обзавелся бы рогами.

Хозяин. Но если рассуждать по-твоему, то нет такого проступка, который бы не сопровождался угрызениями совести.

Жак. Я уже не раз ломал себе голову над тем, что вы мне сейчас сказали; и все же я невольно всякий раз возвращаюсь к изречению моего капитана: «Все, что случается с нами хорошего или дурного, предначертано свыше». А разве вы знаете, сударь, какой-нибудь способ уничтожить это предначертание? Могу ли я не быть самим собой? И, будучи собой, могу ли поступать иначе, чем поступаю я сам? Могу ли я быть собой и в то же время кем-то другим? И был ли хоть один момент со дня моего рождения, когда бы это было иначе? Убеждайте меня, сколько вам угодно; возможно, что ваши доводы окажутся весьма резонными; но если мне свыше предначертано, чтоб я признал их необоснованными, то что прикажете делать?

Хозяин. Я думаю над тем, стал ли твой благодетель роконосцем потому, что так было предначертано свыше, или так было предначертано свыше потому, что ты сделал роконосцем своего благодетеля.

Жак. И то и другое было предначертано рядышком. И было предначертано одновременно. Это как великий свиток, который постепенно медленно разворачивается...

<...>

Видите, читатель, как я предупредителен? От меня одного зависело стегнуть лошадей, тащивших задрапированную черным колымагу, у ближайшего жилища собрать Жака, его Хозяина, стражников откупного ведомства или верховых объездной команды вместе с прочей процессией, прервать историю капитана и изводить вас сколько захочется; но для этого пришлось бы солгать, а я не признаю лжи, разве только когда она полезна или вынужденна. Между тем остается фактом, что ни Жак, ни его Хозяин не встретили больше задрапированной колымаги и что Жак, по-прежнему беспокоясь о странных повадках своей лошади, продолжал рассказ:

– Однажды шпионы донесли майору, что комендант и крестьянин сильно между собой повздорили, что затем они вышли вместе, причем крестьянин шел первым, а комендант с видимым сожалением следовал за ним, и что оба они зашли к местному банкиру, где до сих пор еще находятся.

Впоследствии выяснилось, что, не надеясь больше увидеться, они решили драться до смертельного исхода и что в самый разгар этой неслыханно жестокой затеи верный долг неж-

нейшей дружбы капитан, который был богат, потребовал, чтоб приятель принял у него вексель на двадцать четыре тысячи ливров: этот вексель должен был обеспечить ему жизнь за границей в случае смерти капитана. Капитан не соглашался драться без этого условия; приятель же отвечал на это предложение: «Неужели, друг мой, ты думаешь, что, убив тебя, я смогу еще жить?»... Надеюсь, Хозяин, вы не заставите меня закончить наше путешествие на этой вздорной скотине?..

Они вместе вышли от банкира и направились к городским воротам, но тут их окружили майор и несколько офицеров. Хотя эта встреча носила словно бы случайный характер, тем не менее наши два друга, или, если хотите, недруга, не поддались на обман. Крестьянин не стал скрывать, кто он такой. Эту ночь они провели в уединенном доме. На другой день, чуть занялась заря, мой капитан, несколько раз обняв приятеля, расстался с ним, чтобы никогда больше не увидеться. Не успел он прибыть на родину, как скончался.

Хозяин. Откуда ты взял, что он умер?

Жак. А гроб? А колымага с его гербом? Мой бедный капитан умер, – я в этом уверен.

Хозяин. А священник со связанными за спиной руками? А эти люди со связанными за спиной руками? А стражники откупного ведомства или верховые объездной команды? А возвращение процессии в город? Нет, твой капитан жив, – я в этом уверен. Но не знаешь ли ты, что случилось с его приятелем?

Жак. История его приятеля – это дивная строка великого свитка, или того, что предначертано свыше.

Хозяин. Надеюсь...

Лошадь Жака не позволила Хозяину продолжать; она понеслась с быстротой молнии прямо по проезжей дороге, не сворачивая ни вправо, ни влево. Жак исчез; Хозяин же его, убежденный, что дорога ведет к виселицам, держался за бока от смеха. А поскольку Жак и его Хозяин хороши только вместе и ничего не стоят порознь, как Дон Кихот без Санчо или Ричардетто без Феррагюса (чего недооценили ни продолжатели Сервантеса, ни подражатель Ариосто – монсеньер Фортигверра), то давайте, читатель, побеседуем между собой, покамест они снова не встретятся.

Вы намерены принять историю капитана за басню, но вы не правы. Уверяю вас, что в том самом виде, в каком Жак рассказывал ее своему хозяину, я слышал ее в Доме Инвалидов, уж не помню в каком году, в день святого Людовика за столом у господина Сент-Этьена, тамошнего майора; а рассказчик, который говорил в присутствии нескольких других офицеров из того же полка, знавших это дело, был человек степенный и вовсе не похожий на шутника. А посему повторяю вам, как применительно к данному случаю, так и на будущее: будьте осмотрительны, если не хотите в разговоре Жака с его Хозяином принять правду за ложь, а ложь за правду. Я вас должным образом предупредил, а дальше умываю руки. – Какая странная пара, скажете вы. – Так вот что вызывает в вас недоверие! Во-первых, природа столь разнообразна, особенно в отношении инстинктов и характеров, что даже воображение поэта не в состоянии создать такой диковины, образчика которой вы не нашли бы в природе с помощью опыта и наблюдения. Я сам, говорящий с вами, встретил двойника «Лекаря поневоле», которого считал до тех пор сумасброднейшим и забавнейшим измышлением. – Как! Двойника того мужа, которому жена говорит: «У меня трое детей на руках» и который отвечает ей: «Поставь их на землю...» – «Они просят хлеба...» – «Накорми их березовой кашей»? – Именно так. Вот его беседа с моей женой.

«Это вы, господин Гусс?»

«Да, сударыня, я, а не кто-нибудь другой».

«Откуда вы идете?»

«Оттуда, куда ходил».

«Что вы там делали?»



«Чинил испортившуюся мельницу».

«Чью мельницу?»

«Не знаю; я не подрядился чинить мельника».

«Вы отлично одеты вопреки своему обыкновению; отчего же под столь опрятным платьем вы носите такую грязную рубашку?»

«У меня только одна рубашка».

«Почему же у вас только одна?»

«Потому что у меня одновременно бывает только одно тело».

«Мужа нет дома, но надеюсь, это не помешает вам у нас пообедать?»

«Нисколько: я ведь не одалживал ему ни своего желудка, ни своего аппетита».

«Как поживает ваша супруга?»

«Как ей угодно; это не мое дело».

«А дети?»

«Превосходно».

«А тот, что с такими красивыми глазками, такой пухленький, такой гладенький?»

«Лучше других: он умер».

«Учите вы их чему-нибудь?»

«Нет, сударыня».

«Как! Ни читать, ни писать, ни закону божьему?»

«Ни читать, ни писать, ни закону божьему».

«Почему же?»

«Потому что меня самого ничему не учили, и я не стал от этого глупее. Если у них есть смекалка, они поступят как я; если они дураки, то от моего учения они еще больше поглупеют...»

Повстречайся он вам, вы можете заговорить с ним, не будучи знакомы. Затащите его в кабачок, изложите ему свое дело, предложите отправиться с вами за двадцать миль, – он отправится; используйте его и отошлите, не платив ни гроша, – он уйдет вполне довольный.

Слыхали ли вы о некоем Премонвале, дававшем в Париже публичные уроки математики? Он был его другом... Но, может быть, Жак и его Хозяин уже встретились; хотите вернуться к ним или предпочитаете остаться со мной? Гусс и Премонваль вместе содержали школу. Среди учеников, толпами посещавших их заведение, была молодая девушка, мадемуазель Пижон, дочь искусного мастера, изготовившего те две великолепные планисферы, которые перенесли из Королевского сада в залы Академии наук. Каждое утро мадемуазель Пижон отправлялась в школу с папкой под мышкой и готовальной в муфте. Один из профессоров, Премонваль, влюбился в свою ученицу, и в промежутки между теоремами о телах, вписанных в сферу, поспел ребенок. Папаша Пижон был не такой человек, чтоб терпеливо выслушать правильность этого короллария. Положение любовников становится затруднительным, они держат совет; но поскольку у них нет ни гроша, то какой же толк может быть от такого совещания? Они призывают на помощь своего приятеля Гусса. Тот, не говоря ни слова, продает все, что имеет, – белье, платье, машины, мебель, книги; сколачивает некоторую сумму, впахивает влюбленных в почтовую карету, верхом сопровождает их до Альп; там он высыпает из кошелька оставшуюся мелочь, передает ее друзьям, обнимает их, желает им счастливого пути, а сам, прося милостыню, идет пешком в Лион, где расписывает внутренние стены мужского монастыря и на заработанные деньги, уже без попрошайничества, возвращается в Париж.

Это просто прекрасно. – Безусловно! И, судя по этому героическому поступку, вы полагаете, что Гусс был образцом нравственности? Так разуверьтесь: он имел о ней не больше понятия, чем щука. – Быть не может! – А между тем это так. Я беру его к себе в дело; даю ему ассигновку в восемьдесят ливров на своих доверителей; сумма проставлена цифрами; как же он поступает? Приписывает нуль и получает с них восемьсот ливров. – Что за гнусность! –

Гусс в такой же мере бесчестен, когда меня обкрадывает, в какой честен, когда отдает все ради друга; это беспринципный оригинал. Восьмидесяти ливров ему было недостаточно, он росчерком пера добыл восемьсот, в которых нуждался. А ценные книги, которые он мне преподнес! – Что еще за книги? – Но как быть с Жаком и его Хозяином? Как быть с любовными похождениями Жака? Ах, читатель, терпение, с которым вы меня слушаете, доказывает, как мало вы интересуетесь моими героями, и я испытываю искушение оставить их там, где они находятся... Мне нужна была ценная книга, он мне ее приносит; спустя несколько времени мне нужна другая ценная книга; и он снова мне ее приносит; я хочу заплатить, но он не берет денег. Мне нужна третья ценная книга...

«Этой я вам не достану, – говорит он. – Вы слишком поздно сказали: мой сорбоннский доктор умер».

«Что общего между вашим сорбоннским доктором и книгой, которая мне нужна? Разве вы первые две книги взяли в его библиотеке?»

«Разумеется».

«Без его согласия?»

«А зачем мне нужно было его согласие, чтобы совершить акт справедливого распределения? Я только переместил книги, перенося их отсюда, где они были бесполезны, туда, где им найдут достойное применение...»

Вот и судите после этого о человеческих поступках! Но что замечательно, так это история Гусса и его жены... Понимаю вас, вам наскучило, и вы бы не прочь были вернуться к нашим двум путешественникам. Читатель, вы обращаетесь со мной как с автоматом, это невежливо: «Рассказывайте любовные похождения Жака, – не рассказывайте любовных пождений Жака... Выкладывайте историю Гусса, – мне наскучила ис...» Я, конечно, иногда должен следовать вашим прихотям, но необходимо также, чтоб иногда я следовал и своим, не говоря уж о том, что всякий слушатель, позволивший мне начать рассказ, тем самым обязывается дослушать его до конца.

Я сказал вам: «во-первых», а сказать «во-первых» – значит обещать, что вы скажете по меньшей мере «во-вторых». Итак, во-вторых... Послушайте меня!.. Нет, не слушайте, я буду говорить для себя... Быть может, капитана и его приятеля терзала слепая и скрытая ревность: дружба не всегда в силах подавить это чувство. Труднее всего простить другому его достоинства. Не опасались ли они какой-нибудь несправедливости по службе, которая одинаково оскорбила бы их обоих? Сами того не подозревая, они старались заранее отделаться от опасного соперника, испытать его на предстоящий случай. Но как можно подумать это о человеке, который великодушно уступает комендантскую должность неимущему приятелю! Да, уступает; но если б его лишили этой должности, он, быть может, потребовал бы ее с обнаженной шпагой. Когда среди военных кого-нибудь обходят чином, это не приносит никакой чести счастливцу, но бесчестит его соперника. Однако оставим все это и скажем, что уж таков был их заскок. Разве не у всякого человека бывает свой заскок? Заскок наших двух офицеров был в течение нескольких веков манией всей Европы, его называли «рыцарским духом». Все эти блестящие витязи, вооруженные с головы до ног, носившие цвета своих дам, восседавшие на парадных конях, с копьём в руке, с поднятым или опущенным забралом, обменивавшиеся гордыми и вызывающими взглядами, угрожавшие, опрокидывавшие друг друга в пыль, усеивавшие обширное турнирное поле обломками оружия, были лишь друзьями, завидовавшими чьей-либо доблести. В тот момент, когда эти друзья на противоположных концах ристалища держали копьё наперевес и всаживали шпоры в бока своих боевых коней, они превращались в смертельных врагов и нападали друг на друга с таким же бешенством, как на поле битвы. Как видите, эти два офицера были лишь паладинами, родившимися в наши дни, но верными старинным нравам. Всякая добродетель и всякий порок на время расцветают, а потом выходят из моды. Было время грубой силы, было время физической ловкости. Храбрость пользует

ется то бóльшим, то меньшим почетом; чем она становится обыденней, тем меньше ею хва-стаются, тем меньше ее восхваляют. Последите за склонностями людей – и вы найдете таких, которые как будто родились слишком поздно: они принадлежат другому веку. И почему бы нашим двум воинам не затевать ежедневные и опасные поединки исключительно из желания нащупать слабую сторону противника и одержать над ним верх? Дуэли повторяются во всяких видах в обществе: среди священников, судейских, литераторов, философов; у каждого звания свои копья и свои рыцари, и самые почтенные, самые занимательные из наших ассамблей суть только маленькие турниры, где иногда носят цвета своей дамы – если не на плече, то в глубине сердца. Чем больше зрителей, тем жарче схватка; присутствие женщин доводит пыл и упорство до крайних пределов, и стыд перенесенного на их глазах поражения никогда не забывается.

### **Вопросы и задания:**

1. Каково писательское поведение Дидро по отношению к своему читателю? Имитирует ли он документ (мемуары, записки, дневник) или не скрывает вымышленный характер повествования? Сравните в этом отношении тексты романов «Жак-фаталист» и «Монахиня».

2. Какие элементы диалогической игры вы можете найти в тексте? Какие литературные претексты называются в тексте? Какова их роль?

3. Как вы можете объяснить название романа Дидро? Как вы можете охарактеризовать представления Дидро о судьбе, о причинно-следственных связях, действующих в жизни человека?

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Обратите внимание на жанровые особенности приведенного ниже текста Дидро (1762-1779) и попробуйте сформулировать, в чем заключается принцип диалогичности, характерный для Дидро. Известно, что Гегель определил сознание Рамо как «разорванное сознание». Найдите признаки «раздвоенности» в личности Рамо, в его взглядах и желаниях.

## **Племянник Рамо**

*Перевод А. В. Фёдорова*

Какова бы ни была погода – хороша или дурна, – я привык в пять часов вечера идти гулять в Пале-Рояль. Всегда один, я сижу там в задумчивости на скамье д'Аржансона. Я рассуждаю сам с собой о политике, о любви, о философии, о правилах вкуса; мой ум волен тогда предаваться полному разгулу; я предоставляю ему следить за течением первой пришедшей в голову мысли, правильной или безрассудной, подобно тому как наша распущенная молодежь в аллее Фуа следует по пятам за какой-нибудь куртизанкой легкомысленного вида, пленившись ее улыбкой, живым взглядом, вздернутым носиком, потом покидает ее ради другой, не пропуская ни одной девицы и ни на одной не останавливая свой выбор. Мои мысли – это для меня те же распутницы <...>

Если день выдался слишком холодный или слишком дождливый, я укрываюсь в кофейне «Регентство». Там я развлекаюсь, наблюдая за игрою в шахматы. Париж – это то место в мире, а кофейня «Регентство» – то место в Париже, где лучше всего играют в эту игру; у Рея вступают в схватку глубокомысленный Легаль, тонкий Филидор, основательный Майо, там видишь самые изумительные ходы и слышишь замечания самые пошлые, ибо если можно быть умным человеком и великим шахматистом, как Легаль, то можно быть столь же великим шахматистом и вместе с тем глупцом, как Фубер или Майо. Однажды вечером, когда я находился там, стараясь побольше смотреть, мало говорить и как можно меньше слушать, ко мне подошел некий чело-

век – одно из самых причудливых и удивительных созданий в здешних краях, где, по милости божией, в них отнюдь нет недостатка. Это – смесь высокого и низкого, здравого смысла и безрассудства; в его голове, должно быть, странным образом переплелись понятия о честном и бесчестном, ибо он не кичится добрыми качествами, которыми наделила его природа, и не стыдится дурных свойств, полученных от нее в дар. Отличается он крепким сложением, пылкостью воображения и на редкость мощными легкими. Коли вы когда-нибудь встретитесь с ним и его своеобразный облик не остановит ваше внимание, то вы либо заткнете себе пальцами уши, либо убежите. Боги! Какие чудовищные легкие! Никто не бывает так сам на себя непохож, как он. Иногда он худ и бледен, как больной, дошедший до крайней степени истощения: можно сквозь кожу щек сосчитать его зубы, и, пожалуй, скажешь, что он несколько дней вовсе ничего не ел или только что вышел из монастыря траппистов. На следующий месяц он жирен и дороден, словно все это время так и не вставал из-за стола какого-нибудь финансиста или был заперт в монастыре бернардинцев. Сегодня он в грязном белье, в разорванных штанах, весь в лохмотьях, почти без башмаков, идет понуриив голову, скрывается от взглядов: так и хочется позвать его, чтобы подать милостыню. А завтра он, напудренный, обутой, завитой, хорошо одетый, выступает, высоко подняв голову, выставляет себя напоказ, и вы могли бы его принять чуть ли не за порядочного человека. Живет он со дня на день, грустный или веселый – смотря по обстоятельствам. Утром, когда он встал, первая его забота – сообразить, где бы ему пообедать; после обеда он думает о том, где будет ужинать. Ночь также приносит некоторое беспокойство: он либо возвращается пешком к себе на чердак, если только хозяйка, которой наскучило ждать от него денег за помещение, не отобрала у него ключ, либо устраивается в какой-нибудь харчевне предместья, где с куском хлеба и кружкой пива ожидает утра. Когда в кармане у него не находится шести су – а это порою бывает, – он прибегает к помощи либо возницы своего приятеля, либо кучера какого-нибудь вельможи, предоставляющего ему ночлег на соломе рядом с лошадьми. Утром часть его матраца еще застряла у него в волосах. Если погода стоит мягкая, он всю ночь шагает вдоль Сены по Елисейским полям. Когда рассветет, он снова появляется в городе, одетый сегодня еще со вчерашнего дня, а то и до конца недели не переодеваясь вовсе. Такие оригиналы у меня не в чести. Другие заводят с ними близкое знакомство, вступают даже в дружбу: мое же внимание они при встрече останавливают раз в год, ежели своим характером достаточно резко выделяются среди остальных людей и нарушают то скучное однообразие, к которому приводят наше воспитание, наши светские условности, наши правила приличия. Если в каком-либо обществе появляется один из них, он, точно дрожжи, вызывает брожение и возвращает каждому долю его природной своеобразности. Он расшевеливает, он возбуждает, требует одобрения или порицания; он заставляет выступить правду, позволяет оценить людей достойных, срывает маски с негодяев; и тогда человек здравомыслящий прислушивается и распознает тех, с кем имеет дело.

Этого человека я знал давно. Он бывал в одном доме, двери которого ему открыл его талант. Там была единственная дочь; он клялся ее отцу и матери, что женится на дочери. Те пожимали плечами, смеялись ему в лицо, говорили, что он сошел с ума, и вот пришел час, когда я понял: дело слажено.

Я давал ему те несколько экю, что он просил в долг. Он, не знаю каким образом, получил доступ в некоторые порядочные дома, где для него ставили прибор, но лишь под тем условием, что говорить он будет не иначе, как получив на то разрешение. Он молчал и ел, полный ярости; он был бесподобен, принужденный терпеть такое насилие. Если же ему приходила охота нарушить договор и он раскрывал рот, при первом же его слове все сотрапезники восклицали: «О, Рамо!» Тогда в глазах его искрилось бешенство, и он вновь с еще большей яростью принимался за еду. Вам было любопытно узнать имя этого человека, вот вы его и узнали: это Рамо, племянник того знаменитого Рамо, что освободил нас от одноголосия музыки Люлли, господствовавшего у нас более ста лет, создал столько смутных видений и апокалипсических истин

из области теории музыки, в которых ни он сам, ни кто бы то ни было другой никогда не мог разобраться, оставил нам ряд опер, где есть гармония, обрывки мелодий, не связанные друг с другом мысли, грохот, полеты, триумфы, звон копий, ореолы, шепоты, победы, нескончаемые танцевальные мотивы, доводящие до изнеможения, – композитора, который, похоронив флорентийца, сам будет погребен итальянскими виртуозами, что он и предчувствовал и что делало его мрачным, печальным, сварливым, ибо никто, даже и красавица, проснувшаяся с прыщиком на губе, не раз раздражается так, как автор, стоящий перед угрозой пережить свою славу. Примеры тому – Мариво и Кребийон-сын.

Он подходит ко мне:

– Ах, вот как, и вы тут, господин философ! Что же вы ищете в этой толпе бездельников? Или вы тоже теряете время на то, чтобы передвигать деревяшки?.. *(Так из пренебрежения называют игру в шахматы или в шашки.)*

Я. Нет; но когда у меня не оказывается лучшего занятия, я развлекаюсь, глядя некоторое время на тех, кто хорошо умеет их передвигать.

Он. В таком случае вы редко развлекаетесь; за исключением Легалья и Филидора, никто не знает в этом толку.

Я. А господин де Бисси?

Он. В этой игре он то же, что мадемуазель Клерон на сцене: и он и она знают только то, чему можно выучиться.

Я. На вас трудно угодить, и вы, я вижу, согласны щадить лишь великих людей.

Он. Да, в шахматах, в шашках, в поэзии, в красноречии, в музыке и тому подобном вздоре. Что проку от посредственности в этих искусствах?

Я. Мало проку, согласен. Но множеству людей необходимо искать в них приложение своим силам, чтобы мог народиться гений; он – один из толпы. Но оставим это. Я целую вечность вас не видел. Я не вспоминаю о вас, когда вас не вижу, но мне всегда приятно встретить вас вновь. Что вы подельывали?

Он. То, что обычно делают люди, и вы, и я, и все прочие, – хорошее, плохое и вовсе ничего. Кроме того, я бывал голоден и ел, когда к тому представлялся случай; поев, испытывал жажду и пил иной раз. А тем временем у меня росла борода, и, когда она выростала, я ее брил.

Я. Это вы напрасно делали: борода – единственное, чего вам недостает, чтобы принять облик мудреца.

Он. Да, конечно, – лоб у меня высокий и в морщинах, взгляд жгучий, нос острый, щеки широкие, брови черные и густые, рот правильно очерченный, выпяченные губы, лицо квадратное. И если бы этот объемистый подбородок был покрыт густой бородой, то, знаете ли, в мраморе или в бронзе это имело бы превосходный вид.

Я. Рядом с Цезарем, Марком Аврелием, Сократом.

Он. Нет. Я бы лучше чувствовал себя подле Диогена и Фрины. Я бесстыдник, как первый из них, и с удовольствием бываю в обществе особ вроде второй.

Я. Хорошо ли вы чувствуете себя?

Он. Обычно – да, но сегодня не особенно.

Я. Что вы! Да у вас брюхо, как у Силена, а лицо...

Он. Лицо, которое можно принять за противоположную часть тела. Что ж, от печали, которая сушит моего дорогого дядюшку, его милый племянник, очевидно, жиреет.

Я. Кстати, видите ли вы иногда с этим дорогим дядюшкой?

Он. Да, на улице, мимоходом.

Я. Разве он не помогает вам?

Он. Если он кому и помог когда-нибудь, то сам того не подозревая. Он философ в своем роде; думает он только о себе, весь прочий мир не стоит для него ломаного гроша. Дочь его и жена могут умереть, когда им заблагорассудится, только бы колокола приходской церкви,

которые будут звонить по ним, звучали дуодецимой и септдецимой – и все будет в порядке. Так для него лучше, и эту-то черту я особенно ценю в гениях. Они годны лишь на что-нибудь одно, а более – ни на что; они не знают, что значит быть гражданином, отцом, матерью, родственником, другом. Между нами говоря, на них во всем следует походить, но не следует желать, чтобы эта порода распространялась. Нужны люди, а что до гениев – не надо их; нет, право же, не нужны они. Это они изменяют лицо земли, а глупость даже и в самых мелочах столь распространена и столь могущественна, что без шума не обойтись, если захочешь преобразовать и ее. Частично входит в жизнь то, что они измыслили, частично же остается то, что было; отсюда – два Евангелия, пестрый наряд арлекина. Мудрость монаха, описанного Рабле, – истинная мудрость, нужная для его спокойствия и для спокойствия других: она – в том, чтобы кое-как исполнять свой долг, всегда хорошо отзываться о настоятеле и не мешать людям жить так, как им вздумается. Раз большинство довольно такой жизнью – значит, живет им хорошо. Если б я знал историю, я показал бы вам, что зло появлялось в этом мире всегда из-за какого-нибудь гения, но я истории не знаю, потому что я ничего не знаю. Черт меня побери, если я когда-нибудь чему бы то ни было научился и если мне хоть сколько-нибудь хуже оттого, что я никогда ничему не научался. Однажды я обедал у одного министра Франции, у которого ума хватит на четверых, и вот он доказал нам как дважды два четыре, что нет ничего более полезного для народа, чем ложь, и ничего более вредного, чем правда. Я хорошо не помню его доказательств, но из них с очевидностью вытекало, что гений есть нечто отвратительное и что, если бы чело новорожденного отмечено было печатью этого опасного дара природы, ребенка следовало бы задушить или выбросить вон.

Я. Однако же все подобные лица, столь сильно ненавидящие гениев, самих себя считают гениальными.

Он. Полагаю, что в глубине души они такого мнения, но не думаю, чтобы они решились признаться в этом.

Я. Да, из скромности. А вы так страшно возненавидели гениев.

Он. Бесповоротно.

Я. Но я помню время, когда вы приходили в отчаяние оттого, что вы только обыкновенный человек. Вы никогда не будете счастливы, если доводы «за» и «против» одинаково будут вас удручать; вам следовало бы прийти к определенному мнению и уже в дальнейшем придерживаться его. Даже согласившись с вами, что люди гениальные обычно бывают странны, или, как говорится, нет великого ума без капельки безумия, мы не отречемся от них; мы будем презирать те века, которые не создали ни одного гения. Гении составляют гордость народов, к которым принадлежат; рано или поздно им воздвигаются статуи и в них видят благодетелей человеческого рода. Да не прогневается премудрый министр, на которого вы ссылаетесь, но я думаю, что если ложь на краткий срок и может быть полезна, то с течением времени она неизбежно оказывается вредна, что, напротив того, правда с течением времени оказывается полезной, хотя и может статься, что сейчас она принесет вред. А тем самым я готов прийти к выводу, что гений, описывающий какое-нибудь всеобщее заблуждение или открывающий доступ к некоей великой истине, есть существо, всегда достойное нашего почитания. Может случиться, что это существо делается жертвой предрассудка или же законов; но есть два рода законов: одни – безусловной справедливости и всеобщего значения, другие же – нелепые, обязанные своим признанием лишь слепоте людей или силе обстоятельств. Того, кто повинен в их нарушении, они покрывают лишь мимолетным бесчестьем – бесчестьем, которое со временем падает на судей и на народы, и падает навсегда. Кто ныне опозорен – Сократ или судья, заставивший его выпить цикуту?

Он. Большой ему от этого прок! Или он тем самым не был осужден на смерть? Не был казнен? Не являлся беспокойным гражданином?

Своим презрением к несправедливому закону не поощрял сумасбродов презирать и справедливые? Не был человеком дерзким и странным? Вы вот сами только что были готовы произнести суждение, мало благоприятное для людей гениальных.

Я. Послушайте, мой дорогой. В обществе вообще не должно было бы быть дурных законов, а если бы законы в нем были только хорошие, ему никогда бы не пришлось преследовать человека гениального. Я ведь не сказал вам, что гений неразрывно связан со злонравием или злонравие – с гением. Глупец чаще, чем умный человек, оказывается злым. Если бы гений, как правило, был неприятен в обхождении, привередлив, обидчив, невыносим, если бы даже он был злой человек, то какой бы из этого, по-вашему, был вывод?

Он. Что его следует утопить.

Я. Не торопитесь, дорогой. Вы вот послушайте: ну, вашего дядюшку Рамо я не возьму в пример – он человек черствый, грубый, он бессердечен, он скуп, он плохой отец, плохой муж, плохой дядя; но ведь не сказано, что это – высокий ум, что в своем искусстве он пошел далеко вперед и что лет через десять о его творениях еще будет речь. Возьмем Расина. Он, несомненно, был гениален, однако не считался человеком особенно хорошим. Или Вольтер!..

Он. Не забрасывайте меня доводами: я люблю последовательность.

Я. Что бы вы предпочли: чтобы он был добрым малым, составляя одно целое со своим прилавком, подобно Бриассону, или со своим аршином, подобно Варбье, каждый год приживая с женой законное дитя, – хороший муж, хороший отец, хороший дядя... хороший сосед, честный торговец, но ничего более, – или же чтобы он был обманщиком, предателем, честолюбцем, завистником, злым человеком, но автором «Андромахи», «Британника», «Ифигении», «Федры», «Аталии»?

Он. Право же, для него, пожалуй, лучше было бы быть первым из двух.

Я. А ведь это куда более верно, чем вы сами предполагаете.

Он. Ах, вот вы все какие! Если мы и скажем что-нибудь правильное, то разве что как безумцы или одержимые, случайно. Только ваш брат и знает, что говорит. Нет, господин философ, то, что я говорю, я знаю так же хорошо, как вы знаете то, что говорите сами.

Я. Положим, что так. Ну так почему же первым из двух?

Он. Потому, что все те превосходные вещи, которые он создал, не принесли ему и двадцати тысяч франков, а если бы он был честным торговцем шелком с улицы Сен-Дени или Сент-Оноре, аптекарем с хорошей клиентурой, вел бакалейную торговлю оптом, он накопил бы огромное состояние и, пока он его накапливал, он бы наслаждался всеми на свете удовольствиями, потому что время от времени он жертвовал бы пистоль бедному забулдыге-шуту вроде меня, который его смешил бы, а порой доставлял бы ему и милых девиц, а те развлекали бы его среди скуки постоянного сожительства с женой; мы чудесно бы обедали у него, играли бы по большой, пили бы чудесные вина, чудесные ликеры, чудесный кофе, совершали бы загородные поездки. Вот видите – я знаю, что говорю. Вы смеетесь? Но позвольте мне сказать: так было бы лучше для его ближних.

Я. Не спорю, лишь бы он не употреблял во зло богатство, приобретенное честной торговлей, лишь бы он удалил из своего дома всех этих игроков, всех этих паразитов, всех этих пошлых любезников, всех этих бездельников и велел бы приказчикам из своей лавки до смерти избить палками того угодливого человека, что под предлогом разнообразия помогает мужьям легче переносить отвращение, которое вызывается постоянным сожительством с женами.

Он. Да что вы, сударь! Избить палками, избить палками! В городе благоустроенном никого не избивают палками. Да это ведь честное занятие; многие люди, даже титулованные, ему не чужды. Да и как, по-вашему на что, черт возьми, употреблять богачу свои деньги, если не на отменный стол, отменное общество, отменные вина, отменных женщин – наслаждения всех видов, забавы всех родов? Я предпочел бы быть бродягой, чем обладать большим состоя-

нием, не имея ни одного из этих удовольствий. Но вернемся к Расину. От этого человека прок был только людям, не знавшим его, и в такое время, когда его уже не было в живых.

Я. Согласен. Но взвесьте и вред и благо. Он и через тысячу лет будет исторгать слезы; он будет вызывать восхищение во всех частях земного шара; он будет учить человечности, состраданию, нежности. Спросят, кто он был, из какой страны, и позавидуют Франции. Он заставил страдать нескольких людей, которых больше нет, которые почти и не вызывают в нас участия; нам нечего опасаться ни его пороков, ни его недостатков. Конечно, лучше было бы, если бы вместе с талантами великого человека природа наделила его добродетелями. Он – дерево, из-за которого засохло несколько других деревьев, посаженных в его соседстве, и погибли растения, гнездившиеся у его подножия; но свою вершину он вознес к облакам, ветви свои простер вдалеку; он уделял и уделяет свою тень тем, что приходили, приходят и будут приходить отдыхать вокруг его величественного ствола; он приносил плоды, чудесные на вкус, которые обновляются непрерывно. Можно было бы пожелать, чтобы Вольтер отличался кротостью Дюкло, простодушием аббата Трюбле, прямоотой аббата д’Оливе, но, раз это невозможно, взглянем на вещи с точки зрения подлинной их ценности. Забудем на минуту о месте, которое мы занимаем во времени и в пространстве, и окинем взглядом будущие века, отдаленнейшие области и грядущие поколения. Подумаем о благе рода людского; если мы недостаточно великодушны, то, по крайней мере, простим природе, оказавшейся более мудрой, чем мы. Если вы голову Греза обдадите холодной водой, то, быть может, вместе с тщеславием угасите и его талант. Если вы Вольтера сделаете менее чувствительным к критике, он уже не в силах будет проникнуть в душу Меропы. Он больше не будет трогать вас.

Он. Но если природа так же могущественна, как и мудра, почему она не создала гениев столь же добродетельными, как и великими?

Я. Да разве вы не видите, что подобным рассуждением вы опрокидываете весь мировой порядок и что если бы все на земле было превосходно, то и не было бы ничего превосходного.

Он. Вы правы. Главное, чтобы вы и я были среди живых и чтобы мы были – вы и я, а там пусть все идет, как заблагорассудится. По моему мнению, наилучший порядок вещей – тот, при котором мне предназначено быть, и к черту лучший из миров, если меня в нем нет. Я предпочитаю быть, и даже быть наглым болтуном, чем не быть вовсе.

Я. Все люди думают так, как вы, и, порицая существующий порядок, сами при этом замечают, что отказываются от собственного бытия.

Он. Это верно.

Я. Согласимся же принять всякую вещь такую, как она есть, посмотрим, чего она нам стоит и что нам приносит, и оставим в покое целое, которое мы знаем недостаточно, чтобы хвалить его или бранить, и которое, быть может, ни плохо, ни хорошо, если оно необходимо; так полагают многие порядочные люди.

Он. Я мало понимаю в том, что вы мне излагаете. Это, по всей видимости, что-то из философии; предупреждаю вас, что не имею к этому касательства. Знаю лишь одно: что мне хотелось бы быть другим, чего доброго – гением, великим человеком; да, должен признаться, такое у меня чувство. Каждый раз, как при мне хвалили одного из них, эти похвалы вызывали во мне тайную ярость. Я завистлив. Когда мне сообщают какую-либо нелестную подробность из их частной жизни, мне приятно слушать: это сближает нас, и мне легче переносить мое ничтожество. Я говорю себе: «Да, конечно, ты бы никогда не написал „Магомета“ или похвального слова Мопу». Значит, я ничтожество, и я уязвлен тем, что я таков. Да, да, я ничтожество, и я уязвлен...

<...>

Я слушал его, и, по мере того как он разыгрывал роль сводника, соблазняющего девушку, моей душой овладевали два противоположных чувства – я не знал, уступить ли желанию расхотаться или отдаться порыву гнева. Раз двадцать разражаясь смехом, я не давал разразиться



негодованию; раз двадцать негодование, подымавшееся из глубины моего сердца, кончалось взрывами смеха. Я был ошеломлен такой пронизательностью и вместе такой низостью, чередованием мыслей столь верных и столь ложных, столь полной извращенностью всех чувств, столь бесконечной гнусностью и вместе с тем столь необычной откровенностью. Мое состояние не ускользнуло от него.

– Что с вами? – спросил он.

Я. Ничего.

Он. Вы, как мне кажется, расстроены?

Я. Это так.

Он. Но что же, в конце концов, вы мне посоветуете?

Я. Изменить тему разговора. Ах, несчастный, как низко вы пали!

Он. Согласен с вами. Но все же пусть мое положение не очень вас беспокоит. Решив открыться вам, я вовсе не был намерен расстраивать вас. Пока я жил у тех людей, про которых рассказывал вам, я сделал кое-какие сбережения. Примите в расчет, что я не нуждался ни в чем, решительно ни в чем, и что мне много отпускалось на мелкие расходы.

Он снова стал бить кулаком по лбу, кусать себе губы и, вращая глазами, подымать к потолку блуждающий взгляд, потом заметил: «Но дело сделано; я кое-что успел отложить; с тех пор прошло некоторое время, а это означает прибыль».

Я. Убыль – хотите вы сказать?

Он. Нет, нет, прибыль. Мы богатеем каждое мгновение: если одним днем меньше осталось жить или если одним экю стало больше в кармане – все едино. Главное в том, чтобы каждый вечер легко, беспрепятственно, приятно и обильно отдавать дань природе. О *stercus pretiosum*! Вот главный итог жизни во всех положениях. В последний час одинаково богаты все: и Самюэль Бернар, который, воруя, грабя и банкротясь, составляет двадцать семь миллионов золотом, и Рамо, который ничего не оставит и лишь благотворительности будет обязан саваном из грубого холста. Мертвец не слышит, как вопят по нем колокола; напрасно сотня священников дерет себе горло из-за него и длинная цепь пылающих факелов предшествует гробу и следует за ним: душа его не идет рядом с распорядителем похорон. Гнить ли под мрамором или под землей – все равно гнить. Будут ли вокруг вашего гроба красные и синие сироты, или не будет никого – не все ли равно? А потом – видите вы эту руку? Она была чертовски тугая, эти десять пальцев были все равно как палки, воткнутые в деревянную пясть, а эти сухожилия – как струны из кишок, еще суше, еще туже, еще крепче, нежели те, какие употребляются для токарных колес. Но я их столько терзал, столько сгибал и ломал! Ты не слушаешься, а я тебе, черт возьми, говорю, что ты будешь слушаться, и так оно и будет...

И, говоря это, он правой рукой схватил пальцы и кисть левой и стал выворачивать их во все стороны; он прижимал концы пальцев к запястью, так что суставы хрустели; я опасался, как бы он не вывихнул их.

Я. Будьте осторожны, вы искалечите себя.

Он. Не бойтесь, они к этому привыкли; за десять лет я с ними и не то проделывал! Хочешь не хочешь, а пришлось им к этому привыкнуть и выучиться бегать по клавишам, и летать по струнам. Зато теперь все идет так, как надо...

И вот он принимает позу скрипача; он напевает *allegro* из Локателли; правая рука его подражает движению смычка; левая рука и пальцы как будто скользят по грифу. Взяв фальшивую ноту, он останавливается; он подтягивает или спускает струну; он пробует ее ногтем, чтобы проверить, настроена ли она; он продолжает играть с того места, где остановился. Он ногой отбивает такт, машет головой, приводит в движение руки, ноги, все туловище, как мне это порой случалось видеть на духовном концерте Феррари, или Кьябрана, или другого какого виртуоза, корчившегося в тех же судорогах, являвшего мне зрелище такой же пытки и причинявшего примерно такое же страдание, ибо не мучительно ли видеть страдания того, кто ста-

рается доставить мне удовольствие? Опустите между мной и этим человеком занавес, который скрыл бы его от меня, раз неизбежно, чтобы он изображал осужденного на пытку! Коли среди всего того возбуждения и криков наступала выдержка, один из тех гармонических моментов, когда смычок медленно движется по нескольким струнам сразу, лицо его принимало выражение восторга, голос становился нежным, он слушал самого себя с восхищением; он не сомневался, что аккорды раздаются и в его и в моих ушах. Потом, сунув свой инструмент под мышку той самой левой рукой, в которой он его держал, и уронив правую руку со смычком, он спросил: «Ну как, по-вашему?»

Я. Как нельзя лучше!

Он. Мне кажется, неплохо; звучит примерно так же, как и у других...

Он уже согнулся, как музыкант, садящийся за фортепьяно.

Я. Прошу вас, пощадите и себя и меня.

Он... Нет, нет; раз вы в моих руках, вы меня послушаете. Я вовсе не хочу, чтобы меня хвалили неизвестно за что. Вы теперь с большей уверенностью будете одобрять мою игру, и это даст мне несколько новых учеников.

Я. Я так редко бываю где-нибудь, и вы только понапрасну утомите себя.

Он. Я никогда не утомляюсь.

Видя, что бесполезно проявлять сострадание к этому человеку, который после сонаты на скрипке уже был весь в поту, я решил не мешать ему. Вот он уже сидит за фортепьяно, согнув колени, закинув голову к потолку, где он, казалось, видит размеченную партитуру, напевает, берет вступительные аккорды, исполняет какую-то вещь Альберти или Галуппи – не скажу точно, чью именно. Голос его порхал как ветер, а пальцы летали по клавишам, то оставляя верхние ноты ради басовых, то обрывая аккомпанемент и возвращаясь к верхам. На лице его одни чувства сменялись другими: оно выражало то нежность, то гнев, то удовольствие, то горе; по нему чувствовались все *piano*, все *forte*, и я уверен, что человек более искусный, чем я, мог бы узнать и самую пьесу по движениям исполнителя, по характеру его игры, по выражению его лица и по некоторым обрывкам мелодии, порой вырывавшимся из его уст. Но что всего было забавнее, так это то, что временами он сбивался, начинал снова, как будто сфальшивил перед тем, и досадовал, что пальцы не слушаются его.

– Вот, – сказал он, выпрямляясь и вытирая капли пота, которые текли по его щекам, – вы видите, что и мы умеем ввести тритон, увеличенную квинту и что сцепления доминант нам тоже знакомы. Все эти энгармонические пассажи, о которых так трубит милый дядюшка, тоже не бог весть что; мы с ними тоже справляемся.

Я. Вы очень старались, чтобы показать мне, какой вы искусный музыкант; а я поверил бы вам и так.

Он. Искусный? О нет! Но что до самого ремесла, то я его более или менее знаю, и даже больше чем достаточно; разве нужно у нас знать то, чему учишь?

Я. Не более, чем знать то, чему учишься.

Он. Верно сказано, черт возьми, весьма верно! Но, господин философ, скажите прямо, положа руку на сердце, – было время, когда вы не были так богаты, как сейчас?

Я. Я и сейчас не слишком-то богат.

Он. Но летом в Люксембургский сад вы больше не пошли бы... Помните?

Я. Оставим это – я все помню.

Он. В сером плисовом сюртуке...

Я. Ну да, да.

Он. ...ободранном с одного бока, с оборванной манжетой, да еще в черных шерстяных чулках, заштопанных сзади белыми нитками.

Я. Ну да, да, говорите что угодно.

Он. Что вы делали тогда в аллее Вздохов?

Я. Являл жалкое зрелище.

Он. А выйдя оттуда, брели по мостовым?

Я. Так точно.

Он. Давали уроки математики?

Я. Ничего не смыслив в ней. Не к этому ли вы и вели всю речь?

Он. Вот именно.

Я. Я учился, уча других, и вырастил несколько хороших учеников.

Он. Возможно, но музыка не то, что алгебра или геометрия. Теперь, когда вы стали важным баринком...

Я. Не таким уж важным.

Он. ...когда в мошне у вас водятся деньги...

Я. Весьма немного.

Он. ...вы берете учителя к вашей дочке.

Я. Еще нет; ее воспитанием ведает мать: ведь надо сохранить мир в семье.

Он. Мир в семье? Черт возьми, да чтобы сохранить его, нужно быть самому или слугой, или господином, а господином-то и надо быть... У меня была жена... царство ей небесное; но когда ей порой случалось надерзить мне, я бушевал, метал громы, возглашал, как господь бог: «Да будет свет!» – и свет появлялся. Зато целых четыре года у нас дома были тишь да гладь. Сколько лет вашему ребенку?

Я. Это к делу не относится.

Он. Сколько лет вашему ребенку?

Я. Да ну, на кой вам это черт! Оставим в покое мою дочь и ее возраст и вернемся к ее будущим учителям.

Он. Ей-богу, не знаю никого упрямее философов. Но все же нельзя ли покорнейше просить его светлость господина философа хоть приблизительно указать возраст его дочери?

Я. Предположим, что ей восемь лет.

Он. Восемь лет? Да уже четыре года, как ей надо бы держать пальцы на клавишах.

Я. А я, может быть, вовсе и не думаю о том, чтобы ввести в план ее воспитания предмет, берущий столько времени и приносящий так мало пользы.

Он. Так чему же, позвольте спросить, вы будете ее обучать?

Я. Если мне удастся, обучу правильно рассуждать – искусство столь редкое среди мужчин и еще более редкое среди женщин.

Он. Э! Пусть судит вздорно как угодно, лишь бы она была хорошенькой, веселой и кокетливой.

Я. Природа была к ней так неблагоприятна, что наделила ее нежным сложением и чувствительной душой и отдала ее на произвол жизненных невзгод, как если бы у нее было сильное тело и железная душа, а раз это так, я научу ее, если это мне удастся, мужественно переносить невзгоды.

Он. Э! Пусть она плачет, капризничает, жалуется на расстроенные нервы, как все другие, лишь бы она была хорошенькой, веселой и кокетливой! Но неужели и танцам не будет учиться?

Я. Не больше, чем надо для того, чтобы сделать реверанс, прилично себя держать, уметь представиться и иметь красивую походку.

Он. И пению не будет учиться?

Я. Не больше, чем надо для ясного произношения.

Он. И музыке не будет учиться?

Я. Если бы был хороший учитель гармонии, я бы охотно поручил ему заниматься с нею два часа каждый день в течение года или двух – не больше.

Он. А что будет взамен этих существенных предметов, которые вы упраздните?

Я. Будет грамматика, мифология, история, география, немного рисования и очень много морали.

Он. Как легко мне было бы доказать вам бесполезность всех этих познаний в обществе, подобном нашему! Да что я говорю – бесполезность? Может быть, вред! Но пока что я ограничусь лишь вопросом: не понадобится ли ей один или два учителя?

Я. Конечно.

Он. Ну вот и главное: что же, вы надеетесь, что эти учителя будут знать грамматику, мифологию, географию, мораль, которые они будут ей преподавать? Дудки, дорогой мой мэтр, дудки! Если бы они владели всеми этими предметами настолько, чтобы им учить, они не стали бы учителями.

Я. А почему?

Он. Потому что они посвятили бы свою жизнь их изучению. Нужно глубоко проникнуть в искусство или в науку, чтобы овладеть их основами. Классические творения могут быть по-настоящему написаны только теми, кто поседел в трудах; лишь середина и конец рассеивают сумерки начала. Спросите вашего друга господина д'Аламбера, корифея математической науки, сможет ли он изложить ее основные начала. Мой дядя только после тридцати или сорока лет занятий проник в глубины теории музыки и увидел первые ее проблески.

Я. О сумасброд! Архисумасброд! Как это возможно, что в вашей дурной голове столь правильные мысли перемешаны с таким множеством нелепостей!

<...>

Я. Но я боюсь, что вы никогда не разбогатеете.

Он. Подозреваю, что так.

Я. Но если бы вы разбогатели, что бы вы стали делать?

Он. То, что делают вес разбогатевшие нищие: я стал бы самым наглым негодяем, какого только видел свет. Тут-то я и припомнил бы все, что вытерпел от них, и уж вернул бы сторицей. Я люблю приказывать, и я буду приказывать.

Я люблю похвалы, и меня будут хвалить. К моим услугам будет вся Вильморьенова свора, и я им скажу, как говорили мне: «Ну, мошенники, забавляйте меня», – и меня будут забавлять; «Раздирайте в клочья порядочных людей», – и их будут раздирать, если только они не вывелись. И потом у нас будут девки, мы перейдем с ними на ты, когда будем пьяны; мы будем напиваться, будем врать, предадимся всяким порокам и распутствам; это будет чудесно. Мы докажем, что Вольтер бездарен, что Бюффон всего-навсего напыщенный актер, никогда не слезающий с ходуль, что Монтескье всего-навсего остроумен; д'Аламбера мы загоним в его математику. Мы зададим жару всем этим маленьким Катонам вроде вас, презирающим нас из зависти, скромным от гордости и трезвым в силу нужды. А музыка! Вот когда мы займемся ею!

Я. По тому достойному применению, которое вы нашли бы своему богатству, я вижу, какая это жалость, что вы нищий. Вы бы стали вести жизнь, делающую честь всему роду человеческого, весьма полезную для ваших соотечественников, полную славы для вас.

Он. Кажется, вы смеетесь надо мной, господин философ; но вы не знаете, с кем вы шутите; вы не подозреваете, что в эту минуту я воплощаю в себе самую важную часть города и двора. Наши богачи всех разрядов, может быть, и говорили себе, а может быть, не говорили всего того, в чем я признался вам; но бесспорно, что жизнь, которую я стал бы вести на их месте, точь-в-точь соответствует их жизни. Вы, господа, воображаете, что одно и то же счастье годится для всех. Что за странное заблуждение! Счастье, по-вашему, состоит в том, чтобы иметь особое мечтательное направление ума, чуждое нам, необычный склад души, своеобразный вкус. Эти странности вы украшаете названием добродетели, именуете философией, но разве добродетель или философия созданы для всех? Кто может, пусть владеет ими, пусть их бережет. Только представить себе мир мудрым и философичным – согласитесь, что он был бы дьявольски скучен. Знаете – да здравствует философия, да здравствует мудрость Соломона:

пить добрые вина, обжираться утонченными яствами, жить с красивыми женщинами, спать в самых мягких постелях, а все остальное – суета.

Я. Как! А защищать свое отечество?

Он. Суета! Нет больше отечества: от одного полюса до другого я вижу только тиранов и рабов.

Я. А помогать своим друзьям?

Он. Суета! Разве есть у нас друзья? А если бы они и были, стоило бы делать из них неблагодарных людей? Присмотритесь хорошенько – и вы увидите, что к этому обычно и приводят оказанные услуги. Признательность есть бремя, а всякое бремя для того и создано, чтобы его сбросить.

Я. А занимать положение в обществе и исполнять свои обязанности?

Он. Суета! Экая важность, есть ли положение или нет – лишь бы быть богатым: ведь положение только для того и занимаешь. Исполнять обязанности – к чему это ведет? К зависти, к волнениям, к преследованиям. Разве так идут в гору? Надо прислуживаться, черт возьми! Надо прислуживаться, ездить к знатным особам, изучать их вкусы, потакать их прихотям, угождать порокам, одобрять несправедливость – вот в чем секрет.

Я. А заниматься воспитанием своих детей?

Он. Суета! Это же дело наставника.

Я. Но ежели этот наставник, набравшись ваших правил, пренебрежет своим долгом – кто понесет наказание?

Он. Ей-богу, не я, а, может быть, муж моей дочери или жена моего сына.

Я. А если и тот и другая погрязнут в разврате и пороках?

Он. Это будет естественно в их положении.

Я. Если они себя опозорят?

Он. При богатстве что бы ни сделать – нельзя опозорить себя.

Я. Если они разорятся?

Он. Тем хуже для них!

Я. Я вижу, что, если вы отказываетесь наблюдать за поведением вашей жены, ваших детей, ваших слуг, вы легко можете пренебречь и вашими делами.

Он. Простите, иногда трудно бывает раздобыть деньги, и благоразумие велит заранее подумать об этом.

Я. Вы мало стали бы заботиться о вашей жене?

Он. Совсем не стал бы, с вашего разрешения. Лучший способ обращения со своей дражайшей половиной – это, как мне кажется, делать то, что ей по нраву. Как, по-вашему, не скучно ли было бы смотреть на общество, если бы каждый исполнял там свои обязанности?

Я. Почему же скучно? Когда я доволен моим утром, тогда и вечер бывает для меня особенно хорош.

Он. Также и для меня.

Я. Если светские люди так прихотливы в выборе своих развлечений, то это – от полной своей праздности.

Он. Не думайте этого: они много суетятся.

Я. Так как они никогда не устают, то никогда и не отдыхают.

Он. Не думайте этого: они вечно переутомлены.

Я. Для них удовольствие – это всегда занятие, а не потребность.

Он. Тем лучше: потребность всегда в тягость.

Я. Они всем пресыщаются. Душа у них тупеет, скука ею овладевает. Тот, кто отнял бы у них жизнь среди этого тягостного изобилия, удружил бы им: им знакома лишь та доля счастья, что притупляется скорее всего. Я не презираю чувственных наслаждений: и у меня есть небо, которому доставляет удовольствие изысканное кушанье или прекрасное вино; и у меня есть

сердце и есть глаза, и мне приятно смотреть на красивую женщину, приятно чувствовать под моей рукой ее упругую и округлую грудь, прильнув к ее губам, пить сладострастие в ее взорах, замирать в ее объятиях. Меня не смущает и пирушка с друзьями, пусть даже немного буйная. Но я не скрою от вас, что мне бесконечно сладостнее оказать помощь несчастному, благополучно окончив в его пользу какое-нибудь кляузное дело, подать спасительный совет, прочесть занимательную книгу, совершить прогулку в обществе друга или женщины, близкой моему сердцу, провести несколько часов в занятиях с моими детьми, написать удачную страницу, исполнить общественный долг, сказать той, кого я люблю, несколько слов, таких ласковых и нежных, что руки ее обовьются вокруг моей шеи. Есть поступки, ради которых я отдал бы все мое достояние. Великое произведение – «Магомет», но я предпочел бы смыть пятно с памяти Каласов. Один мой знакомый искал убежища в Картахене, то был младший сын в семье, и, по обычаям его родины, все наследство переходило к старшим. В Картахене он узнает, что его старший брат, баловень семьи, отнял у отца и матери, слишком снисходительных к нему, все, что у них было, выгнал их из родового замка и что добрые старики томятся в бедности в каком-то маленьком городке. Что же делает этот младший сын, с которым родители обращались сурово и который поехал искать счастья на чужбине? Он посылает им деньги, спешит устроить свои дела, возвращается богатым, водворяет отца и мать в их доме, выдает замуж сестру. Ах, мой дорогой Рамо, и это время он считал самым счастливым в своей жизни; он говорил о нем со слезами на глазах, и я, рассказывая вам о нем, чувствую, как сердце мое трепещет от восторга и от радости прерывается речь.

Он. Странные вы существа!

Я. А вы существо, достойное сожаления, если вам непонятно, что над своей судьбой можно возвыситься и что нельзя быть несчастным, если ты совершил такие поступки, как эти.

Он. С подобным видом счастья мне было бы нелегко освоиться, ибо оно встречается редко. Так, вы говорите, следует быть честным?

Я. Чтобы быть счастливым – конечно!

Он. Между тем я вижу бесконечное множество честных людей, которые несчастливы, и бесконечное множество людей счастливых и нечестных.

Я. Вам так кажется.

### **Вопросы и задания:**

1. Как вы можете охарактеризовать жанровую природу «Племянника Рамо»?
2. Принято считать, что любимый прием Дидро – «парадокс». Приведите примеры парадокса из приведенного выше текста.
3. В чем сложность отношения Дидро к понятию «предрассудок»?

## **«Энциклопедия» Дидро и Даламбера (статьи) Перевод и примечания Н. В. Ревуненковой**

### **Предтекстовое задание:**

Внимательно прочитайте статьи «Женева» и «Француз» из «Энциклопедии» Дидро и Даламбера и найдите в их тексте характерные для мировосприятия эпохи Просвещения черты: интерес к материальным условиям жизни, стремление открыть природные законы, которые управляют человеческой жизнью и т. д.

Женева (история и политика)<sup>75</sup>. [...] Удивительно, что город, насчитывающий всего 24 000 душ, и с территорией, где имеется лишь около 30 деревень, сохраняет свое независимое

<sup>75</sup> Женева (Genève), т. 7, 1757, автор – Ж. Д'Аламбер (Jean Le Rond d'Alembert, 1717–1783). Эта статья Д'Аламбера имела

положение и является одним из самых процветающих городов Европы. Обогащенный своей свободой и своей торговлей, он часто видел все вокруг себя в огне, но никогда не страдал от него. События, потрясающие Европу, для Женевы лишь зрелища, которые она созерцает, не принимая в них участия. Связанная с французами союзами и торговлей, а с англичанами торговлей и религией<sup>76</sup>, она беспристрастно высказывается о справедливости войн, которые ведут друг с другом эти две могучие нации. Достаточно осторожная, чтобы принимать какое-либо участие в этих войнах, она судит всех государей Европы, не заискивая перед ними, не оскорбляя их и не боясь.

Город хорошо защищен, в особенности со стороны наиболее опасного для него государя, короля Сардинского<sup>77</sup>. Со стороны Франции он почти открыт и не укреплен. Однако все в нем готово для войны: его арсеналы и склады хорошо снабжены, и каждый его гражданин, как в Швейцарии и в древнем Риме, – солдат. Женевцам позволяется служить в иностранных войсках, но правительство не предоставляет ни одной державе сформированных полков и не допускает на своей территории никакой вербовки<sup>78</sup>. Хотя город и богат, но государство бедно из-за проявляемого народом нежелания платить новые налоги, даже наименее обременительные. Доход государства не превышает 500 000 ливров во французской монете, однако при замечательной экономии, с какой оно управляется, этого хватает на все, и даже остаются запасные суммы на чрезвычайные нужды.

В Женеве имеется четыре сословия: граждане, являющиеся детьми бюргеров и родившиеся в городе, – только они могут стать городскими чиновниками; бюргеры, являющиеся детьми бюргеров или граждан, но родившиеся в чужой стране, и чужеземцы, приобретшие право бюргерства, которое магистрат может пожаловать; они могут состоять в Генеральном совете и даже в Большом совете, называемом «Советом двухсот»; жителям магистрат разрешает лишь проживать в городе, и ничего больше. Кроме того, существуют уроженцы – это дети жи телей, у них несколько больше прав, чем у их родителей, но они не участвуют в управлении.

Во главе республики стоят четыре синдика, пребывающие на этом посту год и могущие снова его занять лишь через четыре года. Синдикам придан Малый совет из двадцати советников, казначея и двух государственных секретарей, а также еще один совет, называемый «Советом правосудия». В ведении этих двух органов находятся повседневные дела, как уголовные, так и гражданские.

Большой совет составлен из 250 граждан или бюргеров; он судит важные гражданские процессы, дает помилования, чеканит монету, выбирает членов Малого совета и обсуждает то, что должно быть внесено на Генеральный совет. Генеральный совет состоит из всех граждан и бюргеров, кроме тех, кому нет еще двадцати пяти лет, банкротов и лиц с запятнанной репутацией. Этому собранию принадлежит законодательная власть, право объявлять войну и мир, заключать союзы и вводить налоги, а также выборы главных чиновников, которые про-

---

значительные последствия и для автора, и для Энциклопедии. Что касается самого Д'Аламбера и его ухода из состава редакторов и авторов словаря, необходимо сказать следующее. Казалось бы, в его похвалах политическому строю и патриархальным нравам городской республики не было ничего плохого ни для женецев, ни для французов. Однако статья построена так, что эти похвалы явились как бы скрытой критикой французской монархической системы. Вместе с тем выраженное Д'Аламбером сожаление об отсутствии театра в Женеве и о предубеждениях кальвинистов против актеров вызвало со стороны Руссо резкую отповедь в его «Письме Д'Аламберу насчет спектаклей». Главное же заключалось в похвалах кальвинистским пасторам Женевы, ибо в статье Д'Аламбера они были изображены почти как дейсты. С их стороны, равно как и со стороны Женевского университета, последовал решительный протест; швейцарские друзья Энциклопедии оказались в затруднительном положении и тоже, хотя и более мягко, признали статью неудачной. В начале 1758 г. Д'Аламбер покинул Энциклопедию.

<sup>76</sup> Женевцы и англичане являются протестантами.

<sup>77</sup> Граничившее со Швейцарией герцогство Савойя представляло для Женевы большую опасность, так как савойские герцоги неоднократно пытались овладеть городом. Под их властью находились также Пьемонт и о. Сардиния; в 1720 г. герцог Виктор Амедей II Савойский принял титул короля Сардинского.

<sup>78</sup> Женевская республика (1536–1798) наемничество допускала только в исключительных случаях, в отличие от прочих швейцарских областей.

изводятся в кафедральном соборе с большим порядком и приличем, хотя число голосующих доходит до 1500.

Из этих подробностей видно, что управление Женевы обладает всеми преимуществами демократии без единого ее недостатка: все находится под руководством синдиков, все исходит от Малого совета на решение и все возвращается к нему для выполнения. Таким образом, кажется, что Женева взяла в качестве примера некогда столь мудрый закон правления древних германцев: «О делах, менее важных, совещаются их старейшины, о более значительных – все, впрочем, старейшины заранее обсуждают и такие дела, решение которых принадлежит только народу»<sup>79</sup>.

Гражданское право Женевы было целиком заимствовано из римского права с некоторыми изменениями: например, отец может отдать тому, кому пожелает, только половину своего имущества, остальное делится поровну между его детьми. Этот закон, с одной стороны, обеспечивает независимость детей, а с другой – предотвращает отцовскую несправедливость. [...]

Уголовный суд вершится более исправно, чем сурово. Пытка, уже отмененная во многих государствах и долженствующая повсюду считаться бесполезной жестокостью, в Женеве запрещена; ее применяют лишь к преступникам, уже осужденным на смерть, если необходимо раскрыть их соучастников. [...]

В Женеве совсем не кичатся родовитостью. Если сын высшего чиновника не отличается достоинствами, то он так и остается в массе граждан. Ни дворянство, ни богатство не дают особого ранга, прерогатив или легкости в продвижении к должностям; интриги сурово запрещены. Должности так мало доходны, что они не возбуждают жадности, они могут соблазнить лишь благородных людей благодаря присвоенной им значимости.

Там мало судебных тяжб, большая их часть улаживается общими друзьями и даже самими адвокатами и судьями.

Законы против роскоши запрещают ношение драгоценностей и позолоту, ограничивают издержки на похороны и обязывают всех граждан ходить по улице пешком; экипажи имеются лишь для поездок в деревню. Эти законы (во Франции они показались бы слишком суровыми, почти варварскими и бесчеловечными) вовсе не мешают истинным удобствам жизни, которые всегда можно себе доставить с небольшими расходами; они ограничивают лишь пышность, которая вовсе не способствует счастью и разоряет без пользы.

Вероятно, нет города, где было бы столько счастливых браков; в этом отношении Женева на двести лет впереди наших обычаев. Законы против роскоши уничтожили страх иметь много детей. Поэтому роскошь не является там, как во Франции, одним из значительных препятствий для роста народонаселения.

В Женеве не разрешают представления комедий не потому, что осуждают спектакли вообще, но из-за опасения, что труппы комедиантов распространят среди молодежи страсть к украшениям, мотовство и распутство. Однако нельзя ли помочь этому недостатку с помощью суровых и хорошо выполняемых законов о поведении комедиантов? Тогда Женева имела бы и спектакли, и нравственность и пользовалась бы преимуществами и того и другого. Театральные представления формировали бы вкус граждан, придавали бы им тонкость мысли, изящество чувств, которые очень трудно приобрести без их помощи; литература от этого выиграла бы без увеличения распущенности, и Женева объединила бы мудрость Спарты с учтивостью Афин. Разрешить спектакли, наверное, нужно было бы и по другой причине, достойной столь мудрой и просвещенной республики. Варварские предубеждения против профессии комедианта и то унижение, в которое мы ввергаем этих людей, столь необходимых для прогресса и поддержания искусств, являются бесспорно одной из главных причин, способствующих рас-

---

<sup>79</sup> Тацит. Германия..., § 11. – Сочинения. Т. 2. Л., 1969.



пущенности, в которой мы их упрекаем. Они стремятся вознаградить себя удовольствиями взамен уважения, которому препятствует их положение. У нас нравственный комедиант был бы вдвойне уважаем, но едва ли ему поставят это в заслугу. Больше всего мы почитаем такую породу людей, как откупщик, который оскорбляет нужду народа и кормится ею, и раболепствующий придворный, не платящий своих долгов. [...]

Пребывание в этом городе, которое многие французы из-за отсутствия спектаклей считают унылым, стало бы приятным благодаря благопристойным развлечениям, каким оно является благодаря философии и свободе. [...]

В Женеве есть университет, который называется академией, где молодежь учится бесплатно. Профессора могут стать чиновниками, и многие из них действительно ими становятся, что немало поддерживает соревнование и славу академии. Вот уже несколько лет, как там устроили также школу рисунка. Адвокаты, нотариусы, врачи и т. п. образуют цехи, куда они допускаются лишь после общественного экзамена; все ремесленные цехи также имеют свои уставы, учеников и шедевры.

Хорошо снабжена публичная библиотека, в ней 26 000 томов и довольно большое число рукописей. Книги выдаются всем гражданам, так что каждый читает и просвещается. Поэтому народ Женевы гораздо лучше образован, чем во всех других местах. Там это не считается злом, как принято считать у нас. Возможно, что и женеvцы, и наши политики одинаково правы. [...]

В Женеве так хорошо развились все науки и почти все искусства, что можно лишь удивляться перечню ученых и разного рода художников, которых в течение двух веков дал этот город. Иногда ему даже случалось принимать к себе знаменитых иностранцев, которых привлекли благоприятное расположение города и свобода, царящая в нем. Г-н де Вольтер<sup>80</sup>, живущий там три года, пользуется у этих республиканцев теми же знаками уважения и почтения, которые ему оказывали многие монархи. Женевское духовенство обладает примерной нравственностью: пасторы живут в большом согласии и не занимаются, как это бывает в других странах, ожесточенными спорами о непонятных предметах; они не преследуют и не обвиняют недостойно друг друга перед правительством. Однако это не значит, что они единодушны по части тех положений религии, которые в других местах считаются самыми важными. Многие не верят больше в божественную природу Иисуса Христа, что так ревностно защищал их вождь Кальвин и за что он велел сжечь Сервета<sup>81</sup>. Когда им напоминают об этой казни, которая несколько умалила милосердие и умеренность их патриарха, они вовсе его не защищают, считая, что Кальвин поступил очень дурно, и довольствуются (если беседуют с католиком) сопоставлением казни Сервета с ужасной Варфоломеевской ночью, которую всякий честный француз хотел бы ценой своей крови стереть из нашей истории, и с казнью Яна Гуса, которую даже католики, как они говорят, не берутся больше оправдывать, ибо там было произведено насилие равно над человечностью и над доверием, и она должна покрыть вечным позором память императора Сигизмунда<sup>82</sup>.

Возможно, что мы не посвятим [в Энциклопедии] самым обширным монархиям таких же больших статей, но в глазах философа республика пчел не менее интересна, чем история великих империй, и может стать, что именно в небольшом государстве можно обнаружить образец совершенного политического управления. Если религия и не позволяет нам думать,

---

<sup>80</sup> Когда Вольтер покинул в 1753 г. Пруссию, въезд в Париж был ему запрещен, и он приобрел близ Женевы имение Делис. В 1758–1778 гг. он жил в замке Фернэ, расположенном на территории, принадлежавшей Женеве.

<sup>81</sup> *Мигель Сервет* (Miguel Serveto, 1511–1553) – испанский математик и врач, положивший начало изучению кровообращения. Основал секту антитринитариев, отвергавших догмат троичности божества, и подвергся преследованиям со стороны как католиков, так и протестантов. По настоянию Кальвина Женевский совет приговорил Сервета к сожжению.

<sup>82</sup> *Ян Гус* (1371–1415) – вождь чешской Реформации. Был сожжен по постановлению Констанцкого собора в правление императора Сигизмунда I Люксембургского (1411–1437).

что женеvцы достаточно потрудились для достижения счастья в мире ином<sup>83</sup>, то разум обязывает нас считать, что в этом мире они почти достигли возможного в нем счастья!

ФРАНЦУЗ (история)<sup>84</sup>. Первоначально французы назывались франками<sup>85</sup>; и надо заметить, что почти все европейские нации раньше укорачивали названия, которые мы теперь удлиняем. Галлы назывались вельшами, как и до сих пор именуют французов почти по всей Германии; несомненно английские вельши, которых мы называем валлийцами, были колонией галлов<sup>86</sup>.

Когда франки осели в стране первых вельшей, называемой римлянами Галлией, нация оказалась составленной из покоренных Цезарем прежних кельтов или галлов, поселившихся там римских семей, переселившихся туда ранее германцев и, наконец, франков, ставших господами страны при их вожде Хлодвиге<sup>87</sup>. Пока существовала монархия, объединявшая Галлию и Германию, все народы от истоков Везера до галльских морей назывались франками. Но, когда в 843 г. по Верденскому договору при Карле Лысом<sup>88</sup> Германия и Галлия были разделены, название франков осталось у народов Западной Франции, которая одна и удержала имя Франции.

Название «француз» известно лишь с середины десятого века<sup>89</sup>. Основу нации составляют галльские роды, и характер древних галлов сохранялся всегда.

В самом деле, у каждого народа, как и у каждого человека, есть свой характер; и этот общий характер образуется из всех сходных черт, которые природа и привычка накладывают на жителей одной страны вопреки всем разъединяющим их отличиям. Так, характер, гений, ум француза слагаются из всего того общего, что имеют разные провинции этого королевства. Жители Гиены и Нормандии во многом непохожи. Тем не менее в них французский гений, который соединяет эти разные провинции в одну нацию и который позволяет с первого же взгляда отличить французов от итальянцев и немцев. Очевидно, климат и почва сообщают людям, как и животным и растениям, не изменные черты; те же черты, что зависят от государственного строя, религии, воспитания, подвержены переменам. В этом причина того, что народы утратили часть своего прежнего характера, но сохранили другие [качества]. Народ, некогда покоривший полмира, ныне стал под властью священников неузнаваем, но под слабостью еще скрывается живая суть прежнего величия его духа<sup>90</sup>.

Барварская власть турок тоже расслабила египтян и греков, но не смогла изменить сути характера и склада ума этих народов. Основа характера нынешнего француза та же, какой ее изобразил Цезарь. Галл быстр в решении, отважен в битве, неудержим в наступлении и легко

<sup>83</sup> В Энциклопедии, выходящей в католической Франции, откуда в 1685 г. кальвинисты (гугеноты) были изгнаны, нельзя было заявить в печати, что кальвинисты, хоть и «еретики», могут заслужить спасение в загробной жизни.

<sup>84</sup> Француз (Français), т. 7, 1757, автор – Вольтер (Voltaire, 1694–1778).

<sup>85</sup> Германское племя франков начало завоевание Галлии в III в. В конце V–VI вв. образовалось обширное Франкское государство, до IX в. включавшее также и территорию будущей Франции.

<sup>86</sup> В I тысячелетии до н. э. территорию Франции и Британии заселяли кельтские племена, впоследствии слившиеся с германскими завоевателями этих земель.

<sup>87</sup> Хлодвиг (465/66–511) – основатель Франкского государства и династии Меровингов.

<sup>88</sup> По договору, заключенному в 843 г. между потомками императора Карла Великого, королем Франции стал Карл Лысый (843–877).

<sup>89</sup> Подготавливая эту статью, Вольтер писал 13 февраля 1756 г. одному из издателей Энциклопедии: «Прежде чем составить статью «Француз», было бы хорошо, чтобы кто-либо из людей, преданных славе «Энциклопедического словаря», потрудился бы пойти в Королевскую библиотеку, чтобы посмотреть, нет ли там рукописей X и XI в., написанных на варварском наречии, ставшем впоследствии французским языком. Может быть, удалось бы обнаружить такую рукопись, где впервые слово «француз» употреблено вместо слова «франк». Было бы любопытно установить время, когда мы себя перекрестили и вместо диких «франков», диких «галлов» и диких «кельтов» стали дикими «французами»» (Voltaire's correspondence. Vol. 29. Ed. T. Besterman. Geneva, 1957, p. 66–67).

<sup>90</sup> Речь идет об испанцах.

падает духом. Цезарь, Агафий<sup>91</sup> и другие говорят, что из всех варваров галлы были самыми просвещенными, а в более цивилизованное время они остались образцом вежливости для соседей.

Жители прибрежной Франции всегда занимались мореходством; обитатели Гиени поставляли лучшую пехоту, а те, кто жил в окрестностях Блуа и Тура, не были, как сказал Тассо<sup>92</sup>,

Народом крепким и работающим.  
Радостная, приятная и нежная земля  
Производит себе подобных жителей.

Но как согласовать нынешний характер парижан с тем, который описал у паризиев своего времени император Юлиан<sup>93</sup>, первый среди государей и людей после Марка Аврелия? «Я люблю этот народ, – говорит он в своем труде «*Misopogon*», – ибо он степенен и суров, как я». Та степенность, которая теперь кажется изгнанной из огромного города, ставшего центром наслаждений, могла царить в некогда маленьком городе, лишенном развлечений; в этом дух парижан изменился, несмотря на климат.

Стечение народа, богатство, праздность, которая может занять себя лишь развлечениями и искусствами, но не [участием в] управлении, направили по-новому дух всего народа.

Затем как объяснить путь, каким этот народ прошел через многие ступени от ужасов времен короля Иоанна, Карла VI, Карла IX, Генриха III и даже Генриха IV<sup>94</sup>, чтобы достичь той приятной легкости нравов, которую в нем ценит Европа? Это объясняется тем, что ранее правительственные и религиозные бури побуждали горячие головы к партийным распрям и фанатизму, теперь же та самая пылкость, которая существовала всегда, направлена лишь на увеселение общества. Парижанин неудержим ныне в своих развлечениях, как некогда в своей ярости. Основа его характера, зависящая от климата, всегда одинакова. Если ныне он развивает искусства, которых долго был лишен, то не потому, что дух его изменился, ибо все его свойства остались, но потому, что он получил большую помощь; эту помощь он не создал сам из себя, как греки и флорентийцы, у которых искусства родились, словно дары природы из земли. Француз получил их извне, но он удачно взрастил эти чужеземные растения и, привив все их у себя, почти все улучшил.

Правительство французов вначале было таким же, как у всех северных народов: все решалось на общих собраниях народа, короли были вождями этих собраний. Таково было у французов почти единственное управление при двух первых династиях до Карла Простоватого.

Когда во время упадка Каролингской династии монархия была разделена и возвысилось Арльское королевство<sup>95</sup>, а провинции попали под власть вассалов, почти независимых от короны, наименование «француз» стало более ограниченным: при Гуго Капете, Роберте, Ген-

---

<sup>91</sup> Агафий (536–582) – византийский поэт, юрист и историк, описавший царствование императора Юстиниана с 552 по 558 г. в пяти книгах своей «Истории».

<sup>92</sup> Торквато Тассо (1544–1595) – итальянский поэт. Здесь имеется в виду его произведение «Освобожденный Иерусалим» (*Gerusalemme liberata*, st. 62).

<sup>93</sup> Флавий Клавдий Юлиан, прозванный «Отступником», – римский император в 361–363 гг., правитель Галлии в 356–360 гг. В его труде «*Misopogon*» (на греч. яз.) имеется описание Лютеции (Парижа), где он жил во дворце Термы.

<sup>94</sup> Вольтер называет эти времена «ужасными», так как при королях Иоанне Добром (в 1350–1364) и Карле VI (в 1380–1422) Франция жестоко страдала от бедствий Столетней войны, а при Карле IX (в 1560–1574), Генрихе III (в 1574–1589) и Генрихе IV (в 1589–1610) – от бедствий гражданской войны.

<sup>95</sup> Арльское королевство (Арелат) в Юго-Восточной Франции существовало до 1032 г., когда оно формально вошло в состав Священной Римской империи.

рихе и Филиппе<sup>96</sup> французами называли только жителей на севере от Луары. Тогда наблюдалось большое разнообразие обычаев и законов в провинциях, оставшихся под властью французской короны. Отдельные сеньоры, став господами этих провинций, вводили новые обычаи в своих новых государствах. Ныне бретонец и житель Фландрии имеют некоторое сходство, несмотря на разницу их характеров, зависящих от почвы и климата; но в ту пору между ними не было почти ничего общего.

Лишь с Франциска I начинает появляться некоторое единообразие нравов и обычаев: лишь в это время двор стал примером для присоединенных провинций, но в целом неудержимость в войне и недостаток дисциплины всегда оставались главными чертами в характере нации. Обходительность и вежливость начали отличать французов при Франциске I, но после смерти Франциска II нравы ожесточились. Однако и тогда при дворе постоянно соблюдали учтивость, которой немцы и англичане пытались подражать. Уже тогда прочая Европа завидовала французам и стремилась походить на них. Один из персонажей комедии Шекспира говорит: «Если уж очень постараться, то можно стать учтивым и не побывав при французском дворе»<sup>97</sup>.

Хотя Цезарь и все соседние народы считали нацию легкомысленной, однако это королевство, долго разделенное и нередко готовое пасть, было все же объединено и сохранено благодаря главным образом мудрым переговорам, ловкости и терпению. Бретань присоединили к королевству посредством брака; Бургундию – по праву феодального подчинения и благодаря ловкости Людовика XI; Дофинэ – в качестве дарения, бывшего плодом политики; графство Тулузское – по соглашению, подкрепленному армией; Прованс – за деньги; один мирный договор принес Эльзас, другой – Лотарингию<sup>98</sup>. Несмотря на свои знаменитые победы, англичане были изгнаны из Франции, ибо французские короли умели выжидать и использовать любой благоприятный случай. Все это доказывает, что если французская молодежь и легкомысленна, то руководящие ею зрелые люди всегда были очень мудры, и еще поныне все магистраты продолжают обладать в целом строгими нравами, как ранее о том свидетельствовал Аврелиан<sup>99</sup>. Если первыми успехами в Италии при Карле VIII<sup>100</sup> мы были обязаны боевой стремительности нации, последующие неудачи произошли вследствие ослепления двора, состоявшего только из молодых людей. Франциск I терпел неудачи лишь в молодости, когда им руководили фавориты-однолетки, а в более позднем возрасте он сделал свое королевство процветающим.

Французы употребляли всегда то же оружие, что и их соседи, и имели почти такую же военную дисциплину. Они первыми перестали употреблять копья и пики. С битвы при Иври<sup>101</sup> началось пренебрежение копьями, которые вскоре были запрещены. При Людовике XIV вышли из употребления и пики.

До XVI в. французы носили туники и мантии. При Людовике Дитяти<sup>102</sup> они перестали растить бороды, но возродили их при Франциске I, а бриться полностью начали при Людовике

---

<sup>96</sup> Гуго Капет, Роберт, Генрих I и Филипп I – первые французские короли из династии Капетингов, правили в X–XII вв., в период феодальной раздробленности.

<sup>97</sup> У Шекспира эти слова не обнаружены.

<sup>98</sup> Бретань была окончательно присоединена к Франции в 1532 г., Бургундия – в 1477 г., Дофинэ – в 1348 г., графство Тулузское – в 1270 г., Прованс – в 1481 г., Эльзас – в 1648, Лотарингия – в 1766 г.

<sup>99</sup> *Ауций Домиций Аврелиан* – римский император (270–275), снова подчинивший в 273 г. отложившуюся Галлию.

<sup>100</sup> При короле Карле VIII (в 1494–1498) Франция начала завоевание Италии, так называемые «Итальянские войны» (1494–1559), сперва одерживая победы. Затем Франциск I в битве при Павии в 1525 г. потерпел поражение и был пленен испанцами; в дальнейшем военные действия велись с переменным успехом, но в конечном итоге Франции пришлось отказаться от приобретенных в Италии владений.

<sup>101</sup> В сражении при Иври (1590) Генрих IV разбил войска Католической лиги.

<sup>102</sup> *Людовик Дитя* – последний каролингский король в Германии (900–911), был коронован в семилетнем возрасте.

XIV Одежда постоянно менялась, и французы в конце каждого столетия могли бы принять портреты своих предков за портреты иностранцев.

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Знакомясь со статьей «Человек», обратите внимание, с помощью каких риторических приемов Дидро доказывает необходимость милосердного отношения к человеку со стороны властей.

ЧЕЛОВЕК (политика)<sup>103</sup> (1). Существуют только два истинных богатства – человек и земля. Человек ничего не стоит без земли, а земля ничего не стоит без человека.

Человек ценен своей численностью; чем более многочисленно общество, тем более оно сильно в мирное время и тем более грозно во время войны. Поэтому государь серьезно озабочен увеличением числа своих подданных. Чем больше у него будет подданных, тем больше у него будет торговцев, рабочих, солдат.

Его владения окажутся в плачевном положении, если когда-либо среди подвластных ему людей кто-то побоится рожать детей или без сожаления оставит жизнь.

Однако недостаточно иметь просто людей, нужно, чтобы они были способными и сильными.

Сильными люди станут, если у них хорошие нравы и им легко добыть и сохранить достаток.

Люди станут способными, если они свободны.

Самое дурное управление, какое только можно вообразить, – если из-за отсутствия свободы торговли изобилие становится порой для провинции таким же опасным бичом, как и неурожай (см.: «Правительство», «Закон», «Налог», «Население», «Свобода» и др.).

Люди вырастают из детей. Поэтому надо беречь и охранять детей с помощью особой заботы об отцах, матерях и кормилицах.

Пять тысяч детей, ежегодно подкидываемых в Париже, могут стать в будущем солдатами, матросами, земледельцами.

Надо уменьшить число рабочих, занятых производством роскоши, и слуг. Бывают обстоятельства, при которых в производстве предметов роскоши люди не используются с достаточной выгодой, ее совсем нет в челяди, которая всегда приносит убыток. Следует обложить слуг налогом для облегчения земледельцев.

Поскольку земледельцы – те люди в государстве, которые трудятся больше всех, а накормлены хуже всех, они неизбежно получают отвращение к своему состоянию или гибнут от него. Говорить, что достаток заставит их бросить свое сословие, – это значит быть невеждой и жестоким человеком.

Вступить в услужение побуждает только надежда на сладкую жизнь. Наслаждение сладкой жизнью удерживает в нем и зовет к нему.

Использование людей полезно лишь в том случае, когда прибыль превосходит затраты на заработную плату. Богатство нации – это доход от суммы ее трудов сверх затрат на заработную плату.

---

<sup>103</sup> Человек (Homme), т. 8, 1765, автор – Д. Дидро (Denis Diderot, 1713-1784). В этой статье очень явственно проступает трактовка человека как члена общества, ответственность за судьбу которого лежит на государстве. Кроме того, в ней обнаруживаются черты теории физиократов, одного из направлений классической буржуазной политической экономии, разработанного во Франции в 1750-1770-е годы. Многие их положения впервые были изложены на страницах Энциклопедии.

Чем более велик чистый доход и чем более равно он поделен, тем лучше управление. Чистая прибыль, равно поделенная, может быть предпочтительней большей чистой прибыли, очень неравно разделенной и делящей народ на два класса, из которых один пресыщен богатством, а другой погибает в нищете. Пока в государстве имеются пустоши, человек не может быть без убытка занят в мануфактуре.

К этим простым и ясным принципам мы могли бы добавить великое множество других, которые обнаружит и сам государь, если он обладает мужеством и твердой волей, необходимыми для их воплощения в жизнь.

**Вопросы и задания:**

1. Что вы можете сказать о художественных особенностях статей в «Энциклопедии»? Имеет ли авторская аргументация характер объективный и нейтральный или для авторов «Энциклопедии» допустима художественная риторика? Приведите ее примеры.

2. Какие общепросветительские идеи мы видим в статье Даламбера «Женева»? Почему эта статья вызвала резкое неприятие Руссо?

3. Что можно сказать о представлениях энциклопедистов о единстве и разнообразии человеческого рода, исходя из статей Дидро «Человек» и Вольтера «Француз»?

## Жан Жак Руссо (1712–1778)

### Предтекстовое задание:

Внимательно прочитайте предложенные отрывки из романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1761). Обратите внимание на эпистолярную технику автора и попытайтесь сформулировать, какие художественные приемы характерны для этого вида романа. Вспомните, какие еще произведения французской литературы XVIII века были написаны в эпистолярной форме и в чем заключаются формальные различия между этими произведениями.

### Юлия, или Новая Элоиза Письма двух любовников, живущих в маленьком городке у подножия Альп. Собраны и изданы Ж.-Ж. Руссо Перевод А. Худаковой

*Non la conobbe il mondo, mentre l'ebbe:  
Conobill'io ch'a pianger qui rimasi.*

*Petrarca<sup>104</sup>*

### Предисловие

Большим городам надобны зрелища, развращенным народам – романы. Я наблюдал нравы своего времени и выпустил в свет эти письма. Отчего не живу я в том веке, когда мне надлежало бы предать их огню!

Я выступаю в роли издателя, однако ж не скрою, в книге есть доля и моего труда. А быть может, я сам все сочинил, и эта переписка – лишь плод воображения? Что вам до того, светские люди! Для вас все это и в самом деле лишь плод воображения.

Каждый порядочный человек должен отвечать за книги, которые он издает. Вот я и ставлю свое имя на заглавной странице этого собрания писем, отнюдь не как составитель, но в знак того, что готов за них отвечать. Если здесь есть дурное – пусть меня осуждают, если – доброе, то приписывать себе эту честь я не собираюсь. Если книга плоха, я тем более обязан признать ее своею: не хочу, чтобы обо мне думали лучше, чем я того заслуживаю.

Касательно достоверности событий, – заверяю, что я множество раз бывал на родине двух влюбленных и ровно ничего не слышал ни о бароне д'Этанж, ни о его дочери, ни о господине д'Орб, ни о милорде Эдуарде Бомстоне, ни о господине де Вольмаре. Замечу также, что в описании края допущено немало грубых погрешностей: либо автору хотелось сбить с толку читателей, либо он сам как следует не знал края. Вот и все, что я могу сказать. Пусть каждый думает, что ему угодно.

Книга эта не такого рода, чтобы получить большое распространение в свете, она придется по душе очень немногим. Слог ее оттолкнет людей со взыскательным вкусом, предмет отпугнет блюстителей нравственности, а чувства покажутся неестественными тем, кто не верит в добродетель. Она, конечно, не угодит ни набожным людям, ни вольнодумцам, ни философам; она, конечно, не придется по вкусу легкомысленным женщинам, а женщин порядочных приведет в негодование. Итак, кому же книга понравится? Да, пожалуй, лишь мне самому; зато никого она не оставит безразличным.

---

<sup>104</sup> Мир не знал ее, пока она была жива, // Но знал я и остался ее оплакивать // *Петрарка* (Сонет CCCXXXVIII «На смерть Мадонны Лауры»).

А тот, кто решится прочесть эти письма, пускай уж терпеливо сносит ошибки языка, выпретенный и вялый слог, ничем не примечательные мысли, облеченные в витиеватые фразы; пускай заранее знает, что писали их не французы, не салонные острословы, не академики, не философы, а провинциалы, чужестранцы, живущие в глуши, юные существа, почти дети, восторженные мечтатели, которые принимают за философию свое благородное сумасбродство.

Почему не сказать то, что я думаю? Это собрание писем в старомодном вкусе женщинам пригодится больше, чем философские сочинения. Быть может, оно даже принесет пользу иным женщинам, сохранившим хотя бы стремление к порядочности, невзирая на безнравственный образ жизни. Иначе дело обстоит с девицами. Целомудренная девица романов не читает, я же предварил сей роман достаточно ясным заглавием, дабы всякий, открывая книгу, знал, что перед ним такое. И если вопреки заглавию девушка осмелится прочесть хотя бы страницу – значит, она создание погибшее; пусть только не приписывает свою гибель этой книге, – зло свершилось раньше. Но раз она начала чтение, пусть уж прочтет до конца – терять ей нечего.

Если ревнитель нравственности, перелистав сборник, почувствует отвращение с первых же его частей и в сердцах швырнет книгу, вознегодовав на издателя, подобная несправедливость меня ничуть не возмутит: может статься, я и сам поступил бы так на его месте. Но уж если кто-либо прочтет книгу до конца и осудит меня за то, что я выпустил ее, – то пускай, если ему угодно, трубит об этом на весь мир, но мне ничего не говорит: чувствую, что я не способен с уважением относиться к подобному человеку.

<...>

### Письмо III. К Юлии

Запаситесь терпением, сударыня! Я докучаю вам в последний раз.

Когда мое чувство к вам еще лишь зарождалось, я и не подозревал, какие уготовал себе терзания. Вначале меня мучила только безнадежная любовь, но рассудок мог бы одолеть ее со временем; потом я испытал мучения более сильные – из-за вашего равнодушия; ныне испытываю жесточайшие муки, сознавая, что и вы страдаете. О Юлия! Я с горечью вижу, что мои жалобы смущают ваш покой. Вы упорно молчите, но своим настороженным сердцем я улавливаю тайные ваши волнения. Взор у вас сделался сумрачен, задумчив, он устремлен в землю – вы лишь иногда мельком растерянно взглядываете на меня; яркий румянец поблек, несвойственная вам бледность покрывает ланиты; веселость вас покинула; вас гнетет смертельная тоска; и только неизменная кротость умеряет тревогу, омрачающую вашу душу.

Волнение ли чувств, презрение или жалость к моим мукам, но что-то вас томит, я это вижу. Боюсь, не я ли причиной ваших горестей, и этот страх удручает меня сильнее, чем радует надежда, которую я мог бы для себя усмотреть, – ибо или я ошибаюсь, или ваше счастье мне дороже моего собственного. Меж тем, размышляя о себе, я начинаю понимать, как плохо судил о своем сердце, и вижу, хотя и слишком поздно, что чувство, которое мне казалось мимолетною вспышкой страсти, будет моим уделом на всю жизнь. И чем вы печальнее, тем я слабее в борьбе с собою самим. Никогда, – о, никогда огонь ваших глаз, свежесть красок, обаяние ума, вся прелесть вашей былой веселости не оказывали на меня такого действия, какое оказывает ваше уныние. Поверьте мне в этом, о божественная Юлия. Если бы вы только знали, какое пламя охватило мою душу за эту томительную неделю, вы бы сами ужаснулись тому, сколько причинили мне страданий. Отныне им нет исцеления, и я, в отчаянии, чувствую, что сжигающий меня огонь погаснет лишь в могиле.

Нужды нет! Если счастье и не суждено мне, то, по крайней мере, я могу стать достойным его, и добьюсь того, что вы будете уважать человека, коему вы даже не сообразовали ответить. Я молод и успею завоевать уважение, которого ныне еще не достоин. А пока нужно вернуть вам покой, исчезнувший для меня навеки, а вами утраченный по моей милости. Справедливость



требует, чтобы я один нес бремя проступка, если виноват лишь я сам. Прощайте же, о дивная Юлия, живите безмятежно, пусть вернется к вам былая веселость; с завтрашнего дня мы более не увидимся. Но знайте, моя пылкая и чистая любовь, пламя, сжигающее меня, не угаснет во всю мою жизнь. Сердце, полное любви к столь достойному созданию, никогда не унижится для другой любви; отныне оно будет предано лишь вам и добродетели и вовеки не осквернит чуждым огнем тот алтарь, что служил для поклонения Юлии.

### **Записка. От Юлии**

Не внушайте себе мысль, что отъезд ваш неизбежен. Добродетельное сердце найдет силы побороть себя или умолкнуть, а быть может, и стать суровым. Вы же... вы можете остаться.

<...>

### **Письмо XVIII. От Юлии**

Вы так долго были хранителем всех тайн моего сердца, что оно никогда не забудет милой привычки все поверять вам. В моей жизни случилось такое важное событие, что сердце мое хочет вам обо всем поведать. Раскройте же перед ним свое сердце, любезный друг, пускай мои долгие дружеские речи проникнут в самую глубь его. Пусть чувство дружбы заставляет одного из друзей говорить порою чересчур уж многословно, зато оно внушает терпение другому, внемлющему.

Связанная нерасторжимыми узами с судьбою супруга, а вернее – с волею отца, я вступаю на новую стезю жизни, которая оборвется только с моей смертью. В начале ее оглянемся на прошлое, – отраднo вспомнить пору, любезную нашим сердцам; быть может, я найду в ней указание, как лучше провести остаток жизни; быть может, она прольет свет на мои поступки, все еще для вас не постижимые. По крайней мере, вникнув в то, чем мы были друг для друга, наши сердца лучше почувствуют, чем будет обязано одно другому до конца наших дней.

Почти шесть лет тому назад я увидела вас впервые – вы были молоды, стройны, учтивы; я знавала молодых людей и пригожей и стройнее вас, но ни один не волновал мне душу – вам же мое сердце предалось с первого взгляда. Я решила, что в ваших чертах отражается родственная мне душа. Мне показалось, что мои ощущения служили посредником более благородных чувств; да и полюбила я вас, пожалуй, не за наружность, а оттого, что чувствовала вашу душу. Прошло два месяца, а я все еще верила, что не обманулась. «Слепая любовь, – раздумывала я, – оказалась права, мы созданы друг для друга, и я бы принадлежала ему, если бы отношения, подсказанные природой, не нарушались людскими порядками, – если бы на земле существовало счастье, мы бы нашли его вдвоем».

И вы и я чувствовали одинаково, иначе это означало бы, что я обманулась в своих чувствах. Любовь, познанная мной, может зародиться только благодаря родству и созвучию душ. Нельзя любить, если тебя не любят, – во всяком случае, тогда любишь недолго. Безответная любовь, которая, как говорят, причиняет столько страданий, основана лишь на чувственности; порою она и проникает в глубь души под действием воображаемого общения душ, но самообман быстро проходит. Чувственная страсть не может обойтись без физического обладания, а с ним страсть угасает. Истинная же любовь не может обойтись без участия сердца и длится, пока длятся отношения, породившие ее. Такой и была вначале наша любовь; такой она, надеюсь, и останется до конца наших дней, если мы сумеем достойно распорядиться ею. Я видела, я чувствовала, что любима, что должна быть любимой; уста мои молчали, взор ничего не выражал, но ты слышал голос моего сердца. Вскоре мы почувствовали, как между нами возникло нечто неизъяснимое, – то, что делает молчание красноречивым, заставляет говорить потупленные взоры, вселяет в душу какую-то дерзновенную робость, когда сама застенчивость выдает страстное влечение, выражает то, что не смеешь выговорить.

Я вняла своему сердцу и поняла, что, услышав первое же ваше признание, погибну. Я заметила, какая пытка для вас ваша сдержанность, оценила ваше почтительное чувство и полюбила вас еще сильнее. Мне хотелось вознаградить вас за тягостное и необходимое молчание, не поступаясь своим целомудрием, – я пошла наперекор себе, стала подражать сестрице, прикинулась ветреной и шаловливой, чтобы предупредить слишком уж серьезные объяснения и в наигранном веселии забросать вас тысячью нежных и ласковых слов. Мне хотелось, чтобы ваше положение сделалось для вас отрадным, чтобы из страха изменить его вы стали еще сдержаннее. Удалось мне это плохо: неестественность никогда не остается безнаказанной. Как я была безрассудна! Ведь я ускорила, а не отвратила свою гибель, я воспользовалась ядом для временного облегчения, а то, что должно было принудить вас к молчанию, и заставило вас заговорить. Напрасно я пыталась притворной холодностью отпугнуть вас, – когда мы оставались наедине, эта принужденность и предавала меня; вы мне написали, и я не бросила в огонь, не отнесла матушке ваше первое письмо, а осмелилась распечатать его. Вот тогда и свершилось мое грехопадение, все же дальнейшее – неизбежное следствие. Я не позволяла себе отвечать на роковые письма; но не читать их не могла. Страшная борьба подточила мое здоровье – бездна разверзлась, и я готова была в нее ринуться. Я ужасалась самой себе, но не решалась расстаться с вами. Какое-то отчаяние овладело мною; я бы предпочла, чтобы вас не было на свете, если вы не можете стать моим; дошло до того, что я порою мечтала о вашей смерти, чуть не начала вас об этом молить. Небо видело, что творилось у меня на сердце, – пускай же эта мука хоть несколько искупит мои грехи.

Видя, что вы готовы повиноваться мне, я решилась обо всем вам поведать. Благодаря урокам, преподанным мне Шайо, я поняла, какими опасностями чревато такое признание. Любовь, исторгшая его из моей души, научила меня, как избежать их. Я доверилась вам, – моему единственному заступнику, – и ополчила вас против моей слабости; я верила в вашу порядочность, надеялась, что вы меня спасете от меня же самой, – и не ошиблась в вас. Видя, как вы благоговейно относитесь к доверенному вам, я поняла, что страсть не ослепила меня и что вы истинно добродетельны. И я положила на вас, решила, что я в безопасности, ибо вообразила, что сердцам нашим ничто более не надобно. Уверенная, что в глубине моего сердца царят одни лишь чистые чувства, я перестала быть осторожной и наслаждалась нежной нашей близостью. Увы, зло незаметно укоренялось из-за моей беспечности, и привычка видеть вас стала опаснее любви. Умиленная вашей сдержанностью, я стала чувствовать себя свободней, решив, что это безопасно; желания мои были столь чисты, что я решила поощрить вашу добродетель с помощью нежных и ласковых залогов, дружбы. В кларанской роще я поняла, что ошиблась в себе и что нельзя потакать чувственным страстям, когда стремишься их обуздать. Миг, – всего лишь миг, – разжег во мне неугасимый огонь страсти; воля моя еще сопротивлялась, но сердце с той поры уже было совращено.

Вы тоже были в смятении; с трепетом прочла я ваше письмо. Опасность удвоилась, – чтобы уберечься от вас и от самой себя, надобно было вас удалить. То было последнее усилие погибающей добродетели. Уехав, вы добились полной победы; не видя вас, я стала так тосковать, что мне уже не доставало сил сопротивляться.

Батюшка, выйдя в отставку, приехал вместе с г-ном Вольмаром, которому был обязан жизнью, – он сроднился с ним за двадцать лет, и друг стал ему так любезен, что он просто не мог с ним расстаться. Г-н Вольмар старел, но, невзирая на богатство и знатное происхождение, не мог найти супругу по сердцу. Батюшка рассказывал ему о дочке, как рассказывает человек, мечтающий, чтобы друг стал зятем. Оставалось одно – устроить смотрины, с этой целью они вместе и отправились в путь. Судьбе было угодно, чтобы я понравилась г-ну Вольмару, который никогда еще не любил. Они втайне дали друг другу слово, и г-н Вольмар, которому предстояло уладить свои дела при дворе одного из северных государств, где были у него родственники и поместье, попросил отсрочить свадьбу и уехал, твердо полагаясь на уговор. После

отъезда г-на Вольмара отец объявил маменьке и мне, что он предназначает его мне в супруги, и тоном, не допускавшим возражений и повергшим меня в трепет, приказал дать согласие на брак. Матушка, которая преотлично заметила влечение моего сердца и чувствовала к вам душевное расположение, не раз пыталась поколебать решение отца; не смея и упоминать о вас как о возможном женихе, она заводила о вас разговор, стараясь привлечь к вам благосклонное внимание батюшки, познакомить с вашими достоинствами, но вы – незнатного происхождения, и он был равнодушен к похвалам и хотя соглашался, что знатность не заменит достоинств, однако считал, что лишь она придает им ценность.

Мысль о моей несчастной участи разожгла, а не потушила мою страсть. Обольстительная мечта прежде поддерживала меня в невзгодах; утратив ее, я утратила и способность сносить их. Если б у меня оставалась хоть капля надежды, что я буду когда-нибудь вашей, – быть может, я и восторжествовала бы над собою; легче было бы сопротивляться вам всю жизнь, чем отказаться от вас навеки; и одна мысль о бесконечной борьбе лишила меня мужественного стремления победить.

Тоска и любовь подтачивали мое сердце. Я впала в уныние, которым дышали мои письма. Ваше письмо из Мейери довершило все: к горьким моим раздумьям добавилась мысль о том, что вы в отчаянии. Увы! Так уж всегда бывает, что слабейшая из двух душ должна принимать на себя муки, гнетущие обе! План, который вы осмелились предложить мне, довершил мое смятение. Мне было отныне суждено одно лишь горе, а в довершение всего предстояло сделать неминуемый выбор, грозивший несчастьем или родителям, или же вам. Мысль об этом ужасном выборе была мне невыносима. Есть предел силам, дарованным нам природой, – мои силы иссякли от стольких волнений. Я мечтала освободиться от оков жизни. Небо как будто сжалилось надо мною, – однако беспощадная смерть обошла меня на мою погибель. Я увидела вас, я исцелилась – и я пала.

Счастья в своем падении я не обрела, да и не надеялась обрести. Сердце мое создано для добродетели, и без нее не знать ему счастья; я пала, поддавшись слабости, а не заблуждению; я даже не могу извинить себя тем, что меня ослепила страсть. У меня не осталось ни проблеска надежды, я обречена была на одни страдания. Невинность и любовь были для меня равно необходимы, я не могла сохранить и то и другое, – я видела, в каком вы неистовстве; делая выбор, я думала только о вас и погубила себя ради вашего спасения.

Но не так легко, как полагают, отвергнуть добродетель. Долго еще она терзает тех, кто ее покинул, и ее чары, отрада чистых душ, служат первейшим источником страдания для грешника, который все еще стремится к ним, но уже никогда не будет ими наслаждаться. Согрешившая, но не развращенная, я не могла избавиться от угрызений совести, которые были мне суждены. Утраченная непорочность все еще была любезна моей душе, а стыд, хотя и затаенный, не стал от этого менее горек – я бы не восчувствовала его острее, будь весь мир его свидетелем. В муках я находила утешение – так раненый, страшась антонова огня, в ощущении боли черпает надежду на выздоровление.

Однако бесчестие мое было мне ненавистно. Мне так хотелось заглушить укоры совести, не отрекаясь от греха, что со мной произошло то, что происходит с каждым порядочным человеком, который, сбившись с пути, ищет успокоения. Новая обольстительная греза смягчила горечь раскаяния; я надеялась, что мне удастся в своем проступке найти средство искупить его; у меня созрел дерзкий замысел – принудить отца к согласию на наш брак. Первый плод нашей любви должен был скрепить наши нежные узы. Я молила небо о нем – залог моего возвращения к добродетели и нашего общего счастья. Я мечтала о том, чего всякая другая на моем месте страшилась бы. Нежная любовь всевластно умирала ропот совести, утешала меня в скорби: ведь мой проступок мог мне дать средство к спасению; трепетное ожидание стало радостью и надеждой всей моей жизни.

Я решила так: в тот день, когда мое положение станет явным, во всеуслышание объявить о нем г-ну Перре в присутствии всей своей семьи. Правда, я робка; я понимала, чего будет стоить мне это признание; но чувство порядочности пробуждало во мне отвагу, и я предпочитала один раз быть заслуженно посрамленной, нежели вечно таить стыд в глубине сердца. Я знала своего отца: меня ожидали – либо смерть, либо счастье с возлюбленным, и такая альтернатива ничуть не страшила меня. Так или иначе я видела в решительном этом шаге завершение всех своих бед.

Вот она, любезный друг, тайна, которую я хотела скрыть от вас, хотя вы и допытывались о ней с тревожным любопытством. Тысячи причин принуждали меня таить все это от такого несдержанного человека, как вы, уж не говоря о том, что нельзя было давать новый предлог для проявления вашей нескромности и дерзости. Больше всего я старалась, чтобы вы куда-нибудь уехали на то время, когда произойдет грозное объяснение, а я хорошо знала, что вы ни за что на свете не оставите меня, если проведаете, в какой я опасности.

Увы, и эта сладостная надежда обманула меня. Небо отвергло планы, замышленные в грехе; я не заслужила священного права стать матерью, тщетным оказалось мое ожидание, и мне не дано было искупить мой проступок ценой своей репутации. И вот, поддавшись отчаянию, я согласилась на свидание с вами – неосторожное и безрассудное, грозившее опасностью вашей жизни; моя иступленная страсть убаюкивала меня, находя для меня сладостные оправдания. Я винила себя самое в неуспехе заветного замысла, а мое сердце, обольщенное желаниями, в пылу страсти верило, что, утоляя их, оно стремится лишь к тому, чтобы в конце концов мой план осуществить.

Наступил миг, когда я поверила, что все сбылось, – и это заблуждение стало для меня источником мучительнейших сожалений; любовь, которой вняла природа, была тем вероломнее предана судьбою. Вы знаете, что одно печальное происшествие уничтожило вместе с плодом любви, который я вынашивала под сердцем, и последний оплот всех моих надежд. Беда пришла как раз в дни нашей разлуки, – словно небу было угодно ниспослать мне в ту пору все заслуженные мною невзгоды и сразу разорвать все узы, кои могли соединить нас.

С вашим отъездом пришел конец и всем моим прегрешениям, и всем радостям; я поняла, хотя и слишком поздно, что обольщали меня пустые мечты. И я вдруг почувствовала, как стала презренна и на какое несчастье обрекает меня любовь, утратившая невинность, и мечты, утратившие надежду, – все то, от чего я не могу отказаться. Терзаемая тысячью бесплодных сожалений, я отогнала мучительные и напрасные раздумья; уже не стоило труда размышлять о самой себе, и я посвятила всю свою жизнь заботе о вас. Не было у меня отныне иной чести, кроме вашей, не было иной надежды, кроме надежды на ваше счастье, и мне казалось, что только чувства, вызываемые вами, могли еще меня волновать.

Любовь не ослепляла меня, я видела ваши недостатки, но они мне были милы; и она так обольщала меня, что я любила бы вас меньше, если б вы были совершеннее. Я знала ваше сердце, вашу горячность; я знала, что вы мужественнее меня, зато не так терпеливы, что горести, угнетающие мою душу, довели бы вас до отчаяния. Поэтому-то я всегда тщательно скрывала от вас слово, данное батюшкой, – и в дни нашей разлуки, пользуясь тем, что милорд Эдуард со рвением заботится о вашем благополучии, и желая внушить вам такое же рвение к вашим делам, я манила вас надеждой, хотя сама уже не надеялась. Больше того: сознавая, какая опасность грозит нам, я приняла лишь одну меру предосторожности, которая могла еще нас защитить: я вручила вам вместе со своим словом и свою свободу, в той мере, как я предполагала ею, – тем самым я стремилась вселить в ваше сердце веру, а в свое твердость; дав обещание, я не посмела бы его нарушить, а вас оно могло бы успокоить. Согласна, в этом обязательстве было что-то ребяческое, однако я бы никогда от него не отказалась. Добродетель так нужна нашим сердцам, что стоит нам отречься от истинной добродетели, как мы тотчас же

придумываем какое-нибудь подобие добродетели и придерживаемся его еще упорнее, – быть может, оттого, что оно выбрано нами самими.

Я не стану верить вам, сколько тревог пришлось мне испытать после вашего отъезда; и мучительней всего терзал меня страх, что вы меня забудете. Общество, в котором вы враждовали, вызывало во мне трепет; образ вашей жизни еще больше страшил меня – мне уже представлялось, будто вы до того пали, что превратились в волокиту. Ваше бесчестие было для меня мучительней всех моих невзгод, – я бы предпочла, чтобы вы были несчастливы, только бы не презренны; я привыкла к страданиям, но не пережила бы вашего беславия.

Наконец утихли страхи, сначала поддержанные тоном ваших писем; и утихли они благодаря обстоятельству, которое несказанно встревожило бы всякую другую. Я говорю о том, как вы, позволив вовлечь себя в распутство, сразу же откровенно покаялись мне – это умилило меня как лучшее доказательство вашего чистосердечия. Я слишком хорошо знала вас и поняла, чего стоило бы вам такое признание, даже если бы я уже и не была вам дорога, – принудила к нему вас лишь любовь, побеждающая стыд. Я поняла, что столь искреннее сердце не способно к тайным изменам. Как мало значила ваша вина в сравнении с благородной решимостью исповедаться в ней. Мне припомнились ваши прежние зарок, и я навсегда исцелилась от ревности.

Друг мой, счастливей я не стала. Одно мучение исчезло, зато вновь и вновь возникали тысячи новых, и только тут я постигла, как нелепо искать в своем безумном сердце безмятежность, которую обретаешь только в мудрости. Уже давно я украдкой оплакивала лучшую из матерей на свете, которую постепенно подтачивал смертельный недуг. Мне пришлось из-за роковых последствий моего грехопадения довериться Баби, а она предала меня и рассказала маменьке о нашей любви и о всех моих проступках. Стоило мне взять ваши письма у сестрицы, как они исчезли. Доказательство было неоспоримо; горе лишило матушку последних сил, еще пощаженных недугом. Я чуть не умерла, в раскаянии пав к ее ногам. Но она не выдала меня на смертную кару, а скрыла мой срам и только все стонала – даже вы, столь жестоко ее обманувший, не стали ей ненавистны. Я была свидетельницей того, как ваше письмо тронуло ее чуткое и сострадательное сердце. Увы! Она мечтала о нашем с вами счастье. Не раз пыталась она... Но к чему вспоминать о навеки погибшей надежде? Небо распорядилось иначе. Она кончила горестные свои дни в скорби, сетуя, что ей не удалось смягчить душу сурового супруга, что она покидает дочь, столь мало ее достойную.

Моей душе, угнетенной тяжкою утратой, достало сил лишь на то, чтобы предаться горю, – голос стонающей природы заглушил воркование любви. С каким-то отвращением я стала относиться к источнику всех моих бед – мне так хотелось наконец заглушить ненавистную страсть, повлекшую их за собою, и навек отречься от вас. Конечно, это было необходимо; достаточно было у меня причин, чтобы проплакать весь остаток жизни, не отыскивая беспрестанно новые поводы к слезам. Казалось, все благоприятствовало моему решению. Печаль смягчает душу, а глубокое уныние ее ожесточает. Образ умирающей маменьки вытеснил ваш образ. Мы были в разлуке. Надежда меня покинула. Никогда еще моя несравненная подруга не была так великодушна, так достойна всецело занять мое сердце; казалось, ее добродетель, благоразумие, дружба, нежные ее ласки очистили его от скверны. Я вообразила, что вы забыты; я вообразила, что исцелена. Но было поздно: то, что я сочла за холодность угасшей любви, оказалось лишь безразличием отчаяния.

Вскоре, – как это бывает с больным, который, слабея, уже не страдает, но, если боль обострилась, пробуждается к жизни, – все мои муки возобновились, когда отец сообщил мне, что ждать г-на Вольмара уже недолго. И тут непобедимая любовь возвратила мне силы, хотя я думала, что их уже у меня нет. Впервые осмелилась я пойти наперекор отцу. Я твердо и ясно сказала, что г-н Вольмар всегда будет мне чужим, что я умру в девичах, что отец волен распорядиться моей жизнью, но не моим сердцем, и что никакие силы не изменят мое решение. Не стоит рассказывать вам ни о его ярости, ни о том, как он со мной обошелся. Я была непре-

клонна; преодолев робкое смущение, я впала в противоположную крайность; и хоть я говорила не таким повелительным тоном, как отец, но так же решительно.

Он увидел, что я твердо стою на своем и что приказаниями он ничего не добьется. На миг мне показалось, что я избавилась от его настойчивости. Но что со мною стало, когда отец – человек неслыханно суровый – вдруг смягчился и пал к моим ногам, заливаясь слезами! Не позволяя мне встать, он обнял мои колена и, устремив на меня увлажненный взор, молвил почувствованным голосом, который до сих пор звучит в моей душе: «Дочь моя, пощади седины своего несчастного отца; не дай ему сойти в могилу от горя, как сошла та, что вынашивала тебя во чреве своем; ах, неужто ты хочешь погубить весь свой род?»

Вы понимаете, как я была поражена. Поза его, тон, движения, речи, эта страшная мысль, – словом, все так потрясло меня, что я замертво упала в его объятия и только после долгих рыданий, теснивших мне грудь, ответила слабым прерывающимся голосом: «О батюшка! У меня было оружие против ваших угроз, но против ваших слез нет оружия; не я доведу до смерти своего отца, а вы – свою дочь».

Оба мы были в таком волнении, что долго не могли успокоиться. Однако, повторяя про себя последние слова отца, я поняла, что ему известно больше, чем я воображала, и, решившись воспользоваться этим, дабы одержать верх, я чуть было, с опасностью для жизни, не сделала признание, которое так долго откладывала, но внезапно он остановил меня, будто предвидя, что я собираюсь ему открыть, и, страшась этого, повел такую речь:

«Мне известно о ваших тайных мечтах, недостойных девицы благородного происхождения. Пришла пора пожертвовать во имя долга и чести постыдную страсть, позорящей вас, – своего вы добьетесь только ценою моей жизни. Выслушайте же внимательно, чего требует от вас наша общая честь, и решайте сами свою судьбу.

Господин Вольмар – человек знатного рода, он наделен всеми качествами, которые позволяют ему с достоинством носить свое имя, и пользуется заслуженным уважением в обществе. Он спас мне жизнь; вы знаете о нашем взаимном обязательстве. Вам надлежит еще узнать, что, отправившись на родину, дабы привести в порядок свои дела, он оказался участником недавнего переворота, потерял состояние и избежал изгнания в Сибирь лишь благодаря счастливому случаю, – и вот он возвращается с жалкими крохами бывшего богатства, полагаясь на слово друга, который еще никогда не нарушал его. А теперь что прикажете делать, какой прием ему оказать! Уж не сказать ли: «Милостивый государь, я обещал вам руку дочери, когда вы были богаты, – ныне вы разорились, и я отрекаюсь от своего слова, да и дочка не желает быть вашей женой». Да откажи я и в иных словах, все равно такой отказ иначе не истолкуешь; ссылки же на вашу любовь он сочтет вымышленным предлогом, а если поверит им, то они лишь усугубят мой позор: вы прослывете погибшим созданием, а я – бесчестным клятвопреступником, который принес в жертву гнусному корыстолюбию и долг и совесть и не только неблагодарен, а еще вероломен. Поздно мне, дочка, позорить себя на склоне беспорочной жизни, – шестьдесят лет, прожитых безупречно, не зачеркивают в четверть часа.

Вот видите, – продолжал он, – все, что вы хотели мне поведать сейчас, неуместно, ведь все те преимущества, которые порицает стыдливость, и преходящие увлечения молодости не перевесят того, чего требуют дочерний долг и честь отца. Если б речь шла лишь о том, кому из нас пожертвовать своим счастьем во имя другого, то нежность моя оспаривала бы у вас столь сладостную жертву; но, дитя мое, заговорила честь, а в нашем роду она решает все».

У меня нашлось немало веских возражений, но предрассудки подсказывают отцу столько правил, чуждых мне, что все доводы, казавшиеся мне неоспоримыми, ничуть его не поколебали. К тому же я не имела понятия о том, откуда ему известно о моем поведении и до чего он дознался; я страшилась, что он уже наперед знает, о чем я стану говорить, если он так раздраженно прерывает меня, и, главное, сторала от непреодолимого стыда, – а поэтому я предпочла прибегнуть к отговорке, которая, как мне казалось, была всего надежнее, так как больше соот-

ветствовала складу его ума. Я без обиняков объявила ему о данном вам обете, поклялась, что не нарушу своего слова и, что бы ни случилось, не выйду замуж без вашего согласия.

И в самом деле, я с радостью заметила, что он не досадует на мою совестливость; он стал сердито укорять меня за обещание, данное вам, но не пренебрег им, – дворянин, исполненный чувства чести, разумеется, превозносит верность своему обету, и слово для него нерушимо. Итак, не тратя времени на пустые доказательства, что обещание это не действительно, с чем я бы никогда не согласилась, он заставил меня написать записку, приложил к ней письмо и все это велел немедля отправить. С каким волнением ждала я ответа, какие давала зарюки, чтобы вы оказались не так щепетильны, хотя иным вы быть не могли. Впрочем, слишком хорошо зная вас, я не сомневалась в вашем повиновении и понимала, что чем жертва будет для вас тягостней, тем скорее вы себя на нее обречете. Ответ пришел; его скрыли от меня, пока я хворала; но вот я выздоровела – мои опасения подтвердились, и отговорки уже были невозможны. Во всяком случае, отец объявил мне, что он их и слушать не хочет, и, еще раньше подчинив мою волю – теми ужасными словами! – он взял с меня клятву не говорить г-ну Вольмару ничего такого, что заставило бы его отказаться от женитьбы. «Ведь он, – добавил отец, – подумает, что все это наша с вами выдумка. Нет, ваш брак должен состояться любой ценой, иначе я умру от горя».

Вы знаете, друг мой, что на моем крепком здоровье не отражается ни усталость, ни перемена погоды, но оно не может устоять против бури страстей, что в моем слишком уж чувствительном сердце и таится источник всех моих телесных и душевных недугов. То ли долгие печали тлетворно подействовали на мою кровь, то ли природа избрала эту пору, дабы очистить ее с помощью губительного творила, но под конец я почувствовала себя дурно. Выйдя из комнаты отца, я с трудом написала вам записку, и мне стало так плохо, что я слегла, надеясь уже более никогда не встать. Остальное вам хорошо известно; вы явились – и тоже поступили неблагоприятно. Я вас увидела и вообразила, будто все это мне померещилось, как уже часто бывало со мною в бреду. Но узнав, что вы и в самом деле посетили меня, что я видела вас наяву и что вы, желая разделить со мной недуг, который не могли исцелить, намеренно заразились, я не выдержала последнего испытания, – перед лицом нежной любви, пережившей надежду, моя любовь, которую я с таким трудом обузда, вырвалась на свободу и вскоре вспыхнула с небывалым жаром. Я поняла, что мне суждено любить вопреки своей воле; я почувствовала, что мне суждено быть грешницей; что я не могу сопротивляться ни отцу, ни возлюбленному и что я примирю права любви и крови только лишь за счет порядочности. Итак, все мои добрые чувства в конце концов угасли, все мои нравственные свойства изменились, преступление перестало ужасать меня; внутренне я стала совсем иной. Исступленные вспышки страсти, которую препятствия довели до неистовства, повергли меня наконец в самое безысходное отчаяние, какое только может владеть душою, – я дерзнула разувериться в добродетели. Письмо ваше, – которое скорее могло пробудить укоры совести, нежели успокоить их, – привело меня в полнейшее смятение. Сердце мое было уже до того развращено, что рассудок не мог более противиться речам ваших философов; мерзостные образы, дотоле еще не пятнавшие мою душу, посмели меня преследовать. Воля еще боролась с ними, но воображение уже привыкло их лицезреть, и если я и не вынашивала греховные замыслы в своем сердце, то я более не вынашивала и благородной решимости, которая только и может им противостоять.

Трудно мне продолжать. Передохнем. Вспомните те дни счастья и невинности, когда яркое и сладостное пламя, одушевлявшее нас, очищало все наши чувства; когда благодаря его священному жару стыдливость становилась для нас еще дороже, а порядочность еще любезнее, когда даже сами вожеления возникали словно лишь для того, чтобы мы с честью побеждали их и становились еще достойнее друг друга. Перечитайте наши первые письма, поразмыслите о тех кратких мгновениях, коими мы так мало насладились, когда любовь в наших глазах укра-

шена была всеми прелестями добродетели и когда мы так любили друг друга, что не могли вступить в союз, претивший ей.

Чем были мы – и чем стали ныне? Двое нежных влюбленных провели вместе целый год, храня нерушимое молчание; они удерживали вздохи, но сердца их сроднились; они воображали, что страдают, а были счастливы. Понимая друг друга, они признались в своих чувствах, но, радуясь тому, что умеют торжествовать победу над собою и показывать друг другу благородный пример, они провели вместе еще один год в не менее суровой воздержности; они поверяли друг другу свои страдания и были счастливы. Но они были плохо вооружены для столь долгой битвы; миг слабости ввел их в соблазн; они забылись в утехах любви; они утратили целомудрие, зато хранили верность; зато небо и природа одобрили их союз; зато добродетель по-прежнему была им любезна; они все еще любили ее, все еще умели чтить ее, – они были, пожалуй, не развращены, а принижены. Уже не так были они достойны счастья, однако все еще были достойны.

Что же случилось со столь нежными влюбленными, которые горели столь чистым пламенем любви и столь хорошо знали цену порядочности? Каждый, узнав об их участи, станет сокрушаться. Они предались греху, и даже мысль об осквернении брачного ложа более не вызывает у них отвращения... Они помышляют о прелюбодеянии! Как! Уж не подменили ли их? Или души у них стали иными? Да как обворожительный образ, чуждый зла, может изгладиться в сердцах, где он сиял? Да как очарование добродетели не отвратит навсегда от порока тех, кто раз ее вкусил? Уж не за века ли свершилась эта удивительная перемена? Сколько времени понадобилось, чтобы у того, кто однажды изведал истинное счастье, развеялось чудесное воспоминание, утратилось представление о нем? Ах, поначалу с трудом, медленно вступаешь на стезю разврата, зато как быстро и с какой легкостью следуешь по ней! Обаяние страсти, ты ослепляешь рассудок, – не успеем оглянуться, а ты уже ввело в обман мудрость и изменило нашу природу! Стоит нам раз в жизни оступиться, стоит только на шаг отклониться от правильного пути, и мы тотчас же неминуемо катимся под откос, навстречу гибели; в конце концов мы падаем в пропасть, а придя в себя, ужасаемся, видя, что погрязли в грехах, хотя наше сердце и рождено для добродетели. Опустим же завесу, любезный друг; нет нужды всматриваться в ужасную бездну, которую она скрывает от нас, дабы не приближаться к ней. Продолжаю свой рассказ.

Господин Вольмар приехал, и я ему не разонравилась. Батюшка не дал мне опомниться. Траур по маменьке кончался, но время не могло совладать с моим горем. Чтобы уклониться от своего обещания, нельзя было ссылаться ни на то, ни на другое, – пришлось его исполнить. День, которому суждено было навеки отнять меня у вас, показался мне моим смертным днем. Не так ужасали бы меня приготовления к моим похоронам, как приготовления к моей свадьбе. Роковой час приближался, и мне все труднее было искоренить в сердце первую любовь; я старалась погасить ее, а она пылала все сильнее. В конце концов я устала от бесплодной борьбы. Даже в тот миг, когда я готова была поклясться в вечной верности другому, мое сердце еще клялось вам в вечной любви; и я была введена в храм, как нечистая жертва, которая оскверняет жертвенник.

Я вошла в церковь и, не успев переступить порог, почувствовала какое-то безотчетное волнение, неведомое мне доселе. Некий священный ужас охватил мою душу в простом и величавом храме, где все дышит могуществом того, кому здесь служат. Мне вдруг стало так страшно, что я задрожала. Дрожа и чуть не падая от внезапной слабости, я с трудом приблизилась к подножию пасторской кафедры. Я не успокоилась и во время торжественного обряда, – напротив, смятение мое все росло, и мне становилось еще страшнее, когда я смотрела вокруг. Полумрак, царивший в церкви, глубокое молчание присутствующих, стоявших задумчиво и скромно, свадебный поезд из всех моих родственников, внушительная наружность моего высокочтимого отца – все придавало происходящему торжественность, настраи-



вало меня на проникновенный и благоговейный лад и заставляло трепетать при одной мысли о клятвопреступлении. Мне чудилось, будто я вижу посланца самого провидения, слышу глас божий, когда священник торжественно произносил слова святой обедни. Чистота, достоинство, святость брака, столь ярко воплощенные в Священном Писании, его целомудренные и возвышенные обязанности, столь важные для счастья, порядка, спокойствия, для продолжения человеческого рода, столь отрадны сами по себе, – все это произвело на меня такое впечатление, что мне почудилось, будто во мне произошел внезапный переворот. Словно некая непостижимая сила вдруг умиротворила мои смятенные чувства, вернула их в прежнее русло, подчинив закону долга и природы. Предвечный, раздумывала я, ныне читает всевидящим оком в глубине моего сердца; он сравнивает сокровенные мои помыслы с тем, что произносят мои уста; небо и земля – свидетели священного обязательства, которое я беру на себя, да будут они и свидетелями моей нерушимой верности. Какие человеческие законы может чтить тот, кто дерзнул нарушить самый главный из них?

Я нечаянно взглянула на супругов д'Орб, стоявших вместе и не сводивших с меня умиленного взора, и вид их взволновал меня сильнее всего. Любезная моему сердцу добродетельная чета, разве из-за того, что вы не познали страстной любви, вас соединяют менее крепкие узы? Долг и порядочность связывают вас; нежные друзья, верные супруги, вы не охвачены всепожирающим огнем, он не снедает вам душу, – нет, вас связывает чистая и нежная любовь, которая питает ее, любовь добронравная и разумная, – и благодаря этому ваше счастье более прочно. Ах, если б в подобном союзе я могла обрести такое же целомудрие и насладиться таким же счастьем! Пусть я и не заслужила его подобно вам, но постараюсь заслужить, следуя вашему примеру. Чувства эти воскресили во мне надежду и мужество. Святой союз, в который я вступала, казался мне обновлением, способным очистить мою душу и вернуть ее ко всем ее обязанностям. Когда пастор спросил меня, даю ли я обет послушания и безупречной верности тому, кого избираю в супруги, это подтвердили и уста мои, и сердце. Я не нарушу обета до самой смерти.

Дома мне хотелось побыть часок в уединении и собраться с мыслями. Добилась я этого не без труда, и хоть я так ждала этого часа, поначалу я с отвращением раздумывала о себе, боясь, что мой душевный порыв мимолетен, вызван лишь переменой в моем положении, и считала, что я окажусь столь же недостойной супругой, сколь была неблагоприятной девицей. Я подвергла себя решительному, но опасному испытанию, – начала думать о вас. Как я убедилась, ни единое нежное воспоминание не осквернило торжественного обязательства, которое я только что приняла. Было непостижимо, каким чудом ваш образ, неотступно преследовавший меня доселе, так долго оставлял меня в покое теперь, хоть и было столько поводов для воспоминаний; я не поверила бы ни в равнодушие, ни в забвение, боясь, что все это обманчивое состояние души, мне не свойственное и, следовательно, преходящее. Но мне нечего было опасаться самообмана, я любила вас по-прежнему и, быть может, даже сильнее, чем прежде; я сознавала это без краски стыда. Да, я могла теперь думать о вас, не забывая при этом, что я жена другого. Я чувствовала, как вы мне дороги, сердце мое было взволновано, но совесть и все существо мое хранили спокойствие, и с этого мгновения я поняла, что действительно изменилась. Какой поток чистой радости хлынул тогда мне в душу! Какая умиротворенность, давно уже утраченная, оживила мое сердце, иссушенное позором, и вдохнула в меня неведомое прежде безмятежное спокойствие. Я словно возродилась, словно начала жить новой жизнью. Кроткая утешительница добродетель! Я обрела эту жизнь во имя тебя, ты сделаешь ее любезной моему сердцу, ради тебя я и хочу сохранить ее. Ах, я слишком хорошо поняла, что значит тебя потерять, и я больше тебя не оставляю!

Я была так восхищена огромной, неожиданной и быстрой переменой, что решилась вникнуть в то состояние, в коем находилась накануне. Я ужаснулась своему постыдному унынию, до которого довело меня забвение долга, ужаснулась и всем опасностям, коим я подвергалась

с той поры, как оступилась впервые. Целительная перемена в душе моей указала мне на всю мерзость греха, вводившего меня в искушение, и вновь пробудила во мне любовь к благоразумию. Было бы редкостным счастьем, если бы я сохранила верность нашей любви: ведь изменила же я чести, некогда столь мне дорогой! Требовалась особая милость судьбы, чтобы ваше и мое непостоянство не толкнуло меня на новые увлечения. Разве перед другим возлюбленным могла бы я проявить стойкость, уже преодоленную его предшественником, или стыдливость, уже привыкшую уступать порывам страсти? Разве стала бы я уважать права угасшей любви, если я не выказала уважения к правам добродетели, еще всевластной для меня? Свою уверенность в том, что я буду любить одного лишь вас на всем свете, я черпала во внутреннем чувстве, знакомом всем любовникам, которые клянутся в вечном постоянстве и ненароком нарушают клятву всякий раз, когда небу угодно изменить их чувства! А значит, всякое падение было бы подготовкой к следующему; привычка к греху уничтожила бы в моих глазах всю его мерзость. Влекомая от бесчестия к низости, лишенная опоры, я бы уже не остановилась на этом пути, и из любящей и совращенной я бы превратилась в падшую женщину, опозорила свой пол, повергла в отчаяние свою семью. Кто охранил меня от этих естественных следствий моего грехопадения? Кто удержал после первого шага? Кто спас мое доброе имя и уважение ко мне всех милых моей душе? Кто отдал меня под защиту достойного, благоразумного супруга, наделенного кротким нравом и приятностью, питающего ко мне уважение и привязанность, столь мало мною заслуженные? И, наконец, кто подарил мне надежду стать почтенной женщиной и внушил уверенность, что я этого достойна? Знаю, чувствую: спасительная длань, что вела меня сквозь мрак, снимает с глаз моих покров заблуждения и возвращает меня к самой себе, вопреки моей воле. Тайный голос, непрестанно раздававшийся в глубине моего сердца, окреп и громко прозвучал в тот час, когда я чуть не погибла. Всеведущий не потерпел, чтобы я отвернулась от его лица, став мерзкой клятвопреступницей, и предотвратил мой грех, внушив мне раскаяние и указав мне на бездну, куда я стремилась. Предвечный, по воле твоей ползает букашка и движутся небесные светила, ты печешься о ничтожнейшем из своих созданий! Ты возвращаешь меня к добру, любовь к коему ты мне внушил! Молю тебя, прими от сердца, очищенного тобою, обет верности, дать который я стала достойна только по воле твоей!

И тотчас же, радостно взволнованная мыслью о том, что я избавилась от опасности и вернулась к порядочной и тихой жизни, я простерлась ниц и, молитвенно воздев руки к небу, стала взывать к всевышнему, который, восседая на престоле своем, нашими же руками укрепляет и разрушает, когда ему угодно, дарованную им свободу. «Я хочу, – твердила я, – блага, тебе удобного, от тебя исходящего. Я хочу любить мужа, которого ты мне дал. Я хочу быть верной супругой, ибо это первейшая обязанность, связующая семью и все общество. Я хочу быть целомудренной, ибо это первейшая добродетель, питающая все остальные. Я хочу подчиняться естественному порядку, тобой установленному, и законам разума, тобою внушенным. Предаю сердце под защиту твою, желания – в руки твои. Сообразуй все дела мои с моею истинной волей, ибо она лишь твоей волей направляется, и не дозволяй мимолетному заблуждению одержать верх над тем, что я избрала на всю жизнь».

После этой краткой молитвы, – а я впервые в жизни молилась с истинным усердием, – я почувствовала, что укрепилась во всех своих решениях, мне показалось, что выполнить их мне будет легко и отрадно, и я увидела ясно, где отныне должна черпать силы для противостояния своему собственному сердцу, раз я не могла их обрести в самой себе. Благодаря этому открытию, я вновь обрела веру и стала оплакивать свое пагубное ослепление, из-за коего я так долго пребывала в неверии. Правда, нельзя сказать, чтобы я не была набожна, но, пожалуй, лучше вовсе не быть набожной, нежели обладать внешним и нарочитым благочестием, которое не умиляет сердце, а только успокаивает совесть, нежели ограничиваться обрядами и усердно чтить господа бога лишь в известные часы, дабы все остальное время о нем и не помышлять. Исправно посещая церковные службы, я не извлекала из них никаких уроков для жизни. Я

считала, что задатки у меня хорошие, и не противилась своим склонностям; я любила размышлять и полагалась на свой рассудок; не в силах примирить дух Евангелия с духом общества – веру с делами, я избрала середину, тешившую мое лжемудрие. Одни правила служили мне для веры, другие для дел; в одном месте я забывала, что думала в другом; в церкви я приносила дань набожности, дома – философии. Увы! Во мне не было ни того, ни другого! Молитвы мои были пустыми словами, рассуждения – софизмами, и манил меня не луч света, а коварный блеск блуждающих огней, которые вели меня к гибели.

Не могу передать вам, насколько теперь эти нравственные начала, дотоле во мне столь слабые, внушили мне презрение к тем, которые прежде руководили мною так дурно. В чем же заключалась, скажите мне, их первопричина и на чем они зиждились? По счастливому природному влечению я стремлюсь к добру; в моей душе рождается неистовая страсть, и корень ее в том же влечении; что же должно мне делать, чтобы ее уничтожить? С понятием порядка я связываю красоту добродетели, с общественной пользой – ее ценность. Но что все это значит по сравнению с моей личной выгодой! И что, в сущности, важнее для меня – мое счастье за счет всех остальных людей или же счастье других за счет моего собственного? Если страх перед позором или карою мешает мне творить зло ради собственной выгоды, то я могу творить зло украдкой, и добродетель тут ни при чем; а если меня поймают на месте преступления, то покарают, как в Спарте, не за преступление, а за неловкость. Если бы понятие добра и любовь к добру были запечатлены природой в недрах моей души, я бы следовала им до той поры, пока не исказился бы их образ. Но как удостовериться, что я всегда буду носить в душе во всей его чистоте этот несравненный образ, не имеющий подобия среди одушевленных существ? Ведь известно, что необузданные страсти извращают и рассудок и волю, а совесть неприметно изменяется и искажается в каждом веке, в каждом народе, в каждой личности в силу неустойчивости и разнообразия человеческих предубеждений!

Поклоняйтесь предвечному, достойный и разумный друг, одним мановением вы уничтожите все заблуждения разума, которые обладают призрачной видимостью и бегут как тень перед лицом непоколебимой истины. Все существует лишь по воле вседержителя. Он придает цель правосудию, основание – добродетели, цену – краткой жизни, ему посвященной; он беспрестанно возвещает грешникам о том, что их скрытые преступления не остаются в тайне, он внушает праведнику, забытому всеми: «У добродетелей твоих есть свидетель». Он в своей неизменной сущности являет истинный прообраз всех совершенств, отражение которых мы носим в своей душе. Напрасно наши страсти стремятся исказить это отражение, – все черты его, неотделимые от предвечной сущности, всегда представляются разуму и помогают ему восстановить то, что исказили лжемудрствование и заблуждение. По-моему, определить все это не трудно, – довольно обладать здравым смыслом. Все то, что неотъемлемо от понятия этой сущности, и есть бог, все же остальное – дело рук человеческих. Созерцая этот божественный образец, душа очищается и воспаряет, она научается презирать низменные свои склонности и преодолевать свои недостойные влечения. Сердце, исполненное таких возвышенных истин, отвергает мелкие человеческие страсти; бесконечное величие отвращает его от человеческой гордыни; прелесть размышлений отвлекает от земных желаний; а если б даже вездесущего, созерцанием коего поглощено наше сердце, и не было, все равно следовало бы непрерывно помышлять о нем, дабы лучше владеть собою, стать сильнее духом, счастливее и мудрее. Хотите ли найти явственный пример пустых софизмов, идущих от рассудка, который опирается лишь на себя? Вникнем хладнокровно в рассуждения ваших философов, истых защитников греха, которые могут совратить только уже испорченные сердца. Можно подумать, что, нападая непосредственно на самое священное и самое возвышенное обязательство, эти опасные резонеры решили уничтожить одним ударом все человеческое общество, основанное лишь на соблюдении договоров. Посмотрите-ка, прошу вас, как они оправдывают тайное прелюбодеяние. Они уверяют, что оно не приносит никакого зла даже супругу, – ведь тот пребывает в

неведении. А где уверенность, что он никогда ничего не узнает? А разве клятвопреступление и измену можно оправдать тем, что они безвредны для ближнего! Как будто, чтобы заклеить грех, недостаточно того зла, которое он приносит самому грешнику! Как, разве не зло – изменить своему слову, нарушить клятву во всей ее действенной силе, нарушить самый нерасторжимый договор? Разве не зло – принудить себя к обману и лжи? Разве не зло – связать себя такими узами, которые заставляют вас желать зла и смерти своему ближнему, – желать смерти тому, кого должно любить больше всего на свете, с кем вы поклялись прожить до могилы? Разве уже само по себе не зло – это состояние, чреватое тысячью других грехов? Даже добро, причинившее столько зла, само бы превратилось во зло.

Вправе ли один из супругов считать себя невиновным потому, что он якобы волен располагать собою и, значит, не нарушает верности! Он жестоко ошибается. Не только благо супругов, но общая польза всех людей требует, чтобы чистота браков оставалась незапятнанной. Когда супруги торжественно сочетаются браком, то всякий раз вступает в силу и молчаливый договор всего рода человеческого об уважении к священным узам, о почитании брачного союза; и, по-моему, это – весьма основательный довод против тайных браков, которые не отмечены никакими символами брачного союза и опаляют невинные сердца греховной страстью. Если же бракосочетание происходит не тайно, то присутствующие при нем могут быть, в некотором роде, порукой тому, что договор будет исполнен, что честь целомудренной женщины берут под защиту все порядочные люди. Поэтому всякий, кто осмеливается соблазнить ее, прежде всего грешен в том, что толкает ее на грех, так как подстрекательство к преступлению – это соучастие в нем; вдобавок он и непосредственно свершает грех, нарушая священную для общества неприкосновенность брачных уз, без которых невозможны никакие устои человеческого общества.

Преступление покрыто тайной, говорят некоторые, поэтому никому не причиняет зла. Когда б эти философы веровали в существование господ бога и в бессмертие души, они бы не назвали такое преступление тайным, ибо оно не укроется от свидетеля, который вместе с тем является и главным обвинителем и единственным справедливым судьей. Что же это за странная тайна, которую оберегают от всех, за исключением того, от кого первым делом надобно было бы ее скрыть! Но даже если они не признают вездесущего, то как смеют они утверждать, будто никому не причиняют зла! Как смеют уверять, будто отцу безразлично, что у его наследников чужая кровь, что он обременен большим числом детей, нежели ему должно иметь, и что ему приходится делить свое имение между ними, живым свидетельством его бесчестия, не питая к ним отцовской любви. Предположим, что резонеры – материалисты; тогда тем более можно опровергнуть их ссылкой на сладостный голос природы, который взывает из глубины всех сердец, восставая против надменной философии, и не может быть заглушен никакими рассуждениями. В самом деле, если одна лишь плоть порождает мысль, а чувства зависят только от нашего организма, то разве два существа, в жилах которых бежит единая кровь, не должны обладать особенно большим сходством, питать друг к другу особенно сильную привязанность, подходить друг к другу и душой и наружностью, – следовательно, особенно любить друг друга?

Так, значит, по-вашему, не приносишь зла, если уничтожаешь или нарушаешь этот естественный союз, внося в него чужую кровь и подрывая самые основы, на которых покоится взаимная склонность? Всякого порядочного человека ужасает мысль о подмене ребенка, отданного кормилице. А ведь не меньшее преступление – подменить дитя во чреве матери!

Если говорить, в частности, о женщинах, то какими бедами грозит их распутное поведение, якобы не приносящее зла! Не зло ли само падение грешной женщины, – ведь с утратой чести она вскоре лишается всех прочих добродетелей. Любящий супруг по множеству верных признаков догадывается о связи, которую пытаются оправдать тем, что она никому не известна. Ведь сразу можно увидеть, что жена разлюбила мужа. Чего она достигнет с помощью коварных

ухищрений? Да только скорее обнаружит свое равнодушие! Взор любви не обмануть притворными ласками! А какие испытываешь муки рядом с любимым существом, если руки его обнимают тебя, а сердце тебя чуждается! Предположим, судьба будет благоприятствовать сокрытию тайны, что случается очень редко; забудем на минуту, сколь опасны попытки сохранить свою мнимую невинность и доверие близкого человека при помощи всяких предосторожностей, то и дело разоблачаемых небом! Но сколько же надобно притворства, лжи, коварства, чтобы утаить постыдную связь, провести мужа, подкупить слуг, обмануть общество! Какой позор для сообщников! Какой пример для детей! Что же будет с их воспитанием, когда ты только и думаешь об утолении своей преступной страсти! Что же будет с мирным домашним очагом и супружеским согласием? Как! Да разве все это не причинит вреда супругу? Кто вознаградит его за утрату сердца, которое должно принадлежать ему? Кто возвратит ему супругу, достойную уважения? Кто даст ему отдохновение и покой? Кто избавит от справедливых подозрений? Кто заставит отца довериться своим родительским чувствам, когда он обнимает свое дитя?

Касательно уз, которые неверность и прелюбодеяние якобы создают между семьями, то, право, это не веский довод, а нелепая и грубая шутка, на которую надобно отвечать лишь презрением и негодованием. Измены, ссоры, драки, убийства, отравления, коими разврат наполнял землю во все времена, достаточно явно доказывают, как привязанности, вскормленные преступлением, угрожают спокойствию и согласию людей. Если благодаря этим гнусным и презренным сношениям и образуется некое сообщество, то оно походит на сообщество разбойников, которое следует разрушить и уничтожить, дабы обезопасить жизнь общества законного.

Я сдерживаю негодование, кое внушают мне эти правила, чтобы спокойно обсудить их вместе с вами. Чем они неразумнее, тем меньше я имею права пренебречь случаем опровергнуть их и пристыдить себя за то, что я внимала им без особого отвращения. Как видите, они не выдерживают испытания, которому подвергает их здравый рассудок. Но где искать здравый рассудок, как не в том, кто является его первоисточником! И что думать о тех, кто обращает на погибель людям его дар – божественный светоч, долженствующий указывать правый путь. Будем же остерегаться философического суесловия, будем остерегаться ложной добродетели, с помощью которой подрывают все добродетели и стараются обелить все пороки, дабы получить право всем им предаваться. Лучший способ обрести благо – искать его чистосердечно; и если будешь его так искать, то вскоре вознесешься душою к всеблагому создателю. Вот что, по-моему, и происходит со мною с той поры, как я посвятила себя очищению своих чувств и помыслов; а вы сделаете это лучше меня, когда вступите на тот же путь. Как утешает меня мысль о том, что вы нередко питали мой дух возвышенными религиозными идеями, – а ведь ваше сердце ни в чем от меня не таилось и вы так не говорили бы со мною, если б чувствовали по-иному. Мне даже кажется, что такие беседы были нам отрадны. Присутствие всевышнего никогда не тяготило нас; оно наполняло нас надеждой, а не страхом, – ведь оно ужасает только душу злодея; нам было радостно, что он свидетель наших разговоров, что мы вместе воспаряем к нему душой. Порою, униженные стыдом, мы говорили друг другу, оплакивая свои слабости: «По крайней мере, господь бог читает в наших сердцах», – и это нас несколько успокаивало.

Если из-за такого спокойствия мы впали в заблуждение, то сама вера должна вернуть нас на путь истинный. Стыдно человеку вечно жить в разладе с собою, по одному правилу действовать, по другому чувствовать: размышлять так, будто ты не имеешь плоти; поступать так, будто не имеешь души, и ничего, что ты совершаешь в жизни, не соотносить с собою, как с цельным существом. Я нахожу, что наши прежние правила делают человека стойким, если только не сводятся к одним лишь пустым теориям. Слабость свойственна человеку, и милосердный бог, создавший его, без сомнения, простит ее; но преступление свойственно злодею и никогда не останется безнаказанным перед лицом высшего судии. Человек неверующий, но наделенный хорошими задатками, служит добродетелям, которые ему любезны; творит добро по прихоти, а не по убеждению. Он без принуждения следует своим честным наклонностям,

но следовал бы и нечестным, ибо зачем бы он стал себя ограничивать? Кто же признает общего отца нашего и служит ему, тот видит для себя более высокое предназначение, тот одушевлен горячим желанием ему следовать и, подчиняясь закону – более надежному руководителю, чем наши склонности, – способен делать усилие над собою, чтобы творить добро и поступаться желаниями сердца ради долга. Такова, друг мой, доблестная жертва, к которой мы с вами призваны. Любовь, соединявшая нас, была очарованием всей нашей жизни. Она пережила надежду, победила время и разлуку, перенесла все испытания. Столь безупречное чувство не должно погибнуть, – оно достойно того, чтобы его принесли на алтарь добродетели.

Скажу вам более. Наши отношения стали иными, пусть и ваше сердце станет иным – так надо. Юлия де Вольмар – уже не прежняя ваша Юлия. Ваши чувства к ней должны измениться, этого не миновать. Пред вами выбор: стать слугою порока или слугою добродетели. Вспоминаю отрывок из произведения одного сочинителя, слова которого вы не станете оспаривать: «Стоит любви, – говорит он, – проститься с честью, и она лишается самой большой своей прелести; дабы чувствовать всю цену любви, сердцу надобно восхищаться ею и возвышать нас самих, возвышая предмет нашего чувства. Лишите ее идеи совершенства, и вы ее лишите способности восторгаться; лишите уважения, и от любви ничего не останется. Да может ли женщина чтить человека, обесчестившего себя? Да может ли он сам боготворить ту, которая решилась отдаться гнусному соблазнителю? Итак, вскоре они станут презирать друг друга, любовь для них превратится в постыдную связь. Они утратят честь, но не обретут блаженства». Вот ваши наставления, друг мой, вы мне сами это внушили. Никогда в наших сердцах не было такой нежной взаимной любви, никогда мы так не ценили порядочность, как в ту счастливую пору, когда писалось это письмо. Подумайте, к чему бы ныне привела нас греховная страсть, вскормленная самыми восхитительными восторгами, чарующими душу! Отвращение к пороку, столь естественное и для меня, и для вас, распространилось бы вскоре на сообщника преступления, – мы бы возненавидели друг друга за то, что слишком были любимы, а любовь угадала бы от угрызений совести. Не лучше ли очистить наше бесценное чувство, дабы оно стало прочнее? Не лучше ли сохранить лишь все то, что сочетается с целомудрием? А ведь это означает – сохранить всю его прелесть! Да, любезный и достойный друг, во имя нашей вечной взаимной любви надобно отказаться друг от друга. Забудем все остальное – будьте возлюбленным души моей. Эта отрадная мысль утоляет все мои печали.

Вот верная картина моей жизни и откровенная исповедь во всем, что произошло в моем сердце. Люблю я вас по-прежнему, успокойтесь. Чувство привязанности к вам так нежно и еще так живо, что другая женщина, вероятно, была бы встревожена; мне же опасаться нечего – ведь мне знакомо совсем иное чувство. Любовь переменяла свою природу, именно поэтому прошлые заблуждения – оплот моей нынешней безопасности. Разумеется, безупречная благопристойность и показная добродетель потребовали бы большего и были бы уязвлены тем, что вы не совсем забыты. Но я считаю, что руководствуюсь более надежным правилом, – и не отступлю от него. Втайне я внимаю голосу своей совести, она меня ни в чем не укоряет, а ведь она никогда не обманет души, которая с ней искренне советуется. Пусть этого недостаточно, чтобы оправдать меня в глазах света, зато достаточно для моего собственного спокойствия. Как же произошла столь счастливая перемена? Не имею понятия. Знаю одно, что я жаждала ее. Господь бог свершил остальное. Я думала, душа, согрешив, вечно будет грешной и по воле своей не возвратится к добру, разве что какое-нибудь неожиданное событие, внезапная перемена судьбы и положения вмиг изменят весь ход жизни и могучий переворот восстановит душевное равновесие. Когда со всем привычным покончено, все чувства изменились, то в этом потрясении иногда вновь обретаешь свой истинный характер и будто превращаешься в новое существо, только что вышедшее из рук природы. И тут воспоминания о низменных поступках, свершенных прежде, могут предохранить от нового грехопадения. Вчера ты был мерзок и слаб, а ныне ты могуч и благороден. Когда видишь воочию, каково твое прежнее и нынешнее

состояние, то ясней понимаешь, на какие высоты воспарил, и еще усердней стараешься на них удержаться. Нечто подобное тому, что я пытаюсь вам здесь объяснить, произошло со мною в замужестве. Узы, которых я так страшилась, освобождают меня от куда более страшного рабства – супруг возвратил меня самой себе и стал мне дорог.

Слишком тесен был наш с вами союз – ему не распасться, даже если изменится само его существо. Вы теряете нежную возлюбленную, зато обретаете верного друга; и как бы мы ни отнеслись к этому тогда, в пору самообольщения, право, для вас такая перемена небесполезна. Заклинаю вас, примите то же решение, что и я, дабы стать лучше и благоразумнее и очиститься от уроков философии с помощью христианской морали.

Не быть мне счастливой, ежели и вы не будете счастливы, а я как никогда понимаю, что без добродетели счастья нет. Ежели вы истинно любите меня, то я найду сладостное утешение в согласии наших сердец, вновь познавших добро, – согласии, не менее полном, чем прежде, когда они заблуждались.

Вряд ли мое длинное письмо нуждается в оправдании. Были б вы мне не так дороги, оно было бы короче. Заканчивая, я прошу вас о милости. Мучительное бремя отягчает мое сердце. Господин Вольмар не знает о моем прошлом, а ведь безграничная откровенность – неперемное условие верности, в коей я поклялась ему. Много раз я была готова признаться ему во всем, но меня удерживает мысль о вас. Хотя г-н Вольмар благоразумен и сдержан, но, назвав ваше имя, я все же поставлю вас в неловкое положение, – я не хочу говорить о вас без вашего согласия. Быть может, моя просьба будет вам неприятна, и я самонадеянно полагаюсь на вас, да и на себя, уповая на ваше согласие? Но поймите, умоляю вас, что моя скрытность непростительна, с каждым днем она меня все более мучит, и, покуда я не получу от вас ответа, у меня не будет ни минуты покоя.

#### **Вопросы и задания:**

1. Как соотносится предисловие к роману Руссо с его концепцией цивилизации и литературы?
2. Почему XVIII письмо, приведенное выше, называли иллюстрацией трактата Руссо «Общественный договор»? Какими, исходя из этого письма, представляются семейные принципы Руссо?
3. Исходя из приведенных выше отрывков, дайте характеристику религиозных взглядов Руссо.

\* \* \*

#### **Предтекстовое задание:**

Внимательно прочитайте отрывок из трактата «Об общественном договоре» (1762) и обратите внимание на риторiku этого сочинения, на то, как Руссо мотивирует свое обращение к политическим проблемам. Обратите внимание, что, если в «Исповеди» (1766–1769) философ обращается к одной неповторимой личности, то в «Об общественном договоре» он прибегает к универсальным категориям и апеллирует к человеку не частному, но общественному.

## **Об общественном договоре, или Принципы политического права<sup>105</sup> Перевод А. Д. Хаятина и В. С. Алексеева-Попова**

Я приступаю к делу, не доказывая важности моей темы. Меня могут спросить: разве я государь или законодатель, что пишу о политике. Будь я государь или законодатель, я не стал бы терять время на разговоры о том, что нужно делать, – я либо делал бы это, либо молчал.

Поскольку я рожден гражданином свободного Государства и членом суверена, то, как бы мало ни значил мой голос в общественных делах, права подавать его при обсуждении этих дел достаточно, чтобы обязать меня уяснить себе их сущность, и я счастлив, что всякий раз, рассуждая о формах Правления, нахожу в моих розысканиях все новые причины любить образ Правления моей страны.

### **Глава I. Предмет этой первой книги**

Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они. Как совершилась эта перемена? Не знаю. Что может придать ей законность? Полагаю, что этот вопрос я смогу разрешить.

Если бы я рассматривал лишь вопрос о силе и результатах ее действия, я бы сказал: пока народ принужден повиноваться и повинуетя, он поступает хорошо; но если народ, как только получает возможность сбросить с себя ярмо, сбрасывает его, – он поступает еще лучше; ибо, возвращая себе свободу по тому же праву, по какому ее у него похитили, он либо имеет все основания вернуть ее, либо же вовсе не было оснований ее у него отнимать. Но общественное состояние – это священное право, которое служит основанием для всех остальных прав. Это право, однако, не является естественным; следовательно, оно основывается на соглашениях. Надо выяснить, каковы эти соглашения. Прежде чем приступить к этому, я должен обосновать те положения, которые я только что выдвинул.

### **Глава II. О первых обществах**

Самое древнее из всех обществ и единственное естественное – это семья. Но ведь и в семье дети связаны с отцом лишь до тех пор, пока нуждаются в нем. Как только нужда эта пропадает, естественная связь рвется. Дети, избавленные от необходимости повиноваться отцу, и отец, свободный от обязанности заботиться о детях, вновь становятся равно независимыми. Если они и остаются вместе, то уже не в силу естественной необходимости, а добровольно; сама же семья держится лишь на соглашении.

Эта общая свобода есть следствие природы человека. Первый ее закон – самосохранение, ее первые заботы – те, которыми человек обязан самому себе, и как только он вступает в пору зрелости, он уже только сам должен судить о том, какие средства пригодны для его самосохранения, и так он становится сам себе хозяином.

Таким образом, семья – это, если угодно, прообраз политических обществ, правитель – это подобие отца, народ – детей, и все, рожденные равными и свободными, если отчуждают свою свободу, то лишь для своей же пользы. Вся разница в том, что в семье любовь отца к детям

---

<sup>105</sup> Трактат «Об общественном договоре» написан в 1761 г., то есть в тот же год, что и «Новая Элоиза» и педагогический роман «Эмиль». Руссо опирается на разработанную его предшественниками (Гроцием, Пуффендорфом, и др.) теорию общественного договора. С точки зрения политологии представляет собой проект идеальной конституции.



вознаграждает его за те заботы, которыми он их окружает, – в Государстве же наслаждение властью заменяет любовь, которой нет у правителя к своим подданным.

Гроций отрицает, что у людей всякая власть устанавливается для пользы управляемых: в качестве примера он приводит рабство<sup>106</sup>. Чаще всего в своих рассуждениях он видит основание права в существовании соответствующего факта. Можно было бы применить методу более последовательную, но никак не более благоприятную для тиранов.

По мнению Гроция, стало быть, неясно, принадлежит ли человеческий род какой-нибудь сотне людей или, наоборот, эта сотня людей принадлежит человеческому роду и на протяжении всей своей книги он, как будто, склоняется к первому мнению. Так же полагает и Гоббс. Таким образом человеческий род оказывается разделенным на стада скота, каждое из которых имеет своего вожака, берегущего оное с тем, чтобы его пожирать.

Подобно тому, как пастух – существо высшей природы по сравнению с его стадом, так и пастыри людские, кои суть вожаки людей, – существа природы высшей по отношению к их народам. Так рассуждал, по сообщению Филона, император Калигула, делая из такой аналогии тот довольно естественный вывод, что короли – это боги, или что подданные – это скот.

Рассуждение такого Калигулы возвращает нас к рассуждениям Гоббса и Гроция. Аристотель прежде, чем все они, говорил также, что люди вовсе не равны от природы, но что одни рождаются, чтобы быть рабами, а другие – господами.

Аристотель был прав; но он принимал следствие за причину. Всякий человек, рожденный в рабстве, рождается для рабства; ничто не может быть вернее этого. В оковах рабы теряют все, вплоть до желания от них освободиться, они начинают любить рабство, подобно тому, как спутники Улисса полюбили свое скотское состояние<sup>107</sup>.

Итак, если существуют рабы по природе, так только потому, что существовали рабы вопреки природе. Сила создала первых рабов, их трусость сделала их навсегда рабами.

Я ничего не сказал ни о короле Адаме, ни об императоре Ное, отце трех великих монархов, разделивших между собою весь мир, как это сделали дети Сатурна, в которых иногда видели этих же монархов. Я надеюсь, что мне будут благодарны за такую мою скромность; ибо, поскольку я происхожу непосредственно от одного из этих государей и, быть может, даже от старшей ветви, то, как знать, не оказался бы я после проверки грамот вовсе даже законным королем человеческого рода? Как бы там ни было, никто не станет отрицать, что Адам был властелином мира, подобно тому, как Робинзон властелином своего острова, пока он оставался единственным его обитателем, и было в этом безраздельном обладании то удобство, что монарху, прочно сидевшему на своем троне, не доводилось страшиться ни мятежей, ни войн, ни заговорщиков.

### Глава III. О праве сильного

Самый сильный никогда не бывает настолько силен, чтобы оставаться постоянно повелителем, если он не превратит своей силы в право, а повиновения ему – в обязанность. Отсюда – право сильнейшего; оно называется правом как будто в ироническом смысле, а в действительности его возводят в принцип. Но разве нам никогда не объяснят смысл этих слов? Сила – это физическая мощь, и я никак не вижу, какая мораль может быть результатом ее действия.

Предположим на минуту, что так называемое право сильнейшего существует. Я утверждаю, что в результате подобного предположения получится только необъяснимая галиматья;

---

<sup>106</sup> «Ученые розыскания о публичном праве часто представляют собою лишь историю давних злоупотреблений, и люди совершенно напрасно давали себе труд слишком подробно их изучать». (Трактат о выгодах Фр [анции] в сношениях с ее соседями г-на маркиза д'А[ржансона], напечатанный у Рея в Амстердаме). Именно это и сделал Гроций.

<sup>107</sup> См. небольшой трактат Плутарха, озаглавленный: О разуме бессловесных. Уступать силе – это акт необходимости, а не воли; в крайнем случае это акт благоразумия. В каком смысле может это быть обязанностью?

ибо, если это сила создает право, то результат меняется с причиной, то есть всякая сила, превосходящая первую, приобретает и права первой. Если только возможно не повиноваться безнаказанно, значит возможно это делать на законном основании, а так как всегда прав самый сильный, то и нужно лишь действовать таким образом, чтобы стать сильнейшим. Но что же это за право, которое исчезает, как только прекращается действие силы? Если нужно повиноваться, подчиняясь силе, то нет необходимости повиноваться, следуя долгу; и если человек больше не принуждается к повиновению, то он уже и не обязан это делать. Отсюда видно, что слово «право» ничего не прибавляет к силе. Оно здесь просто ничего не значит.

Подчиняйтесь властям. Если это означает – уступайте силе, то заповедь хороша, но излишня; я ручаюсь, что она никогда не будет нарушена. Всякая власть – от Бога, я это признаю; но и всякая болезнь от Него же: значит ли это, что запрещено звать врача? Если на меня в лесу нападает разбойник, значит, мало того, что я должен, подчиняясь силе, отдать ему свой кошелек; но, даже будь я в состоянии его спрятать, то разве я не обязан по совести отдать ему этот кошелек? Ибо, в конце концов, пистолет, который он держит в руке, – это тоже власть.

Согласимся же, что сила не творит право и что люди обязаны повиноваться только властям законным. Так перед нами снова возникает вопрос, поставленный мною в самом начале.

## Глава IV. О рабстве

Раз ни один человек не имеет естественной власти над себе подобными и поскольку сила не создает никакого права, то выходит, что основой любой законной власти среди людей могут быть только соглашения.

Если отдельный человек, говорит Гроций, может, отчуждая свою свободу, стать рабом какого-либо господина, то почему же не может и целый народ, отчуждая свою свободу, стать подданным какого-либо короля? Здесь много есть двусмысленных слов, значение которых следовало бы пояснить; ограничимся только одним из них – «отчуждать». Отчуждать – это значит отдавать или продавать. Но человек, становящийся рабом другого, не отдает себя; он, в крайнем случае, себя продает, чтобы получить средства к существованию. Но народу – для чего себя продавать? Король не только не предоставляет своим подданным средства к существованию, более того, он сам существует только за их счет, а королю, как говорит Рабле, немало надо для жизни. Итак, подданные отдают самих себя с условием, что у них заберут также их имущество? Я не вижу, что у них останется после этого.

Скажут, что деспот обеспечивает своим подданным гражданский мир. Пусть так, но что же они от этого выигрывают, если войны, которые им навязывает его честолюбие, если его ненасытная алчность, притеснения его правления разоряют их больше, чем это сделали бы их раздоры? Что же они от этого выигрывают, если самый этот мир становится одним из их бедствий? Спокойно жить и в темницах, но разве этого достаточно, чтобы чувствовать себя там хорошо? Греки, запертые в пещере Циклопа, спокойно жили в ней, ожидая своей очереди быть съеденными.

Утверждать, что человек отдает себя даром, значит – утверждать нечто бессмысленное и непостижимое: подобный акт незаконен и недействителен уже по одному тому, что тот, кто его совершает, находится не в здравом уме. Утверждать то же самое о целом народе – это значит считать, что весь он состоит из безумцев: безумие не творит право.

Если бы каждый и мог совершить отчуждение самого себя, то он не может этого сделать за своих детей; они рождаются людьми и свободными; их свобода принадлежит им, и никто, кроме них, не вправе ею распоряжаться. До того, как они достигнут зрелости, отец может для сохранения их жизни и для их благополучия принять от их имени те или иные условия, но он не может отдать детей безвозвратно и без условий, ибо подобный дар противен целям природы и превышает отцовские права. Поэтому, дабы какое-либо самовластное Правление стало

законным, надо, чтобы народ в каждом своем поколении мог сам решать вопрос о том, принять ли такое Правление или отвергнуть его; но тогда это Правление не было бы уже самовластным.

Отказаться от своей свободы – это значит отречься от своего человеческого достоинства, от прав человеческой природы, даже от ее обязанностей. Невозможно никакое возмещение для того, кто от всего отказывается. Подобный отказ несовместим с природою человека; лишить человека свободы воли – это значит лишить его действия какой бы то ни было нравственности. Наконец, бесполезно и противоречиво такое соглашение, когда, с одной стороны, выговаривается неограниченная власть, а с другой – безграничное повиновение. Разве не ясно, что у нас нет никаких обязанностей по отношению к тому, от кого мы вправе все потребовать? И разве уже это единственное условие, не предполагающее ни какого-либо равноценного возмещения, ни чего-либо взамен, не влечет за собою недействительности такого акта? Ибо какое может быть у моего раба право, обращенное против меня, если все, что он имеет, принадлежит мне, а если его право – мое, то разве не лишены какого бы то ни было смысла слова: мое право, обращенное против меня же?

Гроций и другие видят происхождение так называемого права рабовладения еще и в войнах. Поскольку победитель, по их мнению, вправе убить побежденного, этот последний может выкупить свою жизнь ценою собственной свободы, – соглашение тем более законное, что оно оборачивается на пользу обоим.

Ясно, однако, что это так называемое право убивать порожденных ни в коей мере не вытекает из состояния войны. Уже хотя бы потому, что люди, пребывающие в состоянии изначальной независимости, не имеют столь постоянных отношений между собою, чтобы создавалось состояние войны или мира; от природы люди вовсе не враги друг другу. Войну вызывают не отношения между людьми, а отношения вещей, и поскольку состояние войны может возникнуть не из простых отношений между людьми, но из отношений вещных, постольку не может существовать войны частной, или войны человека с человеком, как в естественном состоянии, где вообще нет постоянной собственности, так и в состоянии общественном, где все подвластно законам.

Стычки между отдельными лицами, дуэли, поединки суть акты, не создающие никакого состояния войны; что же до частных войн, узаконенных Установлениями Людовика IX, короля Франции, войн, что прекращались Божьим миром, – это злоупотребления феодального Правления, системы самой бессмысленной из всех, какие существовали, противной принципам естественного права и всякой доброй политики.

Итак, война – это отношение отнюдь не человека к человеку, но Государства к Государству, когда частные лица становятся врагами лишь случайно и совсем не как люди и даже не как граждане<sup>108</sup>, но как солдаты; не как члены отечества, но только защитники его.

Наконец, врагами всякого Государства могут быть лишь другие Государства, а не люди, если принять в соображение, что между вещами различной природы нельзя установить никакого подлинного отношения.

Этот принцип соответствует также и положениям, установленным во все времена, и постоянной практике всех цивилизованных народов. Объявление войны служит предупреждением не столько Державам, сколько их подданным. Чужой, будь то король, частный человек

---

<sup>108</sup> Римляне, которые знали и соблюдали право войны более, чем какой бы то ни было народ в мире, были в этом отношении столь щепетильны, что гражданину разрешалось служить в войске добровольцем лишь в том случае, когда он обязывался сражаться против врага и именно против определенного врага. Когда легион, в котором Катон-сын начинал свою военную службу под командованием Попилия, был переформирован, Катон-отец написал Попилию, что, если тот согласен, чтобы его сын продолжал служить под его началом, то Катона-младшего следует еще раз привести к воинской присяге, так как первая уже недействительна, и он не может более сражаться против врага. И тот же Катон писал своему сыну, чтобы он остерегся принимать участие в сражении, не принеся этой новой присяги. Я знаю, что мне могут противопоставить в этом случае осаду Клузума и некоторые другие отдельные факты, но я здесь говорю о законах, обычаях. Римляне реже всех нарушали свои законы, и у них одних были законы столь прекрасные.

или народ, который грабит, убивает или держит в неволе подданных, не объявляя войны государю, – это не враг, а разбойник. Даже в разгаре войны справедливый государь, захватывая во вражеской стране все, что принадлежит народу в целом, при этом уважает личность и имущество частных лиц; он уважает права, на которых основаны его собственные. Если целью войны является разрушение вражеского Государства, то победитель вправе убивать его защитников, пока у них в руках оружие; но как только они бросают оружие и сдаются, переставая таким образом быть врагами или орудиями врага, они вновь становятся просто людьми, и победитель не имеет более никакого права на их жизнь. Иногда можно уничтожить Государство, не убивая ни одного из его членов. Война, следовательно, не дает никаких прав, которые не были бы необходимы для ее целей. Это – не принципы Гроция, они не основываются на авторитете поэтов, но вытекают из самой природы вещей и основаны на разуме.

Что до права завоевания, то оно основывается лишь на законе сильного. Если война не дает победителю никакого права истреблять побежденных людей, то это право, которого у него нет, не может служить и основанием права на их порабощение. Врага можно убить только в том случае, когда его нельзя сделать рабом, следовательно: право поработить врага не вытекает из права его убить; значит, это несправедливый обмен заставляя его покупать ценою свободы свою жизнь, на которую у победителя нет никаких прав. Ибо разве не ясно, что если мы будем основывать право жизни и смерти на праве рабовладения, а право рабовладения на праве жизни и смерти, то попадем в порочный круг?

Даже если предположить, что это ужасное право всех убивать существует, я утверждаю, что раб, который стал таковым во время войны, или завоеванный народ ничем другим не обязан своему повелителю, кроме как повиновением до тех пор, пока его к этому принуждают. Взяв эквивалент его жизни, победитель вовсе его не помиловал: вместо того, чтобы убить побежденного без всякой выгоды, он убил его с пользой для себя. Он вовсе не получил над ним никакой власти, соединенной с силою; состояние войны между ними продолжается, как прежде, сами их отношения являются следствием этого состояния, а применение права войны не предполагает никакого мирного договора. Они заключили соглашение, пусть так; но это соглашение никак не приводит к уничтожению состояния войны, а, наоборот, предполагает его продолжение.

Итак, с какой бы стороны мы ни рассматривали этот вопрос, право рабовладения действительно не только потому, что оно незаконно, но также и потому, что оно бессмысленно и ничего не значит. Слова «рабство» и «право» противоречат друг другу; они взаимно исключают друг друга. Такая речь: «я с тобой заключаю соглашение полностью за твой счет и полностью в мою пользу, соглашение, которое я буду соблюдать, пока это мне будет угодно, и которое ты будешь соблюдать, пока мне это будет угодно» – будет всегда равно лишена смысла независимо от того, имеются ли в виду отношения человека к человеку или человека к народу.

<...>

## **Глава VI. Об общественном соглашении**

Я предполагаю, что люди достигли того предела, когда силы, препятствующие им оставаться в естественном состоянии, превосходят в своем противодействии силы, которые каждый индивидуум может пустить в ход, чтобы удержаться в этом состоянии. Тогда это изначальное состояние не может более продолжаться, и человеческий род погиб бы, не измени он своего образа жизни.

Однако, поскольку люди не могут создавать новых сил, а могут лишь объединять и направлять силы, уже существующие, то у них нет иного средства самосохранения, как, объединившись с другими людьми, образовать сумму сил, способную преодолеть противодействие, подчинить эти силы одному движителю и заставить их действовать согласно.

Эта сумма сил может возникнуть лишь при совместных действиях многих людей; но поскольку сила и свобода каждого человека суть первые орудия его самосохранения – как может он их отдать, не причиняя себе вреда и не пренебрегая теми заботами, которые есть его долг по отношению к самому себе? Эта трудность, если вернуться к предмету этого исследования, может быть выражена в следующих положениях:

«Найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограждает всю общую силу личность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же свободным, как и прежде». Такова основная задача, которую разрешает Общественный договор.

Статьи этого Договора определены самой природой акта так, что малейшее видоизменение этих статей лишило бы их действительности и полезности; поэтому, хотя они, пожалуй, и не были никогда точно сформулированы, они повсюду одни и те же, повсюду молчаливо принимаются и признаются до тех пор, пока в результате нарушения общественного соглашения каждый не обретает вновь свои первоначальные права и свою естественную свободу, теряя свободу, полученную по соглашению, ради которой он отказался от естественной.

Эти статьи, если их правильно понимать, сводятся к одной-единственной, именно: полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины; ибо, во-первых, если каждый отдает себя всецело, то создаются условия, равные для всех; а раз условия равны для всех, то никто не заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для других.

Далее, поскольку отчуждение совершается без каких-либо изъятий, то единение столь полно, сколь только возможно, и ни одному из членов ассоциации нечего больше требовать. Ибо, если бы у частных лиц оставались какие-либо права, то, поскольку теперь не было бы такого старшего над всеми, который был бы вправе разрешать споры между ними и всем народом, каждый, будучи судьей самому себе в некотором отношении, начал бы вскоре притязать на то, чтобы стать таковым во всех отношениях; естественное состояние продолжало бы существовать, и ассоциация неизбежно стала бы тиранической или бесполезной.

Наконец, каждый, подчиняя себя всем, не подчиняет себя никому в отдельности. И так как нет ни одного члена ассоциации, в отношении которого остальные не приобретали бы тех же прав, которые они уступили ему по отношению к себе, то каждый приобретает эквивалент того, что теряет, и получает больше силы для сохранения того, что имеет.

Итак, если мы устраним из общественного соглашения то, что не составляет его сущности, то мы найдем, что оно сводится к следующим положениям: «каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого».

Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные отношения, этот акт ассоциации создает условное коллективное Целое, состоящее из стольких членов, сколько голосов насчитывает общее собрание. Это Целое получает в результате такого акта свое единство, свое общее «я», свою жизнь и волю. Это лицо юридическое, образующееся следовательно в результате объединения всех других, некогда именовалось Гражданской общиной<sup>109</sup>, ныне же име-

---

<sup>109</sup> Истинный смысл этого слова почти совсем стерся для людей новых времен: большинство принимает город за Гражданскую общину, а горожанина за гражданина. Они не знают, что город составляют дома, а Гражданскую общину – граждане. Эта же ошибка в древности дорого обошлась карфагенинам. Я не читал, чтобы подданному какого-либо государя давали титул *civis* (гражданин – лат.), ни даже в древности – македонцам или в наши дни англичанам, хотя эти последние ближе к свободе, чем все остальные. Одни французы совершенно запросто называют себя гражданами, потому что у них нет, как это видно из их словарей, никакого представления о действительном смысле этого слова; не будь этого, они, незаконно присваивая себе это имя, были бы повинны в оскорблении величества. У них это слово означает добродетель, а не право. Когда Бодэн собрался говорить о наших Гражданах и Горожанах, он совершил грубую ошибку, приняв одних за других. Г-н д'Аламбер не совершил этой ошибки и в своей статье «Женева» хорошо показал различия между всеми четырьмя (даже пятью, если считать простых иностранцев) разрядами людей в нашем городе, из которых лишь два входят в состав Республики. Ни один из известных мне

нуется Республикою, или Политическим организмом: его члены называют этот Политический организм Государством, когда он пассивен, Сувереном, когда он активен, Державою при сопоставлении его с ему подобными. Что до членов ассоциации, то они в совокупности получают имя народа, а в отдельности называются гражданами как участвующие в верховной власти, и подданными как подчиняющиеся законам Государства. Но эти термины часто смешиваются и их принимают один за другой; достаточно уметь их различать, когда они употребляются во всем их точном смысле.

## Глава VII. О суверене

Из этой формулы видно, что акт ассоциации содержит взаимные обязательства всего народа и частных лиц и что каждый индивидуум, вступая, так сказать, в договор с самим собой, оказывается принявшим двойное обязательство, именно: как член суверена в отношении частных лиц и как член Государства по отношению к суверену. Но здесь нельзя применить то положение гражданского права, что никто не обязан выполнять обязательства, взятые перед самим собой, ибо велико различие между обязательствами, взятыми перед самим собою, и обязательствами, взятыми по отношению к целому, часть которого ты составляешь.

Следует еще заметить, что, поскольку каждый выступает в двойном качестве, решение, принятое всем народом, может иметь обязательную силу в области отношений всех подданных к суверену, но не может, по противоположной причине, наложить на суверена обязательства по отношению к себе самому, и что, следовательно, если бы суверен предписал сам себе такой закон, от которого он не мог бы себя освободить, – это противоречило бы самой природе Политического организма. Поскольку суверен может рассматривать себя лишь в одном-единственном отношении, то он попадает в положение частного человека, вступающего в соглашение с самим собою; раз так, нет и не может быть никакого основного закона, обязательного для Народа в целом, для него не обязателен даже Общественный договор. Это, однако, не означает, что Народ, как целое, не может взять на себя таких обязательств по отношению к другим, которые не нарушают условий этого Договора, ибо по отношению к чужеземцу он выступает как обычное существо, как индивидуум.

Но Политический организм или суверен, который обязан своим существованием лишь святости Договора, ни в коем случае не может брать на себя таких обязательств, даже по отношению к другим, которые сколько-нибудь противоречили бы этому первоначальному акту, как, например, отчуждение какой-либо части самого себя или подчинение себя другому суверену. Нарушить акт, благодаря которому он существует, значило бы уничтожить самого себя, а ничто ничего и не порождает.

Как только эта масса людей объединяется таким путем в одно целое, уже невозможно причинить вред ни одному из его членов, не задевая целое, и тем более нельзя причинить вред целому так, чтобы члены его этого не почувствовали. Стало быть, и долг, и выгода в равной мере обязывают обе договаривающиеся стороны взаимно помогать друг другу; и одни и те же люди должны стремиться использовать в этом двойном отношении все преимущества, которые дает им объединение.

Итак, поскольку суверен образуется лишь из частных лиц, у него нет и не может быть таких интересов, которые противоречили бы интересам этих лиц; следовательно, верховная власть суверена несколько не нуждается в поручителе перед подданными, ибо невозможно, чтобы организм захотел вредить всем своим членам; и мы увидим далее, что он не может причинять вред никому из них в отдельности. Суверен уже в силу того, что он существует, является всегда тем, чем он должен быть.

---

французских авторов не понял истинного смысла слова «гражданин».

Но не так обстоит дело с отношениями подданных к суверену; несмотря на общий интерес, ничто не могло бы служить для суверена порукою в выполнении подданными своих обязательств, если бы он не нашел средств обеспечить их верность себе.

В самом деле, каждый индивидуум может, как человек, иметь особую волю, противоположную общей или несходную с этой общей волей, которой он обладает как гражданин. Его частный интерес может внушать ему иное, чем то, чего требует интерес общий. Само его естественно независимое существование может заставить его рассматривать то, что он должен уделять общему делу, лишь как безвозмездное приношение, потеря которого будет не столь ощутима для других, сколь уплата этого приношения обременительна для него, и если бы он рассматривал то юридическое лицо, которое составляет Государство, как отвлеченное существо, поскольку это – не человек, он пользовался бы правами гражданина, не желая исполнять обязанностей подданного; и эта несправедливость, усугубляясь, привела бы к разрушению Политического организма.

Итак, чтобы общественное соглашение не стало пустою формальностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам: если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудят быть свободным. Ибо таково условие, которое, подчиняя каждого гражданина отечеству, одновременно тем самым ограждает его от всякой личной зависимости: условие это составляет секрет и двигательную силу политической машины, и оно одно только делает законными обязательства в гражданском обществе, которые без этого были бы бессмысленными, тираническими и открывали бы путь чудовищнейшим злоупотреблениям.

#### **Вопросы и задания:**

1. Какую роль играют в трактате античные и иные исторические реминисценции?
2. Какие художественные и риторические приемы использует Руссо в этом отрывке из философско-политического трактата «Об Общественном договоре»?
3. О каких формах общественного договора идет речь?
4. Сохраняют ли политическая эмоциональность и содержание трактата актуальность сегодня?

\* \* \*

#### **Предтекстовое задание:**

Внимательно прочитайте предложенный отрывок из «Исповеди» (1766-1769) и обратите внимание на предисловие, в котором Руссо утверждает принцип оригинальности и личного исследования. Попробуйте сформулировать принципы автобиографической прозы, утверждаемые Руссо.

### **Исповедь<sup>110</sup>**

#### **Перевод под ред. Н. А. Бердяева и О. С. Вайнер**

Я затеваю беспримерное дело, которому не найдется подражателей. Я хочу показать себе подобным человека во всей правде природы, и таким человеком буду я сам.

---

<sup>110</sup> «Исповедь» называют первой художественной автобиографией в истории европейской литературы. Руссо не предполагал прижизненной публикации «Исповеди», однако среди его проектов было намерение организовать публичное чтение книги. Только вмешательство полиции нарушило эти планы.

Я один знаю собственное сердце и знаком с человеческой природой. Я не похож на тех, кого встречал, и смею думать, что отличаюсь от всех живущих ныне людей. Если я и не лучше других, то я, по крайней мере, иной. И плохо или хорошо поступила природа, разбив форму, в какой я был отлит, можно будет судить, лишь прочитав эти строки.

Когда бы ни прозвучала труба последнего суда, я явлюсь перед Высшим Судией с этой книгой в руке. И громко скажу: «Вот все, что я сделал, о чем думал и чем был. Я одинаково откровенно рассказал и о добрых своих делах и о злых. Я не утаил ничего дурного, не прибавил ничего хорошего, а если что-то и приукрасил, то лишь восполняя пробел, вызванный недостатком памяти. Я полагал истиной то, что мне таковой и казалось, а не заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был – презренным и низким, когда поступал низко, добрым, великодушным и высоким, когда поступал хорошо, я раскрыл свою душу такой, какой ее видел Ты Сам. Так собери же вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне, о Предвечный, и пусть они выслушают мою исповедь, пусть плачут о моем достоинстве и краснеют за мои слабости. Пусть каждый из них так же искренне раскроет свое сердце у подножия Твоего трона, и пусть хотя бы один дерзнет сказать Тебе: я лучше, чем тот человек».

Я родился в Женеве, в 1712 году от гражданина Исаака Руссо и гражданки Сюзанны Бернар. Отец унаследовал ничтожную часть имения, поделенного между пятнадцатью детьми, и жил лишь своим часовым ремеслом, в котором был воистину весьма искусен. Моя мать, дочь пастора Бернара, была побогаче: она обладала умом и красотой. Не без труда добился отец ее руки. Их взаимная любовь началась почти вместе с их жизнью, в детстве они гуляли вместе вечерами под каштанами Женевы и в десять лет стали неразлучны. Оба они, от природы нежные и чувствительные, ждали лишь пробуждения взаимного чувства, или, скорее, это чувство поджидало их, и тогда каждый отдал свое сердце тому, что открылось ему навстречу. Судьба, казалось, препятствовала их любви, на деле же лишь поощряла ее. Не сумев добиться руки возлюбленной, юный влюбленный сгорал от горя, и она посоветовала ему уехать, чтобы забыть ее. Он вернулся из своих странствий влюбленным сильнее прежнего. Любимая осталась верна ему и встретила его с нежностью. После такого испытания им оставалось лишь любить друг друга всю жизнь, в чем они и поклялись, а небо благословило их клятву.

Габриэль Бернар, брат матери, полюбил одну из сестер отца, но она согласилась выйти за него лишь при условии, что ее брат женится на его сестре. Любовь устроила все, и в один день сыграли две свадьбы. Так что мой дядя был мужем моей тетки, а их дети стали мне дважды двоюродными. В конце года у каждой четы родилось по ребенку; потом снова пришлось расстаться.

Дядя Бернар был инженером и отправился служить в Империю и в Венгрию, где правил принц Евгений. Он отличился при осаде Белграда. Отец мой, после рождения моего единственного брата, был приглашен в Константинополь, где стал часовщиком в серале. В его отсутствие красота, ум и таланты моей матери привлекали к ней многих поклонников. Одним из самых ревностных был господин де Ля Клозюр, француз. Видимо, чувства его были глубоки, ибо и тридцать лет спустя, говоря со мной о ней, он приходил в волнение. Мою мать хранила от него не одна добродетель, но и нежная любовь к мужу. Она поторопила отца с возвращением: он бросил все и вернулся. Печальным плодом этого возвращения и стал я. Болезненный и слабый, я явился на свет спустя десять месяцев. Я стоил жизни своей матери, и мое собственное рождение стало первым из моих несчастий.

Не знаю, как отец перенес эту потерю, но знаю, что он так никогда и не утешился. Ему казалось, что он видит ее во мне, но он не мог забыть, что я же и отнял ее у него; когда он целовал меня, по его вздохам и судорожным объятиям я ощущал, что к этим ласкам примешивается и горькое сожаление, делая их еще нежнее. Когда он хотел поговорить со мной о матери, я отвечал ему: «Но мы же будем плакать, отец», – и одни эти слова уже вызывали его слезы. «Ах, – говорил он со стоном, – верни ее мне, утешь меня, заполни пустоту в моей душе. Разве я



любил бы тебя так сильно, если бы ты был только моим сыном?» Он умер через сорок лет после ее кончины на руках своей второй жены, но с именем первой на устах и с ее образом в сердце.

Вот какие люди дали мне жизнь. Из всех доставшихся им небесных даров они передали мне лишь чувствительное сердце, но этот дар, составлявший их счастье, стал для меня несчастьем всей жизни.

Родился я умирающим, меня почти и не надеялись сохранить. Я принес в себе зародыш болезни, усилившейся с годами, которая и поныне дает мне передохнуть лишь для того, чтобы я страдал еще более жестоко иным образом. Одна из сестер отца спасла меня своим заботливым уходом. В тот момент, когда я пишу эти строки, она еще жива; в восемьдесят лет она ухаживает за мужем, который моложе ее, но истощен пьянством. Дорогая тетушка, я прощаю вам, что вы заставили меня жить, и очень огорчен, что не могу на склоне ваших дней отблагодарить нежными заботами за те заботы, которыми вы окружили начало моей жизни. Моя няня Жаклина тоже еще жива, сильна и здорова. Руки, которые открыли мне глаза при рождении, закрывают мне их после смерти.

Я научился чувствовать раньше, чем думать, – это общая людская доля. Я испытал ее на себе, как никто другой. Не помню, что я делал до пяти-шести лет. Не знаю, как научился читать, помню лишь о своем впечатлении от первого чтения: именно тогда я начал осознавать себя. Мать моя оставила кое-какую библиотеку, и однажды после ужина мы с отцом принялись читать. Вначале отец хотел лишь предложить мне занимательные книги для упражнения в чтении, но вскоре нам стало так интересно, что мы читали по очереди, не отрываясь, и проводили за этим занятием целые ночи. Мы останавливались, лишь дочитав книгу до конца. Иногда отец, заслышав под утро щебетание ласточек, говорил в смущении: «Идем спать; я гораздо больше ребенок, чем ты».

Благодаря такой опасной методе, я не только быстро научился бегло читать, но и приобрел редкое для своего возраста знание о страстях. Я не ведал о том, что порождало ставшие мне знакомыми чувства. Я ничего не узнал, но все переживал. Эти смутные переживания не испортили мой разум, но сформировали его на свой лад, внушив мне причудливые и романтические представления о жизни, от которых меня не излечили ни опыт, ни размышления.

Все романы были прочитаны к лету 1719 года. На следующую зиму мы нашли себе другое занятие. Исчерпав библиотеку матери, мы обратились к доставшейся нам части библиотеки ее отца. К счастью, она содержала хорошие книги, да иначе и быть не могло, поскольку, хотя собирал ее пастор, и даже ученый, что было тогда в моде, но человек со вкусом и умом. В кабинет моего отца переселились такие книги, как «История Церкви и Империи» Ле Сюэра, «Беседы о всемирной истории» Боссюэ, «Знаменитые люди» Плутарха, «История Венеции» Нани, «Метаморфозы» Овидия, Ля Брюйер, «Миры» Фонтенеля и его же «Диалоги мертвых», несколько томов Мольера. Я читал их каждый день, пока отец работал, и пристрастился к такому чтению, что было редким и, наверное, уникальным явлением в моем возрасте.

Больше всего мне нравился Плутарх. Наслаждение, с которым я без конца перечитывал его, вылечило меня немного от романов; вскоре я стал предпочитать Агезилая, Брута и Аристида Орондату, Артамене и Юве. Это интересное чтение и беседы о прочитанном с отцом развили во мне тот свободный республиканский дух, тот неукротимый, гордый, нетерпимый к ярму и рабству характер, который мучил меня всю жизнь в положениях, менее всего подходящих для его проявления. Я мечтал о Риме и Афинах и жил, так сказать, среди великих. Родившись гражданином Республики и сыном страстного патриота, я воспламенялся его примером, воображал себя греком или римлянином и воплощал в себе того героя, жизнеописание которого читал; когда меня поражал рассказ о подвигах твердости и мужества, глаза мои блестели и голос звучал громко. Однажды я перепугал домашних, когда рассказывал за столом о подвигах Сцеволы и, желая делом подтвердить свой рассказ, протянул руку к жаровне.

Мой брат был старше меня на семь лет. Он учился отцовскому ремеслу. Меня слишком любили, тем самым обделяя его, и его воспитание пострадало от такого небрежения. Он стал гулякой, еще не достигнув возраста, когда возможно настоящее распутство. Его поместили к другому мастеру, откуда он убежал так же, как из родительского дома. Я почти не видел его; можно сказать, что я почти не был с ним знаком, но тем не менее я не переставал нежно любить его, а он любил меня настолько, насколько способен любить шалопаи. Помню, однажды отец сурово и гневно наказывал брата, а я порывисто бросился к нему и крепко обнял, загородив собой. Я прикрывал его своим телом от ударов и так упорствовал в этом, что отец, то ли обезоруженный моими криками и слезами, то ли не желая наказывать меня сильнее брата, пощадил его. В конце концов брат мой окончательно сбился с пути, бежал и совершенно исчез. Через некоторое время мы узнали, что он в Германии. Он не написал нам ни разу, и с тех пор мы не получали о нем известий. Таким образом я остался единственным сыном.

Если этого бедного мальчика воспитывали небрежно, то с его братом обходились иначе. Даже о царских детях не заботились так усердно, как ухаживали за мной в первые годы моей жизни. Окружающие боготворили меня и, что еще более редко, любили, но не баловали. Ни разу, пока я не покинул отчий кров, мне не предоставляли носиться по улице с другими детьми, никому не приходилось подавлять во мне капризы или потакать прихотям, которые приписываются природе, но порождаются лишь дурным воспитанием. Я обладал пороками своего возраста, был болтлив, любил сласти и порой лгал. Мог воровать фрукты, конфеты, еду, но мне не доставляло удовольствия причинять другим боль, портить вещи, сваливать вину на других, мучить животных. Помню, однако, что однажды я помочился в котелок соседки, госпожи Кло, пока она была в церкви. Признаюсь даже, что это воспоминание все еще веселит меня, потому что госпожа Кло, по сути славная женщина, была все же невообразимо ворчливой старухой. Такова краткая и правдивая история моих детских преступлений.

Как мог бы я сделаться злым, когда перед моими глазами были только примеры кротости и меня окружали добрейшие люди на свете? Отец, тетка, няня, наши родственники, друзья, соседи и все окружающие меня не повиновались мне, но любили меня; я также любил их. Моя воля была так мало возбуждена и встречала так мало противоречия, что мне почти не приходило в голову иметь желаний. Могу поклясться, что до моего поступления к мастеру я и не знал, что такое прихоть. Все время, кроме тех часов, когда я читал или писал около отца и когда няня водила меня гулять, я проводил с своей теткой. Я смотрел, как она вышивала, и слушал, как она пела, сидя или стоя возле нее; и я был доволен. Ее веселость, кротость и приятное лицо произвели на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор живо вижу ее черты, ее взгляд, ее манеры: я помню ее ласковые слова, я мог бы описать ее одежду и прическу, не забыв двух черных локонов на висках по моде того времени.

Я убежден, что ей я обязан любовью или, вернее, страстью к музыке, страстью, развившейся во мне только гораздо позже. Она знала удивительное множество арий и песен, которые пела несильным, но приятным голосом. Ясность души этой прекрасной девушки прогоняла задумчивость и грусть от нее самой и от всех, кто окружал ее. Пение ее так очаровывало меня, что многие из ее песен надолго оставались в моей памяти; но даже и теперь, когда я совершенно забыл их, по мере того, как я старею, они воскресают в памяти с невыразимым очарованием. Можно ли поверить, что я, старый болтун, измученный заботами и страданиями, иногда ловлю себя на том, что плачу как дитя, напевая эти песенки разбитым и дрожащим голосом? Особенно ясно вспомнился мне мотив одной из песен, но, несмотря на все усилия вспомнить ее слова, вторая половина их ускользает из моей памяти, хотя мне смутно помнятся какие-то рифмы. Вот ее начало, и то, что я помню из дальнейшего:

Tircis, je n'ose  
Ecouter ton chalumeau

Sous l'ormeau;  
Car on en cause  
Deja dans notre hameau.  
.....  
un berger s'engager sans danger  
Et toujours l'épine est sous la rose.<sup>111</sup>

Я стараюсь понять, в чем состоит трогательное очарование, которое имеет для моего сердца эта песенка: это каприз, которого я не понимаю; но я совершенно не в состоянии допеть ее до конца без того, чтобы слезы не остановили меня. Я сто раз собирался написать в Париж, чтобы мне нашли остальные слова, если кто-нибудь еще помнит их. Но я почти уверен, что удовольствие, которое мне доставляет воспоминание об этой песенке, уменьшится, если я получу доказательство того, что не одна моя бедная тетушка Сюзон, а и другие пели ее.

Таковы были первые привязанности начала моей жизни: так начало формироваться или проявляться во мне мое сердце, гордое и нежное в одно и то же время, и мой характер, женственный, но неукротимый, – характер, вечно колеблющийся между слабостью и мужеством, между негой и доблестью, до самого конца заставлявший меня впадать в противоречия с самим собой и послуживший причиной того, что и воздержание, и наслаждение, и удовольствие, и благоразумие одинаково ускользали от меня.

Ход моего воспитания был прерван несчастьем, последствия которого повлияли на всю мою жизнь. Мой отец поссорился с господином Готье, французским капитаном, имевшим родственников в Совете. У этого Готье, человека наглого и низкого, кровь хлынула носом, и, чтобы отомстить отцу, он обвинил его в том, что тот обнажил шпагу в городе. Отцу грозила тюрьма, и он требовал, чтобы туда же, согласно закону, отправили и его обвинителя. Он не сумел этого добиться и предпочел покинуть Женеву и навсегда расстаться с родиной, нежели уступить в том, что задевало его честь и свободу.

Я остался на попечении дяди Бернара, служившего в то время на женевских укреплениях. Его старшая дочь умерла, но у него оставался сын моего возраста. Нас обоих поместили в Боссе, в пансион к пастору Ламберсье, чтобы научить латыни и прочей дребедени, называемой образованием.

Два года деревенской жизни немного смягчили мою римскую твердость и вернули меня в детство. В Женеве, где меня не неволили, я был усидчив и любил чтение, бывшее почти единственным моим развлечением. Учение в Боссе заставило меня полюбить игры, ставшие отдыхом от занятий. Я не уставал наслаждаться новой для меня сельской жизнью и настолько полюбил ее, что эта любовь никогда во мне не угасла. Воспоминание о счастливых днях, проведенных мною в деревне, заставило меня во всех возрастах сожалеть о деревенской жизни, пока, наконец, я снова не вернулся туда. Пастор Ламберсье, будучи весьма разумным человеком, не пренебрегал нашим образованием, но и не слишком нас перегружал. Доказательством того, что он хорошо вел дело, служит то обстоятельство, что, несмотря на свое отвращение к любого рода принуждению, я никогда не вспоминал с отвращением часов занятий, и хотя научился немногому, но без труда, и впоследствии ничего не забыл.

Простота такой сельской жизни стала для меня неоценимым благом, открыв мое сердце дружбе. До сих пор я знал хотя и возвышенные, но лишь воображаемые чувства. Привычка к совместной мирной жизни послужила нашему нежному сближению с кузеном Бернаром. Очень скоро я полюбил его больше, чем собственного брата, и эта привязанность никогда не изгладилась. Это был высокий, худой и тонкий мальчик, кроткий духом и слабый телом, не

---

<sup>111</sup> Тирсис, свирелью // Не зови меня под вяз // В поздний час – // Ведь звонкой трелью // В селе ты выдал нас. // похмелью греха пастуха // Горести влечет за собой веселье. // (Перевод А. Мушиковой)

слишком злоупотреблявший предпочтением, какое оказывалось ему в доме как сыну моего опекуна. У нас были одинаковые занятия, развлечения и вкусы: мы были одни, одинакового возраста, и каждый из нас нуждался в товарище; для нас расстаться было то же самое, что уничтожить себя. Хотя нам и не доводилось часто доказывать друг другу нашу взаимную привязанность, она была необычайной, и мы не только не могли и мгновения прожить порознь, но и не представляли, что такое может случиться. У обоих нас были характеры, легко уступавшие ласке; мы оба были любезны, когда нас не принуждали к этому, и сходились во всем. Если, по милости наших воспитателей, на их глазах он первенствовал надо мной, то наедине с ним верховодил я, и это восстанавливало равновесие. Во время занятий я подсказывал ему, если он запинался. Когда мой урок был готов, я помогал ему справиться с его заданием, а в наших забавах мой более активный нрав всегда руководил им. Словом, наши характеры так ладно сходились, что мы крепко дружили и более пяти лет были почти неразлучны, как в Боссе, так и в Женеве. Признаюсь, мы частенько дрались, но разнимать нас не приходилось, ибо наши ссоры длились не более четверти часа и мы никогда не жаловались друг на друга. Быть может, эти подробности покажутся пустыми, но они рисуют пример отношений, быть может, единственный с тех пор, как существуют дети.

Жизнь в Боссе так подходила мне, что ей недоставало лишь продлиться подольше, чтобы совершенно укрепить мой характер. Основу ее составляли нежные, любовные, мирные чувства. Полагаю, ни одно человеческое существо не было от природы так мало тщеславно, как я. Я поддавался высоким душевным порывам, но скоро возвращался к своей неге. Больше всего я жаждал всеобщей любви. Я был кроток, мой кузен был кроток, кротки были и сами наши воспитатели. В течение целых двух лет мне не пришлось стать ни свидетелем, ни жертвой злобных чувств. Превыше всего мне нравилось видеть всех довольными мной. Никогда не забуду, как в церкви, отвечая катехизис, я больше всего печалился оттого, что мои запинки вызывали тень тревоги и огорчения на лице мадемуазель Ламберсье. Это причиняло мне больше горя, чем страх опозориться при всех, что пугало меня крайне, ибо, будучи малочувствительным к похвалам, я всегда был чувствителен к стыду; и могу сказать, что ожидание выговора от мадемуазель Ламберсье тревожило меня меньше, чем боязнь огорчить ее.

Между тем и она, и пастор бывали порой суровы. Но поскольку их суровость, почти всегда заслуженная, никогда не сопровождалась гневом, я огорчался.

### **Вопросы и задания:**

1. Почему Руссо называет «Исповедь» беспримерным делом?
2. Какова, с вашей точки зрения цель «Исповеди» – самооправдание, объективное исследование, обвинение других?
3. Как в природе человека, по мнению Руссо, соотносятся разум и чувство?

## **Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло (1741–1803)**

### **Предтекстовое задание:**

Внимательно прочитайте отрывки из романа Шодерло де Лакло «Опасные связи» (1782) и попытайтесь сформулировать философские и нравственные позиции героев романа. Проанализируйте формы эпистолярной стратегии Лакло в романе и их функции (датировка писем, их последовательность) и попытайтесь, исходя из них, реконструировать авторскую позицию Лакло.

### **Опасные связи, или Письма, собранные в одном частном кружке лиц и опубликованные господином Ш. де Л. в назидание некоторым другим<sup>112</sup> *Перевод Н. Рыкова***

#### **Предуведомление издателя**

Считаем своим долгом предупредить Читателей, что, несмотря на заглавие этой Книги и на то, что говорит о ней в своем предисловии Редактор, мы не можем ручаться за подлинность этого собрания писем и даже имеем весьма веские основания полагать, что это всего-навсего Роман. Сдается нам также, что Автор, хотя он, казалось бы, стремится к правдоподобию, сам нарушает его, и притом весьма неуклюжим образом, из-за времени, к которому он приурочил изложенные им события. И впрямь, многим из выведенных у него действующих лиц свойственны нравы настолько дурные, что просто невозможно предположить, чтобы они были нашими современниками, жили в век торжества философии, когда распространяющееся повсюду просвещение сделало, как известно, всех мужчин столь благородными, а всех женщин столь скромными и благонравными.

Мнение наше, следовательно, таково, что ежели события, описанные в этом Сочинении, и являются в какой-то мере истинными, они могли произойти лишь в каких-то иных местах или в иные времена, и мы строго порицаем Автора, который, видимо, поддавшись соблазну как можно больше заинтересовать Читателя, приблизившись к своему времени и к своей стране, и потому осмелился изобразить в наших обличьях и среди нашего быта нравы, нам до такой степени чуждые.

Во всяком случае, мы хотели бы, насколько возможно, оградить слишком доверчивого Читателя от каких-либо недоумений по этому поводу и потому подкрепляем свою точку зрения соображением, которое высказываем тем смелее, что оно кажется нам совершенно бесспорным и неопровержимым: несомненно, одни и те же причины должны приводить к одним и тем же следствиям, а между тем в наши дни мы что-то не видим девиц, которые, обладая доходом в шестьдесят тысяч ливров, уходили бы в монастырь, а также президентш, которые, будучи юными и привлекательными, умирали бы от горя.

---

<sup>112</sup> Роман Пьера Амбруаза Франсуа Шодерло де Лакло (1741–1803) «Опасные связи» (1782) – единственный роман писателя, профессионального военного. «Опасные связи» – итог развития эпистолярного романа XVIII в. – впитал традиции Ричардсона, Руссо.

## Предисловие редактора

Это Сочинение, или, вернее, это Собрание писем, Читатели, возможно, найдут слишком обширным, а между тем оно содержит лишь незначительную часть той переписки, из которой оно нами извлечено. Лица, которым она досталась, пожелали опубликовать ее и поручили мне подготовить письма к изданию, я же в качестве вознаграждения за свой труд попросил лишь разрешения изъять все то, что представлялось мне излишним, и постарался сохранить только письма, показавшиеся мне совершенно необходимыми либо для понимания событий, либо для развития характеров. Если к этой несложной работе прибавить размещение избранных мною писем в определенном порядке – а порядок этот был почти всегда хронологический – и еще составление немногих кратких примечаний, большей частью касающихся источников тех или иных цитат или обоснования допущенных мною сокращений, то к этому и сведется все мое участие в данном Сочинении. Никаких иных обязанностей я на себя не принимал<sup>113</sup>.

Предлагал я сделать ряд более существенных изменений, позаботиться о чистоте языка и стиля, далеко не всегда безупречных. Добивался также права сократить некоторые чересчур длинные письма – среди них есть и такие, где говорится без всякой связи и почти без перехода о вещах, никак друг с другом не вяжущихся. Этой работы, согласия на которую я не получил, было бы, разумеется, недостаточно, чтобы придать Произведению подлинную ценность, но она, во всяком случае, избавила бы Книгу от некоторых недостатков.

Мне возразили, что желательнее было обнаружить самые письма, а не какое-то Произведение, по ним составленное, и что, если бы восемь или десять человек, принимавших участие в данной переписке, изъяснялись одинаково чистым языком, это противоречило бы и правдоподобию и истине. Я, со своей стороны, заметил, что до этого весьма далеко и что, напротив, ни один автор данных писем не избегает грубых, напрашивающихся на критику ошибок, но на это мне отвечали, что всякий рассудительный Читатель и не может не ждать ошибок в собрании писем частных лиц, если даже среди опубликованных доньше писем различных весьма уважаемых авторов, в том числе и некоторых академиков, нет ни одного вполне безупречного по языку. Доводы эти меня не убедили, – я полагал, как и сейчас еще полагаю, что приводить их гораздо легче, чем с ними соглашаться. Но здесь я не был хозяином и потому подчинился, оставив за собою право протестовать и заявить, что держусь противоположного мнения. Сейчас я это и делаю.

Что же касается возможных достоинств данного Произведения, то, пожалуй, по этому вопросу мне высказываться не следует, ибо мое мнение не должно и не может иметь влияния на кого бы то ни было. Впрочем, те, кто, приступая к чтению, любят знать хотя бы приблизительно, на что им рассчитывать, те, повторяю, пусть читают мое предисловие дальше. Всем прочим лучше сразу же перейти к самому Произведению: им вполне достаточно и того, что я пока сказал.

Должен прежде всего добавить, что, если – охотно в этом признаюсь – у меня имелось желание опубликовать данные письма, я все же весьма далек от каких-либо надежд на успех. И да не примут этого искреннего моего признания за наигранную скромность Автора. Ибо заявляю столь же искренне, что, если бы это Собрание писем не было, на мой взгляд, достойным предстать перед читающей Публикой, я бы не стал им заниматься. Попытаемся разъяснить это кажущееся противоречие.

---

<sup>113</sup> Должен также предупредить, что я исключил или изменил имена всех лиц, о которых идет речь в этих письмах, и что ежели среди имен, мною придуманных, найдутся принадлежащие кому-либо, то это следует считать моей невольной ошибкой и не делать из нее никаких выводов. (Прим. ред.)

Ценность того или иного Произведения заключается в его полезности, или же в доставляемом им удовольствии, или же и в том и в другом вместе, если уж таковы его свойства. Но успех отнюдь не всегда служит показателем достоинства, он часто зависит более от выбора сюжета, чем от его изложения, более от совокупности предметов, о которых идет речь в Произведении, чем от того, как именно они представлены. Между тем в данное Собрание, как это явствует из заглавия, входят письма целого круга лиц, и в нем царит такое разнообразие интересов, которое ослабляет интерес Читателя. К тому же почти все выражаемые в нем чувства лживы или притворны и потому способны вызвать в Читателе лишь любопытство, а оно всегда слабее, чем интерес, вызванный подлинным чувством, а главное, в гораздо меньшей степени побуждает к снисходительной оценке и весьма чутко улавливает всякие мелкие ошибки, досадно мешающие чтению.

Недостатки эти отчасти, быть может, искупаются одним достоинством, свойственным самой сущности данного Произведения, а именно разнообразием стилей – качеством, которого Писателю редко случается достигнуть, но которое здесь возникает как бы само собой и, во всяком случае, спасает от скуки однообразия. Кое-кто, пожалуй, оценит и довольно большое количество наблюдений, рассеянных в этих письмах, наблюдений, либо совсем новых, либо малоизвестных. Вот, полагаю, и все удовольствие, какое от них можно получить, даже судя о них с величайшей снисходительностью.

Польза этого Произведения будет, может быть, оспариваться еще больше, однако, мне кажется, установить ее значительно легче. Во всяком случае, на мой взгляд, разоблачить способы, которыми бесчестные люди портят порядочных, значит оказать большую услугу добрым нравам. В Сочинении этом можно будет найти также доказательство и пример двух весьма важных истин, которые находятся, можно сказать, в полном забвении, если исходить из того, как редко осуществляются они в нашей жизни. Первая истина состоит в том, что каждая женщина, соглашающаяся вести знакомство с безнравственным мужчиной, становится его жертвой. Вторая – в том, что каждая мать, допускающая, чтобы дочь ее оказывала какой-либо другой женщине больше доверия, чем ей самой, поступает в лучшем случае неосторожно. Молодые люди обоего пола могут также узнать из этой Книги, что дружба, которую, по-видимому, так легко дарят им люди дурных нравов, всегда является лишь опасной западней, роковой и для добродетели их, и для счастья. Однако все хорошее так часто употребляется во зло, что, не только не рекомендуя молодежи чтение настоящей Переписки, я считаю весьма существенным держать подобные Произведения подальше от нее. Время, когда эта именно книга может уже не быть опасной, а, наоборот, приносить пользу, очень хорошо определила некая достойная мать, выказав не простую рассудительность, но подлинный ум. «Я считала бы, – сказала она мне, ознакомившись с этой рукописью, – что окажу настоящую услугу своей дочери, если дам ей ее прочесть в день ее замужества». Если все матери семейств станут так думать, я буду вечно радоваться, что опубликовал ее.

Но, даже исходя из столь лестного предположения, мне все же кажется, что это Собрание писем понравится немногим. Мужчинам и женщинам развращенным выгодно будет опорочить Произведение, могущее им повредить. А так как у них вполне достаточно ловкости, они, возможно, привлекут на свою сторону ригористов, возмущенных картиной дурных нравов, которая здесь изображена.

У так называемых вольнодумцев не вызовет никакого сочувствия набожная женщина, которую именно из-за ее благочестия они будут считать жалкой бабенкой, люди же набожные вознегодуют на то, что добродетель не устояла и религиозное чувство не оказалось достаточно сильным.

С другой стороны, людям с тонким вкусом покажется противным слишком простой и неправильный стиль многих писем, а средний читатель, убежденный, что все напечатанное

есть плод писательского труда, усмотрит в иных письмах вымученную манеру Автора, выглядывающего из-за спины героев, которые, казалось бы, говорят от своего имени.

Наконец, может быть высказано и довольно единодушное мнение, что все хорошо на своем месте и что если чрезмерно изысканный стиль писателей действительно лишает естественного изящества письма частных людей, то небрежности, которые зачастую допускаются в последних, становятся настоящими ошибками и делают их неудобочитаемыми, когда они появляются в печати.

От всего сердца признаю, что, быть может, все эти упреки вполне обоснованны. Думаю также, что смог бы на них возразить, не выходя даже за допустимые для Предисловия рамки. Но для того, чтобы необходимо было отвечать решительно на все, нужно, чтобы само Произведение не способно было ответить решительно ни на что, а если бы я так считал, то уничтожил бы и Предисловие, и Книгу. <...>

### **Письмо 141. От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону**

Боже мой, виконт, до чего мне надоело ваше упорство! Не все ли вам равно, что я молчу? Уж не думаете ли вы, что я молчу потому, что мне нечего сказать в свою защиту? Если бы все было в этом! Но дело в том, что мне трудно об этом писать!

Скажите мне правду: сами вы себя обманываете или меня хотите обмануть? Ваши слова и поведение настолько противоречат друг другу, что у меня остается выбор лишь между этими двумя мнениями: какое из них – истинное? Что вы хотите от меня услышать, когда я сама не знаю, что и думать?

Вы, как видно, вменяете себе в великую заслугу последнюю сцену между вами и президентшей. Но что она доказывает в пользу вашей системы или против моей? Уж наверно, я никогда не говорила вам, что вы любите эту женщину настолько, чтобы не изменять ей, чтобы не пользоваться любым случаем, который покажется вам приятным или удобным. Я не сомневалась даже, что вам более или менее безразлично утолять с другой, с первой попавшейся женщиной даже такие желания, которые могла возбудить в вас только эта. И я не удивлена, что благодаря своему душевному распутству, оспаривать которое у вас было бы несправедливо, вы однажды совершили вполне обдуманно то, что сотни раз делали просто так, при случае. Кому не ведомо, что так вообще принято в свете, что таков обычай, которому следуете вы все, от негодяя до *самого избранного*? Кто в наши дни от этого воздерживается, слывет *мечтательным*. А я, кажется, вас за этот порок не упрекаю!

Тем не менее я говорила, и думала, и теперь еще думаю, что вы свою президентшу любите. Конечно, не слишком чистой и не слишком нежной любовью, но такой, на какую вы способны. Такой, к примеру, которая заставляет вас обнаруживать в женщине прелести и качества, коих на самом деле у нее нет, ставить ее на особое место, а всех других отодвигать во второй разряд. Словом, такой, какую, по-моему, султан может питать к любимой султанше, что не мешает ему порою предпочесть обыкновенную одалиску. Сравнение это представляется мне тем более верным, что, подобно восточному султану, вы никогда не бываете возлюбленным или другом женщины, а всегда ее тираном или рабом. Поэтому я совершенно уверена, что вы бесконечно унижались и раболепствовали, чтобы вновь войти в милость у этого предмета вашей страсти, и, охваченный ликованием, что это вам удалось, вы, как только, по моему мнению, наступила минута прощения, оставляете меня ради этого великого события.

И если в своем последнем письме вы не говорите исключительно об этой женщине, то потому, что не хотите беседовать со мной – *о самых важных своих делах*. Они представляются вам столь значительными, что в своем молчании на этот счет вы усматриваете какое-то наказание мне. И после того как вы дали сотни доказательств решительного предпочтения, отдаваемого вами другой женщине, вы спокойно спрашиваете меня, *имеются ли у вас со мной сейчас*



*какие-либо общие интересы?* Берегитесь, виконт, уж если я вам отвечу, то сказанного обратно не возьму. И я уже слишком много говорю, если остерегаюсь давать сейчас ответ. Поэтому я твердо решаю умолкнуть.

Все, что я могу сделать, – это рассказать вам одну историю. Может быть, у вас не хватит времени прочесть ее или уделить ей внимание, необходимое для того, чтобы понять ее как должно? Что ж, воля ваша. В худшем случае мой рассказ пропадет даром.

Один мой знакомый, подобно вам, вступил в связь с женщиной, не доставлявшей ему много чести. Временами у него хватало ума понимать, что рано или поздно от этого приключения ему будет один вред. Но хоть он и стыдился, а мужества для разрыва у него не хватало. И положение его оказывалось тем сложнее, что он хвастался перед своими друзьями, будто ничто не стесняет его свободы, а ведь он отлично знал, что чем яростнее защищаешься от обвинения, что сделал глупость, тем становишься смешней. Так он и жил, не переставая изображать собою дурака, а затем говорить: *«Не моя в том вина»*. У этого человека была приятельница, которая едва не поддавалась соблазну выставить его всем напоказ в этом состоянии опьянения и тем самым раз и навсегда сделать его смешным. Все же великодушие пересилило в ней коварные поползновения, а может быть, оказались иные причины – и она попыталась использовать последнее средство, чтобы при всех обстоятельствах иметь право сказать, как ее друг: *«Не моя в том вина»*. С этой целью она послала ему без всяких пояснений нижеследующее письмо, как лекарство, которое могло бы оказаться полезным при его недуге:

«Все приедается, мой ангел, таков уж закон природы: не моя в том вина.

И если мне наскучило приключение, полностью поглощавшее меня четыре гибельных месяца, – не моя в том вина.

Если, например, у меня было ровно столько любви, сколько у тебя добродетели – а этого, право, немало, – нечего удивляться, что первой пришел конец тогда же, когда и второй. Не моя в том вина.

Из этого следует, что с некоторых пор я тебе изменял, но надо сказать, что к этому меня в известной степени вынуждала твоя неумолимая нежность. Не моя в том вина.

А теперь одна женщина, которую я безумно люблю, требует, чтобы я тобою пожертвовал. Не моя в том вина.

Я понимаю, что это – отличный повод обвинить меня в клятвопреступлении. Но если природа наделила мужчин только искренностью, а женщинам дала упорство, – не моя в том вина.

Поверь мне, возьми другого любовника, как я взял другую любовницу. Это хороший, даже превосходный совет. А если он придется тебе не по вкусу, – не моя в том вина.

Прощай, мой ангел, я овладел тобой с радостью и покидаю без сожалений: может быть, я еще вернусь к тебе. Такова жизнь. Не моя в том вина».

Сейчас не время, виконт, рассказывать вам о том действии, которое возымела эта последняя попытка, и о ее последствиях, но обещаю сообщить вам об этом в ближайшем же письме. В нем же вы найдете и мой ультиматум касательно вашего предложения возобновить наш с вами договор. А до того – говорю вам просто: прощайте...

Кстати, благодарю за подробности относительно малютки Воланж. Это – статейка для газеты злословия, мы пустим ее на другой день после свадьбы. Пока же примите мои соболезнования по случаю утраты наследника. Добрый вечер, виконт.

*Из замка \*\*\*, 24 ноября 17...*

## **Письмо 142. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей**

Лестное слово, прелестный друг мой, не знаю, право, плохо ли я прочел, плохо ли понял и ваше письмо, и рассказанную в нем историю, и приложенный к ней образчик эпистолярного

стиля. Единственное, что я могу вам сказать, – это то, что последний показался мне оригинальным и вполне способным произвести должное впечатление, поэтому я его просто-напросто переписал и столь же просто послал божественной президентше. Я не потерял ни минуты времени – нежное послание было отправлено вчера же вечером. Я предпочел не медлить, ибо, во-первых, обещал написать ей вчера, а во-вторых, подумал, что ей, пожалуй, и целой ночи не хватит на то, чтобы углубиться в себя и поразмыслить *над этим великим событием*, пусть бы вы даже вторично упрекнули меня за это выражение.

Я надеялся, что еще сегодня утром успею переслать вам ответ моей возлюбленной. Но сейчас уже около полудня, а я еще ничего не получил. Я подожду до пяти часов, и, если к тому времени не будет никаких известий, сам за ними отправлюсь. Ибо только первый шаг труден, особенно когда оказываешь внимание.

А теперь, как вы сами понимаете, я тороплюсь узнать конец истории этого вашего знакомого, на которого пало ужасное подозрение, будто он в случае надобности не способен пожертвовать женщиной. Исправится ли он? Простит ли ему великодушная приятельница?

Однако я не в меньшей степени желаю получить ваш *ультиматум*, как вы выразились на языке высокой дипломатии! Особенно же любопытно мне знать, не обнаружите ли вы любви и в этом последнем моем поступке. О, конечно, она в нем есть, и в большом количестве! Но к кому? Впрочем, я не хочу хвастаться и все свои надежды возлагаю на вашу доброту.

Прощайте, прелестный друг мой. Письмо это я запечатаю не раньше двух, в надежде, что смогу присовокупить к нему желанный ответ.

*В два часа пополудни.*

По-прежнему ничего, а ждать больше нельзя – нет времени добавить хоть одно слово. Но отвергнете ли вы и на этот раз нежные поцелуи любви?

*Париж, 27 ноября 17...*

## **Письмо 143. От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд**

Сорвана завеса, сударыня, на которой написана была обманчивая картина моего счастья. Роковая правда открыла мне глаза, и я вижу перед собой неминуемую близкую смерть, путь к которой лежит между стыдом и раскаянием. Я пойду по этому пути... и мучения мои будут мне дороги, если они сократят мое существование. Посылаю вам полученное мною вчера письмо. Добавлять к нему ничего не стану: оно само за себя говорит. Сейчас уже не до жалоб – остается лишь страдать. Мне нужна не жалость, а силы.

Примите, сударыня, мое последнее прощание – прощаюсь я только с вами, – и исполните мою последнюю просьбу: предоставьте меня моей участи, позабудьте обо мне, не числите меня больше среди живых. В горе есть некая черта, за которой даже дружба лишь усиливает наши страдания и не может их исцелить. Когда раны смертельны, всякая попытка лечить их бесчеловечна. Мне отныне чужды все чувства, кроме отчаяния. Для меня теперь нет ничего – только глубокая ночь, в которой я хочу похоронить свой позор. Там стану я плакать о грехах своих, если еще смогу плакать! Ибо со вчерашнего дня я не пролила и слезинки. В моем увядшем сердце их больше нет.

Прощайте, сударыня. Не отвечайте мне. Я дала клятву на этом жестоком письме – больше их не получать.

*Париж, 27 ноября 17...*

## Письмо 144. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Вчера в три часа пополудни, прелестный мой друг, потеряв в ожидании известий терпение, я явился к покинутой прелестнице; мне сказали, что ее нет дома. Усмотрев в этой фразе только отказ принять меня, чем я не был ни удивлен, ни задет, я удалился в надежде, что мое появление вынудит столь учтивую женщину удостоить меня хотя бы одним ответным словом. Мне так хотелось получить его, что я нарочно зашел домой около девяти часов вечера, но так ничего и не нашел. Удивленный этим молчанием, которого отнюдь не ожидал, я послал своего егеря за новостями и поручил ему узнать, уж не умерла ли эта чувствительная особа или, быть может, умирает? Словом, когда я окончательно вернулся домой, он сообщил мне, что госпожа де Турвель действительно уехала в одиннадцать утра в сопровождении горничной, что везти себя она велела в монастырь \*\*\* и в семь часов вечера отослала обратно карету и своих людей, велев передать, чтобы дома ее не ждали. Разумеется, это полное соблюдение приличий. Монастырь – лучшее убежище для вдовы. И если она станет упорствовать в столь похвальном намерении, я смогу прибавить ко всему, чем я ей уже обязан, еще и огласку, которую несомненно получит это приключение.

Я ведь не так давно говорил вам, что, вопреки всем вашим тревогам, возвращусь на сцену большого света лишь в ореоле новой славы. Пусть же они покажутся, строгие критики, обвинявшие меня в том, что я поддался мечтательной и несчастной любви, пусть они похвалятся более стремительным и блестящим разрывом, нет – пусть они сделают больше и предстанут в качестве утешителей, тропа для них проторена. Так вот, пусть они решатся сделать хотя бы один шаг на том пути, который я прошел до конца, и если хоть один из них добьется малейшего успеха, я уступлю им пальму первенства. Но все они на собственном опыте узнают, что, когда я берусь за что-нибудь основательно, оставленное мною впечатление неизгладимо. А уж это впечатление будет таковым, и если подле этой женщины у меня появится счастливый соперник, я сочту все свои прежние победы за ничто. Решение, которое она приняла, конечно, льстит моему самолюбию, но мне досадно, что она нашла в себе достаточно силы, чтобы так отдалиться от меня. Значит, между нами могут быть не только те препятствия, которые поставил бы я сам! Как, если бы я захотел снова сблизиться с нею, она могла бы не захотеть? Что я говорю? Она могла бы не испытывать такого желания? Не считать нашей близости высшим для себя блаженством? Да разве так любят? И вы полагаете, прелестный друг мой, что я должен это стерпеть? Разве не смог бы я, например, и разве не было бы лучше попытаться вернуть эту женщину к мысли о возможности примирения, которое всегда желанно, пока есть надежда? Я мог бы сделать такую попытку, не придавая этому особого значения, и, следовательно, не вызывая у вас каких-либо сомнений. Напротив! Это был бы опыт, проведенный нами совместно, и даже если бы он удался, то явился бы только лишним поводом вторично принести по вашему повелению жертву, которая вам как будто показалась угодной. А теперь, прелестный друг мой, мне остается только получить за нее награду, и единственное, чего я желаю, – это ваше возвращение. Вернитесь же поскорее к своему возлюбленному, к своим забавам, к своим друзьям и к дальнейшим приключениям.

Приключение с малюткой Воланж приняло отличнейший оборот. Вчера, когда беспокойство не давало мне усидеть на одном месте, я, побывав в самых различных местах, забежал и к госпоже де Воланж. Вашу подопечную я нашел уже в гостиной: она была еще в туалете больной, но уже на пути к полному выздоровлению и от этого еще более свежая и привлекательная. Вы, женщины, в подобном случае целый месяц валялись бы в шезлонге. Честное слово, да здравствуют девицы! Эта, по правде говоря, вызвала во мне желание узнать, завершено ли выздоровление.

Должен еще сообщить вам, что беда, случившаяся с девочкой, едва не свела с ума вашего чувствительного Дансени. Сперва от горя, теперь – от радости. *Его Сесиль* была больна! Вы сами понимаете, что от такой беды голова пойдет кругом. Трижды в день он посылал за новостями, и не проходило дня, чтобы он не явился лично. Наконец, он написал мамаше витиеватое послание с просьбой разрешить поздравить ее с выздоровлением столь дорогого ее сердцу создания. Госпожа де Воланж изъявила согласие, и я застал молодого человека водворившимся на прежних основаниях, – недоставало лишь непринужденности, на которую он пока не решался.

Эти подробности я узнал от него самого, ибо вышел от них вместе с ним и вызвал его на разговор. Вы и представить себе не можете, какое воздействие оказал на него этот визит. Его радость, желания, восторги – непередаваемы. Я же такой любитель сильных переживаний, что окончательно вскружил ему голову, пообещав, что очень скоро устрою ему возможность увидеть его красотку еще ближе.

И правда, я решил передать ему ее, как только завершу свой опыт. Ибо я хочу целиком посвятить себя вам. И потом – стоило ли вашей подопечной стать моей ученицей, если ей предстояло бы обманывать лишь своего мужа? Высшее достижение – изменить любовнику, притом первому своему любовнику! Ибо я не могу упрекнуть себя в том, что произнес слово *любовь*.

Прощайте, прелестный друг мой. Возвращайтесь как можно скорее упиться вашей властью надо мною, получить от меня выражение преданности и уплатить мне положенную награду.

*Париж, 28 ноября 17...*

## **Письмо 145. От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону**

Это правда, виконт, вы бросили президентшу? Вы послали ей письмо, которое я вам для нее сочинила? Право же, вы очаровательны и превзошли все мои ожидания! Чистосердечно признаю, что эта победа льстит мне больше всех, которые я когда-либо одерживала. Вы, может быть, найдете, что я очень уж высоко ценю эту женщину, которую прежде так недооценивала? Нисколько. Ведь победу-то я одержала вовсе не над ней, а над вами. Вот что забавно и поистине восхитительно.

Да, виконт, вы сильно любили госпожу де Турвель, вы даже и теперь любите ее, безумно любите, но из-за того, что меня забавляло стыдить вас этой любовью, вы мужественно пожертвовали ею. Вы бы и тысячу женщин пожертвовали, лишь бы не снести насмешку. Вот ведь куда заводит нас тщеславие! Лесаж прав, когда говорит, что оно – враг счастья.

Хороши были бы вы теперь, если бы я намеревалась только подшутить над вами! Но я не способна обманывать, вы это хорошо знаете. И даже если бы вы и меня довели до отчаяния, до монастыря, я готова идти на риск и сдать своему победителю.

Однако если я и капитулирую, то это – чистейшее проявление слабости, ибо, захоти я прибегнуть к уверткам, сколько бы их у меня нашлось! И, может быть, даже вполне обоснованных. Меня, например, восхищает, как тонко или, наоборот, как неловко предлагаете вы мне потихоньку-полегоньку разрешить вам возобновить связь с президентшей. Как было бы удобно, не правда ли, сохранить за собой заслугу разрыва, не теряя всех радостей обладания? И так как эта кажущаяся жертва уже ничего бы вам не стоила, вы предлагаете принести ее вторично, как только я потребую! Такая сделка позволяла бы божественной святоше по-прежнему считать себя единственной избранницей вашего сердца, а мне – гордиться тем, что я счастливая соперница: обе мы были бы обмануты, но зато вы – довольны, а что вам до всего остального?

Жаль, что при таких способностях к составлению планов вы столь слабы насчет их осуществления и что одним лишь необдуманном поступком сами поставили непреодолимое препятствие к тому, чего вам больше всего хотелось бы.

Как! Вы думали возобновить свою связь и все же послали ей сочиненное мною письмо! Верно, вы и меня тоже сочли очень уж неловкой! Ах, поверьте мне, виконт, когда одна женщина наносит удар в сердце другой, она редко не попадает в самое уязвимое место, и такая рана не заживает. Нанося удар этой женщине или, вернее, направляя ваши удары, я не забывала, что она – моя соперница, что была минута, когда вы предпочли ее мне, и, наконец, что вы сочли меня ниже ее. Если мщение мое не удалось, я готова признать свою вину. Так, я согласна, чтобы вы испробовали все способы вернуть ее, я даже призываю вас к этому и обещаю не сердиться на ваши успехи, если вы их одержите. На этот счет я настолько спокойна, что не хочу больше заниматься этим. Поговорим о чем-нибудь другом.

Например, о здоровье малютки Волянж. По моем возвращении вы дадите мне самые точные сведения о нем, не правда ли? Я очень хотела бы иметь их. А затем предоставлю вам самому решать, передадите ли вы девочку ее возлюбленному или же вторично попытаетесь стать родоначальником новой ветви Вальмонов под именем Жеркуров. Мысль эта представляется мне забавной, и, оставляя за вами право выбора, я все же прошу вас ничего не решать окончательно, пока мы с вами об этом не переговорим. До этого недалеко, ибо я очень скоро буду в Париже. Не могу назвать вам точно дня, но не сомневайтесь, что по приезде моем вы будете извещены о нем первый.

Прощайте, виконт. Несмотря на мои ссоры с вами, мои козни и упреки, я по-прежнему очень люблю вас и намереваюсь это доказать. До свидания, друг мой.

*Из замка \*\*\*, 29 ноября 17...*

## **Письмо 146. От маркизы де Мертей к кавалеру Дансени**

Наконец я уезжаю отсюда, мой юный друг, и завтра к вечеру буду в Париже. Перемена местожительства всегда вызывает беспорядок, поэтому я никого не намерена принимать. Однако, если вы хотите сообщить мне что-либо неотложное, я готова сделать для вас исключение из общего правила, но сделаю его только для вас, и потому прошу сохранить мой приезд в секрете. Даже Вальмону о нем не будет известно.

Если бы совсем немного времени назад мне сказали, что вскоре вы станете пользоваться у меня исключительным доверием, я бы просто посмеялась. Но ваша доверчивость вызвала и мою. Начинаешь невольно думать, что вы проявили какую-то ловкость и даже как бы обольстили меня. Это было бы по меньшей мере неблагоприятно! Впрочем, обольщение это теперь не представляло бы для меня опасности: у вас есть дела и поважнее! Когда на сцене появляется героиня, никто не обращает внимания на наперсницу.

Итак, у вас не хватило даже времени сообщить мне о последних ваших успехах. Когда ваша Сесиль отсутствовала, все дни были слишком короткими для ваших чувствительных жалоб. Если бы я не выслушивала их, вы жаловались бы эху. Когда она потом заболела, вы тоже оказывали мне честь, поверяя свои тревоги: вам ведь надо было изливать их кому-нибудь. Но теперь, когда та, кого вы любите, в Париже, когда она здорова и в особенности когда вы ее изредка видите, она заменяет вам всех, и друзья ваши для вас уже ничто.

Говорю я это не в осуждение: вам ведь всего двадцать лет. Всем известно, что, начиная с Алкивиада<sup>114</sup> и кончая вами, молодые люди только в горестях ценят дружбу. Счастье порою

---

<sup>114</sup> Алкивиад – политический и военный деятель Афин конца V в. до н. э., принадлежавший к демократической партии и несколько раз возглавлявший афинские вооруженные силы в войне со Спартой. Имея в Афинах много врагов, всячески вредивших ему своими происками, Алкивиад не раз в отсутствие свое подвергался осуждению и изгнанию. В молодости он

делает их нескромными, но никогда не вызывает у них потребности в излишних. Я сказала бы, подобно Сократу: «Я люблю, когда мои друзья прибегают ко мне в несчастии»<sup>115</sup>, но в качестве философа он отлично без них обходился, когда они не появлялись. В этом отношении я не так мудра, как он, и, будучи слабой женщиной, несколько огорчилась вашим молчанием.

Но не считайте меня требовательной: как раз требовательности-то мне и недоставало! То же чувство, благодаря которому я замечаю эти лишения, дает мне силу мужественно переносить их, когда они являются доказательством или причиной счастья друзей. Поэтому я рассчитываю на вас завтра вечером лишь в том случае, если любовь ваша предоставит вам свободу и досуг, и запрещаю вам идти ради меня на какие-либо жертвы.

*Из замка \*\*\*, 29 ноября 17...*

## **Письмо 147. От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд**

Вы, без сомнения, будете огорчены так же, как и я, достойный мой друг, когда узнаете о состоянии, в котором находится госпожа де Турвель. Со вчерашнего дня она больна; болезнь ее началась так внезапно и с такими тяжелыми признаками, что я до крайности встревожена. Сильнейший жар, буйный, почти не прекращающийся бред, неутолимая жажда – вот что у нее наблюдается. Врачи говорят, что предсказать пока ничего невозможно, а лечение представляется весьма затруднительным, так как больная отказывается от всякой медицинской помощи: чтобы пустить кровь, пришлось силой держать ее, и к этому же прибегнуть еще два раза, чтобы снова наложить повязку, которую она, находясь в бреду, все время старается сорвать.

Вы, как и я, привыкли считать ее слабой, робкой и кроткой, но представьте себе, что сейчас ее едва могут сдерживать четыре человека, а малейшая попытка каких-либо уговоров вызывает неопишемую ярость! Я опасюсь, что тут не просто бред, что это может оказаться настоящим умопомешательством.

Опасения мои на этот счет еще увеличились от того, что произошло позавчера.

В тот день она в сопровождении горничной прибыла в монастырь... Так как она воспитывалась в этой обители и сохранила привычку ездить туда от времени до времени, ее приняли, как всегда, и она всем показалась спокойной и здоровой. Часа через два она спросила, свободна ли комната, которую она занимала, будучи пансионеркой, и, получив утвердительный ответ, попросила разрешения пойти взглянуть на нее. С нею пошли настоятельница и несколько монахинь. Тогда она и заявила, что хочет вновь поселиться в этой комнате, что ей вообще не следовало ее покидать, и добавила, что не выйдет отсюда *до самой смерти* – так она выразилась.

Сперва не знали, что и сказать ей, но, когда первое замешательство прошло, ей указано было, что она замужняя женщина и не может быть принята без особого разрешения. Ни этот довод, ни множество других не возымели действия, и с этой минуты она стала упорствовать в отказе не только оставить монастырь, но и эту комнату. Наконец, после долгой борьбы, в семь часов вечера дано было согласие на то, чтобы она провела в ней ночь. Карету ее и слуг отослали домой, а решение, как же быть дальше, отложили до завтра.

Уверяют, что весь вечер ни в ее внешности, ни в поведении не только не замечалось ничего странного, но что она была сдержанна, рассудительна и только раза четыре или пять

---

был другом и учеником Сократа.

<sup>115</sup> Мармонтель, «Нравоучительная история об Алкивиаде». Мармонтель – Жан-Франсуа Мармонтель (1723–1799), французский писатель, прогрессивный мыслитель, автор трагедий, романов и нескольких сборников новелл «Нравоучительные истории», к числу которых относится и упомянутая в данном письме повесть об Алкивиаде («Alcibiade ou de moi»). Сюжет повести – любовные похождения юного Алкивиада, который добивается бескорыстной любви «ради себя самого». Беспрепятственно разочаровываясь в женщинах, Алкивиад в конце концов приходит к Сократу за советом. Шодерло де Лакло и на этот раз цитирует Мармонтеля не совсем точно, но общий смысл фразы, сказанной Сократом, сохранен.

погружалась в такую глубокую задумчивость, из которой ее трудно было вывести, даже заговаривая с ней, и что всякий раз, прежде чем вернуться к действительности, она подносила обе руки ко лбу, словно пытаясь как можно сильнее сжать его. Одна из находившихся тут же монахинь обратилась к ней с вопросом, не болит ли у нее голова. Прежде чем ответить, она долго и пристально смотрела на спросившую и, наконец, сказала: «Болит совсем не там!» Через минуту она попросила, чтобы ее оставили одну и в дальнейшем не задавали ей никаких вопросов.

Все удалились, кроме горничной, которой, к счастью, пришлось ночевать в той же комнате за отсутствием иного помещения!

По словам этой девушки, госпожа ее была довольно спокойна до одиннадцати вечера. В одиннадцать она сказала, что ляжет спать, но, еще не вполне раздевшись, принялась быстро ходить взад и вперед по комнате, усиленно жестикулируя. Жюли, которая видела все то, что происходило днем, не осмелилась ничего сказать и молча ждала около часа. Наконец, госпожа де Турвель дважды, раз за разом, позвала ее. Та успела только подбежать, и госпожа упала ей на руки со словами: «Я больше не могу». Она дала уложить себя в постель, но не пожелала ничего принять и не позволила звать кого-либо на помощь. Она велела только поставить подле себя воду и сказала, чтобы Жюли ложилась.

Та уверяет, что часов до двух утра не спала и в течение всего этого времени не слышала никаких жалоб, никаких движений. Но около пяти утра ее разбудил голос госпожи, которая что-то громко и резко говорила. Жюли спросила, не нужно ли ей чего-нибудь, но, не получив ответа, взяла свечу и подошла к кровати госпожи де Турвель, которая не узнала ее, но, внезапно прервав свои бессвязные речи, с горячностью вскричала: «Пусть меня оставят одну, пусть меня оставят во мраке, я должна быть во мраке». Вчера я и сама отметила, что она часто повторяет эту фразу.

Жюли воспользовалась этим своего рода приказанием и вышла, чтобы позвать людей, которые могли бы оказать помощь, но госпожа де Турвель отвергла ее с иступленной яростью, в которую с тех пор так часто впадает.

Все случившееся повергло монастырь в такое замешательство, что настоятельница решила послать за мной вчера в семь часов утра. Было еще темно. Я примчалась тотчас же. Когда обо мне доложили госпоже де Турвель, она как будто пришла в себя и сказала: «Ах, да, пусть войдет!» Но когда я очутилась у ее кровати, она пристально посмотрела на меня, быстро схватила мою руку и, сжав ее, сказала мне громким, мрачным голосом: «Я умираю потому, что не поверила вам». И сразу вслед за тем, закрыв глаза рукой, принялась повторять одну и ту же фразу: «Пусть меня оставят одну» – и т. д., пока не потеряла сознания.

Эти обращенные ко мне слова и еще некоторые, вырвавшиеся у нее в бреду, наводят меня на мысль, что эта тяжелая болезнь имеет причину еще более тяжкую. Но отнесемся с уважением к тайне нашего друга и ограничимся состраданием к ее беде.

Весь вчерашний день прошел так же бурно, в ужасающих приступах, сменявшихся полным упадком сил, напоминающим летаргию; лишь в эти минуты она сама вкушает – и дает другим – известный покой. Я покинула изголовье ее постели лишь в десять вечера с тем, чтобы вернуться сегодня утром на весь день. Разумеется, я не оставлю моего несчастного друга, но то, что она упорно отказывается от всяких забот о ней, от всякой помощи, вызывает просто отчаяние.

Посылаю вам ночной бюллетень, только что мною полученный, – как вы увидите, он отнюдь не утешителен. Я позабочусь, чтобы и вам их аккуратно посылали.

Прощайте, достойный мой друг, спешу к больной. Моя дочь, которая, к счастью, почти совсем поправилась, свидетельствует вам свое уважение.

*Париж, 29 ноября 17...*

## Письмо 151. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Полагаю, маркиза, что вы не считаете меня совершенным простаком, которого легко можно провести, заставив поверить в то, будто Дансени сегодня вечером по какой-то *непостижимой случайности* очутился у вас и находился вдвоем с вами, когда я пришел! Конечно, ваше искусственное в притворствах лицо отлично сумело принять невозмутимо спокойное выражение, и, конечно, вы не выдали себя ни единым словом, которое иногда вырывается у нас в момент волнения или раскаяния. Я готов даже согласиться, что ваши послушные взоры отлично повиновались вам, и если бы они сумели заставить поверить себе, как они заставили понять себя, я не только не возымел бы и не сохранил бы ни малейшего подозрения, но даже ни на мгновение не усомнился бы, что *докучное присутствие третьего лица* вас крайне огорчает. Однако, чтобы такие замечательные таланты не пропали даром, чтобы они достигли желаемого успеха, чтобы, наконец, создать то впечатление, на которое вы рассчитывали, надо было сперва основательно обучить вашего неопытного любовника.

Раз уж вы взялись за воспитание несовершеннолетних, научите своих воспитанников не краснеть и не теряться от малейшей шутки, не отрицать с такой горячностью то самое, от чего они так вяло защищаются, когда речь идет обо всех других женщинах. Научите их также спокойно выслушивать похвалы, расточаемые их любовнице, и не считать, что им следует выказывать благодарность хвляющему, а если вы уж позволяете им смотреть на вас в обществе, пусть они хотя бы сперва научатся не выдавать себя взглядом, явно свидетельствующим о том, что они вами обладают, который они путают со взглядом, выражающим их любовь.

Тогда вы сможете позволять им находиться вместе с вами в обществе и не подвергнетесь при этом опасности, что поведением своим они повредят учителю. Я сам, радуясь, что смогу поспособствовать вашей известности, обещаю составить и опубликовать учебные программы этого нового коллежа. Но до того должен признаться, что удивляюсь, как это вы именно меня решили принять за школьника. О, как я уже был бы отомщен, если бы речь шла о другой женщине! Какое удовольствие доставила бы мне месть! И насколько это удовольствие превзошло бы то, которого она думала меня лишить! Да, только ради вас одной я могу предпочесть мести примирение, и не воображайте, что удерживает меня хоть малейшее колебание, хоть малейшая неуверенность.

Вы в Париже уже четыре дня, и каждый день вы виделись с Дансени и принимали только его одного. И сегодня доступ к вам тоже был закрыт, но, чтобы помешать мне добраться до вас, швейцару вашему не хватило только вашей выдержки. А ведь вы мне писали, чтобы я не сомневался, что первым буду знать о вашем приезде, том самом приезде, о точном дне которого вы еще не могли меня известить, хотя писали накануне своего отъезда. Станете ли вы отрицать эти факты или попытаетесь найти себе оправдание? И то и другое в равной степени невозможно, а тем не менее я еще сдерживаюсь! Можете признать в этом свою власть, но послушайтесь моего совета – удовлетворитесь тем, что испытали ее, и больше ею не злоупотребляйте. Мы хорошо знаем друг друга, маркиза. Этих слов вам должно быть достаточно.

Завтра вас целый день не будет дома, сказали вы мне? Пусть так, если вас действительно дома не будет, а вы можете не сомневаться, что я это узнаю. Но, так или иначе, вечером вы вернетесь домой, а заключить мир будет для нас делом настолько нелегким, что и до самого утра времени не хватит. Поэтому известите меня, у вас ли на дому или *там* совершатся наши взаимные и многочисленные искупительные обряды. Однако прежде всего – покончим с Дансени. Мысль о нем засела в вашей сумасбродной голове, и я могу не ревновать к этому бреду вашей фантазии. Но вы должны понять: сейчас то, что было лишь прихотью, станет явным предпочтением, а я не считаю себя созданным для такого унижения и не жду его от вас.



Надеюсь к тому же, что вы и не посчитаете это за особую жертву. Но даже если бы она вам чего-то и стоила, мне кажется, я подал вам блестящий пример! Женщина, полная чувства, красивая, жившая только для меня и, может быть, в настоящую минуту умирающая от любви и отчаяния, уж, наверно, стоит юного школьника, не лишенного, если хотите, привлекательности и ума, но еще не имеющего ни опыта, ни выдержки.

Прощайте, маркиза, не говорю вам ничего о моих чувствах к вам. Все, что я могу в данную минуту, – это не заглядывать в тайники своего сердца. Жду вашего ответа. И когда вы будете писать его, подумайте, хорошенько подумайте, что чем легче для вас заставить меня забыть нанесенную вами мне обиду, тем неизгладимее запечатлеет ее в моем сердце отказ или даже простая отсрочка.

*Париж, 3 декабря 17...*

## **Письмо 152. От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону**

Будьте осторожны, виконт, и щадите мою крайнюю робость! Могу ли я перенести гнетущую мысль, что заслужила ваш гнев, а главное, не сразит ли меня окончательно страх перед вашим мщением? Тем более, что – вам это отлично известно, – если вы учините мне какую-нибудь каверзу, я не буду иметь никакой возможности ответить вам тем же. Сколько бы и что бы я ни оглашала, вы сможете по-прежнему вести ту же безмятежную блестящую жизнь. И правда, ну чего вам страшиться? Оказаться вынужденным бежать, если у вас на то будет время? Но разве за границей нельзя жить не хуже, чем здесь! И во всяком случае, если французский двор не станет тревожить вас при том дворе, где вы устроитесь, для вас это будет лишь переменной места ваших побед. Теперь, когда этими моральными соображениями я попыталась вернуть вам хладнокровие, возвратимся к нашим делам.

Знаете ли вы, виконт, почему я не вышла вторично замуж? Уж, наверно, не потому, что мне не представлялись выгодные партии, а единственно для того лишь, чтобы никто не имел права перечить моим поступкам. И дело даже не в том, что я опасалась не иметь возможности поступать, как я хочу, – в конце-то концов я бы всегда настояла на своем, – но меня бы стесняло даже то, что кто-то мог мне в чем-либо попенять. И, наконец, потому, что я хотела обманывать лишь для собственного удовольствия, а не по необходимости. И вдруг вы пишете мне самое что ни на есть супружеское письмо! Говорите в нем только о моих провинностях и о вашей снисходительности. Но как можно быть виновной перед тем, перед кем не имеешь вообще никаких обязательств? Я просто не могу этого понять! Посудите сами, о чем идет речь? Вы застали у меня Дансени, и вам это не понравилось? На здоровье! Но какие выводы вы из этого сделали? Либо это вышло случайно, как я вам и сказала, либо на то была моя воля, чего я вам не говорила. В первом случае письмо ваше несправедливо, во втором оно смехо творно – так стоило ли его писать! Но вы приревновали, а ревность не рассуждает.

Либо у вас есть соперник, либо нет. Если он есть, надо понравиться настолько, чтобы вам оказали предпочтение. Если нет, опять же надо понравиться, чтобы соперника не появилось. В обоих случаях следует вести себя одинаково. Зачем же мучить себя? А главное – зачем мучить меня? Разве вы разучились быть самым очаровательным из поклонников? И разве вы утратили веру в себя? Нет, виконт, вы плохо судите о самом себе. Но, впрочем, это не так. Дело в том, что, по вашему мнению, я не стою таких трудов. Вам не столько нужна моя благосклонность, сколько вы хотели бы злоупотребить своей властью. Вы просто неблагодарный. Смотрите-ка, я, кажется, впадаю в чувствительность. Еще немного – и это письмо, пожалуй, станет весьма нежным. Но вы этого не заслуживаете.

Не заслуживаете вы и того, чтобы я стала оправдываться. В наказание за ваши подозрения – сохраняйте их. Поэтому ни о времени своего возвращения в Париж, ни о визитах Дансени я вам ничего не скажу. Вам, кажется, стоило немалого труда разузнать обо всем, не правда

ли? Что ж, много вам это дало? Желаю от всей души, чтобы вы получили от этого как можно больше удовольствия: моему удовольствию оно, во всяком случае, не помешало.

Вот единственное, что я могу ответить на ваше угрожающее письмо: ему не суждено было понравиться мне, а посему в настоящее время я менее всего расположена удовлетворить ваши просьбы.

По правде говоря, принять вас таким, каким вы себя показали, значило бы по-настоящему изменить вам. Это означало бы не возобновить связь с прежним любовником, а взять другого, гораздо менее стоящего. Но я не настолько забыла первого, чтобы до такой степени обмануться. Тот Вальмон, которого я любила, был очарователен. Готова даже признать, что никогда не встречала человека, более достойного любви. Ах, прошу вас, виконт, если вы с ним повстречаетесь, приведите его ко мне: он-то всегда будет хорошо принят.

Однако предупредите его, что это ни в коем случае не может быть сегодня или завтра. Его *Менехм*<sup>116</sup> несколько повредил ему. Поторопившись, я боюсь ошибиться: а может быть, эти два дня обещаны Дансени?

Ваше же письмо учит меня, что вы не шутите, когда мы изменяем данному нами слову. Итак, вы сами видите, что придется подождать.

Но не все ли вам равно? Вы же отлично отомстите своему сопернику. Хуже, чем вы поступили с его возлюбленной, он с вашей не поступит. И в конце концов разве одна женщина не стоит другой? Это ведь ваши же правила. И даже та, *полная чувства, красивая, которая могла бы жить только для вас и умереть от любви и отчаяния*, – даже она была бы принесена в жертву первой прихоти, опасению, что вы на миг станете мишенью случайной насмешки. И после этого вы хотите, чтобы с вами стеснялись! Знаете, это просто несправедливо.

Прощайте, виконт, станьте снова достойным любви. Право же, я больше всего хотела бы вновь найти вас очаровательным. И как только приду к такому убеждению, даю слово доказать вам это. Согласитесь, что я еще слишком добра.

*Париж, 4 декабря 17...*

## **Письмо 153. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей**

Немедленно отвечаю на ваше письмо и постараюсь быть до конца ясным, хотя с вами это нелегко, раз вы решили не понимать.

Не было нужды в длинных речах для того, чтобы стало ясно, что, если у каждого из нас имеется в руках все необходимое, дабы погубить другого, обоим нам в равной степени выгодно щадить друг друга. Да и не в этом дело. Но, кроме отчаянного решения о взаимной гибели и несомненно более разумного – оставаться в союзе, как и прежде, и даже еще крепче объединиться, возобновив нашу старую связь, – кроме, повторяю, этих двух решений, может быть множество других. Поэтому вовсе не смешно было сказать вам и отнюдь не смешно повторить, что с этого дня я либо ваш любовник, либо враг.

Я отлично понимаю, что такой выбор вам не по вкусу, что вам милее всякие проволочки, и мне небезызвестно, что вы никогда не любили говорить «да» или «нет». Но и вы должны понимать, что я не могу выпустить вас из этого тесного кольца, не рискуя быть обманутым, и должны были также предвидеть, что я этого не потерплю. Теперь уже решать вам. Могу предоставить вам выбор, но не желаю оставаться в неизвестности.

Предупреждаю вас только, что вы не собьете меня с толку своими рассуждениями, удачными или неудачными, что не сумеете и опутать меня лестью, которою вы хотите приукрасить

---

<sup>116</sup> *Менехмы* – персонажи комедии греческого драматурга Менандра (IV в. до н. э.) под тем же названием и ее римской переделки (Плавт, II в. до н. э.); комическая интрига основана в «Менехмах» на путанице, возникающей из-за сходства двух близнецов. Существует также одноименная комедия Реньера (1703).

свой отказ, – словом, что наступила пора проявить чистосердечие. С полной охотой подам вам пример и с удовольствием объявлю, что предпочитаю мир и союз. Но, если придется разорвать и то и другое, мне кажется, у меня есть на это и право, и полная возможность.

Добавлю, что малейшее препятствие с вашей стороны мною будет принято, как настоящее объявление войны. Вы видите, что ответ, которого я прошу, не требует длинных и витиеватых фраз. Достаточно двух слов.

*Париж, 4 декабря 17...*

*Ответ маркизы де Мертей, приписанный в конце того же письма:*

Ну, что ж, – война!

### **Письмо 158. От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей (вручено при ее пробуждении)**

Ну, как находите вы, маркиза, утехи истекшей ночи? Не ощущаете ли некоторого утомления? Согласитесь, что Дансени очарователен! Мальчик просто чудеса творит! Этого вы от него не ожидали, не правда ли? Ну, мне приходится отдать ему должное: такой соперник заслуживал того, чтобы ради него пожертвовали мною. Я не шучу, он полон превосходнейших качеств! В особенности же – сколько любви, постоянства, деликатности! Ах, если он полюбит вас когда-нибудь так, как любит свою Сесиль, можете не опасаться соперниц: нынче ночью он вам это доказал. Возможно, что, прибегнув к кокетству, какая-нибудь женщина и изловчится на миг похитить его у вас: молодые люди не способны сопротивляться, когда их умело соблазняют. Но, как вы можете убедиться, одного слова любимого существа достаточно, чтобы рассеять обман чувств. Таким образом, для полноты счастья вам не хватает только одного – быть этим существом.

Конечно, вы на этот счет не ошибетесь: у вас слишком много проницательности, чтобы следовало за вас опасаться. Однако взаимная наша дружба, столь же чистосердечная с моей стороны, сколь и признанная с вашей, заставила меня пожелать, чтобы вы подверглись испытанию минувшей ночи. Я выказал некоторое усердие, и труд мой увенчался успехом. Но не надо благодарить меня: не могло быть ничего легче.

И правда, чего мне это стоило? Небольшой жертвы и некоторой ловкости. Я согласился разделить с молодым человеком милости его возлюбленной. Но в конце концов он имел на них не меньше прав, чем я, а мне это было так безразлично! Письмо, которое написала ему юная особа, продиктовал, разумеется, я, но сделал это исключительно ради сбережения времени, которое мы с ней употребили гораздо лучше. А то послание, которое присовокупил я, – о, сущие пустяки, почти ничего: несколько дружеских соображений, чтобы помочь неопытному любовнику сделать выбор. Но, по чести говоря, они оказались совершенно бесполезными; нечего скрывать правду – он ни минуты не колебался.

Чистосердечие его при всем том таково, что он намерен сегодня явиться к вам и обо всем поведать. Уверен, что рассказ этот доставит вам огромное удовольствие! Он заявил мне, что скажет вам: «*Читайте в моем сердце*»; вы отлично понимаете, насколько это исправит дело. Надеюсь, что, читая в нем все, что он захочет, вы также, может быть, прочитаете, что столь юные любовники представляют свои неудобства, а также и то, что лучше иметь меня другом, чем врагом.

Прощайте, маркиза, до ближайшей приятной встречи.

*Париж, 6 декабря 17...*

### **Письмо 159. От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону (записка)**

Я не люблю, когда скверные поступки сопровождаются скверными шутками: это и не в моем вкусе, и не в моих обычаях. Когда я недовольна кем-нибудь, я не высмеиваю его, я делаю лучше: мщю. Как бы вы ни были собою довольны в данную минуту, не забывайте, что не в первый раз вы заранее – и в полном одиночестве – рукоплещете себе в предвкушении победы, которая ускользает из ваших рук в тот самый миг, когда вы себя с нею поздравляете. Прощайте.

*Париж, 6 декабря 17...*

### **Письмо 160. От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд**

Я пишу вам из комнаты нашего несчастного друга. Положение ее приблизительно такое же, как и было. Сегодня днем должен состояться консилиум из четырех врачей. К сожалению, это, как вы знаете, чаще доказательство опасного состояния, чем средство для спасения.

Все же прошлой ночью она как будто приходила в сознание. Сегодня утром горничная сообщила мне, что около полуночи госпожа велела позвать ее, пожелала остаться с ней наедине и продиктовала ей довольно длинное письмо. Жюли добавила, что, пока она его запечатывала, госпожа де Турвель снова начала бредить, и девушка не знает, кому его адресовать. Сперва я удивилась, что она не уразумела этого из содержания письма. Но Жюли ответила, что боится что-нибудь напутать, а между тем госпожа велела отправить его немедленно. Тогда я взяла на себя ответственность и вскрыла конверт. В нем оказалась записка, которую я вам и посылаю и которая, действительно, никому не адресована, ибо обращена к слишком многим. Мне, впрочем, кажется, что нашему несчастному другу хотелось сперва писать Вальмону, но, сама того не замечая, она отдалась хаосу своих мыслей. Как бы то ни было, но я полагаю, что это письмо никому не следует посылать. Вам я посылаю его, потому что из него вы увидите лучше, чем я смогла бы вам рассказать, какие мысли тревожат нашу больную. Пока она будет находиться в таком сильном возбуждении, у меня не появится ни малейшей надежды. Тело с трудом поправляется, когда дух так неспокоен. Прощайте, дорогой и достойный друг. Рада за вас, что вы далеко от печального зрелища, которое постоянно у меня перед глазами. *Париж, 6 декабря 17...*

### **Письмо 161. От президентши де Турвель к... (продиктовано ею и написано рукой камеристки)**

Существо жестокое и зловредное, неужели не перестанешь ты преследовать меня? Мало тебе того, что ты измучил меня, опозорил, осквернил? Ты хочешь отнять у меня даже покой могилы? Как, и в этой обители мрака, где бесчестье заставило меня похоронить себя, нет для меня отдыха от мук и надежды? Я не молю о пощаде, которой не заслуживаю: чтобы я могла страдать, не жалуясь, достаточно, чтобы муки не превышали моих сил. Но не делай моих терзаний невыносимыми. Пусть остаются страдания, но освободи меня от жестокого воспоминания об утраченных радостях. Раз ты отнял у меня их, не воссоздавай перед моим взором их горестный образ. Я была невинна и спокойна; увидела тебя – и потеряла душевный мир, услышала тебя – и стала преступницей. Виновник моих прегрешений, какое право имеешь ты карать за них?

Где друзья, которые любили меня, где они? Мое несчастное положение приводит их в ужас. Никто из них не решается ко мне приблизиться.

Меня угнетают, а они оставляют меня без помощи! Я умираю, и никто меня не оплакивает. Мне отказано в малейшем утешении. Жалость останавливается на краю бездны, которая поглощает преступника. Раскаяние разрывает его на части, а криков его не слышно!

А ты, кого я оскорбила, ты, чье уважение ко мне еще усиливает мою пытку, ты, единственно имеющий право на возмездие, что ты делаешь вдали от меня? Приди, покарай неверную жену. Пусть меня постигнут заслуженные муки. Я уже готова была покорно снести твою месть, но у меня не хватило мужества оповестить тебя о твоём позоре. И не из желания скрыть свой грех, а от уважения к тебе. Пусть же хотя бы из этого письма узнаешь ты о моем раскаянии. Небо приняло твою сторону: оно мстит за обиду, о которой сам ты не знал. Это оно сковало мой язык, не дало вырваться словам: оно опасалось, как бы ты не простил греха, который оно хотело покарать. Оно не дало мне укрыться под покровом твоей снисходительности, которая нарушила бы его справедливость.

Неумолимое в своем мщении, оно выдало меня именно тому, кто меня погубил. Я страдаю из-за него и одновременно от него. Тщетно стремлюсь я бежать от него: он преследует меня, он тут, он не дает мне покоя. Но как он не схож с самим собой! Во взорах его нет ничего, кроме ненависти и презрения, на устах лишь хула и укор. Руки его обвивают меня, но лишь для того, чтобы разорвать на части. Кто избавит меня от его варварской свирепости?

Но ах, вот он!.. Я не ошибаюсь, я вновь вижу его. О мой любезный друг, прими меня в объятия, укрой меня на своей груди. Да, это ты, это, конечно, ты. Какой пагубный обман помешал мне узнать тебя? Как я страдала в разлуке с тобой! Не будем больше расставаться, не будем расставаться больше никогда. Дай мне вздохнуть. Слышишь, как бьется мое сердце? Ах, это уже не страх, это сладостное волнение любви. Почему уклоняешься ты от моих нежных ласк? Обрати ко мне свой ласковый взор! Но что это за узы, которые ты стараешься разорвать? Почему готовишь ты это орудие казни? Кто мог настолько изменить твои черты? Что ты делаешь? Оставь меня, я трепещу! Боже, это опять то же чудовище!

Друзья мои, не покидайте меня. Ведь вы уговаривали меня бежать от него – помогите же мне теперь его побороть. Вы же, более снисходительная, обещавшая облегчить мою муку, подойдите ко мне ближе! Где же вы обе? Если мне не позволено больше видеть вас, ответьте хотя бы на это письмо, чтобы я знала, что вы меня еще любите.

Оставь же меня, жестокий! Какая новая ярость вспыхнула в тебе? Или ты боишься, как бы хоть одно нежное чувство не проникло мне в душу? Ты удваиваешь мои муки, ты вынуждаешь меня ненавидеть тебя. О, как мучительна ненависть! Как разъедает она сердце, которое ее источает! Зачем вы мучите меня? Что вы можете еще сказать мне? Разве не вы сделали невозможным для меня и слушать вас и отвечать вам? Не ожидайте от меня больше ничего. Прощайте, сударь.

*Париж, 5 декабря 17...*

## **Письмо 162. От кавалера Дансени к виконту де Вальмону**

Мне стало известно, милостивый государь, о том, как вы со мною поступили. Знаю я также, что, не довольствуясь тем, что вы так гнусно провели меня, вы не стесняетесь громко похвалиться этим. Я видел написанное вашей рукою признание в совершенном вами предательстве. Признаюсь, сердце мое было глубоко уязвлено, и мне стало стыдно, что я сам некоторым образом способствовал вам в гнусном злоупотреблении моей слепой доверчивостью. Однако я не завидую этому постыдному преимуществу: мне только любопытно знать, во всем ли вы будете иметь надо мной подобное превосходство. И я узнаю об этом, если, как я надеюсь, вы сообразовали быть завтра между восемью и девятью утра у ворот Венсенского леса близ деревни Сен-Манде. Я позабочусь о том, чтобы там имелось все необходимое для тех объяснений, которые мне остается от вас получить.

*Париж, 6 декабря 17... вечером.  
Кавалер Дансени.*

### **Письмо 163. От господина Бертрана к госпоже де Розмонд**

С глубочайшим прискорбием выполняю я печальную обязанность сообщить вам новость, которая причинит вам столь жестокое горе. Разрешите мне сперва призвать вас к той благочестивой покорности воле провидения, которая в вас так часто всех восхищала и лишь благодаря которой мы можем переносить бедствия, усеивающие наш горестный жизненный путь.

Господин ваш племянник (боже мой, почему должен я причинить столь мучительную боль такой почтенной даме?), господин ваш племянник имел несчастье пасть сегодня утром в поединке с господином кавалером Дансени. Мне совершенно неизвестна причина их ссоры, но, судя по найденной мною в кармане господина виконта записке, которую я имею честь вам препроводить, он, по всей видимости, не является зачинщиком. А по воле всевышнего пасть суждено было ему!

Я находился в особняке господина виконта и дожидался его возвращения как раз, когда его привезли домой. Можете представить себе мой ужас, когда я увидел, как господина вашего племянника, залитого кровью, несут двое его слуг. Он получил две глубокие раны шпагой и был уже очень слаб. Господин Дансени находился тут же, и притом даже плакал. Ах, конечно, ему подобает плакать, но не поздно ли проливать слезы, когда уже совершено непоправимое зло?

Что до меня, то я не мог совладать с собой, и хотя я и маленький человек, а высказал ему все, что по этому поводу думаю. Но тут-то господин виконт и проявил истинное величие души. Он велел мне замолчать, взял за руку того, кто стал его убийцей, назвал его своим другом, поцеловал его при всех и всем нам сказал: «Приказываю вам относиться к этому господину со всем почтением, какого заслуживает благородный и доблестный человек». Вдобавок он велел передать ему в моем присутствии объемистую пачку бумаг, содержание которых мне неизвестно, но которым, насколько я знаю, он придавал огромное значение. Затем он пожелал, чтобы их на минуту оставили одних. Между тем я тотчас же велел послать за помощью, как духовной, так и мирской. Но, увы, состояние его оказалось роковым. Не прошло и получаса, как господин виконт уже потерял сознание. Над ним успели только совершить соборование и едва обряд окончился, как он испустил дух.

Боже правый! Когда при его рождении я принял на руки эту драгоценную опору столь славного дома, мог ли я предвидеть, что он скончается на моих руках и мне придется оплакивать его смерть? Смерть – столь преждевременную и злосчастную! Слезы невольно льются из моих глаз. Прошу у вас прощения, сударыня, за то, что осмеливаюсь смешивать таким образом мое горе с вашим. Но в любом сословии люди имеют сердце и чувства, и я был бы очень неблагодарным, если бы не оплакивал всю жизнь господина, проявлявшего ко мне такую доброту и оказывавшего мне такое доверие.

Завтра, после выноса, я все опечатаю, и в этом отношении вы можете на меня всецело положиться. Вам небезызвестно, сударыня, что горестное это событие делает ваше завещание недействительным и предоставляет вам свободный выбор наследника. Если я смогу быть вам полезным, прошу вас соизволить сообщить мне ваши распоряжения: я приложу все свои старания к тому, чтобы выполнить их точнейшим образом.

Остаюсь с глубочайшим уважением, сударыня, вашим покорнейшим... и проч.

*Бертран.  
Париж, 7 декабря 17...*

**Вопросы и задания:**

1. Объясните, как вы понимаете название романа Лакло.
2. Объясните, исходя из предуведомления редактора, какого воздействия на читателя ожидает автор романа. Кто, по его замыслу, является адресатом романа?
3. Лакло называют учеником и последователем Руссо. Можете ли вы обнаружить влияние этого философа и художника в тексте «Опасных связей»?

## Пьер Огюстен Карон де Бомарше (1732-1799)

### Предтекстовое задание:

Прочтите приведенный ниже отрывок из комедии Бомарше «Севильский цирюльник», определите на какие драматургические традиции опирается автор. Подумайте, какие цели преследовал Бомарше, сделав центральным персонажем пьесы представителя третьего сословия.

### Севильский цирюльник (1775)

#### Комедия в IV актах

#### Перевод Н. М. Любимова

#### Действие I, явление 2

Молодец, Фигаро!.. (*Записывает, напевая.*)

Вино и лень – мои две страсти: И дружба их мне дорога: У лени я всегда во власти, Вино же – верный мой слуга! Вино же – верный мой слуга! Вино же – верный мой слуга!

Так, так, а если к этому еще аккомпанемент, то мы тогда посмотрим, господа завистники, правда ли, будто я сам не понимаю, что пишу... (*Замечает графа.*) Я где-то видел этого аббата. (*Встает.*)

Граф (*в сторону*). Лицо этого человека мне знакомо.

Фигаро. Да нет, это не аббат! Эта горделивая благородная осанка..

Граф. Эта нелепая фигура...

Фигаро. Я не ошибся: это граф Альмавива.

Граф. Мне кажется, это плут Фигаро.

Фигаро. Он самый, ваше сиятельство.

Граф. Негодяй! Если ты скажешь хоть одно слово.

Фигаро. Да, я узнаю вас, узнаю по лестным определениям, которыми вы всегда меня награждали.

Граф. Зато я тебя не узнаю. Ты так растолстел, раздобрел...

Фигаро. Ничего не поделаешь, ваше сиятельство, – нужда.

Граф. Бедняжка! Однако чем ты занимаешься в Севилье? Ведь я же дал тебе рекомендацию в министерство и просил, чтобы тебе подыскали место.

Фигаро. Я его и получил, ваше сиятельство, и моя признательность...

Граф. Зови меня Линдором. Разве ты не видишь по этому моему маскараду, что я хочу остаться неузнанным?

Фигаро. Я удаляюсь.

Граф. Напротив. Я здесь кое-кого поджидаю, а два болтающих человека внушают меньше подозрений, чем один гуляющий. Итак, давай болтать. Какое же тебе предоставили место?

Фигаро. Министр, приняв в соображение рекомендации вашего сиятельства, немедленно распорядился назначить меня аптекарским помощником.

Граф. В какой-нибудь военный госпиталь?

Фигаро. Нет, при андалусском конном заводе.

Граф. (*со смехом*). Для начала недурно!



Фигаро. Место оказалось приличное: в моем ведении находились все перевязочные и лечебные средства, и я частенько продавал людям хорошие лошадиные снадобья...

Граф. Которые убивали подданных короля!

Фигаро. Увы! Всеисцеляющего средства не существует. Все-таки они иной раз помогали кое-кому из галисийцев, каталонцев, овернцев.

Граф. Почему же ты ушел с должности?

Фигаро. Я ушел? Она от меня ушла. На меня наговорили начальству. О зависть бледная с когтистыми руками...

Граф. Помилосердствуй, помилосердствуй, друг мой! Неужели и ты сочиняешь стихи? Я видел, как ты, стоя на коленях, что-то царапал и ни свет ни заря распевал.

Фигаро. В этом-то вся моя и беда, ваше сиятельство. Когда министру донесли, что я сочиняю любовные стишки, и, смею думать, довольно изящные, что я посылал загадки в газеты, что мои мадригалы ходят по рукам, словом, когда министр узнал, что мои сочинения с пылу с жару попадают в печать, он взглянул на дело серьезно и распорядился отрешить меня от должности под тем предлогом, что любовь к изящной словесности несовместима с усердием к делам службы.

Граф. Здраво рассудил! И ты не возразил ему на это...

Фигаро. Я был счастлив тем, что обо мне забыли: по моему разумению, если начальник не делает нам зла, то это уже немалое благо.

Граф. Ты чего-то не договариваешь. Помнится, когда ты служил у меня, ты был изрядным сорванцом...

Фигаро. Ах, боже мой, ваше сиятельство, у бедняка не должно быть ни единого недостатка – это общее мнение!

Граф. Шалопаем, сумасбродом...

Фигаро. Ежели принять в рассуждение все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли, ваше сиятельство, найдется господ, достойных быть слугами?

Граф (со смехом). Неглупо сказано. Так ты переехал сюда?

Фигаро. Не сразу...

Граф (*прерывает его*). Одну секунду... Мне показалось, что это она... Продолжай, я тебя слушаю.

Фигаро. Я вернулся в Мадрид и решил еще раз блеснуть своими литературными способностями. Театр показался мне достойным поприщем...

Граф. Боже милосердный! (*Во время следующей реплики Фигаро граф не сводит глаз с окна.*)

Фигаро. Откровенно говоря, мне непонятно, почему я не имел большого успеха: ведь я наводнил партер прекрасными работниками, – руки у них... как вальки. Я запретил перчатки, трости, все, что мешает рукоплесканиям. И даю вам честное слово, перед началом представления я проникся уверенностью, что завсегда и кофейной относятся ко мне в высшей степени благожелательно. Однако ж происки завистников...

Граф. Ага, завистники! Значит, автор провалился.

Фигаро. Как и всякий другой. Что же в этом особенного? Они меня освистали. Но если бы мне еще раз удалось заставить их собраться в зрительном зале...

Граф. То скука бы им за тебя как следует отомстила?

Фигаро. О черт, как же я их ненавижу!

Граф. Ты все еще бранишься! А знаешь ли ты, что в суде предоставляют не более двадцати четырех часов для того, чтобы ругать судей?

Фигаро. А в театре – двадцать четыре года. Всей жизни не хватит, чтобы излить мою досаду.

Граф. Мне нравится твоя забавная ярость. Но ты мне так и не сказал, что побудило тебя расстаться с Мадридом.

Фигаро. Мой ангел-хранитель, ваше сиятельство: я счастлив, что свиделся с прежним моим господином. В Мадриде я убедился, что республика литераторов – это республика волков, всегда готовых перегрызть друг другу горло, и что, заслужив всеобщее презрение смехотворным своим неистовством, все букашки, мошки, комары, критики, москиты, завистники, борзописцы, книготорговцы, цензоры, все, что присасывается к коже несчастных литераторов, – все это раздирает их на части и вытягивает из них последние соки. Мне опротивело сочинительство, я надоел самому себе, все окружающие мне опостытели, я запутался в долгах, а в карманах у меня гулял ветер. Наконец, рассудив, что ощутительный доход от бритвы лучше суетной славы пера, я оставил Мадрид. Котомку за плечи, и вот, как заправский философ, стал я обходить обе Кастилии, Ламанчу, Эстремадуру, Сьерру-Морену, Андалусию; в одном городе меня встречали радушно, в другом сажали в тюрьму, я же ко всему относился спокойно. Одни меня хвалили, другие порицали, я радовался хорошей погоде, не сетовал на дурную, издевался над глупцами, не клонил головы перед злыми, смеялся над своей бедностью, брил всех подряд и в конце концов поселился в Севилье, а теперь я снова готов к услугам вашего сиятельства, – приказывайте все, что вам заблагорассудится.

Граф. Кто тебя научил такой веселой философии?

Фигаро. Привычка к несчастью. Я тороплюсь смеяться, потому что боюсь, как бы мне не пришлось заплакать. Что это вы все поглядываете в ту сторону?

Граф. Спрячемся.

Фигаро. Зачем?

Граф. Да иди же ты, несносный! Ты меня погубишь!

### **Вопросы и задания:**

1. Какие метаморфозы претерпевает традиционный комический тип слуги в комедии «Севильский цирюльник»?

2. Укажите и проанализируйте фрагменты текста, в которых Фигаро обличает реалии общественной жизни Франции.

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Прочтите приведенный ниже знаменитый монолог Фигаро из комедии Бомарше «Женитьба Фигаро». Постарайтесь уяснить, как в пьесе преломляется идеология Просвещения. На основании приведенного фрагмента составьте психологический портрет главного героя.

## **Женитьба Фигаро** *Перевод Н. М. Любимова*

### *Действие V, явление III*

*Фигаро один, в самом мрачном расположении духа, расхаживает впотьмах.*

О женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое и коварное!..

Всякое живое существо не может идти наперекор своему инстинкту неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать?.. Отказаться наотрез, когда я сам ее об этом молил в при-

сутствии графини, а затем, во время церемонии, давая обет верности... Он посмеивался, когда читал, злодей, а я-то, как дурачок... Нет, ваше сиятельство, вы ее не получите... вы ее не получите. Думаете, что если вы – сильный мира сего, так уж, значит, и разумом тоже сильны?... Знатное происхождение, состояние, положение в свете, видные должности – от всего этого немудрено возгордиться! А много ли вы приложили усилий для того, чтобы достигнуть подобного благополучия? Вы дали себе труд родиться, только и всего. Вообще же говоря, вы человек довольно-таки заурядный. Это не то что я, черт побери! Я находился в толпе людей темного происхождения, и ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления всеми Испаниями. А вы еще хотите со мною тягаться... Кто-то идет... Это она... Нет, мне послышалось. Темно, хоть глаз выколи, а я вот тут исполняй дурацкую обязанность мужа, хоть я и муж-то всего только наполовину!

*(Садится на скамью.)* Какая у меня, однако, необыкновенная судьба! Неизвестно чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем, и всюду меня оттесняли! Я изучил химию, фармацевтику, хирургию, и, несмотря на покровительство вельможи, мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным: очертя голову устремился к театру. Лучше бы уж я повесил себе камень на шею. Я состряпал комедию из гаремной жизни. Я полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. В ту же секунду некий посланник... черт его знает чей... приносит жалобу, что я в своих стихах оскорбляю блистательную Порту, Персию, часть Индии, весь Египет, а также королевства: Барку, Триполи, Тунис, Алжир и Марокко. И вот мою комедию сняли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать и которые, избивая нас до полусмерти, обыкновенно приговаривают: «Вот вам, христианские собаки!» Ум невозможно унижить, так ему отмщают тем, что гонят его. Я пал духом, развязка была близка: мне так и чудилась гнусная рожа судебного пристава с неизменным пером за ухом. Трепеща, я собираю всю свою решимость. Тут начались споры о происхождении богатств, а так как для того, чтобы рассуждать о предмете, вовсе не обязательно быть его обладателем, то я, без гроша в кармане, стал писать о ценности денег и о том, какой доход они приносят. Вскоре после этого, сидя в повозке, я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем, у входа в этот замок, меня оставили надежда и свобода. *(Встает.)* Как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры, – очутился тогда, когда грозная опала поубавит в нем спеси! Я бы ему сказал... что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, что где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятна и что только мелкие людишки боятся мелких статей. *(Снова садится.)*

Когда им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны, а так как есть хочется не только в тюрьме, но и на воле, я опять заострил перо и давай расспрашивать всех и каждого, что в настоящую минуту волнует умы. Мне ответили, что, пока я пребывал на казенных хлебах, в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, должностных лиц, благонадежных корпораций, Оперного театра, равно как и других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо отношение, – обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров. Охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы, я печатаю объявление о новом повременном издании и для пущей оригинальности придумываю ему такое название: «Бесполезная газета». Что тут поднялось! На меня ополчился легион газетных шелкоперов, меня закрывают, и вот я опять без всякого дела. Я был на краю отчаяния, мне сосватали было одно

местечко, но, к несчастью, я вполне к нему подходил. Требовался счетчик, и посему на это место взяли танцора. Оставалось идти воровать. Я пошел в банкометы. И вот тут-то, извольте ли видеть, со мной начинают носиться, и так называемые порядочные люди гостеприимно открывают передо мной двери своих домов, удерживая, однако ж, в свою пользу три четверти барышей. Я мог бы отлично опереться, я уже начал понимать, что для того, чтобы нажить состояние, не нужно проходить курс наук, а нужно развить в себе ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, то пришлось погибать вторично. На сей раз я вознамерился покинуть здешний мир, и двадцать футов воды уже готовы были отделить меня от него, когда некий добрый дух призвал меня к первоначальной моей деятельности. Я снова взял в руки свой бритвенный прибор и английский ремень и, предоставив дым славы тем глупцам, которые только им и дышат, а стыд бросив посреди дороги, как слишком большую обузу для пешехода, заделался бродячим цирюльником и зажил беспечною жизнью. В один прекрасный день в Севилью прибыл некий вельможа, он меня узнал, я его женил, и вот теперь, в благодарность за то, что я ему добыл жену, он вздумал перехватить мою! Завязывается интрига, подымается буря. Я на волосок от гибели, едва не женюсь на собственной матери, но в это самое время один за другим передо мной появляются мои родители. *(В сильном возбуждении, встает.)* Заспорили: это вы, это он, это я, это ты. Нет, это не мы. Ну, так кто же наконец? *(Снова садится.)* Вот необычайное стечение обстоятельств! Как все это произошло? Почему случилось именно это, а не что-нибудь другое? Кто обрушил все эти события на мою голову? Я вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, и с которой сойду, сам того не желая, и я усыпал ее цветами настолько, насколько мне это позволяла моя веселость. Я говорю: моя веселость, а между тем в точности мне неизвестно, больше ли она моя, чем все остальное, и что такое, наконец, «я», которому уделяется мною так много внимания: смесь не поддающихся определению частиц, жалкое, придурковатое создание, шаловливый зверек, молодой человек, жаждущий удовольствий, созданный для наслаждения, ради куска хлеба не брезгающий никаким ремеслом, сегодня господин, завтра слуга – в зависимости от прихоти судьбы, тщеславный из самолюбия, трудолюбивый по необходимости, но и ленивый... до самозабвения! В минуту опасности – оратор, когда хочется отдохнуть – поэт, при случае – музыкант, порой – безумно влюбленный. Я все видел, всем занимался, все испытывал. Затем обман рассеялся, и, совершенно разуверившись... разуверившись... Сюзон, Сюзон, Сюзон, как я из-за тебя страдаю! Я слышу шаги... сюда идут. Сейчас все решится. *(Отходит к первой правой кулисе.)*

## Характеры и костюмы действующих лиц

**Граф Альмавива** преисполнен сознания собственного величия, но это сочетается у него с грацией и непринужденностью. Испорченная его натура не должна оказывать никакого влияния на безукоризненность его манер. Мужчины из высшего общества смотрели на свои любовные похождения, как на забаву, – это было вполне в обычаях того времени.

Роль графа особенно трудно играть потому, что он неизменно оказывается в смешном положении, но когда в этой роли выступил превосходный актер (г-н Моле), то она оттенила все прочие роли и обеспечила пьесе успех.

В первом и втором действиях граф в охотничьем костюме и высоких сапогах, какие в старину носили в Испании. Начиная с третьего действия и до конца пьесы на нем великолепный испанский костюм.

**Графиня**, волнуемая двумя противоположными чувствами, должна быть осторожна в проявлениях своей чувствительности и крайне сдержанна в своем гневе; главное, в ней не должно быть ничего такого, что наносило бы в глазах зрителя ущерб ее обаянию и ее нрав-

ственности. В этой роли, одной из наиболее трудных в пьесе, обнаружилось во всем своем блеске громадное дарование г-жи Сен-Валь младшей.

В первом, втором и четвертом действиях на ней удобный пеньюар и никаких украшений на голове: она у себя дома и считается нездоровой. В пятом действии на ней костюм и головной убор Сюзанны.

**Фигаро.** Актеру, который будет исполнять эту роль, следует настоятельно порекомендовать возможно лучше проникнуться ее духом, как это сделал г-н Дазенкур. Если бы он усмотрел в Фигаро не ум в соединении с веселостью и остроумием, а что-то другое, в особенности если бы он допустил малейший шарж, он бы эту роль провалил, а между тем первый комик театра г-н Превиль находил, что она может прославить любого актера, который сумеет уловить разнообразные ее оттенки и вместе с тем возвыситься до постижения цельности этого образа. Костюм его тот же, что и в «Севильском цирюльнике».

**Сюзанна.** Ловкая молодая особа, остроумная и жизнерадостная, свободная, однако же, от почти непристойной веселости развратных наших субреток; милый ее нрав обрисован в предисловии, и тем актрисам, которые не видели г-жи Конта и которые хотели бы как можно лучше изобразить Сюзанну на сцене, надлежит к этому предисловию и обратиться.

Костюм ее в первых четырех действиях состоит из очень изящного белого лифа с баской, такой же юбки и головного убора, который наши торговцы с тех пор именуют а ля Сюзанн. В четвертом действии во время празднества граф надевает на нее головной убор с длинной фатой, плюмажем и белыми лентами. В пятом действии на ней пеньюар графини и никаких украшений на голове.

#### **Вопросы и задания:**

1. Как вы объясните легендарную фразу Наполеона о «Женитьбе Фигаро»: «это уже революция в действии»?
2. В чем драматургическая новация монолога Фигаро?
3. Отличается ли Фигаро «Севильского цирюльника» от Фигаро «Женитьбы Фигаро»?

## III. Итальянская литература

### Джамбаттиста Вико (1668–1744)

#### Предтекстовое задание:

1. Прочитайте отрывки из основополагающего труда Дж. Вико «Основания новой науки об общей природе наций» (1725).
2. Обратите внимание на специфическое преломление идей Просвещения в Италии.
3. Определите, в чем «новизна» методологии и общих выводов Вико.

### Основания новой науки об общей природе наций *Перевод и комментарии А. А. Губера*

#### Книга первая. Об установлении оснований

##### Об элементах

/.../

1. Человек вследствие бесконечной природы человеческого ума делает самого себя правилом Вселенной там, где ум теряется от незнания. /.../

Другое свойство человеческого ума состоит в том, что там, где люди не могут составить никакого представления о далеких и неизвестных вещах, они судят о них по вещам известным и имеющимся налицо. /.../

/.../

VI. Философия рассматривает человека таким, каким он должен быть; таким образом, она может принести плоды лишь немногим, стремящимся жить в Республике Платона, а не пресмыкаться в нечистотах города Ромула<sup>117</sup>.

VII. Законодательство рассматривает человека таким, каков он в действительности, чтобы извлечь из этого пользу для человеческого общества. Так из свирепости, скупости и честолюбия (эти три порока пронизывают насквозь весь род человеческий) оно создает войско, торговлю и двор, т. е. силу, богатство и мудрость Государств. И из этих трех великих пороков, которые, несомненно, уничтожили бы поколение людей на земле, оно создает Гражданское Благополучие.

Эта Аксиома доказывает, что здесь присутствует Божественное Провидение; другими словами – Божественный Ум-Законодатель: из страстей людей, всецело преданных своим личным интересам, он создаст Правосудие, благодаря которому по-человечески сохраняется поколение людей, называемое Родом Человеческим.

/.../

---

<sup>117</sup> Республике Платона... города Ромула. – Имеется в виду идеальное государство, описанное древнегреческим философом Платоном в трактате «Государство», и реальный город Рим, основанный, согласно преданию, Ромулом и Ремом.

Х. Философия рассматривает Разум, из чего проистекает Знание Истины, Филология<sup>118</sup> наблюдает Самостоятельность Человеческой Воли, из чего проистекает Сознание Достоверного.

Эта Аксиома во второй части определяет как Филологов всех Грамматики, Историков и Критиков, которые занимались изучением Языков и Деятельности народов как внутренней (таковы, например, обычаи и законы), так и внешней (таковы война, мир, союзы, путешествия, торговля). Эта же Аксиома показывает, что на полдороге остановились как Философы, которые не подкрепляли своих соображений Авторитетом Филологов, так и Филологи, которые не постарались оправдать своего авторитета Разумом Философов: если бы они это сделали, то были бы полезнее для Государства и предупредили бы нас в открытии нашей Науки.

XI. Воля человеческая, по своей природе в высшей степени недостоверная, удостоверяется и определяется Здравым Смыслом людей в том, что относится к человеческой необходимости или пользе: таковы два источника Естественного Права Народов.

XII. Здравый Смысл – это суждение без какой-либо рефлексии, чувствуемое сообща всем сословием, всем народом, всей нацией или всем Родом Человеческим.

/.../

XIII. Единообразные Идеи, зародившиеся у целых народов, не знающих друг о друге, должны иметь общее основание истины.

Эта Аксиома – великое Основание: она устанавливает, что Здравый смысл Рода Человеческого есть Критерий, внушенный нациям Божественным Провидением для определения Достоверного в Естественном Праве Народов; нации убеждаются в нем, усваивая субстанциальное Единство такого Права, с которым все они согласны при различных модификациях. Отсюда возникает Умственный Словарь, указывающий происхождение всех различно артикулированных Языков: посредством него постигается Вечная Идеальная История, дающая нам истории всех наций во времени.

/.../

XXII. Необходимо, чтобы в природе человеческих вещей существовал некий Умственный Язык, общий для всех наций: он единообразно понимает сущность вещей, встречающихся в общественной человеческой жизни, и выражает их в стольких различных модификациях, сколько различных аспектов могут иметь вещи. В справедливости этого мы можем убедиться на пословицах, максимах простонародной мудрости: по существу они понимаются совершенно одинаково всеми нациями, древними и современными, и сколько существует наций – в стольких же различных аспектах они выражены.

Это – собственный язык настоящей Науки. В свете его Ученые Филологи (если только они обратят на него внимание) могли бы составить Умственный Словарь, общий для всех различно артикулированных живых и мертвых языков.

/.../

## **Книга четвертая. О поступательном движении, совершаемом нациями**

### **Введение**

Установив в Книге Первой Основания нашей Науки, исследовав и вскрыв в глубинах Поэтической Мудрости в Книге Второй происхождение всех божественных и человеческих

---

<sup>118</sup> Филология – Вико понимает филологию в ее исконном и широком смысле, как учение о Логосе, первотворящем слове.

вещей Язычества, а также открыв в Книге Третьей, что в Поэмах Гомера заключены две великие Сокровищницы Естественного Права Народов Греции /.../, опираясь на выставленную выше Аксиому об Идеальной Вечной Истории, мы в этой Книге Четвертой дополнительно рассмотрим *поступательное движение, совершаемое нациями*, проследив единообразное постоянство этого движения вперед во всех многочисленных и разнообразных обычаях Наций на основании Деления на *три века*, /.../, т. е. Деления на век Богов, век Героев и век Людей /.../.

### Три вида природы

Первая Природа в результате сильнейшего обмана фантазии, которая тем могущественнее, чем слабее рассудок, была природой поэтической, т. е. творящей, – да позволено нам будет сказать – божественной: она приписывала телам бытие Божественных одушевленных субстанций, причем она приписывала их соответственно своей идее. Эта природа была природой Поэтов-Теологов, самых Древних Мудрецов у всех Языческих Наций, когда все языческие нации основывались на той вере, что каждая из них имеет определенных, своих собственных Богов. С другой стороны, эта природа была дика и бесчеловечна; но в силу того же самого заблуждения фантазии люди до ужаса боялись ими же самими выдуманных Богов. От этого сохранились два следующих вечных свойства: во-первых, что религия является единственным могущественным средством для обуздания дикости народов; во-вторых, что с Религиями дело обстоит благополучно тогда, когда стоящие во главе сами им всецело поклоняются.

Вторая Природа была Героической; Герои приписывали ей божественное происхождение; думая, что все делают Боги, они самих себя считали сыновьями Юпитера, ибо они были порождены его ауспигиями<sup>119</sup>; совершенно правильно в таком Героическом происхождении они видели основание естественного благородства: ведь будучи по видимости людьми, они были в то же время Князьями Рода Человеческого. Этим естественным благородством они гордились перед теми, кто от Гнусной скотской Общности ради спасения от драк, порождаемых этой Общностью, укрывался впоследствии в их Убежища; кроме того, так как эта природа была высокомерна, она все свое достоинство полагала в силе и в оружии. Третьей была Природа человеческая, разумная, а потому умеренная, благосклонная и рассудочная; она признает в качестве законов совесть, разум и долг.

/.../

### Три вида правлений

Первыми были Божественные Правления, как сказали бы Греки – «Теократические»; тогда люди верили, что все решительно приказывают Боги; это был век Оракулов – самого древнего из всего того, о чем мы читаем в Истории.

Вторыми были Правления Героические, т. е. аристократические, иными словами – правления Оптиматов (в смысле «сильнейших»), или же, по-гречески, Правления Гераклидов, т. е. вышедших из расы Геракла (в смысле «Благородных»): первоначально они были рассеяны по всей Греции, позднее сохранились в Спарте; а также правления Куретов<sup>120</sup>, которых Греки наблюдали рассеянными по Сатурнии (Древней Италии), по Криту и Азии, – отсюда у Римлян правления Квиритов, т. е. Жрецов, вооруженных в публичном собрании. Во времена этих Правлений, вследствие отличия более благородной природы, как мы сказали выше (так люди

---

<sup>119</sup> Юпитер, ауспигии – Юпитер – в римской мифологии царь богов; ауспигии – гадания в Древнем Риме, основанные на наблюдении за полетом и криками птиц.

<sup>120</sup> Куреты – в греческой мифологии сверхъестественные существа, составляющие свиту Великой матери богов Рен-Кибелы; позже жрецы ее мистического культа.



верили в ее божественное происхождение), все гражданские права принадлежали замкнутым Правящим Сословиям самих Героев; а Плебейам, которым приписывалось скотское происхождение, разрешались только жизненно необходимые потребности и естественная свобода.

Третьи – это Человеческие Правления; при них вследствие равенства разумной природы (подлинной природы человека) все уравниены законами, так как все в них родились свободными в своих городах, т. е. в свободных народных государствах, где все люди, или наибольшая их часть, представляют собою законную силу государства; вследствие этой законной силы они и оказываются Господами народной свободы; в Монархиях же Монархи уравнивают всех подданных своими законами, и поскольку в руках одних Монархов находится вся вооруженная сила, постольку они одни отличаются по своей гражданской природе.

/.../

### **Книга пятая. О возвращении человеческих вещей при возрождении наций времена второго варварства проясняются при помощи того, что мы знаем о древнем Варварстве**

Из бесчисленных мест, рассеянных во всем этом Произведении по поводу бесчисленных тем, где отмечено было поразительнейшее соответствие первых варварских времен временам вернувшегося варварства, легко можно понять Возвращение Вещей Человеческих при Возрождении Наций. Однако, чтобы еще лучше подтвердить это, нам хотелось бы в настоящей Последней Книге отвести этому предмету специальное место, с одной стороны, – чтобы прояснить самым сильным светом времена Второго Варварства, которые лежали в еще более глубокой тьме, чем времена Первого Варварства /.../; с другой стороны, – чтобы показать, как Всеблагий и Величайший Бог заставил служить невыразимым предписаниям своей Благодати установления своего Провидения, посредством которого он направлял вещи человеческие у всех наций.

Ведь после того, как путями сверхчеловеческими он просветлил и утвердил Истинность Христианской Религии – посредством Добродетели Мучеников, вопреки Римскому Могуществу, посредством Учения Отцов Церкви и чудес, вопреки пустой Греческой Мудрости, после того, как он допустил возникнуть вооруженным нациям, которые со всех сторон сражались за истинную божественность своего Создателя, – после всего этого Бог разрешил зародиться Новому Порядку Культуры среди наций, чтобы, согласно Естественному Поступательному Движению тех же самых вещей человеческих, эта Христианская Религия была окончательно установлена. Этим Вечным Установлением он вернул Времена поистине Божественные, когда Католические Цари для защиты Христианской Религии, Покровителями которой они являются, повсюду надевали Диаконские далматики<sup>121</sup>. Короли посвящали Богу свою Царственную Особу (от этого сохранился титул «Священное Королевское Величество»); они принимали церковный сан (так, например, Гуго Капет<sup>122</sup>, по словам Симфориона Шампьера<sup>123</sup>, в «Генеалогии Французских Королей» титуловался «Граф и Аббат Парижский», а Параден<sup>124</sup> в «Бургундских Анналах» отмечает весьма старинные записи, где Французские Государи обычно титуловались «Герцогами и Аббатами» или «Графами и Аббатами»). Так, первые Христианские Короли основали Вооруженные Религии, посредством которых они восстановили в своих королевствах Христианскую Католическую Религию против Ариан<sup>125</sup> (которыми, по словам

---

<sup>121</sup> Диаконские далматики – Часть церковного облачения, использовавшаяся в таком качестве с IV в.

<sup>122</sup> Гуго Капет (ок.940–996) – французский король с 987 г., основатель династии Капетингов.

<sup>123</sup> Симфорион Шампьер, точнее Симфориан Шампье (1471–1540) – французский поэт, гуманист и философ.

<sup>124</sup> Параден – Параден, Гийом (1510–1590) – французский историк.

<sup>125</sup> Ариане – Арианство – христианская ересь, возникшая в нач. IV в. и названная по имени основателя, александрийского пресвитера Ария, отвергавшего божественную природу Христа и считавшего его всего лишь совершеннейшим творением

Св. Иеронима<sup>126</sup>, был заражен почти весь Христианский Мир), против Сарацин<sup>127</sup> и многих других Неверных. Тогда поистине вернулось то, что называли *pura et pia bella* – «чистые и благочестивые войны» героических народов. Поэтому ныне короны всех Христианских Владык поддерживают Мировой Шар с водруженным на нем Крестом, который еще раньше развевался на знаменах во время войн, называвшихся Крестовыми Походами. /.../

Так как, кроме того, с начала пятого века Европу, а также Африку и Азию наводнило множество варварских наций и так как народы-победители и побежденные не понимали друг друга, то в результате варварства врагов Католической Религии случилось так, что в те железные времена не оказывается писаний на Простонародных языках – ни на итальянском, ни на французском, ни на испанском, ни даже на немецком /.../ У всех этих наций писания встречаются только на варварской латыни, которую понимали лишь очень немногие Благородные, а они принадлежали к Духовенству. Поэтому нам не остается ничего другого, как представить себе, что в те несчастные века нации снова стали разговаривать между собою на немом языке. Вследствие отсутствия народных букв повсюду должно было вернуться Иероглифическое Письмо посредством Родовых Гербов; последние, служа удостоверением собственности, как мы говорили выше, обозначали по большей части господские права на дома, могилы, поля и стада.

Вернулись некоторые виды Божьего Суда, так называемые канонические очищения (*purgatio canonica*); одним из видов таких судов, как мы показали выше, в первые варварские времена были поединки, неизвестные, однако, Святым Каноническим Законам. Вернулись Героические Разбои; выше мы видели, что Герои почитали за честь, если их называли разбойниками, и совершенно так же титулом Господства стал впоследствии «Корсар». Вернулись Героические Возмездия, которые, как мы видели выше, продолжались вплоть до времен Бартоло<sup>128</sup>; а потому и войны позднейших варварских времен, как и времен первого варварства, были религиозными. /.../

## **Возвращение наций**

### **к вечной Природе Феонов, а потому и возвращение**

#### **Древнеримского права с правом феодальным**

За этими Божественными Временами последовали Времена Героические, когда снова вернулось различие двух до некоторой степени отличных природ – Героической и Человеческой. /.../ В этом лежит причина того явления, /.../ что Вассалы-земледельцы на феодальном языке назывались *homines*<sup>129</sup>. /.../

Под влиянием предполагавшегося различия двух природ, героической и человеческой. Феодальные Синьоры назывались Баронами в том же смысле, в каком, мы видели выше. Греческие Поэты говорили «Герои», а Древние Латиняне – *Viri*, «мужи»; это же сохранилось у Испанцев, у которых мужчина называется Бароном (*varon*), так как вассалов, т. е. «слабых»

---

Божьим.

<sup>126</sup> Св. Иероним (ок.342–420) – видный представитель латинской патристики и один из учителей церкви.

<sup>127</sup> Сарацины – так европейские авторы со времени Крестовых походов именовали всех мусульман.

<sup>128</sup> Бартоло да Сассоферато (1314–1357) – итальянский юрист, чьи комментарии к «Кодификации Юстиниана» долгое время служили основой юридического образования в Западной Европе.

<sup>129</sup> *homines* – люди (лат.).

в героическом смысле, они считали женщинами, как мы показали выше. Кроме того, как мы только что говорили, Бароны назывались Синьорами, а это слово может происходить только от латинского *seniores* (старшие), так как из них должны были составляться первые публичные Парламенты в новых королевствах Европы; совершенно так же Публичный Совет, который, естественно, должен был составляться из самых старых представителей Благородных, Ромул назвал *Senatus* /.../

## Описание

### древнего и современного Мира Наций с точки зрения Плана,

#### данного основаниями нашей Науки

Ныне как будто зрелая культурность распространилась среди всех Наций, поэтому немногие великие Монархи царствуют в нашем Море Народов; и если среди них существуют еще варвары, то причина этого лежит в том, что Монархии их в течение долгого времени развивались на основе Простонародной Мудрости, т. е. фантастических и диких Религий; к этому присоединяется также несовершенная природа подчиненных им Наций. Начнем с холодного севера. Царь Московии, хотя он и христианин, правит людьми ленивого ума. Князь, или Хан, Татарский царствует над таким же женственным народом, каким были Древние жители Серики<sup>130</sup>, страна которых, составлявшая наиболее значительную часть его великой Империи, присоединена теперь к Китаю. Негус<sup>131</sup> Эфиопский и могущественные Цари Феца<sup>132</sup> и Марокко властвуют над народами в высшей степени слабыми и обедневшими.

Но в умеренной зоне люди рождаются соразмерными по своей природе. Начнем с самого дальнего Востока. Император Японии проводит в жизнь такую Культуру, которая напоминает Римскую Культуру времен Пунических Войн<sup>133</sup>: он подражает им в свирепости во время сражений, и, как замечают ученые путешественники, в звуках его языка есть нечто похожее на латинский язык; однако под влиянием фантастических, в высшей степени ужасных и жестоких религиозных верований в устрашающих Богов, целиком завешенных вредоносным оружием, он сохраняет еще многое от героической природы, так как Отцы-Миссионеры, ходившие туда, сообщают, что самая большая трудность, с какою они встретились при обращении этого народа в Христианскую Религию, состояла в невозможности убедить благородных, что плебеи имеют такую же человеческую природу, как и они. Император Китайский в высшей степени культурен, так как властвует в силу кроткой религии и покровительствует наукам. Император Индии скорее культурен, чем некультурен, так как опытен преимущественно в делах мира. Персидский и Турецкий Цари смешали с нежностью Азии, над которой они господствуют, незрелое учение своей Религии; так, например, в частности Турки умеряют высокомерие величием, роскошью, щедростью и благодарностью.

В Европе, где повсюду исповедуется Христианская Религия, которая учит бесконечно чистой и совершенной идее Бога и которая предписывает милосердие по отношению ко всему Роду человеческому, существуют великие Монархии, в высшей степени культурные по своим

---

<sup>130</sup> Серики – Страна шелка, старое название областей, лежавших по Великому Шелковому пути.

<sup>131</sup> Негус – титул императора Эфиопии (до 1975 г.).

<sup>132</sup> Феца, точнее, Фес – один из крупнейших городов Марокко.

<sup>133</sup> Пунические Войны (1-я – 264–241, 2-я – 218–201, 3-я – 149–145 до н. э.) – войны между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье.

нравам. И все же некоторые из них, расположенные на холодном Севере, хотя и являются монархическими по своему устройству, управляются как будто аристократически: такими были полтора столетия тому назад Швеция и Дания, таковы ныне Польша и все еще Англия; но если естественное течение человеческих гражданских вещей в них не будет нарушено необычайными причинами, то они достигнут состояния самых совершенных Монархий. Только в этой части света, так как она культивирует Науки, существуют в большом количестве Народные Республики, которых мы вообще не видим в остальных трех. Вследствие возвращения той же самой необходимости и полезности в современной Европе обновилась форма Этолийских и Ахейских Республик; Греки задумали их ради необходимости обезопасить себя от подавляющего могущества Римлян, и совершенно так же поступили Швейцарские Кантоны и Объединенные Провинции, или Штаты Голландии, которые учредили из многочисленных свободных народных городов Аристократии, объединенные в нерушимом военном и мирном союзе. Основная масса Германской Империи<sup>134</sup> является системой многих свободных Городов и Суверенных Государей, во главе которых стоит Император; и во всех делах, касающихся государства, эта Империя управляется аристократически.

/.../ Ныне в Европе существуют только пять Аристократий, а именно: Венеция, Генуя и Лукка в Италии, Рагуза в Далмации и Нюрнберг в Германии; и почти все они заключены в тесных границах. Но повсюду Христианская Европа блистает такой культурностью, что в ней избилуют все те блага, которые могут осчастливить человеческую жизнь не менее телесным удобством, чем наслаждением ума и души. И все это – в силу Христианской Религии, которая учит столь возвышенным истинам, что для служения ей были приняты самые ученые Философии Язычества; и она пользуется для своих нужд тремя Языками, как своими собственными: самым древним в мире – Еврейским, самым изысканным – Греческим, самым величественным – Латинским. Таким образом, даже и для человеческих целей Христианская Религия оказывается наилучшей из всех Религий мира, так как она объединяет Мудрость, данную в откровении, с разумной Мудростью самого отборного учения Философов и самой глубокой Эрудицией Филологов.

Наконец, если мы переплывем через Океан в Новый Свет, то увидим, что Американцы прошли бы тот же самый путь вещей человеческих, если бы они не были открыты Европейцами, и что Патагонцы<sup>135</sup> достигли бы нашего соразмерного телосложения и пришли бы к нашим человеческим нравам, если бы им предоставлено было идти своим естественным путем. / .../

---

<sup>134</sup> Германская Империя, точнее Священная Римская империя – государственное образование, существовавшее на территории Западной Европы с 962 по 1806 г.; включала германские княжества, в определенные периоды – Северную Италию, Чехию, Бургундию, Нидерланды, некоторые швейцарские земли.

<sup>135</sup> Американцы, Патагонцы – имеются в виду автохтонные культуры Южной Америки, империи ацтеков и инков (Теночтитлан и Тауантинсуйю). Патагонцы – коренные жители юга Аргентины; в Европе долгое время бытовали фантастические представления об их непомерно высоком росте.

## **Заключение произведения**

**о вечном и естественном государстве, наилучшем в каждом из своих**

### **видов и установленным Божественным Провидением**

Итак, соответственно такому Возвращению Человеческих Гражданских вещей, рассмотренному специально в этой Книге, следует поразмыслить о тех параллелях, которые были проведены во всем настоящем Произведении на большом количестве материала между первыми временами и позднейшими Древних и Современных Наций. Тогда окажется разъясненной История, но не отдельная и временная История Законов и Деяний Греков или Римлян, а История, идентичная в уразумываемой сущности и разнообразная в способах развития. Таким образом, мы получили Идеальную Историю вечных Законов, соответственно которым движутся Деяния всех Наций в их возникновении, движении вперед, состоянии, упадке и конце, даже если бы (что безусловно ложно) в Вечности время от времени возникали бесчисленные Миры. Поэтому мы и осмелились дать настоящему Произведению завидное заглавие «Новая Наука», так как оставить его без этого заглавия было бы слишком несправедливым нарушением его законного права на столь Универсальный Предмет, каким является Общая Природа Наций, причем мы не теряли из виду того свойства, которым обладает каждая Совершенная по своей Идее Наука /.../.

#### **Вопросы и задания:**

1. Обозначьте специфические черты антропологии Вико. В чем его взгляд на человека совпадает с просветительской идеологией, а в чем – расходится, и почему?
2. Попробуйте определить, что понимал Вико под «филологией». Можно ли усмотреть некую новизну в его взглядах на происхождение языка и письменности?
3. Изложите концепцию закономерности исторической эволюции человечества, как она представлена у Вико. В чем ее слабость и в чем сила?
4. Найдите конкретное описание Вико исторического процесса. В чем проявляется новизна его методики?

## Чезаре Беккариа (1738–1794)

### Предтекстовое задание:

1. Прочитайте отрывки из книги Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764).
2. Обратите внимание на то, как преломилась в этом труде просветительская теория общественного права.

## О преступлениях и наказаниях

### *Перевод под ред. Ю. Имашева*

Есть три источника моральных и политических принципов, лежащих в основе поведения людей: божественное откровение, законы природы и общественные договоры. Они не равнозначны, и первый источник отличается от двух других конечной целью. Но их роднит общая черта – направленность на достижение счастья при жизни на земле. Рассмотрение общественных отношений, основанных на третьем источнике, отнюдь не умаляет роли отношений, обусловленных двумя первыми. Но так как эти два источника, несмотря на божественность и неизменность своей природы, по вине людского рода бесконечно искажались ложным пониманием религии и превратным толкованием порока и добродетели в развращенных умах, то представляется необходимым рассматривать их отдельно от тех явлений, которые возникают исключительно в результате соглашений между людьми, заключаемых непосредственно или подразумеваемых, независимо от того, вызвано это необходимостью или осознанием общей пользы. С этой идеей неизбежно согласятся все религиозные секты и системы морали, ибо всегда будут поощряться усилия, направленные на то, чтобы заставлять самых упрямых и недоверчивых разделять те принципы, которые побуждают людей к жизни в обществе. Таким образом, существует три вида добродетелей и пороков: религиозные, природные и общественные. Они никогда не должны противоречить друг другу. Но не все последствия и обязанности, вытекающие из одного вида добродетелей и пороков, характерны и для других. Не все, предписываемое божественным откровением, предписывается законами природы и не все, предписываемое этими законами, предписывается законами общества. Однако исключительно важно выделить то, что вытекает непосредственно из общественного договора, явно или молчаливо заключенного между людьми, поскольку этот договор очерчивает сферу действия правопорядка, который регулирует человеческие взаимоотношения без особой на то санкции Всевышнего. Следовательно, идея общественной добродетели может считаться, без ущерба для ее достоинств, изменчивой. /.../

## Введение

Обычно люди вверяют заботы о важнейших правоположениях, регулирующих их повседневную жизнь, собственному здравому смыслу или отдают на откуп тем, чьим интересам противоречит появление хороших законов, поскольку они уже в силу своей природы направлены на достижение всеобщего блага и препятствуют усилиям тех немногих, которые стремятся сосредоточить в своих руках всю полноту власти и богатства, оставляя большинству бессилие и нищету. Поэтому-то, лишь совершив множество ошибок в важнейших вопросах, касающихся жизни и свободы, лишь испив до дна чашу страданий и зла, отчаявшиеся люди берутся за исправление того беспорядка, который их угнетает, и начинают постепенно осознавать самые простые истины. Эти истины обыденный ум не в силах воспринять по причине их простоты, ибо не привык анализировать явления, а способен усваивать лишь общие впечатления, да и то скорее по сложившейся привычке, чем по здравому размышлению.

Вчитываясь в историю, мы убеждаемся, что законы, хотя они по существу не что иное как договоры свободных людей или по крайней мере должны быть таковыми, служат в основном инструментом выполнения желаний ничтожного меньшинства или же удовлетворения случайной и преходящей потребности. Но никогда еще законы не были результатом объективного исследования человеческой природы, что позволило бы сконцентрировать с их помощью усилия большинства людей для достижения единой цели и рассматривать эту цель исключительно как наивысшее счастье для максимально большего числа людей. Счастливы те немногие нации, которые, не дожидаясь, пока неспешный ход человеческой истории и связанные с ним перемены в отношениях людей повлекут за собой постепенный поворот от зла, дошедшего до крайнего предела, к добру, сами ускорили этот поворот, насаждая хорошие законы. И философ, который отважился бросить людям из глубины своего полутемного и уединенного кабинета первые и долго не дающие всходов семена полезной истины, заслуживает людской признательности.

Ныне уже известно, какими должны быть истинные отношения между государем и его подданными, равно как и между различными нациями. Торговля оживилась под влиянием мудрых истин, распространившихся повсеместно благодаря печатному слову, и между нациями ведется молчаливая война трудолюбий, самая гуманная и наиболее достойная разумных людей. Таковы плоды этого просвещенного века. Однако лишь немногие исследователи осудили жестокость наказаний и неупорядоченность уголовного судопроизводства, т. е. той части законодательства, которая играет исключительно важную роль практически во всех европейских государствах, но и поныне остается там беспризорной. Очень немногие также, опираясь на общие принципы, пытались пробить толщу вековых заблуждений, чтобы с помощью света познанных истин, по крайней мере, сдерживать все менее управляемый произвол власти, которая до сих пор являла собой пример ничем не ограниченной холодной жестокости. Стоны обесиленных, принесенных в жертву бессердечному невежеству и лишенному чувства сострадания богатству, варварские пытки, применяемые с ничем не оправданной суровостью, чудовищность которых еще более возрастает в связи с недоказанностью или химеричностью предъявляемых обвинений, убогость и ужасы тюрем, усиленные неизвестностью – этим беспощадным палачом несчастных заключенных, – должны были бы заставить содрогнуться сановных чиновников, в чьей власти манипулировать общественным мнением.

Бессмертный президент Монтескье лишь бегло коснулся этой темы. Истина неделима, и это заставило меня проследовать по пути, освященному гением великого человека. Но мыслящие люди, для которых я пишу, сумеют отличить мою поступь от его. Я был бы счастлив, если бы сумел добиться, как и он, глубокой признательности скромных и смиренных последователей разума и вызвать в них тот сладостный трепет, который охватывает утонченные души, откликнувшиеся на призыв защитить интересы человечества. /.../

Любое наказание, не продиктованное крайней необходимостью, является, по словам великого Монтескье, актом насилия. Данное утверждение может быть выражено в более общей форме следующим образом: всякое проявление власти человека над человеком, которое не вызвано крайней необходимостью, – тирания. Таким образом, право верховной власти наказывать за преступления основано на необходимости защищать вверенное ей общественное благо от узурпации его частными лицами. И чем больше обеспечивается священное и нерушимое право на безопасность, чем надежнее гарантия свободы граждан со стороны государства, тем наказание справедливее. И если мы обратимся к природе человека, то обнаружим, что в ней заложены те же основные принципы, которые подтверждают неотъемлемость права верховной власти наказывать за преступления. Нельзя надеяться на существенное улучшение морали, если политика, проводимая в нравственной сфере, не опирается на вечные чувства, присущие человеческой природе. И любой закон, идущий вразрез с этими чувствами, неизбежно столкнется с противодействием /.../

Еще ни один человек не пожертвовал безвозмездно даже частицей собственной свободы исключительно ради общественного блага. О подобных химерах пишут только в романах. В действительности же, если бы у каждого из нас была такая возможность, то мы пожелали бы, чтобы договоры обязывали других, но не нас. Каждый мнит себя центром Вселенной.

Увеличение человеческого рода, незначительное само по себе, но слишком превышающее возможности, которыми располагала невозделанная бесплодная и дикая природа для удовлетворения растущих человеческих потребностей, привело к объединению первых дикарей. Первые объединения неизбежно повлекли за собой образование последующих, им противостоящих. И тем самым состояние войны между индивидами переросло в войну между народами.

Таким образом, лишь необходимость заставляла людей поступаться частью своей личной свободы. Ясно, что при этом каждый старался жертвовать государству лишь тот необходимый минимум своей свободы, который был достаточен, чтобы побудить других защищать его. Совокупность этих минимальных долей и составляет право наказания. Все, что сверх того, – злоупотребление, а не правосудие, лишь свершенное действие, но еще не право. Заметьте, что слово «право» не противоречит слову «сила». Первое является скорее одним из тех проявлений второго, которое наиболее полезно большинству. Под справедливостью же я понимаю ту необходимую связь, благодаря которой поддерживается единство отдельных частных интересов и без которой произошел бы возврат к первобытному дообщественному состоянию. Всякое наказание, выходящее за рамки необходимости сохранять эту связь, является несправедливым уже по самой своей природе. Не следует приписывать слову «справедливость» черты осязаемой реальности, видеть в нем некую физическую силу или предмет материального мира. Оно просто служит для выражения способа, с помощью которого достигается понимание между людьми, способа, обладающего неограниченным воздействием на счастье каждого. При этом я не имею в виду справедливость, исходящую от Бога и непосредственно относящуюся к его праву карать и миловать в будущей жизни. /.../

Первый вывод, который следует из изложенных принципов, заключается в том, что наказания за преступления могут быть установлены только законом. Назначать их правомочен лишь законодатель, который олицетворяет собой все общество, объединенное общественным договором. Ни один судья (являясь членом данного общества) не может в соответствии с принципом справедливости самолично выносить решения о наказании другого члена того же общества. /.../

Второй вывод состоит в том, что каждый член общества связан с этим обществом. А оно, в свою очередь, равным образом связано с каждым из своих членов договором, обязывающим в силу своей природы обе стороны /.../ Верховная власть, говорящая от имени всего общества, компетентна принимать законы общего характера, обязывающие всех. Но она не может судить о том, нарушил ли кто-либо общественный договор, так как в подобном случае народ разделится на две партии: одна партия – партия верховной власти – будет утверждать, что договор нарушен, а другая партия, – партия обвиняемого, будет это отрицать. И потому необходимо, чтобы некто третий установил истинное положение дел. Нужен судья, решения которого не подлежали бы обжалованию и состояли бы в простом подтверждении или отрицании отдельных фактов.

Третий вывод касается жестокости наказаний. Если бы даже удалось доказать, что жестокость наказаний не противоречит непосредственно общественному благу и самой цели предупреждения преступлений, что она лишь бесполезна, то и в этом случае жестокость не только явилась бы отрицанием завоеваний в области морали просвещенного разума, предпочитающего царить среди свободных людей, а не скопища рабов, жестокосердие которых увековечено постоянным страхом, но и справедливости, и самой сути общественного договора.

Четвертый вывод. Судьям не может принадлежать право толковать уголовные законы исключительно в силу того, что они не являются законодателями. Судьи не получили законы в



наследство от наших предков как традицию или завет, которые не оставляют потомкам ничего другого, кроме повиновения. Наоборот, они получают их от живого общества или суверена, его представляющего, как хранителя результатов всеобщего волеизъявления своих современников. Судьи получают законы не как обязательства, вытекающие из древней клятвы, лишенной своей силы, – ибо в противном случае она связывала бы воли уже умерших, – и несправедливой, поскольку возвращала бы людей, уже объединившихся в общество, в первобытное состояние, а как обязательства, вытекающие из молчаливого или прямо выраженного договора между сувереном и его живыми подданными о передаче ему совокупной воли последних. /.../ По поводу всякого преступления судья должен построить правильный силлогизм, в котором большой посылкой служит общий закон, а малой – конкретный поступок, противоречащий или соответствующий закону; заключение – оправдание или наказание. Если же судья по принуждению или по собственной воле построит не один, а два силлогизма, то тем самым он откроет лазейку неопределенности.

Нет ничего опаснее банальной истины, предписывающей руководствоваться духом закона, что является иллюзорной преградой на пути потока мнений.

Эта истина, кажущаяся парадоксальной умам обыденным, для которых мелочные сиюминутные проблемы служат большим потрясением, чем гибельные, но отдаленные последствия ложного принципа, укоренившегося в сознании народа, представляется мне очевидной. Все наши познания и представления взаимосвязаны. И чем они сложнее, тем многообразнее пути, ведущие к их освоению и реализации. Каждый человек имеет свою личную точку зрения, которая меняется со временем. Так что дух закона был бы подвержен, следовательно, влиянию хорошей или дурной логики судьи, нормальной или плохой работе его желудка, зависел бы от силы обуревающих его страстей, от его слабостей и от его отношения к потерпевшему. Словом, от малейших причин, способных вызвать в человеческой душе, подверженной постоянным колебаниям, искаженный образ любого исследуемого предмета. Поэтому-то мы видим, как судьба играет человеком при рассмотрении его дела различными судами. И жизнь несчастного приносится в жертву из-за ошибочных выводов или мимолетных капризов судьи, который уверен в правомерности принимаемого им решения на основе хаотичных представлений, витающих в его мозгу. Поэтому-то мы видим, что одни и те же преступления в тех же самых судах по-разному наказываются в разное время. Причина этого заключается в том, что судьи не прислушиваются к постоянному и отчетливому гласу закона, а идут на поводу у толкования, ошибающегося и непостоянного. Недостатки, связанные с точным следованием букве уголовного закона, ничтожны по сравнению с недостатками, вызываемыми толкованием. Недостатки первого рода незначительны и легко устраняются путем внесения в текст закона необходимых изменений. В то же время строгое следование букве закона не допускает судебного произвола, чреватого возникновением необоснованных и своекорыстных споров. Если законы кодифицированы и подлежат буквальному исполнению, ограничивая роль судьи рассмотрением деяний, совершенных гражданином, и оценкой их соответствия или несоответствия писаному закону, если норма, определяющая правомерность или неправомочность каких-либо действий, которой должны руководствоваться все граждане от простолюдина до философа, не является предметом спорного толкования, а четко установлена, то в этом случае подданным не угрожает мелочный деспотизм большинства. Такой деспотизм тем более бесчеловечен, чем непосредственное он касается угнетенных и вынужденных страдать, и более губителен, чем тирания одного человека. /.../ Строго соблюдая закон, граждане обретают личную безопасность, что справедливо, поскольку ради этого люди объединяются в общество; и полезно, поскольку в этом случае предоставляется возможность точно просчитать неудобства противоправного поведения. Правда, граждане приобретают дух независимости, но не для того, чтобы расшатывать законодательную основу и не повиноваться властям. Они, скорее, окажут неповиновение тем, кто осмеливается назвать священным именем добродетели потакание своим прихотям

и корыстным интересам или взбалмошным мнениям. Эти принципы вызовут неудовольствие тех, кто считает себя вправе тиранить подчиненных столь же жестоко, как их в свою очередь тиранит вышестоящий деспот. И я должен был бы бояться всего на свете, если бы дух тирании мог заставить смириться дух просветительства. /.../

## **§ VI. Соразмерность между преступлениями и наказаниями**

В интересах всего общества не только добиться прекращения совершения преступлений вообще, но и свести к минимуму совершение наиболее тяжких из них. Поэтому эффективность мер, препятствующих совершению преступлений, должна быть тем выше, чем опаснее преступление для общественного блага и чем сильнее побудительные мотивы к совершению преступления. Следовательно, суровость наказания должна зависеть от тяжести преступления.

Невозможно предусмотреть все последствия хаоса, порождаемого всеобщей борьбой человеческих страстей. Этот хаос усиливается по мере роста народонаселения, ведущего к расширению масштабов столкновения частных интересов. А этими последними невозможно управлять в интересах общественного блага по законам геометрии. В политической арифметике математическая точность вынуждена уступить место приблизительным расчетам. /.../

## **§ VIII. Классификация преступлений**

Мы уже видели, что настоящим мерилом преступлений является вред, причиненный ими обществу. Это одна из тех очевидных истин, для познания которой не требуется ни квадрантов<sup>136</sup>, ни телескопов и которая доступна любому заурядному уму. Однако по странному стечению обстоятельств у всех народов и во все времена эту истину понимали лишь немногие мыслящие люди. Азиатский образ мыслей и кипение страстей, подкрепленных авторитетом власти, выхолостили, воздействуя большей частью исподволь, а иногда производя и сильное впечатление на боязливых и легковерных граждан, те простые понятия, которые составляли, вероятно, содержание первичной философии нарождающихся обществ. Нынешний просвещенный век, по-видимому, возвращает нам эти понятия еще более устоявшимися и выдержавшими испытание временем. Они прошли проверку на прочность в результате точного научного исследования, тысячи неудачных опытов и преодоления столь же многочисленных препятствий. По логике вещей нам следовало бы изучить и классифицировать все известные виды преступлений и способы их наказания. Но в этом случае нам пришлось бы вдаваться в бесконечные детали их природы, меняющейся в зависимости от места и времени. Поэтому я ограничусь указанием на наиболее общие принципы и на самые распространенные ошибки, чреватые роковыми последствиями, чтобы раскрыть глаза тем, кто вследствие ложно понятой любви к свободе хотел бы ввергнуть общество в анархию, равно как и тем, кому по душе заставлять людей строго следовать дисциплине монастырского устава.

Некоторые преступления чреватые уничтожением непосредственно самого общества или того, кто это общество олицетворяет. Другие являются посягательством на личную безопасность граждан, их имущество или честь. Третьи представляют собой противоправные действия или воздержание от действий, которые закон запрещает гражданам ввиду того, что эти действия или бездействия представляют угрозу для общественного блага. Первые из упомянутых преступлений наиболее опасны, так как наносят наибольший вред. Я называю их «оскорблением величества». Только в условиях тирании и невежества, при которых существует путаница в самых ясных словах и понятиях, может использоваться это название и соответственно назначаться высшая мера наказания за преступления совсем иного рода, превращая людей, как и

---

<sup>136</sup> Квадрант – старинный угломерный астрономический инструмент для измерения высоты небесных светил над горизонтом.

в тысяче других случаев, в жертву одного единственного слова. Всякое преступление, даже в отношении частных лиц, наносит вред обществу в целом. Однако это не означает, что любое преступление совершается с намерением непосредственно подорвать основы общества. Все происходящее в обществе и в природе подчиняется законам материального мира, и подобно всякому природному явлению имеет ограниченную сферу действия, пределы которой по-разному обусловлены пространством и временем. И только предвзятое толкование, – эта философия рабства, – может произвольно менять пределы, раз и навсегда установленные Вечной Истиной.

Затем следуют преступления против личности. Поскольку гарантия безопасности частных лиц является первоочередной задачей любой законно созданной ассоциации, то нарушение неотъемлемого права каждого гражданина на безопасность не может не повлечь за собой одного из самых суровых наказаний, установленных законом.

Постулат, согласно которому каждый гражданин должен быть наделен правом совершать любые, не противоречащие закону действия, не опасаясь каких-либо последствий, за исключением тех, что могут быть порождены этим действием, является политическим принципом. Народы должны верить в него непоколебимо, а верховные власти реализовать в строгом соответствии с законом. Священный принцип, без которого не может существовать общество, основанное на праве, служит справедливым вознаграждением людям за то, что они поступились всей полнотой своего общения с окружающим миром, свойственной существам, наделенным чувствами, и ограниченной лишь возможностями каждого. Этот принцип воспитывает свободный и сильный дух и предприимчивость ума, делает людей добродетельными и бесстрашными, чуждыми покорного благоразумия, то есть того качества, которое отличает людей, привыкших влачить жалкое и необеспеченное существование. Таким образом, посягательство на жизнь и свободу граждан является одним из тяжчайших преступлений. В этом же ряду стоят убийства и кражи, совершаемые не только простолюдными, но и лицами высших сословий, а также самими властями, поскольку их влияние обладает значительно большей силой воздействия и охватывает более широкий круг людей. И если преступления такого рода, совершаемые высшими сословиями и властью имущими, остаются безнаказанными, то это убивает в подданных чувство справедливости и чувство долга. Их заменяет вера в право сильного, что одинаково опасно как для тех, кто такое право применяет, так и для тех, кто от него страдает. /.../

## **§ XI. Об общественном спокойствии**

Наконец, к третьему виду преступлений относятся, в первую очередь, нарушения общественного спокойствия и личного спокойствия граждан, такие, как шум и драки в общественных местах и на улицах, предназначенных для торговли и передвижения граждан, подстрекательские речи, возбуждающие страсти любопытной толпы, которая воспламеняется тем легче, чем многочисленнее аудитория. Причем темный мистицизм иступленных речей более всего воздействует на большие массы людей, в то время как ясные и спокойные аргументы оставляют их безучастными.

Ночное освещение за государственный счет, стража в различных городских кварталах, простые и нравственные религиозные проповеди в безмолвии и тиши храмов, охраняемых государством, речи в поддержку частных и общественных интересов в народных собраниях, парламентах или в резиденции высшего лица в государстве – все это действенные средства для предупреждения опасных волнений народных страстей. Они являются основной охранительной функцией властей государства, которые французы называют «полицией». Но если полиция будет действовать по произволу, а не в соответствии с твердо установленными законами, которые должны быть под рукой у каждого гражданина, то это откроет лазейку тирании. А она непрестанно осаждаёт границы политической свободы. Я не нахожу ни одного исключения

из общего правила, согласно которому каждый гражданин обязан знать, когда он виновен и когда невиновен. Если же какому-либо государству необходимы цензоры, а в общем плане и власти, не подчиняющиеся закону, то это связано со слабостью его устройства, и совсем не характерно для природы хорошо организованной системы правления. Тирания, действующая тайно по причине неуверенности в своем будущем, лишает жизни больше жертв, чем открыто и торжественно провозглашенная жестокость. Эта последняя наполняет душу гневом, но не лишает ее сил. Подлинный тиран начинает всегда с того, что поработает общественное мнение. Это ведет к потере мужества, которое способно проявляться во всем своем блеске только при свете истины или в огне страстей или же не ведая об опасности.

Но какие наказания соответствуют этим преступлениям? Смертная казнь, действительно ли она полезна и необходима для безопасности и поддержания общественного порядка? А пытки и истязания, неужели они справедливы и достигают цели, провозглашенной законами? Каковы лучшие способы предупреждения преступлений? И неужели одни и те же наказания хороши для всех времен? Как они влияют на нравы и обычаи? Все эти проблемы заслуживают самого тщательного и геометрически точного решения, чтобы навсегда закрыть путь туманным софизмам, соблазнительному словоблудию и пугливому сомнению при рассмотрении данного вопроса. Если бы мне не удалось оказать иной услуги Италии, кроме той, что я первым представил ей с большой ясностью то, о чем другие народы уже имели смелость написать и начали практиковать, то и в этом случае я считал бы себя счастливым. Но если бы я, защищая права людей и необоримой истины, помог бы спасти от мучительной и ужасной смерти хоть одну несчастную жертву тирании или столь же пагубного невежества, то благословение и слезы радости лишь одного невинного служили бы мне утешением за людское презрение.

## § XII. Цель наказаний

Из простого рассмотрения истин, изложенных выше, с очевидностью следует, что целью наказания является не истязание и доставление мучений человеку и не стремление признать совершившимся преступление, которое уже совершено. Может ли в политическом организме, призванном действовать, не поддаваясь влиянию страстей, и умиротворять страсти индивидов, найти приют бесполезная жестокость, орудие злобы и фанатизма или слабости тиранов? И разве могут стоны несчастного повернуть вспять безвозвратно ушедшее время, чтобы не свершилось уже свершенное деяние? Цель наказания, следовательно, заключается не в чем ином, как в предупреждении новых деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и в удержании других от подобных действий. Поэтому следует применять такие наказания и такие способы их использования, которые, будучи адекватны совершенному преступлению, производили бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на души людей и не причиняли бы преступнику значительных физических страданий. /.../

## § XIV. Улики и формы суда

Существует общая теорема, весьма удобная для определения достоверности фактов, например, улики. Когда доказываемые факты взаимно зависят друг от друга, то есть когда одна улика доказывается только с помощью другой, то в этом случае, чем многочисленнее доказательств, тем менее вероятной становится достоверность факта, поскольку недостаточная доказанность предшествующего факта влечет за собой недостаточную доказанность последующих. Когда все доказательства какого-либо факта в равной степени зависят только от одного из них, то число их не увеличивает и не уменьшает достоверность факта, так как она держится на силе одного только доказательства, от которого зависят все остальные. Если же доказательства не зависят друг от друга, то есть, если улики доказываются иначе, чем одна посредством другой, то чем больше доказательств приводится, тем выше вероятность достоверности факта, так как

ложность одного из доказательств не влияет на другие. Я говорю о вероятности в области преступлений, достоверность которых, естественно, должна быть доказана прежде, чем они станут наказуемыми. Сказанное вряд ли покажется странным человеку, для которого достоверность с моральной точки зрения, строго говоря, не что иное, как вероятность, но такая, которую я называю достоверностью, ибо любой здравомыслящий человек непременно сочтет ее таковой в силу своего опыта, накопленного в результате практической деятельности и потому предшествующего любому умозрению. Таким образом, для признания человека виновным требуется такая достоверность, которой руководствуется каждый в важнейших делах своей жизни. Можно различать доказательства виновности совершенные и несовершенные. Совершенными я называю доказательства, исключающие возможность невинности, а несовершенными те, которые этого не исключают. Из первых для обвинения достаточно одного. Вторых же необходимо столько, чтобы они составили в совокупности одно совершенное доказательство. Иначе говоря, если каждое из несовершенных доказательств в отдельности допускает возможность невинности, то совокупность этих же доказательств по тому же делу такую возможность должна исключать. Следует подчеркнуть, что несовершенные доказательства становятся совершенными, если обвиняемый мог и обязан был их опровергнуть, но не сделал этого. Однако эту моральную достоверность доказательств легче почувствовать, чем точно определить. Поэтому я считаю наилучшими те законы, которые предусматривают наряду с основным судьей заседателей, назначаемых жребием, а не по выбору, ибо в этом случае незнание, которое судит, руководствуясь здравым смыслом, является более надежной гарантией, чем знание, которое судит субъективно, опираясь на собственное мнение. При ясных и точных законах обязанность судьи состоит лишь в установлении фактов. Если для сбора доказательств требуется проявить способности и находчивость, а выводы, сделанные на основании этих доказательств, необходимо представить ясными и точными, то при принятии решения в соответствии с данными выводами следует руководствоваться исключительно здравым смыслом, который более надежен, чем знания судьи, склонного всюду видеть преступников и все подгонять под искусственную схему, усвоенную им со студенческой скамьи. Счастлив народ, у которого законы не составляют науки. Наиболее полезен закон, согласно которому каждый должен судиться с себе равным, поскольку там, где царит свобода и счастье граждан, замолкают чувства, порождаемые неравенством. И потому в судах, действующих на основании такого закона, невозможны ни высокомерное отношение счастливого к несчастливому, ни ненависть простолюдина к представителю высшего сословия. При рассмотрении же дел о возмещении ущерба, нанесенного третьим лицам, суд должен состоять из равного числа представителей сословия обвиняемого и представителей сословия потерпевшего. Тем самым будут уравновешены частные интересы, которые независимо от намерения сторон искажают представление о сути дела. И это позволит высказаться закону и истине. Принципу справедливости соответствует также представление обвиняемому возможности отводить, согласно какому-нибудь определенному критерию, тех, кто кажется ему подозрительным. И если обвиняемому будет предоставлено какое-то время для беспрепятственной реализации этой возможности, то приговор суда будет выглядеть, как будто он вынесен обвиняемым самому себе. Судебные заседания должны быть открытыми, доказательства преступления должны быть также доступны публике, поскольку общественное мнение, которое, по-видимому, является единственным инструментом сплочения общества, тем самым получит возможность встать на пути насилия и разгула страстей, и народ сможет сказать: «Мы не рабы. Мы защищены». Это чувство придает мужество. Оно сродни дани уважения государству, осознающему свои подлинные интересы. Я опускаю описание других деталей и кривотворства, присущих подобным учреждениям, так как если бы мне пришлось рассказать все, я бы вообще не смог ничего сказать.

## § XV. Тайные обвинения

Тайные обвинения – очевидные, но освященные обычаем правонарушения, которые у многих народов стали даже потребностью по причине слабости их государственного устройства. Этот обычай делает людей лживыми и подозрительными. А кто способен подозревать в другом человеке доносчика, тот считает его своим врагом. Люди по этой причине становятся замкнутыми и, привыкнув таить свои чувства от других, привыкают в конце концов лгать и самим себе. Несчастливы люди, доведенные до такого состояния: без ясных и твердых указующих принципов мечутся они растерянные и неуверенные в себе по необъятному морю разнообразных суждений, вечно озабоченные проблемой спасения от угрожающих им чудовищ. День сегодняшний постоянно отдает у них горьким привкусом неуверенности в дне завтрашнем. Лишенные возможности постоянно радоваться безмятежной и безопасной жизни, они жадно и без разбора поглощали редкие и случайные наслаждения, которые вряд ли станут утешением их жалкого существования. И из таких-то людей мы хотим воспитать отважных воинов, защитников престола или отечества? И среди таких людей мы стремимся найти неподкупных и преданных родине представителей власти, которые со смелостью и страстью укрепляли бы и развивали истинные государственные интересы и приносили бы на алтарь отечества не только предписываемое долгом, но и любовь и благословение всех сословий, а от него несли бы мир дворцам и хижинам, безопасность и окрыляющую надежду на лучшее будущее, на укрепление животворных основ и самого существования государства? Кто может считать себя защищенным от клеветы, когда она вооружена непробиваемым щитом тирании – тайной! Что это за образ правления, позволяющий верховной власти подозревать в каждом подданном своего врага и в интересах государственной безопасности лишать личной безопасности своих граждан? Какие мотивы приводятся в оправдание таких обвинений и наказаний? – Общественное благо, государственная безопасность, укрепление существующего образа правления? Но что это за странное государственное устройство, в котором верховная власть, являясь силой сама по себе и обладая еще более действенной силой, такой, как общественное мнение, боится каждого гражданина? Гарантии безопасности обвинителя? Законы, стало быть, недостаточны для его защиты. Подданные, следовательно, могущественнее верховной власти! Опозоренная репутация доносителя? Но в этом случае санкционируется тайная клевета, а наказывается открытая. Природа преступления? Если действия, не наносящие ущерба обществу или даже приносящие ему пользу, называются преступными, то ни обвинение, ни суд не являются в достаточной мере тайными. Но разве могут существовать такие преступления, то есть деяния, наносящие ущерб обществу, гласное рассмотрение которых судом в назидание другим не представляло бы интереса для всех одновременно? Я с уважением отношусь к любому образу правления и не имею в виду ни одного из них в частности. Иногда обстоятельства по своей сути бывают таковы, что крайне пагубным для народа может оказаться обычай уничтожения зла, если оно коренится в системе его государственности. Но если бы мне суждено было разрабатывать новые законы для какого-либо отдаленного уголка Вселенной, то, прежде чем придать этому обычаю силу закона, я представил бы себе грядущие поколения, и застыла бы дрогнувшая рука.

## § XVI. О пытке

У большинства народов жестокие пытки, которым подвергается обвиняемый во время процесса, освящены обычаем. Применение пыток преследует различные цели: во-первых, чтобы заставить обвиняемого признаться в совершенном преступлении, во-вторых, чтобы он объяснил противоречия в своих показаниях, в-третьих, чтобы назвал сообщников, а также ради некоего метафизического и труднодостижимого очищения. Наконец, обвиняемого

пытают за другие преступления, которые могли быть им совершены, но которых ему не инкриминируют.

Никто не может быть назван преступником до вынесения приговора суда. Общество также не может лишить его своей защиты до тех пор, пока не принято решение о том, что он нарушил условия, которые ему эту защиту гарантировали. Таким образом, какое другое право, кроме права силы, наделяет судью властью наказывать гражданина до того, как установлен факт его виновности или невиновности? Не нова следующая дилемма: доказано преступление или нет. Если доказано, то оно подлежит наказанию исключительно в соответствии с законом, и пытки излишни, так как признание обвиняемого уже не требуется. В случае, если нет твердой уверенности в том, что преступление совершено, нельзя подвергать пытке невиновного, ибо, согласно закону, таковым считается человек, преступления которого не доказаны. Кроме того, было бы нарушением всех норм требовать от человека, чтобы он был одновременно и обвинителем самому себе, и обвиняемым, чтобы истина добывалась с помощью физической боли, как будто она коренится в мускулах и жилах несчастного. Такой подход – верное средство оправдать физически крепких злоумышленников и осудить слабых невиновных. Таковы роковые недостатки этого так называемого критерия истины, достойного каннибалов, который даже римляне, сами варвары во многих отношениях, применяли только к рабам, жертвам чрезвычайно превозносимой, но жестокой воинской доблести. /.../

Этот мерзкий способ добывания истины еще и поныне остается памятником древнего и дикого законодательства, когда испытание огнем, кипящей водой и вооруженными поединками назывались судом Божьим, как будто звенья непрерывной цепи явлений, берущей начало в первопричине, обязательно должны перепутываться и рваться в угоду легкомысленным человеческим поступкам. Единственное различие между пыткой и испытанием огнем и кипящей водой заключается в том, что исход первой зависит, по-видимому, от силы воли обвиняемого, а второго – от чисто внешних природных явлений. Но эта разница только кажущаяся, а не реальная. Дать правдивые показания под пыткой, причиняющей невыразимые страдания, столь же маловероятно теперь, как и прежде, когда подвергались испытанию огнем и кипящей водой. Всякое проявление нашей воли всегда пропорционально силе воздействия на наши чувства, поскольку воля от них зависит. Способность человеческих чувств к восприятию ограничена. Поэтому ощущение боли, охватив весь организм, может превысить предел выносливости подвергнутого пытке, и ему не останется ничего другого, как избрать кратчайший путь к избавлению от мучащих его в данный момент страданий. Следовательно, ответная реакция обвиняемого на пытку с неизбежностью будет такой же, как и при испытании огнем и кипящей водой. Чувствительный невиновный признает себя виновным, надеясь тем самым прекратить страдания. И таким образом стирается разница между виновными и невиновными с помощью именно того средства, которое как раз и призвано эту разницу выявлять. Излишне было бы дополнительно иллюстрировать сказанное бесчисленными примерами того, как невиновные люди признавали себя виновными, корчась под пыткой от боли. Нет такой нации, такой эпохи, которые не давали бы подобных примеров. Увы, люди не меняются и не делают никаких выводов. Любой человек с кругозором, выходящим за пределы повседневности, устремляется время от времени на обращенный к нему таинственный и смутный зов природы. Однако опыт, властвующий над разумом, его удерживает и внушает страх. Исход пытки, следовательно, дело индивидуального темперамента и расчета. У каждого эти параметры разные, и прямо зависят от физической силы и чувствительности. Так что математический метод больше подходит для решения этой проблемы, чем судебское усмотрение. Основываясь на данных о силе мускулов и чувствительности нервной системы невиновного, можно рассчитать тот болевой предел, за которым этот невиновный вынужден будет признать себя виновным в совершении преступления. /.../

Эти истины известны еще со времен древнеримских законодателей, когда пытки применялись лишь в отношении рабов, которые вообще за людей не считались. Эти истины усвоены Англией. Ее научная слава, превосходство в торговле и богатстве над другими странами и, как следствие этого, ее могущество, примеры доблести и мужества не позволяют усомниться в доброкачественности ее законов. Пытка отменена и в Швеции. Она отменена и одним из мудрейших монархов Европы. Он возвел философию на престол и стал другом-законодателем для своих подданных. Он сделал их равными и свободными, зависящими только от законов. И это единственный вид равенства и свободы, которых разумные люди могут требовать при настоящем положении вещей. /.../

## § XXVIII. О смертной казни

Это злоупотребление смертными приговорами, которое никогда не делало людей лучше, побудило меня исследовать вопрос о том: действительно ли смертная казнь полезна и оправдана при хорошо устроенном правлении? Что это за право, присвоенное людьми, зверски убивать себе подобных? Несомненно, его происхождение иное, чем у верховной власти и законов. Эти последние не что иное, как сумма частиц личной свободы каждого. Они являются выражением общей воли, которая, в свою очередь, – совокупность воль частных. Но кто же захочет предоставить право другим произвольно распоряжаться своей жизнью? Каким образом малая толика собственной свободы, отданная каждым ради общего блага, сделала возможной жертву величайшего из всех человеческих благ – жизнь? Но как в таком случае примирить этот принцип с другим, запрещающим человеку лишать себя жизни, в то время, как он должен был бы иметь право на самоубийство, если мог уступить его другому лицу или целому обществу?

Следовательно, как я показал, смертная казнь не является правом и не может быть таковым. Это – война государства с гражданином в тех случаях, когда оно считает полезным и необходимым лишить его жизни. Но если я докажу, что смертная казнь ни полезна, ни необходима, я выиграю дело человечества.

Смерть человека может считаться необходимой только по двум причинам. Первая заключается в том, что гражданин, несмотря на лишение свободы, продолжает оставаться влиятельным и могущественным, угрожая безопасности государства, ибо уже сам факт его существования несет в себе угрозу для правящего режима. Смерть гражданина делается, следовательно, необходимой, когда государство борется за то, чтобы вернуть или не потерять свою свободу, или когда беспорядок заменяет законы в эпоху анархий. Но во время спокойного господства законов, когда существующий образ правления поддерживается всеми гражданами, опирается вовне и внутри на силу и общественное мнение, – более, может быть, значимое, чем сила, – и когда верховная власть является истинным представителем народа, а богатство покупает лишь удовольствия, но не власть, я не вижу необходимости в лишении гражданина жизни, за исключением случая, когда его смерть является единственным средством удержать других от совершения преступлений. Это и есть вторая причина, согласно которой смертная казнь может считаться оправданной и необходимой. Если опыт всех веков, в течение которых смертная казнь никогда не удерживала людей, решившихся посягнуть на общественный порядок, если примеры римлян и императрицы Московии Елизаветы I, преподавшей отцам народов своим двадцатилетним правлением блистательный урок, по крайней мере не уступающий по силе своего воздействия множеству завоеваний, купленных ценой крови сынов отечества, не убеждают людей, для которых язык разума всегда подозрителен и которым лишь язык власти всегда понятен, то достаточно обратиться к природе человека, чтобы убедиться в справедливости моих слов.

Не суровость наказания, а продолжительность его морального воздействия – вот что производит наибольшее влияние на душу человека, потому что наши чувства легче и надолго



воспринимают слабое, но повторяющееся впечатление, чем сильное, но быстро проходящее потрясение. Сила привычки – явление общее для всех чувствующих существ. Человек при ее помощи выучивается говорить, ходить, удовлетворять свои потребности. И соответственно нравственные понятия запечатлеваются в человеческом сознании только посредством продолжительного и повторяющегося воздействия. Не страшное, но мимолетное зрелище смертной казни злостных рецидивистов представляется наиболее действенным средством удержания людей от преступлений, а постоянный и исполненный тяжких страданий пример, когда человек, лишенный свободы и превращенный в подобие рабочего скота, возмещает своим каторжным трудом ущерб, нанесенный им обществу. Воздействие этого постоянно повторяющегося, а потому и наиболее эффективного напоминания самим себе: «Я буду низведен до такого же жалкого состояния, если совершу аналогичное преступление», гораздо сильнее, чем мысль о смерти, которую люди всегда представляют себе в туманной дали.

Впечатление от смертной казни при всей силе его эмоционального воздействия быстро забывается. Это заложено в природе человека и касается даже самых важных предметов. Процесс забывания усиливается под воздействием страстей. Общее правило: сильные страсти овладевают людьми лишь на непродолжительное время. При этом они способны превратить обыкновенных людей в персов или спартанцев. Но при свободном и спокойном образе правления впечатления должны быть скорее часто повторяющимися, нежели сильными.

Смертная казнь является для большинства людей зрелищем. И лишь у немногих она вызывает сострадание, смешанное с негодованием. Оба эти чувства охватывают души зрителей в большей мере, чем страх, призванный, как на то рассчитывал законодатель, вводя смертную казнь, эти души спасти. Но при умеренных и длящихся продолжительное время наказаниях страх доминирует, поскольку он остается единственным. Суровость наказания должна быть, по-видимому, ограничена тем пределом, за которым сострадание начинает превалировать над другими чувствами людей, наблюдающих за казнью, ибо она совершается скорее для них, чем для преступника.

Чтобы быть справедливым, наказание должно быть строгим в той мере, поскольку это способствует удержанию людей от совершения преступлений. Нет человека, который, взвесив все и зная о грозящем пожизненном лишении свободы, прельстился бы призрачными выгодами задуманного им преступления. Таким образом, пожизненная каторга, заменив смертную казнь, станет суровым наказанием, чтобы удержать даже самую отчаянную душу от совершения преступления.

Добавлю, более чем достаточно: ведь очень многие смотрят в лицо смерти спокойно и твердо, кто из фанатизма, кто из тщеславия, сопровождающего почти всегда человека до могилы, а кто и предпринимая последнюю отчаянную попытку покончить счеты с жизнью или вырваться из тисков своего бедственного положения. Но ни фанатизм, ни тщеславие не выдержат кандалов или цепей, ударов палкой, ярма, тюремной решетки. И это будет означать для отчаявшегося не конец его страданий, а лишь начало. Наш дух более способен противиться насилию и самым страшным, но непродолжительным болям, чем времени и постоянной тоске, ибо он может сконцентрироваться, так сказать, на мгновение, чтобы выдержать сиюминутную боль, но не обладает достаточной силой натяжения, чтобы сопротивляться продолжительному и повторяющемуся воздействию страданий второго рода. Смертная казнь, как назидательный пример для народа, каждый раз требует нового преступления. При замене ее пожизненной каторгой одно и то же преступление дает многочисленные и длящиеся продолжительное время примеры. И если важно продемонстрировать людям могущество законов, смертные казни в качестве наказания не должны совершаться с большим промежутком одна от другой. А это предполагает, что и преступления должны совершаться часто. И, следовательно, чтобы смертная казнь была полезной, необходимо, чтобы она не производила на людей того впечатления, которое она должна была бы производить, то есть чтобы она была в одно и то же время и

полезной, и бесполезной. Тому, кто скажет мне, что пожизненная каторга столь же ужасна, как и смертная казнь, а потому и столь же жестока, я отвечу, что если суммировать все самые несчастные моменты рабской жизни на каторге, то это может быть превзойдет по своей жестокости смертную казнь, ибо эти моменты сопровождают человека всю его оставшуюся жизнь, в то время как смертная казнь реализует свою силу в один миг. И в этом преимущество наказания пожизненной каторгой. Оно устрашает более того, кто наблюдает, чем того, кто от нее страдает, ибо первый представляет себе всю совокупность несчастливых мгновений рабства, а второго переживаемое им в данный момент несчастье отвлекает от будущих страданий. Все страдания представляются нам в нашем воображении преувеличенными. Тот же, кто переживает эти страдания, находит в них утешения, неизвестные и непонятные зрителям со стороны, ибо они наделяют чувствительностью своей души очерствелую душу несчастного каторжника.

Вот приблизительно как рассуждает разбойник или убийца, которых ничто, кроме виселицы или колеса, не сможет удержать от нарушения законов. Я знаю: утонченность души достигается только воспитанием чувств. Но если разбойник не способен правильно выразить свои принципы, это не значит, что от этого они становятся для него менее действенными: «Почему я должен уважать законы, которые проводят между мною и богатым такое резкое различие? Он отказывает мне в гроше, который я у него прошу, оправдывая это тем, что дает мне работу, хотя не имеет о ней никакого понятия. Кто написал эти законы? – богатые и могущественные. Они ни разу не удостоили своим посещением хижины бедняка. И им никогда не приходилось делить кусок заплесневелого хлеба под крики невинных и голодных детей и слезы жены. Порвем эти цепи, губительные для большинства и выгодные только кучке праздных тиранов. Уничтожим несправедливость в зародыше. И тогда я вновь обрету свою естественную независимость, заживу привольно и счастливо, добывая на хлеб насущный своей удалей и ловкостью. Может быть, и придет день раскаяния и скорби, но это будет лишь миг. За столь долгие годы свободы и удовольствий лишь один день мук расплаты. Во главе горстки людей, я исправлю ошибки судьбы и увижу этих тиранов бледными и дрожащими от страха перед тем, кого они с оскорбительным высокомерием считали ничтожнее своих лошадей и собак». Тут злодей, для которого нет ничего святого, вспомнит о религии, и она придет ему на помощь, предоставив возможность легкого покаяния и почти несомненное вечное блаженство, что сильно ослабит ужас последней трагедии.

Но тот, перед чьим мысленным взором пройдет длинная череда лет или даже вся жизнь, загубленная на каторге, на виду у сограждан, среди которых он жил свободным и полноправным, тот, кто представит себя узником тех законов, которые его защищали, тот с пользой для себя сравнит это с неясным исходом своих преступлений, с краткостью мига, в течение которого он мог бы воспользоваться их плодами. Продолжительность несчастий, которую являет пример людей, сделавшихся жертвой своих необдуманных поступков, произведет на него гораздо более сильное впечатление, чем зрелище смертной казни, которое скорее ожесточит, чем исправит его.

Смертная казнь бесполезна и потому, что дает людям пример жестокости. Если страсти и жажда войн научили проливать человеческую кровь, то законы, создаваемые, между прочим, для смягчения нравов, не должны множить примеры зверства, что особенно губительно, ибо смерть в силу закона свершается методически и с соблюдением правовых формальностей. Мне кажется абсурдом, когда законы, представляющие собой выражение воли всего общества, законы, которые порицают убийства и карают за него, сами совершают то же самое. И для того, чтобы удержать граждан от убийства, предписывают властям убивать. Какие законы истинны и наиболее полезны? Это те договоры и те условия, которые все готовы были бы соблюдать и предлагать, пока молчит всевластный голос частного интереса, или когда он совпадает с интересом общественным. Какие чувства возбуждает в каждом смертная казнь? Мы узнаем эти чувства в негодовании и презрении, с которым каждый смотрит на палача, хотя тот лишь невин-

ный исполнитель воли общества. Он – добрый гражданин, служащий общественному благу, необходимое орудие внутренней безопасности государства. Такой же, как доблестные воины, охраняющие его внешние рубежи. Отчего же происходит это противоречие? И почему это чувство, к стыду разума, неискоренимо? Потому что люди в глубине души, которая более чем что-либо продолжает оставаться сколком первоизданной природы, всегда верили, что их жизнь не подвластна никому, кроме необходимости, которая твердой рукой правит миром.

Что скажут люди о мудрых властях и чопорных жрецах правосудия, посылающих с невозмутимым спокойствием преступника на смерть, обрамленную торжественными формальностями, о судье, который с бесчувственной холодностью, а может быть, и с затаенным самодовольством от осознания собственного всеислия отпрывается наслаждаться радостями жизни, в то время как обреченный судорожно вздрагивает в предсмертной тоске, ожидая рокового удара? «А, – скажут они, – эти законы – не что иное, как ширма, скрывающая насилие и продуманные и жестокие формальности правосудия; они не что иное, как условный язык, применяемый для большей безопасности при уничтожении нас, как жертв, приносимых на заклание ненасытному Молоху<sup>137</sup> деспотизма». Убийство нам преподносили как ужасное злодеяние, но мы видим, что оно совершается без малейших колебаний и без отвращения. Воспользуемся следующим примером: насильственная смерть по описанию очевидцев представляется нам ужасной, но мы видим, что это – минутное дело. Насколько же легче будет перенести ее, если не будет томительного ожидания и почти всего того, что есть в ней мучительного! Таковы пагубные и ложные умозаключения, к которым всегда, правда, не вполне осознанно, приходят люди, предрасположенные к преувеличениям, люди, которые, как мы видели, предпочитают скорее нарушать религиозные заповеди, чем следовать им.

Если мне попытаются возразить с помощью примеров, доказывающих, что во все времена и у всех народов существовала смертная казнь за некоторые виды преступлений, я отвечу: эти примеры ничего не значат перед лицом истины, не подвластной никаким срокам давности, ибо история человечества представляет собой необозримое море заблуждений, на поверхности которого на большом расстоянии друг от друга едва угадываются смутные очертания весьма редких истин. Человеческие жертвоприношения богам были присущи почти всем народам. Но кто осмелится оправдать их? И то, что лишь немногие сообщества людей и только на короткое время воздерживались от применения смертной казни, скорее свидетельствует в мою пользу, ибо это подтверждает судьбу великих истин, которые подобны мгновенной вспышке молнии по сравнению с длинной непроглядной ночью, поглотившей человечество. Еще не пришло время той счастливой эпохи, когда истина, как до сих пор заблуждение, станет принадлежать большинству. Из этого общего правила делались лишь редкие исключения в пользу тех истин, которые Бесконечная Божественная Мудрость решила выделить среди других, открыв ее людям.

Голос философа, слишком слабый, потонет в шуме и гвалте многих, которые идут на поводу у слепой привычки. Но голос мой найдет отклик в сердцах немногих мудрецов, рассеянных по лику земли. И если бы истине, несмотря на бесконечные препятствия, мешающие ей приблизиться к монарху, удалось, даже вопреки его воле, достичь его трона, то пусть он знает, что она явилась, чтобы поведать о потаенных чаяниях всего народа. Пусть также знает, что перед лицом ее меркнет кровавая слава завоевателей, и что справедливое потомство отведет ей первое место среди мирных трофеев Титов, Антонинов и Траянов<sup>138</sup> (3).

Счастливым было бы человечество, если бы лишь теперь для него издавались впервые законы, ибо именно сейчас мы видим восседающими на престолах Европы благодетельных

---

<sup>137</sup> Молох – почитавшееся в Палестине, Финикии и Карфагене божество, которому приносились человеческие жертвы.

<sup>138</sup> Титов, Антонинов и Траянов – перечисляются римские императоры, стяжавшие себе славу «справедливых»: Тит правил в 79–81, Траян в 98–117, Антонин Пий в 138–161 гг.

монархов, отцов своих народов, венценосных граждан, покровительствующих мирным добродетелям, наукам и искусствам. Усиление их власти составляет счастье подданных, так как тем самым устраняется насилие, стоящее между народом и престолом. И оно тем более жестоко, чем слабее монарх, и удушает всегда искренние голоса народа, которые становятся плодотворными, если будут услышаны на престоле! Я утверждаю, что если эти монархи и оставляют действующими устаревшие законы, то причиной этого являются невероятные трудности, с которыми приходится сталкиваться при удалении многовековой, а потому и почитаемой ржавчины веков. Вот почему просвещенные граждане должны с еще большим рвением желать постоянного усиления их власти. /.../

## § XLII. О науках

Хотите предупредить преступления? Сделайте так, чтобы просвещение шло рука об руку со свободой. Зло, порождаемое знаниями, обратно пропорционально их распространению, а добро – прямо пропорционально. Ловкий обманщик, как правило, человек недюжинных способностей, часто пользуется обожанием невежественной толпы, а просвещенные люди его освистывают. Знания облегчают сравнения между предметами и, увеличивая число различных точек зрения на эти предметы, противопоставляют многие ощущения друг другу, что взаимно их обогащает, причем тем легче, чем чаще встречаются у других такие же взгляды и такие же сомнения. Свет просвещения, проникший вглубь нации, заставляет умолкнуть клеветническое невежество, и дрожит власть без его поддержки, тогда как могущественная сила законов остается непоколебимой. Ибо нет ни одного просвещенного человека, который бы, сравнивая пожертвованную им ничтожно малую, а потому бесполезную для него толику свободы с совокупной свободой, жертвованной другими, не отдавал бы свое предпочтение ясному и полезному общественному договору, обеспечивающему безопасность всем и лишаящему возможности остальных замышлять против него. Человек с утонченной душой, бросив взгляд на хорошо составленный кодекс и поняв, что потерял лишь печальную свободу причинять зло другим, согласится с необходимостью выразить признательность престолу и тому, кто его занимает.

Неверно, что науки всегда приносили вред человечеству, а когда это случалось, то это становилось неизбежным злом для людей. Расселение рода людского по лику земли породило войны, примитивное искусство и первые законы, которые были договорами-однодневками, вызванными сиюминутными потребностями и вместе с ними исчезающими. Так у людей появились зачатки философии, первые скупые максимы которой были верны, так как лень и недостаток сметливости удерживали людей от совершения ошибок. Но с размножением людей их жизненные потребности возрастали. Появилась нужда в более сильных и устойчивых впечатлениях, которые подавляли бы в людях инстинкт возвращения в первобытное дообщественное состояние, становившийся все более губительным. Следовательно, первоначальные заблуждения человечества, заселившие землю ложными божествами и создавшие невидимый мир, который управлял нашим миром людей, принесли ему пользу (я говорю о пользе в политическом смысле). Те смельчаки, которые сумели внушить человечеству удивление и привести к алтарям послушное невежество, оказались благодетелями людей. Представляя им предметы, недоступные их восприятию и ускользавшие, прежде чем они оказывались в их руках, и потому никогда не презираемые ими, ибо никто их не знал, эти смельчаки объединили и сконцентрировали человеческие страсти на одном-единственном предмете, который занимал людей более всего. Так складывалась жизнь всех наций, образовавшихся из первобытных народов. Такова была эпоха формирования больших сообществ. Такова была необходимая и, может быть, единственная связь, их соединявшая. /.../ Но так как заблуждение обладает свойством делиться до бесконечности, то порожденная им наука превратила людей в толпу ослепленных фанатиков,

которые так беспорядочно метались в замкнутом лабиринте, что некоторые чувствительные и философски настроенные души сожалели об утрате первобытного состояния. Это была первоначальная эпоха, когда знания, вернее, мнения, приносили вред.

Вторую эпоху составляет трудный и полный ужасов период перехода от заблуждений к истине, от неосознанного мрака к свету. Страшное столкновение заблуждений, выгодных кучке могущественных людей, с истиной, полезной многим слабым, сшибло и всколыхнуло страсти, причинив неизмеримые страдания несчастному человечеству. Кто размышляет над ходом истории, которая повторяется через определенные промежутки времени в своих главных эпохах, обнаружит, что часто одно поколение приносится в жертву следующим за ним в этот бурный, но необходимый период перехода от мрака невежества к свету мудрости и от тирании к свободе, как следствие развития этого процесса. Но когда улягутся страсти, утихнет пожар, очистивший нацию от зол, ее угнетавших, истина, сперва медленно, а затем все убыстряя шаг, воссядет на престол рядом с монархами. И когда ее начнут почитать как божество и возводить алтари в честь нее в республиканских парламентах, кто осмелится тогда утверждать, что свет просвещения масс более вреден, чем мрак невежества, и что истинные и простые причинные связи, познанные людьми, губительны для них?

Если дремучее невежество менее губительно, чем посредственная и путаная ученость, – потому что эта последняя к заблуждениям невежества добавляет неизбежно ошибки того, чей ограниченный кругозор не достигает границ истины, – то просвещенный человек – ценнейший подарок, какой только государь может преподнести нации и себе, назначив его хранителем и стражем священных законов. Привыкший общаться с истиной, а не бояться ее, не нуждающийся, в основном, в опоре на чужие мнения, которые никогда не бывают в полной мере удовлетворительными, но всегда используются в качестве доказательства добродетели большинством людей, он придерживается более возвышенных взглядов на человечество. Для него собственный народ – братски спаянная семья, а расстояние между властью имущими и народом тем меньше, чем значительнее та часть человечества, которая предстает перед его глазами. Простым людям неведомы потребности и интересы философов, которые, как правило, не отказываются излагать открыто свои принципы, сформулированные в кабинетной тиши. И им свойственна бескорыстная любовь к истине. Выбор таких людей составляет счастье нации. Но счастье мимолетное, если только хорошие законы не увеличат число этих людей настолько, что обычно большая вероятность ошибочного выбора станет незначительной.

### **Вопросы и задания:**

1. Найдите в тексте рассуждения Ч. Беккариа о «духе» и «букве» законов. Почему итальянский просветитель настаивает на соблюдении именно «буквы»?
2. В чем проявился внесловный характер юридической теории Ч. Беккариа?
3. Можно ли по данному произведению судить о политических убеждениях автора? Приведите соответствующие места.
4. Какую практику судопроизводства предлагает Ч. Беккариа? Как она связана с практикой раскрытия преступлений и с «детективными» сюжетами в мировой литературе?
5. Какого взгляда на смертную казнь придерживался Ч. Беккариа? Какую аргументацию он приводит для подкрепления своей позиции? Как эта тема отразилась в русской и зарубежной литературе?
6. Какое отношение, по логике Ч. Беккариа, имеют «науки» к предотвращению преступлений?
7. Попробуйте определить, какое влияние оказал на Ч. Беккариа Монтескье.

## Карло Гольдони (1707-1793)

### Предтекстовое задание:

1. Прочитайте отрывок из комедии К. Гольдони «Кофейная» (1750).
2. Обратите внимание на специфику интриги и методы обрисовки характеров.
3. Прав ли переводчик комедии, великий русский драматург А. Н. Островский, утверждавший, что комедия «едва ли может иметь успех на сцене»?

### Кофейная Комедия в трех актах, в прозе *Перевод А. Н. Островского*

#### ЛИЦА:

Ридольфо, содержатель кофейной.

Дон Марцио, неаполитанский дворянин.

Евгенио, купец.

Фламинио, под именем графа Леандро.

Плачида, жена Фламинио.

Виттория, жена Евгенио.

Лизаура, танцовщица.

Пандольфо, содержатель игорного дома.

Траппола, слуга Ридольфо.

Слуга парикмахера.

Другой слуга из кофейной.

Полицейский сыщик.

Слуги гостиницы. Без речей.

Слуги кофейной. Без речей.

Сцена представляет широкую улицу в Венеции; на заднем плане три лавочки: средняя – кофейная, направо – парикмахерская, налево – игорная; над лавками комнаты, принадлежащие нижней лавке, с окнами на улицу; справа, ближе к зрителям (через улицу), дом танцовщицы, слева гостиница.

### Акт первый

#### Сцена первая

Ридольфо, Траппола и другие слуги.

Ридольфо. Будьте бодрей, ребята, будьте проворнее, служите гостям прилично и учтиво. Слава заведения много зависит от хорошей прислуги.

Траппола. Надо сказать правду, хозяин: вставать так рано мне не по комплекции.

Ридольфо. А все-таки нужно. Кто ж служить будет? К нам рано народ заходит: лодочники, моряки, ну и все, кто себе утром хлеб добывает.

Траппола. Посмотришь, как эти носильщики усядутся кофе кушать, так, право, умрешь со смеху.

Ридольфо. На все мода: иной раз водка в моде, другой раз кофе.

Траппола. Та синьора, которой я ношу каждое утро кофе, всякий раз просит меня купить ей на четыре сольда<sup>139</sup> дров, а все-таки пьет кофе.

Ридольфо. Что делать-то! Роскошь такой порок, который никогда не выведется.

Траппола. Покуда еще не видать никого, можно бы и соснуть часок-другой.

Ридольфо. А вот сейчас и народ будет, теперь уж не рано. Да разве вы не видите? Парикмахер уж отпер, и в лавке работают уж парики. Смотри, и игорная лавочка тоже открыта.

Траппола. Она уж давно открыта. Там торговля ночная.

Ридольфо. Да! Пандольфо наживается.

Траппола. Этой собаке от всего пожива: барыш от карт, барыш от плутовства, барыш от того, что в доле с мошенниками. Кто к нему ни зайдет, все деньги там и оставит.

Ридольфо. Не завидуй этим барышам! Чужое добро прахом пойдет.

Траппола. Бедный синьор Евгенио! Его там ловко обчистили.

Ридольфо. Ну, вот тоже, есть ли совесть у этого человека? У него жена – молодая женщина, красивая, умная, он бегаёт за всякой юбкой, да, кроме того, играет напропалую.

Траппола. Что ж такое! Это называется: маленькие шалости.

Ридольфо. Играет с этим графом Леандро и проигрывает ему наверное.

Траппола. Да, про этого графа грех сказать что-нибудь хорошее.

Ридольфо. Ну, ступайте молоть кофе да сварите свежего.

Траппола. А вчерашний-то куда же?

Ридольфо. Нет, сварите получше.

Траппола. Хозяин, у меня что-то память плоха: вы давно ль кофейную-то открыли?

Ридольфо. Сам знаешь. Месяцев восемь.

Траппола. Так уж пора и перемениться.

Ридольфо. Что ты! Как перемениться?

Траппола. Снова во всякой кофейной кофей отличный, а месяцев через шесть и вода похолоднее, и кофей пожиже. (*Уходит.*)

Ридольфо. Он шутник. Ну что ж, это нехудо: где заведется веселый малый, туда и народ идет.

## Сцена вторая

Ридольфо и Пандольфо (выходит из игорной лавки, протирая глаза, как будто со сна).

Ридольфо. Синьор Пандольфо, хотите кофею?

Пандольфо. Да, с удовольствием.

Ридольфо. Мальчики, подайте кофею синьору Пандольфо! Прошу садиться.

Пандольфо. Нет, нет, мне поскорей выпить да и опять за работу. (*Мальчик подает кофе Пандольфо.*)

Ридольфо. У вас играют?

Пандольфо. На два стола.

Ридольфо. Что так рано?

Пандольфо. Да еще со вчерашнего вечера.

Ридольфо. Ав какую игру?

Пандольфо. В самую невинную, в фараон.

Ридольфо. Как идет игра?

Пандольфо. Для меня-то недурно.

Ридольфо. Разве вы тоже играете?

---

<sup>139</sup> Сольдо (су) – почти копейка серебром. (Прим. А. Н. Островского.)

Пандольфо. Да, я тоже немножко схватил.

Ридольфо. Послушайте, мой друг: конечно, это не мое дело, но хозяину играть не годится; проиграете вы – будут смеяться; выиграете – будут подозревать вас.

Пандольфо. Мне только б не смеялись; а подозревать, пусть подозревают сколько угодно: мне это все равно.

Ридольфо. Любезнейший друг, жаль мне вас. С вашим ремеслом и до тюрьмы недалеко.

Пандольфо. Я за большим не гонюсь. Выиграл два цехина<sup>140</sup>, с меня и довольно.

Ридольфо. Браво! Это значит: щипать перепелку понемножку, чтобы не закричала. У кого вы выиграли?

Пандольфо. У приказчика от золотых дел мастера.

Ридольфо. Худо, очень худо! Вы выиграли краденые деньги, – приказчики воруют у хозяев.

Пандольфо. Ах, не учите меня, пожалуйста! Кто глуп, сиди дома. У меня игра для всех, играй, кто хочет. Плутства у меня нет; я умею играть, я счастлив, оттого я и выигрываю.

Ридольфо. Браво! И вперед так делайте! Синьор Евгению играл?

Пандольфо. И теперь играет. Не ужинал, не спал и проиграл все деньги.

Ридольфо. Бедный молодой человек! Сколько он проиграл?

Пандольфо. Сто цехинов наличными, а теперь проигрывает на слово.

Ридольфо. А с кем играет?

Пандольфо. С графом.

Ридольфо. С этим-то?

Пандольфо. Да, с этим.

Ридольфо. А еще с кем?

Пандольфо. Только вдвоем, с глазу на глаз.

Ридольфо. Бедненький! Он еще новичок.

Пандольфо. А мне-то что за дело! Переменят много карт, вот мне и барыш.

Ридольфо. Мне кажется, что честный человек не должен допускать, чтоб в его глазах людей резали.

Пандольфо. Ну, друг, с такой деликатностью немного денег наживете.

Ридольфо. Да и не надо. Я до сих пор делал свое дело честно. Я поднялся с четырех сольдов и, с помощью своего хозяина, покойного отца синьора Евгенио, как вы знаете, открыл эту лавочку и хочу жить честно и не испортить своей торговли.

Пандольфо. Ну, и в этой торговле тоже плутни бывают.

Ридольфо. Как не быть, везде есть. Но такие кофейные не посещают порядочные люди, а мою постоянно.

Пандольфо. Однако и у вас есть секретные комнаты.

Ридольфо. Правда; только они не запираются.

Пандольфо. И кофей тоже подаете всякому.

Ридольфо. К чашкам не пристает.

Пандольфо. Ну да, вы новичок, невинность.

Ридольфо. Что вы хотите сказать?

Голос из игорной лавки: «Карт!»

Пандольфо. Сейчас!

Ридольфо. Сделайте милость, вытащите из-за стола бедного синьора Евгенио.

Пандольфо. Да проиграй он хоть рубашку, мне-то что за дело? (*Идет к лавке.*)

---

<sup>140</sup> Zecchino – цехин, золотая монета около 3 руб. сер. (Прим. А. Н. Островского.)



Ридольфо. Друг, а за кофей-то записать, что ли?

Пандольфо. Нет, сыграемся в карты.

Ридольфо. Что я за дурак!

Пандольфо. Ну, что вам стоит? Сами знаете, что от моих гостей вашей лавке польза. Мне удивительно, что вы обращаете внимание на такие пустяки. (Уходит.)

**Вопросы и задания:**

1. Найдите связь творческого метода К. Гольдони с драматургической теорией французского классицизма, в частности, с комедиографией Мольера.

2. В чем К. Гольдони радикально расходится со своими французскими образцами?

3. Соберите материал об итальянской «комедии масок», с преобладанием которой на подмостках итальянских театров К. Гольдони боролся всю жизнь.

4. Можно ли обнаружить в драматургии К. Гольдони черты пресловутой комедии масок? В чем они проявляются?

5. Что, по вашему мнению, заставило А. Н. Островского взяться за перевод этой пьесы? Докажите свою точку зрения.

## Карло Гоцци (1720-1806)

### Предтекстовое задание:

Прочитайте сказку К. Гоцци «Любовь к трем апельсинам» (1761), обращая внимание на оригинальную форму этого драматического произведения.

### Любовь к трем апельсинам Драматическое представление, разделенное на три действия Разбор по воспоминанию *Перевод Я. Блоха. Перевод стихов М. Л. Лозинского.*

Пускай мой челн уносится теченьем,  
Пока его не опрокинет вал:  
Моей мечтой, моим воображеньем  
Я угодить бы каждому желал;  
Но в мире нет предела измененьям:  
Кто разность лиц и нравов сосчитал?  
Тот верен лилии, а этот – розе,  
У всех свой вкус, в поэзии и в прозе.

Да, как Моргайте, палицей своей  
Я, может быть, работал слишком рьяно.  
Но там, где есть достаточно судей,  
Рассудят дело поздно или рано.  
К тому ж увечье в разуме вещей,  
Когда врагом имеешь великана;  
И я брал меч, но меч не боевой:  
Игрую в жмурки был веселый бой.

*Пульчи, «Моргайте», песнь 27<sup>141</sup>*

### Предисловие автора к пьесе «Любовь к трем апельсинам»

«Любовь к трем Апельсинам» – детская сказка, превращенная мною в театральное представление, которым я начал оказывать поддержку труппе Сакки<sup>142</sup>, – была лишь шутовской преувеличенной пародией на произведения синьоров Кьяри<sup>143</sup> и Гольдони, бывшие в ходу в момент ее появления на свет.

Единственной целью, которую я преследовал этой пьесой, было выяснить, насколько характер публики восприимчив к такому детски сказочному жанру на театральных подмостках. Из моего точного разбора по воспоминанию читатель убедится, что представление это было настолько смелым, что граничило даже с дерзостью. Истину никогда не следует скрывать.

---

<sup>141</sup> Эпиграф к тексту сказки «Любовь к трем Апельсинам» взят из пародийно-рыцарской поэмы «Большой Моргайте» (1483) одного из любимейших поэтов Гоцци Луиджи Пульчи (1432-1484).

<sup>142</sup> Труппа Сакки – актерская труппа, для которой Гоцци написал все свои 10 сказок.

<sup>143</sup> Пьетро Кьяри (1712-1785) – автор многочисленных комедий в стихах, сделавших его серьезным соперником Гольдони и Гоцци, хотя стиль этих произведений зачастую напыщен и аффектирован.

Никогда еще не было видано на сцене представления, совершенно лишённого серьёзных ролей и целиком сотканного из общего шутовства всех персонажей, как это было в данном сценическом наброске. Пьеса была представлена труппой Сакки 25 января 1761 года, в театре Сан-Самуэле в Венеции, с прологом, помещаемым ниже перед разбором.

Разъяренные приверженцы обоих поэтов сделали все возможное, чтобы обеспечить ее провал, но любезная публика поддержала ее целых семь представлений в течение карнавала, который уже приближался к концу.

В последующие годы пьеса неизменно повторялась, но уже без преувеличенной пародии на вышеупомянутых поэтов, потому что для нее уже прошло время и она явилась бы некстати. Из моего разбора будет видно, чем она была при своем возникновении.

## Пролог

Мальчик-вестник  
(к зрителям)

Мы, ваши слуги, старые актеры,  
Исполнены смущенья и стыда.  
Вся труппа там стоит, потупив взоры,  
И мрачны лица их, как никогда.  
Ведь в публике какие разговоры:  
Нас кормят вздором эти господа,  
Сплошным гнильем, комедией несвежей.  
Мошенники, насмешники, невежи!

Клянусь природой, сотворившей нас:  
Чтоб зрителей вернуть благоволенью,  
Любой из них даст вырвать зуб и глаз.  
Да, таково их твердое решенье!  
Но, люди добрые, хоть этот раз  
На миг сдержите гневное волненье,  
Два слова дайте мне сказать – а там  
На вашу волю я себя отдам.

Мы сбиты с толку: что же вас прельщает?  
Как угодить вам нашим ремеслом?  
Сегодня свистом публика встречает  
То, что вчера венчала торжеством.  
Непостижимый ветер управляет  
Общественного вкуса колесом.  
Одно мы знаем: чем полнее сборы,  
Тем лучше пьют и кушают актеры.

Теперь закон, чтоб сцена каждый миг  
Кипела столь обильным водопадом  
Характеров, случайностей, интриг  
И происшествий, сыплющихся градом,  
Что страх невольный в душу нам проник  
И мы друг друга испытует взглядом.

Но так как надо что-нибудь жевать,  
Мы старым хламом мучим вас опять.

Чем может быть объяснена утрата  
Приязни в ваших, зрители, сердцах  
К покорным слугам вашим, что когда-то  
Столь были чтимы в этих же стенах?  
Поэзия, не ты ли виновата?  
Пусть! Все равно! Все в этом мире прах,  
Мы претерпеть готовы все удары.  
Но ваша хладность горше всякой кары.

Мы все предпримем с нашей стороны,  
Мы даже стать поэтами готовы.  
Чтоб воротить успехи старины,  
Решились мы искать венец лавровый.  
Мы на чернила выменим штаны,  
За десть бумаги плащ зложим новый,  
Что нет таланта, это не беда:  
Лишь были б вы довольны, господа.

Великие, не виданные светом,  
Мы представлять комедии начнем.  
Где, как, когда мы их нашли, – об этом  
Не спрашивайте, да и что вам в том!  
Ведь если дождь прольется знойным летом,  
Его зовете новым вы дождем.  
А между тем я вам секрет открою:  
Вода есть дождь, дождь был всегда водою.

Все движется, все – превращений ряд.  
Конечное становится исходным.  
Иной с портрета старого наряд  
Сегодня снова делается модным.  
Вкус, увлеченье, современный взгляд –  
Все милым делают и превосходным.  
И я клянусь: старейший театрал  
Таких комедий сроду не видал.

У нас в руках сюжеты есть такие,  
Что превратят в младенцев стариков.  
Конечно, все родители честные  
К нам поведут сюда своих птенцов.  
Нас презрят лишь таланты неземные,  
Но это безразлично, – медяков  
Мы не расцениваем обоняньем:  
Чем отдают – невежеством иль знаньем.

Нежданных происшествий длинный ряд

Мы развернем пред вами в пестрой смене.  
Вас чудеса сегодня поразят,  
Каких никто не видывал на сцене.  
Ворота, птица, пес заговорят  
Стихами, что достойны восхвалений.  
Само собой, мартеллианский стих<sup>144</sup>  
Понравится вам больше всех других.

Актеры ждут, и, как пролог к картинам,  
Я должен вкратце изложить сюжет.  
Но я боюсь: шипением змеиным  
И громким криком будет ваш ответ.  
Итак, пойдет: «Любовь к трем Апельсинам».  
Я произнес. Мне отступленья нет.  
Теперь, друзья мои, вообразите,  
Что у огня вы с бабушкой сидите.

\* \* \*

Слишком очевидна сатира этого пролога, направленного против поэтов, притеснявших труппу актеров импровизированной комедии Сакки, которую я хотел поддержать, и слишком ясно мое намерение поставить на сцене ряд моих детских сказок, чтобы мне пришлось высказывать соображения по поводу отдельных мыслей, рассыпанных в самом прологе.

В выборе первого сюжета, взятого из самой пустой сказки, какие рассказывают детям, в грубости диалогов, действия и характеров, намеренно опошленных, я хотел высмеять «Перекресток», «Кухарок», «Кьоджинские перепалки» и многие другие плебейские и тривиальнейшие произведения синьора Гольдони<sup>145</sup>.

#### ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Сильвио, король Треф.  
Тарталья, принц, сын его.  
Клариче, принцесса, племянница короля.  
Леандро, валет Треф, первый министр.  
Панталоне.  
Труффальдино.  
Бригелла.  
Смеральдина, арапка, служанка.  
Челио, маг.  
Моргана, фея.  
Фарфарелло, дьявол.  
Дьявол с мехами.  
Креонта, великанша-волшебница.

---

<sup>144</sup> Мартеллианский стих – четырнадцатисложный, рифмующийся попарно стих, итальянский аналог александрийскому стиху, традиционно используемому в классической французской драматургии, ввел в обиход итальянский поэт и драматург Пьер Якопо Мартелло (1665–1727).

<sup>145</sup> ...хотел высмеять «Перекресток», «Кухарок», «Кьоджинские перепалки» и многие другие плебейские и тривиальнейшие произведения синьора Гольдони – Гоцци упоминает народные комедии Гольдони, написанные на диалекте; в них изображаются ссоры и перебранки простых женщин, которые Гоцци пародирует в своей сказке.

Три принцессы, дочери Конкула, короля Антиподов.  
Пес.  
Веревка.  
Ворота.  
Пекарка.  
Голубка.  
Герольд.  
Стража.  
Придворные.  
Народ.

Действие происходит в сказочном королевстве Треф.

## Действие первое

Сильвио, король Треф, монарх воображаемого королевства, одежды которого в точности походили на одежды карточного короля, жаловался Панталоне на несчастье, постигшее его единственного сына, наследного принца Тарталью, уже десять лет больного неизлечимой болезнью. Врачи определили ее как непреодолимое следствие ипохондрии и уже отступились от него. Король сильно плакал. Панталоне, осмеивая врачей, указывал на удивительные секреты некоторых живших в то время шарлатанов. Король возражал, что все было уже испробовано без пользы. Панталоне, фантазируя о происхождении болезни, спрашивал короля по секрету, чтобы его не услышала окружающая монарха стража, не приобрел ли его величество в молодости какой-нибудь болезни, которая, перейдя в кровь наследного принца, привела его к этому несчастью, и не поможет ли в данном случае ртуть. Король со всей серьезностью уверял, что он всегда был верен королеве. Панталоне добавлял, что принц, быть может, скрывает из стыда какую-нибудь приобретенную им заразную болезнь. Король серьезно и величественно уверял, что он своим отеческим осмотром удостоверился, что это не так и что болезнь его сына – не что иное, как смертельное последствие ипохондрии; врачи определили, что если он не засмеется, то вскоре будет в гробу, ибо только смех может быть очевидным знаком его исцеления. Но это невозможно! Он добавлял, что его печалит видеть себя уже дряхлым, с единственным умирающим сыном и с племянницей, принцессой Клариче, будущей наследницей его королевства, девушкой своевольной, странной и жестокой. Он жалел своих подданных и плакал навзрыд, забыв о своем королевском величии. Панталоне утешал его; он высказывал соображение, что если исцеление принца Тартальи зависит от его смеха, то не следует держать двор в такой печали. Пусть будут объявлены празднества: игры, маскарады и спектакли. Нужно разрешить Труффальдино, человеку заслуженному в искусстве смеха, настоящему рецепту против ипохондрии, говорить с принцем. Панталоне заметил у принца некоторую склонность доверять Труффальдино. Может случиться, что принц засмеется и выздоровеет. Король соглашался с этим и собирался отдать соответствующие распоряжения.

Выходил Леандро, вает Треф, первый министр. Это лицо было точно так же одето, как его фигура в игральных картах, Панталоне высказывал в сторону свое подозрение о предательстве Леандро. Король заказывал Леандро празднества, игры и вакханалии. Он говорил, что всякий, кому удастся рассмешить принца, получит большую награду. Леандро отговаривал короля от такого решения, полагая, что все это еще больше повредит больному. Панталоне настаивал на своем совете. Король снова подтверждал свои приказания и уходил. Панталоне ликовал. Он говорил в сторону, что, по его мнению, Леандро желает смерти принца. Затем он следовал за королем. Леандро оставался в смущении. Он видел какое-то противодействие своему желанию, но не мог понять его причину.

Выходила принцесса Клариче, племянница короля. Никогда еще не было видано на сцене принцессы с таким странным, капризным и решительным нравом. Я очень благодарен синьору Кьяри, который в своих произведениях дал мне несколько образцов для преувеличенной пародии характеров. Клариче, уговорившись с Леандро выйти за него замуж и возвести его на престол, если она останется наследницей королевства в случае смерти ее двоюродного брата Тартальи, бранила Леандро за равнодушие, которое он проявлял, выжидая, пока ее кузен умрет от такой длительной болезни, как ипохондрия. Леандро оправдывался с осторожностью, говоря, что его покровительница, фея Моргана, вручила ему несколько грамот в мартеллианских стихах, чтобы он дал их Тарталье запеченными в хлебе; это должно привести его к медленной смерти от последствий ипохондрии. Так говорилось для того, чтобы осудить произведения синьора Кьяри и синьора Гольдони, которые, будучи написаны мартеллианскими стихами, утомляли однообразием рифм. Фея Моргана была врагом короля Треф, так как потеряла много денег, ставя на портрет этого короля, и, напротив, была другом валета Треф, ибо несколько отыгралась на его изображении. Она жила в озере поблизости от города. Арапка Смеральдина, которая играла роль служанки в этой сценической пародии, была посредницей между Леандро и Морганой. Клариче приходила в ярость, услышав о медленном способе, который применялся для умерщвления Тартальи. Леандро высказывал сомнения о пользе грамот в мартеллианских стихах. Он видел, как прибыл ко двору, неизвестно кем посланный, некто Труффальдино, забавная личность. Если Тарталья засмеется, он выздоровеет. Клариче приходила в сильное беспокойство: она видела этого Труффальдино; невозможно было удержаться от смеха при одном взгляде на него. Грамоты в мартеллианских стихах, даже отпечатанные самым жирным шрифтом, будут бесполезны. В этих рассуждениях читатель увидит защиту импровизированной комедии масок как средства против последствий ипохондрии, в противовес меланхолическим писаниям тогдашних поэтов. Леандро уже раньше послал своего гонца Бригеллу к арапке Смеральдине с целью узнать, что означает тайна появления этого Труффальдино, а также просить о помощи.

Выходил Бригелла и таинственно сообщал, что Труффальдино прислан ко двору неким магом Челио, врагом Морганы и покровителем короля Треф, по причинам, сходным с указанными выше. Труффальдино служил лекарством против последствий ипохондрии, вызванной грамотами в мартеллианских стихах, и прибыл ко двору, чтобы охранять короля, его сына и всех обитателей города от заразной болезни, распространяемой этими грамотами.

Следует заметить, что во вражде феи Морганы и мага Челио аллегорически изображались театральные битвы, происходившие между синьорами Гольдони и Кьяри, и что в лице феи и мага изображались в преувеличенной пародии оба поэта. Фея Моргана представляла карикатуру на синьора Кьяри, а маг Челио – карикатуру на синьора Гольдони.

Принесенное Бригеллой известие о Труффальдино приводило Клариче и Леандро в большое смущение. Они обсуждали разные способы погубить Труффальдино. Клариче советовала мышьяк или пулю, Леандро – мартеллианские стихи в хлебе или опий. Клариче возражала, что мартеллианские стихи и опий вещи сходные, но Труффальдино кажется ей обладающим достаточно крепким желудком, чтобы переварить подобные снадобья. Бригелла добавлял, что Моргана, узнав о празднествах, готовившихся для развлечения принца, чтобы заставить его рассмеяться, обещала прийти на торжество и противопоставить его здоровому смеху проклятие, которое сведет принца в могилу. Клариче уходила, чтобы дать место приготовлениям к заказанным зрелищам, а Леандро и Бригелла уходили, чтобы распорядиться ими.

Действие переносилось в комнату принца, больного ипохондрией. Этот шутовской принц Тарталья был наряжен в самый забавный костюм больного. Он сидел в большом кресле, а возле него находился столик, о который он опирался, заставленный склянками, мазями, плевательницами и другими предметами, соответствующими его состоянию. Слабым голосом он жаловался на свою несчастную судьбу, рассказывал о способах лечения, которым он напрасно под-

вергался, говорил о странных симптомах своей неизлечимой болезни. И хотя он имел только краткое изложение сцены, этот превосходный актер разыгрывал ее с невиданным блеском и разнообразием. Его шутовская и в то же время естественная речь все время вызывала дружные взрывы хохота у зрителей.

Затем выходил пресмешной Труффальдино и делал попытку развеселить больного. Импровизированная сцена, разыгранная по сценарию этими двумя отличнейшими комиками, не могла не получиться чрезвычайно веселой. Принц благосклонно смотрел на проделки Труффальдино, но, сколько тот ни пробовал, он не мог рассмешить принца. Принц возобновлял разговор о своей болезни и хотел узнать о ней мнение Труффальдино. Труффальдино произносил запутанные комические рассуждения на медицинские темы, самые забавные, какие когда-либо приходилось слышать. Он нюхал дыхание принца, слышал запах от переполнения его желудка неперевавленными мартеллианскими стихами. Принц кашлял и хотел плюнуть. Труффальдино подставлял ему чашку и исследовал его плевки; находил в нем гнилые и вонючие рифмы. Эта сцена продолжалась около двадцати минут при непрерывном смехе зрителей.

Слышались звуки инструментов, которые давали сигнал к началу веселых зрелищ, происходивших на большом дворе королевского дворца. Труффальдино хотел повести принца на крытую террасу, чтобы оттуда смотреть на них. Принц восклицал, что это невозможно. Завязывался смешной спор. Труффальдино в ярости выбрасывал в окно склянки, чашки и другие предметы, служившие Тарталье во время его болезни. Последний громко кричал и плакал, как ребенок. Наконец Труффальдино уносил принца насильно, взвалив его себе на плечи; при этом Тарталья выл так, как если бы у него выпускали кишки.

Далее открывалась сцена в большом дворе королевского дворца. Леандро сообщал, что он исполнил приказания относительно зрелищ, что весь народ, печальный и жаждущий смеха, надел маски и собрался в этот двор на праздник, но что он из предосторожности заставил многих лиц замаскироваться мрачными фигурами, чтобы увеличить меланхолию принца, который будет смотреть на них. Уже настало время открыть ворота и дать народу возможность войти.

Выходила Моргана, принявшая образ карикатурной старушонки. Леандро удивлялся, как подобное существо могло проникнуть сквозь запертые двери. Моргана открывалась ему и говорила, что пришла сюда в этом виде с целью окончательно погубить принца. Она прибавляла, что уже пора начать празднество. Леандро благодарил ее, называл ее царицей ипохондрии. Моргана удалялась.

Открывались ворота двора. На крытой террасе фасада появлялись король Сильвио, меланхолический принц Тарталья, закутанный в шубу, Клариче, Панталоне, стража. Зрелище и празднества были именно те, о каких рассказывают детям в сказке о трех Апельсинах.

Входил народ. Происходил конный турнир. Труффальдино в качестве начальника отряда заставлял участвовавших в состязании проделывать смешные движения. При этом каждый раз, оборачиваясь к террасе, он спрашивал у его величества, смеется ли принц. Но принц плакал, жалуясь, что воздух его беспокоит, а шум вызывает головную боль, и просил короля, чтобы тот приказал отнести его в теплую постель.

У двух фонтанов, из которых один источал масло, а другой вино, толпился народ, делая себе запасы. Происходили вульгарнейшие простонародные перебранки, но ничто не могло заставить принца рассмеяться.

Выходила Моргана в виде старушонки с кувшином в руках, чтобы запастись маслом из фонтана. Труффальдино осыпал старушонку градом оскорблений. Она падала, высоко задрав ноги. Все эти пошлости, сопровождавшие представление обыкновенной сказки, развлекали зрителей своей новизной не меньше, чем «Кухарки», «Перекресток», «Кьоджинские перепалки» и другие пошлые произведения синьора Гольдони.



При виде падения старушонки принц разражался долгим и звонким смехом и разом излечивался от всех своих недугов. Труффальдино получал награду, а зрители, избавленные наконец от тяжелого впечатления его болезни, хохотали во все горло.

Весь двор радовался происшедшему. Только Леандро и Клариче были грустны. Разъяренная Моргана, поднявшись с земли, с жаром упрекала принца и бросала ему в лицо следующее ужасное проклятье в стиле Кьяри:

Отверзи слух, чудовище! Дойди мой крик до чрева.  
Сквозь стен, сквозь гор препятствие проникнет голос гнева.  
Как гибельная молния испепеляет сушу,  
Так пусть мои вещания тебе вонзятся в душу.  
Как на буксире лодочка за кораблем уходит,  
Так пусть тебя проклятие повсюду за нос водит.  
Да сгинешь ты от грозного проклятия Морганы,  
Как в море травоядное, как рыба среди поляны.  
Плутон – властитель Тартара, и Пиндар, вверх парящий,<sup>146</sup>  
К трем Апельсинам страстию тебя сожгут палящей.  
Мольбой, угрозой, жалобой не тронется судьбина:  
Спеши на страшный промысел – искать три Апельсина!

Моргана исчезала. Принц внезапно воодушевлялся любовью к трем Апельсинам. Его уводили при сильнейшем смущении всего двора. Какой вздор! Какое огорчение для обоих поэтов! Так кончился первый акт сказки при громких аплодисментах всей публики.

## Действие второе

Панталоне в одной из комнат принца, в отчаянии и вне себя, рассказывал о тяжелом состоянии Тарталья, которым овладело бешенство вследствие произнесенного над ним проклятия. Успокоить его было невысказано. Он требовал от отца пару подбитых железом башмаков, чтобы отправиться бродить по свету до тех пор, пока он не найдет роковые Апельсины, предмет своей любви. Панталоне получил приказ, под страхом немилости, просить у короля эти башмаки. Положение было очень серьезным. Такой сюжет очень подходил для театра. Панталоне высмеивал по этому поводу, в шуточной форме, сюжеты, бывшие тогда в ходу. Наконец он уходил к королю.

Выходили одержимый манией принц Тарталья и Труффальдино. Принц выражал нетерпение по поводу задержки с железными башмаками. Труффальдино задавал нелепые вопросы. Принц объявлял, что хочет отправиться искать три Апельсина, которые, как ему рассказывала его бабушка, находятся за две тысячи миль во власти волшебницы-великанши Креонты. Он требовал свои доспехи и приказывал Труффальдино вооружиться, так как хотел иметь его своим оруженосцем. Следовала шутовская сцена между этими всегда забавными персонажами. Они надевали кольчуги и шлемы и брали большие длинные мечи; все это они делали с величайшей карикатурностью. Выходили король Сильвио, Панталоне и стража. Один из стражей нес в тазу пару железных башмаков.

Эта сцена проводилась четверью персонажами с преувеличенной важностью, делавшей ее вдвойне смешной. С трагическим и драматическим величием отец пытался отговорить сына от его опасного предприятия. Он просил, угрожал, впадал в патетический тон. Одержимый

---

<sup>146</sup> Плутон – властитель Тартара, и Пиндар, вверх парящий – Плутон – в греческой мифологии бог подземного царства; Пиндар – греческий лирик V в. до н. э.

манией принц настаивал на своем. Он был уверен, что снова впадет в ипохондрию, если ему не позволят исполнить его намерение, и в конце концов доходил до грубых угроз по адресу отца. Огорченный король не знал, что ответить. Он делал заключение, что неуважение к нему сына объясняется тем, что он насмотрелся новых комедий. И действительно, мы видели в одной пьесе синьора Кьяри, как сын обнажал шпагу, чтобы убить собственного отца. Подобными примерами изобиловали тогдашние комедии, высмеянные мною в этой глупой сказке. Принц никак не мог успокоиться, пока Труффальдино не надевал ему железные башмаки. Сцена заканчивалась квартетом в драматических стихах, состоявших из причитаний, прощаний и вздохов. Принц Тарталья и Труффальдино отправлялись в путь. Король падал на кресло в обмороке. Панталоне громко требовал укуса, чтобы ему помочь. Прибегали Клариче, Леандро и Бригелла, бранили Панталоне за производимый им шум. Панталоне говорил, что речь идет о короле, лежащем в обмороке, и принце, который пошел на гибель для трудного приобретения Апельсинов. Бригелла возражал, что это такой же вздор, как новые комедии, переворачивающие все вверх дном без всякого смысла. Между тем король, придя в себя, с преувеличенным трагизмом оплакивал сына, как мертвого. Он отдавал приказ всему двору облачиться в траурные одежды, сам же уходил, чтобы запереться в кабинете и там окончить свои дни под бременем скорби. Панталоне клялся разделить печаль короля, смешать в одном носовом платке их общие слезы и дать современным поэтам сюжет для нескончаемых эпизодов в мартеллианских стихах. После этого он следовал за королем.

Клариче, Леандро и Бригелла радостно восхваляли Моргану. Капризная Клариче хотела, прежде чем возвести Леандро на престол, заключить соглашение о своем праве распоряжаться в королевстве. В военное время она желала стоять во главе войск. Даже в случае поражения она сумеет очаровать своей красотой вражеского полководца. Когда же тот влюбится и будет ею обнадежен, она при его приближении воткнет ему нож в живот. Это была язвительная насмешка над «Аттилой» синьора Кьяри. Кроме того, Клариче хотела иметь право раздавать придворные должности. Бригелла просил за свои заслуги должность управляющего королевскими зрелищами. Следовал спор по вопросу о выборе рода театральных развлечений. Клариче требовала трагических представлений, в которых действующие лица бросались бы из окон и с башен, не сломав себе шеи, и происходили бы другие столь же удивительные происшествия, – одним словом, она требовала произведений синьора Кьяри. Леандро предпочитал комедии характеров, иначе говоря – произведения синьора Гольдони. Бригелла предлагал импровизированную комедию масок, которая может служить невинным развлечением для народа. Клариче и Леандро возражали в гневе, что не хотят глупых буффонад, недостойных просвещенного века, и уходили. Бригелла произносил патетическую речь, соболезнуя актерской труппе Сакки, правда, не называя ее по имени, но так, что легко было понять, кого он имел в виду. Он оплакивал почтенных и заслуженных актеров, притесняемых со всех сторон и потерявших любовь той публики, которую они обожают и для которой они столько времени служили развлечением. После этого он уходил под аплодисменты зрителей, превосходно понявших истинный смысл его речи.

Далее открывалась сцена в пустыне. Было видно, как маг Челио, покровитель принца Тартальи, чертил круги. Он вызывал дьявола Фарфарелло.

Выходил дьявол Фарфарелло и страшным голосом говорил мартеллианскими стихами следующее:

В чем дело? Кто зовет меня из преисподней щели?  
Ты кто: ты театральный маг или маг на самом деле?  
А если театральный ты, ты сам того же мненья,  
Что старый хлам все дьяволы, волхвы и привиденья.

Оба поэта несколько раз заявляли, что хотят уничтожить в комедиях маски, магов и дьяволов. Челио отвечал прозой, что он настоящий маг. Дьявол добавлял:

Ну, ладно, будь кем вздумаешь; но только магам ложным  
Пристало говорить стихом четырнадцатисложным.

Челио грозил дьяволу – он хотел говорить прозой по своему разумению. Он спрашивал, добился ли какого-нибудь результата Труффальдино, посланный им ко двору короля Треф; заставил ли он рассмеяться Тарталью, и излечился ли тот от своей ипохондрии. Дьявол отвечал:

Захотел и стал здоров. Но силой заклинанья  
Моргана, фея злобная, сгубила все старанья.  
И, задыхаясь, в ярости, отца и двор покинув,  
Пустился принц на поиски заветных Апельсинов.  
Он с Труффальдино близится. За ними вслед пустила  
Моргана беса хмурого, чтоб поддувал им с тыла.  
Миль отмахавши с тысячу, они в конце дороги  
И здесь, в стенах волшебницы, протянут скоро ноги.

Дьявол Фарфарелло исчезал. Челио выкрикивал проклятия по адресу своего врага Моргану. Он разъяснял великую опасность, которой подвергались Тарталья и Труффальдино, отправившись в лежащий недалеко от этого места замок Креонты, где хранились три роковые Апельсина. Он удалялся, чтобы приготовить все необходимое для спасения двух заслуженных и чрезвычайно полезных обществу лиц.

Маг Челио, который изображал в этом вздоре синьора Гольдони, не должен был бы защищать Тарталью и Труффальдино. Эта ошибка вполне достойна порицания, если может заслуживать порицания такая чертовщина, как этот сценический набросок. Синьоры Кьяри и Гольдони были в то время врагами в своем поэтическом творчестве. Я хотел в лице Моргану и Челио вывести в карикатурном виде противоположность этих двух талантов, но вместе с тем я старался не удваивать число действующих лиц, чтобы спастись от упреков в чрезмерности своего каприза.

На сцену выходили принц Тарталья и Труффальдино, вооруженные, как было указано выше. Они выбегали стремительно быстро. За ними следовал дьявол с мехами, который, поддувая им в спину, заставлял их двигаться с необычайной быстротой. Внезапно дьявол с мехами переставал дуть и исчезал. От прекращения ветра оба путешественника падали на землю, не будучи в состоянии остановиться.

Я бесконечно обязан синьору Кьяри за превосходное впечатление, которое производила эта дьявольская пародия.

В своих драмах, заимствованных из «Энеиды», он заставлял троянцев на протяжении одной пьесы проделывать огромнейшие путешествия без помощи моего дьявола с мехами.

/.../ Тарталья и Труффальдино должны были проделать две тысячи миль, чтобы достичь замка Креонты. Мой дьявол с мехами оправдывал их путешествие лучше лошади синьора аббата Кьяри. Оба эти забавнейших персонажа в удивлении вставали с земли, ошеломленные ветром, дувшим на них сзади. Они делали нелепое географическое описание тех стран, рек и морей, которые прошли. Из того, что ветер прекратился, Тарталья выводил заключение, что три Апельсина недалеко. Труффальдино запыхался; он был голоден; он спрашивал принца, захватил ли тот с собой достаточный запас денег или векселей. Тарталья презирал все эти низкие и бесполезные вопросы. Он замечал неподалеку замок на горе и полагал, что это замок

Креонты, хранительницы Апельсинов. Он отправлялся в путь, а Труффальдино следовал за ним, надеясь найти пищу.

Выходил маг Челио, пугал обоих и напрасно старался отговорить принца от опасного предприятия. Он описывал непреодолимые препятствия – те самые, которые рассказывают детям в этой сказке; но Челио говорил о них, вытаращив глаза, страшным голосом, как если бы они были великими вещами. Опасности заключались в железных Воротах, покрытых ржавчиной от времени, в голодном Псе, в Веревке от колодца, полусгнившей от сырости, в Пекарке, которая, не имея метлы, подметала печь собственными грудями. Принц, несколько не уstraшенный этими ужасными предметами, хотел идти в замок. Видя его решимость, маг Челио давал ему волшебную мазь, чтобы смазать засов на Воротах, кусок хлеба, чтобы бросить его голодному Псу, и пучок вереска для Пекарки, подметающей печь собственными грудями. Он напоминал им о том, чтобы они вытащили Веревку из сырости и высушили ее на солнце. Он прибавлял, что если по счастливой случайности им удастся похитить три охраняемых Апельсина, им следует тотчас же бежать из замка и помнить, что нельзя разрезать ни одного из этих Апельсинов иначе, как возле какого-нибудь источника. Он обещал, в случае если после похищения они уйдут невредимыми от опасности, прислать им того же дьявола с мехами, который, дую им в спину, перенесет их в несколько мгновений на родину. Поручив их покровительству неба, маг Челио уходил. Тарталья и Труффальдино направлялись с полученными предметами к замку.

Тут опускалась занавеска, изображавшая дворец короля Треф. Какое нарушение всех правил! Что за неуместная критика! Следовали две небольшие сцены: первая между арапкой Смеральдиной и Бригеллой, радовавшимися гибели Тартальи; вторая с феей Морганой, которая в гневе приказывала Бригелле известить Клариче и Леандро о том, что Челио помогает Тарталье в его предприятии. Она получила эти сведения от демона Драгинаццо. Морганя приказывала Смеральдине следовать за нею до ее озера, куда должны будут попасть Тарталья и Труффальдино, если они выйдут живыми из рук Креонты. Здесь она сможет устроить им новые козни. Все расходились в смущении.

Далее сцена открывалась во дворе замка Креонты.

Уже с самого начала этой сцены, в которой разные нелепые предметы выступали в качестве действующих лиц, я имел возможность убедиться в том могучем воздействии, какое производит на людей все чудесное.

Ворота с железной решеткой на заднем плане; голодный Пес, бегавший взад и вперед с громким воем; колодец с лежавшей рядом Веревкой; Пекарка, подметавшая печь двумя огромнейшими грудями, – держали весь театр в напряженном внимании, несколько не меньше, чем лучшие сцены из произведений обоих наших поэтов.

Было видно, как за решеткой принц Тарталья и Труффальдино старались смазать ее засовы волшебной мазью, после чего Ворота распахивались. Вот так диво! Они входили. Пес с лаем набрасывался на них. Они кидали ему хлеб, он успокаивался. Вот так чудо! В то время как Труффальдино, полный страхов, раскладывал Веревку на солнце и давал Пекарке веник, принц входил в замок и затем радостно выходил из него, похитив три огромных Апельсина.

Великие происшествия на этом не кончались. Солнце меркло, земля содрогалась, слышались сильные удары грома. Принц передавал Апельсины дрожащему Труффальдино; они приготовлялись к бегству. Из замка раздавался ужасающий голос Креонты, которая в точном соответствии с текстом детской сказки кричала следующим образом:

Пекарочка, Пекарочка, избавь меня от срама.  
Хватай обоих за ноги и в печь швыряй их прямо!  
Пекарка, точно следуя тексту, отвечала:  
Ну, нет! Я столько времени, и месяцы и годы,

Терзаю груди белые, переносу невзгоды.  
Ты для меня, жестокая, метлу и то жалела,  
А эти веник дали мне. Пускай уходят смело.  
Креонта кричала:  
Веревка, удави ты их!  
А Веревка отвечала ей по тексту:  
Злодейка, ты забыла,  
Как много лет и месяцев меня ты здесь морила,  
В грязи держала, в сырости, в забвении убогом.  
Они мне дали высохнуть. Пускай уходят с богом.  
Креонта, продолжая придерживаться текста сказки, вопила:  
Мой Пес, мой сторож преданный, куси, хватай презренных!  
Пес, верный страж текста, отвечал:  
Нет, госпожа, не стану я кусать людей смиренных!  
Я столько лет и месяцев тебе служил голодный.  
Они меня насытили. Твои слова бесплодны.  
Креонта кричала сообразно тексту:  
Закройте, раздавите их, железные Ворота!  
Ворота отвечали по тексту:  
Ты просишь нашей помощи: напрасная забота!  
Мы столько лет и месяцев, скорбя, ржавели. Жиром  
Нас эти люди смазали. Пускай уходят с миром.

Забавно было видеть изумление Тартальи и Труффальдино перед таким обилием поэтов. Они были ошеломлены, слыша, как Пекарка, Веревка, Пес и Ворота разговаривают между собой мартеллианскими стихами. Они благодарили эти вещи за их милосердие.

Зрители были чрезвычайно довольны этой чудесной ребяческой новинкой, и, признаюсь, я смеялся и сам, чувствуя, как душа принуждена радоваться детским образам, возвращавшим меня во времена моего младенчества.

Выходила великанша Креонта. Она была громадного роста и носила платье «андриенну»<sup>147</sup>. При ее ужасном появлении Тарталья и Труффальдино обращались в бегство.

Креонта с жестами отчаяния произносила следующие отчаянные мартеллианские стихи, не переставая взывать к Пиндару, которого синьор Кьяри считал своим собратом:

О слуги вероломные, Веревка, Пес, Ворота,  
Пекарка нечестивая, о дочь Искарюта!<sup>148</sup>  
О Апельсины сладкие! Мне вас лишиться надо!  
О Апельсины милые, мой свет, моя отрада!  
Я лопаюсь от ярости! В груди своей я чую  
Стихии, Солнце, Хаос весь и Радугу цветную.  
Нет, дольше жить не в силах я! Зевеса гром летучий,  
От темени до щиколок разбей меня из тучи!  
Кто мне поможет, дьяволы, кто мук прервет течение?  
Вот дружеская молния: в ней смерть и утешенье.

---

<sup>147</sup> Платье «андриенна» – просторное женское платье, скрадывающее талию, было изобретено беременной актрисой Данкур, надевшей его для исполнения главной роли в комедии Барона «Адриенна». Такой фасон вошел в моду во Франции, а затем и в Италии.

<sup>148</sup> Искарют – Иуда, ученик Христа, предавший его в руки врагов, был сыном Искарюта.

Никакая преувеличенная пародия не сможет лучше объяснить чувства и стиль синьора Кьяри, чем этот последний стих. Падала молния, которая испепеляла великаншу. На этом кончилось второе действие, заслужившее у публики еще больше аплодисментов, чем первое. Моя смелость начинала уже становиться менее преступной.

## Действие третье

Сцена изображала место вблизи озера, в котором обитала фея Моргана. Виднелось огромное дерево, а под ним большой камень в форме скамьи. По всей местности были разбросаны разные камни.

Смеральдина, говорившая на итальянизированном турецком языке, стояла на берегу озера, ожидая приказаний феи. Выйдя из терпения, она звала ее.

Из озера выходила фея Моргана. Она рассказывала, что была в аду и там узнала, что Тарталья и Труффальдино с помощью Челио победоносно шествуют, подталкиваемые мехами дьявола, с тремя Апельсинами в руках. Смеральдина упрекала ее за невежество в магии: она была в бешенстве. Моргана советовала ей не выходить из себя. Благодаря подстроенной ею хитрости Труффальдино прибудет сюда отдельно от принца. Волшебный голод и жажда будут мучить его, и так как у него с собой три Апельсина, произойдут важные события. Она передавала арапке Смеральдине две дьявольские шпильки. Говорила, что она увидит под деревом прекрасную девушку, сидящую на камне. Это будет жена, избранная Тартальей. Пускай она постарается искусно воткнуть ей в волосы одну из шпилек. Тогда девушка превратится в голубку. Сама же Смеральдина должна сесть на камень вместо этой девушки. Тарталья женится на ней, и она станет королевой. Ночью, когда она будет спать с мужем, пускай она воткнет ему в волосы вторую шпильку; он превратится в животное, и таким образом трон останется свободным для Леандро и Клариче. Арапка находила в этом предприятии некоторые трудности, в особенности то, что ее хорошо знают при дворе. Волшебное искусство Морганы, как и следовало ожидать, устраняло все препятствия. Она уводила с собой Смеральдину, чтобы научить ее, как действовать, так как видела, что приближается Труффальдино, гонимый адским ветром. Выбежал Труффальдино с поддувавшим на него дьяволом и с тремя Апельсинами в мешке. Дьявол исчезал. Труффальдино рассказывал, что принц упал неподалеку вследствие стремительности их бега; теперь он хочет его подождать. Он садился. Он начинал чувствовать необыкновенный голод и жажду. Решал съесть один из трех Апельсинов. Испытывал угрызения совести, разыгрывал трагическую сцену. Наконец, ослепленный, измученный невероятным голодом, он решился принести великую жертву. Полагал, что можно возместить убытки двумя сольдо. Разрезал один из Апельсинов. О, чудо! Из него выходила девушка, одетая в белое, которая, точно следуя тексту сказки, говорила:

О, дай мне пить! О, горе мне! Сейчас умру! За что же?  
Умру от жажды, бедная! Скорей, мучитель! Боже!

Она падала на землю, охваченная смертельным томлением. Труффальдино забыл приказание Челио разрезать Апельсины только около источника. Одуревший от голода и от необычайности всего случившегося с ним, он в отчаянии не замечал соседнего озера; ему приходил в голову только один выход: разрезать другой Апельсин, чтобы утолить его соком жажду умирающей девушки. Он тотчас же приступал к этому жестокому поступку, разрезал другой Апельсин, и вот из него появлялась другая прекрасная девушка со следующими словами на устах:

Увы, умру от жажды я! Дай пить, я умоляю!

О боже, как я мучаюсь! Я в муках умираю.

Она падала, как и первая. Труффальдино приходил в сильнейшее беспокойство. Он был вне себя от отчаяния. Одна из девушек продолжала жалобным голосом:

Свирепый рок! Сейчас умру. Кончаюсь. Я скончалась.

Она испускала дух. Другая девушка прибавляла:

Жестокий свет! Я в смертный час без помощи осталась.

Она тоже испускала дух. Труффальдино плакал, нежно с ними разговаривал. Он решал разрезать третий Апельсин, чтобы помочь им. Он уже был готов привести свое намерение в исполнение, как вдруг выходил разгневанный принц Тарталья и грозил ему, Труффальдино в ужасе убежал, оставив Апельсин.

Изумление и размышления этого гротескового принца над корками двух разрезанных Апельсинов и над трупами двух девушек не поддаются описанию.

Веселые маски импровизированной комедии при подобного рода обстоятельствах разыгрывают сцены таких милых глупостей, таких приятных шуток и ломанья, которые нельзя ни пером описать, ни превзойти в поэтических произведениях.

После длинного и забавного монолога Тарталья замечал двух проходивших мимо людей и приказывал им похоронить с почетом обеих девушек. Люди уносили их прочь.

Принц обращался к третьему Апельсину. К его удивлению, он чрезвычайно вырос и стал похож на огромную тыкву.

Он замечал вблизи озеро; следовательно, согласно указаниям Челио, это было подходящее место. Он разрезал Апельсин своим мечом, и из него выходила высокая, красивая девушка, которая, следуя тексту этого серьезного сюжета, восклицала:

Ах, кто разрушил мой затвор! О небо, как я страдаю!  
Чтоб не оплакивать меня, дай утолить мне жажду!

И падала на землю.

Принц понимал теперь смысл приказа Челио. Он был в затруднении, так как у него не было ничего, чем он мог бы зачерпнуть воды. Обстоятельства заставили забыть о вежливости. Он снимал один из железных башмаков, бежал к озеру, наполнял его водой и, принеся извинение за несоответствующий сосуд, давал подкрепиться девушке, которая поднималась сильной и благодарила его за помощь.

Она рассказывала, что она дочь Конкула, короля Антиподов<sup>149</sup>, и что она была осуждена волшебством жестокой Креонты вместе с двумя сестрами пребывать в коже Апельсина по причине столь же правдоподобной, сколь правдоподобен самый этот случай. Следовала шутивно-любовная сцена. Принц клялся, что женится на ней. Город находился вблизи. Принцесса не имела приличной одежды. Принц уговаривал ее подождать, сидя на камне под сенью дерева. Он обещал прийти за ней с богатыми одеждами в сопровождении всего двора. Порешив на этом, они расстались со вздохами.

---

<sup>149</sup> ...короля Антиподов – Антиподами называются люди, обитающие на диаметрально противоположных точках земного шара.

Выходила арапка Смеральдина, изумленная всем, что она видела. Она замечала в воде озера отражение прекрасной девушки. Можно было не опасаться, что она не исполнит в точности всего, что предписывалось сказкой этой арапке. Она больше не говорила на итальянизированном турецком наречии. Моргана впустила её в язык тосканского дьявола, и она могла бросить вызов всем поэтам в правильности своей речи. Она обнаруживала молодую принцессу, которую звали Нинеттой. Она льстила ей, предлагала свои услуги, чтобы поправить ей головной убор, подходила к ней и предательски втыкала ей в голову одну из двух заколдованных шпилек. Нинетта превращалась в Голубку и улетала. Смеральдина садилась на ее место, ожидая прибытия двора. Другой шпилькой она собиралась пронзить Тарталью в эту ночь.

Вся эта смесь чудесного и забавного, все ребячества этих сцен заставляли зрителей, которые с детских лет знали от нянек и бабушек содержание этой сказки, следить с большим вниманием за всеми перипетиями ее сюжета, и души их были увлечены смелой попыткой воспроизвести ее в театре.

Под звуки марша появились Сильвио – король Треф, принц Тарталья, Леандро, Клариче, Бригелла и весь двор, чтобы торжественно отвести в город принцессу-невесту. Видя вместо нее арапку, не узнавшую благодаря колдовству Морганы, принц приходил в ярость. Арапка клялась, что она – принцесса, оставленная здесь. Принц не мог не вызвать смеха своими стонами. Леандро, Клариче и Бригелла радовались. Они понимали истинную причину происшедшего. Король Треф с важностью уговаривал сына сдержать свое слово и жениться на арапке. Он угрожал ему. Принц грустно соглашался, проделывая разные шутовские выходки. Раздавались звуки инструментов, и все общество направлялось ко двору, чтобы отпраздновать свадьбу.

Труффальдино не пришел вместе с двором. Он получил от принца прощение своих грехов. Принц дал ему звание королевского повара. Он остался на кухне готовить свадебный пир.

Следующая за уходом двора сцена была самой смелой в этой шутливой пародии. Представители партий синьоров Кьяри и Гольдони, находившиеся в театре и заметившие колкие остроты, делали всяческие попытки вызвать гневный шум в аудитории, но все их усилия были напрасными. Я уже сказал, что в лице Челио я изобразил синьора Гольдони, а в лице Морганы – синьора Кьяри. Первый был некоторое время адвокатом в венецианском суде, и его литературная манера отдавала стилем тех писаний, к которым привыкли адвокаты в этом почтенном трибунале. Синьор Кьяри хвастался пиндарическим и возвышенным стилем, но я должен сказать, с вашего позволения, что в семнадцатом веке не было у нас ни одного столь напыщенного и безрассудного писателя, который превзошел бы его невероятные ошибки.

Возбужденные взаимной ненавистью и злобой, Челио и Моргана, встретившись, разыгрывали следующую сцену, которую я перепишу целиком, вместе с диалогом.

Следует помнить, что если пародия не ударится в преувеличение, она никогда не достигнет желаемой цели. Поэтому надо снисходительно отнестись к капризу, родившемуся от веселого и шутливому ума, в основном как нельзя более дружественного к синьорам Кьяри и Гольдони.

Челио

*(выходя стремительно, Моргане)*

Злодейка-фея, я узнал все твои обманы; но Плутон мне поможет.  
Подлая ведьма! Проклятая колдунья!

Моргана



Что это за разговор, шарлатанский маг? Не задевай меня, а не то я задам тебе головомойку в мартеллианских стихах и заставлю тебя умереть от зевоты.

Челио

Мне, дерзкая ведьма? Я отплачу тебе той же монетой! Вызываю тебя на поединок в мартеллианских стихах. Вот тебе: Отныне домогательством сочтутся незаконным, Бесчестным, бездоказанным, защиты прав лишенным, Твои неосторожные и дерзкие деянья, Их вредные последствия, равно как волхвованья, И зло, всем в назидание, подвергнется клейменью, Искорененью полному, изгнанию, заточенью.

Моргана

Вот скверные стихи! Теперь моя очередь, ничтожный маг. Скорее стрелы Фебовы, сверкающие золотом, Презренным станут оловом или Восток Закатом, Скорей луна двурога, чей свет прельщает очи, Небесное владычество уступит звездам ночи, Скорее реки дольные с их хрусталем певучим, Взмыв на Пегасе пламенном, вверх вознесутся к тучам, Чем пренебречь можешь ты, Плутона раб негодный, Кормилом и ветрилами моей ладьи свободной!

Челио

О надутая, как пузырь, колдунья! Подожди! Развязка воспоследует в ближайших же явлениях На точном основании статей о превращениях. Нинетта, ныне горлица, разрушит чарованье И скоро в первобытное вернется состоянье. Засим, на основании статей о ряде следствий, Клариче и Леандро твой впадут в пучину бедствий, А Смеральдину черную, ее злодейства ради, Истицу безнадежную, слегка поджарят сзади.

Моргана

О глупый, глупый рифмоплет! Слушай меня, я тебя утрашу: На крыльях, воском спаянных, Икар, гордыни полный, Отважно к небу взносится, спускается на волны. Обременяют Оссою вершину Пелиона Титаны разъяренные, чтоб Зевса свергнуть с трона. Икары будут свергнуты в пучину океанов, И Громовержца молния испепелит титанов. Клариче на престол взойдет, твоим не внемля пеням,

А принц, как новый Актеон, окажется оленем.

Челио  
(в сторону)

Она хочет осилить меня поэтическими преувеличениями. Если она думает загнать меня в мешок, она ошибается. Ввиду того, что речь твоя груба и неприлична, Ее незамедлительно опротестую лично.

Моргана

Пусть ныне королевство Треф страну вольной будет!

(Уходила.)

Челио (кричал ей вслед)

Я предъявляю встречный иск! Тебе платить присудят!

(Уходил.)

Далее сцена изображала королевскую кухню. Никогда еще не было видано более жалкой королевской кухни, чем эта.

Остальная часть представления была лишь окончанием сказки, представленной во всех подробностях, за которой зрители продолжали следить с неослабевающим вниманием.

Пародия касалась теперь низостей и тривиальностей, а также пошлости некоторых характеров в произведениях обоих наших поэтов. Суть ее заключалась в невероятной скудости, неуместности и низменности.

Труффальдино был занят насаживанием жаркого на вертел. В отчаянии он рассказывал, что, так как в этой кухне нет вращающегося вертела, ему пришлось самому поворачивать вертел. В это время на оконце появлялась Голубка; между ним и Голубкой происходил следующий разговор. (Эти слова взяты из текста сказки.) Голубка говорила ему: «Здравствуй, повар!» Он ей отвечал: «Здравствуй, белая Голубка!» Голубка добавляла: «Я молю небо, чтобы ты заснул и жаркое сгорело; пускай арапка, противная тварь, не будет в состоянии его есть». После этого на него напал чудесный сон, он засыпал, а жаркое превращалось в уголья. Так происходило два раза. Два жарких сгорели. Он поспешно ставил на огонь третье жаркое. Появлялась Голубка, и повторялся тот же разговор. Волшебный сон опять напал на Труффальдино. Этот милый персонаж делал все усилия, чтобы не заснуть: его шутки, свойственные театру, были чрезвычайно забавны. Он засыпал. Огонь обращал в уголья и третье жаркое.

Пускай спросят у публики, почему эта сцена имела такой исключительный успех.

Появлялся с криком Панталоне и будил Труффальдино. Он говорил, что король разгневан, потому что уже съедены суп, вареное мясо и печенка, а жаркого все нет. Да здравствует смелость поэта! Тем самым были превзойдены драки из-за тыкв кьоджинских женщин синьора Гольдони. Труффальдино рассказывал историю с Голубкой. Панталоне не верил этим чудесам. Появлялась Голубка и повторяла волшебные слова. Труффальдино готов был снова впасть в оцепенение. Оба эти персонажа начинали гоняться за Голубкой, которая порхала по кухне.

Эта погоня живо интересовала публику. Голубку ловили, сажали на стол, гладили. Нашу-пывали маленькую шпильку на ее голове; это была волшебная шпилька. Труффальдино вытаскивал ее, и Голубка тотчас же превращалась в принцессу Нинетту.

Изумление было очень велико. Появлялся его величество король Треф, который с монаршей величественностью и со скипетром в руке грозил Труффальдино за опоздание жаркого и за стыд, который такой человек, как он, должен был испытать перед приглашенными.

Приходил принц Тарталья, узнавал свою Нинетту. Он был вне себя от радости. Нинетта рассказывала вкратце свои приключения; король оставался в изумлении. Он видел появление в кухне вслед за ним арапки и всего остального двора. Приняв чрезвычайно гордую осанку, король приказывал принцу и принцессе выйти в судомойню и, избрав себе в качестве трона очаг, садился на него со всем королевским достоинством. Появлялись арапка Смеральдина и весь двор. Король, точно следуя сказке, описывал происшедшее и спрашивал, какого наказания заслуживают виновные. Каждый в смущении высказывал свое мнение. Король в ярости приговаривал арапку Смеральдину к сожжению.

Появлялся маг Челио. Он разоблачал вину Клариче, Леандро и Бригеллы. Их приговаривали к жестокому изгнанию. Вызывали из судомойни принца с его нареченной. Все ликовали.

Челио уговаривал Труффальдино держать дьявольские мартеллианские стихи подальше от королевских кастрюль и почаще заставлял смеяться своих государей.

Сказка кончалась обычным финалом, который знает наизусть каждый ребенок: свадьбой, тертым табаком в компоте, бритыми крысами, ободранными котами и т. п. А так как господа журналисты того времени без конца расхваливали в своих листках всякую новую пьесу, представленную синьором Гольдони, то не было забыто и горячее обращение к публике с просьбой принять на себя посредничество между актерами и господами газетчиками в защиту доброй славы этого таинственного вздора.

Я не был виноват. Любезная публика требовала несколько вечеров подряд повторения этой фантастической пародии. Стечение народа было огромно. Труппа Сакки могла наконец свободно вздохнуть. Мне придется в дальнейшем указать на большие последствия, которые произошли от такого легкомысленного начала. Тот, кто знает Италию и не является по духу энтузиастом французской деликатности, не будет судить мою пародию, сравнивая ее с пародиями этого народа.

### **Вопросы и задания:**

1. Против каких черт драматургии К. Гольдони направлена сатира К. Гоцци?
2. В чем проявляется близость драматургической системы К. Гоцци к формам итальянского народного театра?
3. Найдите в тексте традиционные маски, укажите их специфическую роль в действии.
4. Раскройте аллегории, которые использует автор. Какую функцию в произведении они имеют и не мешает ли их сиюминутная направленность последующим представлениям пьесы?

## Витторио Альфьери (1749-1803)

### Предтекстовое задание:

1. Прочитайте первый и последний акты трагедии В. Альфьери «Орест» (1776).
2. Обратите внимание на простоту ее построения.
3. Выявите тираноборческую направленность и подумайте, с какими историческими событиями она связана.

### Орест

*Перевод Е. Солоновича*

### Действующие лица:

Эгист.

Клитемнестра.

Электра.

Орест.

Пилад.

Стража.

Сторонники Ореста и Пилада.

Действие происходит в Аргосе, в царском дворце.

### Действие первое

#### Явление первое

Электра.

Электра

Ночь злодеянья! Пагубная ночь,  
Которой нет забвенья! Ты приходишь  
Из года в год все эти десять лет  
В своем от крови черном облаченье,  
Но кровью кровь еще не отлилась.  
О, памятное зрелище! О бедный  
Отец мой, Агамемнон! Здесь лежал  
Убитый ты – и кем, и кем убитый!  
О, только бы до света спал Эгист,  
Чтоб не остался отчий прах сегодня  
Без ежегодной дани слез моих.  
Пока слезами только и надеждой  
На будущую месть могу, отец,  
Тебя утешить я. Клянусь, что если  
Я в Аргосе живу, в твоём дворце,  
Под общей кровлей с матерью преступной  
И под пятой Эгиста – лишь одно  
Меня с подобной долей примиряет:

Надежда на расплату. Далеко,  
Но жив Орест. Мне удалось от смерти  
Спасти тебя, единственный мой брат,  
И день настанет, я не сомневаюсь,  
Когда не слезы – вражескую кровь  
Ты над священною прольешь могилой.

### Явление второе

Клитемнестра, Электра.

Клитемнестра

Электра...

Электра

Этот голос!..

Клитемнестра

Дочь моя,  
Постой, хочу с тобой святое дело  
Наперекор Эгисту разделить.  
Он не узнает ничего. Поплачем  
Вдвоем.

Электра

Над кем же это?

Клитемнестра

Над твоим....  
Отцом...

Электра

А почему не над супругом  
Твоим? О, так его не смеешь ты  
Назвать! Но как приблизиться посмеешь  
К тому, чья кровь поныне на тебе,  
Мужеубийца?

Клитемнестра

Десять лет минуло  
С той ночи роковой, и десять лет

Я плачу о содеянном.

Электра

И сколько  
Ты плакать собираешься еще?  
Хоть вечно плачь – слезами не изменишь  
Ты ничего. Смотри, на стенах кровь,  
Тобою пролитая, проступает.  
Уйди: в твоём присутствии она  
Из выцветшей становится живою.  
Уйди, о ты, которой не могу,  
Не смею больше молвить «мать». К Эгисту  
Вернись на ложе верною женой.  
Не смей тревожить мирный прах Атрида.  
Его разгневанная тень встает,  
Чтоб оттолкнуть тебя. Ты не уходишь?

Клитемнестра

От слов твоих меня бросает в дрожь...  
Какая мука!.. Может, ты считаешь,  
Что я с Эгистом счастлива? Увы!

Электра

А разве ты заслуживаешь счастья?  
О, к счастью, небо счастья не дает  
Преступникам. Предначертаньем рока  
Навечно мукам ты обречена.  
Ты лишь вступаешь в полосу мучений:  
В волнах Коцита<sup>150</sup> доберешь свое,  
Где убиенного супруга взгляды,  
Исполненные гнева, выносить  
Тебе придется. Дрожь негодованья  
Охватит тени предков. Ты судью  
Усопших непреклонного услышишь  
И мук своих ни с чьими не сравнишь,

Клитемнестра

О, горе мне!.. Просить о состраданье?..  
Не заслужила... Правда, если б ты  
Могла прочесть во мне... Но кто сумеет  
Не ослепленный ненавистью взгляд  
К такому сердцу обратить? Не думай,  
Что я решаюсь осуждать тебя

---

<sup>150</sup> Коцит – в греческой мифологии река в Аиде, приток Стикса.

За ненависть и гнев. Уже при жизни  
Из мук невыносимых ни одной  
Не избежала я. Едва успела  
Моя десница нанести удар,  
Как я раскаялась, но было поздно.  
С тех пор кровавый призрак, что ни час,  
Стоит в глазах. Пойду – и предо мною  
Кровавой лентой страшная тропа,  
И он невдалеке. Сажу на троне  
Иль в трапезной – бок о бок он сидит,  
Когда уснуть на каменных подушках  
Мне удастся, он и тут, во сне,  
Передо мной: неистовые руки  
И без того растерзанную грудь  
Когтят. О, страшный призрак! Черной кровью  
Он наполняет пригоршни и кровь  
Выплескивает мне в лицо. И все же  
Стократ невыносимей день, чем ночь.  
Так и живу я бесконечной смертью.  
О дочь моя (ты все же дочь моя),  
Я плачу. Отчего же ты не плачешь?

#### Электра

Я плачу... да... я плачу. Но скажи:  
На узурпированном троне разве  
Ты не сидишь? И общие плоды  
Злодейства общего не пожинает  
Эгист с тобою? Плакать не должна  
Я о тебе. И не должна тем паче  
На веру слезы принимать твои.  
Ты не пойдешь со мной...

#### Клитемнестра

О дочь! Послушай...  
Я так несчастна... Больше, чем тебе,  
Сама себе я ненавистна. Поздно  
Эгиста раскусила я... О нет!  
Зачем я лгу? Как только Агамемнон  
Скончался, я прозрела. Да, жесток  
Эгист, но я его не разлюбила.  
Смешались угрызенья и любовь  
В моей груди... Лишь я одна достойна  
Подобных мук!.. Я вижу, как Эгист  
Мне помогает о моем злодействе  
Забывать и как презрение прикрыть  
Он обожаньем силится притворным.  
Я вижу все. Но разве я вольна

Незлодеяньем сделать злодеянье?

Электра

Достойной смертью искупают зло.  
Так почему, пока еще дымился  
Кинжал отцовской кровью, в грудь себе  
Его ты не вонзила? Испугалась?  
И почему досель не поднялась  
Рука на подстрекателя, который  
Отъемлет у тебя покой и честь,  
А у Ореста подло отнял царство?

Клитемнестра

Орест?.. При этом имени во мне  
Все холодеет.

Электра

А во мне, напротив,  
Кровь закипает. Это у тебя  
От полноты любви к родному сыну.  
Но жив Орест.

Клитемнестра

И небо да продлит  
Его года. Пускай бы только в Аргос  
Не рвался он. Несчастнее меня  
Нет матери: и сына потеряла  
Я навсегда. При всей любви к нему,  
Молю богов, чтобы меня хранили  
От встречи с ним.

Электра

Любовь любви рознь.  
И я молюсь, но чтобы он вернулся,  
И этой жаждой только и живу.  
Когда-нибудь Орест, как должно сыну  
Убитого Атрида, будет здесь.

### **Явление третье**

Эгист, Клитемнестра, Электра.

Эгист



Ужель настолько краток день, царица,  
Для горя твоего, чтоб до зари  
Для новых подниматься причитаний?  
Предай забвенью прошлое, чтоб мне  
Еще счастливей быть с тобою.

Клитемнестра

Ты только  
Царить желал, и ты царишь, Эгист.  
Чего тебе еще? Моим страданиям  
Исхода нет, ты знаешь.

Эгист

Знаю я,  
Чем вызваны они: любой ценою  
Ты сохранить хотела дочь свою,  
Я пощадил ее, тебе на горе,  
Да и себе. Но наконец хочу  
Сорвать с твоих очей завесу боли  
Невыносимой. Наконец пора  
Изгнать ее, и вместе с нею – слезы,

Электра

Гони меня. Дворец, где ты живешь,  
Залей слезами. Что, помимо плача,  
Услышишь там, где властвует Эгист?  
Да не нарадуется сын Тиеста  
При виде слез Атреевых детей<sup>151</sup>!

Клитемнестра

О дочь моя... Ведь он мне муж. Ты тоже  
Не забывай, что это дочь моя,  
Эгист...

Эгист

Она? Атрида порожденье.

Электра

---

<sup>151</sup> сын Тиеста/При виде слез Атреевых детей – речь идет о распре между родами Тиеста (Фиеста) и Атрея, которая длилась на протяжении жизни нескольких поколений; самым чудовищным ее эпизодом был так называемый «пир Фиеста», когда Атрей угостил Фиеста мясом его собственных детей. Эгисф был сыном Фиеста от его родной дочери, Агамемнон – сыном Атрея, так что события, показанные в пьесе Альфьери, являются следствием той же самой родовой вражды.

А он? Его убийца.

Клитемнестра

Замолчи.  
И ты, Эгист, помилосердствуй. Видишь  
Могилу страшную?.. Ты должен быть  
Доволен.

Эгист

Вижу, ты в противоречьях  
Запуталась. Так я тебя спрошу:  
От чьей руки Атрид погибель принял?

Клитемнестра

Каков попрек! Недоставало мне  
Лишь этого при всех моих мученьях.  
Тот, кто меня к убийству подстрекал,  
Меня одну во всем винит сегодня.

Электра

О, радость новая! За десять лет  
Впервые сердце радуется. Оба  
Добычей гнева стали наконец  
И угрызений. Наконец-то слышу  
Любви кровавой ласковый язык.  
Иллюзий больше нет: друг друга знают  
Они теперь. О, пусть презренье вас  
До ненависти доведет взаимной,  
А ненависть друг к другу доведет  
До новой крови!

Клитемнестра

О, какой жестокий  
Конец! Но что посеешь... Дочь моя...

Эгист

В тебе одной родятся наши распри.  
Любая мать, не будь она слепой,  
Легко бы дочь такую потеряла.  
Я мог ее избавить от тебя,  
Но слезным уступил мольбам. Назад же  
Я не привык свои подарки брать.  
Для нашего покоя нам довольно

Тебя не видеть. Нынче же тебя  
Мой самый жалкий раб получит в жены  
И увезет подальше – в нищете  
Бесславной прозябать: твоим приданым  
Лишь слезы будут.

Электра

Лучше говори  
Не о чужом – о собственном беславье.  
Кто из рабов презреннее, чем ты?  
Кто омерзительней?

Эгист

Уйди.

Электра

Я знаю,  
Ты не убил меня, чтоб я сильней  
Страдала. Но, быть может, эту руку  
Для благородной цели небеса  
Предназначают.

Эгист

Уходи. Ты слышишь?  
Я повторяю...

Клитемнестра

Дочь моя... Молчи...  
Прошу тебя, уйди...

Электра

Уйду, охотно:  
Нет мук, подобных муке видеть вас.

### **Явление четвертое**

Эгист, Клитемнестра.

Клитемнестра

Со всех сторон выслушивать попреки  
Жестокие, и поделом! О жизнь!

Какая смерть равна тебе?!

Эгист

Не будет,  
Как я сказал, покоя нам, пока  
Она при нас. Давным-давно покончить  
Пора с Электрой: мой и твой покой  
И государственные интересы  
Того заслуживают. Но чтоб слез  
Твоих не видеть, я ее не трону.  
Ты ж перестань противиться ее  
Отъезду. Я решил, и бесполезно  
Противиться.

Клитемнестра

Но ведь и я не раз  
Твердила, что не будет нам покоя,  
Какой бы ни была ее судьба.  
Ты в подозрениях, я в плену терзаний,  
И оба в страхе вечном будем жить  
И мучиться от этой зыбкой жизни.  
Чего другого ждать?

Эгист

Смотреть назад  
Я не хочу. О будущем забочусь.  
Не видеть счастья мне, пока живет  
Атрида семя. Ненависть в Оресте  
Растет с годами. Кровожадно он  
О благородной мести помышляет.

Клитемнестра

Несчастный, он живет, но далеко,  
Страдающий, безвестный, беззащитный.  
И ты, жестокий, жалуешься мне,  
Мне, матери, на то, что сын мой дышит?!

Эгист

Я скидку делаю на то, что мать –  
Мужеубийца. В жертву нашей страсти  
Ты мужа принесла. Так почему ж  
Ты не должна пожертвовать и сыном  
Для моего спокойствия?

Клитемнестра

О, ты  
Неисправим. Ты вечно алчешь крови  
И преступлений. О, зачем я так?!  
Ты заманил меня в свою ловушку,  
Прикинувшись влюбленным, но потом,  
Увы, пришло прозреньё. Но, к несчастью,  
Я до сих пор сгораю от любви,  
И ты, к несчастью, ведаешь об этом.  
И потому ты говоришь, что я  
Безвинного, единственного сына  
Могла бы не любить.  
Какой злодей  
О нем не плакать может!..

Эгист

Ты хотя бы,  
Ты, что одним ударом умертвить  
Двоих смогла. Один клинок прикончил  
Отца и сыну смертный приговор  
Отцовской кровью начертал. Ореста  
Спасли моя медлительность, судьба  
И пронизательность сестры. И смеешь  
За сына ты вступаться, у него  
Отняв сперва отца, а после царство?

Клитемнестра

Кровавые слова... О мальчик мой,  
Ужель пожертвовать ты должен жизнью,  
Чтоб тот, кто все отъемлет у тебя,  
Несправедливый гнев сменил на милость?

Эгист

Ужель, пока он жив, спокоен тот,  
Кто достоянием его владеет?  
Орестов меч над нами занесен  
Всечасно. Род презренного Атрида,  
На все способный, кончится на нем.  
Не одного меня он не выносит,  
И я тревожусь меньше за себя,  
Чем за тебя. Ты разве не слыхала  
Ужасных предсказаний вещунов  
О том, что он родителей погубит?  
Вот твой удел. И потому мой долг  
Ускорить, сколько можно, смерть Ореста,

А твой – не возражать.

Клитемнестра

О, кровь моя!

Эгист

Нет, не твоя, а грязные остатки  
Атреевой. Преступник, в ком течет  
Атрея кровь. Тщеславьем обуянный  
Отец обет исполнил – дочь твою  
Убил на алтаре<sup>152</sup>. Дитя Атрида,  
Орест, ступая по стопам отца,  
Прикончит мать. О, до чего слепая  
И жалостная мать! Смотри, твой сын  
Уже подымлет меч. Дрожи от страха...

Клитемнестра

Ну что ж, пусть отомстит за смерть отца,  
Сразив меня. Он должен преступленьем,  
Быть может, большим искупить мое,  
Коль преступленье большее возможно,  
Но будь что будет. Пролитою мной  
Тебя, Эгист, я заклинаю кровью:  
Не тронь Ореста. Он ведь далеко  
Живет изгнанником. Вернуться в Аргос  
Он не рискнет, а если бы рискнул,  
Я грудью бы тебя тогда закрыла.  
Но если все-таки он будет здесь,  
Так небесам угодно, и выходит –  
Меня избрали жертвой небеса.

Эгист

Довольно слез. Орест еще не умер.  
И мало у меня надежд, что он  
Мне попадется в руки. Но коль скоро  
Настанет день, когда исполню то,  
В чем ты напрасно преступленье видишь,  
В тот день вольно тебе заплакать вновь.

---

<sup>152</sup> Отец обет исполнил – дочь твою /Убил на алтаре – когда ахейский флот, отправлявшийся в Трою, задержался из-за отсутствия попутного ветра, Агамемнон был вынужден принести в жертву свою (и Клитемнестры) дочь Ифигению, чего супруга так и не простила ему.

## Действие пятое

### Явление первое

Эгист, стража.

Эгист

Предательство! Проклятье! На свободе  
Орест? Сейчас проверим.

### Явление второе

Клитемнестра, Эгист.

Клитемнестра

Стой! Вернись  
Немедленно.

Эгист

И ты, и ты туда же,  
Презренная?

Клитемнестра

Тебя спасти хочу,  
Уж я не та...

Эгист

Коварная...

Клитемнестра

Ни шагу!

Эгист

Не собираешься ли ты меня  
Живьем злодею выдать?

Клитемнестра

Даже если

Мне смерть грозила бы, спасти клянусь  
Тебя. Останься здесь. Получше спрячься.  
Тем временем преградой буду я  
От бешенства его.

Эгист

Преградой лучшей  
Оружье будет. Не мешай. Уйди.  
Бегу...

Клитемнестра

Куда?

Эгист

Убить его.

Клитемнестра

Погибель  
Бежишь искать. Что можешь сделать ты?  
Не слышишь, как народ кричит? Не слышишь  
Угроз всеобщих? Нет, остановись,  
Не отпущу.

Эгист

Ты нечестивца сына  
От смерти не избавишь. Не мешай,  
Пусти меня...

Клитемнестра

Убей, когда не веришь.  
Кричат: «Орест!» Слышал? «Орест, Орест!»  
Как громко отзывается повсюду  
Чудовищное имя! Ты в беде,  
И больше я не мать.

Эгист

Ты ненавистна  
Аргивянам, и коль предстанешь им,  
Их гнев удвоится. Все громче крики.  
О, виновата ты одна во всем:  
Из-за тебя промешкал я с возмездьем,  
Что обернулось супротив меня



Теперь.

Клитемнестра

Ну что ж, убей меня.

Эгист

К спасенью  
Другой найдется путь.

Клитемнестра

Пойду с тобой.

Эгист

Плохая ты защита. Убирайся!  
С такой, как ты, скорее пропадешь.

### **Явление третье**

Клитемнестра.

Клитемнестра

Все гонят прочь меня!.. Какая мука!  
Дитя за мать меня не признает  
И за жену супруг. Но я-то знаю,  
Что я жена и мать. О, не хочу  
Терять его! Пойду за ним поодаль.

### **Явление четвертое**

Электра, Клитемнестра.

Электра

Куда ты, мать? Не покидай дворца,  
Грозит опасность...

Клитемнестра

Что, скажи, с Орестом?  
Где он?

Электра

Мы все – Пилад, Орест и я,  
Все трое живы. От людей Эгиста  
Не ждали мы такого, но Димант  
Воскликнул первый: «Это наш царевич!»  
И все: «Оресту – жизнь, Эгисту – смерть!»

Клитемнестра

Что слышу я?

Электра

Не беспокойся, скоро  
Увидишь сына ты и мерзкий труп  
Тирана...

Клитемнестра

Нет! Пусти, я побежала...

Электра

Не делай глупостей. Народ кипит,  
И все поносят вслух мужеубийцу.  
Нельзя показываться им сейчас,  
Я с этим и пришла. В тебе сказалась  
Вся материнская любовь, когда  
Нас повели на смерть. Свою ошибку  
Ты искупила. Брат меня прислал,  
Чтобы тебя утешить и избавить  
От зрелища жестокого. Пилад  
И он, с оружием, Эгиста ищут  
Повсюду. Ты не знаешь, где злодей?

Клитемнестра

Злодей – Орест.

Электра

О, небо!

Клитемнестра

Попытаюсь  
Спасти его иль вместе с ним умру...

Электра

Нет, не пушу тебя на растерзанье...

Клитемнестра

Я заслужила, я пойду...

Электра

Ужель  
Того, кто только что на смерть отправил  
Твоих детей, ты хочешь?..

Клитемнестра

Да, спасти.  
С дороги! Я повиноваться в силах  
Жестокому уделу своему.  
Он мой супруг. Он слишком дорогою  
Ценой достался мне, и не хочу  
Терять его. Какие вы мне дети?  
Предатели, я ненавижу вас.  
Пойду к нему. Пусти меня, злодейка,  
Пусти к нему. О, только бы успеть!

### **Явление пятое**

Электра.

Электра

Беги к своей судьбе... Но я надеюсь,  
Небыстрым будет шаг. И мне бы взять  
Оружие, чтоб тысячу ударов  
Вонзить презренному Эгисту в грудь.  
Слепая мать! О, как мерзавец этот  
Околдовал тебя! Но я... боюсь...  
Что, если чернь взбешенная расправу  
За своего царя над ней свершит?..  
Пускай идет... Но я Пилада вижу,  
Не видя брата с ним.

### **Явление шестое**

Пилад со своими сторонниками, Электра.

Электра

Скажи: Орест?

Пилад

Вокруг дворца посты располагает.  
Теперь от нас Эгисту не уйти.  
Но где он мог укрыться? Ты злодея  
Не видела?

Электра

Я видела жену  
И задержать пыталась, правда, тщетно,  
Безумную: она за эту дверь  
Метнулась – чтобы защитить Эгиста,  
Как мне она сказала. Значит, он  
До этого успел дворец покинуть.

Пилад

Аргивянам ужели на глаза  
Показываться он не побоялся?  
Считай, что он убит. О, счастлив тот,  
Кто первым меч вонзил в него!  
Но ближе И громче все кричат.

Электра

«Орест»? Ужель?..

Пилад

А вот и он во гневе.

### **Явление седьмое**

Орест, Пилад, Электра, сторонники Ореста и Пилада.

Орест

Да не тронет  
Никто из вас Эгиста: здесь меча  
Карающего нет – за исключением  
Вот этого. Эгист! Откликнись! Эй!  
Боишься? Отзовись на голос смерти!  
Да где же ты? Иди сюда, подлец!

Ты прячешься? Пустое: и в Эребе<sup>153</sup>  
Тебе не скрыться. Ты увидишь, трус,  
Увидишь скоро, сын ли я Атриду.

Электра

...Его... здесь нет.

Орест

Быть может, вы его  
Убить посмели сами?

Электра

Он отсюда  
Бежал до моего прихода.

Орест

Нет,  
Он во дворце хоронится. Но тщетно!  
За волосенки вытащу тебя  
Из твоего укрытья! Нет на небе  
И в преисподней сил, что от меня  
Тебя спасли бы. До могилы отчей  
Твоею тушей утрамбую пыль,  
И там своей прелюбодейской кровью  
Ты наконец заплатишься за все.

Электра

Ты мне не веришь? Мне?..

Орест

Кто ты такая?  
Эгист мне нужен.

Электра

Он бежал.

Орест

Бежал?

---

<sup>153</sup> Эреб – в греческой мифологии персонификация мрака, сын Хаоса и брат Ночи; в расширительном смысле – область мрака, подземное царство.

И вы стоите здесь? Какая подлость!  
Но я и сам, без вас, его найду.

### Явление восьмое

Клитемнестра, Электра, Пилад, Орест, сторонники Ореста и Пилада.

Клитемнестра

Будь милосердным, сын.

Орест

Быть милосердным?..  
Кому еще я сыном довожусь?  
Я сын Атрида.

Клитемнестра

Заковали в цепи  
Эгиста.

Орест

Жив? Прекрасно! Поспешу  
Убить его.

Клитемнестра

Вернись. Одна убила  
Я твоего отца. Убей меня...  
Эгист не сделал...

Орест

Кто себе позволил  
Держать меня и виснуть на руке?  
Проклятье! Ну, Эгист... Я представляю,  
Как волоком его... Пусти...

Клитемнестра

Орест,  
Ты мать не узнаешь?

Орест

Умри, изменник,

От моего меча умри, Эгист.

### **Явление девятое**

Клитемнестра, Электра, Пилад со своими сторонниками.

Клитемнестра

Не удержала!.. Я погибну первой.

### **Явление десятое**

Электра, Пилад со своими сторонниками.

Электра

Пилад, беги, останови ее,  
Верни сюда. Поторопись!

### **Явление одиннадцатое**

Электра.

Электра

Мне страшно...  
Мать остается матерью. Нельзя  
Не пожалеть ее. Но нас недавно  
Не видела она на волоске  
От смерти? Разве ей больнее было  
За нас тогда, чем за него теперь?  
Но долгожданный день пришел, и мертвый  
Ты падаешь, тиран. Опять дворец  
От плача содрогается и криков,  
Как той кровавой ночью, что была  
Последней для отца. Удар смертельный  
Уже нанес Орест. Эгист упал.  
Недаром так аргивяне ликуют,  
А вот и победитель: меч его  
В крови.

### **Явление двенадцатое**

Электра, Орест.

Электра

О брат любимый, отомстивший  
Царя царей, и Аргос, и меня,  
Приди ко мне на грудь...

Орест

Перед тобою  
Атрида наконец достойный сын.  
Смотри: Эгиста это кровь. Как только  
Он мне попался, я его убил,  
Забыв для этого к могиле отчей  
Злодея притащить. Ему нанес  
Я добрых семь и семь еще ударов,  
Но долгой жажды утолить не смог.

Электра

Напрасно так спешила Клитемнестра,  
Чтоб руку удержать твою.

Орест

А кто  
Она такая? Кто удержит руку  
Мою? Быстрее молнии к нему  
Метнулся я. Он плакал, и слезами  
Трусливыми вконец меня взбесил.  
И человек, что так боится смерти,  
Убил тебя, отец?

Электра

Отец отмщен.  
Так успокойся и скажи: Пилада  
Не встретил ты?

Орест

Эгиста видел я  
И больше никого. А кстати, где же  
Любимый мой Пилад? И почему  
Его при этом не было со мною?

Электра

Я попросила присмотреть его



За бедной матерью.

Орест

Впервые слышу.

Электра

А вот и он... О, небо! Он один?  
Один?

Орест

И грустный.

### **Явление последнее**

Орест, Пилад, Электра.

Орест

Отчего ты грустен,  
О часть меня? Не знаешь разве ты,  
Что я прикончил этого мерзавца?  
Со мной ударов ты не разделил,  
Ну что же, этим зрелищем утешить  
Ты можешь взор.

Пилад

О, зрелище! Орест,  
Отдай мне меч.

Орест

Зачем?

Пилад

Отдай.

Орест

Охотно.

Пилад

Послушай, больше оставаться здесь

Не стоит нам...

Орест

Но почему?..

Электра

Сначала  
Скажи, где Клитемнестра...

Орест

На костре,  
Наверно, труп изменника сжигает.

Пилад

Ты отомстил – и больше, чем сполна.  
Идем...

Орест

О чем ты говоришь?

Электра

Ты слышишь,  
Пилад? Я поручила мать тебе.  
Что с нею? О, как леденеют вены!  
Ты скажешь?

Пилад

Небо...  
Электра  
Может, умерла...

Орест

В неистовстве покончила с собою?..

Электра

О!.. Ты молчишь, Пилад?

Орест

Так что же с ней?

Ответь.

Пилад

Убита...

Орест

Кем?

Пилад

Уйдем отсюда...

Электра

Ты мать убил.

Орест

Убил?..

Пилад

Ты меч в нее  
Вонзил в припадке бешенства слепого,  
Когда бежал к Эгисту...

Орест

Ужас! Я  
Смертоубийца матери? Я должен...  
Отдай мне меч...

Пилад

Тому не быть.

Электра

О брат...

Пилад

Мой бедный друг.

Орест

Кто называет братом

Меня? Не ты ли, что меня спасла,  
Жестокосердная, для этой жизни  
И для убийства матери? Верни  
Оружье мне... О, где я? Что я сделал?  
Кто держит?.. Кто преследует меня?..  
Куда бежать?.. В какой забиться угол?  
Ты гневаешься на меня, отец?  
Ты крови требовал. Но разве это  
Не кровь? Я пролил для тебя ее.

Электра

Орест, Орест... Мой бедный брат... Он больше  
Не слышит нас... Он сам не свой... Пилад,  
Его мы не оставим...

Пилад

О, суровый,  
О, неминуемый закон судьбы!

**Вопросы и задания:**

1. Вспомните претексты трагедии В. Альфьери: античный миф, «Орестея» Софокла, «Агамемнон» Сенеки. Какое преломление получила античная традиция в творчестве итальянского драматурга?
2. В чем можно усмотреть полемику В. Альфьери с эстетикой «высокого» классицизма XVII века?
3. Заметны ли в этой пьесе какие-либо черты шекспировской драматургии?
4. Какую функцию несут монологи в драматургической системе В. Альфьери?
5. Прокомментируйте высказывание В. Альфьери: «Люди, одержимые сильной страстью... всегда совершают великие дела». Подкрепите его примерами из текста.
6. Имеется ли в этой трагедии злободневная политическая проблематика, и если да, то какая? Подкрепите вашу точку зрения примерами из текста.

## IV. Американская литература

### Бенджамин Франклин (1706–1790)

#### Предтекстовое задание:

1. Сформулируйте основные задачи, которые ставил перед собой Б. Франклин в «Автобиографии» (опуб. 1791).
2. Определите основные композиционные и стилистические характеристики текста.

#### Автобиография *Перевод с английского*

Дорогой сын!

Я всегда любил собирать сведения о своих предках. Ты, вероятно, помнишь, как я спрашивал всех своих находившихся в живых родственников, когда ты был вместе со мной в Англии, и как я ради этого предпринял целое путешествие. Предполагая, что и тебе тоже будет небезынтересно узнать обстоятельства *моей* жизни, многие из которых тебе неизвестны, и предвкушая наслаждение, которое я получу от нескольких недель ничем не нарушаемого досуга, я сажусь за стол и принимаюсь за писание. Имеются, кроме того, и некоторые другие причины, побуждающие меня взяться за перо. Хотя по своему происхождению я не был ни богат, ни знатен и первые годы моей жизни прошли в бедности и безвестности, я достиг выдающегося положения и стал в некотором роде знаменитостью. Удача мне неизменно сопутствовала даже в позднейший период моей жизни, а поэтому не исключена возможность, что мои потомки захотят узнать, какими способами я этого достиг и почему с помощью providения все для меня так счастливо сложилось. Кто знает, вдруг они, находясь в подобных же обстоятельствах, станут подражать моим действиям.

Когда я раздумываю над своей удачей, – а я это делаю частенько, – то мне иногда хочется сказать, что, будь у меня свобода выбора, я бы не возражал снова прожить ту же жизнь с начала и до конца. Мне только хотелось бы воспользоваться преимуществом, которым обладают писатели: выпуская второе издание, они исправляют в нем ошибки, допущенные в первом. Вот и мне тоже хочется заменить некоторые эпизоды, поставив лучшее на место худшего. И все же и при невозможности осуществить это я все равно согласился бы снова начать ту же жизнь. Но поскольку рассчитывать на подобное повторение не приходится, то, очевидно, лучший способ вернуть прошлое – это припомнить все пережитое; а для того, чтобы воспоминания дольше сохранились, их лучше изложить на бумаге.

Проводя свое время подобным образом, я уступаю присущей старикам склонности поговорить о себе и о своих делах; но я буду наслаждаться этим, не докучая тем, кто из уважения к моему возрасту мог бы считать себя обязанными меня слушать, в их воле будет, читать меня или не читать. И, наконец (я могу в этом признаться, так как даже если бы я и стал отрицать, то мне никто не поверил бы), что я в немалой степени удовлетворю свое тщеславие. В самом деле, мне ни разу не случилось слышать или видеть вступительную фразу «Безо всякого тщеславия я могу сказать» и т. п. без того, чтобы за этим сейчас же не следовало какое-либо тщеславное заявление. Большинство людей не терпит тщеславия в своих ближних, независимо от того, какой долей его они сами обладают; но я отдаю ему должное всякий раз, когда с ним сталкиваюсь, будучи убежден, что тщеславие часто приносит пользу тому, кто им обладает, равно как и другим, находящимся в сфере его действия; в силу чего во многих случаях было

бы не совсем бессмысленно, если бы человек благодарил Бога за свое *тщеславие*, равно как и за прочие щедроты.

Сказав о Боге, я хочу со всем смирением признать, что то благополучие моей прошлой жизни, о котором я говорил, я отношу за счет его божественного провидения, умудрившего меня использовать те средства, к которым я прибегал, и принесшему мне удачу. Вера в это вселяет в меня *надежду*, однако я не должен *уповать*, что милость эта и в дальнейшем будет проявляться в отношении меня, сохраняя мое счастье, или что мне будут даны силы перенести роковую перемену судьбы, которая может постичь меня, как постигала и других; что мне сулит будущее, известно только тому, кто может благословлять нас даже в наших бедствиях.

Из некоторых заметок, переданных мне как-то одним из моих дядей, тоже питавшим слабость к собиранию семейных историй, мне стали известны кое-какие подробности о наших предках. Я узнал, что они жили в деревне Эктон в Нортгемптоншире, владея участком примерно в 30 акров, не менее трехсот лет, установить же, насколько дольше они там жили, не представляется возможным. (...) Этого небольшого участка было бы недостаточно, чтобы их прокормить, если бы они не занимались кузнечным ремеслом, передававшимся в семье по наследству. Обычай этот сохранился еще и во времена моего дяди. Старшего сына неизменно обучали кузнечному делу, и как мой дядя, так и мой отец последовали этому в отношении своих сыновей. Простудировав церковные книги в Эктоне, я проследил браки и смерти в нашем роду только до 1555 года, так как до этого времени книги не велись. Из этих книг мне, однако, удалось узнать, что я являюсь младшим сыном младшего сына, который в свою очередь также был младшим сыном младшего сына, и так на протяжении пяти поколений. Мой прадед Томас, родившийся в 1598 году, жил в Эктоне до тех пор, пока мог заниматься своим ремеслом. Когда же старость вынудила его уйти на покой, он переехал в Бэнбери в Оксфордшире, где поселился в доме своего сына Джона, у которого проходил ученичество мой отец. Там же он и скончался, там его и похоронили. Мы видели его надгробие в 1758 году. Старший его сын Томас жил в доме в Эктоне и оставил его вместе с землей своей единственной дочери, муж которой, некто Фишер, продал дом и участок господину Истеду, нынешнему владельцу поместья. У моего деда было четверо сыновей, достигших зрелого возраста, а именно: Том, Джон, Бенджамин и Джосайа. В настоящее время мой архив находится далеко от меня, и я перескажу тебе находящиеся в нем бумаги по памяти; а если за время моего отсутствия они не потеряются, то ты найдешь там еще целый ряд дополнительных сведений.

Томас, мой старший дядя, готовился к тому, чтобы пойти по стопам своего отца и стать кузнецом, но так как он обладал недюжинными способностями, то его, как и всех его братьев, поощрял к учению эсквайр Палмер, самый влиятельный обитатель прихода. Томас сделался адвокатом и занял видное положение в графстве; он принимал самое деятельное участие во всех общественных начинаниях как графства, так и города Нортгемптона, не говоря уж о его родной деревне, где многие были ему сродни; его очень отличал лорд Галифакс, оказывавший ему покровительство. Он скончался в 1702 году, 6 января, ровно за четыре года до моего рождения. Мне вспоминается, что когда несколько стариков, которые его хорошо знали, описывали его характер, то тебя очень поразил их рассказ, так как тебе многое напомнило меня. «Умри он, – сказал ты, – четырьмя годами позже в тот же день, то можно было бы предположить переселение душ».

Джон, мой следующий дядя, обучался ремеслу красильщика, если мне не изменяет память, красильщика шерсти. Бенджамин должен был стать красильщиком шелка и обучался этому ремеслу в Лондоне. Он был недюжинным человеком. Я помню, когда я был мальчиком, он приехал к моему отцу в Бостон и прожил в нашем доме несколько лет. Они с отцом всегда были очень дружны, и я был его крестником. Он дожил до глубокой старости. После него осталось два больших тома рукописей стихов его собственного сочинения. Это были стихи на случай, обращенные к его друзьям. (...) Внук его, Сэмюэль Франклин, все еще живет в Бостоне.

Наше незнатное семейство рано примкнуло к Реформации. Наши предки оставались протестантами во время правления королевы Марии, когда они иногда подвергались опасности из-за своих выступлений против папистов. У них была английская библия и, для того чтобы надежно спрятать ее в безопасном месте, ее прикрепили тесьмой под обивкой складного стула. Когда мой прапрадед хотел почитать ее своей семье, он перевертывал складной стул у себя на коленях, а затем листал страницы под тесьмой. Кто-нибудь из детей всегда стоял у дверей, чтобы подать знак при приближении судебного пристава, являвшегося чиновником духовного суда. Тогда стул перевертывали и ставили на ножки, и библия, как и прежде, оставалась в своем укрытии. Об этом мне рассказывал мой дядя Бенджамин. (...)

Джосайя, мой отец, женился в ранней молодости и перевез свою жену и трех детей в Новую Англию около 1685 года. К этому времени тайные религиозные собрания были запрещены законом, и их часто разгоняли, поэтому некоторые из его влиятельных знакомых решили перебраться в эту страну; и его убедили отправиться с ними туда, где, как они ожидали, они смогут беспрепятственно исповедовать свою религию. От этой же жены у моего отца там родилось еще четверо детей, а от второй жены – еще десять, а всего семнадцать, из которых мне часто доводилось видеть тринадцать одновременно сидящих за столом, и все они достигли совершеннолетия и вступили в брак. Я был младшим сыном и самым младшим из всех детей, кроме двух дочерей. Я родился в Бостоне, в Новой Англии.

Моя мать, вторая жена, была Абия Фолгер, дочь Питера Фолгера, одного из первых поселенцев Новой Англии, о котором Коттон Мезер с уважением упоминает в своей церковной истории этой страны, озаглавленной «*Magnalia Christi Americana*», как о «праведном и ученом англичанине», если память мне не изменяет. Я слышал, что он написал несколько небольших стихотворений на случай, но лишь одно из них было напечатано, и я прочел его много лет спустя. Это стихотворение было написано в 1675 году в стиле, типичном для той эпохи и обращено к тем, кто тогда находился там у власти. Оно утверждает свободу совести, и автор здесь выступает от имени анабаптистов, квакеров и прочих гонимых сектантов.

(...)

Все мои старшие братья обучались какому-либо ремеслу. Меня в возрасте восьми лет отдали в грамматическую школу, так как мой отец намеревался посвятить меня, как десятого из своих сыновей, служению церкви. Рано проявившаяся у меня охота к чтению (должно быть, в весьма раннем возрасте, так как я не помню времени, когда бы я не умел читать) и мнение всех его друзей, утверждавших, что я обязательно буду хорошим учеником, поддерживали его в этом намерении.

(...)

Но для моего отца, обремененного многочисленным семейством, было бы затруднительно оказывать мне материальную поддержку, необходимую для получения высшего образования, а, кроме того, как он сказал одному из своих друзей в моем присутствии, эта профессия давала мало преимуществ. Он отказался от своего первоначального плана, взял меня из грамматической школы и поместил в школу, где обучали письму и арифметике. Эту школу содержал знаменитый тогда господин Джордж Браунелл. Браунелл был превосходным педагогом, достигавшим больших успехов с помощью самых мягких и стимулирующих методов. Под его руководством я быстро научился хорошо писать, но арифметика мне не давалась и я в ней недалеко ушел. Когда мне исполнилось десять лет, отец забрал меня домой, чтобы я помогал ему в мастерской – отец занимался тогда изготовлением сальных свечей и варкой мыла. Это не было его первоначальным занятием, но он принялся за это дело по прибытии в Новую Англию, когда обнаружил, что его ремесло красильщика не было здесь особенно нужным и не давало ему возможности прокормить семью. И вот я стал нарезать фитили, заливал формы для отливки свечей, помогал в лавке, был на посылках и т. п.

(...) ...я помогал своему отцу в течение двух лет, то есть до двенадцатилетнего возраста; а поскольку мой брат Джон, с детства обучавшийся этому ремеслу, отделился от отца, женился и открыл собственное дело в Род-Айленде, то по всем приметам мне было суждено занять его место и стать свечным мастером. Однако я продолжал выказывать такое нерасположение к этому ремеслу, что мой отец почувствовал, что если он не подыщет для меня более привлекательного занятия, то я выйду из повиновения и стану моряком, как сделал брат мой Джосайа, к величайшему неудовольствию отца. Поэтому отец стал брать меня с собой на прогулки и показывал мне плотников, каменщиков, токарей, медников и других мастеров за их занятиями, чтобы иметь возможность обнаружить мои склонности и определить меня к такому ремеслу, которое удержало бы меня на суше. Мне всегда с тех пор доставляло удовольствие видеть, как управляются со своими инструментами хорошие мастера; мне пошло на пользу и то, что я приобрел некоторый навык и мог сам сделать кое-что в доме, если нельзя было найти мастера; кроме того, я умею своими руками изготавливать небольшие машины для моих опытов. (...)

С малых лет я страстно любил читать и все те небольшие деньги, которые попадали мне в руки, откладывал на покупку книг. Я очень любил путешествия. Первым моим приобретением были сочинения Беньяна в отдельных томиках. Позднее я их продал, чтобы иметь возможность купить собрания исторических произведений Р. Бертона; это были небольшие книжечки, по дешевке приобретенные у бродячего торговца, числом сорок. Небольшая библиотека моего отца состояла из религиозно-полюемических сочинений, большинство из которых я прочел. С тех пор я не раз сожалел о том, что в то время, когда у меня была такая тяга к знанию, в мои руки не попали более подходящие книги, так как уже было решено, что я не буду священником. Среди этих книг были и «Жизнеописания» Плутарха, которыми я зачитывался; и сейчас еще я считаю, что это очень пошло мне на пользу. Была также книга Дефо, озаглавленная «Опыт о проектах», и сочинение доктора Мэзера «Опыты о том, как делать добро». Эти книги, возможно, оказали влияние на мой духовный склад, что отразилось на некоторых важнейших событиях моей жизни.

Эти мои книжные склонности в конце концов привели к тому, что отец решил сделать из меня печатника, хотя один из его сыновей (Джемс) уже занимался этим ремеслом. В 1717 году мой брат Джемс вернулся из Англии и привез с собой печатный станок и шрифты, чтобы открыть типографию в Бостоне. Хотя это ремесло было мне куда больше по душе, чем то, которым занимался мой отец, но море по-прежнему продолжало меня манить. Моему отцу не терпелось связать меня с братом договорными обязательствами, так как он опасался возможных последствий этого моего влечения. Некоторое время я сопротивлялся, но, наконец, не выдержал и подписал контракт о поступлении в ученичество, хотя мне и было тогда всего двенадцать лет. По контракту я обязывался служить подмастерьем, пока мне не исполнится двадцать один год, причем только в последний год я должен был получать жалованье настоящего работника. За очень короткий срок я достиг значительных успехов в этом деле и оказывал своему брату большую помощь. Теперь у меня был доступ к более хорошим книгам. Я свел знакомство с учениками книготорговцев, что давало мне возможность одалживать то одну, то другую книжку, и я всегда старался возвращать их аккуратно и не пачкать. Частенько я просиживал за чтением в своей комнате чуть не всю ночь напролет, если книга была одолжена вечером, а вернуть ее надо было рано утром, чтобы ее не хватились.

(...)

Примерно в это время мне попался в руки разрозненный том «Зрителя». Это был том третий. До сих пор я еще не видел ни одного. Я купил его, неоднократно перечитывал от корки до корки и был от него в совершенном восхищении. Слог показался мне бесподобным, и я решил, насколько возможно, ему подражать. С этой целью я взял некоторые очерки и кратко записал смысл каждой фразы, затем я отложил их на несколько дней, а потом попытался восстановить текст, не заглядывая в книгу и излагая смысл каждой фразы так же полно и подробно,



как в оригинале, для чего я прибегал к таким выражениям, которые мне казались уместными. Затем я сравнил своего «Зрителя» с подлинником, обнаружил некоторые свои ошибки и исправил их. Но оказалось, что мне не хватало то ли запаса слов, то ли сноровки в их употреблении, а это, как я полагал, я бы уже теперь приобрел, если бы продолжал писать стихи; ведь постоянные поиски слов одинакового значения, но различной длины, которые подошли бы под размер, или различного звучания для рифмы принудили бы меня непрерывно искать разнообразия, а кроме того, все эти разнообразные слова закрепились бы у меня в уме и я был бы над ними хозяином. Тогда я взял некоторые из напечатанных в «Зрителе» историй и переложил их в стихи; когда же я как следует забыл прозаический оригинал, то принялся переделывать их обратно в прозу.

(...)

Мой брат в 1720 или в 1721 году стал издавать газету. Это была вторая газета, появившаяся в Америке, и называлась она «Нью-Ингленд курант». Ее единственной предшественницей была газета «Бостон ньюс-леттер». Я помню, как кое-кто из друзей пытался отговорить его от этого, по их мнению, безнадежного дела, считая, что одной газеты для Америки вполне достаточно. В настоящее время, в 1771 году, их не меньше двадцати пяти. Он все же взялся за это дело; на меня было возложено разносить газеты подписчикам после того, как я набирал и печатал очередной номер. Среди его приятелей были одаренные люди, развлекавшиеся тем, что писали небольшие сочинения для его газеты, что увеличивало ее престиж и поднимало спрос на нее, и эти джентльмены часто нас посещали. Наслушавшись их разговоров об успехе этих произведений, мне не терпелось испытать себя на этом поприще. Но так как я был еще мальчиком и боялся, что брат не согласится печатать образцы моего творчества в своей газете, если будет знать о моем авторстве, то я изменил свой почерк и, написав анонимное сочинение, подсунил его ночью под дверь типографии. Утром оно было найдено и передано на суд его друзей, когда они собрались, как обычно. Они прочли его и разобрали в моем присутствии, и я получил величайшее наслаждение, услышав их похвалу; они старались угадать автора и перебрали при этом всех, кто выделялся у нас своей ученостью и умом. Теперь-то я считаю, что мне повезло с судьями и что, пожалуй, они не были такими знатоками, как я их считал. Ободренный, однако, успехом этого начинания, я написал и послал тем же путем в печать еще несколько сочинений, которые тоже были одобрены; и я хранил свою тайну до тех пор, пока мое маленькое вдохновение на произведения такого рода не иссякло; тогда я раскрыл истину, после чего знакомые брата стали несколько больше со мной считаться.

Брату же это не понравилось, так как он считал, что я могу возгордиться. Это, возможно, было одной из причин тех размолвок, которые начались у нас в это время. Хотя он и был моим братом, он считал себя моим хозяином, а меня подмастерьем, вследствие чего предъявлял ко мне такие же требования, как и к прочим; я же считал некоторые из них унижительными для себя, ожидая от него, как от брата, большего снисхождения. Наши споры нередко приходилось решать отцу, и то ли потому, что я обычно бывал прав, то ли лучше умел доказывать, но решение обычно оказывалось в мою пользу. Но мой брат был очень вспыльчив и часто бил меня, на что я немало обижался. Мне думается, что его суровое и тираническое обращение со мной вызвало во мне то отвращение ко всякой деспотической силе, которое сопутствовало мне на протяжении всей моей жизни.

(...)

Когда же между мной и братом снова начались нелады, то (...) я стал подумывать о переезде в Нью-Йорк, как в ближайшее место, где была типография. (...) Я твердо решил уехать в Нью-Йорк, но теперь мой отец объединился с моим братом, и я знал, что если я попытаюсь уехать открыто, то мне постараются помешать. Тогда мой друг Коллинс решил помочь мне бежать. Он договорился с капитаном одного нью-йоркского шлюпа о моем проезде под тем предлогом, что я – знакомый ему молодой человек, у которого была интрижка с девицей лег-

кого поведения, родители которой хотят меня заставить жениться на ней, почему я и не могу открыто ни уйти, ни уехать. Я продал часть своих книг, чтобы иметь немного денег, меня тайно взяли на борт шлюпа, ветер был попутный, и через три дня я очутился в Нью-Йорке, почти в трехстах милях от своего родного дома в возрасте семнадцати лет (6 октября 1723 года), не имея никаких рекомендаций, не зная здесь ни одной живой души и почти без гроша в кармане.

(...)

Я предложил свои услуги здешнему печатнику, старому мистеру Вильяму Бредфорду (он был первым печатником в Пенсильвании, но уехал оттуда вследствие ссоры с губернатором Джорджем Кейсом). Он не мог дать мне места, так как работы было мало, а подмастерьев достаточно. «Но, – сказал он, – у моего сына в Филадельфии недавно умер его главный помощник Аквила Роуз. Если ты туда отправишься, то, я думаю, у него найдется для тебя место». До Филадельфии была еще сотня миль. Однако я сел на судно, направлявшееся в Амбой, отправив свой сундук и вещи кружным путем по морю.

(...)

Мы прибыли в Филадельфию в воскресенье утром, в восемь или в девять часов, и высадились на пристани около Маркит-стрит.

Я описываю так подробно свое путешествие и не менее подробно буду описывать и мое первое прибытие в этот город, чтобы ты мог мысленно сравнить такое неприглядное начало с тем положением, которого я впоследствии там достиг. На мне было мое рабочее платье. Мой выходной костюм должен был прибыть кружным путем по морю. Я был грязным после своего путешествия; карманы мои были набиты рубашками и чулками; я не знал ни одной живой души и не имел понятия, где искать себе жилье. (...)

Я пошел вверх по улице, оглядываясь по сторонам, пока не дошел до Маркит-стрит; здесь я встретил мальчика, который нес хлеб. Мне часто приходилось обедать сухим хлебом, и, узнав, где он его купил, я немедленно отправился в указанную мне булочную. Я спросил сухарей, подразумевая такие, какие были у нас в Бостоне, но их, по-видимому, в Филадельфии не делали. Тогда я спросил буханку за три пенни, и мне опять сказали, что у них таких нет. Не зная ни здешних цен, ни названий различных сортов хлеба, я сказал булочнику, чтобы он дал мне чего-нибудь на три пенни. Тогда он дал мне три большие пышные булки. Я удивился такому количеству, но взял их, и так как у меня в карманах не было места, то я сунул по одной булке себе под мышки, а третью стал есть. В таком виде я прошествовал вверх по Маркит-стрит до Форстрит, пройдя мимо двери мистера Рида, отца моей будущей жены; здесь она, стоя в дверях, увидела меня и подумала, что у меня – как оно несомненно и было – довольно странный и дикий вид. Затем я повернул и пошел вниз по Честнэт-стрит и немного по Уолнэт-стрит, всю дорогу уплетая свою булку. Повернув еще раз, я снова оказался у пристани на Маркит-стрит, неподалеку от лодки, на которой я приехал. Здесь я напился речной воды и, досыта наевшись одной булкой, отдал две другие женщине с ребенком, которые ехали вместе с нами в лодке и должны были отправиться дальше.

Подкрепившись подобным образом, я снова пошел вверх по улице, на которой к этому времени уже было много хорошо одетых людей и все они шли в одном направлении; я присоединился к ним и попал в большой молитвенный дом квакеров, расположенный около рынка. Я сел среди них и, оглянувшись по сторонам и ничего не слыша, заснул, так как очень утомился прошедшей ночью и не имел случая выспаться. Я крепко спал до самого конца собрания, когда кто-то по своей доброте разбудил меня. Это был первый дом, который я посетил и в котором я спал в Филадельфии. (...)

(...)

...я замыслил смелый и трудный план достижения морального совершенства. Я желал жить, никогда не совершая никаких ошибок, победить все, к чему могли меня толкнуть естественные склонности, привычки или общество. Так как я знал, или думал, что знаю – что

хорошо и что плохо, то я не видел причины, почему бы мне всегда не следовать одному и не избегать другого. Но вскоре я обнаружил, что поставил перед собой гораздо более сложную задачу, чем предполагал вначале. В то время как мое внимание было занято тем, как бы избежать одной ошибки, я часто неожиданно совершал другую; укоренившаяся привычка проявлялась, пользуясь моей невнимательностью; склонность оказывалась иногда сильнее разума. Наконец, я пришел к выводу, что простого разумного убеждения в том, что для нас самих лучше всего быть совершенно добродетельными, недостаточно, чтобы предохранить нас от промахов, и что прежде, чем мы добьемся от себя устойчивого, постоянно нравственного поведения, мы должны искоренить в себе вредные привычки. Для этой цели я выработал следующий метод.

В различных перечислениях моральных добродетелей, которые я встречал в прочитанных мною книгах, я находил большее или меньшее их число, так как различные писатели обозначали большее или меньшее количество идей одним и тем же именем. Например, воздержание некоторые сводили только к умеренности в еде и питье, другие же расширяли это понятие до ограничения всякого удовольствия, всякой склонности или страсти, телесной или духовной, даже честолюбия или скупости. Я решил для большей ясности стремиться скорее к большому количеству имен с меньшим количеством идей, связанных с каждым именем, чем к немногим именам с большим количеством определяемых каждым из них идей, и я обозначил тринадцать именами все те добродетели, которые казались мне в то время необходимыми и желательными, связав с каждым именем краткое наставление, которое полностью выражало объем каждого понятия.

Вот названия этих добродетелей с соответствующими наставлениями:

1. Воздержание. – Есть не до пресыщения, пить не до опьянения.
2. Молчание. – Говорить только то, что может принести пользу мне или другому; избегать пустых разговоров.
3. Порядок. – Держать все свои вещи на их местах; для каждого занятия иметь свое время.
4. Решительность. – Решаться выполнять то, что должно сделать; неукоснительно выполнять то, что решено.
5. Бережливость. – Тратить деньги только на то, что приносит благо мне или другим, то есть ничего не расточать.
6. Трудолюбие. – Не терять времени попусту; быть всегда занятым чем-либо полезным; отказываться от всех ненужных действий.
7. Искренность. – Не причинять вредного обмана, иметь чистые и справедливые мысли; в разговоре также придерживаться этого правила.
8. Справедливость. – Не причинять никому вреда; не совершать несправедливостей и не опускаться добрых дел, которые входят в число твоих обязанностей.
9. Умеренность. – Избегать крайностей; сдерживать, насколько ты считаешь это уместным, чувство обиды от несправедливостей.
10. Чистота. – Не допускать телесной нечистоты; соблюдать опрятность в одежде и в жилище.
11. Спокойствие. – Не волноваться по пустякам и по поводу обычных или неизбежных случаев.
12. Целомудрие. – .....
13. Скромность. – Подражать Иисусу и Сократу.

Я хотел выработать навык во всех этих добродетелях; с этой целью я решил не разбрасываться в погоне за всеми сразу, но в течение определенного времени сосредоточивать внимание только на одной добродетели; когда же я ею овладею, переходить к другой и так далее, пока, наконец, не приобрету все тринадцать. А так как одни из них облегчают приобретение других, то я расположил все добродетели в том порядке, в каком они перечислены выше. На первом

месте я поставил воздержание, так как оно способствует приобретению хладнокровия и ясности мысли, необходимых там, где требуется непрестанная бдительность и охрана от упорной притягательной силы старых навыков и постоянных соблазнов. Приобретение и укоренение этого навыка облегчит молчание. Я стремился, совершенствуясь в добродетелях, одновременно приобретать знания и, считая, что в беседе полезнее слушать других, чем говорить самому, жаждал изжить в себе привычку к пустословию, каламбурам и остроумиям, которая делала меня всегда желанным гостем в обществе бездельников. Поэтому молчание я поставил на второе место. Я надеялся, что приобретение этого и следующего навыка – порядка позволит мне выделить больше времени как для осуществления моего проекта самоусовершенствования, так и для моих занятий. Навык решительности будет поддерживать меня в стремлении приобрести все дальнейшие добродетели; бережливость и трудолюбие освободят меня от долгов и обеспечат мне богатство и независимость, что, в свою очередь, облегчит приобретение навыков искренности, справедливости и т. д., и т. п. Созная в соответствии с советом Пифагора, высказанным в его замечательных стихах, необходимость ежедневного самоконтроля, я придумал следующий метод для его осуществления. Я завел книжечку, в которой выделил для каждой добродетели по странице. Каждую страницу я разлиновал красными чернилами так, что получилось семь столбиков по числу дней недели; каждый столбик отмечался начальными буквами соответствующего дня недели. Затем я провел тринадцать горизонтальных линий и обозначил начало каждой строки первыми буквами названия одной из добродетелей. Таким образом, на каждой строке в соответствующем столбике я мог по надлежащей проверке отмечать маленькой черной точкой каждый случай нарушения соответствующей добродетели в течение того дня.

Я решил уделять в течение недели строгое внимание приобретению каждого из этих навыков в указанной последовательности. Таким образом, в первую неделю моя главная забота состояла в том, чтобы избегать самого малого нарушения воздержания; другие же добродетели оставались на волю случая, я только отмечал каждый вечер промахи, сделанные в течение дня. Если на протяжении первой недели мне удавалось сохранить первую строку, отмеченную буквой В., чистой от точек, я заключал, что навык в этой добродетели настолько укрепился, а противоположный навык настолько ослаблен, что я могу отважиться расширить свое внимание и включить в его сферу вторую добродетель, чтобы в течение следующей недели держать свободными от точек обе строчки. Продолжая так вплоть до последней добродетели, я мог проделать полный курс в течение тринадцати недель, а за год пройти четыре таких курса. Я решил поступать подобно человеку, который, желая выхолотить свой огород, не пытается сразу уничтожить всю сорную траву, что превосходило бы его возможности и силы, а трудится одновременно только на одной грядке и переходит ко второй лишь после того, как очистит первую. Так и я надеялся, что, постепенно очищая от точек строки своей книжечки, увижу на ее страницах свои успехи в приобретении добродетелей и, наконец, по прошествии нескольких курсов буду иметь счастье увидеть после тринадцатинедельного ежедневного испытания чистую книгу.

Моя книжечка имела три эпиграфа: во-первых, строки из «Катона» Аддисона:

Я знаю, если высшая над нами сила есть (О том, что есть она, природа вопиет во всех своих делах), то ей Добро угодно, И счастье – тех удел, кто ей угоден.

Во-вторых, из Цицерона:

«О, философия, руководительница жизни! О, изыскательница добродетелей, изгнательница пороков! Один день, прожитый хорошо и в соответствии с твоими предположениями, предпочтительнее вечности, проведенной в грехах».

Третий эпиграф книги был из притчей Соломоновых, где говорится о мудрости или добродетели:

«Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее – пути приятные, и все стези ее мирные».

### ОБРАЗЕЦ СТРАНИЦЫ

ВОЗДЕРЖАНИЕ – есть не до пресыщения; пить не до опьянения.

	Воскр.	Пон.	Вт.	Ср.	Чет.	Пят.	Субб.
В.							
М.	хх	х		х		х	
П.	х	х	х		х	х	х
Р.			х			х	
Б.		х				х	
Т.			х				
И.							
Спр.							
У.							
Ч.							
Сп.							
Ц.							
Скр.							

....

Заповедь порядка требовала, чтобы каждому делу было отведено определенное время. Поэтому одна страница моей книжечки содержала следующее расписание занятий в течение суток:

	<i>Часы</i>	
<i>УТРО</i>	5	Встать, умыться и помолиться Всемогущему Богу.
<i>Волдас: Что я сделаю Сегодня хорошего?</i>	6	Продумать, чем буду заниматься сегодня, и принять решения на день; продолжить текущие занятия.
	7	Завтрак
	9	Работа.
<i>ПОЛУДЕНЬ</i>	12	Читать или просматривать счета.
	1	Обед.
<i>ПОСПЕПОЛУДЕННЫЕ ЧАСЫ</i>	2	Работа.
<i>ВЕЧЕР</i>	6	Привести все в порядок. Ужин.
<i>Волдас: Что я сделал хорошего за день?</i>	7	Музыка, развлечение или беседа.
	8	Продумать истекающий день.
<i>НОЧЬ</i>	10	
	11	Сон.

Я приступил к выполнению этого плана самоконтроля и осуществлял его со случайными перерывами в течение некоторого времени. Я был удивлен, найдя в себе гораздо больше недостатков, чем предполагал, но я с удовлетворением видел, что они уменьшаются. Моя книжечка скоро стала полна дыр оттого, что я стирал на бумаге знаки старых ошибок, освобождая место для новых знаков при новых курсах. Чтобы не заниматься возобновлением ее время от времени, я перенес свои таблицы и наставления в записную книжку со страницами из слоновой кости, на которых линии были проведены стойкими красными чернилами; свои пометки я делал графитным карандашом, так что легко мог стирать их влажной губкой. Но вскоре я проделал за целый год всего один курс, затем один за несколько лет; наконец, я совершенно прекратил это занятие, так как путешествия и работа за границей, а также множество других дел поглощали все мое время; но я всегда носил с собой свою книжечку.

Самые большие трудности представляло для меня соблюдение моего распорядка дня. Я пришел к заключению, что такое расписание может применяться там, где род занятий человека позволяет ему самому распределять свое время, например, оно годится для рабочего-печатника; но его нельзя точно придерживаться хозяину, который должен общаться с миром и часто принимать деловых людей тогда, когда это им удобно... Сказать по правде, я оказался неисправимым в отношении порядка. Теперь, когда я состарился, и память моя ухудшилась, я остро чувствую этот свой недостаток. Но в целом, хотя я весьма далек от того совершенства, на достижение которого были направлены мои честолюбивые замыслы, мои старания сделали меня лучше и счастливее, чем я был бы без этого опыта; так те, которые стремятся выработать хороший почерк путем подражания выгравированным образцам, хотя никогда не достигают совершенства этих образцов, но все же их почерк от их стараний улучшается и делается сносным, а затем красивым и четким.

Я хотел бы, чтобы мои потомки знали, что именно этому маленькому изобретению, с божьего благословения, обязан их предок постоянным счастьем своей жизни вплоть до настоящего времени, когда он пишет эти строки в возрасте семидесяти девяти лет. Неизвестно, какие превратности жизни могут ожидать его в оставшиеся годы; все это во власти провидения; но, если они наступят, то память о прошлом счастье должна помочь ему перенести их с большим смирением. Воздержанием объясняет он свое хорошо сохранившееся здоровье и все еще крепкую организацию; трудолюбие и бережливости обязан он тем, что быстро добился улучшения своего положения, приобрел состояние и накопил все те знания, которые дали ему

возможность стать полезным гражданином и принесли ему некоторую известность в ученом мире; искренности и справедливости он обязан доверием своей страны, почетными обязанностями, которые она на него возложила; а всем добродетелям в целом, даже в том несовершенном состоянии, которого он смог достичь, – ровностью своего характера и живостью беседы, которые делают его общество приятным и желанным даже для его молодых знакомых. Поэтому я выражаю надежду, что некоторые из моих потомков последуют моему примеру и пожнут такую же жатву.

Могут заметить, что, хотя мой план и не исключал полностью религии, в нем, однако, не было и следа специфических догматов какого-либо религиозного течения. Я сознательно избегал их. Так как я был абсолютно убежден в действенности и совершенстве своего метода, в том, что он может быть полезен людям всех вероисповеданий, и намеревался со временем опубликовать его, я не хотел, чтобы в нем содержалось что-то, способное вызвать недовольствие какой-либо религиозной группы.

(...)

В 1732 году я впервые опубликовал свой альманах под псевдонимом Ричарда Сондерса; он выходил после этого на протяжении почти двадцати пяти лет и был известен под названием «Альманаха бедного Ричарда». Я старался сделать его одновременно занимательным и полезным; в связи с этим на него был такой спрос, что я получал от него значительный доход, продавая ежегодно около десяти тысяч экземпляров. Видя, что он получил широкое распространение (едва ли во всей нашей провинции был такой уголок, где его не знали бы), я счел его подходящим средством для наставления простого народа, который едва ли покупал какие-либо другие книги. Поэтому я заполнил все промежутки между знаменательными датами в календаре краткими изречениями и поговорками, направленными главным образом на внедрение трудолюбия и бережливости, как средств достижения благосостояния, а тем самым обеспечения добродетели; человеку, находящемуся в нужде, труднее поступать всегда честно; как гласит одна из этих поговорок «пустому мешку нелегко стоять прямо».

Эти поговорки, содержащие мудрость многих поколений и народов, я собрал и оформил в виде последовательного рассуждения, предпосланного Альманаху 1757 года в форме речи мудрого старика к посетителям аукциона. Объединение всех этих разбросанных в разных местах советов придало им большую выразительность. Мой краткий сборник получил всеобщее одобрение и был опубликован всеми газетами американского континента, перепечатан в Англии на больших листах бумаги, чтобы вешать в домах; два перевода были сделаны во Франции, и большое количество экземпляров было куплено духовенством и джентри для бесплатной раздачи бедным прихожанам и арендаторам. Высказывалось мнение, что этот сборник, осуждавший бесполезные траты на заграничные предметы роскоши, способствовал росту денежных фондов в Пенсильвании, который наблюдался там в течение нескольких лет после его опубликования.

Я рассматривал свою газету также как одно из средств наставления народа и с этой целью часто перепечатывал в ней извлечения из «Спектейтора» и моралистов, а иногда опубликовывал собственные небольшие статьи. ... В их числе был один из диалогов Сократа, доказывавший, что порочного человека нельзя назвать в буквальном смысле слова умным, каковы бы ни были его способности и дарования, а также рассуждение о самоотречении, показывающее, что добродетель не является прочной до тех пор, пока она не станет привычкой и не перестанет подвергаться влиянию противоположных склонностей. Все это можно найти в газетах начала 1735 года.

Издавая свою газету, я тщательно избегал всяких клеветнических и личных выпадов, которые позднее сделались столь постыдным явлением в нашей стране. Когда меня просили поместить в моей газете материалы этого рода, причем авторы обычно ссылались на свободу печати и утверждали, что газета должна быть подобна почтовой карете, в которой всякий, кто

в состоянии заплатить, может занять место, я отвечал, что, если угодно, я могу напечатать это произведение отдельно, в количестве стольких экземпляров, сколько автор пожелает сам распространить; но что я отказываюсь заниматься распространением его клеветы и что, заключив контракт с моими подписчиками снабжать их тем, что или полезно, или занимательно, я не могу наполнять свою газету частной перебранкой, которая их не касается, ибо в таком случае совершу явную несправедливость. В настоящее время многие из наших издателей без малейшего угрызения совести служат злым чувствам отдельных личностей путем ложного обвинения прекраснейших людей среди нас; они разжигают ненависть настолько, что дело доходит до дуэлей. Они по большей части так нескромны, что печатают непристойные измышления о правительствах соседних государств и даже о поведении наших лучших национальных союзников, что может привести к самым пагубным последствиям. Я упоминаю обо всем этом, чтобы предостеречь молодых издателей и побудить их не осквернять свою прессу и не дискредитировать свою профессию такими постыдными действиями, но всегда отказываться от материала подобного рода, они могут убедиться на моем примере, что это в общем не причинит ущерба их интересам.

В 1733 году я послал одного из моих рабочих в Чарлстон (Южная Каролина), где требовался печатник. Я снабдил его печатным станком и шрифтом; мы заключили соглашение, по которому я становился его компаньоном и должен был получать треть его доходов, уплачивая треть расходов. Он был человеком грамотным и честным, но невежественным в вопросах отчетности, и, хотя он иногда переводил мне деньги, я не мог ни получить от него точного отчета, ни добиться того, чтобы наше товарищество достигло при его жизни более или менее удовлетворительного состояния. Когда он умер, дело продолжала его вдова; эта женщина, рожденная и воспитанная в Голландии, где, как я знал, ведение книг входит в программу женского образования, послала мне самый ясный отчет, какой только она могла составить о прошлых делах, и продолжала с величайшей регулярностью и точностью сообщать каждые три месяца о положении дел. Она вела дело так успешно, что не только прекрасно воспитала своих детей, но и по истечении срока смогла купить мою типографию для своего сына.

Я упоминаю об этом случае главным образом для того, чтобы рекомендовать нашим молодым женщинам эту область образования, которая в случае вдовства будет, вероятно, для них и их детей более полезна, чем музыка и танцы; умение лично вести дела оградит вдову от убытков, причиняемых обманом всякого рода ловких людей, и даст ей возможность продолжать, может быть, доходное торговое дело с установленными связями, пока не подрастет ее сын настолько, чтобы быть в состоянии взять на себя это дело и продолжать его к дальнейшему преуспеванию и обогащению семьи.

(...)

В 1737 году полковник Спотсвуд, бывший губернатор Виргинии, а затем главный почтмейстер, недовольный поведением своего представителя в Филадельфии, его небрежностью в составлении отчетов и в пересылке денег, лишил его полномочий и предложил их мне. Я с радостью согласился. Эта должность оказалась весьма выгодной, несмотря на небольшое жалование, так как она обеспечивала широкие связи, что благоприятно отразилось на моей газете; спрос на нее возрос, в ней стали помещать больше объявлений, и это давало мне значительный доход. (...)

Теперь я начал подумывать о деятельности на общественном поприще; но начал я с малых дел. Одним из первых вопросов, на который, как я увидел, следовало обратить внимание, была охрана города. Она велась поочередно констеблями различных районов города; констебль брал себе на подмогу на ночь нескольких домовладельцев. Те, кто не хотел участвовать в этом деле, платили ему пять-шесть шиллингов в год отступного. Предполагалось, что эти деньги идут на наем замены, но в действительности они значительно превышали необходимую для этой цели сумму, что делало должность констебля весьма доходной. А констебль



за небольшую выпивку нередко набирал в качестве стражи таких оборванцев, что порядочные домовладельцы не хотели общаться с ними. Обходами они также часто пренебрегали и большую часть ночи проводили в попойках. (...)

В общем, я предложил нанимать подходящих людей на постоянную работу, что обеспечивало бы более эффективную охрану города, а как наиболее справедливый способ получения средств предлагал обложение налогом, пропорциональным собственности. Эта мысль была одобрена Хунтой, а затем передана в другие клубы, но так, как будто она возникла именно в каждом из них. И хотя наш план не был немедленно проведен в жизнь, однако, подготовив умы людей к перемене, он подготовил почву для закона, принятого несколькими годами позже, когда влияние членов наших клубов возросло.

Приблизительно в это же время я написал доклад (сперва предназначенный для прочтения в Хунте, но затем опубликованный) о различных случайностях и беззаботности, которые вызывают в наших домах пожары, о мерах предосторожности против пожаров, о средствах для их предотвращения. Доклад признали полезным, о нем много говорили. На его основе вскоре возник проект образовать команду для более быстрого тушения огня и для взаимной помощи в деле выноса и спасения имущества, находящегося в опасности. Число членов этой организации вскоре достигло тридцати человек. Наше соглашение обязывало каждого члена держать всегда в полной исправности и в постоянной готовности определенное количество кожаных ведер, крепких мешков и корзин (для упаковки и переноса вещей), которые нужно было доставлять к каждому пожару. Мы условились устраивать раз в месяц общественные собрания, на которых высказывать и обсуждать наши соображения о том, как лучше бороться с огнем, чтобы затем использовать их в случаях пожара.

Вскоре стала ясной польза от этой организации, и число лиц, пожелавших принять в ней участие, оказалось больше, чем мы считали нужным для одной команды. Им посоветовали организовать вторую команду, что и было сделано. Этим дело не кончилось – новые команды продолжали организовываться одна за другой, пока они не стали столь многочисленны, что включили в себя большинство жителей, владеющих собственностью. Команда, которую я организовал, названная Объединенной пожарной командой, продолжает существовать и процветать донныне, хотя со дня ее основания прошло более пятидесяти лет. Ее первые члены все умерли, за исключением меня и еще одного, старше меня на год. Небольшие штрафы, которые выплачивались членами в случаях пропусков ежемесячных собраний, пошли на покупку пожарных машин, лестниц, пожарных крюков и других полезных орудий для каждой команды. Думаю, что едва ли есть на свете город, снабженный лучшими средствами для прекращения пожаров. И в самом деле, за время, прошедшее после организации этих команд, наш город не потерял от пожара больше одного-двух домов за раз; и часто огонь удавалось потушить прежде, чем дом, в котором возник пожар, сгорал наполовину.

(...)

В общем у меня было достаточно причин быть довольным тем, что я обосновался в Пенсильвании. Но все-таки два обстоятельства вызвали мое недовольство: в Пенсильвании не было средств ни для защиты населения, ни для законченного образования молодежи: ни милиции, ни какого-либо колледжа. Поэтому в 1743 году я выдвинул предложение основать академию и, считая достопочтенного мистера Петерса, бывшего в то время не у дел, подходящим лицом для надзора над такого рода учреждением, сообщил ему свой план. Но он имел более благоприятные виды (впоследствии осуществившиеся) на службу у собственников и потому отклонил это предложение; не зная в то время другого лица, подходящего для попечительства, я отложил на некоторое время осуществление своего плана. Большой успех я имел в следующем, 1744 году, когда я предложил и основал философское общество. Статью, написанную с этой целью, можно найти в моих бумагах, если только она не затерялась.

Что касается защиты, то мы оказались вовлеченными в большую опасность, ибо к Испании, уже несколько лет воевавшей против Великобритании, присоединилась и Франция, а упорные и долгие старания нашего губернатора Томаса убедить собрание, состоявшее из квакеров, принять закон о милиции и осуществить другие меры по обеспечению безопасности провинции, оказались бесплодными; поэтому я решил попробовать, к чему может привести добровольная подписка населения. Сначала, чтобы подготовить почву, я написал и опубликовал статью, озаглавленную «Простая истина», где в энергичных выражениях изобразил наше беспомощное положение, доказывая необходимость объединения и дисциплины для защиты, и обещал через несколько дней предложить на общую подпись план создания ополчения для этой цели. Статья имела неожиданный бурный успех. Мне было предложено создать это ополчение. Разработав план с несколькими друзьями, я назначил собрание граждан в упоминавшемся раньше большом здании. Помещение было переполнено; я заготовил определенное количество печатных копий своего плана и позаботился о том, чтобы по всей комнате в разных местах имелись чернила и перья. Я обратился к собравшимся с небольшой речью, зачитал бумагу, объяснил ее, а затем роздал копии, которые без всяких возражений с энтузиазмом были подписаны.

Когда все разошлись и бумаги были собраны, по подсчету оказалось около тысячи двухсот подписей, а так как другие копии были разосланы по всей провинции, число записавшихся составило в конечном счете более десяти тысяч. Все они обзавелись, как только смогли, оружием, объединились в роты и полки, избрали офицеров и собирались каждую неделю, чтобы обучаться ружейным приемам и другим видам военной подготовки. Женщины по подписке между собой изготовили шелковые знамена, украшенные предложенными мною эмблемами и девизами, которые они подарили ротам.

(...) Губернатор и совет одобрительно отнеслись к моей деятельности и, посвятив меня в свои дела, советовались со мной по поводу каждой меры, где их содействие могло бы быть полезным для ополчения. Я предложил им опереться на помощь религии и объявить пост, чтобы возбудить религиозные чувства и призвать благословение неба на наше предприятие. Они согласились с этим, но секретарь не имел прецедента, на основе которого он мог бы составить обращение, так как это должен был быть первый пост во всей провинции. То, что я получил образование в Новой Англии, где пост объявляется каждый год, оказалось здесь известным преимуществом; я составил обращение в обычном стиле, оно было переведено на немецкий язык, напечатано на немецком и английском языках и распространено по провинции. Таким образом, духовенство различных сект получило возможность побуждать свою паству присоединиться к ополчению, и оно, возможно, стало бы всеобщим (исключая квакеров), если бы всему этому вскоре не положило конец заключение мира.

Некоторые мои друзья считали, что моя деятельность по созданию ополчения оскорбит секту квакеров и, следовательно, повредит моим интересам в собрании провинции, где они составляли подавляющее большинство. (...) Впрочем, я имел основания думать, что защита страны была не так уж неприятна любому из них, при условии, что от них не требовали участия в этом. И я обнаружил, что гораздо большее количество квакеров, чем можно было бы подумать, явно стояло за оборонительную войну, хотя и против наступательной. По этому вопросу было опубликовано много статей pro и contra; авторами некоторых из них были истые квакеры, высказывавшиеся в пользу обороны; думаю, это убедило большую часть их молодежи.

Почтенный и образованный мистер Логен, член этой секты, написал обращение к ним, заявляя, что одобряет оборонительную войну, и подкрепил свое мнение многочисленными убедительными аргументами. ...он рассказал мне следующий анекдот о своем старом хозяине Вильяме Пенне. Молодым человеком мистер Логен приехал из Англии вместе с этим собственником в качестве его секретаря. Шла война, и их корабль подвергся преследованию вооруженного судна, как предполагалось – вражеского. Их капитан приготовился к защите, но Вильяму

Пенну и его друзьям – квакерам он сказал, что не ожидает от них помощи и что они могут удалиться в каюту; так они все и сделали, за исключением Джемса Логена, который предпочел остаться на палубе и был поставлен к пушке. Предполагаемый враг оказался другом, так что сражения не произошло; но когда секретарь спустился вниз, чтобы сообщить это известие, Вильям Пенн стал сурово укорять его за то, что он остался на палубе и, вопреки принципам «Друзей», собирался помочь в защите судна, тем более что капитан даже не требовал этого. Секретаря обидел этот выговор, сделанный в присутствии всех остальных, и он ответил: «Ведь я твой слуга, почему же ты не приказал мне спуститься вниз? Но ты сам хотел, чтобы я остался и помог вести бой с судном, когда ты думал, что есть опасность».

(...)

Соблюдая последовательность в изложении событий, я должен был бы еще раньше упомянуть, что в 1742 году я изобрел открытую печь для лучшего обогривания комнат при одновременной экономии топлива, так как выпускаемый воздух обогривался при входе. Модель этой печи я подарил мистеру Роберту Грейсу, одному из моих старых друзей. У него был горн, и он занялся отливкой плит для этих печей, что оказалось весьма выгодным делом, так как спрос на них все возрастал. Чтобы повысить этот спрос, я написал статью, озаглавленную: «Отчет о недавно изобретенных пенсильванских каминах, где подробно объясняется их конструкция и способ действия, доказываются их преимущество перед всеми другими способами обогривания комнат и рассматриваются и опровергаются все возражения, выдвинутые против их использования и т. д.» Статья имела большой успех; губернатор Томас был так доволен описанной в ней конструкцией, что предложил мне патент на исключительное право продавать камины в течение определенного времени, но я отказался из принципа, который всегда имел для меня большой вес в подобных случаях, а именно: если мы охотно пользуемся большими преимуществами от чужих изобретений, то мы должны быть рады случаю послужить другим своим изобретением, и мы должны это делать бескорыстно и великодушно.

Но какой-то лондонский торговец скобяными изделиями, порядочно позаимствовав из моей статьи и переработав ее по-своему, сделав небольшие изменения в машине, которые скорее мешали ее действию, взял там на нее патент и, как я слышал, заработал себе на этом состояние. И это не единственный случай, когда другой получал патент на мое изобретение, хотя и не всегда с таким успехом; но я их никогда не оспаривал, ибо сам не имел желания извлекать выгоду из патентов и ненавидел споры. Применение этих каминов во многих домах в Пенсильвании и соседних с нею штатах давало и дает жителям большую экономию дров.

Так как мир был заключен и дела в ополчении закончились, я снова начал подумывать об учреждении академии. Я начал с того, что посвятил в свой план целый ряд энергичных друзей, многие из которых были членами Хунты. Затем я написал и опубликовал статью под заглавием «Предложения по поводу образования молодежи в Пенсильвании». Эту статью я бесплатно разослал всем наиболее влиятельным жителям; и, когда я мог считать, что их умы уже немного подготовлены ее чтением, я объявил подписку на открытие и содержание академии. Плата должна была вноситься по частям раз в год в течение пяти лет; распределив ее таким образом, я думал увеличить подписку. Так оно и случилось; собранная сумма, если память мне не изменяет, превышала пять тысяч фунтов.

В предисловии к этой статье я написал, что эти предложения исходят не от меня, а от неких «проникнутых духом общественности джентльменов», избегая, таким образом, по мере возможности, согласно моему обычному правилу, выступать самому перед публикой в качестве автора какого-либо плана в ее пользу.

Подписчики, желая немедленно провести в жизнь этот проект, избрали из своей среды двадцать четыре доверенных и поручили мистеру Френсису, занимавшему тогда пост генерального прокурора, и мне составить основные правила управления академией, что было выпол-

нено и подписано; было снято помещение и приглашены преподаватели; классы открылись, кажется, в том же 1749 году.

Скоро помещение оказалось слишком малым, так как количество учащихся быстро возрастало. Мы занялись поисками удобно расположенного участка земли, чтобы построить новое здание; в этот момент провидение послало нам уже построенное большое здание, которое при небольших перестройках могло послужить для нашей цели.

(...) Поскольку теперь я был членом обоих попечительских советов (и здания и академии), я имел полную возможность посредничать между этими двумя советами и привел их, наконец, к соглашению; попечители здания уступали его академии, которая обязывалась заплатить долги, содержать в здании согласно первоначальному замыслу большой холл, всегда открытый для случайных проповедников, а также бесплатную школу для детей бедняков.

Соответствующие документы были составлены, и, уплатив долги, попечители академии вступили во владение помещением; большой и высокий холл был разделен перегородками на два этажа и на комнаты для нескольких классов наверху и внизу, был куплен дополнительный участок земли, и, таким образом, все было приспособлено для нашей цели, и учащиеся перешли в это здание. На меня легли все трудности и заботы по найму рабочих, покупке материалов и наблюдению за работами; я тем более охотно брался за все это, что это не мешало тогда моему частному предприятию, так как за год до того я взял очень способного, трудолюбивого и честного партнера, мистера Давида Холла, которого я хорошо знал, так как он четыре года работал для меня. Он снял с меня все заботы о типографии и аккуратно выплачивал мне мою долю доходов. Это партнерство продолжалось восемнадцать лет и было успешным для нас обоих.

Через некоторое время грамотой губернатора попечители академии были признаны легальным обществом, их фонды возросли за счет пожертвований в Британии и земельных дарений собственников, к которым впоследствии сделало значительное добавление собрание. Так был учрежден теперешний Филадельфийский университет.

Я продолжаю, вот уже почти сорок лет, быть одним из его попечителей; за эти годы я имел величайшее удовольствие видеть, как многие молодые люди, получившие образование в этом университете, развили свои способности, выдвинулись на поприще полезной общественной деятельности и стали украшением своей страны.

Когда я освободился от забот о своем частном предприятии – о чем я уже говорил выше – у меня появилась отрадная надежда, что приобретенное мной скромное, но достаточное состояние позволит мне пользоваться досугом для философских занятий и развлечений в продолжение оставшихся мне лет жизни. Я купил всю аппаратуру у доктора Спенса, приехавшего из Англии, чтобы читать лекции в Филадельфии, и вскоре я достиг значительных успехов в моих опытах над электричеством; но общественность, считая меня досужим человеком, завладела мною для своих целей: каждый орган нашего гражданского управления возложил на меня какие-либо обязанности, причем все это делалось почти одновременно. Губернатор сделал меня членом комиссии по заключению мира; городская корпорация избрала меня членом коммунального совета, а вскоре за этим – членом городской управы; граждане ряда округов избрали меня своим представителем в собрании. Последняя должность была самой приятной для меня, так как мне, наконец, надоело сидеть там и слушать дебаты, в которых я, как секретарь, не мог участвовать и которые часто были такими неинтересными, что мне приходилось развлекаться рисованием магических квадратов или кругов, или делать еще что-нибудь, чтобы избавиться от скуки; и я считал, что, став членом собрания, я буду иметь больше возможностей делать добро. Я не хочу сказать, что все это возвышение не льстило моему честолюбию; конечно, я был весьма польщен.

Если принять во внимание, что я начал с самых низших ступеней, это было большим успехом, тем более приятным, что успех этот являлся широким непринужденным проявлением благоприятного общественного мнения, не вызванным никакими претензиями с моей стороны.

(...)

Наш город, прекрасно и правильно расположенный, с широкими и прямыми улицами, пересекающимися друг друга под прямым углом, позорно мирился с тем, что эти улицы долгое время оставались немощеными; в мокрую погоду колеса тяжелых экипажей превращали их в трясину, так что трудно было их перейти, а в сухую погоду прохожих одолевала пыль. Я жил около рынка Джерси Маркит и с болью в сердце видел, как жители, покупая провизию, вязнут в грязи. Наконец, была вымощена кирпичом полоска земли посередине рынка; таким образом, попав на рынок, люди имели под ногами твердую почву; но часто до этого они утопали в грязи по щиколотку. Я говорил и писал об этом и, наконец, добился того, что был вымощен камнем участок улицы перед рынком, между кирпичными тротуарами, проходившими вдоль домов по обе стороны улицы. Это на некоторое время позволило проходить на рынок, не замочив ног; но так как остальная часть улицы не была вымощена, то, когда экипаж выезжал из грязи на мостовую, он стряхивал здесь всю грязь, и скоро мостовая оказывалась покрытой грязью, которую не удаляли, так как в городе еще не было чистильщиков улиц.

После некоторых расспросов я нашел бедного трудолюбивого человека, который согласился содержать мостовую в чистоте, подметая ее два раза в неделю и убирая грязь перед всеми соседними дверями за шесть пенсов в месяц от каждого дома. Тогда я написал и напечатал статью, где обрисовал жителям нашего квартала выгоды, которые могут быть получены за столь малую плату: нам будет легче содержать наши дома в чистоте, ибо на ногах будет приноситься меньше грязи, повысятся доходы лавок в связи с увеличением количества покупателей, которые легче смогут добраться до них, а также благодаря тому, что в ветреную погоду пыль не будет садиться на товары, и т. д., и т. п. Я послал по одной статье в каждый дом и через день или два стал обходить соседей, чтобы узнать, кто подпишет соглашение об уплате этих шести пенсов; оно было единодушно подписано и в течение некоторого времени хорошо выполнялось. Все жители города были восхищены чистотой мостовой, окружавшей рынок, так как это было удобно всем. Это вызвало общее желание вымостить все улицы и расположило людей к уплате сбора для этой цели.

Через некоторое время я составил билль об устройстве в городе мостовой и внес его в собрание. Это было как раз перед моей поездкой в Англию в 1757 году, и билль прошел уже после моего отъезда, с изменением – мне кажется, не к лучшему – способа обложения; но зато были выделены дополнительные средства не только на мощение, но и на освещение улиц, что было большим улучшением. Мысль осветить весь город была впервые подана населению частным лицом – покойным мистером Джоном Клифтом, который продемонстрировал полезность освещения, повесив фонарь над своей дверью. Честь этого общественного благодеяния приписывали также и мне, но в действительности она принадлежала этому джентльмену. Я только последовал его примеру и могу претендовать лишь на ту заслугу, что изменил шаровидную форму фонарей, которые поставлялись нам из Лондона. Они оказались во многих отношениях неудобными: у них не было снизу доступа для воздуха и, следовательно, дым не легко выходил вверх, а циркулировал в шаре, оседая на его внутренней поверхности, и скоро затемнял свет, который фонари должны были давать; кроме того, их ежедневно нужно было чистить, и случайный удар мог разбить их и полностью вывести из строя. Поэтому я предложил делать фонари из четырех плоских стекол, с длинным дымоходом сверху для вытяжки дыма и с щелями, пропускающими снизу воздух для ускорения выхода дыма; благодаря этому они оставались чистыми и не затемнялись через несколько часов, как лондонские лампы, но сохраняли яркость до самого утра; случайный удар мог разбить только одно стекло, что легко поправимо.

(...)

Некоторые могут сказать, что все это пустяки, о которых не следует вспоминать или рассказывать; но если они поразмыслят, что хотя пыль, попавшая в ветреный день в глаза одному человеку или в одну лавку, не имеет большого значения, то большое число таких слу-

чаев в населенном городе и частое их повторение придают этой мелочи вес и значительность; тогда, может быть, они не будут так сурово критиковать тех, кто уделяет некоторое внимание столь низменным по внешнему виду делам. Человеческое счастье создается не столько большими удачами, которые случаются редко, сколько небольшими каждодневными улучшениями. Так, если вы научите бедного молодого человека бриться самому и содержать свою бритву в порядке, вы можете сделать гораздо больше для его счастья в жизни, чем если бы вы дали ему тысячу гиней. Эта сумма может быть скоро израсходована и останется только сожаление по поводу того, что деньги так глупо растрчены, а в первом случае он избавится от частого раздражения в ожидании цирюльника, от их иногда грязных пальцев, зловонного дыхания и тупых бритв; он сможет бриться тогда, когда ему это удобно, и каждый день будет иметь удовольствие делать это хорошим инструментом. С такими мыслями я осмелился написать предыдущие страницы, в надежде, что из них могут быть почерпнуты сведения, которые окажутся полезными сейчас или когда-нибудь в будущем для города, который я люблю, прожив в нем очень счастливо много лет, а может быть, и для иных наших городов в Америке.

В течение некоторого времени я состоял на службе у главного почтмейстера Америки в качестве инспектора. В мои обязанности входило наблюдение над несколькими конторами и получение отчетов чиновников. После его смерти, последовавшей в 1753 году, я был назначен, по указанию генерального почтмейстера Англии, вместе с мистером Вильямом Гантером, его преемником. До этого времени американская почта ничего не платила британской. Мы должны были располагать шестьюстами фунтами на двоих, если смогли бы извлечь их из доходов почты. Для получения этой суммы потребовалось ввести всевозможные усовершенствования; некоторые из них вначале неизбежно оказались дорогими, так что за первые четыре года почта задолжала нам около девятисот фунтов. Но скоро она начала выплачивать этот долг, и к тому времени, как я был смещен по капризу министров, о чем я буду говорить позже, мы добились того, что почта давала короне в три раза больше чистого дохода, чем почта Ирландии. После же этого неблагоразумного поступка они не получили от нее ни одного фартинга!

В том же году мне случилось по делам почты поехать в Новую Англию, где Кэмбриджский колледж по собственной инициативе наградил меня степенью магистра искусств. Перед этим такую же честь оказал мне Йельский колледж в Коннектикуте. Так, не учившись ни в одном колледже, я стал пользоваться их почестями. Эти почести оказаны мне за мои усовершенствования и открытия в области натурфилософии, занимающейся изучением электричества.

(...)

В 1754 году ввиду снова ожидавшейся войны с Францией в Олбени должен был по распоряжению парламента собраться Конгресс уполномоченных различных колоний совместно с главами шести племен для совещания о средствах защиты наших и индейских земель. (...)

По дороге туда я задумал и составил план объединения всех колоний под одним правительством, насколько это необходимо для обороны и других важных общих задач. Когда мы были проездом в Нью-Йорке, я показал мой проект мистеру Джемсу Александеру и мистеру Кеннеди, двум джентльменам с большими познаниями в общественных делах; получив их одобрение, я осмелился предложить его Конгрессу. Оказалось, что несколько уполномоченных составили подобные же планы. Сначала был поставлен предварительный вопрос, следует ли учредить союз, на что единодушно был дан утвердительный ответ. Затем назначили комиссию, в которую вошло по одному члену от каждой колонии, для рассмотрения различных планов и составления отчета. Мой проект был признан наилучшим и с небольшими поправками был соответственно доложен Конгрессу.

По этому плану общее правительство должно было возглавляться генеральным председателем, назначаемым короной; средства на его содержание также должны были отпускаться короной. Представители населения различных колоний должны были на соответствующих собраниях избирать большой совет. Дебаты об этом велись в Конгрессе ежедневно, парал-

тельно с обсуждением индейских дел. План встретил много возражений и затруднений, но, наконец, все они были преодолены, и план был единодушно принят; копии его было указано разослать Торговой палате и собраниям всех провинций. Судьба его весьма любопытна: собрания не приняли его, считая, что в нем слишком много привилегий, а в Англии его сочли слишком демократичным. Поэтому Торговая палата не одобрила его и не рекомендовала к одобрению его величества. Вместо этого был составлен другой план, якобы более соответствующий той же самой цели. Согласно новому плану губернаторы провинций вместе с несколькими членами своих советов должны были собраться, чтобы распорядиться набором войск, постройкой фортов и т. д. Деньги на все эти расходы они могли получать из казначейства Великобритании с тем, чтобы впоследствии возместить их с помощью налога на Америку, утвержденного парламентом. Мой план с аргументами в его защиту можно найти среди моих напечатанных политических статей.

Зимой следующего года, находясь в Бостоне, я много беседовал с губернатором Ширли об обоих планах. Содержание наших бесед частично отразилось в этих статьях. Разнообразие и противоречивость возражений против моего плана заставляют меня предположить, что он действительно был правильным средством, и я до сих пор считаю, что, если бы он был принят, это было бы счастьем и для Англии, и для Америки. Объединенные таким образом колонии были бы достаточно сильны, чтобы защитить себя; тогда не было бы необходимости присылать войска из Англии, и, конечно, мы избежали бы последующего предлога для обложения Америки налогами и порожденного этим кровавого спора. Но такие ошибки не новы; история полна заблуждениями государств и монархов. (...)

Те, кто правит, как правило, не любят сверх своих многочисленных дел брать на себя труд рассматривать и проводить в жизнь новые проекты. Самые лучшие общественные меры редко принимаются в результате предварительного мудрого размышления; обычно они диктуются обстоятельствами.

(...)

Прежде чем перейти к рассказу о том участии в общественных делах, которое я принимал при управлении нового губернатора, будет уместно остановиться на том, как возникла и развивалась моя известность в качестве философа.

В 1746 году я встретился в Бостоне с доктором Спенсом, прибывшим недавно из Шотландии. Он показал мне ряд опытов над электричеством. Выполнение их было несовершенно, так как доктор Спенс не был знатоком этого дела. Эти опыты касались совершенно нового для меня предмета, поэтому они изумили меня и доставили мне удовольствие. Вскоре после моего возвращения в Филадельфию наше библиотечное общество получило в подарок от мистера Петера Коллинсона, члена Лондонского королевского научного общества, стеклянную трубку вместе с описанием того, как ею пользоваться при подобных опытах. Я был рад возможности повторить виденное мною в Бостоне, и благодаря большой практике научился с большой ловкостью производить те опыты, которые описывались в английской инструкции, а также дополнил их своими. Я говорю о «большой практике», потому что мой дом в течение некоторого времени был постоянно полон людьми, приходившими смотреть на эти новые чудеса.

Чтобы немного уменьшить наплыв посетителей, я решил заказать несколько таких трубок в нашей стекольной мастерской для своих друзей. Они их взяли, и у нас, наконец, стало несколько исполнителей. Главным среди них был мистер Киннерсли, один из моих соседей, очень способный человек, находившийся в то время без работы. Я убедил его попытаться продемонстрировать опыты за плату и написал для него две лекции. В этих лекциях опыты следовали друг за другом в таком порядке и сопровождались объяснениями в такой форме, что предстоящее должно было помогать пониманию последующего. Для этой цели он добыл красивые приборы. Все мелкие инструменты, которые я грубо смастерил для себя, были изящно сделаны профессиональными мастерами. Его лекции хорошо посещались и имели большой

успех. Через некоторое время он отправился в турне по колониям, показывая опыты в каждом столичном городе и зарабатывая немалые деньги. Однако на Вест-Индских островах опыты производились с трудом из-за большой влажности воздуха.

Сознавая, насколько мы обязаны мистеру Коллинсону за подарок трубки и пр., я решил, что будет правильным информировать его о наших успехах в пользовании ею. Я написал ему несколько писем с описанием наших опытов. Мистер Коллинсон прочел их в Королевском обществе, где их сперва не сочли достойными напечатания в трудах этого общества. Доклад, который я написал для мистера Киннерсли, доказывающий тождество молнии и электричества, был послан мною доктору Митчелу, моему знакомому, члену того же общества; он ответил, что доклад был прочитан, но высмеян знатоками. Однако, когда доклады показали доктору Фозергиллу, он посоветовал их напечатать, так как нашел их слишком ценными, чтобы замалчивать. Тогда мистер Коллинсон передал их Кейву для опубликования в его «Журнале джентльмена», но последний решил напечатать их отдельно в виде брошюры, а доктор Фозергилл написал к этим докладам предисловие. По-видимому, Кейв, как издатель, поступил дальновидно, так как с последующими добавлениями брошюра превратилась в книгу размером *in quarto* и выдержала пять изданий, а ее переиздание ничего ему не стоило.

Однако прошло некоторое время, прежде чем эти доклады обратили на себя внимание в Англии. Случилось так, что один экземпляр попал в руки Бюффона, философа, заслуженно пользующегося широкой известностью во Франции и в Европе. Он поручил мистеру Далибару перевести их на французский язык, и они были напечатаны в Париже. Опубликование этих докладов задело аббата Нолле, преподавателя натурфилософии в королевской семье, способного экспериментатора, создавшего и опубликовавшего свою теорию о природе электричества, которая была в то время в большой моде. Он сперва не поверил, что такая работа пришла из Америки, и сказал, что она, должно быть, сфабрикована его врагами в Париже в целях подрыва его системы. Позднее, уверившись в действительном существовании такой личности, как Франклин из Филадельфии, в чем он сперва сомневался, Нолле написал и опубликовал том писем, адресованных главным образом ко мне, защищающих его теорию и отрицающих достоверность моих опытов и положений, выведенных из них. Моим первым побуждением было ответить аббату, и я начал было писать ответ. Но затем я подумал о том, что моя работа содержит лишь описание опытов, которые каждый может повторить и проверить, а без проверки их вообще нельзя защищать; что, далее, она содержит ряд соображений, высказанных в качестве предположений, а не догматических утверждений, следовательно, я не обязан защищать их. Кроме того, я понял, что диспут между двумя людьми, владеющими разными языками, затянулся бы в значительной степени из-за ошибок в переводе, ведущих к взаимному непониманию. (Многие возражения в одном из писем аббата Нолле были вызваны ошибкой в переводе моего доклада.) Я решил предоставить мои доклады их участи, полагая, что будет лучше использовать время, которое я могу выкроить из занятий общественными делами, для производства новых экспериментов, чем для дискуссии по поводу экспериментов, уже произведенных. Поэтому я так и не ответил господину Нолле, и дальнейший ход событий не заставил меня пожалеть о своем молчании, так как мой друг господин Ле Руа из королевской Академии наук взял на себя мою защиту и опроверг его. Моя книга была переведена на итальянский, немецкий и латинский языки, и содержащаяся в ней теория была постепенно принята всеми философами Европы, отдавшими ей предпочтение перед теорией аббата Нолле, которому суждено было остаться единственным представителем своей секты, если не считать господина Б. из Парижа, его ученика и ближайшего последователя.

Неожиданную и широкую известность принес моей книге успех одного из предлагаемых в ней опытов, повторенного Далибаром и Делором в Марли. Этот опыт, состоявший в притяжении молнии из облаков, привлек повсюду внимание публики. Делор, имевший аппаратуру для экспериментальной философии и читавший лекции в этой отрасли знания, повторил то, что



он называл филаделфийскими экспериментами; и, после того как они были показаны королю и двору, все любопытные в Париже хлынули на это зрелище.

Я не буду растягивать этот рассказ описанием вышеупомянутого главного опыта, а также громадного удовольствия, которое я получил вскоре после этого от успеха произведенного мною в Филадельфии аналогичного опыта со змеем; и то и другое можно найти в книгах по истории электричества.

Доктор Райт, английский врач, бывший в то время в Париже, написал своему другу, члену Королевского общества, о той высокой оценке, которую мои опыты получили среди ученых за границей и об их удивлении по поводу того, что мои работы так мало были замечены в Англии. Тогда общество вновь рассмотрело мои письма, зачитывавшиеся в нем ранее. Прославленный доктор Уотсон составил резюме писем, а также всего, что я затем посылал в Англию по этому предмету, и сопроводил это резюме похвалой автору. Это резюме было затем напечатано в трудах Лондонского королевского общества, и некоторые члены этого общества, в частности весьма талантливый мистер Кэнтон, проверили опыт, при котором молния притягивалась из облаков с помощью заостренного стержня. Они сообщили в общество об успешном исходе опыта, и вскоре я был с избытком компенсирован за то пренебрежение, с которым они сперва отнеслись ко мне. Без всякой просьбы с моей стороны они избрали меня своим членом, освободив от обычного взноса, достигающего двадцати пяти гиней, и также бесплатно посылали мне впоследствии свои труды. Кроме того, я был награжден золотой медалью сэра Годфри Копли за 1753 г. Вручение мне этой медали сопровождалось очень красивой речью председателя общества лорда Мэклсфилда, в которой он высоко оценил меня. ...

#### **Вопросы и задания:**

1. Какие рассуждения автора можно расценивать как программные для философа-просветителя?
2. Охарактеризуйте образ героя «Автобиографии». Насколько он типичен для эпохи?
3. Какие возможности жанра автобиографии в первую очередь использовал автор?
4. Каков внутренний сюжет произведения?

## Томас Джефферсон (1743–1826)

### Предтекстовое задание:

1. Выделите основные идеи текста.
2. Определите основные композиционные и стилистические характеристики текста.

### Декларация представителей Соединенных Штатов Америки, собравшихся на общий конгресс *Перевод О. А. Жидкова 4 июля 1776 г.*

Когда ход событий приводит к тому, что один из народов вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы и ее Творца, уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому отделению.

Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Разумеется, благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств; соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое право упразднить правительственные формы, ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью народа. Эти колонии длительное время проявляли терпение, и только необходимость вынуждает их изменить прежнюю систему своего правительства. История правления ныне царствующего короля Великобритании – это набор бесчисленных несправедливостей и насилий, непосредственной целью которых является установление неограниченного деспотизма. Для подтверждения сказанного выше представляем на беспристрастный суд всего человечества следующие факты.

Он отказывался давать свое согласие на принятие законов, в высшей степени полезных и необходимых для общего блага.

Он запрещал своим губернаторам проводить неотложные и чрезвычайно важные законы, если только их действие не откладывалось до получения королевского согласия, но когда они таким способом приостанавливались, он демонстративно оставлял их без всякого внимания.

Он разрешил проводить другие законы, важные для жизни населения обширных округов, только при условии, что оно откажется от права на представительство в легислатуре, то есть от права, бесценного для него и опасного только для тиранов.

Он созывал законодательные органы в непривычных и в неудобных местах, находящихся на большом удалении от места хранения их официальных документов, с единственной целью измором заставить их согласиться с предлагаемой им политикой.

Он неоднократно распускал палаты представителей, мужественно и твердо противостоявшие его посягательствам на права народа.

Он в течение длительного срока после такого роспуска отказывал в выборах других депутатов, в результате чего законодательные полномочия, которые по своей сути неуничтожаемы, возвращались для их осуществления народу в целом; штат тем временем подвергался всем опасностям, проистекавшим как от внешнего вторжения, так и от внутренних беспорядков.

Он пытался помешать заселению этих штатов, игнорируя по этой причине законы о натурализации иностранцев, отказывая в принятии других законов, направленных на поощрение иммиграции, а также затрудняя выделение новых земельных участков.

Он создавал препятствия для осуществления правосудия, отказываясь давать согласие на принятие законов об организации судебной власти.

Он поставил судей в исключительную зависимость от своей воли путем определения сроков их пребывания в должности, а также размера и выплат им жалования.

Он создавал множество новых должностей и присылал к нам сонмища чиновников, чтобы притеснять народ и лишать его средств к существованию.

Он в мирное время содержал у нас постоянную армию без согласия наших легислатур.

Он стремился превратить военную власть в независимую и более высокую по отношению к гражданской власти.

Он объединялся с другими лицами, чтобы подчинить нас юрисдикции, чуждой нашей конституции и не признаваемой нашими законами, утверждал их акты, претендовавшие стать законодательством и служившие:

- для расквартирования у нас крупных соединений вооруженных сил;
- для освобождения посредством судебных процессов, являющихся таковыми только по видимости, от наказаний военных, совершивших убийства жителей этих штатов;
- для прекращения нашей торговли со всеми частями света;
- для обложения нас налогами без нашего согласия;
- для лишения нас по многим судебным делам возможности пользоваться преимуществами суда присяжных;
- для отправки жителей колоний за моря с целью предания их там суду за приписываемые им преступления;
- для отмены свободной системы английских законов в соседней провинции путем установления в ней деспотического правления и расширения ее границ таким образом, чтобы она служила одновременно примером и готовым инструментом для введения такого же абсолютистского правления в наших колониях;
- для отзыва предоставленных нам хартий, отмены наших наиболее полезных законов и коренного изменения форм нашего правительства;
- для приостановления деятельности наших легислатур и присвоения себе полномочий законодательствовать вместо нас в самых различных случаях.

Он отказался от управления колониями, объявив о лишении нас его защиты и начав против нас войну.

Он грабил нас на море, опустошал наши берега, сжигал наши города и лишал наших людей жизни.

Он в настоящий момент посылает к нам большую армию иностранных наемников с тем, чтобы окончательно посеять у нас смерть, разорение и установить тиранию, которые уже нашли свое выражение в фактах жестокости и вероломства, какие едва ли имели место даже в самые варварские времена, и абсолютно недостойны для главы цивилизованной нации.

Он принуждал наших сограждан, взятых в плен в открытом море, воевать против своей страны, убивать своих друзей и братьев либо самим погибать от их рук.

Он подстрекал нас к внутренним мятежам и пытался натравливать на жителей наших пограничных земель безжалостных дикарей-индейцев, чьи признанные правила ведения войны сводятся к уничтожению людей, независимо от возраста, пола и семейного положения.

В ответ на эти притеснения мы каждый раз подавали петиции, составленные в самом сдержанном тоне, с просьбой о восстановлении наших прав: в ответ на наши повторные петиции следовали лишь новые несправедливости.

Государь, характеру которого присущи все черты, свойственные тирану, не может быть правителем свободного народа.

В равной степени не оставляли мы без внимания и наших британских братьев. Время от времени мы предостерегали их от попыток парламента незаконным образом подчинить нас своей юрисдикции. Мы напоминали им о причинах, в силу которых мы эмигрировали и поселились здесь. Мы взывали к их прирожденному чувству справедливости и великодушию и заклинали их, ради наших общих кровных уз, осудить эти притеснения, которые с неизбежностью должны были привести к разрыву наших связей и общения. Они также оставались глухими к голосу справедливости и общей крови. Поэтому мы вынуждены признать неотвратимость нашего разделения и рассматривать их, как мы рассматриваем и остальную часть человечества, в качестве врагов во время войны, друзей в мирное время.

Поэтому мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на общий Конгресс, призывая Всевышнего подтвердить честность наших намерений, от имени и по уполномочию доброго народа этих колоний, торжественно записываем и заявляем, что эти соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к британской короне и что все политические связи между ними и Британским государством должны быть полностью разорваны, что в качестве свободных и независимых штатов они полномочны объявлять войну, заключать мирные договоры, вступать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие действия и все то, на что имеет право независимое государство. И с твердой уверенностью в покровительстве Божественного Провидения мы клянемся друг другу поддерживать настоящую Декларацию своей жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной честью.

#### **Вопросы и задания:**

1. Какие идеи философии Просвещения лежат в основе рассуждений авторов «Декларации независимости»?
2. О каких исторических событиях идет речь в «Декларации»?
3. К какому жанру можно отнести данный документ?

#### **Предтекстовое задание:**

1. Сформулируйте основные задачи, которые ставил перед собой автор «Заметок о штате Виргиния» (1781–1783).
2. Определите основные стилистические характеристики текста.

**Заметки о штате Виргиния**  
**Перевод В. М. Большакова и В. Н.**  
**Плешкова Примечания В. Н. Плешкова**

**Вопрос IV<sup>154</sup>. Горы. Сведения о горах штата**

За подробными географическими сведениями о наших горах я должен обратиться к карте Виргинии Фрайя и Джефферсона, а за более философским, чем в любой другой работе, взглядом на этот предмет – к анализу карты Америки Эванса, сделанному им самим<sup>155</sup>. Следует отметить, что у нас горы не являются одиночными и беспорядочно разбросанными по территории штата, а начинаются приблизительно в 150 милях от морского побережья и расположены грядами, одна позади другой, идущими почти параллельно морскому побережью, хотя и довольно приближаются к нему на северо-востоке. К юго-западу, по мере сужения полосы земли между береговой линией и Миссисипи, горы сходятся в единую гряду, которая, приближаясь к Мексиканскому заливу, переходит в равнину и служит началом некоторым рекам, текущим в залив, – в частности реке, называемой Апалачикола, вероятно, по имени апалачей – индейского племени, в прошлом обитавшего здесь. Поэтому и горы, в которых берет начало эта река и которые видны здесь отовсюду, были названы Апалачскими, хотя в действительности ими лишь кончаются или завершаются большие горные хребты, проходящие через континент. Европейские географы, однако, распространили это название на все лежащие к северу горы, давая его после их разделения на гряды даже и отдельным хребтам: некоторые – гряде Блу-Ридж, другие – Северным горам, третьи – Аллеганским горам, четвертые – гряде Лорел, в чем можно убедиться, взглянув на их карты. На самом деле, я думаю, обитателям этих мест, и коренным и приезжим, ни одна из этих гряд никогда не была известна под этим именем, разве только они видели его на европейских картах. В том же направлении, что и горные гряды, тянутся жилы известняка, пласты каменного угля и других минералов, открытых к настоящему времени. Соответственно располагаются и водопады на наших больших реках. Джеймс и Потомак протекают через все горные гряды к востоку от Аллеганских гор, сами же Аллеганские горы не прорезает ни одна река. По сути дела они являются гребнем водораздела на пространстве между Атлантическим океаном, с одной стороны, и Миссисипи и рекой Святого Лаврентия – с другой. Место, где Потомак проходит сквозь хребет Блу-Ридж, представляет, вероятно, одну из самых изумительных картин природы<sup>156</sup>. . . Вы стоите на очень высоком месте. Справа от вас подходит Шенандоа, пробежавшая сотню миль вдоль подножья горы в поисках исхода. Слева, также в поисках прохода, приближается Потомак. Слившись, они бьются о скалы и, разбиваясь о них вдребезги, уносятся к морю. При первом взгляде на эту картину наше сознание спешит сделать вывод, что мир этот создавался во времени, что сначала были образованы горы, затем потекли реки, что именно в этом месте они были перегорожены горной грядой Блу-Ридж

<sup>154</sup> Книга состоит из ответов на 23 вопроса секретаря французской дипломатической миссии Ф. Марбуа, который в 1780 г. попросил членов Континентального конгресса представить ему сведения о различных американских штатах. Джефферсон как губернатор Виргинии, воспользовавшись собственными записями и материалами других исследователей, написал в 1781 г. небольшую книгу. Впоследствии она была расширена, прежде всего за счет ссылок, и только в 1785 г. опубликована без указания имени автора во Франции тиражом 200 экземпляров. Ее издание на английском языке в Америке относится к 1788 г. Дополнения приводятся в тексте и в примечаниях к каждой главе в квадратных скобках.

<sup>155</sup> Эванс, Льюис (ок. 1700–1756) – пенсильванский географ, топограф и картограф. В 1755 г. опубликовал в Филадельфии «Geographical, Historical, Political, Philosophical and Mechanical Essays: the First, containing an Analysis of a General Map of the Middle British Colonies in America» («Эссе по географии, истории, политике, философии и механике: впервые содержат анализ карты Средних британских колоний в Америке» – *Сост.*).

<sup>156</sup> В настоящее время здесь располагается город Харперс-Ферри (штат Западная Виргиния).

и что здесь образовался океан, заполнивший всю долину, что, продолжая подниматься, реки, наконец, прорвались в этом месте, проломив здесь горы от вершины до основания. Нагромождение скал с обеих сторон, особенно со стороны Шенандоа, – наглядное свидетельство их разрушения и смещения могучими силами природы – усиливает это впечатление. Но созданный природой задний план этой картины носит совсем другой характер, резко контрастирующий с передним планом. Он настолько же спокоен и восхитителен, насколько тот дик и поразителен. Через расщелину в расщепленной на куски горе природа представляет нашему взору полоску спокойного голубого горизонта, находящуюся на бесконечном отдалении где-то за равниной, как бы приглашая вас пройти через расщелину из ревущего вокруг буйства и необузданности в царящее внизу спокойствие. Здесь глаз, наконец, находит успокоение, и именно туда ведет и дорога. Вы переправляетесь через Потомак выше слияния двух рек, проходите три мили по его берегу у подножья горы с нависшими над вами обломками скал – ужасными последствиями обвалов и, пройдя затем около 20 миль, достигаете Фредериктауна и окружающих его прекрасных мест. Ради такого зрелища стоит пересечь Атлантику. И все же здесь, как и вблизи Природного моста, есть люди, прожившие всю жизнь в полудюжине миль от этих монументов битвы между горами и реками<sup>157</sup>, потрясшей должно быть всю землю до ее сердцевины, и никогда не выдавшие их.

Высота наших гор пока еще точно не была измерена. Высшая точка Аллеган, великая гряда которых отделяет воды Миссисипи от вод, текущих в Атлантику, несомненно находится на большей высоте над уровнем моря, чем вершины всех других гор. Но относительная высота высшей точки Аллеган с учетом высоты основания, на котором она находится, не так велика, как относительная высота некоторых других горных вершин. Это обусловлено тем, что местность вслед за следующей друг за другом каждой горной грядой поднимается как ступени лестницы. Горы Блу-Ридж, а среди них вершины Оттер, измеренные от их основания, считаются выше других в нашем штате, а может быть и в Северной Америке. На основании данных, которые могут служить опорой для приемлемой догадки, мы полагаем, что высота самой большой вершины равна приблизительно 4000 футов по перпендикуляру, что в пять раз меньше высоты гор Южной Америки<sup>158</sup>. Mussenbrock<sup>159</sup> § 2312. 2. Ероқ. 317.] и в три раза меньше той высоты, при которой на нашей широте снег не таял бы на открытом воздухе круглый год. Расположенная за Блу-Ридж горная цепь, называемая нами Северными горами, имеет самую большую протяженность, по какой причине они и были названы индейцами Бесконечными горами и в три раза меньше той высоты, при которой на нашей широте снег не таял бы на открытом воздухе круглый год. Расположенная за Блу-Ридж горная цепь, называемая нами Северными горами, имеет самую большую протяженность, по какой причине они и были названы индейцами Бесконечными горами. и в три раза меньше той высоты, при которой на нашей широте снег не таял бы на открытом воздухе круглый год. Расположенная за Блу-Ридж горная цепь, называемая нами Северными горами, имеет самую большую протяженность, по какой причине они и были названы индейцами Бесконечными горами<sup>160</sup>.

<sup>157</sup> [Herodotus, L. 7, с. 129, рассказав, что Фессалия – равнина, окруженная высокими горами, за которые нет иного выхода, кроме расщелины, из которой течет Пеней, и что, согласно древней легенде, она была некогда целиком занята озером, высказывает предположение, что эту расщелину образовало землетрясение, расколовшее гору на части.]

<sup>158</sup> [I Ероқ.(Т. Джефферсон ссылается на «Эпохи природы», являвшиеся частью фундаментальной работы «Естественная история», знаменитого французского натуралиста, директора Парижского Ботанического сада Жоржа Луи Леклерка, графа де Бюффона (1707–1788). В личной библиотеке Джефферсона были многие тома 71-томного парижского издания 1752–1805 гг.)

<sup>159</sup> Масхенбрук, Питер ван (1692–1761) – голландский математик и физик, профессор университетов в Утрехте (1723–1739) и Лейдене (1739–1761). В 1731 г. изобрел пирометр, а в 1746 г. независимо от фон Клейста – лейденскую банку. Джефферсон ссылается на его двухтомный трактат «Elementa Physicae» («Основы физики» – *Сост.*), изданный в 1729 г. в Лейдене.

<sup>160</sup> Полученные впоследствии сведения дали мне возможность внести некоторые добавления и уточнения в сказанное здесь о высоте гор.

Генерал Уильямс<sup>161</sup>, 6 племянник д-ра Франклина, во время поездки из Ричмонда к Аллеганам через Уорм и Ред-Спрингз определил с помощью барометрических наблюдений высоту некоторых наших горных хребтов над уровнем побережья и получил следующие результаты:

	Фу́ты
Восточное подножие хребта Блу-Ридж, лежащее ниже ущелья Рокфиш	100
Вершина горы, примыкающей к этому ущелью	1822
Долина, образующая восточное подножие горы Уорм-Спринг	943
Вершина горы Уорм-Спринг	2247
Западная долина горы Уорм-Спринг, являющаяся восточным подножием Аллеган	94
Вершина Аллеган в 6 м(илях) ю(го)-з(ападнее) Ред-Спрингз	2760

В ноябре 1815 г. я измерил геометрическим методом высоту двух вершин Оттер над уровнем реки Оттер с расстояния в 4 мили с помощью теодолита Рамсдена<sup>162</sup>, имевшего радиус 31/2 дюйма и шкалу верньера с делениями 3', причем база в долине реки была равна 11/4 мили, и установил, что высота остроконечной или ю(жной) вершины – 2946 1/2, высота плоской или с(еверной) вершины – 3103 1/2 фута. Поскольку мы с уверенностью можем сказать, что основание этих вершин находится по крайней мере на такой же высоте над уровнем побережья у Ричмонда, что и основание хребта Блу-Ридж возле ущелья Рокфиш (расположенного в 40 милях к западу), а их наивысшая точка – в 3203 1/2 фута над уровнем побережья, то из этого следует, что самая высокая вершина на 3431/2 фута выше, чем замеренная ген. Уильямсом в Аллеганах.

Наибольшая из вершин Уайт-Маунтинз в Н(ью)-Г(эмпшире) по барометрической оценке, сделанной кап. Партриджем<sup>163</sup>, имеет высоту 4885 ф(утов) от своего основания, а наибольшая из гор Кэтскилл в Н(ью)-Йорке – 3105 футов.

Два измерения с помощью прекрасного карманного секстанта дали среднее значение 37°28'50" для шир(оты) остроконечной вершины гор Оттер. Барон Гумбольдт<sup>164</sup> утверждает, что на шир(оте) 37° (почти за средней параллелью) граница вечного снега нигде не известна

<sup>161</sup> Уильямс, Джонатан (1750–1815) – внучатый племянник Б. Франклина, участвовал в некоторых его экспериментах. С 1801 г. – инспектор военных укреплений; до 1805 г. был суперинтендантом академии Уэст-Пойнт, вице-президент Американского философского общества.

<sup>162</sup> Рамсден, Джесс (1735–1800) – английский оптик и механик-конструктор. Внес много важных улучшений в астрономические приборы, изобрел теодолит.

<sup>163</sup> Партридж, Олден (1785–1854) – профессор математики и инженерного искусства военной академии Уэст-Пойнт в 1813–1818 гг., сторонник начального военного обучения.

<sup>164</sup> Гумбольдт, Фридрих Генрих Александр, барон фон (1769–1859) – выдающийся немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. В 1799–1804 гг. совершил путешествие в Центральную и Южную Америку, итогом которого явилось 30-томное «Путешествие в равнодействующие области Нового Света в 1799– 1804 гг.», а также другие работы, в том числе «Картины природы», парижское издание которых 1808 г. было подарено им Т. Джефферсону, с которым Гумбольдт встречался в 1804 г. В 1829 г. Гумбольдт путешествовал по России (Урал, Алтай, Каспийское море). В монументальном труде «Космос» т. 1–5, 1845–1862 гг. пытался обобщить сложившиеся к тому времени научные познания о Земле и Вселенной.

ниже 1200 туазов<sup>165</sup> = 7671 футу над уровнем моря и почти в полуторном соотношении превышает наибольшую из вершин гор Оттер.]

## **Вопрос XI. Аборигены. Описание индейцев, обитающих в данном штате**

Когда возникло первое постоянное поселение в нашей колонии, а это произошло в 1607 г., всю территорию штата от морского побережья до гор и от Потомака до самых южных притоков реки Джеймс населяло свыше сорока различных индейских племен. Самыми могущественными из них были племена паухэтанов, маннахоков и монаканов. Племена, населявшие территорию между морским побережьем и водопадами на реках, были между собой в дружбе, и племя паухэтанов было связующим звеном их союза. Племена, живущие между речными водопадами и горами, делились на две конфедерации. Те, что обитали в верховьях Потомака и Раппаханнока, примыкали к племени маннахоков, а жившие в верховьях реки Джеймс – к монаканам. Но монаканы и их союзники были дружественны маннахокам и их союзникам и вместе вели постоянную войну с паухэтанами. Известно, что паухэтаны, маннахоки и монаканы говорили на столь различных языках, что при совершении между ними сделок требовались переводчики. Но можно предположить, что так было не у всех племен. Вероятно, каждое племя говорило на языке той народности, к которой оно примыкало, и нам известно немало тому примеров. Вполне возможно, что в древности существовало три различных рода, каждый из которых, численно увеличиваясь на протяжении длительного периода времени, разделился на множество небольших общин. Такое положение вытекает в силу того обстоятельства, что они никогда не подчинялись никаким законам, никакой принудительной власти, никакому подобию правительства. Единственно, чем они руководствовались – это их обычаи и то нравственное чувство хорошего и плохого, которое подобно вкусовому ощущению и осязанию составляет часть природы каждого человека. Нарушение их наказывается презрением, изгнанием из общества, а в серьезных случаях, таких, как убийство, – наказывается отдельными людьми, в этом заинтересованными. Хотя и несовершенно может показаться такой вид принуждения, но преступления среди них очень редки. До тех пор, пока будет возникать вопрос: при отсутствии ли законов, как у американских дикарей, или при их излишнем обилии, как у цивилизованных европейцев, человек подвержен большому злу, – тот, кто наблюдал и то, и другое, будет утверждать, что при последнем. Овцы чувствуют себя лучше, когда они предоставлены сами себе, чем когда находятся под присмотром волков. Можно сказать, что большие общества не могут существовать без правительства. Дикари поэтому дробят их на малые.

Территории конфедерации паухэтанов занимали к югу от Потомака около 8000 кв. миль, насчитывали 30 племен и 2400 воинов. А в пределах 60 миль от Джеймстауна, по словам капитана Смита<sup>166</sup>, находилось 5000 человек, из которых 1500 были воинами. Отсюда видно, что соотношение воинов и жителей у них было 3:10. Таким образом, конфедерация паухэтанов насчитывала 8000 жителей, по одному человеку на квадратную милю, что составляет двадцатую часть современной численности нашего населения на этой же территории и сотую часть населения Британских островов.

Кроме этих племен были ноттавейи, жившие на реке Ноттавей, мехеррины и тутело на реке Мехеррин, которые были связаны с индейцами Каролины, вероятно с чованоками.

(...)

---

<sup>165</sup> Туаз – старинная французская линейная мера, равна 1.949 м.

<sup>166</sup> Смит, Джон (1579?–1631) – английский авантюрист, основатель колонии Виргинии, исследователь атлантического побережья Америки. Автор ряда хроник, в том числе «The General Historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles» («Общая история Виргинии, Новой Англии и островов Соммерса» – *Сост.*), London, 1624 – первой истории британских владений в Америке.



Каким печальным мог бы быть конец их истории, можно предсказать исходя из переписи 1669 г., из которой следует, что численность охваченных переписью племен за 62 года сократилась на одну треть. Спиртные напитки, оспа, война и сокращение территории принесли народу, который жил, используя в основном дары природы, ужасные бедствия, которые нынешнее поколение при существующих препятствиях вряд ли сможет побороть. То, что земли этого штата были отняты у них силой, не является такой общепринятой правдой, какой ее считают. В трудах наших историков и в документах я нахожу неоднократные подтверждения покупки значительной части равнинных земель штата. При дальнейшем поиске, несомненно, их найдется еще больше. Известно также, что возвышенная часть штата была приобретена путем покупок, сделанных в самой безукоризненной форме.

К западу от всех этих племен, за горами и вплоть до Великих озер, находилась самая мощная конфедерация массавомеков, постоянно беспокоивших паухэтанов и маннахоков. Вероятно, они были предками племен, известных в наше время под названием Шесть племен<sup>167</sup>.

О последующей истории каждого из этих племен сейчас можно узнать очень немного. Приблизительно в 1661 г. чикахомины ушли на реку Маттапони. Их вождь вместе с вождями племен памунков и маттапони присутствовал при подписании договора в Олбани в 1685 г.<sup>168</sup> По-видимому, это была последняя глава их истории. Однако они сохраняли свое название еще вплоть до 1705 г. и затем, наконец, смешались с индейцами племен памунки и маттопони, а в настоящее время существуют только под этими названиями. От племени маттапони осталось всего три или четыре человека, да и то в них больше негритянской крови, чем индейской. Маттапони утратили свой язык, сократили добровольной продажей свои земли почти до пятидесяти акров, которые находятся на реке одного с ними имени, и время от времени соединялись с памунками, находящимися от них всего в 10 милях. Численность памунков уменьшилась до 10–12 человек, почти избежавших примеси крови других рас. Старики у них сохраняют в небольшой степени их язык, который, насколько нам известно, является последним следом паухэтанского языка на земле. У них на реке Памунки есть около 300 акров очень плодородной земли, так окруженной водой, что пройти к ней можно только через один проход. У ноттавейев нет ни одного мужчины. Несколько женщин составляют остатки этого племени. Они живут на реке Ноттавей, в графстве Саутгемптон, на очень плодородных землях. Для этих племен очень давно были размечены и выделены в их собственность определенные земли, и сила закона охраняла эти земли от захвата. Обычно у них назначались доверенные лица, которые были обязаны отстаивать интересы индейцев и уберегать их от обид и ущерба.

Монаканы и их союзники, в наше время больше известные под названием тускарора, были, вероятно, связаны с массавомеками или Пятью племенами. Потому что, хоть и известно, что их языки были настолько разными, что при общении им требовались переводчики,<sup>169</sup> мы также знаем, что эриги – племя, прежде обитавшее на берегах Огайо, принадлежало по происхождению к той же группе Пяти племен и также разделяло язык тускарора.<sup>170</sup> Возможно, из-за длительного разделения их диалекты настолько разошлись, что стали непонятны говорящим на одном из них. Известно, что в 1712 г. Пять племен приняли тускарора в свою конфедера-

---

<sup>167</sup> Имеется в виду так называемая ирокезская лига – пять племен гурино-ирокезской языковой группы (мохавки, онейды, онондаги, кайюги и сенеки), к которым в 1712 г. присоединились тускароры.

<sup>168</sup> В июне 1684 г. собравшиеся в Олбани близ Нью-Йорка на совет вожди ирокезских племен вместе с губернатором Виргинии лордом Говардом и представителем Мэриленда зарыли боевые топоры и поклялись во взаимной дружбе. Тогда же губернатор Нью-Йорка Т. Донган побудил вождей признать зависимость от герцога Йоркского и короля Карла II. Олбани, занимавший выгодное стратегическое положение между поселениями белых колонистов и территорией ирокезских племен, был центром мехоторговли и общения. Здесь часто проходили встречи между британскими колониальными чиновниками и вождями индейских племен, называвшими Олбани «домом мира» (house of peace).

<sup>169</sup> [Смит.]

<sup>170</sup> [Эванс.]

цию и сделали их Шестым племенем. Мехерины и тутело также были взяты конфедерацией под свою защиту. Весьма вероятно, что и остатки многих других племен, о которых у нас нет подробных сведений, переместились на запад таким же образом и влились в состав того или иного западного племени.

Мне ничего не известно о существовании у индейцев такой вещи, как памятник: я не удостоил бы чести назвать им наконечники стрел, каменные топоры, каменные трубы и грубые незавершенные изваяния. От их крупномасштабных работ, я думаю, не осталось ничего значительнее обыкновенной дренажной канавы, если не считать могильных холмов, которых много можно найти по всему штату. Размеры их различны, некоторые из них земляные, некоторые сложены из камней.

(...)

Здесь возникает большой вопрос – откуда пришли коренные жители Америки?<sup>171</sup> Сделанных в давние времена открытий было достаточно, чтобы показать, что переход из Европы в Америку всегда был осуществим, даже при несовершенном судовождении древних времен. При следовании из Норвегии в Исландию, из Исландии в Гренландию, из Гренландии до Лабрадора первый переход – самый протяженный, и поскольку его, по известным многочисленным данным, преодолевали уже в незапамятные времена, можно предположить, что и последующие стадии пути могли иногда преодолеваться. Кроме того, последние открытия капитана Кука, прошедшего вдоль побережья Камчатки до Калифорнии, доказали, что если два континента, Азия и Америка, и разделены, то лишь узким проливом. Так что и здесь в Америку могли проникнуть ее будущие обитатели. А сходство американских индейцев с жителями восточной Азии заставляет нас предполагать, что первые являются потомками вторых или вторые – первых; правда, за исключением эскимосов, которые, судя по тем же соображениям внешнего сходства и подобию языка, должно быть, произошли от жителей Гренландии, а те, вероятно, пришли из северных районов старого континента. Изучение нескольких языков жителей Гренландии могло бы дать надежные доказательства их происхождения. По существу это самое лучшее доказательство близости народностей, на которое вообще можно сослаться. Сколько веков прошло с тех пор, как англичане, голландцы, немцы, швейцарцы, норвежцы, датчане и шведы выделились из общей расы своих предков. И сколько еще должно пройти, прежде чем исчезнут существующие в их языках свидетельства общего происхождения? Именно поэтому следует сожалеть и сожалеть очень горько о том, что мы уже позволили исчезнуть столь многим индейским племенам, не собрав предварительно и не сохранив в книжной памяти хотя бы общие представления об основе языков, на которых они говорили. Если бы были составлены словари всех языков, на которых говорят в Северной и Южной Америке, включающие названия наиболее распространенных в природе предметов, которые должны быть в языке у каждого народа, дикого и цивилизованного, с правилами изменения существительных и глаголов,

---

<sup>171</sup> [Упомянувшееся в «Заметках о Виргинии» большое многообразие существенно отличающихся друг от друга языков, на которых говорят краснокожие жители Америки, дает основание предположить, что она была заселена ими намного раньше, чем была заселена Азия своими краснокожими жителями. Признаться, трудно представить, что столь многие племена обитали там с такой глубокой древности, какая могла бы обусловить необходимость их разделения по столь различным языкам. Поэтому я рискну высказать предположение, которое следует рассматривать только как таковое, и лишь оценить, чего оно может стоить. Мы знаем, что индейцы считают бесчестьем использовать любой язык, кроме своего собственного. Поэтому, когда они являются на советы с нами, хотя некоторые из них и могли бывать в таком положении, когда для удобства или по необходимости им пришлось хорошо изучить наш язык, они все же всегда отказываются говорить на нем и требуют переводчика, даже если тот может и не знать ни того, ни другого языка настолько же хорошо, как они; и это общее явление для индейцев, насколько мы знаем индейские племена С. Америки. Поэтому, когда какая-нибудь часть племени из-за внутренних раздоров откалывалась от основного племени, с которым ее не связывал ни закон, ни договор, и уходила в другое поселение, не могли ли они считать для себя делом чести не пользоваться языком тех, с кем они поссорились и иметь свой собственный? Им нужно лишь несколько слов, и они овладевают ими. Требуется лишь небольшое усилие ума, чтобы придумать их и привыкнуть пользоваться ими. Возможно, эта теория намного проще той теории, согласно которой многие, резко отличающиеся друг от друга языки, сохранившиеся у небольших групп людей, дошли до нас из такой глубокой древности, что никакие имеющиеся у нас данные не помогают ее высчитать.]

с принципами управления и согласования, и если бы эти словари хранились во всех публичных библиотеках, то у знатоков древних языков была бы возможность сейчас или в будущем провести сравнение тех и других и построить таким образом самое лучшее доказательство происхождения этой части человеческой расы. [Можно увидеть, что в ряде таких словарей имеется удивительное сходство числительных, в то время как в остальном нет и намека на сходство. Когда какое-нибудь племя уходило дальше своих соседей в изобретении системы счета, то, из очевидной практичности, это немедленно заимствовалось соседними племенами – с теми лишь звуковыми изменениями, которые необходимы для приспособления к привычному произношению на собственном языке.]

Но как бы ни были несовершенны наши знания языков, на которых говорят в Америке, их хватит для того, чтобы обнаружить следующий удивительный факт.<sup>172</sup> Расположив эти языки под корневыми языками, связь с которыми может быть осязательно прослежена, мы обнаружим, вероятно, против одного азиатского двадцать американских корневых языков, называемых так потому, что если они когда-нибудь и были одним языком, то теперь они потеряли между собой всякое сходство. Разделение на диалекты может произойти всего за несколько веков, но для того, чтобы два диалекта разошлись настолько, что потеряли бы все признаки общего происхождения, должно понадобиться огромное время, – возможно, не меньше того, которым многие определяют возраст Земли. Большое число таких радикальных изменений, происшедших в языках краснокожих Америки, доказывает, что они древнее краснокожих Азии.

### **Вопрос XV. Колледжи, здания и дороги. Колледжи и общественные учреждения, дороги, здания и т. п.**

Колледж Уильяма и Мэри является единственным общественным учебным заведением в этом штате. Он был основан во времена короля Уильяма и королевы Марии<sup>173</sup>, которые пожаловали ему 20 000 акров земли и пошлину в размере одного пенни с каждого фунта определенных сортов табака, вывозившихся из Виргинии и Мэриленда, которая взималась в соответствии со статутом, принятым на 25-м году царствования Карла II<sup>174</sup>. Ассамблея также предоставляла ему на основании временных законов доходы от пошлин с ввозимых спиртных напитков и вывозимых шкур и мехов. Из этих источников он получал свыше 3000 фунтов стерлингов *communibus annis*<sup>175</sup>. Здания колледжа выстроены из кирпича и могут свободно вместить, вероятно, около ста студентов. В соответствии с его уставом он должен управляться двадцатью инспекторами, иметь президента и шесть профессоров, объединенных в корпорацию. Ему разрешалось иметь своего представителя в Генеральной ассамблее. По этому уставу были учреждены кафедра греческого и латинского языков, кафедра математики, этики и две кафедры богословия. К ним добавилась шестая кафедра для обучения индейцев и обращения их в христианство, созданная на крупное пожертвование м-ра Бойла<sup>176</sup> из Англии. Она именовалась Браффертонской по названию поместья в Англии, приобретенного на пожертвованные деньги. С приемом учащихся на кафедру греческого и латинского языков колледж наполнился детьми. Это непри-

<sup>172</sup> [Lettere di Amer. Vesp. 81. ib. 11.12. 4 Clavigero. 21.]

<sup>173</sup> Вильгельм III Оранский (1650–1702) – принц, после восстановления штатгальтерства Генеральными Штатами – штатгальтер Нидерландов. С 1689 г. по 1702 г. – король Англии Уильям III, до 1694 г. правил совместно со своей супругой Марией II (1662–1694), старшей дочерью свергнутого в 1688 г. английского короля Якова II Стюарта. В годы его правления в Англии был упрочен парламентаризм, приняты Билль о правах, Акт о трехгодичном парламенте и Акт о престолонаследии. Он вел активную внешнюю политику, участвуя в различных коалициях и войнах против Франции Людовика XIV.

<sup>174</sup> Карл II Стюарт (1630–1685) – король Англии с 1660 г. Провозглашение Карла II королем ознаменовало реставрацию Стюартов; его правление характеризовалось усилением феодальной реакции и стремлением к восстановлению абсолютизма.

<sup>175</sup> *Communibus annis* (лат.) – «общими годами, в совместные годы». В данном случае – «в среднем».

<sup>176</sup> Бойл, Роберт (1627–1691) – английский ученый, активный сторонник различных проектов распространения христианства.

ятно и унижающе подействовало на молодых джентльменов, уже подготовленных к изучению наук, и отбило у них охоту посещать колледж. Поэтому кафедры математики и этики, которые могли бы принести некоторую пользу, оказались в состоянии приносить ее лишь очень мало. Средства колледжа также были исчерпаны на устройство тех студентов, кто прибыл сюда лишь для приобретения элементарных знаний. После нынешней революции инспекторы, не имея власти изменить определенную таким образом в уставе структуру колледжа и будучи связаны числом кафедр, попытались заменить изучаемые на них дисциплины. Они упразднили обе кафедры богословия, кафедру греческого и латинского языков и изменили профиль остальных, в результате чего в настоящее время имеются:

кафедра права и правопорядка;  
анатомии и медицины;  
физики и математики;  
этики, естественного права и прав наций, изящных искусств;  
современных языков;  
Браффертонская кафедра.

Предлагается также: как только легислатура будет иметь возможность заняться этим вопросом, просить у нее полномочий на увеличение числа кафедр, как для разделения уже существующих, так и для учреждения новых по другим областям науки. К обычно имеющимся в университетах Европы кафедрам представляется целесообразным добавить кафедру старо-германских языков и литературы, поскольку они связаны с нашим собственным языком законами, обычаями и историей. Назначение Браффертонской кафедры лучше всего выполнялось бы ведением постоянной миссионерской работы среди индейских племен, целью которой помимо распространения среди индейцев христианского вероучения, как это установлено учредителем кафедры, было бы изучение традиций, законов, обычаев, языков индейцев и других фактов, которые могли бы привести к открытию родственных связей и отношений между индейскими племенами или выяснению их происхождения от других наций. Закончив всю эту свою работу с одним племенем, миссионер мог бы переходить к другому<sup>177</sup>.

Дороги находятся в ведении судов графств, деятельность которых контролируется генеральным судом. Они дают указания прокладывать новые дороги там, где это, по их суждению, необходимо. По их установлению территория графств делится на участки, и жителям каждого выделяется по отрезку общественных дорог для поддержания их в хорошем состоянии. Так же строятся мосты, которые могут быть наведены без помощи специалистов. Если же строительство моста требует квалифицированной работы, суд нанимает рабочих для его постройки за счет всего графства. Если расходы для графства оказываются слишком большими, Генеральной ассамблее подается прошение, и она предоставляет право на строительство моста частным лицам, разрешая взимать определенную плату за проезд по мосту, или санкционирует другое подобное предложение, которое представится ей разумным.

Переправа на паромах допускается только в местах, специально установленных законом и по фиксированным тарифам.

Разрешение на содержание таверн выдается судами, которые время от времени устанавливают и размеры их выплат.

Каменных или кирпичных частных зданий очень мало, большинство построено из мелких или крупных досок, покрытых известью.

Трудно придумать более уродливое, неудобное и столь же, к счастью, непрочное сооружение. Существует два-три проекта домов, по одному из которых, в зависимости от их размера, строится большинство зданий штата. Самые бедные люди строят хижины из бревен, уклады-

---

<sup>177</sup> Автором реформы колледжа был сам Джефферсон.

вая их горизонтально одно на другое и замазывая щели между ними глиной. Зимой в них теплее, а летом прохладнее, чем в более дорогих сооружениях из досок. Богатые много внимания уделяют выращиванию овощей, но фруктов выращивают мало. Бедные не занимаются ни тем, ни другим, употребляя главным образом молочную и мясную пищу. Это тем более непростительно, что при нашем климате совершенно необходимо широко употреблять растительную пищу, поскольку она и полезна, и приятна, а климат благоприятствует выращиванию фруктов.

Из общественных зданий достойны упоминания только Капитолий, Дворец, Колледж и Больница для душевнобольных; все они находятся в Вильямсберге – до недавнего времени местопребывания нашего правительства. Капитолий<sup>178</sup> – легкое, воздушное сооружение с выдвинутым вперед портиком двух ордеров, из которых нижний, дорический, имеет довольно правильные пропорции и украшения, если не считать слишком большого расстояния между колоннами. Верхний ордер – ионический – слишком мал для своей базы, его украшения не соответствуют ордеру и несоразмерны между собой. Венчает портик фронтон, слишком высокий для своей ширины. И все же в целом – это наиболее привлекательный образец архитектуры, которым мы располагаем. Дворец<sup>179</sup> некрасив снаружи, но просторен и вместителен; будучи удобно расположен, он вместе с прилегающим к нему участком может стать элегантной резиденцией. Колледж<sup>180</sup> и Больница<sup>181</sup> – грубые громадины неправильной формы, которые можно было бы принять за печи для обжига кирпича, если бы у них не было крыши. Других общественных зданий, кроме церквей и домов местных органов управления, у нас нет, а в этих случаях не делалось и попытки достичь элегантности. Да и на самом деле трудно было бы предпринять такую попытку, поскольку здесь вряд ли можно найти работника, способного выполнить рисунок архитектурного ордера. Похоже, гений архитектуры проклял эту землю. У нас часто строят дорогие дома, придание им симметрии и вкуса не увеличило бы их стоимости. Это потребовало бы лишь изменить компоновку, форму и сочетание составных частей. Это было бы зачастую даже дешевле обилия варварских украшений, которыми иногда нагружаются эти здания. Но основные принципы искусства нам неизвестны, и у нас едва ли найдутся достаточно строгие образцы, способные дать нам о них представление. Архитектура – одно из изящных искусств, и как таковое, в соответствии с последними изменениями, находится в ведении профессора соответствующей кафедры колледжа. Может быть, искра западет в души некоторых молодых людей с врожденным чувством вкуса, воспламенит их гений, и они преобразят у нас положение с этим прекрасным и нужным искусством? Но что бы мы ни делали в этом отношении, ничто не принесет нашей стране устойчивых изменений к лучшему, пока существует этот несчастный предрассудок, что кирпичные и каменные дома хуже для здоровья, чем деревянные. В дождливую погоду на кирпичных и каменных стенах часто наблюдается влага, и причина этого, на первый взгляд, очевидна – дождь проникает сквозь стены. Однако, чтобы доказать ошибочность такого вывода, достаточно следующих фактов. 1. Такая влага появляется на стенах и тогда, когда дождя нет, но влажность воздуха повышена. 2. Она появляется как на внутренних перегородках, так и на наружных стенах. 3. Она появляется также на кирпичных и каменных мостовых. 4. Влага появляется тем больше, чем толще стены, хотя должно было бы быть наоборот, если первое предположение верно. Если налить холодную

<sup>178</sup> Джефферсон описывает здание Капитолия, сооруженное в Вильямсберге в 1753 г. после того, как первое здание постройки 1701–1705 гг. сгорело в 1747 г. Второе здание пришло в негодность после перевода столицы Виргинии в Ричмонде 1780 г. и сгорело в 1832 г. Нынешний капитолий, реконструированный в Вильямсберге, является точной копией здания 1701–1705 гг.

<sup>179</sup> Губернаторский дворец строился более 10 лет и был завершен в 1720 г. Зимой 1781 г., когда в нем находился госпиталь для солдат, раненых в сражении при Йорктауне, дворец сгорел.

<sup>180</sup> Основное здание колледжа было заложено в 1693 г. по плану знаменитого английского архитектора сэра Кристофера Рена (1632–1723). Горело в 1705, 1858 и 1862 гг.

<sup>181</sup> Больница – (здесь) самое первое общественное учреждение для ухода за психически больными в Америке; открыто – в октябре 1773 г., сгорело в 1885 г.

воду в каменный или стеклянный сосуд, то снаружи на нем сразу же появится влага; но если налить воду в деревянный сосуд, ничего такого не будет. В первом случае и не предполагается, что вода просочилась сквозь стекло, а считается, что она выделилась из окружающего воздуха, подобно влажным парам, которые, проходя от котла перегонного куба через охладитель, выделяются из воздуха и оседают на внутренней поверхности охладителя. Кирпичные или каменные стены действуют в нашем случае как охладитель. Они достаточно холодны для того, чтобы на них сконденсировалась и выступила влага из комнатного воздуха, когда он очень влажен; с деревянными же стенами этого не происходит. Возникает вопрос, какой же воздух полезнее – тот, в котором остается во взвешенном состоянии влага, или тот, в котором ее не остается? В обоих случаях от влаги можно легко избавиться. Небольшой огонь, разжигаемый в комнате каждый раз, когда воздух влажен, предотвращает появление сырости на стенах. И такой обычай оказывается здоровым как в самое теплое, так и в самое холодное время года; его необходимо соблюдать как в деревянных, так и в каменных, и в кирпичных домах. Я не утверждаю, что дождь никогда не проникает сквозь кирпичные стены. Наоборот, я наблюдал такие случаи. Но у нас такое происходит только с северными и восточными стенами дома после штормового северо-восточного ветра, причем только когда эти ветры дуют настолько долго, что дождь начинает проникать сквозь стены. Однако это происходит слишком редко для того, чтобы считать такие дома опасными для здоровья. В доме, стены которого сложены из хорошо обожженного кирпича и крепкого раствора, за двенадцать-пятнадцать лет я только дважды наблюдал, как дождь проникает сквозь его стены. Европейцы, которые в основном живут в каменных и кирпичных домах, несомненно такие же здоровые люди, как и жители Виргинии. Эти дома имеют также то преимущество перед деревянными, что в них теплее зимой и прохладнее летом; в местах, где есть известь, их строительство обходится дешевле и они несравненно долговечнее. Последнее соображение имеет большое значение для искоренения этого предубеждения в сознании наших соотечественников. Страна, в которой дома строятся из дерева, никогда не сможет добиться существенных улучшений. В лучшем случае деревянные дома служат 50 лет. Поэтому каждые полвека территория нашей страны превращается в *tabula rasa*<sup>182</sup>, на которой надо снова все начинать заново, как и во времена первоначального ее заселения. А при строительстве домов из прочных материалов каждое новое здание будет подлинным и долгосрочным приобретением штата, умножающим его ценности и украшающим его.

## Вопрос XVIII. Обычаи и нравы

*Заслуживающие особого внимания обычаи и нравы, которые могли оказаться принятыми в этом штате*

Трудно установить критерии, по которым можно было бы поверять обычаи и нравы народа, будь то всеобщие или особенные. Еще труднее уроженцу своей страны сравнивать с этими критериями нравы и обычаи своего собственного народа, хорошо знакомые и привычные ему в силу обыкновения. Несомненно, на нравы нашего народа должно было оказать несчастливое влияние существующее у нас рабство. Все отношения между хозяином и рабом представляют собой постоянное проявление самых бурных страстей, самого упорного деспотизма с одной стороны, и унижительного повиновения – с другой. Наши дети видят это и учатся подражать этому, потому что человек – животное подражающее. Это качество лежит в основе всего его воспитания. От колыбели до могилы он учится делать то, что, как он видит, делают другие. Если бы для обуздания неумеренной вспышки гнева по отношению к своему рабу родитель не мог найти сдерживающей силы в своем человеколюбии и любви к себе, то присутствие при этом его ребенка должно было бы быть всегда для этого достаточным. Но обычно

---

<sup>182</sup> *Tabula rasa* (лат.) – дословно «гладкая дощечка», то есть «чистый лист»; нечто нетронутое.

этого оказывается недостаточно. Родитель буйствует, ребенок наблюдает, схватывает выражение гнева, напускает на себя такой же грозный вид в кругу маленьких рабов, дает волю своим худшим порывам; выращенный и воспитанный в такой атмосфере, ежедневно упражняясь в тирании, ребенок неизбежно усваивает дурное и приобретает дурные качества. Человек, способный сохранить в таких условиях свою моральную чистоту и умение держать себя – чудо. И какие проклятья должны сыпаться на голову того государственного мужа, который, позволяя одной половине граждан попирает таким образом права другой, превращает первых в деспотов, а вторых – во врагов, разрушает моральные устои одной части населения и *amor patriae*<sup>183</sup> – другой. Потому что, если раб и может считать какую-то землю родиной в этом мире, то ведь тогда он должен предпочесть любую другую страну той, в которой был рожден, чтобы жить и работать на других, в которой он вынужден сковывать способности, заложенные в его натуре, и отказаться, насколько это зависит от него, продолжать человеческий род или же – передавать по наследству происходящим от него бесчисленным поколениям свое жалкое положение. С разрушением нравственности у людей разрушается также их трудолюбие. Так, в жарком климате никто не станет сам работать, если можно заставить работать на себя другого. Что это – правда, подтверждается тем, что очень немногих рабовладельцев можно действительно когда-нибудь увидеть за работой. А можно ли свободу народа считать обеспеченной, если мы устранили ее единственно прочную основу – убежденность людей в том, что наши свободы – из даров Божьих? Что к ним нельзя применять насилие, не вызвав гнева Божьего? Поистине, я опасаюсь за свою страну при мысли, что Бог справедлив; что правосудие его не может дремать вечно; что, учитывая хотя бы только численность, характер и естественные ресурсы нашего народа, представляется вполне вероятным, что колесо фортуны повернется и положение может измениться, и это может произойти благодаря сверхъестественному вмешательству! У всемогущего нет такого свойства, которое позволило бы нам надеяться, что он сможет принять нашу сторону в этой борьбе. Но невозможно оставаться сдержанным, продолжая рассматривать эту тему сквозь призму различных соображений политики, морали, естественной и гражданской истории. Мы должны довольствоваться надеждой, что они пробьют себе дорогу к сознанию каждого. Я думаю, что со времени зарождения нынешней революции, перемена стала уже ощутимой. Дух рабовладельца слабеет, дух раба восстает из праха, его положение становится легче. Я надеюсь, что под покровительством небес подготавливаются условия для полного освобождения рабов, и все склоняется к тому, чтобы это произошло по ходу самих событий, скорее с согласия хозяев, чем через их истребление.

### **Вопросы и задания:**

1. Выделите те рассуждения автора, которые можно расценивать как приложение к практической жизни теорий Просвещения.
2. Каково отношение Джефферсона к Америке?
3. Какие возможности предоставляла автору форма «записок»?

---

<sup>183</sup> *Amor patriae* (лат.) – любовь к отечеству.

## Филип Френо (1752–1832)

### Предтекстовое задание:

1. Определите основные темы и мотивы стихотворений Ф. Френо.
2. Дайте эстетическую и жанровую характеристики каждого из стихотворений.

### Монолог Георга Третьего

*Перевод С. Шоргина*

Орда химер, едва сгустится мрак,  
Терзает взор. Кто объяснит мне знак?  
Хоть сходства нет с врагами у теней –  
Любых врагов видения страшней.  
Как проклят тот (и дважды проклят я),  
Кто цепь не рвёт страданий бытия;  
Ему отрады в этом мире нет,  
Роз безразличен аромат и цвет.  
Да, вижу знак: опять бесчестье ждёт;  
Я проклят сам и проклят весь мой род!..  
Так перед тем, как Цезарь был убит,  
Сама Природа плакала навзрыд;  
Рыданий звук был слышен на земле,  
Являлась тень ужасная во мгле;  
Затем, чтоб весть про гибель принести,  
Злой гений Брута встретил на пути;  
Я – следом!.. Но расстаться тяжело  
С тем, что моим остаться бы могло.  
Трон не отдам! – хоть опозорен он:  
Нет! Защитят мои солдаты трон,  
Убьют врагов – без милосердия, всех;  
Иль небеса даруют мне успех.

Ты, вор, который в Ньюгейт заключён,  
Разбойник, что клеймён и осуждён, –  
Спешите, слыша барабанов бой:  
Король Георг зовёт вас за собой;  
Свободу дам, не пожалею mzды;  
Ко мне, друзья, – из тюрем, из беды;  
Я вас хочу отправить в Новый Свет,  
Там грабьте, жгите – в том проступка нет;  
Кого хотите можете убить;  
Пусть видит мир воров английских прыть.

Я клялся в день вступления на трон,  
Что миролюбье будет мой закон.  
По сей причине с Францией трактат  
Я заключил (позорный, говорят).



Но до чего судьба моя горька! –  
Заставил рок меня послать войска;  
Я под командой Гейджа двинул в бой  
Отряд головорезов на разбой:  
Пусть усмирят любители татъбы  
Всех тех, кого избрали мы в рабы.  
Но, видно, в слабых власть была руках:  
Был сей отряд разгромлен в пух и прах;  
Кто уцелел – стремится к одному:  
Глад пережить и вновь попасть в тюрьму.

Французы помощь шлют врагам (беда!),  
Ещё вредят испанцы, как всегда,  
Нет больше войск, герои прочь бегут,  
Доходов нет, и недоволен люд,  
Разбили флот мой, захватили груз  
Пират-голландец и злодей-француз.  
Я проклят, опозорен Альбион;  
Итак, к чему я ныне принуждён?  
Нет ни надежд, ни войска, ни казны;  
Бургойн разбит... Так что ж – конец войны?  
Признать бессилье – или по-мужски  
Идти в атаку, заострив клыки?  
Но где взять силы? В армии – разлад,  
Калек – без счёту, мёртвых – мириад!  
Будь ад со мной и лучшие войска –  
Мы б и тогда разбить наверняка  
Испанцев и французов не смогли  
И бунтарей на том краю земли.  
Да, отделение – для меня беда,  
Но разделиться надо – навсегда!  
Я шлю проклятья всем бунтовщикам,  
Конгрессу их, и штатам, и войскам;  
Их Ассамблея – средоточье зла,  
Им предана, меня же – предала;  
Вот кто низверг моё правление в ад,  
Сманив рабов и победив солдат!  
Будь проклят день, что подарил мне свет!  
Будь проклят час, что стал началом бед!  
Моим умом владеет демон тьмы,  
Той тьмы, что губит всякие умы.  
Мой жребий всех способен ужаснуть...  
Направить ли в Шотландию мой путь?  
Там, в самом дальнем уголке страны,  
Под неумолчный, дикий рёв волны,  
Меня укроет горный мой народ,  
Лишь он один хвалу мне воспоёт.  
Другие мне враждебны на земле;  
Печать печали на моём челе:

В изгнание – как Иаков? Или ждёт,  
Меня, подобно Карлу, эшафот?

(1779/1786)

## **Брошенный муж** *Перевод С. Шоргина*

Жена для мужа – счастье иль беда;  
Отрада – или мука навсегда.

Бедный Ричард красу городка  
Опрометчиво в спутницы взял;  
И ворчать, и браниться слегка  
Он, влюблённый, жене позволял.

Ей за танцами было плевать,  
Жив несчастный супруг или нет;  
И любила она привечать  
Тех, кто мил и по моде одет.

Бедный Ричард! – твердили вокруг, –  
Он заброшен, женой позабыт...  
Но не злился, не спорил супруг, –  
Вёл обычный, налаженный быт.

Фолианты читал он подряд  
(Хоть тома тяжелы – не беда)  
И записывал (как говорят)  
Даже что-то своё иногда.

От творил от утра дотемна,  
И позднее – при свете свечей;  
Только знать не хотела она  
Ни творений его, ни речей.

Всё твердила: «По глупости ты  
Эти толстые книги постиг,  
А игральной колоды листы  
Много лучше листов этих книг».

Заболел он однажды и сник,  
И со вздохом сказала она:  
«Я гляжу, тебе худо, мой Дик,  
И тебе я не очень нужна.

Доктор немощь излечит твою,  
Даст пилюли, микстуру нальёт;

Дома – Долли, и Самбо, и Сью, –  
Так что есть за тобою уход».

И она убежала на бал;  
На подушки откинулся он  
И со вздохом тяжёлым сказал:  
«Таковы уж привычки у жён».

Бедный Ричард! Конца бытия  
Ждал он год; и, супругу любя,  
Говорил ей «родная моя»  
(Но слегка осуждал про себя).

А когда приближался финал  
Всех мучений и жизни, бедняк  
Перед смертью со стоном сказал:  
«В край иду, где отсутствует брак».

И ушёл он от нас навсегда,  
В мир, который покоен и тих;  
(И супруге когда-то – туда;  
Франтов бросить придётся своих...)

Вам развязка, конечно, ясна;  
Кроме правды, в ней нет ничего:  
На спектакль поспешила она;  
Закопали в могилу его.

*(S. d.)*

## **Стансы при виде деревенской гостиницы, разрушенной бурей** ***Перевод А. Шарановой***

Где громоздятся днесь руины,  
Вакхический был прежде храм;  
Туда стремился гость чужбины,  
Тревоги забывал он там.

И купол полыхал хрустальный,  
И скорбь казалась далека.  
Теперь лишь ворон там печальный,  
Мышей летучих облака.

И жрица мёртвого ковчега  
Над славой попранной скорбит:  
Её фарфор белее снега  
Разбит, бокал с вином разбит.

Хозяин доброго приюта,  
Гостей встречавший много лет,  
Не шлёт сегодня почему-то  
Усталым путникам привет.

Последний столб твердыни древней  
Во прах низвергнуться готов –  
Падут и крепость и харчевня  
Под страшным натиском годов.

Там нимфы нежные блистали  
И виночерпий молодой,  
Уж нет их и следы пропали,  
Не видно чаши круговой.

Давно ли мы в заздравном гимне  
Жизнь славили – где та пора?  
Где ты, король беседы зимней?  
Где ты, что пела нам вчера?

Увы! Не дремлет больше Хлоя  
На мшистом ложе меж камней,  
Холодных стражей леса хвоя  
Не возвышается над ней.

Где Хлоя? Все прошло, что было,  
Глухая тишь над всем царит,  
И никогда очаг остывший  
Радужьем нас не одарит.

Вы, бури, вволю бушевали,  
Срывали крыши вы с домов,  
Из петель двери вырывали,  
За кровом сокрушали кров.

Так наконец смирите ярость,  
Пусть заново отстроят храм,  
Чтобы в стенах его под старость  
Испить хмельную чашу нам.

(1782)

**Дикая жимолость**  
*Перевод С. Шоргина*

Цветок, природы дивный дар!  
В тиши таишься, под листвою;  
Никем не собран твой нектар,

Никем не тронут стебель твой;  
Ты спрятан здесь от жадных рук,  
Не втопчет в грязь тебя каблук.

Природа эту белизну  
Сокрыла от дурных очей  
И поместила в тишину,  
Где шепчет ласково ручей;  
Но лета завершится срок,  
А с ним – и дни твои, цветок.

Прекрасен, но не вечен ты;  
Настанут бедственные дни:  
Ты, как Эдемские цветы,  
Красив – и сгинешь, как они.  
Увы! Нагрянут холода –  
И ты исчезнешь без следа.

Тебе и жизнь, и красоту  
Вручили росы и рассвет;  
Ты был – ничто, и в пустоту  
Уйдешь. И в том утраты нет.  
Как будто миг, невелика  
Жизнь скоротечная цветка.

(1786)

**Вопросы и задания:**

1. В чем проявляется связь поэзии Ф. Френо с традициями классицизма?
2. Почему можно говорить о близости поэзии Френо сентиментализму?
3. Как в стихах проявляются политические и философские взгляды автора?

## V. Немецкая литература

### Фридрих Готлиб Клопшток (1724–1803)

#### Предтекстовое задание:

Прочитайте фрагменты поэмы «Мессиада» (1748–1773), обратив внимание на мировоззренческую позицию Клопштока.

### Мессиада Эпическая поэма

#### I. Песнь неба

#### *Перевод П. Шкляревского*

В светлом хоре солнц лучезарных высится небо,  
Круглое, неизмеримое, образ миров первородный,  
Всех совокупность красот, которые быстрым потоком  
По беспредельности вокруг разливаются с отблеском неба.  
Стройно кружится оно с рокотаньем на крыльях ветра;  
К берегу солнц от него сладкозвучное катится пенье  
Мерно плывущих миров. Умиленные лики бессмертных,  
Глас их бряцающих арф оживляют сей храм совокупный.  
Вечный Творец славословия клику с любовью внимлет:  
Как Его очи пленяет прекрасная стройность вселенной,  
Так и Его чуткий слух песнопение сфер услаждает.  
Ты, что внушаешь высокие, чистые песни,  
Внемлешь бессмертным, Господа зришь, серафимов подруга,  
Гимн воспеваемый небом повеждь мне, жилища Сиона!  
Светлое царство явлений Господних, святись и красуйся!  
Здесь мы Господа зрим, как Он есть, как Он был, как Он будет:  
Виждь блаженство без облаченья, без сумрака дальних  
Мглой покровенных миров! Здесь мы Тебя созерцаем  
В сонме избранных Тобою, блаженству небес приобщенных.  
Сколь бесконечно Ты совершен! Тебя нарицает  
Небо, Тебе же, неизреченному, имя – Егова!  
Наша песнь сладкогласная в смелом паренье восторга  
Ищет Твой образ, но тщетно. Вперясь в глубину Твоей славы.  
Мысли едва к Твоему божеству воскрылиться дерзают.  
В дивном величии Ты лишь один совершен, Присносущий!  
Мысль, которую Ты свое бытие прозреваешь –  
О, сколь прекрасней она, сколь святее таинственной думы,  
Сколь она лучше, святей и возвышенней тайного взора,  
Обращенного свыше Тобой к существам сотворенным!  
Но Ты и кроме Себя захотел вокруг живущее видеть –

И ниспослал и на них с благодатию дух животворный.  
Небо Ты создал вначале, а вслед и нас, жителей неба.  
Был еще час ваш далек, земля, дщерь юная света,  
Солнце и месяц, текущие рядом с блаженной землею!  
Первенец мира, что было с тобой при рождении, в день тот,  
Как пролетевший сквозь вечности Бог к тебе ниспустился  
И святою обителью славы Господней украсил?  
Своды твои необъятные, к новой воззванные жизни,  
Тихо скруглялись, приемля свой образ, и вокруг разносился  
Творческий глас при первом звуке кристального моря –  
И лишь одни берега взгроможденные слышали глас сей,  
Но не единый бессмертный. Тогда стоял Ты, Зиждитель,  
На велелепном и пышном престоле, Себя созерцая  
В дивном бессмертии. О, восклицайте пред мыслящим Богом!  
В этот-то радостный миг Он вас сотворил, серафимы,  
Разума полных и силы могучей Создателя мысли,  
Им от Себя излианных на вас, непорочных,  
Чтоб Аллилуия сердцем могли постигать в умиление  
И воспевать «Аллилуия». То «Аллилуия», Боже,  
Присно Тебе воспоется от нас! Бесконечной пустыне  
Рёк Ты – «не буди!» и тварям – «проснитесь!» Господь! Аллилуйя!

## 2. Аббадона

*Перевод В. А. Жуковского*

Сумрачен, тих, одинок на ступенях подземного трона  
Зрелся от всех удален серафим Аббадона. Печальной  
Мыслью бродил он в минувшем: грозно вдали перед взором,  
Смутным, потухшим от тяжкой, таинственной скорби, являлись  
Мука на муке, темная вечности бездна. Он вспомнил  
Прежнее время, когда он, невинный, был друг Абдиила,  
Светлое дело свершившего в день возмущенья пред Богом:  
К трону Владыки один Абдиил, непрельщен, возвратился.  
Другом влекомый, уж был далеко от врагов Аббадона –  
Вдруг Сатана их настиг в колеснице, гремя и блистая.  
Звучно торжественным кликом зовущих грянуло небо;  
С шумом помчались рати мечтой божества упоенных –  
Ах! Аббадона, бурей безумцев от друга оторван,  
Мчится, не внемля прискорбной, грозящей любви Абдиила;  
Тьмой божества отуманенный, взоров молящих не видит;  
Друг позабыт: в торжестве к полкам Сатаны он примчался.  
Мрачен, в себя погружен, пробежал он в мыслях всю повесть  
Прежней, невинной младости; мыслил об утре создания.  
Вместе и вдруг сотворил их Создатель. В восторге рожденья  
Все вопрошали друг друга: «скажи, Серафим, брат небесный,  
Кто ты, откуда, прекрасный? давно ль существуешь и зрел ли  
Прежде меня? О, поведай, что мыслишь? Нам вместе бессмертье».

Вдруг из дали светозарной на них благодатью слетела  
Божия слава; узрели всё небо, шумящее сонмом  
Новосозданных для жизни. К Вечному облако света  
Их вознесло – и, завидев Творца, возгласили: «Создатель!»  
Мысли о прошлом теснились в душе Аббадоны – и слёзы,  
Горькие слезы бежали потоком по впалым ланитам.  
С трепетом внял он хулы Сатаны и воздвигся, нахмурен;  
Тяжко вздохнул он трикраты – так в битве кровавой друг друга  
Братья сразившие тяжко в томленьи кончины вздыхают –  
Мрачным взором окинув совет Сатаны, он воскликнул:  
«Будь на меня вся неистовых злоба – вещать вам дерзаю!  
Так, я дерзаю вещать вам, чтоб Вечного суд не сразил нас  
Равною казнию! Горе тебе, Сатана-возмутитель!  
Я ненавижу тебя, ненавижу, убийца! Вовеки  
Требуи Он, наш Судия, от тебя развращенных тобою,  
Некогда чистых наследников славы! Да вечное «горе»  
Грозно гремит над тобой в сем совете духов погубленных!  
Горе тебе, Сатана! Я в безумстве твоём не участник –  
Нет, не участник в твоих замысленьях восстать на Мессию!  
Бога-Мессию сразить!.. О, ничтожный, о Ком говоришь ты?  
Он Всемогущий, а ты пресмыкаешься в прахе, бессильный,  
Гордый невольник. Пошлет ли смертному Бог искупленье,  
Тлена ль оковы расторгнуть помыслит – тебе ль с Ним бороться!  
Ты ль растерзаешь бессмертное тело Мессии? Забыл ли,  
Кто Он? Не ты ль опалён всемогущими громами гнева?  
Иль на челе твоём мало ужасных следов отверженья?  
Иль Вседержитель добычею будет безумства бессильных?  
Мы, заманившие в смерть человека... О, горе мне, горе!  
Я ваш сообщник! Дерзнем ли восстать на Подателя жизни?  
Сына Его Громовержца хотим умертвить – о безумство!  
Сами хотим в слепоте истребить ко спасенью дорогу!  
Некогда духи блаженные, сами навеки надежду  
Прежнего счастья, мук утolenия мчимся разрушить!  
Знай же, сколь верно, что мы ощущаем с сугубым страданьем  
Муку паденья, когда ты в сей бездне изгнанья и ночи  
Гордо о славе твердишь нам; столь верно и то, что сраженный  
Ты со стыдом на челе от Мессии в свой ад возвратишься».  
Бешен, кипя нетерпеньем, внимал Сатана Аббадоне;  
Хочет с престола в него он ударить огромной скалою –  
Гнев обессилил подъятую грозно с камнем десницу.  
Топнул яряся ногой и трикраты от бешенства вздрогнул:  
Молча воздвигшись, трикраты сверкнул он в глаза Аббадоны  
Пламенным взором – и взор был от бешенства яростен и мрачен,  
Но презирать был не властен. Ему предстоял Аббадона,  
Тихий, бесстрашный, с унылым лицом. Вдруг воспрянул свирепый  
Адрамелех, божества, Сатаны и людей ненавистник.  
«В вихрях и бурях тебе я хочу отвечать, малодушный:  
Гряну грозою ответ», сказал он. «Ты ли ругаться  
Смеешь богами? Ты ли, презреннейший в сонме бесплотных,



В прахе своем Сатану и меня оскорблять замышляешь?  
Нет тебе казни; казнь твоя: мыслей бессильных ничтожность.  
Раб, удались! удались, малодушный! прочь от могущих!  
Прочь от жилища царей! исчезай неприметный в пучине!  
Там да создаст тебе царство мучения твой Вседержитель!  
Там проклинай бесконечность, или, ничтожности алчный,  
В низком бессилии рабски пред небом глухим пресмыкайся!  
Ты же, отважный, средь самого неба нарекийся Богом,  
Грозно в кипении гнева на брань полетевший с Могущим,  
Ты, обреченный в грядущем несметных миров повелитель,  
О Сатана, полетим: да узрят нас в могуществе духи!  
Да поразит их, как буря, помыслов наших отважность!  
Все лабиринты коварства пред нами: пути их мы знаем;  
В мраке их смерть; не найдет Он из бедственной тьмы их исхода.  
Если ж, наставленный небом, разрушит Он хитрые ковы –  
Пламенны бури пошлет, и Его не минует погибель.  
Горе, земля: мы грядем, ополченные смертью и адом;  
Горе безумным, кто нас отразить на земле возмечтает!»  
Адрамелех замолчал, и смутилось, как буря, собрание;  
Страшно от топота ног их вся бездна дрожала, как будто  
С громом утес за утесом валился. С кликом и воем.  
Гордые славой грядущих побед, все воздвиглися; дикий  
Шум голосов поднялся и отгрянул с востока на запад;  
Все заревели: «погибни, Мессия!» От века созданье  
Столь ненавистного дела не зрело. С Адрамелехом  
С трона сошел Сатана – и ступени, как медные горы,  
Тяжко под ними звенели; с криком, зовущим к победе,  
Кинулись смутной толпой во врата растворенные ада.  
Издали, медленно, следом за ними, летел Аббадона:  
Видеть хотел он конец необузданно-страшного дела...  
Вдруг нерешимой стопою он к ангелам, стражам Эдема,  
Робко подходит. Кто же тебе предстоит, Аббадона?  
Он, Абдиил непреклонный, некогда друг твой... а ныне?  
Взоры потупив, вздохнул Аббадона. То удалиться,  
То подойти он желает; то в сиротстве, безнадежный,  
Он в беспредельное броситься хочет. Долго стоял он,  
Трепетен, грустен; вдруг, ободрясь, приступил к Абдиилу.  
Сильно билось в нем сердце; тихие слезы катились,  
Ангелам токмо знакомые слезы, по бледным ланитам;  
Тяжкими вздохами грудь воздымалась; медленный трепет,  
Смертным и в самом боренье с концом неиспытанный, мучил  
В робком его приближенье. Но, ах! Абдиилковы взоры,  
Ясны и тихи, неотвратимо смотрели на славу  
Вечного Бога; его ж Абдиил не заметил. Как прелесть  
Первого утра, как младость первой весны мирозданья,  
Так Серафим блистал, но блистал он не для Аббадоны.  
Он отлетел – и один, посреди опустевшего неба,  
Так невнимаемым гласом зывал издали к Абдиилу:  
«О Абдиил, мой брат! иль навеки меня ты отринул?»

Так, навеки я розно с возлюбленным! Страшная вечность!  
Плачь обо мне, все творение! плачьте вы, первенцы света!  
Он не возлюбит уже никогда Аббадоны – о, плачьте!  
Вечно не быть мне любимым. Увяньте вы, тайные сени,  
Где мы беседой о Боге, о дружбе нежно сливались,  
Вы, потоки небес, близь которых, сладко объемясь,  
Мы воспевали чистою песнию Божию славу!  
Ах! замолчите, иссякните: нет для меня Абдиила,  
Нет – и навеки не будет! Ад мой, жилище мученья,  
Вечная ночь, унывайте вместе со мною: навеки  
Нет Абдиила, вечно мне милого брата не будет!»

Так тосковал Аббадона, стоя перед входом в созданье.  
Строем катилися звезды. Блеск и крылатые громы  
Встречу ему Орионов летящих его устрашили.  
Целые веки не зрел он, тоской одинокой томимый,  
Светлых миров. Погружен в созерцанье, печально сказал он:  
«Сладостный вход в небеса для чего загражден Аббадоне?  
О! для чего не могу я опять залететь на отчизну,  
К светлым мирам Вседержителя, вечно покинуть  
Область изгнанья? Вы, солнца, прекрасные чада созданья,  
В оный торжественный час, как, блистая, из мощной десницы  
Вы полетели по юному небу – я был вас прекрасней.  
Ныне стою, помраченный, отверженный, сирий изгнанник,  
Грустный, среди красоты мирозданья. О небо родное,  
Видя тебя, содрогаюсь: там потерял я блаженство;  
Там, отказавшись от Бога, стал грешным. О мир непорочный,  
Милый товарищ мой в светлой долине спокойствия, где ты?  
Тщетно! одно лишь смятенье при виде небесных славы  
Мне Судия от блаженства оставил – печальный остаток.  
Ах! для чего я к Нему не дерзну возгласить: «мой Создатель?»  
Радостно б нежное имя Отца уступил непорочным:  
Пусть неизгнанные в чистом восторге «Отец» восклицают!  
О Судия непреклонный! преступник молить не дерзает,  
Чтоб хоть единым Ты взором его посетил в сей пучине.  
Мрачные, полные ужаса мысли, и ты, безнадежность,  
Грозный мучитель, свирепствуй! Зачем я живу? О ничтожность!  
Или тебя не узнать? Проклинаю тот день ненавистный,  
Зревший Создателя в шествии светлом с пределов востока,  
Слышавший слово Создателя «буди!», слышавший голос  
Новых бессмертных, вещавших: «и брат наш возлюбленный  
создан!»  
Вечность, зачем родила ты сей день? Зачем он был ясен,  
Мрачностью он был той ночи подобен, которою Вечный,  
В гневе своем несказанном, Себя облакает? Зачем он  
Не был, проклятый Создателем, весь обнажен от созданий?  
Что говорю? О хулитель, кого пред очами созданья  
Ты порицаешь? Вы, солнца, меня опалите! вы, звезды,  
Гряньтесь ко мне на главу и укройте меня от престола

Вечной правды и мщенья! О Ты, Судия непреклонный,  
Или надежды вечность Твоя для меня не скрывает?  
О Судия, мой Создатель, Отец! Что сказал я, безумец!  
Мне ль призывать Иегову, Его нарицать именами,  
Страшными грешнику? Их лишь дарует один Примиритель.  
Ах, улетим! Уж воздвиглись Его всемогущие громы  
Страшно ударить в меня... Улетим – но куда? Где отрада?»

Быстро ударился он в глубину беспредельных бездн;  
Громко кричал он: «сожги, уничтожь меня, огонь разрушитель!»  
Крик в беспредельном исчез и огонь не притек разрушитель.  
Смутный, он снова помчался к мирам и приник утомленный  
К новому пышно-блестящему солнцу. Оттоле на бездны  
Скорбно смотрел он. Там звезды кипели, как светлое море.  
Вдруг налетела на солнце заблудшая в бездне планета.  
Час ей настал разрушенья – она уж дымилась и рдела  
К ней полетел Аббадона, разрушиться вместе надеясь.  
Дымом она разлетелась, но, ах! не погиб Аббадона.

**Вопросы и задания:**

1. Какова центральная тема поэмы?
2. В чем проявляется отличие поэмы Клопштока от классицистской эпопеи?
3. За счет каких художественных средств достигается в поэме особый эмоциональный накал?

**Предтекстовое задание:**

Прочитайте стихотворения, обратив внимание на эмоциональную составляющую их образов.

**Герман и Туснельда**  
*Перевод А. Д. Соколовского*

«Вот, вот он, весь римскою кровью покрытый  
И пылью сраженья! Таким никогда  
Еще не являлся мой Герман; ни разу  
Так очи его не горели огнем.

«Я рдею восторгом. Отдай мне значок твой  
С орлом на верхушке! отдай мне твой меч!  
Приди – успокойся: объятья пусть будут  
Отрадой от битвы мои для тебя!

«Дай пот отереть мне горячий, струями  
Текущий с чела твоего. Как горит  
Лицо твое кровью! О Герман, ни разу  
Ты не был Туснельде так дорог и мил!

«Ни разу – ни даже в тот миг незабвенный,

Когда ты под дубом тенистым меня  
В объятьях неистовых сжал. И тогда уж  
Бессмертным в грядущем казался ты мне!

«Теперь – я твоя! Я слыхала, что Август  
С богами своими, за пышным столом,  
Со страхом вкушает свой нектар волшебный,  
Затем что ты ныне бессмертней его».

– Зачем ты мне кудри свиваешь? Но думай:  
Отец наш убитый пред нами лежит  
О! если бы Август сам с войском явился:  
Он кровью своею б облитый лежал! –

«Дай, Герман, поднять мне поникшие кудри:  
Пусть встанут венцом над тобою они!  
К богам удалился Зигмар; но не вздумай  
Последовать с плачем ему ты во след!»

## **Ранние гробницы** *Перевод А. Д. Соколовского*

Привет тебе, месяц серебристый и ясный,  
Товарищ таинственной ночи! Зачем  
Ты спрятаться хочешь? останься, друг милый!  
А, вот он – лишь облако мимо прошло!

Лишь майские первые ночи приятней,  
Чем жаркие летние ночи. Блестит  
В то время роса на траве под лучами  
И месяц восходит светлей над холмом.

Над прахом друзей расстилается серый  
Таинственный мох. О, когда бы я мог,  
Как прежде, приветствовать радостно с вами  
И сумерки ночи, и утренний свет!

## **Цепь роз** *Перевод А. С. Кочеткова*

В тени весенней спит она.  
Я цепью роз ее опутал –  
Она не слышит: сон глубок.

Взглянул я – жизнь моя в тот миг

Слилась со спящей воедино:  
То знал я сердцем лишь одним.

Но я позвал ее без слов –  
И шелест роз мне тихо вторил.  
Тогда она проснулась вдруг.

Взглянула, – жизнь ее в тот миг  
Слилась с моею воедино –  
И обнял нас небесный рай.

## **Катание на коньках** *Перевод В. Г. Куприянова*

Вечная ночь укрыла от нас  
Открывателей имена!  
Мы используем то, что открыл ваш дух.  
Но довольно ли славы воздали вам?

Известен ли тот отважный муж,  
Что первым на мачте парус воздел?  
Да будет вечной слава того,  
Кто ногам нашим крылья дал.

Не достоин ли бессмертия тот,  
Кто здоровье дал нам и восторг,  
Каких не знал даже быstroногий конь,  
Даже сам вольнотекущий Рейн?

Бессмертно отныне имя мое,  
Ибо я научил проворную сталь  
Танцевать! В легком полете кружит она,  
Обнажая свою красоту.

Ты знаешь каждый манящий звук,  
Так мелодию танцу дай!  
Пусть луна и лес слушают стали звон,  
Созерцая воздушный бег!

Юноша, пусть ледяной котурн  
В танце блеснит, покорясь тебе.  
Теплый оставь камин, спеши сюда,  
Где нас ждет ледяной кристалл!

Блеск его скрыла морозная мгла,  
Как нежно зимний день  
Освещает озеро! Ночь над ним,

Точно звёзды, роняет снег.

Как молчит вокруг белизна полей,  
Как звенит путь в молодой мороз.  
Тебя выдает звук котурнов твоих  
Когда ты, беглец, покидаешь меня!

У нас есть что выпить и чем закусить:  
Плоды полей и плоды садов.  
Зимний воздух пробуждает в нас аппетит,  
А крылья на ногах – вдвойне!

Ты на левой кружись, а я  
На правой опишу полукруг;  
Повторяй движенья за мной,  
Вот так! Теперь лети вперед!

И мы кружимся за кругом круг,  
А берег все дальше и дальше от нас.  
Не дурачься! Это место не нравится мне,  
Пусть даже сам Прайслер его рисовал.

На острове смех – не слушай его.  
Там резвятся неопытные бегуны.  
Туда не проложен еще санный путь,  
Еще сети не убраны из-под льда.

Все слышит ухо твое, так услышь,  
Как голос смерти звучит над водой.  
Как звучат эти жалобы, когда мороз  
Рассекает озеро на милю вдаль.

Назад! Не дай мерцающему пути  
Увлечь тебя в свою белизну.  
Там, где дремлют глубины вод,  
Могут таиться полыньи.

Из этой незримой чуть слышной волны,  
Как тайны источник, сочится смерть.  
Ты туда соскользнешь легко, как листок,  
И найдешь там, юноша, гибель свою.

### **Вопросы и задания:**

1. В чём заключается основной принцип лирической композиции стихотворений Клопштока?
2. Каковы поэтические средства соединения «ландшафтной» и «философской» лирики в произведениях Клопштока?

## Кристоф Мартин Виланд (1733–1813)

### Предтекстовое задание:

Прочтите фрагменты романа Виланда «История абдеритов» (1774), сосредоточив внимание на комическом модуле повествования и средствах его выражения, а также на жанровых особенностях произведения.

### История абдеритов Перевод Г. Слободкина

#### Предуведомление

Тот, кто в какой-то степени заинтересуется достоверностью и характерными чертами фактов, лежащих в основе этой истории, и не захочет сам разыскивать их в источниках, а именно – в произведениях Геродота, Диогена Лаэртца, Афиня, Элиана, Плутарха, Лукиана, Палефата, Цицерона, Горация, Петрония, Ювенала, Валерия, Геллия, Солина и прочих, – имеет возможность убедиться из статей *Абдера* и *Демокрит* в словаре Бейля, что эти «Абдериты» не принадлежат к числу правдивых историй в духе Лукиана. И *абдериты*, и их ученый *Демокрит* представлены здесь в их истинном свете. И хотя, как может показаться, автор использовал неизвестные сведения, заполняя пробелы, объясняя темные места, устраняя действительные и объединяя мнимые противоречия, встречающиеся у вышеуказанных писателей, тем не менее проницательный читатель заметит, что автор следовал одному надежному руководителю, авторитет которого намного превосходит всех Элианов и Афинеев. Его единственный голос делает бессильным свидетельства всего света и приговор всех амфикионов, ареопагитов, децемвиров, центумвиров и дуцентумвиров, равно как и докторов, магистров, бакалавров вместе взятых и каждого в отдельности. Этот руководитель – *сама Природа*.

Если это небольшое произведение будет угодно рассматривать как небольшой вклад в историю человеческого разума, то автор будет вполне удовлетворен. [...]

#### Глава первая. Предварительные сведения о происхождении города Абдеры и характере его обитателей

Возникновение фракийского города Абдеры теряется в сказочных временах героического прошлого. И не столь уж важно, ведет ли он свое название от Абдеры, дочери пресловутого царя бистонской Фракии Диомеда, который, будучи большим охотником до лошадей, развел их столько, что в конце концов они сожрали и его, и жителей его страны, или от конюшего этого царя Абдеры, или же от другого Абдера, любимца Геракла.

Спустя несколько столетий после своего основания Абдера, здания которой сильно обветшали, почти разрушилась, и Тимесий Клазоменский начал возводить город вновь в пору Тридцать первой олимпиады<sup>184</sup>. Но дикие фракийцы, не терпевшие никаких городов, не дали ему насладиться плодами трудов своих. Они отогнали его, и Абдера осталась незаселенной и недостроенной до тех пор, пока приблизительно в конце Пятьдесят девятой олимпиады жители ионийского города Теос, сопротивлявшиеся завоевателю Киру, не сели на корабли и отплыли во Фракию. Найдя в плодородной области этот город Абдеру, никому не принадлежавший, ионийцы завладели им и столь хорошо укрепились там, вопреки фракийским варварам, что

---

<sup>184</sup> 650-е гг. до н. э.

они и их потомки с того времени начали прозываться абдеритами. Подобно многим греческим городам, они образовали небольшое свободное государство – нечто среднее между демократией и аристократией, и управлявшееся так, как издавна управлялись маленькие республики.[...]

Абдериты (из того, что уже известно о них) являлись, должно быть, одним из самых приятных, энергичных, остроумных и проникательных народов, когда-либо обитавших на земле.

[...]

*Теос* был одной из двенадцати или тринадцати афинских колоний, основанной в Ионии под предводительством Нелея, сына Кодра.

Афиняне издавна были живым и умным народом, и, как говорят, являются таковыми и поныне. Переселившись в Ионию, они благоденствовали под этими чудесными небесами, в этом облакканном природой краю, подобно бургундской виноградной лозе, пересаженной в предгорье.

Среди всех народов земли любимцами муз были ионические греки. Сам Гомер, по всей вероятности, был ионийцем. Иония была родиной эротической поэзии, милетских сказок – предшественниц наших новелл и романов. Из Ионии происходили греческий Гораций – Алкей, пламенная Сапфо, Анакреонт – *певец*, Аспасия – *наставница*, Апеллес – *животопивец* Граций. Анакреонт даже по рождению теосец. Ему было около 18 лет (если правильны расчеты Барнса), когда его сограждане переселились в Абдеру. И он отправился с ними. В знак того, что он остался верен своей лире, служившей божествам любви, он воспел в Абдере фракийскую девушку. В этой песне неистовый фракийский тон совершенно особым образом контрастирует с ионической грацией, свойственной его творениям.

Ну, кто бы теперь усомнился в том, что теосцы, сограждане Анакреонта, по происхождению афиняне, столь долго проживавшие в Ионии, не сохранили и во Фракии свой характер разумного народа? Однако же результат был обратный. Едва они стали абдеритами, как сразу же выродились. И не то, чтобы они утратили прежнюю живость и превратились в истинных баранов, как упрекает их в этом Ювенал. Их живость лишь приобрела какое-то чудное направление, а их фантазия настолько опередила их разум, что последний уже никогда не мог ее догнать. Идей у них хватало, но только они редко годились для определенных случаев; или же самые блестящие замыслы приходили им в голову слишком поздно, когда подходящий случай уже миновал. Говорили они много, ни минуты не задумываясь над тем, что хотят сказать или желают выразить. Поэтому, открывая рот, они зачастую изрекали какую-нибудь нелепость. К несчастью, эта дурная привычка сказывалась и в их действиях: обычно они захлопывали клетку, когда птичка уже вылетела. Их упрекали поэтому в безрассудности. Но опыт свидетельствует, что, стремясь быть рассудительными, абдериты поступали не лучше. Если они совершали какую-либо глупость (а это случалось нередко) – то из самых лучших побуждений. Если они весьма долго и серьезно совещались по поводу общих дел, то можно было быть уверенным, что изо всех возможных решений они примут наихудшее.

Среди греков они стали притчей во языцех, вошли в поговорки. Абдеритская выдумка, абдеритская затея означала у них то же самое, что у нас глупость шильдбюргеров [...] И добрые абдериты не упускали случая щедро снабжать всяких насмешников и зубоскалов подобными образчиками своей мудрости. Для начала лишь несколько примеров этого. Однажды им пришла в голову мысль, что такой город, как Абдера, непременно должен иметь прекрасный фонтан. Его решили установить посреди большой рыночной площади и, чтобы покрыть издержки по строительству, ввели новый налог. Для изготовления скульптурной группы они пригласили одного известного афинского ваятеля; группа должна была изображать бога моря на колеснице, влекомой четырьмя морскими конями, окруженного тритонами и дельфинами, а из их ноздрей должны были бить мощные водяные струи. Все уже было готово, как вдруг выяснилось, что воды едва хватит, чтобы смочить нос одному-единственному дельфину. И когда



фонтан пустили в ход, то казалось, будто все эти кони и дельфины схватили насморк. Желая избежать насмешек, абдериты перенесли всю эту группу в храм Нептуна и всякий раз, показывая ее иностранцам, служитель храма от имени достославного города серьезно сожалел, что такое великолепное произведение искусства невозможно использовать из-за недостатка воды.  
[...]

## **Глава вторая. Демокрит из Абдеры. Мог ли и в какой степени гордиться им его родной город?**

Ювенал утверждает, что нет воздуха, столь вредного, народа, столь глупого, места, столь бесславного, чтобы иногда даже в этих условиях не рождался великий человек. Пиндар и Эпаминонд родились в Беотии, Аристотель в Стагире, Цицерон в Арпинуме, Вергилий в деревушке Анды близ Мантуи, Альберт Великий в Лауингене, Мартин Лютер в Эйслебене, Сикст V в деревне Монтальто в Анконской марке, а один из самых превосходных королей, живших на земле, – в По, в Беарне. Что ж удивительного в том, что и Абдере случайно выпала честь стать городом, в чьих стенах впервые увидел свет величайший естествоиспытатель древности.

Я не понимаю, почему какое-либо место может использовать подобное обстоятельство и притязать на славу великого человека. Кому суждено родиться, тот ведь где-нибудь и родится, а остальное – дело природы. Весьма сомневаюсь, чтобы, кроме Ликурга, существовал какой-нибудь законодатель, который распространял бы свое попечение о человечестве вплоть до ребенка и предпринимал бы меры для того, чтобы государство имело здоровых, красивых и умных детей. Следует признать, что только Спарта имела некоторое право гордиться достоинством своих сограждан. Но в Абдере (как почти и во всем мире) это предоставляли произволу Случая и Гения [...] И если из среды абдеритов вышли Протагор или Демокрит, то славный город Абдера был к этому совершенно не причастен, так же, как Ликург и его законы, если в Спарте рождался какой-нибудь дурак или трус.

С такой беспечностью, хотя она и касается в высшей степени важного государственного дела, еще можно было бы примириться и простить ее абдеритам. Если природе дают возможность свободно проявлять свои силы, она делает излишней всякую дальнейшую заботу о том, чтобы ее творения оказались удачными. Редко забывая снабдить свое любимое творение всеми теми способностями, которые необходимы для совершенства человека, она как раз и предоставляет развитие этих способностей искусству. Следовательно, любое государство располагает достаточными возможностями завоевать право на заслуги и достоинства своих граждан. Однако и в этом отношении абдеритам сильно недоставало ума. Трудно было бы в целом мире найти место, где менее заботились бы о воспитании чувства, разума и сердца будущих граждан.  
[...]

В одной греческой пословице (о значении которой, как обычно, спорят ученые) Абдера заслужила прозвище «прекрасной», которое и ныне украшает в Италии Флоренцию. Мы уже упоминали, что абдериты были страстными почитателями изящных искусств. И, действительно, в период высшего расцвета Абдеры, то есть именно тогда, когда абдериты на некоторое время уступили город лягушкам, в нем имелось множество зданий с колоннами, прекрасный театр и музыкальный зал, короче, это были своего рода вторые Афины – но только во всем лишенные вкуса. Ибо, к несчастью, те странные их причуды, о которых мы упоминали, давали знать себя также и в их понятиях о прекрасном и приличествующем. Латоне, покровительнице их города, был посвящен самый худший храм. Напротив, Ясону, золотым руном которого они, якобы, владели, – самый великолепный. Их ратуша напоминала складское помещение, и прямо перед залом, где обсуждались государственные дела, расположились все городские торговки зеленью, овощами и яйцами. Здание же гимназия, где юноши упражнялись в искусстве борьбы и фехтования, было, напротив, окружено тройной колоннадой. Фехтовальный зал

украшали только картины, изображавшие разные совещания, и статуи в спокойных, задумчивых позах. Но зато ратуша доставляла отцам отечества более восхитительное наслаждение. Ибо куда бы они ни обратили свой взор, повсюду в зале заседаний они могли любоваться фигурами прекрасных нагих бойцов, купающихся Диан или спящих вакхантов. А большую картину, висевшую как раз напротив места архонта, которая откровенно изображала перед всеми обитателями Олимпа позор Венеры, пойманной вместе с любовником в сеть Вулкана, они показывали иностранцам с такой торжественностью, что она могла бы рассмешить даже необычайно серьезного Фокиона. Царь Лисимах, рассказывали они, предлагал им за нее шесть городов и обширную область, но они не могли решиться расстаться с таким великолепным произведением, особенно потому, что по высоте и ширине оно как раз занимало целую стену ратуши. Кроме этого, говорили они, один из их художественных критиков в обширном и необыкновенно ученом труде весьма остроумно истолковал отношение аллегорического смысла этой картины к тому месту, где она висела.

Мы никогда не кончили бы своего повествования, если бы стали рассказывать о всех многочисленных нелепостях в этой республике. Однако мимо одной мы пройти не можем, так как она касается существенной особенности их государственного устройства и оказала немалое влияние на характер абдеритов. В древнейшую пору существования города, – по-видимому, в соответствии с орфическим культом – номофилакс, или блюститель законов (одна из высших городских должностей) являлся одновременно предводителем священного хора и главой музыкантов. Тогда это имело свои основания. Однако с течением времени основания законов изменяются и буквальное исполнение их становится смешным, поэтому законы следует приводить в соответствие с изменившимися обстоятельствами. Но подобная мысль никогда не осеняла абдеритские умы. И часто случалось, что избирался номофилакс, который более или менее сносно следил за законами, но плохо пел или вовсе не разбирался в музыке. Что оставалось делать абдеритам? После долгих совещаний было издано, наконец, постановление: отныне лучший певец Абдеры должен быть всегда также и номофилаксом. И это соблюдалось до последних дней существования города... Но ни одна душа в течение двадцати публичных заседаний не додумалась до того, что номофилаксом и предводителем хора могут быть два разных человека.

Легко понять, что при таком положении дел музыка в Абдере была в большом почете. Все в этом городе были музыкантами, все пели, играли на флейтах и лирах. Их мораль и политика, их теология и космогония были основаны на музыкальных принципах. Даже их врачи лечили болезни различными музыкальными ладами и мелодиями. В данном случае они, видимо, руководствовались взглядами и теориями величайших мудрецов древности – Орфея, Пифагора, Платона. Но в практическом их применении они очень далеко отходили от строгих требований этих философов. Платон изгоняет из своей республики все мягкие и изнеженные лады. Музыка не должна вызывать у граждан ни радости, ни печали. Вместе с ионинскими и лидийскими созвучиями, он запрещает все вакхические и любовные песни. [...] Абдериты столь строго не философствовали. У них разрешались все лады и инструменты, и, следуя весьма правильному, но часто ложно понимаемому ими принципу, они утверждали, что все серьезные дела нужно исполнять весело, а все веселые – серьезно. Это положение, примененное к музыке, привело к большим нелепостям. Их богослужебные гимны звучали, как уличные песенки, но зато мелодии их танцев были самыми торжественными. Музыка к трагедии была обычно веселой, а военные песни звучали настолько печально, что годились, пожалуй, лишь для людей, отправляющихся на виселицу. Подобные несуразности давали себя знать во всем их искусстве. Играющий на лире считался у них виртуозом, если он трогал струны так, что, казалось, будто слышишь флейту. А певица, чтобы заслужить восхищение, должна была заливаться трелями, как соловей. Абдериты не имели никакого понятия о том, что музыка является музыкой лишь тогда, когда трогает сердца людей: они были вполне довольны, если звуки приятно щекотали

слух или же оглушали ничего не выражающими, но звучными и частыми аккордами. Коротко говоря, при всей восторженной любви к искусству у абдеритов отсутствовал всякий вкус, и им было невдомек, что Прекрасное имеет более глубокие основания, чем то, что им заблагорассудилось считать таковым.

Тем не менее соединенные усилия природы и счастливого случая позволили, наконец, одному абдериту обрести человеческий разум. Но следует признать, что Абдера здесь была вовсе ни при чем. Ведь истинным мудрецом в Абдере мог стать лишь тот, кто менее всего был абдеритом: нетрудно понять, почему абдериты были самого низкого мнения о том из своих сограждан, кто более всего делал им чести. И это была не обычная их глупость. Она имела свою причину, настолько понятную, что было бы несправедливо их упрекать.

Дело не в том, что они знали естествоиспытателя Демокрита еще мальчишкой, игравшим с волчком или кувыркавшимся на траве задолго до того, как он стал великим человеком. И не в том, что из зависти или ревности они не могли стерпеть, чтобы кто-нибудь превосходил их умом. Клянусь истинным изречением на вратах Дельфийского храма<sup>185</sup> – ни у одного абдерита не нашлось бы столько ума, чтобы подумать об этом, иначе бы он сразу же перестал быть абдеритом.

Подлинная причина, почему абдериты были низкого мнения о своем соотечественнике, заключалась, друзья мои, в том, что они не считали его... мудрым человеком.

– Почему же?

Потому что они не могли считать его таковым.

– Но почему же не могли?

Потому что в таком случае абдериты сами себя должны были считать глупцами. А чтобы утверждать это, они были все-таки еще не настолько глупыми. Им было легче танцевать на голове, схватить луну зубами или вычислить квадратуру круга, чем считать мудрым человека, который во всем был их противоположностью. Таково свойство человеческой природы со времен Адама. И хотя уже Гельвеций сделал выводы из этого положения, тем не менее многим оно кажется совершенно новым. Ибо старые истины ежеминутно забываются в жизни.

### **Глава третья. Кто такой был Демокрит? Его путешествия. Он возвращается в Абдери. Что он привозит с собой и как его там принимают. Экзамен, учиненный ему абдеритами, – образчик абдеритской беседы**

Демокриту – я думаю, что вы не пожалеете, узнав этого человека ближе, – было около двадцати лет, когда он унаследовал состояние своего отца, одного из богатейших граждан Абдеры. Вместо того, чтобы задуматься над тем, как сохранить и приумножить свое богатство или же промотать его самым приятным и смешным образом, молодой человек решил использовать его как средство... для совершенствования души.

Но как же отнеслись абдериты к решению молодого Демокрита?

Добрые граждане Абдеры никогда и не представляли себе, что у души могут быть иные потребности, чем у желудка, брюха и прочих частей человеческого тела. Следовательно, такая причуда их земляка показалась им довольно странной. Но как раз это меньше всего его беспокоило. Он шел избранным путем и провел многие годы в путешествиях по всем материкам и островам, которые возможно было тогда объездить. Ибо кто желал в те времена стать мудрым, тот должен был увидеть все своими собственными глазами. В ту пору еще не было ни типографий, ни журналов, ни библиотек, ни газет, ни энциклопедий, ни словарей и всяких прочих средств, с помощью которых, не ведая того и сам, становишься философом, критиком,

<sup>185</sup> «Познай самого себя».

писателем, эрудитом. Мудрость тогда была слишком дорогой [...] Число мудрецов было весьма невелико – не каждый имел возможность побывать в Коринфе, – но зато они являлись истинными мудрецами.

Демокрит [...] совершал путешествия с целью познать природу и искусство во всех их проявлениях и причинах, человека во всей его наготе и в различных его обликах, дикого и цивилизованного, татуированного и не татуированного, нравственно цельного и извращенного. Гусеницы в Эфиопии, говорил Демокрит, всего-навсего лишь... гусеницы, и что же такое гусеница, чтобы быть первой и важнейшей ступенью в изучении человека? Но уж раз мы оказались в Эфиопии, то, между прочим, познакомимся и с эфиопскими гусеницами. В стране Серес<sup>186</sup> имеются гусеницы, дающие одежду и пропитание для миллионов людей. Кто знает, быть может, и на берегах Нигера есть полезные гусеницы? Благодаря подобному образу мышления Демокрит накопил в своих путешествиях такое богатство знаний, которое, по его мнению, стоило всего золота в сокровищницах повелителя Индии и всех жемчужин, украшавших шею и плечи его жен. Он знал множество деревьев и кустарников, трав и мхов от ливанского кедра до плесени аркадского сыра; и не только по их внешней форме, названиям, родам и видам, ему были известны также их свойства, сила и достоинства. Но в тысячу раз больше, чем все свои знания, ценил он мудрейших и лучших людей, с которыми стремился познакомиться всюду, где находил нужным останавливаться. Скоро обнаружилось, что он из их числа. Они стали его друзьями, поделились с ним знаниями, сократив ему тем самым многолетний и, быть может, напрасный труд найти то, что они уже сами открыли путем немалых усилий и стараний или, возможно, путем счастливой случайности.

Обогащенный всеми этими сокровищами ума и сердца, Демокрит после двадцатилетних странствий вернулся к абдеритам, которые почти забыли о нем. Он был красивый, статный, несколько смуглый мужчина, учтивый и обходительный, каким бывает человек, привыкший общаться с людьми разных стран и обычаев. Из дальних краев он привез чучело крокодила, живую обезьяну и множество других удивительных вещей. Несколько дней абдериты только и говорили о Демокрите, о том, что он возвратился в Абдеру и привез крокодила и обезьяну. Однако очень скоро выяснилось, что они весьма обманулись в человеке, столь много путешествовавшем.

Дельцы, которым Демокрит поручил заботиться о своих поместьях во время отсутствия, нагло обманули его, а он тем не менее оплатил их счета без всяких возражений. Естественно, это было первое, что заставило абдеритов усомниться в его разуме. По крайней мере адвокаты и судьи, надеявшиеся на прибыльный для них процесс, с недоумением отметили, что было бы рискованно доверить общественные дела человеку, который так плохо управляет своим собственным домом. Абдериты были убеждены, что он теперь наравне с другими заявит о своих правах на самые благородные и почетные должности. Они уже подсчитывали, за какую цену смогут продать свои голоса, сватали за него своих дочерей, внучек, сестер, племянниц, теток, своячениц; представляли себе выгоды, которые они могли бы извлечь из того или иного предприятия, если бы он стал архонтом или жрецом Латоны и так далее. Но Демокрит объявил, что он не собирается быть ни городским советником Абдеры, ни супругом какой-нибудь абдеритки и тем самым расстроил все их планы.

Все же абдериты надеялись, что они по крайней мере будут вознаграждены общением с ним. Ведь человек, который привез с собой из путешествия обезьян, крокодилов и ручных драконов, должен знать невероятное множество удивительных вещей. Ожидали, что он им расскажет о великанах в 12 локтей ростом, о карликах в 6 дюймов, о людях с собачьими и ослиными головами, о зеленоволосых русалках, белых арапах и синих кентаврах. Но Демокрит был неспособен лгать, словно он никогда и не уезжал дальше фракийского Босфора.

---

<sup>186</sup> Так в античности именовали Западный Китай.

У него осведомились, не встречал ли он в стране гарамантов людей без голов, с глазами, носом и ртом на груди. И один из абдеритских ученых, никогда не покидавший стен своего города, но всегда делавший вид, будто объездил все уголки земли, доказал Демокриту в присутствии большого общества, что либо тот никогда не бывал в Эфиопии, либо, в противном случае, непременно должен был бы там встретиться с агриофагами и их царем с одним глазом во лбу, с самберами, избирающими своим царем собаку, и с артабатиями, ходящими на четвереньках. [...]

– А каково ваше мнение о народе у истоков Ганга, который питается исключительно запахом диких яблок? [...]

Напрасно клялся Демокрит, что он ничего не слышал в Эфиопии и Индии об этих удивительных людях и не видел их.

– Так что же вы в таком случае видели? – спросил Демокрита круглый толстяк, который, правда, не был ни одноглазым, как агриофаги, не обладал собачьей мордой, как тимолги, не носил глаз на плечах, как омофгальмы, и не питался одним запахом, как райские птицы, но, несомненно, имел в своем черепе мозгов не больше, чем мексиканская колибри, что, впрочем, не мешало ему быть городским советником Абдеры. – Что же вы видели? – повторил пузан. – Вы, который странствовал двадцать лет и ничего не заметил из того чудесного, чего можно насмотреться в дальних странах?

– Чудесного? – возразил Демокрит, улыбаясь. – Я так был занят изучением всего естественного, что для чудесного у меня не было времени.

– Ну, признаюсь, – сказал пузан, – стоит объездить все моря и взбираться на разные горы, чтобы увидеть то, что можно встретить и дома! [...]

## **Книга четвертая: Процесс из-за тени осла**

### **Глава первая. Повод к процессу и *facti species*<sup>187</sup>**

Казалось, наступил роковой период в существовании города Абдеры. Едва абдериты немного отдышались от странной театральной горячки, которой поразил их добрый и незлобивый Амур Еврипида, «владыка смертных и богов»; едва граждане вновь заговорили друг с другом на улицах прозой; едва аптекари *начали* торговать своей чемерицей, оружейные мастера изготавливать опять свои рапиры и бердыши, абдеритки снова принялись смиренно и прилежно ткать пурпурные ткани, а абдериты отбросили прочь жалкие свирели и обратились к своим делам, чтобы заниматься ими столь же разумно, как богини Судьбы таинственным образом спряли из самого прозрачного, тончайшего и непрочного материала, когда-либо создававшегося богами и людьми, такую паутину приключений, распрей, огорчений, подстрекательств, коварных интриг, партий и прочей дряни, что, в конце концов, в ее сетях оказалась вся Абдера. И когда эта отвратительная смесь воспламенилась из-за безрассудной горячности всяческих помощников и пособников, знаменитый город, вероятно, совсем погиб бы, если бы судьбой не было суждено ему исчезнуть по другой, гораздо менее важной причине – от нашествия лягушек и мышей.

Дело началось, подобно всем мировым событиям, с самого ничтожного повода. Некий зубодер, по имени Струтион, мегарский уроженец, уже с давних пор проживал в Абдере. Будучи, по-видимому, единственным зубным лекарем в этой местности, он обслуживал значительную часть населения южной Фракии. Его обычный способ взимать контрибуцию заключался в том, что, объезжая ярмарки всех маленьких городов и местечек на 30 миль в окруж-

---

<sup>187</sup> (лат.) – обстоятельства дела.

ности, он, наряду со своим зубным порошком и зубными каплями, выгодно сбывал также и различные зелья против женских болезней и болей в селезенке, одышки, дурных выделений и пр. Для этих целей он держал в хлеву ослицу, на которую в подобных случаях водружал собственную толстую и коренастую персону и большую котомку, полную лекарств и съестных припасов. И вот однажды, когда он собирался на ярмарку в Геранию, его ослица накануне вечером ожеребилась и, следовательно, не была в состоянии совершить путешествие. Струтион вынужден был нанять другого осла до места первого ночлега, а хозяин осла сопровождал его пешком, чтобы присматривать за навьюченным животным и затем вернуться на нем домой. Дорога шла через степь. Была середина лета, и солнце пекло немилосердно. Зной становился для зубного лекаря невыносимым, и он, оглядываясь вокруг, мучительно искал какой-нибудь тени, где можно было бы на минуту спешиться и передохнуть. В конце концов, не найдя выхода, он остановился и сел в тени осла.

– Однако, сударь, что вы делаете? – спросил погонщик. – Что это значит?

– Я немного присел в тень, – отвечал Струтион, – ибо солнце невыносимо палит мне голову.

– Э, нет, сударь мой, – возразил тот, – мы с вами так не сговаривались. Вы у меня наняли осла, а о тени не было ни слова.

– Вы шутите, дружище, – сказал, смеясь, зубной лекарь. – Тень ведь следует за ослом, это само собой разумеется.

– Нет, клянусь Ясоном, это не само собой разумеется! – воскликнул упрямый погонщик. – Одно дело – осел, а другое – тень осла. Вы у меня наняли осла за определенную плату. Если вам хотелось нанять также и тень, то вы должны были бы это оговорить. Одним словом, подымайтесь-ка, сударь, и продолжайте ваше путешествие или же по справедливости заплатите мне и за тень осла.

– Что? – вскричал лекарь. – Я заплатил за осла, а теперь еще должен платить за его тень? Да я буду трижды ослом, если это сделаю! Осел уж на весь этот день мой, и я могу садиться в тень его, когда вздумаю, и сидеть, сколько мне угодно, можете быть уверены!

– И вы серьезно так думаете? – спросил хозяин животного со всем хладнокровием фракийского погонщика ослов.

– Совершенно серьезно, – ответил Струтион.

– Тогда, сударь, тотчас же возвращайтесь в Абдери и давайте обратимся к властям, – сказал погонщик. – Посмотрим, кто из нас прав. Клянусь Приапом, милостивым ко мне и моему ослу, я хочу посмотреть, кто осмелится оттягать у меня против воли тень моего осла!

У зубного лекаря возникло большое желание привести погонщика к повиновению силой. Он уже сжал кулаки и поднял короткую руку, однако, поглядев хорошенько на своего противника, счел за лучшее... постепенно опустить ее и попытаться еще раз убедить погонщика более мягкими средствами. Но он только понапрасну терял время. Грубиян продолжал настаивать на плате за тень. И так как и Струтион был столь же упрям, то в конце концов не оставалось ничего иного, как вернуться в Абдери и обратиться к городскому судье.

## **Глава вторая. Городской судья Филиппид выслушивает тяжущихся**

Городской судья Филиппид, разбиравший в первой инстанции тяжбы подобного рода, обладал многими хорошими качествами: честный, здравомыслящий человек, усердно исполнявший свои обязанности, он с большим терпением выслушивал каждого, доброжелательно выносил свои приговоры и слыл неподкупным. Кроме того, он был хорошим музыкантом, коллекционером естественнонаучных редкостей, автором нескольких пьес, которые, по абдерскому обыкновению, находили «необыкновенно хорошими». Он был почти уверен, что как только откроется вакансия, он станет номофилаксом.

При всех заслугах Филиппид страдал только одним маленьким недостатком: всякий раз, когда перед ним выступали две стороны, ему казалось, что прав тот, кто говорил последним. Абдериты не были настолько глупы, чтобы этого не заметить. Но они полагали, что человеку, обладающему столькими достоинствами, можно легко простить один-единственный недостаток. «Да, – говорили они, – не имей Филиппид этого недостатка, он был бы лучшим судьей, которого когда-либо видела Абдера».

И поскольку этот добрый человек считал всегда правыми обе стороны, то подобное обстоятельство имело и свои хорошие последствия: более всего он заботился о том, чтобы заканчивать тяжбы мирным исходом. Таким образом скудоумие доброго Филиппида могло бы явиться истинным благословением для Абдеры, если бы бдительность сикофантов, много терявших от миролюбия судьи, не нашла бы средств парализовать его влияние почти во всех случаях.

Зубодер Струтион и погонщик Антракс прибежали разгоряченные к достойному судье и оба одновременно, громко крича, начали излагать свои жалобы. Он выслушал их со своим обычным терпением. И когда они закончили или просто устали от крика, судья пожал плечами – дело показалось ему одним из самых запутанных в его практике.

– А кто, собственно, из вас двоих истец? – спросил он.

– Я обвиняю погонщика, – отвечал Струтион, – в том, что он нарушил наш контракт.

– А я, – сказал тот, – обвиняю зубного лекаря в том, что он бесплатно воспользовался вещью, которую я не сдавал ему внаймы.

– В таком случае здесь два истца, – проговорил судья. – А где же ответчик? Странная тяжба! Расскажите мне еще раз о деле и со всеми обстоятельствами... Но только по очереди, один после другого, ибо невозможно разобраться, когда двое орут одновременно.

– Высокочтимый господин городской судья, – начал зубодер, – я нанял у него осла на один день. И действительно, тень осла при этом не упоминалась. Но кто же когда-либо слышал, чтобы при подобной сделке включалась специальная оговорка о тени осла? Клянусь Геркулесом, это не первый осел, нанятый в Абдере!

– Господин прав, – заметил судья.

– Осел и его тень следуют вместе, – продолжал Струтион. – И почему же тот, кто нанял осла, не может воспользоваться и его тенью?

– Тень – *акцессорий*,<sup>188</sup> это ясно, – подтвердил судья.

– Ваша милость, г-н судья, – воскликнул погонщик, – я человек простой и ничего не смыслю в ваших *-ориях* и *-ариях*. Но чутье подсказывает мне, что я не обязан задаром разрешать находиться ослу на солнцепеке, когда кто-то сидит в его тени. Я отдал господину внаймы осла, и он мне оплатил вперед половину денег, это правда. Но одно дело осел, а другое – тень осла.

– Тоже верно, – пробормотал судья.

– Если он хочет пользоваться тенью, то пусть заплатит половину того, что платит за осла. Я требую только справедливого и прошу защитить мои права.

– Лучшее, что вы могли бы оба сделать в данном случае, – это пойти на мировую. Вы, добрый человек, включайте тень осла – ибо ведь это только тень – в счет платы за осла, а вы, господин Струтион, дайте ему полдрахмы за тень. И обе стороны будут удовлетворены.

– Я не дам и четверти полушки! – воскликнул зубодер. – Я настаиваю на своем праве!

– А я, – вскричал его противник, – настаиваю на своем! Ежели осел мой – стало быть, и тень моя, и я могу распоряжаться ею, как мне вздумается. И коли этот господин и слышать не хочет о праве и справедливости, то я требую теперь вдвое больше прежнего и хочу знать точно, есть ли правосудие в Абдере.

Судья был в великом затруднении.

<sup>188</sup> (юрид.) – неотъемлемая принадлежность.

– А где же осел? – спросил он наконец. В замешательстве Филиппид не нашел лучшего средства оттянуть время.

– Он стоит на улице у ворот.

– Так приведите его во двор, – приказал Филиппид.

Хозяин осла с радостью повиновался приказу, сочтя за хороший знак желание судьи увидеть главное действующее лицо спора. Осла привели. Жаль только, что он не мог высказать также и своего мнения по делу! Осел стоял совершенно равнодушный, затем он насторожил уши и поглядел сперва на обоих господ, а после уставился на хозяина, скривил морду, вновь повесил уши и... не проронил ни слова.

– Взгляните сами, милостивый господин судья, – воскликнул Антракс, – разве тень такого прекрасного, стройного осла не стоит двух драхм? Да это дешевле пареной репы! Особенно в такой жаркий день, как сегодня.

Судья попытался вновь примирить стороны, и они начали было склоняться к этому, как вдруг, к несчастью, появились Физигнат и Полифон, два известных сикофанта Абдеры и, услышав, о чем идет речь, моментально придали делу новый оборот.

– Господин Струтион абсолютно прав, – заявил Физигнат, знавший, что зубодер – человек зажиточный и притом весьма горячего нрава и упрямый. Другой сикофант, хотя и позабывал несколько своему собрату по ремеслу, опередившему его, бросил взгляд на осла, показавшегося ему хорошим тайным животным, и с большим рвением принял сторону погонщика.

Теперь обе партии не хотели и слышать о примирении, и честный Филиппид вынужден был назначить день судебного разбирательства; оба истца отправились по домам со своими сикофантами, а осел со своей тенью до исхода дела был отведен в городскую конюшню Абдеры.

## **Глава седьмая. Абдера разделяется на две партии. Дело рассматривается советом**

Такое возбуждение царило в Абдере, когда повсюду в городе начали слышаться слова – «осел», «тень», ставшие вскоре наименованиями обеих партий. О происхождении этих прозвищ нет достоверных сведений. По-видимому, партии все же не могли долго обходиться без названий, и начало этому положили сторонники зубодера Струтиона из простонародья, окрестив сами себя «теньями», потому что отстаивали права лекаря на ослиную тень. Своих же противников они называли в насмешку и из презрения «ослами», поскольку те стремились превратить тень, так сказать, в самого осла. Не имея возможности воспрепятствовать прозвищу, сторонники архиерея, как обычно случается, постепенно привыкли пользоваться кличкой, сначала ради шутки, однако с той разницей, что острие копья они обратили против своих врагов, связав презрительный смысл прозвища с «тенью», а положительный и почетный – с «ослом». И коли уж суждено быть одним из двух, говорили они, то каждый порядочный человек скорее предпочтет быть настоящим ослом со всем, что к нему относится, чем простой тенью осла.

Как бы то ни было, но в короткое время вся Абдера разделилась на две партии. И с обеих сторон страсти разгорелись так, что уже было совершенно невозможно оставаться нейтральным. «Кто ты, тень или осел?» – такой вопрос задавали друг другу простые граждане при первой встрече на улице или в трактире. И если какая-нибудь одна-единственная «тень», по несчастью оказывалась вдруг среди большого количества «ослов», то ей ничего не оставалось, как тотчас же спастись бегством или моментально совершить отступничество, или же, наконец, быть выброшенной за дверь хорошими пинками.

Возникавшие по этой причине беспорядки легко можно себе представить и без нашей помощи. В короткое время взаимное озлобление зашло так далеко, что «тень» скорей довела



бы себя действительно до состояния истощенной стигийской тени, чем купила бы у пекаря противной партии хлеб за три гроша.

И женщины, как легко предположить, с неменьшим пылом приняли сторону партий. Ибо первая кровь, пролитая в связи с этой удивительной гражданской войной, была кровь от ногтей двух торговков, вцепившихся друг другу в физиономии на абдерском рынке. Было заметно, что подавляющее большинство абдеритов находится на стороне архиерея Агатирса. И если в какой-нибудь семье муж являлся «тенью», то можно было быть уверенным, что жена его – «ослица», и обычно такая горячая и несдержанная, что трудно себе и представить. Среди множества отчасти пагубных, отчасти комичных последствий партийных страстей, охвативших абдеритов, немаловажным было и то, что из-за них порой расстраивались любовные отношения, потому что упрямый Селадон скорее был готов отказаться от своих притязаний на любимую, нежели от своей партии. И напротив, иному несчастному любовнику, который годами напрасно добивался благосклонности красавицы и никакими способами не мог преодолеть ее антипатии, теперь для полного счастья нужно было только убедить даму, что он – осел. [...]

### **Глава восьмая. Отличный порядок в абдерской канцелярии. Судебный опыт прошлого нисколько не помогает. Народ собирается штурмовать ратушу, но его успокаивает Агатирс. Сенат решает передать дело Большому совету**

Канцелярия города Абдеры – кстати, о ней сейчас можно сказать несколько слов – была так хорошо устроена и так хорошо работала, как этого только можно было ожидать в столь мудрой республике. Однако она, как и многие прочие канцелярии, имела два недостатка, которые вызывали в Абдере вот уже два столетия почти ежедневные жалобы.

Один из этих пороков заключался в том, что документы и судебные акты хранились в очень душных и сырых помещениях, где из-за недостатка воздуха они плесневели, гнили, были изъедены молью и постепенно становились совершенно негодными. А второй – в том, что, несмотря на все тщательные поиски, здесь нельзя было ничего отыскать.

Всякий раз, когда такое случалось, какой-нибудь патриотично настроенный советник, с согласия всего сената, обычно бросал замечание: «Только канцелярский беспорядок виной всему!» И действительно, какое еще предположение могло бы удачней и более понятно объяснить подобное явление! Поэтому всегда, когда совет принимал решение разыскать что-нибудь в канцелярии, то каждый уже знал заранее, что ничего не найдется, и большинство на это рассчитывало. И именно поэтому обычное разъяснение на следующем заседании совета – «Несмотря на все поиски, в канцелярии ничего не найдено» – воспринималось с холодным равнодушием как факт давно ожидаемый и само собой разумеющийся.

Так случилось и на сей раз, когда канцелярии было предложено порыться в старых судебных актах и выяснить, не найдется ли там примерный приговор, который мог бы послужить светочем мудрому сенату в разрешении им необычайно трудной тяжбы об ослиной тени. Ничего обнаружено не было, вопреки заверениям разных господ, что аналогичные случаи можно найти там в бесчисленном множестве.

[...]

Целое утро прошло в криках и спорах. И господа, как это с ними часто случалось, разошлись бы к обеду, так и не закончив дела, если бы решающий оборот ему не придало вмешательство большой толпы бюргеров из партии «теней», собравшейся перед ратушей по призыву цехового старшины Пфрима, и поддержанной массой сбежавшегося простонародья самого низкого пошиба. Впоследствии партия архиерея обвиняла цехового старшину в том, что он нарочно подошел к окну и подал знак к восстанию народа. Но противная партия решительно отрицала это обвинение и утверждала: непристойный крик, поднятый некоторыми «ослами»,

навел стоявших внизу бюргеров на мысль, будто на их сторонников напали, и это заблуждение вызвало всю сумятицу.

Как бы то ни было, но вдруг раздался оглушительный рев под окнами ратуши: «Свобода! Свобода! Да здравствует цеховой старшина Пфрим! Долой ослов! Долой Леонидов!» и пр.

Архонт подошел к окну и призвал мятежников к спокойствию. Но их крик усиливался. А некоторые из самых дерзких угрожали тотчас же поджечь ратушу, если господа не разойдутся и не предоставят дело на усмотрение совета и народа. Несколько бездельников и селедочных торговцев действительно ворвались силой в соседние дома и, выхватив горящие головни из очагов, вернулись обратно, чтобы показать милостивым господам, что они не шутят [..]

## **Глава шестнадцатая. Неожиданная развязка всей комедии и восстановление спокойствия в Абдере**

Осел, с тех пор как его тень (по выражению архонта Онолая) вызвала такое странное затмение в мозгах абдеритов, был отведен до исхода дела в городскую конюшню и все это время содержался там на скудном пайке.

В это утро конюхам республики, знавшим, что сегодня должна разрешиться тяжба, вдруг пришла в голову мысль: а ведь осел, играющий главную роль в деле, также должен присутствовать на суде. Итак, они его почистили скребницей, украсили венками цветов и лентами, и под ликующие крики бесчисленных уличных мальчишек, бежавших за ним следом, торжественно повели на площадь.

Случаю было угодно, чтобы они дошли до ближайшей улицы, ведущей на площадь, в тот момент, когда Полифон только что закончил свою последнюю речь; бедные судьи совершенно растерялись, а народ, напротив, находился в состоянии какого-то неопределенного недовольства [...].

Шум, поднятый уличными мальчишками вокруг осла, привлек всеобщее внимание. Все были озадачены и толпами устремились туда.

– А, – вскричал кто-то из толпы, – вот идет и сам осел!

– Он поможет судьям вынести приговор, – заметил другой.

– Проклятый осел, – воскликнул третий, – он всех нас погубил! Пусть бы его сожрали волки, прежде чем он навязал нам эту безбожную тяжбу!

– Эй, – закричал один медник, бывший всегда ревностной «тенью», – кто смелый абдерит, нападай на осла! Мы с ним расквитаемся! И чтоб ни одного волоска не осталось на его шелудивом хвосте!

В одно мгновение вся толпа ринулась на осла, и не прошло минуты, как он был растерзан на тысячу кусков. Каждый жаждал заполучить хоть частичку от него. Люди рвали, били, дергали, царапали, сдирали кожу и щипали его с невероятным ожесточением. У некоторых свирепость доходила до того, что они тут же пожирали свою кровавую добычу. Большинство же побежало со своими трофеями домой. И так как за каждым из них устремлялась толпа, пытавшаяся отнять добычу, то через несколько минут городская площадь стала пустой, как в полночь.

[...]

– Благодарение небу, – смеясь, воскликнул номофилакс, после того как достопочтенные господа пришли в себя. – При всей нашей мудрости мы не могли бы найти более достойного исхода этому делу. Зачем же мы собирались еще так долго ломать себе голову? Осел, невинный повод этой несносной тяжбы, стал, как обычно случается, жертвой ее. Народ выместил на нем свою злобу, и все теперь зависит только от нашего хорошего решения. И тогда сей день, который, кажется, готов был закончиться печально, может стать днем радости и восстановления всеобщего спокойствия. И поскольку осел уже более не существует, то к чему спорить о

его тени? Итак, я предлагаю: всю ослиную тяжбу официально считать совершенно законченной. Обе стороны обязать к вечному молчанию, возместив все их расходы и убытки из государственной казны. А бедному ослу соорудить на государственный счет памятник, который бы всегда служил напоминанием нам и нашим потомкам, как легко может погибнуть великая и цветущая республика даже из-за тени осла.

Все одобрили предложение номофилакса как самый разумный и справедливый выход при таком положении дел. Обе партии могли быть вполне им довольны, ибо республика еще сравнительно дешево заплатила за свое спокойствие и за то, что избавилась от большого позора и несчастья. Итак, четыреста членов совета единодушно приняли окончательное решение, хотя склонить к нему цехового старшину Пфрима стоило некоторого труда. Большой совет, в сопровождении своей воинственной гвардии, проводил номофилакса до его дома, где он пригласил всех господ коллег вместе и каждого в отдельности на большой вечерний концерт, который собирался дать для укрепления восстановленного согласия.

[...] Теперь абдериты и сами смеялись над своей глупостью, как над припадком бешеной горячки, которая – слава богу! – уже миновала. [...] А драмодел Флапс не преминул даже изготовить в несколько недель комедию на эту тему, музыку к которой собственноручно написал номофилакс.

Прекрасная пьеса была всенародно представлена, пользовалась большим успехом, и обе прежние партии искренно смеялись, словно это дело не их касалось.

Демокрит, которого архижрец уговорил пойти на представление, сказал, выходя из театра:

– По крайней мере, это сходство с афинянами следует признать за абдеритами: они от всего сердца смеются над своими собственными глупостями. Правда, они не становятся от этого мудрей, но все-таки уже много значит, если народ позволяет порядочным людям осмеивать его глупости и притом сам смеется, вместо того, чтобы злиться, подобно обезьянам.

Это была последняя абдеритская комедия в жизни Демокрита. Ибо вскоре после того он ушел со всеми своими пожитками из земли абдерской, не сказав никому, куда он направляется. И с того времени не было о нем более никаких известий.

### **Вопросы и задания:**

1. Какой традиции комического повествования следовал Виланд?
2. В чем заключается центральная особенность сюжетной конструкции романа?
3. Каковы основные объекты сатирического повествования у Виланда?

## Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781)

### Предтекстовое задание:

Прочитайте фрагмент одного из «литературных писем» Г. Э. Лессинга и обратите внимание на суждения Лессинга о традиции, на которую следует опираться становящемуся немецкому театру.

### Семнадцатое письмо: 16 февраля 1759 г.

*Перевод В. Е. Гаккель-Аренс*

«Никто, – говорят авторы «Библиотеки», – не станет отрицать, что немецкая сцена обязана господину профессору Готшеду большинством усовершенствований, впервые введенных на ней».

Я этот «никто», я прямо отрицаю это. Следовало бы желать, чтобы господин Готшед никогда не касался театра. Его воображаемые усовершенствования относятся к ненужным мелочам или являются настоящими ухудшениями.

Когда процветала г-жа Нейберин<sup>189</sup> и столь многие чувствовали призвание послужить и ей и сцене, наша драматическая поэзия являла, правда, весьма жалкое зрелище. Не знали никаких правил, не заботились ни о каких образцах. Наши «исторические и героические представления» были полны вздора, напыщенности, грязи и грубых шуток. Наши «комедии» состояли из переодеваний и волшебных превращений, а верхом остроумия в них были потасовки. Чтобы понять этот упадок, не требовался ум самый острый и сильный. И господин Готшед был не первым, кто это понял, он только первый достаточно поверил в свои силы для того, чтобы решиться помочь этой беде. А как же он принялся за дело? Он немного знал по-французски и начал переводить; он поощрял также к переводам всех, кто умел рифмовать и понимал «*Oui, monsieur*»;<sup>190</sup> он, пользуясь выражением одного швейцарского критика, смастерил при помощи клея и ножниц своего «Катона»; он сделал «Дария» и «Устриц», «Элизу» и «Тяжбу из-за козла», «Аврелия» и «Остряка», «Банизу» и «Ипохондрика» без клея и ножниц; он проклял импровизацию; он торжественно прогнал со сцены Арлекина<sup>191</sup>, что само по себе явилось грандиознейшей арлекинадой, которая когда-либо разыгрывалась; короче говоря, он не столько хотел усовершенствовать старый театр, сколько быть создателем совершенно нового. И какого нового? Офранцузенного. Соответствует ли этот офранцузенный театр немецкому образу мысли или нет, в это он не вникал.

Он вполне мог заметить, что наши старые драматические пьесы, которые он изгнал, куда больше соответствовали английскому вкусу, нежели французскому, что мы в своих трагедиях хотели больше видеть и мыслить, чем нам позволяет робкая французская трагедия; что великое, ужасное, меланхолическое сильнее действует на нас, чем все учтивое, нежное, ласковое; что чрезмерная простота нас утомляет сильнее, чем чрезмерная сложность и запутанность. Готшед должен был бы идти по этим следам, которые и привели бы его прямым путем к английскому театру. Не говорите, что он пытался идти этим путем, как о том якобы свидетельствует его «Катон». Именно то, что лучшей английской трагедией он считает Аддисонова «Катона», ясно доказывает, что он и в этом случае смотрел на дело глазами французов и не знал в то

---

<sup>189</sup> Нойберин (или Нойберша) – Нойбер, Каролина (1697–1760) – немецкая актриса, представительница раннего просветительского классицизма и активный участник реформации театра Германии.

<sup>190</sup> Да, сударь...

<sup>191</sup> У Лессинга: Гансвурст – шутовское лицо в немецких народных комедиях и фольклоре.

время ни Шекспира, ни Джонсона, ни Бомонта, ни Флетчера, которых он из высокомерия и позднее не пожелал изучить.

Если бы мастерские пьесы Шекспира были переведены для наших немцев с некоторыми небольшими изменениями, то, наверное, это было бы плодотворнее, чем наше близкое знакомство с Корнелем и Расином. Во-первых, Шекспир понравился бы нашему народу гораздо больше, нежели эти французские пьесы; во-вторых, Шекспир пробудил бы у нас совсем иные таланты, чем те, какие могли бы вызвать к жизни Корнель и Расин. Ибо гения может вдохновить только гений, и легче всего тот, который всем, по-видимому, обязан природе и не отпугивает нас трудностью совершенства, достигнутого им в искусстве.

Даже если судить по древним образцам, то Шекспир гораздо более великий трагический поэт, нежели Корнель, хотя последний отлично знал древних, а Шекспир почти не знал их. Корнель ближе к древним по внешним приемам, а Шекспир по существу. Английский поэт почти всегда достигает цели трагедии, какие бы необычные и ему одному свойственные пути он ни избирал, французский же ее почти никогда не достигает, хотя он и идет путем, проложенным древними. После «Эдипа» Софокла никакая трагедия в мире не будет иметь больше власти над нашими страстями, кроме «Оттелло», «Короля Лира», «Гамлета» и т. д. Разве есть у Корнеля хоть одна трагедия, которая бы наполовину растрогала нас так, как «Заира» Вольтера? «Заира» Вольтера! А насколько она ниже «Венецианского мавра», слабой копией которого является и откуда заимствован весь характер Оросмана?

То, что в наших старых пьесах было действительно много английского, я мог бы обстоятельно доказать без особого труда. Стоит назвать хотя бы самую известную из них: «Доктор Фауст» – пьесу, содержащую множество сцен, которые могли быть под силу только шекспировскому гению. И как влюблена была Германия, да и сейчас еще отчасти влюблена в своего «Доктора Фауста»! [...]

#### **Вопросы:**

1. За что Лессинг критикует деятельность Готшеда?
2. О каких целях трагедии говорит Лессинг?

\* \* \*

#### **Предтекстовое задание:**

Прочитайте фрагменты трактата Г. Э. Лессинга «Лаокоон» (1766); обратите внимание на основные теоретические построения Лессинга и на примеры, их иллюстрирующие.

## **Лаокоон, или О границах живописи и поэзии** *Перевод Е. Эдельсона; под ред. Н. Н. Кузнецовой*

### **Предисловие**

Первый, кому пришла мысль сравнить живопись и поэзию, был человеком тонкого чутья, заметившим на себе сходное влияние обоих искусств. Он открыл, что то и другое представляют нам вещи отдаленные в таком виде, как если бы они находились вблизи, видимость превращают в действительность; и то и другое обманывают нас, и обман обоим нравится.

Второй попытался глубже вникнуть во внутренние причины этого удовольствия и открыл, что в обоих случаях источник его один и тот же. Красота, понятие которой мы отвле-

каем сначала лишь от телесных предметов, получила для него значимость общих правил, прилагаемых как к действиям и идеям, так и к формам.

Третий стал размышлять о значении и применении этих общих правил и заметил, что одни из них господствуют более в живописи, другие – в поэзии, и что, следовательно, в одном случае поэзия может помогать живописи примерами и объяснениями, в другом случае – живопись поэзии.

Первый из трех был просто любитель, второй – философ, третий – художественный критик.

Первым двум трудно было сделать неправильное употребление из своего непосредственного чувства или из своих умозаключений. Другое дело – критика. Самое важное здесь состоит в правильном применении эстетических начал к частным случаям, а так как на одного проницательного критика приходится пятьдесят просто остроумных, то было бы чудом, если бы эти начала применялись всегда с той предусмотрительностью, какая должна сохранять постоянное равновесие между обоими искусствами.

Если Апеллес и Протоген в своих утраченных сочинениях о живописи подтверждали и объясняли правила этого искусства уже твердо установленными правилами поэзии, то, конечно, это было сделано ими с тем чувством меры и тою точностью, какие удивляют нас и донныне в сочинениях Аристотеля, Цицерона, Горация и Квинтилиана там, где они применяют к искусству красноречия и к поэзии законы и опыт живописи. В том-то и заключалось преимущество древних, что они все делали в меру.

Однако мы, новые, полагали во многих случаях, что мы далеко превзойдем их, если превратим проложенные ими узкие тропинки в проезжие дороги, даже если бы при этом более короткие и безопасные дороги превратились в тропинки наподобие тех, что проходят через дикие места.

Блестящей антитезы греческого Вольтера<sup>192</sup>, что живопись – немая поэзия, а поэзия – говорящая живопись, не было, конечно, ни в одном учебнике. Это была просто неожиданная догадка, каких мы много встречаем у Симонида и справедливость которых так поражает, что обыкновенно упускается из виду все то неопределенное и ложное, что в них заключается.

Однако древние не упускали этого из виду и, ограничивая применение мысли Симонида лишь областью сходного воздействия на человека обоих искусств, они не забывали отметить, что оба искусства в то же время весьма различны как по предметам, так и по роду их подражания.

Между тем новейшие критики, совершенно пренебрегшие этим различием, сделали из сходства живописи с поэзией дикие выводы. Они то стараются втиснуть поэзию в узкие границы живописи, то позволяют живописи заполнить всю обширную область поэзии. Все, что справедливо для одного из этих искусств, допускается и в другом; все, что нравится или не нравится в одном, должно непременно нравиться или не нравиться в другом. Поглощенные этой мыслью, они самоуверенным тоном произносят самые поверхностные приговоры, считая главными недостатками в произведениях художников и поэтов отклонения друг от друга этих двух родов искусства и большую склонность поэта или художника к тому или другому роду искусства в зависимости от собственного вкуса.

И эта лжекритика частично сбивала с толку даже мастеров. Она породила в поэзии стремление к описаниям, а в живописи – жажду аллегорий, ибо первую старались превратить в говорящую картину, не зная, в сущности, что же поэзия могла и должна была изображать, а вторую – в немую поэзию, не думая о том, в какой мере живопись может выражать общие понятия, не удаляясь от своей природы и не делаясь лишь некоторым произвольным родом литературы.

---

<sup>192</sup> Лессинг называл так Симонида Кеосского (ок. 557/556 – около 468/467 гг. до н. э.), одного из значительных поэтов Древней Греции.

Главнейшая задача предлагаемых статей заключается в том, чтобы противодействовать этому ложному вкусу и необоснованным суждениям.

[...] Считаю, наконец, нужным заметить, что под живописью я понимаю вообще изобразительное искусство; точно так же не отрицаю я и того, что под поэзией я, в известной мере, понимаю и остальные искусства, более действенные по характеру подражания.

## I

Отличительной особенностью лучших образцов греческой живописи и ваяния Винкельман<sup>193</sup> считает благородную простоту и спокойное величие как в позах, так и в выражении лиц. «Как глубина морская, – говорит он, – остается всегда спокойной, как бы ни бушевало море на поверхности, точно так же и изображения греков обнаруживают среди всех страстей их великую и твердую душу.

«Эта душа видна и в лице Лаокоона, – и не только в лице, даже при самых жестоких его муках. Боль, отражающаяся во всех его мышцах и жилах, боль, которую сам как будто чувствуешь, даже не глядя на лицо и на другие части тела Лаокоона, лишь по его мучительно сведенному животу, эта боль, повторяю, ни в какой мере не искажает ни его лица, ни позы. Лаокоон не испускает того страшного крика, который описывает Вергилий, говоря о своем Лаокооне; характер раскрытия рта не позволяет этого: мы слышим скорее глухой, сдержанный стон, как это изображает Садолет. Телесная боль и величие духа с одинаковой силой и гармонией выражены в этом образе. Лаокоон страдает, но страдает так, как Филоктет Софокла: его мука глубоко трогает нас, но мы хотели бы переносить наши муки так же, как и этот великий человек.

«Выражение такой великой души выходит далеко за пределы воспроизведения просто прекрасного. Художник должен был сам в себе чувствовать ту духовную мощь, которую он запечатлел в мраморе; Греция имела художников и философов в одном лице, и таких как Метродор там было немало. Мудрость протягивала руку искусству и вкладывала в его создания нечто большее, чем обычные души».

Лежащая в основе сказанного мысль, что страдание не проявляется на лице Лаокоона с той напряженностью, какую можно было бы ожидать при столь сильной боли, совершенно правильна. Неоспоримо также, что мудрость художника наиболее ярко проявляется в том, в чем полузнайки особенно упрекали бы его, как оказавшегося ниже действительности и не поднявшегося до выражения истинно патетического в страдании.

Я лишь осмеливаюсь быть другого мнения, чем Винкельман, в истолковании этой мудрости и в обобщении тех правил, которые он из него выводит.

Признаюсь, что недовольный взгляд, который он бросает на Вергилия, уже несколько меня смутил, как смущает позднее и сравнение с Филоктетом. Это положение будет моей исходной точкой, и дальнейшие мысли я буду излагать в том порядке, в каком они у меня возникли.

«Лаокоон страдает так же, как и Филоктет Софокла». Но как страдает Филоктет? Удивительно, что страдания его производят на нас совсем противоположное впечатление. Жалобы, вопли, неистовые проклятия, которыми он, страдая от мук, наполнял весь лагерь и мешал священнодействиям и жертвоприношениям, звучали не менее ужасно и в пустыне; они-то и были причиной его изгнания. Как сильны эти выражения гнева, скорби и отчаяния, если даже поэтическое выражение их заставляло содрогаться театр! Третье действие этой трагедии находят вообще несравненно более кратким, чем остальные. Отсюда видно, как говорят некоторые критики, что греки мало заботились о равной длительности действий. Я с этим вполне согласен, но для доказательства мне хотелось бы найти другой пример. Полные скорби восклица-

---

<sup>193</sup> Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1768) – немецкий историк искусства, автор «Истории искусства древности» (1764).

ния, стоны и выкрики, из которых состоит это действие и которые надо было произносить с различной протяженностью и расстановками, – иначе, нежели обычную роль, – делали, без сомнения, это действие на сцене столь же длительным, как и остальные. Только на бумаге оно кажется гораздо короче, чем должно было казаться зрителям в театре.

Крик – естественное выражение телесной боли. Раненые воины Гомера часто падают на землю с криком. Легко раненная Венера вскрикивает громко не потому, что этим криком поэт хотел показать в ней нежную богиню сладострастия, а скорее, чтобы отдать долг страждущей природе. Ибо даже мужественный Марс, почувствовав в своем теле копье Диомеда, кричит так ужасно, что пугаются оба войска, как будто разом закричали десять тысяч разъяренных воинов.

Как ни старается Гомер поставить своих героев выше человеческой природы, они все же всегда остаются ей верны, когда дело касается ощущений боли и страдания и выражения этих чувств в крике, слезах или брани. По своим действиям они существа высшего порядка, по своим же ощущениям – люди. [...]

И теперь я прихожу к следующему заключению: если справедливо, что крик при ощущении физической боли, в особенности по древнегреческим воззрениям, совместим с величием духа, то очевидно, что проявление его не могло бы помешать художнику отобразить в мраморе этот крик. Должна существовать какая-то другая причина, почему художник отступил здесь от своего соперника-поэта, который умышленно ввел в свое описание этот крик.

## II

[...] Древние смягчали также и отчаяние, превращая его в простую скорбь. Но что делал, например, Тимант там, где такое ослабление не могло иметь места, там, где отчаяние унижало бы в такой же мере, как и обезображивало? Известна его картина, представлявшая принесение в жертву Ифигении, где он придал всем окружающим ту или другую степень печали и закрыл лицо отца, боль которого была особенно велика. [...] Тимант знал пределы, которые Грации положили его искусству. Он знал, что отчаяние Агамемнона как отца должно было бы выразиться в таких чертах, которые всегда отвратительны. Художник выражал его лишь в той мере, в какой позволяло ему чувство красоты и достоинства. Он, конечно, хотел бы совсем избежать отвратительного или ослабить его выражение, но так как избранная тема не позволяла ему ни того, ни другого, то что же оставалось ему, как не скрыть отвратительное от глаз? То, чего он не осмелился изобразить, он предоставил зрителю угадывать. Короче говоря, неполнота этого изображения есть жертва, которую художник принес красоте. Она является примером не того, как выражение может выходить за пределы искусства, а того, как надо подчинять его основному закону искусства – требованию красоты.

Применяя сказанное к Лаокоону, мы тотчас найдем объяснение, которое ищем: художник стремится к изображению высшей красоты, связанной с телесной болью. По своей искажающей силе эта боль несовместима с красотой, и поэтому он должен был ослабить ее; крик он должен был превратить в стон не потому, что крик изобличал бы неблагородство, а потому, что он отвратительно искажает лицо. Стоит только представить себе мысленно Лаокоона с раскрытым для крика ртом, чтобы судить о сказанном; заставьте его только кричать, и вы сами все поймете: раньше это был образ, внушавший сострадание, ибо в нем боль сочеталась с красотой; теперь это неприятная, отталкивающая фигура, от которой захочешь отвернуться, ибо вид боли возбуждает неудовольствие, а красота не приходит на помощь и не превращает это неудовольствие в светлое чувство сострадания.

[...] материальные пределы искусства ограничены изображением одного только момента.

Если, с одной стороны, художник может брать из вечно изменяющейся действительности только один момент, а живописец даже и этот один момент лишь с определенной точки зрения; если, с другой стороны, произведения их предназначены не для одного только мимомо-



летного просмотра, а для внимательного и неоднократного обозрения, то очевидно, что этот единственный момент и единственная точка зрения на этот момент должны быть возможно плодотворнее. Но плодотворно только то, что оставляет свободное поле воображению. Чем более мы глядим, тем более мысль наша добавляет к видимому, и чем сильнее работает мысль, тем больше возбуждается наше воображение. Но изображение какой-либо страсти в момент наивысшего напряжения всего менее обладает этим свойством. За таким изображением не остается уже больше ничего: показать глазу эту предельную точку аффекта – значит связать крылья фантазии и принудить ее (так как она не может выйти за пределы данного чувственного впечатления) довольствоваться слабейшими образами, над которыми господствует, стесняя свободу воображения своей полнотой, данное изображение момента.

Поэтому, когда Лаокоон только стонет, воображению легко представить его кричащим; если бы он кричал, фантазия не могла бы подняться ни на одну ступень выше, ни спуститься одним шагом ниже показанного образа, и Лаокоон предстал бы перед зрителем жалким, а следовательно, неинтересным. Зрителю оставались бы две крайности: вообразить Лаокоона или при его первом стоне, или уже мертвым. [...] Страшная боль, вызывающая крик, должна или прекратиться, или уничтожить свою жертву. Поэтому, если уж кричит чрезвычайно терпеливый и стойкий человек, он не может кричать безостановочно. И именно эта кажущаяся непрерывность – в случае изображения такого человека в произведении искусства – и превратила бы его крик в выражение женской слабости или детского нетерпения. Уже одно это должно было бы остановить творца Лаокоона, если бы даже крик и не вредил красоте и если бы в греческом искусстве дозволялось изображать страдание, лишённое красоты [...]

#### IV

Рассматривая все приведенные выше причины, по которым художник, создавая Лаокоона, должен был сохранить известную меру в выражении телесной боли, я нахожу, что все они обусловлены особыми свойствами этого вида искусства, его границами и требованиями. Поэтому трудно ожидать, чтобы какое-нибудь из рассмотренных положений можно было применить и к поэзии.

[...] Так как поэту открыта для подражания вся безграничная область совершенства, то внешняя, наружная оболочка, при наличии которой совершенство становится в ваянии красотой, может быть для него разве лишь одним из ничтожнейших средств пробуждения в нас интереса к его образам. Часто поэт совсем не дает изображения внешнего облика героя, будучи уверен, что когда его герой успевает привлечь наше расположение, благородные черты его характера настолько занимают нас, что мы даже и не думаем о его внешнем виде или сами придаем ему невольно если не красивую, то по крайней мере не противную наружность. Всего менее будет он прибегать к помощи зрительных образов во всех тех местах своего описания, которые не предназначены непосредственно для глаза. Когда Лаокоон у Вергилия<sup>194</sup> кричит, то кому придет в голову, что для крика нужно широко раскрывать рот и что это некрасиво? Достаточно, что выражение: «к светилам возносит ужасные крики» создает должное впечатление для слуха, и нам безразлично, чем оно может быть для зрения. На того, кто требует здесь красивого зрительного образа, поэт не произвел никакого впечатления.

Ничто также не принуждает поэта ограничивать изображаемое на картине одним лишь моментом. Он берет, если хочет, каждое действие в самом его начале и доводит его, всячески видоизменяя, до конца. Каждое из таких видоизменений, которое от художника потребовало бы особого произведения, стоит поэту лишь одного штриха, и если бы даже этот штрих сам по себе способен был оскорбить воображение слушателя, он может быть так подготовлен

---

<sup>194</sup> Вергилий (70–19 гг. до н. э.) передает эту историю во 2-й песне «Энеиды».

предшествующим или так ослаблен и приукрашен последующим штрихом, что потеряет свою обособленность и в сочетании с прочим произведет самое прекрасное впечатление. Так, если бы в самом деле мужу было неприлично кричать от боли, может ли повредить в нашем мнении эта преходящая невыдержанность тому, кто уже привлек наше расположение другими своими добродетелями? Вергилиев Лаокоон кричит, но этот кричащий Лаокоон – тот самый, которого мы уже знаем и любим как предусмотрительного патриота и как нежного отца. Крик Лаокоона мы объясняем не характером его, а невыносимыми страданиями. Только это и слышим мы в его крике, и только этим криком мог поэт наглядно изобразить нам его страдания. [...]

## VII

Когда говорят, что художник подражает поэту или поэт художнику, это может иметь двоякий смысл. Или один из них действительно делает предметом подражания произведение другого, или оба они подражают одному и тому же, и только один заимствует у другого способ и манеру подражания.

Описывая щит Энея, Вергилий подражает делавшему его художнику в первом смысле слова. Предмет его подражания составляет самый щит, а не то, что на нем изображено, и если он при этом описывает также и изображения на щите, он описывает их лишь как части щита, а не сами по себе. Если же предположить, что Вергилий подражал группе Лаокоона, это будет уже подражание второго рода. Ибо в этом случае он подражал бы не самой группе, но тому, что она представляет, и только заимствовал бы у нее некоторые черты для подражания.

При подражании первого рода поэт остается оригинальным, при втором он – простой копировальщик. Первое есть только известный вид подражания вообще, составляющий сущность его искусства, и поэт действует здесь как самостоятельный гений, независимо от того, будет ли ему служить образцом произведение других искусств или сама природа. Подражая же во втором смысле, поэт совершенно теряет свое величие: вместо самой вещи он подражает ее изображению и выдает нам холодные воспоминания о художественных приемах другого гения за свои собственные приемы.

Но так как поэт и художник, имея общие предметы для подражания, нередко должны рассматриваться с одинаковой точки зрения, то легко может случиться, что в их произведениях найдется много сходных черт, хотя бы они несколько не подражали один другому. Это сходство черт, наблюдаемое у поэтов и художников одной эпохи, может быть даже очень полезно, взаимно облегчая толкование их произведений; но пользоваться этими сближениями таким образом, чтобы в каждом случайном сходстве видеть намеренное подражание и при малейшей подробности указывать поэту то на известную статую, то на картину, значило бы оказывать ему весьма двусмысленную услугу. И не только ему, но также и читателю, для которого часто лучшее место, объясненное таким образом, сделается, может быть, и понятнее, но потеряет уже свою прежнюю поэтическую силу [...]

## XVI

[...] если справедливо, что живопись в своих подражаниях действительности употребляет средства и знаки, совершенно отличные от средств и знаков поэзии, а именно: живопись – тела и краски, взятые в пространстве, поэзия – членораздельные звуки, воспринимаемые во времени; если бесспорно, что средства выражения должны находиться в тесной связи с выражаемым, то отсюда следует, что знаки выражения, располагаемые друг подле друга, должны обозначать только такие предметы или такие их части, которые и в действительности представляются расположенными друг подле друга; наоборот, знаки выражения, следующие друг

за другом, могут обозначать только такие предметы или такие их части, которые и в действительности представляются нам во временной последовательности.

Предметы, которые сами по себе или части которых сосуществуют друг подле друга, называются телами. Следовательно, тела с их видимыми свойствами и составляют предмет живописи.

Предметы, которые сами по себе или части которых следуют одни за другими, называются действиями. Итак, действия составляют предмет поэзии.

Но все тела существуют не только в пространстве, но и во времени. Существование их длится, и в каждое мгновение своего бытия они могут являться в том или ином виде и в тех или иных сочетаниях. Каждая из этих мгновенных форм и каждое из сочетаний есть следствие предшествующих и в свою очередь может сделаться причиной последующих перемен, а следовательно, и стать как бы центром действия. Следовательно, живопись может изображать также и действия, но только опосредствованно, при помощи тел.

С другой стороны, действия не могут совершаться сами по себе, а должны исходить от каких-либо существ. Итак, поскольку эти существа – действительные тела, или их следует рассматривать как таковые, поэзия должна изображать также и тела, но лишь опосредствованно, при помощи действий.

В произведениях живописи, где все дается лишь одновременно, в сосуществовании, можно изобразить только один момент действия, и надо поэтому выбирать момент наиболее значимый, из которого бы становились понятными и предыдущие и последующие моменты.

Точно так же поэзия, где все дается лишь в последовательном развитии, может уловить только одно какое-либо свойство тела и потому должна выбирать свойства, вызывающие такое чувственное представление о теле, какое ей в данном случае нужно.

Отсюда вытекает правило о единстве живописных эпитетов и о скупости в описаниях материальных предметов.

Но я бы слишком доверился этой сухой цепи умозаключений, если бы не нашел в самом Гомере полного их оправдания или, вернее, если бы сам Гомер не навел меня на них. Только по ним и можно вполне понять все величие творческой манеры греческого поэта, и только они могут выставить в настоящем свете противоположные приемы многих новейших поэтов, которые вступают в борьбу с живописцами там, где живописцы неизбежно должны остаться победителями.

Я нахожу, что Гомер не изображает ничего, кроме последовательных действий, и все отдельные предметы он рисует лишь в меру участия их в действии, притом обыкновенно не более, как одной чертой. Что же удивительного, если живописец видит мало или совсем не видит для себя дела там, где живописует Гомер? Что удивительного, если широкое поле деятельности раскрывается перед ним лишь в тех случаях, где, по ходу рассказа, является множество прекрасных фигур, в прекрасных позах, наконец в обстановке, благоприятной для живописи, хотя бы сам поэт чрезвычайно мало заботился об изображении этих фигур, этих поз, этой обстановки? [...]

Для характеристики каждой вещи, как я сказал, Гомер употребляет лишь одну черту. Корабль для него – или черный корабль, или полый корабль, или быстрый корабль, или – самое большее – хорошо оснащенный черный корабль. В дальнейшее описание корабля Гомер не входит. Напротив, самое плавание, отплытие, причаливание корабля составляют у него предмет подробного изображения, изображения, из которого живописец должен был бы сделать пять, шесть или более отдельных картин, если бы захотел перенести на свое полотно это изображение.

Если же особые обстоятельства и заставляют иногда Гомера останавливать более длительно наше внимание на каком-нибудь материальном предмете, то из этого еще не получается картины, которую живописец мог бы воспроизвести своей кистью; напротив, при помощи бес-

численных приемов он умеет разбить изображение этого предмета на целый ряд моментов, в каждом из которых предмет является в новом виде, между тем как живописец должен дожидаться последнего из этих моментов, чтобы показать уже в законченном виде то, возникновение чего мы видели у поэта. Так, например, если Гомер хочет показать нам колесницу Юноны, он заставляет Гебу составлять эту колесницу по частям на наших глазах. Мы видим колеса, оси, кузов, дышла и упряжь не в собранном виде, а по мере того, как Геба собирает их. [...]

Геба ж с боков колесницы набросила гнутые круги  
Медных колес осьмиспичных, на оси железной ходящих;  
Ободы их золотые, нетленные, сверху которых  
Медные шины положены плотные, диво для взора!  
Ступицы их, серебром окруженные, окрест сияли;  
Кузов блестящими пышно серебром и золотом ремнями  
Был прикреплен, и на нем выдвигались дугою две скобы;  
Дышло серебряное из него выходило; но около  
Геба золотое, прекрасное вяжет ярмо, продевает  
Пышную упряжь золотую... [...]

## XVII

Но, возразят мне, обозначениями, употребляемыми в поэзии, можно пользоваться не только во временной последовательности, но и произвольно, благодаря чему представляется возможность изображать предметы и со стороны их положения в пространстве. У самого Гомера встречаются примеры этого рода, и его описание щита Ахилла может служить самым поразительным доказательством того, как подробно и в то же время поэтично можно изобразить все части какой-нибудь вещи в том именно виде, в каком они встречаются в действительности, т. е. в их сочетании в пространстве.

Постараюсь ответить на это двойное возражение. Я называю его двойным потому, что, во-первых, логический вывод имеет значимость даже и без примера, а во-вторых, потому, что пример из Гомера представляет для меня значительную важность, хотя бы он и не был подкреплён выводом.

Действительно, так как словесные обозначения – обозначения произвольные, то мы можем посредством их перечислить последовательно все части какого-либо предмета, которые в действительности предстают перед нами в пространстве. Но такое свойство есть только одно из свойств, принадлежащих вообще речи и употребляемым ею обозначениям, из чего еще не следует, чтобы оно было особенно пригодным для нужд поэзии. Поэт заботится не только о том, чтобы быть понятным, изображения его должны быть не только ясны и отчетливы – этим удовлетворяется и прозаик. Поэт хочет сделать идеи, которые он возбуждает в нас, настолько живыми, чтобы мы воображали, будто получаем действительно чувственное представление об изображаемых предметах, и в то же время совершенно забывали об употребленном для этого средстве – слове. В этом смысле и раскрывали мы выше понятие поэтической картины. Но поэт должен живописать постоянно. Посмотрим же, насколько годятся для поэтического живописания тела в их пространственных соотношениях.

Каким образом достигаем мы ясного представления о какой-либо вещи, существующей в пространстве? Сначала мы рассматриваем порознь ее части, потом связь этих частей и, наконец, целое. Чувства наши совершают эти различные операции с такой удивительной быстротой, что операции эти сливаются для нас как бы в одну, и эта быстрота безусловно необходима для того, чтобы мы могли составить себе понятие о целом, которое есть не что иное, как результат

представления об отдельных частях и их взаимной связи. Допустим, что поэт может в самом стройном порядке вести нас от одной части к другой; допустим, что он сумеет с предельной ясностью показать нам связь этих частей, – сколько же времени потребуется ему? То, что глаз охватывал сразу, поэт должен показывать нам медленно, по частям, и нередко случается так, что при восприятии последней части мы уже совершенно забываем о первой. А между тем лишь по этим частям мы должны составлять себе представление о целом. Для глаза рассматриваемые части остаются постоянно на виду, и он может не раз обзирать их снова и снова; для слуха же раз прослушанное уже исчезает, если только не сохранится в памяти. Но допустим, что прослушанное удержалось в памяти полностью. Какой труд, какое напряжение нужны для того, чтобы снова вызвать в воображении в прежнем порядке все слуховые впечатления, перечувствовать их, хотя бы и не так быстро, как раньше, и, наконец, добиться приблизительного предоставления о целом?

[...] я нисколько не отрицаю за речью вообще способности изображать какое-либо материальное целое по частям; речь имеет к тому возможности, ибо, хотя речевые знаки и могут располагаться лишь во временной последовательности, они являются, однако, знаками произвольными; но я отрицаю эту способность за речью как за средством поэзии, ибо всякое изображение материальных предметов при помощи слова нарушает то очарование, создание которого и составляет одну из главных задач поэзии. Это очарование, повторяю, нарушается тем, что сопоставление тел в пространстве сталкивается здесь с последовательностью речи во времени. Правда, соединение пространственных отношений с последовательно-временными облегчает нам разложение целого на его составные части, но окончательное восстановление из частей целого становится несравненно более трудной и часто даже невыполнимой задачей.

Вообще описания материальных предметов могут иметь место там, где нет и речи о поэтическом очаровании, где писатель обращается лишь к рассудку читателей и имеет дело лишь с ясными и по возможности полными понятиями. Ими может пользоваться с большим успехом не только прозаик, но и поэт-догматик, ибо там, где он занимается догматикой, он уже не поэт[...] Итак, остается незыблемым следующее положение: временная последовательность – область поэта, пространство – область живописца [...]

Гомер описывает щит не как вещь уже совсем готовую, законченную, но как вещь создающуюся. Следовательно, он и здесь пользуется своим прославленным художественным приемом, а именно: превращает сосуществующее в пространстве в раскрывающееся во времени и из скучного живописания предмета создает живое изображение действия. Мы видим у него не щит, а бога-мастера, делающего щит. Мы видим, как подходит он с молотком и клещами к своей наковальне, как выковывает сначала полосы из металла, а затем на наших глазах начинает создавать украшения щита, возникающие из металла под его мастерскими ударами. Мы не теряем мастера из виду, пока все не окончено. Тогда мы начинаем удивляться самому произведению, но удивляться как очевидцы, видевшие, как оно делалось [...]

То, что сказано мной о материальных предметах вообще, приложимо еще в большей мере к изображению красоты телесной. Телесная красота заключается в гармоническом сочетании разнообразных частей, которые сразу могут быть охвачены одним взглядом. Она требует следовательно, чтобы эти части были одна подле другой; и так как воспроизведение предметов, отдельные части которых находятся одна подле другой, составляет истинный предмет живописи, то именно она, и только она может подражать красоте телесной.

Поэт, который в состоянии показывать элементы красоты лишь одни за другими, должен, следовательно, совершенно отказаться от изображения телесной красоты как таковой.

Он должен чувствовать, что эти элементы, изображенные во временной последовательности, никак не могут произвести того впечатления, какое производят, будучи даны одновременно, один возле другого; что после их перечисления взгляд наш не соберет этих элементов красоты в стройный образ; что задача представить себе, какой эффект произвел бы такой-то

рот, нос и такие-то глаза, соединенные вместе, превосходит силы человеческого воображения и что это возможно разве только, если мы имеем в природе или в произведении искусства готовое сочетание подобных частей.

И в этом отношении Гомер является образцом среди образцов. Он, например, говорит: Нирей был прекрасен, Ахилл был еще прекраснее, Елена обладала божественной красотой. Но нигде не вдается он в подробное описание красоты. А между тем содержанием всей поэмы служит красота Елены. Как бы распространялся по этому поводу новейший поэт! [...]

Однако не потеряет ли слишком много поэзия, если мы исключим из ее области всякое изображение телесной красоты? Но кто же собирается это сделать! Если мы и хотим загородить для нее путь рабского следования по стопам родственного ей искусства, то вытекает ли из этого, что мы думаем заслонить перед ней все другие пути, на которых, напротив, изобразительное искусство должно будет ей уступать?

Тот же Гомер, который так упорно избегает всякого описания телесной красоты, который не более одного раза, и то мимоходом, напоминает, что у Елены были белые руки и прекрасные волосы, – тот же поэт умеет, однако, дать нам такое высокое представление о ее красоте, которое далеко превосходит все, что могло бы сделать в этом отношении искусство. Вспомним только о том месте, где Елена появляется на совете старейшин троянского народа. Увидев ее, почтенные старцы говорят один другому:

Нет, осуждать невозможно, что Трои сыны и ахейцы  
Брань за такую жену и беды столь долгие терпят;  
Истинно, вечным богиням она красотой подобна.

Что может дать более живое понятие об этой чарующей красоте, как не признание холодных старцев, что она достойна войны, которая стоила так много крови и слез!

То, чего нельзя описать по частям и в подробностях, Гомер умеет показать нам в его воздействии на нас. Изображайте нам, поэты, удовольствие, влечение, любовь и восторг, которые возбуждает в нас красота, и тем самым вы уже изобразите нам самую красоту! Кто в состоянии представить себе безобразным возлюбленного Сафо, при виде которого она, по ее собственным словам, лишилась сознания и чувств? Перед кем не предстанет привлекательным образ, если только он соответствует тем ощущениям, которые этот образ возбуждает? Овидий заставляет нас наслаждаться вместе с ним красотой своей Лесбии. Но как достигает он этого? Тем ли, что описывает эту красоту по частям?

Что я за плечи узрел! Какие руки ласкал я!  
Что за округлую грудь мне довелось обнимать!  
Что за плоский живот под грудью ее небольшою!  
В девичьих ляжках ее, в бедрах какая краса!

Нет, не этим, но благодаря тому, что его описание проникнуто сладострастным упоением, которое возбуждает наше собственное желание и заставляет нас как бы испытать те же чувства, какие владели им.

Другое средство, которое позволяет поэзии сравниться с изобразительными искусствами в передаче телесной красоты, состоит в том, что она превращает красоту в прелесть. Прелесть есть красота в движении, и потому изображение ее более доступно поэту, нежели живописцу. Живописец позволяет лишь угадывать движение, а в действительности фигуры его остаются неподвижными. Оттого прелестное показалось бы у него «гримасой». Но в поэзии оно может оставаться тем, что есть, т. е. красотой в движении, на которую все время хочется смотреть. Оно живет и движется перед нами, и так как нам вообще легче припоминать движение, нежели

формы и краски, то понятно, что и прелестное должно действовать на нас сильнее, чем неподвижная красота. [...]

Сам Анакреон скорее предпочел бы быть неловким, потребовав от живописца невозможного, нежели оставить образ своей красавицы холодным и не одухотворенным прелестью: «Рядом с нежным подбородком, с беломраморною шейкой все хариты пусть порхают».

Он приказывает живописцу, чтобы грации порхали вокруг ее нежного подбородка и шеи! Как так? Неужели он понимает это буквально? Но ведь это не в силах живописи. Художник мог придать подбородку изящную округлость, изобразив на нем прекраснейшую ямочку, мог сделать шею нежной и полной привлекательной белизны, но большее было ему недоступно. Изобразить повороты этой прекрасной шеи или игру мускулов, при которой эта ямочка делается то более, то менее заметной, изобразить, одним словом, прелесть движений было выше его сил. Поэт использовал все средства, какие предоставляет ему его искусство в области телесного изображения красоты для того, чтобы тем самым заставить и художника отыскать соответственные средства выразительности в его искусстве. Это является лишним подтверждением уже высказанной выше мысли, что поэт даже тогда, когда он говорит о произведении изобразительного искусства, не связан в своем описании рамками этого искусства [...]

#### **Вопросы и задания:**

1. Сопоставьте точки зрения Винкельмана и Лессинга на изображение сильной эмоции (крика) в скульптуре Лаокоона.
2. В чем Лессинг видит основные различия между живописью и поэзией?
3. Какая роль придается категории действия в поэзии?
4. Каковы приемы изображения красоты в поэзии?

#### **Предтекстовое задание:**

Прочитайте фрагменты трагедии Г. Э. Лессинга «Эмилия Галотти» (1772); проанализируйте ее тематику, конфликт и художественные традиции, на которые опирается драматург.

## **Эмилия Галотти** **Трагедия в пяти действиях** *Перевод М. М. Бамдаса*

Действующие лица

Эмилия Галотти.

Одоардо Галотти, Клаудия Галотти – родители Эмилии.

Хетторе Гонзага, принц Гвасталлы.

Маринелли, камергер принца.

Камилло Рота, один из советников принца.

Конти, художник.

Граф Аппиани.

Графиня Орсина.

Анжело и несколько слуг.

## Действие первое Действие происходит в кабинете принца

### Явление первое

#### Принц, Камердинер принца

Принц (*за рабочим столом с грудой писем и бумаг, некоторые из них он просматривает*). Жалобы, одни только жалобы! Просьбы! Одни только просьбы!.. Печальные дела! И нам еще завидуют! Я думаю, если бы мы могли всем помогать, вот тогда нам можно было бы завидовать... Эмилия? (*Вскрывает одну из просьб и смотрит на подпись*.) Эмилия?.. Но это какая-то Эмилия Брунески... не Галотти. Не Эмилия Галотти!.. Чего же хочет эта Эмилия Брунески? (*Читает*.) Большие претензии, очень большие... Но ее зовут Эмилией. Согласен. [...] Не могу больше заниматься. Я был так спокоен, воображал, что спокоен... Вдруг оказалось, что какую-то несчастную Брунески зовут Эмилией, и мое спокойствие исчезло!..

Камердинер (*входит*). Вот письмо от графини Орсина.

Принц. Орсина? Положите его сюда.

Камердинер. Ее скороход ждет ответа.

Принц. Я пришлю ответ, если это потребуется. Где она? В городе или на своей вилле?

Камердинер. Она вчера приехала в город.

Принц. Тем хуже... Тем лучше, хотел я сказать. Тем меньше придется ждать скороходу.

*Камердинер уходит.*

Моя дорогая графиня! (*С горечью, взяв письмо в руки*.) Словно уже прочитал. (*Снова отбрасывает письмо*.) Да, я раньше думал, что люблю ее! Чего мы только не думаем. Может быть, я и на самом деле любил ее. Но любил, а не люблю.

Камердинер (*снова входит*). Художник Конти хотел бы получить соизволение...

Принц. Конти? Хорошо. Впустите его... Это рассеет меня. (*Встает*.)

### Явление второе

Конти, Принц.

Принц. С добрым утром, Конти! Как живете? Что подельывает искусство?

Конти. Принц, искусство ищет хлеба.

Принц. Этого ему не следует делать, этого оно не должно делать, по крайней мере в моих маленьких владениях... Но художник должен все же иметь охоту к труду.

Конти. Трудиться? Это его наслаждение. Но если он вынужден слишком много трудиться, он может лишиться имени художника.

Принц. Я понимаю не многое, но много: малость, но исполненную с рвением... Вы пришли ведь не с пустыми руками, Конти?

Конти. Я принес портрет, который вы мне заказали, ваша светлость. И принес еще и другой, которого вы мне не заказывали, но он заслуживает вашего внимания...

Принц. Какой же я вам заказывал?.. Никак не могу припомнить...



Конти. Графини Орсина.

Принц. В самом деле!.. Только заказан он был давно.

Конти. Наши прекрасные дамы не каждый день расположены позировать. Графиня за три месяца только раз смогла решиться немного посидеть.

Принц. Где портреты?

Конти. В приемной. Сейчас принесу.

[...]

Конти (*ставя другой перед принцем*). Прошу вас, принц, принять во внимание границы нашего искусства. Многие из самых привлекательных свойств красоты лежат за его пределами... Станьте вон там.

Принц (*бросив взгляд на портрет*). Превосходно, Конти... Превосходно! Достоинство вашего мастерства, вашей кисти. Но вы польстили, Конти, безгранично польстили!

Конти. Оригинал как будто был другого мнения. Да и на самом деле я польстил не больше, чем требует искусство. Искусство должно изображать так, как замыслила образец пластическая природа – если только она существует, – без увядания, неизбежного при сопротивлении материи, без разрушений, наносимых временем.

Принц. Мыслящий художник удваивает ценность своего труда. Но оригинал, сказали вы, несмотря на это, нашел...

Конти. Простите, принц. Оригинал – особа, требующая моего уважения. Я не хотел сказать ничего для нее невыгодного.

[...]

Принц. Хорошо, Конти. Почему же вы не принесли его месяцем раньше? Уберите его... Ну, а здесь что?

Конти (*достает второй портрет, но держит его лицом к себе*). Тоже женский портрет.

[...]

Принц. [...] бьюсь об заклад, Конти, что это – повелительница самого художника. (*Конти оборачивает к нему портрет лицом.*) Что я вижу? Ваше ли это творенье или плод моей фантазии?... Эмилия Галотти!

Конти. Как, принц? Вы знаете этого ангела?

[...]

Принц (*быстро оборачиваясь к нему*). Что же, Конти? Неужели вы уже обещали ее кому-нибудь?

Конти. Она предназначена для вас, если она вам по вкусу.

Принц. По вкусу! (*Улыбаясь*.) Это – ваш опыт изучения женской красоты, Конти. Что может быть лучше, как сделать его своим? А тот портрет захватите с собой... заказать раму.

Конти. Будет сделано.

Принц. Самую красивую, – самую роскошную, какую резчик только сможет изготовить. Портрет будет помещен в галерею. А этот... останется здесь. С этюдом не требуется таких церемоний: его не вывешивают, а предпочитают держать при себе... Благодарю вас, Конти, очень благодарю. Как уже сказано, в моих владениях искусство не должно искать хлеба, пока он есть у меня самого... Пошлите, Конти, к моему казначею и получите под вашу расписку за оба портрета, сколько пожелаете. Сколько пожелаете, Конти!

Конти. Не следует ли мне опасаться, принц, что вы хотите вознаградить меня не только за искусство, но и за нечто другое...

Принц. О, ревнивый художник! Нет, нет!.. Так слышите, Конти, сколько пожелаете.

[...]

## Явление шестое

Принц, Маринелли. [...]

Принц. [...] Что у нас нового, Маринелли? [...] Неужели в городе решительно ничего не случилось?

Маринелли. Да, почти что так... Ведь венчанье графа Аппиани, которое должно произойти сегодня, – все равно, что ничего.

Принц. Графа Аппиани? С кем же? Я должен бы знать, что он помолвлен.

Маринелли. Дело хранилось в строжайшей тайне. Да и нечего было подымать из-за него большой шум... Вы будете смеяться, принц... Такова судьба чувствительных душ! Любовь всегда играет с ними самые злые шутки. Девушка без состояния, без положения сумела завлечь его в свои сети с помощью некоторого притворства и яркого блеска добродетели, чувства, остроумия и... не знаю уж чего!

Принц. [...] А как зовут эту счастливицу? [...]

Маринелли. Это какая-то Эмилия Галотти.[...]

Принц.[...] Эмилия Галотти? Дочь полковника Галотти из Сабьонетты?

Маринелли. Она самая.[...]

Принц. Одним словом... (*Бросается к портрету и протягивает его Маринелли.*) Вот!.. Эта? Эта Эмилия Галотти? Скажи еще раз это проклятое «именно она» и вонзи мне кинжал в сердце!

Маринелли. Именно она.

Принц. Палач!.. Эта самая Эмилия Галотти станет сегодня...

Маринелли. Графиней Аппиани.[...] Венчание совершится в тишине, в имении ее отца, в Сабьонетте. В полдень мать, дочь, граф и, может быть, несколько друзей отправятся туда.

Принц (*в отчаянии падая на стул*). Тогда я погиб! Если так, я не хочу жить!

Маринелли. Но что с вами, принц?

Принц (*вскакивает и обращается к нему*). Предатель!.. Что со мной? Ну да, я люблю ее. Я молюсь на нее. Вы должны были это знать! Вы должны были давно это знать, все вы, которые желали бы, чтобы я вечно влачил постыдные оковы безумной Орсины! Но как вы, Маринелли, вы, так часто уверявший меня в вашей глубочайшей дружбе, – о, у принцев нет друзей, у них не может быть друзей! – как могли вы так вероломно, так коварно скрывать от меня до этой минуты опасность, которая угрожала моей любви? Если я вам когда-нибудь это прошу, то пусть не простится мне ни один из моих грехов!

Маринелли. Принц, не могу найти слов – если даже вы мне это разрешите – выразить вам мое изумление... Вы любите Эмилию Галотти?.. Тогда – клятва за клятву! Если я имел хоть малейшее представление, хоть чуть-чуть догадывался об этой любви, то пусть отступятся от меня все ангелы и все святые! Именно в этом я хотел поклясться графине Орсине Ее подозрения идут совсем по другому пути [...]

Принц. Ах, Маринелли, как мог я доверить вам то, в чем я почти не хотел признаться самому себе?

Маринелли. Значит, тем менее вы признались виновнице ваших страданий?

Принц. Ей?.. Как я ни старался еще раз поговорить с ней, все было напрасно...

Маринелли. Ав первый раз...

Принц. Я говорил с ней... О, я схожу с ума! Долго еще мне вам рассказывать? Вы видите, я – добыча волн. Зачем вам так подробно расспрашивать, как это случилось? Спасите меня, если можете, и тогда уж спрашивайте.

Маринелли. Спасти вас? Да что тут спасать? В чем вы опоздали, ваша светлость? Признаться Эмили Галотти? Вы признаетесь графине Аппиани – и только. Товар, который нельзя приобрести из первых рук, приобретают из вторых. И нередко товары, купленные из вторых рук, обходятся дешевле [...] К тому же граф хочет уехать с ней отсюда... Да, нужно подумать о каком-либо другом средстве.

Принц. О каком? Добрейший, любезнейший Маринелли, ну придумайте за меня. Что бы вы стали делать на моем месте?

Маринелли. Прежде всего смотрел бы на безделицу как на безделицу. Затем сказал бы себе, что я не понапрасну хочу быть тем, кем я создан, – властелином!

Принц. Не обольщайте меня ссылками на власть, с которой здесь, по-моему, нечего делать. Сегодня, говорите вы? Уже сегодня?

Маринелли. Сегодня только это должно совершиться. А нельзя помочь лишь тогда, когда дело уже сделано. *(После короткого раздумья.)* Хотите, принц, предоставить мне свободу действий? Согласны ли вы одобрить все, что я сделаю?

Принц. Все, Маринелли, все, что только может предотвратить этот удар. [...]

## Явление восьмое

### Камилло Рота (с бумагами), Принц.

Принц. Сюда, Рота, сюда! Вот что я распечатал сегодня утром. Мало утешительного! Вы сами увидите, что тут надо сделать. Возьмите же.

Камилло Рота. Хорошо, ваша светлость.

Принц. Здесь еще просьба некоей Эмили Галот... Брунески, хочу я сказать... Я уже написал свое согласие, однако... просьба совсем не пустячная... Подождите с исполнением... И даже не ждите, а как вам будет угодно.

Камилло Рота. Не как мне будет угодно, ваша светлость.

Принц. А что там еще? Что-нибудь подписать?

Камилло Рота. Нужно подписать смертный приговор.

Принц. Весьма охотно!.. Давайте сюда! Быстрей!

Камилло Рота *(в изумлении глядя на принца)*. Смертный приговор, я сказал.

Принц. Прекрасно слышу. Я бы успел уже это сделать. Я тороплюсь.

Камилло Рота *(просматривает свои бумаги)*. Я, как видно, не захватил его с собой! Простите меня, ваша светлость. С этим можно повременить до завтра.

Принц. Можно и так. Собирайте же бумаги! Мне нужно ехать... Завтра, Рота, займемся подольше. *(Уходит.)*

Камилло Рота *(качает головой, собирает бумаги и направляется к выходу)*. «Весьма охотно!» Смертный приговор – весьма охотно!

В эту минуту я бы не дал подписать приговор, даже если бы дело шло об убийце моего единственного сына. Весьма охотно! Весьма охотно! Это ужасное «весьма охотно» пронзает мне душу!

## Действие второе

### Явление шестое

#### Эмилия и Клаудия Галотти.

Эмилия (*вбегает, в страхе и смятении*). Слава богу! Слава богу! Теперь я в безопасности. Или он и сюда последовал за мной? (*Откинув вуаль и увидев мать.*) Не преследует ли он меня, матушка? Нет, благодарение небу!

Клаудия. Что с тобой, дочь моя? Что с тобой?

Эмилия. Ничего, ничего... [...]

Клаудия. Приди в себя! Соберись с мыслями, насколько это возможно... Скажи мне: что с тобой случилось?

Эмилия. Только я преклонила колена – дальше от алтаря, чем обычно, потому что я слишком поздно пришла... только стала возносить мое сердце к Всевышнему, как кто-то занял место вплотную сзади меня, совсем вплотную сзади меня! Я не могла отодвинуться ни вперед, ни в сторону, как ни хотела: я боялась, что молитва кого-либо из соседей помешает мне сосредоточиться... Молитва! Вот самое страшное, чего я боялась... Но прошло немного времени, и я услышала совсем у своего уха... после глубокого вздоха... не имя святого., а имя... не сердитесь, матушка, имя вашей дочери... Мое имя... О, если бы удар грома не дал мне дольше слушать!.. Он говорил о красоте, о любви... Он жаловался, что этот день, означающий счастье для меня, навсегда делает его несчастным... Он заклинал меня... Мне пришлось все это выслушать. Но я не оборачивалась. Я хотела показать вид, будто ничего не слышу. Что могла я сделать еще?.. Молить моего доброго ангела, чтобы он поразил меня глухотой, хотя бы даже навеки! Я молила его об этом. Единственно об этом могла я молиться... Наконец пришло время снова подняться. Служба кончилась. Я дрожала, боясь увидеть того, кто осмелился позволить себе такую наглость. И когда я обернулась и когда я его увидела...

Клаудия. Кого, дочь моя? [...]

Эмилия. Принца.

Клаудия. Принца!.. Да будет благословенно нетерпение твоего отца, который только что был здесь и не захотел тебя дожидаться!

Эмилия. Отец был здесь и не захотел меня дожидаться?

Клаудия. Если бы ты в твоём смятенье и ему рассказала все это...

Эмилия. Что же, матушка? Что ж он мог бы осудить во мне?

Клаудия. Ничего, так же, как и во мне. И все же, все же... Ах, ты не знаешь твоего отца! В своем гневе он смешал бы преступника с невинной жертвой. В бешенстве ему бы показалось, что я способствовала тому, чего я не могла ни предупредить, ни предвидеть. Но дальше, дочь моя, дальше! Когда ты узнала принца... Я надеюсь, что ты достаточно овладела собой и выразила ему взглядом все презрение, которого он заслуживает.

Эмилия. Я не овладела собой, матушка. После первого взгляда, когда я его узнала, у меня не хватило мужества еще раз на него посмотреть. Я побежала...

Клаудия. А принц за тобой...

Эмилия. Я этого не знала, пока на паперти не почувствовала, как меня схватили за руку. Это был он! От стыда я должна была остановиться. Вырваться от него? Но это обратило бы на нас внимание проходящих. Вот единственная мысль, на которую я была еще способна или о которой еще помню. Он говорил, и я ему отвечала. Но что говорил он, что я отвечала...

если вспомню, – да... тогда я расскажу вам, матушка. Сейчас я ничего не знаю. Я была как в беспамятстве. Тщетно пытаюсь припомнить, как вырвалась я от него и выбежала прочь. Я опомнилась уже на улице. И слышу, как он бежит за мной, и слышу, как он вслед за мной вступает в дом, вместе со мной поднимается по лестнице... [...]

### Явление седьмое

#### Те же и граф Аппиани.

Аппиани (*входит, глубоко задумавшись, опустив глаза; он приближается, не замечая Эмилию, пока она сама не подбегает к нему*). Ах, моя дорогая! Я не ожидал встретить вас в гостинной.

Эмилия. Я бы желала, чтобы вы, граф, были веселее даже там, где вы не ожидаете меня встретить... Так торжественны? Так задумчивы? Разве этот день не заслуживает более радостных порывов?

Аппиани. Он стоит большего, чем вся моя жизнь. Но он полон для меня такого блаженства, что, может быть, само это блаженство делает меня столь задумчивым или, как вы называете, торжественным.

(*Заметив мать Эмилию.*) Ах, и вы здесь, сударыня! Скоро я буду называть вас именем более нежным!

Клаудия. И оно будет моею величайшей гордостью! Как ты счастлива, моя Эмилия! Почему твой отец не пожелал разделить нашей радости?

Аппиани. Я только что вырвался из его объятий, вернее – он из моих. Моя Эмилия, что за человек ваш отец! Образец всех мужских добродетелей. В какую высь поднимается моя душа, когда я с ним! Моя решимость всегда быть добрым и благородным никогда не бывает сильнее, чем когда я его вижу, чем когда я думаю о нем. И чем же еще, как не воплощением этого желания, я могу сделать себя достойным чести называться его сыном, быть вашим, моя Эмилия?

Эмилия. И он не пожелал меня подождать!

Аппиани. Я думаю, это потому, что Эмилия в это краткое посещение слишком бы потрясла его, слишком овладела бы всей его душой.

Клаудия. Он думал, ты занята своим свадебным нарядом, а услышал...

Аппиани. То, что и я услышал от него с умилением и восторгом... Как прекрасно, моя Эмилия! Я найду в вас благочестивую жену, которая притом же не гордится своим благочестием [...]

### Явление девятое

Те же и Пирро, тотчас вслед за ним Маринелли.

Пирро. Сударыня, маркиз Маринелли остановился перед домом и спрашивает графа.

Аппиани. Меня?

Пирро. Вот и он сам. (*Открывает дверь и выходит.*)

Маринелли. Прошу извинить меня, сударыня. Граф, я был у вас и узнал, что вы здесь. У меня к вам неотложное дело. Сударыня, я еще раз прошу извинения. Это отнимет несколько минут.

Клаудия. Я не хочу затягивать эти минуты. (*Кланяется и уходит.*)

## Явление десятое

Маринелли и Аппиани.

Аппиани. Итак, сударь?

Маринелли. Я пришел от лица его светлости принца.

Аппиани. Что ему угодно?

Маринелли. Я горжусь, что мне выпало сообщить вам о столь высокой милости. И если граф Аппиани упорно не хочет признать в моем лице одного из своих преданнейших друзей...

Аппиани. Нельзя ли без предисловий, если смею просить?

Маринелли. Хорошо! Принц должен тотчас же отправить к герцогу Массанскому посланника по случаю своей свадьбы с его дочерью. Он долго не мог решиться, кого назначить. Наконец его выбор, граф, пал на вас.

Аппиани. На меня? [...]

Маринелли. Так поедем.

Аппиани. Куда?

Маринелли. В Дозало, к принцу. Все уже готово, и вы должны уехать сегодня же. [...]

Аппиани. В самом деле? В таком случае мне очень жаль, что я вынужден отказаться от чести, которую мне оказывает принц.

Маринелли. Как?

Аппиани. Сегодня выехать я не могу... и завтра тоже не могу... и послезавтра тоже!

Маринелли. Граф, вы шутите! [...]

Аппиани. Нет, сударь, нет... И я надеюсь, что сам принц признает мое извинение заслуживающим внимания.

Маринелли. Мне было бы любопытно его услышать.

Аппиани. О, безделица! Я, видите ли, сегодня женюсь [...]

Маринелли. Бывали примеры, граф, когда свадьба откладывалась. Я, конечно, не думаю, что этим всегда оказывали услугу невесте или жениху. Дело может иметь и свою неприятную сторону. Но все же, думается мне, приказание государя...

Аппиани. Приказание государя? Государя? Государь, которого сам себе избираешь, собственно говоря, не вполне и государь. Я согласен с тем, что вы обязаны принцу безусловным повиновением. Но я – нет. Я прибыл ко двору принца по своей охоте. Я хотел иметь честь ему служить, но не быть его рабом. Я – вассал сюзерена более могущественного...

Маринелли. Могущественный или слабый, повелитель есть повелитель.

Аппиани. Разве я стану с вами спорить об этом? Довольно! Передайте принцу то, что вы от меня слышали. Скажите: мне очень жаль, что я не могу воспользоваться его милостью, ибо именно сегодня я вступаю в союз, который составляет все мое счастье... [...]

## Действие третье

### Аванзала на вилле принца

## Явление первое

Принц и Маринелли.

Маринелли. Напрасно. Он с величайшим презрением отверг предложенную ему честь.

Принц. И на этом дело остановилось? Так это совершится? Значит, еще сегодня она будет принадлежать ему?

Маринелли. По всей вероятности.

Принц. Я так много ожидал от вашего плана!.. Кто знает, как глупо вы себя при этом вели. Если глупец и подаст незначай хороший совет, то выполнение его следует поручить умному человеку. Это я должен был принять в расчет [...]

*Вдали слышен выстрел.*

Принц. В чем дело? Что случилось?

Маринелли. А как вы думаете? Что, если я оказался деятельнее, чем вы полагали?

Принц. Деятельнее?.. Так расскажите...

Маринелли. Одним словом: то, о чем я говорил, сейчас осуществляется.

Принц. Возможно ли?

Маринелли. Только не забывайте, принц, в чем вы мне сейчас ручались... Я имею еще раз ваше слово...

Принц. Но меры таковы...

Маринелли. Таковы, какими только могут быть! Исполнение доверено людям, на которых я могу положиться. Дорога проходит возле самой ограды зверинца. Здесь часть моих людей нападет на карету, как будто для грабежа. Остальные, с которыми один из моих слуг, бросятся из зверинца, будто бы на помощь жертвам. Во время драки, которую для виду затеют и те и другие, мой слуга должен схватить Эмилию, словно желая ее спасти, и через зверинец принести во дворец... Так мы уговорились. Что скажете теперь, принц? [...]

### **Явление третье**

Принц и Маринелли.

Принц. Вот она идет по аллее. Она спешит, слугу оставила позади. Словно страх окрыляет ее. Она не подозревает еще ни о чем. Думает только, что спаслась от разбойников... Но долго ли это будет так?

Маринелли. Но она все же в наших руках.

Принц. А разве мать ее не разыщет? Разве граф не последует за ней? Что же мы будем потом делать? Как смогу я не пустить ее к ним?

Маринелли. На все это я, разумеется, еще не могу дать ответа. Увидим. Потерпите, ваша светлость. Нужно же было сделать первый шаг.

Принц. Зачем? Если нам придется отступить?

Маринелли. Может быть, и не придется. Тут тысяча вещей, на которые можно будет опереться... И разве вы забыли самое главное?

Принц. Как могу я забыть то, о чем, конечно, и не думал. Самое главное? Что же это?

Маринелли. Искусство нравиться, искусство убеждать... в нем никогда не ощущал недостатка принц, который любит.

Принц. Никогда не ощущал недостатка? Кроме тех случаев, когда оно ему было всего нужней... Я сегодня уже совершил весьма неудачную попытку применить это искусство. Ни комплиментами, ни клятвами не мог я вырвать у нее хотя бы слово. Немая и дрожащая, с опущенной головой стояла она, словно преступница, что слушает свой смертный приговор. И меня заразил ее страх, я задрожал и кончил тем, что просил о прощении. Я едва осмелюсь снова заговорить с ней. Во всяком случае я не решусь встретить ее здесь, когда она войдет. Вы, Маринелли, должны ее принять. Я буду здесь поблизости, послушаю, какой оборот примет дело, и войду, когда соберусь с силами [...]

## Явление пятое

Принц, Эмилия, Маринелли.

Принц. Где она? Где? Мы разыскиваем вас повсюду, прекраснейшая Эмилия. Вы хорошо чувствуете себя? Ну, тогда все хорошо! Граф и ваша матушка...

Эмилия. Ах, ваша светлость! Где они? Где моя матушка?

Принц. Недалеко отсюда. Совсем поблизости.

Эмилия. Боже, в каком состоянии я, может быть, увижу матушку или графа! Это, конечно, так! Ведь вы что-то скрываете от меня, ваша светлость. Я вижу, вы что-то скрываете от меня.

Принц. Да нет, нет! Дайте мне вашу руку и следуйте за мной без страха.

Эмилия (*нерешительно*). Однако... если с ними ничего не случилось... если предчувствие обманывает меня... почему же они не здесь? Почему они не пришли вместе с вами, ваша светлость?

Принц. Так поспешите же, сударыня, и вы увидите, как все страшные картины сразу исчезнут.

Эмилия. Что мне делать? (*Ломает руки.*)

Принц. Как, сударыня? Я внушаю вам подозрение?

Эмилия (*бросается на колени перед принцем*). У ваших ног, принц...

Принц (*поднимая ее*). Я крайне пристыжен... Да, Эмилия, я заслужил этот немой упрек. Мое поведение сегодня утром ничем нельзя оправдать... в лучшем случае его можно извинить. Простите меня за слабость. Я не должен был беспокоить вас никакими признаниями, от которых не мог ожидать никакого успеха. Я достаточно был наказан тем безмолвным смущением, с которым вы их слушали, или, вернее, не слушали... И этот случай, благодаря которому мне снова дано счастье видеть вас и говорить с вами, прежде чем исчезнут все мои надежды... этот случай я мог бы истолковать как знак благосклонной судьбы... истолковать как чудесную отсрочку окончательного приговора, чтобы еще раз осмелиться просить о помиловании, но я хочу – не дрожите, сударыня! – зависеть единственно и только от вашего взгляда. Ни единое слово, ни единый вздох не должен вас оскорбить... Только не терзайте меня вашим недоверием. Только не сомневайтесь ни на минуту в вашей неограниченной власти надо мной. Только бы вам никогда не приходило в голову, что вы нуждаетесь в чьей-либо защите от меня... А теперь идите, сударыня... пойдете туда, где вас ожидает чудесная радость, которой вы более достойны. (*Уводит ее почти насильно.*) Следуйте за нами, Маринелли!

Маринелли. «Следуйте за нами». Это должно означать – «не следуйте за нами»! Да зачем мне и следовать за ними? Пусть теперь увидит, как далеко удастся ему довести дело с ней с глазу на глаз... Единственная моя забота – не допустить, чтобы кто-нибудь им помешал. От графа я этого не ожидаю. Но ее мать, ее мать! Меня бы очень удивило, если бы она спокойно удалилась и оставила дочь на произвол судьбы [...]

## Явление восьмое

Клаудия Галотти и Маринелли.

Клаудия. Вы здесь, сударь! И дочь моя здесь? И вы, вы проводите меня к ней?

Маринелли. С величайшей радостью, сударыня.

Клаудия. Погодите!.. Мне только что пришло в голову... Ведь это были вы, не правда ли? Это вы сегодня утром разыскивали графа в моем доме? Это с вами я оставила его наедине? Это с вами у него произошла ссора?

Маринелли. Ссора? Это для меня ново. Небольшой спор по делам принца...



Клаудия. И вас зовут Маринелли?

Маринелли. Маркиз Маринелли.

Клаудия. Значит, так и есть! Слушайте же, господин маркиз... Маринелли... Имя Маринелли было... вместе с проклятьем... Нет, я не стану клеветать на благородного человека... Без всякого проклятья... Проклятье я прибавила сама... Имя Маринелли было последним словом умирающего графа.

Маринелли. Умирающего графа? Графа Аппиани? Вы слышите, сударыня, что сильнее всего поражает меня в ваших странных словах... умирающего графа?.. Что вы еще хотели сказать, я просто не понимаю...

Клаудия (*медленно и с горечью*). Имя Маринелли было последним словом умирающего графа! Вы теперь понимаете? Сперва я не поняла: это было сказано с таким выражением... с таким выражением... Я слышу этот тон еще сейчас! Где был мой разум? Как я сразу не поняла, что значит этот тон?

Маринелли. Что ж, сударыня! Я был с давних пор другом графа, его вернейшим другом. Итак, если он, умирая, произнес мое имя...

Клаудия. Но каким тоном? Я не могу его воспроизвести, не могу описать, но в нем заключалось все, все!.. Как? Напавшие на нас были грабители? Это были убийцы, подкупленные убийцы! И «Маринелли, Маринелли» – вот было последнее слово умирающего графа! И каким тоном он произнес его! [...]

Маринелли. Я прощаю все это испуганной матери. Пойдемте, сударыня. Ваша дочь здесь, в одной из соседних комнат. Надеюсь, она уже совсем оправилась от испуга. С нежнейшей заботливостью сам принц занят ею...

Клаудия. Кто? Кто – сам?

Маринелли. Принц.

Клаудия. Принц? В самом деле принц! Наш принц?

Маринелли. Какой же еще?

Клаудия. Если так, я – несчастная мать! А ее отец, ее отец! Он проклянет час ее рождения! Он проклянет меня!

Маринелли. Ради всего святого, сударыня! Что это вам приходит в голову?

Клаудия. Все ясно! Разве нет? Сегодня в храме! Пред очами пречистой девы! В присутствии предвечного началось это мерзкое дело. Там оно началось... (*Обращаясь к Маринелли.*) Убийца! Трусливый, презренный убийца! Тебе не хватает мужества, чтобы убивать своей рукой, но ты достаточно гнусен, чтобы убивать для удовлетворения чужой похоти! Чтобы убивать с чужой помощью! Отребье среди убийц! Честные убийцы не потерпят тебя в своем кругу! Да, тебя! Тебя! Почему бы мне в едином слове не изрыгнуть тебе в лицо всю мою желчь, всю мою слюну! Тебе! Тебе, сводник!

## Действие четвертое

### Явление второе

Баттиста, Принц и Маринелли.

Баттиста (*поспешно*). Только что приехала графиня!

Принц. Графиня? Какая графиня?

Баттиста. Орсина.

Принц. Орсина?.. Маринелли! Орсина?.. Маринелли!

Маринелли. Меня это поражает не менее, чем вас.

Принц. Ступай, Баттиста, беги: пусть она не выходит из кареты. Меня здесь нет. Меня здесь нет для нее. Пусть сейчас же едет обратно! Иди! Беги!

*Баттиста уходит.*

Чего хочет эта безумная? Что она себе позволяет? Откуда она знает, что мы здесь? Неужели она стала следить за мной? Неужели она уже что-нибудь узнала? Ах, Маринелли! Да говорите же, отвечайте же! Неужели оскорбился тот, кто считает себя моим другом? И из-за какого ничтожного спора! Не должен ли я просить прощения?

Маринелли. Ах, мой принц, как только вы снова становитесь самим собой, я снова всей душою ваш. Приезд Орсины – для меня загадка, как и для вас. Но вряд ли она допустит, чтоб ее не приняли. Что вы думаете делать?

Принц. Я не хочу с нею говорить. Я удалюсь отсюда. Маринелли. Хорошо! Только поскорее! Я приму ее. [...]

### Явление третье

Графиня Орсина, Маринелли.

Орсина (*не замечая сначала Маринелли*). Что это значит? Никто меня не встречает, кроме какого-то наглеца, который не хотел было и впустить меня? Ведь я в Дозало? В Дозало, где прежде целый сонм угодливых льстецов выбегал мне навстречу? Где прежде ожидали меня любовь и восторги? Место то же, но... но... А, Маринелли, вы здесь! Очень хорошо, что принц взял вас с собой... Нет, нехорошо. То, что я должна решить с ним, я только с ним решить и могу... Где он?

Маринелли. Принц, любезная графиня?

Орсина. А кто же еще?

Маринелли. Так вы полагаете, что он здесь? Вы знаете, что он здесь? Он по крайней мере не предполагает, что здесь графиня Орсина [...]

### Явление четвертое

Принц, Орсина и Маринелли.

Принц (*выходя из кабинета, про себя*). Нужно прийти к нему на помощь...

Орсина (*увидев его, не может решиться к нему подойти*). А! Вот он!

Принц (*проходит через залу мимо графини в другую комнату, говорит на ходу, не останавливаясь*). Смотрите-ка! Наша прелестная графиня. Как я сожалею, сударыня, что сегодня так мало могу насладиться посещением, которым вы удостоили меня. Я занят. Я не один... В другой раз, моя милая графиня, в другой раз. Сейчас не задерживайтесь! Да, не задерживайтесь! А вас, Маринелли, я жду.

### Явление пятое

Орсина и Маринелли.

Маринелли. Ну вот, любезная графиня, вы от него самого слышали то, чему не хотели верить, когда я вам это говорил.

Орсина (*как оглушенная*). Слышала ли я? В самом ли деле слышала?

Маринелли. В самом деле.

Орсина (печально). «Я занят. Я не один». И это все извинение, которого я достойна? От кого только не отделяются такими словами! От любого надоедливого посетителя, от любого просителя. Для меня он даже ничего не мог солгать? Никакого пустяка не мог придумать для меня? Занят? Чем же? Не один? Кто бы мог быть у него? Идите сюда, Маринелли, из милосердия, милый Маринелли! Измыслите какую-нибудь ложь на свой страх. Что стоит вам солгать? Что у него за дело? Кто у него? Скажите мне, ну, скажите первое, что вам подвернется на язык... и я уйду.

Маринелли (*про себя*). На этом условии я, конечно, могу сказать ей и частицу правды.[...]

Орсина. Хорошо... Так я вам открою нечто... нечто такое, от чего у вас волосы станут дыбом на голове... Но здесь, так близко от двери, нас кто-нибудь может услышать. Подойдите сюда. И... (*подносит палец к губам*) слушайте! Но держите это в совершенной тайне, в совершенной тайне! (*Приближает губы к его уху, словно хочет шепнуть на ухо, но громко кричит.*) Принц – убийца!

Маринелли. Графиня... Графиня... Вы лишились рассудка!

Орсина. Рассудка? Ха-ха-ха! (*Хохочет во все горло*). Редко когда, даже никогда не была я так довольна своим рассудком, как именно сейчас. Но это тайна, Маринелли!.. Это останется между нами. (*Тихо.*) Принц – убийца! Убийца графа Аппиани! Графа убили не разбойники, его убили пособники принца, его убил принц! [...]

## ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Одоардо Галотти, Орсина и Маринелли.

Одоардо Галотти. Извините меня, сударыня...

Орсина. Мне здесь нечего извинять. Ведь мне здесь не на что обижаться... Обращайтесь вот к этому господину. (*Указывает на Маринелли.*)

Маринелли (*увидев Галотти, про себя*). Ну, конечно! Старик!..

Одоардо. Простите, сударь, отцу, который пребывает в крайнем замешательстве, что он входит сюда без доклада.

Орсина. Отец? (*Возвращается.*) Без сомнения, отец Эмилии? А, добро пожаловать!

Одоардо. Мне встретился слуга, скакавший с известием, что неподалеку отсюда мое семейство подверглось нападению. Я примчался сюда и узнаю, что граф Аппиани ранен, что он вернулся в город, что жена моя с дочерью спаслись и укрылись здесь на вилле... Где они, сударь? Где они?

Маринелли. Успокойтесь, господин полковник. С вашей супругой и вашей дочерью ничего не случилось. Они отделались испугом. Обе чувствуют себя хорошо. С ними принц. Я сейчас же пойду доложить о вас.

## ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Графиня Орсина, Одоардо Галотти.

[...]

Орсина. Добрый и милый отец. Чего бы я ни дала, чтобы вы были и моим отцом... Простите... Несчастные с такой готовностью привязываются друг к другу. Я бы честно хотела делить с вами скорбь и возмущение.

Одоардо. Скорбь и возмущение? Сударыня... Но я забыл... Говорите же.

Орсина. Что, если это единственная ваша дочь? Ваше единственное дитя? Впрочем, единственное или нет, разве не все равно? Несчастное дитя всегда единственное.

Одоардо. Несчастное?.. Сударыня!.. Впрочем, чего ж я хочу от нее?.. Но, клянусь богом, безумные так не говорят!

Орсина. Безумные? Значит, вот что он сказал вам обо мне. Ну, что же, это, может быть, еще не самая грубая его ложь. Я подозреваю что-то в этом роде!.. И верьте, верьте мне: кто при некоторых обстоятельствах не лишится рассудка, тому нечего лишаться.

Одоардо. Что мне думать?

Орсина. Вы не должны презирать меня! Ведь и у вас есть рассудок, добрый старик, и у вас... я вижу это по решительному выражению вашего лица... и у вас есть рассудок, а стоит сказать мне слово, и вы его лишитесь.

Одоардо. Сударыня! Сударыня! Я лишусь его еще до того, как вы мне скажете это слово, если вы не скажете мне его сейчас же!.. Скажите мне его! Скажите мне его! Или неправдой, неправдой будет то, что вы принадлежите к числу тех безумных, которые достойны нашего сострадания, нашего уважения... Вы попросту глупы. У вас нет того, чего у вас и не было.

Орсина. Так слушайте же! С чего это вы решили, будто вы все уже знаете? Вы знаете, что Аппиани скончался?

Одоардо. Умер? Умер? Ах, сударыня, вы нарушаете уговор. Вы хотели лишиться меня рассудка, а разываете мне сердце.

Орсина. Это лишь так, между прочим! Но далее... жених убит, а невеста – ваша дочь... то, что совершилось с ней, хуже смерти.

Одоардо. Хуже... хуже смерти?.. Но, значит, она при этом и умерла. Ведь я знаю только одно, что хуже...

Орсина. Нет, не умерла. Нет, добрый отец, нет! Она жива, она жива. Теперь-то она только начнет жить по-настоящему. Жизнь, полная наслаждений. Самая прекрасная, самая веселая, привольная жизнь – до тех пор, пока она не кончится.

Одоардо. Но где же слово, сударыня, то единственное слово, которое должно меня свести с ума! Скажите же его! Не лейте ваш яд по капле. Одно это слово! Скорей!

Орсина. Хорошо. Составьте же его по слогам! Утром принц во время мессы говорил с вашей дочерью. После обеда она у него в его увеселительной... увеселительной резиденции.[...]

## Действие пятое

Там же.

### Явление первое

Маринелли и принц.

Маринелли. Вот, ваша светлость, из этого окна вы можете его видеть. Он расхаживает взад и вперед по галерее. Он как раз поворачивает, идет сюда... Нет, опять повернул обратно... Он еще не пришел к окончательному решению. Но стал гораздо спокойней, или, может быть, только кажется, что так. Для нас это безразлично... конечно! Разве он посмеет высказать то, что ему вбили в голову обе женщины? Баттиста слышал, что жена должна сейчас выслать за ним карету. Ведь он приехал верхом. Увидите, когда он явится к вам, он будет всеподданнейше благодарить вашу светлость за милостивую защиту, которую здесь обрело его семейство при этом столь печальном случае. Он будет просить о дальнейших милостях к нему и к его дочери, спокойно доставит ее в город и будет с величайшей покорностью ждать, какое дальнейшее участие соизволит ваша светлость принять в его несчастной и прелестной дочери.

Принц. А если он не так смирен? И вряд ли, вряд ли он будет таким. Я знаю его слишком хорошо. Что, если он, – это самое большее, чего я жду, – заглушит свои подозрения, подавит свое бешенство, но вместо того, чтобы отвезти Эмилию в город, возьмет ее с собой? Задержит у себя? Или даже запрячет в монастырь где-нибудь за пределами моих владений? Что тогда?

Маринелли. Опасливая любовь дальновидна. Право же! Но он ведь не станет...

Принц. А если станет?.. Как тогда? Какая нам тогда польза, что несчастный граф из-за этого лишился жизни?

Маринелли. К чему эта печальная оглядка по сторонам? Вперед! Так думает победитель. Пусть падают около него враги или друзья... А хотя бы и так! А если б этот старый завистник и хотел сделать то, чего вы опасаетесь? (*Размышляя.*) Пускай! Нашел... Дальше одного желанья он безусловно не сможет пойти. Безусловно не пойдет!.. Но не надо терять его из виду... (*Снова подходит к окну.*) Еще минута – и он застал бы нас врасплох! Идет сюда... Уклонимся еще от встречи с ним. Выслушайте сперва, принц, что нам надо делать в том случае, которого приходится опасаться.

Принц (*угрожающим тоном*). Только, Маринелли...

Маринелли. Самая безобидная вещь на свете [...]

### Явление седьмое

Эмилия и Одоардо.

Эмилия. Как? Вы здесь, отец? И вы один? А матушка? Ее здесь нет? А граф? Его здесь нет? И вы, отец, так взволнованы.

Одоардо. А ты так спокойна, дочь моя?

Эмилия. Почему мне не быть спокойной, отец? Или ничего не потеряно, или все! Можем ли мы быть спокойны или должны быть спокойны, – разве это не все равно?

Одоардо. Как тебе кажется, однако, – можем или должны?

Эмилия. Я думаю, что все потеряно и что мы должны быть спокойны.

Одоардо. И ты спокойна, потому что должна быть спокойна? Кто ты? Девушка? Дочь моя? Значит, мужчина и отец должен краснеть перед тобой. Но дай узнать: что ты разумеешь, когда говоришь «все потеряно»? Что граф убит?

Эмилия. А за что он убит? За что? Ах, значит, это правда, отец? Стало быть, правда – вся эта страшная повесть, которую я прочитала в глазах моей матери, влажных от слез? Где она? Куда она исчезла, отец мой?

Одоардо. опередила нас... если мы только последуем за ней.

Эмилия. Чем скорее, тем лучше! Ведь если граф убит, если он убит из-за этого... из-за этого! Почему мы еще медлим здесь? Бежим скорее, отец!

Одоардо. Бежим? К чему это? Ты сейчас находишься и останешься в руках твоего похитителя.

Эмилия. Останусь в его руках?

Одоардо. И одна. Без матери, без меня.

Эмилия. Я – одна в его руках? Отец мой, никогда! Или вы мне не отец... Я – одна в его руках? Хорошо, только оставьте меня, только оставьте меня... Я посмотрю, кто может меня удержать, кто может меня принудить, кто этот человек, который может принуждать другого человека.

Одоардо. Мне кажется, ты спокойна, дитя мое.

Эмилия. Да, спокойна. Но что вы называете быть спокойной? Сложить руки? Страдать незаслуженно? Сносить то, чего не должно?

Одоардо. Ах, если ты так думаешь! Дай обнять тебя, дочь моя! Я всегда говорил: женщину природа хотела сделать венцом творенья. Но она ошиблась при выборе глины: она взяла слишком нежную. В остальном же все лучше у вас, чем у нас. Ах, если это – твое спокойствие, то и я обретаю в нем вновь свой покой. Дай обнять тебя, дочь моя! Подумай только: под предлогом судебного следствия – о, адский обман! – он отрывает тебя от нас и отвозит к Гримальди.

Эмилия. Отрывает меня? Меня отвозит? Хочет меня оторвать? Хочет меня увезти? Хочет? Это он хочет? Словно у нас нет своей воли, отец?

Одоардо. Я пришел в такую ярость, что схватился уже за этот кинжал (*вынимает кинжал*), чтобы пронзить сердце одному из них... нет, обоим.

Эмилия. Ради самого неба, не надо, отец! Эта жизнь – единственное, что дано порочным людям. Мне, отец, мне дайте этот кинжал.

Одоардо. Дитя, это не шпилька для волос.

Эмилия. Так пусть же шпилька станет кинжалом! Все равно.

Одоардо. Как? Неужели дошло до этого? Нет же, нет! Опомнись. Ведь и у тебя всего одна жизнь.

Эмилия. И всего одна невинность.

Одоардо. И она превыше всякого насилия.

Эмилия. Но не сильнее всякого соблазна... Насилие, насилие! Кто не даст отпора насилию? То, что называют насилием, это – ничто. Соблазн – вот настоящее насилие... В моих жилах кровь, отец, молодая, горячая кровь. И чувства мои – человеческие чувства. Я ни за что не отвечаю. Я неспособна бороться. Я знаю дом Гримальди. Это дом веселья. Один только час, проведенный там на глазах у моей матери... и в душе моей поднялось такое смятение, что вся строгость религии едва могла унять его в течение нескольких недель. Религии! И какой религии! Чтобы избежать этой беды, тысячи людей бросались в пучину. Теперь они причислены к лику святых! Дайте, отец, дайте мне этот кинжал!

Одоардо. Если бы ты знала, что это за кинжал!

Эмилия. Ну, а если я его не знаю. Неизвестный друг – все же друг. Дайте мне его, отец, дайте!

Одоардо. А если я тебе дам его... Вот он! (*Отдает ей кинжал.*)

Эмилия. И вот! (*Хочет заколоться, но отец вырывает у нее кинжал.*)

Одоардо. Смотри, как быстро!.. Нет, это не для твоей руки.

Эмилия. Правда. Я должна шпилькой... (*Ищет шпильку в волосах и натывает рукой на розу.*) Ты еще здесь? Прочь! Тебе не место в волосах какой-нибудь... той, кем должна я стать по воле моего отца!

Одоардо. О дочь моя!..

Эмилия. О отец, если я угадала вашу мысль... Но нет! Вы этого не хотите. Иначе зачем же вам медлить? (*С горечью говорит, обрывая лепестки розы.*) Был некогда отец, который, для того чтобы спасти дочь от позора, вонзил сталь в ее сердце и во второй раз дал ей жизнь. Но все эти подвиги – в далеком прошлом. Таких отцов больше уж нет!

Одоардо. Нет, есть еще, дочь моя, есть еще! (*Закалывает ее.*) Боже, что я сделал! (*Эмилия падает, он заключает ее в свои объятия.*)

Эмилия. Сорвали розу, прежде чем буря унесла ее лепестки... Дайте мне, отец, поцеловать вашу руку.

## Явление восьмое

Те же, Принц и Маринелли.

Принц (*входя*). Что это? Эмилии дурно?

Одоардо. Ей очень хорошо! Очень хорошо!

Принц (*подходя ближе*). Что я вижу? О ужас!

Маринелли. Горе мне!

Принц. Бесчеловечный отец, что вы сделали?

Одоардо. «Сорвал розу, прежде чем буря унесла ее лепестки». Не так ли, дочь моя?

Эмилия. Не вы, отец... Я сама, я сама...

Одоардо. Не ты, дочь моя... Не ты! Не уходи из этого мира со словами лжи. Не ты, дочь моя! Это – твой отец, твой несчастный отец!

Эмилия. Ах, отец мой... (*Умирает.*)

Одоардо (*бережно опускает ее на пол*). Переселись в мир иной! Ну что же, принц? Нравится она вам еще? Возбуждает она еще вашу страсть и теперь, вся в этой крови, вопиющей об отпущении? (*После паузы.*) Но вы ожидаете, чем все это кончится? Вы, может быть, ждете, что я обращу эту сталь против самого себя, чтобы завершить мое деяние финалом из пошлой трагедии? Вы ошибаетесь. Вот! (*Бросает кинжал к ногам принца.*) Вот он лежит, кровавый свидетель моего преступления! Я пойду и сам отдамся в руки тюремщиков. Я иду и ожидаю вас как моего судью... А потом там... буду ждать вас пред лицом судии, который будет судить всех нас!

Принц (*после молчания, во время которого он с ужасом и отчаянием смотрит на труп, обращаясь к Маринелли*). Ну, подними ее. Что же? Ты не решаешься? Несчастный! (*Вырывает у него кинжал.*) Нет, твоя кровь не должна смешаться с этой кровью!.. Ступай, скройся навеки!.. Ступай, говорю я!.. Боже, боже!.. Неужели мало и того, что государи, к всеобщему несчастью, такие же люди, как все? Неужели еще и дьяволы должны прикидываться их друзьями?

#### **Вопросы и задания:**

1. Какова основная тема трагедии? Ее центральный конфликт?
2. К какой исторической фабуле прибегает Лессинг в трагедии?
3. С помощью каких средств драматург добивается трагического эффекта?
4. В чем отличие драматических характеров Эмилии и принца Гонзаго от характеров Маринелли и Одоардо?

\* \* \*

#### **Предтекстовое задание:**

Прочитайте отрывок драмы Г. Э. Лессинга «Натан Мудрый» (1779), обращая внимание на философскую проблематику притчи о трех кольцах.

## **Натан Мудрый** **Драма в пяти действиях** **Перевод с немецкого В. С. Лихачёва**

### **Действие третье**

#### **Явление пятое**

[...]

Саладин

Совсем другого я, совсем другого  
Жду от тебя. И раз уж так ты мудр,  
Ты вот что мне скажи: какую веру,  
Какой закон считаешь ты всех лучше?

Натан

Султан, ведь я – еврей.

Саладин

Я мусульманин;  
А христианин – третий между нами.  
Но лишь одна из этих трех религий  
Быть истинною может. Человек  
Такой, как ты, не будет оставаться  
При том, к чему случайностью рожденья  
Он приведен был; если же и будет,  
То, значит, он продумал все основы  
И лучшее себе избрал. Так вот  
Скажи и мне: какие основанья  
Для выбора? Мне как-то недосуг  
Над этим поразмыслить. Дай же мне  
Узнать твой выбор и его основу, –  
Конечно, это будет между нами, –  
Чтоб мне свой выбор также сделать. Ну?  
Ты поражен? Ты смотришь удивленно?  
Что ж, может быть, и первый я султан  
С такой причудой; но она, пожалуй,  
Достоинство султана не роняет.  
Не правда ли? Ну, что же? Говори!  
Иль дать тебе минуту пообдумать?  
Изволь, даю. [...]

Натан

[...] Но от меня, султан, ты ждешь ответа.  
Начать его мне было бы удобней  
Со сказочки. Позволишь? [...]  
В глубокой тьме времен в стране восточной  
Жил человек; был перстень у него –  
Руки любимой дар – с бесценным камнем.  
То был опал с игрою многоцветной,  
И обладал тот камень тайной силой:  
Кто с верою носил его, всегда  
Приятен был и Господу и людям.  
Так мудрено ль, что этот человек  
Не только день и ночь не расставался  
С сокровищем своим, но и навеки  
Решил его в потомстве сохранить?  
Решил и сделал так: оставил перстень  
Из сыновей любимому, чтоб тот  
Сам завещал его любимцу сыну



И чтоб такой избранник, невзирая  
На возраст свой, одной лишь силой перстня  
Главенствовал и властвовал над родом.  
Внимай, султан. [...]  
От сына к сыну так переходя,  
Достался, наконец, заветный перстень  
Отцу трех сыновей; и как все трое  
Равно ему во всем покорны были,  
Так всех троих равно и он любил.  
И лишь по временам отцу казалось,  
Что перстня наиболее достоин  
То старший сын, то средний, то меньшей,  
Тот, словом, сын, который с ним глаз на глаз,  
Без братьев, оставался и невольно  
Один овладевал его любовью.  
Не выдержало любящее сердце –  
И перстень чудодейственный был порознь  
Обещан всем троим. Так время шло.  
Не за горами смерть. Отец, чем дальше,  
Тем больше все смущается, скорбит:  
Двух сыновей приходится обидеть.  
Обманщиком явиться перед ними!  
Как быть ему теперь? – И вот тайком  
Он к мастеру шлет перстень с порученьем.  
Какого бы труда, каких бы денег  
Ни стоило, согласно образцу  
Такие же еще два перстня сделать.  
Работа удалась. Три перстня мастер  
Заказчику принес – и сам заказчик  
Свой перстень отличить не мог от новых.  
Обрадованный старец призывает  
К себе поочередно сыновей,  
Благословляет их поочередно,  
По перстню им дает – и умирает.  
[...] Что было дальше – ясно  
Само собой. Едва лишь закрывает  
Отец глаза, приходит каждый с перстнем  
И каждый хочет быть владыкой рода.  
Ни розыски, ни жалобы, ни тяжбы –  
Ничто не помогает: доказать,  
Где перстень настоящий, – невозможно.  
Почти настолько же, как нам узнать,  
Где вера настоящая.

Саладин

И все?  
И это мне должно служить ответом?

Натан

Должно служить мне извиненьем только,  
Что не берусь я различать те перстни,  
Которые отец и заказал,  
Чтоб различить нельзя их было вовсе.

Саладин

Что перстни мне! Оставь свою игру!  
В религиях, которые тебе  
Я перечислил, думаю, найдется  
Различие; найти его нетрудно  
В одежде даже, в пище и питье!

Натан

Но только не в основах. Ведь основа  
У всех одна: история, не так ли?  
Где – летопись, где – устное преданье!..  
И на слово истории должны  
Мы верить?.. Нет? Кому ж мы верим больше?  
Родным конечно? Кровным? Чьей любовью  
Мы живы с детских лет? Кем никогда  
Мы не были обмануты, иначе  
Как из любви, для нашего же блага?  
Где верю все держится, возможно ль,  
Чтоб праотцам твоим перед своими  
Я отдал предпочтенье? И напротив:  
Как требовать могу я от тебя,  
Чтоб уличал во лжи своих ты предков,  
Моих признавши? Это будет верно  
И в отношеньи христиан, не так ли? [...]  
Теперь к перстням позволь мне возвратиться.  
Как сказано, пошли у братьев тяжбы;  
И каждый присягал перед судьей,  
Что перстень им из рук отца получен  
И был ему давным-давно обещан:  
И было верно это утвержденье!  
При этом каждый всем на свете клялся,  
Что обмануть его отец не мог,  
Что доброго отца и заподозрить  
Не смеет он в обмане, что скорее  
Он братьев обвинил бы в плутовстве,  
Хоть до сих пор способными на это  
Их не считал; но не уйдет виновный:  
Разыщет он его и отомстит! [...]  
Судья сказал: «Иль вашего отца  
Доставьте мне сейчас, иль прочь идите.

Не думаете ль вы, что я обязан  
Загадки вам разгадывать? Иль ждете,  
Чтоб сам заговорил желанный перстень? –  
Постойте-ка! Я слышал, он имеет  
Таинственную силу – привлекать  
Особую любовь людей и бога  
К владельцу своему. Вот где разгадка!  
Ведь силы этой нет в перстнях поддельных!  
Который же из вас двумя другими  
Всех более любим? Ну, говорите!  
Молчите вы? Так, значит, ваши перстни  
На вас одних и действуют? Других же  
Их сила не касается? И каждый  
Себя же самого всех больше любит?  
О, если так, то явно: все вы трое –  
Обманщики, введенные в обман!  
И перстни ваши все поддельны, явно.  
Должно быть, настоящий был потерян;  
Чтоб скрыть и заменить потерю эту,  
Отец и приказал уж заодно  
Для каждого из вас по перстню сделать.  
[...] Итак, –  
Судья все продолжает, – если нужен  
Вам не совет, а приговор, – ступайте!  
Совет же мой таков: что вам дано,  
С тем вы и примиритесь. Перстень есть  
У каждого: пусть каждый и считает,  
Что перстнем он владеет настоящим.  
Быть может, ваш отец не захотел,  
Чтоб воцарилась в роде тирания  
От перстня одного. Он вас любил,  
Как видно, равно всех; не потому ли  
Он не решился двух из вас обидеть  
На пользу одному? Так подражайте ж  
Отцу в любви и строго неподкупной  
И чуждой предрассудков! Силу перстня.  
Какой кому вручен, друг перед другом  
Наперерыв старайтесь обнаружить!  
Чтоб сила эта крепла, будьте сами  
Скромны, миролюбивы, милосердны  
И преданы чистосердечно богу!  
И если та же сила неизменно  
Проявится и на потомках ваших, –  
Зову их через тысячи веков  
Предстать пред этим местом. Здесь тогда  
Другой судья – меня мудрее – будет.  
Он скажет приговор. Ступайте!» – Так  
Закончил речь судья благоразумный.

**Вопросы и задания:**

1. Каковы источники притчи о трех кольцах, к которым обращается автор?
2. В чём заключается истинность веры, по Лессингу?
3. Насколько завершающая творчество Лессинга драма согласуется с канонами теории классицизма?

## **Иоганн Готфрид Гердер (1744-1803)**

### **Предтекстовое задание:**

Прочтите фрагменты работы И. Г. Гердера «Идеи к философии истории человечества» (1784), сосредоточившись на выявлении основных представлений автора о мире и человеке.

### **Идеи к философии истории человечества**

*Перевод А. Михайлова*

Цель нашего земного существования заключается в воспитании гуманности, а все низкие жизненные потребности только служат ей и должны вести к ней. Все нужно воспитывать: разумная способность должна стать разумом, тонкие чувства – искусством, влечения – благородной свободой и красотой, побудительные силы – человеколюбием.

Всякое животное достигает того, чего должно достичь, для чего придано ему его органическое строение, и только человек не достигает, и все потому, что цель его высока, широка, бесконечна, а начинает он на Земле с малого, начинает поздно и столько внешних и внутренних препятствий встречает на своем пути! Животного ведет его инстинкт, дар матери-природы; животное – слуга в доме всевышнего отца, оно должно слушаться. А человек в этом доме – дитя, и ему нужно сначала научиться всему: и самым жизненно необходимым инстинктам, и всему, что относится к разуму и гуманности. А учит он все, не достигая ни в чем совершенства, потому что вместе с семенами рассудительности и добродетели он наследует и дурные нравы, и так, следуя по пути истины и душевной свободы, он отягчен цепями, протягивающимися еще к самым началам человеческого рода. Следы, оставленные божественными людьми, жившими до него, живущими рядом с ним, перепутаны со следами других, истоптаны, потому что тут же бродили и звери, и грабители; и следы их, увы! нередко были привлекательнее следов немногих избранных, великих и благородных людей. Вот почему придется или же винить Провидение, что оно поместило человека так близко к животному, а в то же время отказало человеку, который не должен был стать животным, в ясности, твердости и уверенности, таких, что они служили бы его разуму вместо животного инстинкта, – многие и осуждали Провидение; или же иначе нам придется считать, что жалкое начало – это свидетельство бесконечного поступательного развития человека. Тогда человек сам должен будет обрести необходимую ступень света и уверенности, положив на это свой труд, – человек, руководимый своим Отцом, должен благодаря собственным усилиям стать существом свободным и благородным – и он им станет. И человек – пока только человекоподобный – станет человеком, и расцветет бутон гуманности, застывающий от холода и засыхающий от зноя, он расцветет и явит подлинный облик человека, его настоящую, его полную красоту. Итак, мы без труда можем предчувствовать, что же от нашего теперешнего существа перейдет в мир тот, иной, – ясно, что: вот эта наша Богоподобная гуманность, бутон, скрывающий внутри себя истинный облик человечества.

Большинство людей – животные, они принесли с собой только способность человечности, и ее только нужно воспитывать, воспитывать с усердием и трудами. А как мало людей, в ком подобающим образом воспитана человечность! И у самых лучших – как нежен, как хрупок этот взращенный в них божественный цветок! Животное в человеке всю жизнь жаждет управлять человеком, и большинство людей с готовностью уступают ему. Животное не перестает тянуть человека к земле, когда дух возносит его, когда сердце его хочет выйти на вольные просторы, а поскольку для человеческого существа близкое сильнее дальнего и зримое мощнее незримого, то нетрудно заключить, какая чаша весов перевесит. Человек не умеет радоваться чистой радостью и плохо приспособлен к чистому познанию и чистой добродетели! А если

бы был приспособлен – как мало привык он ко всей этой чистоте! Самые благородные союзы разрушаются низменными влечениями, как морское странствие жизни нарушают противные ветры, и творец, милосердный и строгий, соединил ту и другую напасть, чтобы оно укрощало другое и чтобы побег бессмертия воспитывался в нас не столько нежными западными ветерками, сколько суровыми ветрами севера. Кто испытал многое, многому научился; ленивый и праздный не знает, что скрыто в нем, и тем более не знает, что может и на что способен, и никогда не чувствовал радости от своих дел. Жизнь – это борьба, а цветок чистого, бессмертного духа гуманности – венец, который нелегко завоевать. Бегуна ждет в конце цель, но борца за добродетель – венок в минуту его смерти.

Итак, с науками, с искусствами началась новая традиция рода человеческого, присоединить новое звено к ее цепи посчастливилось лишь совсем немногим; другие цепляются за нее, как верные и послушные рабы, и механически влекут ее вперед. Вот этот кофе, который я пью сейчас, он прошел через руки многих людей, а моя заслуга только в том, что я его пью; так и с нашим разумом, с нашим образом жизни, ученостью и воспитанием, военным искусством и государственной мудростью, это собрание чужих изобретений и мыслей, они собрались к нам со всех концов света, мы купаемся и тонем в них с детства, и нашей заслуги тут нет.

Итак, если европейская чернь гордится Просвещением, Искусством, Наукой, если толпа надменно презирает три прочие части света, так это пустое тщеславие; европеец, как безумец в рассказе, считает своими все корабли в гавани, все изобретения людей, и все только потому, что когда он родился, все эти изобретения, все эти традиции уже существовали рядом с ним. Жалкий! Придумал ли ты что-нибудь сам?

И, впитывая все эти традиции, думаешь ли ты что-либо? Ведь пользоваться готовым – это труд машины; впитать в себя сок науки – это дело губки: ее заслуга, что она родилась на мокром месте. Если твой военный корабль плывет на Таити, а пушки твои гремят на Гебридах, то, право же, ты не умнее туземца и аборигена и ничуть не ловчее его, он ведь умеет править своей лодкой, а построил он ее голыми руками.

Вот это неясно чувствовали и дикари, познакомившись с европейцами, вооруженными всеми инструментами своих знаний. Европейцы показались им неведомыми, высшими существами, они склонились перед ними, они почтительно приветствовали их, но, когда они увидели, что европейцы болеют и умирают, что их можно ранить, что физически они слабее туземцев, они стали губить людей, потому что боялись их искусств, а между тем человек тут отнюдь не был тождествен своему искусству. И это же можно сказать обо всей европейской культуре в целом. Язык народа, тем более язык книжный, может быть умным и рассудительным, но отнюдь не непременно умен и рассудителен тот, кто читает эти книги и говорит на этом языке. Вопрос как читать, как говорить; но и в любом случае, говорящий, читающий только повторяет уже сказанное, он следует за мыслями другого, все обозначившего и назвавшего. Дикарь в своей ограниченной жизни своеобычен и выражает свои мысли определеннее, яснее, истиннее, он умеет пользоваться своими органами чувств, членами тела, практическим рассудком, немногими орудиями труда, умеет пользоваться ими с большим искусством, всецело отдаваясь своему делу, конечно же, если поставить его лицом к лицу с той политической или ученой машиной, что, словно беспомощное дитя, стоит на очень высоких подмостках, построенных, увы! чужими руками, даже трудами всего прошлого мира, то дикарь будет образованнее и культурнее такой машины. Естественный человек – это ограниченный, но здоровый и умелый обитатель Земли. Никто не отрицает, что Европа – это архив искусств и деятельного человеческого рассудка; судьба времен сложила здесь все свои сокровища, они здесь умножаются и не лежат без движения. Но отсюда не следует, что у всякого, кто пользуется ими, рассудок первооткрывателя; скорее, напротив, рассудок, пользуясь чужими находками, обленился: ведь если в руках моих чужой инструмент, я не буду утруждать себя изобретением нового.

Гораздо более трудный вопрос: как науки и искусства способствовали счастью людей; приумножили же они счастье людей? Я думаю, что на этот вопрос нельзя ответить просто «да» или «нет», потому что и здесь все дело в том, как люди пользуются изобретенным и найденным. Что на свете есть теперь более тонкие и искусно сделанные орудия труда, что, затратив меньшие усилия, можно теперь добиться большего, что можно беречь человеческий труд, все это не вызывает сомнения. Неоспоримо и то, что всякое новое искусство, всякая новая наука создают новый союз солидарности между людьми, создают общие потребности, не удовлетворив которые, не могут даже и жить наделенные искусством люди. Но вот что остается вопросом: расширяют ли возросшие потребности тесный круг человеческого счастья; способно ли искусство прибавить к природе нечто существенное или же оно, напротив, только обделяет и изнеживает природу; не пробуждают ли научные и художественные таланты таких склонностей в человеческой душе, при которых людям все тяжелее и тяжелее обрести прекраснейший дар удовлетворенности, ибо склонности эти, как балансир часов, беспрестанно противятся покою и удовлетворенности; и, наконец, не случилось ли так, что многие страны и города из-за скопления, из-за взаимосвязи теснящихся на узком пространстве людей превращались в приют для бедных, в госпиталь и лазарет, где в спертом воздухе, по всем правилам искусства, хиреет бледный род людей, они кормятся милостыней, незаслуженными ими благами наук, искусств, государств, а потому приняли облик нищих, занимаются нищенским ремеслом, а потому и терпят, как нищие. Как решить эти и многие другие вопросы, научит нас дщерь Времени – светлая История.

### **Заключительные замечания**

Какими путями пришла Европа к культуре, как обрела она то достоинство, каким отмечена перед всеми другими народами? Время, место, потребности, условия, обстоятельства, поток событий – все шло в одном направлении, но обретенное достоинство в первую очередь было результатом бесчисленных совместных, солидарных усилий, плодом собственного трудолюбия и прилежания.

1. Если бы Европа была богата, как Индия, если бы материк Европы был однообразным, как Татария, жарким, как Африка, замкнутым, как Америка, то не было бы ничего из того, что выросло и сложилось в Европе. Даже погруженной в глубокое варварство Европе географическое положение не позволило вновь добыть свет знания; но более всего полезны были ей реки и моря. Пусть не будет Днепра, Дона и Двины, Черного, Средиземного, Адриатического морей, Атлантического океана, морей Северного и Восточного с их берегами, островами, реками – и вот уже нет почвы для того великого торгового союза, который привел в движение Европу и приучил ее к прилежному труду.

Две огромные и богатые части света, Азия и Африка, окружали свою бедную и неприметную рядом с ними сестру Европу, с самого края света, из областей древнейшей культуры они слали сюда товары и изобретения и этим возбуждали жар трудолюбия, дар изобретательства.

Европейский климат, остатки Древнего Рима и Греции только способствовали всему, и так получается, что все величие Европы покоится на фундаменте знания, неутомимой деятельности, изобретательности, на всеобщем солидарном старании и соревновании.

2. Гнет римской иерархии, быть может, был необходимым ярмом – цепями, сковывавшими грубые народы средневековья; не будь ее, и Европа, вероятно, стала бы добычей деспотов, ареной вечных раздоров, если не монгольской пустыней. Поэтому римская иерархия заслуживает похвалы – она послужила противовесом, но если бы действовала всегда и постоянно только эта сила, только эта пружина, Европа превратилась бы в церковное государство по тибетскому образцу. Но действие и противодействие вызвали такое следствие, о котором не подумала ни одна из сторон; нужда, опасности, потребности вызвали к жизни третье сосло-

вие – прорастили его между двумя первыми, и этому новому сословию суждено было стать животворной кровью всего огромного деятельного организма, а иначе организм распался и разложился бы.

Это – сословие, на котором держится наука, полезный труд, старание и соревнование; благодаря этому сословию эпоха, когда рыцарство и поповство были жизненно необходимыми сословиями, медленно, но верно подошла к концу.

3. И какой могла быть новая культура Европы, тоже явствует из предыдущего. Она могла стать только культурой людей, какими они были и какими желали стать, культурой, порождаемой деловитостью, науками, искусствами. Кто презирал труд, науку, искусство, кто не испытывал в них потребности, кто извращал и искажал их, оставался тем, кем был прежде; чтобы культура равномерно и всеохватно пронизывала и воспитание, и законы, и жизненный уклад всех стран – всех сословий и народов, – об этом в средние века еще нельзя было и подумать, а когда же придет пора думать об этом? Между тем разум человеческий, умноженная солидарная деятельность людей неуклонно идут вперед и видят в этом добрый знак, если даже лучшие плоды и не созревают до времени.

### **Вопросы и задания:**

1. Сопоставьте идеи Гердера с итогами размышлений, отраженными в трудах других просветителей. Попытайтесь выявить сходство и различия. В чем состоит своеобразие концепции Гердера?

2. Сравните свои рассуждения с наблюдениями Н. А. Жирмунской, отраженными в статье «Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историзм Просвещения». См. II том УМК: Жирмунская Н. А. Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историзм Просвещения // Жирмунская Н. А. От барокко к романтизму: Статьи о французской и немецкой литературе. СПб., 2001. С. 255–265.

3. Какие представления Гердера оказали особенно заметное влияние на формирование своеобразных черт, присущих немецкому Просвещению?

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Прочтите фрагмент из статьи И. Г. Гердера «Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях древних народов» (1773) и его «Посвящение к „Народным песням“» (1778), сосредоточив внимание на представлениях автора об истории, а также их связи со взглядами на народное творчество.

## **Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях древних народов Перевод Е. Г. Эткинда**

Вы смеетесь над моим увлечением дикарями примерно так, как Вольтер смеялся над Руссо, говоря, что ему будто бы очень нравится ходить на четвереньках; не думайте, что увлечение это заставляет меня в какой бы то ни было степени презирать преимущества нашей морали и цивилизации. Предназначение рода людского – в смене сцен, культуры и нравов. Горе человеку, если ему не по душе та сцена, где он должен выступать, действовать, жить, но горе и тому философу, изучающему человечество и нравы, которому его сцена кажется единственной, а каждая предшествующая непременно представляется плохой! Если все разнообразные



сцены составляют отдельные эпизоды развивающейся драмы, то в каждой из них обнаруживается иная, в высшей степени примечательная, сторона человечества.

## Посвящение к «народным песням»

*Перевод Е. Г. Эткинда*

Вам, что сокрыты во мгле и, познав человечества душу,  
Зрите деянья людей, тайные помыслы их;  
Вам, клеймящим злодея, когда он уверен в успехе,  
И преступленье, когда близко к победе оно;  
Вам, усмиряющим спесь, заставляющим страсти безумца  
Скрыться в недрах его воспламененной души;  
Вам, обличающим зло и под сенью могильной, дарящим  
Всем, онемевшим от мук, слово, дыхание, крик, –  
Вам посвящаю я голоса народов в их песнях,  
Тайное горе людей, скрытую горечь обид,  
Стоны, которых никто не слышит, и тяжкие вздохи  
Тех, которым никто, сжалась, руки не подаст;  
С вашей помощью пусть они в сердца проникают,  
Пусть они грудь гордеца, словно кинжалы, пронзят,  
Чтобы со страхом и злобой себя он узнал, проклиная,  
И Немезиды постиг над богохульником власть.  
Дерзкий, в безумье своем презрел он страдания смертных,  
Мысля, что сам – божество и вознесен над землей.  
Пусть он погибнет! Но я посвящаю вам также надежды,  
И утешенья любви, и жизнерадостный смех,  
И беззлобный укор, и веселую шутку народа  
Над суетою сует и над гордынею злой;  
Вам посвящаю восторг, единящий влюбленные души,  
За гробовою доской их сочетающий вновь;  
Вам – и мечтанья невесты, и материнские слезы,  
Все, что немеет в груди, что несказанно в словах:  
Ибо вы не напрасно в душу свою заглянули, –  
Ласково палец прижат к вашим замолкшим устам.

### Вопросы и задания:

1. В чем состоит художественное своеобразие поэтического посвящения к «Народным песням»?
2. Сопоставьте идеи Гердера с итогами размышлений, отраженными в трудах других просветителей.
3. Сравните свои рассуждения с наблюдениями Н. А. Жирмунской, отраженными в статье «Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историзм Просвещения». См. II том УМК: Жирмунская Н. А. Историко-философская концепция И. Г. Гердера и историзм Просвещения // Жирмунская Н. А. От барокко к романтизму: Статьи о французской и немецкой литературах. СПб., 2001. С. 255–265.

\* \* \*

**Предтекстовое задание:**

Прочтите сочинение И. Г. Гердера «Разговор о невидимо-видимом обществе» (1780–1781), которое стало доступным русскоязычному читателю благодаря журналу «Вестник Европы» (1802–1830), издававшемуся в 1802 и 1803 гг. Н. М. Карамзиным. Обратите особое внимание на связь приведенных рассуждений с традициями эпохи Просвещения.

**Разговор о невидимо-видимом обществе**  
*Перевод с немецкого*

На сих днях один из моих приятелей рассказывал удивительные вещи о некотором обществе.

«Истинные дела его, говорил он, так велики, так необозримы, что целые века отделяют иногда начало от конца их. Но все, что есть в свете хорошего, сделано участниками сего важного союза; они беспрестанно трудятся для света, для истинной пользы людей, для потомства, и главный предмет их благодеяний есть тот, чтобы сделать ненужными обыкновенные благодеяния».

Эта загадка возбудила мое любопытство. Вот разговор наш:

Он. Что думаешь ты о гражданском обществе?

Я. То, что оно есть прекрасная выдумка.

Он. Без сомнения; но как считает его: целью или средством? Люди ли, по твоему мнению, созданы для государств или государства для людей?

Я. Некоторые утверждают первое, но второе сходное с правдою.

Он. Так и мне кажется. Государства соединяют людей, чтобы каждый из них тем лучше и безопаснее мог наслаждаться добром. Сложность частных благ есть благоденствие государства; другого нет и быть не может.

Я. Очень хорошо. Итак, гражданская жизнь есть средство к счастью людей. Что далее?

Он. Одно средство, и при том изобретенное человеком, хотя и соглашаюсь, что Натура всячески помогла ему изобрести его. Теперь спрашиваю: могут ли государственные учреждения, будучи выдумкою человека, не иметь судьбы человеческих средств?

Я. Что называешь ты судьбою человеческих средств?

Он. То, что обыкновенно соединено с ними; недостаток – то, что они в некоторых случаях производят действия, несообразные с своею целью.

Я. Угадываю твои мысли; но мы знаем, от чего многие люди не пользуются благодеянием гражданских обществ. Государственные учреждения различны; одно лучше другого, некоторые совсем противны цели своей, а совершенного надобно еще подождать несколько веков!

Он. Вообразив даже, что оно существует; вообразим, что все люди на Земле приняли это лучшее государственное учреждение: неужели не предвидишь разных его следствий, которые вредны для блага человеческого, и которые в состоянии Натуры остались бы нам неизвестными?

Я. Тебе нелегко будет наименовать хотя одно из них.

Он. Десять, есть ли угодно.

Я. Например?

Он. Мы вообразили, что все люди на земле приняли самое лучшее, государственное учреждение: желаю знать, могут ли они составить одно государство?

Я. Не думаю; огромность его мешала бы действию правления. Кажется, что ему надлежало бы разделиться на разные области, управляемые одними законами.

Он. В таком случае каждая область не будет ли иметь особенной пользы?

Я. Без сомнения.

Он. Особенности или частные пользы должны быть иногда несогласными и граждане двух разных областей, несмотря на единство политических уставов, имели бы такое же пристрастие к своей земле, какое имеют ныне Англичане, Французы, Немцы.

Я. Вероятно.

Он. Когда Немец встречается с Французом, или Француз с Англичанином, тогда говорит в них не человечество, а гражданство; всякой думает о своей особенной политике, и делается против другого холоден, осторожен, недоверчив, хотя они еще не имеют между собою никакого личного дела.

Я. К сожалению, это правда.

Он. Следственно, и то правда, что гражданская жизнь, соединяя людей для вернейшего общего благоденствия, в то же самое время и разделяет их. Ступим еще шаг вперед. Многие из областей имели бы разный климат, следственно и разные потребности, разные обычаи и нравы, разные моральные системы и религии.

Я. Этот шаг велик.

Он. Несмотря на их имена, они друг с другом стали бы так обходиться, как Христиане обходятся с Жидами или Турки с Христианами: то есть, забывая связь человечества, думали бы только о несогласии их мыслей и Веры.

Я. Но для чего не вообразить, что народы, имея одно государственное учреждение, имеют также и одну религию? Я даже не понимаю, как могут быть одинаковые гражданские уставы без одинаковой веры.

Он. Ни я, а предположил это единственно с намерением отнять у тебя способ к возражению. Одно столь же невозможно, как и другое.

Разные государства, разные и законы политические, разные законы, разные и религии. Теперь видишь второе зло гражданского общества.

Оно не может соединять людей, не разделяя их глубокими рвами и высокою стеною. Еще и того мало: гражданское общество делит не только народы, но и жителей одного государства до бесконечности.

Я. Почему?

Он. Может ли быть государство без различных состояний? Нигде члены его не имеют одинаково участия в законодательстве? По крайней мере равно непосредственного; следственно одни бывают сильнее других. – Положим, что граждане разделили бы все государственное имение на равные части: это равенство не продолжится ни двадцати лет, скоро будут зажиточные и бедные.

Я. Разумеется.

Он. Представь же себе, сколько зла и неприятностей выходит из того!

Я. К несчастью, мне должно с тобою согласиться. Но чего ты хочешь? Того ли, чтобы я возненавидел гражданское общество и пожелал, чтобы людям никогда не приходило на мысль соединиться под властью законов?

Он. Сохрани меня Бог! Есть ли бы гражданское общество не имело в себе ничего доброго, кроме просвещения ума, и тогда бы я искренно благословил его; несмотря ни на какое зло.

Я. Кто хочет наслаждаться огнем, должен сносить дым.

Он. Конечно. Но тот, кто выдумал трубу, сделал хорошее дело и без сомнения не был врагом огня. Ты понимаешь меня?

Я. Ни мало.

Он. А сравнение, кажется, ясно. Хотя люди и не могли соединиться в гражданской жизни без таких разделений, но можно ли назвать их добром?

Я. Конечно нет.

Он. Так ли они святы, чтобы нельзя было до них дотронуться?

Я. С каким намерением и в каком смысле?

Он. Чтобы не давать им распространяться далее пределов необходимости и сделать их следствия по возможности невредными.

Я. Это без сомнения везде дозволено.

Он. Дозволено, но не повелевается гражданскими законами, которые не могут действовать вне границ государства; а такое дело есть общее для всех государств. Остается желать, чтобы люди мудрые и добрые во всякой земле добровольно взяли на себя эту великую должность.

Я. Дай Бог.

Он. Остается желать, чтобы в каждом государстве хотя философы не имели народных предрассуждений, и знали, где патриотизм не есть уже добродетель...

Я. Дай Бог!

Он. Желать, чтобы везде были мудрые люди, которые, искренно следуя уставам своей Религии, не осуждали бы других на вечную гибель...

Я. Дай Бог!

Он. Желать, чтобы в Республиках и Монархиях хотя некоторые не ослеплялись блеском гражданского величия, и не стыдились гражданской низости; чтобы в их обществе знаменитый снисходил охотно и бедный возвышался духом.

Я. Дай Бог!

Он. А есть ли это желание исполнено? Есть ли везде найдем таких людей? Есть ли и впредь они никогда не переведутся?

Я. Тем лучше!

Он. Есть ли они не дремлют в свете, а делают добро, по верным правилам и лучшему плану?

Я. Прекрасная мечта!

Он. Одним словом, есть ли они называются \*\*\*?..

Приятель мой сказал мне имя одного известного общества, однако не думал звать меня в его члены, и признавался искренно, что оно не заключает в себе особенных таинств; что всякой собственным размышлением может дойти до всех важнейших истин; что обряды, слова и знаки не важны, и проч.

После того начался между нами другой разговор.

Я. Что, есть ли кроме твоего общества могу наименовать другое, следующее такой же благодетельной системе; не тайное, не сокрытое от света, но работающее явно; не обрядами и символами, но ясными словами и делами; не среди двух или трех народов, но везде, где есть просвещение? Надеюсь, что тогда уволишь меня от вступления в ваше собрание.

Он. С радостью. Селитра должна быть в воздухе прежде, нежели она может осесть на стенах темного погребца.

Я. Я давно живу в этом бессмертном обществе и нахожу в нем мое любезное отечество, любезнейших друзей моих.

Он. Тем лучше.

Я. И не боюсь обманов, не вижу педантства, дыма, загадок, как в твоём...

Он. Все это очень хорошо; прошу только назвать...

Я. Общество всех мыслящих людей на земном шаре.

Он. Оно, конечно, не мало; но, к сожалению, рассеяно и подобно невидимой церкви.

Я. Оно в собрании – и видимо Фауст или Гуттенберг<sup>195</sup>, – как сказать по-вашему? – есть его Мастер Ложи или первый служащий брат. Я нахожу в этом обществе все, что ставит меня

---

<sup>195</sup> которые изобрели книгопечатание

выше гражданских разделений и соединяет, так сказать, с духом человеческого рода, уничтожая преграды народные и личные.

Он. Разумею. Ты хочешь сказать, что книгопечатание, посылая во все земли слова и знаки свои, делает ненужными другие тайные слова и знаки. Но согласись, что оно образует только мнимое общество.

Я. Какому точно быть надобно. Одни умы решат правила; в личном знакомстве нет нужды; оно же имеет свои опасности: рассеяние, пристрастие, лесть. Только в знакомстве с умами на досках Фаустовых душа моя сохраняет независимость и свободу; там сужу смело и разбираю строго.

Он. И ты находишь, что Авторы возносят тебя выше народных пристрастий, выше всех гражданских состояний и других предрассудков?

Я. Без сомнения. В беседе с Гомером, Платоном, Ксенофонтом, Тацитом, Бэконом, Фенелоном я не думаю, к какому государству они принадлежали, какого состояния были и в каких храмах молились.

Он. Это правда.

Я. Знаю и то, что их правила, мысли и чувства соединяют меня со всеми благородными душами в свете.

Он. Ты и сам можешь говорить с ними, открывая им, посредством книгопечатания, сокровища ума своего.

Я. Есть ли бы у меня было такое дарование! Еще прежде нашего личного знакомства я беседовал с твоим духом, и не будучи членом вашего тайного братства, знал тебя по слову, осязанию и знаку. Дела Авторов, тебе подобных, давно открыли мне глаза и доказали красоту истины, добродетели, мудрости, действие, которого не могут произвести таинственные обряды, по крайней мере так скоро и надежно!..

Он. Ты говоришь о делах?

Я. Да: о Поэзии, Философии, Истории – вот, по моему мнению, священный треугольник! Вот лучезарные светила народов, сект и поколений! Поэзия волшебною живописью предметов заставляет меня любить добро, Философия дает правила, История утверждает их опытом.

Он. Но довольно ли того для исправления людей? Не служит ли общество новым побуждением к добру?

Я. Одно побуждение, усиленное чувством и разумом, лучше многих слабых... Число их подобно числу колес в машине; чем более колес, тем прочнее.

Он. Что же должно быть твоим единственным побуждением?

Я. Человечество. Изображайте только святость его; трогайте сердца; доказывайте, что оно есть первая должность человека – и тогда все предрассудки, которые разделяют народы, состояния, веры...

Он. Исчезнут? Как ты ошибаешься!!

Я. Не исчезнут, а сделаются безвредными: все, чего только может желать ваше славное братство! Не общество, но образ мыслей составляет характер души; где согласны мысли, там и союз. Два человека одних правил, сошедшись вместе, узнают друг друга без таинственных знаков.

Всякой по своим обстоятельствам и возможности должен брать участие в великолепном здании человеческого блага, работать и веселиться работою других: ибо то бесконечное, необозримое здание может быть совершено только всеми руками. Тут не требуется личных связей, клятв и символов; не требуется никаких имен, кроме имени человека.

Он. Мы можем обняться с тобою как братья одного Ордена. Так, конечно: нельзя сокрыть света истинного, и не в темных пещерах должно искать его.

Я. Все такие символы могли быть некогда хороши и полезны; но они не для нашего времени. Теперь мы имеем нужду в методе совершенно им противной: теперь нужна чистая, ясная и явная истина.

**Вопросы и задания:**

1. Соберите сведения об истории масонства, о его роли в культуре эпохи Просвещения, о знаменитых масонах второй половины XVIII века. Каковы, на ваш взгляд, побуждавшие представителей искусства и науки возлагать столь значительные надежды на деятельность масонских лож?
2. Сопоставьте прочитанный текст с представлениями Г. Э. Лессинга на историю и общество.
3. Обратитесь к опере В. А. Моцарта «Волшебная флейта» (1791), рассмотрев ее связь с традициями масонства и сопоставив либретто с сочинениями Лессинга и Гердера.

## Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751-1792)

Предтекстовое задание:

Прочтите стихотворение Я. Ленца «Моему сердцу» (1776), обратив внимание на связь произведения с традицией «Бури и натиска».

### Моему сердцу *Перевод Вяч. Куприянова*

Так мало, а сколько боли  
В бедную вместило грудь!  
Как порою не всплакнуть:  
Жить не проще без него ли?

А когда его удары  
Страсть усиливает вдруг,  
Сразу жди сердечной кары,  
Страсть неведома без мук!

Но страшней его терзает  
Охлажденья чувств игла!  
Нет, пусть лучше в нем играет  
Свет, как в сплаве из стекла!

Ужас, гнев, любовь, разлука,  
Крах надежд, сомнений тьма,  
Это всё не жизнь, а мука,  
Но лишь в этом жизнь сама!

#### Вопросы и задания:

1. Как в стихотворении Ленца проявился культ сердца, чувства, страсти, ставший для штюрмеров альтернативой диктату разума и «здорового смысла»? Какие художественные средства использованы поэтом?
2. Вспомните произведения современников Ленца, которые можно было бы сопоставить с приведенным текстом.
3. Соберите сведения на тему «Ленц в России», уделив внимание связям немецкого поэта с русскими писателями, например его дружбе с Н. М. Карамзиным. Что известно о пребывании Ленца в Петербурге?

## Фридрих Максимилиан Клиндер (1752-1831)

### Предтекстовое задание:

Прочтите фрагмент романа Ф. М. Клингера (1791), представившего Фауста в безнадежной борьбе «с мятежными порывами своего духа, стремившегося любой ценой рассеять тьму, окружающую человечество». В приведенной шестой главе произведения герой оказывается в преисподней, куда его привели старания рассеять мрак, делавшийся от его усилий «все чернее и мучительнее». Сатана устраивает для обитателей ада пир в честь прибытия Фауста, ожидая бесчисленное пополнение в рядах грешников. Причины всеобщего ликования владыка тьмы лаконично обозначает с помощью риторического вопроса: «Может ли остановиться человеческий дух, если уж он начал исследовать то, чему раньше поклонялся как святыне?». При чтении обратите внимание на критический пафос романа и связь его образов с наследием эпохи Просвещения.

### Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад Перевод А. Лютера

#### Глава 6

Ликующие дьяволы бросились к столам и принялись за приготовленное угощение. Души грешников затрещали на их острых зубах. Звенели бокалы. Грохот адской артиллерии сопровождал тосты за здоровье сатаны, за Фауста, за духовенство, за всех деспотов на земле, за всех писателей, как ныне здравствующих, так и будущих, за смелых путешественников, коим предстоит открыть Новый свет. Чтобы придать празднеству еще больший блеск, *распорядители сатанинской потехи* спустились в бездну к осужденным на вечные муки, выгнали оттуда пылающие души и заставили их, кружась над столами, освещать, подобно фейерверку, эту мрачную сцену. Потом с отравленными плетями в руках они погнались за несчастными душами, заставляя их яростно драться друг с другом. Искры трещали и вспыхивали под черными сводами ада, как снопы на полях, зажженные молнией среди ночи. Во время пира, чтобы усладить слух дьяволов застольной музыкой, распорядители бросались к краю пропасти и лили в пылающую бездну расплавленный металл, на что грешники в иступленном отчаянии отвечали неистовым ревом и проклятиями. О, если бы вы, живущие на земле, могли вместо ваших холодных и бессильных проповедей услышать этот отвратительный вой! Клянусь, люди перестали бы слушать сладострастное пение кастратов и нежный шепот флейт, а затагнули бы покаянные псалмы. Увы, это невозможно! Ад далек, а соблазн близок!.. Затем на большой театральной сцене были представлены геройские подвиги сатаны (так как и дьявол содержит при своем дворе поэтов, то у него нет недостатка в льстецах): *сворачивание Евы, предательство Иуды Искариота, убийство Урии Давидом*<sup>196</sup>, *идолопоклонство Соломона* и многое другое.

В заключение в театре был поставлен аллегорический балет. Сцена изображала дикую местность. В темной пещере сидела *Метафизика* в образе высоченного тощего верзилы, вперившего взор в сверкающую надпись, состоявшую из пяти слов, которые непрестанно менялись местами и каждый раз имели другой смысл. Верзила неустанно следил широко раскрытыми

<sup>196</sup> «... убийство Урии Давидом...». Давид – царь Израильско-Иудейского государства (X в. до н. э.), ветхозаветное повествование о котором придало ему черты эпического героя, царя-воителя, а последующая иудаистическая и христианская традиция связала с ним и его родом мессианские чаяния. Д. традиционно изображался как патриарх, отец множества детей, рожденных его женами и наложницами. Известны рассказы о любви Д. к Батшебе (Вирсавии), которую он увидел купающейся и затем взял в жены, а мужа ее, верного воина Урию Хеттянина, отослал на войну с аммонитянами заведомо на смерть.



глазами за перемещениями слов. В углу стоял маленький смеющийся дьяволенок и время от времени пускал верзиле в лицо мыльные пузыри. *Гордость*, секретарь Метафизики, ловила их, выжимала из них воздух и лепила из него гипотезы. Верзила был одет в египетское платье, усыянное мистическими изображениями. Поверх платья был наброшен греческий плащ, который должен был прикрыть мистические знаки, но оказался для этого слишком коротким и узким. На ногах у него были широкие шаровары, не прикрывавшие, однако, их наготы. Большой докторский берет украшал лысую голову, на которой длинные ногти оставили царапины – это были следы напряженной мыслительной работы. Европейского фасона башмаки были сплошь покрыты тончайшей пылью различных университетов и гимназий. Метафизика продолжала смотреть на движущиеся слова, не постигая их смысла, пока наконец Гордость не кивнула *Заблуждению*, стоявшему слева. Оно взяло в руки деревянную дудку и стало наигрывать танец. Услышав эти звуки, верзила схватил за руку Гордость и начал неуклюже плясать, не попадая в такт. Однако у него были слишком слабые и тонкие ноги, – вскоре он запыхался и, задыхаясь, снова сел в прежней позе.

Тутявилась на сцену *Мораль* – нежное, эфирное создание, закутанное в покрывало, ежесекундно, как хамелеон, менявшее свой цвет. Пышно и богато одетая *Культура* указывала ей путь, *Порок vi Добродетель* вели ее под руки и танцевали с нею трио. Голый дикарь играл при этом на тростниковой флейте, европейский философ – на скрипке, а азиат бил в барабан, и хотя эти отвратительные звуки были настоящей пыткой для уха, привыкшего к гармонии, танцующие не сбивались с такта – так хорошо они знали свое дело. Когда грациозная танцовщица протягивала руку Пороку, она кокетничала и, как блудница, убегая, манила его за собой, а взявши под руку Добродетель, она шествовала медленно и степенно, как подобает матроне. По окончании танца она прилегла, чтобы отдохнуть, на тонкое, прозрачное, причудливо расцветченное облако, сшитое ее поклонниками из множества мелких лоскутков.

Потом, в образе обнаженной сладострастной женщины, явилась *Поэзия*. Она исполняла вместе с *Чувственностью* очень сложный соблазнительный и символический танец, а *Фантазия* аккомпанировала им на флейте.

Здесь на сцену вышла *История*. Ей предшествовала *Молва*, державшая длинную медную трубу. В доказательство неутомимого стремления человечества к нравственному совершенствованию, История была увешана рассказами об ужасах, которыми украсили ее жестокие завоеватели, узурпаторы, сановники, придворные, временщики, фанатики, глупцы, бунтовщики, то есть все те, кто злоупотреблял религией и проводил коварную политику. За нею, кряхтя под огромным тюком летописей, дипломов и документов, шел сильный, рослый, одетый в немецкое платье мужчина. Под звон висевших на ней рассказов История танцевала с *Боязнью*, *Ложь* отняла у Молвы трубу и стала наигрывать какой-то танец, а *Лесть* показывала танцующим надлежащие па.

Затем с громким смехом на сцену выбежали *Медицина* и *Шарлатанство*. *Смерть* трясла мешок с золотыми монетами, под звон которых они исполняли менуэт.

Далее появились *Астрология*, *Каббала*, *Теософия* и *Мистика*. Держа друг друга за руки, они представляли замысловатые фигуры и дико кружились, в то время как *Суеверие*, *Безумие* и *Обман* играли для них на валторнах.

После них вышла *Юриспруденция* – жирная, упитанная особа, раскормленная гонорами и увешанная глоссами<sup>197</sup>. Задыхаясь, она с трудом протанцевала соло. *Кляуза*, аккомпанируя ей, водила смычком по контрабасу.

Последней явилась *Политика*. Она ехала на триумфальной колеснице, запряженной двумя клячами: *Слабостью* и *Обманом*. По правую руку от нее, держа острый кинжал в одной

---

<sup>197</sup> «Юриспруденция... увешанная глоссами». Глосса – перевод или толкование непонятого слова или выражения, преимущественно в древних памятниках письменности; комментарий законов или судебных решений.

руке и пылающий факел – в другой, сидела *Теология*. Голову Политики украшала тройная корона, а в правой руке она держала скипетр. Она сошла с колесницы и протанцевала с Теологией па-де-де под аккомпанемент необычайно нежных тихих инструментов, на которых играли *Хитрость*, *Властолюбие* и *Деспотизм*. По окончании па-де-де Политика подала всем собравшимся знак начать общий танец. Те повиновались, и началась разнузданная, хаотическая пляска. Все музыканты заиграли на своих инструментах, и вызванный ими шум уступал разве только застольной музыке во время пира. Скоро среди танцующих завязалась ссора. Возбужденные злостью и ревностью, они схватились за оружие. Теология заметила, что все обнимают сладострастную Поэзию и пытаются сорвать плащ с Морали, ее злейшего врага, чтобы самим укрыться под ним. Она всадила в спину Морали кинжал, а Поэзии, которую все ласкали, спалила горящим факелом зад. Обе подняли отчаянные вопли. Политика велела им замолчать. Шарлатанство принялось перевязывать рану, нанесенную Морали, а Медицина тем временем отрезала в вознаграждение за свои труды лоскуты от ее одежды. Из-под мантии воровки Медицины Смерть протянула свою когтистую лапу, чтобы схватить Мораль, но Политика так больно ее ударила, что она громко завывала, страшно скаля зубы. На Поэзию с ее обожженным задом никто не обращал внимания, так как она была нага и с нее нечего было взять. Наконец над нею сжалилась История, приложившая к обожженному месту мокрую страницу исторического романа, в котором автор модернизировал, или, иначе говоря, сделал жалким и слабым, одного из героев древности. Но Поэзия молила дать ей мистический сонет, как более сильное охлаждающее средство. Затем Политика запрягла всех действующих лиц в свою колесницу и, торжествуя, укатила со сцены.

Вся преисподняя рукоплескала балету, и сатана обнял дьявола Левиафана<sup>198</sup>, устроившего это представление и сумевшего так тонко польстить повелителю, одним из капризов которого было тщеславное желание слыть среди дьяволов основателем наук. Часто он надменно похвалялся тем, что якобы произвел их на свет, прелюбодействуя с дочерьми земли, чтобы увести людей от прямого, простого и благородного сердечного чувства, сорвать с их глаз завесу счастья, показать им их ограниченность и слабость и заронить в их души мучительные сомнения о смысле их существования на земле. Он хвастался и тем еще, что учил людей так рассуждать о боге и добродетели, чтобы они перестали поклоняться первому и следовать второй. Он добавлял при этом:

– Мы воевали против неба смело и открыто, и я дал им по крайней мере оружие для вечных схваток со всемогущим.

Жалкое хвастовство! Допустят ли когда-нибудь люди, чтобы у них отняли то, чем они особенно гордятся и чем больше всего злоупотребляют?

Я прошу читателя подумать вместе со мной о том, сколь сходны между собой все дворы мира тем, что знатные и богатые приобретают милость повелителя, и получают награды за заслуги, труды и пот людей малых и незаметных. Левиафан выдавал себя за автора этого аллегорического балета, принимал ласки и благодарность сатаны, а между тем балет был сочинен немецким придворным поэтом, который лишь недавно умер с голоду и, следовательно, – в отчаянии, в силу чего душа его немедленно отправилась в ад. Он сочинил этот балет по приказанию Левиафана, обладавшего удивительной способностью открывать таланты; он сочинил его, сообразуясь с *новыми вкусами, царившими при дворе его теперешнего повелителя*. Вероятно, он столь едко осмеял науки потому, что они так плохо его кормили. Впрочем, быть может, Левиафан, хорошо знавший, что именно нравится сатане, и дал ему кое-какие указания. Как бы там ни было, награду получил только один Левиафан, а исхудалая тень немецкого придвор-

---

<sup>198</sup> Левиафан – согласно библейской мифологии, морское животное, описываемое как крокодил, гигантский змей или чудовищный дракон. В Библии Левиафан упоминается как могущественное, враждебное богу существо, над которым он одерживает победу в начале времен.

ного поэта сидела скрючившись за одной из скал театра и с глубокой скорбью смотрела, как сатана осыпает ласками Левиафана, присвоившего себе плоды чужих трудов.

**Вопросы и задания:**

1. Познакомьтесь с биографией Клингера, сосредоточив внимание на десятилетиях, проведенных писателем на русской службе.
2. Найдите в шестой главе романа составляющие, побудившие цензора в 1799 г. наложить запрет на распространение этого сочинения в России.
3. Соберите сведения о воплощениях образа Фауста в литературе второй половины XVIII века, обратившись к наследию Г. Э. Лессинга, П. Вейдмана, Я. М. Ленца, Ф. Мюллера, И. В. Гёте. Поразмышляйте о том, почему легенды о Фаусте оказались чрезвычайно привлекательным материалом для таких представителей «Бури и натиска», как Ленц, Мюллер и Клингер?
4. Вспомните определение литературного гротеска и проанализируйте отрывок романа, уделив особенное внимание его гротескной природе.
5. Найдите в приведенном фрагменте поэтологические элементы. Какое отражение в тексте нашли размышления автора о роли литературы и философии в современном ему обществе?

## Готфрид Август Бюргер (1747-1794)

### Предтекстовое задание:

Прочтите балладу Бюргера «Ленора» (1773), обратив внимание на связь произведения с традицией «Бури и натиска».

### Ленора<sup>199</sup>

#### *Перевод В. А. Жуковского*

Леноре снился страшный сон,  
Проснулася в испуге.  
«Где милый? Что с ним? Жив ли он?  
И верен ли подруге?»  
Пошел в чужую он страну  
За Фрид ериком на войну;  
Никто об нем не слышит;  
А сам он к ней не пишет.  
С императрицею король  
За что-то раздружились,  
И кровь лилась, лилась... доколь  
Они не помирились.

И оба войска, кончив бой,  
С музыкой, песнями, пальбой,  
С торжественностью ратной  
Пустились в путь обратный.  
Идут! идут! за строем строй;  
Пылят, гремят, сверкают;  
Родные, ближние толпой  
Встречать их выбегают;  
Там обнял друга нежный друг,  
Там сын отца, жену супруг;  
Всем радость... а Леноре  
Отчаянное горе.  
Она обходит ратный строй  
И друга вызывает;  
Но вести нет ей никакой:  
Никто об нем не знает.  
Когда же мимо рать прошла –  
Она свет божий прокляла,  
И громко зарыдала,  
И на землю упала.

---

<sup>199</sup> Перевод «Леноры» Бюргера был создан в конце марта 1831 г. и впервые напечатан в «Балладах и повестях В. А. Жуковского» (СПб., 1831). Это третий вариант перевода знаменитой баллады в наследии В. А. Жуковского. «Ленора» в отличие от предшествовавших «Людмилы» (1808) и «Светланы» (1812) обнаруживает отчетливое стремление русского поэта создать произведение, по возможности точно соответствующее оригиналу.

К Леноре мать бежит с тоской:  
«Что так тебя волнует?  
Что случилось, дитя, с тобой?» –  
И дочь свою целует.  
«О друг мой, друг мой, все прошло!  
Мне жизнь не жизнь, а скорбь и зло;  
Сам бог врагом Леноре...  
О горе мне! о горе!»

«Прости ее, небесный царь!  
Родная, помолися;  
Он благ, его руки мы тварь:  
Пред ним душой смирися». –  
«О друг мой, друг мой, все как сон...  
Немилостив со мною он;  
Пред ним мой крик был тщетен...  
Он глух и безответен».

«Дитя, от жалоб удержишь;  
Смири души тревогу;  
Пречистых тайн причастись,  
Пожертвуй сердцем богу». –  
«О друг мой, что во мне кипит,  
Того и бог не усмирит:  
Ни тайнами, ни жертвой  
Не оживится мертвый».

«Но что, когда он сам забыл  
Любви святое слово,  
И прежней клятве изменил,  
И связан клятвой новой?  
И ты, и ты об нем забудь;  
Не рви тоской напрасной грудь;

Не стоит слез предатель;  
Ему судья создатель».

«О друг мой, друг мой, все прошло;  
Пропавшее пропало;  
Жизнь безотрадную назло  
Мне провиденье дало...  
Угасни ты, противный свет!  
Погибни, жизнь, где друга нет!  
Сам бог врагом Леноре...  
О горе мне! о горе!»

«Небесный царь, да ей простит  
Твое долготерпенье!  
Она не знает, что творит:

Ее душа в забвенье.  
Дитя, земную скорбь забудь:  
Ведет ко благу божий путь;  
Смиранным рай награда.  
Страшись мучений ада».

«О друг мой, что небесный рай?  
Что адское мученье?  
С ним вместе – все небесный рай;  
С ним розно – все мученье;  
Угасни ты, противный свет!  
Погибни, жизнь, где друга нет!  
С ним розно умерла я  
И здесь и там для рая».

Так дерзко, полная тоской,  
Душа в ней бунтовала...  
Творца на суд она с собой  
Безумно вызывала,  
Терзалась, волосы рвала  
До той поры, как ночь пришла  
И темный свод над нами  
Усыпался звездами.  
И вот... как будто легкий скок  
Коня в тиши раздался:  
Несется по полю ездов;

Гремя, к крыльцу примчался;  
Гремя, взбежал он на крыльцо;  
И дверибрякнуло кольцо...  
В ней жилки задрожали...  
Сквозь дверь ей прошептали:

«Скорей! сойди ко мне, мой свет!  
Ты ждешь ли друга, спишь ли?  
Меня забыла ты иль нет?  
Смеешься ли, грустишь ли?» –  
«Ах! милый... бог тебя принес!  
А я... от горьких, горьких слез  
И свет в очах затмился...  
Ты как здесь очутился?»

«Седлаем в полночь мы коней...  
Я еду издалёка.  
Не медли, друг; сойди скорей;  
Путь долог, мало срока». –  
«На что спешить, мой милый, нам?  
И ветер воет по кустам,  
И тьма ночная в поле;

Побудь со мной на воле».

«Что нужды нам до тьмы ночной!  
В кустах пусть ветер воет.  
Часы бегут; конь борзый мой  
Копытом землю роет;  
Нельзя нам ждать; сойди, дружок;  
Нам долгий путь, нам малый срок;  
Не в пору сон и нега:  
Сто миль нам до ночлега».

«Но как же конь твой пролетит  
Сто миль до утра, милый?  
Ты слышишь, колокол гудит:  
Одиннадцать пробило». –  
«Но месяц встал, он светит нам...  
Гладка дорога мертвецам;  
Мы скачем, не боимся;  
До света мы домчимся».

«Но где же, где твой уголок?  
Где наш приют укромный?» –  
«Далеко он... пять-шесть досток...  
Прохладный, тихий, темный». –  
«Есть место мне?» – «Обоим нам.  
Поедем! все готово там;  
Ждут гости в нашей келье;  
Пора на новоселье!»

Она подумала, сошла,  
И на коня вспрыгнула,  
И друга нежно обняла,  
И вся к нему прильнула.  
Помчались... конь бежит, летит.  
Под ним земля шумит, дрожит,  
С дороги вихри вьются,  
От камней искры льются.

И мимо их холмы, кусты,  
Поля, леса летели;  
Под конским топотом мосты  
Тряслися и гремели.  
«Не страшно ль?» – «Месяц светит нам!» –  
«Гладка дорога мертвецам!  
Да что же так дрожишь ты?» –  
«Зачем о них твердишь ты?»  
«Но кто там стонет? Что за звон?  
Что ворона взбудило?  
По мертвом звон; надгробный стон;

Голосят над могилой».  
И виден ход: идут, поют,  
На дорогах тяжкий гроб везут,  
И голос погребальный,  
Как вой совы печальный.

«Заройте гроб в полночный час:  
Слезам теперь не место;  
За мной! к себе на свадьбу вас  
Зову с моей невестой.  
За мной, певцы; за мной, пастор;  
Пропой нам многолетье, хор;

Нам дай на обрученье,  
Пастор, благословенье».

И звон утих... и гроб пропал...  
Стопился хор проворно  
И по дороге побежал  
За ними тенью черной.  
И дале, дале!.. конь летит,  
Под ним земля шумит, дрожит,  
С дороги вихри вьются,  
От камней искры льются.

И сзади, спереди, с боков  
Окрестность вся летела:  
Поля, холмы, ряды кустов,  
Заборы, дома, села.  
«Не страшно ль?» – «Месяц светит нам». –  
«Гладка дорога мертвецам!  
Да что же так дрожишь ты?» –  
«О мертвых все твердишь ты!»

Вот у дороги, над столбом,  
Где висельник чернеет,  
Воздушных рой, свиясь кольцом,  
Кружится, пляшет, веет.  
«Ко мне, за мной, вы, плясуны!  
Вы все на пир приглашены!  
Скачу, лечу жениться...  
Ко мне! Повеселиться!»

И летом, летом легкий рой  
Пустился вслед за ними,  
Шумя, как ветер полевой  
Меж листьями сухими.  
И дале, дале!.. конь летит,  
Под ним земля шумит, дрожит,



С дороги вихри вьются,  
От камней искры льются.

Вдали, вблизи, со всех сторон  
Все мимо их бежало;

И все, как тень, и все, как сон,  
Мгновенно пропадало.  
«Не страшно ль?» – «Месяц светит нам». –  
«Гладка дорога мертвецам!  
Да что же так дрожишь ты?» –  
«Зачем о них твердишь ты?»

«Мой конь, мой конь, песок бежит;  
Я чую, ночь свежее;  
Мой конь, мой конь, петух кричит;  
Мой конь, несись быстрее...  
Окончен путь; исполнен срок;  
Наш близко, близко уголок;  
В минуту мы у места...  
Приехали, невеста!»

К воротам конь во весь опор  
Примчавшись, стал и топнул;  
Ездок бичом стегнул затвор –  
Затвор со стуком лопнул;  
Они кладбище видят там...  
Конь быстро мчится по гробам;  
Лучи луны сияют,  
Кругом кресты мелькают.  
И что ж, Ленора, что потом?  
О страх!., в одно мгновенье  
Кусок одежды за куском  
Слетел с него, как тленье;  
И нет уж кожи на костях;  
Безглазый череп на плечах;  
Нет каски, нет колета;  
Она в руках скелета.

Конь прынул... пламя из ноздрей  
Волною побежало;  
И вдруг... все пылью перед ней  
Расшиблось и пропало.  
И вой и стон на вышине;  
И крик в подземной глубине,  
Лежит Ленора в страхе  
Полмертвая на прахе.

И в блеске месячных лучей,

Рука с рукой, летает,  
Виясь над ней, толпа теней  
И так ей припевает:  
«Терпи, терпи, хоть ноет грудь;  
Творцу в бедах покорна будь;  
Твой труп сойди в могилу!  
А душу бог помилуй!»

**Вопросы и задания:**

1. Как отражены в балладе Бюргера основные представления «штюрмеров» о человеке и мире? Какие художественные средства, характерные для литературы «Бури и натиска», нашли место в произведении?
2. Что связывает «Ленору» Бюргера с немецкой фольклорной традицией? Как сочетаются в балладе поэтика народной песни и «штюрмерская» поэтика?
3. Ознакомьтесь с основными фактами из истории немецкой литературной баллады. Как можно объяснить привлекательность этого жанра для представителей «Бури и натиска»?
4. Соберите сведения о переводах «Леноры» Бюргера на русский язык и о влиянии немецкой баллады на российскую поэзию. Сравните два-три найденных Вами перевода.
5. Вспомните знаменитое упоминание Леноры в восьмой главе пушкинского «Евгения Онегина» (1833). Подумайте о роли, которую образ Леноры сыграл в истории русской поэзии. Почему именно Ленора обрела столь существенное значение?

## Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер (1759-1805)

### Предтекстовое задание:

Прочтите стихотворения Ф. Шиллера «Дружба» (1781) и «Гений» (1795), сосредоточив внимание на основных проблемах, нашедших воплощение в знаменитых поэтических строках.

### Дружба Перевод В. Левика

В мир единство внес его создатель.  
Лишь убогий разумом кропатель  
В сотнях формул мыслит естество.  
Друг! единый двигатель чудесный  
Движет мир духовный и телесный, –  
Ньютон *здесь* познал его.

Он вокруг сердца жаркого вселенной  
Сферы мчит стезею неизменной,  
Им всеобщий дав закон.  
От светил, сроднившихся навеки,  
К солнцу духов, точно к морю реки,  
Души устремляет он.

И, сердца к союзу побуждая,  
Направляет мощь его святая  
Нас любви ликующим путем.  
Рафаэль, мы вместе – о блаженство! –  
Светлою дорогой совершенства  
К солнцу духов радостно идем.

Счастье! Счастье! Мною был ты встречен,  
Мной среди миллионов был замечен, –  
И моим ты будешь до конца.  
Пусть весь мир в осколки разлетится,  
Пусть извечный хаос возвратится –  
Наши не разрознит он сердца.

Не себя ль, мой друг, обрел в тебе я?  
Не моей ли страстью пламенея  
Взор твой загорается огнем?  
Все я вижу: вижу небо наше,  
Вижу землю – лишь светлей и краше, –  
Друг мой, в образе твоём.

Бурю страсти умеряют грозы.  
Нет, недаром тягостные слезы  
Жгут взволнованную грудь

И восторг с губительною силой,  
Сладострастной привлечен могилой,  
В милом взоре жаждет потонуть!

Если б в мире я один остался,  
Я любви у скал бы домогался,  
Их мечтой одушевив,  
Я б наполнил воздух воплем жалоб,  
Радуясь, что эхо отвечало б –  
О глупец! – на страстный мой призыв.

Тот, кто ненавидит, – мертв, как камень.  
Но едва любви узнал он пламень,  
Возжелал святых оков –  
Через все ступени мироздания,  
Мимо духов, чуждых созидания,  
Радостный, он входит в сонм богов.

Все вперед, все выше век от века –  
От монгола до провидца грека,  
За которым вверх – лишь серафим, –  
К морю света, к миру постоянства,  
Где исчезнут время и пространство,  
В дружном хоре мы свой путь стремим.

Был господь без друга и, сучая,  
Создал тварей, чья душа живая  
В смертном отражает божество, –  
Дабы тот, кто всех нас совершенней,  
Видел в совокупности творений  
Беспредельность лика своего.

## Гений

*Перевод Е. Г. Эткинда*

«Верить ли, – молвишь ты мне, – словам мудрецов знаменитых,  
Коим внимает толпа преданных учеников?  
Только ль наука ведет к истине, счастью и миру  
И на сваях систем зиждется счастье людей?  
Должен ли я сомневаться во внутреннем глазе, в законе  
Вечном, который мне в грудь вложен природой самой,  
До тех пор, пока не скрепит его *школьная мудрость*,  
Цепью формул сковав легкие крылья души?  
О, расскажи мне, ведь ты спускался в эти глубины,  
Ты из могилы глухой вырвался к нам невредим.  
Ведаешь ты, что таит пещера слов этих темных,  
Могут ли мумии дать успокоенье живым?»

Должен ли я пойти по ночной дороге, скажи мне?  
Страшно мне, правда, но я к истине, к счастью пойду».  
Помнишь ли ты, мой друг, времена золотые? Поэты  
С детской невинностью нам в древности пели о них.  
Помнишь ли время, когда среди нас еще жило святое,  
Чувство хранило еще девственную чистоту,  
А великий закон, по которому движутся звезды  
И зарождается плод за скорлупою яйца,  
Необходимости скрытый закон, неизбежный и вечный, –  
Он и в нашей груди волны страстей поднимал;  
Время, когда, не блуждая, разум показывал людям,  
Точный, как стрелка часов, только на истины свет?  
Не было в те времена непосвященных, профанов,  
К мертвым не шел человек чувство живое искать.  
Равно понятно для всех было вечное правило жизни,  
Светлый источник его равно сокрыт ото всех.  
Но миновало счастливое время! Людским произволом  
Был божественный мир вечной природы разбит.  
Чувство, лишенное святости, больше не голос бессмертных,  
И оракул замолк в опустошенной груди.  
Только в себя погружаясь, его дух обретает порою,  
Там сокровеннейший смысл тайное слово хранит.  
Чистый сердцем ученый там постигает природу,  
И природа свою мудрость ему отдает.  
Если же ангел-хранитель тобой не утрачен, счастливец,  
Набожный, светлый огонь в сердце твоём не погас,  
Взорам твоим предстоит истины образ нетленный,  
Голос ее не умолк в девственно-чистой груди,  
Если в мирной душе безмолвствует демон сомненья,  
Если ты убежден – он не проснется вовек,  
Если чувства твои не станут жертвой раздора,  
Сердце коварством своим разума не замутит, –  
О, тогда навсегда сохрани святую невинность,  
Брось науку! Она учится пусть у тебя!  
Палка закона нужна упирающимся и дрожащим,  
Но не тебе. Все, что ты вольно свершаешь, – закон.  
Все поколения людей не нарушат божественной воли;  
Все, что для них ты творишь, все, что им вымолвишь ты,  
Будет во веки веков для всех непреложно и свято.  
Только тебе одному будет неведом твой бог,  
Грозная сила твоя, тебе подчинившая духов.  
Молча по миру идешь ты, победитель его.

### **Вопросы и задания:**

1. Составьте общее представление о творческом пути поэта и особенностях его художественных поисков. Попытайтесь связать полученные сведения с проблематикой прочитанных произведений.

2. Соберите сведения о культе дружбы, получившем самое широкое распространение в Германии второй половины XVIII века. Какова была роль Шиллера в закреплении постепенно сформировавшихся представлений о дружбе?

3. Сопоставьте стихотворение «Гений» с традиционными представлениями о художественном творчестве. Как формировались понятия «гений» и «гениальность»? Какую роль в их распространении сыграл Шиллер?

4. Как менялся образ Шиллера в немецкой культуре на протяжении XIX и XX веков? Какую роль в истории Германии сыграли представления о гении Шиллера?

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Прочтите стихотворения Ф. Шиллера «Брут и Цезарь» (1780) и «Помпея и Геркуланум» (1796), сосредоточив свое внимание на изучении роли античного наследия в художественном творчестве завершающих десятилетий XVIII века.

## **Брут и Цезарь** *Перевод с немецкого В. Левика*

Брут

Здравствуй, царство мира и покоя!  
Как последний римлянин к тебе  
От Филипп пришел я с поля боя,  
Злой покорствуя судьбе.  
Рим погиб! Мои войска разбиты!  
Брат мой Кассий, где ты? Дай ответ!  
В царстве смерти я прошу защиты,  
Мне к живым возврата нет.

Цезарь

Кто, как муж, не знавший поражения,  
Величаво сходит в вечный мрак?  
Этот взор и поступь – нет сомненья! –  
Слышу римлянина шаг.  
Тибра сын! Как прежде ль под грозою  
Семихолмный град неколебим?  
Часто воплем ночь я беспокою:  
Умер Цезарь! Сиротеет Рим!

Брут

Как! Забыл ты двадцать три кинжала?  
Тень твою – кто звал из черных струй?  
Сгинь во тьме стигийского провала!  
Плакальщик надменный, не ликуй!  
При Филиппах на алтарь железный  
Всю в крови поверг свободу враг.

Брут сражен, но Рим хрипит над бездной.  
Брут идет к Миносу. Уползай во мрак!

Цезарь

Горе! Смерть от твоего кинжала!  
Брут! И ты, мой сын?  
Вся земля тебе принадлежала,  
Ты бы мне наследовал один.  
Уходи, ты стал бессмертен в Риме,  
Ибо меч вонзил ты в грудь отца.  
Разглашай меж градами земными:  
«Величайшим стал я мужем в Риме,  
Ибо меч вонзил я в грудь отца».  
Уходи! Ты муке необорной  
Дух мой предал скорбный.  
Отплывай, гребец мой черный!

Брут

Стой, отец! Во всей твоей державе  
Знал я только одного,  
Кто с тобой сравниться был бы вправе,  
Сыном ты назвал его.  
Только Цезарь страшен был для Рима,  
Только в Бруте Рима был оплот.  
Прочь, тиран! Мы встретились – и мимо!  
Жизнь твоя с моей несовместима.  
Сгинет Цезарь там, где Брут живет!

## **Помпея и Геркуланум** *Перевод Д. Бродского*

Что за чудо случилось? Источников чистых просили  
Мы у тебя, земля, – что же нам шлешь из глубин?  
Или есть жизнь под землей? Иль живет под лавою тайно  
Новое племя? Иль нам прошлое возвращено?  
Римляне, греки, глядите: открыта снова Помпея,  
Город Геракла воскрес в древней своей красоте.  
Гордо над сводом свод вздымается; портик обширный  
Залы раскрыл: сюда – их населите скорей!  
Вот открыт театр: так пусть несметные толпы  
Реками хлынут в его семь исполинских ворот.  
Мимы, на сцену! Пусть совершается жертва Атрида,  
Пусть Оресту вослед страшный потянется хор!  
Вы, триумфальную арку пройдя, узнаете ль форум?  
Что там за мужи в креслах курульных сидят?

Ликторы, ваши секиры несите! Претору должно  
В кресло усесться и суд неумолимый творить.  
Улицы чистые вширь раздались, и, вымощен камнем,  
Путь пешеходный пролег около самых домов.  
Кровли вперед выдаются, навес образуя над ними,  
Комнат нарядных кольцо весь опоясало двор.  
Ставни спешите открыть и дверей заваленных створки,  
Пусть в их жуткую тьму радостный луч упадет.  
Глянь, как стройно вокруг стоят красивые скамьи,  
Пол, возвышаясь, блестит от разноцветных камней.  
Свежи еще на стене огневые, пышные краски,  
Где же художник, ужель только что кисть отложил?  
Здесь наливные плоды и цветов роскошных гирлянды  
Вдоль по карнизу каймой дивный фестон протянул.  
Там – младенец Амур с корзиной крадется полной,  
Здесь выжимают гурьбой гении пурпурный сок.  
В пляске несется вакханка; там – нежится в полудремоте,  
И притаившийся фавн жадно глядит на нее;  
Здесь она горячит кентавра и, на колене  
Стоя одном лишь, бьет тирсом его по хребту.  
Отрок, что же ты медлишь? Здесь много сосудов красивых,  
Свежей воды зачерпни, дева, в этрусский кувшин.  
Здесь и треножник, стоящий на сфинксах крылатых, – живет  
Уголья вздуйте, рабы, и разожгите очаг!  
Нате на рынок монету времен могучего Тита,  
Вот и весы тут лежат, – видите, цел разновес.  
Вставьте зажженные свечи в чудесные эти шандалы,  
Чистым маслом по край лампы наполните все.  
Что этот ларчик вмещает? Глядите, девушки, кольца  
И ожерелья жених вам золотые прислал.  
Так поведите невесту в душистую баню; вот мази,  
Вот румяна хранит этот граненый хрусталь.  
Где ж старики и мужи? Сокровищем великолепным  
Древние хартии сплошь заполнили музей.  
Вот и стиль для письма и таблички воощенные также.  
Все уцелело – земля преданно все сберегла.  
Так же пенаты на прежних местах, и все отыскались  
Боги опять; почему ж строгих не видно жрецов?  
Вот золотым кадуцеем Гермес взмахнул стройнобедрый,  
И над рукою его гордо победа летит.  
Тут алтари, как древле, стоят, – придите ж, придите,  
Бог заждался, – поскорей жертву сожгите ему!

### **Вопросы и задания:**

1. Соберите сведения об археологических находках второй половины XVIII века и влиянии античных памятников на европейскую культуру. Вспомните об откликах немецких современников Шиллера на открытия, сделанные при раскопках Помпеи и Геркуланума.

2. Какие причины могли привести к особенной увлеченности представителей XVIII века античностью? Какие представители немецкой культуры в значительной степени повлияли на



освоение древнего наследия их современниками? Сопоставьте Ваши рассуждения с материалом книги А. Г. Аствацатурова «Поэзия. Философия. Игра» (раздел «История и культура через призму критики»). См. II том УМК: *Аствацатуров А. Г. Поэзия. Философия. Игра. Герменевтическое исследование творчества И. В. Гёте, Ф. Шиллера, В. А. Моцарта, Ф. Ницше.* СПб., 2010. С. 275–282.

3. Найдите элементы античного наследия (например, упоминания исторических деятелей, античных героев или богов) в других произведениях, созданных в XVIII веке. Попробуйте сформулировать свои представления о том, какую роль играют эти элементы в запомнившихся вам художественных текстах.

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Прочтите одну из ключевых сцен пьесы Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» (1783), в которой Фиеско, долгое время остававшийся загадкой для заговорщиков-республиканцев, обнаруживает свое истинное лицо и деспотические устремления. Обратите особое внимание на обращение драматурга к наследию античности.

## **Заговор Фиеско в Генуе** *Перевод А. Горнфельда*

### **Явление XVII**

Фиеско. Веррина Романо с картиной. Сакко. Бургоньино и Кальканьо. Входя все кланяются Фиеско.

Фиеско (*встречая их, весело*). Здравствуйте, достойные друзья мои! Какое важное дело привело вас всех сразу ко мне? И ты здесь, дорогой брат Веррина? Скоро я разучился бы узнавать тебя, если б мои мысли не были с тобой чаще, нежели глаза. Чуть ли не с последнего бала я не видал моего Веррины.

Веррина. Не упрекай его, Фиеско. Тяжелое бремя налегло с тех пор на его седую голову. Но довольно об этом.

Фиеско. Но не довольно для любопытства моей любви. Наедине ты мне скажешь больше. (*Бургоньино.*) Здравствуйте, юный герой! Наше знакомство еще зелено, но моя дружба уже созрела. Что, изменили вы свое мнение обо мне?

Бургоньино. Готовлюсь.

Фиеско. Веррина, я слышал, что этот молодой человек будет мужем твоей дочери. Поздравляю с выбором. Я говорил с ним всего один раз и несмотря на то почел бы за честь вступить с ним в родство.

Веррина. Услышав этот отзыв, я горжусь дочерью.

Фиеско (*к другим*). Сакко? Кальканьо? Все такие редкие гости в моей гостиной. Мне скоро придется стыдиться своего гостеприимства, если благороднейшие украшения Генуи станут избегать его. Приветствую моего пятого гостя, хотя мне незнакомого, но уже прекрасного по сообществу с такими достойными людьми.

Романо. Я – просто живописец, граф, Романо по имени, кормлюсь обкрадыванием природы, не имею другого герба, кроме своей кисти, и теперь пришел сюда (*с низким поклоном*) найти благородную черту для головы Брута.

Фиеско. Вашу руку, Романо! Ваша богиня – родня моему дому. Я братски люблю ее. Искусство – правая рука природы. Природа создала только животных, искусство – человека. Но что вы пишете, Романо?

Романо. Сцены действенной древности. Во Флоренции находится мой умирающий Геркулес, моя Клеопатра – в Венеции, бешеный Аякс – в Риме, где герои древности снова воскресли в Ватикане.

Фиеско. А теперь чем занята ваша кисть?

Романо. Она брошена, граф. Светоч гения получил меньше масла, нежели свет жизни. После известной точки горит уже бумажная обертка. Вот моя последняя работа.

Фиеско (*весело*). Она явилась как нельзя более кстати. Сегодня я необыкновенно весел, все мое существо проникнуто каким-то героическим покоем и совсем готово отдаться чудной природе. Покажите вашу картину. Мне хочется сделать из этого праздник. Станем в кружок, друзья мои. Отдадим себя во власть художника. Покажите вашу картину, Романо.

Веррина (*тихо другим*). Теперь замечайте, генуэзцы.

Романо (*устанавливая картину*). Свет должен падать отсюда. Поднимите эту занавесь, а ту – опустите. Хорошо. (*Отходит в сторону.*) Это история Виргинии и Аппия Клавдия.

*Продолжительное, многозначительное молчание, в продолжение которого все рассматривают картину.*

Веррина (*вдохновенно*). Рази, седовласый отец! А, ты трепещешь, тиран! Отчего вы так бледны, чурбаны римляне? За ним, римляне! Блеснул нож. За мной, чурбаны, генуэзцы! Долой Дориа! Долой! Долой! (*Машет мечом перед картиной.*)

Фиеско (*улыбаясь живописцу*). Захотите ли вы еще большей похвалы? Ваше искусство превратило старика в безбородого мечтателя.

Веррина (*в изнеможении*). Где я? Куда они девались? Исчезли, как мыльные пузыри? Ты здесь, Фиеско? Тиран еще жив, Фиеско?

Фиеско. Видишь? Засмотревшись, ты, кажется, забыл про глаза. Ты находишь голову этого римлянина достойной удивления? Оставь ее в покое! Посмотри лучше на эту девушку. Какое выраженье! Как мягко, как женственно! Какая прелесть в этих поблекших устах! Неподражаемо, божественно, Романо! А эта ослепительной белизны грудь! Как роскошно приподнята она последней волной дыханья! Побольше таких нимф, Романо, – и я преклоню колени перед вашим воображением и дам отставку природе.

Бургоньино. Веррина, это ли ты надеялся услышать?

Веррина. Мужайся, сын мой! Бог отринул руку Фиеско – значит, он избрал наши.

Фиеско (*живописцу*). Итак, – это ваша последняя работа, Романо? Ваше воображение истощено. Вы не должны более братья за кисть. Но, удивляясь художнику, я позабыл о его работе. Я в состоянии, стоя перед вашей картиной, просмолетреть землетрясение. Уберите ее! Если б я захотел заплатить вам за эту головку Виргинии, мне бы пришлось заложить всю Геную. Уберите вашу картину.

Романо. Слава – награда художника. Я дарю вам картину. (*Хочет уйти.*)

Фиеско. Подождите немного, Романо! (*Величаво ходит по комнате и, кажется, размышляет о чем-то великом. По временам окидывает присутствующих беглым, но пронизательным взглядом, наконец берет живописца за руку и подводит к картине.*) Подойди сюда, живописец. (*Гордо и с достоинством.*) Ты кичишься, что можешь передразнивать жизнь на мертвом полотне и без большого труда увековечивать великие деянья. Ты величаешься политическим жаром, безмозглой игрой марионеток фантазии, без сердца, без силы, подвигающей к великому. На холсте свергаешь тиранов, а сам – жалкий раб. Одним ударом кисти освобождаешь республики, тогда как не можешь разбить свои собственные цепи. (*Сильно и повелительно.*) Иди! Твоя работа – фиглярство. Призрак да исчезнет пред делом. (*Опрокидывает картину. Величественно.*) Я сделал то, что ты нарисовал.

*Все потрясены. Романы в смущении уносят свою картину.*

**Вопросы и задания:**

1. Назовите следы античной культуры, обнаруженные вами при чтении фрагмента.
2. Соберите сведения об использовании мотива Брута в литературе второй половины XVIII – начала XIX века. Сопоставьте выявленную вами традицию с материалом пьесы.
3. Изучите формы, которые история о гибели Виргинии принимает в литературе и изобразительном искусстве XVIII века. Попытайтесь объяснить привлекательность образа умирающей плебейки для писателей и художников того времени.
4. Какую роль в приведенной сцене «Заговора Фиеско в Генуе» играют элементы античного наследия? Почему центральной фигурой, позволяющей выявить в Фиеско черты будущего тирана, становится художник? Как связан образ Романо с размышлениями Шиллера о художественном творчестве?
5. Сопоставьте прочитанный фрагмент пьесы с другими произведениями Шиллера, обращая внимание на поэтологическую составляющую его наследия.

\* \* \*

**Предтекстовое задание:**

Прочтите начальные страницы исторической работы Ф. Шиллера «Тридцатилетняя война» (1791). Обратите внимание на аспекты, которые при анализе исторических событий становятся для автора центральными.

## **Тридцатилетняя война** *Перевод А. Горнфельда*

### **Часть первая**

#### **Книга первая**

С начала религиозной войны в Германии вплоть до Мюнстерского мира едва ли можно указать в политической жизни Европы какое-либо значительное и выдающееся событие, в котором реформация не играла бы первенствующей роли. Все мировые события, относящиеся к этой эпохе, тесно связаны с обновлением религии или прямо проистекают из него, и не было ни одного большого или малого государства, которое в той или иной мере, косвенно или непосредственно, не испытало бы на себе влияние реформации.

Свою огромную политическую мощь испанский царствующий дом почти целиком обратил против новых воззрений и их приверженцев. Реформация была причиной гражданской войны, которая в продолжение четырех бурных правлений потрясала самые основы Франции, вызвала ввод иноземных войск в самое сердце этой страны и в течение полувека делала ее ареной прискорбнейших бедствий. Реформация сделала испанское иго невыносимым для нидерландцев; она пробудила в этом народе стремление и мужество сбросить с себя ярмо; она же более всего дала ему и силы для этого подвига. Все враждебные акты, которые предпринимал Филипп II против королевы Английской Елизаветы, были мстью за то, что она защищала от него его протестантских подданных и стала во главе религиозной партии, которую он стремился стереть с лица земли. В Германии последствием церковного раскола было продолжительное политическое разъединение, которое хотя и обрекло эту страну более чем столетней

смуте, но зато воздвигло устойчивый оплот против грозившего ей политического угнетения. Реформация была важнейшей причиной вступления скандинавских держав, Дании и Швеции, в европейскую государственную систему, так как союз протестантских государств стал необходимым для них самих. Государства, ранее почти не сносившиеся друг с другом, под влиянием реформации находили весьма важные точки соприкосновения и начали объединяться на основе новой политической солидарности. Подобно тому как граждане вследствие реформации стали в иные отношения к своим согражданам, а государи – к своим подданным, так возникли и новые взаимоотношения между государствами. Итак, по странному стечению обстоятельств церковный раскол привел к более тесному объединению государств. Правда, страшно и губительно было первое проявление этого всеобщего политического взаимного тяготения – тридцатилетняя опустошительная война, от глубин Чехии до устья Шельды, от берегов Подо до побережья Балтийского моря разорявшая целые страны, уничтожавшая урожаи, обращавшая в пепел города и деревни; война, в которой нашли гибель многие тысячи воинов, которая более чем на полвека погасила вспыхнувшую в Германии искру культуры и возвратила к прежней варварской дикости едва зародившиеся добрые нравы. Но свободной и непорабощенной вышла Европа из этой страшной войны, в которой она впервые познала себя как целокупную общину государств; и одной этой всеобщей взаимной симпатии государств, впервые зародившейся, собственно, в эту войну, было бы достаточно, чтобы примирить гражданина мира с ее ужасами. Усердный труд постепенно загладил все пагубные ее следы; но благодатные следствия, сопровождавшие ее, укоренились. То самое всеобщее взаимное тяготение государств, вследствие которого толчок из Чехии сообщился целой половине Европы, охраняет теперь мир, положивший конец этой войне. Как пламя опустошения, вырвавшись из глубин Чехии, Моравии и Австрии, охватило Германию, Францию, половину Европы, так светильник культуры, зажженный в этих трех государствах, озарил все эти страны.

Все это было делом религии. Она одна могла сделать возможным все то, что случилось, но все это произошло далеко не ради нее и не только из-за нее. Если бы вскоре не присоединились к ней частная выгода и государственные интересы, то никогда голос богословов и народа не встретил бы в государях такой готовности, никогда новое учение не нашло бы столь многочисленных, столь мужественных и стойких поборников. Большая доля участия в церковном перевороте принадлежит бесспорно победоносной мощи истины или того, что принимали за истину. Злоупотребления в лоне старой церкви, нелепость некоторых ее учений, непомерность ее требований неизбежно должны были возмутить душу, уже озаренную предвидением лучшего света, должны были склонить ее к обновленной вере. Прелесть независимости, расчет на богатство монастырей должны были внушить владетельным князьям соблазнительную мысль переменить веру и в немалой степени усиливали мотивы, вытекавшие из внутреннего убеждения; но лишь государственные соображения могли принудить их к решительному выступлению. Если бы Карл V, чрезмерно упоенный своими удачами, не позволил себе посягнуть на политическую свободу германских чинов, то едва ли протестантский союз встал бы с оружием в руках на защиту свободы религиозной. Не будь властолюбия Гизов, вряд ли кальвинистам во Франции довелось бы видеть Конде или Колиньи своими вождями; не будь требования десятины и двадцатины, папский престол никогда не потерял бы Соединенных Нидерландов. Государи воевали для самозащиты или ради увеличения своих владений; религиозный энтузиазм набирал им армии и открывал им сокровищницы их народов. В тех случаях, когда массу привлекала под знамена государей не одна лишь надежда на добычу, она верила, что проливает кровь за правду; на самом деле она проливали ее ради выгоды своего властителя.

### **Вопросы и задания:**

1. Какие силы, согласно представлениям Шиллера, руководят историческими процессами?

2. Каковы роли народа и властителя в истории?
3. Сопоставьте изображение событий с современными знаниями о Тридцатилетней войне.
4. Сопоставьте ваши размышления с материалом книги А. Г. Аствацатурова «Поэзия. Философия. Игра» (раздел «История и культура через призму критики»). См. II том УМК: *Аствацатуров А. Г. Поэзия. Философия. Игра. Герменевтическое исследование творчества И. В. Гёте, Ф. Шиллера, В. А. Моцарта, Ф. Ницше.* СПб., 2010. С. 275–282.

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Прочтите фрагменты драмы Ф. Шиллера «Разбойники» (1781), посвященные образу Карла Моора в начале пьесы и в ее заключительной сцене. Обратите особое внимание на связях пьесы с представлениями автора о роли личностей в истории.

## **Разбойники** (Перевод Н. Ман)

Моор. Точно бельмо спало с глаз моих. Каким глупцом я был, стремясь назад, в клетку! Дух мой жаждет подвигов, дыханье – свободы! Убийцы, разбойники! Этими словами я попираю закон. Люди заслонили от меня человечество, когда я взывал к человечеству... Прочь от меня, сострадание и человеческое милосердие! У меня нет больше отца, нет больше любви!.. Так пусть же кровь и смерть научат меня позабыть все, что было мне дорого когда-то! Идем! Идем! О, я найду для себя ужасное забвение! Решено – я ваш атаман! И благо тому из нас, кто будет всех неукротимее жечь, всех ужаснее убивать; ибо, истинно говорю вам, он будет награжден по-царски! Становитесь все вокруг меня, и каждый да поклянется мне в верности и послушании до гроба! Пожмем друг другу руки!

Все (*протягивая ему руки*). Клянемся тебе в верности и послушании до гроба.

<...>

Разбойник Моор. О, я глупец, мечтавший исправить свет злодеяниями и блюсти законы беззаконием! Я называл это мщением и правом! Я дерзал, о провидение, стачивать зазубрины твоего меча, сглаживать твои пристрастия! Но... О, жалкое ребячество! Вот я стою у края ужасной бездны и с воем и скрежетом зубовным познаю, что два человека, мне подобных, могли бы разрушить все здание нравственного миропорядка! Умилосердись, умилосердись над мальчишкой, вздумавшим предупредить твой суд! Тебе отмщение, и ты воздашь! Нет нужды тебе в руке человеческой. Правда, я уже не властен воротить прошедшее. Загубленное мною – загублено. Никогда не восстановишь поверженного! Но я еще могу умиротворить поруганные законы, уврачевать израненный мир. Ты требуешь жертвы, жертвы, которая всему человечеству покажет нерушимое величие твоей правды. И эта жертва – я! Я сам должен принять смерть за нее.

Разбойники. Отнимите у него кинжал!.. Он заколет себя!

Разбойник Моор. Дурачье, обреченное на вечную слепоту! Уж не думаете ли вы, что смертный грех искупают смертным грехом? Или, по-вашему, гармония мира выиграет от нового богопротивного диссонанса? (*С презрением швыряет оружие к их ногам.*) Они получат меня живым! Я сам отдамся в руки правосудия!

Разбойники. В оковы его! Он сошел с ума!

Разбойник Моор. Нет! Я не сомневаюсь, рано или поздно правосудие настигнет меня, если так угодно провидению. Но оно может врасплох напасть на меня спящего, настигнуть,

когда я обращусь в бегство, силой и мечом вернуть меня в свое лоно. А тогда исчезнет и последняя моя заслуга – по доброй воле умереть во имя правды. Зачем же я, как вор, стану укрывать жизнь, давно отнятую у меня по приговору божьих мстителей?

Разбойники. Пусть идет! Он высокопарный хвастун! Он меняет жизнь на изумление толпы.

Разбойник Моор. Да, я и вправду могу вызвать изумление. *(После короткого раздумья.)* По дороге сюда я, помнится, разговорился с бедняком. Он работает поденщиком и кормит одиннадцать ртов... Тысяча луидоров обещана тому, кто живым доставит знаменитого разбойника. Что ж, бедному человеку они пригодятся!

Конец

### **Вопросы и задания:**

1. К каким последствиям приводит переживаемая Карлом Моором смена основополагающих убеждений? Каким образом можно объяснить отказ героя от самоубийства? Какие изменения переживает образ Карла на протяжении пьесы?

2. Сравните отразившиеся в пьесе представления об истории и роли личности в исторических процессах с идеями, нашедшими выражение в научных трудах Ф. Шиллера, в частности – в его работе «Тридцатилетняя война».

### **Предтекстовое задание:**

Прочтите начальные страницы работы Ф. Шиллера «История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества» (1788). Обратите внимание на представления автора об истории, а также на особенности событий, ставших основой сочинения.

## **История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества** *Перевод С. Фрумана и И. Смидовича*

### **Введение**

Завоевание нидерландской независимости я считаю одним из замечательнейших политических событий, которые сделали XVI столетие самым блестящим в мировой истории. Если наше удивление возбуждает мишурный блеск деяний, совершенных под влиянием честолюбия и пагубной жадности власти, то насколько же больше должно поразить нас движение, в котором угнетенное человечество борется за свои благороднейшие права, благое дело входит в союз с необыкновенными силами и решимость отчаяния одерживает в неравном бою победу над страшными хитросплетениями тирании! Как захватывает и как бодрит мысль, что надменные притязания деспотизма встретили, наконец, еще одного сильного противника, что хорошо рассчитанные покушения деспотов на человеческую свободу терпят позорную неудачу, что мужественное сопротивление может отвести занесенную руку деспота, что героическая настойчивость в состоянии истощить, наконец, его страшные силы. Никогда не проникался я этою истиною так живо, как при исследовании того достопамятного восстания, вследствие которого Нидерланды навсегда отпали от испанского престола. Поэтому я счел бесполезной попытку воссоздать перед миром этот прекрасный памятник гряданской мощи, пробудить в груди моего читателя радостное самоощущение и привести новый убедительнейший пример того, на что должны отваживаться люди для благого дела и что могут они совершить при единодушии.

Описать эти события побуждает меня не героический или необыкновенный характер их. Летописи всемирной истории сохранили нам много таких же начинаний, которые по замыслу

своему являются еще более смелыми, а по выполнению – еще более блестящими. Одни государства рушились в больших потрясениях, другие поднимались в большем величии. Вы не встретите здесь также тех выдающихся людей-исполинов, не столкнетесь с теми изумительными подвигами, которыми так богата история прошедших времен. Те времена минули, те люди не существуют больше. На мягком ложе утонченности и изнеженности мы усыпили в себе силы, которые были созданы тем временем и были необходимы для него. С печальным изумлением взираем мы теперь на эти исполинские примеры, подобно истощенному старику, смотрящему на мужественные игры молодежи. Здесь же речь пойдет не о том. Народ, выступающий перед нами на сцену, был самым миролюбивым из всех народов и менее всех своих соседей был склонен к тому героизму, который придает широкий размах даже самому незначительному действию. Стечение обстоятельств неожиданно вывело наружу его силы и подарило его, помимо его воли, временным величием, которого он без этого никогда бы не достиг и, может быть, никогда больше не достигнет. Таким образом, именно отсутствие героического величия делает это событие столь своеобразным и поучительным. Если ныне ставят себе целью показать, как гений господствует над случаем, то я здесь рисую картину того, как необходимость создала гения и как случай творил героев.

Если бы было позволено связывать человеческие деяния со вмешательством высшей силы, то прежде всего это относилось бы к данным историческим событиям: настолько противоречат они разуму и опыту. Филипп II<sup>200</sup>, могущественнейший государь своего времени, чья страшная сила грозила поглотить всю Европу, чьи сокровища превосходили соединенные богатства всех христианских государей и чей флот господствовал на всех морях; монарх, губительным целям которого служили бесчисленные войска, закаленные долгими кровавыми войнами и римской дисциплиной, одушевленные надменной национальной гордостью, жаждущие чести и добычи, полные воспоминаний о одержанных победах и послушно следующие за своими отважными полководцами – этот страшный человек, упорно сосредоточенный на одном плане, посвящающий *одному* предприятию неутомимый труд всего своего долголетнего правления, направляющий все свои силы и средства к одной-единственной цели, которую на закате своих дней он принужден был оставить, – Филипп II ведет борьбу с несколькими слабыми народами<sup>201</sup> и не может ее довести до конца.

И с какими народами! Это – мирное население, рыбаки и пастухи, живущие в забытом уголке Европы, с трудом отвоеванном у бурного моря; море – их ремесло, их богатство и их наказание; свободная бедность – их высшее благо, их слава, их добродетель. Это – торговый люд, добродушный, чинный, наслаждающийся пышными плодами благословенного богом трудолюбия, бдительно хранящий законы, ставшие его благодетелями. Пользуясь счастливым досугом благосостояния, он оставляет в стороне потребности чисто житейские и стремится к более высоким целям. Новая истина, отрадная заря которой занимается в это время над Европой<sup>202</sup>, бросает оплодотворяющий луч на эту восприимчивую почву, и свободный гражданин радостно приемлет свет, от которого прячутся угнетенные, несчастные рабы. Веселый задор, часто сопутствующий богатству и свободе, побуждает этих людей критически проверить авторитет стародавних мнений и разорвать позорные цепи. Тяжелая плеть деспотизма висит над ними; могущественный произвол грозит подорвать основу их счастья; хранитель законов превращается в тирана. Простой в своей политической мудрости, так же как и в своих правах, народ имеет смелость опереться на старинный договор и напомнить властителю обеих Индий

---

<sup>200</sup> Филипп II (1527-1598) Габсбург стал испанским королем в 1555 г. после отречения своего отца Карла V. Кроме Испании, ему были подвластны в Европе также Нидерланды, частично Италия, Франш-Конте. Продолжая политику Карла V, он стремился подчинить себе и другие европейские страны.

<sup>201</sup> Имеется в виду население различных провинций средневековых Нидерландов, на территории которых в настоящее время расположены Бельгия и Голландия.

<sup>202</sup> Подразумевается протестантское вероисповедание.

о естественном праве. Одно слово может предрешить исход дела. В Мадриде назвали мятежом то, что в Брюсселе сочли законным действием; жалобы Брабанта требовали посредника, обладающего государственным умом. Филипп II послал туда палача – и этим развязал войну, Жизнь и собственность стали жертвой беспримерной тирании. Доведенный до отчаяния гражданин, которому предоставлен на выбор тот или иной вид смерти, избирает благороднейший – смерть на поле битвы. Богатый народ любит мир, но, становясь бедным, он делается воинственным. Он перестает тогда дрожать за жизнь, лишённую всего, что делало ее драгоценной. Бешенство восстания охватывает самые отдаленные провинции; торговля и промышленность приходят в упадок, корабли покидают гавани, художник оставляет свою мастерскую, поселянин – опустошенные поля. Тысячи людей бегут в далекие страны, тысячи жертв гибнут на эшафоте, и новые тысячи устремляются к нему; божественно должно быть то учение, за которое можно умирать так радостно. Не хватало еще только последней, всеорганизующей силы – высокого, предприимчивого духа, который использует этот великий политический момент и дело случая превращает в разумный план.

Вильгельм Молчаливый, как новый Брут, посвящает себя великому делу свободы. Свободный от трусливого эгоизма, он предъявляет престолу грозные требования, великодушно отрекается от своего княжеского звания, обрекает себя на добровольную бедность и становится лишь гражданином мира. Правое дело ставится на карту на поле битвы; но созданные отовсюду наемники и миролюбивый народ не могут выдержать страшного напора дисциплинированного войска. Два раза выводит Вильгельм своих ненадежных солдат против тирана, дважды покидают его они<sup>203</sup>, но не мужество. Филипп II шлет ему столько подкреплений, сколько создало нищих жестокое корыстолюбие его наместника. Беглецы, изгнанные из отечества, ищут себе новое отечество на море, и корабли врага дают удовлетворение их голоду и их жажде мщения. Корсары становятся моряками-героями, из пиратских кораблей составляется флот, и республика возносится из болот. Семь провинций одновременно сбрасывают свои цепи<sup>204</sup>. Создается новое молодое государство, защищенное водой, сильное единодушием и отчаянием. Торжественная клятва нации свергает тирана с престола. Самое имя Испании уничтожается во всех законах.

Отныне свершено деяние, которому нет прощения; республика становится страшной, потому что не может уже пойти вспять, партии раздирают ее, даже ее могущественнейшая стихия – море – вступает в заговор с ее притеснителем и грозит преждевременной могилой ее нежной молодости. Она чувствует, что силы ее ослабевают в борьбе с могущественным врагом, и падает на колени перед сильнейшими престолами Европы, моля их принять от нее в подарок власть, которую она не в силах больше защитить. Наконец, и с большим трудом (так жалко было начало жизни этого государства, что даже корыстолюбивые иноземные государи относились с пренебрежением к его молодому расцвету), ей удается вручить свою опасную корону чужеземцу. Новые надежды снова возбуждают в ней бодрость. Но судьба в лице этого нового государя послала республике изменника. В критическую минуту, когда неумолимый враг уже стоит у ворот, Карл Анжуйский совершает покушение на ту самую свободу, для защиты которой его призвали<sup>205</sup>. К тому же рука убийцы отрывает кормчего от руля<sup>206</sup>. Судьба республики,

<sup>203</sup> Имеются в виду попытки Вильгельма Оранского в 1568 и 1572 годах изгнать испанцев из страны при помощи наемных армий.

<sup>204</sup> Семь провинций – Голландия, Зеландия, Утрехт, Гронинген, Фрисландия, Оверэйсел и Гелдерланд, освободившиеся от испанского ига в результате многолетней борьбы. Утрехтская уния, подписанная ими в 1579 году, стала фактической конституцией нового федеративного государства – Республики Соединенных провинций Северных Нидерландов, которую по имени самой крупной провинции часто называли просто Голландией.

<sup>205</sup> Брат французского короля Генриха III, герцог Анжуйский, призванный в Нидерланды дворянством и верхушкой буржуазии в качестве правителя, предпринял в январе 1583 г. неудачную попытку государственного переворота с целью установления ограниченной монархии.

<sup>206</sup> 10 июля 1584 г. был убит Вильгельм Оранский.



казалось, была решена. С Вильгельмом Оранским отлетели от нее все ее ангелы-хранители. Но корабль несется по бурному морю, и надувшиеся паруса уже не нуждаются в помощи гребцов.

Филипп II видит, как гибнут плоды дела, за которое он платит своею монаршею честью и – как знать? – может быть, в глубине сердца, и уважением к самому себе. Упорно, с переменным счастьем борется с деспотизмом свобода. Смертельные битвы сменяют одна другую, блестящий ряд героев проходит по полям сражения; Фландрия и Брабант были школой, подготовившей полководцев для будущего поколения. Долгая опустошительная война губит благосостояние равнины, победители и побежденные истекают кровью, а возникающее между тем морское государство манит к себе трудолюбивых беглецов и готовится на развалинах соседа воздвигнуть великолепное здание своего величия. Сорок лет продолжалась война, счастливого исхода которой так и не дождался умирающий Филипп; она уничтожила в Европе один рай и создала на его развалинах другой. Она пожрала цвет воинствующего юношества, обогатила целую часть света и сделала бедняком обладателя золотых рудников Перу. Этот государь, который, не выжимая средств из своей страны, мог тратить девятьсот тонн золота в год и который выкачивал из народа еще гораздо больше разными ухищрениями тирании, накопил для своего опустошенного государства долг в сто сорок миллионов дукатов. Непримируемая ненависть к свободе поглотила все его сокровища и бессмысленно сгубила его царственную жизнь. А между тем реформация распространялась, несмотря на опустошения, производившиеся его мечом, и новая республика на крови граждан водрузила свое победоносное знамя.

#### **Вопросы и задания:**

1. Почему именно события, связанные с освобождением Нидерландов, привлекли внимание Ф. Шиллера?
2. Какие аспекты представленных исторических явлений оказались для автора наиболее существенными?
3. Как отразились представления Шиллера об истории в его художественных произведениях?

#### **Предтекстовое задание:**

Прочтите фрагмент предисловия Шиллера к трагедии «Мессинская невеста» (1803). Обратите внимание на представления автора о художественном творчестве и его видах.

## **О Применении хора в трагедии** *Перевод А. Горнфельда*

Но подобно тому, как живописец облакает свои фигуры пышными складками одежд, чтобы богато и изящно заполнить пространство на своей картине, чтобы устойчиво объединить ее разрозненные части в спокойные массы, чтобы предоставить поле игре красок, пленяющих и улаждающих глаз, чтобы одновременно искусно прикрывать и в то же время показывать человеческие формы, – так и трагический поэт облакает свое строго размеренное действие и резкие очертания своих действующих лиц великолепной лирической тканью, в одеянии которой они выступают, словно в пышных складках пурпурной мантии, свободно и благородно, со сдержанным достоинством и величавым спокойствием.

В высшем организме материя или элементарное начало уже не должно быть видимо; химическая краска исчезает в тонком румянце живой плоти. Однако и материя имеет свою прелесть и может быть, как таковая, введена в художественное целое. Но в этом случае она должна своей жизненностью, полнотой и гармоничностью заслужить себе место и обрисовывать формы, окужаемые ею, а не подавлять их своей тяжеловесностью.

В произведениях изобразительного искусства это легко понять всякому; но то же имеет место и в поэзии, и в трагической поэзии, о которой идет здесь речь. Все, что высказывает в отвлеченной форме рассудок, равно как то, что просто возбуждает чувства, представляет собой в поэтическом произведении лишь материю и грубый элемент и неизбежно разрушит все поэтическое там, где получит преобладание; ибо произведение заключается именно в равновесии идеального и чувственного. Между тем так уж создан человек, что всегда его влечет к переходу от частного к общему, и таким образом рефлексия должна обрести свое место также в трагедии. Но для того чтобы заслужить это место, она должна выразительностью возместить то, чего ей не хватает в чувственной жизненности, ибо если два составные элемента поэзии, идеальное и чувственное, не сотрудничают в глубоком внутреннем *взаимодействии*, то они должны действовать *рядом* друг с другом, – иначе нет поэзии. Если весы не находятся в совершенном равновесии, то оно может быть установлено только *качанием* обеих чашек.

### **Вопросы и задания:**

1. Сопоставьте содержание фрагмента с материалом книги А. Г. Аствацатурова «Поэзия. Философия. Игра» (раздел «Искусство как игра»). См. II том УМК: *Аствацатуров А. Г. Поэзия. Философия. Игра. Герменевтическое исследование творчества И. В. Гёте, Ф. Шиллера, В. А. Моцарта, Ф. Ницше.* СПб., 2010. С. 304–307.

2. Обнаружьте связь размышлений Шиллера с его приведенными выше стихотворениями «Дружба» (1781) и «Гений» (1795).

3. Как проявились представления Шиллера о поэтическом творчестве в своеобразии его художественного наследия?

## Иоганн Вольфганг фон Гёте (1749–1832)

### Предтекстовое задание:

Прочитайте фрагменты эссе Гёте «Ко дню Шекспира» (1771), написанного к празднованию «дня ангела» английского драматурга («дня Уильяма») – 14 октября, обращая внимание на особенности восприятия Гёте-штюрмером шекспировского творчества.

### Ко дню Шекспира Перевод Н. Ман

[...]

Не колеблясь ни минуты, я отрекся от театра, подчиненного пра-вилам<sup>207</sup>. Единство места казалось мне устрашающим, как подземелье, единство действия и времени – тяжкими цепями, сковывающими воображение. Я вырвался на свежий воздух и впервые почувствовал, что у меня есть руки и ноги. И когда я увидел, сколько несправедливостей причинили мне создатели этих правил, сидя в своей дыре, в которой – увы! – пресмыкается еще немало свободных душ, мое сердце расколослось бы надвое, если б я не объявил им войны и не стал бы ежедневно разрушать их козни.

Греческий театр, который французы взяли за образец, по своей внутренней и внешней сути был таков, что скорее какому-нибудь маркизу удалось бы подражать Алкивиаду<sup>208</sup>, чем их Корнелиям уподобиться Софоклу.

Вначале как интермеццо богослужения, затем, став частью политических торжеств, трагедия показывала народу великие деяния отцов, чистой простотой совершенства пробуждая в душах великие чувства, ибо сама была цельной и великой. И в каких душах!

В греческих! Я не могу объяснить, что это значит, но я чувствую это и, краткости ради, сошлюсь на Гомера, Софокла и Феокрита; они научили меня это чувствовать. И мне хочется тут же прибавить: «Французик, на что тебе греческие доспехи, они тебе не по плечу».

Поэтому-то все французские трагедии пародируют самих себя. Сколь чинно там все происходит, как похожи они друг на друга, – словно два сапога, и как скучны к тому же, особенно *in genere* в четвертом акте, – известно вам по опыту, милостивые государи, и я не стану об этом распространяться.

Кому впервые пришла мысль перенести важнейшие государственные дела на подмостки театра<sup>209</sup>, я не знаю; здесь для любителей открывается возможность критических изысканий. Я сомневаюсь в том, чтобы честь этого открытия принадлежала Шекспиру; достаточно того, что он возвел такой вид драмы в степень, которая и поныне кажется высочайшей, ибо редко чей взор достигал ее, и, следовательно, трудно надеяться, что кому-нибудь удастся заглянуть еще выше или ее превзойти.

<sup>207</sup> Гёте имеет в виду театр французского классицизма. Ставившиеся в нем пьесы следовали единству времени, места и действия. Под влиянием Иоганна Кристо-фа Готшпеда (1700–1766) классицистские правила распространились также и на немецкий театр.

<sup>208</sup> Алкивиад – древнегреческий полководец и государственный деятель (V в. до н. э.)

<sup>209</sup> ... *перенести важнейшие государственные дела на подмостки театра* – Гёте имеет в виду т. н. «Haupt-und Staatsaktionen», буквально «главные и государственные действия» – таково было жанровое обозначение исторических пьес, исполнявшихся немецкими бродячими театрами в XVII–XVIII вв. и имевших, в отличие от комедий и фарсов, серьезный характер.

Шекспир, друг мой, будь ты среди нас, я мог бы жить только вблизи от тебя! Как охотно я согласился бы играть второстепенную роль Пила-да, будь ты Орестом<sup>210</sup>, – куда охотнее, чем почтенную особу верховного жреца в Дельфийском храме<sup>211</sup>.

[...]

Шекспировский театр – это прекрасный ящик редкостей, здесь мировая история, как бы по невидимой нити времени, шествует перед нашими глазами. Планы его – это не планы в обычном смысле слова.

Но все его пьесы вращаются вокруг скрытой точки (которые не увидел и не определил еще ни один философ), где вся своеобычность нашего «Я» и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого. Но наш испорченный вкус так затуманил нам глаза, что мы нуждаемся чуть ли не во втором рождении, чтобы выбраться из этих потемок.

Все французы и зараженные ими немцы – даже Виланд<sup>212</sup> – в этом случае, как, впрочем, и во многих других, снискали себе мало чести. Вольтер, сделавший своей профессией чернить великих мира сего<sup>213</sup>, и здесь проявил себя как подлинный Ферсит<sup>214</sup>. Будь я Улиссом, его спина извивалась бы под моим жезлом.

Для большинства этих господ камнем преткновения служат прежде всего характеры, созданные Шекспиром.

А я восклицаю: природа, природа! Что может быть больше природой, чем люди Шекспира!

И вот они все на меня обрушились!

Дайте мне воздуху, чтобы я мог говорить!

Да, Шекспир соревновался с Прометеем! По его примеру, черта за чертой, создавал он своих людей, но в колоссальных масштабах – потому-то мы и не узнаем наших братьев, – и затем оживил их дыханием своего гения; это он говорит устами своих героев, и мы невольно узнаем их сродство.

И как смеет наш век судить о природе? Откуда можем мы знать ее, мы, которые с детских лет ощущаем на себе корсет и пудренный парик и то же видим и на других?

### **Вопросы и задания:**

1. Какие этапы развития европейского театра упоминаются в эссе?
2. Которые из этих этапов оказываются сопоставимыми с драматургией Шекспира?
3. В чем, по мнению Гёте, Шекспир противостоит театру французского классицизма?
4. Сравните отношение молодого Гёте к французскому театру и к Шекспиру с позицией Лессинга, высказанной в Семнадцатом письме о новейшей литературе.
5. Какие стилевые особенности данного текста позволяют говорить о его принадлежности к движению «Буря и натиск»?

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

---

<sup>210</sup> Пилад и Орест – в античной мифологии образец верной дружбы.

<sup>211</sup> Дельфийский храм – храм Аполлона, находившийся в г. Дельфы в Древней Греции и считавшийся центром мира.

<sup>212</sup> *Даже Виланд* – Виланд перевел Шекспира на немецкий язык прозой (8-томное издание его переводов вышло в 1762–1766 гг. в Цюрихе).

<sup>213</sup> Гёте имеет в виду тот эпизод из жизни Вольтера, когда последний, поссорившись с Фридрихом II Прусским, рассказывал третьим лицам неприглядные подробности жизни короля.

<sup>214</sup> Ферсит (Терсит) – злобный персонаж в «Илиаде» Гомера. Улисс – персонаж «Илиады», упоминаемый Гёте в данном контексте как символ благоразумия.

Познакомьтесь с двумя яркими примерами любовной лирики раннего Гёте, которые, наряду с другими стихотворениями, вошли в так называемый «Зе-зенхаймский цикл» (1771), посвященный эльзасской возлюбленной поэта пасторской дочери Фридерике Брион. Обратите внимание на способ выражения чувства: на специфику образного ряда, на своеобразие синтаксиса.

## **Свидание и разлука** *Перевод Н. Заболоцкого*

Душа в огне, нет силы боле,  
Скорей в седло и на простор!  
Уж вечер плыл, лаская поле,  
Висела ночь у края гор.  
Уже стоял, одетый мраком,  
Огромный дуб, встречая нас;  
И тьма, гнездясь по буеракам,  
Смотрела сотней черных глаз.

Исполнен сладостной печали,  
Светился в тучах лик луны,  
Крылами ветры помавали,  
Зловещих шорохов полны.  
Толпою чудищ ночь глядела,  
Но сердце пело, неся конь,  
Какая жизнь во мне кипела,  
Какой во мне пылал огонь!

В моих мечтах лишь ты носилась,  
Твой взор так сладостно горел,  
Что вся душа к тебе стремилась  
И каждый вздох к тебе летел.  
И вот конец моей дороги,

И ты, овеяна весной,  
Опять со мной! Со мной! О боги!  
Чем заслужил я рай земной?

Но – ах! – лишь утро засияло,  
Угасли милые черты.  
О, как меня ты целовала,  
С какой тоской смотрела ты!  
Я встал, душа рвалась на части,  
И ты одна осталась вновь...  
И все ж любить – какое счастье!  
Какой восторг – твоя любовь!

## Майская песня *Перевод А. Глобы*

Как все ликует,  
Поет, звенит!  
В цвету долина,  
В огне зенит!

Трепещет каждый  
На ветке лист,  
Не молкнет в рощах  
Веселый свист.

Как эту радость  
В груди вместить! –  
Смотреть! и слушать!  
Дышать! и жить!

Любовь, роскошен  
Твой щедрый пир!  
Твое творенье –  
Безмерный мир!

Ты все даришь мне:  
В саду цветок,  
И злак на ниве,  
И гроздный сок!..

Скорее, друг мой,  
На грудь мою!  
О, как ты любишь!  
Как я люблю!

Находит ландыш  
Тенистый лес,  
Стремится птица  
В простор небес.

А мне любовь лишь  
Твоя нужна,  
Дает мне радость  
И жизнь она.

Мой друг, для счастья,  
Любя, живи, –  
Найдешь ты счастье  
В своей любви!

### Вопросы и задания:

1. Почему, на ваш взгляд, в первых строфах обоих стихотворений нет обращения к возлюбленной, но присутствуют описания явлений природы?
2. Каково своеобразие природных образов, вправляемых в монолог лирического героя?
3. Что первично для лирического героя: любовь или природа («безмерный мир»)?
4. Выделите «динамические» моменты в описании природных явлений и состояний.
5. Какие содержательные и формальные особенности стихотворений свидетельствуют о его принадлежности к направлению «буря и натиск»?

\* \* \*

### Предтекстовое задание:

Прочтите один из так называемых «больших гимнов» молодого Гёте, «Прометей» (1774), и обратите внимание на своеобразие использования в данном тексте античной мифологии, а также на специфику строфики, размера и ритма.

## Прометей

*Перевод В. Левика*

Ты можешь, Зевс, громадой тяжких туч  
Накрыть весь мир,  
Ты можешь, как мальчишка,  
Сбивающий репы,  
Крушить дубы и скалы,  
Но ни земли моей  
Ты не разрушишь,  
Ни хижины, которую не ты построил,  
Ни очага,  
Чей животворный пламень  
Тебе внушает зависть.

Нет никого под солнцем  
Ничтожней вас, богов!  
Дыханием молитв  
И дымом жертвоприношений  
Вы кормите свое  
Убогое величье,  
И вы погибли б все, не будь на свете  
Глупцов, питающих надежды, –  
Доверчивых детей  
И нищих.

Когда ребенком был я и ни в чем  
Мой слабый ум еще не разобрался,  
Я в заблужденье к солнцу устремлял  
Свои глаза, как будто там, на небе,  
Есть уши, чтоб мольбе моей внимать,

И сердце есть, как у меня,  
Чтоб сжалиться над угнетенным.

Кто мне помог  
Смирить высокомерие титанов?  
Кто спас меня от смерти  
И от рабства?  
Не ты ль само,  
Святым огнем пылающее сердце?  
И что ж, не ты ль само благодарило,  
По-юношески горячо и щедро,  
Того, кто спал беспечно в вышине!

Мне – чтить тебя? За что?  
Рассеял ты когда-нибудь печаль  
Скорбящего?  
Отер ли ты когда-нибудь слезу  
В глазах страдальца?  
А из меня не вечная ль судьба,  
Не всемогущее ли время  
С годами выковали мужа?

Быть может, ты хотел,  
Чтоб я возненавидел жизнь,  
Бежал в пустыню оттого лишь,  
Что воплотил  
Не все свои мечты?

Вот я – гляди! Я создаю людей,  
Леплю их  
По своему подобию,  
Чтобы они, как я, умели  
Страдать, и плакать,  
И радоваться, наслаждаясь жизнью,  
И презирать ничтожество твое,  
Подобно мне!

**Вопросы и задания:**

1. Изложите в нескольких словах суть монолога Прометея, обращенного к Зевсу.
2. Как бунтарство Прометея соотносимо с антиавторитарными установками движения «бурия и натиск»?
3. Приведите примеры бунта против отцовского авторитета из «штюрмер-ских» текстов других авторов.
4. Найдите в тексте признаки пантеистического отношения к природе.
5. Что можно сказать о своеобразии формы стиха и поэтического синтаксиса молодого Гёте?



\* \* \*

**Предтекстовое задание:**

Прочитайте фрагменты из третьего и пятого действия драмы, написанной Гёте в 1774 г. по сюжетной канве автобиографических записок немецкого рыцаря Геца (Готфрида) фон Берлихингена (1557). Обратите внимание на характер и главного героя и способ его репрезентации в драме.

**Гец фон Берлихинген**  
*Перевод Е. Книпович*

**Действие третье**

*/.../*

Якстгаузен

Гец. Георг.

Георг. Он сам хочет поговорить с вами. Я его не знаю. Он – статный мужчина с черными, огненными глазами.

Гец. Приведи его.

*Входит Лерзе*<sup>215</sup>.

Здравствуйте! Какие вести вы несете?

Лерзе. Я принес лишь самого себя, это немного, но всего себя целиком я предлагаю вам.

Гец. Добро пожаловать, вдвойне добро пожаловать, храбрый муж, да еще в такое время, когда я не надеялся заполучить новых друзей, а скорей боялся потерять старых. Как ваше имя?

Лерзе. Франц Лерзе.

Гец. Благодарю вас, Франц, что вы познакомили меня с храбрым человеком.

Лерзе. Я уже однажды познакомил вас с собою, но только тогда вы не благодарили меня.

Гец. Я вас не помню.

Лерзе. Это меня огорчает. Но ведь вы помните еще, как по воле пфальцграфа вы сражались против Конрада Шотта<sup>216</sup> и в ночь на масленицу собирались ехать в Гасфурт?

Гец. Ну конечно, помню.

Лерзе. Вы помните, как по дороге в одной деревне вам повстречалось двадцать пять рейтаров<sup>217</sup>?

Гец. Верно. Мне сначала показалось, что их двенадцать, я разделил свой отряд надвое – нас было шестнадцать – и остался у деревни за сараями в надежде, что они проедут мимо. Тогда я бы ударил им в тыл, как было условлено с другим отрядом.

Лерзе. Но мы заметили вас и поднялись на холм возле деревни. Вы проехали мимо и остановились внизу. Когда мы увидели, что вы не хотите подняться, мы ринулись вниз.

Гец. Тут только я увидел, что попал из огня да в полымя. Двадцать пять против восьми! Это не шутки! Эргард Труксес заколол моего латника. За это я сбросил с коня его самого.

---

<sup>215</sup> *Лерзе* – Гёте наделил данного персонажа именем своего страсбургского друга – Франца Лерзе.

<sup>216</sup> ...*договорился с пфальцграфом пойти против Конрада Шотта*. – Пфальцграф – владетельный князь прирейнской области Пфальц. Конрад Шотт – рыцарь-разбойник под стать историческому Гецу (в отличие от героя драмы Гёте). Эпизод борьбы против него почти дословно взят из автобиографических записок Геца.

<sup>217</sup> *Рейтары* – солдаты тяжело вооруженной кавалерии в XVI в., часто нанимались из числа иностранцев.

Если бы все они дрались так, как он и еще один латник, то мне и моей маленькой дружине пришлось бы плохо.

Лерзе. Латник, о котором вы говорите...

Гец. Он был храбрее всех, кого я видел. Он здорово поприжал меня. А когда я думал, что уже совсем от него отделался, он снова очутился передо мной и яростно на меня набросился. Он прорубил мне рукав панциря и слегка поранил руку.

Лерзе. Вы ему простили?

Гец. Он понравился мне – лучше нельзя.

Лерзе. Ну, тогда я надеюсь, что вы будете мною довольны, – образец моей работы я показал на вас самих.

Гец. Так это ты? Добро пожаловать, вдвойне добро пожаловать! Можешь ли ты похвалиться, Максимилиан, хоть одним таким слугою?

Лерзе. Меня удивляет, что вы раньше меня не узнали.

Гец. Да как мне могло прийти в голову, что тот, кто яростнее всех стремился меня одолеть, пришел теперь предложить мне свои услуги?

Лерзе. Вот в том-то и дело, господин мой! Я с юности служил рейтаром и скрестил оружие не с одним рыцарем. Когда мы ударили на вас, я обрадовался. До того я знал лишь ваше имя, тогда я узнал вас лично. Вы знаете, я тогда не устоял. Вы видели, что это было не от страха, – ведь я вернулся. Словом, я узнал вас и с того часа решил вам служить.

Гец. На какое время вы хотите у меня остаться?

Лерзе. На год, но без платы.

Гец. Нет, вам должно платить, как всякому другому, и еще сверх того, как человеку, который задал мне работу при Ремлине<sup>218</sup>.

*Входит Георг.*

Георг. Ганс фон Зельбиц шлет вам привет. Завтра он будет здесь с пятьюдесятью рейтарами.

Гец. Отлично!

Георг. Возле Кохера спускается имперский отряд – наверное, для наблюдения за вами.

Гец. Сколько их?

Георг. Человек пятьдесят.

Гец. Только-то! Идем, Лерзе, – мы их изрубим! Пусть к приезду Зельбица часть работы уже будет выполнена.

Лерзе. Это будет наш ранний урожай.

Гец. На коней!

*Уходят.*

[...]

## Действие пятое

[...]

### В тесном и мрачном подземелье

*Судьи тайного судилища. Все в масках<sup>219</sup>.*

---

<sup>218</sup> *Ремлин* – местности с таким названием нет; либо описка Гёте (вместо Рем-линген), либо выдуманное название.

<sup>219</sup> *Судьи тайного судилища. Все в масках.* – Тайные судилища Фемы (происхождение названия не установлено) существовали в Германии в средние века. Они предназначались для тех нарушителей, которые не являлись в обычный, так называемый свободный суд. Для большего драматизма Гёте сгустил краски. На самом деле суды Фемы происходили днем, в открытом месте, судьи были без масок, женщин они не судили, в качестве высшей меры применялось только повешение (но не меч,

Старейший. Судьи тайного судилища, вы клялись на мече и петле жить непорочно, судить сокровенно, карать сокровенно, подобно богу! Если чисты сердца и руки ваши, возденьте длани, возгласите злодеям: «Горе! Горе!»

Все. Горе! Горе!

Старейший. Глашатай! Приступи к суду!

Глашатай. Я, глашатай, призываю обвинять злодеев. Чье сердце чисто, чьи руки чисты, кто может клясться на мече и петле, тот обвиняй мечом и петлей! Обвиняй! Обвиняй!

Обвинитель (*выступает вперед*). Сердце мое чисто от злодеяний, руки – от неповинной крови. Прости мне, боже, злые помышления, прегради путь злым желаниям! Я воздел длань – и обвиняю! Обвиняю! Обвиняю!

Старейший. Кого обвиняешь ты?

Обвинитель. Обвиняю на мече и петле Адельгейду фон Вейслинг-ген. Она повинна в прелюбодеянии и в отравлении мужа через его отрока. Отрок сам свершил над собой суд, супруг скончался.

Старейший. Клянешься ли ты перед богом правды, что правдивы слова твои?

Обвинитель. Клянусь.

Старейший. Если они окажутся ложью, предашь ли ты вину свою каре за убийство и прелюбодеяние?

Обвинитель. Предаю.

Старейший. Голоса ваши.

*Судьи тайно с ним переговариваются.*

Обвинитель. Судьи тайного судилища, какой приговор произнесли вы над Адельгейдой фон Вейслинг-ген, повинной в убийстве и прелюбодеянии?

Старейший. Умереть должна она! Умереть двойною и горькою смертью. Пусть дважды искупит – через нож и петлю – двойное злодеяние. Возденьте руки и призовите на нее гибель! Горе! Горе! Предана в руки мстителю!

Все. Горе! Горе! Горе!

Старейший. Мститель! Мститель! Явись!

*Мститель выступает вперед.*

Возьми меч и петлю – и да исчезнет она с лица земли до истечения восьми дней. Где бы ни нашел ее – повергни ее во прах! Судьи, что судят сокровенно и карают сокровенно, подобно богу, берегите сердца ваши от злодеяний, руки – от неповинной крови!

## Двор гостиницы

Мария. Лерзе.

Мария. Лошади достаточно отдохнули. В путь, Лерзе!

Лерзе. Отдохните до утра. Ночь уж очень неприветлива.

Мария. Лерзе, мне не будет покоя, пока я не увижу брата. Поедем. Погода разгуливается, день будет ясный.

Лерзе. Как прикажете.

## Гейльброн. Темница

Гец. Елизавета.

Елизавета. Милый муж мой, прошу тебя, поговори со мной. Твое молчание пугает меня. Оно тебя сжигает. Дай взглянуть на твои раны. Они заживают. Я не узнаю тебя более в этой унылой мрачности.

Гец. Ты ищешь Геца? Его давно уже нет. Они изувечили меня мало-помалу – лишили руки, свободы, имущества и доброго имени. Что мне в моей жизни? Есть вести о Георге? Лерзе поехал за ним?

Елизавета. Да, милый! Ободришь, еще все может измениться.

Гец. Кого ниспроверг господь, тот уже сам не подымется. Я слишком хорошо знаю, что легло мне на плечи. Я привык переносить невзгоды. Но сейчас дело не в одном Вейслингене, не в одних крестьянах, не в смерти императора, не в моих ранах. Все соединилось вместе. Час мой настал. Я надеялся, что он будет таким же, как вся моя жизнь. Но да свершится его святая воля.

Елизавета. Не хочешь ли ты покушать?

Гец. Нет, жена моя. Взгляни, как на дворе солнце сияет!

Елизавета. Чудный весенний день.

Гец. Милая, если б ты могла уговорить тюремщика пустить меня на полчаса в его садик, чтобы я мог насладиться красным солнцем, ясным небом и чистым воздухом.

Елизавета. Сейчас! И он, конечно, позволит.

## Садик при тюрьме

Мария. Лерзе.

Мария. Сходи туда и взгляни, что там.

*Лерзе уходит.*

Елизавета. Тюремщик.

Елизавета. Да вознаградит вас господь за любовь и преданность моему господину!

*Тюремщик уходит.*

Мария, что привезла ты?

Мария. Безопасность брата. Ах, но сердце мое растерзано. Вейс-линген умер, отравленный своей женой. Муж мой в опасности. Князя одолевают. Говорят, он осажден и заперт в своем замке.

Елизавета. Не верь слухам. И не давай ничего заметить Гецу.

Мария. Что с ним?

Елизавета. Я боялась, что он не доживет до твоего возвращения. Тяжко легла на него десница господня. А Георг умер.

Мария. Георг! Золотой мой мальчик!

Елизавета. Когда эти негодяи жгли Мильтенберг, господин отправил его, чтоб он остановил их. Вдруг на них ударил отряд союзников. Георг! Для того чтобы все они так дрались, как он, у них должна бы была быть и его чистая совесть. Многие были заколоты, и среди них – Георг. Он умер смертью воина.

Мария. Гец это знает?

Елизавета. Мы скрываем от него. Он десять раз в день спрашивает меня о нем, десять раз посылает меня разузнать, что с ним. Я боюсь нанести этот последний удар его сердцу.

Мария. О боже! Как тщетны земные упования!

*Гец. Лерзе. Тюремщик.*

Гец. Боже всемогущий! Как хорошо под небом твоим! Как свободно! На деревьях наливаются почки, все полно надежды. Прощайте, мои любимые, корни мои подрублены, мощь моя клонится к могиле.

Елизавета. Можно послать Лерзе в монастырь за нашим сыном, чтобы ты еще раз взглянул на него и дал ему свое благословение?

Гец. Оставь его, он святей меня, мое благословение ему не нужно. В день нашей свадьбы не думалось мне, Елизавета, что я умру так. Мой старый отец благословил нас, и молитва его была полна надежды на потомство – благородных, смелых сыновей. Ты не внял ему, господи, и я – последний. Лерзе, мне еще радостней видеть тебя в час смерти, чем в жаркой сече. Тогда мой дух вел вас, теперь ты поддерживаешь меня. Ах, если б еще раз увидеть Георга – его вид согрел бы меня. Вы опустили глаза долу и плачете. Он умер... Георг умер... Умри, Гец, ты пережил самого себя, ты пережил благороднейших. Как он умер? Ах, они захватили его вместе с поджигателями и убийцами и он казнен?

Елизавета. Нет, он был заколот при Мильтенберге. Он дрался, как лев, за свою свободу.

Гец. Слава богу! Он был лучшим юношей на земле и храбрейшим. Отпусти ныне душу мою... Бедная жена! Я оставляю тебя в развращенном мире. Лерзе, не покидай ее... Замыкайте сердца ваши заботливее, чем ворота дома. Приходит время обмана, ему дана полная свобода. Негодяи будут править хитростью, и честный попадетсЯ в их сети. Мария, да возвратит тебе господь мужа твоего. Дай бог, чтобы он не пал столь же низко, сколь высоко был вознесен! Зельбиц умер, и добрый император, и Георг мой... Дайте мне воды... Небесный воздух... Свобода! Свобода! (*Умирает.*)

Елизавета. Она лишь там, в вышине, с тобою. Мир – темница<sup>220</sup>.

Мария. Благородный муж! Благородный муж! Горе веку, отвергнувшему тебя!

Елизавета. Горе потомству, если оно тебя не оценит!

### **Вопросы и задания:**

1. О каком эпизоде немецкой истории идет речь в драме?
2. Каковы авторские мотивы обращения к национальной истории? (Увяжите ответ на вопрос с положениями эссе Гёте «Ко дню Шекспира».)
3. Сопоставьте композицию и стиль драмы с классицистским драматургическим каноном и с типом шекспировской драмы и перечислите в каждом случае сходства и отличия.
4. В каких деталях и частностях проявилась близость пьесы к шекспировскому театру?
5. Как возможно было бы сформулировать «штюрмерскую» специфику образа главного героя и стиля пьесы в целом? Есть ли в составе данных признаков руссоистские элементы?

\* \* \*

### **Предтекстовое задание:**

Прочтите фрагменты романа Гёте «Страдания юного Вертера» (1774), обращая внимание на изменение настроения героя от первых пассажей романа к заключительным.

## **Страдания юного Вертера** *Перевод Н. Касаткиной*

10 мая

---

<sup>220</sup> Мир – темница. – Ср. «Гамлет», акт II, сц. 2: «Дания – тюрьма», «...Весь мир – тюрьма».

Душа моя озарена неземной радостью, как эти чудесные весенние утра, которыми я наслаждаюсь от всего сердца. Я совсем один и блаженствую в здешнем краю, словно созданном для таких, как я. Я так счастлив, мой друг, так упоен ощущением покоя, что искусство мое страдает от этого. Ни одного штриха не мог бы я сделать, а никогда не был таким большим художником, как в эти минуты. Когда от милой моей долины поднимается пар и полдневное солнце стоит над непроницаемой чащей темного леса и лишь редкий луч проскальзывает в его святая святых, а я лежу в высокой траве у быстрого ручья и, прильнув к земле, вижу тысячи всевозможных былинки и чувствую, как близок моему сердцу крошечный мирок, что снует между стебельками, наблюдаю эти неисчислимые, непостижимые разновидности червячков и мошек и чувствую близость всемогущего, создавшего нас по своему подобию, веяние вселюбящего, судившего нам парить в вечном блаженстве, когда взор мой туманится и все вокруг меня и небо надо мной запечатлены в моей душе, точно образ возлюбленной, – тогда, дорогой друг, меня часто томит мысль: «Ах! Как бы выразить, как бы вдохнуть в рисунок то, что так полно, так трепетно живет во мне, запечатлеть отражение моей души, как душа моя – отражение предвечного бога!» Друг мой... Но нет! Мне не под силу это, меня подавляет величие этих явлений.

*12 мая*

Не знаю, то ли обманчивые духи населяют эти места, то ли мое собственное пылкое воображение все кругом превращает в рай. Сейчас же за городком находится источник, и к этому источнику я прикован волшебными чарами, как Мелузина<sup>221</sup> и ее сестры. Спустившись с пригорка, попадаешь прямо к глубокой пещере, куда ведет двадцать ступенек, и там внизу из мраморной скалы бьет прозрачный ключ. Наверху низенькая ограда, замыкающая водоем, кругом роща высоких деревьев, прохладный, тенистый полумрак – во всем этом есть что-то влекущее и таинственное. Каждый день я просиживаю там не меньше часа. И городские девушки приходят туда за водой – простое и нужное дело, царские дочери не гнушались им в старину. Сидя там, я живо представляю себе патриархальную жизнь<sup>222</sup>: я словно воочию вижу, как все они, наши праотцы, встречали и сватали себе жен у колодца и как вокруг источников и колодцев витали благодетельные духи. Лишь тот не поймет меня, кому не случалось после утомительной прогулки в жаркий летний день насладиться прохладой источника!

*13 мая*

Ты спрашиваешь, прислать ли мне мои книги. Милый друг, ради бога, избавь меня от них! Я не хочу больше, чтобы меня направляли, ободряли, воодушевляли, сердце мое острожно волнуется само по себе: мне нужна колыбельная песня, а такой, как мой Гомер, второй не найти. Часто стараюсь я убаюкать свою мятежную кровь; недаром ты не встречал ничего переменчивей, непостоянней моего сердца! Милый друг, тебя ли мне убеждать в этом, когда тебе столько раз приходилось терпеть переходы моего настроения от уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной пылкости! Потому-то я и лелею свое бедное сердечко, как больное дитя, ему ни в чем нет отказа. Не разглашай этого! Найдутся люди, которые поставят мне это в укор. /.../

---

<sup>221</sup> *Мелузина* – полуженщина-полурыба, персонаж французского фольклора, воспринятый также и немецкой и скандинавской традицией. О сказке о Мелузине Гёте упоминает в своей автобиографии «Поэзия и правда». Одна из вставных новелл его позднего романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера» носит название «Новая Мелузина».

<sup>222</sup> ...я живо представляю себе патриархальную жизнь и т. д. – аллюзия на библейское предание о сватовстве прадеда Исаака (Книга Бытия, гл. 24).

*16 июня*

Почему я не пишу тебе, спрашиваешь ты, а еще слынешь ученым. Мог бы сам догадаться, что я вполне здоров и даже... словом, я свел знакомство, которое живо затронуло мое сердце... Боюсь сказать, но, кажется, я... Не знаю, удастся ли мне описать по порядку, каким образом я познакомился с одним из прелестнейших в мире созданий. Я счастлив и доволен, а значит, не гожусь в трезвые повествователи. Это ангел! Фи, что я! Так каждый говорит про свою милую. И все же я не в состоянии выразить, какое она совершенство и в чем ее совершенство; короче говоря, она полонила мою душу.

Какое сочетание простосердечия и ума, доброты и твердости, душевного спокойствия и живости деятельной природы! Все эти слова только пошлый вздор, пустая отвлеченная болтовня, не отражающая ни единой черточки ее существа. В другой раз... нет, не в другой, а сейчас, сию минуту расскажу я тебе все! Если не сейчас, я не соберусь никогда. Между нами говоря, у меня уже три раза было поползновение отложить перо, оседлать лошадь и поехать туда. Я с утра дал себе слово остаться дома, а сам каждую минуту подхожу к окну и смотрю, долго ли до вечера... Я не мог совладать с собой, не удержался и поехал к ней. Теперь я возвратился, буду ужинать хлебом с маслом и писать тебе, Вильгельм. Что за наслаждение для меня видеть ее в кругу восьмерых милых резвых ребятшек, ее братьев и сестер! Если я буду продолжать в том же роде, ты до конца не поймешь ничего. Слушай же! Сделаю над собой усилие и расскажу все в мельчайших подробностях. Я писал тебе недавно, что познакомился с амтманом С. и он пригласил меня посетить его уединенную обитель, или, вернее, его маленькое царство. Я пренебрег этим приглашением и, вероятно, так и не побывал бы у него, если бы случайно не обнаружил сокровища, спрятанного в этом укромном уголке. Наша молодежь затеяла устроить загородный бал, в котором я охотно принял участие. Я предложил себя в кавалеры одной славной, миловидной, но, впрочем, бесцветной девушке, и было решено, что я заеду в карете за моей дамой и ее кузиной, что по дороге мы захватим Шарлотту С. и вместе отправимся на праздник. «Сейчас вы увидите красавицу», – сказала моя спутница, когда мы широкой лесной просекой подъезжали к охотничьему дому. «Только смотрите не влюбитесь!» – подхватила кузина. «А почему?» – спросил я. «Она уже просватана за очень хорошего человека, – отвечала та, – он сейчас в отсутствии, поехал приводить в порядок свои дела после смерти отца и устраиваться на солидную должность». Эти сведения произвели на меня мало впечатления. Солнце еще не скрылось за горной грядой, когда мы подъехали к воротам. Было очень душно, и дамы беспокоились, не соберется ли гроза, потому что кругом на горизонте стягивались иссера-белые пухлые облака. Я успокоил их страх мнимыми научными доводами, хотя и сам начал побаиваться, что наш праздник не обойдется без помехи. Я вышел из кареты, и служанка, отворившая ворота, попросила обождать минутку: мамзель Лотхен сейчас будет готова. Я вошел во двор, в глубине которого высилось красивое здание, поднялся на крыльцо, и, когда переступил порог входной двери, передо мной предстало самое прелестное зрелище, какое мне случалось видеть. В прихожей шестеро детей от одиннадцати до двух лет окружили стройную, среднего роста девушку в простеньком белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала в руках каравай черного хлеба, отрезала окружавшим ее малышам по куску, сообразно их годам и аппетиту, и ласково оделяла каждого, и каждый протягивал ручонку и выкрикивал «спасибо» задолго до того, как хлеб был отрезан, а потом одни весело, вприпрыжку убегали со своим ужином, другие же, те, что посмирнее, тихонько шли к воротам посмотреть на чужих людей и на карету, в которой уедет их Лотхен. [...]

*19 июля*

«Я увижу ее! – восклицаю я утром, просыпаясь и весело приветствуя яркое солнце. – Я увижу ее!» Других желаний у меня нет на целый день. Все, все поглощается этой надеждой.  
[...]

*18 августа*

Почему то, что составляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий? Могучая и горячая любовь моя к живой природе, наполнявшая меня таким блаженством, превращая для меня в рай весь окружающий мир, теперь стала моим мучением и, точно жестокий демон, преследует меня на всех путях. Бывало, я со скалы оглядывал всю цветущую долину, от реки до дальних холмов, и видел, как все вокруг растет, как жизнь там бьет ключом; бывало, я смотрел на горы, от подножия до вершины одетые высокими, густыми деревьями, и на многообразные извивы долин под сенью чудесных лесов и видел, как тихая река струится меж шуршащих камышей и отражает легкие облака, гонимые по небу слабым вечерним ветерком; бывало, я слышал птичий гомон, оживлявший лес, и миллионные рои мошек весело плясали в алом луче заходящего солнца, и последний зыбкий блик выманивал из травы гудящего жука; а стрекотание и возня вокруг привлекали мои взоры к земле, и мох, добывающий себе пищу в голой скале подо мной, и кустарник, растущий по сухому, песчаному косогору, открывали мне кипучую, сокровенную священную жизнь природы; все, все заключал я тогда в мое трепетное сердце, чувствовал себя словно божеством посреди этого буйного изобилия, и величественные образы безбрежного мира жили, все одушевляя во мне! Исполинские горы обступали меня, пропасти открывались подо мною, потоки свергались вниз, у ног моих бежали реки, и слышны были голоса лесов и гор! И я видел их, все эти непостижимые силы, взаимодействующие и созидающие в недрах земли, а на земле и в поднебесье копошатся бесчисленные племена разнородных созданий, все, все населено многоликими существами, а люди прячутся, сбившись в кучу, по своим домишкам и воображают, будто они царят над всем миром! Жалкий глупец, ты все умаляешь, потому что сам ты так мал! От неприступных вершин, через пустыни, где не ступала ничья нога, до краев неведомого океана веет дух извечного творца и радуется каждой песчинке, которая внемлет ему и живет. Ах, как часто в то время стремился я унести на крыльях журавля, пролетавшего мимо, к берегам необозримого моря, из пенистой чаши вездесущего испить головокружительное счастье жизни и на миг один приобщиться в меру ограниченных сил моей души к блаженству того, кто все созидает в себе и из себя! Знаешь, брат, одно воспоминание о таких часах отрадно мне. Даже старание воскресить те невыразимые чувства и высказать их возвышает мою душу, чтобы вслед за тем я вдвойне ощутил весь ужас моего положения. Передо мной словно поднялась завеса, и зрелище бесконечной жизни превратилось для меня в бездну вечно отверстой могилы. Можешь ли ты сказать: «Это есть», – когда все проходит, когда все проносится с быстротой урагана, почти никогда не исчерпав все силы своего бытия, смывается потоком и гибнет, увы, разбившись о скалы? Нет мгновения, которое не пожирало бы тебя и твоих близких, нет мгновения, когда бы ты не был, пусть против воли, разрушителем! Безобиднейшая прогулка стоит жизни тысячам жалких червячков; один шаг сокрушает постройки, кропотливо возведенные муравьями, и топчет в прах целый мирок. О нет, не великие, исключительные всемирные бедствия трогают меня, не потопа, смывающие ваши деревни, не землетрясения, поглощающие ваши города: я не могу примириться с разрушительной силой, сокрытой во всей природе и ничего не создавшей такого, что не истребляло бы своего соседа или самого себя. И я мечусь в страхе. Вокруг меня животворящие силы неба и земли. А я не вижу ничего, кроме всепожирающего и все перемалывающего чудовища.

*21 августа*



Напрасно простираю я к ней объятия, очнувшись утром от тяжких снов, напрасно ищу ее ночью в своей постели, когда в счастливом и невинном сновидении мне пригрезится, будто я сижу возле нее на лугу и осыпаю поцелуями ее руку. Когда же я тянусь к ней, еще одурманенный дремотой, и вдруг просыпаюсь, – поток слез исторгается из моего стесненного сердца, и я плачу безутешно, предчувствуя мрачное будущее.

*14 декабря*

Друг мой, что же это такое? Я боюсь самого себя. Неужто любовь моя к ней не была всегда благоговейнейшей, чистойшей братской любовью? Неужто в душе моей таились преступные желания? Не смею отрицать... К тому же эти сны! О, как правы были люди, когда приписывали внутренние противоречия влиянию враждебных сил! Сегодня ночью – страшно сознаться – я держал ее в объятиях, прижимал к своей груди и осыпал поцелуями ее губы, лепетавшие слова любви, взор мой тонул в ее затуманенном негой взоре! Господи! Неужто я преступен оттого, что для меня блаженство – со всей полнотой вновь переживать те жгучие радости? Лотта! Лотта! Я погибший человек! Ум мой мутится, уже неделю я сам не свой, глаза полны слез. Мне повсюду одинаково плохо и одинаково хорошо. Я ничего не хочу, ничего не прошу. Мне лучше уйти совсем.

Решение покинуть мир все сильнее укреплялось в душе Вертера в ту пору, чему способствовали и разные обстоятельства. С самого возвращения к Лотте это было последним его прибежищем, последней надеждой; однако он дал себе слово, что это не будет шальной и необдуманной шаг, он совершит его с ясным сознанием, с твердой и спокойной решимостью.

Его сомнения, его внутренняя борьба раскрываются в записи без числа, составлявшей, по-видимому, начало письма к Вильгельму и найденное среди его бумаг. «Ее присутствие, ее участь, ее сострадание к моей участи только и могут еще исторгнуть слезы из моего испепеленного сердца. Поднять завесу и скрыться за ней! Вот и все! К чему же мешкать и колебаться? Потому, что мы не знаем, каково там, за этой завесой? И потому, что возврата оттуда нет? И еще потому, что нам свойственно предполагать хаос и тьму там, где все для нас неизвестность».

Мало-помалу он освоился и сроднился с печальной мыслью, и намерение его утвердилось бесповоротно [...]

### **Вопросы и задания:**

1. Каково отношение Вертера к окружающему миру в начале повествования? Выделите элементы пантеистического, идиллического и сентименталистско-го мироотношения в его письмах.

2. Какие качества Лотты представляются Вертеру наиболее важными? Как кодируется любовное чувство протагониста?

3. Сравните отношения Вертера и Лотты с отношениями Сен-Пре и Юлии из романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

4. На ваш взгляд, любовь к Лотте раскрывает Вертера по отношению к окружающему миру или, наоборот, закрывает, герметизирует его внутренний мир?

5. Почему самоубийство представляется герою в конце единственным выходом из сложившейся ситуации?

**Предтекстовое задание:** Прочитайте стихотворения, относящиеся к веймарскому периоду творчества Гёте, обратив внимание на их философское содержание.

## Границы человечества

*Перевод А. И. Фета*

Когда стародавний  
Святой Отец  
Рукой спокойной  
Из туч гремящих  
Молнии сеет  
В алчную землю, –  
Край Его ризы  
Нижний целую  
С трепетом детским  
В верной груди.

Ибо с богами  
Меряться смертный  
Да не дерзнет:  
Если подыметса он и коснется  
Теменем звезд,  
Негде тогда опереться  
Шатким подошвам,  
И им играют  
Тучи и ветры;

Если же стоит он  
Костью дебелой  
На крепкозданной  
Прочной земле,  
То не сровняться  
Даже и с дубом  
Или с лозою  
Ростом ему.

Чем отличаются  
Боги от смертных?  
Тем, что от первых  
Волны исходят,  
Вечный поток:  
Волна нас подъемлет,  
Волна поглощает –  
И тонем мы.

Жизнь нашу объемлет  
Кольцо небольшое,  
И ряд поколений  
Связует надежно  
Их собственной жизни

Цепь без конца.

(1779)

**Божественное**  
*Перевод Ан. А. Григорьева*

Прав будь, человек,  
Милостив и добр:  
Тем лишь одним  
Отличаем он  
От всех существ,  
Нам известных.

Слава неизвестным,  
Высшим, с нами  
Сходным существам!  
Его пример нас  
Верить им учит.

Безразлична  
Природа-мать.  
Равно светит солнце  
На зло и благо,  
И для злодея  
Блещут, как для лучшего,  
Месяц и звезды.

Ветр и потоки,  
Громы и град,  
Путь совершая  
С собой мимоходом  
Равно уносят  
То и другое.

И счастье, так  
Скитаясь по миру,  
Осенит то мальчика  
Невинность кудрявую,  
То плешивый  
Преступленья череп.

По вечным, железным,  
Великим законам  
Всебытия мы  
Должны невольно  
Круги совершать.  
Человек один

Может невозможное:  
Он различает,  
Судит и рядит,  
Он лишь минуте  
Сообщает вечность.

Смеет лишь он  
Добро наградить  
И зло покарать,  
Целить и спасать  
Все заблудшее, падшее  
К пользе сводить.

И мы бессмертным  
Творим поклоненье,  
Как будто людям,  
Как в большом творившим,  
Что в малом лучший  
Творит или может творить.

Будь же прав, человек,  
Милостив и добр!  
Создавай без отдыха  
Нужное, правое!  
Будь нам прообразом  
Провидимых нами существ.

(1783)

### **Ночная песнь странника I** *Перевод А. И. Фета*

Ты, что с неба и вполне  
Все страданья укрощаешь  
И несчастного вдвойне  
Вдвое счастьем наполняешь, –  
Ах, к чему вся скорбь и радость!  
Истомил меня мой путь!  
Мира сладость,  
Низойди в больную грудь!

(1776)

### **Ночная песнь странника II** *Перевод М. Ю. Лермонтова*

Горные вершины

Спят во тьме ночной;  
Тихие долины  
Полны свежей мглой;  
Не пылит дорога,  
Не дрожат листья...  
Подожди немного,  
Отдохнешь и ты.

(1780)

**Вопросы и задания:**

1. Сравните образы божественного и природного в стихотворениях Гёте.
2. Какова роль искусства в системе отношений божественного, природного и человеческого?
3. Сопоставьте свободную нерифмованную форму стиха Гёте в переводах двух первых стихотворений с рифмованными и связанными с жесткими стихотворными размерами переводами «Ночной песни странника» I и II.

**Предтекстовое задание:** Прочитайте выбранные фрагменты драмы Гёте «Торквато Тассо» (1789), обращая внимание на расположение и мотивировки действующих лиц в отношении к заглавному персонажу.

**Торквато Тассо**  
**Драма**  
*Перевод С. Соловьёва*

**Действующие лица**

Альфонс Второй – герцог Феррарский.  
Леонора д’Эсте – сестра герцога.  
Леонора Санвитале – графиня Скандиано.  
Торквато Тассо.  
Антонио Монтекатино – государственный секретарь.

Место действия – в увеселительном замке Бельригуардо.

**Действие первое**

**Явление второе**

Принцесса. Леонора. Альфонс.

Альфонс

Ища везде, не нахожу я Тассо  
И не встречаю даже здесь у вас.  
Не можете ль вы мне о нем поведать?  
[...]  
Он издавна привык предпочитать  
Уединенье обществу людей,  
Могу простить ему, что от толпы  
Он убегает, любит на свободе

С своей душой беседовать в тиши,  
Но похвалить его я не могу,  
Что он бежит от дружеского круга.

Леонора

Коль я не ошибаюсь, скоро, князь,  
Упреки ты заменишь похвалами.  
Я видела его издалека  
Сегодня, с книгой шел он и писал.  
Из слов, что он вчера мне быстро бросил,  
Я думаю, что труд его закончен.  
Теперь ему осталось лишь исправить  
Немного, чтоб милости твоей  
Преподнести достойное творенье.

Альфонс

Да, если он его преподнесет,  
То он себя надолго оправдает.  
Чем больше я участия принимаю  
В его работе, чем отрадней мне  
Великий труд, тем больше нетерпенье  
В моей душе он множит с каждым днем.  
Не может он закончить и отделать,  
Меняет, медленно идет вперед,  
Стоит на месте, губит все надежды.  
Отсрочка наслажденья тяжела,  
Которое нам близким представлялось.

Принцесса

А я хвалю и скромность и старанье,  
С какими он идет за шагом шаг.  
В единое благоволеньем муз  
Стекаются столь многие напевы,  
И вдохновенья ждет его душа.  
Он должен округлить свою норму,  
Он громоздить не хочет баснословья,  
Которые обманывают нас  
Бренчаньем слов, красивых, но ничтожных.  
Оставь его, мой брат! Прекрасный труд  
Не временем должны мы измерять,  
Услада он для будущих веков,  
И надо позабыть про современность.

Альфонс

Так будем вместе действовать, сестрица,

Как к нашей пользе делали не раз.  
Смирять мой пыл, когда я слишком рьян,  
Я ж подгоню, где слишком ты мягка,  
И так его, быть может, наконец  
Увидим скоро мы достигшим цели,  
Должны отечество и целый мир  
Творению такому удивиться.  
Я, славу разделяющий его,  
В действительную жизнь его введу.  
Образоваться в слишком тесном круге  
Не может благородный человек.  
Он должен выносить хулу и славу  
И под влияньем родины и мира  
Познать других и самого себя.  
Его уединенье не лелеет.  
Не хочет враг шадить, а друг – не должен.  
Пусть юноша в борьбе растет и крепнет,  
Чтоб ощутить мужчиною себя.

Леонора

Все для него готов ты сделать, князь,  
Как уже много сделал до сих пор.  
Таланты образуются в покое,  
Характеры – среди житейских бурь,  
О, если б душу он образовал  
По твоему уменью! Не бежал бы  
От всех людей и склонность к подозренью  
Не превратилась в ненависть и страх.  
[...]

### **Явление третье**

Альфонс. Принцесса. Леонора. Тассо.

Тассо

(с книгой, переплетенной в пергамент)  
Мой труд преподнести тебе я медлил  
И с трепетом его тебе вручаю.  
Что он не завершен, я слишком знаю,  
Пусть он законченным казаться может.  
Хоть не хотелось мне незавершенным  
Тебе вручить его, но вот пришла  
Забота, чтобы ты не счел меня  
Чрезмерно мнительным, неблагодарным.  
Как может человек сказать: «Я здесь»,  
Чтобы друзьям своим доставить радость,

Так я могу сказать одно: «Прими!»  
(Он передает том.)

Альфонс

Меня ты изумляешь этим даром  
И в праздник превращаешь этот день.  
Итак, в моих руках его держу я  
И наконец могу назвать моим!  
Я долго ждал, чтобы ты мог решиться  
Промолвить: «Вот! Я удовлетворен».

Тассо

О, если вы довольны, он закончен;  
Он в полном смысле вам принадлежит.  
Смотря на труд, упорный и усердный,  
И на черты прилежного пера,  
Я мог бы эту вещь назвать моей.  
Но, всматриваясь ближе в то, что песням  
Достоинство и цену придает,  
Я признаю, что это лишь от вас.  
Хоть наделил дарами песнопенья  
Меня природы щедрой произвол,  
Но счастье своенравное меня  
Прочь от себя жестоко оттолкнуло.  
Едва пред взором мальчика раскрылся  
Прекрасный мир со всею полнотой,  
Как омрачила юношеский ум  
Родителей возлюбленных беда.  
Едва уста для пения раскрылись,  
Как полилась глубокой скорби песнь,  
И вторил я чуть слышными тонами  
Скорбям отца и матери тоске.  
Лишь ты один из этой тесной жизни  
Меня возвел к свободе и красе,  
Ты устранил заботы от меня,  
Свободу дал, чтобы душа моя  
Могла раскрыться в мужественной песне.  
И если труд мой значит что-нибудь,  
Я этим всем вам одному обязан.  
[...]  
О, если б мог я высказать, как живо  
Я чувствую, что всем обязан вам!  
Бездеятельный юноша – иль взял  
Он из себя поэзию? Веденье  
Умелое войны – он сам придумал?  
Искусство брани, что в урочный час  
Выказывает с мужеством герой,



Отвагу рыцарей и ум вождей,  
Как бдительность с коварством входит в спор,  
Не ты ли мне, разумный, храбрый князь,  
Все это влил, как будто бы ты был  
Мне гением, которому отрадно  
Все то, что в нем высоко, непостижно,  
Разоблачить чрез смертное творенье?

Принцесса

Так наслаждайся радостным трудом!

Альфонс

И радуйся рукоплесканью добрых!

Леонора

Всеобщей славой радуйся, мой друг!

Тассо

Я этим мигом удовлетворен.  
Я думал лишь о вас, когда я пел:  
Вам угодить – была моя мечта.  
Вас усладить – заветнейшая цель.  
Тот, кто не видит мир в своих друзьях,  
Не заслужил, чтоб мир о нем услышал.  
Здесь родина моя, здесь милый круг,  
Где любит пребывать моя душа.  
Я вслушиваюсь здесь во все слова,  
Здесь говорят мне опыт, знанье, вкус;  
Потомство, мир я вижу пред собой.  
Бежит художник в страхе от толпы:  
Лишь тем дано судить и награждать,  
Кто с вами в чувствах схож и в пониманье.

Альфонс

Когда мы о потомстве говорим,  
То поучать не подобает праздно.  
Я вижу знак, почетный для певца,  
Что сам герой на голове его  
Без зависти способен видеть: здесь  
Он предка твоего чело венчает:  
(Указывает на бюст Вергилия.)  
Случайно это, или гением  
Сплетен он и возложен? Только здесь  
Он – не напрасно. Говорит Вергилий:

«Что чтите мертвых? Ведали они  
Еще при жизни радость и награду;  
И если вы теперь дивитесь им,  
То и живым почтенье воздавайте.  
Давно увенчан мраморный мой лик,  
Живым принадлежит зеленый лавр».

Делает знак своей сестре, она снимает венок с бюста Вергилия и приближается к Тассо.  
Он отступает.

Не хочешь ты? Подумай, чья рука  
Тебе венок нетленный предлагает!

Тассо

Помедлить дайте! Не могу постичь,  
Как жить я дальше буду с этих пор,  
[...]

Принцесса  
(поднимая венок вверх)

Какую радость ты даешь мне, Тассо,  
Сказать тебе без слов о том, что мыслю.

Тассо

Смиренно принимаю на коленях  
Прекрасный дар из дорогой руки.

Опускается на колени, принцесса возлагает на него венок.  
[...]

### Явление третье

Тассо. Антонио.

Тассо

Привет! Тебя как будто в первый раз  
Теперь я вижу, и ничей приход  
Мне не был столь же радостен. Я знаю  
Теперь тебя, достоинства твои.  
Тебе без колебаний предлагаю  
И сердце я, и руку, от тебя  
Того же жду.

Антонио

Ты предлагаешь щедро  
Прекрасные дары, я их ценю.  
Но дай подумать, прежде чем принять их.  
Не знаю я, могу ль тебе ответить  
Таким же даром. Быть я не хочу  
Поспешным слишком и неблагодарным.  
Дай мне разумным быть за нас обоих.

Тассо

Кто порицает разум? Каждый шаг  
Показывает, как он нам полезен.  
Но ведь порой велит сама душа  
Оставить мелкую предосторожность.

Антонио

Уж это дело наше: каждый сам  
Свою ошибку будет искупать.

Тассо

Да будет так! Я выполнил мой долг,  
Не пренебрег советами княжны,  
Которая желает нашей дружбы.  
Я ничего не буду брать назад,  
Но не хочу настаивать. Быть может,  
Со временем ты будешь горячо  
Искать даров, которые теперь  
Так холодно и гордо отклоняешь.

Антонио

Умеренность холодностью зовут  
Нередко те, кто за тепло считает  
Случайный, скоропреходящий пыл.

Тассо

Ты порицаешь то, что мне противно.  
Я понимаю, как ни молод я,  
Что длительность ценнее, чем порыв.

Антонио

Весьма умно! Держись же этих мыслей!

Тассо

И вправе ты советы мне давать,  
Предостеречь, ведь опытность – твоя  
Испытанная, верная подруга.  
Но только знай, что сердце каждый час  
Безмолвно внемлет предостереженьям  
И тайно упражняет добродетель,  
Которой строго учишь ты меня.

Антонио

Самим собою заниматься нам  
Весьма приятно, но не столь полезно.  
Ведь внутренне не может человек  
Себя познать и часто мнит себя  
То слишком малым, то – увы! – великим.  
Лишь в людях можно познавать себя,  
Лишь жизнь нас учит, что мы в самом деле.

Тассо

С почтением я слушаю тебя.

Антонио

И думаешь, внимая эти речи,  
Совсем не то, что я хочу сказать.

Тассо

Таким путем мы не сойдемся ближе.  
И не добросердечно, не умно  
Заранее отвергнуть человека.  
Он будет тем, что есть. Из слов княжны  
Тебя легко узнал я в тот же миг:  
Я знаю, что желаешь ты добра,  
Творишь его. Забывши о себе,  
Ты думаешь и помнишь о других,  
И на волнах колеблющейся жизни  
Ты сердцем тверд. Таким тебя я вижу.  
Как мог я не пойти тебе навстречу  
И не стремиться жадно разделить  
Сокровище, хранимое тобой?  
Ты не раскаешься, себя открывши,  
И станешь другом мне, узнав меня,  
А я давно в таком нуждаюсь друге.  
Неопытности, юности моей  
Я не страшусь: златые облака  
Грядущего чело мне осеняют,  
Прими, о благородный человек,

Меня на грудь и посвяти меня  
В умеренное пользование жизнью.

Антонио

Ты требуешь в одно мгновение то,  
Что могут дать лишь время и старанье.  
[...]  
На всех ты парусах плывешь! Привык  
Ты побеждать, повсюду находить  
Широкий путь, растворенные двери.  
Достоинств я твоих не отрицаю  
И счастьем рад, но слишком вижу я,  
Как далеко стоим мы друг от друга.

Тассо

Ты опытен и зрел, я ж никому  
Не уступаю в мужестве и воле.

Антонио

Но воля не всегда ведет к делам,  
И мужество путей кратчайших ищет.  
Кто прибыл к цели, заслужил венец,  
Порой его лишается достойный.  
Но также есть и легкие венцы,  
Венцы другого рода: можно их  
Удобно получать и на прогулке.

Тассо

То, что дает богиня одному,  
Другому в нем отказывая строго,  
Не всякий может получить легко.

Антонио

Коль это ты приписываешь счастью,  
Я соглашусь: ведь выбор счастья слеп.

Тассо

Повязку носит также справедливость  
И закрывает взоры на обман.

Антонио

Всегда счастливый превозносит счастье!

Ему приписывает сотню глаз,  
Разумный выбор, строгое старанье,  
Зовет Минервой, как-нибудь еще,  
Наградой считает скромный дар,  
Случайное – заслуженным убором.

Тассо

Ты высказался до конца. Довольно!  
Я в сердце заглянул твое и знаю  
Тебя навек. О, если б знала так  
Тебя княжна! Не расточай же стрелы  
Твоих коварных глаз и языка!  
Ты тщетно мечешь их! Не попадают  
Они в увядаемый венок.  
Будь так велик, чтобы отринуть зависть!  
Тогда мой лавр оспаривать ты можешь,  
Я свято чту его; но покажи  
Мне человека, что достиг того,  
К чему стремлюсь я, укажи героя,  
Знакомого нам только по преданьям,  
Поэта укажи, кого сравнить  
С Гомером и Вергилием возможно,  
И, наконец, такого человека,  
Кто трижды эти лавры заслужил,  
Кому в три раза более, чем мне,  
Их стыдно, и паду я на колени  
Пред божеством, венчавшим мне главу;  
Не прежде встану, чем она убор  
С моей главы возложит на него.  
[...]

Антонио

Такой высокий тон и страстный жар  
Тебе не подобают в этом месте.

Тассо

Мне подобает здесь все, что тебе.  
Иль правда изгнана из этих мест?  
Иль во дворце свободный дух закован,  
Подавлен благородный человек?  
Мне кажется, что здесь уместнее всего  
Возвышенность души! К великим мира  
Ужель она свой доступ не найдет?  
Должна найти. Лишь благородство крови  
Доселе приближало нас к князьям,  
Но почему ж не чувство, что природой

Не в равной мере каждому дано,  
Как и не всем – толпа великих предков?  
Здесь робость чувствует одна ничтожность  
И зависть, что сама себя срамит,  
Как неприлично грязной паутине  
Ползти по этим мраморным стенам.

Антонио

Ты дал мне право пренебречь тобой!  
Мальчишка бойкий, силой ты хотел  
Стяжать доверие и дружбу мужа?  
Иль наглостью своей кичишься ты?

Тассо

То, что ты наглостью зовешь, милей,  
Чем то, что я зову неблагородным,

Антонио

Достаточно ты молод, чтоб тебя  
На добрый путь направить воспитаньем.

Тассо

Не так я юн, чтоб падать пред кумиром,  
Довольно стар, чтобы давать отпор.

Антонио

Где губ игра и струн решает дело,  
Ты – гордый победитель и герой.

Тассо

Хвалить не стану силу рук моих,  
Она себя еще не доказала, Но верю ей.

Антонио

Ты веришь в дерзость счастья,  
Щадившего тебя до этих пор.

Тассо

Я чувствую теперь, что вырос я.  
С тобой желал я менее всего  
Игру оружия грозную изведать,

Но ты раздул во мне огонь, кипит  
Вся кровь моя, болезненная жажда  
Жестокой мести пенится в груди.  
Когда ты смел, то выходи на бой!  
[...]  
Прости, творец, что это я терпел.  
(Вынимает шпагу.)  
Иди за мной, иль так, как ненавижу,  
Тебя я вечно буду презирать!

[...]

## Действие третье

### Явление второе

Принцесса. Леонора  
[...]  
Леонора

Я больше, чем мы знали, не узнала.  
Они схватились, Тассо напирал,  
Твой брат их разнимал; сдается мне,  
Что эту ссору первым начал Тассо.  
Антонио гуляет на свободе  
И с князем говорит, меж тем как Тассо  
Сидит как пленник в комнате своей.  
[...]

Принцесса

Мы разучились следовать – увы! –  
Внушеньям сердца, чистым и безмолвным,  
Чуть слышно бог подсказывает нам,  
Чуть слышно, но понятно для души,  
К чему стремиться, от чего бежать.  
Суровой, резче, чем когда-нибудь,  
Антонио казался мне сегодня.  
Меня предчувствие предупреждало,  
Когда он с Тассо встретился. Сравни  
Наружность их, походку, шаг и взгляд!  
Здесь все в противоречье, и не смогут  
Они друг друга полюбить вовеки.  
И в то же время лстивая надежда  
Шептала мне: они разумны оба,  
Твои друзья, учены, благородны!  
Что крепче связи двух людей хороших?  
Я торопила юношу, и он



Так чудно, горячо отдался весь.  
О, если б так же я поговорила  
С Антонио! Я медлила, ждала,  
Меня пугало с самых первых слов  
Неопытного юношу ему  
Навязывать, и здесь я полагалась  
На вежливость, на светскость, что мостом  
Легко ложится даже меж врагами.  
Я не боялась перед зрелым мужем  
За юность пылкую. И вот пришла  
Беда, что так далекою казалась.  
О, что теперь нам делать? Дай совет!

Леонора

Я думаю, ты чувствуешь сама,  
Как трудно мне советовать. Ведь здесь  
Не столкновение душ, родных друг другу,  
Когда словами или поединком  
Легко поправить дело. Но они,  
Как уж давно я это замечала,  
Лишь потому враги, что не могла  
Одним созданием сделать их природа.  
Полезно и разумно было б им  
Навек соединиться тесной дружбой.  
Тогда б они и силою и счастьем  
Дышали, как единый человек.  
Так я сама надеялась, но тщетно.  
Конечно, будет нынешний раздор  
Улажен, но ручаться нам нельзя  
За будущее, за ближайший день.  
Всего бы лучше было, чтобы Тассо  
На время нас покинул, он бы в Рим  
И во Флоренцию поехать мог.  
Через несколько недель я там могла бы  
С ним встретиться и оказать влияние.  
Ты между тем должна Антонио,  
Что стал для нас чужим, приблизить снова  
К себе самой и всем твоим друзьям.  
Что невозможным кажется теперь,  
Легко, быть может, время разрешит,  
[...]

Принцесса

Я не решилась, но пусть будет так,  
Коль не надолго удалится он...  
Заботиться я буду, Леонора,  
Чтоб в будущем он не терпел нужды,

Чтоб герцог там оказывал ему  
Поддержку, доставляя средства к жизни,  
Поговори с Антонио – ведь он  
У брата значит много, и едва ль  
Он с нами вступит в спор и с нашим другом.  
[...]

Леонора

И я, княжна, могу здесь очень кстати  
Ему подругой выказать себя.  
Хозяин он плохой, и я могу  
Ему прийти на помощь в этом деле.

Принцесса

Возьми ж его, коль я должна отречься,  
Пусть он тебе одной принадлежит!  
Я вижу ясно: лучше будет так.  
Могу ли я считать и эту скорбь  
Целительной? От юности таков  
Был жребий мой, я к этому привыкла!  
Потеря счастья вдвое легче нам,  
Когда непрочно было обладанье.  
[...]

Леонора

Он твой еще.

Принцесса

Потерян будет скоро.  
Тот миг, когда его я в первый раз  
Увидела, значенья полон был.  
Тогда, едва от муки и болезни  
Оправившись, смотрела робко я  
Опять на жизнь и, обществу сестры  
И солнцу радуясь, впивала жадно  
Надежды новой сладостный бальзам.  
Тогда дерзнула я взглянуть пошире  
Вперед на жизнь, и ласковые лики  
Приветствовали издали меня.  
Тогда сестра представила впервые  
Мне юношу, он с нею рядом шел,  
И признаюсь тебе: он овладел  
Моей душой, и овладел навеки.

Леонора

О, не жалея, моя княжна, об этом!  
Прекрасное познала ты душой,  
Твой выигрыш навеки неотъемлем!

Принцесса

Но опасаться должно и прекрасного,  
Как пламени, что так полезно нам,  
Когда оно горит на очаге  
Или прекрасно с факела сияет.  
Кто от него откажется тогда?  
Когда ж оно охватит все кругом,  
То сколько бед наделает! Оставь.  
Болтлива я. Мою болезнь и слабость  
Мне лучше было б скрыть перед тобой.  
[...]

Леонора

Коль ты не внемлешь дружеским словам,  
То укрепит тебя земного мира  
Спокойная и мощная краса.

Принцесса

Да, он прекрасен, мир! И в нем так много  
Хорошего встречается везде.  
Ах, но оно все далее вперед  
От нас бежит всю нашу жизнь  
И манит наше робкое желанье  
За шагом шаг до гробовой доски!  
Так редко люди обретают в жизни,  
Что предназначенным казалось им.  
Так редко кто умеет удержать,  
Что схвачено счастливою рукой.  
Уходит то, что только что далось,  
Теряем мы то, что держали жадно,  
Мы счастья нашего не узнаем,  
А если бы узнали, не ценили.

### **Явление третье**

Тассо (один)

Итак, меня никто не ненавидит  
И не преследует, и все коварство,  
Вся паутина заговоров тайных

Лишь у меня прядется в голове!  
Признать я должен, что неправ, что часто  
Чиню обиды тем, кто их ничем  
Не заслужил, и это все в то время,  
Когда открылись ясно перед солнцем  
Коварство их и правота моя!  
И должен чувствовать я глубоко,  
Что князь идет ко мне с душой открытой  
И уделяет щедро мне дары  
В тот миг, когда он стал настолько слаб,  
Что недругам моим позволил взоры  
Ему затмить и руку оковать!  
Но он не может видеть, что обманут,  
Я ж не могу обман их показать.  
И чтобы он в обмане оставался  
И им его обманывать спокойно,  
Я должен замолчать и отойти!  
Кто мне дает совет? Кто так умно  
Навязывает мне любовь и верность?  
Ленора! Да, Ленора Санвитале,  
Мой нежный друг! А, знаю я тебя!  
Зачем я доверял ее устам!  
Нечестною была она, когда  
Выказывала мне любовь и нежность  
Словами сладкими! Она была  
И остается с хитрым сердцем, тихо  
И вкрадчиво доверия ища.  
Как часто я обманывал себя  
Насчет ее! И чем я был обманут?  
Тщеславием! Я знал ее прекрасно,  
Но льстил себе. Я часто говорил:  
Пускай она такая для других,  
Но предана тебе душой открытой.  
Ах, слишком поздно вижу я теперь:  
Когда я счастлив был, она ко мне  
Так нежно льнула. При моем паденье  
Она мне поворачивает тыл.  
Она – орудье моего врага,  
Она шипит мне, маленькая змейка,  
Своим волшебным, льстивым языком.  
Она была еще милей, чем прежде,  
Роняя с уст приятные слова!  
Но лесть ее не скрыла предо мной  
Их лживый смысл; казалось, слишком ясно  
Написано на лбу ее иное  
И противоположное. Легко  
Я чувствую, когда не с чистым сердцем  
Дороги ищут к сердцу моему.  
Я во Флоренцию уехать должен?

Зачем туда? Я вижу хорошо:  
Там Медичи воздвигли новый дом.  
Хоть не в открытой он вражде с Феррарой,  
Но зависти холодная рука  
Высокие разъединяет души.  
И если я от тамошнего князя  
Благоволенья знаки получу,  
Чего я должен ждать, то царедворцу  
Легко удастся замарать сомнением  
И верность, и признательность мою.  
Уйду я, но не так, как вы хотите,  
И далее, чем думаете вы.  
И что меня задерживает здесь?  
О да, я понял слишком хорошо  
Слова, что вырвал я из уст Леноры!  
Внимательно ловил я каждый слог.  
И знаю все, что думает княжна, –  
Да, это так, сомнений больше нет!  
«Она меня отпустит, если это  
Мне счастье даст». Ужель без боли в сердце  
Она меня и счастье мое  
Причиной выставляет? Лучше смертью  
Быть схваченным, чем этою рукой,  
Что холодно меня отвергла. Еду!  
И видимости дружбы и добра  
Остерегусь! Не может быть обманут,  
Кто не обманывает сам себя.

### Явление четвертое

Принцесса. Тассо. К концу явления – прочие.

Принцесса

Ты хочешь нас покинуть иль еще  
Останешься немного в Бельригуардо  
И лишь тогда от нас уедешь, Тассо?  
Надеюсь я, что на короткий срок  
Ты едешь в Рим?

Тассо

Я направляю путь  
Туда сначала. Если благосклонно  
Меня друзья там примут, как могу  
Надеяться, с терпеньем и стараньем  
Я, может быть, закончу труд мой там,  
Где люди собрались, учителями

Слывущие во всех родах искусств.  
И разве же в столице мировой  
Не говорит нам громко каждый камень?  
Там манят нас в своем величье строгом  
Не тысячи ль немых учителей?  
И если там не кончу я поэму,  
То никогда не кончу. Ах, уже  
Я чувствую, мне счастья нет ни в чем!  
Я изменить могу, но не закончить,  
Я чувствую, великое искусство,  
Что всех питает и здоровый дух  
Крепит и освежает, беспощадно  
Меня погубит. Я уеду прочь!  
Скорей в Неаполь!

Принцесса

Ты дерзнешь на это?  
Ведь в силе приговор, что на изгнание  
Обрек тебя и твоего отца.

Тассо

Уж я об этом думал, ты права.  
Но я переоденусь пилигримом  
Иль буду в бедном платье пастуха.  
Я проберусь чрез город, где движенье  
Народных тысяч скроет одного.  
Я поспешу на берег, там найду  
Челнок с людьми, что ездили на рынок,  
Теперь же возвращаются домой  
С крестьянами из моего Сорренто.  
Ведь надо мне в Сорренто поспешать,  
Там у меня сестра, она со мною  
Утехою родителей была  
В их горестях. Я буду плыть безмолвно,  
Вступлю на берег, тихо я пойду  
Родной тропой и у ворот спрошу:  
«Где здесь живет Корнелия? Скажите!  
Корнелия Серзале?» Благосклонно  
Прядильщица мне улицу укажет  
И дом ее. Я дальше поднимусь.  
Вот выбегают дети, с изумленьем  
На трепаного, мрачного пришельца  
Они глядят. Вот у порога я.  
Открыты двери, я вступаю в дом...

Принцесса

Опомнись, Тассо! Что ты говоришь?  
Пойми, в какую ты зашел опасность!  
Щажу тебя, иначе бы сказала:  
Ужель ты благородно говоришь?  
Ужели благородно думать только  
Лишь о себе и огорчать друзей?  
Иль от тебя сокрыто, как мой брат,  
Как мы с сестрой тебя ценить умеем?  
Ты это не почувствовал? Не знал?  
Ужели все мгновенно изменилось?  
О Тассо! Если хочешь ты уйти,  
Не оставляй нам скорби и кручины.

Тассо отворачивается.

Как утешительно бывает другу,  
Что уезжает на короткий срок,  
Подарок сделать маленький, будь это  
Оружье только или новый плащ!  
Но ничего дарить тебе нельзя:  
Ты все бросаешь прочь, чем обладаешь.  
Ты черный плащ и посох пилигрима  
Избрал и добровольным бедняком  
Идешь в свой путь, лишая нас того,  
Чем только с нами мог бы наслаждаться.

Тассо

Меня совсем ты оттолкнуть не хочешь?  
О, утешенья сладкие слова! Храни меня!  
Возьми под свой покров!  
Здесь, в Бельригуардо, ты оставь меня,  
Отправь в Консондоли, куда захочешь!  
У князя много чудных замков есть  
И много есть садов, что целый год  
Стоят пустыми, разве только на день  
Вы ездите туда, на час, быть может.  
Да, выбери мне самый дальний, где  
Вы не были годами, что теперь  
В пренебреженье, может быть, заглох.  
Туда меня пошлите! Как хочу  
Я о твоих заботиться деревьях!  
По осени закутывать лимоны  
Тесинами и вязью тростниковой.  
Пускай цветы прекрасные на грядах  
Свой корень пустят; чисты и красивы  
Пусть будут все местечки и тропы.  
Мне предоставь и о дворце заботу!  
Я своевременно раскрою окна,

Чтобы картин не повредила сырость;  
Со стен, украшенных изящной лепкой,  
Я осторожно буду пыль стряхать.  
Должны полы блестеть светло и чисто,  
На месте быть кирпич и каждый камень,  
Нигде травинка не пробьется в щелях!

Принцесса

Я в сердце не могу найти совета  
И утешенья для тебя и... нас.  
Смотрю кругом, ища, чтоб некий бог  
Нам помощь оказал, открыл бы мне  
Целительное зелье иль напиток,  
Что принесли бы мир тебе и нам.  
Не действуют уж более – увы! –  
Слова, с моих слетающие уст.  
Тебя должна оставить я, но сердце  
Тебя не может бросить.

Тассо

Боги! Боги!  
Она ль с тобой так нежно говорит?  
Ты в сердце благородном сомневался?  
Возможно ль, чтоб в присутствии ее  
Ты был унынием поработан?  
Нет, это ты! Я стал самим собою.  
О, продолжай и дай мне услышать  
Из уст твоих целительное слово!  
О, говори! Что должен делать я,  
Чтоб мог простить меня твой брат, чтоб ты  
Сама меня простила, чтобы вашим  
Могли меня по-прежнему считать  
Вы с радостью? Ответь же мне, скажи!

Принцесса

Мы от тебя немногого желаем,  
И все ж великим кажется оно.  
Ты сам нам должен дружески отдаться.  
Не надо нам, чтобы ты стал другим,  
Когда в согласье ты с самим собой.  
Мы радуемся радостью твоей,  
Нам грустно, если ты ее бежишь,  
И если мы с тобой нетерпеливы,  
То это оттого, что мы желаем  
Тебе помочь, но этого нельзя,  
Когда ты сам отталкиваешь руку,



Протянутую с ласкою к тебе.

Тассо

Ты – та ж, какой явилась в первый раз  
Небесным ангелом навстречу мне!  
Прости печальным взорам смертного,  
Коль он не узнает тебя на миг.  
Он вновь узнал! Открылась вся душа,  
Чтоб лишь одну тебя любить навеки.  
Сейчас все сердце полно нежностью...  
Что чувствую! Она передо мной!  
Безумие ль влечет меня к тебе?  
Иль в первый раз высокая мечта  
Чистейшую охватывает правду?  
Да, это чувство, что меня одно  
Счастливым может сделать на земле  
И жалким сделало, когда ему  
Сопротивлялся я, хотел из сердца  
Его изгнать. Я думал эту страсть  
Преодолеть, боролся с самой глубию  
Моей души, и дерзко разрушал  
Я суть свою, с которой ты слита...

Принцесса

Когда тебя должна я слушать, Тассо,  
Умерь свой пыл, пугающий меня.

Тассо

Как может кубок удержать вино,  
Когда оно чрез край клокочет в пене?  
Ты каждым словом множишь мой восторг,  
И все светлей твои глаза сияют!  
Я весь до дна души преобразился,  
Избавился от всех моих мучений,  
Через тебя свободен я, как бог!  
Владеют мной с невыразимой силой  
Твои уста; ты сделала меня  
Всего твоим, и не принадлежит  
Мне ничего из собственного «я».  
Мой взор померк в блаженстве и в лучах,  
Колблется мой ум. Едва стою,  
Меня к тебе влечет неодолимо,  
Неудержимо рвусь к тебе душой.  
Ты сделала меня твоим навеки,  
Итак, прими все существо мое!  
(Падает в ее объятия и крепко прижимает ее к себе.)

Принцесса (отталкивает его от себя, бросаясь в сторону)

Прочь!

Леонора

(которая уже немного ранее показалась в глубине сцены, подбегая)

Что случилось? Тассо! Тассо!

(Уходит за принцессой.)

Тассо

(намереваясь за ними следовать)

Боже!

Альфонс (который уже некоторое время приближался с Антонио)

Держите крепче! Он сошел с ума.

(Уходит.)

### Явление пятое

Тассо. Антонио.

Антонио

Стой здесь твой враг – ты думаешь всегда,  
Что окружен кольцом врагов, – о, как бы  
Теперь он мог торжествовать! Несчастный!  
Едва-едва я прихожу в себя!  
Когда нежданное случится с нами  
И необычное увидит взор,  
Наш дух немеет на одно мгновенье,  
И с этим ничего нельзя сравнить.

Тассо

(после долгой паузы)

Исполни же обязанность свою!  
Я вижу, это ты! Доверье князя  
Ты заслужил, так истязуй меня,  
Раз я обезоружен, истязуй  
Медлительно, до смерти! Острие  
Вонзай мне в грудь, дай чувствовать железо,  
Что рвет мне плоть!  
Ты – верное орудие тирана;

Его тюремщик, будь же палачом!  
О, как к лицу тебе то и другое!

(За сцену.)

Иди, тиран! Ты до конца не мог  
Притворства выдержать, так торжествуй же!  
Ты хорошо умел сковать раба  
Для медленных, изысканных мучений,  
Тебя я ненавижу, уходи!  
Какое мне внушает отвращенье  
Твой незаконный, дерзкий произвол!

(После паузы.)

Итак, себя я вижу под конец  
Отвергнутым и проклятым, как нищий:  
Меня украсили и увенчали,  
Чтобы вести, как жертву, к алтарю.  
Единственную собственность мою,  
Мою поэму льстивыми словами  
Они сумели выманить и держат!  
У вас в руках – единственный мой клад,  
Что придавал мне цену: ведь поэмой  
Я мог себя от голода спасти!  
Вот почему я должен праздным быть.  
Здесь заговор, и ты его глава.  
Чтоб песнь моя неконченной осталась,  
Замолкла слава, сотни недостатков  
Могли найти завистники мои,  
Чтоб, наконец, меня совсем забыли, –  
Вот для чего советуют мне праздность,  
Вот для чего себя беречь я должен.  
О, верная заботливость и дружба!  
Мне гнусным представлялся заговор,  
Сплетавшийся незримо вокруг меня,  
Но он еще гнуснее, чем я думал.  
А ты, сирена, что влекла меня  
С такой небесной нежностью, теперь  
Тебя я вижу всю! Зачем так поздно!  
Ах, любим мы обманывать себя,  
Порочных чтить в ответ на их почтение,  
Ведь людям знать друг друга не дано,  
Друг друга знают лишь рабы галер,  
Что чахнут на одной скамье в оковах;  
Где ни потребовать никто не может,  
Ни потерять, друг друга знают там,  
Где каждый плутом чувствует себя  
И может всех других считать за плута.

Но мы других не узнаем учтиво,  
Чтоб и они не узнавали нас.  
Как долго закрывал священный образ  
Прелестницу ничтожную! Теперь  
Упала маска: вижу я Армиду,  
Утратившую чары. Вот кто ты!  
Предугадал тебя в моей я песне!  
А хитрая посредница ее!  
Как унижалась предо мной она!  
Я слышу шелест вкрадчивой походки,  
Я знаю цель, куда она ползла.  
Я всех вас знаю! Будет! Пусть несчастье  
Меня всего лишает, все ж ему  
Я радуюсь: оно научит правде.

Антонио

Я с изумленьем слушаю тебя.  
Я знаю, Тассо, как твой быстрый дух  
Колелется в две стороны. Опомнись  
И яростью безумной овладей!  
Ты произносишь резкие слова,  
Что можно бы простить твоим скорбям.  
Но сам себе ты их простить не можешь,

Тассо

Не говори мне кротким языком,  
Разумных слов я не желаю слышать!  
Оставь глухое счастье мне, чтоб я,  
Опамятовавшись, не сошел с ума.  
Я раздроблен до глубины костей,  
Живу, чтоб это чувствовать, охвачен  
Отчаяньем, и в вихре адских мук,  
Которые меня уничтожают,  
Моя хула лишь слабый боли стон.  
Я прочь хочу! И если честен ты,  
То помоги мне выбраться отсюда!

Антонио

Тебя я в этом горе не покину.  
И если ты не властен над собой,  
То я не ослабел в моем терпенье.

Тассо

Итак, тебе я должен в плен отдаться?  
Я отдаюсь, и это решено.

Я не противлюсь, лучше будет так –  
И повторяю я себе со скорбью:  
Прекрасно было то, что ты утратил.  
Они уехали – о, боже! Вижу  
Я пыль от экипажей, впереди  
Несутся всадники... Их нет, их нет!  
Они умчались! Если бы я мог  
За ними вслед! Они умчались в гнев.  
О, если бы я мог припасть хоть раз  
К его руке, проститься пред разлукой,  
Хоть раз сказать: «Простите!» И услышать  
Еще хоть раз: «Иди, все прощено!»  
Но никогда я это не услышу...  
О, я уйду! Лишь дайте мне проститься,  
Проститься! Дайте снова хоть на миг  
Увидеть вас, и, может быть, тогда  
Я выздоровлю вновь. Нет, я отвергнут,  
Я изгнан, и себя изгнал я сам.  
Я не услышу больше этот голос  
И этот взор уж больше никогда  
Не повстречаю...

Антонио

Пускай тебя ободрит голос мужа,  
Что близ тебя растроганный стоит!  
Не так несчастен ты, как представляешь.  
Мужайся же! Не уступай себе.

Тассо

А так ли я несчастен, как кажуся?  
И так ли слаб, как пред тобой являюсь?  
Ужели все я потерял и скорбь  
Уж превратила, как землетрясенье,  
Весь дом лишь в груды мусора и пыли?  
Иль не осталось у меня таланта,  
Чтоб поддержать меня и дать забвенью?  
И неужель угасла сила вся  
В моей груди? Ужель я стал теперь  
Совсем ничтожным?  
Нет, это так, и я теперь – ничто,  
Ее утратив, я себя утратил!

Антонио

Когда всего себя ты потерял,  
Сравни себя с другим! Познай себя!

Тассо

Ты вовремя об этом мне напомнил!  
Поможет ли истории пример?  
Могу ль себе представить человека,  
Что более, чем я, перестрадал,  
Чтоб, с ним сравнив, я овладел собою?  
Нет, все ушло! Осталось лишь одно:  
Нам слез ручьи природа даровала  
И скорби крик, когда уже терпеть  
Не может человек. А мне в придачу  
Она дала мелодиями песен  
Оплакивать всю горя глубину:  
И если человек в страданиях нем,  
Мне бог дает поведать, как я стражду.

(Антонио подходит к нему и берет его за руку.)

Стоишь ты твердо, благородный муж,  
А я – волна, колеблемая бурей,  
Но силою своею не кичись!  
Та самая могучая природа,  
Что создала незыблемый утес,  
Дала волне мятежное движенье.  
Пошлет природа бурю, и волна  
Бежит, вздымается и гнется в пене.  
В ней отражались солнце и лазурь  
Прекрасные, и звезды почивали  
В ее так нежно зыблющемся лоне.  
Но блеск исчез, и убежал покой.  
Я более себя не узнаю  
И не стыжусь себе признаться в этом.  
Разломан руль, и мой корабль трещит  
Со всех сторон. Рассевшееся дно  
Уходит из-под ног моих! Тебя  
Обеими руками обнимаю!  
Так корабельщик крепко за утес  
Цепляется, где должен был разбиться.

**Вопросы и задания:**

1. В чем заключается драматический конфликт произведения Гёте?
2. Выделите основные особенности структуры произведения, связанные с ориентацией автора на классицистические принципы.
3. Насколько исторический материал драмы связан с судьбой и переживаниями Гёте-поэта и министра веймарского двора?

\* \* \*

**Предтекстовое задание:** Прочитайте избранные элегии, обратите внимание на сочетание в них тем творчества, любви и свободы.

## Римские элегии *Перевод Н. Вольпин*

### I

Камень, речь поведи! Говорите со мною, чертоги!  
Улица, слово скажи! Гений, дай весть о себе!  
Истинно, душу таят твои священные стены,  
Roma aeterna! Почто ж сковано все немотой?  
Кто мне подскажет, в каком окне промелькнет ненароком  
Милая тень, что меня, испепелив, оживит?  
Или, сбившись с пути, не узнал я дорогу, которой  
К ней бы ходил и ходил, в трате часов не скупясь?  
Обозреваю пока, путешественник благоприличный,  
Храмы, руины, дворцы, мрамор разбитых колонн.  
Этим скитаньям конец недалек. В одном только храме,  
В храме Амура, пришлец кров воделенный найдет.  
Рим! О тебе говорят: «Ты – мир». Но любовь отнимите,  
Мир без любви – не мир, Рим без любви – не Рим.

### III

Милая, каешься ты, что сдалась так скоро? Не кайся:  
Помыслом дерзким, поверь, я не принижу тебя.  
Стрелы любви по-разному бьют: оцарапает эта,  
Еле задев, а яд сердце годами томит;  
С мощным другая пером, с наконечником острым и крепким,  
Кость пронзает и мозг, кровь распяляет огнем.  
В век героев, когда богини и боги любили,  
К страсти взгляд приводил, страсть к наслажденью вела.  
Или, думаешь ты, томилась долго Киприда  
В рощах Иды, где вдруг ей полюбился Анхиз?  
Не поспеши Селена, целуя, склониться к сонливцу,  
Ох, разбудила б его быстрая ревность Зари!  
Геро глянула в шумной толпе на Леандра, а ночью  
Тот, любовью горя, бросился в бурную хлябь.  
Рея Сильвия, царская дочь, спустилась с кувшином  
К берегу Тибра, и вмиг девою бог овладел.

Так породил сыновей своих Марс. Вскормила волчица  
Двух близнецов, и Рим князем земли наречен.

## IX

В осени ярко пылает очаг, по-сельски радушен;  
Пламя, взвиваясь, гляди, в хворосте буйно кипит.  
Ныне оно мне отраднo вдвойне: еще не успеет,  
В уголь дрова превратив, в пепле заглохнуть оно, –  
Явится милая. Жарче тогда разгорятся поленья,  
И отогретая ночь праздником станет для нас.  
Утром моя домоводка, покинув любовное ложе,  
Мигом из пепла вновь к жизни разбудит огонь.  
Ласковую Амур наделил удивительным даром:  
Радость будить, где она словно заглохла в золе.

(1790)

### Вопросы и задания:

1. Какова роль античной традиции в элегиях Гёте?
2. В чем отличие гётевской формулы элегии от представлений Шиллера об этой стихотворной форме?
3. Как сочетается любовь и свобода творчества, телесное и духовное в элегиях Гёте?

\* \* \*

### Предтекстовое задание:

Прочтите фрагмент заключительной главы романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1796), обращая внимание на специфику повествования.

## Годы учения Вильгельма Мейстера *Перевод Н. Касаткиной*

/.../

На столе оказался стакан миндального молока, а рядом наполовину пустой графин; явился врач, узнал то, что другим было известно, и с ужасом обнаружил лежащую на столе хорошо знакомую пустую склянку от жидкого опия; он велел принести уксуса и пустил в ход все свое искусство.

Наталия приказала перенести мальчика в другую комнату и с тревогой хлопотала около него. Аббат побежал разыскивать Августина, чтобы добиться от него объяснения. Так же тщетно искал его несчастный отец, а когда воротился, увидел на всех лицах тревогу и озабоченность.

Врач тем временем исследовал миндальное молоко в стакане, где оказалась огромная примесь опия; ребенок лежал в постели, вид у него был совсем больной. Он просил отца, чтобы ему только ничего больше не давали глотать, чтобы его перестали мучить. Лотарио разослал своих слуг и сам ускакал на розыски Августина. Наталия сидела с ребенком, он нашел прибежище у нее на коленях и трогательно просил ее заступничества, просил дать ему кусочек



сахара, потому что уксус очень кислый! Врач разрешил дать; ребенок ужасающе возбужден, пусть хоть немного успокоится, сказал он, все, что нужно, сделано, он постарается сделать все, что возможно. Граф как будто нехотя приблизился к ребенку, со строгой и даже торжественной миной возложил на него руки, поднял взор горе и на несколько мгновений замер в этой позе. Лежавший в кресле безутешный Вильгельм вскочил, бросил Наталии исполненный отчаяния взгляд и вышел из комнаты.

Вскоре после него удалился и граф.

– Мне непонятно, как это у ребенка не видно ни малейших признаков тяжелого состояния, – помолчав, промолвил врач. – В каждом выпитом глотке содержалась чудовищная доза опия, а между тем я не нахожу у него более частого пульса, чем можно приписать моим снадобьям и страху, какой вы нагнали на ребенка.

Вскоре явился Ярно с известием, что Августина нашли на чердаке в луже собственной крови, рядом валялась бритва – по-видимому, он перерезал себе горло. Врач бросился туда и столкнулся с людьми, несшими тело вниз по лестнице. Его положили на кровать и тщательно обследовали: разрез затронул дыхательное горло, сильная потеря крови привела к обмороку, однако вскоре стало очевидно, что жизнь в нем не погасла и есть еще надежда. Врач привел тело в надлежащее положение, соединил разрезанные ткани и наложил повязку. Ночь для всех прошла без сна и в тревоге. Ребенок не желал расставаться с Наталией.

Вильгельм сидел перед ней на скамеечке, ноги мальчика покоились у него на коленях, голова и грудь – у нее, – так делили они отрадную ношу и горестные заботы, до рассвета пребывая в неудобной и печальной позе: Наталия протянула руку Вильгельму, они не произносили ни слова, только глядели на ребенка и друг на друга. Лотарио и Ярно сидели на другом конце комнаты и вели между собой очень важный разговор, который мы тут же охотно пересказали бы нашим читателям, не будь мы так озабочены происходящими событиями. Мальчик сладко спал, рано утром проснулся очень веселый, вскочил и потребовал хлеба с маслом.

Едва только Августин несколько оправился, от него попытались добиться хоть каких-нибудь объяснений. Не без труда и лишь постепенно удалось у него выведать, что вследствие пресловутой графской дислокации он попал в одну комнату с аббатом и нашел рукопись, а в ней историю своей жизни; ужас его не знал границ, и тут он окончательно убедился, что дальше жить не может: тотчас же решил он, как всегда, прибегнуть к опию, вылил его в стакан с миндальным молоком и все же, поднося к губам, содрогнулся, отставил стакан, чтобы еще раз пробежаться по саду и посмотреть на божий свет, а воротясь, увидел мальчика, который заново наполнял выпитый им стакан.

Несчастливого умоляли успокоиться, он судорожно схватил руку Вильгельма.

– Увы! – говорил он. – Почему я раньше не покинул тебя! Ведь знал же я, что погублю мальчика, а он погубит меня.

– Мальчик жив! – перебил его Вильгельм.

Врач, внимательно слушавший, спросил Августина, весь ли напиток был отравлен.

– Нет – только стакан! – отвечал тот.

– Значит, по счастливому случаю ребенок пил из графина! – воскликнул врач. – Добрый гений отвел его руку от смерти, бывшей наготове.

– Нет, нет! – выкрикнул Вильгельм, закрыв глаза руками. – Как страшно это слушать! Мальчик сказал определенно, что пил не из бутылки, а из стакана. Здоровый вид его обманчив. Он умрет у нас на глазах.

Вильгельм бросился прочь, врач сошел вниз и, лаская мальчика, спросил его:

– Правда ведь, Феликс, ты пил из бутылки, а не из стакана? Ребенок расплакался.

Доктор шепотом объяснил Наталии, как обстоит дело; она тоже напрасно пыталась выведать у ребенка правду, он только плакал еще пуще, пока не заснул в слезах.

Вильгельм бодрствовал при нем, ночь прошла спокойно. Наутро Августина нашли в постели мертвым; он обманул внимание своих стражей притворным покоем, но, потихоньку распустив повязку, истек кровью. Наталия пошла гулять с ребенком; он был весел, как в самые свои счастливые дни.

– Вот ты добрая! – говорил ей Феликс. – Ты не бранишься, не бьешь меня! Я только тебе скажу: я пил из бутылки! Маменька Аврелия всегда била меня по пальцам, когда я хватался за графин. Папа был такой сердитый, я думал, он меня побьет.

Как на крыльях, летела Наталия к замку. Вильгельм, все еще озабоченный, шел ей навстречу.

– Счастливым отец! – громко крикнула она, подняла ребенка и бросила ему на руки. – Вот тебе твой сын! Он пил из бутылки, непослушание спасло его!

О счастливом исходе рассказали графу, тот слушал с улыбкой затаенной и скромной уверенности, с какой терпят заблуждения хороших людей. Обычно столь догадливый Ярно на сей раз не понимал, чем объяснить такое непоколебимое самодовольство, пока окольными путями не дознался вот до чего: граф убежден, что мальчик в самом деле принял яд, но он молитвой и наложением рук чудесно спас ему жизнь.

Затем он решил тут же уехать и, как всегда, собрался в один миг. При прощании красавица графиня, держа руку сестры, схватила руку Вильгельма, крепким пожатием соединила все четыре руки, быстро повернулась и вспрыгнула в карету.

Такое нагромождение страшных и необычайных событий поневоле изменило общий строй жизни, привело его в полное расстройство, сообщив всему дому какую-то лихорадочную суету. Часы сна и бодрствования, еды, питья и совместного времяпрепровождения сдвинулись и перемешались. Кроме Терезы, все были выбиты из колеи. Мужчины пытались восстановить бодрость духа спиртными напитками и, поднимая себе настроение искусственным путем, лишали себя настоящей веселости и жизнерадостности.

Вильгельм был сам не свой – разнородные чувства раздирали его душу. После всех ужасных неожиданностей, пережитых им, у него не стало сил побороть страсть, всецело завладевшую его сердцем. Феликс был ему возвращен, а он чувствовал себя обездоленным. Кредитные письма от Вернера пришли в срок, все было готово для путешествия, недоставало лишь решимости уехать. Все понуждало его к этому путешествию, он мог предполагать, что Лотарио и Тереза только и ждут его отъезда, чтобы обвенчаться. Ярно, против своего обыкновения, как-то присмирел, словно бы утратил привычную веселость. По счастью, врач в известной степени вывел нашего друга из затруднения, объявив его больным и прописав ему лекарство.

Общество постоянно собиралось по вечерам; Фридрих, присяжный балагур, по своему обычаю, выпив лишнего и овладев разговором, смешил остальных сотнями цитат и проказливых намеков, а нередко и смущал их, позволяя себе думать вслух.

В болезнь своего друга он, как видно, не слишком верил. Однажды, когда все были в сборе, он громко спросил:

– Доктор, как вы называете недуг, который напал на доброго нашего друга? Неужто к нему не подходит ни одно из трех тысяч названий, которыми вы прикрываете свое невежество? Однако в подобных примерах как будто недостатка не было! Такого рода казус имел место не то в египетской, не то в вавилонской истории! – выпреним тоном закончил он.

Присутствующие переглядывались и улыбались.

– Как же звали того царя? – выкрикнул шалун и помедлил одно мгновение. – Если вы не желаете мне помочь, – продолжал он, – я сам приду себе на помощь.

Распахнув дверь, он показал на большую картину, висевшую в аванзале. – Как зовут того козлобородого в короне, который сокрушается о больном сыне в ногах кровати? Как зовут красотку, которая входит в покой, неся в своем целомудренно-лукавом взоре яд вместе с противоядием! Как зовется тот горе-лекарь, которого осенило лишь в этот миг и он впервые в

жизни прописывает дельный рецепт, дает лекарство, излечивающее радикально, притом столь же вкусное, сколь и целительное?

Он еще долго пустословил в том же роде. Остальные по мере сил старались скрыть смущение под принужденной улыбкой. Легкая краска проступила на щеках Наталии, выдавая волнение сердца. На ее счастье, она прогуливалась по комнате вместе с Ярно; приблизясь к двери, она ловко выскользнула вон, несколько раз прошлась по аванзалу и удалилась к себе в комнату.

Все молчали. Фридрих принялся приплясывать, напевая:

Будет чудо вам дано!  
Что свершилось – свершено,  
Что сказалось – верен сказ,  
Близок час:  
Чудо – вот оно! [Пер. С. Зяицкого]

Тереза последовала за Наталией, Фридрих подвел врача к картине в аванзалу, произнес шутовской дифирамб врачебному искусству и улизнул прочь.

Лотарио все время стоял в оконной амбразуре и, не шевелясь, смотрел в сад. Вильгельм был в ужасающем состоянии. Даже оказавшись наедине с другом, он некоторое время не произносил ни слова: беглым взглядом окидывал он свою жизнь; всмотревшись под конец в нынешнее свое положение, он содрогнулся, вскочил с места и воскликнул:

– Ежели я повинен в том, что творится, что происходит со мной и с вами, тогда покажите меня! В довершение всех моих бед, лишите меня своей дружбы и пустите безутешным мыкаться по свету, где мне давно бы пора стинуть. Но ежели вы увидите во мне жертву случайного и жестокого сплетения обстоятельств, из которого я не мог выпутаться, тогда благословите меня в дорогу вашей любовью и дружбой – долее я не могу мешкать. Настанет час, когда я осмелюсь вам сказать, что произошло во мне за последние дни. Быть может, я потому и наказан, что раньше не разоблачил себя перед вами, потому что я колебался показать себя вам, каков я есть; вы бы мне помогли, вовремя вызволили бы меня. Вновь и вновь открываются у меня глаза на себя самого, но всякий раз слишком поздно, всякий раз понапрасну. Как заслужил я обличительные слова Ярно! Как был уверен, что проникся ими, как надеялся, что они мне помогут завоевать себе новую жизнь. А имел ли я на это силы и право? Напрасно мы, люди, клянем самих себя, клянем свою судьбу. Мы жалки и обречены на жалкое прозябание, и не все ли равно, собственная ли вина, веление ли свыше или случай, добродетель или порок, мудрость или безумие ввергают нас в погибель? Прощайте, больше минуты не пробуду я в доме, где не по своей вине так чудовищно нарушил закон гостеприимства. Болтливость вашего брата непростительна, она доводит мое горе до высшего предела, до отчаяния.

– А что, если, – промолвил Лотарио, беря его руку, – ваш союз с моей сестрой был тем тайным условием, на котором Тереза решила отдать мне свою руку? Вот какое возмещение придумала для вас эта благородная девушка: она поклялась, что только двойной четой, в один день, пойдем мы к алтарю. «Он разумом избрал меня, – сказала она, – а сердцем тянется к Наталии, и мой разум придет на помощь его сердцу». Мы договорились наблюдать за Наталией и за вами, и после того, как мы доверились аббату, он взял с нас слово ни шагу не сделать, чтобы способствовать этому союзу, – пускай все идет своим ходом. Так мы и поступали. Природа взяла свое, а озорник-братец лишь стряхнул созревший плод. Раз уж мы неисповедимыми путями сошлись вместе, не будем вести заурядную жизнь; будем вместе деятельны на достойный лад! Трудно даже вообразить, что может образованный человек сделать для себя и для других, коль скоро не власти ради почувствует потребность опекать многих, побудит их вовремя делать то, что они сами рады бы сделать, и поведет к целям, которые они чаще всего ясно видят перед собой, только идут к ним неверными путями. Заключим же на этом союз! Это не

пустая мечта, это мысль вполне осуществимая, и хорошие люди нередко осуществляют ее, хоть и не до конца отдавая себе в том отчет. Живой тому пример – моя сестра Наталия. Навсегда останется недостижимым образ действий, внушенный природой этой прекрасной душе. Да, она заслуживает чести быть названа так преимущественно перед многими другими, смею сказать, даже перед нашей благородной тетушкой, которая в ту пору, когда наш славный доктор так озаглавил ее рукопись, была прекраснейшей натурой, какую мы только знали в нашем кругу. Тем временем подросла Наталия, и человечество радуется такому явлению.

Он собрался продолжать, но в комнату с громкими возгласами вбежал Фридрих.

– Каких венцов я достоин? Чем вы меня наградите? – восклицал он. – Сплетайте мирты и лавры, плющ, дубовые листья, самые свежие, какие найдете, – столько заслуг вам нужно увенчать в моем лице. Наталия твоя! Я чародей, открывший этот клад!

– Он бредит, и я уйду, – вымолвил Вильгельм.

– Ты говоришь то, что тебе поручено? – спросил барон, удерживая Вильгельма.

– Я говорю своею волею и властью, – ответил Фридрих, – и божьей милостью, если угодно; такой я был сват, такой я теперь посланец; я подслушивал под дверью, она без утайки открылась аббату.

– Бесстыдник! – произнес Лотарио. – Кто велел тебе подслушивать?

– А кто велит ей записаться? – возразил Фридрих. – Я слышал все в точности. Наталия очень волновалась. В ту ночь, когда, казалось, ребенок так болен, когда он покоился наполовину у нее на коленях, а ты делил с ней милую ношу, в полном отчаянии сидя перед ней, – она дала себе обет, ежели ребенок умрет, признаться тебе в любви и самой предложить свою руку; ныне, когда ребенок жив, зачем ей менять свои намерения? Что обещано в такую минуту, от того потом не отрекаются при любых условиях. Сейчас явится поп, полагая, что принес невесть какую новость.

В комнату вошел аббат.

– Нам все известно! – крикнул ему навстречу Фридрих. – Будьте кратки, ваш приход – чистая формальность, ни для чего другого такие господа и не требуются.

– Он подслушивал, – пояснил барон.

– Какое неприличие! – вскричал аббат.

– Не тяните! – перебил Фридрих. – Какие предстоят церемонии? Их можно перечесть по пальцам. Вы отправитесь путешествовать, приглашение маркиза пришлось всем очень кстати. Как только вы перевалите через Альпы, все уладится наилучшим образом; какую бы причуду вы себе ни позволили, люди будут вам только признательны, вы доставляете им развлечение, за которое не надобно платить. Это будет как бы всенародный карнавал; все сословия могут принимать в нем участие.

– Вы успели снискать себе огромную популярность такими народными праздниками, – заметил аббат, – а мне, как видно, нынче не придется вставить слово.

– Если я привираю, так вразумите меня! – заявил Фридрих. – Идемте, идемте живее! Нам не терпится посмотреть на нее и порадоваться.

Лотарио обнял друга и повел его к сестре, она вышла им навстречу вместе с Терезой. Все молчали.

– Медлить ни к чему! – вскричал Фридрих. – За два дня вы можете собраться в дорогу. Что скажете, мой друг? – обратился он к Вильгельму. – Когда мы с вами свели знакомство, я выпросил у вас пышный букет. Кто бы ожидал, что пройдет время и вы получите из моих рук такой цветок!

– В минуту высочайшего счастья я не хочу вспоминать о тех временах!

– Вам не следует их стыдиться, как людям не надобно стыдиться своего происхождения. Неплохие то были времена, и меня разбирает смех, как я погляжу на тебя; ты напоминаешь мне Саула, сына Кисова<sup>223</sup>, который пошел искать ослиц отца своего и нашел царство.

– Я не знаю цены царству, – ответил Вильгельм, – знаю только, что обрел такое счастье, которого не заслуживаю и которое не променяю ни на что в мире.

**Вопросы и задания:**

1. Прочтите в учебнике фрагмент, посвященный данному произведению, и выделите в нем определение «воспитательного романа».

2. Какие содержательные моменты заключительной главы указывают на принадлежность произведения к данному жанру?

3. Какие конкретно моменты жизненного пути героя дают основания предполагать, что его воспитательный путь подошел к своему завершению?

4. Как возможно интерпретировать апелляцию к библейскому эпизоду из Книги Царств в конце главы?

5. Возможно ли усмотреть в заключительном эпизоде романа созвучие двум ключевым идейно-образным парадигмам позднего Гётевского творчества: идее «метаморфозы» и идее «тайных соответствий»?

\* \* \*

**Предтекстовое задание:**

Прочтите стихотворение, включенное Гёте в «Книгу Зулейки» «Западно-восточного дивана» (1819), обращая внимание на очерчиваемый лирическим героем ряд феноменов.

**«В тысяче форм ты можешь притаиться...»**

*Перевод С. Шервинского*

В тысяче форм ты можешь притаиться, –  
Я, Вселюбимая, прозрю тебя;  
Иль под волшебным покрывалом скрыться, –  
О Вездесущая, прозрю тебя.

В чистейшем юном росте кипариса,  
Вседивновзросшая, прозрю тебя;  
Живой волной канала заструишься, –  
Вселасковая, в ней прозрю тебя.

Фонтан ли ввысь возносится, красуясь, –  
Всерезвая, и в нем я зрю тебя;  
Меняет образ облак, образуясь, –  
Всеразнолика, я зрю тебя.

Ковер лугов, и он тебе порукой,

---

<sup>223</sup> ...ты напоминаешь мне Саула, сына Кисова и т. д. – аллюзия на эпизод, представленный в Первой книге Царств, гл. 9.

Всепестрозвездная, в нем зрю тебя;  
И если вьется плющ тысячерукий, –  
О Всесвязующая, зрю тебя.

Лишь над горами утро загорится, –  
Вседобрая, приветствую тебя;  
Коль небо чисто надо мной круглится, –  
Всесердцеширящая, пью тебя.

Весь опыт чувств, и внутренних и внешних,  
О Всеучительная, – чрез тебя;  
Аллаху дам ли сто имен нездешних,  
Звучит за каждым имя – для тебя.

**Вопросы и задания:**

1. Прочтите в статье А. В. Михайлова о «Западно-восточном диване» пассаж, посвященный истории создания «Книги Зулейки». Обнаруживает ли данное стихотворение влияние Корана?
2. К кому, на ваш взгляд, обращается лирический герой?

\* \* \*

**Предтекстовое задание:**

Прочтите последовательно «Посвящение» и отрывки из сцен первой и второй частей драматической поэмы Гёте «Фауст» (Часть 1 (1808); Часть 2 (1832)), всякий раз обращая внимание на интеллектуальный профиль и эмоциональную составляющую исканий главного героя.

## Фауст

*Перевод Б. Пастернака*

### Посвящение

Вы снова здесь, изменчивые тени,  
Меня тревожившие с давних пор,  
Найдется ль наконец вам воплощенье,  
Или остыл мой молодой задор?  
Но вы, как дым, надвинулись, виденья,  
Туманом мне застлавши кругозор.  
Ловлю дыханье ваше грудью всею  
И возле вас душою молодею.

Вы воскресили прошлого картины,  
Былые дни, былые вечера.  
Вдали всплывает сказкою старинной  
Любви и дружбы первая пора.  
Пронизанный до самой сердцевины  
Тоской тех лет и жаждою добра,

Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный,  
Опять припоминаю благодарно.  
Им не услышать следующих песен,  
Кому я предыдущие читал<sup>224</sup>.  
Распался круг, который был так тесен,  
Шум первых одобрений отзвучал.  
Непосвященных голос легковесен,  
И, признаюсь, мне страшно их похвал,  
А прежние ценители и судьи  
Рассеялись, кто где, среди безлюдья.  
И я прикован силой небывалой  
К тем образам, нахлынувшим извне.  
Эоловою арфой прорыдало  
Начало строф, родившихся вчерне.  
Я в трепете, томленьи миновало,  
Я слезы лью, и тает лед во мне.  
Насущное отходит вдаль, а давность,  
Приблизившись, приобретает явность.

## Первая часть

### Ночь

Тесная готическая комната со сводчатым потолком.  
Фауст без сна сидит в кресле за книгою на откидной подставке.

Фауст

Я богословьем овладел,  
Над философией корпел,  
Юриспруденцию долбил  
И медицину изучил.  
Однако я при этом всем  
Был и остался дураком.  
В магистрах, в докторях хожу  
И за нос десять лет вожу  
Учеников, как буквоед,  
Толкуя так и сяк предмет.  
Но знанья это дать не может,  
И этот вывод мне сердце гложет,  
Хотя я разумнее многих хватов,  
Врачей, попов и адвокатов,  
Их точно всех попутал леший,

---

<sup>224</sup> Им не услышать следующих песен, / Кому я предыдущие читал. – К моменту написания «Посвящения» (1797) из слушателей первых сцен «Фауста» умерли: сестра поэта Корнелия Шлоссер, друг его юности Мерк, поэт Ленц; другие, например поэты Клопшток, Клиггер, братья Штольберги, жили вдали от Веймара и в отчуждении от Гёте; заметное охлаждение наблюдалось в тот период и в отношениях Гёте и Гердера.

Я ж и пред чертом не опешу, –  
Но и себе я знаю цену,  
Не тешусь мыслию надменной,  
Что светоч я людского рода  
И вверен мир моему уходу.  
Не нажил чести и добра  
И не вкусил, чем жизнь остра.  
И пес с такой бы жизни взвыл!  
И к магии я обратился,  
Чтоб дух по зову мне явился  
И тайну бытия открыл.  
Чтоб я, невежда, без конца  
Не корчил больше мудреца,  
А понял бы, уединясь,  
Вселенной внутреннюю связь,  
Постиг все сущее в основе  
И не вдавался в суесловье.  
О месяц, ты меня привык  
Встречать среди бумаг и книг  
В ночных моих трудах, без сна  
В углу у этого окна.  
О, если б тут твой бледный лик  
В последний раз меня застиг!  
О, если бы ты с этих пор  
Встречал меня на высях гор,  
Где феи с эльфами в тумане  
Играют в прятки на поляне!  
Там, там росой у входа в грот  
Я б смысл учености налет!

Но как? Назло своей хандре  
Еще я в этой конуре,  
Где доступ свету загражден  
Цветною росписью окон!  
Где запыленные тома  
Навалены до потолка;  
Где даже утром полутьма  
От черной гари ночника;  
Где собран в кучу скарб отцов.  
Таков твой мир! Твой отчий кров!

И для тебя еще вопрос,  
Откуда в сердце этот страх?  
Как ты все это перенес  
И в заточенье не зачах,  
Когда насильственно, взамен  
Живых и богом данных сил,  
Себя средь этих мертвых стен  
Скелетами ты окружил?



Встань и беги, не глядя вспять!  
А провожатым в этот путь  
Творенье Нострадама взять  
Таинственное не забудь<sup>225</sup>.  
И ты прочтешь в движенье звезд,  
Что может в жизни проистечь.  
С твоей души спадет нарост,  
И ты услышишь духов речь.  
Их знаки, сколько ни грызи,  
Не пища для сухих умов.  
Но, духи, если вы вблизи,  
Ответьте мне на этот зов!

(Открывает книгу и видит знак макрокосма<sup>226</sup>.)

Какой восторг и сил какой напор  
Во мне рождает это начертанье!  
Я оживаю, глядя на узор,  
И вновь бужу уснувшие желанья,  
Кто из богов придумал этот знак?  
Какое исцеленье от унынья  
Дает мне сочетание этих линий!  
Расходится томивший душу мрак.  
Все проясняется, как на картине.  
И вот мне кажется, что сам я – бог  
И вижу, символ мира разбирая,  
Вселенную от края и до края.

Теперь понятно, что мудрец изрек:  
«Мир духов рядом, дверь не на запоре,  
Но сам ты слеп, и все в тебе мертво.  
Умойся в утренней заре, как в море,  
Очнись, вот этот мир, войди в него»<sup>227</sup>.

---

<sup>225</sup> Творенье Нострадама взять / Таинственное не забудь. – Нострадам (собственно, Мишель де Нотр Дам, 1503–1566) – лейб-медик французского короля Карла IX, обратил на себя внимание «пророчествами», содержащимися в его книге «Centuries» (Париж, 1555). Начиная с этих строк и до стиха «Несносный, ограниченный школяр», Гёте оперирует мистическими понятиями, почерпнутыми из книги шведского мистика Э. Сведенборга (1688–1772), писателя, весьма модного в конце XVIII века (особенно почитаемого в масонских кругах). Так называемое учение Сведенборга в основном сводится к следующему: 1) весь «надземный мир» // состоит из множества общающихся друг с другом «объединений духов», которые обитают на земле, на планетах, в воде и в огненной стихии; 2) духи существуют повсюду, но откликаются не всегда и не на всякий призыв; 3) обычно духовидец способен общаться только с духами доступной ему сферы; 4) со всеми «сферами» // духов может общаться только человек, достигший высшей степени нравственного совершенства. Никогда не будучи поклонником Сведенборга, Гёте не раз выступал против модного увлечения мистикой и спиритизмом; тем не менее эти положения, // заимствованные из «учения» Сведенборга, им поэтически используются в ряде сцен его трагедии, где затрагиваются явления «потустороннего мира».

<sup>226</sup> Открывает, книгу и видит знак макрокосма. – Макрокосм – вселенная; по // Сведенборгу, весь духовный мир в его совокупности. Знак макрокосма – шестиконечная звезда.

<sup>227</sup> «Мир духов рядом, дверь не на запоре... Очнись, вот этот мир, войди в него» – // переложённая в стихи цитата из Сведенборга; заря, по Сведенборгу, символ вечно возрождающегося мира.

(Рассматривает внимательно изображение.)

В каком порядке и согласье  
Идет в пространствах ход работ!  
Все, что находится в запасе  
В углах вселенной непечатых,  
То тысяча существ крылатых  
Поочередно подает  
Друг другу в золотых ушатах  
И вверх снует и вниз снует.  
Вот зрелище! Но горе мне:  
Лишь зрелище! С напрасным стоном,  
Природа, вновь я в стороне  
Перед твоим священным лоном!  
О, как мне руки протянуть  
К тебе, как пасть к тебе на грудь,  
Прильнуть к твоим ключам бездонным

(С досадою перевертывает страницу и видит знак земного духа.)

Я больше этот знак люблю.  
Мне дух Земли родней, желанней.  
Благодаря его влиянью  
Я рвусь вперед, как во хмелю.  
Тогда, ручаюсь головой,  
Готов за всех отдать я душу  
И твердо знаю, что не струшу  
В свой час крушенья роковой.

Клубятся облака,  
Луна зашла,  
Потух огонь светильни.  
Дым! Красный луч скользит  
Вкруг моего чела.  
А с потолка,  
Бросая в дрожь,  
Пахнуло жутью замогильной!  
Желанный дух, ты где-то здесь снуешь.  
Явись! Явись!  
Как сердце ноет!  
С какою силою дыханье захватило!  
Все помыслы мои с тобой слились!  
Явись! Явись!  
Явись! Пусть это жизни стоит!

(Берет книгу и произносит таинственное заклинание.  
Вспыхивает красноватое пламя, в котором является дух.)

Дух

Кто звал меня?

Фауст  
(отворачиваясь)

Ужасный вид!

Дух

Заклял меня своим призывом  
Настойчивым, нетерпеливым,  
И вот...

Фауст

Твой лик меня страшит.

Дух

Молил меня к нему явиться,  
Услышать жажду, увидеть,  
Я сжалился, пришел и, глядь,  
В испуге вижу духовидца!  
Ну что ж, дерзай, сверхчеловек!  
Где чувств твоих и мыслей пламя?  
Что ж, возмнив сравняться с нами,  
Ты к помощи моей прибегаешь?  
И это Фауст, который говорил  
Со мной, как равный, с превышеньем сил?  
Я здесь, и где твои замашки?  
По телу бегают мурашки.  
Ты в страхе вьешься, как червяк?

Фауст

Нет, дух, я от тебя лица не прячу.  
Кто б ни был ты, я, Фауст, не меньше значу.

Дух

Я в буре деяний, в житейских волнах,  
В огне, в воде,  
Всегда, везде,  
В извечной смене  
Смертей и рождений.  
Я – океан,  
И зыбь развития,  
И ткацкий стан

С волшебной нитью,  
Где, времени кинув сквозную канву,  
Живую одежду я ткаю божеству.

Фауст

О деятельный гений бытия,  
Прообраз мой!

Дух

О нет, с тобою схож  
Лишь дух, который сам ты познаешь<sup>228</sup>, –  
Не я!

(Исчезает.)

Фауст  
(сокрушенно)

Не ты?  
Так кто же?  
Я, образ и подобье божье,  
Я даже с ним,  
С ним, низшим, несравним!

/.../

## Лесная пещера

Фауст  
(один)

Пресветлый дух, ты дал мне, дал мне все,  
О чем просил я. Ты не понапрасну  
Лицом к лицу явился мне в огне.  
Ты отдал в пользование мне природу,  
Дал силу восхищаться ей. Мой глаз  
Не гостя дружелюбный взгляд без страсти, –  
Но я могу до самого нутра  
Заглядывать в нее, как в сердце друга.  
Ты предо мной проводишь череду  
Живых существ и учишь видеть братьев<sup>229</sup>  
Во всем: в зверях, в кустарнике, в траве.  
Когда ж бушует буря в темной чаше

---

<sup>228</sup> ...с тобою схож / Лишь дух, который сам ты познаешь... – В двойном вызове духов и в двойной неудаче, постигшей Фауста, – завязка трагедии, решение Фауста добиться знания любыми средствами.

<sup>229</sup> ...учишь видеть братьев/ Во всем, в зверях, в кустарнике, в траве. – Согласно учению Гердера, которое было очень близко Гёте-натурфилософу, «старейшие братья человека – животные».

И, рушась наземь, вековая ель  
Ломает по пути стволы и сучья  
И грохоту паденья вторит даль,  
Подводишь ты меня к лесной пещере,  
И там, в уединенной тишине,  
Даешь мне внутрь себя взглянуть, как в книгу,  
И тайны увидеть и тьмы чудес.  
Я вижу месяц, листья в каплях, сырость  
На камне скал и на коре дерев,  
И тени движущихся туч похожи  
На чудищ первобытной старины.

Как ясно мне тогда, что совершенства  
Мне не дано. В придачу к тяге ввысь,  
Которая роднит меня с богами,  
Дан низкий спутник мне. Я без него  
Не обойдусь, наперекор бесстыдству,  
С которым обращает он в ничто  
Мой жребий и твое благословенье.  
Он показал мне чудо красоты<sup>230</sup>,  
Зажег во мне и раздувает пламя,  
И я то жажду встречи, то томлюсь  
Тоскою по пропавшему желанью.  
/.../

Елена  
(Фаусту)

Хочу поговорить с тобой. Взойди  
На возвышенье. Сядь со мною рядом.  
Незанятое место ждет того,  
Соседство с кем и мне защитой будет.

Фауст

Позволь тебе присягу принести  
И руку дай поцеловать, которой  
Меня ты поднимаешь до себя.  
Меня в своем бескрайнем царстве сделай  
Регентом, соправителем, слугой,  
Поклонником, защитником – чем хочешь.

Елена

Немало насмотрелась я чудес,  
Наслушалась того, пожалуй, больше.

---

<sup>230</sup> Он показал мне чудо красоты... – Фауст, по-видимому, говорит здесь не о Маргарите, а об образе Елены (из сцены «Кухня ведьмы»).

О многом бы хотела я спросить,  
И первым делом: отчего так странно  
Пленила речь служителя того?  
Он подгонял так стройно слово к слову,  
Как в хоре сочетают голоса,  
Лаская слух их сменой и согласьем.

Фауст

Когда тебе наш говор по душе,  
Полюбятся тебе напевы наши.  
Ты сразу эту музыку поймешь  
За первой нашей дружеской беседой.

Елена

Как мне усвоить ваш прием красивый?

Фауст

Он кроется в невольности порыва.  
Мы ждем, в потребности обнять весь свет,  
Того, кто тем же полон...

Елена

Нам в ответ.

Фауст

Тогда наш дух беспечностью велик.  
Прекрасен только...

Елена

Настоящий миг.

Фауст

Жизнь только им ценна и глубока.  
Тому порукою?..

Елена

Моя рука.

Хор

Что плохого в том, девушки,

Если наша владычица  
Обладателю замка  
Окажет доверие?  
Мы – невольницы, пленницы  
С того самого времени,  
Как разрушили Трою  
И мы стали бездомными.

Отнят выбор у женщин.  
Их не принято спрашивать,  
И бывшие поклонники  
Только копят им опытность.  
Пастухам златокудрым ли,  
Или фавнам щетинистым  
Отдаваться приходится  
Сообразно случайности.

Все тесней прижимаются,  
Прислонившись друг к другу,  
И сближают колени,  
И хватаются за руки,  
Широко перевесившись  
Над подушками трона.  
Для царей посторонние  
Словно место пустое,  
И при нас они нежатся,  
Как на тайном свидании.

Елена

Я – далеко и близко вместе с тем,  
И мне легко остаться тут совсем,

Фауст

Дышу едва, забывшись как во сне,  
И все слова претят и чужды мне.

Елена

На склоне дней я как бы родилась,  
В любви твоей всецело растворясь.

Фауст

Не умствуй о любви. Какой в том толк?  
Живи. Хоть миг живи. Жить – это долг.

## Большой двор перед дворцом

Факелы.

Впереди Мефистофель в качестве смотрителя работ.

Мефистофель

Эй, эй, сюда, сюда скорей,  
Сюда, народ понурый,  
Из жил, и связок, и костей  
Скроенные лемуры!

Лемуры<sup>231</sup>  
(хором)

Куда нас хочешь посылай,  
Но, в некотором роде,  
Слыхали мы, что целый край  
Нам отдан под угодя.  
Мы взяли колышки для вех  
И цепи для промера,  
Но для чего ты звал нас всех,  
Забыли землемеры.

Мефистофель

Я вам работу дам одну;  
Меж вами рослый самый  
Пускай растянется в длину,  
По нем и ройте яму.  
Как рыл отец ваш для отца  
Кладбищенскую глину,  
Переселенцу из дворца  
Копайте домовину.

Один из лемуров  
(копая землю, с ужимками)

В дни молодости и проказ  
На все хватало силы.  
Где можно, я пускался в пляс,  
И все мне с рук сходило.  
Дала мне старость по горбу,  
И в яму я свалился.

---

<sup>231</sup> Лемуры, по римскому поверью (в отличие от мирных ларов), – дикие и беспокойные замогильные призраки, иначе называвшиеся «манами»; здесь они – мелкая нечисть.



И вылетело все в трубу,  
В гробу я очутился.

Фауст

(выходит ощупью из дворца, хватаясь за дверные косяки)

Как мне приятен этот стук лопат!  
Рабочие, их разобрав, толпою  
Кладут границу бешенству приборя  
И, как бы землю примирив с собою,  
Возводят, вал и насыпи крепят.

Мефистофель  
(в сторону)

На мельницу мою ты воду льешь.  
Плотиной думая сковать буруны,  
Морскому черту, старику Нептуну,  
Заранее готовишь ты кутеж.  
В союзе с нами против вас стихии,  
И ты узнаешь силы роковые,  
И в разрушенье сам, как все, придешь.

Фауст

Надсмотрщик!

Мефистофель

Здесь!

Фауст

Усилий не жалеи!  
Задатками и всевозможной льготой  
Вербуй сюда работников без счету  
И доноси мне каждый день с работы,  
Как подвигается рытье траншей.

Мефистофель  
(вполголоса)

На этот раз, насколько разумею,  
Тебе могилу роют, – не траншеею.

Фауст

Болото тянется вдоль гор,  
Губя работы наши вчуже.

Но чтоб очистить весь простор,  
Я воду отведу из лужи.  
Милыоны я стяну сюда  
На девственную землю нашу.  
Я жизнь их не обезопасу,  
Но благодатностью труда  
И вольной волею украшу.  
Стада и люди, нивы, села  
Раскинутся на целине,  
К которой дедов труд тяжелый  
Подвел высокий вал извне.  
Внутри по-райски заживется.  
Пусть точит вал морской прилив,  
Народ, умеющий бороться,  
Всегда заделает прорыв.  
Вот мысль, которой весь я предан,  
Итог всего, что ум скопил.  
Лишь тот, кем бой за жизнь изведен,  
Жизнь и свободу заслужил.  
Так именно, вседневно, ежегодно,  
Трудясь, борясь, опасностью шутя,  
Пускай живут муж, старец и дитя.  
Народ свободный на земле свободной  
Увидеть я б хотел в такие дни.  
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!  
О как прекрасно ты, повремени!  
Воплощены следы моих борений,  
И не сотрутся никогда они».  
И это торжество предвосхищая,  
Я высший миг сейчас переживаю.

Фауст падает навзничь. Лемуры подхватывают его и кладут на землю.

**Вопросы и задания:**

1. Какова композиционная функция «Посвящения» в контексте поэмы в целом?
2. В чем суть неудовлетворенности Фауста в начале поэмы?
3. Как бы вы охарактеризовали те идеальные состояния слияния с природой (или контроля над ней?), к которым герой стремится, обращаясь к магии?
4. Назовите, какие из устремлений Фауста оказываются реализованными к моменту произнесения монолога в сцене «Лесная пещера»?
5. В чем содержательное и формальное (с точки зрения техники стиха) своеобразие диалога Фауста и Елены?
6. Какой эстетический модус преобладает в сцене кончины Фауста: героический пафос или ирония?

## Иммануил Кант (1724–1804)

### Предтекстовое задание:

Прочитайте фрагменты наследия И. Канта, сосредоточив внимание на тех представлениях родоначальника немецкого классического идеализма, которые оказали наиболее очевидное влияние на художественное творчество его современников.

## Критика чистого разума *Перевод Н. Лосского*

### Введение

#### *О различии между чистым и эмпирическим познанием*

Без сомнения, всякое наше познание начинается с опыта; в самом деле, чем же пробуждалась бы к деятельности познавательная способность, если не предметами, которые действуют на наши чувства и отчасти сами производят представления, отчасти побуждают наш рассудок сравнивать их, связывать или разделять и таким образом перерабатывать грубый материал чувственных впечатлений в познание предметов, называемое опытом? Следовательно, никакое познание не предшествует *во времени* опыту, оно всегда начинается с опыта.

Но хотя всякое наше познание и начинается *с* опыта, отсюда вовсе не следует, что оно целиком происходит *из* опыта. Вполне возможно, что даже наше опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем посредством впечатлений, и из того, что наша собственная познавательная способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от себя самой, причем это добавление мы отличаем от основного чувственного материала лишь тогда, когда продолжительное упражнение обращает на него наше внимание и делает нас способными к обособлению его.

Поэтому возникает по крайней мере вопрос, который требует более тщательного исследования и не может быть решен сразу: существует ли такое независимое от опыта и даже от всех чувственных впечатлений познание? Такие знания называются *априорными*; их отличают от *эмпирических* знаний, которые имеют апостериорный источник, а именно в опыте.

Однако термин *a priori* еще недостаточно определен, чтобы надлежащим образом обозначить весь смысл поставленного вопроса. В самом деле, обычно относительно некоторых знаний, выведенных из эмпирических источников, говорят, что мы способны или причастны к ним *a priori* потому, что мы выводим их не непосредственно из опыта, а из общего правила, которое, однако, само заимствовано нами из опыта. Так, о человеке, который подрыл фундамент своего дома, говорят: он мог *a priori* знать, что дом обвалится, иными словами, ему нечего было ждать опыта, т. е. когда дом действительно обвалится. Однако знать об этом совершенно *a priori* он все же не мог. О том, что тела имеют тяжесть и потому падают, когда лишены опоры, он все же должен был раньше узнать из опыта.

Поэтому в дальнейшем исследовании мы будем называть априорными знания, *безусловно* независимые от всякого опыта, а не независимые от того или иного опыта. Им противоположны эмпирические знания, или знания, возможные только *a posteriori*, т. е. посредством опыта. В свою очередь из априорных знаний *чистыми* называются те знания, к которым совершенно не примешивается ничто эмпирическое. Так, например, положение *всякое изменение имеет свою причину* есть положение априорное, но не чистое, так как понятие изменения может быть получено только из опыта. (1781)

## **Ответ на вопрос: что такое просвещение?**

*Перевод С. Я. Шейнман*

Просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. Несовершеннолетие – это неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-нибудь другого. Несовершеннолетие по собственной вине имеет причиной не недостаток рассудка, а недостаток решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны кого-то другого. Sapere aude! (Дерзай быть мудрым!) Имей мужество пользоваться своим собственным умом! – таков девиз эпохи Просвещения. (1783)

## **Основы метафизики нравственности**

*Перевод С. Я. Шейнман*

### **Раздел первый. Переход от обыденного нравственного познания из разума к философскому**

Нигде в мире, да и нигде вне его, невозможно мыслить ничего иного, что могло бы считаться добрым без ограничения, кроме одной только доброй воли. Рассудок, остроумие и способность суждения и как бы иначе ни назывались дарования духа, или мужество, решительность, целеустремленность как свойства темперамента в некоторых отношениях, без сомнения, хороши и желательны; но они могут стать также в высшей степени дурными и вредными, если не добра воля, которая должна пользоваться этими дарами природы и отличительные свойства которой называются поэтому характером. Точно так же дело обстоит и с дарами счастья. Власть, богатство, почет, даже здоровье и вообще хорошее состояние и удовлетворенность своим состоянием под именем счастья внушают мужество, а тем самым часто и надменность, когда нет доброй воли, которая исправляла бы и делала всеобще-целесообразным влияние этих даров счастья на дух и вместе с тем также и самый принцип действия. Нечего и говорить, что разумному беспристрастному наблюдателю никогда не может доставить удовольствие даже вид постоянного преуспевания человека, которого не украшает ни одна черта чистой и доброй воли; таким образом, добрая воля составляет, по-видимому, непременное условие даже достоинства быть счастливым. <...>

Добрая воля добра не благодаря тому, что она приводит в действие или исполняет; она добра не в силу своей пригодности к достижению какой-нибудь поставленной цели, а только благодаря волею, т. е. сама по себе. Рассматриваемая сама по себе, она должна быть ценима несравненно выше, чем все, что только могло бы быть когда-нибудь осуществлено ею в пользу какой-нибудь склонности и, если угодно, даже в пользу всех склонностей, вместе взятых. Если бы даже в силу особой немилости судьбы или скудного наделения суровой природы эта воля была совершенно не в состоянии достигнуть своей цели; если бы при всех стараниях она ничего не добилась и оставалась одна только добрая воля (конечно, не просто как желание, а как применение всех средств, поскольку они в нашей власти), – то все же она сверкала бы подобно драгоценному камню сама по себе как нечто такое, что имеет в самом себе свою полную ценность. Полезность или бесплодность не могут ни прибавить ничего к этой ценности, ни отнять что-либо от нее. И то и другое могло бы служить для доброй воли только своего рода обрамлением, при помощи которого было бы удобнее ею пользоваться в повседневном обиходе или обращать на себя внимание недостаточно сведущих людей; но ни то ни другое не может служить для того, чтобы рекомендовать добрую волю знатокам и определить ее ценность.

При всем том в этой идее об абсолютной ценности чистой воли, которой мы даем оценку, не принимая в расчет какой-либо пользы, есть что-то столь странное, что, несмотря на все согласие с ней даже обыденного разума, все же необходимо возникает подозрение: быть может, только безудержное сумасбродство скрыто лежит в основе и, быть может, мы неправильно понимаем намерение природы, которая предназначила разум управлять нашей волей. Попробуем поэтому рассмотреть эту идею с этой точки зрения. <...>

Но для того чтобы разобраться в понятии доброй воли, которая должна цениться сама по себе и без всякой другой цели, в понятии ее, коль скоро оно имеется уже в природном здоровом рассудке и его нужно не столько внушать, сколько разъяснять, – чтобы разобраться в понятии, которое при оценке всей ценности наших поступков всегда стоит на первом месте и составляет условие всего прочего, возьмем понятие долга. Это понятие содержит в себе понятие доброй воли, хотя и с известными субъективными ограничениями и препятствиями, которые, однако, не только не скрывают его и не делают его неузнаваемым, а, напротив, через контраст показывают его в еще более ярком свете.

Я обхожу здесь молчанием все поступки, которые признаются как противные долгу... <...> Сохранять же свою жизнь есть долг, и, кроме того, каждый имеет к этому еще и непосредственную склонность. Но отсюда не следует, что трусливая подчас заботливость, которую проявляет большинство людей о своей жизни, имеет внутреннюю ценность, а ее максима – моральное достоинство. Они оберегают свою жизнь сообразно с долгом, но не из чувства долга. Если же превратности судьбы и неизбывная тоска совершенно отняли вкус к жизни, если несчастный, будучи сильным духом, более из негодования на свою судьбу, чем из малодушия или подавленности, желает смерти и все же сохраняет себе жизнь не по склонности или из страха, а из чувства долга, – тогда его максима имеет моральное достоинство.

Оказывать, где только возможно, благодеяния, есть долг, и, кроме того, имеются некоторые столь участливо настроенные души, что они и без всякого другого тщеславного или корыстолюбивого побудительного мотива находят внутреннее удовольствие в том, чтобы распространять вокруг себя радость, и им приятна удовлетворенность других, поскольку она дело их рук. Но я утверждаю, что в этом случае всякий такой поступок, как бы он ни сообразовался с долгом и как бы он ни был приятным, все же не имеет никакой истинной нравственной ценности. Он подстать другим склонностям, например склонности к почести, которая, если она, к счастью, наталкивается на то, что действительно общеплезно и сообразно с долгом, стало быть достойно уважения, заслуживает похвалы и поощрения, но никак не высокой оценки. Ведь максиме не хватает нравственного достоинства, а именно совершать такие поступки не по склонности, а из чувства долга. Предположим, что настроение такого человеколюбца заволкло собственной печалью, которая гасит всякое участие к судьбе других; что он все еще имеет возможность помочь другим нуждающимся, но чужая беда его не трогает, так как он занят своей собственной; и вот, когда никакая склонность его уже больше к тому не побуждает, он вырывается из этой полной бесчувственности и совершает поступок без всякой склонности, исключительно из чувства долга, – вот тогда только этот поступок приобретает свою настоящую моральную ценность. <...>

Обеспечить себе свое счастье есть долг (по крайней мере косвенно), так как недовольство своим положением при массе забот и неудовлетворенных потребностях могло бы легко сделаться большим искушением нарушить долг. Но, не обращая здесь внимания на долг, все люди уже сами собой имеют сильнейшее и глубочайшее стремление к счастью, так как именно в этой идее все склонности объединяются. Но только это предписание стремиться к счастью обычно таково, что оно наносит большой ущерб некоторым склонностям, и тем не менее человек не может составить себе никакого определенного и верного понятия о сумме удовлетворения всех [склонностей], именуемой счастьем. Поэтому нечего удивляться, что одна определенная склонность в отношении того, что она обещает, и того времени, в какое она может быть

удовлетворена, в состоянии перевесить неопределенную идею и человек, например подагрик, выбирает еду, какая ему по вкусу, а страдание – какое он способен вытерпеть, так как по своему расчету он здесь по крайней мере не лишил себя наслаждения настоящим моментом ради, быть может, напрасных ожиданий счастья, какое будто заключается в здоровье. Но и в этом случае, если общее стремление к счастью не определило воли этого человека, если здоровье, для него по крайней мере, не вошло с такой необходимостью в этот расчет, то и здесь, как и во всех других случаях, остается еще некоторый закон, а именно содействовать своему счастью не по склонности, а из чувства долга, и только тогда поведение человека имеет подлинную моральную ценность. <...>

Второе положение следующее: поступок из чувства долга имеет свою моральную ценность не в той цели, которая может быть посредством него достигнута, а в той максиме, согласно которой решено было его совершить; эта ценность зависит, следовательно, не от действительности объекта поступка, а только от принципа волеия, согласно которому поступок был совершен безотносительно ко всем объектам способности желания. Что намерения, которые мы можем иметь при совершении поступков, и их влияние как целей и мотивов воли не могут придать поступкам никакой безусловной и моральной ценности – ясно из предыдущего. В чем же, таким образом, может заключаться эта ценность, если она не должна состоять в воле, [взятой] в отношении результата, на какой она надеется? Эта ценность может заключаться только в принципе воли безотносительно к тем целям, какие могут быть достигнуты посредством такого поступка. <...>

Третье положение как вывод из обоих предыдущих я бы выразил следующим образом: долг есть необходимость [совершения] поступка из уважения к закону. К объекту как результату моего предполагаемого поступка я хотя и могу иметь склонность, но никогда не могу чувствовать уважение именно потому, что он только результат, а не деятельность воли. Точно так же я не могу питать уважение к склонности вообще, все равно, будет ли она моей склонностью или склонностью другого; самое большее, что я могу, – это в первом случае ее одобрять, во втором – иногда даже любить, т. е. рассматривать ее как благоприятствующую моей собственной выгоде. Лишь то, что связано с моей волей только как основание, а не как следствие, что не служит моей склонности, а перевешивает ее, совершенно исключает по крайней мере склонность из расчета при выборе, стало быть, только закон сам по себе может быть предметом уважения и тем самым – заповедью. (1785)

### **Вопросы и задания:**

1. Составьте общее представление о жизненном пути и философском наследии Иммануила Канта, сосредоточив внимание на т. н. «критическом» периоде его творчества, в который философ вступил около 1770 года.

2. Какие основополагающие рассуждения позволили Канту развернуть «критическую» теорию познания в труде «Критика чистого разума»? Попытайтесь осмыслить, каким путем философ движется к агностицизму, проявившемуся в утверждении, что природа вещей, как они существуют сами по себе («вещей в себе»), принципиально недоступна нашему познанию, возможному лишь относительно «явлений», т. е. способа, посредством которого вещи обнаруживаются в нашем опыте.

3. Как вы думаете, почему Кант утверждал, что в нашем разуме заложено неискоренимое стремление к знанию? В чем состоит сущность просвещения?

4. В этике Кант провозглашал ее основным законом безусловное повеление (Категорический императив), требующее руководствоваться таким правилом, которое может быть рассмотрено как всеобщий закон поведения. Как философ связывал свои теоретические построения с каждодневной практикой человеческой жизни?

5. Сопоставьте теорию познания и этику Канта с представлениями его современников и воплощением их идей в художественном творчестве.

## Библиографический список

### I. Английская литература

*Дефо Д.* Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим / пер. с англ. под ред. А. А. Франковского. Л.: Academia, 1932. 775 с.

*Свифт Дж.* Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лэмьюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей / пер. с англ. под ред. А. А. Франковского-го. Л.: Academia, 1928. 660 с.

*Ричардсон С.* Кларисса, или История молодой леди / пер. с англ. Марии Куренной (готовится к печати).

*Филдинг Г.* История Тома Джонса, найденыша / пер. с англ. А. Франковского. М.: Гослитиздат, 1973. 879 с. (Серия «Библиотека всемирной литературы»).

*Смоллет Т.* Путешествие Хамфри Клинкера / пер. с англ. А. В. Кривцовой // Смоллет Т. Путешествие Хамфри Клинкера. Голдсмит О. Векфильдский священник. М.: Гослитиздат, 1972. С. 25–378.

*Грей Т.* Элегия, написанная на сельском кладбище / пер. с англ. В. А. Жуковского // Английская поэзия в переводах В. А. Жуковского / сост. К. Н. Атаровой, А. А. Гугнина; предисл. и коммент. К. Н. Атаровой. М.: Рудомино; Радуга, 2000.

*Стерн Л.* Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / пер. А. Франковского. М.: Гослитиздат, 1968. (Серия «Библиотека всемирной литературы»).

*Стерн Л.* Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена / пер. А. Франковского. М.: Гослитиздат, 1968 (Серия «Библиотека всемирной литературы»).

*Голдсмит О.* Векфильдский священник / пер. с англ. Т. М. Литвиновой // Смоллет Т. Путешествие Хамфри Клинкера. Голдсмит О. Векфильдский священник. М.: Гослитиздат, 1972. С. 379–540. (Серия «Библиотека всемирной литературы»).

*Голдсмит О.* Опустевшая деревня / пер. с англ. В. А. Жуковского // Английская поэзия в переводах В. А. Жуковского / сост. К. Н. Атаровой, А. А. Гугнина; предисл. и коммент. К. Н. Атаровой. М.: Рудомино; Радуга, 2000.

*Шеридан Р. Б.* Школа злословия / пер. с англ. М. Л. Лозинского // Шеридан Р. Б. Драматические произведения. М.: Искусство, 1956. С. 261–352.

*Бёрнс Р.* Роберт Бёрнс в переводах С. Я. Маршака / примеч. М. Морозова. М.: Гослитиздат, 1976. 382 с.

### II. Французская литература

*Лесаж А. Р.* Похождения Жиль Бласа из Сантьяны / пер. Г. И. Ярхо. Л.: Лениздат, 1958. 816 с.

*Монтеस्कьё Ш. Л.* Персидские письма. / пер. под ред. Е. А. Гунста; вступ. статья, примеч. С. Д. Аргамонова. М.: Гослитиздат, 1956.

*Прево А. Ф.* История кавалера де Грие и Манон Леско / пер. М. Петровского, М. Вахтеровой. М.: Правда, 1989.



*Вольтер Ф.* Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести / пер. с фр. Г. Блока, М. Лозинского, И. Шафаренко. М.: Гослитиздат, 1971. 718 с.

*Дидро Д.* Монахиня / пер. Д. Лившиц, Э. Шлосберг // Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин. М.: Художественная литература, 1973. 496 с.

*Дидро Д.* Жак-фаталист и его хозяин / пер. Г. И. Ярхо // Дидро Д. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1991.

*Дидро Д.* Племянник Рамо / пер. А.В. Федорова // Там же.

История в Энциклопедии Дидро и Даламбера / пер. и примеч. Н. В. Ревуненковой; под общ. ред. А. Д. Люблинской. Л.: Наука, 1978.

*Руссо Ж. Ж.* Юлия, или Новая Элоиза / пер. А. Худаковой. М.: Гослитиздат, 1968. (Серия «Библиотека всемирной литературы»).

*Руссо Ж. Ж.* Об общественном договоре / пер. А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова // Руссо Ж. Ж. Трактаты. М.: Наука, 1969.

*Руссо Ж. Ж.* Исповедь / пер. Д. А. Горбова, М. Н. Розанова // Руссо Ж. Ж. Избранные сочинения в трех томах. М.: Гослитиздат, 1961.

*Лакло Ш., де.* Опасные связи / пер. Н. Рыкова; прим. Н. Рыкова // История кавалера де Грие и Манон Леско. Опасные связи. М.: Правда, 1985.

*Бомарше П. О. К., де.* Севильский цирюльник / пер. Н. М. Любимова // Бомарше П. О. К. Избранные произведения. М.: Гослитиздат, 1954.

*Бомарше П. О. К., де.* Женитьба Фигаро / пер. Н. М. Любимова // Там же.

### ***III. Итальянская литература***

*Вико Дж.* Основания новой науки об общей природе наций. Л.: Гослитиздат, 1940. (Переиздание: М.; Киев: REFL-book; ИСА, 1994.)

*Беккариа Ч.* О преступлениях и наказаниях / сост. и предисл. В. С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2004.

*Гольдони К.* Сочинения. Т.1–4. М., 1997.

*Гольдони К.* Комедии; *Гоцци К.* Сказки для театра; *Альфьери В.* Трагедии. М.: Гослитиздат, 1971. (Серия «Библиотека всемирной литературы»).

*Островский А. Н.* Полное собрание сочинений. Т. 11: Избранные переводы с английского, итальянского, испанского языков (1865–1879). М.: Гослитиздат, 1962.

### ***IV. Американская литература***

*Франклин Б.* Автобиография / пер. с англ. // Жизнь Бенджамина Франклина. Автобиография. URL: [www.e-reading-lib.org](http://www.e-reading-lib.org) (дата обращения: 09.01.2013).

*Джефферсон Т.* Автобиография. Заметки о штате Виргиния / сост. А. А. Фурсенко; пер. В. М. Большакова и В. Н. Плешкова; примеч. В. Н. Плешкова. Л.: Наука, 1990.

Декларация представителей Соединенных Штатов Америки, собравшихся на общий конгресс // Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство / под ред. О. А. Жидкова; пер. О. А. Жидкова. М.: Прогресс, Универс, 1993. С. 25–28.

*Френо Ф.* Монолог Георга Третьего; Брошенный муж; Дикая жимолость / пер. С. Шоргина. URL: [www.ipiran.ru/~shorgin/amer.htm](http://www.ipiran.ru/~shorgin/amer.htm) (дата обращения: 09.01.2013).

*Френо Ф.* Стансы при виде деревенской гостиницы, разрушенной бурей / пер. А. Шарповой. URL: [www.stihi.ru/2010/01/22/2656](http://www.stihi.ru/2010/01/22/2656) (дата обращения: 09.01.2013).

## V. Немецкая литература

*Клопшток Ф. Г.* Из «Мессиады». – Герман и Туснельда. – Ранние гробницы // Немецкие поэты в биографиях и образцах / под ред. Н. В. Гербеля. СПб., 1877. С. 150–162

*Клопшток Ф. Г.* Цепь роз // Золотое перо. Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах 1812–1970. М., 1974. С. 548.

*Клопшток Ф. Г.* Катание на коньках // Зарубежная поэзия в переводах В. Куприянова. М., 2009. С. 27–29.

*Виланд К. М.* История Абдеритов. М.: Наука, 1978.

*Лессинг Г. Э.* Избранные произведения. М.: Гослитиздат, 1953.

*Гердер И. Г.* Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 131–136, 222–244, 607–608.

*Гердер И. Г.* Извлечения из переписки об Оссиане и о песнях древних народов // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.; Л., 1959. С. 23–59. С. 30–31.

*Гердер И. Г.* Посвящение к «Народным песням» / пер. с нем. Е. Г. Эткинда // Там же. С. 71.

*Гердер И. Г.* Разговор о невидимо-видимом обществе // Вестник Европы. М., 1802. № 22. С. 116–128.

*Ленц Я.* Моему сердцу // Зарубежная поэзия в переводах В. Куприянова. М., 2009. С. 59–61.

*Клинггер Ф. М.* Фауст, его жизнь, деяния и низвержение в ад. СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 28–34.

*Бюргер Г. А.* Ленора // Жуковский В. А. Собр. соч.: в 4 т. Т. 2. М.; Л., 1959. С. 183–190.

*Шиллер Ф.* Дружба / пер. с нем. В. Левика // Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. М.: Гослитиздат, 1955–1957. Т. 1. 1955. С. 130–131.

*Шиллер Ф.* Гений / пер. Е. Г. Эткинда // Там же. С. 193–194.

*Шиллер Ф.* Брут и Цезарь / пер. с нем. В. Левика // Там же. С. 80–82.

*Шиллер Ф.* Помпея и Геркуланум / пер. Д. Бродского // Там же. С. 223–224.

*Шиллер Ф.* Заговор Фиеско в Генуе / пер. А. Горнфельда // Шиллер Ф. Избранные драмы. М.; Л., 1930. С. 181–312, 238–241.

*Шиллер Ф.* Тридцатилетняя война // Шиллер Ф. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. 1957. С. 9–398, 9–12.

*Шиллер Ф.* Разбойники / пер. Н. Ман // Там же. Т. 1. 1955. С. 369–496, 394–395, 495–496.

*Шиллер Ф.* История отпадения соединенных Нидерландов от испанского владычества / пер. С. Фрумана и И. Смидовича // Там же. Т. 4. 1956. С. 31–319, 31–36.

*Шиллер Ф.* О применении хора в трагедии // Там же. Т. 6. 1957. С. 655–664, 661–662.

*Гёте И. В.* Ко Дню Шекспира / пер. Н. Ман // Гёте И. В. Собр. соч.: в 10 т. М.: Гослитиздат, 1975–1980. Т. 10. 1978. С. 261–264.

*Гёте И. В.* Свидание и разлука / пер. Н. Заболоцкого // Там же. Т. 1. 1975. С. 76–77.

*Гёте И. В.* Майская песня / пер. А. Глобы // Там же.

*Гёте И. В.* Прометей / пер. В. Левика // Там же. С. 89–90.

*Гёте И. В.* Гец фон Берлихинген / пер. Е. Книпович // Там же. Т. 4. 1977. С. 7–104.

*Гёте И. В.* Страдания юного Вертера / пер. Н. Касаткиной // Там же. Т. 6. 1978. С. 7–104.

*Гёте И. В.* Границы человечества // Там же. Т. 1. 1975. С. 168.

*Гёте И. В.* Божественное // Там же. С. 169–171.

*Гёте И. В.* Ночная песнь путника // Там же. С. 163.

*Гёте И. В.* Другая // Там же. С. 163–164.

*Гёте И. В.* Римские элегии // Там же. С. 183–184, 188–189.

*Гёте И. В.* Торквато Тассо // Там же. Т. 5. 1977. С. 207–312.

*Гёте И. В.* Годы учения Вильгельма Мейстера / пер. Н. Касаткиной // Там же. Т. 7. 1978.

*Гёте И. В.* В тысяче форм ты можешь притаиться... / пер. С. Шервинского // Там же. Т. 1. 1975. С. 390–391.

*Гёте И. В.* Фауст / пер. Б. Пастернака // Там же. Т. 2. 1976.

*Гёте И. В.* Римские элегии М., 1950.

*Гёте И. В.* Стихотворения // Гёте И. В. Собр. соч.: в 10 т. Т. 1. 1975.

*Гёте И. В.* Торквато Тассо // Там же. Т. 5. 1977.

*Кант И.* Критика чистого разума / пер. Н. Лосского сверен и отредактирован Ц. Г. Арзаканяном, М. И. Иткиным. М.: Мысль, 1994. С. 32–33.

*Кант И.* Ответ на вопрос: Что такое просвещение? / пер. С. Я. Шейнман // Кант И. Избр. соч.: в 2 т. Калининград, 2005. Т. 2. С. 11–20.

*Кант И.* Основы метафизики нравственности / пер. С. Я. Шейнман // Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 4, ч. I. М.: Мысль, 1965. С. 211–310, 227–235.